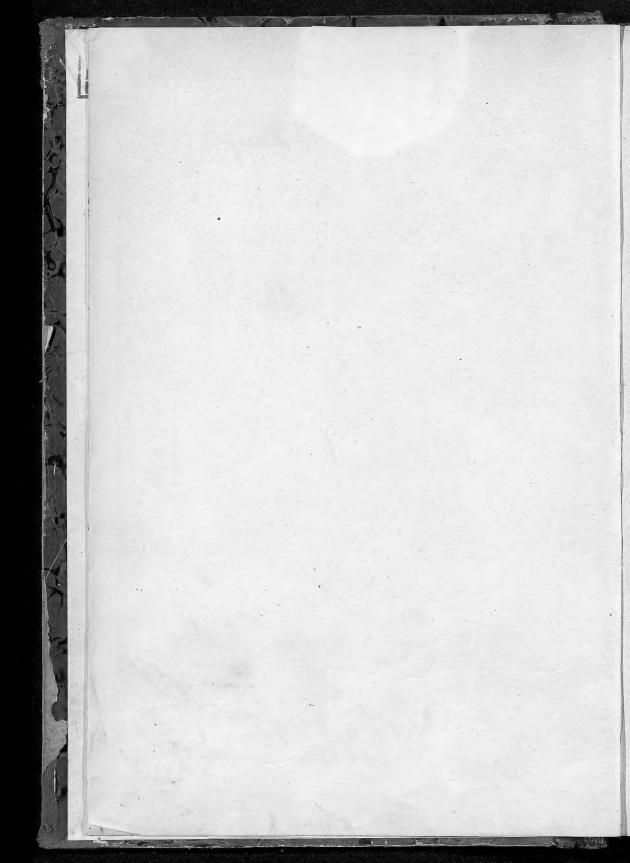
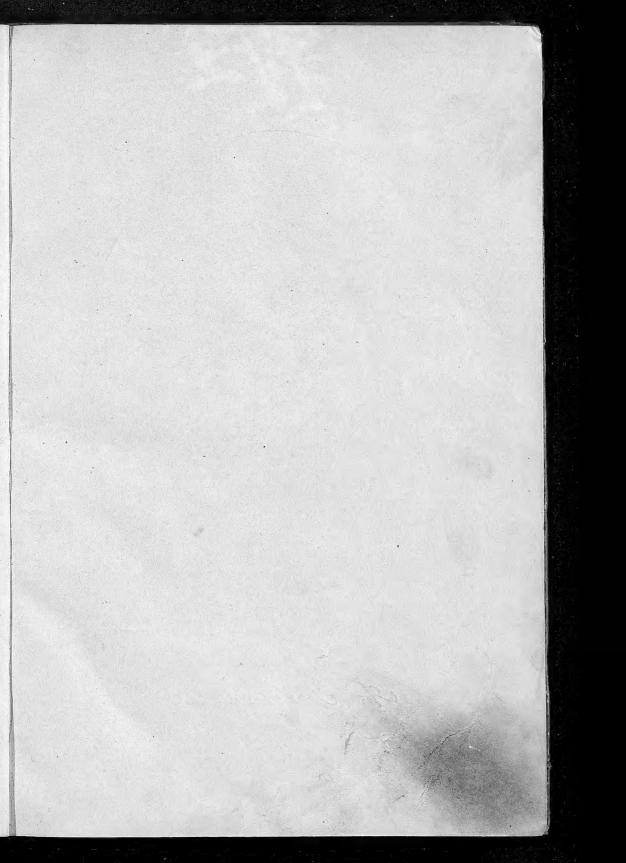


Свок возврата квиги:

A Hawpes







A. Charanbenue

СОЧИНЕНІЯ

A. CKABUYEBCKATO.

Критические этюды, публицистические очерки, литературныя характеристики.

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА,

гравированнымъ въ Лейпцигъ Геданомъ, по фотографіи Ю. Штейнберга.

→ ТОМЪ ПЕРВЫЙ.



Цѣна за два тома 3 рубля.

Простые переплеты—по 50 к. Каленкоровые съ золотомъ—по 1 р. Пересылка безъ переплетовъ—за 4 фунта, въ переплетахъ—за 5 фунтовъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія газеты «Новоста», Екатерининскій каналь, д. $N \cdot 115$.

MIBBHWF00,

ATRINGENIA IN LANGE A

Epopenymore, a mornige e sperie e participante e able de contraction de la contracti

and the figure of the figure o

ОГЛАВЛЕНІЕ

перваго тома.

Ome aemopa	+
1,868.	
 1. Новое время и старые боги 2. Русское недомысліе 3. Прудонъ объ искусствѣ и сатурналіи нашихъ эстетиковъ 4. Герои голубинаго полета 5. Теорія Лассаля и пониманіе ея прусскими прогрессистами 	1 29 63 75 85
1060	
1869.	
a see (a or a graph through R.P. INTRIGITABLE	113
	143
7. Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.	217
8. Старая правда	255
9, Чего нужно добиваться реальному поэту	
1870 — 1872.	
이 생물이 하는 사람들은 사람들은 이 경험을 위하는 이번 것이다. 이번 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다.	279
10. Сорокъ лътъ русской критики (1820—1860)	571
11 The a service of the service of t	
10 The Are HODE HOTEOTEODEUT TO HOTEOUT AND AVAILABLE IN MARCH TO THE COURT OF THE PROPERTY OF	608
10 D mnouneded	668
14 Спортий илдолизмъ въ современной ооолочьь.	69'
15. Три человъка сороковыхъ годовъ	713
15. Три человька сороковых в тодова	

Anno se dimo e il pende e il pend

118881

Car sente de la comprenent de la brancaria de la caracte de la comprenent de la comprenent

EVEN ENDA

profite a service and the common and a service and the common and a service and the common and a service and a ser

ОТЪ АВТОРА.

Книга эта не составляетъ полнаго собранія сочиненій, такъ какъ въ ней не пом'єщено и четверти всего, написаннаго авторомъ въ теченіи тридцати л'єтъ его писательства. Каждому существующему исключительно журнальнымъ трудомъ приходится писать многое не по собственной иниціативъ, а по требованіямъ злобы дня, по настоятельнымъ нуждамъ журнала, сообразуясь при этомъ съ обстоятельствами времени и м'єста пом'єщенія трудовъ, подъ вліяніемъ разныхъ случайныхъ, минутныхъ настроеній, и т. п.

Все то, въ чемъ авторъ въ какомъ-бы то ни было отношении не чувствуеть себя вполнъ творцомъ и хозяиномъ, устранено изъ этихъ двухъ томовъ. Такъ, начавши печататься въ 1859 году, авторъ не счелъ достойнымъ ничего помъстить въ издание изъ того, что онъ печаталъ въ первые девять льтъ своей литературной дъятельности, считая себя въ этотъ періодь зеленой юности незр'ялымъ и неустановившимся. Зат'ємъ, не говоря уже о большинствъ критическихъ фельетоновъ, которые еженедъльно писалъ онъ въ Виржевыхъ Въдомостяхъ (или въ Молвъ), начиная съ 1875 по 1879 годъ, въ Русскихъ Въдомостяхъ съ 1884 по 1888 годъ и въ Новостяхъ съ 1884 года по сей день, сюда не вошли и такія компилятивныя журнальныя работы, какъ "Французскіе романтики" (Викторъ Гюго и Жоржъ Зандъ), помъщенныя въ Отечественныхъ Запискахъ въ 1880 и 81 годахъ и "Исторія русской цензуры"—тамъ-же съ 1882 по 1884 годъ. Въ изданіе вошли лишь такія работы, которыя совершены авторомъ по собственной его иниціативъ и свободному влеченію, въ которыхъ онъ отвътственъ за каждое слово и которыя наиболъе рельефно и полно выражають литературную физіономію его, политическія и нравственныя убъжденія, равно какъ и эстетическіе взгляды.

Авторъ будетъ вполнѣ доволенъ, если книга его убѣдитъ читателей, что впродолженіе всей его литературной дѣятельности онъ служилъ благому дѣлу и оставался неизмѣненъ въ своихъ кровныхъ убѣжденіяхъ. Можетъ быть, они и найдутъ какія-нибудь противорѣчія въ мелочахъ и частностяхъ,—было-бы неестественно, чтобы впродолженіе двадцати лѣтъ, съ 1868 по 1888 годъ человѣкъ оставался до послѣднихъ мелочей безъ малѣй-

шихъ измъненій, какъ набальзамированная мумія, - но это не помъшаетъимъ, если они отнесутся къ нему безъ враждебныхъ предубъжденій, убъдиться, что въ статьяхъ, появившихся въ 1888 году, онъ остался тъмъ самымъ писателемъ, какимъ былъ въ 1868 году, когда былъ приглашенъ въ возрожденныя "Отечественныя Записки": всегда онъ ставилъ выше всего народное благо и проповъдывалъ народные принципы труда и братства; всегда онъ ратовалъ противъ всякаго возвышенія брата надъ братомъ, хотя-бы во имя интеллектуально-нравственнаго превосходства; въ эстетическихъ своихъ теоріяхъ, пропов'ядуя свободу и естественность творческихъ процессовъ, онъ всегда быль равно далекъ, какъ отъ теоретиковъ чистаго искусства, ограничивающихъ его однимъ услажденіемъ художественными красотами празднаго, изнъженнаго сибаритетва, такъ равно и отъ теоретиковъ полезнаго искусства, обрекающихъ его на подневольное орудіе въ рукахъ какихъ-бы то ни было политическихъ партій. Требованіе, чтобы искусство служило ни исключительно одной красоть, ни столь-же исключительно одной политикъ, а всей жизни, во всей ея совокупности, помогло автору съ одинаковымъ безпристрастіемъ и почетомъ отнестись и къ поэту-гражданину въ лицъ Некрасова, и къ жрецу чистаго искусства въ лицъ Пушкина, — и авторъ будетъ очень радъ, если, читая эту книгу, соотечественники его научатся цёнить и почитать каждый великій таланть, служащій украшеніемь русской литературы, помимо какихъ-либо партійныхъ пристрастій и доктринерскихъ предубъжденій.

А. Скабичевскій.

1868.

НОВОЕ ВРЕМЯ И СТАРЫЕ БОГИ.

(«Дымъ», повъсть Тургенева. Москва, 1867).

I.

Въ 30-ме и 40-ме годы у насъ безусловно царствовали идеи Шеллинга и Гегеля. Шеллингъ, основывая свою философію на тождествъ духа и матеріи, считалъ искусство высшею дѣятельностью человѣка, въ которой проявляется полное такого рода тождество. Гегель, усматривая въ каждомъ процессъ развитія три періода развитія идеи, считаєтъ художественное творчество первымъ, періодомъ въ развитіи индивидуальнаго разума. Художественное творчество, по его мнѣнію, есть непосредственное созерпаніе безусловной идеи въ объективной дѣйствительности.

Въ силу этихъ идей многіе изъ нашихъ критиковъ до сихъ поръ еще думають, что когда поэтомъ овладъеть вдохновение, онъ способенъ открывать міры, безсознательно проникать въ неизмѣримую глубину людскихъ сердецъ и въ такіе непроницаемые тайники жизни, которые недоступны ни обыкновенным смертнымъ, ни даже и самому поэту, когда онъ пируеть съ друзьями, неокрыленный вдохновеніемъ. Многіе просвъщенные читатели до сихъ поръ еще ищуть въ поэтическихъ произведеніяхъ разрішенія всіхъ вопросовъ жизни. Подобнымъ просвещеннымъ читателямъ угождають столь-же просвёщенные критики, которые сявно вврять наждому слову писателей, пользующихся заранье опредъленнымъ и неоспоримымъ авторитетомъ. Если авторитетный поэтъ сибется надъ какимъ-нибудь явленіемъ жизни, и критики сейчасъ же начинають сибяться; если поэть плачеть, и критики заливаются слезами. Въ то-же время, приступая къ разбору произведенія, просв'ященные критики задаются глубокомысленнымъ вопросомъ: не скрыты-ли въ немъ какія-нибудь мудрыя задачи сфинкса, которын подлежать разръшенію. Такія задачи всегда находятся, и, надо замътить, всегда такія, какихъ именно нужно критикамъ.

Не въяніе духа новаго времени быстро уносить эти върованія мистическихъ критиковъ въ поэтическую непогръщимость. Нынъ даже самые упорные изъ нихъ, и тъ опираются на непосредственное творчество поэтовъ только до тъхъ поръ, пока оно соотвътствуетъ ихъ личнымъ идейкамъ, ласкаетъ ихъ собственныя фантазіи; а чуть поэтическое чутье чтимыхъ ими поэтовъ не оправдываетъ ихъ ожиданій, они возмущаются и, какъ дикари, съкутъ кумиры, неисполнивніе ихъ моленій. Это показываеть ясно, что безвозвратно миновало время, когда смотрели на талантъ, какъ на нѣчто непогрѣшимое. Нынѣ стало очевидно для всёхъ, что талантъ кожеть погрёшать на каждомъ шагу, можетъ идти по совершенно ложной дорогъ. Что такое поэтическій таланть? Это есть сила, исходящая изъ того простого свойства нашей природы, что каждое воспринятое нами впечатлъніе мы спешнить отразить въ соответствующихъ движеніяхъ, звукахъ, словахъ, цёлыхъ рёчахъ и дёйствіяхъ. Каждое слово нашего языка есть своего рода поэтическое произведеніе, каждая наша ужимка, каждое размахиванье руки съ цёлію придать рёчи большую живость и картинность-есть своего рода поэтическій образъ, художественная метафора.

Различіе между обыкновеннымъ человъкомъ и поэтомъ лежитъ не въ томъ, что поэтъ имъетъ совершенно особенный даръ, которымъ обиженъ простой смертный, а только въ степени дара, общаго всёмъ жодямъ; степень же поэтическаго дара зависитъ прежде всего отъ того закона человъческой природы, что чемъ сильнее впечатление, темъ страстиве и богаче отражение его. Подъ вліяниемъ сильнаго впечатлёнія самый сухой человёкь можеть сдёлаться на время поэтомъ; различіе между обыкновеннымъ человъкомъ и поэтомъ заключается только въ томъ, что на поэта производять сильныя впечативнія такія явленія жизни, которыя на людей обыкновенныхъ не производять никакого впечатлёнія. Кром'є впечатлительности, художественный талантъ зависитъ отъ навыка отражать впечативнія такъ или иначе: художникъ, пишущій прекрасныя картины, не можетъ часто связать двухъ словъ. Но, кромъ личнаго навыка, обусловливаемато направлениемъ дъятельности, для поэта еще въ большей степени необходимъ традиціонный навыкъ: какъ бы ни быль силенъ поэтическій таланть поэта, никакое вдохновеніе не поможеть ему создать какія-либо изящныя произведенія,

сочинения А. Скавичевскаго.

если онъ не имъетъ за собою цълыхъ въковъ, въ которые мало-по-малу, покольніе за покольніемъ, вырабатывалась возможность подобныхъ произведеній. Дикари вдохновлялись явленіями природы и жизни не менте нашего, но они ничего не могли создать, кромт безобразныхъ кривляній, дикихъ воплей и взвизгиваній, и курносыхъ болвановъ, и нужны были цёлые въка, чтобы люди постепенно дошли до созданія Апполона Бельведерскаго. Поэтому весьма жалко заблуждаются эстетики, которые приписывають разныя великія произведенія искусства исключительно генію художниковъ; надъ такими произведеніями, какъ статун Фидіаса или трагедін Софокла, работали цёлыя покольнія; личному же генію художника принадлежитъ обыкновенно одинъ последній шагъ, за который онъ и признается геніемъ.

Итакъ, ны видимъ, что для появленія въ свётъ поэтическаго произведенія необходимы двѣ силы: сила впечатлительности (вдохновеніе) и традиціонный навыкъ (владение формою). Но довольно-ли этихъ двухъ элементовъ? Если-бы было довольно, въ такомъ случай теоріи Шеллинга и Гегеля были-бы совершенно върны: въ стремлени поэта отразить въ своемъ произведении впечатлёнія живой действительности мы могли-бы видъть и безсознательно-сознательную творческую діятельность и непосредственное соверданіе нден въ живой действительности. Но все это было-бы върно только въ такомъ случат, если-бы предметы отражались въ фантазіи художника со всёхъ сторонъ въ ихъ истинномъ виде; этого-то мы и не видимъ: впечатлёнія въ данную минуту бываеть всегда односторонни; предметь кидается намъ въглаза много двумя-тремя своими рёзко - выдающимися чертами, и очень часто это впечатление бываеть совершенно ложно, вследствіе разныхъ причинъ, лежащихъ въ предметь или въ насъ самихъ. Предположимъ, что поэтъ, върящій въ свою геніальность и непограшимость, встрачается съ господиномъ, который начинаеть въ присутствии его отзываться дурно о его произведеніяхъ. Господинъ этотъ, можетъ быть, въ действительности очень почтенный чедовекъ; но навърное можно сказать, что онъ произведетъ на поэта впечатление самое дурное; и въ воображении поэта создается представление о господинъ, совершенно не соотвътствующее дъйствительности. Если такихъ господъ представится много и всё они будуть отзываться о произведеніяхъ поэта равно дурно, тогда въ воображении поэта составится пельный типъ этихъ господъ, и этотъ типъ будетъ такъ-же ложенъ, какъ и представление поэта объ отдельномъ такомъ господинъ... Случан подобнаго искаженія истины могутъ быть разнообразны до безконечности, и мы бы совершенно потеряли всякій критерій истины, если-бы вздумали опираться на непосредственность художественнаго созерцанія дійствительности. Для того, чтобъ художественные образы были върны дъйствительности, необходимо, чтобъ художникъ отъ каждаго предмета воспринималъ целую массу разнородныхъ вцечатленій, разсмотрель предметь со всёхъ сторонъ, въ связи съ другими предметами, проникъ въ сущность предмета, причину и следствія; но сділать все это-значить, другими словами,

изучить предметь. Но туть мы выходить уже изъ области чисто художественной и вступаемь въ область науки... Изучать предметы — дъло ученаго, и если для поэта тоже необходима эта дъягельность, то и поэть прежде всего должень быть ученымь.

Если на каждое поэтическое произведеніе мы должны смотръть какъ на своего рода ученый трудъ, то и критика должна стоять къ поэтическому произведенію въ такихъ же отношеніяхъ, какъ къ ученому труду. Не живнь разбирать на основаніи образовъ поэта, а наоборотъ—она должна изследовать поэтическое произведеніе на основаніи фактовъ жизни, провърить умозаключенія, къ которымъ пришелъ поэтъ; если эти умозаключенія невърны, она должна логически и фактически ясно раскрыть эту невърность, опредълить, почему произошла такая невърность, и если возможно исправить ее и показать, какъ нужно смотръть на тъ факты, которые представляются писателю въ искаженномъ видъ.

Воть основанія, которымь я постараюсь слёдовать при анализё новой пов'єсте Тургенева "Дымъ".

II.

Прежде все иы обратимъ внимание читателя на основное умозаключение, къ которому приходитъ авторъ анализомъ всёхъ дёйствующихъ лицъ повёсти. Это умозаключение темъ важно, что оно касается всей русской жизни. Воть какъ оно строится: писатель рисуеть передъ нами цёлый рядь пустыхъ и тщеславныхъ филистеровъ, которые убиваютъ время и силы въ Ваденъ-Ваденъ. Тутъ вы видите и князя Коко, который въ Парижъ, въ салонъ принцессы Матильды, въ присутствіи императора, такъ хороню сказаль: "Маdame, le principe de la propriété est profondement ébranlé en Russie", и графа X, несравненнаго диллетанта, глубокую музыкальную натуру, который такъ божественно "сказываеть" романсы, а въ сущности, двухъ нотъ разобрать не можетъ, не тыкая вкось и вкривь указательнымъ пальцемъ по клавишамъ, и поеть не то, какъ плохой цыганъ, не то какъ парижскій куаферь, и барона Z, который "настерь на всѣ руки, и литераторъ, и администраторъ, и ораторъ, и шулеръ", и князя : J, который "другъ религи и народа", составившій себ'в во время оно, въ блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмѣшанной дурманомъ, и многихъ другихъ; всѣ эти личности проматывають за рулеткой отцовское состояніе, бездільничають и скучають. Плохи? спрашиваетъ васъ авторъ.

— А вотъ вамъ русскіе радикалы, продолжаетъ авторъ; вотъ вамъ Губаревъ, глава кружка, человъкъ "наружности почтенной и немного глуповатой, лобастый, главастый, губастый, бородастый, съ широкой шеей; съ косвеннымъ, внизъ устремленнымъ взглядомъ... Онъ и славянофилъ, и демократъ, и сеціалистъ, и все, что угодно, а имѣньищемъ его управляль, и теперь еще управляетъ братъ; хозяинъ въ старомъ вкусъ, изъ тъхъ, что дангистами величали! Вотъ вамъ Ворошиловъ—ординарецъ, присланный къ наукъ и цивилизаціи, бывшій кадетъ, записанный на

золотую доску и трактующій о разныхъ ученыхъ и общественныхъ вопросахъ тономъ кадета, сдающаго экзаменъ. Вотъ вамъ Суханчикова, пискливымъ голосомъ кумушки-сплетницы разсказывающая небывалые ужасы объ аристократахъ. Вотъ вамъ Вамбаевъ, сколокъ съ грибобдовскаго Репетилова. Всё эти люди спорить о будущности Россіи и пьютъ циво, пьютъ пиво и сплетничаютъ и думаютъ, что они дёлають какое-то дёло. Хороши они? спрашиваетъ васъ г. Тургеневъ.

А вотъ вамъ типъ россійскаго Гамлета, вотъ вамъ Потугинъ, который вею жизнь тянулъ служебную лянку подъ начальствомъ дядюшки-самодура, учился терпънію, наконецъ вышелъ въ отставку, озлобился на все и на всёхъ, бьетъ баклуши, нападая то на славянофиловъ, то на радикаловъ, то на художниковъ, и занимается отъ нечего дѣлать складываньемъ слова ци-ви-ли-за-ція. Тургеневъ хотя и сочувствуетъ этому господину, вкладываетъ въ его уста свои собственным мысли, но повидимому не оказываетъ къ нему большаго уваженія, называя его заброшеннымъ, объньшъ, жолчнымъ, добрымъ чудакомъ.

Наконець, заключаеть Тургеневь, воть вамъ одинъ изъ лучшихъ представителей русскаго общества—Литвиновъ. Онъ не тратитъ по пустому время, какъ вся прочая баденская публика; а занимается

честнымъ трудомъ на общую пользу:

«Онъ понималь, что имѣніе его матери, плохо и вяло управляемое его одряжлёвшимь отцомь, не дамо и десятой доли тѣкъ доходовъ, которое могло бы давать, и что ев опытныхь, знающихъ рукахъ оно превратилось бы въ золотое дно; но онъ также понималь, что вменно опыта и знаны ему не доставало—и онъ отправился за границу учиться агрономіи и технологіи, учиться съ забуки. Четыре года синикомъ провежь онъ въ Мекленбургіъ, въ Силевіи, въ Карлсруэ, въздиль въ Бельгію, въ Англію, трудился добросовъстно, пріобръль познанія; не легко они ему давались, но онъ выдержаль искуст вонца, и вотъ теперь, увъренный въ самомъ сеоб, въ своей будущности, въ пользъ, которую принесесть землякамъ, пожалуй даже всему краю, онъ собирается возвратиться на родину».

Онъ нетолько не увлекается спорами о будущности Россіи въ роді. Губарева и его кружка, но находить, что въ Россіи рано мильть какія-бы то ни было политическія уб'яжденія. Онъ никому не уступаеть, ни передъ к'ямь не кланяется и нецодкупная честность его доходить до такой степени, что ещь отказывается оть любви, когда любимая жещцина предзадаеть ему безчестный путь для осуществленія этой любви.

Но въ концѣ концовъ оказывается, что и этотъ лучшій представитель русскаго общества не выдерживаеть самой слабой критики. Тургеневь, несмотря на все свое сочувствіе и уваженіе, которыя онъ питаеть къ своему герою, не можеть не замѣтить въ то же время несостоятельности его... Изъ этого сознанія вытекаетъ естественный выводъ, служащій заключеніемъ всего силлогизма. Если Литвиновъ, лучшій изъ всѣкъ прочикъ представителей русской жизни, выведенныхъ въ повѣсти, никуда не годится. Это сознаніе Тургенева рельефиѣе всего выступаетъ въ устахъ самого героя повѣсти.

«Дымъ, дымъ, повторилъ онъ нъсколько разъ; и

все вдругь показалось ему дымомъ, все, собственная жизнь, русская жизнь-все людское, особенно все русское. Все дымъ и паръ, думалъ онъ; все какъ будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бёгуть за явленіями, а въ сущности все то же, да то же; все торопится, спъщить куда-то и все исчезаеть безследно, ничего не достигая; другой ветеръ подулъ-и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная-и ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что съ громомъ и трескомъ совершалось на его глазахъ въ последние годи... димъ, шепталъ онъ, димъ; вспомнились горячіе споры, толки и крики у Губарева, у другихъ, высоко и низко поставленныхъ, передовихъ и отсталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей... дымъ, повторяль онъ, дымъ и паръ; вспомнился, наконецъ, и знаменитый пикникъ, вспомнились и другія сужденія и річи других государственных людей—и даже все то, что пропов'ядываль Потугинъ... дымъ, дымъ и больше ничего. А собственныя стремленья и чувства, и попытки, и мечтанья? Онъ только рукой махнулъ».

Вотъ къ какому умозаключению привелъ Тургенева анализъ русской жизни. Подобное сознаніе, проведенное по всей повъсти, послужившее даже заглавіемъ ся, производить странное внечатлівніе, въ родъ того, какое выносится изъ зръдища мрачной агоніи или сумасшедшаго дома... Вы читаете и недоумъваете, что это дълается съ писателенъ: смъется онъ надъ вами или, и въ самонъ дълъ, онъ дожилъ до такого мрачнаго сознанія... Но віздь съ этимъ шутить нельзя. Подобное сознаніе доводило честныхъ римлянъ до самоубійства... Дойти до него можно только въ двухъ случаяхъ: или когда человъкъ среди всеобщаго разложенія и вырожденія общества сохраниль нравственную и физическую свежесть, или наобороть, когда онъ среди общества молодаго, полнаго свёжихъ силъ и жизни, утратилъ личную энергію, самъ лично выродился, износился, и свое безсиліе, свое постыдное налодушіе перенесь на вскув, на томъ основании, что на людяхъ смерть

Надо глубоко вдуматься и изследовать причины подобнаго безусловнаго отрицанія... Действительно ли
русское общество представляет илемя выродившееся,
ни на что неспособное, и передовымь дюдямь его
остается только скорбёть при видё всеобщаго разложенія, какъ скорбёль когда-то Тацить, или наобороть—русскому племени, молодому и сильному, представляется долгое и великое существованіе, явятся
новыя поколёнія съ новыми силами, разовьется могучая и богатая жизнь, а на долю писателя, не постыдившагося выставить на всеобщее посм'єщище свое
дичное малодуміе—останется стыдъ и позоръ передъ
свомии соотечественниками.

III.

Не болье, какъ 200 льть тому назадъ Россія представляла изъ себя страну совершенно варварскую, полудикую. Замкиутый въ себя народъ упорио чуждался всякаго общенія съ иностранцами, всякаго нововведененія. Вслыдствіе этого въ странь не было заведено элементарныхъ удобствъ жазни: хорошихъ дорогъ, почтъ и дилижансовъ. По допотопнымъ дороцамъ, проведеннымъ еще со времени норманской торговли,

путешествовали люди, вооруженные съ ногъ до годовы, ежеминутно опасаясь какого-либо нападенія. Лѣса и овраги были наполнены разбойничьими шайками. Восточныя и южныя окраины царства постоянно теривли отъ нападенія татарскихъ ордъ. Помъщики, окруженные многочисленною дворнею, какъ вассалами, чинили судъ и расправу надъ своею дворнею безапелляціонно, засъкали кошками даже мелкопомъстныхъ дворянъ, охотились, пьянствовали и нередко выходили со своею дворнею на большую дорогу грабить проважие обозы съ товарами; случалось, что на такую поживу выбажали и пом'вщицы и делались славными матушками-атаманшами. При такихъ условіяхъ жизни даже и въ допахъ нужно было имъть оружіе на готовѣ, потому что разбойничьи шайки врывались подчасъ въ селенія, грабили и цёлые города. Одичалый, запуганный людь, безразлично сибшивая свои стародавнія языческія преданій съ догматами христіанской религіи, во всемъ видёль чудеса и чары, каждую бользнь и несчастие объясияль влыми наговорами, для каждаго шага въ жизни имълъ сотни всякаго рода приметь, жегь и бросаль въ воду колдуновъ, колдуній и еретиковъ, и въ каждомъ небесномъ явленіи читаль грядущее б'єдствіе: моръ, голодъ или войну. Въ судахъ господствовали безапелляціонная неправда и ужасающія пытки. Женщины, какъ на Востокъ, сидъли запертыя въ теремахъ, а мужчины находили единственное развлечение въ пъянствъ и дикой охотъ. Единственными общественными увеселеніями были кулачные бои, да хороводы, которые водились въ установленные издревле языческие праздники не только по селамъ, но и по улицамъ городовъ. Про такой народъ нельзя было сказать, что онъ выродился, изжиль; напротивъ того, очевидно было, что онъ и не начиналъ еще жить настоящею жизнью. Затемъ исторія представляєть намъ 200 лёть медленнаго перехода отъ мрака къ свъту, отъ варварства къ кой-какой цивилизаціи. Этотъ переходъ совершался, и теперь еще совершается носредствомъ сближенія нашего съ народами Западной Европы. На первый взглядъ исторія последнихъ 200 леть пожетъ доказаться, действительно, какимъ-то каосомъ, безпорядочнымъ шатаньемъ отъ одного ученія къ другому, безпівльною ломкою и переломкою... Но если мы вглядимся внимательное, им увидимъ весьма стройный и последовательный ходъ развитія сознанія русской мысли. Первое увлеченіе западною цивилизацією было, очевидно, слівпое увлеченіе дикарей, впервые вышедшихъ изъ мрака и увидевшихъ светъ... Для того, чтобы усвоить идеи, которыя развивались въ то время на Западъ, необходина была некоторая подготовка къ нимъ; но этой-то подготовки у нашихъ предковъ именно и не было. Наши предки, путешествовавшіе по Европ'в вм'вст'в съ Петром'ь, и не подогр'явали объ этихъ идеяхъ. Первое, что бросилось имъ въ глаза, были разныя виёшнія явленія жизни: механическій, строго разміренный, неизмінно - дійствующій строй разныхъ государственныхъ машинъ, красиво вооруженныя и марширующія арміи, гронадные флоты на моряхъ, а на сушт удобныя дороги, почты, великольпныя гостиницы, блескъ и роскошь придворныхъ баловъ, любезность дамъ, свободно являющихся въ общество и занимающихъ въ немъ первов мѣсто. Все это сейчасъ же начало пересаживаться на русскую почву съ полною энергіею свѣжихъ силъ и невѣжествомъ варваровъ. Наши предки того времени, одѣваясь въ нѣмецкіе и французскіе камзолы и являсь на доморощенныя ассамблеи блистать ломаннымъ французскимъ языкомъ, очень были похожи на древнихъ германцевъ, которые любили укращать свои тѣла римскими тогами и корчить изъ себя римлянъ.

Первая реакція противъ такого безсознательнаго увлеченія однёми внёшними формами европейской жизни началась со времени Екатерины. Тогда впервые явилось сознаніе, что одного увлеченія вижшними формами мало, что жизнь должна быть основана на прочныхъ нравственныхъ и общественныхъ началахъ--- эта новая мыслы сказалась во всемъ: въ ... Наказъ Екатерины, въ комедіяхъ Фонвизина, въ сатирахъ Новикова. Общественная сатира временъ Екатерины представляется наиз очень жалкою и бъдною, если мы приложимъ къ ней требованія нашего времени: она не касается коренныхъ общественныхъ золъ и преследуеть только внешнія завы, каковы: ваяточничество, казнокрадство, дурное обращение съ крестьянами, съ семьею и проч. Но не въ этомъ заключается значение ся для своего времени, а въ проведени новаго въ то время сознанія, что истинное образованіе заключается въ усвоени нравственныхъ и общественныхъ началъ, а не въ пустомъ внёшнемъ обезьянстве. Не надо забывать, что русская высль до Петра Великаго была преисполнена такого грубаго фетицизма, что обстричь бороду и променять длиннополый кафтанъ на короткій немецкій камзоль представлялось неслыханною ересью. Люди, которые решались на это, были великими прогрессистами своего времени. Въ настоящее время, конечно, ситшны тъ барыни, которыя являлись на ассамблею съ громадными, напудренными куафюрами, пушками на лиць, съ въерами въ рукахъ и въ фижмахъ. Но для своего времени онъ были прогрессистками, не менфе рфшительными, чфмъ и нфкоторыя изъ нашихъ современницъ. Сначала отъ нихъ отплевывались, какъ отъ исчадій антихриста, потопъ ихъ теривли, какъ необходимое зло; а еще позже начали смотреть на нихъ, какъ на светила прогресса, образцы образованности, и веж бросились подражать имъ. Наконецъ, время ихъ прошло; онъ сдълали свое дъло: въ царствование Едисаветы по всей России уже водворились европейскіе костюжы и европейское общежитіе, не было уже и вопроса о томъ, прилично ли соваться женщина въ общество; не было и рачи о томъ, не преступаеть ли праотеческій законь православія тоть, кто курить табакь, танцуеть, говорить но-французски и вздить за границу. Тогда пришло время сбить съ пьедесталовъ мниныя свътила прогресса, показать, что эти петиметры и модницы, которые находили образование единственно въ блестящихъ нарядахъ по последней моде, ловкихъ расшаркиваніяхъ и необузданномъ волокитствъ — вовсе не свътила прогресса, что истинная образованность заключается въ усвоеній разныхъ прочныхъ началь общественныхъ, нравственныхъ, а не въ одномъ подражани вившнимъ формамъ европейской жизни. Если ны будемъ съ

этой точки эрвнія смотрёть на общественную сатиру времень Екатерины, мы поймемь тогда всю важность ея для своего времени; сатира Новикова и Фонвизина вызвана была гразвитіемъ новаго сознанія въ обществъв; она открываеть собою новую эпоху развитія общества.

Если им обратимъ вниманіе на послёдніе годы царствованія Елисаветы и потомъ, пробъжавши быстро 100 лётъ, перенесемся къ годамъ крымской войны, намъ покажется, что общество наше много пережило впродолженіе пяти царствованій: сколько сдѣлано пріобрѣтеній новыхъ земель, сколько построено новыхъ городовъ, дорогъ, мостовъ, зданій; повсюду устроены почты и телеграфы, заведены школы, больницы; общественные нравы значительно смягчились; уничтожены пытки и смертная казнь; дворянамъ дарована вольность; мало-по-маду вывелись мрачные, звѣрообразные, типы, въ родѣ дѣдушки Багрова, Куралесова или Троекурова.

Но если мы вглянемся глубже и внимательнёе въ ходъ развитія русской жизни впродолженіе всего этого столётія, ты булемь поражены странною непроизведительностью всей этой эпохи... Начиная съ Екатерины П и кончая крымсой войною, передовые умы вълитературё и государственной жизни постоянно носились съ сознаніемъ, что жизнь должна быть основана на прочныхъ, правственныхъ и общественныхъ началяхъ, но изъ этого сознанія не выходило прочныхъ.

фундаментальныхъ реформъ.

Эта крайняя неръщительность и инерція въ правительственных сферахъ обусловливались общинъ состояніемъ образованныхъ слоевъ общества, въ которыхъ не замвчалось ни мальйшаго признака той живой, двигающей силы, которая могла бы увлечь за собою правительственныя сферы. — Образованные слои общества во все это время раздѣлились на два лагеря: одни искали прочныхъ началъ жизни въ допетровской Руси, въ преданіяхъ священной старины; другів увлекались французскою литературою XVIII въка и началами, выработанными французскою революцією. Несмотря на взаимный антагонизмъ, сначада между скептиками и мистиками, потомъ между славянофилами, и западниками, мы видимъ много въ нихъ общаго: большинство нашихъ доморощенныхъ скептиковъ были, въ сущности, такіе же рутинеры и консерваторы, какъ и мистики; они увлекались теми или другими готовыми, модными идеями совершенно такъ же, какъ предки ихъ увлекались западными костюмами и дебоширствомъ, т.-е. какъ предметомъ блестящаго щегольства и пріятной забавы для препровожденія времени. — На Запад'в эти иден были выработаны въками тяжелыхъ притъсненій и страданій. Люди видъли въ нихъ единственное спасеніе; единственный исходъ жизни и смерти. У насъ же этими самыми идеями увлекались люди, которые въ осуществленіи ихъ въ жизни не только не могли видеть какого-либо улучшенія своего благосостоянія, а напротивъ того цёлый рядъ лишеній: осуществить либеральныя идеи значило лишиться тысячи душь крестьянь, и витсть съ тыпь комфорта и блеска. Могли ди эти люди искренно и прочно увлекаться подобными идеями?... Если они и увлекались, то это было ничто иное, какъ шалость

игривой молодости, которая любить пройтись по дощечкъ черезъ пропасть или покататься въ бурю на лодкъ. Нодъ старость наши доморощенные скептики обыкновенно отрезвлялись и закидывали якорь въ спасительной гавани мистицизма. Если и встръчалось нъсколько людей, упругихъ въ своихъ убъжденіяхъ и пытавшихся провести ихъ въ жизнь, то эти люди стояли совершенно одиноко; ихъ считали жалкими безумцами и отъ нихъ трижды отрекались люди ихъ же лагеря. Посмотрите на большинство передовыхъ людей этой эпохи; возыките Державина, Фонвизина, Пушкина, и во всёхъ этихъ людяхъ вы увидите одно и то же явленіе: сначала они болже или менже либеральничають, а потомъ начинають оплакивать заблужденія молодости и замаливать грахи. Это явление очень понятно: человекъ не можетъ находиться долго въ разладъ съ своими убъжденіями; если онъ не въ силахъ переработать жизнь сообразно своимъ убъжденіямъ, то навърное можно сказать, что раньше или позже ноступить наобороть: наивнить убъждения сообразно съ жизнію. Но никогда еще люди не находились въ такомъ поразительномъ разладъ словъ и дълъ, какъ именно въ эту эпоху. Солидно резонерствующіе Правдины и Стародуны, желчные пессимисты Чацкіе, разочарованные жизнію Онфгины и Печорины, наконецъ маниловски-гуманные и философствующіе Лаврецкіе - вст они, какъ ни были красивы, ловки, умны, великодушны, какъ ни горячо стояли за честность н правду въ изящныхъ салонахъ, особенно въ присутствін дамъ, въ то же время ловко пользовались выгодами своего положенія и на заднихъ дворахъ обдівлывали втихомолку разныя дрянныя и грязныя дёлишки въ духъ Стегунова, Пъночкина и комп. Могли ли эти люди представить въ жизни что-нибудь кромт безобразнаго шатанья отъ одного увлеченья къ другому? Могли ли они выработать какія-нибудь прочныя прогрессивныя идеи, когда налъйшій прогрессъ быль убыточенъ для ихъ благосостоянія, и единственнымъ выгоднымъ для нихъ политическимъ убъждениемъ было неизмънное statu quo?

Неужели же во все это время не было людей, для которыхъ осуществление прогрессивныхъ идей, выработанныхъ западною цивилизацією, было бы не только не убыточно, а напротивъ того полезно, и необходимо? Такіе люди были, и много ихъ было. Но, къ сожальнію, идеи, которыя были полезны для этихъ людей, были чужды имъ. Откуда было этимъ людямъ взять эти идеи? Додуматься до нихъ самимъ? Но для этого потребны целые века. Заимствовать ихъ съ Запада? Но какимъ путемъ? Эти люди не имъди средствъ путешествовать за границею, выписывать иностранныя книги. Они проводили дни, а иногда и ночи, пригвожденные къ какому-нибудь сухому, каторжному, неблагодарному труду, едва обезпечивающему ихъ существованіе. Единственныя книжки, которыя были у нихъ подъ руками, это были разныя произведенія въ то время еще юной россійской литературы. Но, что могли они извлечь изъ этихъ книжекъ? Русская литература, находившаяся въ то время въ рукахъ паразитнаго слоя общества, который въ книжкахъ не искалъ ничего кромъ пріятнаго развлеченія, убаюкивала и нъжила своими художественными формами,

которыя вырабатывались съ каждымъ цоколёніемъ болёе и болёе, пока не дошли до своего апогел подъ перомъ Пушкина и Лермонтова; но въ то же время она не представляла никакихъ глубокихъ и здоровыхъ идей, которыя развивали и двигали бы общество.

При такихъ условіяхъ массѣ бѣдныхъ, честныхъ тружениковъ только и оставалось, что заучивать наизусть стихи Пушкина, увлекаться повѣстями Маринскаго, плакать, смотря на драмы Полеваго, и довольствоваться идеями, завѣщанными издревле со временъ Никона и Домостроя. А еще ниже, тамъ и не подозрѣвали даже, что существуетъ какая-либо русская литература, имѣющая претензію на народное или, какъ тогда выражались, національное значеніе.

Но уже въ 40-ые годы жизнь начинаетъ несколько проясняться: на канедрахъ университетовъ начинають появляться профессора въ родъ Грановскаго, Кудрявцева, деятельность которыхъ не ограничивается уже преподаваніемъ схоластической учености, отвлеченной отъ жизни; они проводятъ идеи, которыя невольно возбуждають къ анализу окружающей среды; они имъютъ своими слушателями не такихъ только людей, которые слушають ихъ лекціи ради пріятнаго щекотанія мозга, но и такихъ, которые пришли слушать ихъ, можетъ быть, изъ-за тридевять земель пъщкомъ, для которыхъ иден, проводимыя любимыми профессорами, были вопросами жизни и смерти. Въ то же время литература мало по малу перестаетъ ограничиваться одною выработкою изящныхъ формъ ради пріятной услады въ часы досуга. Подъ мощнымъ перомъ Гоголя и Бълинскаго она начинаетъ анализировать русскую жизнь, разрешать разные правственные и общественные вопросы. И вотъ подъ вліяніемъ новыхъ дъятелей литературы начала образовываться иная среда: это среда тёхъ бёдныхъ, честныхъ тружениковъ, о которыхъ ны выше говорили. Среда эта начинаетъ быстро развиваться, возрастать, нока, въ концѣ 50-хъ годовъ, не овладѣваетъ общественнымъ мивніемъ.

Къ этому періоду 40-хъ годовъ относится и начало дѣятельности Тургеневъ. Подъ вліяніемъ Гоголя и Вѣлинскаго, и Тургеневъ въ своихъ "Запискахъ Охотника" послужилъ тѣмъ идеямъ и тѣмъ общественнымъ вопросамъ, которые въ то время подымались въ обществень Очень можетъ быть, что и на тотъ великій общественный вопросъ, который Тургеневъ затронулъ въ "Запискахъ Охотника", онъ смотритъ въ настоящее время, какъ на дымъ и паръ и никому ненужную игру; но надо думать, что не такъ смотрѣть на этотъ вопросъ Тургеневъ, когда писалъ свои "Записки Охотника", и тѣмъ болѣе не такъ смотрѣть на него тѣ изъ его читателей, которые во всѣхъ общественныхъ вопросахъ видять вопросы жизни и смерти, а не праздную забаву отъ нечего дѣлать.

Наконецъ, настало время, въ которое мертвый застой и убійственный разладъ между дѣломъ и словомъ сдѣлались невыносимыми долѣе. Тогда правительство увидѣло необходимость приступить къ тѣмъ радикальнымъ реформамъ, о которыхъ до того времени только мечтали, не рѣшаясь сдѣлать ни шагу. Выѣстѣ съ этими реформами русское общество вступаетъ въ новый шеріодъ развитія, рѣзко отличающійся отъ всего пережитаго прежде. Мы переживаемъ такой переворотъ, который въ жизни русскаго народа имъетъ неизм'вримо большее значение, чамъ вст реформы Петра Великаго. Сблизивши насъ съ Европою и заимствовавши разныя внёшнія формы европейской жизни, Петръ Великій не коснулся существенныхъ основъ русской жизни, и эти основы оставались неизивнными до самаго последняго времени, хотя некоторыя изъ нихъ и прикрывались иностранными названіями. Нынъ же дъло касается именно этихъ основъ жизни: такія три реформы, какъ освобожденіе крестьянъ, открытіе тласныхъ судовъ и учрежденіе земства, уже нельзя назвать ничтожною игрою и топотнею на одноиъ мъстъ. Эти реформы вызвали къ политической жизни цёлыя массы. Если до крымской войны люди могли существовать, не имъя никакихъ политическихъ убъжденій, и политическія уб'єжденія казались какою-то лишнею роскошью, прихотью отъ нечего дёлать, то теперь имъть тъ или другія политическія убъжденія сдълалось существенною необходимостью, именно вслъдствіе этихъ реформъ. Въ самомъ дёль: что же такое значить стоять за освобождение крестьянъ съ землею или безъ земли, за реальныя или классическій гимнавіи, какъ не имъть ть или другія политическія убъжденія? Неужели же эти всё вопросы ничтожный дымъ и паръ? Неужели высшая степень благоразумія заключается въ томъ, чтобы твердить: въ Россіи рано иметь какія-либо политическія уб'єжденія, и нахать на все рукою, -освобождайте, моль, крестьянь, какъ хотите, съ землею, или безъ земли; заводите гимназіи классическія, реальныя, пожалуй, хоть идеальныя... намъ все равно, ны лучше побдемъ въ Баденъ и займемся наблюденіемъ надъ нашими либеральными соотечественниками.

Ръзкость переворота, который мы переживаемъ, сказывается во всемъ, даже въ мелочахъ жизни; надо быть совершенно слепымъ, чтобы этого не видеть. Прежнія поколенія были люди по преимуществу словъ, разъбдающей рефлексіи и безплоднаго анализа; прежде чтить ртшиться на какой нибудь шагь, они пускались въ самыя хитрыя и тонкія размышленія - дёлать этотъ шагъ или не дёлать, и какъ его дёлать, и хорошо ли будетъ, если его сдёлать, а не лучше ли погодить. На эти размышленія тратились обыкновенно все время и вся энергія, такъ что на самый шагь не хватало уже человъка. Нынъ совершенно наоборотъ: горячка дела до такой степени овладела нынешникъ покольніемъ, что оно часто впадаеть въ противоположную крайность; живеть заднинь умонь, то-есть ръшается на тъ или другіе шаги, очертя голову, прежде чёмъ обдумаетъ эти шаги: многія ошибки, неудачи и промахи последняго времени нельзя иначе объяснить, какъ именно излишнею поспъшностью поскоръе осуществить задуманное, не тратя времени на размышленія.

Въ то время, какъ правительство своими реформами положило первые начатки политическаго развитія Россій, литература не сидѣла сложа руки. Если мы оставимъ въ сторонѣ все, что было написано по поводу тѣхъ или другихъ насущныхъ вопросовъ современой жизни, а коснемся самаго скроинаго отдѣла литературы—переводческой дѣятельности, то и тутъ мы бу-

демъ поражены плодовитостью нашего времени. До крымской войны на русскій явыкъ переводились исключительно почти одни романы -- Жоржъ-Зандъ, Дюма, Сю, Теккерея. И вотъ, не болъе какъ въ 10 льтъ, образовалась цёлая литература переводныхъ сочиненій по всёмъ отраслямъ знаній. Перевести сочиненія такихъ великихъ столновъ европейскаго знанія, какъ Бокль, Милль, Дреперъ, Льюисъ, Спенсеръ, Шлоссеръ, Гервинусъ, Маколей, Дарвинъ, Фохтъ, Вундтъ и проч., значить составить эпоху. Это значить иными словами-сдёлать доступными ведикія иден занадной образованности для той среды тружениковъ, которая не имъетъ возможности ни путешествовать заграницею, ни выписывать иностранныя книги. Этимъ не только расширяется масса образованныхъ людей, но образованность пересаживается на истинную свою почву, то-есть въ тотъ слой общества, гдв она является не излишнею роскошью, а насущною потребностью. И этимъ самымъ вызывается къ жизни и великой деятельности этотъ слой общества.

IV.

Я не знаю, какое впечативніе производить пов'єсть Тургенева на читателей, не когда я читалъ ее, мив постоянно казалось, что она написана 30 леть навадъ. Въ самомъ дълъ, будь произведение Тургенева написано 30 леть назадь, Тургеневь быль бы совершенно правъ: действительно, все, что тогда говорилось, писалось, делалось, было пустымъ дымомъ, безобразнымъ шатаньемъ отъ Якова къ Сидору, которое не мъщало сохраняться въ неизивнности форманъ жизни, завъщаннымъ допетровскою стариною, -- тому же крипостному праву, тимь же бюрократическимь судамъ, тъмъ же приказамъ, хотя и подъ иностранными названіями. Действительно, въ то время невозможны были никакія политическія уб'яжденія, потому что общество состояло изъ массы тружениковъ, погруженныхъ въ невъжество, и горсти образованныхъ людей, для которыхъ, по ихъ общественному положенію, самое выгодное было не нить никакихъ политическихъ убъжденій. Но каждый читатель, хоть сколько нибудь следившій за темь, что нережило общество наше въ последнія 10 леть, можеть очень хорошо судить, на сколько примънимо къ нашему времени то, что такъ хорошо характеризуетъ 30-ые годы. Что же за причина, что Тургеневъ какъ будто совершенно не видитъ, что делается передъ его глазами, н ему кажется, будто общество наше живеть все такою же жизнію, какою оно жило леть тридцать тому назадъ. Тургеневъ забыль даже и о "Зацискахъ Охотника", въ которыхъ онъ заплатилъ дань 40-мъ годамъ. Это весьма любопытный патологическій фактъ. Для объясненія его мы обратимся опять къ тому силлогизму, на которомъ строитъ Тургеневъ свою повъсть. Я попрошу читателя припомнить, что несостеятельность современнаго общества Тургеневъ выводить изъ того, что одинъ изъ дучшихъ представителей русской жизни — Литвиновъ оказывается несостоятельнымъ. Попробуемъ разобрать этого Литвинова внимательнее, действительно ли онъ лучшій представитель нашей жизни, не ощибается ли Тургеневъ въ своемъ героб.

Для того, чтобы судить о томъ, принадлежить ли Литвиновъ къ числу лучшихъ людей нашего общества, необходимо имёть масштабъ, по которому можно было бы измърить достоинства Литвинова. Каковъ же долженъ быть этоть масштабъ? До сихъ поръ при вопросё о положительныхъ типахъ и хорошихъ людяхъ, употреблялся у насъ масштабъ исключительно количественный. Насъ заставляли поклоняться такимъ типамъ,.. какъ Евгеній Онёкинъ или Печоринъ единственно потому, что это, такъ-называемыя, сильныя

натуры, люди выше другихъ головою.

Но изибреніе людей однимъ количественнымъ масштабомъ ни къ чему не можетъ повести, какъ только къ безплодному отчалнію и разочарованію; живой приифръ такого разочарованія представляеть намъ романтизмъ, который, ища повсюду великихъ душъ и избранныхъ натуръ, доискался наконецъ до того, что потеряль всякую вфру въ людей. Количественный масштабъ достался намъ по наслёдству отъ романтизма-и до сихъ поръ еще на каждомъ шагу онъ употребляется въ литературъ и въ жизни. До сихъ поръ еще у насъ въ ходу выраженія, въ родъ: сильная натура, недюжинный человъкъ, личность, возвышающаяся надъ посредственностью. Если мы примемъ иной, качественный масштабъ, тогда всё-эти выраженія покажутся весьма несостоятельными для определенія истинныхъ достоинствъ людей, которыя зависять не отъ количества силь, а отъ качества ихъ, то-есть отъ того, куда и какъ направлены эти силы. Что толку, что Печоринъ заключалъ въ себъ необъятныя силы, если он'в всё были употреблены на разсвяніе вла и себв, и людямь, если, куда ни являлся Печоринъ, вездъ отъ его силъ страдали ближніе, и самъ онъ страдалъ больше всёхъ ихъ? Не достойнъе ли этого Печорина последній разносчикъ, силь котораго хватаетъ только на то, чтобы выкрикивать свой товаръ и разносить его, кому нужно?

Качественный масштабъ тёмъ хорошъ, что онъ приложимъ ко всёмъ людямъ безъ исключенія; онъ не предполагаетъ необходимости имізть титаническія силы для того, чтобы биль хорошить человёкомъ; онъ находить человёка въ слабомъ, безпомощномъ, загнанномъ и забитомъ труженикі, и караетъ мерзавца, какъ бы ни быль этотъ мерзавецъ красивъ, уменъ и

энергиченъ.

Для опредвленія качественнаго масштаба, по которому мы будемъ оцібнивать —Литвинова, я попрошу читателя перечитать или припоминть біографіи людей въ роді Ломоносова, Новикова, Кулибина, Мартынова, Біблинскаго, Добролюбова и многихъ другихъ, боліє или меніе извібстныхъ личностей. Я обращаю вниманіе читателя на этихъ людей вовсе не потому, что они возвышались надъ толною и были геніальніе другихъ. Я попрошу читателя забыть на время это. Я буду обращать вниманіе на качественную сторону ихъ натуры, а не на количественную. Что же касается до качественной стороны ихъ натуры, то этою стороною они стоять нисколько не выше многихъ Ивановъ Ивановичей и Петровъ Петровичей, моихъ пріятелей и твоихъ пріятелей, читатель, которые не попали въ

исторію потому, что не обладають достаточнымъ количествомъ силъ для этого, но они тёмъ не менёе ничёмъ не хуже Ломоносова, или Бёлинскаго. Я бы могъ обойтись и безъ историческихъ личностей, а ввять одного изъ своихъ знакомыхъ и описать его, для сравненія съ Литвиновымъ; но въ такомъ случай могутъ заподозрить, что я выдумаль этого знакомаго изъ своей головы; возъмемъ же, коли такъ, общихъ знакомыхъ, каковы Ломоносовъ, Новиковъ и проч.

Прежде всего мы видимъ, что всё эти люди были весьма усидчивые и усердные труженики, не бросавшіе своего труда до гробовой доски. До сихъ поръ у насъ сохраняются взгляды на трудъ, такіе же древніе, какъ и самыя слова, выражающія это понятіе. Слова: трудъ, работа, составились, очевидно, въ то время, когда не было свободнаго труда, а былъ одинъ принудительный трудъ, рабство. И до сихъ поръ еще подъ трудомъ разумъется что-то такое, къ чему человъкъ принуждается; трудъ противополагается наслажденію, а челов'єкъ, добровольно принимающійся за трудъ, предполагается обладающимъ сильною волею. Очевидно, что если трудъ есть нѣчто такое, къ чему человъкъ не чувствуетъ естественнаго влеченія, то необходима огромная сида воли, чтобы приняться за него. Такой взглядъ поддерживается ненормальнымъ распредъленіемъ труда, при которомъ, дъйствительно, большинство людей принуждены бываютъ тратить весь запасъ воли на принуждение себя къ труду, къ которому не имъютъ ни малъйшаго влеченія.

Совершенно не таковы были люди, о которыхъ мы говоримъ. Тъ біографы, которые, удивляясь ихъ упорству въ трудъ, ставять въ образецъ колоссальную силу воли этихъ людей, совершенно не понимаютъ ихъ; вовсе не сила воли, а двъ страсти владъли этими людьми. Первая страсть заключалась въ горячей, глубокой, доходящей до энтувіазма любви къ родинъ. Это была не слепая, дикая любовь разных в квасных в патріотовъ, которые не видять въ своей землѣ ничего, кром' безусловных совершенствъ, выходятъ изъ себя, если кто-нибудь зам'ятитъ хотя одну мрачную краску на предметь ихъ любви, и для которыхъ совершенно достаточно, если родина ихъ достигаетъ наружнаго величія и блеска, хотя бы подъ этимъ блескомъ скрывалась внутренняя гниль. Подъ любовью къ родинъ эти люди разумъли страстное желаніе блага своимъ соотечественникамъ, желаніе всеобщаго счастья и довольства. И это было не что-либо надуманное, вычитанное изъ хорошихъ книжекъ, а дъйствительная страсть, которая заставила Ломоносова воскликнуть на смертномъ одръ: "я умираю и на смерть гляжу равнодушно; жалью о томъ только, чего не успълъ совершить для пользы наукъ, для славы отечества и академіи нашей. Къ сожадінію вижу, что благія мон намфренія исчезнуть вифств со мною". Какія же это были нам'тренія?... Ломоносовъ прежде всего страстно желалъ распространенія просвіщенія но всей массѣ народа, чтобы могли изъ народа выйти многочисленные Ломоносовы. Вся его академическая двятельность была направллена къ этому. Это была тревожная полная борьбы пропаганда распространенія просвъщенія въ Россіи. "Чтожь до меня надлежить — писалъ Ломоносовъ къ Теплову-то я къ сему себя по-

святилъ, чтобъ до гроба моего съ непріятелями наукъ россійских в бороться, какъ ужь борюсь двадцать літь; стояль за нихъ смолода, на старость не покину Одной пропаганды просвъщенія было бы совершенно достаточно, чтобы посвятить ей всю жизнь, но Ломоносовъ не могъ ограничиться ею: страстная любовь къ народу и притомъ къ народу страждущему, угнетенному, влекла его къ более широкой деятельности. Такъ, въ одномъ изъ цисемъ къ Шувалову, онъ излагаетъ нѣсколько мыслей о сохранении и размножении русскаго народа и между прочимъ пишетъ следующее: "Божественное дёло и инлосердыя, и человёколюбивыя, нашея монархини кроткаго сердца достойное дъло-избавлять подданных отъ смерти, хотя бы иные по законамъ и достойны были. Сте помилование весть явное и прямо зависящее отъ ся материнскія высочайшія воли и повельнія. Но много есть человъкоубивства и еще самоубивства, народь умаляющаго, коего непосредственными указами, безъ исправленія или совершеннаго истребленія нткоторых вобычаевь, и еще нокоторых подъименемь узаконеній вкоренившихся, истребить невозможно... И вотъ Ломоносовъ предпринимаетъ цѣлое сочинение, въ которомъ намфревается изложить свои мысли: 1) о размноженім и сохраненім россійскаго народа, 2) о истребленіи праздности, 3) о исправленіи нравовъ и большенъ народа просвъщеніи, 4) о исправленіи земледёлія, 5) о исправленіи и размноженіи ремесленных діль и художествь, 6) о лучшихъ пользахъ купечества, 7) о лучшей государственной экономін, 8) о сохраненіи военнаго искуства во время долговременнаго мира. То-же живое, страстное побуждение заставило Новикова раздавать народу даромъ хлёбъ въ голодный годъ и издавать книги для народнаго просвъщенія. А Бълинскій-ну, не сившно-ли, что онъ ухлопалъ себя преждевременно писаньемъ журнальныхъ статеекъ? Говорятъ, что Добролюбовъ просиживалъ ночи за писаньемъ своихъ статей, и друзья насилу могли отрывать его отъ письменнаго стола, видя что ему вредно такое бавніе, насилу могли спровадить его ва-границу лечиться. Неужели такое страстное занятіе діломь, доходящее до какогото запоя, заглушающее въ человъкъ чувство самосохраненія, происходило изъ холоднаго принципа пользы, и механической силы воли, заставлявшей притвождать себя къ письменному столу, когда жизнь висела на волоскъ?...

Другою страстью, возбуждавшею этихъ людей къ дъягельности, была любовь къ самому процессу труда, безотносительно его приложенія. Жалки тъ люди, которые вносять въ жизнь один холодные припципы, не оживляя ихъ страстными влеченіями, составляющими могучій двигатель жизни. Такіе люди, додумавшись до той идеи, что слёдуетъ трудиться на общую пользу, начинаютъ обыкновенно холодно раздумывать, какойже-бы это трудъ предпринять имъ? Начать развъ заниматься наукою? Но какою же? Исторією или ботаникою? Исторією интереснёє; но... химією полевнёє... Дай займусь химією... А то не заняться ли переводами, не завести ли болотеку?... Нётъ, пойду лучше въ зарвокаты!... Подобная готовность заниматься, чъмъ утодно, показываетъ неспособ-

ность ни къ чему. Химиками или адвокатами сдёлаются эти люди, все равно: они навсегда останутся жалкими рутинерами и педантами въ своемъ дёлё и ихъ всегда обгонитъ человъкъ, страстно привязанный къ своему труду. Страсть, влекущая къ труду, всегда перетянетъ силу воли, принуждающую человъка къ тому же труду, какъ бы ни быда велика эта сила. Она управляется совершенно тами же законами, какъ и половая любовь. Только ту любовь им называемъ истинною, благотворною, которая является свободнымъ, страстнымъ влеченіемъ. Всякаго человъка, принуждающаго себя къ половой любви, мы называемъ проститутомъ, все равно каковы бы ни были причины такого принужденія, котя бы самыя высокія. Следствіемъ принужденія къ труду является отвращеніе отъ него, побуждение залить скуку ненаполненной жизни пьянствомъ или развратомъ; медленное угасаніе физическое, отупъніе и жалкое прозябаніе подъ старость, или же сумаществие и смерть отъ самоубійства. Не таковъ былъ трудъ, который наполнялъ жизнь людей, разсматриваемыхъ нами: онъ не быль для нихъ принужденіемъ, а напротивъ того, они выносили изъ него то жгучее наслаждение, которое испытываетъ всякій человікь въ минуты удовлетворенія какой-нибудь страсти; им видели уже, до какого излишества доходиль въ своемъ трудъ Бълинскій-излишества, которое заставляло его пренебрегать потребностью отдыха въ такое время, когда серьезная бользнь угрожала ему смертію: Ломоносовъ быль еще необузданнъе въ своемъ трудъ: случалось, что по цълымъ недълямъ онъ не выпускаль изъ рукъ книгъ; забывая даже обедать и питаясь въ это время однимъ мартовскимъ пивомъ да бутербродами. Для такихъ людей, съ ихъ горячимъ влечениемъ къ своему труду, немыслимо было бросить разомъ свой трудъ и промънять его на что нибудь другое, напримъръ, на составление карьеры ради увлеченія любимой женщиной. А между тімь, они не были мрачными аскетами, не говорили, что въ жизни каждая минута должна быть посвящена труду, что человекъ долженъ быть глухъ ко всемъ прочимъ наслажденіямъ жизни, долженъ считать ихъ ниже себя. Такой надуманный ригоризмъ, сдавливающій природу человека и искажающій ее, быль чуждь этинь людямъ. Какъ ни любили они свой трудъ, они не были чужды разныхъ наслажденій жизни; они всё любили и были любимы, хотя не делали изъ любви содержанія всей жизни. Страсть къ труду и къ дюбимой женщинъ не только не мъщали у нихъ другъ другу, а напротивъ того помогали одна другой. Но всё эти люди не были чужды даже и самыхъ обыденныхъ развлеченій: для Ломоносова быль правдникъ, когда къ нему прівзжали архантельскіе земляки, и онъ пироваль съ ними до поздней ночи; Вълинскій страстно любилъ играть въ преферансъ и не считалъ эту страсть недостойною себя.

Таковы были люди, стоявше во главѣ русскаго прогресса. Я указалъ на главныя черты этого положительнаго типа, но эти черты такого свойства, что онѣ нисколько не зависятъ отъ степени геніальности этихъ людей. Горячая любовь къ ближникъ, горячая любовь къ труду и простое, естественное отношеніе къ жизни, безъ всякихъ натяжекъ и аффектацій—

вотъ три простыя свойства, которыя сдёлали этихъ людей великими: но, выдь эти свойства можеть иноть каждый человокь, какъ бы ни были ничтожны его силы въ количественномъ отношении. Въ числъ твоихъ знакомыхъ, читатель, по всей въроятности, найдется не одинъ, не два человъка, обладающихъ такими свойствами. Бълинскій воспиталь покольніе; ты вследствие этого знаешь его, читатель. А вонъ тамъ, где нибудь на чердачке, сидить безвестный переводчикъ или переводчица и строчатъ они заказную работу къ завтрашнему дию; какъ они бъдны, просты, даже сившны; ничего-то въ нихъ нътъ особеннаго, что возвышало бы ихъ надъ толпою: ни отпечатка высокихъ думъ на челъ, ни гордаго страданія во взорахъ; сидятъ и строчатъ переводъ, и идутъ у нихъ дни за днями упорнаго труда, пересыпаемаго обыденными шутками, обыденными забавами, можетъ быть и обыденною любовью безъ романтическихъ страданій и ужасовъ... А между тімь эти простые и безвъстные труженики такіе же герои, какъ и Бълинскій; они тоже воспитывають покольніе въ числь другихъ такихъ же тружениковъ, какъ и они...

Что такіе люди есть, что ихъ много на Руси—въ этомъ никто не сомнѣвается. Не сомнѣвается также никто и въ томъ, что ихъ только можно назвать лучшими представителями русскаго общества. Посмотримъ же, принадлежить ли къ ихъ числу Литвиновъ, чтобы по немъ, какъ лучшемъ представителѣ нащего общества, можно было судить о несостоятельности нашей жизни вообще.

V.

Литвиновъ былъ сынъ отставного служаки-чиновника изъ купеческаго рода, попавшаго въ помъщики по милости жены-дворянки. Онъ получилъ первоначальное воспитаніе въ деревнѣ, а потомъ, по смерти матери, поступилъ въ московскій университетъ. Будучи студентомъ, онъ часто посъщалъ князей Осининыхъ, проживавшихъ въ Москвѣ въ весьма стѣсненыхъ обстоятельствахъ, чутъ не въ бѣдности. Здѣсь онъ сошелся впервые съ дочерью Осининыхъ, Ириною, только что вышедшею изъ институтъ.

Большинство читателей отнеслось къ Иринъ весьма пренебрежительно, какъ къ пустой, тщеславной, безхарактерной свётской кокеткв. Она, которая такъ иламенно любила и нѣжно была любима, промѣняла свою любовь на мишурный блескъ большого свъта. Мало того, потомъ, когда опять встрътилась съ любимымъ человекомъ, после самыхъ упонтельныхъ свиданій, вторично пром'єняла своего любовника на тотъ же мишурный блескъ!... Первую ея измену, такъ и быть, можно еще простить ради того, что она получила илохое образованіе, была молода и неопытна... Но во второй разъ!... О, туть она вполив изведала опытомъ, каковъ этотъ светъ, успела разочароваться въ немъ совершенно, и вдругъ что же: милый человъкъ зоветъ ее вкушать счастіе любви подъ соломенною крышею, она отвъчаетъ: я не могу, я не въ силахъ; милый человъкъ предлагаетъ ей мъсто возлъ себя въ вагонъ, она стоятъ, какъ истуканъ!... Ей

жалко брюссельскихъ кружевъ и баденскихъ пикниковъ!... Какое ужасное паденіе!...

Я очень хорошо понимаю твое добродътельное негодованіе, моя милая читательница. Это негодованіе происходить оттого, что у тебя доброе и чувствительное сердце. Но, увы я не въ силахъ сердиться на Ирину... Мало этого, я убъжденъ, что каждая моя, хоть сколько нибудь порядочная читательница, встрёться она въ своей жизни съ Литвиновымъ, поступила бы навърное такъ же, какъ и Ирина, то есть променяла бы Литвинова на какой нибудь светь. Очень можеть быть, что это быль бы иной свёть инаго солнца; но во всякомъ случав я убъжденъ, что читательница не могла бы удовлетвориться узкою любовью Литвинова и изменила бы ему не лучше Ирины. Если въ чемъ нибудь можно пожалеть Ирину, такъ это въ томъ, что она променяла Литвинова на мишуру, а не на что нибудь лучшее. Но посмотримъ, виновата ли она и въ этомъ? Прежде всего мы попросимъ читателя выкинуть изъ головы всю последующую жизнь Ирины, и представить ее себ'в такою, какова была она до встрвчи съ Литвиновымъ. Вотъ какою изображаетъ ее намъ писатель:

«Это была дівушка высокая, стройная, съ нівсколько впалою грудью и молодыми узкими плечами, съ радкою въ ен лата бладно-матовою кожей, чистою и гладкою, какъ фарфоръ, съ густыми, бълокурыми волосами: ихъ темныя пряди оригинально перемежались другими, свътлыми. Черты ен лица, взядню, почти высканно правильныя, не вполив еще утратили то простодушное выражение, которое свойственно первой молодости; но въ медлительныхъ наклоненіяхъ ся красивой шейки, въ улыбкі не то разсвянной, не то усталой, сказывалась нервическая барышня, а въ самомъ рисункъ этихъ чуть улыбавшихся тонкихъ губъ, этого небольшого ординаго, нъсколько сжатаго носа, было что-то своевольное и страстное, что-то опасное и для другихъ, и для нея. Поразительны, истинно поразительны были ея глаза изъ-черна стрые, съ зеленоватыми отливами, съ поволокой, длинные, какъ у египетскихъ божествъ, съ лучистыми рѣсницами и смѣлымъ взмахомъ бровей. Странное выражение было у этихъ глазъ: они какъ будто глядьли, внимательно и задумчиво глядьли изъ какой-то невъдомой глубины и дали. Въ институтъ Ирина слыла за одну изъ лучшихъ ученицъ по уму и способностямъ, но съ характеромъ непостояннымъ, властолюбивымъ и съ бъдовою головой; одна классная дама напророчила ей, что ея страсти ее погубять: «vos passions vous perdrent»; за то другая классная дама ее преследовала за холодность и безчувственность, и называла ee «une jeune fille sans соеиг». Подруги Ирины находили ее гордою и скрытною, братья и сестры ея побанвались, мать ей не довъряла, а отцу становилось неловко, когда она устремляла на него свои таинственные глаза; но и отцу, и матери она внушала чувство невольнаго уваженія не въ силу своихъ качествъ, а въ силу особенныхъ, неясныхъ ожиданій, которыя она въ

нихъ возбуждала, Богъ въдаетъ, почему.

— Вотъ ти увидишь, Прасковъя Даниловна, сказать однажды старый князъ, вынимая чубукъ изо рта:—Аринка-то насъ еще вывезетъ.

Княгиня разсердилась и сказала мужу, что у него «des expressions insupportables», но потомъ задумамась и повторила сквозь зубы:

- Да... и хорошо бы насъ вывезти.

Ирина пользовалась почти неограниченною свободою въ родительскомъ домъ; ее не баловали, даже не много чуждались ел, но и не прекосховили ей: она только того и хотёла, и держала себя вообще довольно странно... Бывало, при какой нибудь уже слишкомь унивительной сцені; давочникъ ли придетъ и станетъ кричатъ на весь дворъ, что ему ужъ надобло таскатъся за своими же деньгами, собственные ли люди примутся въ глаза бранитъ своихъ господъ, что ем, молъ, за князъя, коли сами съ голоду въ кулакъ свищете — Ирина даже бровью не пошевельнетъ и сидитъ неподвижно со злою улюбкой на сумрачномъ лицѣ; а родителямъ ей одна эта ульожа горше всикихъ упрековъ, и чувствуютъ они себя виноватыми, безъ вины виноватыми, передъ этимъ существомъ, которому какъ будто съ самого рожденія дано было право на богатетво, на роскошь, на поклоненіе»...

Въ этомъ изображении вы видите девушку, одаренную богатыми силами; видите, что эти силы покоряли все, что окружало ее: всв ее за что-то уважали, чего-то ждали отъ нея, и не только не сибли прекословить ей, но побаивались ея. Далбе вы видите, что она не могла довольствоваться узенькою, стренькою, мтщанскою обстановкою своего дома... И это не удивительно: такія натуры никогда не уживались въ узенькой, замкнутой сфер'в монотоннаго, однообразнаго прозябанія. Он'є всегда стремились разбить затхлую раковину, которая стёсняеть ихъ дыханіе, и вырваться на просторъ; всегда мечтали о жизни шумной и разнообразной, полной движенія и свъта... Въ періодъ дикой жизни такія женщины бросали домашній очагь, делались удалыми поляницами и мерялись силою съ богатырями. Таковы типы Брунегильды и удалой жены Дуная Ивановича Въ средніе вѣка такія женщины делались Іоннами д'Аркъ, Марфаии Посадницами или Юліаніями Лазаревскими. Когда мрачная, озлобленная Ирина тлядела на мелкія домашнія дрязги, въ ея молодой головкъ развивалась картина иной жизни, не такой жалкой, монотонной... Какую же иную жизнь ногда представлять себ'в Ирина? Не забывай, читатель, при этомъ, ту огромную разницу, какая существуетъ между количествомъ данныхъ силъ до качествомъ ихъ. Отбрось разъ на всегда романтическую идею, что если человъкъ одаренъ богатыми силами, то онъ непременно долженъ идти по хорошей дороге. Недостаточно имъть много силъ: надо, чтобъ силы эти были хорошо направлены. Попадись Иринъ въ это время одна хорошая книжка, которая заняла бы ее; встрёться съ нею хорошій человікь, который могь бы указать ей на жизнь, полную добра, истины и свътаона увлеклась бы по указанной дорогѣ съ такою же стремительностью, съ какою бросилась въ объятія свъта. Но ни хорошей книжки, ни дъльнаго человъка не видала она вокругъ себя. Люди, которые окружали ее, съ самаго детства постоянно напевали ей въ уши о прелестяхъ большого свъта и о ея правахъ принадлежать къ нему. Весьма естественно, что жизнь, о которой она мечтала, не могла представляться ей иначе, какъ въ видѣ жизни большого свѣта; она воображала эту жизнь полною блеска, шума и движенія; ей казалось, что тамъ есть гдѣ разгуляться полодымъ силамъ, есть съ къмъ помъряться, и она мечтала, какъ она сдёлается победительницею и всёхъ увлечеть за собою. Въ это роковое для нея время предсталь передъ нею Литвиновъ. Онъ не принадлежаль къ большому свъту, не имъль къ нему никакихъ вдеченій, былъ челов'єкъ иной сферы, учидся въ

университеть, мечталь о томъ, какъ онъ будеть трудиться съ Ириною со временемъ, и даже либеральничалъ, увлекался Робеспьеровъ... Что жь, онъ увлекъ въ свою сферу женщину, которую полюбилъ? Сдълаль ли онь, по крайней-мъръ, хоть какую-нибудь попытку внушить ей болбе правильные взгляды на жизнь? Онъ вотъ какъ велъ себя передъ нею:

«Бывало забывъ лекціи и тетради, сидить онъ въ невеселой гостиной Осининскаго дома, сидить и украдкой смотрить на Ирину: сердце въ немъ медленно и горестно ноеть и давить ему грудь; а она какъ будто сердится, какъ будто скучаеть, встанеть, пройдется по комнать, холодно посмотрить на него, какъ на столь или стуль, пожметь плечомъ и скрестить руки; или въ теченіе цалаго вечера, даже разговаривая съ Литвиновимъ, нарочно ни разу не виглянетъ на него, какъ бы отказывая ему и въ этой милостынь; или, наконець, возьметь книжку и уставится въ нее, не читая, хмурится и кусаеть губы, а не то вдругъ спросить у отца или у брата: какъ по-иъмецки терпъніе?»

Пусть только читатель вообразить себь, какъ быль смёшонъ этотъ нёжный, вздыхающій, молчащій и тающій любовникъ передъ удалою поляницею-- и онъ вполнъ пойметъ, что сердило Ирину, почему она относилась къ Литвинову съ презрительною суровостью, пожимала плечами и спрашивала у отца, какъ по-нъмецки терпъніе. Случись рядомъ съ Литвиновымъ другой человъкъ, хоть немножко живъе и энергичнъе, по всей въроятности, Литвиновъ такъ и остался бы безответнымъ, тающимъ дюбовникомъ; но другаго такого не было возл'в Ирины, а между темъ, молодая кровь ея жаждала любви, сочувствія и воть она, наконецъ, полюбила Литвинова, или, по крайней мъръ, вообразила, что полюбила. Что же онъ? Сделался ли онъ хоть теперь немножко поэнергичнее, теперь, когда счастіе удыбнулось ему? Задаль ли онь себѣ хоть разъ вопросъ: "если я хочу соединить свою судьбу съ судьбою женщины, то не изшаеть подумать, какія убъжденія и стремленія у этой женщины, согласны ли съ монии убъжденіями, и если не согласны, то нельзя ли сдёдать какъ нибудь такъ, чтобы были согласны?"... Не только никакого подобнаго вопроса не приходило въ голову. Литвинову, напротивъ того, мы видимъ, что если онъ таялъ во время безуспѣшной любви, то при усившной онъ окончательно растаяль.

«Ирина вполить завладёла своимъ будущимъ женихомъ, да и онъ самъ охотно отдался ей въ руки. И жутко ему было, и сладко, и ни о чемъ онъ не жалълъ, и ничего не берегъ. Размышлять о значения, объ обязанностяхъ супружества, о томъ, можеть ли онъ, столь безвозвратно покоренный, быть хорошимъ мужемъ и какая выйдеть изъ Ирины жена, и правильны ли отношенія между ними-онъ не могь рѣшительно; кровь его загоралась, и онъ зналь одно: идти за нею, съ нею, впередъ и безъ конца, а тамъ будь что будеть!»...

А вѣдь у Ирины на столько было сильно чутье, что она сошлась съ человъкомъ иной сферы, что даже безъ всякихъ усилій съ его стороны, она хоть на время сделалась иной женщиной: "Ирина стала вдругь повадлива, какъ овечка, мягка, какъ шелкъ и безконечно добра; принялась давать уроки своимъ младшимъ сестрамъ, не на фортепіано, -- она не была музыкантшей, но во французскомъ языкъ, въ англійскомъ; читала съ ними ихъ учебники, входила въ хозяйство...,

Она чуяла, хотя и очень смутно, что съ Литвиновымъ она готовится къ какой-то иной жизни, и хотя при старой закваски могла еще возмущаться иногда отсутствіемъ перчатокъ на рукахъ милаго, или своинъ бъднымъ платьемъ, но потомъ она сама искренно каядась въ своихъ выходкахъ... Подъ вліяніемъ этого смутнаго въянія иной жизни, она наотръзь отказазалась вхать на баль въ благородное собрание, когда ее начали убъждать въ этомъ родители. Каково же было удивление ея, когда иилый ея, во имя котораго она именно и отказалась отъ бала, съ своей стороны, началь убъждать ее вхать на баль. Ирина пристально и внимательно посмотрела на него, такъ пристально и внимательно, что онъ смутился, и, поигравъ концами своего пояса, спокойно промолвила:

— Вы этого желаете? вы?..

Въ одномъ этомъ вопросв заключается вся исторія любви Ирины... Ожидание отъ Литвинова чего-то иного и внезапное разочарование въ своемъ ожидани...

– Да... и полагаю, отвёчаль съ запинкой Литвиновъ. – Я согласенъ съ вашимъ батюшкой... Да и почему вамъ не повхать... людей посмотръть и себя показать, прибавиль онъ съ короткимъ сибхомъ...

Можетъ ли быть что нибудь и дряните, и ситинте Литвинова въ подобномъ отвъть? Вы видите, что человекъ въ сущности нисколько не убъжденъ, что Иринъ слъдуетъ вхать на балъ, а самъ убъждаетъ ее **Вхать.** Для чего же онъ делаеть это? Для того, чтобы угодить папенькъ и маменькъ? Могъ ли такой безхарактерный, дрянной человекь оставаться героемь девушки въ духъ Ирины? Немудрено, что затъмъ послъповаль такой разговоръ:

- Себя показать, медленно повторила она. -Ну, хорошо, я поъду... Только помните, вы сами этого желали.

То-есть, я... началь было Литвиновъ.

Вы сами этого желаете, перебила она. — И воть еще одно условіє: вы должны мив обвщать, что вась на этомь баль не будеть.

- Но отчего же? Мив такъ хочется.

Литвиновъ разставиль руки. Покоряюсь... но признаюсь, мив было бы такъ весело видать вась во всемь великольній, быть свидътелемъ того внечатавнія, которое вы непремънно произведете... Какъ бы и гордился вами! прибавиль

онъ со взпохомъ. Ирина усмѣхнулась.

Все это великольніе будеть состоять въ быломъ платъъ, а что до впечатлънія... Ну, словомъ, я такъ хочу.
— Ирина, ты какъ будто сердишься?

Ирина усмъхнулась опять.

О, нъты! Я не сержусь. Только ты... Она вперила въ него свои глаза, и ему показалось, что онъ еще никогда не видаль въ нихъ такого выраженія.-Можеть быть, это нужно, прибавила она вполголоса. - Но, Ирина, ты меня любишь?

Я люблю тебя, отвътила она, съ почти торжественною важностью, и крыпко, по-мужски, пожала ему руку.

Въ этомъ разговоръ просвъчиваетъ полное разочарованіе Ирины въ своемъ миломъ, и вы напередъ предугадываете разрывъ. Онъ не захоталь быть героемъ въ той иной сферв, въ какой смутно ждала отъ него Ирина геройства. Онъ оказалъ въ этой иной сферъ поднъйшую дрянность; подстрекаемый другими, онъ

сталь толкать Ирину въ тоть мірь, куда она могла идти и безъ него, и если она не шла туда, то потому, что между ею и этимъ міромъ стояль Литвиновъ. Но Литвиновъ вядумаль посторониться. И ужь, конечно, не ему быть героемъ ея въ этомъ мірѣ: тамъ были герои болѣе подходящіе къ аристократическому балу, чѣмъ этотъ студентикъ съ мягкою улыбкою и руками, запачканными чернилами; онъ бы ей тамъ только мѣшалъ, можетъ быть даже ставиль ее въ смѣшное положеніе своимъ присутствіемъ; весьма естественно, что она запретила ему являться туда. И естественно также, что разъ устремившись въ тоть міръ, куда толкнуль ее Литвиновъ, она не захотѣла возвращаться оттуда, тѣмъ болѣе что этоть міръ быль ей сродни, и она подготовлена была къ нему воспитаніемъ.

Что же за причина такой дриблости и дрянности Литвинова въ отношеніяхъ его къ Иринѣ? Причина очень исная и простая. Для того, чтобы увлечь Ирину въ иной мірь—мірь полезнаго труда и съвтатыхъ идей—ему самому нужно было быть увлечену въ этотъ міръ, ему самому надо было имѣть живую и горячую страсть къ труду и къ свътлымъ идеямъ. Страсть можетъ быть возбуждена только страстью.

Литвиновъ либеральничалъ передъ Ириною, говорилъ ей о предстоящемъ трудъ, но все это съ чужаго голоса: самъ онъ не чувствовалъ живой страсти ни къ какимъ идеямъ, ни къ какому труду. Читатель, можетъ быть, спросить меня, на какомъ основания я заключаю это? На самомъ върномъ основании: когда Литвинову не посчастливилось въ любви, онъ бросилъ университеть и убхаль къ отпу въ деревню. Этого довольно. Ну, подумай, читатель, кто не влюблялся изъ насъ на студенческой скамъв и не мечталъ, что эта любовь въчная на всю жизнь до гробовой доски. Но по большей части эта первая юная дюбовь обрывалась очень скоро, и что бы это было, когда бы всв студенты разъевжались со втораго или третьяго курса вследствіе неудачи въ любви. Мы уже не будемъ говорить здёсь о тёхъ студентахъ, которые поступаютъ въ университетъ съ непреклоннымъ намърениемъ кончить курсъ, потому что это для нихъ вопросъ о насущномъ хлъбъ. Такимъ студентамъ некогда бываетъ и думать о любовныхъ приключеніяхъ; зарываясь въ книги, они открещиваются отъ преждевременной дюбви, какъ отъ дьявольскаго навождения. Но если мы возьнемъ даже человъка со средствами, для котораго возможно выкинуть такое коленцо, что взять да и выйти изъ университета изъ-за несчастной дюбви, то и такой студентъ не сдёлалъ бы этого, еслибы былъ живой человъкъ, еслибы университетская наука и свътлыя иден могли бы увлечь его и заставить полюбить ихъ; онъ, можетъ быть, и погрустиль бы въ первое время, мѣсяцъ-другой ни за что бы не могъ приняться. Но разумная страсть, и которую легко удовлетворить, взяла бы подъ конецъ перевесъ надъ страстью неразумною, и потому разбившеюся; подобно тому, какъ разочарованная въ дюбви девушка, съ особенною нѣжностью сосредоточиваеть свою привяванность на тёхъ родныхъ и друзьяхъ, которыхъ она прежде любила, такъ и юноша весь пылъ своей полодой страсти сосредоточиль бы на книгахъ и занялся бы ими съ удвоенною энергіею. Я знаю много подобныхъ примъровъ; я видълъ собственными глазами, какъ молодые люди, песлѣ неудавшейся любви, дѣлали такія чудеса и быстрые успѣхи въ своихъ трудахъ, которыхъ они не сдѣлали бы, еслибы жизнь ихъ текла ровно и природа ихъ не была потрясена внезанно налетѣвшею бурею. Что же касается до человѣка, въ которомъ окончательно созрѣла, укоренилась и дошла до полнаго сознанія страсть къ труду или къ какимъ нибудь идеямъ, для такого человѣка немыслимо было бы то, что случилось съ Литвиновыщъ: такой человѣкъ или увлекъ бы Ирину за собою, или оставиль бы ее на дорогѣ и ни на минуту не покинуль бы своего труда, который дороже для него самой жизни.

Было наивное время, когда считали героями тёхъ праздныхъ и дрянныхъ фатовъ, которые, въ отчаяньи отъ неудачной любви, убажали на гибельный Кавказъ или пускались во все тяжкія. Было время, когда сильная страсть къ женщинъ, доводящая человъка до сумашествія или до самоубійства, почиталась признакомъ избранной натуры. Но это время давно миновало и такія вулканическія страсти возбуждають нынь одинь смёхъ. Онё служать признакомъ, что человёкъ живетъ исключительною жизнью сампа и у него нътъ другихъ страстей, которыя уравновѣшивали бы половыя наклонности и не давали бы человеку забываться до чертиковъ. Такой человъкъ похожъ на корабль безъ балласта и безъ рудя. Онъ носится взадъ и впередъ по воднамъ, куда подуетъ вътеръ, и малъйшій шквалъ можетъ перевернуть его кверху дномъ.

Будемъ следить далее за Литвиновымъ въ его плаваніи безъ рудя и безъ балласта. По прівздв въ деревню, онъ, какъ и подобаетъ праздному филистеру, не имінощему живой страсти къ какому нибудь труду, "потолокся и сколько времени безъ дела, безъ связей, почти безъ знакомыхъ. По милости нерасположенных къ нему дворянъ его убяда, проникнутыхъ не столько западною теорією о вредъ "абсентеняна", сколько доморощеннымъ убъждениемъ, что "своя рубашка къ твлу ближе", онъ въ 1855 году попаль въ ополчение и чуть не умерь отъ тифа въ Крыму, гдв, не видавъ ни одного "союзника", простоялъ шесть мъсяцевъ въ землянкъ на берегу Гнилаго Моря; потомъ послужилъ по выборамъ, конечно не безъ непріятностей, и поживъ въ деревив, пристрастился къ хозяйству"... А! вотъ наконецъ является у него страсть къ труду, наконецъ-то и онъ принимается за дъло. Вотъ онъ ъдеть за-границу учиться агрономіи и технологіи, трудится усердно, усидчиво, съ сознаніемъ пользы, которую онъ надъется принести всему своему краю. Вотъ наконецъ передъ нами труженикъ, о которомъ мы съ тобой, читатель, мечтали въ предыдущей главъ, и притомъ труженикъ любящій разумною любовью, которая нисколько не мѣшаеть его труду.

«Онт искренно любель, онт глубоко уважаль свою молодую родственницу (Татьяну Петровну Шестову), и окончивь свою темную, приготовительную работу, собиралсь вступить на новое поприще, начать действительную, некоронную службу, предложиль ей, какт любимой женщинь, какт товарищу и другу, соединить свою жизнь съ его жизнью на

радость и на горе; на трудъ и на отдыхъ, «for better for wors», какъ говорять англичане».

Погоди, читатель, не торопись. Воть опять передъ нашимъ труженикомъ выступаетъ на сцену Ирина, встрътившая его въ Баденъ-Баденъ. Но это не та уже Ирина, какую иы видели въ начале повести, не наивная институточка, плачущая надъ своимъ старенькимъ платьицемъ и готовая влюбиться въ перваго студента. Насколько лать жизни въ большомъ свать, полной разныхъ треволненій и опытовъ, не могли не наложить на нее своей печати. Съ одной стороны, она была слишковъ умна, чтобы удовлетворяться пошлыми людьми, окружавшими ее, и пошлою жизнью, которою жила. Но съ другой стороны, эта пошлая жизнь успъла повліять на нее: какъ бы ни были велики силы человъка, данныя ему отъ природы, онъ могутъ поддерживаться и развиваться только постояннымъ упражненіемъ; такое упражненіе представляють сидамъ человека трудъ и борьба во мия какихъ-нибудь идей. Ирина была избавлена и отъ того, и отъ другаго. Пустая, праздная жизнь не могла не растлить ея силь; она привыкла къ отупляющему farniente, къ пошлымъ развлеченіямъ, убивающимъ последнія силы, но более всего къ тому растявающему комфорту, при которомъ человъку не приходится пальцемъ пошевельнуть, чуть что сама пища не летаеть ему прямо въ ротъ, да еще разжеванная. Нётъ ничего мудренаго, что при такихъ условіяхъ изъ нея выработался одинъ изъ тёхъ типовъ, которые были въ большомъ ходу въ тридцатые года, но и теперь еще встречаются при известныхъ условіяхъ: это типъ разочарованной и скучающей барыни, проклинающей среду, и въ то же время неспособной пошевелить пальцемъ, чтобъ выбиться изъ нея. Встреча съ Литвиновымъ, въ которомъ продолжала она видеть человека иной среды, послужила для нея новымъ и св'яжимъ впечатленіемъ среди монотонной скуки ся жизни. Она увлеклась Литвиновымъ, чтобы хоть чёмъ нибудь наполнить свою жизнь, увлеклась отъ скуки, потому что свътскіе ловеласы и пошлые франты прівлись ей и ей захотвлось испытать неизвёданных впечатлёній.

А что же нашъ труженикъ? Вёдь у него теперь былъ и руль, и балластъ, и цёль впереди; устоялъ ли онъ отъ впезапно налетвящаго шквала? Увы, прощай и технологія, и агрономія, и мечта быть полевнымъ всему краю, и Татьяна. Стоило Иринѣ немного поко-кетничать съ нимъ, для того, чтобъ-онъ написалъ къ ней такое писью:

«Моя невъста уъхала вчера; мы съ нею никогда больше не увидимся... Я даже не знаю навърное, гдъ она жить будеть. Она унесла съ собою все, что мит до сихъ поръ казалось желаннымъ и дорогимъ; всѣ мои предположенія, планы, намѣренія исчезли вмъсть съ нею; самые труды мои пропали, продолжительная работа обратилась въ ничто, всё мон занятія не иміноть никакого смысла и приміненія; все это умерло, мое я, мое прежнее я умерло и похоронено со вчерашняго дня. Я это ясно чувствую, вижу, знаю... и нисколько объ этомъ не жалъю. Не для того, чтобъ жаловаться, заговориль я объ этомъ съ тобою. Мив ли жаловаться, когда ты меня любишь, Ирина! Я только хотыль сказать тебе, что изъ всего этого мертваго прошедшаго, изъ всёхъ этихъ, въ дымъ и прахъ обратившихся, начинаній и надеждь, осталось одно живое, несокрушимое: моя любовь къ тебъ. Кромъ этой любви у меня ничего нёть и не осталось; назвать ее монмъ единственнымъ сокровищемъ было бы недостаточно; я весь въ этой любви, эта любовь весь я; въ ней мое будущее, мое призваніе, мой святыня, мои родина!..»

Въ этомъ письмѣ Литвиновъ прекрасно высказался весь, до самаго нутра. Тутъ уже не приходится дѣлать никакихъ предположеній, потому что на лицо факты. Литвиновъ самъ говоритъ, что единственно живое въ его душт - любовь къ Иринт, а остальное все, т.-е. его труды, начинанія, планы, дюбовь къ Татьянъ-все это разселось, какъ нечто мертвое. И онъ имъетъ полное право называть все это мертвымъ: да, действительно, только дюбовь къ Ирине была живою страстью въ его душт; остальное все было мертвое; потому что было надуманное, плодъ холоднаго принципа и усилій воли, посредствомъ которыхъ Литвиновъ принуждаль себя къ своимъ трудамъ. Если-бы это было не такъ, то Литвинову недегко было-бы разделаться со всемъ этимъ; какъ-бы ни была сильна страсть его къ Иринъ, другія страсти заявили-бы свое; въ немъ была-бы борьба по крайней мъръ. Кой-какую борьбу вы еще замъчаете въ немъ относительно разрыва съ Татьяною; но что касается до его трудовъ и плановъ, то онъ бросаеть ихъ, очертя голову, нисколько не раскаяваясь въ этомъ. Мало того; онъ, пристрастившійся къ хозяйству, онъ, только что получившій письмо отъ отца, что имінье его въ крайнемъ разстройствъ, мечтаетъ еще болъе разстроить его продажею леса и разныхъ угодій, для того, чтобы **žхать** съ Ириною куда-то въ Бельгію или Швейцарію. Куда? Зачемъ? Единственно для наслажденія любовью и для последней растраты всехъ средствъ, какъ это обыкновенно дълаютъ праздные филистеры, случайно, во время своего фланированія, увлекшіеся какою-нибудь танцовщицею или такою-же, какъ и они, искательницею приключеній.

И несмотря на всю пошлость, которая окружала Ирину, несмотря на ел личное опошленье; посмотрите, какое сохранилось въ ней удивительное чутье, что все это какъ-то очень ужь неладно. Воть что сказала она Литвинову на его письмо:

— Твое письмо, другь мой, навело меня на размышленія. Воть ты пишешь, что моя любовь для тебя все зам'янила, что даже всі твои прежнія занятія теперь должны остаться безт прим'яненія; а я спрашиваю себя, можеть-ли мужчина жить одною любовью? не прискучить-ли она ему наконець, не захочеть-ли онъ пенять на то, что его отъ нея отвлекло?

И знаете, что отвъчалъ ей на это Литвиновъ?

— Ты напрасно этого боишься, началь Литвиновъ: — я, должно быть, дурно выразился. Скука? бездъйствіе? При тъхъ новыхъ силахъ, которыя инъ дастъ моя любовь? О, Ирина, повърь, въ твоей любви для меня цълый міръ, и я самъ еще не могу теперь предвидъть все, что можетъ развиться изъ него.

Предоставляю читателю самому судить, сколько въ этихъ звонкихъ фразахъ натянутой аффектаціи и пошлой лжи. Что можетъ развиться изъ любви, если человъкъ бросаетъ для нея трудь и цъль жизни? Изъ одной любви—и любви-то не разовьется, а разовьется скука и пресыщеніе, неминуемое слъдствіе удовлетворенія страсти. Для трудящагося человъка женщина—

сегодня любовница, завтра, когда страсть удовлетворена, она неизмѣнная подруга его, съ которою идетъ онъ по одной дорогѣ къ одной цѣли. Любовь—любовью, трудь—трудомъ; но воображать, что изъ цѣдръ одной любви разовьется и трудъ, и цѣль жизни такъже нелѣпо, какъ нелѣпы слова одной простонародной пѣсни, распѣваемой въ городахъ:

> У мальчишки денегь нѣту, Чѣмъ онъ могъ тебя прельстить? Любовь грѣе́ть лучше дене́гь, Дровъ не надо покупать.

Можно-ли после этого сетовать на Ирину, что въ концъ-концовъ она не ръшилась вхать съ Литвиновынь на край свёта, туда, гдё дёвушки прядуть, прядки на небо кладуть? Видя, что Литвиновъ махнулъ рукою на все, кремъ своей любви къ. ней, она разсудила весьма разумно, что если этому барину ничего больше не нужно въ жизни, кромъ одной моей любви, то зачёмъ-же еще куда-то ёхать? пусть себъ наслаждается любовью здёсь возлё меня, не все-ли равно, тдё ни наслаждаться любовью? Литвинова ужаснула мысль сдёлаться протежируемымъ другомъ дома и тайнымъ любовникомъ аристократической барыни. Это дъйствительно безчестно. А я спрошу у читателя, въ чемъ болъе безчестія: жертвовать для любви одной своею личною честью или счастіемъ многихъ, благосостояніе которыхъ зависёло отъ того, сталь-ли бы Литвиновъ улучшать свое именіе, или, напротивъ того, высасывать изъ него последние соки ради честнаго похищенія Ирины и независимой жизни съ нею въ Швейцаріи? И знаешь что, читатель? Въ концъконцовъ я ръшительно не въ состояніи опредълить, на столько-ли опошлъла Ирина, что была не въ состоянін на решительный шагь, или можеть быть, решительнаго шага именно ей и не представлялось, а представлялся новый любовникъ въ иномъ родъ. Лечиться отъ своей вторичной страсти къ Иринъ, Литвиновъ снова поёхалъ въ деревню. Тамъ онъ налопо-малу успокоидся, занялся снова хозяйствомъ и въ заключение женился на Татьянв. Татьяна -- это типъ доброй, кроткой, недалекой женщины, у которой единственное содержание въ жизни--- нъжная, всепрощающая любовь. Разъ предавшись любимому человъку, такія женщины любять тихою, какъ свічка теплящеюся любовью до гроба и готовы бывають простить милому человъку, что угодно. Эта всепрощаемость достойна сожальнія; она возбуждаеть темъ болье грустное чувство, что ею обыкновенно пользуются и злоупотребляють на каждомъ шагу такіе люди, какъ Литвиновъ. Въ самомъ дёлё, кто можетъ поручиться, что опять не налетить шкваль и не перевернеть кверху дномъ этотъ корабль безъ рудя и балласта... Новая встрѣча съ какою нибудь смазливенькою кокеткою, возбудительный разговоръ гдё-нибудь въ саду въ лунную ночь, и чувство несчастной женщины снова попрано, разбито. Но не грусти, читатель: Татьяна снова простить, и въ концъ-концовъ все пойдетъ какъ по маслу въ дом'в Литвинова: визгъ шестерыхъ д'втей, соленье отурцовъ и рыжиковъ, въчные споры барина съ рабочими изъ-за усчитываемыхъ грошей ради козяйственной экономіи, и англійскія нашины въ сараяхъ подъ пыльными чехлами---плодъ агрономическихъ занятій барина за-границей.

VI.

Я ужь не буду говорить о томъ, похожъ ли Литвиновъ хоть сколько нибудь на доблестныхъ тружениковъ мысли, типъ которыхъ я попытался очертить въ четвертой главъ. Если ны возьнемъ массу обыденныхъ тружениковъ: учителей, иедиковъ, адвокатовъ, ученыхъ, технологовъ и пр., самый ограниченный изъ всёхъ ихъ навёрно окажется гораздо положительнее, устойчивъе, а главное дъло честнъе Литвинова въ своихъ отношеніяхъ и къ труду, и къ любимой женщинъ. А между тёмъ Тургеневъ положительно сочувствуетъ Литвинову, какъ хорошему человъку, сочувствуетъ съ первой страницы и до последней. "На первый взглядъ онъ производилъ впечатление честнаго и дъльнаго, нъсколько самоувъреннаго малаго, какихъ довольно много бываеть на светь "... Такъ начинаеть Тургеневъ знакомить своихъ читателей съ Литвиновымъ. Далее, очерчивая ядовитыми красками кружокъ ли даловъ, Тургеневъ номещаетъ туда Литвинова для того, чтобы енъ оттънялъ своею положительностью и своимъ умомъ ихъ безобразія. Вотъ какое впечатавніе заставляеть Тургеневъ своего героя вынести изъ этого кружка:

«Свъжій ночной воздухь ласково прильнуль къ воспаленному мину Литвинова, вилися нахучею струей въ его засохища губы. «Что это, думалъ онъ, идя по темной аллей: причемъ это я присутствовалъ? Зачъмъ они собрались? Зачъмъ кричали, оранились, изъ кожи лъзли? Къ чему все это?» Литвиновъ пожалъ плечами и отправилси къ Веберу, взялъ газету и спросилъ себъ мороженнаго».

Описывая столь же ядовитыми красками генераловъ, окружавшихъ Ирину, Тургеневъ вселяетъ въ своего героя даже плебейскую гердость передъ ними и заставляетъ его любить то, что они ненавидятъ, и венавидётъ то, что они любятъ, забывая, что онъ представилъ его въ то же время человѣкомъ, неимѣющимъ никакихъ политическихъ убъжденій! Въ одномъ мѣстѣ своей повѣсти онъ имѣетъ даже пополяновеніе оправдать дрянность своего героя общею ссылкою на природу, на которую обыкновенно ссылаются, когда хотятъ что инбудь оправдать: "людямъ положительнымъ, говоритъ онъ, въ родѣ Литвинова, не слѣдовало бы увлекаться страстью... Но природа не справляется съ логикой; у нея есть своя, которую мы не понимаемъ и не признаемъ до тѣхъ поръ, пока она насъ, какъ колесомъ, не песевлетъ".

Что жь за причина, что Тургеневъ такъ сочувственно относится къ Литвинову, тогда какъ этотъ Литвиновъ не выдерживаетъ самой снисходительной критики, по сравнению его съ дъйствительно хорошими и здоровыми элементами нашей жизни?

Причина очень простая; для объясненія ея я попрощу только читателя припомнить третью главу моей статьи: въ этой главё я постарался показать, что до 40-хъ годовъ вся русская образованность ограничивалась одною дворянскою средою; на эту среду глядёли, какъ на средоточіе, какъ на альфу и омегу всего русскаго. Все, что говорилось и писалось—писалось объ этой средё и для нея. Все, что не принадлежало къ этой средѣ, третировалось съ презрительном насмѣщкою и въ рѣдкихъ случаяхъ съ тѣмъ высокомѣрнымъ снисхожденіемъ, которое почему-то называлось гуманностью къ низшимъ.

Проведя первые годы своей юности, своего развитія подъ вліяніемъ такого порядка, Тургеневъ такъ свыкся съ нимъ, что не могъ отъ свето отръшиться, несмотря даже на то, что подъ вліяніемъ 40-хъ годовъ усвоилъ отрицательный взглядъ на эту среду.

У Тургенева слились вибств два взгляда: взглядъ на извъстную среду, какъ на средоточіе всего русскаго, и въ то же время взглядъ на эту среду, какъ на нѣчто дряблое, растлѣнное, изжившееся. Изъ подобнаго слитія двухъ взглядовъ следуетъ прямой результать: если по жизни и нравамъ одной среды мы будемъ заключать о жизни и нравахъ всего общества, и если эта жизнь представится намъ выдохшеюся, а нравы дрянными, въ такомъ случат мы невольно придемъ къ выводу, что и все общество никуда не годится. Вотъ, чёмъ только и можно объяснить постоянное сътование Тургенева, проходящее по всъмъ его произведеніямъ, о томъ, что у насъ нътъ хорошихъ людей, что не только русское илемя, но и вст вообще славяне страдають отсутствиемь силы воли и т. под. Изъ всего, что было сказано въ этой статьт, читатель можетъ наглядно убъдиться, можно ли писателю полагаться на одно свое непосредственное творчество, особенно, когда писатель берется судить о жизни и судьбахъ целаго общества. Чтобы судить справедливо о цъломъ обществъ, нужно прежде всего тщательно и всестороние изучить это общество во всёхъ его слояхъ и положеніяхъ, нужно до такой степени умственно отръшиться отъ своей среды, чтобы быть въ состоянін сравнивать безпристрастно жизнь и нравы разныхъ слоевъ. Тургеневъ, сжившись со своею узенькою средою, изучивъ нравы одного только слоя общества, по этому слою берется заключать обо всемъ обществъ. И посмотрите, въ какой просакъ попадаетъ онъ на каждой страницѣ своей повѣсти. Между прочинъ, онъ взялся въ своемъ произведении покарать либераловъ. Ну, чтожь, прекрасно. Очень можеть быть, что либерадизнъ этотъ-такая язва на русской почвъ, что необходимо распутать всв его хитросплетенныя нити и вырвать это зло съ корнемъ. Это подвигъ вполне достойный русскаго писателя и весьма обыкновенный на

Руси, когда писателю перешло за 50 и когда онъ пересталъ уже сожигать то, чему поклонялся, и начинаетъ вновь поклоняться тому, что сожигалъ. Что же дълаетъ Тургеневъ для наказанія либераловъ? Онъ изображаетъ нъсколько личностей, судя по его описанію, д'вйствительно пошлыхъ и дрянныхъ. Всё они прикидываются людьми что-то дёлающими, но въ сущности ничего не делають и фланирують за границей точно такъ же, какъ Литвиновъ и окружавшіе Ирину тенералы. Тургеневъ выставляетъ особенно на видъ, что Губареву его либерализиъ не мѣшалъ владъть имъньемъ посредствомъ братца-дантиста, а Ворошиловъ кончаетъ со своимъ либерализмомъ тъмъ, что поступаетъ вновь на военную службу. Все это нисколько не удивительно; очень можетъ быть, что Тургеневъ взяль всё эти личности изъ дъйствительности, нисколько не исказивъ и не окаррикатуривъ ихъ. Но, чтожь въ этомъ? Вы видите наглядно, что всё эти личности относятся все, къ тому же разряду, къ какому принадлежатъ Литвиновъ, Потугинъ и всв прочіе. Но подобно тому, какъ недьзя судить о всеобщей жизни общества по одной средь, такъ нельзя судить и о либерализив по тому, какъ этотъ либерализмъ проявляется въ этой средъ. Для того, чтобы составить върное понятіе о либерализмъ на Руси, нужно опять-таки изучить, какъ проявляется онъ во всёхъ слояхъ общества, и въ особенности въ такихъ, где онъ является не какъ забава и игра въ кошки-мышки отъ нечего делать, а естественно возникаеть изъ самой жизни, гдб онъ явился бы самъ собою и безъ вдіянія Запада. И только посл'в такого изученія писатель им'єсть; право карать либерализмъ или преклоняться передъ нимъ. А если писатель не захочетъ приложить къ своему труду добросовъстнаго изученія, если онъ мечтаеть, что достаточно одного непосредственнаго творчества, чтобы быть судьею и карателенъ надъ всень обществомъ, въ такомъ случав пусть ужь онъ лучше всего ограничивается анализомъ любви, предметомъ, судя по всёмъ произведеніямъ Тургенева, болъе всего извъстнымъ ему; пусть онъ знаетъ напередъ, что его караніе либерализма не принесетъ никакого вреда либерализму и никакой пользы тёмъ идеямъ, во имя которыхъ онъ караетъ либерализмъ, а окажется холостымъ выстръломъ въ воздухъ, ради потёхи праздной толпы.

РУССКОЕ НЕДОМЫСЛІЕ.

«Отцы и дъти», И. Тургенева. 1862 г.—«Взбаламученное море», А. Писемскаго. 1863 г.— «Марево», В. Ключинкова. 1864 г.—«Некуда», М. Стебницкаго. 1865 г.—«Бродящія сили», В. Авенаріуса. 1867 г.

1

Романъ за романомъ, — въ пять лётъ составилась цёлая школа произведеній, однородныхъ по взглядамъ и тенденціямъ, симпатіямъ и антипатіямъ писателей, принадлежащихъ къ ней. Но не довольно ли уже распространяться обо всёхъ этихъ произведенияхъ, спроситъ меня читатель: развё мало было писано о каждомъ изъ нихъ? Развё не установился въ публике взглядъ на всё эти произведения? Что же еще новаго можно сказать по поводу этихъ романовъ? Выводить ихъ снова на сцену и цодымать по поводу ихъ разныя старыя дрязги—не значить ли это придавать имъ слишкомъ большое значеніе, котораго они, конечно, не заслуживають. Не лучше ли предать ихъ въчному забвенію и сдать ихъ въ убогій архивъ нашей беллетристики на руки потомству, которое, конечно, останется очень довольно наслёдствомъ, завъщаннымъ ему нашимъ просвъщеннымъ временемъ?

Конечно, сказать что-нибудь особенно новаго по поводу всёхъ этихъ романовъ нечего. Но темъ не менъе, не мъщаетъ бросить на нихъ общій взглядъ и подвести подъ ними итогъ. Во всякомъ случат, иная точка зрвнія представляется при разборв отдельнаго романа, иная при разбор'в цёлаго рода однородныхъ произведеній. Многое, что рисовалось на первоиъ планъ передъ критикомъ вновь вышедшаго романа, уходить на задній плань, въ виду перспективы романовъ одного рода, и наоборотъ: многое, что могло оставаться незамеченнымъ, выступаетъ теперь на первое мъсто. Но что всего важнъе, личности писателей съ индивидуальными особенностями и побужденіями уходять на задній плань при такомь общемь разборь, перестаютъ казаться главными виновниками своихъ произведеній. Передъ вами рядъ однородныхъ явленій, сливающихся въ общій историческій факть, и у васъ невольно является побуждение причину этого факта искать въ общихъ условіяхъ жизни общества. Прислушайтесь къ этому кору, и за нимъ вы услышите тысячи голосовъ, подтягивающихъ ему и въ столицъ, и въ провинціяхъ-во всъхъ сферахъ нашей жизни. Если иному читателю романы эти покажутся плодами жалкаго невёжества, то пусть онъ не забываеть, что они служать выражениемь невъжества большинства нашего общества. Авторы ихъ темъ только виноваты, что они ничемъ не возвышаются надъ толною, а служатъ пассивнымъ отголоскомъ ея темныхъ предразсудковъ, раздёляють съ нею ея скудомысліе, ея жалкую слепоту. Когда настанеть судъ, такъ-называемаго, безпристрастнаго потоиства, оно будетъ судить объ общемъ уровнъ образованностинашего времени не по редкимъ проблескамъ здоровой и свъжей мысли, а именно по этимъ памятникамъ, вподнъ достойнымъ своего времени. При такихъ условіяхъ общій обзоръ всёхъ этихъ произведеній можетъ быть въ то же время общимъ обзоромъ уровня образованности и развитія мысли нашего общества въ последнее десятильтіе.

II.

Что прежде всего должно поразить насъ въ мышленіи нашихъ соотечественниковъ, это крайне извращенный взглядъ, съ какииъ обыкновенно смотрятъ у насъ на умственное движеніе послёдняго десяталѣтія. Въ немъ ввдятъ господство *отрищательнаю* направленія, нишлизма, которымъ будто бы увлеклась молодежь и довела его до крайнихъ предъловъ, предавши отрицанію все, что только возиожно было отвергнуть—любовь, бракъ, семью, науки, искусства и пр. Принимая въ разсчетъ, что взглядъ подобнаго рода вышелъ изъ среды поколёнія 40-хъ годовъ; мы можемъ назвать его субъективнымъ въ томъ смыслё, въ какомъ называется такимъ всякій взглядъ такого рода, когда люди принисываютъ чему либо свои собственныя свойства и качества. Въ самомъ дѣлѣ: если было когда-либо на Руси отрицатьное направленіе отчалннаго свойства, то это было именно въ эпоху 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годовъ, и послѣднее десятилѣтіе, въ сущифти своей, представляеть не развитіе нигилизма, какъ думаютъ многіе, а напротивъ того, выходъ изъ него.

На первый взглядъ подобная мысль можетъ показаться читателю отчаяннымъ пародоксомъ. Но если мий удается представить характеристику двухъ эпохъ со стороны развитія мысли и міросозерцанія общества во все это время, то, можетъ быть, въ этомъ пародоксѣ, онъ увидитъ самую простую, азбучную истину.

У насъ принято въ литературѣ называть нашихъ отповъ и дѣдовъ идеалистами и романтиками, но надо признаться, что котя большинство общества нашего до сихъ поръ коснѣетъ въ идеализиъ, объ этомъ предметѣ ходятъ у насъ самыя смутныя, неопредѣленныя понятія. Въ этомъ ничего нѣтъ неестественнаго: поможно образованіе точнаго понятія тогда только; когда общество пережило эти міросозерцанія, такъ-же точно и относительно идеализма.

Идеалистомъ называють у насъ такого человѣка, который, не довольствуясь будничными заботами, имѣетъ такъ-называемыя высшія стремленія, строитъ въ головѣ разные идеалы и осуществленіе ихъ ставить первою необходимостью въ жизни. Исходя изъ этого взгляда на идеализмъ, въ реализмѣ, какъ противоположномъ ему, видятъ непремѣно отрицані всякихъ идеаловъ, всего возвышающаго человѣка надъ прочими животными, и низведеніе его въ міръ однихъ чувственныхъ побужденій.

Но стремленіе къ идеаламъ нельзя считать условною формою одного какого-либо міросозерцанія. Оно такъ-же присуще челов'єку во всі времена и при какихь угодно міровозр'єніяхь, какъ чувство голода или жажды. Подобно тому, какъ толодному всегда будтъ сниться роскомные об'єды, такъ люди, чувствующе различныя неудобства въ своей жизни, постоянно будуть создавать картины жизни, избавленной отъ этихъ неудобствъ. Сущность идеализма заключается не въ стремленіи къ идеаламъ, а въ томъ пути, который избираютъ люди для достиженія своихъ стремленій.

При этомъ я считаю нужнымъ оговориться, что я буду вести здёсь рёчь не о томъ идеализме, на которомъ основаны истафизическія германскія философскія системы, вовникшія въ концё прошлаго и началё нынёшняго столётія. При всемъ шумё, которымъ прошумёли въ свое время эти системы, оне произвели свое вліяніе на незначительное меньшинство людей. Личностей, изучавшихъ эти системы, и въ Европе было не особенно много, у насъ-же еще меньше. Много-ли можно насчитать у насъ-же еще меньше много-ли можно насчитать у насъ-же еще меньше. Много-ли можно насчитать насчитать

почвѣ древнихъ философскихъ школъ, онъ послужилъ основою образованія для европейскихъ обществъ. Впродолженіе 2,000 лѣтъ Европа всасывала этотъ идеализмъ и онъ проникъ до мозга костей ся. Вліяніе его замѣтно иногда тамъ даже, гдѣ, казалось-бы, не могло-бы быть и тѣни его.

Идеализмъ этого рода, отдъляя непроходиною пропастью духовную природу человека отъ физической и считая первую совершенно независимою отъ последней, говорить человъку: силою твоей свободной вели ты можешь дёлать надъ собой, что тебё угодно, можешь возвышаться духомъ надъ твоимъ бреннымъ теломъ и покорять его своей, духовной власти со всеми его потребностями и страстями. Исходя изъ этой идеи, идеализмъ главнымъ условіемъ достиженія различныхъ идеаловъ, или, что то же самое, главнынъ условіемъ прогресса, считаетъ отдёльную личность человъка съ его доброю или злою волею, сильною или слабою. Человъкъ считается полнымъ хозянномъ въ каждомъ своемъ шагѣ, безграничнымъ распорялителемъ всей своей жизни. При этомъ нисколько не принимаются въ разсчетъ условія жизни, которыя могутъ вліять неотразимо на личность. На что же дана и воля человеку-говорить идеализмъ-какъ не для того, чтобы бороться противъ вредныхъ условій? Это прекрасно: но идеализмъ подъ этою борьбою подразумъваетъ не стремление устранять вредныя условія, а выдерживать ихъ напоръ и не допускать себя до подчиненія ихъ вліянію. Такимъ образомъ идеализмъ направляеть волю человъка не на внъшнюю дъятельность, а на внутреннее самовоздержаніе. Онъ требуетъ не того, чтобы человъкъ стремился къ осуществленію идеаловъ, а чтобы онъ, посредствомъ усилій своей воли надъ саминъ собою, было идеальнымъ человёкомъ въ каждый моменть своей жизни.

Идеализмъ такого рода впервые возникъ тогда, когда древнія общества избавились отъ политеизма. Извъстно, что политеизмъ подавляетъ человъческую личность, ставя ее въ зависимость отъ цёлаго ряда сверхъестественныхъ, олицетворяющихъ силы природы, существъ, которыя по своему произволу помыкаютъ этою личностью. -- Идеализмъ явился реакцією противъ подобнаго подавленія личности; онъ быль крайностью противъ крайности: въ противоположность прежнему подавлению личности, онъ выставилъ ее на первый планъ и сдёлаль человёка безусловнымъ распорядителемъ своей личности. Идеализиъ есть такимъ образомъ, первая побъда разума человъка надъ суевърјемъ, первый восторгъ человъка, сознавшаго силу своего личнаго я, силу своей иысли и своей воли-и нътъ ничего удивительнаго, что въ этомъ восторгъ человъкъ преувеличилъ значение своей личности и началъ все выводить изъ нея и приводить къ ней.

И каждый разъ, когда общество выходить изъ поличенстическаго міросозерцанія, оно непремінно переживаеть идеализить такого рода. Необходимо обширрное количество положительныхъ знаній и глубокую переработку ихъ, чтобы понять и уяснить себіт сложную и запутанную ціпь обоюднаго вліянія воли человіка на обстоятельства и наобороть обстоятельствъ на волю. —Для человіка мало образованнаго гораздо проще и очевидніе та система міросозерцанія, которая каждое дъйствіе человъка непосредственно производить отъ его воли: человъкъ сдълался пьяниницей; почему? "Очевидно, что захотътъ и сдълался. Въдь вотъ я теперь: захочу—выпью рюмку водки, захочу— не выпью. Это совершенно въ моей волъ". Такъ разсуждаеть человъкъ малообразованный, и для него это очевиднъе, чъмъ 2 × 2 = 4.

Но не смотря на всю ясность и простоту тёхъ отвётовъ, которые готовъ бываетъ дать идеализмъ на всевозможные вопросы, въ немъ заключается довольно опасный магическій кругъ, въ которомъ легко можеть запутаться и потеряться младенческій умъ. Начиная съ эмансипаціи человіческой личности, идеализиъ приводить человёка къ тому же, изъ чего самъ вышелъ, т.-е. къ признанію полнъйшей несостоятельности этой же самой человеческой личности, изъ чего, какъ мы увидимъ ниже, и выходитъ самое безнадежное отрицаніе. Къ этому исходу идеализмъ приводить слідующимъ путемъ: поставивши передъ человѣкомъ рядъ высокихъ идеаловъ, идеализмъ въ то же время не обращаетъ вниманія, что достиженіе этихъ идеаловъ - есть сложный процессъ жизни, совитщающій въ себѣ взаимодѣйствіе многихъ силь природы. Опираясь единственно на личность человъка, на его волю и энергію, идеализмъ говоритъ: если хотите достигнуть такихъ-то и такихъ идеаловъ, то будьте такими-то-т.-е. храбрыми, гуманными, деятельными и проч. Онъ забываеть при этомъ, что всё эти качества, которыми онъ совътуетъ запастись людямъ для перехода черезъ пропасть, отдёляющую дёйствительность отъ утопіи, могуть находиться на другой сторонъ пропасти, слъдовательно составлять не средство, а цёль достиженія. Смёшивая такимъ образомъ цёль со средствами, онъ говоритъ: видите, вонъ тамъ за ручьемъ доска; положите ее черезъ ручей и перейдите по ней на ту сторону. Это смешение пели со средствами и приводить идеализмъ къ отриданію. Такъ какъ первымъ условіемъ прогресса идеализмъ считаетъ существование въ людяхъ различныхъ доблестей, а доблестей-то этихъ онъ и не находить, то отсюда прямо следуетъ разочарование въ людяхъ и отчаянье въ какомъ-либо прогрессъ. Возьмите вы идеализмъ во всёхъ его видахъ и формахъ, въ какихъ только являлся онъ въ исторіи отъ школы стоиковъ, отъ средневъковаго аскетизма, до романтизма XVIII в. въ Германіи, англійскаго байронизма и россійскаго самонзгрызенія 40-хъ годовъ- и повсюду вы увидите одну и ту же картину: при отрицаніи пошлой и гнетущей действительности, тщетное исканье идеальныхъ личностей, тщетное обличение пороковъ и слабостей людей и воззванія къ людянь, чтобы они старались быть героями, — а затъмъ горькое разочарование, отчаянное отречение отъ жизни, или же потеря въры въ какіе-либо идеалы и примиреніе съ самою пошлою. обыденною действительностью.

До реформы Петра Великаго наши предки, хотя и исповъдывали христіанскую религію, но по степени своего міросозерцанія нисколько не возвышались надъ политензмомъ. Пожары, моры, голода, каждую свою удачу и неудачу они объясняли проязвольнымъ, непосредственнымъ вмъшательствомъ въ ихъ жизнь сверхъестественныхъ существъ, стоящихъ неръдко

совершенно внѣ господствующей религіи. Только съ XVIII вѣка выдѣлилось изъ массы суевѣрныхъ людей хоть сколько нибудь образованное общество, стоявшее выше политеизма. Господствующею формою мышлення этого образованнаго общества естественно долженъ былъ сдѣлаться идеализмъ; впанія были слишкомъ мало еще распространены въ массахъ, чтобы онѣ могли усвоить какую нибудь форму мышленія, болѣе высокую. Мистическій идеализмъ во время Екатерины былъ господствующимъ міросозерцаніемъ образованнаго общества. Онъ увлекъ въ свои нѣдра лучшихъ людей своего времени.

Это былъ молодой, свъжій, едва народившійся идеализмъ; онъ былъ далекъ еще тогда отъ своего выхода въ разочарованіе и отрицаніе. Онъ былъ полонъ въры и надежды. Масоны върили, что безъ всякихъ реформъ общественной жизни, посредствомъ одного самоуглубленія и самовосинтанія можно будетъ достичь того, что всё люди будутъ ангелы, и на землъ

будеть миръ, тишина и благоденствіе.

Но уже въ романтизмъ Жуковскаго слышится какое-то недовольство, что-то надломленное и грустное. Чёмъ далее, темъ более и более разростается тоска, разочарованіе, скептицизмъ и наконецъ, въ сороковые годы идеализмъ окончательно вступилъ въ свою последнюю фазу. Ужасно и безвыходно казалось положение образованнаго человъка въ сороковые годы. Вы представьте только себъ, что за хаосъ царствоваль въ умственной лабораторіи его, страшный, безсвязный хаосъ всевозможныхъ историческихъ, географическихъ, математическихъ фактовъ, вызубренныхъ по тощимъ учебникамъ на школьныхъ скамейкахъ: тутъ былъ и Киръ царь персидскій, и биномъ Ньютона, и самобды скакали на оленяхъ, и Атиллаи все это перепутывалось безъ всякой связи, системы, забывалось, опять выплывало въ памяти, опять забывалось. Затемъ следоваль рядъ блестящихъ картинъ и образовъ, вычитанныхъ изъ произведеній русской поэзіи: Кавказъ вставалъ со своими горами, ревущимъ Терекомъ и аулами, черкешенка падала въ воду, Печоринъ стръдялъ на краю обрыва въ Грушницкаго, Онъгинъ зъвалъ среди бала, и Петръ Великій величественно стоядъ передъ войсками въ полтавской битвъ; всъ эти образы безплодно валялись въ воображеніи, какъ запыленныя картины на аукціонъ. Читаль образованный человёкь Гоголя и виёстё съ нимъ смёялся надъ пошлою действительностію съ ея станціонными смотрителями, будочниками и клопами, но какая же иная должна быть и можеть быть действительность? задавалъ себъ вопросъ образованный человекъ. Развертывалъ онъ въ новомъ нумере журнала передовую статью — тамъ толковалось о гуманности, о честности, о правдъ. Вдохновенный этими речами, образованный человекъ бросался съ жаромъ въ жизнь, мечтая осуществить на дёлё всё эти пламениныя рычи; но въ жизни онъ встрычался снова со станціонными смотрителями, клопами и будочниками, и не было силь повернуть это все какъ нибудь иначе. Энергіи, энергіи, откуда хотите, давайте мив энергіи! вопиль образованный человекь сороковых годовь, но энергія не сваливалась къ нему съ неба, а онъ не -же зналь, что энергія вырабатывается только изв'єстными условіями жизни, что безъ этихъ условій не выжмещь ее изъ себя никакими тисками. Что оставалось дёлать образованному человёку? Въ отчаяніи махнуть рукою на вой идеалы, отвергнуть ихъ, какъ несбыточныя химеры, и углубиться въ соверцаніе какихъ нибудь юсовъ или красотъ природы, искать забвенія въ этрускихъ древностяхъ, или же'окунуться въ омуть обыденной, пошленькой дёйствительности и начать заботиться о синсканіи житейскихъ выгодъ и объ устройствё теплаго семейнаго уголка.

Если вы хотите нагляднее удостовериться во всемъ этомъ, то вдумайтесь въ повъсти и романы, которые писались въ то время, въ произведенія Тургенева, Гончарова и Писемскаго, и вы увидите, какимъ горькимъ, безнадежнымъ отрицаніемъ проникнуты они. Только развъ одинъ Гончаровъ сколько нибудь утъщаетъ читателя, рекомендуя ему противъ взбалмошнаго романтизма Александра Адуева бюрократическій реализмъ его дядюшки, а противъ барской распущенности Обломова — филистерскую дъятельность Штольца. Но до чего не дошель въ своемъ отрицании Гончаровъ, до того дошелъ Писемскій: въ своемъ романъ "Тысяча душъ" онъ представилъ въ лицѣ Калиновича во всемъ истинномъ свѣтѣ ихъ и бюрократическій реализмъ, и филистерскую діятельность. Въ лицъ Калиновича заключается отрицаніе той единственной дороги, которая представлялась въ то время людямъ жаждущимъ какого нибудь дъла, и это отрицание совершенно безусловное, за нимъ не предполагается какой нибудь дороги, а следуеть разочарованіе Калиновича, поселившагося послів своей шунной деятельности въ Москве и предавшагося тамъ томленію праздной апатін. За отрицаніемъ діятельности Калиновича, следуетъ отрицание ученой и художественной діятельности въ лиці Берсенева и Шубина въ повъсти Тургенева "Наканунъ". Жалкими представилъ Тургеневъ эти двѣ личности рядомъ съ героическимъ типомъ Инсарова, но Тургеневъ въ этой повъсти выставляеть не одно только ничтожество Берсенева и Шубина: онъ отрицаетъ все современное ему покольніе, говоря, что Инсаровыхъ у насъ нътъ, а есть только крикуны, да палки барабанныя, да переливатели изъ пустого въ порожнее.

И такъ дъятельность Калиновича отвергнута, дъятельность Инсарова объявлена недоступною для такихъ ничтожностей, какъ мы, деятельность Берсенева и Шубина представлена какинъ-то стремленіемъ забыться отъ гнетущей тоски, отъ мучительнаго сознанія собственнаго ничтожества. Что же оставлено на долю нашу? Семейная жизнь, счастіе мужа и отца? Въ этой жизни писатели видъли единственное прибъжище послѣ отрицанія всего прочаго. Но нельзя сказать, чтобы и на этой почет они особенно утъщали читателя: во многихъ романахъ и повъстяхъ, они показали намъ всю непрочность этого единственнаго, последняго утешенія. Ужь не говоря о томъ, что вы должны быть Инсаровынь, если хотите, чтобъ васъ полюбила такая женщина, какъ Елена (а Инсаровыхъ у насъ нътъ, а есть только палки барабанныя),-если полюбитъ васъ обыкновенная женщина, и въ такопъ случай развъ не должны вы ждать ежедневно, что съ вами последуетъ исторія въ роде той, какая

описана въ "Фаустъ" Тургенева, въ "Пріятелъ", въ "Дворянскомъ гнъздъ": или вы сами разочаруетесь въ вашей женъ, или она увлечется другимъ и придетен вамъ проститься съ послъднить вашимъ утъшеніемъ. Такимъ образомъ предано было отрицанію все. Оставалось предать отрицанію послъднее, что во всъ времена было дорого человъку: его жизнь, его личное существованіе на землъ. Писатели 40-хъ годовъ не остановились и передъ этимъ. Можно привести бездну лирическихъ произведеній, въ которыхъ слышится господствующій мотивъ того времени, выраженный еще Пушкинымъ въ стихотворение:

«Даръ напрасный, даръ случайный, Жизнь, зачёмь ты мит дана? И зачёмъ судьбою тайной Ты на казнь осуждена?»

Но достаточно будеть вспомнить то поразительное мёсто въ романт "Накануне", гдё Тургеневъ категорически ставить вопросъ: нивеить ли мы право на жизнь? Не есть ли преступленіе уже то, что мы жизнемъ, преступленіе, за которое мы должны нести на-казаніе въ нашей жизни?

Можно ли было еще что-пибудь отрицать посл'я этого? Не были ли это геркулесовы столбы отрицанія, до которых когда-либо доходилъ идеализиъ? Что оставалось посл'я этого, какъ не садиться, подобно стоикажь, въ теплыя ванны, чтобы сразу избавлять сов'юсть свою отъ угрызенія за преступленіе, которое, по мижнію Тургенева, называются жизпью?

Последнія десять леть представляются годами не однѣхъ только общественныхъ реформъ и рѣшенія вопросовъ практической жизни. Напротивъ того, эти вопросы были только подняты и едва сдёланы коекакія цервыя попытки къ рашенію ихъ. Эпоху же, которую мы переживаемъ, можно сравнить. съ эпохою renaissance, съ первою половиною XVIII въка во Франціи, съ эпохою Sturm und Drang въ Германіи. Въ подобныя эпохи подвергаются переизследованію всё элементы человеческой природы и общественной жизни, но переизсибдование это совершается не въ видѣ одного безусловнаго отрицанія; отрицается только старое, отжившее, что и безъ того уже подвергло само себя отрицанію смерти; рядомъ же съ этимъ отрицаніемъ возникаетъ цёлый рядъ новыхъ идей, новыхъ надеждъ и новыхъ требованій отъ жизни. Самое названіе новаго міросозерцанія, подъ которымъ извъстно оно на Западъ, название реальной и положительной философіи, ноказываеть, что сущность его заключается вовсе не въ отрицаніи, а въ утвержденіи положительных взглядовъ на природу и на жизнь.

Положительное міросоверцаніе, отверган всякія дуалистическія теоріи, кладеть въ основаніе свое нераздіяльное единство, какъ природы вообще, такъ и человіческой природы въ отдіяльности. Съ этой точки зрівнія прогрессь основывается на взаимодійствім многихъсиль природы, совокупное дійствіє которыхъ производить тоть безконечный процессь жизни, который извістенть подъ названіемъ прогресса. Это положеніе новаго міросозерцанія и составляеть исходную точку изъ этого безплоднаго отрицанія, до котораго додумался ядеализись Въ самомъ діяль: разъ мім удостовірились, что прогрессь, т.-е. усовершенствованіе родя

человъческаго, моральное и физическое, зависить отъ тъхъ или другихъ условій жизни, мы нашли переправу черезъ пропасть, отдёляющую действительность отъ утопін, и вивсто того, чтобы ввино стонать о ничтожности силъ человъка для совершенія гигантскаго скачка, наиъ остается поискать досокъ и бревенъ для постройки прочнаго моста. Объяснимъ это нагляднымъ примъромъ: что можетъ быть ужаснъе того положенія идеализма, когда онъ, въчно стремясь къ прекрасному, находилъ, что прекрасное въ жизни человъческой большая радкость, является въ вида исключенія, и утешался только темь, что отрешаясь отъ безобразной действительности, уносился въ область искусства, гдъ соверцалъ прекрасное въ его идеальномъ видъ. Положительное міросозерцаніе находить, что прекрасное есть создание тахъ или другихъ благопріятныхъ условій жизни. Такъ, наприм'єръ, итальянцы или греки прекрасны въ большинствъ своемъ не столько вследствіе какого-либо врожденнаго стремленія къ прекрасному, сколько подъ вліяніемъ благопріятныхъ условій клипата и ивстности, въ которыхъ они обитають; северныя страны Европы не заключаютъ въ себъ столько естественныхъ условій для произведенія прекрасныхъ типовъ, какъ южныя, но тімъ не менъе и въ съверной Европъ им видимъ, что прекрасные типы являются чаще и совершенные тамъ. гдь условія жизни благопріятствують тому: въ обезпеченныхъ классахъ вы чаще встретите красивыхъ людей, чёмъ въ массахъ рабочаго класса. Изъ этого следуеть прямой выводь, что виесто того, чтобы плакать о скудости прекраснаго въ нашей жизни и вздить въ Италію, чтобы тамъ въ созерцаніи прекраснаго забываться отъ безобразія нашей действительности, не естественнъе-ли и не умнъе-ли подумать о создании такихъ условій жизни, при которыхъ прекрасное являлось бы на каждомъ шагу само собою, безъ всякихъ идеальныхъ стремленій къ нему. Спрашивается теперь, въ какомъ піросозерцаніи вы видите отрицаніе прекраснаго: въ томъ ли которое признаетъ прекрасное только въ идеалъ и отвергаетъ возможность полнаго осуществленія его въ действительности, или наобороть въ міросозерцаніи, которое говорить, что воображение человъка безсильно создать такие полные и совершенные типы прекраснаго, которые на каждонъ шагу ногутъ проявляться въ жизни, если люди позаботятся о прінсканіи благопріятныхъ условій для развитія этихъ типовъ? Какъ отнеслась положительная философія къ прекрасному, такъ точно отнеслась она ко всёмъ прочикъ элементамъ человъческой природы - къ нравственности общественной, семейной и личной, къ наукъ и искусствамъ. Во всемъ она поставила на первый планъ заботу о развити общаго благосостоянія, -- видя, что отъ него прежде всего и болъе всего зависять всв тв нравственныя и физическія совершенства, о которыхъ такъ долго и такъ безплодно сътовали идеалисты. Но пролагать върный и положительный путь къ достижению различныхъ идеаловъ значить-ли отрицать самые идеалы? Положительная философія говорить людянь: вы хотите быть счастливыми и совершенными; позаботь тесь же прежде всего, чтобы среди васъ не было нищихъ и голодныхъ; тогда истина, правда, любовь и поэзія потекуть

обильною струею въ ващей жизни. Неужели въ этихъ словахъ заключается отрицаніе истины, правды, любви и поэзін? Но темный, полуневъжественный идеализиъ въ этомъ-то именно и увидълъ бездну отрицанія. Ему показалось обиднымъ, что новое міросозерцаніе на первый планъ ставить натеріальное благосостояніе, а не ть радужныя мечты, которыми усыпляль себя пдеализмъ и осуществление которыхъ въ реальной действительности онъ самъ такъ упорно всегда отрицалъ и до сихъ поръ продолжаетъ отрицать.

III.

Послѣ перваго увлеченія новыми вопросами и реформами, общаго восторга и ликованія, въ которомъ безразлично смѣшивались люди всѣхъ партій и всѣ наперерывъ либеральничали, отрекаясь отъ всего стараго, ликующіе внезапно оглянулись вокругъ себя, и вдругъ свъчи пира начали меркнуть, нузыка заиграла подъ сурдинкой и многіе изъ бъсновавшихся съ смущенісиъ начали удаляться съ арены, прятаться по угламъ и, сердобольно вздыхая, шептать: "что это мы такое делали? Съ кенъ это ны плясали!... Съ какимито мальчишками, гимназистами! Прилично ли это нашему званію, нашимъ літамъ, нашей солидности!" Это смущенное отшествие въ углы многихъ изъ двятелей того времени, въ томъ числе и большинства нашихъ беллетристовъ, характеризуетъ собою начало 60-хъ годовъ. Явленіе это весьма естественно: въ первыя минуты общаго восторга и ликованія идеалисты добраго стараго времени ликовали, думая, что сидять на своемъ собственномъ пиру, что мъняются два, три старыя учрежденія, а не ихъ старые теоріи и взгляды, и что нъсть конца ихъ царствію. Но когда новое міросозерцаніе выяснилось, определилось и начало подвергать своему безпощадному анализу всв обожаемые кумиры идеалистовъ, они опомнидись, увидвли, что праздникъ былъ вовсе не на ихъ улицв, и тогда начался всеобщій вопль и протесть противъ новыхъ идей, о которыхъ протестующіе, какъ ны сейчасъ увидинъ, не инфли ни малфитаго понятія.

Въ области беллетристики первынъ протестомъ противъ новыхъ идей былъ романъ Тургенева Отпы и дъти".

Романъ этотъ отдичается отъ другихъ того же рода произведений темъ, что онъ преимущественно философскій, Онъ мало касается какихъ-либо общественныхъ вопросовъ своего времени. Главная цъль егопоставить рядомъ другъ передъ другомъ философію отцовъ и философію дітей и показать, что философія дътей противна человъческой природъ и потому не можетъ быть применима въ жизни.

Задача романа, какъ вы видите, очень серьезная. Но на первыхъ же страницахъ вы видите, что авторъ лишенъ всякой уиственной подготовки къ выполнению пъли своего романа; онъ не только не имъетъ никакого понятія о систем'в новой положительной философіи, но и о старыхъ, идеалистическихъ системахъ имъетъ понятія самыя поверхностныя, ребяческія. Для докавательства этого достаточно выписать изъ рсиана слѣдующее мѣсто:

— Что такое Базаровъ? Аркадій усмёхнулся.

- Хотите, дядюшка, я вамъ скажу, что онъ соб-

Сделай одолжение, племянничекъ.

Онъ нигилистъ.

Мы ужь не будемъ говорить о той поэтической наивности, съ которою Тургеневъ ту кличку для молодаго поколенія, которая, какъ извёстно, никогда не употреблямась въ этомъ смыслъ до появленія романа, вложиль въ уста человека молодого же поколенія. Это очень напоминаеть намъ одну изъ раскольничьихъ песней, въ которой царь Алексей Михайловичъ. посылая войско на раскольниковъ, говоритъ: "ступайте бить втру правую, защищайте мою втру окаянную ... Но будемъ продолжать далье:

- Какъ? спросилъ Николай Петровичь, а Павель Петровичь подняль на воздухь ножь съ кускомъ масла на концъ лезвія и остался неподви-

Онъ нигилисть, повториль Аркадій. Нигилисть, повториль Николай Петровичь. Это отъ латинскаго nihil, ничего, сколько я могу еудить, стало быть это слово означаеть человъка, который... который ничего не признаеть?

Скажи: который ничего не уважаеть, подхватиль Павель Петровичь, и снова принялся за

— Который ко всему относится, съ критической точки зрвнія, замётнях Аркадій.

- А это не все равно? спросиль Павель Пет-

Нъть, не все равно: Нигилисть, это человъвъ, который не склоняется ни передъ какими авторитетами, который не принимаеть ни одного прин-

ципа на въру, какийт бы уважениемъ ни былъ окруженъ этотъ принципъ. И что-жь, это хорошо? перебиль его Павель

Смотря какъ кому, дядюшка. Иному отъ это-

го хорошо, а иному очень дурно.
— Воть какъ. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди стараго въка, полагаемъ, что безъ принсиповъ (Павелъ Петровичъ выговаривалъ это слово мягко, на французскій манеръ; Аркадій, напротивъ того, произносилъ «принципъ», налегая на первый слогъ), безъ принсиповъ, принятыхъ, какъ ты говоришь, на вёру, шагу ступить, дохнуть нель-зя. Vous avez change tout cela, дай намъ Богъ здоровья и генеральскій чинь, а мы только любоваться вами будемъ, господа.. какъ бишь?

- Нигилисты, отчетливо проговориль Аркадій. Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотримъ, какъ вы будете существовать въ пустоть, въ безвоздушномъ пространствъ.

И такъ, вотъ что такое, по мнѣнію героевъ романа, нигилисты: это люди, которые ко всему относятся съ критической точки зрвнія, не принимають ничего на въру и потому должны существовать въ безвоздушномъ пространствъ и производить свое название отъ латинскаго слова nihil. Ну, подунайте, пожалуйста, есть ли хоть одна капля, не скажу философскаго, просто здраваго сиысла въ этопъ сунбуръ? Одно только, что видно зд'ясь, это крайнее, д'ятское нев'яжество, которому совершенно неизвестенъ колъ развитія европейской мысли? Это нев'яжество не знаетъ, что отношеніе ко всему съ критической точки зрѣнія вовсе не составляеть какой-либо новости, а существуеть уже со временъ Бэкона и Декарта, и съ техъ поръ никто уже и не спорить о томъ, что каждый мало-мальски иыслящій человікь должень относиться ко всему критически. Споры европейскихъ идеадистовъ съ реали-

стами идуть лишь объ основаніяхъ критическаго отношенія къ вещамъ: идеалисты говорять, что такое отношеніе можетъ быть основано на апріорическихъ началахъ чистаго разума, а реалисты строятъ его на началахъ индуктивныхъ изследованій; но обе школы нисколько не сомнъваются въ томъ, что на то и данъ человъку разунъ, чтобы относиться ко всеку критически. Такимъ образомъ, съ точки зрънія героевъ романа, нигилистами следуеть назвать не однихъ только последователей положительной философіи, а и гегелистовъ, и шеллингистовъ, и кантистовъ, и спинозистовъ, однимъ словомъ, всёхъ европейскихъ мыслителей, включая Бэкона и Декарта. Курьезийе всего вдёсь, иежду прочимъ, то, что Павелъ Петровичъ противопоставляеть критическое отношение къ вещамъ и принципы, полагая, что принципы суть непремённо нёчто принятое на въру, безъ всякой провърки критики. Но почему же принципы не могутъ быть принимаемы на критическихъ основаніяхъ? Да и при какихъ условіяхъ человъкъ будетъ стоять на болъе твердой почвъ: тогда ли, когда онъ будеть следовать въ жизни какому-либо принципу, слёпо принятому на вёру, или когда онъ этотъ самый принципъ провърить на основани какихъ-либо критическихъ данныхъ. Я, наприивръ, слвдую принципу: не делать вреда ближнему; неужели же иеня можно назвать нигилистомъ, и я буду обитать въ безвоздушномъ пространствъ, если я буду знать на основаніи такихъ-то и такихъ-то данныхъ, что не следуеть вредить ближнему? Напротивъ того, я скорве буду стоять гдв-то въ облакахъ нигилизна, если я не буду дёлать вреда ближнему, не отдавая себё отчета въ этомъ, потому только, что другіе уважаемые иною люди посовътовали мив поступать такинъ образомъ.

Задавшись мыслью, что молодежь по своему новому міросоверцанію должна непрем'янно все отрицать, Тургеневъ не только отцовъ заставляетъ разсуждать объ отрицаніи д'ятей, но и въ уста д'ятей вкладываетъ фразы въ род'я сл'ядующихъ:

— «Мы дъйствуемъ въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ, промодвилъ Базаровъ. — Въ теперешнее время полезнъе всего отрицане, — мы отрицаемъ.

— Bce? — Bce.

Какъ? не только искусство, поэзію... но и...
 страшно вымолвить.

— Все, съ невыразимимъ спокойствіемъ повторилъ Базаровъ.

Въ другомъ мъстъ вы читаете курьезъ еще лучше

— Полно, Евгеній... послушать тебя сегодня, поневоль согласишься съ тым, которые упрекають насъ въ отсутствии принциповъ.

— Ты говоринь, какъ твой дядя. Принципост сообще нът, ты объ этомъ не догадался до сихъ поръ!—а есть ощущенія. Все от нихъ зависить.

— Какъ такъ?

— Да такъ-же. Напримъръ я; я придерживаюсь отрицателнаю направленія—съ силу ощущенія. Мнъ пріятно отрицать, мой мовть такъ устроенъ— и баста! Отчего мнъ нравится хіммія? Отчего ты дюбишь яблоки? Тоже въ селу ощущенія. Это все едино. Глубже этого дюди никогда не проникнуть. Не всякій тебѣ это скажеть, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу.

- Что-жь, и честность ощущение?

— Еще бы!

— Евгеній... началь печальнымь голосомь Аркадій. — А? что? Не по вкусу? перебиль Базаровь. — Ньть, брать! Ришился все косить—валяй и себя

по ногамг!»...

Тургеневъ слышаль гдв - то стороною, что новое міросозерцаніе ставить въ основаніе всёхъ исихологических в явленій ощущенія, и вывель изъ этого какиньто образомъ, что выводить все изъ ощущеній значить все отрицать, косить и валять себя по ноганъ. Турневъникакъ не могъ сообразить, что отвергая честность, какъ врожденную идею, вложенную въ человъка до его рожденія, и признавая ее какъ ощущеніе, положительная философія нисколько не отрицаеть этимъ честности, равно какъ и другихъ принциповъ. Все дъло касается здёсь не самой честности, а ея происхожденія, и Базаровъ, какъ человъкъ новаго міросозерцанія, не ицёлъ никакого повода, приступая къ этому философскому вопросу, воображать, что онъ этимъ валяетъ себя по ногамъ и отрицаетъ принципы. Здъсь Тургеневъ субъективенъ такъ же, какъ и въ речахъ Кирсановыхъ: въ уста молодого поколенія онъ влагаетъ такія понятія о новомъ міросозерцанім, которыя сложидись въ его собственной художественной головъ, лишенной всякаго философскаго развитія. Если бы Тургеневъ взглянулъ поближе на молодое поколеніе, то въ действительности онъ увидель бы, что молодежь не только не отрицаеть честности, а напротивъ того, шагу не можетъ ступить безъ того, чтобы разъ двадцать не повторить этого слова, при всякомъ удобномъ случав.

Задавшись тою идеею, что молодежь все отрицаеть, Тургеневъ вознамърился показать на Базаровъ, что подобное безусловное отрицаніе противно человъческой природь, и природа дъйствуеть своимъ путемъ, развивая въ человъкъ побужденія, чувства и страсти совершенно въ противоръче теоріи его, отрицающей всь эти явленія. Базаровъ ничего не видълъ въ любви, кромъ минутнаго удовлетворенія чувственности, и называлъ проявленія любви болъе серьезной отжившимъ романтизмомъ, а самъ полюбилъ не на шутку Одинцову и не могъ никакъ сладить съ собой. Базаровъ отвергалъ дуэли, а какъ дъло дошло до встрѣчи съ ненавистнымъ человъкомъ, согласился драться съ Павломъ Петровичемъ безъ всякихъ колебаній.

Мы не будемъ распространяться объ исторіи дуэли, такт-какъ ето не болѣе, какъ вставной эпизодъ въ романѣ, и эпизодъ, развитый очень слабо: Тургеневу не удалось произвести ни налѣйшей иллюзіи въ чигателѣ, такъ, чтобы вы видѣли передъ собою людей, которымъ, дѣйствительно только и оставалось, что уничтожить другъ друга; съ самаго начала до конца этой исторіи вамъ кажется, что эти люди больше ничего, какъ на досугѣ тѣшатся, играя пистолетиками, какъ дѣти. Мы займемоя лучше исторіей базаровской любви, составляющей главное содержаніе романа.

Базаровъ, какъ и слѣдовало, по мнѣнію Тургенева, всеотрицающему ингилисту, не видящему въ любви ничего, кромѣ чувственности, похвалиять въ Одинцовой первоначально одни плечи, и выразился о ней, что она тертий калачъ; но потомъ онъ и самъ не замѣтилъ, какъ разгорѣлось въ немъ болѣ серьевное чувство, которато онъ никакъ не ожидалъ и не желалъ:

«Настоящею причиною всей этой «новизны» было чувство, внушенное Базарову Одинцовой; чувство, которое его мучило и бъсило, и отъ котораго онъ тотчась отказался бы съ презрительнымъ хохотомъ и циническою бранью, если бы жто-инбудь, хоти отдаленно, намежнуть ему на возможность того, что въ немъ происходило. Базаровъ быль великій охотникъ до женщинъ и до женской красоты, но любовь въ смыслъ идеальномъ или, какъ онъ выразился, романтическомъ, называлъ белибердой, непростительною дурью, считаль рыпарскій чувства чёмъ-то въ роде уродства или болезни, и не однажды выражалъ свое удивленіе, почему не посадили въ Желтый домъ Тоггенбурга со всёми миннезингерами и трубадурами? «Нравится теб'в женщина», говариваль онь, «старайся добиться толку; а нельзя-ну, не надо, отвернись-земля не клиномъ сошлась». Одинцова ему нравилась; распространенные слухи о ней, свобода и независимость ея мыслей, ея несомнънное расположение къ нему-все, казалось, говорило въ ея пользу; но онъ скоро понялъ, что съ ней не добъешься толку, а отвернуться отъ нея онъ, къ изумлению своему, не имълъ силъ. Кровь его загоралась, какъ только онъ вспоминаль о ней; онъ легко сладиль бы со своею кровью, но что-то другое въ него вселилось, чего онъ никакъ не допускалъ, надъ чъмъ всегда трунилъ, что возмущало всю его гордость. Въ разговорахъ съ Анной Сергъевной онъ еще больше прежняго высказываль свое равнодушное презрѣніе ко всему романтическому; а оставшись наединъ, онъ съ негодованіемъ сознаваль романтика въ самомъ себъ. Тогда онъ отправлялся въ лёсь и ходиль по немъ большими шагами, ломая попадавшіяся вітки и браня въ полголоса и ее, и себя; или забирался на съноваль, въ сарай, и упрямо закрываль глаза, заставляль себя спать, что ему, разумъется, не всегда удавалось. Вдругь ему представится, что эти целомудренныя руки когда-нибудь обовьются вокругъ его шеи, что эти гордыя губы отвътять на его поцълуи, что эти умные глаза съ нъжностью-да, съ нъжностью-остановятся на его глазахъ, и голова его закружится, и онъ забудется на мигъ, пока опять не вспыхнеть въ немъ негодованіе. Онъ ловиль самого себя на всякаго рода «постыдных» мысляхь, точно бъсъ дразниль его. Ему казалось иногда, что и въ Одинцовой происходить перемъна, что въ выражении ея лица проявлялось что - то особенное, что, можеть быть... Но туть онъ, обыкновенно, топаль ногою или скрежеталь зубами и грозиль себъ кулакомъ».

Въ этой борьов Базарова съ самимъ собою, въ борьов теоріи съ природою—заключается вся, такъ сказать, иронія романа, которую г. Тургеневъ проводить до конца, заставляя Базарова потёшаться надъ своею

любовью даже на спертномъ одръ:

"Ну, что жь мий вами сказать... Что я любиль васъ? Это и прежде не импью никакого смысла, а теперь подавно. Любовь—форма, и моя собственная форма уже разлагается. Скажу я дучте, что какая вы славная! И теперь воть вы стоите, такая красивая...*

Вся эта пропія была бы совершенно ум'єства, еслибы Тургеневъ им'єль цієлію изобразить аскета, борющагося со своею природою, или разочарованнаго идеалиста въ роді Он'єгина, который, какъ изв'єстно, по полученіи письма Татьяны, подавиль въ себ'я возникшее-было увлеченіе, чтобы выдержать до конца свое скептическое отношеніе къ жизчи. Среднев'ковый аскетъ и разочарованный Он'єгинъ—это два вида одного и того же идеализма и, какъ мы видимъ, отрицаніе любви свойственно вполні тому старому міросоверцанію, за которое ратуетъ Тургеневъ, и которое, котя

и признавало любовь въ высокомъ идеалъ, но приводило постоянно человъка къ отрицанію ся въ жизни. Принисывать же новому міросозерцанію отрицаніе любви, какъ это делаеть Тургеневъ - чистая нелепость. Правда, новое міросозерцаніе выводить любовь, какъ и все психическія явленія, — изъ ощущеній. Но выводить любовь изъ ощущений, вовсе не значить отрицать любовь или же низводить ее на стецень минутныхъ чувственныхъ наслажденій. Еслибы Тургеневъ опять-таки потрудился поснотрѣть, что дѣлается въ жизни, онъ встретилъ бы въ действительности не мало людей, воспринявших в новое міросозерцаніе, которые испытывають сильныя и глубокія привяванности и не видять въ этомъ ни капли противоръчія со своими идеями. Правда, они не считають любви высшею цёлью жизни, неизреченнымъ и необъяснимымъ таинствомъ, фатумомъ, заранве предуставляющимъ влеченье двухъ сердецъ. Они сибются надъ всеми этими романтическими бреднями; но смёнться надъ взглидами романтиковъ на любовь, вовсе не значить сивяться надъ саною любовью. Базаровъ ногъ бороться со своею страстью, но не вследствіе какихъ-либо отвлеченныхъ теорій, отрицающихъ любовь, а изъ причинъ чисто реальныхъ. Очень часто случается, что какая-либо страсть, слепо новинуясь своимъ естественнымъ законамъ, загорается въ человъкъ помимо всёхъ доводовъ разсудка. Базаровъ могъ влюбиться въ Одинцову, и въ то же время совнавать, что эта барыня, изнёженная конфортомъ, цёнящая выше всего спокойствіе, и ради сохраненія этого спокойствія, не ръщающаяся пощевельнуть пальчикомъ, совершенно не годится быть ни его женою, ни любовницею; онъ могъ вследствие этого смотреть на свою страсть, какъ на слушую, лишенную всякихъ разумныхъ основаній и потому унижающую его. Но борьба противъ такой страсти не была бы борьбою во имя какой-либо отвлеченной теоріи: это была бы чисто-жизненная борьба, достойная Базарова и достойная кисти талантливаго художника; но Тургеневъ ни въ одномъ мъстъ своего романа и тени намека не сделаль на подобнаго рода борьбу, а повсюду на первоиъ планъ вы видите Вазарова, борющагося съ собою только потому, что онъ считаетъ любовь белибердою и романтизмомъ.

Но читатель можетъ сдёлать инт вотъ какое возраженіе относительно Базарова: я обвиняю идеалистовъ въ томъ, что они не поняди новаго міросозерцанія, увид'євши въ немъ сплошной рядъ безусловныхъ отрицаній, и объясняю это непониманіе скудостью знаній и логическаго развитія мысли — выносиною нами изъ нашего воспитанія. Но вёдь подобная причина приложима не къ однимъ идеалистамъ, а вообще ко всей нассѣ нашего общества. Вѣдь не въ особенныхъ-же школахъ учились идеалисты, не понявшіе новаго міросозерцанія. Молодежь училась въ техъ-же училищахъ и но такивъ-же жиденькивъ учебникамъ. Многіе молодые люди могли точно также не понять новаго міросозерцанія, какъ и старики, хотя и отнеслись къ нему сочувственно. Всосавши съ полоковъ матери и воспринявши въ детскіе годы порядочную дозу идеализна, — они могли, подобно отцамъ, увидъть въ новомъ міросоверцанім рядъ безусловныхъ отрицаній и отпускать въ своемъ увлечении трескучия фразы,

вложенныя Тургеневымъ въ уста Базарова и Кирсанова, въ родъ того, что мы, молъ, все отрицаемъ, ны ломаемъ, ны сила и пр. Очень можетъ быть, что Тургеневъ, въ лицъ своихъ молодыхъ героевъ, представиль вовсе не людей новаго міросозерцанія, а техъ недоучившихся баричей, которые слышали только, что въ какомъ то приходъ звонять, но не знаютълдъ. и щеголяють фразами дешеваго отрицанія, изъ одного тщеславнаго желанія порисоваться ими, да изъ-за того еще, что у нихъ кровь кипить и силь избытокъ. Очень можетъ быть, что Тургеневъ изобразилъ именно тъхъ рыцарей, которые, какъ это было въ прежнее время, такъ и теперь, съ невъроятною легкостью переходять отъ щеголеватаго отрицанія къ весьма нещеголеватому примиренію съ самою пошленькою действительностью.

Безспорно, Тургеневъ могъ въ дъйствительности встретить все те фразы, которыя онъ вложиль въ уста своихъ юныхъ героевъ. Какой только уродливости нельзя подъискать въ нашей убогой действительности! Но, въ такомъ случав, Тургеневъ быль обязанъ отдёлить ложное понимание новыхъ идей отъ истиннаго, что онъ, конечно, и сделалъ-бы на Базаровъ, если-бы самъ онъ понималъ, въ чемъ тутъ заключается различіе. Вы видите, что Тургеневъ выдъляетъ Базарова изо всъхъ окружающихъ его людей одного съ нимъ мивнія. Онъ высоко поставиль его надъ Ситниковымъ, Кукшиною, въ лицъ которыхъ онъ изобразилъ грязные подонки стараго времени, вынесшіе изъ новыхъ идей только новый способъ времяпрепровожденія. Онъ возвысиль Вазарова и надъ другомъ его, прекраснодушнымъ Аркадіемъ, этимъ тщедушнымъ недоноскомъ прогресса. Въ лицъ Базарова Тургеневъ, очевидно, имълъ намерение представить типъ лучнихъ представителей молодого поколънія. Онъ надълилъ его иногими такими симпатичными чертами, всябдствіе которыхъ критика въ началі 60-хъ годовъ имъла основание видъть въ Базаровъ типъ лучшихъ полодыхъ людей нашего времени. Происходя изъ плебейскаго рода, Базаровъ вынесъ отъ своихъ предковъ ту жилку усидчиваго трудолюбія, тотъ физическій и нравственный закаль, которые такъ різко отличають его оть ингкосердечныхъ, дряблыхъ, лънивыхъ и жиденькихъ натуришекъ кирсановской атмосферы. Жизнь, полная труда и борьбы изъ-за куска хлёба, изъ-за желанія пробиться собственною энергіею безъ всякой посторонней помощи, заставила его пройти сквозь огонь и воду и еще болже закалила его. Вы видите передъ собою человека, который не ограничивается однъми фразами о пользъ труда, а санъ трудится безъ устали. Едва прівхалъ онъ къ Кирсановымъ, и на другое-же утро принялся за свои изследованія. Что очень верно съумель подметить Тургеневъ въ Базаровъ, это его естественное отношеніе къ простымъ людямъ, снискавшее братское расположение къ нему со стороны этихъ людей, что, какъ извъстно, дается очень не многимъ изъ нашихъ гуманивишихъ прогрессистовъ, несмотря на всв выканья и рукопожатія, которыя они расточають простому народу отъ всей своей щедрой души.

«Прошло около двухъ недъль. Жизнь въ Марьинъ текла своимъ порядкомъ: Аркадій сибаритствоваль,

Базаровъ работалъ. Всё въ домё привыкли къ нему, къ его небрежнымъ манерамъ, къ его немногосложнымъ, отрывочнымъ ръчамъ. Өеничка въ особенности до того съ нимъ освоилась, что однажди ночью вельна разбудить его: съ Мишей сдълались судороги; и онъ пришель и, но обыкновению, полушутя, полуживал, просидёль у нея часа два и помогь ре-бенку. За то Павель Петровичь всеми сидами души своей возненавидёль Базарова: онъ считаль его гордецомъ, нахаломъ, циникомъ, плебеемъ; онъ подозрѣваля, что Базаровъ не уважаеть его, что онъ едвали не презираеть его—его, Павла Кирсанова! Николай Петровичъ побанвался молодого «нигилиста» и сомитвался въ пользъ его вліянія на Аркадія; но онъ охотно его слушаль, охотно присутствоваль при его физическихъ и химическихъ опытахъ. Базаровъ привезъ съ собою микроскопъ, и по цълымъ часамъ съ нимъ возился. Слуги также при-вязались къ нему, хотя онъ надъ ними подтруниваль: они чувствовали, что онъ все-таки свой брать, не баринъ. Дуняша охотно съ нимъ хихикала и, искоса, значительно посматривала на него, пробъгая мимо «перепелочкой». Петръ, человъкъ до крайности самолюбивый и глупый, вѣчно съ напряженными морщинами на лбу, человък, котораго все достоинство состояло въ томъ, что онъ глядълъ учтиво, читалъ по складамъ и часто чистилъ щеточкой свой сюртучокъ, и тотъ ухмылялся и свътлеть, какъ только Базаровъ обращалъ на него вниманіе; дворовые мальчики бѣгали за «дохтуромъ» какъ собачонки. Одинъ старикъ Прокофьичъ не любиль его, съ угрюмимъ видомъ подавалъ ему за столомъ кушанъя, называлъ его «живодеромъ» и про-щелыгой и увърялъ, что онъ съ своими бакенбардами-настоящая свинья въ кустъ. Прокофьичь, по своему, быль аристократь не хуже Павла Петровича».

Вотъ какими чертами изображаетъ Тургеневъ Базарова. Это не фразеръ, а труженикъ, не шарлатанъ, скрывающій подъ маскою грошоваго отрицанія отсутствіе всякихъ положительныхъ знаній, а человъкъ, при всей своей молодости успъвшій запастись солидными свъдъніями. Такіе люди не говорять съ чужого голоса звонкихъ фразъ, значение которыхъ сами плохо понимають, а высказывають то, что сознають, до чего додумались путемъ жизненнаго и научнаго опыта. И вдругъ. этотъ энергическій труженикъ, обладающій солидными знаніями, разражается рядомъ нельныхъ фразъ, въ которыхъ, какъ ны видъли выше, замъчается полное отсутствие всякой логики и всякаго знанія. Очевидно, что въ словахъ лучшаго и работающаго представителя молодого покольнія Тургеневъ ижьль намъреніе представить новое міросозерцаніе не въ искаженномъ, а въ чистомъ видъ его, съ цълію показать, какъ это міросозерцаніе гибельно вліяеть на лучшихъ представителей ero. Ho такъ какъ Тургеневъ самъ-то не имбетъ ни малейшаго понятія о новомъ міросозерцанім, то поневолъ ему пришлось попасть въ такой-же просакъ, въ какой попаль-бы я, если-бы миж вздумалось изобразить великаго полководца, измышляющаго великій планъ сраженія; очевидно, что планъ этоть, при моихъ стратегическихъ способностяхъ и знаніяхъ военныхъ наукъ, вышель-бы такой геніальный, что надъ нимъ посивался-бы первый вновь произведенный прапор-

IV.

До сихъ поръ мы стояли на почвѣ чисто теоретической. Мы разсматривали міросозерцаніе нашихъ от-

цовъ и новое, современное намъ, въ ихъ сущности и по взаимному отношению другь къ другу. Реманъ Тургенева показаль намъ, какіе взгляды составидись у насъ относительно новаго міросозерцанія при условін того узкаго идеализма и полнаго отсутствія всякаго философскаго образованія, какими страдаеть наше общество въ лицъ даже такихъ людей, какъ Тургеневъ. Въ романахъ, предстоящихъ нашему разбору, на первоиъ планъ стоитъ сторона практическая; они изображають различныя явленія жизни по отношенію къ идеянъ: или повъствуютъ нанъ, какія печальныя последствія произошли отъ вредныхъ идей, или же, напротивъ того, становятся на сторону самихъ идей и порицають людей, находящихся въ противоръчіи съ этими идеями. Въ обоихъ случаяхъ взглядъ на жизнь въ этихъ романахъ чисто идеалистическій и потому, какъ ны увидимъ ниже, романы эти, ратующіе противъ мнимаго нигилизма, сами пропитаны нигилизномъ весьма мрачнаго свойства.

Если мы изъ міра отвлеченныхъ идей опустимся въ реальную жизнь и начнемъ разсматривать тотъ процессъ, который совершается въ нашемъ обществъ въ настоящее время, то мы, конечно, не найдемъ здъсь той догической последовательности и систематической стройности, какія представляють идеи, разсматриваемыя въ отвлечении. Жизнь не есть процессія и парадъ, устроенные по заранъе предначертаннымъ инструкціямъ и церемоніаламъ, а броженіе иногихъ силъ, сложный процессъ, въ которомъ тщетно вы будете искать разлинованной симметріи. Смотря на жизнь съ этой точки зрвнія, мы должны считать неизбежными всь ен непоследовательности и противоречія, не упуская изъ вида, что отсутствіе противорічій, послідовательность возможны только, какъ последній и крайній исходъ того или другого жизненнаго процесса. Идеалисты смотрятъ на это совершенно иначе: выводя все изъ идей и опираясь исключительно на личную волю человека, они требують, чтобы человекь въ каждую минуту своего существованія быль твердо последователенъ своей идет, при этомъ совершенно не берется въ разсчетъ, обладаетъ ли человъкъ такою волею, которая могла бы противостоять обстоятельстванъ, и таковы ли обстоятельства, чтобы ихъ могла вынести самая гигантская воля. Объяснимъ это нагляднымъ примъромъ: основная идея протестантства заключалась въ признаніи свободы сов'єсти, свободы личнаго сужденія въ дёлахъ религіи. Въ этой идев заключалась главная сущность протеста противъ католичества и прогрессивнаго движенія Европы въ ХУ въкъ. И что же ны видинъ? Протестанты, проповъдуя эту идею въ теоріи, на практикѣ на каждомъ шагу противоръчили ей: въ своей нетерпиности они превосходили нередко католиковъ и готовы были истреблять ихъ при всякомъ удобномъ случат; въ самой средъ протестанства одна секта отрицала существование другой и дукъ взанинаго самонстребленія овладёлъ Европою на два стольтія, во имя идеи религіозной терпимости. Идеалиста должна привести въ отчаяніе такая крайняя непоследовательность въ исторіи. Но всматриваясь въ событіе это съ реальной точки эрвнія, ны видинъ, что непоследовательность эта была неминуемымъ процессомъ жизни. Когда новая идея вно-

сится въ общество, она необходимо должна встретить въ жизни рядъ учрежденій, обычаевъ, правовъ и привычекъ, стоящихъ къ ней въ крайнемъ противоръчін; иначе эта идея не была бы новою. Бытъ общества влінеть на каждую отдёльную личность; если условія этого быта ложны, ненормальны, стеснительны, то это отражается на каждой личности, искажая ее такъ или иначе. Живя подъ этими условіями, личность пріобрѣтаетъ разныя привычки, конечно, дурныя, если условія быта ненориальны. Когда является новая идея, не можеть же она разомъ, однимъ дуновеніемъ вътра сломить всё дурныя привычки, пріобрётенныя людьми иногда путемъ половаго подбора впродолженіе ніскольких столітій. На первых порахъ люди довольствуются одними внёшними измёненіями во имя новыхъ идей, а между темъ, старыя привычки продолжають по инерціи действовать въ нихъ совершенно въ противоръчие новымъ ндеямъ. Протестанты были совершенно удовлетворены, отвергнувши авторитетъ папы, два-три догмата, поклонение иконамъ, да устроивши свою особенную объдню въ отличіе отъ католической; но въ то же время они воспитаны были предшествующими въками въ духъ нетериимости и были слишкомъ озлоблены гнетомъ католичества, который продолжаль угрожать имъ гибелью. Необходимо было, чтобы европейскія общества насколько столатій прожили подъ вліяніємъ такихъ условій жизни, при которыхъ въ нихъ могли бы выработаться новыя привычки, соотв'ятствующія идей терпиности. Мы видимъ, что и до сихъ поръ Европа не вполиъ достигла этого, и даже въ Америкъ, странъ, въ которой религіозная терпимость развита болье, чемъ где либо, возножно появление секты мормоновъ, съ ея воинственнымъ духомъ истребленія всёхъ другихъ сектъ. Въ какую историческую эпоху им ни заглянемъ, вездъ ны увидинъ подобное явленіе; оно очень грустно, если хотите, но, тъмъ не менъе, неизбъжно, основываясь на томъ, что мысль человъческая развивается и церерабатывается гораздо быстрее, чемъ та инертная масса привычекъ, которыя развиваются подъ гнетомъ обстоятельствъ. Рабы послѣ своего освобожденія долго еще продолжають обыкновенно робіть, тераться, иногда и унижаться передъ господами, а господа, самые гуманные, продолжають относиться повелительно къ прежнимъ рабамъ. Въ Америкъ до сихъ поръ существуютъ особенные вагоны для негровъ, и тъ самые янки, которые принимали горячее участіе въ дёль освобожденія своихъ черныхъ собратьевь, все еще стыдятся сидёть рядомь съ ними въ одномъ вагонъ. Поэтому, когда им разсматриваемъ какую нибудь переходную эпоху и зам'вчаемъ въ ней рядъ явленій, поряжающихъ насъ своею непослёдовательностью, им делжны остерегаться видеть въ этихъ явленіяхъ нѣчто новое, вышедшее изъ новыхъ идей своего времени. Явленія подобнаго рода бывають обыкновенно ниченъ инымъ, какъ произведениемъ старыхъ привычекъ, глубоко въбвщихся въ бытъ об-

Мы уже видёли, въ какомъ жалкомъ состояни находился умственный кругозоръ нашего образованнаго общества десять дётъ тому назадъ. Но не отрадиве были и правы его: лишенные всякой самостоятельной

дъятельности, всякаго труда, всякой заботы о самихъ себъ, образованные люди проводили жизны свою въ праздной апатін, переходя отъ жирнаго об'єда къ карточному столу, отъ резонерства и самонзгрызенія къ сплетнямъ и пересудамъ. Рьяные идеалисты и поклонники высшихъ стремленій, въ реальной жизни были большіе любители весьма неизящной клубнички, и доморощенный сенсуализмъ ихъ принималъ неръдко самыя грубыя и циническія формы. За недостаткомъ внутренняго содержанія жизни въ обществъ, была сильно развита страсть къ внешнему блеску, страсть казаться, играть роль, щеголять почестями, богатствомъ, или-же инимою, образованностью, начитанностью, глубиною идей, мефистофельский сарказмомъ, и даже иногда необузданностью нерящества и цинизма, лишь бы чёмъ нибудь возвыситься надъ толпою и обратить на себя вниманіе. Всё эти привычки глубоко вътлись въ наше общество впродолжение иногихъ покольній. Когда общество наше пробудилось на минуту отъ своего глубокато сна, начались реформы, всеобщее увлечение новыми вопросами, новыми идеями,витесть съвыражениемъ новыя идеи появилось выраженіе новые моди. Выраженіе это унотребляется у насъ въ симслъ людей, увлекающихся новыми идеями. Но только въ такомъ смысле и возможно пока употреблять это слово. Если же мы начнемъ анализи овать новыхъ людей со стороны соотвётствія ихъ жизни съ ихъ идеями, то, конечно, мы на каждомъ шагу должны будемъ терпъть самое горькое разочарование: мы встрётимъ не мало людей, которые проповедують, что жизнь должна быть основана на трудъ, а сами бездельничають; людей твердящихь о самостоятельности и постоянно находящихся подъ чьимъ нибудь вліянісмъ; людей, твердящихъ о братствъ, и собирающихъ деньги въ свою потаенную копилку съ самымъ черствымъ эгоизиомъ. Въ романахъ, которые им будемъ разбирать, ны найдень обильные факты такихъ безобразій, и мы постараемся показать въ своемъ мёстё, что если и встрѣчаются въ жизни эти безобразія, то идеи, которыми они прикрываются, нисколько въ этомъ не виноваты, а виновата прошлая жизнь нашего общества со всеми ся условіями. Но идеалисты не обращаютъ вниманія на законы природы и на зависимость нравственнаго міра человѣка не отъ однѣхъ ндей, а главнымъ образомъ отъ условій жизни. Ища повсюду строгаго соотвътствія нежду идеею и фактонъ, они приходять въ ужасъ отъ перваго встръчнаго противоречія въ жизни, впадають въ отчанніе, подынають воили о невозможности какого дибо прогресса въ растленной среде, или же на безобразія жизни смотрять, какъ на следствія безобразія новыхъ идей и, отвергая последнія, устремляются вспять и начинають поклоняться старымъ кумирамъ, видя въ нихъ единственное спасеніе.

Однимъ изъ такихъ воилей идеализма о нищетъ міра сего представляется романъ Писемскаго "Взбаламученное море".

Въ романъ своемъ Писемскій представляетъ наше общество въ видъ безотраднаго моря, на поверхности котораго онъ замъчаетъ много радужныхъ отливовъ, но въ глубинъ таптся страшная бездна самыхъ отвратительныхъ чудовищъ, безкровныхъ рыбъ и мерзкихъ улитокъ, приросшихъ къ камнямъ, покрытынъ скользкою вонючею тиною. Въ первыхъ двухъ частяхъ романа писатель не пожальль мрачныхъ красокъ, чтобы изобразить нашь нашу прошлую жизнь во всей ея безобразной наготь, покрытой всевозможными болячками. На первомъ планъ рисуется передъ нами герой романа Баклановъ. Авторъ относится къ нему очень синсходительно въ четвертой части романа, опредъляя его такинъ образонъ: "Герой мой, во первыхъ, не герой, а обыкновенный смертный изъ нашей, такъ-называемой, образованной среды. Онъ праздно выросъ, не дурно поучился (!), поступиль по протекціи на службу, благородно и ліниво послужиль, выгодно женился, совершенно не умёлъ распоряжаться своими дълами, и больше мечталь, какъ бы пошалить, поръзвиться и попріятньй провести время. Онъ представитель того разряда людей, которые до 55 года замирали отъ восторга въ итальянской оперв и считали, что это высшая точка человіческаго назначенія на землъ, а потомъ сейчасъ же стали, съ увлечениеть и върою школьниковъ, читать потихоньку "Колоколъ". Внутри, въ душе у этихъ господъ, неть, я думаю, никакого самодъданія; но за то натираться чёмъ ванъ угодно снаружи-величайшая способность!"

Вообще типъ Бакланова удался Писемскому какъ нельзя болёе, и можно смёло сказать, что въ нашей литературё не было еще такого полнаго и цёльнаго изображенія этого типа, какое мы видимь въ романе Писемскаго. Баклановъ есть полное олицетвореніе людей, которые только и могуть развиваться на почвё жизни даровой, праздной и ничемъ не наполненной. Воспитанный на папенькиныхъ хлёбахъ, на полномъ барскомъ раздольё, онъ уже на гимназической скамъй привыкъ корчить изъ себя картиннаго героя въ родё тёхъ, которые встрёчаются въ повёстахъ Марлинскаго. Пожавши подъ столомъ ручку своей кузинѣ, онъ уже квастается своему товарищу Венявину:

— А было, что я сталь къ ней въ такія отношенія, при которыхъ уже пятиться нельзя! прибавиль онъ съ разстановкой.

Венявинъ даже побледнель.

— Какъ такъ?

такъ!

И Александръ еще дальше закинулъ голову назадъ.

— Она была, продолжать онъ, закрывая глаза, грустна, какъ падпий ангелъ... Только и молила: «Что вы, что вы со мною дёлаете?»... Но я быль бъщеный, прибавиль онъ, сжиман кулаки.

Когда потомъ падшій ангель пококетничаль немного съ флигель-адъютантомъ, Баклановъ воспылаль ревностью, и убзжая въ Москву, въ университетъ, трагически проговорилъ:

— Если я не нашелъ въ прекрасномъ, такъ найду въ дурномъ!

И картинный геройчикъ предался студенческимъ пирушкамъ и скандаламъ, воображая, что онъ топитъ въ этомъ времящрепровождени свою бурную страсть. Какимъ представляется онъ вамъ на школьной скамъъ, такимъ видите вы его и въ жизни: жалокъ и гадокъ онъ и тогда, когда силою раститваетъ въ своемъ инъвии крестъянскую дъвушку, и когда стыдится ъкатъ

со своею матерью, и когда, въ припадкѣ ревности къ Софи Леневой, швыряетъ стулья и подсвѣчники въ ен домѣ, и когда женится на Евпраксіи, дѣвушкѣ, не-имѣющей съ нимъ ничего общаго, изъ одного сластолюбиваго любонытства, что, молъ, за существо эта дѣвушка и какъ она будетъ любить; жалокъ и гадокъ онъ и въ ночной омеряттельной сценѣ съ Казамірой, и въ своей поѣздкѣ съ Софи Леневой въ Петербургъ тъснько отъ жены. Во всемъ этомъ вы видите безхарактернаго, пошлаго селадона, растлѣннаго до мозга костей.

Въ подобіе Бакланову стоитъ героиня пов'єсти Софи Ленева. Родившись въ бълномъ дворянскомъ семействъ и не получивши никакого воспитанія; Софи вынесла изъ д'єтства одну жажду-выбиться изъ подавляющей бёдности какими бы то ни было средствами, для того, чтобы встать въ одинъ уровень съ другими и поражать окружающихъ красотою и нарядами. Для достиженія этого она готова продавать себя на каждомъ шагу, и кагъ сначала продала она себя мужу своему, старому, изжившему, но за то богатому помвщику, такъ потомъ продалась жиду-откупщику, а впоследствін, сколотивши деньжонки ценою своей красоты, повхала заграницу транжирить даромъ доставшіеся капиталы и мінять на каждой станціи любовниковъ, пока наконецъ за долги не попала въ лондонское Клиши. Это, какъ вы видите, типъ, тоже взятый изъ действительности, и авторъ не пожалель красокъ, чтобы очертить его во всей его грязной непривлекательности.

Далъе вы видите прачную агонію сенейной жизни въ семь в Басардиныхъ. Печальна судьба Надежды Павловны Басардиной, вышедшей замужъ за полуидіота, чтобы только уйти куда нибудь и избавиться отъ монотонной, затулой, невыносимой жизни въ доив сестры. А всв эти селейныя хлопоты и дрязги, гонки за богатыми тетушками, выпрашиванья тепленькихъ мъстечекъ, чтобы какъ нибудь поправить финансы и устроить семью, все это наводить на насъ тяжелую, свинцовую тоску. Особенно мрачно рисуется передъ вами типъ молодого Басардина, этой жертвы корпуснаго воспитанія, колотящаго будочниковъ по зубанъ, об'вдающаго даронъ въ трактирахъ, жаднаго къ деньгамъ, чувственнаго и низкаго. А далъе за Басардинымъ открывается передъ вами цёлый омутъ циниковъ и идіотовъ, блудниковъ и блудницъ, администраторовъ и откупщиковъ, совершающихъ, подъ прикрытіемъ власти и денегъ, уголовныя преступленія, отъ которыхъ волоса могутъ встать дыбомъ. Нисемскій открываеть передъ вами жизнь и нравы гораздо болже мрачные, чемъ правы временъ распаденія римской имперіи: тогда, по крайней мірь, страшная гниль подкращивалась лоскомъ древней цивилизаціи; здъсь же растявние нравовъ представляется вамъ въ самомъ грубомъ, циническомъ видъ полуобразованнаго, полудикаго общества.

Въ этой картинъ вы видите полное, безусловное отрицаніе Писемскимъ всей нашей прошлой жизни, которая была повидимому такъ благоустроена, тиха и безмятежна, но подъ наружнымъ благочиніемъ скрывала самое страшное растлъніе. Но вотъ лазурное, не-

подвижное море ваволновалось. Начались реформы, поднялись вопросы, въ обществ возникло замътное броженіе. Отрицая все прошлое, Писемскій отрицаетъ вмістъ съ этимъ и то движеніе, которое испытало наше общество, отвергая за нимъ всякое значеніе.

«Въ началъ нашего труда, говорить онъ, при раздавшемся около насъ, со всъхъ сторонъ, говоръ пумъ, трескъ, ясное предчувствіе говорило намъ, что это не буря, а только рябь и пузири, отчасти надугые извић, и отчасти появившеся отъ поднявшейся енизу всякой дряни. События какъ нельзя лучще оправдали наши ожиданія».

А ВЪ другомъ мъстъ, онъ проводить ту же мысль еще яснъе, влагая ее въ уста одному изъ своихъ героевъ—Веригину.

Неужели же во всемъ послёднемъ движеніи вы не признаете никакого смысла? спросилъ Баклановъ.

Верегинъ усмъхнулся.

— Никакого!.. одно только обезьянство, игра въ объдню, какъ дъти вонъ играють.

 Хороша игра въ объдню, за которую въ кръпость попадають, сказалъ Баклановъ.

— Очень жаль этихъ господъ въ ихъ положеніи, повравиль Верегинъ; — тімъ боліве, что, говора отъ кровенно, они плоть оть плоти нашей, коеть отъ костей нашихъ. То, что мы ділали, крадучись, чему потихоньку симпативировали, они возвели въ принципъ, въ систему; это наши собственным сілмена, только что распустившіяся въ букеть.

— Если подъ движеніемъ разумѣть—началь Юрасовъ—собственно революціонное движеніе, такъ оно, конечно, безсмыслица, но движеніе—въ смысѣѣ реформъ.

Верегинъ придалъ какое-то странное выражение своему лицу.

Что же привело Писемскаго къ этому безусловному отрицанию не только всего нашего прошлаго, но и того движения нашего общества, которое было нечёмъ инымъ, какъ стремлениемъ выйдти изъ этого печальнаго прошлаго?

Во-первыхъ, г. Писемскаго сбилъ съ толку тотъ естественный процессъ жизни, который ясенъ для всякаго мало-мальски образованнаго человека, но на который г. Инсенскій взглянуль съ точки зрёнія узкаго идеализма. Его смутило то обстоятельство, что на арену увлеченія общественнымъ движеніемъ выступили люди того же добраго стараго времени-Ваклановы, Леневы, Басардины, и внесли въ это движение тѣ же гадости, которыми они начинили себя въ своей прежней жизни. Что новаго и хорошаго погли произвести эти дюди? Очевидно, ничего. Но за этими подонками движенія писатель не разсмотрёль главнаго, что собственно составляло суть движенія, его средоточіе и ядро тівхь новыхъ требованій оть жизни, тахъ условій, которыхъ начали добиваться люди, стоящіе выше и въ уиственномъ, и въ нравственномъ отношении героевъ романа г. Писенскаго, добиваться для избавленія себя отъ тёхъ же самыхъ Баклановыхъ, Леневыхъ, Басардиныхъ и проч. Въ этомъ отношенім г. Писемскій и самъ не замътилъ, въ какое абсурдное противоръчіе онъ поставилъ самого себя: онъ выставилъ передъ нами людей, мало того что растлённых прежней жизнью, но и плохо учившихся, мало образованныхъ, суднщихъ обо всемъ и вкривь и вкось. Такіе люди, увлекшись новыми идеями, очевидно, должны искажать ихъ и въ высказываньи, и въ примѣненіи на дѣлѣ. А между тѣмъ Писемскій, по словамъ и поступкамъ своихъ героевъ судитъ о томъ, каковы эти идеп сами по себѣ. Такъ, напримѣръ, въ первой части романа Писемскій, говоритъ: "И не одну, не двухъ, а сотни и тысячи, мы внаемъ подобныхъ труженицъ матерей, которыя на своихъ скорбныхъ плечахъ, часто подъ колотками и бранью, поднимаютъ огромныя семьи, и не безиравственныхъ правъ требуютъ онѣ у общества, а чтобы котъ сколько нибудь подсобили имъ нести труды, которые возложили на нихъ сампыти".

Такимъ образомъ, Писемскій считастъ безнравственнымъ даровать женщинамъ какія-либо права и удучшить положеніе ихъ. На какомъ же это основанія? Единственно на томъ, что безнравственные сами по себё люди, каковы Баклановъ или Софи Ленева, не понявши ясно, въ чемъ заключаются истинныя требованія правъ женщины, исказили эти требованія, найдя въ нихъ оправданіе своей праздной чувственности. Писемскій до такой степени дітски-паивенъ, что въ потздкі Бакланова съ Софи Леневой за-границу тихонько отъ жены или въ поверхностныхъ фразахъ m-lle Бавилейнъ о бракі видить альфу и омегу женскаго вопроса.

Точно такъ же отнесся Писемскій и къ гласности. Его поразиль тотъ факть, что гласностью могуть элоупотреблять такіе люди, какъ Басардинъ, употребляя ее, какъ орудіе для низкаго кляузничества съ цълью загребанія денегь или мести. Онъ разочаровался и въ гласности, находя, что въ идеалѣ это очень хорошая вещь, но не въ такомъ растленномъ обществе, какъ наше. Ограничившись такии образон наблюдениемъ нравовъ одной растленной среды, Писемскій по одной этой средѣ судитъ о несостоятельности всего нашего общества и съ другой стороны, по тому, какъ искажаеть эта среда идеи, сами по себъ можеть быть и почтенныя, онъ судить о самихъ идеяхъ. Что писатель не имъетъ объ этихъ идеяхъ никакого понятія, которое возвышало бы его надъ Баклановымъ или Софи Леневой, это видно изъ следующаго обстоятельства: рисуя въ туманф типъ Постскринскаго, онъ видитъ въ немъ силу; вокругъ этого человака, по его словамъ, групнируется общество того времени; следовательно, Писемскій видить въ немъ средоточіе движенія. Человъкъ сильный, заникающійся, способный встать во главе толпы, очевидно, долженъ чемъ-нибудь выделяться отъ прочихъ героевъ романа. Если они, легконысленные, праздные, плохо развитые, безъ основательныхъ знаній, безъ всякой сознательной цёли довольствуются поверхностными фразами, то чёмъ отличаются отъ нихъ сильные люди, занимающіеся, знающіе, въ род' Постскрипскаго? Этого мы не видимъ въ романъ . Писемскаго, потому что въ уста . Ностскрицскаго онъ вложиль тё же плоскія и безсимсленныя фразы, которыя Тургеневъ вложилъ въ уста Базарова. Точно также заставиль онъ его отрицать безусловно искусства и науки и произносить даже такія вещи, что можеть быть человеку авоть, котораго больше въ городахъ, нуживе, чвиъ кислородъ. Если Писенскій и въ устахъ Постскринскаго новыя идеи предподагаетъ въ такомъ же видѣ, какъ и въ устахъ своихъ жалкикъ героевъ, то это прямо показываетъ, что онъ имѣетъ объ этихъ новыхъ идеяхъ такое же понятіе, какъ и Софи Ленева, и нисколько не возвышается въ своемъ умственномъ развити надъ героинею своего романа.

Въ то же самое вреия Писемскаго сбило съ толку следующее обстоятельство: случалось ли вамъ среди вашихъ пирныхъ занятій получить внезапное изв'єстіе, что въ жизни вашей готовится важная перемъна? Что удивительнаго, что у васъ при подобномъ извъстіи пропадеть сонь, анетить, вы бросите ваши обыденныя занятія, будете только и думать, и говорить все о томъ, что неожиданно встревожило васъ. То же самое испытывало и общество наше: въ его жизни готовилось столько важныхъ и вёковыхъ реформъ; оно было въ недоумъніи и тревогъ; оно не знало, чъмъ разрѣшатся всѣ эти реформы, — и можно ди удивляться, что въ эти роковыя минуты номутилось общее теченіе дълъ, кроив общественныхъ вопросовъ всв другіе считались не стоющими вниманія, вопросы эти на нервомъ плант стояли повсюду и въ гостинымъ, и въ клубахъ, и на сценахъ, и въ училищахъ, люди, никогда прежде не думавшіе ни о чемъ, кромѣ оперы или ужина, сделались ревностными гражданами.

Писемскій, при своемъ узкомъ и темномъ умственномъкруговорѣ, немогъ переварить даже и этого простого и нормальнаго явленія жизни. Онъ посмотръль на него съ точки зрвнія мистера Подзнапа въ романь Диккенса "Нашъ взаимный другъ". Подобно тому, какъ мистеръ Подзнапъ предполагалъ, что человъкъ, что бы съ нимъ ни происходило, невозиутино и аккуратно долженъ во столько-то часовъ вставать, во столько-то часовъ бриться, во столько-то часовъ идти въ контору, во столько-то часовъ объдать, во столько-то часовъ ложиться спать — такъ и Писенскій предположиль, что въ благоустроенномъ обществъ, хотя бы происходило нашествіе варваровъ или столкновеніе земли съ кометою, благонамъренные граждане должны не прерывать общаго теченія жизни: ходить въ оперу, учить дітей, гді ставить букву п, бесіндовать о погодъ и танцовать кадриль, нолодые кавалеры должны по прежнему говорить любезности дамамъ, а дамы блистать нарядами и красотою. Писемскій чуть не плачеть, что объ общественныхъ вопросахъ заговорила даже Софи Ленева, едва умъвшая читать и писать, что она, "полодая и, въроятно, еще пылкая женщина, проходить съ невнинаніемь и зівотой, когда ей читають, со слезами въ голосъ, про любовь; некогда ей заниматься симъ бреннымъ удовольствіемъ; въ ней одинъ огонь горитъ, огонь гражданки!"

Что удивительнаго, если, при возбужденномъ состояніи общества, происходять разныя минутныя увлеченія, ведущія за собою печальным жертвы и утраты. Эти жертвы сторицею выкупаются тёмъ новымъ развитіемъ жизни, которое выносить общество изъ своего возбужденнаго состоянія. Нисемскій плачеть, что молодежь въ Верегинъ, и изъ этого сейчасть же выводить заключеніе, что новое движеніе ведеть къ невъжеству й варварству. Но протестантское увлеченіе стоило Европѣ не потери двухъ-трехъ Верегиныхъ, а десятковъ разрушенныхъ до основания городовъ, со всёми ихъ школами и учителями, и все-таки эти города гораздо болёе процвёли при новыхъ условіяхъ жизни, чёмъ до своего разрушенія процвётали подътяжелымъ гнетомъ католичества.

Выйдя такинъ образонъ изъ той мысли, что повсюду должны быть тишина, порядокъ и благоустроеніе, что каждый смертный долженъ быть непременно идеальнымъ гражданиномъ, идеальнымъ мужемъ, идеальнымъ отцомъ семейства, и найдя въ дъйствительности вивсто этого какой-то нестройный хаосъ, Писемскій не имёль силь возвыситься надъ этимъ хаосомъ и проследить въ немъ естественный процессъ жизни, а прямо и безусловно, какъ истый идеалисть, предалъ отрицанію все происходящее передъ нямъ; все, молъ, это мыльные пузыри, шутиха, игра въ объдню, и больше ничего. Но человъкъ не можетъ ограничиваться подобнаго рода отрицанісмъ; оно дъйствуетъ на его нравственную природу такъ же, какъ безвоздушное пространство на физическую: надо же дышать какимъ-нибудь воздухомъ, хотя бы и наполненнымъ міазмами. Какъ темный, узкій идеалисть, Писемскій нашелъ выходъ своему отрицанію въ слёпой вёрё въ такія отвлеченныя субстандін, какъ здравый смысль народа, того самого народа, о которомъ въ четвертой части онъ самъ же говоритъ: "простой народъ отъ безпрерывно повторявшихся поборовъ сталъ приходить, наконець, въ отупение: съ него бради и въ казну, и барину, и чиновинкамъ, да еще и въ солдаты отдавали. Какъ бы въ отнестку за все это, онъ неистово пилъ отравленную откупную водку, и прикодя оттого въ скотское бъщенство, драдся, какъ звърь, или со своимъ братомъ, или съ женой, и безпрестанно попадаль за то на каторгу". Другая субстанція, на которой почиль Писенскій, это тоть пресловутый народный патріопизмъ - чувство любви и самоотверженія, вложенныя въ сердце русскаго народа прежде его существованія, тотъ саими патріотизиъ, который когда-то проникаль насквозь драмы Кукольника, въ родъ "Рука Всевышняго отечество спасла". Третья субстанція, на которой почиль Писемскій, это — русское семейное начало. Вы не дунайте, чтобы здёсь подразумёвалось вообще сенейное начало. Семья существуетъ повсюду и въ Европъ, и въ Америкъ, и въ Азія; но есть еще особенное русское семейное начало, котораго нигдѣ нътъ на всемъ земномъ шарѣ, которое и въ Россіи существуетъ только въ головахъ такихъ иыслителей, какъ Писемскій. Это русское семейное начало основывается на томъ, что въ случав если мужъ или родитель заушитъ своихъ домочадцевъ и раскваситъ имъ носы въ кровь, жена и дети должны съ нежнымъ умилениемъ поцеловать заушаующую руку. Олицетвореніемъ этого русскаго семейнаго начала является Евпраксія, жена Вакла-нова, которая посл'я того, какъ мужъ прокутиль ея имъніе и убхаль отъ нея съ любовницей, по первому же письму его стремглавъ полетъла къ нему въ Парижъ, видя въ немъ отца нёжно любимыхъ детей своихъ, а въ себъ подругу жизни его, преданную ему по чувству долга, назначеннаго свыше. О, еслибы только могь Писемскій понять, какое глубокое искаженіе

всякихъ истинныхъ и эдоровыхъ семейныхъ началъ тантся во всей этой кислятинъ!

V.

У автора "Марево" мы видимъ гораздо больше чутья относительно стремленій и чувствъ молодого поколівнія. Онъ понимаеть, повидимому что современными идеями можно увлекаться не изъ одной моды и обезьянства, но что увлеченія эти могуть быть создаваемы самою жизнію, могутъ глубоко проникать человіка до мозга костей его и составлять сущность его существованія. Это мы можемъ проследить на героине романа, Инне. Она была дочь одного изъ передовыхъ людей своего времени, вокругъ котораго, по словамъ автора, какъ вокругъ центра, группировалось одно время все иыслящее въ Россіи. Непонятый своимъ въкомъ, не найдя никакого исхода своимъ стремленіямъ, разочарованный въ своей тщеславной и пустой супругв, онъ зачахъ и умеръ на рукахъ своей дочери, въ которую вложилъ весь пыль своихъ неудовлетворенныхъ, осивянныхъ стреиленій: "Если ты пойдешь по пути, завъщанному тебъ отцомъ, ты будень его истителемъ, потому что въ тебя вложены великія силы... Если ты пойдешь противъ отца, я не сужу тебя; свобода прежде всего; но неужели иол Инна пойдетъ противъ отца"? Вы подумайте только, какъ должны были подействовать эти слова въ устахъ мученика идеи на молодое, горячее, любящее существо. Не должны ли были они произвести роковое влінніе на всю жизнь Инны, подобно тому, какъ всю природу Гамлета потрясло появление три отца его? Затвиъ понятно становится, что вся жизнь Инны, вся кощь ея природы должна быть направлена къ тому, что завъщалъ ей отецъ на смертномъ одръ. Когда она говорить своей матери: "Анна Михайловна! вы одному человъку отравили жизнь, удовольствуйтесь! Меня вамъ не свалить , -- вы видите въ этихъ словахъ не одно тщеславное желаніе порисоваться моднымъ протестомъ противъ родительской власти, а болезненный стонъ наболевшей души, и темъ более оправдывается подобный вопль, чемъ тщеславите и глупте представляется вамъ въ этой сценъ Анна Михайловна, возроптавшая на дочь за то, что она не съумъла, какъ следуетъ, принять графа. -- Когда Инна говоритъ въ своемъ дневникъ: "Ужь не ощущаете ли вы зародыши нъжной страсти? Въ такоиъ случав проворнъй въ коль снецифическое средство: мъткую эмиграмму; да такую, чтобы вамь после и взглянуть на него было сившно!" — здёсь опять-таки не базаровскій протесть противъ любви во ния новыхъ идей, отвергающихъ будто бы любовь, а естественное чувство человъка, у котораго вск силы души направлены къ тому, что онъ считаетъ великимъ, и которому нередъ этимъ великимъ прочія чувства кажутся мелочными, ничтожными, способными только затмить въ немъ великую страсть. Таковъ всегда бываетъ человъкъ, вдехновенный какинъ-нибудь высокинъ призваніенъ. Таковъ быль Гамлетъ, пренебрегшій чувствонъ къ Офелін, такова была Іоанна д'Аркъ, такова и Инна, произносящая следующія слова: "Неужели ина жаль разстаться съ нашимъ затилымъ житьемъ? Неужели мив

жаль людей, съ которыми у меня ничего нътъ общаго? . Неужем такъ вемка сила привычки, что передъ нею меркнетъ великое дъло, которому я должна служить? Неужели пошленькое себямобіе перетянет объть, данный сознательно и обдуманно?". Прочтите наконецъ ту сцену во второй части, гдв Инна слушаеть оперу "Гугеноты". Въ этой сценъ въ лицъ Инны выраженъ прекрасно взглядъ полодого покольнія на искусство: то сапое молодо е поколеніе, которое смется надъ произведеніями искусства, отвлеченными отъ жизни, выражающими одно безпъльное поклонение прекрасному, совершенно иначе относится къ произведеніямъ, анализирующимъ жизнь и отзывающимся на всё ея мучительные вопросы. Такихъ произведеній молодое поколвніе никогда не отрицало и не будеть отрицать.

Но отличіє Ключникова отъ Тургенева и Писемскаго только и ограничивается созданіемъ типа Инны. Выполнение же этого типа не выдерживаетъ ни мальйшей критики. Углубляясь въ романъ, вы видите тв же тенденціи, тв же взгляды на современное движеніе, что и у Писемскаго, и тотъ же отрицательный выводъ въ заключение. Отвергнувши все старое, затхдое, износившееся и заставивши искать Инну выхода изъ всего этого въ современномъ движени, онъ совершенно въ соотвътстви съ дымомъ Тургенева, и съ пузырями Писемскаго, не видить въ современномъ движенім ничего, кромѣ миража, марева; въ людяхъ движенія онъ ничего не находить, кром'є ряда противорічій высоких идей съ дрянными или низкими поступками, и приводить такимъ образовъ Инну къ самому горькому разочарование:

«Всъ формы жизни прошли передо мною; всъ направленія діятельности сталкивались вокругь меня, ломая и уничтожая другь друга; я увлекалась то тъмъ, то другимъ, но приступить не могла ни къ одному. Какъ только я осматривалась въ новомъ положении на столько, что затаенная ложь, не чуждая ни одной партін, начинала миж сквозить черезъ декоративную вившность, я чувствовала себя разбитою, уничтоженною, замирала на время для жизни, замыкаясь въ самой себъ. Я не проклинала прежнихъ товарищей, я молча удалялась отъ нихъ; они честили меня измінницей святому ділу и прочими кличками, къ которымъ только теперь вершенно равнодушна, только теперь, когда всѣ стремленія мон разбиты дъйствительностью, когда в разочаровалась въ сесъ и во всемъ, за что жертвовата собою. Годъ тому назадь, и сошлась съ людьми, которые казались мит поборниками правды, добра, свободы, всего, не потерявшаго для меня и до сихъ поръ своего истиннаго смысла. Теперь я вижу насквозь эту горсть честолюбцевь, жадно рвущихъ другъ у друга властъ, какъ стан коршуновъ тащитъ другъ у друга изъ клева требуху дохлой скотины. Я видъла эту знаменитую борьбу, въ которой свобода народовь-звучный предлогь для возвышенія однихъ тирановъ насчеть другихъ; я знаю всъ ихъ средства къ достижению цели самой низкой, прикрытой маскою національности. Я стояла лицомъ къ лицу съ тъмъ самымъ народомъ, съ которымъ они заигрывали до поры до времени. Это было последнею гирей на колеблющеся вёсы... Нётъ сковъ выразить презрънія, иъть мърки для ненави-сти, которыя почувствовала я къ нимь. Я съ ужа-сомъ обернулась назадъ... Тамъ, за мною, осталась Върочка, сперва творившая себъ потъху изъ науки, а потомъ заигравшая въ революцію; тамъ быль Ваня, сразу принявшійся за разрушеніе троновъ; тамъ,

наконецъ, накопилась мелюзга, тля, въ сравненіи съ которою эти дѣти казались гигантами... Я осталась одна, на своей призрачной высотѣ, изломанная, искальченная, безъ всякой охоты къ жизни, безъ всякой вѣры въ будущность».

Изъ этой тирады вы можете судить, какимъ путемъ дошла Инна до разочарованія, принимая конечно въ разсчетъ, что въ этомъ разочаровании героини заключается основной взглядъ романиста на современное намъ положение вещей. Разочарование это сложилось путемъ чисто идеалистическимъ: Инна потеряла охоту къ жизни и въру въ будущность, потому что она искала повсюду идеальныхъ людей, поборниковъ правды, добра и свободы, а нашла низкихъ честолюбцевъ или легкомысленныхъ дётей, игравшихъ въ принципы, какъ Върочка и Ваня. Этипъ именно путемъ и доходилъ идеализмъ постоянно до разочарованія и отрицанія. Онъ не обращаль вниманія никогда, что люди, развивающіеся подъ сложною нассою разнородныхъ вліяній, которыми обусловливается жизнь общества, могуть быть идеальны только относительно и сравнительно, но не безусловно. Мы можемъ сравнительно судить, что въ Америкъ люди, живущіе подъ лучшими условінии жизни, лучше насъ, развитье, энергичнье, самостоятельнъе, можемъ мечтать, что и мы будемъ развитье, энергичные, самостоятельные, когда выработаемъ лучшія условія жизни; но навърное мы разочаровались-бы и въ американцахъ, если-бы стали требовать отъ нихъ, чтобы они были безусловно идеальны въ каждую минуту своей жизни. — Если-бы Инна повсюду встръчала идеальныхъ поборниковъ правды, добра и свободы, это показывало-бы, что иы достигли высшей и последней точки прогресса, дальше которой нечего больше желать, не къ чему стремиться и не нужно болве никакого прогресса. Встрвча съ людьми дрянными, дряблыми, пустыми должна не разочаровывать насъ, а еще болве развивать въ насъ жажду прательности, стремление способствовать встии силами къ удучшенію быта людей и черезъ это къ образованію лучшихъ людей, чёнь ны видинь въ настоящее время. Если-бы Инна вооружилась этими иыслями, ее ни мало не поразила бы встрвча съ дрянными поборниками хорошихъ идей. Изъ своихъ неудачъ, какъ илодовъ мододой неопытности и незрълости, она извлекла-бы прекрасные уроки для своего будущаго, стала-бы разборчивъе въ избраніи пути для дъятельности и въ людяхъ, и если не нашла-бы безусловно идеальныхъ людей, то во всякомъ случав набрела-бы на относительно хорошихъ, приносящихъ своему времени посильную пользу въ направлени, завъщанновъ ей отцовъ.

Отвергнувши, такимъ образомъ, все современное движеніе общества, какъ марево и миражъ, Ключниковъ, подобно Писемскому, почилъ на тъхъ-же отвисченныхъ субстанціяхъ, какъ заравый смыслъ на рода, умилительный патріотизмъ и семейное начало. Олицетвореніемъ всъхъ этихъ доблестей является Русановъ, который, какъ и всегда это бываетъ въ искусствъ съ олицетвореніями отвлеченныхъ началъ, представляется съ начала романа до конца личностью совершенно безцевтною. При чтени романа онъ постоянно рисуется въ ващемъ воображении геніемъ чистоты, скромности и неввиности, съ нъжно-умиленнымъ сердцемъ, скромно опущенными глазами и цвъточкомъ въ рукахъ.

VI.

Нужно-ли распространяться много о томъ, что въ романъ Стебницкаго "Некуда" мы видинъ тъ-же саные элементы, которые нашли и у Писенскаго, и у Ключникова. Самое заглавіе показываеть вамъ. что романъ построенъ на томъ-же умозаключени, какъ и всъ прочіе романы этой школы. Если все современное движение общества ни что иное, какъ мыльные пузыри, марево, дымъ, то, конечно, лучшимъ людямъ дъться некуда - россійская земля сошлась для нихъ кдиномъ: все старое никуда не годится, все новое несостоятельно -- и остается только ложиться въ хладныя могилы. Стебницкій употребляеть буквально тв-же пріемы, что и Ключниковъ: онъ выдвигаетъ передъ вами на первый планъ два идеальные типа - идеальнаго соціалиста Райнера и идеальную нигилистку Лизу Бахареву. Подобно Иннѣ, Райнеръ воодушевленъ смертію отца своего, разстрѣляннаго швейпарскаго революціонера; разочаровавшись въ европейской жизни, онъ вдеть въ Россію, предполагая найти въ ней самородный соціализмъ, коренящійся на чисто-народной почвъ, но находить толиу растленныхъ нигилистовъ; въ отчаяніи кидается въ польское возстаніе, предполагая и тамъ обрести исконый сопіализмъ, но и тамъ его не находить и кончастъ жизнь ильномъ и разстреляніемъ. Съ своей стороны Лиза Бахарева, непонятая и угнетенная въ семейной жизни, ищетъ выхода изъ нея въ современномъ движении, бросается въ толну техъ-же коварныхъ нигилистовъ; но разочаровавшись въ нихъ, не знаетъ куда преклонить голову, находить, что дѣться мекудa, и томится жаждою труда, не зная за что приняться, пока эрълище смерти Райнера не потрясаеть всей ея природы, и тогда, поверженная на спертный одръ, она умираетъ въ кругу благонам вренных в друзей своихъ, оплакавшихъ въ ней несчастную жертву современнаго движенія. Подобно Русанову, благонам вренные друзья Лизы совивщають въ себе съ здравымъ сиысломъ всевозможныя доблести патріотическія и семейныя. Такъ, напримъръ, описывая свадьбу Жени Главацкой, Стебницкій не преминуль упомянуть, какъ, сообразно съ праотческими обычании къ девственной кроваткъ Жени была свъло и твердо приставлена другая кровать, какъ монахиня Феоктиста, похаживая по спальнь, то оправляла оборки подущекъ, то осматривала кофту, то передвигала мужскія и женскія туфли новобрачныхъ, какъ, затъмъ, молодая жарко молилась съ монахиней о ниспосланіи брака честна и соблюденін ложа нескверна, и затімь, Стебницкій объявляеть, что мы не инфень права долбе оставаться въ этой комнать, и тымъ заканчиваетъ картину благонам вреннаго и благочестивато брака.

Мы не будемъ вдаваться во всё подробности анализа тёхъ элементовъ романа Стебницкаго, въ которыхъ онъ сходится съ вышеразобранными нами романами; иначе пришлось бы снова повторять все то, что мы высказали уже по поводу "Взбаламученнаго моря" и "Марева". Обратимъ лучше вниманіе на то, чёмъ отличается романъ Стебницкаго отъ вышеозначенныхъ.

Заблуждение Писемскато и Ключникова заклю-

чается въ томъ, что, обративши исключительное вниманіе на одни безобразія современной намъ эпохи, и упустивши изъ виду, по узкости своего уиственнаго кругозора, все, чёмъ мы можемъ гордиться, они, по однимъ безобразіямъ, судять о самой сущности общественнаго движенія нашей эпохи. Но надо имъ отдать справедливость, что въ анализъ современныхъ безобразій они стараются твердо держаться на художественной почет, то-есть проводить подижчаемыя ими въ жизни безобразія сквозь процессъ творчества и создавать изъ нихъ типы, — и иногда это имъ удается. Таковъ, напринъръ, типъ Бакланова у Писемскаго, типы Бронскаго или Коли Горобца у Ключникова, типы Кукшиной и Ситникова у Тургенева; вы можете сивяться надъ писателями, которые въ этихъ личностяхъ видятъ начало и конецъ современнаго движенія общества, и по нимъ судять о несостоятельности нашей жизни вообще, но, сами по себь, типы эти взиты изъ жизни, дышатъ художественною правдою.

Совершенно иначе поступаетъ Стебницкій: извъстно, что въ обществъ ходитъ иного всякихъ слуховъ. толковъ, перетолковъ и сплетенъ, лишенныхъ часто всякихъ основаній, о разныхъ литературныхъ и общественныхъ деятеляхъ, о техъ или другихъ фактахъ общественной жизни. Стебницкій береть эти сплетни и безъ всякаго анализа передаетъ ихъ, искажая и лица, и факты. Такимъ образомъ, вивсто типовъ и эпизодовъ, въ которыхъ, какъ въ общемъ фокусъ, отражались бы частныя явленія жизни, передъ вами рядъ каррикатуръ, въ которыхъ вы не видите и тени жизненной правды. Если Стебницкій спотрить на героевъ своего романа, какъ на людей, сбившихся съ истиннаго пути, то темъ более, онъ долженъ былъ позаботиться изучить этихъ людей во всёхъ ихъ, заблужденіяхь, во всёхь сокровенныхь тайникахь ихъ жизни. Какъ бы ни заблуждались, по мивнію Стебницкаго, эти люди, а все-таки они были люди, честно и горячо стремившіеся къ тому, что, по ихъ мненію, было истиною и блатомъ; если ихъ привычки, нравы, вынесенные изъ прежней жизни, противоръчили съ ихъ убъжденіями, не могли же они, люди, во всякомъ случав, развитые и иыслящіе, не чувствовать своего разлада, и хоть изредка, не хандрить по поводу его, и не стараться выбиться изъ-поль гнета своихъ привычекъ... Анализа борьбы съ обстоятельствани, борьбы съ самини собою, столкновеній высокихъ и низкихъ побужденій, - однимъ словомъ, всего, что наполняетъ жизнь человека, какихъ бы онъ ни былъ убежденій, развитія, состоянія, всего этого ны не находинь въ роман' Стебницкаго. Нигилисты его вовсе не люди, а суррогаты всевозможныхъ пошлостей, злоумышленій, чувственности, подлости и трусости. Неужели Стебницкій не могь понять той простой истины, что сатира только тогда производить свое потрясающее дійствіе, когда она осививаетъ факты въ ихъ истинномъ безобразін. Когда же писатель представляеть ихъ гораздо худшими, чёмъ они въ действительности, читатель невольно становится на сторону обезображиваемыхъ фактовъ, и его возмущаетъ безобразіе самого писателя, низводящаго искусство на степень желчнаго и злобнаго злорвчія, напоминающаго сплетничество увздныхъ кумущекъ и приживалокъ.

Изобразивши толпу нигилистовъ въ видъ суррогата всевозможныхъ пороковъ и слабостей, Стебницкій и самъ не замѣтилъ, въ какое противорѣчіе поставилъ онъ себя со своими идеальными героями, Лизой Бахаревой и Райнеромъ. Какъ же это Лиза Бахарева, дѣвушка съ умонъ и съ сердценъ, начитанная и размышляющая, могла такъ долго якшаться« съ такими людьми? Какъ на другой же день по вступлении своемъ въ домъ согласія, не выбхала она изъ него? А съ другой стороны, хорошъ и этотъ Райнеръ, европейскій соціалисть, усп'явшій по'яздить и пожить по Европ'я, разочаровавшійся въ европейскихъ соціалистахъ, и въ то же время, не умѣющій съ перваго же разу различить, какіе люди окружають его въ Петербургъ! Хорошъ этотъ Райнеръ, человъкъ, не забудьте, съ познаніями, и вдругъ, что же: стоило только встретиться съ нимъ первому поляку и сказать ему, что польское дъло — добыть бъднымъ клопамъ землю, раздълить ее по братски, и пусть тогда будеть народная воля, –и Райнеръ, какъ пятнадцатилътній мальчикъ, бросился стремглавъ въ польское возстаніе, сразу новъривъ, что возстание это основывается на началахъ соціализма!

Однимъ словомъ, недодуманность, небрежность, передача грязныхъ сплетенъ, писанье скондачка, что взбредеть на умъ въ данную минуту, не сличая, насколько это согласно съ предыдущей страницей—г. Стебинцкій, какъ это называется по вашему—художественное творчество, поклоненіе чистому искусству?

VII.

Когда въ полуобразованномъ обществъ, окончательно укоренилось о новомъ міросозерцаній предубъждение, что будто послъднее отвергаетъ всякую нравственность, оправдываеть всевозможныя преступленія, отрицаеть любовь и признаеть одно удовлетвореніе животной чувственности, — тогда сложились стереотипные типы въ видъ нолодой дъвицы съ остриженною косою и грязными воротничками, разговаривающей не краснъя со студентомъ объ актё оплодотворенія, и студента съ длинными волосами, рѣжущаго лягушекъ и готоваго при случав зарвзать человька. Разъ подобные типы сложились, всякое наблюдение живой действительности оказалось совершенно излишнимъ. Порицателямъ новъйшихъ прогрессистовъ и прогрессистокъ теперь только и остается, что сидя, въ своемъ кабинетъ, нанизывать изъ своей фантазіи одну грязную сценку на другую, разсыпать по своимъ произведеніямъ дюжинами девиць съ остриженными косами и студентовъ, ръжущихъ лягушекъ, и фразы относительно отрицаній всякаго рода. Тургеневъ, Писемскій и Ключниковъ - все-таки заботились изображать въ своихъ произведеніяхъ людей живыхъ съ разными человіческими побужденіями и чувствами, Стебницкій основаль свое произведеніе, по крайней мірів, на сплетняхь и здорвчіяхь, Авенаріусь въ своихь пов'єстяхъ "Вродящія силы" не сдівлаль и этого. Пов'єсти эти основаны исключительно на шаблонахъ и представляють странное патологическое явленіе. Авенаріу-

са много обвиняли въ клубничествъ, что побудило его, устыцившись своего цинизма, выпустить кой-какія сценки въ отдёльномъ изданіи своихъ пов'єстей. Но надо прибавить къ этому, что клубничество Авенаріуса это клубничество человівка, никогда повидимому не встръчавшаго ни одного лица женскаго пола или, по крайней и ръ, не сближавшагося ни съ одной порядочной женщиной. Ужь не говоря о нигилисткахъ, въ изображении которыхъ г. Авенаріусъ руководствуется шаблонами, посмотрите, какъ онъ изображаеть швейцарку Мари, въ которой онъ претендуетъ олицетворить типъ женственности. Прочтите изображеніе этой женственной Мари въ ночной сценъ съ Ластовымъ, — развъ женщина изображена въ этой сценъ, а не галлюцинація разстроеннаго воображенія аскета, никогда не видъвшаго женщинъ? Такъ и надо было ожидать, что общество наше, воспитанное на доморощенной клубничкъ и неполучившее никакого философскаго развитія, бъдное знаніями — вынесеть изъ новато игросозерцанія только рядъ соблазнительныхъ фабуль, въ утёху старыхъ дёвъ и убогихъ аскетовъ съ развращеннымъ воображениемъ,

И долго еще придется наиъ возиться съ темъ фамусовскимъ сластолюбіемъ, которое, само купаясь въ грязи самаго неопрятнато цинизма, въ каждомъ маломальски самостоятельномъ шагв человека не по указанной троп'в подозр'вваетъ, на первомъ планъ, непреманно что нибудь по части скоромнаго. Долго еще придется возиться намъ съ подозрительною трусостью невъжества, которое, не въ силахъ будучи осмыслить какой нибудь простой идеи, приходить сейчась же въ ужасъ отъ нея и подозръваетъ въ ней непремънно занысель на разрушение всёхъ основъ жизни общественной и семейной. Долго еще придется возваться намъ съ тъпъ робкипъ и налодушнымъ скептицизиомъ и кислымъ разочарованіемъ, которые на каждомъ шагу представляетъ намъ идеализмъ. Какъ въ былое время отнесся идеализиъ къ судебной рефорив-объявивши, что это великая вещь, но... ны до нея еще не созрѣли, какъ думаль онь о крестьянской реформв, соображая, что ничего не можеть быть выше свободы, но прежде слъдуеть развить каждаго крестьянина въ отдёльности, чтобы сдёдать его достойнымъ такого высокаго предмета, - такъ долго еще будетъ встръчать идеализиъ каждую реформу. Онъ постоянно будетъ преклоняться передъ великостью идеи и считать своихъ современниковъ неприготовленными къ осуществленію ся. Онъ постоянно будеть, вивсто какихъ либо хоть саныхъ ничтожныхъ изичненій къ лучшену, совытовать людямъ заниматься самоуглубленіемъ и самовоспитаніемъ съ целію первоначально улучшить нравственность каждаго человека въ отдельности, а потомъ уже приступать къ улучшению общественнаго быта. Но видя, что люди нисколько не заботятся о самовоспитании и нравственность ихъ не улучшается, онъ будетъ впадать въ разочарование и считать невозножнымъ какоелибо движение впередъ, признаван своихъ современниковъ слишкомъ дряблыми и раставниыми для этого. Идеализмъ такого рода очень упорная и живучая теорія; его не сдвинуть съ м'єста никакими спорами, никакими убъжденіями и насмъшками. Теорія эта коренится въ отсутствіи сколько нибудь прочнаго и обширнаго образованія въ нашемъ обществъ. Только распространеніе положительныхъ знаній въ массѣ публи-

ки можетъ коть сколько нибудь пошатнуть эту заста-

ПРУДОНЪ ОБЪ ИСКУССТВЪ

И САТУРНАЛІИ НАШИХЪ ЭСТЕТИКОВЪ.

Искусство, его основанія и общественное назначеніе. П. Ж. Прудона, переводъ подъ редакцією Н. Курочкина. С.-Петербургъ, 1865 г.—О значеніи искусства въ цивилнзацій, Эдельсона. С.-Петербургъ, 1867 г.—
Нвленія русской жизни подъ критикою эстетики, К. Случевскаго: 1) Прудонь объ искусствь, его переводчики и критики, 1866 г. 2) Эстетическія отношенія искусства къ дъйствительноств, сот. Ч. 1866 г.
3) О томъ, какъ Писаревъ эстетику разрушаль, 1867 г.—Наши идеалисты и реалисты, А. Немировскаго С.-Петербургъ, 1867 г.

Реализиъ, какъ новая система піросозерцанія, подведя свои итоги подъ-всё элементы человфческой природы, не могъ не коснуться и сферы искусства. Каждая новая система не иначе можетъ быть введена въ человъческое мышленіе, какъ съ условіемъ разрушенія старой. Такинъ образомъ, реализмъ для того, чтобы утвердить свои новые взгляды на искусство, прежде всего долженъ былъ разрушить, старые, выходившіе изъ Гегелевской системы чистаго идеализма. Этимъ онъ и занядся, какъ на Западъ, такъ и у насъ. Въ нашей литературъ авторъ "Эстетическихъ отношеній искусства къ дъйствительности" сдълалъ цервую попытку пошатнуть устарёлые взгляды на искусство эстетиковъ чистаго идеализма. Вследъ за нимъ выступили на сцену Добродюбовъ и прочіе писатели той же школы. Всё они, несмотря на разногласія между собою въ частностяхъ, стремились къ одному: разрушить старую эстетику, и всв они прослыли со стороны эстетиковъ старой школы-отрицателями искусства, точно какъбудто искусство и эстетика, наука объ искусствъодно и тоже, и точно, какъ будто, разрушая какую нибудь теорію, мы непремінно отрицаемь и ті предметы, которыми она занимается, т. е. отвергая солнечную систему Птолонея, ны темъ самымъ отвергаемъ соднце, луну, звёзды и землю, на когорой живемъ.

Старая школа эстетиковъ видела въ искусстве воспроизведение действительности, исключительно подъ условіемъ созерцанія прекраснаго, а прекрасное, по ея мнинію, заключалось въ соотвитствій идей съ формою. Авторъ "Эстетич. отн. искусства къ дъйствительности" провель въ своей брошюрѣ двѣ идеи въ подрывъ этой теоріи: 1) если мы будемъ ограничивать искусство сферою воспроизведенія прекраснаго, то этимъ мы лишимъ его всякаго змаченія, потому что оно безсильно воспроизводить прекрасное, которое въ жизни всегда выше, чемъ въ искусстве; 2) а если мы захотимъ признать за искусствомъ какое-либо значеніе, то мы должны расширить его сферу; и если мы сделаемъ это, сказавши, что искусство имфетъ целью воспроизводить не одно только прекрасное, а вообще "жизнь", тогда произведенія искусства получать свое большее или меньшее значение, смотря по тому, болье или менъе глубоко и широко воспроизводять они жизнь.

Всякій благонысляцій читатель безъ предубѣжде-

ній, если вдумается въ эти двів иден, поставленныя витстт въ вышеупомянутой брошюрт, пойметъ, что цель брошюры доказать не ничтожество искусства вообще, а ничтожество его въ такомъ только случать, если иы будемъ смотръть на него съ узкой точки зрънія старой эстетики. Слідовательно, цізль брошюры не отвергнуть искусство, а напротивъ того, расширивши его сферу придать ему гораздо болже значенія, чжиъ оно имбеть съ точки эрвнія старыхъ эстетиковъ, и если брошюра отвергаетъ что либо, то не самое искусство, а обветшалую теорію гегеліанцевъ. По этой дорогъ шли, съ большимъ или меньшимъ талантомъ, тактомъ и последовательностью, все реалисты, выступившіе на сцену послів появленія вышеупомянутой брошюры. И всё они безъ исключенія были постоянно обвиняемы въ униженіи искусства, въ подчиненіи его вопросамъ дня, въ отрицании его. Среди ожесточенныхъ споровъ между обоими лагерями, появление книги Прудона "Искусство" вроизвело необычайныя сатурналів въ лагер'я нашихъ эстетиковъ. Изв'ястно. что наши доморощенные мыслители гегелевской школы мало знаконы съ иностранными книгами, исключая развѣ двухъ, трехъ книженокъ, особенно близкихъ ихъ сердцу. Стороною они слышали, что есть во Франціи политико-экономъ, который называется Прудономъ, что этотъ Прудонъ ужасный нечестивецъ и всеотрицатель... Подъ именемъ нечестивца и всеотрицателя передъ ними рисовался, конечно, человъкъ, не признающій ни наукъ, ни искусствъ, а оди в только арифметическія пифры. Каково должно было быть удивленіе ихъ, когда вдругъ вышелъ въ русскомъ переводъ невъдоный имъ трактатъ объ искусствъ этого чудовища отрицанія. Арифиетчикъ, да еще какой ехидный арифиетчикъ, дерзнулъ вдругъ вторгнуться незванный, негаданный въ священный храмъ эстетики!.. Съ жадностью накинулись эстетики на эту книгу, ожидая найдти въ ней бездну отрицанія, и каково же должно было быть ихъ остолбенение, когда они на страницахъ трактата не только не нашли никакого отрицанія искусства, а, напротивъ того, встратили многіе взгляды, милые ихъ сердцу, взгляды, основанные на томъ же гегелевскомъ идеализмъ, который составляетъ для нихъ альфу и омегу человической мудрости. Остолбенвніе ихъ вскорв смвнилось умиленіемъ, и они

посившили заключить въ объятія эхиднаго арифистичка, какъ стариннаго друга, съ которымъ они никогда не имъли никакихъ ссоръ. Умиленіе это замънилось, конечно, еще большимъ ожесточеніемъ противъ своихъ враговъ.

"Какъ? эти господа, въ которыхъ мы видели учениковъ и последователей Прудона, высказываютъ такія иден объ искусстві, о которых в не дерзаль помышлять даже этотъ архистратигь отрицанія!.. Такъ вотъ они каковы, эти наши отрипатели искусства!.. Мы же икъ, коли такъ, проберемъ на основаніи выводовъ ихъ же учителя!" И вотъ, посыпались журнальныя статейки и брошюрки, въ которыхъ, рядомъ съ апологами Прудону, выставляется вся мерзость реалистическихъ идей въ искусствъ. Одинъ только Incognito устояль передъ соблазномъ: въ своей статъй о трактатъ Прудона (см. От. Зан. 1866, сент.) онъ уперся на томъ, что ничто не можетъ выйти путнаго изъ Назарета и остался при своемъ, что Прудонъ - чудовище отрицанія даже въ своемъ трактать объ искусствь. А прочіе всі подались. Такъ нариніръ Эдельсонъ въ своей брощюра: "О значенім искусства въ цивилизапін", говоритъ:

«Смёлый, послёдовательный, оригинальный мыслитель, котораго голось не тщетно раздавался почти по вевмъ важнъйшимъ вопросамъ, интересующимъ человъчество (sic!), Прудонъ не могъ, конечно, не сказать чего-либо дільнаго и существеннаго и объ искусстві, или, по крайней мірів, исно формулировать свои требованія отъ него (sic!). И, дъй-ствительно, въ запутанномъ до конца вопросѣ объ искусствъ, его началахъ, значени и законномъ направленій, книга Прудона представляєть заміча-тельное явленіе (sic!). Это уже не дітскій лепеть людей (слушайте, слушайте!), смутно воюющихъ за что-то и противъ чего-то, но ръзкій и строгій голось опытнаго и смълаго бойца, хорошо сознающаго, во имя чего вообще онъ воюеть уже издавна и чего именно требуеть оть искусства. Взглядъ его на искусство широкъ, ясенъ и во многомъ справедливъ безусловно; обдиченія нынѣшняго жалкаго состоянія искусства, особенно въ отечествъ, формулированы ясно, ръзко, и въ то же время правильно. Само собою разумвется, что онъ даже не пытается отвергнуть искусство вообще, котораго прошлую дъятельность цънить высоко, отъ котораго много ожидаеть въ будущемъ и для котораго указываеть видное мъсто даже и въ наше время».

Случевскій, одинъ изъ геніальнайшихъ, глубокомысленнайшихъ и ученайшихъ русскихъ писателей, пробывшій шесть латъ за - границей и потомъ внезанно опустивнійся, словно снатъ, на голову нашихъ реалистовъ, вооруженный громаднымъ арсеналомъ выносокъ, сносокъ, цитатъ на всевозможныхъ языкахъ, разразился тремя брошюрами, и все въ защиту искусства, обижаемато реалистами. Въ двухъ посладнихъ брошюрахъ, направленныхъ противъ Чернышевскато и Писарева, Случевскій обенуется до паны у рта; передъ нимъ постоянно мерещатся мертвецы съ пожирающими ихъ червями и онъ доходитъ даже до такихъ галлюцинацій:

«Велика наша родина, говорить онъ въ брошкоръ противъ Писарева: и сообразно съ величиною своею имъеть она большую голову, большія упих, большія упих, большія упих, большіх упих залегло безконечно много съры; для того, чтобы винуть ее, надобны рычаги длиною съ уральскій хребеть и силы океановъ, пущенныхъ на мельничное колесо»...

Этотъ самый Случевскій всю первую свою брошюру посвятиль Прудону, и котя онъ видить въ трактатѣ бездну ученыхъ ошибокъ, которыя обличаетъ, приводя въ дѣло весь арсеналъ своихъ выносокъ и сносокъ, тѣмъ не менѣе, умиленію его нѣтъ конца и онъ высказываетъ его съ самаго начала книги:

«Передь нами явленіе, говорить онъ, въ высшей степени любопытное и поучительное. Передъ нами книга Прудона—политико-оконома объ исвусствъ! По прочтении книги приходишь къ заключеніямъ самымъ противоположнымъ. Общее направленіе книги, цѣль, которой она хочеть достигнуть, выводытиличности доброкачественностью, съ малыми неключеніями. Попиманіе будущаго искусства, его настоящаго призванія, его средствъ, довольно ясно и полно. Иногда замѣчатально удачно, какъ Сократъ, повивальная бабка мисли разворачиваеть онъ одну за другою, и даетъ ихъ какъ би невзначай свътыми и безъ всякой примъси; нельзя не согласиться съ нимъ: Прудонъ частью воплотихъ въ слова требованія нашего времени отъ нашего художника».

Нѣжность къ Прудону подъ конецъ книги достигаетъ до такихъ разивровъ, что Случевскій нападаетъ на Incognito за порицаніе Прудона съ яростью льва, и эта ярость доводить Случевскаго снова до галлюцинацій, до мертвецовъ, чуть не до чертиковъ.

«Туть передь нами мертвець, говорять Скучевскій: слишите вы, какъ несеть тліньемъ отъ этихъ 39 страниць? Только 39 страниць, и такая зараза воздуха! Разложите эти страниць на польносмотрите, какое безобразное гніеніе. Каждая строка—червякъ, въ каждомъ словъ лежить янчко. Дайте только солица сюда, и вы увидите, что бутати.

Что же за причина, что Прудонъ въ своемъ трактатъ объ искусствъ могъ угодить разомъ двумъ философскимъ лагерямъ, совершенно противоположнымъ: реалисты перевели эту книгу, найдя въ ней, по всей справедливости, "цѣльный, свѣтлый, здоровый, горячій и вслѣдствіе горячности впадающій гѣсколько въ крайности и увлеченія взгядъ", какъ они заявили объ этомъ въ предисловін, а идеалисты съ своей стороны осыпали Прудона похвалами за то же самое? Представляетъ ли подобная возможность угодить разомъ и нашимъ— недостатокъ трактата Прудона или это его достоинство?

Для того, чтобы рёшить этотъ вопросъ, ны попытаемся сперва изложить нёкоторые взгляды на сущность искусства съ точки зрёнія реальной школы, для того, чтобы этими взглядами пров'єрить взгляды на искусство Прудона.

Чтобы встать намъ на точку зрвнім чисто реальную, намъ необходимо, отбросивши всякія метафизическія умствованія о прекрасномъ, эстетическомъ и пр., принять единственный методъ, допускаемый реализмомъ—индуктивный, т. е. постараться сдѣлатьнапи выводы о сущности искусства изъ анализа частныхъ фактовъ проявленія его. Для того-же, чтобы область фактовъ, изъ которыхъ мы будемъ дѣлать выводы наши, была какъ можно болѣе общирна (это первая необходимость при индуктивномъ методѣ для върности и правильности вывода), мы возьмемъ для нашихъ наблюденій не одни только произведенія искусства, не однихъ только художниковъ и поэтовъ, а всѣхъ людей безъ исключенія. Припомнимъ всѣ об-

стоятельства нашей жизни и подумаемъ, при какихъ условіяхь мы чувствовали въ себѣ потребность творчества, когда намъ хотблось писать стихи, когда иы жальли, зачыть мы не художники и не умьеть рисовать, когда, наконець, для насъ недостаточно было простого разсказа о случившемся съ нами событіи, а у насъ являлась потребность сопровождать этотъ разсказъ мимическими ръзкими жестами, гримасами и разными телодвиженіями, которыя передавали бы то, чего им не въ силахъ были высказать словами. Все это случалось съ нами тогда, когда какой либо предметъ производилъ на насъ сильное впечатлъніе. Почему простыя бабы, никогда не писавшія стиховъ, ділаются вдругь импровизаторами и въ мфрныхъ причитаньяхъ изливають свою скорбь объ утрать мужа или сына? Почему ребенокъ, напуганный въдьмами и домовыми, чёмъ больше боится ихъ, тёмъ болёе любить слушать страшные разсказы о нихъ, темъ боле любить рисовать углемь на ствнахъ чертей съ рогами и въдьмъ на помелахъ? На всв эти вопросы иы не найдемъ никакого отвъта въ старыхъ эстетикахъ. Они твердять намъ, что начало художественнаго творчества лежить въ стремленіи человъка къ прекрасному, а между тыть ны ежедневно можемъ встрытить бездну фактовъ побужденія къ творчеству, не им'єющихъникакого отношенія къэтому стремленію. Сколько бы иы ни разбирали фактовъ творчества, начиная съ самыхъ несложныхъ проявленій его и до самыхъ совершенныхъ, - вездъ мы увидимъ одно: основнымъ побужденіемъ къ творчеству всегда было какое либо сильное впечатлёніе, одно или цёлый рядъ ихъ; правда, иногда эти впечатленія бывають возбуждаемы темь, что въ старинныхъ эстетикахъ называется прекраснымъ, возвышеннымъ, безобразнымъ, но если мы захотимъ всё впечатленія, возбуждающія творчество, подвести подъ эти три рубрики, то мы должны будемъ сдёлать бездну вопіющихъ натяжекъ: это будеть все равно, что всё вкусы стараться подвести подъ категорію сладкаго, кислаго, соленаго, горькаго; подобно тому, какъ есть бездна вкусовъ совершенно специфическихъ, не имъющихъ ничего общаго съ вышеупомянутыми четырьмя вкусами, такъ есть бездна впечатленій, не имеющихъ ничего общаго-ни съ прекраснымъ, ни съ возвыщеннымъ, ни съ комическимъ, ни съ ужаснымъ. Такъ, напримъръ, привязанность къ неодушевленнымъ предметамъ, среди которыхъ мы долго жили, возбуждаеть въ насъ всегда могучее впечатленіе, когда мы снова, после долгой разлуки, увидимъ эти предметы; представление узника, покидающаго тюрьну и съ грустнымъ сожалениемъ прощающагося со стёнами этой тюрьмы сильно поражаеть нась; ну что туть такого прекраснаго, ужаснаго, или сибшнаго, а между темъ, подобное представление не разъ служило предметомъ кудожественнаго творчества. Если им, на основании всёхъ наблюдаемыхъ нами фактовъ творчества, сделаемъ такой выводъ, что актъ творчества возбуждается каждый разъ сильнымъ впечатлениемъ, то для насъ будетъ рѣшительно все равно, какого рода будеть это впечатленіе. Почему одни предметы возбуждають въ насъ пріятное впечатлівніе, а другіе-непріятное, почему одними предметами мы восхищаемся, а другіе воз-

буждають въ насъ неодолимое отвращение, -- все это вопросы, которые въ сущности нисколько не касаются эстетики. Цёль эстетики опредёлить законы творчества; она замътила, что творчество возбуждается каждый разъ послё сильнаго впечатлёнія, и что за дело ей, какого-бы рода ни были эти сильныя впечатльнія. Гораздо важнье для нея рышить вопрось, почему послѣ каждаго сильнаго впечатлѣнія слѣдуетъ въ большей или меньшей степени актъ творчества. А для ръшенія этого вопроса, эстетика должна обратиться къ физіологіи и тамъ найдеть она для себя важные выводы: 1) каждое впечатлёніе вызываеть въ человъкъ актъ отраженія; 2) отраженныя впечатльнія передаются намь, возбуждая въ насъ подобныя же отраженія, напр. слезы возбуждають въ насъ слевы; при видъ сильно-ситющагося человъка, им начинаемъ невольно хохотать, хотя и не знаемъ причину смѣха; выраженіе ужаса на лиць не только человька, но и всякаго другого животнаго, возбуждаеть въ насъ подобный же ужась и пр. Эти два закона могуть служить основными законами творчества; первый законъ определяеть побуждение къ творчеству, второй-способность съ нашей стороны воспринимать впечатлёніе, выраженное художникомъ въ своемъ произведении.

Но впечатленія, комбинируясь, соединяются въ нашенъ нозгу въ представленія, а комбинація представленій ведеть къ идеямь; какая-же разница между д'ятельностью ученою и художественною?-Пока въ мозгу нашемъ идетъ работа комбинацій, нътъ никакой существенной разницы между дёятельностью ученаго и художника. Мысль, что будто бы ученый иыслить идеями, а художникъ образами-чиствищая ерунда; у каждаго человъка съ идеями непремънно соединяются тёсно и нераздёльно образы; правда, что у однихъ людей эти образы яснъе и опредълениъе, у другихъ они туманны и слабы, -- это зависитъ отъ силы воображенія; правда, что для художника обязательно имать сильное воображение, но нельзя сказать наобороть, чтобы сильное воображение непременно ведо къ художественному творчеству; мы встрачаемы много людей съ сильно развитымъ воображениемъ, которые не имъють ни малейшаго побужденія къ творчеству. Но какъ только, вследъ за воспріятіемъ впечатленій и комбинацією ихъ, начинается актъ отраженія, - тутъ только и начинается различіе художественнаго творчества отъ ученаго. Здёсь выступають на сцену два закона: 1) чёмъ сильнёе впечатлёніе, тёмъ разносторонные, полные и богаче отражение его; 2) чымъ чаще впечативние отражается въ одномъ направленіи, темъ более является навыка въ человеке отражать впечатление такъ, а не иначе, темъ опять-таки полиже, богаче и разносторониже будетъ отражение. Отъ перваго закона зависитъ вполнѣ побужденіе къ творчеству: художники отличаются въ этомъ отношеніи отъ обыкновенныхъ людей тімъ только, что они впечатлительные обыкновенных в людей; каждый подъ вліяніемъ сильнаго впечатлінія можеть сділаться на время поэтомъ, но не многіе могутъ воспринять такое большое количество сильныхъ впечатлъній ежедневно, какъ художники. Второй законъ обусловливаетъ необходимость художественной техники. Кроиз сильнаго впечативнія необходимо нивть еще навыкъ отражать это впечатлёніе вполнё, такъ или иначе. Подъ вліяніемъ сильнаго впечатлінія во мні можеть явиться побуждение написать стихи, или нарисовать на холств предметъ, поразившій меня, но если у меня не будеть навыка ни писать стихи, ни рисовать, ное побуждение или останется побуждениемъ, или произойдеть отражение самое неполное и уродливое. Навыкъ же подобнаго рода составляетъ не какой нибудь врожденный личный даръ; онъ есть ничто иное, какъ медленное пріобрѣтеніе и накопленіе впродолженіе цёлыхъ вековъ со стороны дюдей, передававшихъ наследство свое изъ рода въ родъ. Много тысячельтій прошло, въ которыя человьчество совершенно удовлетворялось, отражая свои впечатлёнія въ нестройныхъ каракулькахъ, въ уродливыхъ каменныхъ и деревянныхъ чурбанахъ, въ дикихъ завываньяхъ и кривляньяхъ. Но и теперь, когда человъчество достигло такихъ произведеній, какъ трагедіи Шекспира или симфоніи Бетховена, спросите у любаго искренняго художника, доволенъ ли онъ своими произведеніями, и каждый отвётить вамъ про самые лучшіе свои труды, что да, она выразиль въ нихъ то, что котель; но все-таки въ его голове осталось еще чтото такое, что у него не достало силъ выразить; это что-то такое, остающееся въ головъ художника невыраженнымъ, показываетъ, что искусство при всемъ совершенствъ далеко не достигло еще того, чтобы вполнъ отражать впечатленія наши, и неть ничего мудренаго, что на потомковъ нашихъ наши гордыя произведенія будуть производить такое же впечатлівніе безсилія, какое на насъ производить созерцаніе разныхъ курносыхъ чурбановъ съ руками, не отдёленными отъ боковъ, которыми изобилуютъ археологические музеи.

Если же искусство выдёляется отъ прочихъ актовъ дъятельности человъка во второй только моментъ псикическаго процесса, т .- е. въ моментъ отраженія виечатлівній, если въ первый моменть, т.-е. во время воспріятія и комбинаціи впечатлівній искусство ничёмъ еще себя не заявляеть, то изъ этого прямо вытекаеть то, что въ основании искусства лежитъ то же, что и въ основаніи всякой дёятельности человъка: процессъ мысли, направленный къ изысканію истины. Искусство есть ничто иное, какъ болъе могучее средство, чёмъ какое-либо другое, къ отражению различныхъ комбинацій впечатлівній, представленій и илей. Изъ всего этого слёдуеть, наконець, послёдній выводъ, что такъ какъ искусство есть только отраженіе впечатліній, представленій и идей, то очевидна подная зависимость его отъ широты и глубины развитія этихъ идей. Чемъ возвышенне и шире интересы поэта, чёмъ тшательнёе и глубже изучиль онъ жизнь, чёмъ большее количество впечатлёній всякаго рода восприняль онъ, темъ большее значение будуть имъть его произведения; при соверцании подобныхъ твореній и въ голову не будеть приходить мысль о безпъльности и ничтожествъ искусства. Если же мысль поэта спить, интересы его низменны и узки, впечатленія, воспринимаемыя имъ, однообразны, если поэть не желаеть возвыситься надъ соверцаніемъ красивыхъ деревьевъ, — если его, какъ ребенка, поражають такіе пустяки, какъ игра солнца въ колокольнъ и красное освъщение кузнецовъ, кующихъ жельзо, и художникъ желаетъ поразить человъчество такими игрушечками, — то мы вправъ будемъ считать его произведенія совершенно безполезною, ничтожною, праздною забавою, въ родъ игры въ шахматы, или боксированія. А если впечатльнія художника будутъ низки и грязны, если-единственною цілью его произведеній будетъ возбуждать въ васъ плотоядную чуветь соблазнительныхъ позахъ, то такія произведенія, мало того; что безполезны, а положительно вредны, какъ порожденія разврата и растльнія.

П

Читая книгу Прудона, вы постоянно видите передъ собою словно двухъ людей. Изъ нихъ одинъ человъкъ стоитъ на чисто-реальной почвъ, разработываетъ вопросъ объ искусствъ путемъ индуктивнымъ, анализируетъ бездну фактовъ проявленій искусства и въ древнія, и въ новыя времена. Изъ этого анализа, самаго добросовъстнаго и кропотливаго, онъ приходитъ вотъ къ какимъ выволамъ:

«Всякое произведеніе, какъ искусства, такъ равно промышленности и политики, имбеть непременно свое назначение; оно произведено для извъстной цёли. Нелёпо предполагать, чтобы въ обществё,-для чего не сказать во всей вселенной, могло быть что-нибудь создано единственно для того толь-ко, чтобы быть созданнымъ. Установившись на этомъ правилъ, искусству остается одно изъ двухъ: или признать, что назначение живописи во всей совокупности ея произведеній, какъ самыхъ серьезныхъ, такъ и самыхъ легкихъ, самыхъ ученыхъ и наиболъе своенравныхъ, должно заключаться въ выражении человъческой жизни, въ воспроизведении человъческихъ чувствъ, страстей, добродътелей и пороковъ, трудовъ, предразсудковъ, смѣшной стороны, ея восторговъ, величія и стыда, всёхъ хорошихъ и дурныхъ качествъ людей, словомъ, въ вы-ражении формъ въ ихъ типическихъ, индивидуальныхъ и совокупныхъ проявленіяхъ, и все это съ цълью физическаго, интеллектуальнаго и нравственнаго усовершенствованія человічества, въ виду оправданія его посредствомъ его же, и наконецъ, въ виду его прославленія. Если же водъ предлогомъ независимости искусства, геніальности, слідуеть сділать искусство слугою всяческаго идеализма, ученія илиюминатовъ, фанатизма и квістизма или праздности, роскоши, сластодюбія и эпикурензма, то это будеть значить, что, отвергнувъ назначение вмсоко-правственное, практическое и положительное, школа искусства для искусства возьметь верхъради совершенной ирраціональности, мечтательности и безиравственности» (стр. 422).

Но тотъ же самый Прудонъ, когда берется опредълить сущность искусства путемъ чисто-абстрактнымъ (см. гл. II и III), путается въ своихъ опредѣленіяхъ, желаетъ встать на самостоятельную почву, и между тѣмъ постоянно становится на точку зрѣнія эстетиковъ старой школы. Такъ, напримъръ, онъ отвергаетъ миѣніе эстетиковъ, что прекраснаго въ дъйствительности не существуетъ, что оно существуетъ только въ нашемъ разумѣ, какъ врожденная идея:

«Изъ того, что мы нижемъ, по пренмуществу, свойство сознавать прекрасное въ насъ самихъ и въ природъ, говоритъ Прудонъ, они, т. е. эстетики, заключили, что прекрасное существуетъ только въ нашемъ разумѣ; это все равно, что сказатъ, что свѣтъ, не существуя для схъпыхъ, есть только представлене разума эрачихъ» (см. стр. 28).

Признавая такимъ образомъ реальность прекраснаго въ природъ, Прудонъ предполагаетъ воспріятіе его людыми посредствомъ познаванія; органъ же познаванія у насъ одинъ процессь мысли, т. е. комбинація впечатленій, представленій и идей. Посредствомъ того же самаго процесса мы доходимъ до познанія, какъ фактовъ исторін, естествознанія, такъ и прекраснаго въ природъ. Прудонъ же на первыхъ страницахъ для познанія прекраснаго вкладываеть въ человъка особенную способность --- "эстетическое чувство". Но развѣ "эстетическое чувство" не та же самая "врожденная идея прекраснаго" гегеліанцевъ. Если созерцание прекраснаго въ природъ возбуждаеть въ насъ восторгъ, а созерцаніе новаго вида какой-нибудь породы животныхъ такого восторга не возбуждаетъ, то разница здъсь только въ степени напряженности впечатлёнія, въ томъ, что одни предметы производять на насъ напряженныя впечативнія, извъстныя въ общежити подъ названіями восторга, страха, ненависти, отвращенія, другіе предметы производять внечатленія более спокойныя; но какъ те, такъ и другіе, равно ведуть къ одному - къ комбинаціи впечатлівній, представленій, идей и къ отраженію всего этого такъ или иначе. Въ какихъ случаяхъ предметы возбуждають въ насъ болбе сильныя и напряженныя впечатлёнія, а въ какихъ болёе слабыя и спокойныя-это, еще разъ повторяю, не входитъ въ предметь эстетики; но на томъ только основаніи, что при созерцаніи н'якоторых в предметовъ мы чувствуемъ восторгъ, -- придумывать для этого особенную эстетическую способность-также нельпо, какъ было бы нелено особенную способность придумывать для впечатавнія страха, особенную для ненависти и т. д. Старинные психологи такъ обыкновенно и дёлали, предполагая душу человека, въ роде бюро, разделенную на разные ящички и комодики.

Признавая искусство продуктомъ особенной эстетической способности и вводя его въ узкую среду созерцанія прекраснаго, Прудонъ естественно приходитъ къ такимъ нелѣпымъ выводамъ, которые сами себѣ противорѣчатъ на каждомъ шагу:

«Красота — отблескъ истини», сказалъ Платонъ, но изъ этого вовсе не сабдуетъ, что эстетическая чувствительность артиста свидательствуеть о глубинъ его сознанія или проницательности его разума; напротивъ того, можно сказать, что она находится въ обратномъ содержании къ философскому разуму, хотя только при обладаніи такимъ разумомъ художникъ можетъ достигать превосходства въ своей профессіи. Безъ сомнѣнія, искусство не исключаеть науки; нёть, оно даже не можеть, подъ онасеніемъ сдёдаться смёшнымъ, становиться въ противорачіе съ нею; оно обречено сообразоваться съ ней, по мъръ того, какъ оно развивается. Но искусство не дожидается развитія науки, оно предупреждаеть ее въ своемъ процебтании, опережаетъ науку въ исходъ, даетъ предчувствовать ее въ своихъ вдохновеніяхъ, а порою, въ эпохи невъжества, и у большей части слабыхъ умовъ-даже замъняетъ его» (см. стр. 31 и 32).

Вдумайтесь во все это, и вы потеряетесь въ безвыходныхъ противоръчняхъ: вы увидите, что эстетическое чувство, находясь въ обратномъ отношени къ разуму, нисколько не свидътельствуетъ о степени умственнаго развития художника, но въ то же время и свидътельствуетъ, если превосходство въ профессіи художника зависитъ отъ развитія этого разума. Искусство обречено сообразоваться съ наукою по мъръ своего развитія, но въ то же время оно предупреждаетъ и опережаеть ее въ своемъ исходъ. Спрапивается теперь, какъ же это такъ идущій впереди можетъ слѣдовать за идущимъ сзади?

прупонъ овъ искусствъ и сатурнали нашихъ эстетиковъ.

Если искусство иногда заранъе предупреждаетъ науку, то не ему сообразоваться съ наукою, а напротивъ того, наукѣ следуетъ пользоваться открытіями, сдёланными искусствомъ. Фактъ предупрежденія науки искусствомъ действительно случается весьма нередко. Въ произведенияхъ Шекспира мы можемъ найдти иного идей, о которыхъ не думали еще современники его, и до которыхъ только въ наше время дошли медленнымъ путемъ анализа. Но подобные факты происходять вовсе не изъ какого-либо особеннаго эстетическаго чутья, поэтическаго ясновиденія, какъ думала старая эстетика. Умъ нашъ не можетъ доходить инымъ путемъ до высшихъ идей, какъ путемъ комбинацій впечатліній, представленій и идей низшихъ. Такой процессъ обязателенъ какъ для художника, такъ и для самаго сухаго математика. При этомъ условін излишне и говорить о томъ, что искусство предупреждаеть науку; оно само есть та-же наука, только представленная въ живыхъ, наглядныхъ образахъ. И если Шекспиръ въ своихъ трагедіяхъ высказалъ, 200 лътъ тому назадъ, идеи, современныя нашимъ покольніямь, онь обязань быль этимь не особенному какому-либо эстетическому чутью, а своей геніальной головь, производившей такія быстрыя, правильныя и меткія комбинаціи представленій, до которыхъ не могли додуматься обыкновенныя головы его современниковъ. Подобныя преждевременныя откровенія принадлежать не однимь художникамь, но и ученымъ. Современникъ Шекспира, Бэконъ, хотя и не обладаль эстетическимъ чутьемъ, точно также высказаль рядъ идей, до которыхъ и теперь еще не вполн'в додумались очень многіе; съ другой стороны, во всё вёка являлась бездна художественныхъ произведеній по всёмъ отраслямъ искусства, которыя по справеддивости признаны геніальными, но которыя, темъ не менте, не представили никакихъ особенныхъ поэтическихъ откровеній, и вся геніальность ихъ заключается въ томъ, что они върно передали идеи и стремленія своего в'яка. Не надо забывать и того, что очень иногія идеи, особенно такія, которыя близко касаются нашей жизни, нашихъ современныхъ интересовъ, прежде чёмъ сдёдаться спокойными, отвлеченными формулами, какъ 2×2=4, первоначально возбуждають въ насъ напряженныя и сильныя впечатлівнія, пока мы не свыкнемся съ ними.

А изв'ястно, что сильным впечатл'внія ведуть къ богатымъ и образнымъ отраженіямъ; вотъ причина, что многія идеи, до сознанія которыхъ додумалось челов'ячество, —прежде ч'ямъ сдѣлаться сухими формулами науки, были выражены первоначально въ живыхъ образахъ искусства. Когда жизнь создала среди насъ Рудиныхъ, то, сознавши этихъ людей, какъ особенный, вновь явившійся типъ, мы были такъ поражены имъ, что для насъ недостаточно было спокойно анализировать, изучать его, —мы захотѣли отразить его въ живомъ образъ. Тотъ, кто былъ по своей художественной природѣ впечатлительнъе насъ, кто, по этому самому, болже насъ былъ пораженъ этимъ типомъ, кто, къ тому же, обладалъ навыкомъ отражать впечатлёнія большимь, чёмь каждый изъ насъ,--тотъ первый взялся за дёло отразить новый типъ въ живомъ образъ и явилась извъстная повъсть Тургенева. Когда же впечативние остыло, и типъ Рудина савлался обыденнымъ явленіемъ жизни, тогда савлалась достаточнымъ спокойно изучать его, выражая работу мысли въ видъ сухихъ ученыхъ формулъ, но изъ этого не следуеть, чтобы первоначальное сознаніе типа Рудина, соединенное съ экстазомъ, не было тою же самою работою мысли. Тургеневъ не иначе комбинировалъ всёхъ Рудиныхъ въ одинъ общій типъ, какъ естествоиспытатель комбинируетъ въ одинъ типъ всёхъ животныхъ, принадлежащихъ къ одному роду.

Объемъ статейки заставилъ насъ сдёлать одну небольшую выдержку изъ анализа Прудона сущности нскусства, и на этой выдержкъ ны постарались ноказать, какъ Прудонъ, ратуя противъ старыхъ эстетиковъ, постоянно впадаетъ въ ихъ тонъ и находится въ полной зависимости отъ ихъ возгрѣній. Подобныя явленія можно найти на каждой страницѣ, и противъ трактата Прудона объ искусстве пожно было бы написать такую же книгу возраженій на этоть трактать, если не болъе. Такое явление нисколько не лишаетъ книгу Прудона своихъ неотъемлемыхъ достоинствъ. Не надо забывать, что Прудонъ учился самоучкой, въ такое время, когда идеи нъмецкихъ философовъ считались альфою и омегою человъческой мудрости. Онъ глядьть на нихъ съ безусловнымъ уважениемъ и къ ихъ абстрактнымъ выводамъ прибъгалъ каждый разъ, когда желалъ свои собственныя идеи, добытыя путемъ живаго анализа, подтвердить философскими основаніями. Вследствіе этого, во всёхъ сочиненіяхъ Прудона мы видимъ двъ струи: одна живая и свътлая струя-это тъ здоровыя, полныя жизни и великаго будущаго идеи Прудона, которыя добыль онъ индуктивнымъ путемъ анализа окружающей его жизни; другая струя мутная и гнилая-это тѣ абстрактныя идеи школы Гегеля, на основании которыхъ Прудонъ разсуждаеть объ абсолютной сущности тёхъ или другихъ разбираемыхъ имъ предметовъ. Опытный и философски-образованный читатель сейчась же увидить, что абстрактныя йдеи, въ которыхъ путается Прудонъ, составляютъ ничтожную скорлушку вкуснаго и питательнаго плода; для такого читателя ничего не будетъ стоить облупить эту скорлупку, и бросивъ ее, какъ ненужную, воспользоваться зерномъ. Читатель же налоопытный запутается въ абстрактныхъ идеяхъ Прудона еще болве самого автора. Примъръ такой путаницы представиль намъ Немировскій въ своей книгв "Наши идеалисты и реалисты". Книга эта написана, очевидно, подъ вліяніемъ трактата Прудона. Авторъ самъ говоритъ въ ней:

«Развить, насколько позволять силы, въ систему и подробно все то, что разбросано урывочно, часто намеками по всей книгъ Прудона относительно теоріи искусства, и, главнымъ образомъ, коснуться съ точки арънія его ваглядовъ тенденцій объ искусствъ, высказанныхъ нашими современниками идеа-

листами и реалистами—воть то, что намъренъ сдълать пишущій эти строки» (стр. 42).

Задавшись такою цёлью и найдя въ книге Прудона смѣшеніе идей школы реализма съ идеями школы идеализма, Немировскій поняль Прудона такимъ образомъ, что Прудонъ ищетъ какой-то середины между реализмомъ и идеализмомъ. И Немировскій началь искать такой блаженной середины, не понимая, что между этими двумя школами, исходящими изъ совершенно противуположныхъ началъ, не можетъ быть никакой середины, ни малъйшаго примиренія. Реализмъ отвергаетъ все то, что признаетъ идеализмъ, и искать середины между да и нъть, значить не знать одного изъ существенныхъ законовъ логики. У насъ нътъ ни времени, ни мъста разбирать весь тотъ сумбуръ, который напуталъ Немировскій на 350 страницахъ, ища то, чего невозможно искать и что совершенно безполезно искать. Все то, что мы сказали противъ книги Прудона, можно вполнъ приложить и къ книгъ Немировскаго. Достаточно, если мы разберемъ одинъ изъ доводовъ Немировскаго въ пользу существованія особеннаго эстетическаго чувства. На подобный доводъ мы обращаемъ внимание читателей потому, что у Прудона мы его не нашли, а между темъ это одинъ изъ сильныхъ доводовъ эстетиковъ старой школы. Немировскій, заивчая въ человъкъ способность одухотворять натеріальную природу, приписывать морю-ярость, волнамъ-ропотъ, лиліи-невинность, считаетъ эту способность однимъ изъ несомивнимыхъ признаковъ эстетическаго чувства. Способность олицетворенія, возможность видёть въ облакахъ вёчныхъ странниковъ, въ сосий намую грусть по отдаленной пальма, -повидимому, представляется чёмъ-то совершенно противуположнымъ научному анализу, который смеется обыкновенно надъ подобными бреднями художниковъ, ничего не видя въ облакахъ, кромъ сгущенныхъ водяныхъ паровъ, а въ соснъ-крожъ кория, ствола и хвой съ сосновыми шишками. Но эта противуположность только кажущаяся. Способность одицетворенія исходить изъ того-же самаго уиственнаго процесса, изъ котораго исходятъ всё великія откровенія науки: мысль наша, комбинируя отдёльныя впечатлёнія по ихъ общинъ признакамъ въ общія представленія, т. е. понятія и идеи, не можеть остановиться въ этой комбинаціи на сближеніи между собою только однородныхъ представленій; для нея достаточно бываеть часто одного общаго признака, даже намека на такой признакъ, чтобы сблизить между собою представленія совершенно разнородныя. Для той же самой мысли, для которой необходимо собрать всё существенные признаки лилій для составленія понятія объ этомъ растеніи, достаточно н'єжнаго, лиловаго цв та и наклоненной головки цвътка, чтобы сблизить это представленіе съ представленіемъ краснѣющей, робко потупленной головки невинной девушки. Олицетворенія, такимъ образомъ, суть ситлыя понытки ума, на основаніи одного, двухъ общихъ признаковъ, сближать между собою такія разнородныя представленія, которыя, никакимъ образомъ не могутъ быть слиты въ общія понятія. Признавать для подобныхъ явленій особенный ящичекъ въ душт человъка и называть его эстетическимъ чувствомъ нёть ни малёйшаго основанія. Художественное творчество пользуется олицетвореніями, какть однимъ изъ оредствъ отраженія впечатлёній, но подобныя олицетворенія далеко не составляють сущности искусства и нисколько для искусства не обязательны: мы можемь встрётить бездну произведеній искусства, въ которыхъ не найдемъ и слёда подобныхъ олицетвореній. Мы видимъ, наконецъ, что искусство въ послёднее время, становясь серьевиће и заботясь болёе о точномъ и вёрномъ отраженіи впечатлёній и идей, все менбе и менбе начиженіи впечатлёній и идей, все менбе и менбе начи-

наетъ прибъгать къ одицетвореніямъ, къ этимъ проблескамъ незръдой мысли. Оно не падаетъ отъ этого, а напротивъ того, выигрываетъ. На аллегорію, эмбдему и всякаго рода символы нынъ смотрятъ уже какъ на что-то младенческое и давно отжившее.

Изъ всего сказаннаго нами предоставляемъ читателю самому вывести, что понравилось въ книгѣ Прудона нашимъ реалистамъ, и за что преклонились передъ его прахомъ наши идеалисты, которые до сего времени ничего не питали къ нему, кромѣ безграничной влобы.

ГЕРОИ ГОЛУВИНАГО ПОЛЕТА.

(«Межъ двухъ огней», романъ М. Авдъева).

Принадлежа къ романистамъ старой школы, Авдевъ далеко не обладаетъ тою степенью художественнаго таланта, на какой стоятъ корифеи этой школы Тургеневъ, Гончаровъ и Писемскій; но онъ одинъ только изо веёхъ представителей своей школы сохранилъ хоть какую нибудь тёнь благовидности, не проникся тупымъ, энергичнымъ ожесточеніемъ Писемскаго противъ всего молодаго и свёжаго и не впалъ въ дымное и кислое разочарованіе Тургенева. Правда, изъ его романа видно, что многіє мотивы и пружканы современной жизни не совсёмъ ясны для него: онъ смотритъ на нихъ съ тёмъ поверхностнымъ взглядомъ, съ какимъ смотрёли корифеи старой школы на всё явленія, происходившія за предёлами барскихъ сердецъ и нервовъ.

Въ то время, какъ въ изображеніяхъ различныхъ чертъ старой жизни, романистъ стоитъ на самой твердой почев. воспроизводить действительность, такъ какъ она есть, на основаніи точнаго знанія этой жизни, -- тоть же самый Авдеевъ, едва дело коснется новой жизни, начинаетъ путаться и фальшивить, какъ это мы увидимъ ниже при анализъ характера Барсуковой. — Но. во всякомъ случат, Авдеевъ, не вполнт ясно понимая новую жизнь, всё усилія напрягаеть, чтобы сочувствовать ей; на каждой страниць вы увидите либеральныя поощренія и гуманныя отданія справедливости, и если кое что Авдбевъ (въ третьей части своего романа) и не одобряетъ въ событіяхъ новой жизни, то высказываеть свои сътованія самымъ мяткимъ, нъжнымъ тономъ маменьки, сердобольно вздыхающей о своемъ Петинькѣ, что всѣмъ бы этотъ Петинька хорошъ, да пріятели сбили его немножко съ толку, но это, моль, ничего, пройдеть, перебъсится Петинька и опять станеть послушный маменькинъ сынокъ.

Всё условія соединены въ романі, чтобъ онъ производиль на васъ самое пріятное внечатлёніе. Ни малійшей тіни въ немъ не найдете вы, какъ я сказаль уже, мрачнаго ожесточенія или кислаго разочарованія; авторъ такъ либерально улыбается вамъ и сулить въ будущемъ всевозножныя блага; развязка романа самая праздничная: порокъ наказуется, добродітель торжествуеть; герой романа сочетается законнымъ

бракомъ съ героинею, и героиня мирно шествуетъ подъ руку съ нимъ по усъянному розами пути прогресса, заведя швейную мастерскую во имя женской самостоятельности. - Что бы, повидимому, оставалось двлать по прочтеніи романа, какъ не предаться нѣжному умиленію при соверцаніи завиднаго эденскаго благосостоянія россійскихъ прогрессистовъ и прогрессистокъ. А между темъ, если, не ограничиваясь поверхностнымъ чтеніемъ, вы вдумаетесь поглубже въ романъ, то ни одно изъ самыхъ мрачныхъ, желчныхъ, ожесточенныхъ произведеній не возбудить въ васъ такого тяжелаго, безотраднаго чувства, ни одно не возмутить вась такъ до глубины души, -- какъ эта либерально-сладкая идиллія. Это впечатлівніе, и безъ того тяжелое, становится еще невыносимъе по той причинъ, что авторъ романа не раздъляетъ съ вами его; онъ нисколько не возмущается темъ, что особенно гадкимъ, дряннымъ и возмутительнымъ кажется вамъ въ поступкахъ его героевъ, а то, на чемъ хочется остановиться вамъ съ полнымъ сочувствіемъ и отвести, что называется, душу-авторъ ставитъ на последній планъ и относится къ этому съ высокомернымъ сожалениемъ, смягчая это сожаление своимъ снисходительнымъ отданіемъ справеддивости. Читатель увидить это изъ анализа главныхъ действующихъ лицъ и сюжета романа, и я немедленно приступаю къ этому анализу.

Героемъ романа является Камышлинцевъ, который охарактеризованъ авторомъ съ такою полнотою, что мнѣ не придется и слова прибавить отъ себя, довольствуясь выписками изъ романа.

«Дмитрій Петровичь Камышлинцевь, значимся по формуляру отставнымъ титулярнымь совѣтникомъ. 29 лѣгъ, а быль въ настоящее время, ремесломъ—помѣщикъ не у дѣль, т. е. помѣщикъ, не занимающійся ни хозяйствомъ, ни собаками и не знающій, что изъ себя дѣлать. Пожалуй, можно бы еще помѣстить его въ разрядъ помѣщиковъ, ѣздившихъ за границу, но за границей онъ быль только одинъ разъ; тавихъ помѣщиковъ много на святой Русв».

Посл'в плохаго воспитанія, Камышлинцевъ попалъвъ общество молодежи.

«Какъ молодой человъкъ, онъ во многомъ сочувствовалъ членамъ этого кружка, но видёлъ и ихъ увлеченія. Лично онъ любиль этоть кружокь, но идеи кружка составляли для Камышлинцева предметь горячихъ споровъ: онъ отстаиваль свой взглядъ н пробоваль идти своей дорогой. Однакожь, въ томъ и другомъ обществъ Камышлиндевъ прежде всего узналь, какъ древній философъ, что онъ ничего не внаеть, и что истинное образование должень начать самъ и снова. Онъ былъ человъкъ самолюбивый и, понявъ свое невъжество, принялся читать и учиться.

Чтеніе начинило голову его разными знаніями и идеями, но...

«не смотря на то, въ кружкъ этомъ Камышлинцевъ чувствовалъ себя не причемъ: всякій работалъ въ немъ, кто для науки, кто для куска хлаба, у Камышлинцева же не было собственнаго дъла, не было у него той земли подъ ногами, которая ему, какъ Антею, давала бы силы. Онъ учился, но нау къ себя посвятить не желаль, въ искусствахъ не имъль таланта, служить, -- но петербургская служба, съ ея канцеляріями и парадами, казалась ему ка-кой-то отвлеченностью, которой можно предаваться только изъ любви къ самой службѣ, какъ иные любять искусство для некусства».

Потхалъ онъ послъ смерти отца въ деревню; тамъ

«присматривался къ хозяйству и учился ему, но помогать этому делу, а темъ более начинать его, быль не въ состоянии; играть роль благод втельнаго помъщика, едълаться отцомъ своихъ крестьянъ и благодуществовать съ ними—ему и въ голову не приходило: у него было на столько здраваго смысла, чтобы понять, что не благодуществомъ можно по-

Поступилъ онъ было на службу въ чиновники особыхъ порученій къ губернатору, но не поладилъ и

черезъ годъ вышелъ въ отставку.

«Возвратись снова къ своимъ пенатамъ, Камышлинцевъ началъ было уже предаваться тяжелымъ размышленіямъ: что лучше-жениться ли на барышнь, начать ин пить, или повъситься на самомъ высокомъ деревъ своего сада, --- но въ это время случи-

лась Крымская война, потребовалось ополченіе, и Камышлинцевъ быль выбранъ въ него».

Не понюхавъ синя пороха, Камышлинцевъ благополучно возвратился домой по окончаніи войны и отправился за-границу для того, чтобы тамъ дознаться, "что это за штука, которая становится у насъ поперекъ всякому развитію, подставляетъ доселѣ ногу всякой, казалось-бы, здраво задуманной вещи (несчастный, ему и въ голову не приходило, что онъ-то самъ и есть эта штука!)" "Какъ провелъ онъ время за-границей, и что онъ тамъ узналъ-это не входитъ въ планъ нашего разсказа "-говоритъ авторъ (жалко, для большей полноты характеристики не итшало-бы хоть нёсколько словъ сказать о занятіяхъ Каиышлинцева за-границей; это вопросъ нетронутый и весьма было-бы интересно знать, чёмъ занимаются Камышлинцевы, отправляющіеся за-границу съ общей цълью учиться, но не избирающие себъ при этомъ никакой спеціальности для изученія). Когда Камышлинцевъ услыхалъ о новой жизни, пробудившейся въ Россін, онъ вскричаль: "домой, домой! Теперь тамъ есть дело, нужны наши труды, тамъ можно и должно работать... " И вотъ отправился онъ домой работать. Работа эта заключалась въ томъ, что Камышлинцевъ сдёлался членомъ по крестьянскимъ дёламъ присут-

У меня нътъ ни мъста, ни возможности описывать въ подробности всей дъятельности Камышдинцева,

да я нахожу, что это будетъ совершенно излишне. Это одна изъ техъ старыхъ исторій, о которыхъ въ нашей литератур'в много было писано и переписано. Сколько у насъ было выводимо на сцену разныхъ молодыхъ администраторовъ, либеральныхъ мировыхъ посредниковъ et tutti quanti; и постоянно вы видели передъ собой одну и ту же картину, давно уже засаленную и испачканную мухами: среди мертваго застоя гнилой провинціальной лужи, вдругъ, какъ мыльный пузырь, вскочить грозный деятель прогресса, юпитеръ-громовержецъ для мелкихъ воришекъ, каратель частныхъ гадостей и слепой поклонникъ общаго зла; прокипить его дъятельность, какъ извержение вулкана, съ дымомъ, трескомъ и трубнымъ гласомъ; а самъ-то о себъ что думаетъ въ это время общественный д'ятель, --- и не приведи Господи! --- Наподеонъ, Кромвель, да и только!-- Но въ сущности вся эта даятельность, по отношению къ окружающему міру, среди котораго она совершается, оказывается ничёмъ инымъ, какъ сдуваніемъ ныли въ воздухъ для того, чтобы пыль снова насёла тамъ-же, где была; а по отношенію къ д'ятелю, она есть ничто иное, какъ порханіе голубка въ воздухѣ: посмотрите, какъ высоко въ синее море улетелъ голубь, какіе отчалиные круги совершаеть онъ тамъ, но, не безпокойтесь, это не такая птица, у которой не было бы пристанища, которая должна была бы летёть впередъ безъ оглядки, ища пріюта отъ темной ночи и злой бури въ- какомъ нибудь дуплё и не зная, чёмъ она завтра будетъ сыта. У нашего голубка, какіе бы зигзаги онъ ни ділаль, всегда имъется въ виду голубятня съ сытнымъ кормомъ и пойломъ; покружится, покружится голубокъ, и все таки, въ концъ концовъ, опустится подъ нирный кровъ для того, чтобы клевать зернушки и ворковать съ нъжною голубкою. Такъ кончають, обыкновенно, всв наши двятели голубинаго полета: какъ мыльный пузырь лопается ихъ дёятельность, стоячая вода мало-по малу угомоняется, а картинные герои делаются картинными геройчиками любовныхъ похожденій. Такъ совершиль свою бурную деятельность Канышлинцевъ. Хотя авторъ и говоритъ про своего героя, что у него было на столько здраваго сиысла, чтобы понять, что не благодуществомъ можно пособить крестьянамъ, однако же, вся дъятельность Камышлинцева въ томъ только и заключалась, что онъ благодуществоваль и кончиль со своинь благодушіемь тань, что, оказавши крестьянамъ нёсколько падліативныхъ услугь, больше по части благоразунныхъ совътовъ, въ концъ концовъ, вооружилъ противъ себя и поиъщиковъ, и администрацію, и затёмъ сошелъ съ поприща деятельности наслаждаться любовными восторгами въ своихъ тенистыхъ садахъ. Замечательно странно относится авторъ къ своему герою: съ одной стороны, онъ, повидимому, критически разбираетъ его:

«Вообще, читаемъ мы въ концѣ романа, кажется, это характерь сложный и не сразу дающійся, да цъльный на его мъсть и появиться еще не могъ. Туть и нервность, и бълоручныя привычки, и почти вся обстановка недавняго времени-и новыя требованія, и стремленія; задатки силы, и хорошіе задатки, на старой, да вдобавокъ еще и не оттаявшей почев. У насъ недавно только начали появляться спеціалисты съ совнательною любовью къ своему делу, начало открываться и поле для нихъ; а для

людей, какъ Камышлинцевъ, выбивающихся изъ служилихъ из земскіе и не сділавшихся изъ політе щиковъ зейледільцами—поле-то еще не очистилось и они остаются какним - то диллетантами труда; работають они урынками, гді случится: старыя дрожжи ихъ ненавидять, молодые спеціалисты смотрить на нихъ съ легкимъ презрініемъ, чинонній людь подозріваеть и ревнуеть. А вообще, это, какъ говоритея, продукть, хотя отнюдь не герой своего времени, и положеніе его крайне незавидно».

Но авторъ, въ то же время, находитъ въ немъ и умъ, и здравый смыслъ, и, какъ читатель можетъ видёть изъ только что приведенной выписки, задатки силы — и корошіе задатки. Вотъ въ этомъ во всемъ и да позволено будетъ мнв усомниться. Если бы у Камышлинцева быль умъ и здравый сиыслъ, онъ заране могъ бы предусмотреть, что деятельность его, не принеся никакой плодотворной пользы, потерпитъ полное фіаско, и онъ избраль бы для себя другую деятельность, более плодотворную, а если бы у него были силы, то онъ поступиль бы такъ, какъ поступають обыкновенно сильные люди: онъ не сталь бы киснуть на старой, не оттаявшей почев, а сивло переплыль бы реку и оттолкнуль бы лодку, чтобы болье назадъ не возвращаться; что же и показываетъ въ Камышлинцеве дряблое и дрянное безсиліе, какъ не то смѣшное вливаніе новаго вина въ старые мѣхи, малолушное шлепанье взадъ и впередъ по разъ протоптанной троп' между двухъ огней, безъ всякой хоть мадъйшей попытки выйти на новую дорогу. Камышлинцевъ-это старая дева, которая чахнеть отъ непостатка любви въ своей жизни и въ то же время боится любви, потому что, въдь Богъ знаетъ, можетъ быть смерть отъ нея ожидаетъ...

Хотя рыцари голубинаго полета не способны лететь далеко и ограничиваются одними игривыми зигзагами вокругъ голубятни, -- но за то никто не сравнится съ ними въ уменьи нежно ворковать съ кроткими голубками. О, это ихъ первая спеціальность въ жизни и въ этомъ они первые мастера. Бурная общественная діятельность, не принося никому никакой существенной пользы, приносить большую пользу имъ самимъ въ томъ отношении, что заставляетъ не одно сердце биться сильнее, и после погрома герои почиваютъ, какъ на лаврахъ, на груди какой нибудь красавицы, не перестающей сиотрыть на нихъ, какъ на непонятыхъ геніевъ. У нашего героя была не одна голубка, а цёлыхъ двё. Сначала, отъ скуки, герой нашъ сънгралъ интрижку въ духѣ "Подводнаго Камня". Интрижка эта вышла черезъ чуръ пошленькою, потому что героиня ея, Ольга Мытищева, оказалась Гоголевскою дамою пріятною во всёхъ отношеніяхъ, однимъ изъ техъ тепличныхъ растеній, для которыхъ ничего не существуетъ въ жизни, кроив любовныхъ наслажденій, и въ особенности тайныхъ, соединенныхъ съ разными препятствіями и опасностями. Когда Камышлинцевъ занялся своею общественною ділельностью, онъ не нашель никакого сочувствія въ своей героинъ къ своему, такъ называемому, "дълу", а напротивъ того: Мытищева встала на сторону его враговъ. "Пусть освобождаются всѣ лакеи, горничныя и мужики, воскликнула она, но жертвовать для этого своимъ спокойствіемъ и спокойствіемъ людей любимыхъ-не имъетъ никакого смысла! Повърьте, и безъ

васъ освободятся очень хороше. Не дадутъ себя въ обиду! Что касается до меня, —сказала она, —то я ръшительно не кочу ссориться съ дворянами. Скоро будетъ дворянскій балъ: какъ весело себя чувствовать на немъ, какъ оглашенной! Да и братъ, кажетел, знаетъ толкъ въ дѣлахъ, —прибавила она, —а между тъмъ, тоже согласенъ со мною, что вы горячитесь, гдѣ не нужно! ". Всѣ подобныя восклицаны сопровождались обильными потоками слезъ и истерическими припадками. Тогда Камышлинцевъ разочаровался въ своей первой голубкѣ, но на ся мъсто не замедлила прилетъть другая. Это была Анна Барсукова. Объ этой личности намъ придется поговорять подробнѣе.

Авторъ выставляеть Барсукову, въ противовъсъ Мытищевой, какть діврушку новаго времени, какъ лучщую представительницу своего пола: она читаетъ, думаетъ, ее интересуютъ всй общественные вопросы; двъ противуположность Мытищевой, она принимаетъ живое участіе въ дівятельности Камышлинцева, наконецъ, сама стремится къ самостоятельной жизни и дівятельности: заводитъ швейную мастерскую. Казалось-бы; она должна производить на читателя самое отрадное впечаталініе, а между тімъ— ей то именно и обязаны вы тімъ тяжельноть, возмутительнымъ чувствомъ, какое производитъ романъ.

По прочтеніи романа, первая мысль является у васъ та, что авторъ, плохо знакомый съ явленіями новой живин, не поняль характера лучшихъ представительниць ея, исказиль его и представиль въ ложномъ свътѣ; но чѣмъ болѣе начинаете вы вдумываться въ поступки Барсуковой, тѣмъ болѣе вы убѣждаетесь, что если онъ не вполнѣ выдержалъ этотъ характеръ, то не въ томъ отношеніи, что въ свѣтлую личность новой живии вложилъ пѣсколько возмутительныхъ пошлостей, а напротивъ того, въ томъ, что, представивъпи одну изъ голубицъ старой живии, онъ не довелъ до надлежащаго конца развитіе характера подобнаго рода (мы увидимъ это ниже).

Анна Барсукова, принадлежить къ тому типу провинціальныхъ мечтательницъ, который такъ глубоко уже исчерианъ нашею литературою. Живетъ барышня въ деревит, въ глуши, въ какой нибудь семейной теплиць, не знаеть она ни людей, ни жизни, ничьиь она не занята, времени свободнаго много, начинаеть она отъ скуки читать, и читаетъ, что въ руки ей попадется, сначала всевозможные романы и стишки, потомъ журналы, наконецъ, переходитъ и къ более серьезному чтенію. Въ старину барышни подобнаго рода засматривались на луну, вздыхали, писали ногтемъ на запотъвшихъ стеклахъ милыя имена и ждали со дня на день, когда-то ихъ кто нибудь похитить. Впоследствіи онъ изнывали отъ ожиданій, что воть-воть прівдеть герой нашего времени и начнетъ ихъ развивать; наконецъ, въ последнее время оне сами начали бросать родительскій кровъ и развиваться, не ожидая уже похителей и развивателей. Казалось бы, какую хорошую дорогу начали выбирать онъ: самостоятельный трудъ, науку... Но если имъ легко было отдёлаться отъ старыхъ предразсудковъ, то не такъ легко избавиться отъ старыхъ привычекъ: для этого нужно было переродиться и начать жить снова. Тепличныя растенія усадебныхъ оранжерей и парниковъ, — не многія изъ нихъ принялись на новой почвѣ; большинство голубокъ полетало, полетало, нокружилось въ воздухѣ и снова усѣлось на тѣ же голубятни. Да и какъ было не усѣсться, когда всѣ привычки, вся природа до мовга костей къ тому стремились; уста говорили о трудѣ, а привычная лѣнь манила къ сладкому отдыху и пріятнышъ развлеченіямъ; въ юной головкѣ кружился идеалъ мыслачаго героя, — а сердце, не спрашивалсь у головки, билось отъ кудрявыхъ волосъ и пригоримхъ комплиментовъ какого нибудь пошленькаго фата.

Такова Анна Барсукова въ своей любви къ Камышлинцеву. Она читаетъ, развивается, увлекается общественными вопросами, наконецъ, она мечтаетъ о томъ, какъ она изберетъ въ свои спутники мыслящаго героя, чтобы идти съ нимъ по одной дорогъ. И вотъ представляются ей на выборъ два человъка: одинъ изъ нихъ, действительно, мыслящій герой; бедный труженникъ мысли, заброшенный борьбою въ деревенскую глушь, одинъ изъ тёхъ бойцевъ неумолимой здравой логики, которые не терпять никакихъ полуибръ, подусредствъ, потому что не видятъ никакой въ нихъ пользы, а другой геройчикъ голубинаго полета, гордо дралирующійся въ мишурную, безплодную діятельность полусредствъ и полунеръ, провинціальный фатъ н ношлый ловеласъ. Кого же избираетъ Барсукова въ свои герои—Камышлинцева или Благомыслова? Замъчательно, что въ нашихъ романахъ женщина является обыкновенно въ видъ судьи, Париса, держащаго въ рукѣ яблоко раздора, а передъ этимъ Нарисомъ женскаго пода парадирують обыкновенно нёсколько любовниковъ, ожидающихъ какъ греческія богини, кому булеть вручено яблоко, и яблоко вручается, конечно, тому, кто этого болже достоинъ или по своему развитію, или по своимъ силамъ. Мотивомъ выбора является, обыкновенно, какое нибудь серьезное, глубокое основаніе: такъ, Ольга предпочла Штольца Облонову, Елена предпочла Инсарова всёмъ другимъ сонскатедянь на таконь основани, на которонь все мыслящее поколѣніе того времени предпочло бы Инсарова и Штольца. Посмотрите же теперь, какимъ метивомъ руководствуется Барсукова. Вотъ что говорить она въ наскарадъ, куда она ходитъ, какъ истая барышня, интриговать Камышлинцева:

— Какъ же ты не влюбилась въ него? спрашиваетъ учен Каммиплинцевъ: это не въ порядкъ вещей! Истинное воспитание взрослой дъвицы начинается съ того, чте учитель и ученица влюбляются другъ въ

— Хорошій онъ малый... и подумывала я о немъ... да не нравится! что прикажешь дѣлать? сказала она съ сожалѣніемъ. Грубовать онъ очень да и... неряшливъ—прибавила она вполголоса, какъ бы каясь: а я около васъ, приличныхъ, набаловалась.

— У него, бъднаго, можеть на примичность то и средствь нѣть! сказаль Камышлинцевь: — пришанка его ко мик, я ему работу дамь.

О милая героння голубинаго полета, какъ ты видна въ этой фразъ вся, во всей твоей глубинѣ!.. Жалкое, тепличное существо, возросшее на почвъ романтивма, ты мечтаешь о героъ, но герой этотъ не иначе представляется въ твоемъ воображении, какъ въ видъ величественнаго рыпаря съ галантерейными любезностями, въ лайковыхъ перчаткахъ и съ гордою печатью генія на челі; а когда является передь тобою настоящій герой, ничімть не выдающійся изъ толпы, не рисующійся, не осліпляющій глазь блестящими эффектами, простой, гуманный, кроткій и, можеть быть, даже смінной съ галантерейной точки зрінія, — тебі не постичь прометевскаго отня подъ грубою одеждою, ты ноб'яжинь за мишурнымъ, раздушеннымъ фатомъ и съ отвращеніемъ отвернешься отъ челов'як, отъ котораго пахнеть потомъ труда и нужды. Какою глубокою истиною дышуть въ этомъ отношеніи слова Влагомыслова послі объясненія съ Барсуковой, когда онъ услышаль отъ нея, что она его не любить:

— Дъйствительно, началь опить, иди на проломъ, съ горькой усмъшкой. Благоммоловъ: — въдъ нашъ братъ изъ кутейниковъ и грубъ, и не ловокъ, а одбътъ-то такъ, что лакей у инаго франта за поясь заткнетъ, такъ за что-же насе и любитъ!. Ну, а все-таки, хоть вы теперь и другихъ идей придерживаетесь, — онъ иронически улыбнукся, — а все-же мы толковали и, такъ сказать, старались о развитии!

Одно только, въ эту минуту, не приходило въ голову Благомыслову, что онъ имѣль дѣло здѣсь съ таким силами, которыя далеко превышають силы идей и умственнаго развитія, —съ силою привычекъ и того закала, который дѣлаетъ людей глубоко и страстно сочувствующими всему истинно здоровому, свѣжему и живому — или – же поверхностными диллетантами, скользящими по поверхности жизни и увлекающимися впѣшнимъ блескомъ и мишурою.

Авторъ имълъ полное право вывести личность, вродъ Барсуковой, — это было-бы и ново, и поучительно, но, во-первыхъ, онъ долженъ былъ-бы отнестись къ ней такъ, какъ она этого стоитъ, а во-вторыхъ, довести до конца развитіе такого характера, какъ онъ сдёлаль это съ Камышлинцевымъ, то-есть показать, какъ, после граціозныхъ зигзаговъ въ воздухе, прелестныя голубицы возвращаются подъ мирный кровъ своихъ голубятенъ. Авторъ-же вообразилъ, что онъ представляеть въ лице Барсуковой лучний типъ современной девушки, а подъ конецъ романа заставилъ свою героиню устраивать швейную мастерскую. Вотъ въ этомъ-то и заключается невыдержанность характера Барсуковой и непонимание Авдбевымъ новой жизни. Если-бы Барсукова была, действительно, лучшая представительница новой жизни, способная создать настерскую и не бросить своего дела на другой же день, въ такомъ случат, ужь конечно, это была бы такая дёвушка, которая не оттолкнула-бы отъ себя, безъ всякаго участія, б'єднаго труженика и страдальца мысли, Благомыслова, и не предпочла-бы ему иишурную ничтожность вродъ Камышлинцева. Если же Барсукова такъ дегко отнеслась къ Благомыслову, отвергнувши его дюбовь на топъ основаніи, что отъ него не пахнетъ одеколономъ и не умъетъ онъ во время платочка поднять, то мы знаемъ, какъ подобныя галантерейныя барышни заводили всякаго рода пастерскія; начиналось діло съ шума и треска, высоко подынала голову барышня и воображала, что она Америку открываеть, а когда барыший приходилось споткнуться на первомъ-же шагу, когда обнаруживалась полная непрактичность ея и неумание взяться за діло, когда, вся вдствіе этого, всі отъ нея отстунались, барышня кидалась въ разочарование, -- вино-

ваты въ ея не успёхё оказывались лучшіе люди общества, которые не удостоили своимъ участіємъ ся діла и апатично относились къ ея предпріятію. А за подобнымъ разочарованіемъ следовала, обыкновенно, полная апатія и сонное прозябаніе на груди милаго. Вотъ чемъ должна была кончить Барсукова по всемъ даннымъ во-второй и третьей части романа. Когда, въ концв его, авторъ представиль свою чету фланирующею за-границею, я такъ и дукалъ, что голубка успъла уже придти къ тому-же, къ чему и голубокъ; но оказывается, что она продолжаеть еще устраивать мастерскую. Какъ-же послъ этого она терпитъ возлъ себя пустаго и празднаго фата, почившаго долгимъ сномъ послё мишурной деятельности? А чёмъ-же покончиль Влагомысловъ? Неоцененный, непонятый, непригретый --- онъ сошель со сцены, на которой онъ, дъйствительно, былъ совершенно лишнимъ человъкомъ. Неутомимый борецъ знанія и свёта, горемычный пасынокъ жизни, долго тебе еще скитаться по свету безъ участія, безъ привёта! Чуждый гость родной земли, долго теб'в еще придется стучаться въ двери, прося ночлега отъ ехидной бури и не получать никакого отвъта!... Злая доля забросила тебя къ чужимъ людямъ, ты думалъ, что они братья твои не только по человечеству, но и по взглядамъ, убежденіямъ, стремленіямъ. Эти люди внимали твоимъ горячимъ рѣчамъ, сочувствовали имъ, повидимому, а сами всею своею жизнію противорічили имъ, и съ высоты своей узенькой, изщанской мудрости, про себя посививались надъ тобою, какъ надъ шутокъ! Ты былъ нагъ и голоденъ, они рады были оказать тебе номощь, которая свидетельствовала-бы о ихъ великодушін. Когда же ты, обольщенный ихъ ложнымъ сочувствиемъ, ихъ мнимымъ участіемъ, вздумалъ, по-братски, състь съ ними рядомъ, они тотчасъ-же показали тебъ наплежащее мъсто. Тогда увидълъ безпріютный странникъ, что не хлебать ему похиблья на чужомъ пиру, опомнился и сталъ собираться въ путь, - идти своей дорогой... И что-же: эти-же самые люди, которые не поняли его, унизили, отвергнули, вздумали сердобольно вздыхать о его участи и устроили ему сцену для того, чтобы удержать его:

— Я забажала въ Аннъ Ивановнъ, сказалъ Камышлинцевъ съ нъкоторымъ оттънкомъ оскорбленной невинности, нисходящей до оправданія (она обыкновенно заключается въ басовыхъ и горловыхъ ввукахъ голоса),—чтобы сказать ей о вашихъ намъреніяхъ. Я надъюсь, что вы болье послушаетесь ся, чъмъ меня Высказавъ это, Камышлинцевъ не спъ-

шиль уйти, такъ какъ секреть быль уже открыть.
— Что за заботы! сь усмъщкой сказалъ Благомысловъ. — Не все ли равно, уйду и, или нътъ, и
что со мною станется! Кому и для чего яздъсь нужень? — прибавиль онъ, пожавъ плечами.

— Что же вы думаете, что намъ все равно, что бы съ вами ни сталось?—горячо спросила Анюта, глядя ему въ глаза.—Вы это по себъ, что ли, судите?

— Я полагаю.—хмуро, хотя нѣсколько осѣвшись.

Я полагаю, —хмуро, хотя нѣсколько осѣвшесь, свазаль Благоммеловъ, —что надо дѣло дѣлать, а о себѣ думать нечего, особенно такимъ счастливымъ госполамъ какъ в —побавить онъ

господама, какъ я, побавиль онь.

— Да въ томъ-то и вопросъ, показаль Каммилинцевъ, пакъ ли вы дъло-то понимаете? Будетъ
ли прокъ въ этомъ дълъ? Можно не думать о себъ,
когда увъренъ, что несомиънно принесешь пользу,
что по върной дорогъ идещь.

— Ну, я въ этомъ не сомнъваюсь, -- твердо ска-

залъ Благомисловъ.—Конечно, пріятнѣе и безопаснѣе здѣсь заниматься протестами противъ Кнебелей, да бесѣдовать съ такими прекрасными дѣвидами,—онъ съ усмѣшкой взглянулъ на Анюту,—но это не наше дѣло; да меня, слава Богу, инчего и не держить здѣсь, прощайте!—онъ протянулъ руку Анютѣ и крѣпко пожаль ее.

— Да, постойте!—сказала она,—переговоримте, по

крайней мъръ.

— Все переговорено,—сказаль онъ угрюмо, повернумся и быстро вышель. Анють показалось, что она вновь услыхала въ его словь ть подавленным слеви, которыя она слышала при памятномъ объясненіи. Анюта и Камышлинцевъ остались, молчаливые,

другъ противъ друга.

— Жаль его, —сказалъ Камышлинцевъ, —да не воротите. Въ его лъта безъ дъла и безъ любви бросишься въ омутъ, чтобы уйти отъ скуки, а гдъ же усидъть въ такое горячее время. Молодыя силы рвутся, а средствъ къ выходу мало, и вотъ какъ

«Анюта слушала молча и печально».

Вообще, эта сцена навъяда на нихъ грусть. О милые, сердобольные голуби! грустить, печалиться, разчувствоваться въ данную минуту и расплываться въ слезахъ и- воздыханіяхъ, -- это ваше д'яло, это вы только и умфете. Но кто же виновать, что ушель отъ васъ Благомысловъ, какъ не вы же сами? Вы сътуете на безполезность жертвъ, но кто же кладетъ ихъ на жертвенникъ, какъ не вы же? Что же делать, если многіе бывають готовы скорве безплодно замерзнуть на дорогъ, чъмъ терпъть ваше тепло, сидя на краюшкъ вашего стола, довольствуясь вашими великодушными подачками и выслушивая ваши снисходительныя сътованія на непрактичность и увлекаемость... Не поняли, не опънили Блакомыслова герои романа, на нельзя сказать, чтобы и самъ романисть отнесся къ этой личности, какъ она того заслуживаетъ. Она занимаетъ самое невилное мъсто въ романъ: выводится мелькомъ и очерчивается блёдно, какъ это часто дълаютъ наши романисты съ непризнанными любовниками, выводимыми ни для чего иного, какъ для образованія фона, на которомъ вынуклее рисовался бы герой романа, любовникъ признанный и счастливый. А между темъ, Благомысловъ более всего привлекаетъ интересъ читателя, возбуждаетъ сочувствіе и участіе. Мив кажется, что романь Авдвева значительно выиграль бы и въ своемъ значеніи, и въ своей трагической коллизіи, если бы авторъ, вивсто того, чтобы утомлять внимание читателя эротическими сценами любовныхъ похожденій Камышлинцева, героемъ своего романа избралъ Благомыслова и поставилъ его на первый планъ, чтобы показать, какъ всталъ въ разрѣзъ со всею жизнію этотъ страдалецъ мысли, какъ онъ быль не понять, осмаянь въ саныхъ своихъ завътныхъ чувствахъ и стремленіяхъ, отвергнутъ съ безчеловъчнымъ высокомъріемъ, и когда ему осталось только гибнуть, эти же самые люди, которые не поняли, осм'вали, отвергли его, вздумали с'втовать и охать о его гибеди! Это быль бы сюжеть, достойный художника, и вотъ въ этомъ заключается отсталость старой школы романистовъ, что какія бы глубокотрагическія явленія жизни ни затрогивали они, постоянно главный интересъ романа сводится у нихъ на эротическія похожденія какого нибудь пошленькаго, провинціальнаго ловедаса.

TEOPIR JACCAJA

и понимание ея прусскими прогрессистами.

(«Одинъ въ полъ не воинъ», романъ Шпильгагена).

Ī.

Романъ Шпильгагена, имѣвшій большой успѣхъ въ Германіи и читающійся запоемъ въ настоящее время у насъ, безспорно, принадлежитъ къ числу замъчательнѣйшихъ явленій европейской литературы послёдняго времени. Всякій, кто прочелъ этотъ романъ, былъ пораженъ широтою и колоссальностью картины, причемъ умственнымъ очамъ читателя представились не какихъ нибудь два-три семейства, связанныя любовною интрижкою подъ условіями соціальныхъ столкновеній, а перспектива цёлыхъ сословій и партій страны, борющихся на арен'в одного изъ самыхъ животрепещущихъ вопросовъ европейской жизни, -- вопроса о судьбъ рабочихъ. Въ каждой личности, выведенной въ романъ, ръзко и дагеротипно очерчивается какая нибудь партія, сословіе или среда во всей ихъ сущности, стремленіяхъ, промахахъ, благотворномъ или вредномъ вліяніи на жизнь общества. Но на что прежде всего нужно обратить вниманіе, чтобы получить вёрную точку зрёнія на романъ к достойно оцёнить сильныя и слабыя стороны его, -- это именно, есть то, что романъ Шпильгатена заключаетъ въ себъ особенный фокусъ искусства, достигаемый только геніальными талантами или умами, развитыми глубокимъ философскимъ образованиемъ. Фокусъ этотъ заключается въ следующемъ: каждый художникъ, который не есть только отвлеченный соверцатель прекраснаго, который принимаеть живое, непосредственное участіе въ интересахъ общества, есть непремънно человъкъ той или другой партіи. Но, увлекансь интересами своей партіи, онъ можетъ раздёлять тё или другіе заблужденія и предразсудки своихъ партизановъ. Было-бы очень наивно предполагать, чтобы всякаго рода клеветы и навёты, которыми осыпають одна другую враждебныя партіи, нарочно выдумывались съ сознательно-влонам ренною цалью. Они возникають первоначально какъ легенды и сказки, подъ вліяніемъ воображенія, разгоряченнаго страстями борьбы, потомъ уже укореняются въ умѣ, какъ ложныя понятія и предразсудки и тогда уже начинають употребляться сознательно и здонажеренно для взаимнаго подкапыванья. Это явленіе иы видимъ въ исторіи всёхъ партій религіозныхъ, политическихъ и литературныхъ. Но въ такомъ случат, требуя, чтобы художникъ принималь живое участіе въ интересахъ жизни, быль гражданинъ, принадлежащій къ той или другой партін, можемъ-ли мы разсчитывать, чтобы произведенія его были истинны, чтобы они върно изображали жизнь со всеми ея треволненіями? Въ такомъ случат не отнимаемъ-ли мы отъ искусства его главное достоинство-служение истинъ, правдъ, и не дълаемъ-ли его орудіемъ партій ради всевозможныхъ инсинуацій и подкапываній? Какъ-же достигнуть того, чтобы поэтъ, будучи партизаномъ, былъ въ то же время поборникомъ истины? Поставить поэта внё всякихъ партій и выше ихъ всёхъ, потребовать, чтобы онъ изучалъ жизнь объективно и безпристрастно? Не значитъ-ли это, чтобы поэтъ быль какимъ-то кастратомъ безусловной истины, чуждымъ человъческихъ страстей и сопряженных съ ними увлечений? Возможно-ли это? Не видимъ-ли мы ежедневно, что проповъдники безпристрастной истины сами иостоянно увлекаются и впадаютъ въ предразсудки, инсинуируя такъ или иначе своихъ противниковъ? Романъ Шпильгагена служитъ прекраснымъ отвътомъ на всъ эти вопросы и представляеть замёчательный въ своемъ родё счастливый исходъ поэта, раздёляющаго ложный взглядъ своихъ партизановъ на противниковъ и въ то же вреия представляющаго въ своемъ романт рядъ неопровержимыхъ истинъ. Въ этомъ заключается, повидимому, непроходимое противоржчіе; но въ этомъ то ц состоить главный фокусь романа и фокусь этоть раскроется передъ вами, если вы начнете смотръть на романъ не съ одной точки зрвнія, а съ двухъ: посмотрите на романъ съ точки зрвнія исключительно политической, вы увидите въ романъ инсинуацію прусскаго прогрессиста, направленную противъ Лассаля; инсинуація эта не есть личная выдумка Шпильгагена: она принадлежитъ всей партіи прогрессистовъ со встии ея втвями; отъ нея такъ и втетъ духомъ той борьбы, которую вель Лассаль съ прогрессистами въ последние годы своей жизни. Но отбросьте политическую точку зрвнія, забудьте, что существоваль Лассаль, и представьте себъ, что Шпильгагенъ ни о чемъ болбе не думалъ, какъ ръшить дедуктивнымъ путемъ вопросъ: что произойдетъ съ человъкомъ, если онь будеть действовать такъ, какъ действоваль герой романа Лео. И вы должны будете сознаться, что такой вопросъ рашенъ Шиильгагеномъ блистательно и съ этой точки эрвнія романь дышеть несомивниюю, глубокою истиною. Нопробуемъ-же мы посмотреть на романъ съ этихъ двухъ точекъ зрѣнія. Этимъ статья иоя естественно распадается на двъ совершенно различныя части. Въ заключение-же я накъренъ высказать нъсколько соображеній о томъ, какое раздичів имбетъ романъ Шпильгагена, романъ тенденціозный и съ очевидною инсинуаціей, отъ тенденціозныхъ романовъ нашей беллетристики, и какъ увидитъ читатель изъ немногихъ словъ, какою жалкою бъдностью мысли, какою низменною пошлостью, неряшествомъ, грязью и сирадомъ пробавляемся им въ нашей убогой жизни.

II.

Для того, чтобы вполет ясно и опредвленно уяснить читателю политическую тенденцію романа Шпильгагена, я долженъ предварительно сдёлать краткій очеркъ борьбы политическихъ партій въ Пруссіи, въ послёдніе годы жизни Лассаля, умершаго въ 1864 г.

Въ Пруссіи существують двѣ враждебныя партіи (мы здёсь не будемъ говорить о различныхъ оттёнкахъ и развътвленіяхъ партій): партія реакціонная, стремящаяся къ абсолютизму, и партія диберальнаяконституціонная. Во главѣ первой стоитъ администрація страны, —и сосредоточіе этой партін составляєть старое прусское дворянство; во главъ второй стоитъ законодательное собраніе, - и сосредоточеніе этой партіи составляєть буржуваное сословіе страны. Первая имбеть значительный перевёсь на своей сторонь, потому что опирается на прекрасно организованную, поб'єдительную армію, при помощи которой можетъ мѣнять конституціи ежедневно, дѣлать какія угодно распоряженія помимо согласія законодательнаго собранія и не ставить въ грошъ представительство страны. Конституціонная же партія не инветь за собой никакой силы. Войско не принадлежить ей; въ глазахъ народа буржувзія давно уже успула потерять то обаяніе, какое им'вла когда-то, во время оно:--- у народа явились свои особенные интересы, не только отличные отъ интересовъ средняго сословія, но и діаметрально противуположные инъ. Конституціонная партія увидёла себя на воздухів. Тогда у нея возникло естественное стремление искать опоры въ какой нибудь силь, чтобы быть въ состоянии ивряться съ правительственной партіей. Она увиділа необходимость воротить, во что бы то ни стало, доверіе народа и встать во главѣ его. - Но какъ задобрить народъ, начинающій видіть въ среднемъ сословіи своего перваго врага? Неужели нужно отказаться въ пользу народа отъ всёхъ привиллегій, всемогущества капитала и эксплоатаціи? Нельзя ли привлечь на свою сторону народъ безъ всякихъ уступокъ, съ сохраненіемъ тёхъ же самыхъ экономическихъ условій промышленности? Плодомъ такихъ измышленій явилась пропаганда Шульце-Делича. Чёмъ болёе вдумываетесь вы въ эту пропаганду, темъ более удивляеть васъ система ея, поистинъ језунтская, хотя, очень можетъ быть, Шульце-Деличь и не подозреваль, какой ісзунтизмъ скрывается въ его теоріи. Съ одной стороны, пропаганда эта имъетъ цълью подъйствовать на самолюбіе народа; она старается внушить ему, что стыдно было бы ему, народу, искать себ'в помощи извив, надѣяться на какихъ нибудь благодѣтелей и покровителей, которые, оказавши народу помощь, весьма естественно, сами могуть сдёлаться эксплоататорами и деспотами; народъ, чтобы сохранить свою гордость, назависимость и свободу, силою своей собственной. энергін долженъ улучшить свой быть, самь себъ помочь и ни на кого не надъяться, какъ только на самого себя. Эта самая помощь представляется въ видъ Шульце-Делическихъ ассоціацій; а для того, чтобы народъ могъ свободно устраивать эти ассоціаціи, очевидно, онъ долженъ стоять за сехранение конституции страны и действовать за одно съ конституціонною партією, которая такъ заботится о доставленіи народу свободы помогать самому своб. Нартія прогрессистовъ укватилась за теорію Шульце-Делича, какъ за якорь спасенія, и начала всёми силами способствовать развитію и распространенію этой теоріи въ народѣ, въ надеждѣ сдѣлаться посредствомъ нея вождемъ народа.

Все шло сначала, какъ по маслу: заводились общества потребительныя, кредитныя, инвалидныя, сырыхъ матеріаловъ; пропаганда расширялась.-Какъ вдругъ у прогрессистовъ явился цёлый рядъ новыхъ враговъ съ Лассалемъ во главѣ, —и завязалась ожесточенная борьба. — Съ неукротимою энергіею началь распутывать Лассаль всё нити этой хитросплетенной интриги. Въ своихъ политическихъ рѣчахъ, а внослѣдствіи въ цёломъ сочиненіи, онъ доказаль всю несостоятельность теорін Шульце-Лелича и невозможность посредствомъ нея улучшить бытъ народа. Съ другой стороны, въ 1862 г. онъ сказалъ двѣ рѣчи перелъ избирателями; въ первой рѣчи (Ueber Verfassungswesen), онъ показаль всю ничтожность прусской конституцін, которая существуєть только на бумагі и не имъетъ никакой силы въ дъйствительности. Доказательства свои въ этихъ рѣчахъ онъ утвердилъ на томъ основании, что повсюду въ прежнія времена и въ нынашнія-не право, написанное на бумага, было источникомъ силы, а напротивъ того, сила рождала право, и постоянно право было на сторонъ силы, а если оно не опиралось ни на какую силу, то было мертвою буквою, листомъ бумаги, - и не имъло никакого значенія въ жизни.

Ръчи Лассаля были перчаткою, брошенною въ лагерь конституціонистовъ. Тогда то посыпались инсинуаціи всякаго рода, посредствомъ которыхъ конституціоналисты старались очернить Лассаля, съ одной стороны, въ глазахъ правительства, съ другой въ глазахъ народа. Съ одной стороны, реакціонеры и ум'вренные либералы обвиняли Лассаля, какъ отчаяннаго соціалиста, коммуниста, революціонера, пропов'єдующаго разрушительныя теоріи, им'єющія цілью низвергнуть всякій порядокъ. Такого рода инсинуаціи нашептывались, конечно, въ уши администраціи и вовлекли Лассаля въ цёлый рядъ уголовныхъ процессовъ. Инсинуаціи такого рода не входять въ предметь моей статьи, потому что романъ Шпильгагена совершенно безгрѣщенъ въ нихъ. Рядомъ съ этими наговорами распукались изъ лагеря лёваго крыла прогрессистовъ инсинуаціи совершенно противуположнаго свойства. Посл'в того какъ Лассаль во второй своей речи Уаз nun-назваль прогрессистовъ малодушными лгунами, друзьями реакціонеровъ, помогающими имъ обманывать народъ, прогрессисты направили на него его же орудіе, т. е. начали распускать противъ него слухи, что онъ-то, именно, и есть приверженецъ реакціи. Его положение: "сила рождаетъ право" перетолковали такимъ образомъ, что будто онъ въ своей речи хотелъ доказать, что сила должна имъть преимущество нередъ правомъ. Въ своей брошюрѣ "Macht und Recht" Лассаль опровергаеть всё эти инсинуаціи. Онъ говорить, между прочимъ: "извъстно, что изъ Volkszeitung вышло ложное пониманіе, будто я, въ р'вчи своей о конституціи провель ту мысль, что сила должна им'єть

преимущество передъ правомъ; а многія слабыя и неразвитыя головы въ публикъ подхватили эту геніальную выдумку и, по обыкновению своему, вывели изъ нея сейчасъ же мивніе, что будто Висмаркъ мой ученикъ". Далве, въ этой брошюръ Лассаль доказываетъ, что рычь его инбетъ характеръ вовсе не этическій, а историческій, т. е. онъ не дуналь учить людей, что должно быть, а показывалъ только, что есть и было. Онъ вовсе не дупалъ проводить ту мысль, что сила должна имъть преимущество передъ правомъ, а только показывалъ, что сила всегда обусловливала собою право, и если Бисмаркъ осуществляетъ на деле это положение, то не потому, чтобы онъ извлекъ свой образъ действія изъ речи Лассаля, а напротивъ того, речь Лассаля, между прочими доказательствами своего положенія, опирается на действіяхъ Бисмарка. Всё эти объясненія не им'єли никакого в'єса въ глазахъ противниковъ. Но самымъ широкимъ поприщемъ для подорванія кредита Лассаля въ глазахъ народа и представленія его приверженцемъ правительственной власти-была теорія его, которую выставиль онъ противъ теоріи Шульце-Делича, какъ единственно способную удучшить быть народа. Въ противуположность самопомощи Шульце-Делича, Лассаль началъ доказывать въ своихъ рёчахъ передъ рабочими, что они не въ силахъ помочь себъ сами, а что единственная возможность улучшить имъ бытъ свой, -- это искать помощи извив, требовать ее отъ государства. Но не въ одной этой фраз'в заключалась теорія Лассаля. Фраза эта сама по себъ темна и неопредъленна, и можетъ быть источникомъ различныхъ толкованій. Вслёдъ за этой фразой сейчась же представляется цёлый рядъ вопросовъ: какъ можетъ помочь государство рабочему вопросу и каково должно быть государство, способное оказать действительную помощь?

Въ своихъ политическихъ рѣчахъ Лассаль такъ ясно и опредъленно ръшаетъ всъ эти вопросы, что не подаетъ и тени соинения въ его целяхъ, не подаетъ ни малейшаго повода заподоврить его въ какихъ либо заднихъ мысляхъ. Прочтите, напримъръ, его ръчь: "Объ особенной связи современнаго историческаго періода съ идеей рабочаго сословія" (переведенную на русскій языкъ въ "Совр." 1865 г.), а еще лучше "Отвътное письмо центральному комитету". Въ последненъ вы увидите систему Лассаля во всехъ ел существенныхъ пунктахъ. Отвергая теорію Шульце-Делича, взамънъ ея, онъ предлагаетъ устранвать рабочія ассоціаціи посредствомъ выпуска акцій подъ гарантіей правительства, подобно тому, какъ нравительство гарантируетъ акціи желізныхъ дорогъ. "Государство, говорить онъ, не будеть играть при этомъ никакой диктаторской роли; ему будеть принадлежать только разрешеніе и утвержденіе устава ассоціацій, и для сохраненія своихъ интересовъ, надлежащій контроль за правильнымъ веденіемъ производства! Но каково должно быть государство для того, чтобы этотъ контроль не перешель въ диктаторство со всёми возможными стёсненіями? Можеть ли быть такимъ государствомъ буржуавное представительство, при которомъ политическія права принадлежать только 33/40/0 населенія Пруссін, по вычисленіямъ Лассаля, а 961/40/о населенія лишены всякихъ политическихъ

правъ? Очевидно, что такое государство всегда будетъ гарантировать только предпріятія крупныхъ капиталистовъ, какъ оно это и дълаетъ. Построить свое зданіе на военной диктатурѣ Бисмарка не могь и думать Лассаль, потому что возможенъ-ли при этихъ условіяхъ какой либо правильный контроль безъ того, чтобы онъ не превратился въ произволъ и насиліе? Прямой и догическій выводъ изъ всей теоріи Лассаля есть тотъ, что государство, гарантирующее и контролирующее производство рабочихъ классовъ, должно быть такое, въ котороиъ вся сила должна находиться въ рукахъ самаго рабочаго класса, 4-го сословія, какъ называетъ Лассаль этотъ классъ. Лассаль, приравнивая при этомъ свою теорію къ теоріи Шульца-Делича, говоритъ, что его теорія есть таже самономощь, но эта самопомощь является здёсь не въ видё мелочныхъ и безплодныхъ кооперацій, а въ вид' колоссальной ассоціаціи рабочихъ, называемой государствомъ,ассоціаціи рабочихъ, самостоятельно самимъ себѣ помогающихъ и устраивающихъ свое благосостояніе. При какихъ условіяхъ возможно допустить вмѣшательство государства, спрашиваетъ Лассаль далъе, и отвъчаетъ на это немедленно: "Изъ всего, что я сказалъ, какъ нельзя болъе ясно стоитъ отвътъ передъ всёми вами: это возможно только при условіи всеобщей и прямой подачи голосовъ, Когда законодательное собраніе Германіи будеть исходить изъ всеобщей и прямой подачи голосовъ, тогда, и только тогда вы ножете разсчитывать, что государство будеть въ состояніи исполнить эту обязанность ". Далъе Лассаль входить въ область практической политики и задаетъ вопросъ: какъ-же достигнуть всеобщей и прямой подачи голосовъ? Для решенія этого вопроса, онъ приводить прим'єръ изъ англійской исторіи: "посмотрите на Англію, говорить онъ: болье чыть пять льть продолжалась ведикая агитація англійскаго народа противъ хлёбныхъ законовъ. И законы должны были, наконецъ, пасть, и были они уничтожены даже торійскимъ министерствомъ". Изъ этого примъра онъ выводитъ то соображеніе, что рабочее сословіе, для достиженія своихъ целей, т. е. всеобщей подачи голосовъ, должно соединиться въ одну обширную, хорошо организованную и сконцентрированную партію и не переставать агитировать до тёхъ поръ, пока желаніе рабочаго класса не будетъ исполнено; и Лассаль убъжденъ, что подобная партія будеть им'ять такую силу, что никакое сопротивление ея желаніямъ будеть невозможно. "Практическая мудрость всякаго успёха состоить въ томъ, говорить онъ въ заключение рѣчи, чтобы всѣ силы были каждую минуту устремлены къ одной точкв, къ важнъйшей точкъ-сосредоточиваться и не смотръть ни направо, ни налѣво. Не смотрите ни направо, ни налъво, и будьте глухи ко всему, что не касается всеобщей подачи голосовъ, что не имъетъ какого-либо съ нею соотношенія, иди не ведетъ къ ней". Въ этомъ заключалась вся теорія Лассаля; вся практическая деятельность его клонилась къ той цели, чтобы соединить разрозненныя силы рабочаго сословія въ одну организованную, могучую партію, которая стремилась бы къ политическому преобладанию въ государствъ подобно тому, какъ каждая партія стремится къ этому. Понятно, что, преследуя такую цель, сделавшись пре-

зидентомъ "союза рабочихъ", устроеннаго имъ согласно своей теоріи, Лассаль не только не могъ быть сообщникомъ реакціонеровъ, какъ думали радикалы, напротивъ того, реакціонеры смотрёли на него, какъ на злейшаго и опаснейшаго врага. Преследуемый цёлымъ рядомъ политически - уголовныхъ процессовъ, Лассаль въ последній годъ своей жизни видель одинъ выходъ, чтобы избёгнуть окончательной гибеди отъ преследованій со стороны администраціи, -- удалиться изъ Пруссін и поседиться въ Швейцаріи, гдв онъ и встретиль смерть на дуэли съ Раковицемъ. Казалось-бы, не ясно-ли и не вразумительно-ли свидътельствуеть каждая строчка сочиненій Лассаля, къ чему стремился этотъ человекъ, а съ другой стороны, вся жизнь и деятельность Лассаля—не показывають ли столь-же ясно, какъ энергично и последовательно онъ старался приводить въ исполнение свою теорію, безъ мальйшихъ отступленій отъ нея въ какую-либо сторону. Но такова была узкость взглядовъ враговъ прогрессивной партіи, что они не переставали заподозривать его въ сообщничеств съ реакціонерами до самой его смерти. Имъ постоянно казалось, что, проповедуя вившательство государства въ решение вопроса о рабочемъ классѣ, Лассаль подъ государствомъ разумбеть ничто иное, какъ современное ему полуфеодальное, полубуржуваное прусское королевство съ Висмаркомъ во главъ, и что будто Лассаль мечтаетъ рашать рабочій вопрось посредствомь диктатуры Бисмарка, и прусскіе прогрессисты съ ослинымъ упрямствомъ стояли на этомъ подозрѣніи. Страннѣе всего то, что къ дагерю прогрессистовъ принадлежитъ много людей образованныхъ, съ общирными знаніями и неутоминымъ умомъ: - только крайнимъ партійнымъ увлечениемъ можно объяснить странное осленленіе подобныхъ людей, которые читали брошюры Лассаля и не понимали ихъ, присутствовали на его процессахъ и все-таки продолжали твердить свое. Впрочемъ, самые умнъйшіе изъ прогрессистовъ были, повидимому, чужды подобныхъ подозрѣній; они понимали теорію Лассаля и возражали ему следующимъ образомъ: всеобщая подача голосовъ, говорили они, при низкомъ уровит образованія въ массахъ, ни къ чему не можетъ повести, какъ къ анархіи, которая должна кончиться ничёмъ инымъ, какъ военною диктатурою, вродѣ Наполеоновской. Поэтому, продолжали они, всеобщая подача голосовъ есть ненужный обходъ, а для болъе скоръйшаго и прямаго пути Лассаля прямо следуеть начать съ военной диктатуры. Масса прогрессистовъ подхватывала эти слова и неретолковывала ихъ по своему, предполагая, что Лассаль и дъйствительно не прочь отъ ръшенія рабочаго вопроса посредствомъ военной диктатуры. Къ этому присоединилось еще одно обстоятельство, которое еще болъе утвердило прогрессистовъ умъренной и радикальной партій въ ихъ предположеніи. Борьба, кото-рую вели прогрессисты съ Лассалемъ, не могла не произвести сильнаго впечатленія на министерство. Правительство познало, что здёсь дёло идеть о колоссальной силь, которую прогрессисты котять взять въ свои руки для борьбы съ министерствомъ, а Лассаль хочеть эту силу организовать самостоятельно и направить ее и на прогрессистовъ, и на министерство.

Самымъ простымъ и практическимъ разсчетомъ Бисмарка было встать самому во главъ этой силы, объявить себя другомъ рабочихъ и провести нъсколько ничтожныхъ законовъ въ пользу рабочаго сословія, которые, въ сущности, положенія рабочаго сословія нисколько не изивнили-бы, но могли-бы остановить на время движение и надолго успоконть умы рабочихъ. Для этой политики Бисмарку вовсе не нужно было прибътать къ теоріи Лассадя, къ его сочиненіямъ или личнымъ совътамъ. Передъ его глазами былъ совътчикъ, который успёль уже блистательнымъ образомъ на практикъ осуществить эту политику, и притомъ совътчикъ, къ которому Бисмаркъ питалъ, по всей въроятности, болъе уваженія, чэмъ къ какому-то темному жиду, уличному агитатору. Этотъ совътчикъ быль Наполеонь III, императорь блузниковь, успокоивавшій ихъ умы доставленіемъ имъ общественныхъ работъ вродъ передълки Парижа или періодическими войнами. Очевидно, что если Бисмаркъ вздумалъ вступить въ союзъ съ рабочинъ вопросомъ, то ужь никакъ не Лассалю онъ этимъ обязанъ, а именно тому, съ кого стараются брать примеръ многія правительства Европы. Но прусскіе прогрессисты твердо стояли на томъ, что Висмаркъ дъйствуетъ по внушеніямъ Лассаля и что лассалевскій принципъ вившательства государства и вибшательство Висмарка въ рабочій вопросъ — двѣ вещи тождественныя. Теперь мы посмотримъ, какъ Шпильгагенъ провелъ въ своемъ роман'в эту политическую инсинуацію прогрессистовъ, съ цёлію показать несостоятельность лассалевскаго принципа вмёшательства государства.

Ш

Судя по характеру и основной мысли романа, Шпильгагенъ принадлежить къ лѣвой партіи прусскихъ прогрессистовъ; онъ вовсе не раздѣляетъ съ умъренными прогрессистами ихъ буржуазнато міровозэрвнія, выражающагося въ пресловутой фразв: laissez faire, laissez passer, не сочувствуеть темъ постыднымъ сдёлкамъ и компромиссамъ, въ которые умъренные прогрессисты постоянно входять съ реакціонерами; онъ понимаеть очень хорошо, что будущее принадлежить рабочинь нассамь, народу, но въ то же время раздёляеть со всёми прогрессистами предубъждение противъ Лассаля. Основная мысль романа, на которую намекаетъ самое заглавіе его-Іп Reih'und Glied (въ ряды, въ шеренги), вполнѣ ясно и опредёленно выражена въ следующей тираде одного изъ героевъ романа-Вальтера:

«Если мени не обманивають всё знаменія нынёшниго времени, прошма з лоха героизма, прошма та пора, когда герои одни подвивались на аренё въ своихъ бранныхъ колесницахъ, а сзади нихъ бездёйственно твенилась и кричала пустоголовая, безсердечная тохпал. Очевидно, трудно избранной натурѣ гнулься подъвсеобщій законъ или отступать передъ ошибкою, потому она одна сосредоточиваеть въ себѣ все. Но это заблужденіе. Браннымъ крикомъ наибшинато времени не есть уже фраза «одинъ для всёхъ», но наоборотъ, «всѣ для одного». Эта великая демократическая мысль родилась, конечно, вмѣстѣ съ человъчествомъ, но рервое справедливое освъщеніе она получила во времена христіанства; потомъ она снова, повидимому, умериа, и въ нынѣшнее время

воскресла изъ пепла среднихъ въковъ, обновленная, какъ фениксъ, для того, чтобы болъе никогда не умирать. Да и какъ-бы могло исчезнуть то, что живеть во многихъ головахъ и сердцахъ, что многіе воспринимають сь молокомъ матери. Поверь мнъ, Лео, что разъ произнесены слова любви въ человъчеству страждущему и униженному, отдъльний человъкъ долженъ быть освобожденъ, вслъдствіе этого кроткаго закона, отъ своего страданія, оть своего бремени. Никто не должень гнуться подъ бременемъ креста, никакой Децій Мусь не долженъ метать копья далеко въ непріятеля и, пресавдуя смълую цъль, находить геройскую смерть. Нъть, нъть, Лео, и еще разъ нътъ! Мы внаемъ теперь, что во всъхъ странахъ есть хорошіе люди и эти хорошіе люди составляють одну великую армію; отдельный человекь теперь ничего более, какъ солдать въ шеренгъ. Держаться вправо или влъво, маршировать въ такть, а когда скомандують въ аттаку, кричать ура полною грудью и бросаться на непріятеля, въ этомъ заключается его честь, потому что въ этомъ его сила. Какъ отдёльный чедовъкъ, онъ ничто, какъ членъ общаго, онъ непобъдимъ; отдъльнаго человъка пуля повергаетъ въ прахъ, но шеренга смыкается надъ нимъ и колонна все та же, что и была. Обрати, Лео, внимание на то, что сила дисциплины заключается въ томъ, что никто, кто-бы онъ ни быль, не имъетъ права отдъляться; ибо, какъ-бы кто ни быль силень, въ шеренгъ и рядахъ онъ еще сильнъе, и будь онъ слабъ, онъ, все-таки, восполняеть собою мъсто въ ряду».

Высказывая эту мысль въ словахъ одного изъ героевъ романа, Шпильгагенъ развиваетъ ее во всемъ романъ-въ судьбъ главнаго героя романа Лео Гутмана, въ которомъ изъ подъ сына бѣднаго тухгейискаго крестьянина ясно просвъчиваетъ героическая, геніальная, страстная и эффектная личность Лассаля. Лео получилъ первоначальное воспитание въ имънім тухгеймскаго барона, у пастора Урбана, вийсти съ своимъ двоюроднымъ братомъ Вальтеромъ, сыномъ лъсничаго Гутмана, и Генри, сыномъ барона. Успъвши ожесточиться въ самыхъ раннихъ летахъ подъ гнетомъ нужды и побоевъ нищаго отца, оставшись послъ него сиротою, Лео не сощелся съ мягкодушными, тепленькими своими родственниками, дядею, теткою и двоюроднымъ братомъ Вальтеромъ; онъ чуждался и превираль ихъ въ душв, а съ кузиною Сильвіей соперничалъ и ссорился. Сосредоточенный въ себъ, вѣчно угрюмый и молчаливый, мальчикъ проникся тёмъ редигіознымъ энтузіазмомъ, который переживають въ своемъ дётстве всё сильные люди, выходящіе изъ народа. Этотъ религіозный энтузіазиъ разрішился мучительнымъ скептицизиомъ, въ чемъ очень помогь мальчику насторъ Урбанъ со своимъ циническимъ отношениемъ къ религи, видящий въ ней, по обыкновенію, ничего болье, какъ узду для необразованнаго народа и выгодное для себя средство къ возвышенію. Изъ этого скептицизма вывель Лео учитель естественныхъ наукъ при докторъ Урбанъ-Туски. Въ лицъ Туски изображена личность сильная, энергическая, ожесточенная, фанатически преследующая свою цёль, -- освобождение народа изъ нодъ феодальнаго и буржуазнаго ига. Для достиженія своей цёли Туски не видитъ никакого инаго средства, какъ постоянное возбуждение народа къ возстанию и насильственному перевороту. Это типъ западнаго революціонера 1848 года. Производя во время общаго революціоннаго движенія страны возстаніе тухгейнскихъ крестьянъ противъ барона, онъ увлекаетъ Лео на свою дорогу и потокъ, когда возстаніе было подавлено, бъжить съ нимъ изъ отечества. Проходить послѣ того иного лътъ. Порядокъ страны изивняется; иъсто феодальнаго духа заменяеть буржуазный. Тухгеймскій баронъ не живеть уже въ своемъ имѣніи, среди своихъ вассаловъ, онъ переселяется съ семействомъ въ столицу, вступаетъ въ родственный и провышленный союзъ съ богатымъ банкиромъ евреемъ фонъ-Зонненштейномъ; банкиръ строитъ въ его имъніяхъ фабрики и предаетъ тухгеймскихъ поселянъ всей тяжести новой промышленной эксплуатаціи. Сынъ тухгеймскаго лесничаго, Вальтеръ, делается либеральнымъ педагогомъ, писателемъ либеральныхъ романовъ и сентиментальнымъ вздыхателемъ баронессы Амеліи, дочери тухгеймскаго барона. Тогда на сцену выступаетъ снова Лео. Но это уже не тотъ мрачный, дикій, сосредоточенный мальчикъ, исполненный озлобленія и энтузіазна, какимъ является Лео въ первыхъ книгахъ романа. Года страннической жизни въ рядахъ партіи Туски, а съ другой стороны года усидчивыхъ ученыхъ занятій—развили богатыя способности Лео, и вотъ является передъ вами молодой человъкъ, блестящій умонъ, знаніями, краснорьчіемъ, усвоившій въ то же время вполнѣ свѣтскій лоскъ, чарующій и привлекающій къ себѣ все окружающее. Разочаровавшись въ неорганизованномъ, дикомъ и безплодномъ агитаторствъ Туски, Лео является въ столицу, чтобы действовать инымъ путемъ, организовать силу, которую онъ могъ-бы направить къ осуществленію цёли, составлявшей всю сущность его жизни, къ удучшенію быта рабочаго сословія. Такимъ образомъ онъ выдёляется изъ рядовъ своей партіи и предпринимаетъ гигантскій подвигь, думая одинъ на своей шет вынести рабочій вопросъ. Мы видимъ уже изъ вышеприведенной тирады, какъ отнесся къ такону предпріятію юный другь Лассаля, Вальтеръ. Такого-же рода предостережение сделаль Лео и Туски въ своемъ письмѣ, которое мы выписываемъ:

«Если бы кто другой отважился на это, закричали бы тотчась объ измёнё. Ты больше смёешь, потому ом готчась об вальна. Та объем объем почась об валься. То объем слово: подумай, обсуди еще разъ, что ты дълаешь? Ты утверждаешь, что мы съ нашими неорганизован-ными силами не можемъ сойти съ мѣста, что ты увлечешь впередъ дисциплинированную массу, какою представляется либеральная партія нашей страны, какъ бы ни была она тяжеловъсна и узколоба; что следуеть сделать, по крайней мёре, попытку, нельзя ли эту силу привести въ движение, вдохнуть въ нее духъ и втянуть ее въ коалицію съ рабочимъ класдукь и внаную се в комписа с ресомъ. Для этой цели, очевидно, необходимо, чтобы ты самъ превратился на времи въ буржув, потому что они стануть слушать только человъка, стоящаго въ одномъ съ ними ранга:-- дайствительно или повидимому, но къ каждому другому человъку они по-чувствуютъ заранъе предубъждене. Таковъ или поч-ти таковъ твой планъ. Прекрасный планъ, если бы онъ былъ исполнимъ! Но исполнимъ ли онъ? Я скажу нътъ и тасячу разъ нътъ. Съ такими людьми мы не покоримъ Ханаана, въ который стремимся. Они должны погибнуть въ пустынъ. И никто не можеть отвратить ихь судьбы, даже хота бы и ты, въ этомъ убедищься, а можеть быть уже и убедимся.

«Все это, такимъ образомъ, могло бы быть въ дучшемъ случаъ нитимъ инымъ, какъ неудачнимъ опытомъ, хотя, во всикомъ случаъ, жалко было би драгоценнаго времени, потеряннаго на этотъ неудат-

ный опыть.

«Но если люди разъ приступають къ опытамъ, не легко имъ отстать. И тебь это можеть обойтись не однимъ опитомъ. Развѣ не можеть прійпти тебѣ въ голову,—не сердись, Лео, и выслушай хладновровно, —едёлать новый опыть надъ королевскою властью? Этоть опыть быль бы не хуже перваго, если бы не быль опасите. Онъ будеть продолжаться дожте перваго, потому что ты найдешь здёсь то, что ты постоянно предпочитаешь всему—силу, которую ты по-желаешь направить къ твоей цъли. Изь этого заблужденія тоже можно возвратиться, но какъ далекъ, какъ далекъ будеть въ этомъ случав обходъ! Оставайся же на прямой дорогь, Лео! на той до-рогь, по которой ступали твои ноги въ ту ночь, когда мы повернулись спинами къ нашей родинъ, а пламя нашихъ домовъ освъщало свади тропу, по которой мы должны были идти! Между нами и ими нътъ никакого союза! Мы должны быть самимъ собою или мы ничто. Наша сила лежить въ полномъ отречении отъ всъхъ предразсудковъ, которые связывають людей въ мыслихъ и дълахъ. Въ этомъ за-ключается архимедова твердая точка, утвердивнись въ которой мы можемъ перевернуть весь міръ. Лео, Лео, не лишай себя этой въры! Но чего я хочу однако! Куда влечеть меня моя забота о тебъ? Можеть быть ты въ эту минуту смъещься надо мной! Смъйся, я этого, конечно, заслужиль».

. Въ этомъ письмѣ вы видите ту-же мысль, которая выражена въ тирадъ Вальтера, и, въ тоже вреия, въ немъ заключается довольно ясный намекъ на Лассаля съ его теорією силы, какъ необходимаго источника всякаго дъйствія и права. Подобно тому, какъ Лассаль сначала хотёль дёйствовать виёстё съ либеральной партіей и во главѣ ея, а потомъ у него пронзошель съ нею разрывъ, такъ и Лео сначала стремился действовать на либераловъ. Либералы намеревались вступить въ союзъ съ молодымъ принцемъ, будущимъ королемъ, предполагая найти въ немъ приверженца ихъ стремленій; но Лео удалось перехватить нисьмо принца, въ которомъ последній смеялся надъ либералами и высказывалъ совершенно иныя стремленія. Лео напечаталь это письмо, думая этимъ отвратить либераловъ отъ принца и побудить ихъ, въ виду предстоящей реакціи, заключить союзъ съ рабочими. Но это ему не удалось; либералы остались со своими громкими либеральными фразами, радужными надеждами на мирный прогресъ подъ свнію феодализма и съ своими симпатіями болбе къ верхамъ, чёмъ къ низамъ. Тогда Лео, отчаявшись въ либерадахъ, обратился къ своей второй попыткѣ, о которой предсказываль ему Туски-къ попыткъ ръшить рабочій вопросъ посредствомъ королевской власти, пріобрѣтя личное вліяніе на кородя. Съ этой половины романа и начинается та инсинуація на личность Лассаля, о которой ны говорили выше. Передъ депутаціею рабочихъ, пришедшею изъ Тухгейма жаловаться на притъснения Зонненштейна, Лео высказалъ впервые ту мысль, что единственную помощь могутъ рабочіе ожидать только отъ королевской власти, что королевская власть, очевидно, должна искать опоры и союза въ рабочихъ классахъ, такъ какъ и у королевской власти, и у рабочихъ, одинъ общій врагъ-среднее сословіе. Уб'єждая рабочихъ искать опоры въ королевской

власти, Лео въ то же время добился аудіенціи у короля посредствомъ старой сводни, тетушки Сарры, и красоты своей кузины Сильвіи, увлеченной Лео къ его цёли и действовавшей за одно съ нинъ. Въ аудіенціяхъ передъ королемъ Лео началъ развивать ту-же мысль, что и передъ рабочими, -т. е., что народъ съ самой отдаленной глубины среднихъ въковъ и до нынешняго времени не переставаль видеть въ короляхъ, дарованныхъ небомъ, естественныхъ защитниковъ своихъ, и король, если онъ хочетъ исполнить свое призваніе, оправдать упованіе народа и быть великимъ королемъ, долженъ сдёлаться дёйствительнымъ другомъ рабочихъ и улучшить ихъ участь. Какое же впечатление производили эти речи на короля? "Король остался очень доволенъ последнею фразою, говорить въ одномъ мѣстѣ своего романа Шпильгагенъ: ему нравился разговоръ болье всего тыть, что съ объихъ сторонъ была одинаковая довкость й находчивость взаимныхъ возражений; онъ сравниваль эту бесёду съ дуэтомъ на віолончеляхъ, который наканунь онъ слушаль въ замкъ королевы, и ждаль съ любопытствомъ, что отвътить ему Лео". А въ другомъ мѣстѣ, въ саную рѣщительную минуту, когда Лео предложилъ королю распустить министерство, составить новое, по его указанію, и начать действовать радикально, когда Лео приведъ кородя въ энтузіазиъ и король объщался ему передъ началомъ великато дъла три дня никого не видеть и поститься, -едва Лео вышель за дверь, какъ произошла следующая спена:

«Король тотчась же пересталь плакать. Глаза его устремались на дверь, изъ которой вышель Лео. «Это великій человікть, прошенталь онь, но оть великаго до смівшнаго оддить шагь». Онъ снова бросимси вы кресло. «Я долженть баль би отказаться также оть хорошенькой дівушки; она была вчера прекрасиве, чімь когда бы то ни было, хота была очень блібдна. Она несчастна, —несчастна черезь него. Кто же можеть сділать ее счастливом?...» По лицу короля быстре пробіжала краска. Онь смотрійль внизь такъ пристально, что глаза его выступили изъ орбить. Черты лица его пренсполнились грустью. Потомъ онъ вдругь вадрогнуль, вий себа удариль по ручкамь кресель обінми руками и вскочиль. Доротея хочеть видібть ее, хочеть знать, какова она. Она все еще думаеть, что я пренебрегам ею ради другой!... А еще туть это! Это невозможно, невозможом! Онь

сильно позвониль.

— Когда министрь Гей придеть, тотчасъ же приведите его ко мнъ. Тотчасъ же, слышите?»

Здёсь ны подходимъ къ ахиллесовой пятке ронана: Шпильгагенъ выставляетъ своего героя повсюду человакомы геніальной проницательности, глубокимы знатоковъ человъческаго сердца, — какъ-же этотъ человъкъ не могь понять и разгадать, какое впечататьніе производять на короля его річи, какъ смотрить на него король и можно-ли что нибудь сдёлать посредствомъ него? А съ другой стороны, какъ-же это Лео, какъ порядочный медикъ, не обратилъ вниманія, что здоровье короля разстроено до последней крайности, что не сегодня завтра онъ можетъ погибнуть отъ своей бользии, а послъ него вступить на престоль принцъ, заклятый врагъ Лео послѣ обнародованія последнимъ его письма? Какъ согласить все эти противорвчія? — геніальный чародви производить на всёхъ неотразимое обаяніе, человёкъ съ общирными знаніями взвышиваеть судьбы міра съ мудростью

глубокомысленнаго и дальнозоркаго политика и, въ то же время, действуеть съ опрометчивостью мальчика? Человъкъ, предпринявшій колосальное дѣло, очень хорошо знаетъ, что это дело вековъ, что онъ кладетъ ему только фундаментъ и вдругъ этотъ фундаментъ является въ видъ больного короля, смотрящаго въ могилу. Вотъ до чего можетъ дописаться романисть, если онъ виъсто того, чтобы изображать дъйствительность, какъ она есть, искажаетъ ее и выдумываеть подъ вліяніемъ духа партій. Чёмъ далёе читаете вы, темъ глупее и глупее представляется вамъ тотъ-же самый Лео, который въ первой части романа рисуется передъ вами человъкомъ геніальнаго ума. — Шиильгагенъ забываеть, что если великіе умы заблуждаются и дёлають промахи, доводящіе ихъ неръдко до гибели, то промахи и ошибки эти, все-таки, бывають запечатлены такою печатью генія, что человъчеству гораздо легче бываеть сойти съ върнаго пути, начертаннаго геніемъ, чёмъ сознать ошибки его и избавиться отъ нихъ. Лео же действуеть съ такою непроходимою и очевидною глупостью и опрометчивостью ребенка, что подъ конецъ романа васъ на каждой страницѣ разбираетъ хохотъ; вы могли-бы, пожалуй, помириться съ этимъ хохотомъ, если-бы передъ вами была каррикатура, исполненная неподдёльнаго юмора, какимъ, напримъръ, обладаетъ Диккенсъ, а то нътъ: юмору нътъ у Шпильгагена ни капли, и не каррикатурою думаеть онь позабавить вась; а напротивъ того, онъ входить въ трагическій пафосъ и старается изобразить передъ вами генія, идущаго по ложной дорогъ, титана погибающаго подъ обложками своего дела; выходить - же у него шуть, - который начинаетъ свое дело темъ, что на королевскія деньги покупаетъ фабрику у Зонненштейна и заводить ассоціацію рабочихъ. Нужно-ли говорить, что заведеніе подобной ассоціаціи Лео не можеть быть даже названо пародіей на д'ятельность Лассаля, потому что діаметрально противоръчить всей его дъятельности: Лассаль не только не заводилъ никакихъ подобныхъ ассоціацій, напротивъ того, онъ только и дёлаль, что доказываль невозможность существованія ихъ среди буржуазнаго государства, полную безполезность всякихъ отдельныхъ попытокъ въ такомъ роде, потому что отдёльная ассоціація не въ силахъ выдержать никакой конкурренціи съ буржуазією, на сторон'в которой въ Пруссіи и капиталы, и сила, и законы, и власть; на этомъ то, именно, основании и полагалъ Лассаль, что рабочій вопрось не можеть быть рішенъ иначе, какъ путемъ всеобщей реформы, законодательнымъ порядкомъ. Это, именно, и подразумъвалъ Лассаль подъ вибшательствомъ государства, а вовсе не заведеніе отдёльныхъ ассоціацій на королевскія деньги, какъ это производить въ романъ Шпильгагена Лео. Но этого еще мало, что Лео глупить такимъ невообразимымъ образомъ; когда ассоціація тухгеймскихъ рабочихъ естественно падаетъ, не въ силахъ будучи выдержать конкурренцію, рабочіе ссорятся между собою, Лео доходить до такого крайняго умопомраченія, что возлагаеть діло соціализма уже не на руки короля, а на руки ростовщика, т. е. закладываетъ ростовщику виллу, подаренную ему королемъ, и на последніе гроши думаеть возстановить дело соціализма. Какъ еще не пришло ему въ голову заложить ростовщику самую фабрику со всёми ся рабочими? Да этого мало еще, что онъ думаетъ возстановить падающую фабрику ничтожною суммою, вырученною изъ залога виллы: изъ этой суммы значительную долю онъ выдёляеть и даеть въ долгъ придворному генералу, на дочери котораго онъ желаетъ жениться для пріобрътенія въсу въ высшихъ сферахъ, и чтобы у него въ домъ была великосвътская хозяйка, умъющая принять гостей; такимъ образомъ, на долю рабочихъ остается малость. Когда, наконецъ, все дёло, построенное на такихъ соломенныхъ основаніяхъ, лопается, --- король умираеть, рабочіе возмущаются и сожигають фабрику, Лео окончательно падаеть духомъ, бормочетъ безсвязныя фразы байроновскаго разочарованія, рветь волосы на своей голов'я передъ трупомъ Сильвіи, утонувшей въ ручье, и умираетъ на

дуэли съ Фердинандомъ Либрехтомъ.

Съ нравственной точки зрвнія въ лиць Лео представляется намъ одинъ изъ тёхъ величественныхъ героевъ трагедій, которые, стремясь къ какой нибудь великой цёли, жертвують въ пользу своихъ стремленій всёми своими отношеніями, привязанностями и чувствами. Лео смёнися надъ людьми, которые съ своими общественными страстями могли соединять узенькія семейныя влеченія и міряли его поступки на аршинъ пошленькой мъщанской морали. Онъ пренебрегъ всеми своими привязанностями къ роднымъ, къ друзьямъ; самою любовью своею къ Сильвіи пожертвоваль въ пользу своего дела. Но, когда это дело оказалось вдругъ одною колоссальною ошибкою, тогда въ разочарованіи и отчаяніи, измученный, обезсиленный, онъ почувствовалъ въ себъ реакцію, выразившуюся въ сознани цены всехъ техъ личныхъ привязанностей, которыми онъ пренебрегъ; но было уже поздно, --- и, какъ будто въ возмездіе за прежнее пренебреженіе, судьба приготовила измученному жизненною борьбою титану отдыхъ на холодной груди утопленницы. Во всемъ этомъ вы видите много глубокой правды: действительно, жизнь наша устроена такъ, что наши общественныя страсти стоятъ въ постоянномъ антагонизм' съ семейными, и намъ часто приходится выбирать между тёми и другими, виёсто того, чтобы согласовать ихъ въ общей гармоніи; --- но, къ величай-шему сожальнію, своя рубашка ближе къ тьлу, и потому выборъ чаще склоняется къ страстямъ семейнымъ, чёмъ къ общественнымъ; потому въ дёйствительности гораздо чаще ны можемъ встрътить драмы, совершенно противуположнаго свойства. Это мы можемъ примънить и къ Лассалю. Смерть Лассаля была, поистинъ, трагическая; но если ны начнемъ разсматривать судьбу Лассаля по отношенію къ его смерти, ны увидинь, что эдёсь совершилась трагедія, діаметрально противуположнаго характера относительно трагедін романа Шпильгагена. Дібло въ томъ, что Лассаль представляется далеко не такимъ романтическимъ героемъ, какимъ является Лео. Онъ могъ каваться прогрессистамь-челов жомъ, выдёлившимся изъ всёхъ партій и взваливщикъ на свои плечи всю тяжесть рабочаго вопроса. Но, на самомъ деле, онъ и не думалъ разыгрывать роль титана, мечтающаго совершить гигантскій подвигь-одинь, безъ содій-

ствія другихъ. Напротивъ того, онъ не только иналь друзей и единомышленниковъ, но вся дъятельность его только въ томъ и состояла, чтобъ этихъ единонышленниковъ было какъ можно больше. Если бы Вальтеръ вышелъ изъ рамокъ романа и пропълъ Лассалю вышеприведенную тираду, Лассаль не сталъ бы и возражать на нее: конечно, сказаль бы онъ, -- любезный другъ, единодушное дъйствіе партіи сильнье дъйствія отдельной личности, какъ бы ни была эта личность геніальна и сильна. Здёсь дёйствуеть простой законъ ассоціаціи силь и ничего новаго ты мнѣ не сказаль. О чемъ же я и хлопочу, какъ не о томъ, чтобы мои единомышленники не были ничтожною, безсильною горстью, какою они являются во всёхъ странахъ, чтобы, напротивъ того, они составляли обширную партію, которая заключала бы въ своихъ рядахъ все рабочее сословіе и была бы, поэтому, сильнъе всёхъ другихъ партій въ государстве? Такова была дъятельность Лассаля, и Лассаль до самой смерти своей продолжаль ее съ успъхонь, нисколько не думая падать духомъ, разочаровываться и умирать титаномъ, подавленнымъ обломками своего дъла.

Но если съ умственной стороны Лео не выдерживаеть ни малъйшаго сравненія съ Лассалемъ, то съ нравственной стороны, наоборотъ, Лассаль не выдерживаетъ сравненія съ Лео. Въ то время, какъ у Лео всё силы души были направлены къ одной цёли, въ то время какъ онъ отказывался ради этой цёли отъ всёхъ личныхъ благъ, — и если окружалъ себя блескомъ и комфортомъ, то дёлалъ это не изъ личной прихоти, а для той-же цёли, потому что иначе ему нельзя было действовать въ высшихъ сферахъ, — у Лассаля не только не было и следа подобнаго ригоризма, напротивъ того, онъ допускалъ въ своей жизни многое, отъ чего ему не мѣшало-бы воздержаться. Лассаль любиль окружать себя блесковъ и комфортомъ вовсе не съ предвзятою цёлью; блескъ и комфорть, напротивь того, мешали его действительной цвли, потому что отталкивали отъ него многихъ рабочихъ, а враги его пользовались этимъ и нарочно старались выставлять его демагогомъ въ лайковыхъ перчаткахъ, филистеромъ, который плачеть о нищетъ и страданіяхъ народа, а самъ встъ на серебрв и знается съ графинями, брезгая тъми людьми, передъ которыми онъ говорить свои блестящія річи. Любовь къ блеску была въ Лассалъ привычкою, вынесенною съ дътства; ему вовсе не нужно было "казаться" буржуа: сынъ зажиточнаго еврейскаго купца, пламенный энтузіасть, другь рабочихь, постоянно боролся въ немъ съ иными привычками. Любя блескъ и роскопи, онъ любилъ пустыя свътскія удовольствія, былъ волокита и Донъ-Жуанъ, и ему не хватало на расходы 5,000 таллеровъ въ годъ. Эта легкая нравственность и свернула Лассаля съ его великаго пути, приведя его къ преждевременной смерти, глупой и безсиысленной для такого великаго дёятеля какъ Лассаль. Онъ увлекся дочерью нѣмецкаго историка Деллингеса и не только не думаль жертвовать своею страстію ради великой цели, а, напротивъ того, встретивъ сопротивленіе со стороны отца воздюбленной, не хотъвшаго и думать о брак' дочери съ опальнымъ агитаторомъ и евреемъ, — Лассаль, для удовлетворенія своей страсти, быль готовъ на все: готовъ быль перейти изъ еврейской вёры въ католическую, готовъ былъ похитить барышню и бъжать съ нею въ Италію, бросивши, такимъ образомъ, совсвиъ свою прежнюю двятельность. Когда-же барышня внезапно изм'внила ему и написала ему письмо, что она болже не любить его, а предпочитаетъ ему венгерскаго дворянина Раковица, - Лассаль исполнился такого озлобленія, что написаль оскорбительныя письма своей возлюбленной и ея отцу, быль за эти письма вызвань на дуэль Раковицемъ и, не терпя прежде дуэлей, смёлсь надъ ними, съ радостью принялъ вызовъ Раковица. Такимъ образонъ, смерть Лассаля происходила отъ того рековаго разлада убъжденій и привычекъ, какой им часто встречаемь въ жизни. Очень часто такой разладъ, путемъ медленнаго, незамътнаго процесса, превращаеть человака изъ героя прогресса въ пошлаго чиновника или гаситедя; но случается, что у людей съ глубокимъ умомъ и сильнымъ характеромъ онъ разръшается одникъ разрушительнымъ взрывомъ, какоюнибудь трагическою катастрофою. Біографъ Лассаля— Бернгардтъ Беккеръ, — совершенно справедливо говорить на 20 стр. своей книги (Enthüllungen über das tragische Lebensende Ferdinand Lassale's. 1868 r.).

«Если-бы Лассаль быль демократь, въ нолномъ смысть этого слова, и если-бы онъ свои привычки, свой нравъ, согласоваль съ тою демократическою нравственностью, которая оправдываеть и утверждаеть въ практической жизни демократическія убъжденія, тогда онъ не нашель-бы себ'є смерти на дуэли изъ-за любовной интриги во время увеселительной побздви въ Швейцарию», а на стр. 124, Беккерь выражается на этотъ счеть еще опредъительные: «если-бы онь не вертълся постоянно въ кругу женщинь аристократического и буржуваного класса, если-бы онъ хоть немного умъриль свое кичливое отвращение отъ дввушекъ простаго класса, и если ему нужно было жениться женился бы на дочери работника, то было-бы другое дело. По всей въроятности, онъ жилъ-бы до сего дня. Но онъ сеединяль аристократическія привычки съ демократическими убъжденіями, и внутреннее противорьчіе повлекло его къ гибели. Хотя въ последнее время и искаль онъ разрыва съ графинею Гатцфельдъ, но ему снова приспичило увлечься знатною особою и она провела его, какъ дурака».

Я не помню, читаль или слышаль я оть кого-то совершенно подобный-же отзывь о нашень поэтъ Пушкинъ: "если-бы Пушкинъ не розошелся со своими скромными и честными литературными друзьями и не увлекся въ міръ, чуждый ему, — онъ не нашель-бы тамъ преждевременной, безсмысленной смерти". Драмы подобнаго рода до такой степени часты, что, можно сказать, онв составляють всеобщее явление жизни всёхъ обществъ и каждаго человека въ отдельности: ръдко кто въ жизни своей не испытывалъ подобнаго рода разлада и борьбы изъ-за него... Додунывается до гуманныхъ убъжденій человькъ изъ вліятельныхъ классовъ-убъжденія эти становятся у него въ разладъ или съ изнъженностью, распущенностью, или съ необузданнымъ высокомъріемъ, вынесеннымъ имъ изъ своей среды; додумывается до тёхь-же убёжденій человъкъ изъ народа-и вотъ широкій полетъ его "независимыхъ мыслей становится въ рѣзкій контрастъ съ тою загнанностью и пришибленностью, какія онъ всосаль въ себя съ молокомъ матери. Подобнаго рода разладъ мы видимъ не только въ жизни мелкихъ и обыкновенныхъ людей: у геніальныхъ людей онъ встрвчается еще чаще и резче, потому что геніальные люди воспитываются подъ вліяніемъ техъ-же обстоятельствъ, какъ и мелкіе люди, а въ то-же время они воспріимчив в ко всемъ впечатленіямъ, привычки ихъ глубже и упориве-и страсти сильнве. Шпильгагенъ выразилъ-бы свою мысль о необходимости человъку оставаться въ средъ, согласной съ его убъжденіями, гораздо реальнёе и глубже, если-бы онъ изобразилъ намъ настоящаго Лассаля, въ его жизненномъ разладъ. Но онъ сдълалъ два промаха: съ одной стороны онъ инсинуировалъ дъятельность и цъль Лассаля, представивши ихъ въ нелъпъйшемъ видъ; съ другой онъ идеализироваль Лассаля, какъ нравственную личность; онъ нарисоваль одного изъ тёхъ романтическихъ идеальныхъ героевъ, которыхъ въ жизни встрвчается мало, очень мало; подобные герон не могуть служить мёриломъ нравственной оцёнки людей, нотому что предметы маряются марами не большими, а меньшими, сравнительно съ ихъ длиною; комнаты не ифриются верстами, а саженями; сапоги ваши не мъряются саженями, а вершками. Потому и пала романтическая поэзія, что она, вивсто того, чтобы анализировать жизнь такъ, какъ она есть, во всей сложной борьбѣ многихъ элементовъ ея, - постоянно выдёляла нёкоторые изъ элепентовъ, возводила ихъ въ идеалъ-и заставляда людей любоваться этими идеалами. Съ техъ поръ, какъ люди дошли до того убежденія, что въ жизни невозможно существованіе отдъльныхъ элементовъ; что великіе люди наравнъ съ малыми подвергаются тому-же самому жизненному процессу, со всёми его дрязгами, и вмёстё съ тёмъ люди увидели, что анализъ этого процесса, со всею его вонью и грязью, гораздо поучительнее, чемъ безплодное созерцание идеальныхъ дичностей, поставленныхъ на пьедесталы, омытыхъ, очищенныхъ отъ жизненной гризи и окуренныхъ финіанами, -- съ тъхъ поръ существованіе романтической поэзім слідлялось немыслимо. Но въ Германіи романтизмъ до такой степени въблся въ нравы людей, что даже романъ Шпильгагена, реальнъйшій изъ всьхъ германскихъ произведеній, не

Но при всемъ томъ, въ роман'в Шпильгагена много поучительнаго, и мы для того собственно и начали съ слабыхъ сторонъ романа, чтобы очистить пшеницу отъ плевель! Сдълавши эту операцію, въ следующей глав'в мы примемся за пшеницу.

III.

Представляя инсинуацію на теорію Лассаля и его практическую діятельность, романъ Шпильгагена тімъ не меніе, какъ я не разъ уже певторяль, нисколько не теряеть въ жизненной правді, развиваеть съ поравительною глубиною и ясностію одну изъ великих политических идей нынішняго віка. Этоть своего рода фокусь искусства заключается въ томъ, что инсинуація Шпильгагена не есть какой либо плоскій фарсь, который не имісльбо никакой иной ціля, кромі опопленія личности Лассаля и представленія ея въ неблаговидномъ світь. Инсинуація эта основы-

вается на идей, которая сама по себи вирна во всихъ своихъ положеніяхъ. Подъ вліяніемъ ложныхъ толковъ и сужденій о д'ятельности Лассаля и о его намъреніяхъ, Шпильгагенъ эту идею приложилъ къ Лассалю и создаль въ лицъ Лео своего собственнаго Лассаля, нисколько не похожаго на действительнаго. Мы видели, что, показывая несостоятельность практической дъятельности Лассаля съ нравственной стороны, онъ идеализировалъ его, представилъ лучие, чёмъ быль Лассаль въ действительности. Это подаеть намъ поводъ смотрѣть на Лео, вовсе не какъ на изображение Лассаля, а какъ на типъ, самостоятельно изобрѣтенный авторомъ для того, чтобы показать на этомъ типъ, на основани общей идеи романа, несостоятельность того пути, который избираеть Лео. Съ этой точки зрвнія романъ получаеть совершенно иное значеніе: изъ романа лично-политическаго онъ становится въ разрядъ романовъ политико-философскихъ, и съ этой точки эржнія онъ полонъ пеоспоримыхъ истинъ.

Предполагая взглянуть на романъ съ этой точки зрвнія, мы сперва обратимъ вниманіе на идею романа и, развивши ее, потомъ посмотримъ, какъ эта идея отражается въ главныхъ действующихъ лицахъ произведенія.

Идея романа, если мы, не ограничиваясь тирадою Вальтера, приведенною нами выше, заглянемъ въ нее глубже, представляется намъ тысячелътнимъ опытомъ, вынесеннымъ изъ всей исторіи западной Евроны, опытомъ подтверждаемымъ встии современными научными изысканіями политико-экономическими и соціологическими. Дело въ томъ, что, если ны взглянемъ на исторію западной Европы безъ всякихъ предвзятыхъ теорій, съ точки зрвнія чисто реальной, мы увидимъ, что вся эта исторія есть ничто иное, какъ постоянная борьба за существование изсколькихъ элементовъ общества, созданныхъ историческими обстоятельствами въ началъ среднихъ въковъ и въ продолжение ихъ, и отстаивающихъ свои принципы и свое господство. Бокль, въ первой части своей "Исторін цивилизаціи Англін", говоря о вліянін государства на прогрессъ, высказалъ ту мысль, что государство постоянно имъло задерживающее вліяніе; мало того, всв прогрессивныя преобразованія со стороны государства постоянно были отрицательнаго свойства, т. е. заключались въ отивнахъ разныхъ обветшалыхъ учрежденій; положительныя-же ибры со стороны государства не приводили никогда ни къ какому хорошему результату, хотя-бы некоторыя изъ нихъ и имъли, повидимому, самую полезную и высокую цъль. Мысль эта, очевидно, должна обратиться въ нелъпый парадоксъ, если мы начнемъ смотреть на значение государства съ этической точки зрвнія. Очевидно, что государство, взятое въ ндеальномъ смысле этого слова, государство, которое не имъетъ никакой иной цъли, какъ прислушиваться ежеминутно ко всемъ нуждамъ гражданъ и немедленно удовлетворять имъ---не только не можетъ быть задерживающей силой, но напротивъ того, оно должно явиться представителемъ всёхъ прогрессивныхъ идей общества. Но если мы оставимъ въ сторонъ чисто этическую точку эрънія и посмотримъ на западную Европу съ исторической точ-

ки зрвнія, съ которой смотрить Бокдь, им должны будемъ согласиться, что идея Бокля, созданная чисто индуктивнымъ путемъ историческаго изученія, вполнъ прилагается ко всъмъ западнымъ государствамъ. Партін въ западной Европ'в суть не только представительницы и носительницы тёхъ или другихъ идей и взглядовъ, онъ представляють тъ или другія сословія въ ихъ взаимномъ антагонизмѣ, взаимной борьбѣ нежду собою за право господства, а иногда и за право существованія. При этой борьб'ї партій, правительства западной Европы представляють вовсе не что либо отвлеченно-идеальное, стоящее внѣ партійной борьбы, возвышающееся надъ всвиъ строемъ общества. Напротивъ того, мы видимъ, что они сами стоять постоянно во главъ той или другой партіи, и, конечно, партін господствующей; они служать обыкновенно представителемъ не всего общества, а одного, иного двухъ господствующихъ сословій и, проводя принципы этихъ сословій, очевидно, действують въ пользу ихъ. Такъ, начиная съ среднихъ въковъ, мы встрѣчаемъ поперемѣнно — государства феодальноцерковныя, феодально-монархическія, феодально-буржуазныя, аристократическія республики, буржуазныя республики и пр. При этихъ условіяхъ нётъ ничего удивительнаго, что въ западной Европъ только отрицательныя действія правительствъ приносять пользу прогрессу. Очень понятно, почему это происходить: эти отрицательныя действія суть ничто иное, какъ отступленія господствующей партіи передъ натискомъ партін, враждующей съ господствующей, проигранныя сраженія и мирные договоры въ пользу побъдителей. Когда побъдительницею оказывается господствующая партія, тогда движеніе происходить обыкновенно въ противуположную сторону: враждебная партія должна отступать и сдаваться; тогда правительство, пользуясь этинъ случаемъ, приступаетъ къ положительнымъ реформамъ; эти положительныя реформы производится, очевидно, въ пользу побъдителей, въ согласіи съ ихъ принципами и въ ущербъ побъжденнымъ. Реформы такого рода, удовлетворяя интересамъ и принципамъ господствующаго меньшинства, очевидно, должны оказывать вліяніе регрессивное на огроиное большинство общества и судьба такихъ реформъпасть, какъ только победа склоняется на сторону партін, враждебной господствующей. Эта постоянная борьба ведется, конечно, не безъ всякаго рода военныхъ хитростей, союзовъ, засадъ и прикрытій. Такъ, напримъръ, господствующія партіи постоянно прикрываютъ свои планы и дъйствія разными принципаии чисто-идеальнаго характера; онъ постоянно твердять, что представляють цёлое общество, что въ нихъ сосредоточивается верховная власть всего народа и поэтому все, что онв предпринимають, имветь пълью общую пользу всёхъ и каждаго. Уступая нередъ натискомъ враждебной партіи, принуждаемая отивнить то или другое регрессивное узаконеніе, господствующая партія употребляеть иногда военную хитрость: она возстановляетъ то-же самое узаконеніе только подъ иной формой, придавши той-же самой сущности болье либеральный, иногда даже ярко-красный цвътъ. Западные публицисты и/газетчики приходять, въ такомъ случав, въ негодование и ужасъ; они

сейчась-же начинають прилагать къ действіямъ своего правительства идеальныя ибрки и вопить о призваніи и обязанностяхъ правительства, о неисполненіи священнаго долга, о нарушеніи народныхъ правъ и т. д. Сившные идеалисты, они не хотять понять одного, что толковать обо всемъ этомъ можно только въ странъ, гдъ нравительство представляетъ собою вст сословія, все общество; въ странахъ-же, гдт правительство является на сторонъ одной партіи, одного сословія, нечего и толковать о какихъ-либо обязанностяхъ правительства ко всему обществу. Въ такихъ странахъ на реакціонныя и вры правительства, подъ прикрытіемъ либерализма, следуетъ смотреть. какъ на обыкновенныя военныя хитрости при взаимной борьбь, и развь эти же самые публицисты, требующіе отъ своихъ правительствъ исполненія священныхъ обязанностей, сами съ своей стороны не готовы бывають употребить всевозможныя военныя хитрости для доставленія торжества своей партіи? При такихъ условіяхь жизни въ Западной Европь, каждый человъкъ въ своихъ политическихъ стремленіяхъ является неизбъжно замкнутымъ въ опредъленный, неразрывный кругъ своей партіи; внѣ этого круга ему нечего дёлать, если онъ останется одинь, со своими личными слабыми силами передъ натискомъ цёлыхъ армій. Только въ такомъ случат онъ будетъ посладователенъ во всёхъ своихъ действіяхъ и стремленіяхъ, върно и твердо будетъ идти къ одной цели, когда онъ въ каждомъ своемъ шагъ будетъ упорно держаться принциповъ своей партіи, своего сословія. Если принципы эти не нравятся ему, если онъ болбе сочувствуетъ другимъ противуположнымъ, онъ можетъ перейти изъ одного лагеря въ другой, но въ такоиъ случай онъ долженъ не только переменить отвлеченнымъ способомъ свои убъжденія, но сдълаться фактически челов комъ иной партіи; иначе онъ станеть въ непроходимое противорѣчіе съ самимъ собою: прежніе партизаны заклюють его, какъ измённика, новые не признають его. Если онь феодаль, то какъ встанеть онъ въ рядахъ народа, если продолжаетъ сочувствовать всемъ феодальнымъ преимуществамъ и желаетъ ихъ ненарушимости или даже распространенія? Точно также и наобороть; когда въ странв господствуеть реакціонное правительство съ феодальными стремленіями, то можеть ли народный прогрессисть, съ совершенно противуположными принципами, вмѣшаться въ ряды госпедствующей партіи и проводить посредствомъ ихъ свои стремленія? Очевидно, его будутъ терить до техт поръ, пока онъ будетъ скрывать свои принципы и дъйствовать за одно съ тъин, въ ряды которыхъ онъ сталъ; едва заикнется онъ о своихъ принципахъ и захочетъ идти противъ теченія, къ какимъ бы онъ при этомъ хитростямъ ни прибъгалъ, его попросять или изменить принципы, или удалиться. Если же онъ можетъ скрываться до техъ поръ, пока не сдълается всесильнымъ лицемъ въ господствующей партін и тогда вознамбрится вести партію путемъ совершенно противуположнымъ въ принципахъ и стреиленіяхъ, то партія во всякомъ случав сильне отдельнаго человъка, какъ бы этотъ человъкъ ни быль геніалень; если его не спихнуть тотчась же сь его вершины, то, во всякомъ случав, съумвють переиначить,

исказить всё его распоряженія и направить ихъ въ сторону своихъ принциповъ. Но мы предположили здёсь случай по истинё необыкновенный: иы предположили человъка отчеканеннаго изъ дучшей англійской стали, у котораго вийсто нервовъ проволоки самаго лучшаго закала; такихъ людей не бываетъ: обыкновенные же люди изъкостей, мяса и нервовъ (какой-бы ни были необычайной прочности и доброты, а все таки дряблые матеріалы), обыкновенные люди неизбѣжно подчиняются вліянію окружающей ихъ среды и, можно навърное предсказать, что человъкъ, вставшій въ средутьхъ или другихъ принциповъ, непремънно раньше или позже приметъ эти принципы, хотя бы сначала онъ ихъ и не разделяль. Люди, которые надъются. что они никогда не измѣнятъ своимъ убѣжденіямъ, въ какую бы среду ни поставили ихъ обстоятельстванаивные идеалисты и романтики; въ ихъ высокомъ о себъ инъніи столько же правды, какъ если бы они говорили: вывалите меня въ грязи, въ помояхъ, посадите меня въ бочку съ сажею или дегтемъ и моя кожа все таки останется неприкосновенно чистою и безукоризненно бѣлою. Твердость или слабость характера въ этомъ отношение можетъ представлять только разницу во времени, — слабый человёкъ завтра же измёнить своимъ принципамъ, едва встанетъ въ среду, противуположную имъ; сильный человёкъ измёнить черезъ иять, черезъ десять леть; —но во всякомъ случат изменить, если только онъ предприметь затанваться и дъйствовать вопреки своимъ принципамъ долгое вреия, до техъ поръ, пока не сосредоточить въ свои руки власть, въ избранной имъ средъ. Но, по счастію, съ сильными людьми это бываеть рёдко: сильные люди ръдко отличаются гибкостью характера; они не могутъ долго дъйствовать вопреки своимъ принципамъ и затаиваться, и потому, если имъ приходится встать въ среду, противуположную своимъ стремленіямъ, они очень скоро выбрасываются за бортъ этой среды.

При такихъ условіяхъ, Лео является передъ нами отчаннымъ идеалистовъ и романтиковъ, Лео, --- который такъ много думаетъ о себъ и такъ надъется на свои силы, что мечтаеть не только устоять самъ, дъйствуя въ средъ съ принципами, совершенно противуположными его принципамъ, но и всю эту среду новоротить по своему и направить къ своей цёли. Онъ забываеть одно, въ чемъ заключается вся нельпость его предпріятія: что принципы буржувзій и феодализма въ Пруссіи радикально расходятся съ принципами рабочаго класса, —следовательно, союзъ между рабочимъ классомъ и одной изъ вышеозначенныхъ партій можеть быгь допущенъ только въ такомъ случав, если принципы одной стороны будутъ пожертвованы въ пользу другой. Во время первой французской революціи такъ и было, -- тогда народъ шель за средникь сословіемь, отстаивая интересы носледняго. Лео же мечтаеть убедить сначала буржуазную партію, потомъ феодаловъ, вступить въ союзъ съ рабочимъ классомъ и проводить принцины послёдняго; но проводить принципы рабочаго класса-въдь это значить для буржуазіи, равно какъ и для феодаловъ, отказаться отъ своихъ собственныхъ принциновъ, --- иначе сказать, значить отказаться отъ своего существованія, какъ господствующей партін; для ка-

питалистовъ---это значить перестать быть капиталистами, для бароновъ-перестать быть баронами.- Ну, не сившно ли, какъ подумаещь, что Лео мечталъ, что онъ убёдить капиталистовъ и бароновъ добровольно перестать быть самими собою! Такія невообразимыя жертвы добровольно никогда не делаются; это решительно историческій nonsens! Лео могъ повліять на слабохарактернаго короля, но когда ему пришлось составлять министерство, туть разомъ обнаружилась вся неисполнимость его предпріятія. Изъ какихъ людей можно было составить ему министерство? Составить изъ людей его принциповъ, изъ приверженцевъ народа, --- но вёдь это значило бы дёйствовать путемъ прямо революціоннымъ, сразу обнаружить свои принцины и поднять противъ себя страшную бурю, какъ въ лагеръ реакціонеровъ, такъ и въ лагеръ либераловъ; противъ такой бури не устоялъ бы и самъ король, не только любимецъ его, втершійся къ нему въ довфріе, съ задняго крыльца, посредствомъ старой тетушки Сарры. Составить министерство изъ либераловъ-но Лео только что разошелся съ ними и убъдился въ полномъ ихъ отвращении отъ предложеннаго имъ союза съ рабочимъ классомъ. Оставалось составить министерство изъ людей, окружавшихъ короля, т. е. изъ людей, преданныхъ феодальнымъ принципамъ. Но принципы эти были въ такой силв, что люди ихъ раздъляющіе, не видъли никакой необходимости жертвовать ими; конечно имъ было лестно усилить свое вліяніе союзомъ съ рабочимъ сословіемъ, но и лестно въ то же время устроить этотъ союзъ, носредствомъ дипломатической хитрости, такъ, чтобы и рабочихъ привлечь на свою сторону, и съ своей стороны ничего не уступить имъ. Докторъ Урбанъ, къ которому Лео обратился съ цёлью составленія министерства, высказался въ этомъ отношения съ безцеремонною ясностью. "Король, пусть издаетъ манифестъ, въ которомъ аппелируетъ къ народу, сказадъ онъ, для своего оправданія. Затемъ соберутся новыя палаты; для того, чтобы онъ утвердили нашу программу, мы сдёлаемъ имъ рядъ предложеній, которыя имёли бы, повидимому, цёлью улучшить быть рабочаго сословія, а въ сущности были бы благопріятны для капиталистовъ. Подъ рукой мы незамътно будемъ всеми способами усиливать власть и могущество церкви-конечно въ самой, что ни на есть, либеральной формъ". Такая програмиа доктора Урбана должна была понравиться каждому реакціонеру и ультрамонтану. Лео не принялъ ее, и палъ. Но будь онъ человъкъ болъе слабаго и гибкаго характера, онъ могъ бы и принять программу Урбана, соображая, что въдь съ этими людьми иначе ничего не подблаешь; на первый разъ можно уступить, -- ну, а потомъ, моль, я поставлю таки на своемъ. И все бы это было потомъ, да потомъ; и чемъ дальше шелъ бы Део, темъ более запутывался бы онъ, -пока, наконецъ, отступать было бы поздно, а впереди не было бы никакой болже дороги. Вёдь въ концё своего поприща Лео склонялся уже къ тому, что для утвержденія себя, въ новомъ положеніи, не ившаеть ему пріобрасть баронскую грамату, не ибщаетъ жениться на дочери сановника, чтобы была въ дом' великосветская козяйка, которая могла бы принять великосветскихъ гостей. А тутъ

постоянный коифортъ, роскошь, -- вёдь не стальные же нервы, въ самомъ дёле, были у Лео, чтобы обстановка жизни не подъйствовала на нихъ, и кончилось бы дёло тёмъ, что въ 40 лётъ, ничего не сдёлавши, Лео почиль бы въ баронскомъ достоинствъ, на первомъ мъсть при дворъ-съ красавицей женою, жилъ бы припеваючи, въ роскоши, тепле и неге, оглашалъ бы великосвътскіе салоны могучинь гласомъ своего красноречія и посменвался бы про себя надъ утопіями своей молодости, которыя онъ оставиль бы, какъ неисполниныя и неприибнимыя къ жизни. Люди, выходящіе изъ народа и прошедшіе сквозь огонь и воду, если сворачивають съ своего пути, то делаются, обыкновенно, въ неизмъримой степени болъе энергическими и упорными реакціонерами, чёмъ люди изъ родовъ, ведущихъ реакціонную традицію со временъ

Меровинговъ.

Въ такой-же степени, какъ и Лео, является передъ нами человѣкомъ, стоящимъ въ разладѣ со своими принципами, баронъ Тухгейнъ. Человекъ образованный, съ благородными инстинктами, мягкій, гуманный-онъ представляется одною изъ симпатичныхъ лицъ въ романъ, но все несчастие его заключается въ томъ, что оставаясь феодаломъ, онъ въ то же время мечтаетъ быть либераломъ и тщетно старается примирить либеральныя стремленія съ феодальными принципами и предразсудками. Отказавшись отъ званія министра, предложеннаго ему королемъ, онъ остался въ своемъ имѣніи, мечтая заняться хозяйствомъ и улучшить быть своихъ поселянъ. Преобразованія въ своихъ вдаленіяхъ задумаль онъ, конечно, въ колоссальныхъ размърахъ; покупка разныхъ машинъ стонла ему огромныхъ издержекъ; но многія машины оказались никуда негодными; работники враждебно смотръли на чугунныя чудовища, видя въ нихъ подрывъ для себя; они неохотно работали съ машинами и старались нарочно ихъ портить. Напрасно сестра его, Шарлетта, и управляющій его, л'ясникъ, который оказался, при всемъ своемъ невъжествъ, практичнъе барона-диллетанта, - увъщевали его бросить всъ затви и заняться болбе существеннымъ; баронъ сибялся надъ ихъ невъжествомъ, рутиною и неумъніемъ понять важности его нововведеній, --- и кончилось дівло темъ, что вивсто удучшенія именія и быта рабочихъ, баронъ ухудшидъ и то, и другое; вивсто ожидаемой благодарности со стороны поселянъ за свои баронскія благодівнія, онъ встрітиль недовольство и ропотъ. Насталъ голодъ. Гуманный баронъ скупалъ хльбъ и раздаваль его даромъ голоднымъ поселянамъ; они брали хлѣбъ и, все-таки, роптали, и стоило явиться Туски, чтобы безъ всякаго труда возмутить поседянъ противъ барона. И вотъ баронъ, желающій своимъ поседянамъ всего лучшаго, принужденъ былъ стралять въ нихъ, отстаивая, по своимъ рыцарскимъ понятіямъ, неприкосновенность своего замка отъ осады возставшихъ поселянъ. После этого все агрономическія затем были, конечно, брошены; баронъ перевхаль въ столицу и, вступивши въ союзъ съ Зонненштейномъ, предалъ своихъ поселянъ эксплуатаціи Зонненштейна, все-таки, въ видахъ улучшить этимъ путемъ и свое благосостояніе, и бытъ тухгеймскихъ поседянъ. Между тънъ, какъ баронъ,

не вибшиваясь въ дъла своего компаньона, спокойно предавался свътскимъ удовольствіямъ столицы, банкиръ такъ улучшилъ его состояніе и бытъ рабочихъ, что баронъ былъ окончательно разоренъ, а рабочіе возстали подъ гнетомъ эксплуатаціи. Тогда баронъ, самъ будучи прямымъ виновникомъ всего случившагося, объявиль въ газетахъ, по внушению Лео, протестъ противъ притесненія Зонненштейномъ рабочихъ и отправился въ свое имъніе держать сторону своихъ поселянъ и защищать ихъ передъ закономъ. Но эта защита состояла только въ томъ, что онъ наговорилъ грубостей оберъ-лейтенанту и быль убить имъ на дуэли. Въ такомъ-же противоръчіи самому себъ является баронъ и въ своихъ дичныхъ отношеніяхъ и привязанностяхъ. Такъ, наприм'връ, онъ питаетъ самую искреннюю, задушевную привязанность къ лъсничему, спасшему ему когда-то жизнь, -- и въ то же время оказывается способнымъ заподозрить, подъ вліяніемъ полицейскаго чиновника, этого преданнаго ему слугу въ измънъ, въ возмущени поселянъ противъ него. Подъ вліянісиъ своихъ гуманныхъ чувствъ, онъ воспитываетъ сына лѣсничаго Вальтера, вийсти съ своими дитьми, питаетъ къ этому Вальтеру отеческую привязанность, а когда Вальтеръ дерзаетъ влюбиться въ дочь барона, Амелію, тогда въ баронъ просыпается внезапно баронъ-и онъ съ высокомвріемъ запрещаетъ дерзкому плебею показываться въ его домъ. И при всехъ этихъ несообразностяхъ вы все-таки чувствуете невольную симпатію къ этому человъку: вамъ жалко барона въ его противорвчіяхъ; во всякомъ случав онъ является передъ вами лучшимъ представителемъ своей среды, а за нимъ представляется передъ вами цёлый рядъ банкировъфонъ-Зонненштейновъ, генераловъ — фонъ-Тухгеймовъ (генералъ фонъ-Тухгеймъ братъ барона), Геевъ, Урбановъ, Генри и Линнертовъ; все это люди, деморализованные съ ногъ до головы, но за то твердо идущіе по своей дорогь, не изманяющіе своимы принципамъ; это люди въка, они съ гордостью могутъ сказать, что они все держать въ своихъ рукахъ и попираютъ ногами, и никто не дерзаетъ сравняться съ ними въ ихъ могуществъ. Рядомъ со всеми этими людыми рисуется передъ вами среда особеннаго рода, о которой следуеть сказать несколько словь. Къ этой средъ принадлежать старикъ-лъсничій, сынъ его Вальтеръ, сестра барона Шарлотта, дочь Амелія, докторъ Паулусъ, миссъ Джесси, гувернантка барона, наконецъ, портной Ребейнъ со своею супругою. Въ нащей жизни среда этого рода не выяснилась еще такъ отчетливо и ярко, кажь въ жизни западныхъ обществъ. Въ нашемъ обществъ образованные люди до такой степени ограничены въ практической деятельности, что они принуждены жить преимущественно въ теоретической сферф; поэтому у насъ подъ словомъ прогрессисты, подразуневаются вообще люди честныхъ убъжденій, какихъ-бы они ни были характеровъ и стремленій. Только на арен'в практической діятельности люди, врод'в Лео и Сильвіи, могутъ выделиться отъ людей вродѣ Вальтера и Амеліи, и пойти по разнымъ дорогамъ; а до этого, какъ тв, такъ и другіе должны сливаться въ безразличной категоріи людей честных уб'ежденій, въ отличіе отъ людей уб'ежденій нечестныхъ. Но на Запад'в среда Вальтеровъ, Паулусовъ, Шарлоттъ и Амелій выяснилась довольно р'яко побъ ней можно судить, какъ объ особенной средів. Мы опредвлили-бы эту среду несовс'янь точно, если-бы назвали ее ум'яренно-либеральною. Къ ум'ъреннымъ либераламъ принадлежатъ и Тухгеймскій баронъ; и банкиръ фонъ-Зонненштейнъ, а между тёмь это люди совершенно особеннаго склада.

Вальтеры и Шарлотты-это люди золотой посредственности, это дюди толны; число ихъ дегіонъ. Это истинные, трудолюбивые, любящіе, сочувствующіе всему доброму и прекрасному, свётлому и прогрессивному, и вивств съ этими благородными сочувствіями, умьющіе свивать тепленькія и уютныя гивздышки и ворковать въ нихъ очень мило и любовно. Люди этого сорта неспособны увлекаться какою-нибудь высокою цълю, и въ этомъ увлечении жертвовать встии своими личными привязанностями; но за то они ограждены отъ паденій и гибели, съ которыми иногда бывають соединены такія увлеченія. Въ то время, какъ Лео, стремясь къ великой цёли, способенъ въ концё концовъ сдълаться отчаяннымъ реакціонеромъ, Вальтеръ никогда реакціонеромъ не сделается. При отсутствім увлеченій и соединенныхъ съ ними заблужденій — люди эти обладають завиднымь благоразуміемъ; они очень умно резонируютъ и очень мътко могуть обсудить всв ошибки и заблужденія великихъ людей, хотя сами никогда великими людьми не сдёлаются. При всей энергіи трудолюбія, люди эти представляють полное отсутствіе энергіи борьбы съ обстоятельствами. Не мешайте имъ жить, они сделають многое; помъщайте имъ сдълать многое, они ничего не сдълають, но въ то-же время не предпримутъ ни мальишихь усилій къ устраненію препятствій, а безропотно склонятся передъ своею долей. При такихъ условіяхъ, если имъ приходится пострадать за свои убъжденія, какъ пострадаль Вальтеръ, они начинаютъ смотръть на свое мученичество, какъ на нравственный подвигъ, какъ на особенное достоинство, и нисколько не стыдятся своего мученичества, которое само по себъ есть нечто иное, какъ прямое доказательство жалкаго безсилія передъ врагами. Таковы они не только въ своихъ общественныхъ отношеніяхъ, но и въ личныхъ. Шарлотта полюбила ласничаго, но она была баронесса; выйти за него замужъ, значило вооружить противъ себя всёхъ своихъ любезныхъ родственниковъ; Шарлотта, нельзя сказать, чтобы не ръшалась на это, -- она просто не захотъла этого и безропотно склонилась передъ своею долею. Точно такъ-же готовъ былъ склониться передъ своею долею Вальтеръ, изгнанный изъ дома барона за свою любовь къ Амеліи, если-бы баронъ не умеръ во время. Люди, вродъ Лео и Сильвіи, идущіе напроломъ всёхъ препятствій въ жизни, относятся съ презрѣніемъ къ людямъ вродѣ Вальтера и Шарлотты—но совершенно напрасно. Они забывають, въ своемъ высокомфрін, что ихъ очень немного, а такихъ людей, какъ Вальтеръ, Амелія и Шарлотта-большинство, цёлый родъ человёческій. Если Лео и Сильвія стремятся къ своинъ высокимъ цёлямъ, жертвуютъ всёми личными благами, терпятъ несчастія, гибнутъ, то для кого-же они это делаютъ, какъ не для этихъ самыхъ Вальтеровъ, Амелій и Шарлоттъ,

чтобы этимъ нёжнымъ голубкамъ было свободно жить, трудиться и ворковать? А когда исполнятся мечты Лео и Сильвіи, когда всёмъ будеть жить хорошо и свободно, для какой надобности будуть тогда Лео и Сильвін? Тогда отъ нихъ никто не спросить ихъ жертвъ, они сами должны будутъ вибшаться въ кругъ Вальтеровъ, Анелій и Шарлоттъ и начать жить ихъ идиллическою жизнію! Изъ подъ личности Вальтера, этого либеральнаго романиста, лишающагося мъста и сидящаго въ тюрьив за свой романъ, просвечиваетъ передъ вами личность самого Шпильгатена, который, судя по всему характеру, по всемъ идеямъ романа, самъ принадлежитъ къ этой средъ. Возьмите только во вниманіе спокойно-объективный тонъ романа, его безпристрастіе ко всёмъ действующимъ лицамъ, какихъ-бы они ни были принциповъ, его отданіе благоразумной справедливости всемъ и каждому, обиліе любовно-идиллическихъ мъстъ и, наконецъ, желаніе показать на Лео и Сильвіи, что люди, см'єющіеся надъ свиваніемъ гибадышекъ и жертвующіе личными привязанностями общественнымъ стремленіямъ, сами невольно приходять наконецъ къ необходимости смириться и разнёжиться, потому что такова ужь прирона человеческая: разве во всемъ этомъ не просвечиваетъ передъ вами Вальтеръ, читающій милой Амелін свой романъ, въ которомъ онъ описываетъ свою нъжную страсть къ ней?

V.

Если кому приходится долгое время жить въ маленькихъ, затулыхъ и душныхъ каморкахъ, тотъ мало по малу теряетъ сознаніе о настоящихъ размірахъ своего жилья и его воздуха. Каморки не кажутся ему мизерными, жалкими и обоняние его привыкаетъ до такой степени къ спертому, затхлому воздуху, что ему наконецъ можетъ казаться, что воздухъ его жилья наполненъ ароматами. Но стоитъ этому человъку побывать коть нівсколько минуть въ какихъ нибудь колоссальныхъ, богато убранныхъ залахъ съ высокими сводами, нодъ которыми воздухъ льется широкою струею, и вотъ, по возвращеніи домой, невольно обхватить его сознаніе, какъ низки, миніатюрны, бъдны и жалки его каморки въ сравнени съ залами, изъ которыхъ онъ только-что вышель, какъ душень, затхлъ и смраденъ прокислый воздухъ въ нихъ. Такое-же самое впечатленіе поражаеть вась, когда по прочтеніи романа Шпильгагена, вы возвратитесь въ кругъ вашей обыденной жизни и начнете сравнивать только-что прочитанный романъ съ произведеніями нашей отечественной литературы. Мы ужь не будемъ говорить о томъ, что читая романъ, вы невольно должны позавидовать той богатой содержаниемъ, разнообразной, шумной, быощей широкой струей жизни, какая прыщетъ передъ вами на каждой страницъ его; должны позавидовать той широкой свободь, съ какою люди имъють возможность осуществлять въ жизни свои стремленія, той легкости, съ которою люди (изъ самаго низшаго слоя общества) имбють возможность получать блестящее образование и всилывать кверхувсе это зависить отъ умственныхъ и матеріальныхъ богатствъ жизни, отъ того, какая это жизнь,--

европейская, не любящая оглядываться назадъ и рвущаяся смёло впередъ, или азіатская, сонная, боящаяся каждаго несмёлаго шага впередъ и опирающаяся на д'ядовскія преданія, на томъ, основаніи, что эти дедовскія преданія и проще, и надежнее, и при нихъ спокойнъе спать; все это зависитъ отъ того, какое это общество, бодрое, энергическое, стремящееся къ самостоятельности, или вялое, пассивное, любящее, чтобы объ немъ заботились, опекали его, варили для него кашку и клади ему дожечкою въ ротъ, предварительно разжеванную. Мы не будемъ обо всемъ этомъ распространяться, дабы не прійти въ соблазнъ. Мы обратимъ внимание не на жизнь, изображенную въ романъ, а на самый романъ, и сравнимъ его съ нашими романами такого же рода. Изъ разбора романа мы пришли къ такому заключенію, что романъ этотъ не принадлежитъ къ разряду самыхъ смълыхъ и высокихъ полетовъ европейской мысли; напротивъ того, мы видёли, что хотя основная идея романа истинна сама по себъ, хотя дедуктивно она проведена върно, но съ политической точки зрънія, по отношенію къ современной жизни, романъ хромаетъ непониманіемъ того, что дёлается, стремленіемъ представить въ ложномъ видъ, инсинуировать самыхъ смълыхъ и передовыхъ общественныхъ дъятелей въ Пруссіи. Въ силу этого, по отношенію къ прусской жизни романъ Шпильгагена играетъ ту-же роль, какъ по отношенію къ нашей жизни играють романы вродѣ "Взбаламученнаго моря", "Марева" или "Некуда". Но несмотря на всю логичность такого сравненія, читатель сразу пойметь всю несообразность его. Развъ можно сравнивать, скажеть онъ, честный, прогрессивный, полный глубокихъ мыслей романъ Шпильгагена съ этими безтолковыми, безсмысленными и грязными ннсинуаціями нашей отечественной литературы? Но

развѣ можно сравнивать европейскую жизнь съ нашею жизнію? отвічу я на это возраженіе читателя. Чтожъ дёлать если на Западё люди до такой степени образованы, что они понимають, что хотя бы человъкъ и шелъ по другой дорогъ, чъмъ идутъ они, то все таки онъ можетъ быть высокой нравственности и даже вполнъ идеальный человъкъ. Мы видъли, что Шпильгагенъ, инсинуируя деятельность Лассаля, въ то-же время не только не бросаеть въ него грязью и помоями, а напротивъ того представляетъ его идеальнъе, чъмъ онъ быль въ дъйствительности. Наши же доморощенные тенденціозные романисты стоять на такомъ еще низкомъ уровит развитія, что наивно воображають, что не только человѣкъ, постуцающій иначе, чемъ они, но и думающій иначе, --- непременно есть нравственное чудовище, экстрактъ всевозможныхъ гадостей. Въ этомъ отношении мы стоимъ почти на степени дикарей, которые въ каждомъ человекъ, не раздёляющемъ ихъ взглядовъ, видять непремённо колдуна, продавшаго душу чорту. На Западъ инсинуируются д'ятели д'яйствительно общественные, политическіе, которые могуть имъть то или другое вліяніе на ходъ цивилизацін; у насъ же, смёшно подумать. романисты наши, иногда почтенные мужи, убъленные сёдинами, бёснуются съ пёною у рта передъ какими нибудь двумя-тремя гимназистами, студентами н барышнями, дерзающими читать не тё книжки, которыя по мивнію романистовъ следуеть имъ читать, или еще смѣшнѣе, не носящими такихъ куафюръ, какія нравятся изящному вкусу романистовъ. Конечно, при такихъ условіяхъ, сравненіе романа Шпильгагена съ нашею доморощенною тенденціозною беллетристикою, немыслимо. Но что-же дёлать, что городъ то норовъ, что деревня, то обычай.



1869.

ЖИВАЯ СТРУЯ.

(Вопросъ о народности въ литературѣ).

I.

Когда старая система идей сменяется новою, последняя не сразу обыкновенно подводить подъ свои начала всё современныя явленія жизни. Люди накидываются прежде всего, конечно, на такіе вопросы, которые стоятъ на первомъ планв и болве всего привлекають внимание. Второстепенные же вопросы остаются безъ вниманія, и относительно ихъ продолжаютъ придерживаться по привычк в старых в взглядовъ. Каждому, кто пережилъ сильную умственную ломку въ своей головъ, навърное приходилось находить такіе пробълы и противоръчія въ своемъ мышленіи, побъдить которые можно было не иначе, какъ переръщивши вопросъ на техъ основаніяхъ, на которыхъ другіе вопросы давно уже были решены. Такіе же случаи встрвчаются на каждомъ шагу и въ исторіи человвчества. Подобный случай произошель и у насъ въ последнее десятилетие съ вопросомъ о народности въ литературъ.

Вопросъ этотъ естественно возникъ вследствіе того, что наше образованное общество отдёлилось отъ народной массы и создало свои особенные нравы и обычаи, свой особенный языкъ подъ вліяніемъ западной цивилизаціи. Но следуеть заметить, что до Гоголя и Бѣлинскаго вопросъ о народности въ литературѣ не игралъ большой роди и не шелъ далъе очистки языка отъ иностранныхъ вліяній, выбора сюжетами произведеній крупныхъ явленій русской жизни, русской исторіи, да р'єдкихъ рабскихъ подражаній народнымъ

пъснямъ и сказкамъ.

Въ 40-е годы вопросъ о народности въ первый разъ быль поставлень на философскую почву. Вь это время въ оппозицію западникамъ возникла партія славянофиловъ, которая на своемъ знамени крупными литерами написала: народность. Замъчателенъ тотъ факть, что объ партін; на основанін однойн той же философской системы Гегеля, решили вопросъ о народности діаметрально противоположно: славянофилы оперлись въ своемъ ученім на то положеніе гегелевской философіи, что каждая историческая народность есть носительница своей идеи, которую она вкладываетъ въ сокровищницу развитія человъчества; изъ этого они прямо вывели, что увлечение идеями и формами чуждыхъ народностей не только безполезно, но и положительно вредно, что оно отвлекаеть народъ отъ развитія той идеи, которую онъ обязанъ внести въ исторію человъчества; поэтому, ръшили славянофилы, мы должны всячески удаляться отъ усвоенія западной образованности, проникаться нашими собственными народными началами, которыя мы готовимся внести въ исторію. Западники же въ ръшени вопроса о народности оперлись на то положение гегелизма, что народность есть не что иное, какъ индивидуализація общаго, форма, въ которую вкладывается общая идея человъчества. Форма эта вырабатывается исторією, природою; она дается намъ помимо нашего сознанія и какихъ-либо стремленій, такъ же какъ и личная наша физіономія; поэтому мы не только не имбемъ надобности стремиться къ народности, напротивъ того, намъ трудно отръшиться отъ нея, если бы иы и хотёли; прим'тромъ этого можеть служить французская литература XVIII въка, которая, при всей своей подражательности образцамъ классической литературы, все-таки оставалась народною въ томъ смыслѣ, что выводимые ею на сцену герои болъе были похожи на французовъ версальской атмосферы, чёмъ на героевъ древности. Стремиться къ народности, говорили западники, это значитъ стремиться къ формъ, не заботясь о содержании ея; напротивъ того, главное наше стремленте должно заключаться въ томъ, чтобы вливать въ эту форму общечеловъческое содержание; въ концъ же концовъ, отрешаясь все более и более отъ временныхъ и узкихъ формъ народностей, человъчество должно стреинться къ тому, чтобы слиться въ одну общечеловъческую форму, которая бы носила въ себъ общечеловъческое содержание.

Въ силу этихъ идей, при оценке техъ или другихъ

литературныхъ произведеній, славянофилы имѣли главною задачею рѣшать, на сколько произведеніе проникнуто началами, сродными русскому духу; западники-же рѣшили разъ навсегда, что каждое пронизведеніе, написанное русскимъ, такъ или иначе, непремѣнно народно, непремѣнно выражаетъ ту или другую сторону характера русской народности; главная-же забота заключается въ томъ, чтобы опредѣлить, какія общечеловѣческія начала заключаетъ въ себъ оно.

Философія Гегеля потеряла свое господство надъ , русскими умами въ концъ 50-хъ годовъ. Она смънилась новыми системами, господствующими въ настоящее время подъ именемъ реализма. Подводя разные вопросы жизни подъ свой начала, реализиъ прежде всего позаботился перержшить вопросъ о пъли и значенін литературы въ жизни общества. Это было дівломъ первой важности въ нашей жизни, обусловливаясь тыть значениеть, которое инфеть въ нашей жизни литература. Но занявшись подведениемъ подъ новыя условія вопроса о значенім литературы вообще, мы сдёлали огромный пробёль, оставивши совершенно въ сторонъ частный вопросъ о народности въ дитературъ. Вопросъ этотъ, какъ мы увидинъ ниже, ръшается самъ собою въ практической сферв: въ теоретической-же онъ до сихъ поръ почиваеть на старыхъ гегеліанских в началахъ. Ужь не говоря о славянофилахъ, наши самые ревностные последователи реализма не замъчають, что, реалисты во всъхъ другихъ отношеніяхъ, они продолжають оставаться истыми гегеліанцами по вопросу о народности. Когда они начнуть толковать вамъ о томъ, что литература должна быть реальна, что, не ограничиваясь однимъ созерцаніемъ прекраснаго, она должна служить жизни, отвъчая на всъ ся животрепещуще вопросы, попробукте замътить при этомъ, что не мъщаетъ также, чтобы она была и народною, я убъжденъ, что при этомъ вы встрътите снисходительную улыбку и услышите совершенно тъ же самыя слова и выраженія, которыми говорили о народности западники 40-хъ годовъ, опирамсь въ своихъ доводахъ на гегелевской философіи, доказывавшей, что народность есть не что иное, какъ индивидуализація общаго.

Между твиъ какъ, если вопросъ о народности въ литературъ мы цопробуемъ пересадить, на почву реализма и утилитаризма, если мы ръшимъ его на основани тъхъ новыхъ идей, которыя получили господство у насъ въ послъдне годы, мы увидимъ, что это не только не издишній вопросъ, напротивъ того, первой важности, вопросъ о судьбъ всей литературы; имъ обусловливаются какъ истинная реальность, такъ и полезность литературы.

Реализмъ, не строя никакихъ отвлеченныхъ системъ, не гадая о сущности явленій, изучаетъ ихъ, какъ они представляются нашимъ чувствамъ, восходя отъ частнаго къ общему, отъ случайнихъ и отдельныхъ къ общимъ условіямъ, назкваемымъ міровыми законами. Съ этой точки зрёнія народность представляется не индивидуализацією общало, какъ полагалъ гегелизмъ, а напротивъ того, обобщеніемъ индивидуальнаго. Поселите отдельныя, разрозненныя пле-

мена подъ общія условія жизни, и они сольются въ одну нераздъльную народность, какъ слились бриты, англо-саксы и норманы въ англичанъ, а поляне, древляне, стверяне и проч. въ русскихъ, а съ другой стороны-поставьте отдёльныя части общей народности въ различныя условія жизни, и народность ваша разсыпается на отдёльныя народности, и послёднія будуть группироваться опять-таки по тымь общимъ условіямъ жизни, подъ которыми будеть жить каждая. Если-бы для каждаго человека условія жизни были совершенно отличныя, не имъющія ничего общаго съ условіями жизни другихъ людей, въ такомъ случав, на земномъ шарв не было-бы народностей, а была-бы одна безконечная индивидуализація. Но кромъ тъхъ особенныхъ условій для каждаго человъка, которыя создають его личную индивидуальность, дюди живутъ подъ общими условіями, результатомъ которыхъ и является народность. По отношению къ расв народность является, пожалуй, въ свою очередь индивидуальностью, но по отношенію къ отдёльнымъ людямъ она есть общность. Индивидуальная особенность, народность, раса-это три такія условія жизни, безъ которыхъ невозможно изучать человека, какъ невозможно изучать растенія и животныхъ, не опредъляя рода и вида, къ которому они принадлежать. Истинно реальная литература, имбя дъло съ изучениемъ жизни людей, конечно, только тогда и будетъ истинно реальной, когда она станетъ изучать жизнь не въ ея отвлеченныхъ сущностяхъ, а въ техъ условіяхъ, въ какихъ она проявляется. Поэзія, построенная на абстрактных в началахь, совершенно пренебрегала этими условіями; она говорила: инъ все равно, русскаго, француза или нъща вывожу я на сцену, барина или крестьянина, - разница иежду ними только формальная, сущность-же человъческая у всъхъ у нихъ одна и та-же; вогъ эту-то сущность я и имбю въ виду. Реальный-же поэтъ говорить: сущности человъческой я не знаю, а я вижу человека не иначе, какъ подъ вліяніемъ разныхъ условій жизни, и я изучаю, какъ представляется человъкъ подъ вліяніемъ этихъ условій. Поэть живеть не иначе, какъ въ средв того или другаго общества, именуемаго народомъ. Онъ изучаетъ индивидуальныя особенности каждаго человъка не для того, чтобы поглотиться въ насев индивидуализма, но чтобы это индивидуальное подвести подъ общее; первыми обобщеніями реальнаго поэта являются, такъ-называемые на языкъ эстетики, образы, типы, сюжеты, болъе или менье общіе; но развы можеть истинно-реальный поэты остановиться на чемъ-нибудь? Разв'в есть конецъ тому процессу, который называется реальнымъ изучениемъ? Восходя все выше и выше въ своемъ изучени, реальный поэть поневоль придеть къ той общности, которая называется народностью. Изучить свой народъ во всткъ условіяхъ его жизни, во всткъ формахъ ея и проявленіяхъ, проникнуться всеми его общими интересами, его радостями и страданіями — воть истинная задача реальнаго поэта. Но достигнуть всего этого, вёдь это значить сдёдаться поэтомъ народнымъ, въ самомъ широкомъ, истинномъ значении этого слова. Такимъ образомъ, понятія о реализмѣ въ поэзій и о народности совершенно совпадають; разница между

ними только та, что реализмъ въ литературѣ есть из- \ въстный путь, цёль котораго—народность.

Далъе, если мы поставимъ вопросъ о народности въ литературъ на почву утилитаризма, онъ получитъ въ нашихъ глазахъ еще большее значеніе. Литература должна быть полезна—для кого? Очевидо, не для двухъ, не для тысячи человъкъ, а для всего края, для всего народа, на явыкъ которато она существуетъ. Литература мечтаетъ о завидной цъли быть воспитательницею общества, народа, развивать неразвитыхъ, образовывать необразованныхъ, подымать такіе вопросы жизни, которые долго не пошевелились-бы еще въ мозгахъ большинства нашихъ соотечественниковъ безъ ея солъйствія.

При этомъ я прошу читателя обратить внимание на завидную роль, которую можетъ и должна играть изящная литература въ этомъ дёлё. Если мы прослёдимъ наше собственное развитіе, ны увидинь, что чёнь на низшей степени развитія стоить человакь, тамь большее значение въ развитии его имбетъ художественная литература. Въ жизни каждаго человъка былъ такой періодъ, въ который чтеніе его состояло исключительно изъ произведеній художественной литературы; только на извъстной, значительной уже степени развитія мы начинаемъ мало-по-малу приступать къ чтенію книгь серьезнаго, научнаго содержанія. Большинство дюдей даже такъ-называемаго образованнаго слоя общества ничего не разр'язываеть въ журналахъ, кром'в романовъ, пов'єстей, комедій и стихотвореній. Что-же сказать о литературъ, которая, мечтая развивать неразвитыхъ, представляетъ въ своихъ произведеніяхь такіе образы и на таконъ языкѣ, что только нъкоторые избранники, стоящіе на очень высокой степени развитія, могутъ пользоваться ею?

Въ этомъ отношении литература, развивая людей развитыхъ, образуя людей образованныхъ, очень похожа на педагогическое заведение, которое дъйствовало бы такимъ образомъ: учителя, вийсто того, чтобы давать уроки ученикамъ, ограничивались бы тъмъ, что собирались на педагодические совъты, сообщали другъ другу, что они читаютъ, о чемъ думаютъ; давали бы другъ другу полезные совъты, читали другъ передъ другомъ блестящія пробныя лекцін; такіе учителя могли бы быть очень полезны другъ для друга; но сившны были бы они, еслибы при этомъ воображали, что они въ то же время полезны и для массы учениковъ, пребывающихъ безъ книгъ, безъ уроковъ, въ неподвижномъ невъжествъ нодъ присмотромъ грозныхъ гувернеровъ, строго-наблюдающихъ за порядкомъ и благочиніемъ въ классахъ. Такое зрёлище представляеть литература наша, которая въ последнее время постоянно твердила и твердить, что главнал ся цёль —служеніе народу. Подобное положеніе представляется еще неестественние и нелиние, если подумать, что народъ прамымъ или косвеннымъ путемъ оплачиваетъ существование этой литературы, и взамень техь капиталовь страны, которые затрачиваются ежегодно на произведение и издание эстетическихъ произведеній россійской литературы, получаются книжки, которыя служать предметомъ празднаго развлеченія для немногихъ избранныхъ людей. Мнъ погутъ сдълать здъсь такое возраженіе, что капиталы

тратится не даромъ въ томъ симслѣ, что раньше или позже народъ когда нибудь да разовьется до пониманія нашихъ изящныхъ произведеній, и тогда воспользуется теми продуктами, на произведение которыхъ тратится теперь капиталы. Но, вопервыхъ, ручаетесь ли вы, что для народа будуть годны всё тё изящныя произведенія, которыя выходять въ настоящее время? Оглянемся назадъ и посмотримъ, сколько различныхъ литературныхъ-школъ пало безвозвратно, смънившись новыми школами? Что такое паденіе школы, какъ не сознаніе ея заблужденія и не выходъ изъ этого забдужденія на свътъ? Неужели народъ долженъ будеть воспринимать одни за другими всѣ наши старые грѣхи и промахи? Станетъ ли народъ читать, а если и станетъ, найдетъ ли что-нибудь поучительное въ разныхъ произведеніяхъ нашей литературы ложно-классическихъ, романтическихъ, идеалистическихъ и проч.? Что же такое всё эти произведенія, какъ не капиталы, безследно похороненные въ архивной пыли библіотекъ? А во-вторыхъ, если-бы даже всѣ прошлыя произведенія нашей литературы были поучительны для народа, то какъ же разовьете вы его до пониманія ихъ, если не заговорите съ нимъ языкомъ, внолив понятнымъ и доступнымъ для него, если не снизойдете къ нему? Конечно, подобное снишествие къ народу должно заключаться не въ видъ уступокъ разнымъ его въковымъ предразсудкамъ, какъ это думаютъ поклонники народной стоглавой Москвы. Передавайте народу всё ваши глубокія и высокія иден, заимствованныя съ Запада, но облекайте ихъ въ такой языкъ и въ такіе образы, чтобы он'в были для всёхъ равно доступны и понятны. Важное преимущество самобытной народной поэзіи заключалось именно въ томъ, что, не стоя народу ни гроша, она была сокровищемъ, изъ котораго каждый могь черпать сколько ему угодно, и только тогда литература будеть истинно полезна для всего края, для всего народа, когда она снова сдёлается народною въ этомъ смыслё слова.

Но выставление подобныхъ требований отъ литературы, какъ бы оно ни было законно и справедливо, всегда будетъ казаться воздушною мечтою, праздною, неосуществимою утошею, въ виду современнаго состоянія дитературы нашей, если не будеть указанъ путь, идя по которому, литература могла бы выйти изъ настоящаго своего состоянія и сдёлаться вполн'я народною. Въдь не могутъ же литераторы наши съ сегодняшняго же дня дать себъ слово писать такъ, чтобы каждый мужикъ понималь ихъ отъ строки до строки и интересовался ихъ произведениями. Въ противномъ случав, они должны будуть, садясь писать, поступать такъ, какъ поступають разные составители народныхъ книжекъ, то-есть, напишутъ фразу и давай думать: "понятна или нътъ должна быть эта фраза для простолюдина? . Дикая неестественность такого способа поддълыванія подъ народность ярко выставляется въ каждой строкъ многихъ книжекъ, написанныхъ для народа, особенно въ изданіяхъ Погосскаго; не менже смешна такая народность въ речахъ разныхъ провинціальныхъ либераловъ, которыя произносились и когда на вемскихъ объдахъ, дававшихся въ честь сліянія сословій. Очевидно, что не такою народностью должна подарить насъ литература. Истин(но-народное произведение просто, естественно и непроизвольно выливается изъ-подъ пера писателя; народный писатель пишетъ свои произведенія такъ же, какъ и не народный, то-есть нисколько не ваботясь о томъ, чтобы произведение его вышло непременно народно: онъ не имееть ничего иного въ виду, какъ выразить свою мысль, чувство-и произведение его выходить народно безъ его ведома и желанія. Сдёлаться народнымъ писателемъ-значитъ, выработать свой языкъ, свои поэтические образы, мысли и чувства такимъ образомъ, чтобы писать народною ръчью о предметахъ, интересующихъ всъхъ и каждаго, безъ всякихъ усилій и заботъ о популярности. Этого нельзя достигнуть никакимъ скачкомъ, никакою искусственною поддёлкою. Это достижимо только естественнымъ путемъ. Настоящая статья могда бы, действительно, показаться праздною фантазіею, еслибы ограничилась выставленіемъ требованія, не опредъливши того естественнаго пути, идя по которому, литература можетъ удовлетворить этому требованію. Указаніе этого естественнаго пути и составляєть главную цъль моей статьи. И это темъ удобные возможно будеть сдёлать безъ всякихъ гадательныхъ и произвольныхъ приглашеній съ нашей стороны писателей идти направо или налѣво, что въ самой литературѣ начались уже инстинктивно, безъ всякихъ теоретическихъ указаній, попытки идти по этому пути. Попытки эти, въ рядъ разныхъ заблужденій, опошлившихъ и изгадившихъ истинное стремленіе къ народности въ литературъ, представляютъ отрадную, живую струю, которой готовится великая будущность. Вырвавшись въ 40-хъ годахъ на свътъ, струя эта не перестаетъ течь все шире и шире, все глубже и глубже, принимая въ себя разные притоки и готовясь обратиться въ широкую, иноговодную реку. Дело наше будеть состоять только въ томъ, чтобы определить направление этой струи въ настоящее время, и это направленіе само собою, безъ нашихъ усилій, укажетъ нашимъ писателямъ тотъ путь, который прямо и неуклонно можетъ повести ихъ къ народности.

II.

Славянофилы, сттуя на раздвоенность нашего общества, на отсутствіе всякой связи между искусственною поэзією нашею и народною, причину такого явленія видять исключительно во вліяніи на насъ западной образованности и рабской подражательности съ нашей стороны форманъ ел. Въ сущности-же существуеть причина болье дъйствительная и общая, вліяющая на всякое раздвоеніе народа — будеть-ли оно сопровождаться вліяніемъ чуждой цивилизаціи. или совершится домашнинъ образомъ. Мы просимъ при этомъ припоменть, что мы сказали въ первой главъ объ образовании народностей: каждый разъ, когда группа людей становится въ какія-нибудь особенныя условія жизни, необходинымъ следствіемъ этого является образованіе народности, влад'єющей особеннымъ языкомъ и создающей свою особенную литературу. Этимъ обусловливается какъ появленіе наръчій, говоровъ, разновидностей одного народа, такъ и то раздвоеніе, какое совершается между нассою и

образованнымъ классомъ. Если образование разлито равномфрно по всему народу, и если народъ, во всей своей масст, увлечется подражаниемъ какой-нибудь чуждой образованности, въ такомъ случай не можеть быть и ръчи о ненародности такого движенія: народное движение и есть именно такое, въ которомъ участвуютъ массы народа. Если-же, напротивъ того, изъ среды народа выдёлится группа людей, поставить себя совершенно въ иныя условія жизни, чёмъ тё, въ которыхъ живетъ большинство населенія края, замкнется въ этихъ условіяхъ и изолируется отъ всего прочаго міра, въ такомъ случав, если-бы не было никакихъ чуждыхъ вліяній, группа эта все-таки совдастъ свои особенные нравы, обычаи, языкъ и литературу. Если затёмъ на сторонё этой группы будуть матеріальныя богатства и умственный досугь — однимъ словомъ, все, что способствуетъ быстрому развитію образованности, то естественно, что она далеко опередитъ въ своей образованности прочіе классы народонаселенія и создастъ культуру, въ которой ничего не будеть общаго съ культурою массъ, оставленныхъ ею назади. Если до Петра Великаго наши привиллегированные классы представляются вполнъ сходными въ своей культуръ съ народными массами, то это потому, что они не успали еще создать своей собственной культуры, въ то время какъ рядомъ существовала высокая цивилизація, вліянію которой они и подчинились. Но тотъ уже фактъ, что привиллегированные классы подчинились вліянію западной цивилизаціи, а насса не подчинилась, показываеть, что эти классы представляли уже нёкоторую особенность сравнительно съ массами, большую умственную гибкость и воспріничивость. Классы эти стояли во время Петра на томъ пути, что не будь вліянія западной образованности, они раньше или позже по своему положенію создали-бы свою особенную образованность и искусственную литературу въ отличіе отъ народной поэзіи массъ. Таково происхожденіе искусственной литературы у всёхъ народовъ. Какъ только привиллегированный классъ выдёляется изъ массы народа и замыкается въ свой кругъ, онъ быстро создаетъ искусственную литературу въ отличіе отъ народной. Литература эта, игнорируя интересами массы, выражаетъ исключительно ту жизнь, которою живеть этоть классь. Но после быстраго процветания такая искусственная литература столь-же быстро падаетъ, потому что скоро исчерпываетъ свой матеріалъ; для поэтическаго творчества необходимы новыя впечатабнія, страстность которыхъ и возбуждаетъ его; а когда жизнь смыкается въ тесномъ кружке въ неизивнныя формы, то поэтамъ только и остается, что въчно пъть одну и ту-же пъсню, которая подъ конецъ всемъ пріедается и делается ругинною пошлостью. Выходомъ изъ такого печальнаго состоянія литературы можеть быть только какое-нибудь живое, народное движеніе, которое размыкаетъ заколдованный кружокъ образованныхъ классовъ, обращаетъ внимание ихъ на интересы массы, на ея нравы, обычан, върованія и поэзію; изъ самой массы начинають выходить пъвцы ея жизни и стремленій. Тогда въ литературъ начинается обратное движение отъ искусственой поэвін къ народной; въ область ся вторгаются новые, живые, свёжіе элементы, характеризующіе собою движенія народныхъ массъ. Такія два противоположныя движенія литературы и зависимость ихъ отъ общественныхъ условій им можемъ отлично прослёдить въ исторіи европейских в литературъ въ средніе въка. У насъ существуетъ ложное понятіе, что будто въ средніе віка дитература западно-европейских в народовъ стояда постоянно на народной почев, что искусственная литература, прервавшая всякую связь съ народною, началась съ эпохи renaissance. Напротивъ того, ны видимъ, что если было когда-либо въ средніе въка господство народной поэзіи, то въ началь только ихъ, во время движеній народныхъ массъ и завоеваній, извъстныхъ въ исторіи подъ именемъ великаго переселенія народовъ. Когда-же народы усибли усвсться на своихъ мъстахъ и повсюду сформировались привиллегированныя, рыцарскія сословія, старинныя эпическія саги и поэмы ділаются достояніемъ простаго народа, да предметомъ монастырской учености, занимавшейся собраніемъ и переписываніемъ ихъ. Въ привидлегированныхъ-же классахъ быстро создается особенная, искусственная литература, изв'ястная подъ именемъ провансальской и романтической. Литература эта, воспъвая подвиги и любовь королей и рыцарей, исключительно терлась при дворахъ и въ замкахъ. Самое название одного изъ главныхъ родовъ этой поэвін "sirventes" (отъ слова servire-служить), то-есть служебныя пъсни, показываеть, какое значение имъла эта позвія и какую роль играли півцы ея-труверы. Отражая въ себъ жизнь, нравы, стремленія рыцарства, ихъ войны, любовь, любезность и придворное остроуміе, ихъ схоластическую ученость, наконецъ даже и либерализиъ, заключавшійся въ порицаніяхъ пороковъ Рима и духовенства, труверы въ то-же время до такой степени игнорировали жизнь и стремленія народныхъ массъ, что въ своихъ пасторетахъ вибсто живыхъ людей изъ народа представляли идиллическихъ пастушковъ и пастушекъ. Провансальская поэзія быстро распространилась по всей Европъ; всъ дворы, всё замки начали подражать ей, подобно тому, какъ впоследствін совершилось такое-же подражаніе въ образованныхъ классахъ Европы французской литературѣ XVIII вѣка. Но если въ другихъ странахъ Европы искусственность провансальской поэзіи соединялась съ подражательностью, то во Франціи и особенно въ Прованст она была самобытнымъ явленіемъ, возросшимъ на своей собственной почвъ, и все-таки она была искусственнымъ цвъткомъ на этой почвъ и после пышнаго процевтанія должна была пасть, потому что кругъ ед былъ слишкомъ узокъ и матеріалъ ея скоро весь быль исчернань. Хватило этого матеріала всего на 200 леть (1090—1290); затемь провансальская поэвія хотя и продолжала существовать, но въчно повторяла одно и то-же въ неизмънныхъ формахъ, съ каждымъ векомъ становясь рутиннее и пошлъе. Хотя провансальскій король Рене въ ХУ въкъ и старался всячески воскресить ее, но безуспъшно; это было послёднимъ сверканіемъ потухающей ланны. Если на своей собственной почвѣ романтизиъ такъ неудержимо палъ, то на чуждыхъ почвахъ, гдф ему подражали, паденіе его было еще неудержимъе. XIV въкъ представляетъ самое жалкое состояние искус-

ственной рыцарской и придворной литературы во всёхъ странахъ Европы. Начавшаяся вслёдъ затёмъ реформація служить точкою поворота для всего умственнаго движенія Европы. Вліяпіе движенія народныхъ массъ на литературу въ эпоху реформація было такъ сильно, что, не смотри на возрожденіе древнихъ искусствъ и увлеченіе ими, въ литературахъ XIV и XV вёковъ мы видимъ сильное и неуклонное стремленіе къ народности, выдвинувшее во всёхъ странахъ Европы писателей чисто-народныхъ. Вотъ какъ прерасно характеризуетъ это движеніе въ Германіи Шерръ въ своей Всеобщей исторіи литературы:

«Потребность поэтического выраженія опять проявилась въ народъ въ то время, когда городское сословіе и народъ получили то соціальное положеніе, которое до XIV и XV стольтій занимало исключительно дворянство; когда войны гусситскія, распри нъмецкихъ городовъ съ разбойничьею шайкою дво-рянъ, славныя побъды Дитмарсовъ на съверъ и швейцарцевъ на югъ Германіи надъ князьями и рыпарями, пробудили демократическое совнание. Историческія народныя пъсни вытьснили рыцарскую поэзію, превратившуюся въ сухое иносказаніе и панегирикъ. Такія пъсни весело раздавались въ предълахъ Голштиніи и въ Альпахъ. Превосходную пъсню сочинилъ Гальбсутерь «Von dem stritt ze Lempach»; Фейтъ Веберъ въ концъ XV стольтія прославляль бургундскія битвы, особенно битву при Муртенъ; къ нимъ можно присоединить и Мугейма съ его «Tellenlied». Нетолько историческая, но и вообще вся жизнь народа отпечативнается въ тогдашней пъснъ. Крестьяненъ пъль за плугомъ о страданіяхъ и радостяхъ своего угнетеннаго состоянія, мельникъ сопровождаль стукотню своей мельницы звучною риемою, ратникъ сокращалъ себъ путь воинственными гимнами и сатирическими пъснями, юноша и дёвушка раскрывали другь другу сердечныя тайны въ пъсняхъ, часто удивительно за-душевныхъ; не отставали отъ нихъ монахъ и монахиня, странствующій ремесленникъ означаль свой приходъ и уходъ въ привътственныхъ и прощальныхъ пъсняхъ, благочестивою пъснію привътствоваль богомолець священныя мѣста, огорченный изливаль въ пъснъ свою грусть, веселый — радость; охотникъ, извозчикъ, нищій, угольщикъ, рудокопъ, пастухъ, садовникъ, виноградарь-всь они выражали въ пъсняхъ все, что ихъ занимало, все, что они испытали и сдёлали въ жизни. Кёмъ сочинены эти пёсни — неизвёстно, и потому о нихъ можно сказать то-же, что о вътръ - мы чувствуемъ ихъ въяніе, но не знаемъ, откуда они проходять и куда уходять. Лимбургская хроника метко характеризуеть эту народную любовь къ пъснъ: она говорить о народныхъ пъсняхъ и приводить такія, «которыя ко всеобщей радости распъвались и насвистывались во всей Германіи». Число историческихъ народныхъ пъсенъ необыкновенно умножилось, когда во времена реформаціи народная жизнь получала все большее и большее развитие и когда политическия событія стали возбуждать все болье живой и ръшительный интересь и въ низшихъ сословіяхъ. Предметомъ ихъ были особенно герои и событія реформаціи и крестьянской войны, раздоры князей между собою и съ императоромъ, итальянскія распри Карна. V и Франциска I и турецкія войны».

Относительно Англіи достаточно упомянуть имя такого титана, какъ Шекспиръ, чтобы ясно и наглядно вид'ять, какое движеніе въ пользу народности произвела въ литературѣ реформація. Особенно заслуживаетъ вниманіе то, что въ одно время съ Шекспиромъ жилъ Бенъ-Джонеонъ, который все время воевалъ съ Шекспиромъ, будучи увлеченъ классическою драмою съ тремя единствами; самъ Шекспиръ не былъ чуждъ нѣкотораго увлеченія классицизмомъ, выразившагося въ его драмахъ явъ греческаго и римскаго міра; но народность взяла перевѣсъ въ трапедіяхъ великато драматурга и громы Джонсона не помъщали Шекспиру быть въ свое время любимцемъ лондонской публики и въ особенности простаго народа.

Во Францію реформація вторглась въ самой своей дурной форм'в кальвинизма и коснулась преимущественно привиллегированных вклассовъ, но и во Франціи новое движеніе умовъ вызвало Рабле, который подготовиль умы своихъ соотечественниковъ къ воспринятію реформаціонныхъ идей, осм'явши своимъ чисто народнымъ, реальнымъ см'яхомъ все старое общество съ его харжествомъ, сколастикой и напыщенною неестественностью романтизма.

Даже въ Испаніи, гдё реформація была потушена въ своихъ зачаткахъ, появился Сервантесъ— и осмѣляль падающее рыпарство съ его истощенною литературою. Но значеніе Допъ-Кихота заключается не въ одномъ смѣхѣ, а и въ тѣхъ чисто-народныхъ элементахъ, которые внесъ Сервантесъ въ свой романъ въ оппозицію выдохиемуся содержанію романтической литературы.

IV.

Совершенно такое-же явленіе мы можемъ прослідить въ нашей жизни за последние 200 леть. Отчужденность нашихъ образованныхъ сдоевъ отъ народныхъ массъ была столь сильна, что не такъ давно еще подъ словомъ "русское общество" разумълось небольшое иеньшинство народа, нсключительно образованный слой его, а подъ словонъ "русская жизнь" ... разумѣлась жизнь этого слоя. Все, что не принадлежало къ этому меньшинству, какъ будто не существовало, все это крестилось общинъ именемъ "подлой черни, грубой нассы, мертваго прозябанія". Когда литература наша послъ упадка новаго романтизма встала на реальную почву, начала изображать окружающую ее жизнь, она занялась изображениемъ жизни и нравовъ одного образованнаго меньшинства, въ средъ котораго вращалась. Когда появились на сцену Онъгины, Печорины, Рудины, Лаврецкіе и проч., тогда по этицъ именамъ начали судить и умозаключать о жизни и характеръ не только русскато человъка вообще, но даже всего славянскаго племени, какъ-будто все славянское илемя состояло въ то время изъ нѣсколькихъ тысячъ говоруновъ, читавшихъ Гегеля отъ нечего дёлать. Правда, иногда наши писатели 30-хъ годовъ выводили на сцену личности изъ простаго быта (Полевой, Лажечниковъ, Загоскинъ, Вельтианъ), но эти личности или похожи были скорте на аркадскихъ пастуковъ и настушекъ, чёмъ на живыхъ людей, или это были жалкія пародін на мужиковъ, въ которыхъ народъ продолжалъ играть ту шутовскую роль, которую играль онъ въ глазахъ высокообразованныхъ предковъ нашихъ XVIII ст., дюбившихъ похохотать надъ смёшнымъ невёжествомъ подлой черни.

Литература могла ограничиваться такою исключительностью до тёхъ поръ, пока интересы меньшинства, въ средъ котораго она вращалась, не выходили изъ его замкнутаго круга. Но когда они расширились, когда на первый планъ встали вопросы о судьбё той самой массы, о которой прежде рёдко кто помышлялъ, литература не могла болёе сосредоточиваться въ своемъ узенькомъ міркѣ, она должна была заняться изученіемъ жизни и нравовъ той самой массы, которою прежде она такъ гнушалась. Отсюда естественно возникло стремленіе литературы къ изученію народа во всёхъ его слояхъ и проникновеніе интересами народа.

Первыми нашими изучателями народнаго быта были, конечно, славянофилы. Но для того, чтобы изучать что-нибудь, надо приступать къ предмету изученія, какъ къ сырому, невъдомому матеріалу, безъ всякихъ предваятыхъ теорій и предразсудковъ. Въ этомъ заключается истинный реализмъ всякаго изученія. Таковы-ли были наши первые изучатели? Нътъ, они шли изучать народъ съ заранъе уже а priori задуманными инвніями о немъ. У нихъ въ головь сиделъ идеалъ русскихъ богатырей, готовыхъ закидать шапками гнилую Европу, и они шли поучаться у геніальнаго народа неизрѣченнымъ глаголамъ. Вслѣдствіе подобныхъ заранже составленныхъ предубъжденій, они умилялись, прислушиваясь къ каждому слову, произнесенному простолюдиномъ, и повсюду открывали доблести русскаго духа и чудеса русской геніальности. Это возведение въ идеалъ народной жизни, какова она есть, безъ всякаго анализа ея, послужило оправданіемъ всевозможнаго обскуратизма во имя народости: Рядонъ съ дъйствительными, реальными симпатіями и антипатіями народа, выходящими изъ различныхъ условій его быта и отношеній его къ разнымъ слоямъ общества, существуетъ у народа рядъ предразсудковъ, выработанныхъ исторією; предразсудки эти давно отжили, народъ не особенно ими и дорожитъ, заявляетъ нередко даже и протесты противъ нихъ, но масса продолжаетъ держаться ихъ по старой рутинъ. Очень часто случается и такъ, что свои реальныя симпатіи или антипатіи народъ облекаетъ въ разныя веткія формы своихъ предразсудковъ. Такъ, онъ начинаетъ особенно чествовать и чуть не обоготворяеть личности, которыя дъйствовали въ его пользу; напротивъ того, въ личностяхъ, ненавистныхъ ему по тому злу, которое онъ производили, онъ видить или нехристей, измънившихъ православной въръ, или злыхъ колдуновъ, продавшихъ душу чорту, и даже антихристовъ. Вибсто того, чтобы отделить реальныя симпатіи и антипатіи народа отъ призрачныхъ, наши поклонники народности не только что смѣшиваютъ безраздично все это въ одну массу, но очень часто въ призрачныхъ симпатіяхъ и антипатіяхъ именно и видять всю суть народныхъ стремленій. Такъ, наприміръ, самъ по себі народъ нисколько не чуждается западной образованности; едва только позволяеть достатокъ, простолюдинъ не прочь обзавестись разными заморскими диковинками и даже переменить свою сермягу на европейскій костюмъ; народъ нисколько не чуждается иностранцевъ, если они являются передъ нимъ не въ видъ нъмца-управителя фабрики или имънія; посмотрите вы на русскихъ матросовъ, которые зачастую братаются и ньють вивств съ англійскими и голдандскими матросами. Но тотъ-же самый народъ недовърчиво смотритъ на каждаго образованнаго человека.

носящаго европейскій костюмъ. Такая недов'єрчивость происходить изъ причинъ саныхъ реальныхъ, въ родё разныхъ сословныхъ предразсудковъ, основанныхъ на отжившемъ уже крепостномъ праве; нашимъ-же поклонникамъ народности кажется, что народу не нравится, зачёмъ это образованные люди одёваются по-европейски, читаютъ иностранныя книги, водятся съ иноземцами, зачемъ они не носять бородъ, не пьють квасу и не парятся на полкъ въ банъ, зачънъ они, однимъ словомъ, измѣнили русскимъ народнымъ обычаямъ и нравамъ и увлеклись иноземщиной. Если всь эти причины возбуждали въ народъ вражду, то это было уже очень давно, при Петръ I, 200 лъть тону назадъ. Въ эти 200 лътъ насса народа если и не успъла еще пріобръсти никакой образованности, то, во всякомъ случав, хоть на одинъ куриный шагъ подвинулась впередъ сравнительно съ массой временъ Петра I; нодвинулась настолько, что не смотритъ уже, какъ на измънника православной въръ, на человъка, бреживато бороду и ходящаго въ сюртуке, и если до сихъ поръ еще сохраняются среди раскольниковъ такіе изувѣры, то сами раскольники въ большинствѣ начинаютъ смотреть гораздо снисходительнее и на иностранные обычаи, и на самихъ иностранцевъ.

Нагляднымъ примѣромъ возведенія въ идеалъ разныхъ народныхъ предразсудковъ могутъ служить повъсти Кохановской. Писательница эта обладаетъ замѣчательнымъ талантомъ и знаніемъ народной жизни, и тъмъ болъе становится жалко, что, пойдя по ложной дорогъ, она погубила свой талантъ, который могъ-бы принести большую пользу. Возьмите вы какую угодно новъсть ея, и рядомъ съ истинными и несомитьными фактами народной жизни, вы увидите пошлыя и вопіощія натяжки для того, чтобы подвести эти факты подъ славянофильскія тенденціи и пропитать ихъ запахомъ деревяннаго маслица.

Возьмите вы, напримъръ, повъсть ея "Послъ объда въ гостяхъ". Въ этой повъсти всего ярче выступаютъ передъ вами съ одной стороны живые факты народной жизни, а съ другой неестественный, очевидно придуманный конецъ повъсти для того, чтобы возведичить такъ-называемыя народныя начала и совершить передъ ними земной поклонъ. Въ повъсти этой писательница описываеть быть захолустнаго города XVIII стольтія, когда подобные города мало еще чыль отличались отъ деревень, когда по улицамъ ихъ водили еще хороводы. Героннею является Любовь Архиповна, девушка съ характеромъ сильнымъ, живымъ, натура художественная, удалая. Сюжеть самый простой и общенародный. Дъвушка любитъ молодаго, но бъднаго горожанина Чернаго, а мать приневоливаетъ ее выходить замужъ за стараго и некрасиваго коммиссіонера. Здёсь вы найдете нёсколько сценъ, въ которыхъ чрезвычайно живо и вполив въ народномъ духѣ представленъ протестъ молодой жизни противъ вла и насилія, тубящаго эту жизнь. Когда Любовь Архиповну пов'внчали съ противнымъ ей коммиссіонеромъ, ей захотълось отпраздновать въ последній разъ праздникъ молодости:

«Ну, какъ и тебъ сказала, матушка, что сердце у меня закаменью, говорила она:—такъ оно у меня и осталось. На мужа-то и не гляжу и не вижу его;

матушка мнѣ какъ чужан стала, одно только то, какъ погляжу на сеетеръ, кажется бы и имъ душу свою горькую отдала! Вотъ-то положили намъ на автра выбажать, и говорю послѣ объда матушкѣ: «Утонили вы мою голову на вѣки-вѣчиме; пусть же и въ послѣдній разъ огланусь на свою радоеть дѣвическую, на долю мою молодую безвозвратную. Идите себъ, куда знаете, на вечеръ и его берите съ собою. Чтобъ его духу тутъ не было. Я хочу проститься съ своими».

— Что же матушка?—спросила я. — Да ничего,—сказала Любовь Архиповна. Она

Да ничего, сказала Любовь Архиповна. Сна стала тихая такая, да смирная; все на меня смотрить. «Любаша моя, Любаша! Ну, Богь съ тобой, говорить, дёлай, какъ знаешь! Развё я тебё худа желаю?».

— То-то до добра и довели, говорю. Берите же его съ собою, чтобъ мои глаза его хоть съ часъ мъ-

ста не видали.

— А онъ, Любовь Архиповна?—спрашивала я.

Что онъ, матушка? Мић о немъ и заботы не
бымо. Я и звать-то его иначе не называла, какъ
ома, да ею «Что жъ! говорю, развѣ вы все будете
такъ за мною слъдомъ ходитъ! Идите сеоѣ съ матушкою, а и останусь свой поелъдній пиръ пировать. Вы со мною не жили, дъвичьей моей доли и
воли вы не дълили, стало вамъ нечего и быть тутъ,
какъ и стану прощаться со всѣмъ тъмъ». Попласия
онъ, матушка, а и протопопскимъ барышнимъ велъла
сказать, чтобъ онъ, черезъ сноего философа, всѣхъ
нашихъ господъ оновъстили, что и всѣхъ жду свой
послъдній пиръ пировать».

Загънъ слъдуетъ сцена этого пира, по истинъ трагаческая. Страшно щемитъ за сердце хороводъ и пляска молодыхъ людей, въ то время, какъ у всъхъ на сердцъ скребли кошки.

«Я подъ собою земли не слыхала, говорила Любовь Архиповна. Никогда въ жизни, ни прежде, ни послѣ звонче не пѣвала и не плясала такъ... Я будто: и пріустану немного, и хороводъ словно начнеть ослабвать у насъ, такъ нѣтъ! Черный, какъ зальется, засвистить съ стиха и громче своимъ голосомъ—й словно онъ силою какою могутною двинеть насъ! Опять хороводъ ожилъ, встрепенулся, и я пошла съ нимъ, съ Чернымъ, въ одиночку плясатъ...

— Наконець, матушка! сказала Любовь Архиповна:—отплясала я всъ свои пляски и перепъла всъ мои пъсни. Начала было эту послъднкою

> Изъ-за лѣса, лѣса темнаго Въметало стадо лебединое, А другое—гусеное. Отставала лебедушка Проть отъ стада лебединаго, Приставала лебедушка Что ко стаду ко сърыхъ гусей...

И такъ дальше: что отставала такая-то прочь отъ красныхъ дъвушекъ и приставала она къ молодымъ молодушкамъ, я, матушка, не кончила. «Будетъ го-ворю, пёсня кончена... Попрощаемся, мои барышни, на разставаньи. Гдё я съ вами пёла и плясаля, тамъ вы меня обнимите и отпустите отъ себя, мои бълыя лебедушки»! И еловно съ меня силу мою всю какъ рукой сняло. Прислонилась я къ дереву, чтобъ устоять мив... И дерево это, я какъ сейчасъ помню, большая верба у матушки середи двора была. Мы ее сколько разъ обхватывали въ короводъ, а еще плисать подъ нею такъ чудно было. Вътки большія всё въ инеё, наклономъ наклонились: мы какъ двинемъ подъ нихъ хороводъ и зальемся нашею пъснею, такъ вся верба шорохомъ шорохается и сверху инеемъ осыпаетъ насъ... Такъ вотъ къ вербъ-то своей я прислонилась, матушка, и стою, не двигаюсь. Баришни всъ, одна по одной, подошли ко мнъ, попъловали меня, и всякая мнъ нив-

во поклонилась. Я имъ слова некакого не молвлю, стою, поглядёла вокругь по одну сторону, онё отошли, стоять, мон голубочки, по другую сбились въ кучу наши добрые молодцы... «Ну-те; а вы же что? говорю, развъ я вамъ не хорошо пъсни пъвала, или не весело плисала съ вами, что, таковы молодцы, вы и попрощаться со мною не хотите»? Черный, матушка, слова не сказаль, подошель первый ко мив; наклонился, крыпко поцыловаль меня, а слезы у него какъ брызнуть, такъ и задали миѣ лицо... Я посмотрѣла ему вслѣдъ. «Прощай, добрый молодецъ»-говорю, онъ и не оборотился; пошель прямо къ воротамъ и только назадъ рукой махнулъ. Такъ они всё подошли ко мнё и попрощались со мною. Философу нашему последнему пришель чередь. Онъ и приступиль ко миж; но видно, взгланувши на меня поближе, какъ всплеснулъ руками. «Ахъ, братцы мон, сестрицы голубочки! завопиль голосомъ: Любовь Архиповна совстмъ умираеть.»-«Не бось, сказала я. Еще поживу, и пошла отъ него въ домъ».

Такъ совершилось одно изъ техъ наглыхъ, гадкихъ, безчеловъчныхъ убійствъ полодой жизни, убійствъ, которыя совершаются на каждомъ шагу совершенно безнаказанно во имя такъ называемой старческой опытности и желанія блага своимъ дітямъ. Что же оставалось более делать Любовь Архиповие, какъ не увядать въ тяжкой неволь, и что оставалось писательниць, какъ не закончить этимъ старую и въ то же время въчно новую исторію? Но писательницъ вздумалось во имя христіанскихъ идей мало того, что оправдать, -- чуть не обоготворить дело, въ которомъ не только и тени не было чего-либо христіанскаго, но и вообще человъческаго. Далъе она разсказываетъ, какъ Любовь Архиповна долго жила съ мужемъ, будто съ чужимъ, не говоря съ нимъ ни слова и не глядя на него, и потомъ вдругъ ни съ того, ни съ сего подъ обаяніемъ свътлаго праздника нашла на нее божественная благодать, она умилилась, залилась сдезами, кинулась на шею къ мужу, облобызала его и-полюбила!... Вотъ что называется ткнуть пальцемъ прямо въ небо! Что-же остается, прочтя повъсть Кохановской, какъ не преклониться передъ народными началами, которыя совершають такія неизріченныя чудеса!... И вотъ такія прелести вы найдете въ каждой повъсти Кохановской. И чемъ болье писала она, темъ более и более подливала деревяннаго маслица въ свои повъсти; наконецъ дописалась она до "Недавней встречи", въ которой уже неть ни образовъ. ни лицъ, а вы найдете цёлый потокъ мистическихъ разглагольствованій о суеть міра сего въ духь "Переписки съ друзьями" Гоголя. Такъ палъ талантъ поистинъ замъчательный, и не мудрено: даже такой геніальный таланть, какъ Гоголь, и тоть погибъ, едва вступилъ на этотъ путь.

IV.

Но, рядомъ со всёми этими заблужденіями, опошлившими стремленіе литературы къ народности, въ 40-хъ и 50-хъ годахъ уже начали появляться время отъ времени попытки изучать быть народный и вывоводить на сцену людей изъ разныхъ слоевъ общества виолит реально, не какъ образцы величія русскаго духа и не въ видё гороховыхъ шутовъ для праздной потёхи, а какъ живыхъ людей, имбющихъ свои достоинства и пороки, радости и страданія. Всё писате-

ли того времени: Тургеневъ, Писемскій, Островскій, Григоровичъ заплатили свою посильную дань этому новому направленію дитературы. Правда, эти первыя попытки были крайне несовершенны; если некоторыя изъ нихъ и высоко стоятъ по своей чистой художественности, то во всякомъ сдучав далеко не представляють того глубокого знанія народной жизни, какое требуется отъ русскаго писателя. Вы видите по этимъ попыткамъ, что писатели приступаютъ къ предмету, который до тахъ норъ быль совершенно чуждъ имъ н который они только-что начинають изучать. Вследствіе плохаго знанія жизни, которую берутся они изображать, они часто вносять въ нее элементы той жизни, которою самиживуть и которая хорошо имъ знакома. Вы можете въ этомъ обвинять тъ обстоятельства, которыя довели нашихъ писателей до такого исключительнаго, замкнутаго состоянія, что имъ быль знакомъ одинъ только маленькій уголочекъ русской жизни. Но не будемъ обвинять въ этомъ самихъ писателей; не будемъ упускать изъ виду того, что одного желанія изобразить жизнь какую-либо мало: надо еще знаніе этой жизни; а для знанія нужно изученіе, а изученіе дается только временемъ и обстоятельствами, способствующими къ этому. Не могли-же писатели наши сразу, какъ только захотели, изображать ее во всей глубинъ. Во всякомъ случаъ, им должны быть благодарны писателямъ, сдёлавшимъ первую попытку изображать народъ, какъ живыхъ людей, безъ излишняго поклоненія и безъ высоком врно-презрительнаго отношения къ нему.

Но и въ этомъ ряду первыхъ попытокъ, мы видимъ уже степени большаго или меньшаго знанія народной жизни, Такъ, напримъръ, крестьяне въ "Запискахъ охотника" Тургенева являются болье похожи на дъйствительныхъ крестьянъ, чёмъ въ романахъ Григоровича. "Подлиповцы" Решетникова, очерки Левитова, "Торговая Волга" Зарубина, "Поречане" Помяловскаго, "Записки изъ Мертваго дома" Достоевскаго, очерки В. Слепцова, Н. Успенскаго, П. Якушкина, Марка-Вовчка и иногія другія произведенія современной литературы представляють новыя явленія въ этомъ родъ. Но, несмотря на относительную върность изображенія народнаго быта, всё упомянутыя нами произведенія далеко еще не могутъ быть названы народными. Для того, чтобы писателю сделаться народнымъ, необходимы нъкоторыя особенныя условія, о которыхъ мы теперь поговоримъ.

Когда челов'яху представляется рядъ разнообразныхъ предметовъ для изученія, и челов'якъ начнетъ изучать ихъ, то очевидно, что первое вниманіе его будеть обращено на разные конкретные подробности и факты, особенно выдающіеся; челов'якъ начинать вглядываться въ каждый предметъ отд'яльно и каждый предметъ изучать безъ связи его съ другими предметами. Зат'ямъ мало-по-малу начинаютъ слагаться въ ум'я челов'яка первыя обобщенія и классификаціи предметовъ, и то поверхностныя, шаткія и нев'ярныя. Такимъ путемъ шли вс'я науки, начиная описаніемъ конкретныхъ фодной жизим путемъ идетъ и наше изученіе народной жизим стоятъ еще на степени бол'яе или мен'яе конкретныхъ изображеній. Писатели наши беруть обыкновенно какой-нибудь уголокъ народной жизни, подиъченный въ жизни фактецъ, и этоть фактець или представляють читателю, какъ онъ есть, въ сыромъ виде, или разомъ подводять подъ какой-нибудь общечеловъческій законъ жизни. Такія изображенія народной жизни очень напоминають описанія разныхъ отдільныхъ травъ въ старинныхъ лечебникахъ, безъ всякаго стремленія обобщить эти травы въ различныхъ классификаціяхъ. Чтеніе подобныхъ очерковъ для человъка, незнакомаго съ народною жизнію, очень похоже на разсматриванье въ микроскопъ листочка въ то время, какъ не только что не имъещь никакого понятія о родахъ и видахъ растеній, но не знаешь, съ какого дерева сорванъ листокъ. Сиотришь въ микроскопъ, ну и ничего, любопытно; а перестанешь смотрёть; что останется въ голове? конкретный, безсвязный образъ листка, какъ онъ представлялся

твоему глазу подъ микроскопомъ.

Въ этомъ отношении на низшей ступени знанія народной жизни мы должны поставить Н. Успенскаго. Писатель этотъ въ своихъ очеркахъ представляетъ ту степень знанія, на которой человікь не имбеть еще никакихъ понятій о тъхъ предметахъ, которые онъ наблюдаетъ; передъ нимъ представляется пестрая сийсь конкретных виденій, и онъ каждое разсиатриваетъ отдельно, безъ связи съ другими, обращая вниманіе на одну внішность наблюдаемых предметовъ. Большинство очерковъ Н. Успенскаго представляется случайно-схваченными изъ жизни сценками и анекдотиками: какой-нибудь разговоръ на постояломъ дворъ, разсказъ провзжаго мужика, купца или бабы-все, что удалось Н. Успенскому мелькомъ увидъть или услышать-все это онъ такъ и передаетъ, какъ оно есть. Ограничиваясь фотографическими снимками случайных сценъ жизни, Н. Успенскій думаетъ, можетъ быть, что онъ этимъ вполна выполнилъ задачу реализма. Но если реализмъ требуетъ, чтобы художникъ изображаль жизнь, какъ она есть, то изъ этого вовсе не следуеть, чтобы онь допускаль художнику теряться въ масст конкретныхъ фактовъ. Обобщать эти факты, изследовать ихъ причины и следствія, переходить къ общинъ условіямъ отъ частныхъ явленійвоть чего требуеть реализмъ, какъ отъ науки, такъ и отъ искусства. И въ этомъ отношении разбираемые нами очерки стоять на самой низшей ступени реальнаго изученія быта народа, такъ сказать, передъ самымъ входомъ въ это зданіе. Во-первыхъ, вы видите въ разсказахъ Н. Успенскаго полное отсутствие того, что называется тинами. Когда писатели наши начинають изображать хорошо извёстный имъ быть образованныхъ слоевъ общества, посмотрите; какъ тщательно стараются они обрисовать различные характеры своихъ героевъ, какъ тонко анализируютъ каждый психическій оттінокъ, каждое біеніе чуть замітной жилочки, и все это съ: пълію представить вамъ въ своемъ геров общій типъ цвлой массы людей подобнаго рода. Посмотрите, какъ заботливо старается очертить въ своемъ разсказъ "Саша" тотъ-же Н. Успенскій молодую дівунку, которую родители приневоливають идти замужъ за немилаго, какъ силится онъ представить трагическую борьбу, совершающуюся въ дущ'в его героини. И тотъ-же Н. Успенскій, когда дъ-

ло насается простого народа, не идетъ въ своей обрисовкъ далъе пестрой сиъси мужиковъ и бабъ. Иногда, чтобы отличить одного героя отъ другого, писатель одному пожалуетъ рыжую бороду, другому-черную, третьему-приставитъ какую-нибудь уродливую шишку къ виску, четвертаго — заставитъ повторятъ на каждомъ словъ какую-нибудь поговорку-и виъшность готова. Затемъ, каждый мужикъ непременно или воръ, или пьяница, или такой дуракъ, какого и свътъ не производилъ; каждая баба — такая идіотка, что ума помраченіе. Далве следуеть подборь фактиковъ, сценокъ и анекдотовъ для того, чтобы показать, какъ русскій мужикъ нев'яжественъ, дикъ, см'ящонъ, какъ онъ загнанъ, забитъ, какъ тонетъ онъ въ грязи невъжества, суевърія, пошлости. Забитость, тупоуміе, отсутствіе всякаго человіческаго образа и подобія въ герояхъ Н. Успенскаго одуряють васъ, когда вы читаете очерки его. Вы видите передъ собою людей, которые въ жизни своей ничемъ более не руководствуются, какъ только грубою, скотскою чувственностью, ни къ чему не стремятся, какъ только къ тому, чтобы нажить копъйку или спустить ее въ кабакъ; да и въ этихъ стремденіяхъ, что шагъ ступять они, то сдівлаютъ какую-нибудь невообразимую глупость.

Я вовсе далекъ отъ того, чтобы идеализировать русскаго мужика, какъ это пълаютъ славинофилы. Я согласенъ съ Н. Успенскикъ, что мужикъ забитъ, загнанъ, что онъ невъжественъ и суевъренъ; но въ то же время, я убъжденъ, что какъ-бы ни былъ человъкъ задавленъ, на какой-бы низшей степени образованности онъ ни стоялъ, в все-таки онъ человъкъ—и все-таки онъ страдаетъ, если къ нему относятся не почеловъчески, и эти страданія, такъ или иначе, въ томъ или другомъ видъ, а заявитъ себя. Если наши бабы дъйствительно безъисходно тупоумны до такой степени, что въ нихъ и тъни нътъ чего-либо человъческаго, то какіи-же это женщины создали пъсню такого рода:

Ахъ кабы на цвёты не моровы, И зимой бы цвёты равцвётали; Ахъ кабы на меня не кручина, Ни о чемъ бы то я не тужила, Не сидёла бы я подпершися, Не глядёла бы я въ чисто поле. И я батюшкё говорила, И я свёту своему доносила: Не давай меня, батюшка, замужъ, Не давай, государь, за неровню, Не мечись на большое богатство, Не гляди на высоки хоромы: Не съ хоромами жить мнё, —съ челоемом»; Не съ богатствомъ жить мнё, —съ совътомъ

Конечно, если мы будемъ искать въ жизни простаго народа однихъ такихъ элементовъ, которые создаютъ подобныя пъсни, то мы придемъ къ той идеализаціи народнаго быта, при которой намъ только и останется, что почивать въ нъмомъ благоговъніи передъ народ- і ными началами; но если такая идеализація ведетъ къ застою, то съ другой стороны отрицаніе всякихъ человъческихъ элементовъ въ простомъ быту ведетъ къ тому же самому. Во имя чего же и возможенъ протестъ противъ произвола и насилія, какъ не во имя тъхъ человъческихъ элементовъ, которые страдають отъ этого. Вамъ не придетъ въ голову возмущаться про-

тивъ столяра, заченъ онъ жестоко обращается съ деревомъ, долбитъ его долотомъ и терзаетъ на части, но вы возмущаетесь, когда истязають лошадь. Въ последнемъ случат протестъ возбуждается не темъ только, что передъ вашими глазами происходить факть истязанія, а тімь, что оть этого истязанія страдаєть существо, надъ которымъ производять это дъйствіе. Страдающее существо первое заявляеть протесть противъ причиняемаго ему зла криками или стонами. Вследствіе этого члены общества покровительства животныхъ требують, чтобы хорошо обращались съ животными, но имъ и въ голову не придетъ протестовать, зачёмъ лошадь не пользуется полною равноправностью со своимъ хозянномъ. Они знаютъ, что въ лошади, когда она стоитъ въ конюшит передъ стойломъ, ни разу не шевельнется горькаго чувства, что вотъ ее, которая такъ върно служитъ хозяину, и на порогъ его комнатъ не пускають; если бы въ лошади хоть разъ могь проявиться подобный протесть, онъ навърное нашель бы отзывъ въ тысячъ сердецъ. Что особенно поддерживало у насъ кръпостное право, какъ не то вкоренившееся въ массъ образованныхъ людей инвніе, что русскій мужикъ-почти что безсловесное, лінивое, пьяное животное, что надъ нимъ можно дёлать, что угодно, что безъ розогъ съ нимъ нельзя обходиться, что розги причиняютъ ему одну физическую боль, но нисколько не действують на его загрубелую нравственную природу, что мужикъ нисколько не возмущается противъ своей неволи, что, напротивъ того, онъ пропалъ бы, еслибы его освободили, какъ грудной младенецъ, брошенный на улицу. Въ чепъ же должна заключаться цёль реальной поэзіи, какъ не въ томъ, чтобы, изучивши быть народа, проникнуть въ сердце простого челов'яка, на самой низшей степени развитія уловить крикъ и протестъ противъ неправды и выставить этотъ крикъ на первый планъ, какъ доказательство того, что какъ бы ни былъ невъжественъ мужикъ, а онъ все-таки человъкъ и, какъ человъкъ, имъетъ право на всъ человъческія блага. Тургеневъ, Григоровичъ и Писемскій-въ былое время, когда они были еще молодые писатели, стояди на этомъ пути и старались изучать челов ческие элементы въ быт в простого народа. Н. Успенскій, хотя и цёлымъ поколініемъ моложе ихъ, но видно сильна во всёхъ насъ старая закваска, и горе тому писателю, который добросовъстно, старательно не поработаетъ надъ изученіемъ народнаго быта, а будеть дёло дёлать спустя рукава, и не потревожить своихъ высокоразвитыхъ мозговъ, чтобы подумать, какъ недалеко отошелъ онъ отъ своихъ отцовъ и дедовъ, если продолжаетъ ничего не видёть въ нужикахъ, кроит безсловесныхъ скотовъ и олуховъ. Немного нужно было подумать Н. Успенскому, чтобы понять, какимъ обоюдоострымъ оружіемъ играетъ онъ. Прочтите разсказы "Хорошее житье", "Зиви", "Поросенокъ" и многіе другіе; Н. Успенскій рисуеть въ этихъ очеркахъ тупоуміе и отсутствіе всякаго здраваго смысла въ мужикахъ для того, чтобы внушить вамъ, до какого печальнаго положенія доведень мужикь крипостнымь правомъ. Но факты, выставляемые имъ, могутъ служить отличными доказательствами необходимости того же самаго крѣпостнаго права. Приверженцы крѣпостничества на такіе именно факты и опираются въ своихъ доводахъ въ пользу крѣпостнаго права, и очерки Н. Успенскаго могутъ доставить отличный матеріалъ для нихъ; они еще болѣе убёдятся, прочитавши эти очерки, что крестьяне, иредоставленные самимъ себѣ, погибнутъ по своей глупости, чутъ-что не съёдятъ другъ друга. "О какомъ же тутъ народномъ самоуправленіи толкуете вы, возразять Катковъ или Скарятинъ, прочитавши разсказъ Н. Успенскаго "Хорошее житъе": коли вы сами ничего не видите въ мірской сходкѣ, кромѣ взаимнаго разоренія крестьянъ

посредствомъ опитія другь друга?"

Что такіе факты существують, что ихъ слёдуеть выставлять, какъ печальныя слёдствія всей прошлой жизвин нашего крестьянства, я нисколько противъ этого не спорю, но рядонъ съ этими фактами писатель обязань выставить факты другаго рода, которые показали бы, что самоуправленіе въ средё народа возможно и необходимо. Этихъ фактовъ въ очеркахъ Н. Успенскаго нётъ; онъ ихъ не знаетъ; онъ не позаботился изучить ихъ; онъ не пошель далёе рутиннаго, пошлаго взгляда на мужика, какъ на осиновый чурбанъ, и этотъ взглядъ не замедлилъ привести Н. Успенскаго къ такимъ воззрёніямъ, которыя ставять его солидарнымъ съ тенденціми "Вёсти". Такъ; въ свочхъ "Деревенскихъ письмахъ" Н. Успенскій вдругъ, ни съ того, ни съ сего, разражается слёдующею тирадою:

"Бѣдность и невѣжество русскаго крестьянина привели его къ тому, что онъ очень часто не цѣнитъ своего собственнато труда; но виѣстѣ съ тѣмъ онъ не цѣнитъ и чужаго труда; онъ не имѣстъ понятія ни о правахъ собственныхъ, ни о правахъ другой личности. Для него условій и законось гразюданской жизни

не существуеть!"

Подобная тирада—совершенно въ скарятинскомъ духѣ—какъ-то странно бъетъ въ глаза средистатъи, въ которой вы найдете много върныхъ замъчаній и наблюденій. Появленіе подобнаго пошлаго приговора свысока только и можно объяснить, что поверхностнымъ взглядомъ на предметъ, о которомъ пишетъ писатель, недостаткомъ основательнаго изученія предмета и полнымъ отсутствіемъ хотя малъйшаго напряженія мысли.

Неизмѣримо выше, если не по знанію народной жизии, то по таланту стоить В. Ал. Слепцовъ. Какъ писатель талантливый, В. Ал. Слепцовъ далекъ отъ высказыванья такихъ пошлостей, до какихъ додунывается порою Н. Успенскій. Отношеніе его къ народу гунаннее, по крайней мере, въ томъ смысле, что въ очеркахъ его на первомъ планъ стоитъ не безпъльное обличение пресловутаго "невѣжества мужика", какъ у Н. Успенскаго, а стремление показать, въ какихъ отношеніяхъ стоитъ къ крестьянину нашему администрація, совершенно чуждая быту его. Но въ очеркахъ В. Слепцова вы видите тоже отсутствие типовъ н исихическаго анализа, какъ и у Н. Успенскаго, тоже ограничение случайными сценками, мелькомъ схваченными на большой дорогъ. Отношенія администрацін къ быту крестьянина-это громадный вопросъ, который требуеть глубокого изученія народнаго быта; не забудьте, что этими отношеніями обусловливается

не одно комическое, но и глубоко трагическое въ жизни крестьянина. В. Слепцовъ ограничился одною комическою стороною; да и для характеристики этой комической стороны В. Слепцовъ выбираетъ постоянно такіе рідкіе, случайные факты, которые иміють почти анекдотическій характеръ: то онъ выставить вамъ мужика, который заплатиль деньги писарю, чтобы его поскорве высекли (см. "Ночлетъ", Р. Оч. Сц. Сл. ч. І, стр. 155), то онъ изобразить вамь, въ какой просакъ попались крестьяне при встръчъ высокой особы по случаю негодныхъ свиней, испутавшихъ лошадей особы (разсказъ "Свиньи"), то онъ разсмѣшитъ васъ, представивши, какъ крестьяне пьянаго принялизамертваго и что изъ этого вышло ("Мертвое тѣло"). Все это преисполнено комизма; вы хохочете, читая повъсти В. Слъпцова, но далъе смъха не идете: Факты, выставляемые В. Слепцовымъ, или слишкомъ мелочны, или слишкомъ случайны, чтобы заставить васъ серьезно задуматься надъ ними, и темъ более, что гоняясь слишкомъ за комизмомъ, въ которомъ и безъ того нътъ недостатка у В. Слещова, инсатель впадаеть на каждомъ шагу въ явную утрировку, вследствие которой очерки его еще болбе теряютъ въ значени истинныхъ фактовъ народнаго быта. Такую утрировку вы видите, напримъръ, въ разсказъ "Свиньи", гдъ В. Слъпцовъ заставляеть крестьянь върить, что будуть тэдить на людяхъ, и разсказываетъ, какъ подъ вліяніемъ этихъ слуховъ, бабы начали бить горшки и всякую посуду. Что народъ, даже и не крестьянскій, а нісколько повыше, способенъ повърить всякому слуху, какъ бы онъ ни быль нелёнь, это не редкость, но есть всему извъстная мъра, и битье горшковъ бабами прибавлено писателемъ, повидимому, ни для чего иного, какъ ради краснаго словца. Столь же пересолена въ "Мертвомъ теле" та сцена, где мужики въ первый разъ увидели инимаго мертвеца воскресшимъ и явившимся къ нимъ среди дороги, и не ръшаются подойти къ нему. Я полагаю, что крестьянамъ такъ часто приходится имъть дъло съ опившимися до полусмерти, что такое явленіе не составляетъ для нихъ особой новости; они порядки эти отдично знають, и первое, что естественно могло придти имъ въ голову послѣ изчезновенія покойника-это скорте всего то, что мнимый покойникъ былъ просто слишкомъ выпившій и потойъ отрезвившійся человекъ. Къ тому же писатель опустилъ тотъ простой факть, что суевърный страхъ разыгрывается преимущественно ночью и въ одиночествъ, днемъ же и въ толив онъ далеко не можеть иметь такого характера, какой вы видите въ разсказъ. Комедія немного потеряда бы сивхотворнаго эффекта, еслибы писатель выбросиль всё разсужденія о ходящихь покойникахъ, которыя туть вовсе не къ мъсту, но за то выиграла бы въ естественности развитія сюжета.

v

6. Рѣшетниковъ, хотя не обладаетъ и половиною таланта В. Слѣпцова, но за то относится къ своему дѣлу гораздо серьезнѣе. Въ своихъ "Подлиповцахъ" онъ рисуетъ бытъ восточныхъ нашихъ инородцевъ. Пюди эти стоятъ на степени развитія неизмършио нившей, чѣмъ всё неепъмесственные мужими Н. Успенскаго; у нихъ до сихъ поръ еще сохраняется фетишизмъ въ самой грубой его формъ; они болъе звъроловы, чёмъ земледёльцы; они и не подозрёваютъ о существованіи кіра далье ихъ деревни; имъ и въ голову не приходить, что они живуть въ огромномъ и благоустроенномъ государствъ. О. Ръшетниковъ не утаиваетъ ихъ дикости, невъжества, и здъсь вы дъйствительно видите людей, для которыхъ, по выраженію Н. Успенскаго, условій и законовъ гражданской жизни не существуеть. Но выставляя цъдый рядъ комическихъ положеній, въ которыя становятся герои этого быта-Пила и Сысойка, О. Решетниковъ не забываеть, что онъ имбетъ дбло не съ осиновыми чурбанами, а съ людьми. На самой низшей степени развитія, на которой люди ничемъ почти не отличаются отъ зверей, О. Решетниковъ съумель уловить тв человвческія чувства и стремленія, которыя руководять въ жизни и тебя, высокообразованный читатель. Эти чувства и стремленія, въ связи съ обстановкою, въ которой живутъ герои и изъ которой рвутся они со всею энергіею дикарей, составляютъ трагическій элементъ разсказа, который, соединяясь съ комическими сторонами, производитъ на васъ потрясающее впечатление: вы не можете ограничиться здёсь однинь смёхомъ, что воть моль, ха, ха, ха!... какіе идіоты и уроды существують на светь среди такихъ развитыхъ и умныхъ людей, какъ я! Вы чувствуете глубокое сочувствие къ этимъ уродамъ, потому что вы видите въ нихъ братьевъ своихъ по человъчеству, вамъ жалко ихъ, вы страдаете ихъ страданіями и возмущаєтесь за нихъ всею душою... На первыхъ страницахъ передъ вами открывается такой быть, въ средѣ которато вы, конечно, и заподозрить не можете какихъ-либо такъ-называемыхъ возвышенныхъ чувствъ, которыя составляютъ гордость нашей цивилизованной жизни: какія тутъ возвыщенныя чувства, когла люди только и думають о томъ, какъ-бы не помереть съ голоду; а между тъмъ посмотрите, какъ и въ этомъ быту пробиваются истинно человъческія отношенія, которыхъ, что граха таить, не всегда можно встрётить и въ цивилизованномъ обществъ.

«Гаврило Гавриловичъ Пилинъ, по подлиповски Пила, былъ человъкъ добрый, пробойный и работящій. Онъ одинь изъ подлиповцевь поняль, что ничего не дълая жить нельзя; онь какъ нибудь ста-рался принскать себъ работу, сбыть ее, а масное, услужить своимъ подлиповиямъ. Назадъ тому годъ Пила постоянно стръляль дичь и сбываль ее въ городъ, клъбъ у него водился; но какъ-то разъ утопиль ружье въ ръкъ, самъ простудился, и, пролежавъ два мъсяца, объднълъ до того, что ему съ семействомъ привелось всть кору, а коровъ и лоша-дямъ вовсе нечего было ъсть. Оправившись послъ бользни. Пила пособраль у подлиновцевь надъланныхъ кадокъ, кузовковъ и лаптей, отправился за больныхъ продавать въ селъ и городъ. У Пилы въ городъ быль знакомый хозяннь постоялаго двора, и онь черезъ посредство его находиль себъ покупателей. Онъ и раньше возиль вещи, но теперь постоянно сталь заставлять подлиповцевъ работать, и для него ничего не значило събздить за ето версть; онг одну половину денег отдавал крестьянам или покупал муки, а другую брал себь и покупал для себя пищи. Если въ городъ ничего не покупали, Пила шель собирать ради христа и потомь дълился сь подлиповцами. Своимь подлиповцамь онь помогаль, чимъ только могъ. Бывало, скажеть подлиновцамъ:

«чего сиците, робь; и буду робить», и подлиновцы работають съ Инлой; итътъ Инлы—подлиновци исжать. Скажеть подлиновцамь: «смотри, траву надо всеить»,—эдоровые идуть косить, а не скажи Инла, что надо косить, подлиновцы не догадаются. Всъ подлиновцы кобили Иклу и каждый спраниваль его совта или просиль полечить, такъ-какъ Пила дечиль больныхъ травами, хоти самъ не понималь никакого толка въ травахъ».

Половыя отношенія въ томъ быту стоять повидимому почти на степени скотскаго удовлетворенія чувственности, а между тёмъ и въ этомъ отношеніи θ . Рёшетниковъ съумѣлъ подмѣтить и очертить чисто человѣческія чувства, которыя дѣлали-бы честь и самымъ высокообразованнымъ людямъ:

«Наконецъ Пила и Сысойка увърились въ томъ, что Апроська умерла. Имъ сдълалось легче.

«Апроська умерла, убилась. А н-то почто живу?» думали Пила и Сысойка.

— Пила, заруби меня!—сказалъ Сысойка.

— Э!... ты заруби.

Оба они думали о смерти; но все-таки обоимъ имъ казалось страшно умереть, обоимъ котълось еще пожить...

— Потдемъ, Сысойка!... Потдемъ, говорилъ Пила.

— Куда къ лѣшимъ?

— Бурлачить.— Убей меня!...

— Багачество... Ну, что въ деревић? Апроськи иътъ. Экъ, горе! Пила заплакалъ.

Смесойка изругался; въ ругани онъ хотълъ излить все эло на эту жизнь—на все, чего онъ не понималь...».

И вотъ пошли они изъ своей обдной, голодной земли искать *богачества*, а вибсто того нашли смерть подъ ярмомъ каторжнаго, неблагодарнаго труда въ далекой сторонъ.

Умъть подъ грубою сермягою отличить біеніе человъческаго сердца, проникнуться радостями и горемъ простаго человъка, перестрадать вмъстъ съ нимъ всъ его страданія—вотъ чего не достаетъ Н. Успенскому и В. Слъпцову и чъмъ богатъ Ө. Ръшетниковъ.

Но, съ другой стороны, если ны будемъ разбирать разсказы г. Ръшетникова съ точки зрънія того вопроса, о которомъ мы беседуемъ въ этой статые, то мы все-таки не можемъ назвать эти разсказы вполнѣ наредными. Они дають вамъ богатый этнографическій и художественный матеріаль, но въ то же время они знакомять вась съ однимъ только уголкомъ нашей жизни, да и то преимущественно не русской, а техъ восточныхъ инородцевъ, которые едва только приняли русскій языкъ. Вследствіе этого они далеко не имбють общенароднаго значенія, интересь ихъ частный, и прочтя разсказы, вы все-таки не составите еще полнаго понятія не только о русской жизни вообще, но и о жизни бурлаковъ, которую они, между прочимъ, описываютъ. Для удостовъренія въ этомъ прочтите рядомъ съ "Подлиповцами" "Торговую Волгу" Зарубина. Въ последней вы откроете такія черты жизни бурлаковъ, которыхъ вы не найдете въ "Подлиновнахъ", и наоборотъ.

Такое-же умёнье заглядывать въ сердце мужика вы найдете во многимъ очеркахъ П. И. Якушкина. Въ объективномъ отношени П. Якушкинъ не идетъ даже конкретныхъ фактовъ, случайно подмеченныхъ имъ въ его странствіяхъ по землё русской; онъ не идеализируетъ русскаго мужика, не скрываетъ его не-

достатковъ, но рядомъ съ ними онъ умѣетъ подмѣчать проблески и зачатки той новой жизни, которая раньше или позже можетъ разцвѣсть на руоской земъв. Возьмемъ для примъра разсказъ "Небывальщина". Въ разсказъ вы видите рядъ фактовъ, сообщенныхъ безъ всякихъ затъй, какъ дорожным наблюденія автора, въ достовърности которыхъ трудно усомниться.

Приставши къ партіи мужиковъ, ёхавшихъ совершать воровскую порубку казеннаго дёса, писатель началь, конечно, упрекать ихъ, зачёмъ они занимаются воровствомъ; вотъ какія разсужденія услышаль

онъ отъ нихъ:

— Ты должонъ возчувствовать! заговориль уббдительно старикъ, одинъ изъ обоза: — ты это возчувствуй: кто работастъ, тому за работу, за его
ноть значить, и плата идеть. Воть, къ примъру,
пахатьбу взять: ты вспахаль, взборонняь, засѣваль—
опять запахаль; ждешь пълый годъ, что Господь
зародитъ Зародить Господь — не вотъ возъмешь!...
А ты ее въ самое горячее времечко сожни, свяжи,
да въ копинь положи... Вотъ ежели тѣ копинь взять
—кража!... За эту кражу передъ Богомъ отвѣтъ
должонъ будешь держать!... Для того-должонъ будешь отвѣтъ держать, что здѣсь, на той копив,
потъ, кровь человѣчья лежитъ... Я работаль, трудилея, ночей не досыпаль, а ты взялъ ее, матушку,
и поднялъ! Мои слезы на тебѣ въвщутоя!... А лѣсъ,
ты говоришь? Кто его садиль? Вогъ. Кто его берегь, ростиль? Все-таки Богъ!... Такъ ты не моги
стоворить, что трой лѣсъ; лѣсъ божій... Спроен у
стариковъ: «Чей лѣсъ?»—«Лѣсъ въѣзжій» скажутъ

тебъ тъ старики.

Если спотреть съ точки зренія Н. Успенскаго, то въ подобномъ разсуждени вы, конечно, ничего не увидите, кромф незнанія невфжественными мужиками никакихъ условій гражданской жизни. Если же вы вдумаетесь въ него поглубже, васъ поразить логика его. Откуда взялась эта логика? Является-ли она необходимымъ, естественнымъ результатомъ трудовой жизни, на какой-бы низшей степени развитія ни стояда эта жизнь? Есть-ли это ръдкіе проблески высли немногихъ умовъ? Фактъ, представленный П. Якушкинымъ, слишкомъ конкретенъ; писатель самъ смотритъ на него, какъ на нёчто необычайное, какъ на небывальшину. Его поразила встреча съ такимъ фактомъ, какъ съ чемъ-то такимъ, чего доселе онъ не встречалъ въ народномъ быту. Следовательно, на основаніи одного этого факта трудно делать какіе-либо выводы. Но за то все это отлично показываетъ, какъ мало извъстна напъ народная жизнь. Очень можетъ быть, что такіе факты нерадки въ жизни народа; очень можетъ быть, что вся путаница, которая случается иногда при сношеніяхъ народа съ другими слоями общества, на половину обусловливаясь невъжествомъ народа, на половину происходить и отъ той догики въ словахъ старика при порубкъ лъса, которая такъ непохожа на оффиціальную логику. Все это мы говоримъ только можеть быть, потому что наши изучатели народнаго быта до сихъ поръ еще не привели насъ ни къ какинъ положительнымъ фактамъ и выводамъ относительно предмета ихъ изученія. Намъ остается только пожимать илечами, читая рядомъ съ очерками, въ которыхъ народъ представленъ неимѣющимъ образа и подобія человѣческаго, разсказы въ родъ "Небывальщина". Съ одной стороны, тупоумныя бабы, которыя сами про себя говорять: "глупы, батюшка, глупы!", а съ другой—величественный тинъ дввушки, прощающей своему любовнику его измену и обращающейся изъ любовницы въ его сестру родную (см. "Небывальщина", сочин. П. Якушкина).

На болке высшей ступени знанія народной жизни ны должны поставить разсказы А. И. Левитова. У А. Левитова, какъ у О. Решетникова, вы не найдете ни одного разсказа, въ которомъ-бы жизнь народа представлялась съ одной какой-нибудь исключительной стороны, со стороны одного невъжества, или со стороны однёхъ свётлыхъ идеальныхъ сторонъ. Мракъ невъжества и суевърія, отношенія бъдности къ богатству, ума къ глупости, силы къ безсилію, подлости и растленія къ молодымъ побегамъ всего живаго, здоровато, свътлаго, подобно тому, какъ это все чудно переплетается въ непрестанной борьбѣ въ жизни, въ такой-же зависимости стоить это все въ разсказахъ Левитова. Въ каждомъ разсказв вы увидите такимъ образомъ жизнь съ разныхъ ел сторонъ, какъ она есть. Въ то же время вы встретите въ этихъ разсказахъ не безразлично-пестренькихъ мужичковъ съ бородками, а ръзко очерченные типы съ глубокимъ психическимъ анализомъ ихъ. Возьмите вы, напримъръ, одинъ изъ самыхъ обработанныхъ разсказовъ "Выселки". Въ этомъ разсказъ писатель представляеть вамъ такіе два типа, которые, по ширинъ обобщенія, можно назвать не только общенародными, но и общечеловъческими. Съ одной стороны представляется вамъ типъ Ивана. Это натура до крайности деликатная, кроткая, миролюбивая, любящая. Это одинъ изъ тёхъ людей, которые, сколько-бы ихъ ни притесняли, какъ бы они ни разочаровывались на каждомъ шагу, не перестають любить всёхъ и каждаго братскою любовью. Мрачными, затаенными мизантропами такія личности сдёлаться не могуть. Величайшее достоинство, служащее ведичайшикъ ихъ недостатковъ въ настоящее время, заключается въ томъ, что они не имъютъ острыхъ зубовъ, чтобы отгрызаться; вследствіе готовности цомочь всёмъ и каждому, незлопамятности и беззащитности съ ихъ стороны, люди эксилуатирують ихъ на каждомъ шагу совершенно безнаказанно, и вся жизнь этихъ несчастныхъ пасынковъ природы обращается въ безъисходное мученіе. Страннъе всего то, что, не имъя силъ отражать нападенія всякаго рода, люди эти обладають иногда невіроятною силою мужественно сносить всё гоненія судьбы и людей, нимало не падая духомъ.

Таковъ Иванъ въ "Выселкахъ". Отецъ его прослылъ колдуномъ, въроятно, за то, что былъ умиве всъхъ на селъ. Прозвище это перешло и на сына. Ивану нельзя было выйти на улицу, чтобы онъ не былъ встръченъ градомъ насмъщекъ и всякаго рода оскорбленій:

«Насмёшки, сиёжные комья безъ счета сыпались въ Иванову сияну; а онго, бывало, какъ раненый медвёдь, сторбится весь и развалистой рысью умепетываеть отъ толиы, не допытываясь у нея, за что она каждый разъ преслёдуеть его, какъ хищнаго волка. Только бывало, когда уже черезчуръ невтерпежь приходились ему потёхи односельцевь, останавливался онъ передъ толиой и толковаль ей: — Братцы! Грёхъ вамъ передъ Господомъ Богомъ

— Братци! Гряжь вамъ передъ Господомъ Богомъ будеть, что вы на крещеннаго человека, какъ на бъщенную собаку, удюкаете!

— Ахъ ты колдунъ-чортъ! орала на него толпа.— Туда-же про Господа Бога толкуетъ! И снъжные комън сыпались на него все гуще и гуще.

Жена упрекала Ивана за его беззащитность.

— Что это у тебя, Иванъ, заговорила съ нимъ жена, когда онъ, обланный отъ волосъ до пятъ, приходиль съ уницы въ избу:—ровно ѝ словъ никакихъ для твоихъ обидчиковъ нѣтъ! Ты бъ, чѣмъ мимлитъ-то съ ними: тае да подтае, да эптого-асотлупилъ бы какого-инбудь идола, али бы въ правленъи пожаловался. Они, можетъ, посмирнъе бы стали.

«Посмотрить Ивань на жену, посл'я этихъ словъ, во всё смирные глаза свои поглядить, ровно бы дивится ея великой неправде и скажеть:

— «Любушка ты мол! Никогда и на словахъ-то ръчветь я не быль. Не сговорю я съ ними, пожалуй, на словахъ-то, а ужь лучше стану я лаской съ ними обращаться. Тихостью я, можеть, полажу какъ-нибудь съ ними, тихостью...

«И такъ-то онъ славно тихостью своею ладилъ съ сосъдами, что они, бивало, на сходкъ только и дъла дълаютъ, что вино съ него опиваютъ, да на него-же каждий день то подводу, то какую-нибудь мірскую повинность навалить ухитряются».

Наконець и Иванъ не выдержалъ, но весь протестъ его противъ людскихъ неправдъ ограничился тъмъ, что онъ ушелъ отъ людей со своимъ семействомъ въ выселокъ.

Совершенно противоположною личностью является передъ нами Петръ Крутой. Человъкъ практическій, дъягельный, эпергическій, онъ въ то-же время весь вылился въ одинъ вопіющій протестъ противъ дюдей и противъ себя. Куда ни бросаетъ его судьба, онъ нигдъ не можетъ ужиться съ мюдьми; отовсюду уносить онъ мрачную ненависть къ нииъ и ожесточене. Уже съ дътства успълъ онъ ожесточиться противъ людей. Какъ ребенокъ, щедро одаренный богатыми силами, онъ въ младенчествъ уже обращалъ на себя всеобщее вниманіе, какъ нъчто необыкповенное, а такъ какъ народъ по своему міросозерцанію привыкъ во всемъ необыкновенномъ видъть сверхъсстественное, то въ деревнъ и сложилось убъжденіе, что лъщій подмънить ребенка, подсунувъ матери своего лъщенка.

«Сталь я лишь человъческую ръчь понимать, какъ ужь люди меня отъ себя гнать начали. Зашушукали они около меня-и свои, и чужіе, кивками да морганьемъ съ боязнію стали на меня показывать, воть-де онъ, ребята, обмъненовъ-то! Глядите, какіе они—лъшевы дътеныши-то бывають... Примъчайте!... Къ ребятамъ бывало, въ какую-нибудь игру присунешься, тоже отды ихъ и матери за руку меня возьмуть и отведуть оть нихъ: Петруща, поди-ка, мать тебя вельла домой послать, гостинцевь она тебѣ добыла. Ласково такъ говорять, потому обмененка боятся вст. Пойду я, бывало, отъ ребятокъ, а мужикъ какой отогналъ меня, сейчасъ-же на нихъ закричить:-- я вамъ задамъ, пострълы, какъ съ обмъненкомъ водиться!-Еще больше лупиль я свои оть матери большія бъльмы, глядя и раздумывая, отчего это ребятишки не играють со мной, а чего больше про меня другь съ другомъ шенчутся все? И повадился я туть, братець ты мой, въ лъсъ ходить; зайду бывало, въ трущобу какую льсную и сижу тамъ, и такъ-то мнв это въ привычку вошло, что я въ лъсу ужь и заночевывать сталъ, потому глядишь тамъ, думаешь, думаешь—и никто тебъ ни въ чемъ не мъщаетъ, никто не сердитъ. Много и въ томъ лъсу ребячьихъ слезъ разронилъ, не то, что отъ обиды какой, не зналъ и тогда обидъ, -- а такъ, на душъ было ужь очень спокойно». «Такъ и выросъ я, Өедоръ Протасычъ, въ лъсу, дубомъ какимъ-то безчувственнымъ. Глядишь иной разъ на людское горе и смениься въ тихомолку: что, моль, каково? А чаще того хочется тебѣ каждому божьему человѣку добрыя слова цѣлый день толковать, горькому житъю всею кровью своею помочь хочется, а морда-то у меня, не въ мою силу, сама на бокъ гнется, глаза-то насупятся, да вмѣсто слезь по старинному, въ носъ и упрутся. Упрутся, д думаешь тогда: ничего, молъ, переждешы! Я же вѣдь жду. Такъ вотъ, солдатъ, какая моя неволя!».

Изъ этихъ выдержекъ вы можете заключить, какъ ръзко очерчиваетъ и анализируетъ А. Левитовъ типы своихъ героевъ. Эти выдержки определяють въ то же время весь характеръ разсказовъ А. Левитова: вы видите, что А. Левитовъ изображаетъ ту же грубость нравовъ, невъжество и суевъріе крестьянъ, что и Н. Успенскій. Эти мрачныя стороны жизни простаго народа представляются въ очеркахъ А. Левитова еще ръзче, чъмъ у Н. Успенскаго: можно-ли представить себѣ что-нибудь безчеловѣчнѣе среды, въ которой закидывають на улице грязью человека, не имеющаго духу отплатить за это тукманкою; что можеть быть ужасние и неливе того дикаго суевирія, которое заставляетъ родителей въ ребенкъ своемъ воображать подивненнаго лешенка? Но Левитовъ выставляетъ все это не для того только, чтобы показать, какіе смішные пассажики выходять иногда на свётё. Въ грубости нравовъ и суевъріи болье ужаснаго, чьиъ сившнаго. Если-бы суеверіе влекло за собою только такія послёдствія, что мужики подавали иногда просьбы становымъ о летучемъ зміт, безпокоящемъ ихъ по ночамъ (см. разсказъ г. Н. Успенскаго-Змей), въ такомъ случав нечего было-бы особенно и хлопотать о такой ничтожности; но суевъріе имъетъ болье серьезное вліяніе на жизнь народа: оно обусловливаетъ собою много бёдъ, которыя терпить темный человёкъ въ своей и безъ того нерадостной жизни, и великое преимущество Левитова передъ Н. Успенский заключается въ томъ, что, не ограничиваясь однимъ смъкомъ надъ невъжествомъ и суевъріемъ, онъ старается раскрыть передъ вами, какъ терпятъ и гибнутъ отъ этихъ мрачныхъ сторонъ народной жизни молодыя, свъжія силы, рвущіяся на широкій просторъ.

Но представляя замѣчательно-глубокое знаніе народной жизни, очерки Левитова сильно страдають отъ полнато отсутствія обработки: писатель представляеть вамъ факты своего знанія отрывочно, по клочкамъ, приправленными сентиментальными восклицаніями о величественной красотѣ южныхъ стецей. Ни одного почти разсказа не найдете вы, который былъ бы вполнѣ законченнымъ цълымъ; вы видите постоянное стремленіе со стороны писателя создать что-то такое изъ тѣхъ богатыхъ матеріаловъ, которыми онъ владѣетъ, и въ то-же время, какое-то странное безсиліе.

VI.

До сихъ поръ мы говорили о содержаніи художественной литературы, о сущности ея; теперь мы скажемъ въсколько словъ о другой ея сторонъ—вившней, формальной. Въ то время, какъ въ предшествующія эпохи нашей литературы эту сторону ставили на первый планъ, видъли въ ней неръдко единственную сущность искусства, — въ послѣдпія 10 лѣть, по естественной реакціи, начали совершенно пренебрегать ею. Составилось мнѣніе, что главная сущность произведенія заключается въ здоровой, свѣтлой идеѣ, а какъ будеть проведена она — это рѣшительно все равно. Съ точки зрѣнія подобнаго мнѣнія, очевидно, можеть представиться излишнею роскошью требовать, чтобы произведеніе поэта, будучи народнымъ во всѣхъ отношеніяхъ, было народнымъ в по формѣ. Въ сущности-же, если мы разсмотримъ внимательно, что зависить отъ этого требованія, мы увидимъ, что оно не роскошь, что оно не менѣе важно, чѣмъ и другія.

Хотя мы и пренебрегаемъ внёшними формами искусства, однакоже, мы требуемъ, чтобы писатели наши писали на русскомъ языкъ, а не по-французски или по-нъмецки. Но въдь языкъ есть тоже ничего болъе, какъ вившняя форма рачи. Не все-ли равно, на какомъ языкъ ни напишетъ писатель свое произведение, лишь-бы онъ провель полезную для насъ идею. Да, для Пьера, для Жана это все равно: они знають всв европейскіе языки и могли-бы наслаждаться "Мертвыми душами" и въ такомъ случат, еслибы Гоголь написалъ ихъ по-англійски. Я уб'єжденъ въ томъ, что въ Россіи есть люди, которые впервые читали Гоголя во французскомъ его переводъ. Но все-ли это равно для Ивана, для котораго русскій языкъ единственная форма, въ которой понятна для него человъческая рёчь? А такихъ Ивановъ большинство. Для нихъ-то и существуетъ русская литература; и она есть полное ихъ достояніе, какъ мы говорили въ началь статьи. Наука, занимаясь открытіями въ природъ новыхъ предметовъ, для которыхъ не существуетъ соотвётствующихъ словъ въ языкё, поставлена въ печальную необходимость ежедневно изобрётать свои новыя слова и наводняться терминами, которые дёлають ее доступною только для немногихъ адептовъ, знающихъ ся языкъ. Но если мы прощаемъ ученому, когда онъ издаетъ книгу, хотя и на русскомъ явыкъ, но въ которой для насъ нѣтъ возможности понять ни одной фразы, то мы не простимъ уже этого популяризатору, который вздумаеть угостить насъ такимъ-же языкомъ. Еще болбе посмбенся мы надъ безуміемъ популяризатора, если онъ такимъ-же языкомъ напишетъ книгу, предназначенную для всего народа. Чтоже сказать о художественной литературъ, этой популяризаціи всёхъ популяризацій, цёль которой объяснять народу его жизнь, прояснять въ немъ сознаніе его истинныхъ потребностей, возбуждать въ немъ корошіе нравственные инстинкты и открывать мрачныя стороны его жизни — и вдругъ такая литература будетъ говорить языкомъ, понятнымъ только для немногихъ? Такая литература мало того что безполезна, она преступна и безчестна совершенно въ томъ-же смысль, если-бы я на деньги, порученныя мнь нъсколькими знакомыми для покупки имъ чая, купилъ бы вдругъ табаку, пригоднаго для одного меня.

Но требованіе, чтобы художественная литература употребляла языкъ, доступный для всёхъ, т.-е, избъгала-бы иностранныхъ словъ, отвлеченныхъ, туманныхъ выраженій и ученыхъ терминовъ, которыми такъ богатъ нашъ литературный языкъ, еще не обнимаетъ всего вопроса о формъ. Это требованіе касается одного состава языка; но есть еще другая сторона языка -его строй, т.-е. формы рёчи, въ которыя складываются слова въ языкъ, и формы поэтическихъ произведеній, въ которыя складывается річь. Для того, чтобы поэтическія произведенія были доступны для всёхъ, необходимо, чтобы они писались народною ръчью и складывались въ народныя формы. Читатель подумаеть, быть можеть, что здёсь дёло идеть о тёхъ подражаніяхъ простонародному языку, которыя такъ противны въ некоторыхъ книжонкахъ, изданныхъ для народа. Или ужь не ставится-ли здъсь русскимъ писателямъ въ обязанность подражать народнымъ пъснямъ, былинамъ и сказкамъ? Ни чуть не бывало. Здёсь идеть рёчь только о томъ применени всеобщаго закона относительно формъ поэзіи, который наблюдается во всёхъ литературахъ, какъ древнихъ, такъ и новыхъ. Изучая исторію возникновенія и паденія разныхъ формъ искусства, мы видимъ, что формы не суть что-либо опредъленное, неизменное, для всехъ одинаково доступное. Онъ суть созданія техъ или другихъ особенностей одного какого-либо народа, и при этомъ еще народа въ данную эпоху. Онъ служатъ обыкновенно выражениемъ своей народности, своей эпохи, и такъ-же неуклюже примъняются къ другой эпохії или народности, какъ гипсовый слипокъ съ одного лица не прилаживается на другое. Попробуйте выразить грусть простаго русскаго человъка, и вы увидите, въ какой форм'в это вамъ удастся-въ форм'в итальянскаго сонета или дуны Кольцова. Была такая эпоха-въ жизни народа, когда онъ не иначе могъ выражать впечативнія своей жизни, какъ въ формв былинъ или сказокъ; это время прошло, народъ начинаетъ забывать самыя былины и, очевидно, былобы верхомъ натянутости и неуклюжести изображать что либо изъ современной намъ жизни въ форм'в былины. Это значило-бы возвратиться ко временамъ дожнаго классицизма, когда людямъ казалось, что поэвія можеть существовать только въ неизмѣнныхъ формахъ древне-классическаго искусства. Вследствіе вышеупомянутаго закона предоставляется полная свобода создавать свою особенную форму литературы не только каждому народу, времени, но и каждому поэту, соотвътственно потребности, чтобы форма вполнъ выражала содержаніе. Но тімъ не меніе, только тотъ поэтъ можетъ быть названъ вполна народнымъ, который съумбетъ выразить свои впечатленія въ такихъ формахъ, въ какихъ они будутъ всего болбе понятны для большинства и всего болье подвиствують на него. Опредълить въ точности, каковы должны быть эти формы, также трудно, какъ трудно определить неуловимыя черты, отличающія одну физіономію отъ другой. Возьмите вы, напримёръ, произведенія Кольцова или Шевченки, вы увидите, что они отличаются рѣзко по своей форм'в отъ всёхъ словоизліяній нашихъ лириковъ, въ родъ, напримъръ, Полонскаго или Фета. Определить въ точности сущность этого отличіянътъ никакой возможности, и мы можемъ судить о немъ только по последствіямъ, которыя производятъ ть или другія произведенія: одни пойметь каждый простолюдинъ, въ другихъ-же и образованнъйшій человъкъ не скоро доберется смыслу. Но много-ли у насъ такихъ произведеній, которыя писались-бы въ такихъ

формахъ, что для всёхъ были-бы понятны? Напротивъ того, наши литераторы очень часто поставляють себъ какъ будто задачею выражаться какъ можно крючковатье, затычливье и темиве; они думають, что въ этомъ-то и есть вся суть поэвіи. Конечно, языкъ боговъ не долженъ быть понятенъ для простыхъ смертныхъ. Другое дёло было-бы, еслибы къ этому вынуждала нашихъ поэтовъ и беллетристовъ печальная необходимость, еслибы идеи ихъ были до такой степени глубоки, всеобъемлющи, новы, что ихъ трудно былобы вполнъ ясно выразить въ простыхъ формахъ нашего языка. Но въ томъ-то и дъло, что большинство нашихъ беллетристовъ и поэтовъ страдаетъ самымъ жалкинъ убожествомъ идей. Міросозерцаніе ихъ очень мало возвышается надъ уровнемъ обыкновенныхъ грамотныхъ людей. И если поэтъ съ такимъ широкимъ и глубокимъ міросозерцаніемъ, каковъ быль Шевченко, могъ свои идеи выражать просто и общедоступно, то что-же остается сказать о нашихъ поэтахъ, которые свои бъдненькія и обыденныя мысленки не могутъ выражать такъ, чтобы ихъ можно было понимать всёмъ и каждому? Главною виною служать туть тѣ риторическія, рутинныя, витісватыя тропы и фигуры, которыя почему-то считаются у насъ верхомъ художественной красоты и изящества. Сказать просто родина-какъ можно: это прозаически и безцвътно; нашъ поэтъ загнетъ непременно какіе-нибудь берега отчизны, и дупаеть, что это тупанное, безспысленное выражение выше, поэтичние. Возымите, напримиръ, Подонскаго: онъ написалъ стихотворение Епилый и этимъ стихотвореніемъ доказалъ, что онъ можетъ инсать простою народною рачью. И этотъ-же самый Полонскій большую часть своей поэтической д'вятельности посвящаеть на откалыванье такихъ штукъ:

Мнѣ не даль Богь бича сатиры; Моя душеская гроза
Едва слышна ет аккордахь лиры, Едва видна моя слеза.
Ко мињ виднамов прилетают (?!), Мнѣ звъзды шлють измой привыте, И мнѣ немногіе виммають, И для немногихь я поэть.

Да, Полонскій, дійствительно, для немногих в поэть, но не потому, что Богъ не далъ ему какой-то плетки, а потому, что онъ говорить языкомъ, ни для кого непонятнымъ: онъ правъ, говоря, что въщих словъ его не слушають народы-еще бы, когда вивсто того, чтобы заговорить простымъ языкомъ простымъ смертнымъ объ ихъ простыхъ интересахъ, поэтъ твердить о какихъ-то аккордахъ лиры, которую никто изъ насъ, и даже самъ поэтъ не видалъ въ глаза, какая она такая, о какихъ-то виденіяхъ, которыя никогда къ нему на самомъ. дълъ не прилетаютъ, если только онъ не боленъ бълой горячкой; далъе поэтъ въ своемъ стихотвореніи доходить до такого изступленія, что простираеть трепетныя объятія въ воздухъ и внемлетъ, какъ въ области въчнаго разума какая-то живая любовь торжественно поеть живымъ о жизни. Въ "Бъгломъ" вы не увидите ничего такого, что Полонскому кажется непременьюю принадлежностью поэзін; "Въглаго" могутъ внимать народы и пенимать всь, и въ "Въгломъ" неизмъримо болье истинной живой, свёжей позвін, чёмъ въ большинстве произведеній Полонскаго.

VII.

Выставдяя такія требованія отъ литературы, вполнъ естественныя и справедливыя, я нискодько этимъ не отрицаю тёхъ художественныхъ произведеній, которыя пишутся исключительно для одного образованнаго меньшинства, если только они увлекають это меньшинство. Я нисколько не думаю, чтобы это меньшинство было на столько уже образовано, чтобы ему нечему было учиться, или чтобы жизнь его была виолнь и со всёхъ сторонъ исчерпана литературой. Все, что дълается въ жизни полезнаго, хотя-бы для одного человіка, есть уже полезное и достойное уваженія. Мы требуемъ отъ человъка, чтобы онъ посвящалъ свою д'вятельность на общую пользу всему своему краю, но тёмъ не менёе всякій добрый поступокъ его, оказанный одному ближнему, внушаеть намъ уважение къ человъку. Такъ точно мы требуемъ, чтобы литература стремилась сдёлаться всеобщею, полезною для всёхъ нашихъ соотечественниковъ. Если только она хочетъ, чтобы не были признаны дицемфрными заявленія ея о томъ, что для нея дороги интересы, нужды, радости и страданія народа, она должна носвятить развитію этого народа лучшія свои силы, а не оставлять народъ на жертву разныхъ бездарныхъ писакъ и спекуляторовъ, издающихъ такъ-называемыя книги для народа; но если взять во внимание все прошлое нашей литературы, то иы не должны забывать, что литература можетъ къ этому только стремиться и медденнымъ нутемъ изученія достигать этого стремленія. На этомъ долгомъ пути ничто ей не мъшаетъ

быть полезною и для того меньшинства, для котораго она до сихъ поръ служила. Впрочемъ, самая лучшая польза, которую она можеть оказать этому меньшинству, заключается опять-таки въ стремленіи ся къ народности; потому что этимъ путемъ она ведетъ за собою это меньшинство отъ его изолированной, замкнутой жизни во всеобщую жизнь края, посвящая его въ интересы всего народа. Въ заключение сившу прибавить, что всё наши стремленія къ народности въ литературъ служатъ только прелюдіями къ тому движенію въ этомъ духв, которое должно последовать, когда народныя массы, призванныя къ гражданской жизни реформами шестидесятыхъ годовъ, дъйствительно выступять на поприще этой жизни и когда изъ самой массы народа явятся пъвцы ея нуждъ, стремленій, радостей и страданій. Въ этомъ отношеніи, къ какимъ-бы широкимъ обобщеніямъ ни приводили набмоденія надъ жизнію народа, но еще успёшнёе пойдеть это діло, когда къ наблюденіямъ присоединятся опыты, и притомъ личные опыты людей, которые сами живутъ жизнію, изображаемою ими.

Читателю покажутся, можеть быть, слишкомъ кратки и бёглы нёкоторыя карактеристики писателей, произведенія которыхъ я разбирать въ этой стать в. О многихъ народныхъ писателяхъ не было мною сказано ни слова: но цёль этой статьи не подробный разборъ вскуъ народныхъ писателей нашихъ, а выставленіе тёхъ общихъ положеній, на основаніи которыхъ, по моему убёжденію, слёдуетъ оцёнивать произведенія этого рода. Затёмъ, въ послёдующихъ статьяхъ этой книги вы найдете болёе полным и подробныя характеристики, какъ отдёльныхъ произведеній, такъ и всей дёятельности нанболёе выдающихся писателей, изображающихъ народный бытъ.

ДМИТРІЙ ИВАНОВИЧЪ ПИСАРЕВЪ.

(Его критическая діятельность въ связи съ карактеромъ его умственнаго развитія).

ĭ

Ни объ одномъ изъ литературныхъ дъятелей последняго времени не сложилось столько противоречивыхъ мнѣній, какъ о покойномъ Писаревъ. Трудно представить себъ двухъ-трехъ человъкъ, которые, сойдясь между собою и заговоря о значении и діятельности Писарева, выразили-бы вполив согласное мивніе, если только разговаривающіе захотять глубже проникнуть въ то, что-же такое именно сделалъ Писаревъ, а не ограничатся общими фразами о томъ, что онъ быль писатель въ высшей степени искренній и честный, владёль мастерскимь слогомь и проповёдывалъ новыя идеи. Съ одной стороны, у людей старой школы, какъ гвоздь засёль въ голову, взглядъ на Писарева, какъ на архи-Базарова, доведшаго отрицание до последнихъ пределовъ крайности; съ другой стороны, изъ людей, болёе солидарныхъ съ нимъ, одни, горячіе поклонники его, ставять его выше Вълинскаго

и Добролюбова, говорять, что онъ окончательно очистиль критику отъ всёхъ романтическихъ преданій, отъ которыхъ не могъ избавиться даже и Добролюбовъ, что онъ всѣ вопросы дитературы и науки перерешиль на новыхъ, чисто-реальныхъ основаніяхъ, и все это удалось ему сдёлать главнымъ образомъ потому, что онъ принадлежалъ къ поколънію болье юнъйшему, чъмъ принадлежалъ Добролюбовъ. Другіе же, напротивъ того, ничего не видятъ въ Писаревъ, кром'в любителя хлесткихъ и забористыхъ фразъ, поверхностнаго диллетанта, усыпавшаго цветами своего красноръчія чужія мысли и доводившаго эти мысли иногда до смешныхъ крайностей и нелепыхъ парадоксовъ. Всё эти качества они принисывають личному складу ума и характера Писарева, и появленіе такого писателя въ нашей литературф считаютъ дфломъ чистой случайности. Ни съ первымъ, ни со вторымъ мивніемъ нельзя согласиться. Первое мивніе страдаеть тыть, что прежде чыть сравнить идеи Добродюбова и идеи Писарева и разсмотреть, действительно-ли последнія реальнее первыхъ, иненіе это опирается на такія относительныя основанія, какъ сивна поколвній. Противоположное-же инвніе страдаетъ темъ, что, видя различные противоречія и парадоксы, встрачающіеся въ статьяхъ Писарева, и приписывая ихъ случайному складу ума и характера этого писателя, оно не видить, что за этимъ писателемъ стоитъ толпа горячихъ поклонниковъ его, толпа, которая за что-то ставить его на первомъ мъстъ, выше всёхъ прежнихъ деятелей литературы, толпа, наконецъ, которая увлекается именно его парадоксами и всёмъ темъ, въ чемъ расходился онъ съ Добролюбовымъ и прочими писателями его школы. Неужели-же существование такой толны такое-же дёло случая, какъ и писателя, стоявшаго во главе ея? Мис кажется, чтобы выйти изъ всей этой путаницы разнорвчій, единственный путь — разсмотрвть двятельность Писарева въ связи съ его личнымъ развитіемъ и общимъ характеромъ эпохи, въ которой онъ жилъ и дъйствовалъ. Такое разсмотръніе покажетъ намъ съ одной стороны всю узкость и стереотипность взглядовъ техъ людей, которые, принимая въ разсчетъ вліяніе на прогрессъ сміны поколіній, вліяніе это принимають въ самомъ тесномъ и буквальномъ смысле, думая, что изъ двухъ современниковъ, тотъ, который моложе двумя-тремя или нятью годами, вслёдствіе этого непремённо долженъ быть и прогрессивнее въ такомъ же отношении. Люди одной эпохи, подчиняясь общему теченію жизни, кром'є того развиваются скор'є или медлениве, направляются въ ту или другую сторону подъ вліяніемъ разныхъ частныхъ, индивидуальныхъ условій, переростають другь друга, какъ деревья вълъсу. Есть люди, которымъ удается очень рано и скоро пережить и перестрадать весь процессъ броженія своего въка. Такіе люди выходять на общественное поприще не только впереди своего века, но иногда оставивъ его далеко за собою. Мы увлекаемся идеями подобныхъ людей; идемъ за ними, какъ за вождями, и случается, что эти люди до такой степени уходятъ далеко, что два, три поколенія не въ силахъ не только перегнать, но и догнать ихъ. Но есть люди, которые идуть постоянно въ общемъ уровив въка. Вивств со своими современниками, они переживаютъ весь тотъ процессъ броженія, который характеризуеть ихъ эпоху; участвуя въ этомъ процессъ, они представляютъ обыкновенно то тотъ, то другой изъ элементовъ броженія. Вслідствіе этого, они впадають въ односторонности, заблужденія; но заблужденія ихъ не случайный недостатокъ ихъ ума или воли, а характеризують цёлую эпоху, или-же данный моменть въ ней, иди одинъ изъ ея элементовъ. Такихъ людей мы, конечно, не можемъ считать вождями общества; но изученіе жизни и произведеній уми виших в и талантливъйшихъ изъ нихъ бываетъ иногда поучительнъе, чъть изучение вождей. На такихъ людяхъ ярко отражается обыкновенно или цёлая эпоха, или тотъ элеиентъ броженія, представителями котораго они служать. Въ ихъ жизни и твореніяхъ вы можете проследить наглядно, чемъ страдали ихъ современники, чего имъ недоставало, къ чему они стремились и въ чемъ заблуждались; все это въ жизни вождей обще-

ства бываетъ иногда неуловимо, именно вследствіе быстроты ихъ развитія. Можето-ли вы, напримёръ, проследить, какъ изъ Гоголя — творца Ганца-Кюскельгаргена, сдёлался создатель натуральной школы? Вамъ постоянно будетъ казаться этотъ фактъ какимъто неожиданнымъ превращеніемъ вродё тёхъ, какія бываютъ иногда въ балетахъ. Вследствіе какого быстраго процесса развитія Добролюбовъ выступилъ на митературное поприще 20-лётнимъ юношей съцёлымъ рядомъ такихъ глубокихъ идей, которыя, если и понимаются, то какъ-то быстро и незамётно проскальзываютъ у многихъ изъ современниковъ его и людей значительно моложе его, людей читающихъ, мыслащихъ и увлекающихся имъ.

Изученіе личности Писарева съ этой точки зрівнія покажеть намь съ другой стороны, какъ ошибаются тв люди, которые ничего не хотять въ немъ видеть кром' ловкаго фразера и компилятора, говорившаго ностоянно съ чужаго голоса и противоръчившаго саному себъ на каждой страниць. Мы увидимъ, что заблужденія и парадоксы, встрічаемые въ статьяхъ Писарева, не суть его личные, случайные недостатки; они проистекають изъ тъхъ условій жизни, въ которыхъ стояль не онъ одинъ, а стоятъ многіе современные намъ люди. Правда, ны можемъ встретить не надо людей, которыхъ не удовлетворяютъ статьи Писарева и которые обращаются къ писателянъ болве солиднымъ и глубокимъ, но, во всякомъ случай, такихъ людей, если и не мало, то и не особенно много. Большинство же читающей публики далеко еще не доросло до этихъ содидныхъ писателей, и Писаревъ ему совершенно по плечу, темъ более, что это большинство переживаеть еще тоть періодъ развитія, который отражается въ сочиненіяхъ Писарева.

II.

Есть эпохи, въ которыя люди более всего заботятся объ усовершенствованіи своихъ общественныхъ отношеній, более думають о томъ, къ какимъ следуетъ стремиться результатамъ общественнаго движенія, чёмъ о томъ, какъ слёдуетъ имъ жить въ частной жизни, какія страсти подавлять и какимъ давать просторъ для того, чтобы воплощать въ своей личности высшіе идеалы нравственности. Но есть эпохи, въ которыя при совершенномъ застой общественной жизни, лучніе люди общества обращаютъ исключительное вниманіе во внутрь своего я, начинаютъ созерцать всё свои достоинства и недостатки, полагая, что весь прогресь общества только въ томъ и заключается, чтобы важдый человёкъ въ отдёльности устремляль все свое вниманіе на личное самосовершенствованіе.

Независимо отъ существеннаго характера той или другой эпохи, во всё времена встречаются люди двухъ категорій, аналогическихъ съ только-что приведенною характеристикою двухъ эпохъ. Есть люди, которые въ увлеченіяхъ и заботахъ о разныхъ вопросахъ общественнаго свойства совершенно забывають о своемъ личномъ я; и хотя очень часто они являются въ выслей степени нравственными и честными, но эта нравственность и честность зависять не столько отъ особенныхъ заботъ объ этомъ, сколько отъ склада при-

вычекъ, вынесенныхъ изъ воспитанія и жизни. Но есть другаго рода люди, которые, даже сочувствуя и увлекаясь общественными интересами, на первомъ илан'в все-таки постоянно ставятъ нравственные идеалы чисто индивидуальнаго характера, даже въ общественныхъ своихъ стремленіяхъ заботятся не столько о средствахъ къ достиженію различныхъ практическихъ ціблей, сколько о томъ, какіе нравственные идеалы должны воплощать отдівльные люди для того, чтобы они были достойны носить имя прогресистовъ и новыхъ людей.

Что склоняетъ людей на тотъ или другой путь,--опредёлить очень трудно. Конечно, весьма соблазнительно сдёлать предположение, что люди, наиболее пострадавшіе отъ раздичныхъ общественныхъ недостатковъ, тъмъ самымъ уже получаютъ наклонность болъе думать о средствахъ къ избавленію отъ этихъ недостатковъ; а съ другой стороны люди, которыхъ обстоятельства одарили болже другихъ, по мърж развитія естественно начинають чувствовать разладъ между своими убъжденіями и своею личною жизнію, и этотъ разладъ невольно влечетъ ихъ къ разрѣшенію разныхъ мучительныхъ вопросовъ, касающихся исключительно ихъ личности, имфющихъ характеръ чисто индивидуальный. Но не одн' только эти причины имьють здысь вліяніе. Кромь ихъ существуєть цылый рядъ другихъ причинъ, и притомъ такихъ сильныхъ, которыя могутъ совершенно парализовать эти причины, т. е. людей, кругомъ обиженныхъ жизнію, навести на дорогу вопросовъ индивидуальной нравственности, а людей щедро одаренныхъ на путь общественныхъ вопросовъ. Къ этимъ другимъ причинамъ принадлежать: характерь эпохи, спотря по тому, на столько ли силенъ въ данное время импульсъ общественной жизни, что онъ способенъ увлечь общественными интересами людей самыхъ индифферентныхъ, или настолько слабъ онъ, что люди, наиболье склонные къ общественнымъ интересамъ, не находятъ никакого удовлетворенія своимъ склонностямъ и онъ въ нихъ увядають; степень развитія, — очевидно, что люди менъе развитые не въ силахъ бывають обнять своими умственными очами всей сложности процесса общественнаго развитія и понять зависимость индивидуальной нравственности отъ общаго положенія дёль, и потому такий длюдямъ свойственно ограничивать узкій кругозоръ свой интересами личной, индивидуальной нравственности; такіе люди не им'єють понятія о прогрессъ, какъ органическомъ процессъ развитія; для нихъ прогрессъ есть простое накопление посредствомъ размноженія нравственныхъ и прогрессивныхъ единицъ; воспитание тоже одна изъ важныхъ причинъ въ этомъ родѣ, и въ особенности важно, что занимаетъ наиболже юношу въ то время, когда формируются страсти, наклонности и привычки его; образа жизниочевидно, что человъкъ, ведущій уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ жизнь, болѣе склоняется къ вопросамъ индивидуальной нравственности, чемъ человъкъ, живущій общественною жизнію; наконецъ характерь отношеній къ близкимь людямьсмотря по тому, какого рода эти отношенія; они могутъ быть столь просты и естественны, что человъкъ и не задумается о нихъ ни разу въ жизни; или же,

наобороть, они могуть быть столь запутаны, ложны и ненормальны, что могуть челов'яка поминутно побуждать къ рёшенію различныхъ правственныхъ вопросовъ. Всё эти причины могуть д'яйствовать сразу; но можеть случиться, что и одной причины достаточно, если она настолько сильна, что можеть всё мысли челов'яка и всю жизнь направить въ одну опред'ёленную сторону. Вооружившись всёми этими данными, приступимъ теперь къ анализу университеткой жизни Писарева, которая им'ёла бол'ёе сильное вліяніе нибладь его уб'ёжденій, чёмъ все посл'ёдующее его развитіе, ивліяніе которой зам'ётно на всёмъ его статьяхъ.

Писаревъ поступилъ въ университетъ въ 1856 г. совершеннымъ еще ребенкомъ: ему было не болъе 16-ли лътъ; классическая гимназія, въ которой онъ воспитывался, даровавъ ему хорошее знаніе древнихъ языковъ, не особенно способствовала его умственному развитію. Онъ самъ о себъ говоритъ въ статъъ "Уннверситетская наука":

«Хотя я до сихъ поръ не сообщилъ фактическихъ подробностей о степени моего развитія, но я осмъливаюсь думать, что изъ всего того, что я наговориль, проницательный читатель уже составиль себъ приблизительное и притомъ довольно върное понятіе о томъ, что я смыслиль при поступленіи моемъ въ университетъ; скажу я ему еще, что любимымъ занятіемъ моимъ было раскрашивание картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, а любимымъ чтеніемъ романы Купера и особенно очаровательнаго Дюма. Пробоваль я читать исторію Англіи Маколея, но чтеніе и подвигалось туго, и казалось мий подвигомъ, требующимъ сильнаго напряжения естественныхъ силь. На критическия статьи журналовъ н смотрълъ, какъ на кодексъ гіероглифическихъ надписей, прилагавшийся къ книжкъ исключительно по заведенной привычкъ, для вида и для счета листовъ; я быль твердо убъждень, что этихь статей никто понимать не можеть и что природъ человъка совершенно несвойственно находить въ чтеніи ихъ мальйшее удовольствіе. Я долженъ признаться, что въ отношени къ нъкоторымъ журналамъ я даже до сегодня не исцалился отъ этого спасительнаго заблужденія. Впрочемъ, это въ скобкахъ. Началъ я также, будучи ученикомъ седьмаго класса, читать «Холодный домъ», одинъ изъ великольпитьйшихъ романовъ Диккенса, и не дочиталъ. Длинно такъ, и много лицъ, и ничего не сообразишь, и приключеній никакихъ нётъ, и шутить такъ, что ничего не поймещь; такъ на томъ и оставиль, порешивъ, что «Les trois mousquetaires» не въ примъръ занимательнъе. Ну, а русскіе писатели—Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ? Читатель, мнь стыдно за моихъ домашнихъ воспитателей, стыдно и за себя-зачёмъ я ихъ слушалъ? Русскихъ писателей и зналъ только по именамъ. «Евгеній Онъгинъ» и «Герой нашего времени» считались произведеніями безиравственными, а Гоголь писателемъ сальнымъ и въ порядочномъ обществъ совершенно неумъстнымъ. Тургеневъ допускался, но, конечно, я понималь его такъ же хорошо, какъ понималъ геометрію, Маколея и Диккенса. «Записки охотника» ласкали какъ-то мой слухъ, но останавливаться и задумываться надъ впечатленіемъ было для меня немыслимо. Словомъ, я шелъ путемъ самаго благовоспитаннаго юноши».

Въ другомъ мъстъ Писаревъ сравниваетъ себя съ дъвственнымъ полемъ, которое каждый Христофоръ Колумбъ могъ открыть, водрузить свое знамя и обратить въ свою колонію, какъ землю незаселенную и никому не принадлежащую.

Все это совершенно справедливо. Сколько я помню

Писарева въ первоиъ курст университета, онъ былъ совершеннымъ ребенкомъ и оставался тамъ же прилежнымъ гимназистомъ, какимъ былъ, по всей въроятности, въ гииназіи. Одинъ изъ нашихъ однокурсниковъ, И. Полевой, напечаталъ въ "Спб. Въдомостяхъ", вскорѣ послѣ смерти Писарева, нѣсколько воспоминаній о студенческихъ годахъ Писарева, въ которыхъ онъ представляетъ Писарева сосредоточеннымъ въ себъ, въчно спокойнымъ и холоднымъ резонеромъ, жившимъ исключительно головою и напускавшимъ на себя нъкоторую важность вслрдствіе ребяческаго сознанія своего студенческаго достоинства. Что онъ нъсколько импонировалъ своимъ студенческимъ мундиромъ, это, можеть быть, и было и это было весьма естественно; Писаревъ самъ говоритъ въ стать в "Университетская наука": "даже вившніе аттрибуты студенчества казались инъ привлекательными: синій воротникъ, безвредная шпага, двуглавые орлы на пуговицахъ-все это нравилось мнъ, какъ "вещественные знаки невещественныхъ отношеній". Что же касается мнимой хододности и житья головою, то въ этомъ я совершенно несогласенъ съ Полевымъ; напротивъ того, Писаревъ всегда быль человъкъ весьма впечатлительный и способный увлекаться до безумія, что онъ доказаль въ своей жизни неоднократно, и изъ университетскаго неріода его жизни я помню два случая его увлекаемости: одинъ разъ онъ пришелъ въ такой энтузіазмъ на одной студенческой сходкъ, что расплакался, а въ другой разъ, во время некоторыхъ недоразумений, происшедшихъ между студентами и однимъ изъ профессоровъ, увлекся до того, что легъ на столъ и началь барабанить ногами въ стену, за которой сидель профессоръвъ аудиторіи, гдѣ въ это время происходилъ скандалъ.

Иноша крайне неразвитой и въ то же время нервный, впечатлительный и воспріимчивый, очевидно, онъ долженъ быль подчиниться первому вліянію, которое ему было суждено встрітить въ жизни.

Въ своей статъъ "Университетская наука" Писаревъ подробно и мътко характеризуетъ профессоровъ того факультета, на который онъ поступиль; изъ этой статьи читатель можеть составить ясное понятіе, могли ли оказать на Писарева какое бы то ни было вліяніе профессора, изъ которыхъ одинъ засадилъ Писарева за энциклопедію Эрша и Грубера, а другой запрегь его въ Вильгельна Гунбольта. Между темъ, какъ Писаревъ скучалъ надъ Эршемъ и Груберомъ и киснулъ на буквъ А этой экциклопедіи, между тъмъ какъ онъ механически извлекадъ и переводилъ брошюру Штейнталя и книгу Тайма, не въ силахъ будучи осмыслить того, надъ чёмъ онъ такъ усердно трудился, разговоры и споры товарищей его о различныхъ животрепещущихъ для него въ то время вопросахъ, очевидно, должны были оказать болье вліянія на ходъ и направление его мыслей, чёмъ вся факультетская ученость взятая вивств; твиъ болве, что эти разговоры и споры ведись на языка более понятномъ для неразвитаго юноши, чёмъ языкъ Гайма и Штейнталя и больше касались его личности. Здёсь нужно зам'ятить, что Писаревъ, прежде нежели попасть въ филологическій кружокъ спеціалистовъ, о которомъ онъ говоритъ въ своей статьъ "Университетская наука", былъ увлеченъ въ иной кружокъ веська оригинальнаго свойства.

Въ Ларинской гимназіи быль некогда преподаватель русскаго языка Николай Павловичъ Корелкинъ. Человъкъ энергическій, живой, горячій, онъ быль своего рода свътиломъ среди гимназическихъ преподавателей своего времени, и воспитанники, на которыхъ онъ производилъ самое обаятельное вліяніе, никогда его не забудутъ. Поклонникъ Гегеля и Бълинскаго, почитатель Гоголя, опъ быль слишкомъ живой человъкъ, чтобы вносить въ преподавание и пропагандировать какую либо узкую сходастическую ученость. Воспитанники его въ шестомъ классъ уже были знакомы близко со многими произведеніями русской литературы и зачитывались Гоголя. О Бълинскомъ Корелкинъ не говорилъ ни слова; въ то время имя это было одно изъ самыхъ запрещенныхъ въ ствнахъ гимназіи, но это не мѣшало ему проводить идеи и взгляды Бълинскаго на русскую литературу. Въ 1855 году Н. П. Корелкинъ умеръ, и надо сказать, что внезапная смерть его произвела на двухъ изъ его воспитанниковъ 6-го класса гораздо сильнъйшее впечатлъніе, чъмъ всъ его горячія ръчи и наставленія. Имъ показалось, что міръ опустёль съ его смертію; онъ сдёлался въ ихъ глазахъ предметомъ поклоненія; каждое слово его, запечатленное въ ихъ памяти, имело въ ихъ глазахъ неприкосновенность святыни; они со π бирали и сохраняли каждый его ничтожный автографъ. Въ то же вреия вся окружающая ихъ обстановка цоказалась имъ вдвое будничите, пошлъе и грязите со смертію этого челов'єка, и они исполнились ожесточеннаго протеста противъ этой обстановки. Они соединились въ тесную дружбу и решились въ память незабвеннаго человъка посвятить всю жизнь свою внутреннему, духовному саморазвитію. Въ мечтахъ объ этомъ духовномъ саморазвити прошелъ последній годъ пребыванія ихъ въ 7-мъ классъ. Все время они посвящали тому, что сходились бесёдовать о взаимномъ внутреннемъ саморазвити, все болбе и болбе знакомились съ русскою литературою, кончая, впрочемъ, только Гоголемъ, и писали различныя повъсти, драмы и комедін. Въ то же время къ гимназическому начальству со всеми его жиденькими учебниками, уроками, баллами, они относились съ явнымъ пренебреженіемъ, выказывая это пренебреженіе открытыми заявленіями презрѣнія къ ихъ преподаванію. Какъ сходили имъ эти открытые протесты и какъ они, при всемъ томъ, получили аттестаты, -- это можно объяснить только суровостью того времени, въ которое директора заботились не о томъ, чтобы обнаруживать скандалы, а напротивъ того, всячески замазывать; въ то время хорошинъ директоромъ считался такой, у котораго воспитанники оказывали постоянное безпрекословное и невозмутимое повиновение, тогда-какъ малейшая строптивость со стороны ученика могла повредить директору не менёе, чёмъ и ученику, который бы решился оказать неповиновение.

По выходѣ изъ гимназіи, дружба двухъ юношей не разорвалась, а сплотилась еще крѣпче, несмотря на то, что они пошли по разнымъ дорогамъ: одинъ поступилъ въ университетъ на филологическій факультетъ, а другой пошелъ въ моряки. Мало по малу общія

и неопредёленныя мечты о духовномъ саморазвитии получили болье опредвленный характерь. Корелкинь, увлекая своихъ воспитанниковъ Гоголемъ, очевидно, выбираль для чтенія лучшія его произведенія и совершенно умалчиваль о последнемъ періоде его деятельности. Друзья же наши, воспринявши отъ своего учителя поклоненіе Гоголю, сами начали изучать этого писателя во всёхъ подробностяхъ его жизни и доконались, конечно, до "Переписки съ друзьями". При узкомъ кругѣ развитія и темныхъ мечтахъ о духовномъ самосовершенствованіи, "Переписка съ друзьями" подъйствовала на юношей потрясающимъ образомъ, по крайней мѣрѣ на одного изъ нихъ. Весь міръ представился имъ погрязшимъ въ грѣховной, языческой суетности. Ужь не говоря о всякаго рода страстяхъ и похотяхъ, даже самыя невинныя развлеченія, въ родъ куренія табаку, танцевъ и обыденныхъ разговоровъ, стали казаться вещами предосудительными, недостойными мыслящаго человъка и унижающими его. Мечтателямъ нашимъ казалось, что въ каждую минуту вся природа человека должна быть устремлена къ одному-къ нравственному самосовершенствованію, къ воплощению въ своей особъ идеала истиннаго христіанина; каждое произнесенное слово должно было имъть высшую цедь и значение, а за каждымъ безполезнымъ разговоромъ следовали угрызенія совести. Но такъ-какъ подобнаго рода постоянное напряжение всёхъ силъ немыслимо въ природъ человека, то за излишними напряженіями должны были слёдовать истощенія и паденія; тогда всилывали наверхъ всѣ подавляемыя молодыя страсти и начиналась та отчаянная борьба съ демонами, которая такъ прекрасно характеризуетъ среднев вковой аскетивиъ. Обуреваемый такимъ образомъ страстями и не въ сидахъ бороться съ ними, одинъ изъ нашихъ модолыхъ аскетовъ (другой быль болье спокойнаго и флегматическаго темперамента и демоны не смущали его такъ, какъ перваго) придумалъ следующій выходъ: ему представилось, что та же самая борьба, которая такъ тяжела и невыносима для человъка, замкнутаго въ въ самомъ себъ, съ его одиночными силами, будетъ не въ примъръ легче, когда подвижничество будутъ раздёлять нёсколько людей и помогать другь другу въ борьб' со страстями и въ нравственномъ самосовершенствованін; къ тому же, высшая цёль мыслящаго человъка заключается не въ одномъ личномъ самосовершенствованіи, а въ томъ, чтобы всёхъ окружающихъ людей дёлать мыслящими и подымать до своего идеала. Вследствіе этихъ соображеній, молодой аскетъ задумаль основать "общество мыслящихъ людей", съ колоссальною цёлію возродить въ мірѣ христіанство въ его истинномъ, идеальномъ смыслъ. Проектъ свой онъ сообщилъ некоторымъ изъ своихъ бывшихъ товарищей по гимназіи, и они всё тотчась же увлеклись этимъ проектомъ. Общество возникло на следующихъ основаніяхъ: каждую неділю должны происходить общія собранія для благочестивыхъ разговоровъ и взаимной нравственной поддержки, причемъ члены общества должны особенныя усилія употреблять для поддержки и спасенія того изъ ихъ братьевъ, которому невыносимо станетъ бороться со страстями и онъ воззоветь къ нимъ о помощи; въ то же время

каждый членъ долженъ заботиться о распространеніи общества посредствомъ увлеченія кого-нибудь изъ своихъ близкихъ и знакомыхъ на дорогу высшаго, духовнато саморазвитія. Такого рода неофиты назывались въ обществъ оглашенными, и иногда эти оглашенные призывались въ общія собранія для того, чтобы они поучались и утверждались на новой дорогь. До какого фантастическаго сунасбродства и фанатизма доходили накоторые члены общества, можно видёть изъ следующаго примера. На одномъ изъ заседаній быль поднять вопрось объ отношеніяхъ между мужчинами и женщинами. Женщинъ въ этомъ обществъ не было, но предполагалось, что съ распространеніемъ общества будуть въ немъ участвовать и женщины. Каковы же должны быть отношенія между мужчинами и женщинами въ духѣ высщаго духовнаго саморазвитія? Очевидное дёло, что между мужчиною и женщиною должна быть только высшая, всеобъемлющая духовная любовь христіанина къ христіанину, такой же нравственный союзъ для взаимной поддержки, какъ и между всеми членами общества безъ различія пола; а такъ-какъ малейшее нечистое помышленіе унижаеть уже выслящаго человъка, то половыя влеченія должны быть совершенно исключены изъ отношеній мужчинь къ женщинамъ. "Прекрасно, возражали нъкоторые скептики: но что же будеть, когда общество наше возростеть до того, что приметь въ свои надра все человачество, и человачество, сладуя принципамъ нашего общества, отвергнетъ всякую плотскую связь между мужчиною и женщиною; тогда человъчество, а слъдовательно и общество наше, просуществуетъ всего 100 лётъ, пока не укретъ последній членъ его и виесте съ нинъ не выпреть все челов вчество "? Тогда скептикамъ возражали: "вопервыхъ, пусть, лучше человъчество, достигнувши высшей своей цёли и назначенія, выпреть въ теченіе 100 лётъ, нежели оно тысячелётія будетъ погрязать въ грехе, сустности и унижении; а вовторыхъ, какъ дерзаете вы извёдать всё тайны всеблагаго и всесильнаго Провиденія? Въ награду за такое подвижничество человъчества, въ его власти сниспослать чудо и сдълать людей безсмертными, или же, межетъ быть, Провидёние устроить, что люди будуть рождаться какимъ нибудь чудеснымъ образомъ, помимо плотскаго грѣха". Скептикамъ нечего было возражать на такіе доводы, и они смолкали.

Вся эта исторія проделывалась въ конце 1857 г., когда члены общества мыслящихъ людей были уже во второмъ курсѣ. Незадолго до этого времени Писаревъ сошелся съ однимъ студентомъ Тр., и вскоръ между ними завязалась такая дружба, которую мало было назвать даже дружбою, а скорбе влюбчивостью, къ какой бывають способны юноши 17 и 18 лъть. Влюбчивость эта повела къ тому, что Писаревъ перевхалъ на квартиру къ Тр. и началъ жить съ нимъ въ одной комнаткъ на чердачкъ, а Тр. перешелъ изъ математическаго факультета на филологическій. — Тр. быль однимъ изъ членовъ общества мыслящихъ людей, и къ нему очень часто ходилъ основатель этого общества бесъдовать о внутреннемъ саморазвитии. Очевидное дело, что Писаревъ быль одинъ изъ первыхъ, которыхъ общество избрало оглашеннымъ, и Тр. вивств съ основателемъ общества начали приготовлять его ко вступленію въ общество. Нелегко доставалось Писареву это покушение на его личность: -- начался прынк рядъ увъщаній и порицаній. Писареву внушалось, что онъ, не смотря на то, что носить христіанскій кресть, все еще пребываетъ въ мірѣ язычества, что воззрѣнія его на жизнь ничемъ не отличаются отъ возгреній грековъ и римлянъ, что онъ допускаетъ пустыя удовольствія въ родё игры въ карты или на билліарде; удовольствія эти унижають въ немъ мыслящаго человъка, а онъ мало того, что допускаетъ ихъ, а еще увлекается ими. Писаревъ выслушивалъ всѣ эти увѣщанія и иногда проникался ими до слевъ: "что же инъ дёлать, восклицаль онь въ сокрушеніи: я самъвижу, что во мнё нёть того энтузіазма, какой я вижу въ васъ; я чувствую, что это все правда, но что же мит делать, откуда взять силы?" Такими же восклицаніями ограничивался онъ и на собраніяхъ общества, куда его приглашали для увлеченія его на путь внутренняго саморазвитія. Если съ одной стороны донимали его такимъ образомъ товарищи, то съ другой стороны не менте донималъ его и отецъ Тр. Сильный и суровый старикъ, живое подобіе старика Болконскаго въ романа Толстого, получившій въ жизни своей суровую фіартанскую выправку, исходившій когда-то пъшкомъ всю Россію отъ Петербурга и до Кавказа нарочно ради прогулки и любопытства, чуждавшійся свъта и людей, съ презръніемъ смотръвшій на людскія слабости, онъ не могъ выносить того легкаго свътскаго лоска, который Писаревъ вынесъ изъ своей прежней обстановки. -- Каждый шагь Писарева казался старику легкомысленнымъ, каждое слово поверхнестнымъ и необдуманнымъ, и Писареву приходилось выдерживать цёлый градъ всякаго рода замёчаній и сарказмовъ старика, иногда очень меткихъ и злыхъ, потому что старикъ, несмотря на свою глубокую старость, обладаль недюжиннымь умомь.

Такимъ образомъ, первыя влінія на Писарева имѣли характеръ исключительно индивидуально - нравственный. Вокругъ него постоянно рѣшались моральные вопросы и окружавшіе его люди обращали все вниманіе его на его собственную личность.

Я не знаю, успъли-ли бы Писарева склонить на дорогу аскетизма, еслибы существование общества продолжалось долго. Но вивсто того мистическаго саморазвитія, къ которому такъ тщетно стремились члены общества, ихъ настигло то естественное развитіе, которое образовалось путемъ чтенія, слушанія нікоторыхъ лекцій и общаго движенія того времени, которое крайчикомъ захватило и ихъ. И такъ быстро шло это развитіе, что въ концѣ 1857 года осневалось общество, а весною 1858 года оно должно было распасться, потому что основатель его изъ приверженца "Переписки съ друзьями" Гоголя сдёлался отчаяннымъ скептикомъ, морякъ убхалъ въ море, а прочіе члены разбрелись, кто куда попало. Съ распаденіемъ прежняго кружка нало-по-налу возникъ новый вибств съ естественнымъ сближеніемъ между собою однокурсниковъ факультета. Въ этомъ новомъ кружкъ было два ръзко отдъляющихся одинъ отъ другаго элемента. Съ одной стороны были тё спеціалисты, о которыхъ Писаревъ говоритъ въ своей стать в "Ун. наука":

«Это были люди съ опредъленными, прочно установившимися ввглядами на жизнь и людей; никакихъ колебаній и сомнѣній для нихъ не существовало, никакіе вопроси ни общественные, ни нравственные не мучили ихъ; всё уже такіе вопросы были заранѣе рѣшены ими, и для нихъ существовали одии вопросы ученые; каждый избралъ свою спеціальность съ перваго курса университета и плотно сидѣлъ на ней; олимпійское спокойствіе, самодовольство и скептическое, насмѣшливое отношеніе ко всему, что вкуодило изъ нормы ученыхъ вопросовъли наслажденій эстетическаго и семейнато свойства—вотъ каково было содержаміе этого элемента».

Совершенно противоположнаго свойства была другая сторона кружка. Къ этой половине принадлежали три человека: Писаревъ, Тр. и тотъ самый ларинецъ, который былъ прежде основателенъ общества мыслящихъ людей. Избавившись отъ аскетизма, друзья наши создали новую, теорію нравскетнима, свою собственную, которую назвали гармоническою нравственностью; въ этомъ тармонизме они старались помирить теорію долга со свободою страстей.

Человъкъ, говорили они, можетъ наслаждаться, чемъ угодно, лишь-бы сохранялъ равновесіе страстей и не злоупотребляль ими ни во вредъ себъ, ни во вредъ другимъ. Это первый нравственный долгъ человъка. Выстій же нравственный долгъ заключается въ уиственномъ развитіи себя и другихъ и безкорыстномъ посвящении себя какой-нибудь наукт или искусству. Эта теорія гармонизма отозвалась въ одномъ мѣств сочиненій Писарева. На 41-й стр. І тома своихъ сочиненій онъ говорить: "Майкова я уважаю, какъ умнаго и современнаго развитаго человъка, како проповъдника гармоническаго наслажденія жизнью, какт поэта, импющаю трезвое міросозерцаніе ц пр. " Это мъсто такъ и отзываетъ теми разговорами, спорами и чтеніями, которые велись на чердачкъ у Тр. Майковъ былъ одно время действительно самымъ любимымъ поэтомъ Писарева и весь кружокъ зачитывался имъ во имя эстетическихъ наслажденій и того эпикуреизма, которымъ проникнуты произведения этого лирика и который подъ именемъ гармонизма развивали наши юные мыслители. Этотъ эпикуреизмъ былъ, между прочимъ, главною причиною, вследствіе которой друзья наши, чуждые общественныхъ вопросовъ, отрицали всякое значеніе за новыми д'ятелями литературы. Взглядъ этотъ происходилъ съ исключительно нравственной точки эренія. Друзья и не подозревали, какое общественное значение имъютъ эти новые дъятели; они слышали стороною, что дъятели отрицають, будто-бы, науки и искусства, и имъ казалось, что подобное отрицание противно человеческой природе, сдавливаетъ ее и насилуетъ, лишая ее естественныхъ наслажденій жизни, что это тоть-же аскетизмъ, отъ котораго они только-что избавились; и друзья наши, сидя на своемъ чердачкъ, воображали, что они со своею теорією гарионизма, дарующею челов вку полную свободу всесторонне наслаждаться жизнію, далеко ушли впередъ отъ новыхъ д'язтелей въ литератур'в.

Но немного дъйствительныхъ наслажденій даровала имъ эта теорія гармонизма. Постоянный примъръ передъ глазами товарищей, твердо и неуклонно идущихъ по ученому пути—сильно смущалъ ихъ, наполняя ихъ сердце завистью и угрызеніями. Въ наукъ,

въ глазахъ ихъ, какъ и уже выше сказалъ, заключалось высшее призваніе, высшій долгь человіка. Она была для нихъ святилищемъ. Но тщетно стучались они въ это святилище то съ одного конца, то съ другаго. За какую-бы спеціальность они ни принимались, -- сухое, мелочное изследование скоро надобдало имъ и вивсто наслажденія поселяло въ нихъ скуку, и тогда-стоило минутно увлечься какинъ-нибудь вопросомъ изъ другой области филологическихъ наукъ, - и они мигомъ нерелетали въ другую спеціальность, окружали себя новыми книгами, и снова повторялась та же исторія. Такъ кочевали они, словно бедунны, по разнымъ безплоднымъ степямъ филологическихъ наукъ, въ виду своихъ осъдлыхъ товарищей, и вдоволь потъшались эти осъдлые товарищи надъ ихъ скитаніями. Вообще, роль ихъ въ кружив была самая жалкая: солидные товарищи безпрестанно выставляли на видъ безхарактерность, безалаберность, непрактичность, увлекаемость теоріями и неум'єніе ни на чемъ остановиться нашихъ друзей; къ нинъ приложили даже извъстное название-художественныхъ натуръ, и на собраніях в попойках относились къ нивъ съ темъ добродушно-дасковымъ презръніемъ, съ какимъ относятся къ неразумнымъ дътямъ. Друзья наши не могли даже протестовать противъ всего этого, потому что сами, съ своей стороны, терзались своею неумълостью ни на чемъ остановиться, сами сознавали себя безхарактерными, безалаберными мечтателями и смотрѣли на своихъ товарищей снизу вверхъ съ тайною завистью и уваженіемъ, какъ на воплощенные идеалы. Много было тяжелаго въ жизни этихъ трехъ студентовъ. Обвиняя новыхъ деятелей литературы въ мнимомъ аскетизм'в, друзья наши и не зам'вчали, какъ они, проповедуя свой гармонизмъ, въ то же время насиловали свою природу и создавали для себя новый аскетизмъ, въ которомъ нравственное саморазвитіе сибнилось пригвожденіемъ себя къ узкой спеціальности.

Такимъ образомъ, и въ этомъ второмъ періодъ развитія Писарева вниманіе его было обращено на вопросы исключительно нравственные и личные. Начавши работать въ журналѣ Кренпина "Разсвътъ" и увлекшись этой работой, Писаревъ возбудилъ еще болъе ожесточенныхъ нападокъ со стороны товарищей, которые начали смотръть на него, какъ на человъка окончательно погибшаго: такая деятельность, по ихъ мнѣнію, была не только гибельна, но и безправственна на томъ основаніи, что отвлекала Писарева отъ основательной ученой подготовки, безъ которой писатель не долженъ смъть выступать передъ публикой и передавать читателямъ мысли непереваренныя, гадательныя, не основанныя на солидныхъ знаніяхъ, рискуя въ то же время очень скоро истощиться и окончательно исписаться. Въ этихъ нападкахъ со стороны товарищей была, пожалуй, своя доля основательности, потому что действительно знанія Писарева были слишкомъ въ то время еще ограничены для того, чтобы выступать на литературное поприще, и усиленная литературная работа съ больщею пользою могла быть замънена серьезнымъ чтеніемъ по разнымъ предметамъ; книжки-же всякаго рода, которыя разбиралъ Писаревъ, не могли внушить ему особенно солидныхъ знаній. Но нападки товарищей были ложны съ той

стороны, что подъ ученою подготовкою разумълось не иное что, какъ пригвождение себя къ какой-нибудь узкой филологической спеціальности въ то вреия, какъ человъкъ не имълъ ни о чепъ сапыхъ элементарныхъ и общеобразовательныхъ знаній, необходиныхъ не только для писателя, но и вообще для образованнаго человъка. Такимъ образомъ, еслибы Писаревъ послушался своихъ товарищей, то истощающая литературная работа сивнилась-бы изсушающими умъ мелочными изследованіями. Но Писаревъ не могь победить своего естественнаго стремленія къ литературной діятельности; работа эта, кром'в денежной выгоды, доставляла ему наслаждение, и весь 1859 годъ прошелъ для него въ тяжелой нравственной борьбё: находя наслаждение въ своей работъ, онъ въ то же время, подъ вліяність товарищей, сознаваль, что предаваясь этому наслаждению, онъ не исполняеть своего правственнаго долга, т.-е. не предается учености, и сябдовательно ежедневно совершаеть преступленіе. Эта страшная раздвоенность не могла долго продолжаться: умъ, вращаясь два года уже въ узкой сферф нравственных вопросовъ и не видя выхода изънихъ, наконець до того истощился, что въ одинъ прекрасный день Писаревъ вообразиль, что его обвиняють уже не въ правственномъ преступленіи противъ науки и читательницъ "Разсвъта", а чисто въ уголовномъ, въ родъ воровства, а на товарищей своихъ онъ началъ смотръть, какъ на грозныхъ судей, которые за его воровство хотять предать его казни, ножеть быть, даже смертной, тайнымъ образомъ, помимо всякихъ законныхъ судовъ. Затемъ уже Писаревъ началъ отрицать существованіе дня и ночи. "Все, что инт говорили, все, что я видель, даже все, что я ёль, встречало во мнъ непобъдимое недовъріе. Я все считалъ искусственнымъ и приготовленнымъ нарочно для того, чтобы обнануть и погубить меня. Даже свёть и темнота, луна и солнце на небъ казались инъ декораціями и входили въ составъ общей гронадной мистификацін", ---говорить онъ въ своей статьв "Ун. наука". Вырвавшись изъ лечебницы доктора Штейна весною 1860 года, проведя лъто въ деревнъ, поселившись на зиму на особенную квартиру и проведя зиму за писаніемъ диссертаціи объ Аполлоніи Тіанскомъ, Писаревъ окончательно выздоровъль отъ своей душевной бользии, и въ то же время въ немъ стало замътно очевидное умственное и нравственное возрождение. Правда, что во все это время онъ перечиталъ иного дёльныхъ книгъ, которыя значительно расширили его уиственный горизонтъ; правда и то, что онъ началъ ближе вникать и увлекаться общественными вопросаии, но въ то же время на первоиъ планѣ стояли у него, все-таки, вопросы нравственнаго свойства. Весь кризисъ, который перенесъ онъ съ такинъ трудомъ, главнымъ образомъ заключался въ томъ, что въ опнозицію прежней нравственной теорія, которая, допуская наслажденіе, въ то же время подчиняла его долгу, онъ вычеркнуль изъ своего нравственнаго кодекса слово "долгъ" и началъ носиться съ новою теоріею, такъ-называемаго, эгонзма. "Не человекъ существуетъ для общества, а общество для человъка, началъ онъ проповёдывать: поэтому главная цёль жизни заключается не въ томъ, чтобы мечтать о принесеніи разныхъ пользъ обществу, а чтобы доставлять себѣ везможное счастіе и блаженство въ жизни носредствомъ свободнаго удовлетворенія всѣмъ своимъ естественнымъ влеченіемъ. Человѣкъ, удовлетворяющій всѣмъ своимъ внеченіемъ. Человѣкъ, удовлетворяющій всѣмъ своимъ внеченіемъ, — непремѣнно будетъ полезенъ, хотя-бы онъ объ этомъ не думалъ и не заботился". Такая теорія показалась товарищамъ Писарева верхомъ безнравственности: онц поняли ее такъ, что проповѣдуя личный эгонямъ и свободу всѣхъ влеченій, Писаревъ оправдываетъ выниманіе платковъ изъ кармана и ради личнаго наслажденія готовъ будетъ при случать убить перваго своего пріятеля, если у Писарева явится влеченіе къ этому, и онъ будетъ видѣть въ этомъ наслажденіе. Они отстраннялесь отъ Писарева и прервали съ нимъ всякія снощенія.

Теорія эта, взятая сана по себ'є въ ен глубоко-фидософскомъзначении и очищенная отъ всякихъ узкихъ и условныхъ пониманій, не представляеть въ себъ ничего ужаснаго. Действительно, высшее счастіе на землѣ возножно будеть только тогда, когда каждый ченовъкъ будетъ свободно удовлетворять всёмъ своимъ нориальнымъ потребностямъ. Слово "нориальный" поставлено здёсь не даромъ: оно отымаетъ право у влотодкователей этой теоріи приписывать ей освященіе такихъ влеченій, какъ выниманіе платковъ изъ кармана или убійства, которыя, очевидно, нельзя назвать явленіями нормальными. Но мало сказать, что теорія эта инсколько невиновата въ этихъ ненориальныхъ явленіяхъ, а напротивъ того, последнія, вследствіе того, именно и происходять, что теорія эта не имбеть своего осуществленія, т.-е. люди не находять въ жизни свободнаго удовлетворенія встить своимъ нормальнымъ потребностямъ.

Ощибка Инсарева состояла только въ томъ, что онъ, вслёдствіе всей своей прошлой жизни, слишкомъ увлекся этой теоріей, поставиль ее на первый планъ и началъ ее пропов'ядывать, не какъ цізль, а какъ средство прогресса настоящато времени. Очень можетъ быть, и даже нав'ярное — умственная и нравственная свобода когда-нибудь сд'ялается главнымъ средствомъ прогресса; но теперь ея н'ятъ, и она не можетъ бытъ средствомъ; въ настоящее время она составляетъ цізль, къ которой стремится челов'ячество, и поэтому, выставляя ее какъ цізль, никогда не надо забывать, что цізль не можетъ быть въ то же время средствомъ. Но все это мы увидимъ гораздо наглядн'я на самихъ сочиненняхъ Инсарева.

Ш.

Изъ сообщенныхъ нами фактовъ умственной жизни филологическаго кружка, въ которомъ находился Писаревъ, читатель, конечно, выведетъ сейчасъ-же то заключеніе, что кружокъ жилъ жизнію совершенно заикнутою, особенною, не имъющею инчего общаго съ жизнію всего общества. Но такое заключеніе будетъ крайне относительно и не видержитъ критики, если мы сравнимъ съ жизнію кружка всю нашу современную жизнь. Если мы возьмемъ умственную жизнь нашего общества до 1856 года, то мы увидимъ, что вся она слагалась изъ тёхъ самыхъ элементовъ, которые мы видимъ въ кружкъ. Эта была жизнь, лишенная

всякихъ живыхъ общественныхъ стремленій, основанная преимущественно на отвлеченныхъ нравственныхъ стремленіяхъ и идеалахъ личнаго характера. жизнь разъедающаго анализа, которымъ считалъ себя обязаннымъ мучить каждый развитой человёкъ, прилагая къ себъ мърки своихъ идеаловъ и обвиняя самого себя въ невозможности осуществлять эти идеалы. При этихъ усиліяхъ воплощать личные идеалы одни килались въ аскетизмъ, представителемъ котораго быль Гоголь, другіе, напротивъ того, проповѣдывали эпикурейскія теоріи и старались помириться на свободной наукъ, свободномъ творчествъ и на нассивновъ протеств противъ окружающаго зла, заключавшемся въ нравственномъ охранении своей личности отъ участія въ этомъ зяв. Представителемъ этого ніровозэрвнія быль кружокъ Станкевича.

Съ 1856 года все, повидимому, измѣнилось. Наступила эпоха реформъ, и увлеченное этими реформами общество оставило въ сторонъ всъ свои моральные вопросы и на первомъ планъ встали вопросы общественные. Всв классы общества были заинтересованы въ такихъ вопросахъ, какъ освобождение крестьянъ, гласное судопроизводство, самоуправленіе, уничтоженіе откуповъ, преобразование воспитания и народное образованіе. Въ литературів на первомъ планів стояли статьи политико-экономическія и публицистическія, каковы, напринъръ, споры объ общинномъ и личномъ землевладеніи, о грамотности народа, о женскомъ вопросв и пр. Саман критика, изъ всёхъ отраслей литературы ближе всего стоящая къ вопросамъ жизни частной и индивидуальной, обращала главное вниманіе не столько на анализъ личныхъ недостатковъ, по-

роковъ и слабостей людскихъ по отношению къ ка-

кицъ-либо высоконравственнымъ идеаламъ, сколько на опредёление того, какъ вліяютъ на личность раз-

дичныя общія условія жизни.

Но и въ это горячее, живое время въ обществъ, стоявшемъ на очень низкомъ уровиъ умственнаго развитія, была цълая масса читкощей и мыслящей публики, которая въ новой эпохъ видъла не столько эпоственность и счастіе человъка въ зависимость отъ окружающихъ обстоятельствъ и условій живни, сколько зарожденіе новыхъ нравственныхъ идеаловъ для непосредственнаго личнаго осуществленія ихъ. Въ средъ этой массы публики вы можете замътить всъ тъ нравственныя теоріи, которыя и прежде увлекали людей, — только теоріи эти получили здъсь новыя формы, соотвътствующія времени. Появились новые аскеты во имя новыхъ идей и новые эпикурейцы, но сущность осталась та же.

Васъ, конечно, удивило съ перваго взгляда, что въ нашъ просвъщенный въкъ, въ 1857 году, въ знаменитое то время, когда и т. д., существовалъ среди молодежи, въ Петербургъ, кружокъ аскетовъ, занимавшийся распинаніемъ плоти на основаніи "Переписки съ друзьями" Гоголя. Но погодите удивляться; развъвы не встръчали людей, которые, на основаніи новыхъ идей продълывали совершенно тъ-же штуки, которыя продълывали наши друзья въ обществъ мыслящихъ людей на основаніи "Переписки съ друзьями" Гоголя, ръщали точно такіе же глубокомысленные во-

просы о томъ, какъ имъ держать себя каждую секунду такъ, чтобы каждую секунду быть новыми, реальными людьми и каждую терцію приносить пользу человъчеству, не проронить ни одного лишняго, пустого слова, неклонящагося къ общей нользъ, не прочитать ни одной лишней книжки и т. д.? Точно также терзала ихъ ежеминутно совъсть, если они допускали себъ разныя отклоненія отъ своихъ идеаловъ, не могли, напримъръ, побъдить въ себъ привычки курить табакъ или пить вино. Доходило дёло иногда даже до такихъ чисто схоластическихъ вопросовъ: дозволительно ли современному реалисту всть икру или сардинки, или недозволительно? Даже во взглядахъ на отношение женщинъ къ мужчинамъ, "члены общества иыслящихъ людей не очень отличались отъ нѣкоторыхъ изъ современныхъ прогрессистовъ. Хотя, конечно, ни одинъ прогрессистъ, на основани новыхъ идей, не сдёлаетъ вамъ тёхъ крайнихъ выводовъ о погибели человъчества или о возможности сверхъестественнаго разиноженія его помимо плотскаго гріха, какіе ділались въ "обществъ мыслящихъ людей", но тънъ не менье, вы можете встратить нерадко такихъ современныхъ аскетовъ, которые весьма логически, на основанін новыхъ идей, докажутъ вань, или что любовь есть разслабляющее энергію человіка проявленіе барства, или что эта же самая любовь есть канень преткновенія для разрѣшенія женскаго вопроса, — и такіе люди изъ своихъ положеній логично выведутъ вамъ, что, для полнаго равенства половъ, между мужчинами и женщинани могутъ быть допущены отношенія — только какъ брата къ сестръ. Новыя идеи сами по себъ нисколько не виноваты въ проявленіяхъ такого аскетизма, какъ нисколько не виноваты онъ, съ другой стороны, если какой-нибудь эпикуреецъ и гуляка, на основании техъ же ндей, начнеть оправдывать свою распущенность. Это показываетъ только, что какія свътлыя иден ни предложите вы обществу, складъ ума и жизни котораго продолжаетъ еще быть среднев ковымъ, путающимся въ узкихъ, отвлеченныхъ моральныхъ вопросахъ, общество сейчасъ же ваши идеи переработаетъ сообразно складу своего ума, и вы ихъ совершенно не узнаете въ этой переработкъ.

Если мы коснеися другихъ элементовъ жизни писаревскаго кружка, то и здёсь мы не найдемъ большой разницы между жизнію кружка и общею жизнію современнаго намъ общества. Возьмемъ, напримъръ, увлеченіе филологическими спеціальностями, надъ которыми Писаревъ посибялся въ своей "Университетской наукъ", и публика посмъялась надъ филологами, зарывающимися отъ жизни въ пыль архивовъ. Чемъ отличается современный западный ученый отъ средневъковаго какого-нибудь алхимика, астролога или тоже самое - отъ нашего современнаго ученаго, все равно будь онъ естествоиспытатель, или филологь? Западный ученый, любя свою науку, въ то же время сознаетъ, что прогрессъ создается не одною его наукою, а цёлою массою ихъ, да кромъ того общественнымъ движеніемъ жизни. Поэтому, любя свою науку, онъ не презираетъ другихъ наукъ, а старается воспользоваться результатами всёхъ ихъ для обогащенія своего ума; если онъ санскритологь или изследователь египетскихъ ісроглифовъ, это не мѣшаетъ ему созна-

вать великое значение для человъчества естествознанія; если онъ зоологь или геологь, онъ не спотрить съ презраніемъ и ненавистью на нумизматика; въ то же время и геологъ, и нумизматикъ-граждане своей страны, -- члены той или другой партіи, они выписывають газету своей партін; изъ лабораторін или нузея отправляются на витингъ подавать свой голось въ решеніи какого нибудь общественнаго вопроса, который занимаетъ ихъ не менте, чтиъ вопросъ о нептуническихъ и плутоническихъ формаціяхъ, или о томъ, подъ какой пирамидой кто быль похоронень. Средневѣковые же ученые поступали не такъ: во первыхъ, они чуждались міра и жизни; съ одной стороны, они были, по большей части, ионахи и аскеты, а съ другой стороны, какъ же было не чуждаться имъ светскихъ суетъ, когда каждый изъ нихъ полагалъ, что только въ его наукъ все спасеніе человъчества: къ чему всь эти распри, споры и всевозножныя дрязги жизни, думалъ алхимикъ, когда только стоитъ найти способъ дълать золото, — и тогда все человъчество будетъ богато, у всёхъ будуть карманы рваться отъ червонцевъ и людямъ не изъ чего будетъ драгься? "Да и золота не нужно, дупаль какой-нибудь теологь или мистикъ, а нужно только доискаться до причины причинъ бытія, нужно найти такую безусловную истину, которую стоитъ разъ поведать міру, и человечество устремится на путь истины, мира и блаженства". Вследствіе того, что каждый ученый только въ своей наукъ видълъ спасеніе человічества, адепты разныхъ наукъ каждую минуту готовы были събсть другъ друга, и събдали, обвиняя другь друга въ ересяхъ, колдовствъ и сообществъ съ нечистыми духами.

Не то же ли самое происходить въ настоящее время у насъ предъ нашими глазами? Нашъ ученый увлекается своею наукою соверщенно съ такимъ же самозабвеніемъ дикаря, какъ увлекался средневъковый алхимикъ: онъ совершенно закупоривается въ свою науку, отръщается отъ жизни, и не потому, чтобы онъ быль мертвый, индифферентный человькь, а потому, что онъ въ своемъ увлечени начинаетъ думать, что только въ его наукъ спасеніе человъчества, а прочее все суета, фельетонный вздоръ и нобрякушки. Такъ думали наши филологи, друзья Писарева, скептически глядя на все окружавшее ихъ движеніе и находя единственное спасеніе человъчества въ изученіи Несторовой летописи или кельтическихъ наречій. Но не лучше относятся къ наукъ и жизни иногіе чэъ новъйшихъ естествоиспытателей; если вы еще не встрвчали, то можете встрътить не мало людей, которые поняли признаніе реалистами великаго значенія естественныхъ наукъ такимъ образомъ, что для спасенія человічества только и ислезно что занятіе естественными науками. а прочее все - всё эти разные общественные интересы, мечты о сближении съ народомъ, о просвъщение его, политико-экономическія теоріи и т. д. все это суета суеть, тлінь и фельетонный вздорь. Люди, дошедшіе до такого увлеченія, начинають обыкновенно также скептически относиться ко всему, что не касается вопроса объ инфузоріяхъ на какой-нибудь рыбъ, какъ н какіе-нибудь классики считають излишнивь всякій интересъ, кроив подлинности какихъ-нибудь стиховъ Горація. До какой крайности можеть иногда доводить

людей такое увлеченіе, этому я самъ быль свидітелемъ: собрались однажды нъсколько знакомыхъ, и зашла ръчь объ оказаніи помощи одному бъдняку, накодившенуся тогда въ очень затруднительномъ положенін. Рѣшились оказать ему денежную помощь по силанъ; каждый далъ, что могъ, но когда дъло дошло до одного рыянаго естествоиспытателя, онъ усмёхнулся саркастически и отвъчалъ: "я бы далъ денегъ, еслибы дело шло о покупке какого-нибудь новаго микроскопа, а на все другое у меня денегъ нътъ". Конечно, это можеть быть факть исключительный, единственный, но существование его прекрасно характеризуетъ особенный строй иыслей. Наконецъ, если этотъ фактъ исключительный, то уже не исключительными фактами представляются тв скитанія нікоторых в кружков в молодежи по полямъ и лугамъ естественныхъ наукъ, которыя совершенно аналогичны со скитаніями Писарева по степямъ наукъ филологическихъ.

Послъ скуднаго гимназическаго образованія, въ особенности посл'в классической гимназіи, поступаеть юноша на естественный факультеть. Но область естественныхъ наукъ шире еще, чёмъ филологическихъ,въдь не займешься же встии естественными науками сразу, и воть начинается выборь спеціальностей; накинется юноша прямо на какихъ-нибудь букашекъ и начнетъ разсматривать ихъ подъ микроскопомъ; юноша онъ усидчивый, прилежный (вёдь и Инсаревъ, при всёхъ своихъ скитаніяхъ по филологический наукамъ, удивлялъ иногихъ своею усидчивостью), сидитъ онъ ивсяцъ, два, три надъ букашками; сначала это занимаеть его не столько въ научномъ интересъ, сколько чисто въ нравственномъ: онъ воображаетъ себя въ это время новынъ человъкомъ, Базаровымъ, рисуется даже нёсколько своимъ положеніемъ и дёломъ, повсюду трубить о своихъ букашкахъ, смотритъ свысока и съ презрвніемъ на все, что къ этимъ букашкамъ не относится, и нътъ ничего мудренаго, что въ этомъ увлечении онъ отпуститъ вышеприведенную выходку естествоиспытателя, въ которой иной моралистъ осудитъ черствость души, но которая въ сущности заключаеть въ себъ лишь увлечение, хорошее, если котите, только слишкомъ ужь дикое, средневъковое.

Наконецъ, букашки начинаютъ надобдать юношъ, и не потому опять, чтобы онъ быль безхарактерный человёкъ, неспособный ни на ченъ остановиться, а потому, что въ груди юноши кипять молодыя страсти, а въ умъ бродятъ разные вопросы - мучительные, жгучіе вопросы жизни — и могуть-ли однѣ букашки ответить на эти вопросы? И воть перебереть юноша въ два, въ три года всё естественныя науки: и въ кимической лабораторіи онъ посидить, и труповъ нѣсколько разръжетъ, и по болотамъ нетербургскимъ пошляется, собирая всякую травку-муравку нашей убогой флоры-и чёнъ-же кончается вся эта исторія? А темъ-же, чемъ кончили разные члены кружка Писарева: или онъ бросаетъ наконецъ науку, переходитъ на юридическій факультеть и отправляется по торной дорожкъ устройства своей карьеры, или начинаетъ читать книги по всемъ отраслямъ знанія — и тогда можетъ выйти изъ него образованный, полезный человъкъ, живо откликающійся на всѣ вопросы жизни, или-же останавливается наконецъ на какой-нибудь

спеціальности, весь уходить въ нее, какъ среднев'єковый алхимикъ, и тогда уже ничто челов'яческое не интересуеть его, вопросъ о колебаніяхъ зеира д'влается для него неизм'яримо важи'я вопроса о колебаніяхъ общественнаго ми'явія, и весь либерализить его заключается въ томъ, что онъ слегка подсм'явается надъ гуманными науками. Весь этотъ процессъ вы можете наблюдать ежедневно, и прежде, ч'ямъ намъ см'яться надъ филологами Писарева, не м'яшало-бы намъ вс'ямъ посм'яться надъ самими собою.

Конечно, и среди людей науки можно встрётить нёсколько личностей образованныхъ, живыхъ, равно интересующихся всёмъ человёческимъ, европейцевъ въ истинномъ значени этого слова, но такія личности, во всякомъ случаё, составляютъ меньшинство; я же говорю не о меньшинствё, а о массё публики, которая представляется массою вполнё средневёковою. Эта масса увлеклась минутно общественнымъ движеніемъ 60-хъ годовъ, и столько было обаятельнаго въ этомъ движеніи, что даже многіе алхимики и зв'яздочеты повыл'язли изъ своихъ норъ, и даже говарищи Писарева, при всей замкнутости жизни, заплатили дань этому времени: они ходили въ воскресныя школы, и двое изъ нихъ были редакторами и депутатами при изданіи студенческаго сборника.

Но когда въ 1862 году импульсъ общественной жизни, дойдя до своего максимума, началъ быстро падать, масса публики съ средневъювымъ складомъ мыслей не замедлила заявить себя. Ужь мы не будемъ говорить о людяхъ, ударившихся въ крайною реакцію, увлекшихся кваснымъ патріотизмомъ, начавшихъ инсинуировать и алармировать. Въ самой прогрессивной средъ реакція создала особенный сортъ людей, которые, при всемъ своемъ поклоненіи реализму, остаются въ сущности чистыми идеалистами. Вся цъль жизни этихъ людей заключается въ томъ, что они ставатъ передъ собою какой-нибудь нравственный идеальчикъ, два, три любимыхъ типа, созданныхъ литературою, и начинаютъ заниматься созерцаніемъ этихъ типовъ и прикидиваніемъ ихъ къ своимъ личностижъ.

Вся жизнь этихъ людей проходитъ въ токъ, что они повсюду ищуть какихъ-то особенныхъ свётлыхъ личностей, избранныхъ натуръ, титановъ; натыкаясь на человъка, у которато въ головъ находятъ двъ-три свътныя мысли, они сейчасъ-же думають, что воть нашли, наконецъ, искомаго Базарова иди Рахметова; но потомъ, когда после ближайшаго знакомства, ндеаль ихъ оказывается обыкновеннымъ человъкомъ, и конечно, не безъ нѣкоторыхъ недостатковъ, они впадаютъ въ разочарование и начинаются новые поиски и новыя разочарованія. Другіе-же изъ этой среды, не занимаясь излишними поисками, въ самихъ себъ спъшать воплотить любимые типы-и эти-то воть именно люди или ударяются въ аскетизмъ, или увлекаются поверхностнымъ эпикуреизмомъ, или-же, отрѣшаясь отъ жизни, закупориваются въ естествознаніе, и въ этомъ занятін начинаютъ видёть альфу и омегу про-

Появленіе на литературномъ поприщѣ Писарева, воспитавшагося уже на университетской скамъѣ въ духѣ индивидуальной нравственности, какъ нельзя болѣе было кстати послѣ 1862 года, и при своей талантливости, онъ не замедлилъ встать во главъ этого направления.

Во время своей литературной деятельности Писаревъ заявиль однажды, что онъ совершенно расходится съ. Добролюбовымъ цо вопросу о типъ Катерины въ "Грозъ" и написаль статью "Мотивы русской драмы", въ которой, какъ ему казалось, онъ перерешилъ вопросъ о Катеринъ на лучшихъ и болъе новыхъ основаніяхъ. Это произвело въ литератур'в скандалъ; многіе почитатели Добролюбова шокировались такинъ поступкомъ Писарева, осыпали насившками и порицаніями желаніе Писарева, во что-бы то ни стало, встать выше Добролюбова, и приписали это желаніе единственно самолюбію молодаго писателя, слишкомъ очарованнаго своимъ быстрымъ успъхомъ. Но если мы начнемъ сравнивать взгляды Добролюбова со взглядами Писарева, то мы увидимъ, что Писаревъ расходился съ Добродюбовымъ не по одному вопросу о Катеринъ: съ самой первой статьи своей въ "Русскомъ Словъ " онъ пошелъ совершенно по другой дорогъ, чень шель Добролюбовь.

IV.

Чтобы понять все различіе идей Добролюбова и идей Иисарева, которое на первый взглядъ не кажется особенно разкимъ, им сдалаемъ сначала краткую характеристику некоторых взглядов в Добролюбова, и даже въ такихъ взглядахъ последняго, въ которыхъ замечаются самыя тесныя точки соприкосновенія со взглядами Писарева, ны увидимъ замътную въ то-же время разницу. Всякому писателю, хотя-бы онъ быль публицистъ, исключительно занятый вопросами общественнаго характера, не разъ можеть случиться заняться разрѣшеніемъ того или другаго вопроса моральнаго свойства. Случалось нередко и Добролюбову обращаться къ вопросамъ моральнаго свойства, и при этомъ онъ не разъ выступалъ съ тою-же самою теоріею эгонзиа, съ которою выступиль на сцену Иисаревъ. Такъ, напримъръ, въ статът о сочинени Жеребцова ("Essai sur l'histoire de la civilisation en Russie"), на 281 стр. II т. соч. Добролюбова, ны читаенъ слёдующія строки:

«Всё люди, во всё времена, во всёхъ народахъ искали и ищуть собственнаго блага; оно есть не-избежный и единственный стимуль каждаго свобод-наго действія человіческаго. Развица только въ томъ, кто какъ понимаеть это благо, въ чемъ видитъ удовлетвореніе своего эгоизма. Есть эгоисты гру-бые, которыхъ взглядь чрезвычайно узокъ и кото-рые понимають свое благо въ лъни, въ чувственности, въ унижени передъ собою другихъ и т. п. Но есть эгоисты другаго рода. Ихъ дъйствія можно производить изъ безкорыстной дюбви къ общему благу, но въ сущности и у нихъ первое побуждение эгоизмъ. Отецъ, радующійся успѣху своихъ дѣтей, гражданинъ, принимающій близко къ сердцу благо своихъ соотечественниковъ-тоже эгоисты; въдь всетаки они, они сами, чувствують удовольствие при этомъ, вёдь они не отрекаются отъ себя, радуяся радости другихъ. Даже когда человъкъ жертвуетъ чёмъ-нибудь своимъ для другихъ, эгоизмъ и туть не оставляеть его. Онъ отдаеть бёдняку деньги, приготовленныя на прихоть: это значить, что онъ развился до того, что помощь бъдняку доставляеть ему больше удовольствія, нежели исполненіе при-

хотей. Но если онъ дълаеть это не по влечению сердца, а по предписанію долга, повелівающаго любовь къ общему благу? Въ такомъ случав эгоизмъ скрывается глубже, потому что здёсь уже дёйствіе не свободное, а принужденное; но и туть есть эгоизмъ. Почему-нибудь человъкъ предпочитаетъ же предписание долга своему внутреннему влечению. Если въ немъ нътъ любви, то есть страхъ: онъ опасается, что нарушение долга повлечеть за собою наказаніе или какія-нибудь другія непріятныя послёдствія; за исполненіе-же онъ надвется награды, доброй славы и т. п. Такимъ образомъ, дюбовь къ общему благу (въ которой иные могуть видъть и самоотвержение, и обезличение человъка) есть, по нашему мижнію, не что иное, какъ благороднъйшее проявление личнаго эгоизма. Когда человъкъ до того развился, что не можеть понять своего личнаго блага вит блага общаго; когда онъ при этомъ исно понимаеть свое мъсто въ обществъ, свою связь съ нимъ и отношенія ко всему окружающему, тогда только можно признать въ немъ дъйствительную, серьезную, а не риторическую любовь къ общему благу. Ясно, следовательно, что для значительнаго развитія въ обществе этого качества нужно високое умственное развитіе всёхъ его членовъ, нужно много живыхъ и здравыхъ понятій, не головныхъ только, но проникшихъ въ самое сердце, перешедшихъ въ практическую дъятельность, переработан-ныхъ въ плоть и кровь человъка. Не случайные порывы, не призрачныя стремленія, развившіяся по чужимъ фантазіямъ, а именно масса такихъ выработанныхъ знаній, протекшихъ въ народъ, управляеть ходомъ исторіи человъчества. До сих в поръ подолда и тъ, которыя выработаны, ръдко проникали во вею массу народа. Оттого до сихъ поръ исторія народовъ представляеть въ своемъ ходъ нъкотораго рода путаницу: одни постоянно слять, потому что хоть и имъють нъкоторыя знанія, но не выработали ихъ до степени сердечныхъ, практическихъ убъжденій; другіе не возвысили еще своего эгонама надъ инстинктами хищной природы и хотять удовлетворить себя притъсненіемъ другихъ; третьи, не понимая настоящаго, переносять свой эгонямъ на будущее; четвертые, не понимая самихъ себя, тъшатъ свой эгоизмъ помъщеніемъ себя подъ чужой кровъ и т. д. Непонимание того, въ чемъ находится настоящее благо, и стараніе отыскать его тамъ, гдъ его нъть и не можеть быть, - воть до сихъ поръ главный двигатель всемірной исторіи».

Что показываетъ наиъ вся эта тирада? Во-первыхъ, мы видимъ, что Добролюбовъ выставляетъ свою теорію эгонзна, вовсе не для объясненія побужденій и поступковъ какихъ-нибудь особенныхъ новыхъ, только что народившихся людей, додумавшихся до этой теоріи и начавшихъ на основаніи ся устроивать свое личное счастіе: онъ выставляеть ее только какъ .новый способъ объясненія нравственныхъ побужденій всёхъ людей, начиная съ Адама и до новорожденнаго въ настоящую минуту. Теорія нравственнаго долга вовсе не стоитъ здёсь въ такомъ рёзкомъ противорёчін съ теорією эгонзма, чтобы он'в взаимно исключали другъ друга: съ одной стороны, теорія долга совершенно подчиняется теоріи эгоизма, и Добролюбовъ доказываетъ, что человъкъ, ноступающій не по свободному влеченію, а всл'єдствіе долга, тоть-же эгонсть, разница только въ разсчеть. Съ другой стороны, изъ тирады вовсе не следуеть, чтобы теорія эгонзна отличалась отъ теоріи долга темъ, что первая способна сама по себѣ даровать человѣку счастіе и блаженство на землъ, чего не въ силахъ даровать вторан! Ничуть не бывало: съ теоріей эгонама человікь можеть стра-

дать, пожалуй, еще болье, чыть съ теоріей правственнаго долга, если только онъ при этой теорін не дошель до сознанія, въ чемь заключается истинное благо, къ которому онъ долженъ стремиться; или-же, дойдя до этого сознанія, находить въ жизни такія препятствія въ своихъ стремленіяхъ къ счастію, одо-

лъть которыя онъ не въ силахъ.

Что Добролюбовъ, объясняя теоріею эгонама различныя нравственныя побужденія людей, никогда не упускаль изъ вида причинъ, которыя могутъ мешать людянь пользоваться дичнынь счастіень и въ то же вреия искажать ихъ нравственную природу, въ этомъ ножетъ убъдить насъ другая тирада, изъ статьи, посвященной исключительно нравственнымъ вопросамъ. Статья эта носить названіе "Новый кодексь русской практической мудрости"; написана она по поводу кни-му человеку жить на свете ". Обнаживши мораль Дыммана во всемъ ея нравственномъ безобразіи, въ заключеніе Добродюбовъ говорить:

«Человъку нужно счастье, онъ имъетъ право на него, долженъ добиваться его, во что бы то ни стало. «Счастье, въ чемъ бы оно ни состояло примънительно къ каждому человъку порознь, возможно только при удовлетвореніи первыхъ матеріальныхъ потребностей человъка, при обезпеченности его ны-

нъшняго положенія.

«При современномъ устройствъ и направленіи общества, не можеть достигнуть обезпеченности, не можеть и думать о достижении счастья тоть, кто будеть во всемь, постоянно и неуклонно, следовать своимъ высокимъ стремленіямъ, ни разу не усту-питъ обычаю и силъ, не затанвъ своей правды. Извъстно, что такого человъка не териять въ обществъ и не дають ему ходу, какъ безпокойному и опасному вольнодумцу.

«Согласны вы принять эти три положенія? Или, можеть быть, вы скажете, что наше современное общество уже даеть полный просторь честнымъ жодямъ, что у нихъ уже не можетъ теперь оставаться за душой невысказанной мысли, не можетъ встрътить помъхи задуманное предпріятіе? Неужели вы ръшитесь 'сказать это? Въ такомъ случат немного же имъете вы за душою честныхъ убъжденій!...

«И такъ, я полагаю, что вы принимаете всѣ три положенія, указанныя выше. Что-же изъ нихъ слѣдуеть? По моему мизнію, выводъ не трудень для человъка, дъйствительно уважающаго правду и въ самомъ дълъ желающаго общаго блага. Если настоящія общественныя отношенія несогласны съ требованіями высшей справедливости и не удовлетворяють стремленіямь къ счастію, сознаваемымь вами, то, кажется, ясно, что требуется коренное изм'вне-ніе этихъ отношеній. Сомн'внія туть никакого не можеть быть. Вы должны стать выше этого общества, признать его явленіемъ ненормальнымъ, болъзненнымъ, уродливымъ, и не подражать его уродству, а напротивъ, громко и прямо говорить о немъ, проповъдывать необходимость радикальнаго лъченія, серьезной операціи. Почувствуйте только, какъ слъдуеть, права вашей собственной личности на правду и на счастье, и вы самымъ непримътнымъ и естественнымъ образомъ придете къ кровной враждъ съ общественной неправдой... Тогда-то, и только тогда, можете вы съ полнымъ правомъ считать себя честнымъ человъкомъ и вамъ уже возможно будеть отвергать темныя сдалки съ ложью и неправою силою...

«Но вы не чувствуете въ себѣ довольно силь для того, чтобы возстать противъ целаго общества?.. Въдь, вы одни, а этихъ подей, съ которыми нужно бороться, такъ много и они такъ сильны! Страшно даже вообразить себя въ открытой борьбъ съ ними!

И что туть сделаешь? «Одинь вь полё не воинь; историческій прогресь, торжество правды и свъта совершается трудно и медленно»... Если такъ, то нечего намъ и говорить съ вами: идите за «Наукою

жизни» г. Ефима Дыммана».

Во всей этой тирадъ примо выставляется зависимость счастья и нравственности отдёльныхъ людей не отъ одной личной ихъ воли, а отъ общихъ условій ихъ жизни. Тирада эта выставляетъ ясно невозможность того пути, при которомъ отдельный человекъ, не взирая ни на какія обстоятельства, могь бы въ одно и то же время воплотить въ своей личности высшій нравственный идеаль и въ то же время устроить свое личное счастье. Нътъ, что-нибудь изъ двухъ: если человъкъ захочетъ осуществить высшій нравственный илеаль въ своей личности, то ему можетъ случиться встрѣтиться съ такими препятствіями, что ему нечего будетъ и думать о счастіи, прежде нежели эти препятствія не будуть устранены; если-же человікь будеть стремиться къ осуществленію личнаго счастія, то ему придется отбросить всякім мечты о нравственныхъ идеалахъ, а вооружиться поралью Дыппана.

Еще реальные и глубже представлена эта зависимость личности отъ общественнаго склада въ различныхъ критическихъ статьяхъ Добролюбова, имфющихъ дъло съ художественными произведеніями нашей беллетристики. Изъ всёхъ этихъ статей иы пока выберемъ одну, именно "Что такое обломовщина? - н въ этомъ случат выборъ нашъ обусловливается опятьтаки темь, что эта статья ближе всёхъ другихъ соприкасается со взглядами Писарева о новыхъ людяхъ. Не делая на этотъ разъ никакихъ выписокъ, ны ограничимся тёмъ, что представимъ сущность этой статьи и въ заключение сдълаемъ естественный выводъ, который логически истекаетъ изъ нея, хотя самъ Добродюбовъ этого вывода не высказываеть. Разбирая типъ Обломова рядомъ съ типами, выводимыми въ прежнее время въ нашей литературъ, -Онъгинымъ, Печоринымъ, Бельтовымъ, Тентетниковымъ и Рудинымъ, Добродюбовъ приходитъ къ тому оригинальному и замвчательному выводу, что всё эти типы суть тё же Обломовы, только съ различными темпераментами. Доказывая родственность всёхъ этихъ дичностей сходствомъ отношеній ихъ къ обществу, къ наукі, къ женщині, наконецъ къ саминъ себъ, Добролюбовъ основываетъ въ то же время эту родственность на томъ, что они были созданы одними и теми же обстоятельствами жизни, и при этомъ береть такія обстоятельства, которыя вліяють не на одно какое-нибудь сословіе или среду, а на всёхъ людей безъ исключенія. Какой-же прямой выводъ следуеть изъ всего этого? А тотъ, что подъ вліяніемъ однихъ и тёхъ же обстоятельствъ жазнь неминуемо должна продолжать вырабатывать все тѣ же типы, и такъ-называеные новые люди, какими бы они новыми идеями ни увлекались, въ сущности своей должны быть теми же Онегиными, Печориными, Тентетниковыми, Рудиными, Обломовыми, только въ новыхъ формахъ и съ новыми кличками. Между нассою людей, испорченныхъ обстоятельствами, могутъ быть люди умные и глупые, развитые и темные, люди еще сохранившіеся и потому хорошіе, инфющіе вст задатки, чтобы при лучшихъ обстоятельствахъ сдёдаться еще лучними, и люди уже окончательно попортившеся, которымъ судьба остаться попорченными, въ какія вы ихъ обстоятельства ни поставьте.

٧.

Теперь мы обратимся къ первымъ статьямъ Писарева, пом'вщеннымъ въ "Русскомъ Словъ": "Стоячан вода", "Тургеневъ и Гончаровъ", "Женскіе типы въ романахъ и повъстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова". Въ статьяхъ этихъ замъчается всего болье вліяніе Добролюбова, и при всемъ томъ, съ перваго же взгляда поражаеть вась коренное различіе въ віросозерцаніи Писарева. Въ статьяхъ этихъ вы встрътите, повидимому, то же, что находите и у Добролюбова: точно также порицается въ нихъ пустота нашей жизни, мелкость интересовъ, гнетъ семейныхъ предразсудковъ, сдавливающихъ и уничтожающихъ личность, а съ другой стороны - гнетъ техъ узкихъ, свётскихъ условій и приличій, которыя не даютъ простора уну и свободы чувству. Но какой же выходъ предлагается изъ всего этого отдельной личности? Выходъ очень легкій: будь эгоистомъ, устраивай жизнь по свободнымъ личнымъ влеченіямъ и живи въ собственное удовольствіе, не обращая вниманія на то, что говорить о тебь общество.

«Тѣ условія, при которыхъ живеть масса нашего общества, такъ неестественны и нельны, товорить Писаревъ на 18-й стр., - что человъкъ, желающий прожить свою жизнь дванно и пріятно, должень совершенно оторваться отъ нихъ, не давать имъ надъ собою никакого вліннія, не ділать имъ никакой уступки. Какъ вы попробуете на чемъ-нибудь помириться, такъ вы уже теряете вашу свободу; общество не удовлетворится уступками; оно вибшается въ ваши дъла, въ вашу семейную жизнь, будетъ предписывать вамъ законы, будеть налагать на васъ стъснения, пересуживать ваши поступки, отгадывать ваши мысли и побужденія. Каждый шагь вашь будеть опредъляться не вашею доброю волею, а разными общественными условіями и отношеніями; нарушеніе этихъ условій будеть постоянно возбуждать толки, которые, доходя до васъ, будуть досаждать вамъ, какъ жужжаніе сотни мошекъ и комаровъ. Если же вы однажды навсегда ръшитесь махнуть рукою на пресловутое общественное мивніе, которое слагается у насъ изъ очень неблаговидныхъ матеріаловь, то вась, право, скоро оставять въ поков; сначала потолкують, подивятся или даже ужаснутся. но потомъ, видя, что вы на это не обращаете вниманія, и что эксцентричности ваши идутъ-себъ своимъ чередомъ, публика перестанетъ вами заниматься, сочтеть вась за погибщаго человака, и, такъ или иначе, оставить вась въ поков, перенеся на кого-нибудь другаго свое милостивое внимание»...

Вы посмотрите, какая бездна наивности въ последнихъ словахъ: Писаревъ думаетъ, что общество сочтетъ за погибшаго и затъмъ оставитъ въ поков человъка, вздумавшато устранвать свое ичиное счастіе по своимъ собственнымъ влеченіямъ, а не по торимым дорожкамъ; при этомъ онъ совершенно упускаетъ изъ виду, что такое устроеніе счастія по личнымъ стремленіямъ необходимо должно враждебно задъть тысячу всякато рода интересовъ въ массъ людей, имъющихъ совершенно противоположныя стремленія; вслъдствіе чего, люди эти не могуть ограничиться одникъ качаніемъ головы, а посиъщасть воротить мъщающаго имъ человъжа на ихъ дорогу, или же избавяться отъ него.

Эта наивность происходить примо оттого, что Писаревъ гляделъ на жизнь слишкомъ съ исключительной точки зрвнія, принимая въ разсчетъ преимущественно внутренній міръ челов'єка и совершенно опуская вліяніе на челов'єка условій жизни. Ему казалось, съ этой точки зрвнія, что достаточно внутренно отръшиться отъ разныхъ предразсудковъ, въ родъ, напримъръ, теоріи долга, а затемъ стоить энергически захотеть для того, чтобы устроить свое личное счастие. У Бешистева и Юлін, въ повъсти Писемскаго "Тюфякъ", не было ни сознанія, ни воли — они не избавились етъ гнета общественныхъ предразсудковъ и не сдедались счастливыми; а еслибы то и другое было, то счастіе было бы въ ихъ рукахъ. Я убъжденъ, что когда Писаревъ писалъ свою статью, ибриломъ своего анализа онъ принималъ въ это время себя: онъ только-что избавился отъ гнета товарищескихъ предразсудковъ, онъ только-что додумался до теоріи нравственной свободы, онъ былъ приглашенъ участвовать въ одномъ изъ лучшихъ журналовъ; онъ былъ восторженъ и счастдивъ, онъ сіяль въ это время, а товарищи, покачивая головою и считая его за погибшаго человъка, оставили его въ покож; и этотъ моментъ своей личной жизни онъ возведь въ принципъ, и вообразилъ, что и всякій человъкъ, ръшившися свободно пойти по своей дорогъ, темъ санымъ уже пріобрететь возножное счастіе на земль, и что всь люди, подобно товарищамъ Писарева, оставатъ его въ покот и будутъ только покачивать головою. Чтобы понять, до какой степени Писареву было чуждо вліяніе на личность условій жизни, мы выпишемъ еще одно мъсто изъ той же самой статьи:

«Гнёть общества надъ личностью такъ же вредень, какъ и гнёть личности надъ обществомъ; еслиби всякій умѣль быть свободень, не ственяя свободень, своето семейства, тогда, конечно, бяли би устранены причины многихъ несчастій и страданій Другими словами, еслибя всякій быль эгоистомъ по своему, не мѣшая другимъ быть эгоистами по своему, тогда не было бы въ среднемъ кругу ни ссоръ, ни сплетень, ни скандаловъ. Въ среднемъ кругу, говорю я, потому что для низшихъ слоевъ общества есть такое эло, которое до сяхъ поръ не могли устранить, при всяхъ своихъ усилахъ, дучше мыслича Европы. Это эло—пролетаріать, со всёми своими ужасными посл'ядствіями. Отысканіе средства, долженствующато устранить это зло, принадлежить еще будущему времени».

Начало этой тирады объщаетъ, повидимому, иногое: гнетъ общества надъ личностью, конечно, вреденъ столько же, какъ и гнетъ личности надъ обществомъ. Но что разумъетъ Писаревъ подъ гнетомъ общества? Читая далье, вы видите, что дьло идеть опять о тыхъ же свътскихъ и сепейныхъ предразсудкахъ, обычаяхъ и приличіяхъ, которые, стёсняя личность, иёшають ей быть эгоистомъ по своему. Писаревъ думаетъ, что то зло, устранение котораго онъ видить въ будущемъ, принадлежить только низшимъ классамъ общества, а въ среднемъ кругу существуетъ другое зло-обычан и приличія, устраненіе котораго можеть последовать гораздо раньше, путемъ, конечно, образованія, гуманизаціи отдёльныхъ лиць и возвышенія личнаго самосознанія и самоуваженія, какъ онъ говорить на 66-й страница. При этомъ онъ совершенно упускаетъ изъ виду, что зло, принадлежащее низшинъ классамъ.

есть въ сущности общее всёмъ классамъ здо, которое главнымъ образомъ развиваетъ и поддерживаетъ всевозможныя приличія и обычаи. Да, наконецъ, еслибы и возможно было безъ устраненія этого зла осуществить только въ среднихъ классахъ теорію эгоняма, въ видъ безпрепятственнаго житья въ волюшку, то въ концъ концовъ получилась бы та же самая теорія мъщанства, противъ которой Писаревъ неоднократно рато-

Но въ первыхъ статьяхъ, съ которыми мы имбемъ пъло, читатель найдеть много мъстъ, діаметрально противоположныхъ выписаннымъ и разобраннымъ нами тирадамъ, — и читатель можетъ привести эти мъста намъ въ укоръ. Развѣ не говоритъ Писаревъ въ первой своей стать в о растлевающемъ вліяніи среды на людей во многихъ мъстахъ этой статьи, чуть не на каждой страниць? Развъ во второй его стать в (Инсенскій, Тургеневъ и Гончаровъ) не встръчаемъ мы такихъ же взглядовъ? За что же онъ и обвиняеть Гончарова, какъ не за то, что Гончаровъ смотритъ на бользнь Облонова, какъ на какой-то фатальный органическій порокъ русскаго человіка, а не какъ на следствие обстоятельствъ? "Бельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ-говоритъ онъ на 55 стр. - доходять до своей прянности вслёдствіе обстоятельствъ, а Облоковъ вся вдствіє своей натуры. Бельтовъ, Рудинъ и Бешиетевъ-люди изиятые и исковерканные жизнію, а Обломовъ человъкъ ненориальнаго тълосложенія. Въ первомъ случав виноваты условія жизни, во второмъ-организація самого челов'єка. По мнінію Тургенева, Писемскаго и др., наше общество нуждается въ реформахъ, по мижнію г. Гончарова- мы всё больные, нуждающіеся въ лекарствахъ и въ совѣтахъ врача. Согласитесь, что это не совстви то же

Я нисколько не думаю игнорировать всёхъ подобныхъ взглядовъ; но взгляды эти, разсыпанные повсюду въ первыхъ статьяхъ Писарева, еще болве оттъняють ту тенденцію, которая проглядываеть изъ-за нихъ и совершенно противоръчитъ имъ. Въ первыхъ статьяхъ Писарева можно ясно различить две резкихъ и противоръчащихъ одна другой струи: съ одной стороны вы видите ту моральную закваску, которую Писаревъ вынесъ изъ своей университетской жизни и которая побуждала его возлагать преимущественно на энергію отдільной личности и развитіе ея и устроеніе личнаго счастья; съ другой стороны, вы видите идеи Добролюбова, которыя были въ то время въ большомъ еще ходу въ обществъ и подъ сильнынъ вліянісиъ которыхъ Писаревъ писалъ свои первыя статьи въ 1861 и 1862 гг. Но когда идеи Добролюбова начали отодвигаться въ нашемъ обществъ на второй планъ, тогда и въ статьяхъ Писарева мы видимъ тотъ же поворотъ: мысли о вліянін на личность общественнаго строя попадаются въ дальнъйшихъ статьяхъ Писарева все ръже и ръже, отодвигаются на задній планъ, а на первоиъ планъ рисуются передъ вами различные нравственные идеалы, сливающіеся въ поклоненіи базаровскому типу; этотъ типъ выставляется постоянно, какъ высшее, последнее и крайнее развите современнаго реализма, и предлагается читателямъ для подражанія ему.

VI.

Въ первый разъ поклоненіе базаровскому типу мы видимъ въ статъй Писарева "Вазаровъ". Но мы были бы неправы, еслибы сказали, что Писаревъ, увлекпись романомъ Тургенева, вовеатъ въ свой идеалъ того самато Вазарова, котораго мы находимъ въ романф Тургенева. Между тургеневскимъ Базаровымъ и писаревскимъ большая разница. Тургеневъ въ ляцѣ Вазарова представилъ молодаго человъка, который, увлекпись новыми идеями, началъ отрицать не только тѣ или другіе принципы, но и разныя естественныя влеченія человъческой природы; встъдствіе этого онъ всталъ въ противоръчіе съ самимъ собою, такъ-какъ естественныя влеченія не замедлили въ немъ заявить себя, и обратился въ аскета, борющагося съ своими чувствами.

Писаревъ же воплотиль въ Вазаровъ свой собственный идеалъ совершенно противоположнаго свойства, — заключавшійся, какъ вы видьи, въ правственной теоріи высшаго эгонзма, въ отрѣшеніи отъ всъхъ предразсудковъ и свободномъ отъ всякихъ толковъ и пересудовъ общества наслажденіи жизнію. Мы выпишемъ вдѣсь нѣсколько тирадъ, въ которыхъ Писаревъ, оставляя въ сторонъ романъ Тургенева, характеризуетъ своего собственнаго Базарова. Въ этихъ тирадахъ онъ буквально повторяетъ тѣ мысли, которыя онъ высказывалъ въ послѣднихъ своихъ спорахъ съ товарищами и которыя повели его къ окончательному разрыву съ студенческимъ кружкомъ.

«На подей, подобныхь Базарову—говорить онъ на 129 стр. — можно негодовать, сколько душѣ угодно, но признавать ихъ искренность ръшительно необходимо. Эти люди могуть быть честными и и безчестными, гражданскими дъятелями и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствамъ и по личнымъ вкусамъ. Ничто, кромѣ хичнаго вку-са, не мѣшаетъ имъ убивать и грабить и ничто, кромѣ личнаго вкуса, не побуждаетъ подей подобнаго закала дёлать открытія въ области наукъ и общественной жизни. Базаровъ не украдеть платка потому же самому, почему онъ не събеть кусокъ тухлой говидины. Еслибы Вазаровъ умиралъ съ голоду, то онъ въроятно сдёлалъ бы то и другое. Мучительное чувство неудовлетворенной физической потребности побъдило бы въ немъ отвращение къ дурному запаху разлагающагося мяса ижь тайному посягательству на чужую собственность *). Кром'в не-посредственнаго влеченія, у Базарова есть еще другой руководитель въ жизни-разсчеть. Когда онъ бываеть болень, онъ принимаеть лекарство, хотя не чувствуеть никакого непосредственнаго влеченія къ касторовому маслу или къ ассафетиде **). Онъ поступаеть такимъ образомъ по разсчету; ценою маленькой непріятности онъ покупаеть въ будущемъ большее удобство, или избавление отъ большой непріятности. Словомъ, изъ двухъ волъ онъ выбираетъ меньшее, хотя и къ меньшему не чувствуеть никакого влеченія»...

^{*)} Страниве всего здвсь то, что Писаревъ приписываеть особенному, вновь будто би создавшемуся типу современных реалистовь то, что во всё времена принадлежало всёмъ людямъ безъ исключения: какъ будто всё молодые люди повсюду и всегда не принуждены бывають побъядать въ сеоб отвращение въ тухлому мису и къ поситательству на чужую собственность?

^{**)} Какъ будто опять-таки одий только Базарови принимають касторовое масло въ болевнихъ, а не вев люди повсюду и всегда руководствовались темъ же разечетомъ?

, «И такъ Базаровъ (см. стр. 130) вездѣ и во всемъ поступаеть только такъ, какъ ему хочется или какъ ему кажется выгоднымъ и удобнымъ. Имъ управляють только личная прихоть или личные разсчеты. Ни подъ собой, ни вит себя, ни внутри себя онъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа. Вперединикакой высокой ціли; въ умів—никакого высокаго помысла, и при всемъ этомъ силы огромныя. Да въдъ это безнравственный человъкъ! Злодъй, уродъ! слышу я со всёхъ сторонъ восклицанія негодующихъ читателей. Ну, хорошо, злодъй, уродъ; браните больше, преследуйте его сатирой и эниграммой, негодующимъ лиризмомъ и возмущеннымъ общественнымь митніемь, кострами инквизиціи и топорами палачей, —и вы не вытравите, не убъете этого урода, не посадите его въ спиртъ на удивленіе почтенней публикъ. Если базаровщина—болъзнь, то она болъзнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ин на какіе палліативы и ампутаціи. Относитесь къ базаровіцинь какъ угодно—это ваше дъло; а остановить-не остановите; это та же холера».

«Онъ смотрить на людей сверху внизь (см. стр. 131) и даже ръдко даетъ себъ трудъ скрывать свои полупрезрительныя, полупокровительственныя отношенія къ тьмъ людямъ, которые его ненавидять, и къ твиъ, которые его слушаются. Онъ никого не любить; не разрывая существующихъ связей и отношеній, онъ въ то же время не сділаеть ни шагу для того, чтобы снова завязать или поддержать эти отношенія, не смягчить ни одной ноты въ своемъ суровомъ голосъ, не пожертвуеть ни одною ръзкою шуткою, ни однимъ краснымъ словцомъ. Поступаеть онъ такимъ образомъ не во имя принципа, не для того, чтобы въ каждую данную минуту быть вполнь откровеннымъ, а потому, что считаетъ совершенно излишнимъ ственять свою особу въ чемъ бы то ни было, по тому же самому побуждению, по которому американцы задирають ноги на спинки кресель и заплевывають табачнымь сокомъ паркетные полы пышныхъ гостинницъ. Базаровъ ни въ комъ не нуждается, никого не боится, никого не любить, а вследствіе этого никого не щадить. Какъ Діогень, онъ готовъ жить чуть не въ бочкъ, и за это предоставлиеть себв право говорить людимь въ глаза ръзкія истины по той причинь, что это ему нравится».

Развивая такой идеалъ современнаго реалиста въ первой части своей статьи, Писаревъ переходитъ, затъмъ, къ сравнению его съ типами прежнихъ поколъній, съ Печоринымъ и Рудинымъ, и такъ-какъ этотъ современный типъ взять имъ не изъ живой дёйствительности, а есть создание собственной теоріи, всл'ядствіе этого, Писаревъ совершенно теряетъ всякое историческое чутье и чутье действительности, решительно какъ будто не знаетъ и не видитъ, что такое вокругъ него делается. Если взять во внимание то, что делалось въ 1861 и 1862 годахъ и что было въ какихъ нибудь 1841 и 1842 годахъ, то самону поверхностному наблюдателю можеть показаться, что люди 1841 и 1842 годовъ были заняты однивъ нравственнымъ саморазвитіемъ, или идеями, совершенно отвлеченными отъ жизни, безъ всякой возножности осуществлять свои идеи въ какихъ бы то ни было дълахъ. Въ статъв о Станкевичв Добролюбовъ запищаетъ эту личность противъ нападокъ съ разныхъ сторонъ за то, что Станкевичъ не бородся со здомъ и не сделаль никакого положительнаго, ощутимаго дела, именно тъмъ, что нельзя обвинять людей, если они. сознавая вполит всю гнусность зла своего времени, не боролись съ нимъ, не чувствуя въ себв ни сиды,

ни возможности бороться; мы должны уважать этихъ людей за то уже, что они въ то время не хотъли потворствовать злу, а удалались отъ него и держали себя въ сторонѣ; ужь и это быль съ ихъ стороны подвить. Въ эпоху же 1861 и 1862 годовъ, люди отличались отъ предыдущихъ поколѣній именно тѣмъ, что они слишкомъ жаждали борьбы со зломъ; они не сторонились, а энергически рвались въ жизнь, вмъшивались во вст ея дрязги и требовали большаго и большаго вмѣшательства. Съ точки же зрѣпія Писарева выходить совершенно наобороть: прежнія поколѣнія — думаеть онъ— метались и жаждали дѣятельности, а нынѣшнее, то-есть базаровское, убъдилось, что никажая дѣятельность невозможна, и окончательно оть всего отстранилось.

«Въ своихъ понятіяхъ о добрѣ и элѣ, это поколѣніе (то-есть нынашнее)-говорить Писаревь на 139-й стр. — сходилось съ лучшими людьми предыдущаго; симпатін и антипатін у нихъ были общія; желали одного и того же; но моди прошлаго метались и суетились, надъясь ідт - нибудь пристроиться и какъ-мибудь, втихомолку, урывками, незамътно влить въ жизнь свои честныя убъждения. Люди настоящаю не мечутся, ничего не ищуть, нигдь не пристраиваются, не подаются ни на какіе компромиссы, и ни на что не надъготся. Въ практическомъ отношенін они также безсильны, какъ Рудины, но они сознами свое безсимие и перестами махать руками. «Я не могу дъйствовать теперь-думаеть про себя каждый изг этихг новыхг людей—не стану и пробовать я презираю все, что меня окружаеть, и не стану скрывать своего презрънія. Вт борьбу со зломі я пойду тогда, когда почувствую себя сильнымъ. До тыхъ порт буду жить самь по себь, какь живется, не мирясь съ господствующимъ эломъ и не давая ему надъ собой никакой власти. Я-чужой среди существующаго порядка вещей, и мнь до него ныть никакого дъла. Занимаюсь я жлыбнымь ремесломь, думаю, что хочу, и высказываю-что можно высказывать».

Даже какъ-то не върится, неужели эти строки были написаны и напечатаны въ первой четверти 1862 года? Какъ же это Инсареву могло показаться, что современные ему лучшіе люди, презирая все окружающее, живуть каждый самь по себь, какь живется, занимаются хлёбными ремеслами и не виёшиваются ни въ какую борьбу съ существующимъ зломъ, считал эту борьбу невозможною? Строки эти могли быть написаны въ 1851 году, могли быть написаны теперь, но появление ихъ въ 1862 году ставить читателя решительно въ тупикъ и объяснить появление этихъ строкъ можно только однимъ путемъ: тѣмъ именно, что Писаревъ подъ современными ему-реалистами разумълъ не настоящихъ реалистовъ, жившихъ и дъйствовавшихъ вокругъ него, исполненныхъ надеждъ и опасеній, восторга и отчаннія, шедшихъ по вфриому пути и заблуждавшихся, падавшихъ и встававшихъ, жившихъ, однимъ словомъ, жизнью, свойственною всёмъ живымъ людямъ во всё времена; нётъ, онъ разумёлъ биять-таки не что иное, какъ свой собственный идеалъ, и такъ-какъ идеалъ его, съ одной стороны, поступая по собственнымъ влеченіямъ, съ другой стороны представлялся ему жившимъ жизнью, вполнъ отръшенною отъ жизни общества, то онъ и приписалъ современнымъ ему реалистамъ и эту другую сторону своего идеала. "Люди третьяго разряда идуть дальше-говорить онъ на 141 стр. -- они сознають свое несходство съ нассою и смёло отдёляются отъ нея поступками, привычками, всёмъ образомъ жизни. Пойдеть ми за ними общество, до этого имъ нитъ дъла. Они полны собою, своею внутреннею жизнию и не стъсняють ся въ угоду принятымъ обычаямъ и церемоніаламъ. Здёсь личность достигаетъ полнаго самоосвобожденія, полной особности и самостоятельности".

Но, представляя Вазарова челов'комъ, дающимъ полную свободу вс'вмъ своимъ естественнымъ влеченіямъ, не могь же Писаревъ игнорировать тургеневскаго Вазарова, который, напротивъ того, во имя теоріи сдавливаетъ свои естественныя стремленія и искажаєть свою природу. Писаревъ не упустиль этого изъ виду: развивши свой собственный идеаль, онъ обратился, всл'ядъ зат'ємъ, къ роману и, увидя, что тургеневскій Базаровъ противор'єчить его идеалу, онъ не замедлилъ предать его за это надлежащему порицанію.

«Базаровъ завирается—говорить Писаровъ на 145-й стр.—это, жъ сожажнию, справедливо. Она съ плеча отрицаетъ вещи, которыхъ не знаетъ или не понимаетъ; поззія, по его мивию, ерунда; читать Пушкина—потерянное время; заниматься музикою—смішно, наслаждаться природою—неліпо. Очень можетъ быть, что онъ человъкъ, затертый трудовою живнью, потерялъ или не успіль развить въ себі способность наслаждаться пріятнимъ раздраженіемъ врительныхъ и слуховыхъ нервовъ, но изъ этого не слідуетъ, чтобъ онъ иміль разумное основаніе отрицать или осмінвать эту способность въ другихъ. Выкраивать другихъ пюдей на одну мірку съ собой, звачить впадать въ узкій умственный деспотвамъ. Отрицать совершенно произвольно ту или другую естественную и дійствительно сущетвующую въ человікі потребность или способность чанчить удаляться оть чистаго эмпирияма».

«Когда Николай Петровичъ (см. стр. 147) любуется вечернимъ пейзажемъ, тогда онъ всякому непредубъжденному читателю покажется человъчнъе Базарова, голословно отрицающаго красоту

«Вооружась противъ идеализма (см. стр. 148) и разбивая его воздушные замки, онъ (то-есть Базаровъ) порою самъ дѣлается идеалистомъ, то-есть начинаетъ предписывать человѣку законы, какъ и чѣмъ ему наслаждаться, и въ какой мѣркѣ пригонять свои личныя ощущенія. Сказать человѣку: не наслаждайся природою—все равно, что сказать ему: умерщиляй свою плоть».

Наконець, говоря о послёднемъ свиданіи умирающаго Базарова съ Одинцовой, Писаревъ заключаеть на стр. 169-й: «Базаровъ не измёниетъ себё; приближеніе смерти не перерождаетъ его; напротивъ, онъ становится естествениће, человѣчнѣе, непринуждениће, чельт онъ былъ въ полномъ здоровъи. Мождая, к дакъ онъ былъ въ полномъ здоровъи. Мождая, к дакъва женщина часто бываетъ привыекательнѣе въ простой, утренней блузѣ, чѣмъ въ богатомъ. бальномъ платъѣ. Такъ точно умирающій Базаровъ, распуствившій свою натуру, давшій себо полную волю, возбуждаетъ больше сочувствія, чѣмъ тотъ же Базаровъ, когда онъ холоднымъ разсудкомъ контролируетъ каждое свое движеніе и постоянно ловить себя на романтическихъ поползвовеніяхъ».

VII.

Изъ приведенныхъ нами выписокъ можно ясно видёть, что Инсаревъ остадся совершенно въренъ своей теоріи эгонзма въ статьт, трактующей объ общихъ

основанияхъ своей теоріи. Но могъ ли онъ остаться столь же послёдователенъ въ другихъ своихъ статьяхъ, гдё дёло идетъ уже не объ основаніи теоріи, а о приложеніи ея къ разнымъ фактамъ живой дёйствительности? Очевидно, не могъ по самымъ простымъ основаніямъ: въ дёйствительности онъ долженъ былъ встрётиться съ рядомъ такихъ фактовъ, которые лучше современники его отрицали, а онъ долженъ былъ, выходя логически изъ своей теоріи, признать ихъ и оправдать; а съ другой стороны было множество и такихъ фактовъ, которые современники его признавали и оправдывали, а онъ опять-таки, вслёдствіе односторонности своей теоріи, долженъ быль ихъ отвергнуть.

Въдь еслибы Писаревъ захотълъ проводить свою теорію до конца и быть последователенъ ей, то онъ долженъ быль бы оправдать и чистое искусство, и научное педантство, противъ которыхъ въ то время самъ ратовалъ: если мы разъ допустимъ, что идеалъ современнаго реалиста есть человакъ, понявшій, что со вломъ бороться ему невозможно, отръшившійся вследствіе этого отъ жизни и въ своемъ уголкѣ допустившій себ'в подную свободу всінь своимь естественнымъ влеченіямъ, то чёмъ же будеть отличаться отъ Базарова Фетъ или какая нибудь архивная крыса? — темъ разве только, что Базаровъ режетъ лягушекъ, Фетъ пописываетъ стишки, крыса роется въ архивной пыли. Это будетъ показывать только, что у одного одни естественныя влеченія, у другагодругія, у третьяго-третьи; но такъ-какъ вск они трое въ равной степени отръшились отъ общества, заперлись въ свой уголокъ и каждый предался своему естественному влеченію, то, следовательно, и все они по своему современные реалисты и Базаровы. Если вы возразите, что писаревскій Базаровъ отдичается темъ, что онъ смёло устранваеть по своему свою личную жизнь, не взирая на всё толки, насившки, порицанія и негодованіе общественнаго интиія; то въдь и Фетъ отличается тъпъ же: развъ и противъ него не обращено общественное мижніе цжлой половины нашей интеллигенцін? Разв'є онъ мало выдерживаеть норицаній и насмішекъ самыхъ злыхъ и вдинхъ, и несмотря на все это, онъ продолжаеть жить по своему и подъ оглушительный громъ насмёшекъ, шиканій и свистковъ, спокойно и беззаботно напаваетъ свои пасенки: чёмъ же онъ не Базаровъ съ писаревской точки эрвнія? Особенно если взять при этомъ во вниманіе вышеприведенныя нами слова Писарева относительно красотъ природы, то слова эти мы можемъ прямо отнести къ Фету и сказать: когда писаревскій Вазаровъ въ форм'я Фета любуется зарею, тогда онъ всякому непредубъжденному читателю покажется человъчнъе тургеневскаго Базарова, голословно отрицающаго красоту зари.

Во изобжаніе такихъ выводовъ Писареву пришлось значительно ограничить кругъ свободы естественныхъ влеченій идсею общественной пользы, т.-е. допустить такое ограниченіе своей теоріи, противъ котораго онъ прежде ратовалъ болѣе всего, когда говорилъ, что современный реалистъ, свободно предаваясь всёмъ своимъ влеченіямъ, имѣетъ въ виду только свою личность и не думаетъ о томъ, принесетъ ли его дѣло пользу обществу, или не принесетъ, пойдутъ ли за

нимъ люди, или не пойдутъ. Въ ноздиваниихъ своихъ статьяхъ подъ современными реалистами или Базаровыми онъ разумветъ такихъ людей, которые, при всей свободв влеченій, имъютъ только влеченія, клонящіяся къ общей пользв. При этомъ къ занятіямъ, приносящихъ общую пользу, иногда онъ причислялъ различныя отрасли труда, иногда же ограничивалъ кругъ такихъ занятій однимъ распространеніемъ естествоянанія, и тогда впадалъ въ узкую тенденцію тургеневскаго Базарова. Такого рода тенденція проглядываетъ, наприміръ, въ статьъ "Цвѣты невиннаго юмора".

Писатели добролюбовской школы, при всемь ихъ уваженіи къ естественнымъ наукамъ, отрицали произведенія, подобныя фетовскимъ, вовсе не на основаніи того, чтобъ они признавали пользу только за одивми естественными науками. Они вовсе не отрицали
искусства, а напротивъ того, старались расширить его
область и твиъ увеличноть его значеніе. Вибсто того,
чтобы ограничиваться одною узкою сферою изящнаго,
искусство, по ихъ мибнію, должно отзываться на всф
вопросы жизни, интересующіе человъчество.

Понималъ ли вполей ясно Писаревъ этотъ взглядъ реалистовъ на искусство? Что онъ понималъ его, въ этомъ нётъ сомиёнія. Прочтите только статью его "Разрушеніе эстетики" и "Нерёшенный вопросъ", и вы искусство. Въ статьй "Разрушеніе эстетики", онъ разбираетъ взаляды, выраженные въ извёстной брошюрё: "Отношенія искусства къ дёйствительности", и вполей соглащается со всёми этими взглядами. Въ статьё "Нерёшенный вопросъ" вы встрёчаете взгляды на искусство, ничёмъ не отличающіеся отъ взгляды на искусство, ничёмъ не отличающіеся отъ взглядовъ всёхъ писателей реальной школы:

«Послѣдовательный реализмъ-говорить онъ-безусловно презираеть все, что не приносить существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ совсемъ не въ томъ узкомъ смысле, въ какомъ его навязывають намъ наши дитературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту: «шей сапоги», или историку: «пеки пироги», но мы требуемъ не-пременно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили, каждый въ своей спеціальности, действительную пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тъ стороны человъческой жизни, которыя намъ необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и действовать. Мы хотимь, чтобы мельдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины процебтанія и успъха отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы посредствомъ чтенія расширять предълы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даеть намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничемъ не шевелить и не оживляеть нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустою и дрянною книгою, не обращая вниманія на то, писана ли она прозою или стихами; и автору такой книги мы всегда, съ искреннимъ доброжелательствомъ, готовы посовътовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь ку-

Далёе, опредёляя, какъ можетъ быть полезенъ поэтъ, Писаревъ высказываетъ нёсколько мыслей, столь глубокихъ, сильныхъ и патетическихъ, какія никто еще не высказывалъ со времени Вёлинскаго:

«Самородки, подобные Борнсу и Кольцову-гово-- остаются навсегда блестящими, но безплодными явленіями. Истинный, «полезный» поэть долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуеть самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвещенныхъ представителей его века н его народа. Понимая вполнъ глубокій смыслъ каждой пульсаціи общественной жизни, поэть, какь человъкъ страстный и впечатлительный, непременно долженъ всеми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидъть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мъшаеть идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую действительность! Эта любовь, неразрывно свизанная съ этою ненавистью, составляеть и непремѣнно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священнъйшій символь всего его существованія и всей его д'ятельности. «Я пишу не чернилами, какъ другіе, говорить Берне; я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ». Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишеть иначе, тому слёдуеть шить сапоги и печь кулебяки. Поэть, самый страстный и впечатлительный изъ всёхъ писателей, конечно, не можеть составлять исключенія изъ этого правила. А чтобы действительно писать кровію сердца и сокомъ нервовъ, необходимо безпредъльно и глубоко-совнательно любить и ненавидать. А чтобы любить и ненавидеть, и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты отъ всякихъ примъсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это еделано, когда поэть охватиль своимь сильнымь умомъ весь великій смысль человіческой жизни, человической борьбы и человического горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ крепкую связь между отдельными явленіями, когда поняль, что надо и что можно сдалать, въ какомъ направленіи и какими пружинами следуеть действовать на умы читающих в дюдей, тогда безсознательное и безцальное творчество далается для него безусловно невозможнымъ. Общая цёль его жизни и дёятельности не даеть ему ни минуты покоя; эта цёдь манить и тянеть его къ себъ; онъ счастливъ, когда видить ее передъ собою яснёе и какъ будто ближе; онъ приходить въ восхищение, когда видить, что другіе люди понимають его пожирающую страсть и сами, съ трепетомъ томительной надежды, смотрять вдаль, на ту-же великую цёль; онъ страдаеть и злится, когда цёль исчезаеть въ туманъ человъческихъ глупостей и когда окружающие его люди бродять ощупью, сбивая другь друга съ прямаго пути. И вы, господа эстетики, хотите, чтобы такой человъкъ, принимаясь за перо, превращался въ болтливаго младенца, который самъ не въдаеть, что и зачъмъ депечуть его розовыя губки! Вы хотите, чтобы онъ безцъльно тъшился пестрыми картинками своей фантазіи, именно въ тѣ великія и священныя минуты, когда его могучій умъ, развертываясь въ процессь творчества, льеть въ умы простыхъ и темныхъ людей цёлые потоки свёта и теплоты! Никогда этого не бываеть и быть не можеть. Человыкь, прикоснувшися рукою къ древу познания добра и зла, никогда не съумбеть и, что всего важнъе, никогда не захочеть возвратиться въ растительное состояние первобытной невинности. Кто поняль и прочувствоваль до самой глубины взволнованной души различіе между истиной и заблужденіемъ, тотъ волею и неволею въ каждое изъ своихъ созданій будеть вкладывать идеи, чувства и стремленія вічной борьбы за правду. Итакъ, по моему мнанію, истинный поэть, принимаясь за перо. отдаеть себъ строгій и ясный отчеть вь томъ, къ какой общей цъли будеть направлено его новое созданіе, какое впечатавніе оно должно будеть произвести на уми читателей, какую святую истину оно докажеть имъ своими яркими каргинами, какое вредное заблужденіе оно подроеть подъ самый корень. Поэтъ—великій боець мысли, безстрастный и безукоривненный «рицарь духа», какъ говорить пенрихъ Гейне, или же поэтъ—ничтожный паравить, потышающій другихъ ничтожныхъ паразитовъ мелкими фокусами безплоднаго фигларства. Середини мітъ. Поэть—ичатнь, потрасающій горы віжовато зла, или поэть—козявка, копающанся въ цвіточной пыли. И это не фраза, Это строгая психологическая истина».

Когда послі этой прекрасной, глубокомысленной тирады переходишь къ "Цвътамъ невиннаго юмора", то представляется, какъ будто начинаешь читать совершенно инаго писателя. Въ статъв этой Писаревъ, силясь доказать, что сатиры Щедрина не инфоть иной цёли, какъ только посмёшить читателя и потому ихъ можно причислить къ разряду чистаго искусства, противъ чистаго искусства выставляетъ не то реальное, полезное искусство, о которомъ говорить въ вышеприведенной тирадъ, а подобно тургеневскому Базаровупрямо и радикально естественныя науки. По его инънію, когда последній поэть и последній эстетикъ сознаютъ свою тщету, тогда: "обнявшись весьма кришко, какъ обнимаются люди на могилъ всего, что имъ дорого, наши последніе могикане во весь духъ побегутъ въ лавку покупать себъ микроскопъ и химическія реторты, какъ маскарадныя принадлежности, долженствующія спасти ихъ отъ преждевременнаго погруженія въ спиртъ. Исторія переродившихся экземпляровъ исчезнувшей породы кончится темъ, что оба, эстетикъ и поэтъ, женятся à la face du soleil et de la nature на двухъ дъвушкахъ, занимающихся медиилинского практикого и приводившихъ въ былое время своихъ теперешнихъ поклонниковъ въ совершенный ужась своимъ непостижимо-солиднымъ образованіемъ, своимъ неприлично-твердымъ образомъ мыслей и своимъ полнъйшимъ отсутствиемъ граціи, т.-е. слабости, глупости и жеманства".

Въ сиду этого предсказанія Писаревъ и Щедрину сов'ятуетъ бросить писаніе сатиръ, а заняться популяризированіемъ естественно-научныхъ идей. Мало того, онъ утверждаетъ, что и Добролюбовъ, еслибы былъ живъ, то броселъ бы писаніе критико-публицыстическихъ статей, а занялся бы естественно-научными компилаціями и переводами. Правда, онъ дівлаетъ н'якоторую оговорку для поэтовъ:

«Теперь пора-бы сдълать еще шагъ впередъ: недурно было-бы понять, что серьезное изследование, написанное ясно и увлекательно, освёщаеть всякій интересный вопросъ гораздо лучше и полиже, чъмъ разсказъ, придуманный на эту тему и обставленный ненужными подробностями и неизбъжными уклоненіями отъ главнаго сюжета. Впрочемъ, этотъ шагъ сделается самъ собою, и можеть быть онъ уже наполовину сдёланъ; разумъется, здёсь, какъ и вездъ, не слъдуеть увлекаться педантическимъ ригоризмомъ: если въ самомъ дълъ есть такіе человъческіе организмы, для которыхъ легче и удобиве выражать свои мысли въ образахъ, если въ романъ или поэмъ они умѣють выразить новую идею, которую они не съумъли-бы развить съ надлежащею полнотою и ясностью въ теоретической статъв, тогда пусть двлають такъ, какъ имъ удобнее; критика съумветь отыскать, а общество съумъеть принять и оцвнить плодотворную идею, въ какой-бы формъ она ни была выражена»... и далье онъ говорить: «это даже хорошо, если такіе люди излагають свои иден въ беллетристической формъ, потому что окончательный шать все-таки еще не сдъланъ, и искусство для изкоторыхъ читателей и особенно читательниць, есе еще сохранлетъ кой-какіе блюдые лучи своею ложнаю ореола» (см. стр. 203 и 204 т. I).

Изъ этой терады вы можете ясно видьть, что дъло идетъ здъсь не о прочномъ утвержденіи полезнаго, реальнаго искусства на мъсто прежняго, отръщеннато отъ жизни, романтическаго, — а только о временной уступкъ, пока еще не сдъланъ послъдній шагъ и пока для нъкоторыхъ читателей искусство сохраняетъ блъдные лучи своего ложнаго ореола. Ну, а что же будетъ тогда, когда этотъ шагъ будетъ сдъланър Тогда не только всякое искусство будетъ излишне, но и вообще все, что не касается естественно-научныхъ изслъдованій, популяризированій и переводовъ: такъ напримър, тогда мысль о сближени съ народомъ и народномъ образованіи будетъ совершенно праздная мысль.

«Можеть быть - говорить онъ на 207 стр. - мое благоговъніе передъ естествознаніемъ покажется читателю преувеличеннымъ; можетъ быть, онъ возразить мив, что и естествознание будеть приносить пользу и удовольствіе только тімь классамь нашего общества, которымъ и безъ того не слишкомъ дурно живется на свъть. Книги по естественнымъ наукамъ, скажеть онъ, создаются не для народа, и всъ сокровища, заключающіяся въ нихъ, все-таки останутся для народа мертвымъ капиталомъ. На это я отвъчу, что изданіе этихъ книгь и вообще акклиматизація естествознанія въ нашемъ обществъ неизмъримо полезите для нашего народа, чемъ издание книгъ, предназначенныхъ собственно для него, и дчёмъ всякіе добродътельные толки о необходимости сблизиться съ народомъ и любить народъ.

«Если естествознание обогатить наше общество мыслящими людьми, если наши агрономы, фабриканты и всякаго рода капиталисты выучатся мыслеть, то эти люди, вмёстё съ тёмъ, выучатся понимать какъ свою собственную пользу, такъ и потребности того міра, который ихъ окружаєть. Тогда они поймуть, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собою; поймуть, что выгодные и пріятнѣе увеличивать общее богатство страны, чѣмъ выманивать или выдавливать послёдніе гроши изъ худыхъ кармановъ производителей и потребителей. Тогда капиталы наши не будуть уходить заграницу, не будуть тратиться на безумную роскошь, не будуть ухлопываться на безполезныя сооруженія, а будуть прилагаться именно кътьмъ отраслямъ народной промышленности, которыя нуждаются въ ихъ содвиствии. Это будеть двлаться такъ потому, что капиталисты, во-первыхъ, будутъ правильно понимать свою вигоду, а во-вторыхъ, будутъ находить наслажденіе въ полезной работъ. Это предположеніе можеть показаться идиллическимь, но утверждать, что оно неосуществимо, значить, утверждать, что капиталисть не человъкъ и даже никогда не можеть сдълаться человъкомъ. Что касается до меня, то я рашительно не вижу резона, почему сынъ ка-питалиста не могъ-бы сдалаться Базаровымъ или Лопуховымъ, точно такъ-же, какъ сынъ богатаго помъщика сдълался Рахметовымъ».

Здісь нало того, что весь прогрессь общества сводится исключительно на распространеніе естествознанія, но представляется совершенно вірно съ основной теоріей. Писарева въ видів индивидуальнаго развитія отдільных личностей и простаго размиженія въ обществі прогрессивных единиць. Замічательно, что Писаревъ какть будто чуеть, что такой взглядь можеть показаться слишкомъ идилическимъ, а между тімъ твердо стонть на немъ. Какть и во всіхть

почти своихъ статьяхъ онъ совершенно упускаетъ изъ виду, что какъ ни полезно развите естествознанія и какъ ни желательно, чтобы Лопуховыхъ и Рахметовыхъ было какъ можно более въ нашемъ обществе, но и то и другое возможно только тогда, когда условія жизни будутъ таковы, что они не будутъ ибшать ни тому, ни другому. Сившно и дукать, что одно естествознаніе можеть создавать Рахметовыхъ повально, а не въ видъ исключенія, когда условія жизни таковы, что они могутъ создавать повально только Чичиковыхъ и Обломовыхъ. Людей создаютъ не книги, а жизнь со всеми ея условіями; и если-бы даже естествознаніе само по себѣ могло создавать Рахметовыхъ, то что вы подблаете съ вашимъ талисманомъ, если условія жизни будуть препятствовать на каждомъ шагу распространенію вашего естествознанія?

VIII.

После анализа пелаго ряда статей Писарева, предшествовавшихъ "Мотивамъ русской драмы", намъ становится понятнымъ появленіе этой статьи. Мы видимъ въ ней ту-же основную тенденцію, что и во всёхъ прочихъ; она противорёчитъ взглядамъ Добролюбова не болёе, чёмъ и всё другія статьи Писарева. Разница только въ томъ, что въ этой статьё противорёчіе со взглядами Добролюбова сознано Писаревымъ и опредёленно формулировано.

Если только изъ анадиза всёхъ предшествовавшихъ статей Писарева читатель составиль ясное и опредъленное сознаніе о его міровоззрівнім, въ такомъ случат онъ пойметь, что Писаревъ не могь взглянуть на Катерину "Грозы" Островскаго такъ, какъ взглянулъ на нее Добролюбовъ. Моралисты, анализирующіе жизнь на основани не живыхъ ея элементовъ, а зарание составленныхъ отвлеченныхъ идеаловъ или нравственныхъ теорій, виъсто истиннаго анализа постоянно занимаются только сортировкою; все, что входить въ рамки ихъ теорій, они откладывають въ одну сторону, а что не входитъ, — въ другую; что согласуется съ ихъ доктриною, то они одобряють; что не согласуется, то они считають ни на что негоднымъ. При болье низкомъ и грубомъ уровнъ развитія, подобнаго рода сортировка принимаетъ прямо характеръ вопроса: съ человъческими или песьими головами люди: кто подходить подъ узкую доктрину моралиста, тотъ человѣкъ, а кто не подходитъ, — тотъ вовсе не человъкъ, а собака, проклятый язычникъ, бусурманъ. Пуритане XVII въка ненавидъди не-пуританъ не за одни политическій стремленія; рядомъ съ своими политическими противниками не терпеди они и людей, нисколько не противоръчащихъ ихъ политическимъ стремленіямъ, если эти люди не подходили подъ условія морали, которую проповёдывали пуритане; для пуританъ, всё люди не следующіе ихъ правиламъ, ходящіе въ театръ, развъшивающіе картины у себя но стънамъ, - были людьми равно безнравственными и никуда негодными.

У Писарева видна та-же тенденція считать обладающими песьими головами всёхъ людей, не подходящихъ къ базаровскому типу. Только у него эта тенденція принимаетъ более мягкія и утонченным формы. Подобнаго рода сортировка доходить у Нисарева иногда до того, что онъ къ одному и тому-же типу относится двойственно, если замѣчаетъ, что одна сторона типа подходить къ Базаровскому идеалу, а другая не подходить. Такъ, напримъръ, отнесся Писаревъ къ Молотову въ статьъ "Романъ кисейной барышни". Анализируя отношенія Молотова къ Леночкі, онъ предполагаеть, что Базаровь отнесся-бы къ Леночкъ совершенно иначе, и вследствіе этого до такой степени вооружается на Молотова, что совътуетъ читателю плевать ему въ рожу. Но потомъ, усматривая, что Молотовъ устроилъ свою личную жизнь совершенно по базаровскому идеалу отръшенія отъ общественной жизни и свободнаго удовлетворенія своихъ естественныхъ потребностей въ своемъ узенькомъ семейномъ уголкъ, Писаревъ начинаетъ относиться къ Молотову сочувственно, выставляетъ его, какъ представителя мыслящаго пролетаріата, и не замічаеть, какая бездна мізщанства обнаруживается въ жизни Молотова и какъ скорбить Поияловскій въ концё романа надъ своимъ героемъ.

Добролюбовъ, какъ писатель чисто-реальной школы. безо всякой предвзятой доктрины, относился къ жизни съ тъмъ безпристрастнымъ анализомъ, какой свойственъ истинному реализму и составляетъ его сущность. Съ этой точки зрвнія онъ очень хорошо понималь, что чувствовать на себё тяжелый гнеть самодурства, протестовать противъ него и искать какогобы то ни было выхода могуть не одни только высокоразвитые люди, Базаровы, а вообще всё люди, у которыхъ, подъ вліяніемъ какихъ-либо обстоятельствъ, природа осталась цёльною и неиспорченною. Правда, Катерина не могла такъ ясно сознавать своихъ страданій и формулировать ихъ, какъ-бы это делала высокоразвитая личность, но это не ившало ей чувствовать свои страданія столь-же сильно, какъ и последняя. Если человёкъ неразвитой и темный не знастъ. что делается у него въ желудке въ то время, какъ онъ чувствуетъ себя голоднымъ, не знаетъ даже о существованіи своего желудка, то изъ этого вовсе не следуеть, чтобь онъ чувствоваль голодъ свой мене живо и сильно, чёмъ человакъ развитой и отличнознающій физіологію. Точно также и всякій живой, неиспорченный человъкъ, котя-бы онъ былъ и неразвить, можеть гораздо сильнье чувствовать на себъ гнеть самодурства и менже способенъ переносить его, чёмъ человекъ съ высокоразвитымъ умомъ, но помятый, искальченный жизнію. Добролюбовь въ этопь отношеніи очень хорошо понималь, что не однъ идеи, не одно развитіе д'Елають людей цівльными, твердыми, а жизнь со всёми ся условіями.

«Вотъ сила — говоритъ онъ (284-я стр. «Совр.» 1860, № 10) — до которой доходить народнал жизнь въ своемъ развити, но до которой въ литературћ нашей умбал подниматься весьма немногіе, и нитто не умбать на ней такъ хорощо держаться, какъ Островскій. Онъ чувствоваль, что жизненные факты управляють человьком, что не обрат мыслей, а натура мужна для образованія и пропеленія крітикаю характера, и онъ умьмі создать такое лицо, которое, не нося идей ни на языки, ни въ головь, самоотверженно идеть до конца въ неравной борьбъ и истеть, вовсе не обрекал себя на самопожертвованіе. Ен поступки находятья въ тармонін съ ен натурой, они

для нея естественны, необходимы, она не можетъ отъ нихъ откаваться, хоти бы это имѣло самыя пъсмънные. Въ другихъ творенияхъ нашей интературы сильные характеры похожи на фонтанчики, бъющіе довольно красило и бойко, но запискище въ евоихъ провивенияхъ отъ посторонняю механизма, подведеннаго къ нимъ; Катерина, напротивъ, можетъ бытъ уподоблена многоводной ръстью; она течетъ, какъ требуетъ ен природное свойство; характеръ ен теченія измѣняется сообразно съ мѣстностью, черезъ котгрую она проходитъ, но теченіе ен состанавливается; ронное дно — она теченъ спокойно, камни большіе встрѣтилисъ—она черезъ нихъ перескавнаваеть, обрывъ — льется каска-домъ, запружають ее—она бущуетъ и прорывается въ другомъ мѣстѣ, потому что это ей необходимо для выполненія естественнаго требованія, —для дальнѣйшаго теченія».

Какъ въ этой тирадѣ, такъ и во всей статьѣ своей Побролюбовъ остается вполив ввренъ своимъ взглядамъ на жизнь. Во всёхъ его статьяхъ одинъ и тотъ же анализъ: съ одной стороны представляется вамъ гнетъ самодурства, растлевающій живыя, свежія силы человъчества, съ другой стороны эти живыя, свъжія силы, борющіяся противъ гнета и ищущія выхода. Это исканіе выхода представляется у Добролюбова вовсе не следствіемъ однежь новыхъ идей, одного высшаго развитія; нѣтъ, это такое-же естественное явленіе, какъ потребность воздуха, пищи, тепла, свѣта. Человъкъ, кошка, собака, птица, равно будутъ барахтаться и искать выхода, если вы ихъ запрете въ чуланъ безъ воздуха; растеніе будеть вѣчно тянуться къ теплу и свъту, хотя ни кошка, ни собака, ни птица, ни растеніе не будуть сознавать, къ чему они это дълаютъ. Но выходы на свъть и воздухъ изъ затхлой темницы могуть быть различные: иной выходъ находить Кабановъ, иной Варвара, иной Дикой, иной Катерина. Конечно, если ны буденъ сравнивать выходъ Катерины съ прочими выходами со стороны полезности, плодотворности или отрадности, то мы должны будемъ согласиться, что въ выходъ Катерины столь же мало утешительнаго, какъ и въ прочихъ выходахъ. Что же тутъ полезнаго и отраднаго, какъ для всего человъчества, такъ и для отдъльной личности, если эта личность, не въ силахъ будучи бороться съ окружающимъ ея зломъ, пустить себъ пулю въ лобъ или бултыхнется въ воду? Но если мы будемъ смотръть на различныя явленія жизни съ истинно-реальной точки эренія, то-есть будемъ разсматривать явленія въ ихъ причинной связи съ теми общими условіяии жизни, которыя вызывають ихъ, тогда иы должны будемъ признать, что есть много такихъ явленій, которыя, при всей своей безполезности, являются неизбъжными, единственно возможными и даже, при всей своей безотрадности и ненормальности-лучшими явленіями въ ряду другихъ происходящихъ изъ тёхъ же условій жизни. Еслибы Катерин'ї представлялись два выхода: одинъ — въ Волгу, а другой въ полезную и разумную жизнь, и еслибы Катерина предночла первый послёднему, конечно, она была бы кругомъ безразсудна. Не другаго никакого выхода не было для Катерины, и она предпочла быструю смерть медленному задушенію подъ гнетомъ самодурства. Она покончила съ собою такъ, какъ кончаютъ всё чистыя, глубокія, ненадломанныя натуры, когда никакого выхода не представляется имъ въ жизни и когда онъ не котятъ въ то же время вертъться въ неволъ, какъ бълка въ колесъ, и утъщать себя различными ил-люзіями.

Но, можетъ быть, потому собственно и не нашла себѣ никакого инаго, болѣе полезнаго и отраднаго выхода Катерина, что она была женщина темная и неразвитая, и Писаревъ, ножетъ быть, въ своей статьъ именно хотель поставить на видь, что подобнаго рода выходы, составлия печальный удёль нев'єжества и тымы, не погутъ вовсе представляться лучемъ свъта въ темномъ царствъ, что будь, напротивъ того, Катерина личностью развитою, тогда она нашла бы иной, болье лучшій выходь; ужь одно то, что узкіе семейные предразсудки въ такомъ случат не составляли бы для нея волшебнаго круга, изъ котораго темная Катерина не видала выхода; она могла бы тогда расторгнуть семейныя узы, которыя тяготёли надъ нею, избрать себ'в новый путь жизни, согласный съ ея развитіемъ, путь знанія и труда; на этомъ пути она нашла бы цёлый рядъ жгучихъ наслажденій для себя и принесла бы бездну пользы для окружающихъ ее людей, и только въ такомъ случав она могла бы называться лучемъ свёта въ темномъ царстве. Да, это самое хотвль доказать Писаревь въ своей статьв:

«Облегчая жизнь себт и другимть, умный и развитой человткъ—говорить онъ на 222-й стр. І т.— не ограничивается этимъ; онъ, кромъ того, въ большей или меньшей степени, сознательно или невольно, перерабатываеть эту жизнь и приготовляеть переходъ къ дучшимъ условіямъ существованія. Умная и развитая личность, сама того не замъчал, дъй-ствуеть на все, что къ ней прикасается; ен мысли, ея занятія, ея гуманное обращеніе, ея спокойная твердость,—все это шевелить вокругь нея стоячую воду человъческой рутины; кто уже не въ силахъ развиваться, тоть, по крайней мъръ, уважаеть въ умной и развитой личности хорошаго человъка, а людимъ очень полезно уважать то, что дъйствительно заслуживаеть уваженія; но кто молодъ, кто способенъ полюбить идею, кто ищеть возможности развернуть силы своего свёжаго ума, тоть, сблизившись съ умною и развитою личностью, можеть быть, начнеть новую жизнь, полную обаятельнаго труда и неистощимаго наслажденія. Если предполагаемая свътлая личность дасть, такимъ образомъ, обществу двухъ-трехъ молодыхъ работниковъ, если она внушить двумъ-тремъ старикамъ невольное уваженіе къ тому, что они прежде осмѣивали и притъсняли, - то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сдълала для облегченія перехода къ лучшимъ идеямъ и къ болье сноснымъ условіямь жизни? Мнв кажется, что она сдвлала въ малыхъ размърахъ то, что дълають въ боль-Разница между ними заключается только въ количествъ силь, и потому оцънивать ихъ дъятельность можно и должно посредствомъ одинаковыхъ пріемовъ. Такъ воть какіе должны быть «лучи свъта»не Катеринѣ чета».

Конечно, никто не станеть спорить съ Писаревымъ, что развитая личность можеть болье разлить вокругъ себя свъта и принести неизмъримо болье пользы, чъмъ темная личность Катерины. Но при этомъ Инсаревъ, смотря на вещи только съ точки зрънія пользы и видя пользу только въ развитости, совершенно упустиль изъ виду, какъ это онъ и всегда дълалъ, иную, болъе важную точку зръця — это именно вліяніе условій жизни на всю массу людей разчиенно вліяніе условій жизни на всю массу людей раз-

183

витыхъ и неразвитыхъ. Предполагая въ уиственномъ развитін безграничную и безусловную силу, онъ представляеть намъ въ развитыхъ людяхъ, Вазаровыхъ, такихъ гигантовъ, которые и въ водъ не тонутъ, и въ огит не горятъ. Дъло другое, еслибы Писаревъ умственное развитіе разум'яль въ общемъ смысл'я развитія пелыхъ массъ, всего общества, — тогда действительно такое развитіе должно явиться безграничною силою, рушащею всв преграды; но то же самое умственное развитіе, прилагаемое только къ отдёльной личности, еще не обусловливаетъ ни силы, ни полезности ея. Тутъ являются на сцену условія жизни, которыя могуть способствовать развитой личности разливать вокругъ себя свътъ и приносить пользу, или же, напротивъ того, могутъ быть таковы, что въ одинъ прекрасный день она можетъ дойти до убъжденія, что при всемъ своемъ развитіи она совершенно безполезная и безсильная личность. Въ самонъ дѣлѣ, стоитъ только принять въ разсчетъ условія жизни, чтобы убъдиться съ одной стороны въ томъ, что при дурныхъ условіяхъ уиственное развитіе нисколько не обезнечиваетъ человъка отъ такого выхода, какой избрала Катерина, и что, следовательно, не одно невежество ведеть къ этому выходу; а съ другой стороны, что при хорошихъ условіяхъ даже Катерина, при всемъ ся невъжествъ, можетъ разливать вокругъ себя свъть и приносить пользу вследствіе уже того, что она цёльная, свётлая, здоровая натура. Предположимъ, что Катерина личность развитая и что развитіе ея ни чемъ не мене развитія писаревскаго Базарова. При такихъ условіяхъ, конечно, ей легче избавиться отъ семейныхъ предразсудковъ, чъмъ Катеринъ "Грозы". Но погодите, ей легко это сдълать только внутри самой себя, т .- е. умственно отрѣшиться отъ семейныхъ предразсудковъ, не терзаться совъстью при изивнъ дрянному мужу и презирать ворчанья Кабанихи или пересуды глупыхъ соседей. Хорошо это сказать — презирать, а на дёлё ворчанья, а иногда даже и побои свекрови и городскія сплетни-все-таки тяжелы, все-таки отравляють жизнь, какъ бы вы тамъ ни старались отрешиться отъ нихъ посредствомъ отвлеченныхъ теорій; и чёмъ развите человекъ, темъ, конечно, тяжелъе для него выносить побои какой-нибудь выжившей изъ ума старухи и наглыя насмешки и подмигиванья какихъ-нибудь тупоумныхъ и полупьяныхъ салопницъ. Да еслибы, наконецъ, жизнь Катерины въ дом'в нужа была тиха и безиятежна, какъ въ раю, - что это за жизнь сана по себъ? Можеть ин она удовлетворить богатую, развитую натуру? Конечно, единственный выходъ Катерины -увхать совершенно изъ роднаго города. Но для того, чтобы уёхать, необходино получить отъ нужа увольнительный билетъ: Вотъ вамъ и отвлеченная самостоятельность мысли, о которой Писаревъ говорить, что при ней ничего не стоитъ махнуть рукой на всв : старые предразсудки и начать жить свободною, блаженною жизнію уиственнаго труда, разливая вокругъ себя свъть, счастіе и радость. Весь этотъ обольстительный миражъ можетъ разрушиться въ дёйствительности въ пухъ и прахъ о ничтожный клочекъ бумажки, и отъ этого клочка можетъ зависъть вся жизнь, все счастіе женщины! И сколько развитыхъ, св'втлыхъ личностей гибнутъ, не имъ возможности перейти черезъ эту первую преграду.

Но предположимъ, что Кабановъ и Кабаниха не стали бы удерживать Катерину и оказали бы ей великодушную милость, --- за темъ представилось бы другое условіе: на дорогу необходимо имъть коть малое количество денегъ, чтобы довхать до какого-нибудь знаконаго города, гдъ бы развитая личность иогла бы найти деятельность, сообразную своему развитію. Въ романахъ и повъстяхъ перебады такого рода дълаются обыкновенно очень легко, словно на ковръ-самолетъ. Въ третьей главъ авторъ описываетъ семейную размолвку, а въ четвертой героиня оказывается уже въ Петербургъ или Москвъ, и но щучьему вельнію являются къ ней уроки и переводы, и начинается блаженство самостоятельной, уиственной жизни. Въ дъйствительности же очень часто вся жизнь развитой личности разбивается изъ-за нѣсколькихъ рублей, которые ей негдъ бываетъ достать на первыхъ порахъ, при всемъ уиственномъ развитіи.

Предположимъ, что и эта вторая преграда была бы пройдена. Прівкала бы Катерина не въ какой-нибудь губернскій городъ, даже не въ Москву, а въ Петербургъ, въ этотъ центръ умственной жизни всей Россін, —въ Петербургъ, гдв столько развитыхъ, хорошихъ людей, столько полезныхъ книгъ, гдф и уроки, и цереводы, и мало ли какихъ только нътъ занятій, гдь, наконець, существуеть женскій вопрось, лучи котораго расходятся по всёмъ городамъ Россіи. Первымъ дёломъ для осуществленія своего стремленія къ самостоятельной жизни Катеринъ пришлось бы искать труда. Но гдё эти женскіе труды, не въ книгахъ и отвлеченныхъ теоріяхъ, а въ живой дійствительности? Развъ общія условія жизни нашей создали такую массу этихъ трудовъ, чтобы хватило ен на всехъ работницъ? Развъ, напротивъ того, эти общія условія жизни не таковы, что они и то скудное количество женскихъ трудовъ, какое имъется, стараются всячески сократить и, если можно, совсёмъ уничтожить? Скоро ли найдеть трудъ Катерина? Не придется ли ей скорби помереть съ голоду, чёмъ найти? Да и какой трудъ можеть она найти: уроки, переводы, швейное мастерство, повивальное? Или пойдеть она въ няньки, въ кухарки, въ телеграфистки, въ актрисы? Вотъ и все, что она можеть имъть въ виду. При самыхъ лучшихъ условіную, одинь изъ этихъ трудовъ ножеть даровать ей такое счастіе, что она не упретъ съ голоду. Мы не будемъ уже говорить о техъ притесненияхъ; униженіяхъ, насмъшкахъ и всякаго рода двухсмысленныхъ, глупыхъ намекахъ, которые ей придется терпъть ежедневно! Ну и гдъ же эта самостоятельная уиственная жизнь, полная наслажденія, гд'є это разливаніе св'єта вокругъ себя? Проработавъ 10 часовъ надъ какинънибудь каторжнымъ, отупляющимъ трудомъ, --- усталая, утомленная, она будеть ложиться на свою жесткую постель и засыпать свинцовымъ сномъ, чтобы завтра снова приняться за то же, а черезъ неделю та же жизнь сухая, черствая, монотонная, безъ всякой цеди впереди, безъ всякаго малейшаго теплаго и светлаго луча, который осветиль и согрель бы ея жизнь.

Я вовсе не хочу сказать этимъ, что для развитыхъ личностей только и остается, что одна дорога Катерины. Напротивъ, наблюдаемые факты жизни показывають намъ, что ивкоторымъ, хотя очень немногимъ труженицамъ, удается устроить свою жизнь на столько сносно, что онъ и обезпечивають себя, и приносять пользу ближникъ. Большинство же другихъ, не особенно заботящихся объ осуществленіи въ своихъ личностяхъ высшихъ нравственныхъ идеаловъ, спасаются темь, что делають кой-какія ўступочки жизни, выхолять очень выгодно замужъ и опираясь на благопътелей мужей, трудятся исподволь по силамъ и стараются приносить пользу, какую когуть. Я вовсе не наибренъ обвинять это большинство. Я постеянно ратую противъ того жестокаго взгляда на вещи, который, возлагая на энергію отд'єльнаго челов'єка и устройство своего счастія, и осуществленіе высшихъ нравственныхъ идеаловъ, требуетъ, чтобы человъкъ въ каждую минуту жизни своей стоялъ руки по швамъ и чтобы обстоятельства не могли на него действовать, хотя бы они представлялись въ виде всепоглощающаго океана. Напротивъ того, я говорю и буду продолжать говорить, чтобъ люди бросили напрасныя усилія осуществлять въ своихъ личностяхъ такіе идеалы. осуществление которыхъ невозможно при данныхъ условіяхъ жизни, а все свое вниманіе устремили на переработку этихъ условій. Въ силу такого взгляда я не только не желаю обвинять, но готовъ отнестись съ поднымъ сочувствіемъ къ темъ женщинамъ, которыя если и пошли по рутинной повидимому дорожкъ, т. е. вышли занужь и живуть насчеть мужей, но весь свей досугь употребляють на то, чтобы создать лучшія условія жизни для того, чтобы труженицамъ будущихъ покольній ничего не стоило осуществлять высшіе нравственные идеалы, ни сколько объ этомъ не заботясь.

Я котель только показать, что не одно невежество, не одни карлики и дъти, какъ выразился Писаревъ, способны на такой выходь, какой избрала себъ Катерина. "Въчный ребенокъ все терпитъ и все печалится; а потомъ, какъ прорветь его, онъ и хватить заразъ, да ужь такъ хватитъ, что или самого себя, или своего собесёдника уложить на иёстё", говорить Иисаревъ на 225 страницѣ, предполагая, напротивъ того, что развитые люди неспособны на такіе концы, они не печалятся, не териять, а сіяють постоянно восторгомъ своего уиственнаго превосходства и разливаютъ вокругъ себя свътъ, неуклонно облегчая страданія ближнихъ. На дълъ же выходить, что Катерина, еслибы она была личностью развитою, могла бы страдать еще болье и еще энергичные, пожалуй, устремилась бы къ тому же самому исходу. Если, съ другой стороны, иы предположимъ обстоятельства, равно благопріятныя какъ для развитой личности, такъ и для Катерины, то хотя развитая личность и принесла бы болже добра, чемъ Катерина, но и последняя, при всей ся неразвитости; разливала бы вокругъ себя порядочную долю свёта; она возбуждала бы въ окружающихъ людяхъ хорошіе инстинкты и помыслы-просто въ силу своей нравственно-чистой, цёльной, глубокой натуры. Наконецъ такого рода натуры не могутъ оставаться на мъсть и почивать въ сладкомъ снъ: Катерина непремвино рвалась бы къ развитію, свету, и увлекала бы другихъ за собою. Среди темныхъ и неразвитыхъ людей мы видимъ иногда появленіе цізльныхъ, сохранив-

шихся натуръ, которыя, при благопріятных условіяхь, становятся впереди массы, вліяють на нее обаяніємь своей личности и ведуть ее за собою. Катерина представляется намь одной изъ такихъ личностей, и если она не была развита, не занималась естественьными науками, не устраивала счастія себь и другимъ, то виною этому были обстоятельства, а сама она всетаки остается лучомъ свёта въ темномъ царстей.

IX.

Теперь мы обратимся къ стать в Писарева "Пушкинъ и Бълинскій", въ которой онъ имъетъ дъло съ явленіями прошлой нашей жизни. Здёсь мы увидимъ точку зрвнія, опять-таки исключительно поральную. Моралисты обыкновенно къ прошлому относятся съ тыть же нравственнымъ масштабомъ, какъ и къ настоящему. Какъ мало обращають они вниманія на условія, вліяющія на жизнь ихъ времени, такъ и на условія прошлыхъ въковъ. Въ современномъ намъ ученомъ мірѣ мы имъемъ одного такого моралиста — г. Ор. Миллера. Прочтите вы его различныя ученыя изслъдованія, и вы увидите, что какіе бы памятники искусства онъ ни разбиралъ, онъ обращаетъ внимание не на то, какое значеніе имали они въ связи со своимъ вѣкомъ, а на то, на сколько они удовлетворяють его собственному правственному кодексу. Ему, напримъръ, кажется, что памятники древней Индіи нравственнъе греческихъ-онъ и ставить имъ лучшій баль въ поведеніи, чёмъ послёднимъ. Отношеніе къ прошлому у Писарева совершенно такое же, какъ у г. Ор. Миллера. И тёмъ более трудно бываеть уловить ложность такого отношенія, что моралисты съ своей точки зрвнія бывають обыкновенно совершенно правы. Такъ, читая вышеозначенную статью Писарева, вы встръчаете на каждой страницѣ иного мыслей; съ своей точки зрѣнія истинныхъ, съ которыни вы не можете не согласиться. Можете ли вы не согласиться, что Евгеній Онфгинъ, какимъ бы Пушкинъ ни выставлялъ его умнымъ и блестящимъ, а Бълинскій несчастнымъ, все-таки въ концѣ-концовъ праздный и безполезный филистеръ, что Татьяна, какими бы природными качествами ни была она наделена, все-таки не можетъ выдержать ни малъйшаго сравненія съ умною, развитою, энергическою труженицею нашего времени? Все это, безспорно, справелливо. Но въ то же время, читая статью Писарева, вы чувствуете что въ ней недостаетъ чего-то существеннаго, и такого притомъ, безъ чего, какъ ни справедливы всв вышеозначенныя мысли, онв нисколько не рышають вопроса о значени Пушкина въ нашей литературъ и типа Онъгина въ нашей жизни.

Представьте вы себѣ, что вы разсматривали бы картину съ глубокою перспективою. Естественно, что кудожникъ на первомъ планѣ изобразилъ фигуры, которыя должны вамъ представляться вдесятеро громаднѣйшими, чѣмъ тѣ колоссальнаго, бить можетъ, роста мюди, которые стоятъ на заднемъ планѣ. Вдругъ является человѣкъ и на основаніи непосредственнато наблюденія начинаетъ доказывать вамъ, что близь стоящія фигуры дѣйствительно больше тѣхъ гитантовъ, которые находятся въ отдаленіи. Какъ убъдите вы собесѣдника въ его заблужденіи, если енъ беретъ

въ руки пиркуль, сначала прилагаетъ его къ однъмъ фигурамъ, потомъ къ другимъ, и дъствительно первыя занимаютъ больше мъста на холстъ, чъмъ послъднія?

Для публициста и критика необходимо знаніе своего рода перспективы, которую можно назвать историческою. Отсутствіе этого знанія можеть завести писателя въ непроходимыя трущобы. Вы посмотрите, до какихъ курьезныхъ выводовъ дошли некоторые западные экономисты, не принявши во вниманіе законовъ исторической перспективы: усматривая въ исторіи культуры Европы, что современные рабочіе во многихъ первыхъ потребностяхъ жизни обезпечены гораздо болве, чвиъ рабочіе прежнихь времень, а американскіе рабочіе еще того болье, они пришли прямо къ тому выводу, что, следовательно, никакихъ соціальныхъ улучшеній быта рабочихь не требуется, что достаточно одного промышленнаго прогресса, который и безъ того самъ собою улучшаеть съ каждымъ въкомъ быть рабочихъ. Лассаль, въ одной изъ своихъ брошюръ, сдёлалъ отличное возражение противъ экономистовъ подобнаго рода, напомнивъ имъ, что короли германскихъ дикарей жили хуже современныхъ намъ рабочихъ. Въ самомъ дёлъ, не говоря уже о современномъ работникъ, послъдній нищій, питающійся подаяніемъ, неим вющій угла, ночующій гдв-нибудь на ступеняхъ храма, покрытый жалкими рубищами, въ то же время гораздо болъе обезпеченъ и пользуется большими удобствами, чёмъ пользовался король германскихъ дикарей: спать на ступеняхъ храма цивилизованнаго города --- во всякомъ случат безопаснъе, чъмъ въ какойнибудь пещеръ или въ лъсу; гораздо върнъе разсчитывать на объдъ, коть и очень скудный, собранный въ видъ итдныхъ грошей отъ доброхотныхъ дателей, чёмъ надвяться на удачу охоты, съ плохимъ первобытнымъ оружіемъ, въ вид'в какого-нибудь заостреннаго дреколія, и ужь, конечно, лучше хоть лохиотьями. да прикрыть наготу, чёмъ рисковать иногда остаться нагишемъ совсемъ безъ всякаго одення; да и вообще лохиотья, какъ бы они ни были ужасны на видъ, а все-таки удобиве для твла, чвиъ жесткіе безобразные куски звёриныхъ шкуръ, составлявшіе нёкогда королевскую мантію какого-нибудь предводителя тевтоновъ. Заблуждение заключается здёсь въ томъ, что экономисты поступають совершенно такъ-же, какъ и вышеупомянутый вашъ собесъдникъ, который съ циркулемъ въ рукахъ доказываетъ вамъ, что люди, стоящіе на первоиъ план'є картины, выше людей, стоящихъ на заднемъ. А еслибы они приняли въ разсчетъ законы исторической перспективы, они убъдились бы, что положеніе рабочихъ не улучшилось, а ухудшилось: какъ и прежде, такъ и теперь, они заработываютъ послёдній иннимумъ, необходимый для существованія; этотъ минимумъ увеличился съ въками, потому что съ развитіемъ цивилизаціи люди сдёлались менёе сильны, терпки и выносливы, необходимыя потребности осложнились и увеличились вибств съ твиъ; ужь на что иногда закалится, привыкнетъ къ голоду и къ холоду какой - нибудь бездомный бродяга, а и онъ не вынесъ бы, можетъ быть, и года той жизни, какую вели дикари. Поэтому минимумъ существованія необходимо долженъ быль подняться; но все-таки онъ представляеть минимумъ, съ уменьшениемъ котораго существованіе современнаго челов'єка д'ялается невозможнымъ.

Къ этому нужно еще прибавить, что медленное возрастаніе минимума идеть далеко неравном врно съ быстрымъ возрастаніемъ первыхъ потребностей съ каждымъ векомъ. Выло время, когда люди, плохо одетые, жили по большей части на чистомъ воздухъ-и это не ибшало инъ пользоваться желбзнынь здоровьемь и доживать до глубокой старости. Нынъ теплая одежда и теплое жилище сдёлалось одною изъ первыхъ необходимостей жизни; организмъ европейца дошелъ до такой утонченности, что не только жизнь на чистомъ воздухв, а въ мало-мальски холодной и сырой квартиръ-быстро его истощаетъ и разрушаетъ. Но возросъ ли вибств съ этимъ минимумъ заработной платы на столько, чтобы масса рабочихъ могла пользоваться теплою одеждою и жильемъ, благопріятнымъ для здоровья?

Въ жизни образованнато общества есть своего рода минимумъ для удовлетворенія разныхъ правственныхъ, умственныхъ и общественныхъ потребностей образованнато человъка. Минимумъ этотъ тоже принужденъ возвышаться витетт съ прогрессивнымъ развитіемъ умственныхъ и нравственныхъ потребностей съ каждымъ въкомъ, и весьма важно и поучительно прослъдить, дъйствительно ли онъ возвышается пропорціонально съ развитіемъ идей и потребностей въка.

«Время Бельтовыхъ, Чацкихъ и Рудиныхъ прошло навсегда съ той минуты, какъ сдёлалось возможнымъ появление Базаровыхъ, Лопуховыхъ и Рахметовыхъ; но мы, новъйшіе реалисты, чувствуемъ свое кровное родство съ этимъ отживнимъ типомъ; мы узнаемъ въ немъ нашихъ предшественниковъ, мы уважаемъ и любимъ въ немъ нашихъ учителей, мы понимаемъ, что безъ ниже не могло бы быть и насе. Но съ онъгинскимъ типомъ мы не связаны ръшительно ничьмъ; мы ничьмъ ему не обязаны; это типъ безплодный, неспособный ни къ развитию, ни къ перерождению; онъгинская скука не можеть произвести изъ себя ничего, кромъ нелъпостей и гадостей. Онъгинъ скучаеть, какъ толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалбеть о томъ, что не можеть выпить ихъ тридцать три. Еслибъ человъческое брюхо не имъло предъловъ, то онъгинская скука не могла бы существовать. Бѣлинскій любить Онъгина по недоразумънію, но со стороны Пушкина туть нъть никакихъ недоразумъній».

Такъ говоритъ Писаревъ на 157 стр. 3 ч. Но что, если, вооружаясь историческою перспективою, мы увидимъ вдругъ, что Онъгинъ былъ своего рода писаревскій Базаровъ 20-хъ годовъ, и что если подобная аналогія послужить намь вовсе не для возвышенія Онъгина во мнъніи публики, а напротивъ того, для значительнаго пониженія инимой титаничности писаревскаго Базарова? Что, если мы увидимъ, что современные намъ лучшіе люди показались Писареву какими-то колоссами только потому, что они стояли на первомъ планъ предъ его глазами, въ дъйствительности же, если мы подвинудись хоть на одинъ шагъ отъ Онбгина и Печориныхъ, то это случилось только благодаря тому, что самыя условія жизни нісколько измънились; но это измънение такъ ничтожно въ сущности и условія жизни такъ мало гарантированы противъ обратнаго ихъ изменения, что очень и очень не много нужно, чтобъ они снова встали на ту точку, на которой стояди во время Онфгина, и тогда если не всёмъ, то многимъ изъ современныхъ намъ людей ничего не стоитъ снова сдёлаться Онёгиными и Печориными своего рода. А съ другой стороны, вооружась законами исторической перспективы, мы увидимъ, что Пушкинъ въ свое время принесъ своему поколёню столько же пользы, сколько приносятъ современные намъ лучшіе дёнтели литературы.

X.

Более всего, повидимому, вооружило Писарева противъ Онетинскаго типа то, что въ то время, какъ Пушкинъ писалъ свой романъ, въ жизни нашей существовала особенная среда людей, имевшая право относиться презрительно къ герою романа Пушкина. Среда эта въ глазахъ Писарева стояла во главе русской ингеллигенции того времени, Онегинъ же вовсе

не принадлежаль къ этой средв.

«Если вы пожелаете узнать, говорить Писаревъ на 179 стр. 3 ч., чёмъ занималась образованнёйшая часть русскаго общества въ двадцатыхъ годахъ, то энциклопедія русской жизни (т.-е. романъ Пушкина) отвътить вамъ, что эта образованнъйшая часть ъла, пила, плясала, посъщала театры, влюблялась и страдала то отъ скуки, то отъ любви. И только?-спросите вы.-И только! отвётить энциклопедія.-Это очень весело, подумаете вы, но не совствы правдоподобно. Неужели въ тогдашней Россіи не было ничего другаго? Неужели молодые люди не мечтали о карьерахъ и не старались проложить себъ, такъ или иначе, дорогу къ богатству и къ почестямъ? Неужели каждый отдёльный человёкъ быль доволенъ своимъ положеніемъ и не шевелиль ни однимъ пальцемъ для того, чтобы улучшить это положение? Неужели Онъгину приходилось презирать людей только за то, что они очен громко стучали каблу-ками во времи мазурки? И неужели не было въ тогдашнемъ обществъ такихъ дюдей, которые не за-дергивали мысличелей XVIII въка траурной тафтой и которые могли смотръть на Онъгина съ такимъ же презрвніемъ, съ какимъ самъ Онбгинъ смотрвлъ на Буянова, Пустякова и разнихъ другихъ пред-ставителей провинціальной фауны? На последній вопросъ энциклопедія отвічаеть совершенно отрицательно. По крайней мъръ, мы видимъ, что Онъ-гинъ на всъхъ смотритъ сверху внизъ и что на него самого не смотритъ такимъ образомъ никто. Вст остальные вопросы оставлены совершенно безъ отвѣта».

Но прежде чёмъ обвинять Пушкина, зачёмъ онъ въ своемъ романё не вывелъ одного изъ людей, не задертивавшихъ тафтою мыслителей XVIII вёка, мы ввглянемъ пристальнёе въ вёкъ Пушкина и освёдомикся, много ли было такихъ людей, и каково было все общество того времени.

Въ нашей литературъ уже съ незапамятныхъ временъ весьма не ръдко и не ново представленіе старой жизни нашего общества, въ видъ жизни чисто восточной, азіатской. Какъ ни старо такое сравненіе, а его трудно избъгнуть, едва только начинаещь разсматривать какую-нибудь изъ прожитыхъ нами эпохъ, хотя бы даже эпоху Пушкина.

Въ самомъ дълъ, представьте себъ общество, въ которомъ мало того, что не быле той живой, горячей, бъющей ключемъ общественной жизни, которою полна Европа, но въ которомъ личная и семейная жизнь была замкнута въ тъсныя рамки цълой системы обрядовъ и обычаевъ, заранъе установленныхъ и опредъляющихъ каждый шагъ человека, такъ что едва человекъ родился, можно предсказать въ точности всю жизнь его до гробовой доски-и вотъ вамъ общество временъ Пушкина. Читая бездну мемуаровъ, автобіографій или біографій людей того времени, удивляещься тому мертвому однообразію, той чисто восточной обычности, по которымъ слагалась въ то время жизнь людей,--и людей, не забудьте, выдающихся, жизнь которыхъ, при всемъ своемъ однообразіи, все-таки отличалась отъ жизни тысячъ людей. Едва юноша кончалъ курсъ въ какомъ-нибудь схоластическомъ заведении, послъ скуднаго образованія, болье для соблюденія обычая, чёмъ для чего-нибудь инаго, родители приводили молодаго человъка къ какому-нибудь благодътелю; здъсь слъдовало обычное количество поклоновъ, обычное количество всякаго рода пожеланій, просьбъ не оставить молодого птенца безъ руководящей маститой руки опытности и замёнить ему родителей. Затёмъ молодой человёкъ начиналъ свою карьеру, и не будемъ обвинять его, если, по примъру своихъ родителей, по примъру всей окружающей его среды, онъ смотрелъ на своего благодетеля съ благоговъніемъ, какъ на своего новаго отца, если онъ съ безпрекословнымъ почтеніемъ выслушиваль его нельпыя замічанія, его грубости, иногда незаслуженныя оскорбленія. Такъ поступали всь, такъ поступаль и нашъ юноша: въ обыденный день являлся онъ къ своему благольтелю на званый объдъ или вечеръ, и тамъ заранве все было опредвлено: кто какъ ему поклонится, кто сколько скажетъ ему словъ и какишъ тономъ, на какое мъсто его посадятъ, даже какое вино поставять передъ его приборомъ, и самъ онъ заранье должень быль начертить въ головъ планъ, кому какъ поклониться, кому что сказать и даже съ къмъ говорить, а кого и вовсе не зам'ятить; --- и это предстояло испытывать и продёлывать не только на благод тельских вечерах и объдахъ, но и вообще, куда бы ни являлся юноша въ домъ, въ какое-бы общество ни показывался. Главную, исключительную науку жизни составляло знаніе тёхъ китайскихъ обрядовъ и обычаевъ, безъ которыхъ человъку невозможно было ступить въ общество, но за то знаніе которыхъ отворяло человъку широкую дверь къ достижению какихъ угодно пълей. Подобная обрядность жизни вырабатывала Фамусовыхъ и Молчалиныхъ-и нужно сказать, что типы эти были не однимъ исключительнымъпроявленіемъ чиновничества: они были преобладающими типами общества во всёхъ сферахъ, не исключая науки и литературы. Большинство нашихъ ученыхъ, поэтовъ и журналистовъ-были Фанусовы или Молчалины съ ногъ до головы: то-есть, если добивались чего-нибудь въ жизни, то только смотря по тому, на сколько изв'єстна была имъ фанусовская наука стоянія въ переднихъ, поклоновъ и всякаго рода церемоній. Всяжизнь людей была ничемъ инымъ, какъ постояннымъ переходомъ отъ однихъ благодътелей къ другимъ, отъ низшихъ къ высшимъ, отъ павшихъ къ возвысившимся—и не только общественная деятельность, но и частная жизнь-женитьба, развлеченія, костюмъ, домашнія привычки-все это зависело не отъ личнаго вкуса и свойства темперамента или развитія, а отъ варанъе опредъленныхъ обычныхъ

рамокъ, малъйшее отклонение отъ которыхъ возбуждало бурю общественнаго инвнія, какъ нічто святотатственное, какъ покушение на ниспровержение религіи, нравственности и даже общественнаго порядка. И эти люди, слагавшіе свою жизнь съ китайскою обрядностью, чинностью и церемонностью, инфли свою литературу; они, которые въ жизни ничего не знали дучшаго, кром'в об'вда, который вль бы три часа, а три дня не сварилось, -- любили поэзію, и мало того, что любили, а превозносили ее и ставили ее чуть не наравив съ религією. Они, погрязая въ самой беззавътной пошлости жизни, благоговёли передъ искусствомъ гораздо более, чемъ благоговень им, и требовали, чтобы искусство возвышало ихъ отъ земнаго и постоянно твердило имъ о разныхъ возвышенныхъ предметахъ. Ничего тутъ нетъ удивительнаго. Какъ ни странно съ перваго взгляда совпаденіе романтическаго паренія мыслей горь и фанусовской пошлости въ живни, но это совпадение мало того, что естественно, а необходимо. Европеецъ, въ истинномъ значеніи этого слова, на религію, искусство, науку смотрить по степени своего развитія, какъ на нѣчто такое, отъ чего ждеть онь совъта, отвъта на то, какъ ему жить и дъйствовать. Но представьте вы себъ китайца, у котораго жизнь слагается по обрядамъ и обычаямъ, заранъе установленнымъ и непреложнымъ. Для руководства въ жизни такого человъка нужно только знаніе этихъ обычаевъ и обрядовъ и соблюдение ихъ. Это знаніе пріобрѣтается практическимъ опытомъ помимо книжекъ, какого бы онъ содержанія ни были-духовнаго, научнаго или поэтическаго. Но природа такого человека, погрязая въ тине пошлости и грязи, опутанная медкими обычаями и обездиченная, будеть постоянно искать и жаждать такихъ минутъ, въ которыя она чувствовала бы себя высоко стоящею надъ житейскою пошлостью и свободною отъ всёхъ оковъ, хотя бы эта свобода была фиктивная, мнимая. Экзальтація, минутное или постоянное отрѣшеніе отъ реальной жизни и пареніе въ разныхъ отвлеченныхъ сферахъ постоянно являются тамъ, гдф жизнь пошла, пелка, скована въ определенныя, тесныя рамки и где личность совершенно обезличена. Чёмъ пошлёе быль какой-нибудь Фамусовъ, тёмъ болёе было у него потребности прослезиться при видѣ какой-нибудь похоронной процессіи и вознести мысли горь, тыть естественнъе было ему, который въ своей жизни совершенно расходился съ требованіями той религіи, которую исповедываль, искать въ этой религи минутныхъ пареній и забвенія всего земнаго, чтобы потомъ еще глубже погрязнуть въ своей пошлости. Точно того же искаль Фамусовь и въ литературф. Поэзія, по его инфнію, должна была быть такая, которая, высокимъ слотомъ говоря о высокихъ предметахъ, отвлекала бы его на нъсколько минутъ отъ пошлой жизни и поселяла бы въ иной міръ, гдѣ не было бы ни звяныхъ объдовъ, ни чинныхъ поклоновъ. Это было, однивъ словомъ, требованіе пьяницы, ищущаго въ винъ забвенія. И Фамусовъ находилъ, чего искалъ. Поэзія того времени была или ложно-классическая, или романтическая, смънившая первую. Какъ та, такъ и другая школы стоятъ въ этомъ отношении совершенно на одной ногв. Романтизмъ, который смениль у насъ ложный класси-

цизиъ, нисколько не подвинулъ впередъ литературу или общество: въ то время, какъ классики, начиная съ Ломоносова и кончая Дмитріевымъ, доставляли свониъ современнымъ дюдямъ забвеніе, поселяя ихъ въ мірь классических ходульных героевь, говорившихъ нечеловъческимъ языкомъ, пылавшихъ нечеловѣческими страстями и производившихъ нечеловѣческіе подвиги, Жуковскій увлекъ своихъ современниковъ въ міръ вёдьмъ, чертей и печальныхъ рыцарей, изнывающихъ при блескъ луны. Теперь представьте вы себъ, что въ этомъ обществъ явилось нъсколько десятковъ людей, увлекшихся западными иыслителями XVIII въка, и мало того, что ръшившихся устраивать свою частную жизнь не по установленнымъ обычалиъ. но дерзнувшихъ мечтать о томъ, чтобы всю жизнь устроить на иныхъ основаніяхъ. Люди эти такъ нало общаго интели со всею нассою общества и настолько опередили ее, что ихъ скорве можно назвать исключеніемъ, чёмъ передовымъ слоемъ своего времени. Что они не имъли ничего общаго съ жизнію своего времени, это видно изъ той замкнутости и совершенной изолированности, въ которой находилась та сторона ихъ жизни, въ которой они видели свое призвание. Они не имъли возможности создать хотя бы школу въ литературѣ, свое особенное направленіе, они не могли и заикнуться о своихъ идеяхъ, а издавали альманахи, которые наполняли тыми же романтическими рыцарями и певами, какіе были тогда въ моде и следовательно, угождали Фамусовымъ и Молчалинымъ, искавшимъ въ поэзіи минутной экзальтаціи, а свои идеи, свои мечты глубоко зарывали въ тайникахъ своихъ кабинетовъ. Когда потомъ одни изъ этихъ людей сошли со своего поприща, — другіе задернули тафтою мыслителей XVIII въка и погрязли въ житейской пошлости, или же предались той же онъгинской скукъ и праздности. Онъгинъ и по своему образованию, и по складу всей своей жизни представляется намъ, конечно, далеко ниже этихъ людей. Но въ то же время онъ представляеть въ своей личности столько живыхъ и свёжихъ элементовъ сравнительно съ общимъ строемъ современной ему жизни, что и его, при всемъ его ничтожествъ, невольно поставишь выше большинства его современниковъ.

Представьте вы себь, что Японія увлеклась бы европеизмомъ; высшіе классы Японіи одблись бы въ европейскіе костюмы, завели бы европейское войско, европейскій флотъ, два-три университета и два-три трактира на европейскую ногу. Но жизнь оставалась бы все та же японская, какая была и прежде, и личность въ этой жизни, по прежнему, была бы опутана и подавлена японскими обычалии и цереноніями. Явились бы въ Японіи и литераторы; но они, упорно отвращая свои взоры отъ всего японскаго, только и дѣдали бы, что высокопарнымъ слогомъ воспъвали героевъ европейской древности или средневъковаго рыцарства. И вдругъ, среди этой японской жизни явилась бы цёлая среда людей, которые впервые додумались бы до самыхъ эдементарныхъ идей свободы личности. Предположимъ, что эту свободу они понимали бы вовсе не въ видѣ какой-либо гражданской или политической свободы, а просто въ видъ сознанія своего человъческаго достоинства, сознанія чести, нравственнаго благородства и независимости. Эти новыя въ яцонской жизни убъжденія они сейчась же начали бы примънять на практикъ; подобное примънение было бы весьна невиннаго свойства: оно заключалось бы только въ томъ, что новые люди сбросили бы съ себя иго обычаевъ и церемоній, на которые современники ихъ смотръли, какъ на нъчто, безъ чего невозможно существованіе. Являясь куда-нибудь въ домъ, они перестали бы заниматься глубокомысленнымъ обдумываньемъ, кому какой сдёлать реверансь, кому сказать какую пріятную нѣжность. Какъ европейцы, они кланялись бы просто, безъ затви, кому имъ хотвлось, разговаривали бы, о чемъ пришло въ голову, и нисколько при этомъ не помышляли бы о снисканіи благорасположенія такого-то великаго лица, объ избіжаніи немилости другого. Въ то же время въ своей частной жизни они решились бы следовать своимъ личнымъ вкусамъ и прихотямъ, нисколько не стесняясь теми обычаями, по которымъ въ глазахъ большинства японцевъ должна была бы быть расположена жизнь всякаго поряпочнаго японна. Предположинъ, что эта свободная жизнь по дичнымъ вкусамъ и прихотямъ не представляла бы никакого инаго содержанія, кром'я необузданнаго кутежа и допъ-жуанства. Такая жизнь, конечно, казалась бы безсодержательна, пуста и пошла съ современной намъ точки эрвнія, но для японцевъ это быль бы огромный шагь впередъ; старые японцы смотрели бы на эту жизнь, какъ на нечто новое, неслыханное и невиданное; они подняли бы цълую бурю противъ этихъ новыхъ дюдей, какъ противъ опасныхъ нововводителей, безнравственныхъ чудовищъ, дерзнувшихъ ниспровергнуть освященные въками прадъдовскіе законы и обычаи. За то всё полодые и свёжіе японцы не замедлили бы толпами присоединиться къ этимъ новымъ людямъ.

Совершенно такое же явленіе мы видимъ въ нашей жизни временъ Пушкина. Молодые, свъжіе люди, явившіеся на поприще жизни посл'в войны 1812 г., внесли въ жизнь рядъ новыхъ убѣжденій о благородствѣ, о чести, о независимости личности, и вивств съ этимъ саркастическое отношение къ прежней жизни, расположенной по извъстнымъ темпамъ и обычаямъ. Отношеніе ихъ къ прежней жизни, правда, ограничивалось однимъ отрицаніемъ; они въ сущности только и дѣлали, что не следовали примеру своихъ соотечественниковъ: не торчали въ переднихъ, не кланялись сильнымъ міра и вивсто благоразумнаго устройства карьеры-занимались кутежами, донъ-жуанствомъ, или тешились маленькими шалостями, въ сущности ребяческими, но которыя были направлены постоянно на осивние какой-нибудь пошлости и протестъ противъ рутинной обрядности жизни. Но столько было чопорности, чинности, натянутости въ жизни общества того времени, что всего этого взятаго вибств достаточно было, чтобы люди эти прослыли опасными вольнодумцами, нарушителями общественнаго порядка и благочинія. Достаточно было Чацкому посм'яяться надъ китайскимъ обычаемъ:

> У покровителей вѣвать на потолокъ, Явиться помодчать, пошаркать, пообѣдать, Подставить стуль, поднять платокъ...

для того, чтобы Фанусовъ въ ужасъ вскричалъ:

Онъ вольности изволить проповъдать.

Пушкину удалось только три года послё выпуска изъ лицея прожить въ столицё жизнію хоть сколько-нибудь свободною и независимою, и хотя эта жизнь по преимуществу заключалась въ бурныхъ кутежахъ молодости и невинныхъ свётскихъ развлеченіяхъ, но такъ-какъ отношеніе его къ окружавшимъ людямъ было совершенно нное, чёмъ у массы людей, этого было достаточно, чтобы дальнёйшее пребываніе его въ столицё сдѣлалось невозможнымъ:

«Поводомъ къ удаленію Пушкина наъ Петербурга—говорить біографъ. Пушкина Аненнковъбыли ею собственная несокопримельность, закостивость въ миміяхъ и поступкахъ, которыя вовее не лежали въ сущности его характера, но привились къ нему по легкомиситю молдости, и потому, что проходили тогда безъ осужденія (?). Этотъ недостатокъ общества, намъ уже, къ счастію, неизвъетный, должень быль продвиться сильнёв въ натурѣ воепрімчивой и пламенной, какова была Пушкина. Не разъ переступаль онъ черту, у которой остановился бы всякій болѣе разсудительный человѣкъ, и скоро дошель до края той пропасти, въ которую бы упаль непремѣнно, еслибъ его не удержали снисходительность и попечительность начальства. Говоритъ, что наказаніе, ожидавшее Пушкина за грѣки его молодости, было смягчено ходатайствомъ и порукой Н. М. Каражанна».

Вы посмотрите, какъ съ другой стороны относидся къ пушкинскому кружку современникъ его В. И. Панаевъ, человъкъ благоусмотрительный, чинный, поклонявшися старымъ литературнымъ корифеямъ и вполнъ усвоивший всю китайскую мудрость Фамусова:

«Литературное партизанство — говорить онъ въ своихъ воспоминаніяхъ (см. В. Евр., сент. 1867) еще усилилось съ появлениемъ лиценстовъ, къ которымъ примкнули другіе молодые люди, сверстники ихъ по лътамъ. Они были (оставляя въ сторонъ геніальнаго Пушкина) по большей части люди съ дарованіями, но съ непом'врнымъ самолюбіемъ. Имъ хотьлось поскорье войти въ кругъ писателей, поравняться съ ними. Поэтому, ухватясь за Пушкина, который тотчась сталь на ряду съ своими предшественниками, окружили они накоторыхъ литературныхъ корифеевъ, льстили имъ, а тъ, съ своей стороны, за это ласкали ихъ, баловали. Напраено нъкоторые изъ нихъ: Дельвигъ, Кюхельбекеръ, Баратынскій старались войти со мною въ короткія сношенія: мит не правилась их самонадиянность, ришительный тонг вт сужденіяхх, пристрастів и не очень похвальное поведение: моя разборчивость не допускала сближенія ст такими молодыми людьми; я старался уклониться от их короткости, даже не заплатиль имъ визитовъ. Они на меня прогиъвались, и очень ко мнъ не благоволили. Впослыдствии они проинвались на меня еще болье, вмысть съ Пушкинымъ, за то, что я не совътоваль одной молодой, опрометчивой женщиньсъ ними знакомиться».

Но когда, въ отсутствіе Панаева въ Москвѣ, опрометчивая женщина познакомилась-таки съ кружкомъ Пушкина, благочестивая Москва пришла въ ужасъ отъ такого событія: "Пріятели Яковлева введеннічмъ въ домъ; насчетъ водворенія его пошли невыгодиме для бѣдной Софън Двитріевны толки; отецъ, сестра перестали къ ней ѣздить. Глубоко всѣмъ этимъ огорченный, продолжаетъ Панаевъ, я выразилъ ей мое негодоватіе, указалъ на справедливость моихъ предсказаній и прекратилъ мон посъщенія". Когда потомъ Софъя Дмитріевна умерла, ея родные и друзья не замедлили, конечно, объяснить ея смерть прямо, какъ следствіе знакомства съ такими зловредными людьми, какъ друзья Пушкина. "Когда я рядомъ съ отцомъ ея—говорить Панаевъ — шель за ея гробомъ, онъ сказалъ мив: если бы она следовала вашимъ совътамъ и сохранила вашу дружбу—мы не провожали бы ее на кладоище". Чтобы еще наглядиве очертить отношеніе Пушкина и передовыхъ людей его времени къ современности изъ дъйствительности и отношеніе тотой дъйствительности къ нимъ, выпишемъ одну строфу, непомъщенную въ романѣ Пушкина:

Носиль онъ красную рубашку, Платокъ шелковый кушакомъ, Армякъ татарскій на распашку И шапку съ бёльмъ ковырькомъ;— Но только симъ уборомъ чубнымъ, Безіравственнымъ и безразсуднымъ, Была весьма оюрчена Бю оссъбка Дурина, А съ ней Мизинчиковъ. Евленій, Быть можеть, толки презираля, Быть можеть, и про нист не зналь; Но оскъсъ своихъ обыкновеній Не изміналья в умоду имъ: За то быль ближникъ нестерпикъ.

Натуры мелкія, плоскія и пустыя вполит удовлетворялись подобнаго рода ребяческими протестами противъ окружавшей ихъ пошлости. Наряжались они какими нибудь шутами, на эло Дуриной или Мизинчикову, требовавшимъ, чтобы человекъ ни однимъ пятнышкомъ на воротничкъ рубашки не отличался отъ принятыхъ обычаевъ и приличій, осменвали какую нибудь ходячую пошлость, устраивали какой нибудь фантастическій кутежь, идущій совершенно въ разръзъ съ законами порядочности, умъренности и благочинія, въ род'є т'єхъ кутежей Анатоля Курагина съ надзирателенъ, посаженнымъ верхомъ на медвъдя, которые описаны въ романъ Толстаго, —и такіе люди вполит были счастливы и довольны своею жизнію. Но можетъ ли подобнаго рода отношение къ окружающей пошлости удовлетворить натуру мало-мальски глубокую, цельную, активную. Такая натура никогда не можеть быть удовлетворена однимъ отрицательнымъ отношеніемъ къжизни или одними безплодными мелкими протестами, выражаемыми въ пределахъ своей собственной личности; для нея необходимъ какой нибудь положительный трудъ, который приносиль бы осязательную пользу людямъ, -а если нътъ такого труда, въ такомъ случав никакой комфортъ, никакія развлеченія, никакія чувственныя, уиственныя или моральныя утёхи не могуть удовлетворить человёка, и удёль такого человёкь-вёчная скука праздности; въчная мучительная тоска, которую ничъмъ не разсвить, ввчная жажда, удовлетворить которую неть человъческой возможности. Эту скуку, тоску, жажду, эти муки Тантала испытывали всё лучшіе люди временъ Пушкина, и Евгеній Онтинъ является передъ нами представителемъ этихъ людей. Писаревъ соверщенно правъ, говоря въ своей статьъ, что скука Онъғина прямо происходила отъ недостатка положительнаго, разушнаго и полезнаго труда въ его жизни, но онъ неправъ въ то же время во многихъ отношеніяхъ. Вопервыхъ, онъ неправъ, говоря, что скука Онъгина

не имбетъ ничего общаго съ недовольствомъ жизнью, что въ этой скукт нельзя подметить даже инстинктивнаго протеста противъ тъхъ неудобныхъ формъ и отношеній, съ которыми мирится и уживается по привычкъ и по силъ инерціи пассивное большинство, что скука эта есть не что иное, какъ простое физіологическое последствие очень безпорядочной жизни; что. наконецъ, она есть видоизмънение того чувства, которое нѣмцы называютъ Katzenjammer и которое обыкновенно посъщаетъ каждаго кутилу на другой день посл'в хорошей попойки (см. 129 стр. ч. 3). Бользнь Katzenjammer, заключающаяся въ безпричинной хандръ, безпокойномъ настроеніи духа, соединенномъ съ угрызеніями совъсти, есть явленіе минутное, скоропреходящее въ жизни кутилы и донъ-жуана; она является, какъ пресыщение после излишествъ, и быстро проходить, смёняясь новымъ разгуломъ и увлеченіями. Анатоль Курагинъ въ романъ Толстаго "Война и миръ" тоже, по всей в роятности, могъ испытывать порою Katzenjammer, но едва являлся онъ на балъ или пріятельскую цирушку, онъ забываль о всёхъ своихъ катценъямерахъ и увлекался виномъ и женщинами съ полнымъ самозабвеніемъ дикаря. И даже, когда подъ старость леть Курагины доходять до нолнаго истощенія силь, они, вслёдствіе этого, вовсе не предаются онъгинской скукъ, не зъвають на балахъ и балетъ имъ не надобдаетъ; не въ силахъ вкушать наслажденій молодости, они обыкновенно облизываются и таятъ, стараясь всячески возбуждать свою плоть какими нибудь насильственными способами. Онъгинъ же быль молодъ, силенъ, а между темъ всъ такъ-называемыя "наслажденія" опротивели ему; онъ скоро увидель мелкость и пошлость ихъ; они не могли удовлетворить въ немъ жажды жизни, и тоска Онъгина была не чета Katzenjammer'y Курагина.

Съ другой стороны, Писаревъ неправъ, отдёляя почему-то рѣзкою чертою типъ Онѣгина отъ типовъ Чапкаго, Рудина и Бельтова. Чацкій быль тоть же Онъгинъ, только Онъгинъ болье юный, неопытный, незнающій, какіе люди вокругъ него. Разочарованный Онъгинъ зъвалъ и молчалъ среди салоновъ, или отпускаль какія нибудь короткія замічанія, сарказмы, потому что онъ очень хорошо зналъ, что проповъдывать высокія иден Фамусовымъ, князьямъ Тугоуховскимъ, Молчалинымъ или Загоръцкимъ - все равно, что метать бисеръ передъ свиньями. Въ этомъ отношеніи Онбгинъ представляется намъ гораздо умнъе Чацкаго, который разражался громовыми тирадами въ салонъ Фамусова не для чего инаго, какъ для того, чтобы прослыть сумасшедшимъ въ глазахъ людей, которые, не слушая его, преспокойно танцовали въ это время мазурку. Недаромъ, вследствие этого, роль Чацкаго не удавалась вполнъ ни одному актеру, бравшемуся за нее, и никогда не удастся: актеру представляется здёсь выполнить невозможное — представить передоваго человъка, который казался бы эрителямъ умнъе всъхъ прочихъ дъйствующихъ лицъ комедіи и въ то же время выдълываль-бы передъ публикой невообразимыя глупости. И эта глупость Чацкаго вовсе не природное качество его, которое ставило бы его безусловно ниже Онъгина. Ее можно объяснить тъмъ, что Чацкій со школьной скамьи примо убхаль за границу. Тамъ, въ европейскихъ салонахъ, ему могло приходиться нербако и самому высказывать свои завѣтныя идеи, и выслушивать проповѣдниковъ, громившихъ окружающее ихъ общество во имя тёхъ или другихъ идеаловъ. Въ европейскихъ салонахъ подобнаго рода проповёдники были нерёдки въ концё прошлаго или началё нынёшняго столётія; ихъ выслушивали спокойно, не считая сумасшедшими, и даже иногда увлекались ими. Подъ вліяніемъ такихъ впечатленій, прібхаль Чацкій въ Москву, попаль въ салонъ Фанусова и, видя европейскую обстановку этого салона, европейскіе костюмы, европейскій лоскъ,--естественно, какъ человѣкъ юный, неопытный, новичокъ въ московской жизни, принялъ салонъ Фамусова за действительно европейскій и началь громогласно высказывать свои мысли и мивнія... Это быль для него урокъ опытности, после котораго, вероятно, онъ болье не повторяль своихъ проповъдей. И теперь попумайте, въ какомъ виде можно себе представить дальнъйшую жизнь Чацкаго послъ окончанія комедін, когда онъ пошелъ отыскивать по свету, где оскорбленному есть чувству уголокъ? Конечно въ видъ того же Онъгина, постоянно мъняющаго мъста, постоянно путешествующаго, ищущаго чего-то новаго, живаго, свъжаго, дъятельнаго, что наполнило бы праздную жизнь его, что развъядо бы скуку и тоску его, но нигдъ въ то же время не находящаго ничего, кром'в той же анатіп, чувственности, мелкости интересовъ и мертваго прозябанія чисто въ китайскомъ духв. Таковъ быль Онъгинъ, таковъ долженъ былъ сдълаться Чацкій; но развъ не таковы были Рудины и Бельтовы? Если въ теске ихъ было более сознательности, если они понимали болбе Онблина, чего имъ недоставало въ жизни, и всявдствіе этого имали болве опредаленныя стремленія, то въ результать они приходили все къ той же тоскъ и апатіи.

Втретьихъ, Писаревъ неправъ, преднолагая, что Онъгинъ самъ былъ виноватъ въ своей тоскъ и анатін: если тоска Онъгина происходила вследствіе праздности, думалъ Писаревъ, то Онъгину, чтобы избавиться отъ тоски, стоило приняться за какой нибудь разумный и полезный трудъ; а онъ, вивсто этого, задернулъ тафтою мыслителей XVIII въка; - следовательно, онъ пустой филистеръ и пошлякъ, не заслуживаеть ни мальишаго уваженія, и Бълинскій совершенно неправъ, выставляя за образецъ лучшаго человъка своего времени дънтия, забросившаго книги подъ столъ (см. стр. 131-133 ч. 3). И въ этомъ отношеніи Писаревъ оказывается опять-таки моралистомъ, въ самомъ тесномъ смысле этого слова. Для моралистовъ не существуетъ такихъ обстоятельствъ и условій, которыя они признавали бы неотразимыми въ томъ или другомъ случав. Для нихъ существуетъ телько известное моральное правило, въ роде, напримеръ: праздность есть мать всёхъ пороковъ, и изъ него они прямо дёлають выводъ о годности или негодности человъка. Если вы имъ возразите, что человъкъ, отступившій отъ ихъ моральнаго правила, не могь поступить иначе, вследствіе такихъ-то и такихъ-то обстоятельствъ, они вамъ сейчасъ же возразятъ: ну, а зачёнь виновникъ не предусмотрёль этихъ обстоятельствъ, зачёмъ онъ не позаботился уклониться отъ нихъ, зачёмъ онъ не бородся съ ними? - Онъ не могъ этого сделать. -- А, не могъ? Ну, такъ онъ никуда негодный человёкъ, потому что только такой человёкъ заслуживаеть уваженія, который можеть бороться съ обстоятельствами и борется. И дальше никакихъ возраженій моралисть не захочеть и слушать отъ васъ. Совершенно точно также поступаетъ Писаревъ. Онъ видить, что Евгеній Оньгинь началь читать хорошія книги и потомъ вдругъ бросилъ ихъ. Затемъ Лисаревъ взялъ во внимание то соображение, что Базаровъ, конечно, мыслителей XVIII стольтія не забросиль бы и не задернулъ тафтою, и изъ этого прямо выводитъ заключение о несостоятельности Онъгина. Но если им вооружимся историческою критикою, то мы увидимъ, что какъ бы ни былъ Онегинъ уменъ, глубокъ и образованъ, ему решительно нечего было делать съ имслителями XVIII въка въ 20-е и 30-е годы, какъ только задернуть ихъ тафтою. Не забудьте, что въ то время ни на литературномъ поприщѣ, ни на ученомъ невозможно было и заикнуться, чтобы проводить новыя иден этихъ мыслителей. Что же оставалось дълать Онъгину съ своими книгами? Въчно читать ихъ и читать для своего собственнаго наслажденія, закупорившись въ своемъ кабинетъ безъ всякой возможности поделиться своими знаніями съ ближними? Или оставалось ему, для удовлетворенія своей совъсти и естественнаго стремленія къ передачь своихъ знаній, довольствоваться развитіемъ отдёльныхъ личностей, чтобы 4, много 10 человекъ, которымъ ему удалось бы въ теченіе жизни внушить свои знанія, передали бы ихъ другимъ 5, 10 человъкамъ. И теперь вы можете найти утвшителей подобнаго рода, которые утвшають и себя, и другихъ, предлагая этотъ первобытный способъ распространенія идей, принадлежащій доисторическимъ эпохамъ, и думаютъ они, что этимъ способомъ они дъйствительно чего нибудь достигнутъ въ то время, какъ въ другихъ рукахъ существуютъ могучіе, созданные цивилизаціей способы распространенія идей на целыя массы общества въ виде школь, лекцій, книгъ, и газетъ, и нечего сказать, завидная была доля Онвгина трудиться надъ развитиемъ одного человъка въ то время, какъ на цёлыя массы людей посредствомъ иныхъ, болве могучихъ орудій, распространялись иден совершенно противоположнаго свойin the found the winter our in the periode and

Я не знаю, нужно ли, после этихъ общихъ соображеній, разбирать различныя частности жизни и поступковъ Онегина, которыя разбираеть Нисаревъ для показательства несостоятельности тероя Пушкина? Конечно, Писаревъ совершенно справедливъ, съ своей норальной точки зрвнія, доказывая, что отношенія Онъгина къ Татьянъ или дуэль его съ Ленскимъ совершенно неудовлетворяють тому правственному идеалу, который сложился въ голове Писарева, подъ условіями современной намъ жизни. Но, еще разв повторяю, можно ли мерить Онегина меркою современныхъ намъ нравственныхъ идеаловъ, нисколько не принимая въ разсчетъ ни идеаловъ времени Онегина, ни условій тогдашней жизни. Конечно, съ точки эрінія труженика, который, сознавая пользу своего труда, общественную и личную, въ любви къ женщин ищетъ прочную нравственную опору для своей жизни и для

своего труда, --- для такого труженика всегда было и будеть противно легкое донъ-жуанское отношение къ женщинъ, создаваемое филистерствомъ. Но вы возьмите передовую единицу тридцатыхъ годовъ, затертую въ массъ пошлости, рутины, лишенную всякаго полезнаго, положительнаго труда, --- и вы поймете тогда, что Онъгины не могли относиться къ женщинамъ иначе, чёмъ они относились. Развивая въ своей личности исключительно идеалъ личной индивидуальной свободы, люди эти естественно бъжали брака, потому что видёли въ немъ цёлый рядъ стёсненій для своей индивидуальной свободы и притомъ прямую дорогу къ халату, туфлямъ и дурацкому колпаку Фамусова. Для нихъ существовало отношение къ женщинъ только въ двухъ видахъ: или въ виде необузданныхъ сатурналій съ женщинами легкаго поведенія, въ чемъ они выражали протесть противъ мѣщанскаго благочинія, умеренности и аккуратности фамусовской среды, или волокитство за женами Фамусовыхъ, въ чемъ опятьтаки они видели наслаждение нарушать сонный покой ивщанскаго счастія. Когда же женщина сильная, глубокая подходила къ нимъ съ требованіемъ иной любви, серьезной, правственной, прочной, развивающей, инаго счастія, деятельнаго, разуннаго, тогла они принуждены были бёжать отъ такихъ женщинъ, потому что такое счастіе не было въ ихъ рукахъ... Что могли они дать такимъ женщинамъ, они, которые не имъли въ своей жизни никакого, подезнаго труда, никакой цёли, и мало того, что не имёли, не могли имъть, еслибы и хотъли? А можеть ли одна любовь, безъ труда, безъ двигающей пъли въ жизни продолжаться долго, не въ вид'в минутной, быстро перегорающей страсти? Они нёсколько разъ въ жизни испытывали всю непрочность такой любви; настоящей причины этой непрочности они не знали; а изъ неоднократнаго опыта выводили прямо индуктивное заключение, что любовь вообще есть чувство непрочное и скоропреходящее, и они бъжали отъ женщинъ, вриступавшихъ къ нимъ съ требованіями глубокой и прочной любви, хотя въ то же время они внутренно терзались, видя себя неспособными любить прочно. или, отрицая самую возможность прочной любви, потому что они чувствовали въ себѣ живую потребность прочной привазанности, удовлетворить которую не имъли возножности. Въ этомъ заключалось поистинъ трагическое положение, не только для нихъ, но и для женщинъ, которымъ выдавалось несчастіе встрівтиться съ ними, потому что женщинамъ мало-мальски сильнымъ и глубокимъ нравились эти люди; они привлекали такихъ женщинъ, какъ лучніе люди своего въка, своею отвагою, независимостью, свободою высказываемыхъ интий, резкостью сарказмовъ и жизнію, выдающеюся изъ массы окружающей пошлости. Кънъ же было увлекаться, кого же было любить хорошинь женщинамъ того въка, какъ не этихъ людей, когда вокругъ заурядъ были Фамусовы съ приторными сластолюбивыми облизываньями, да приниженные Молчалины съ безполвно-подобострастными покло-

... Что касается до дуэли Онвгина съ Ленскимъ, то на этотъ фактъ мы имвемъ менве всего права смотрвть съ нашей точки зрвнія. Если въ наше время вся-

кій здравомыслящій человікь смотрить на дуэль, какъ на нелъпый, дикій, противуобщественный предразсудокъ, вынесенный изъ среднихъ въковъ, то въ 20-е и 30-е года не только противъ дуэлей не было ни малейшаго предубъжденія, а напротивъ того, лучшіе люди на нихъ смотрёли, какъ на высшій нравственный долгъ, доказательство отвати, мужества и сознанія своего достоинства. Онътины и Печорины, между прочимъ, тъмъ и отличались отъ окружавшихъ ихъ Фамусовыхъ и Молчалиныхъ, что первые дрались на дуэляхъ, а последніе нётъ; особенно, если взять во вниманіе, что дуэли и въ то время были плодомъ запретнымъ. Отказаться отъ дуэли, значило встать въ ряды Фанусовыхъ и Модчалиныхъ. Писаревъ же, оправдывая тургеневскаго Базарова и считая дуэль его дёдомъ необходимости, изъ-за которой можно иногда, по его мивнію, отступать отъ своихъ принциповъ, въ то же время напускается на Онвгина и предаетъ его строгой каръ.

XI.

Несмотря на весь; идеализмъ своего въка, Бълинскій во многихъ отношеніяхъ былъ въ большей степени реалистомъ, чёмъ истый поклонникъ реализма Писаревъ. Въ статьяхъ Вълинскато вы можете вамътить удивительную двойственность. Тотъ же самый Бѣдинскій, эстетикъ и гегеліанецъ, колда онъ занимается передъ вами опредъдениемъ художественныхъ красотъ произведеній искусства на основаніи своихъ отвлеченныхъ эстетическихъ теорій, является передъ вами истиннымъ реалистомъ, когда онъ начинаетъ анализировать жизнь современную ему или прошлую. Конечно, въ такомъ взгляде на вещи, который ощениваетъ людей какой-дибо эпохи на основани общихъ условій жизни этой эпохи, заключается гораздо бол'є реализма, чёмъ во взглядё, который, не взирая ни на какія условія, оціниваеть людей и событія на основаніи своихъ собственныхъ идеаловъ и теорій. Люди, признающие великое значение Галилея, болве реалисты, чёмъ такіе, которые вздумали бы отрицать за Галилеемъ всякое значение на темъ основании, что истины, найденныя имъ, извъстны въ настоящее вреия всякому десятильтнему ребенку. 1 ил видо дон

Вълинскій отнесся къ Онтину съ сочувствіемъ; онъ посмотръль на него, какъ на лучшаго представителя своего времени; но было бы ложно заключить изъ этоге, чтобы онъ считаль Онтина безусловно идеальнымъ человткомъ на основани идеала своего времени, подобно тому, какъ Писаревъ безусловно отвергнулъ Онтина; приложивши: къ нему современима требованія. Нътъ, Бълинскій взглянулъ на Онтина, какъ на типъ прежняго времени, который въ его время былъ уже отжившимъ типомъ, но въ свое время, тъмъ не менте, былъ представителемъ своего въка.

«Въ двадцатыхъ годайъ текущаго стольтія, поворить онь (см. Соч. Бъл., 537 стр., 8 ч.)—русская литература отъ подражательности устремилась къ самобытности: явияся Пушкинъ. Онъ дробиль сословіе, въ которомъ почти исключительно выравился прогрессъ русскато общества и къ которому принадлежать самъ, и въ Онбгинъ онъ ръшился пред-

ставить намъ внутренюю жизнь этого сословія, а вивств съ нимъ и общество, въ томъ видъ, въ какомъ оно находилось въ избранную имъ эпоху, т.е. въ двадцатихъ годахъ текущаго столътія. И здась нельзя не подивиться быстрота, съ которою движется впередъ русское общество: мы смотримъ на «Онъгина», какъ на романъ времени, отъ котораго мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже такъ чужды намъ, такъ внъ идеаловъ и мотивовъ нашего времени... «Герой нашего времени» быль новымь «Онъгинымь»; една прошло четыре года, и Печоринъ уже не современный идеалъ. И воть въ какомъ смысле сказали мы, что самые недостатки «Онъгина» суть, въ то же время, и его величайшія достоинства; эти недостатки можно выразить опнимъ словомъ - «старо»; но развъ вина поэта, что въ Россіи все движется быстро? И развъ это не великая заслуга со стороны поэта, что онъ такъ върно умъль схватить дъйствительность извъстнаго мгновения въ жизни общества? Еслибъ въ «Онблина» ничего не казалось теперь устарівшимъ или отстально отъ нашего времени, это было бы явнымъ признакомъ, что въ этой поэмів нічть истины, что въ ней изображено не дъйствительно существовавшее, а воображаемое общество: въ такомъ случав, что-жь бы это была за поэма и стоило ли бы говорить о ней?».

Вы видите изъ этихъ словъ, что Бълинскій не менъе Писарева считалъ произведеніе Пушкина ківленіейъ старымъ, мотивы которато потерали уже во время его свое значеніе, и на типъ Онъгина, смотрълъ, какъ на отжившій типъ; но это нисколько не ибшало ему понимать все значеніе типа Онъгина въ 20-е годы:

«Онъгинъ не Мельмотъ, не Чайльдъ-Гарольдъ, не демонъ, не пародія, не модная причуда, не геній, не великій челов'якъ, -- говорить онъ далье (см. 550 етр.), -- а просто-- «добрый малый, какь вы, да я, какъ целый светь». Поэть справедино называеть «обветшалою модою» везда находить или везда искать все геніевь да необыкновенных людей. Повториемь: Опъгинъ-добрый малый, но, при этомъ, недюжинный человъкъ. Онъ не годится въ геніи, не явзеть въ великіе люди, но бездинтельность и пошлость жизни душать его, онь даже не знаеть, чего ему надо, чего ему хочется; но онг знаеть и очень хорошо знаеть, что ему не надо, что ему не хочется того, чтых такъ довольна, такъ счастмва самолюбивая посред-ственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его «безправственнымь», по и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вепомните, какъ воспитанъ Онвгинъ, и согласитесь, что натура его была слишкомъ хороша, если ен не убило совсемъ такое воспитание. Влестящи юноша, онъ быль увлечень свётомь, подобно многимъ, но скоро наскучилъ имъ и оставилъ его, какъ это делають слишкомъ немногіе. Въ душт его татлась искра надежды-воскреснуть и освъжиться въ тиши уединенія, на лонъ природи; но оне скоро увидъль, что перемъна мъсть не измъняетъ сущности нькоторых в неотразимых и не от нашей воли зависящихъ обстоятельствъ...

«Благая, благотворная, полезная дёятельность! Зачёмк не предался ей Онбинть?—говорить далёв Вълинскій, какъ будто прямо возражая Инсареву.— Зачёмъ не некаль онъ въ ней своего удовлетворенія? Зачёмъ? Затёмъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели дёльнымъ отвъчять.

Одинъ среди своихъ владёній, Чтобъ только время проводить, Сперва задумаль нашь Евгеній Порядокъ новый учредить. Въ своей глуши мудрепъ пустынной, Яремъ онъ барщины старинной

Оброкомъ дегкимъ замѣнилъ: Мужикъ судьбу благословиль. За то въ углу своемъ надулся, Увидя въ этомъ страшный вредъ, Его разсчетливый сосъдъ; Другой лукаво улыбнулся, И въ голосъ вев решили такъ: Что онь опаснъйшій чудакъ. Сначала всь къ нему взжали; Но такъ-какъ съ задняго крыльца Обыкновенно подавали Ему донскаго жеребца, Лишь только вдоль большой дороги Заслышать ихъ домашни дроги: Поступкомъ оскорбись такимъ, Всв дружбу прекратили съ нимъ. «Сосъдъ нашъ неучъ, сумасбродитъ, Онъ фармазонъ; онъ пьетъ одно Стаканомъ красное вино; Онъ дамамъ къ ручкъ не подходить; Все да, да интъ, не скажеть да-съ Иль новто-съ». Таковъ быль общій гласъ

«Что нибудь двлать можно только въ обществъ, на основаніи общественных потребностей, указываемых самою двйствительностью, а не теоріею; но чтобы сталь двлать Онбічинь въ сообществъ съ такими прекрасными сеседамия, въ кругу такихъ милыхъ длявинихъ. Облегинъ участь мужика, конечно, много значило для мужика; но со стороны Онбтина туть еще немного было сдълано. Есть люди, которымъ если удастен что-инбудь сдълать порядочное, они съ самодовольствіемъ развилавляють объ этомь дсему міру и такимъ образомъ бывають прінтно занять на двлую жизнь. Онбтинъ, былъ не наъ такихъ людей: важное и великое для многихъ, для него было не. Богъ знасть что.

«Романы оканчивается отповедью Татьяны, и читатель навсегда разстается съ Онъгинымъ въ самую зауко минуту, его жизни. Что же это такое? Цтв же романъ? Какан его місль? И что за романъ ость конца? Ми думаемъ, что есть романы, которыхъ имсль въ томъ и заключается, что въ нихъ нътъ конца, потому что въ самой дъйствительности бы-вають событія безъ развязки, существованія безъ цьли, существа неопредъленныя, никому непонят-ныя, даже самимь себы словомь то, что по французски называется les êtres manquées, les existences avortées. И эти существа часто бывають одарены большими правственными преимуществами, большими духовными силами: объщають много, исполняють мало, или ничего не исполняють. Это зависить не от них самих; туть fatum, заключающися въ дъйствительности, которою окружены они, какъ воздухомь, и чет которой не въ силахь и не во власти человика освободиться. Другой поэть представиль намъ другого Онъгина подъ именемъ Печорина. Пушкинскій Онъгинъ съ какимъ-то самоотверженіемъ отдажн аввоть; пермонтовскій Печоринъ бъется на смерть съ жизнію и насильно хочеть у нея вырвать свою долю; въ дорогахъ разница, а результать одинъ: оба романа такъ-же безъ конца, какъ и жизнь, и дъятельность обоихъ поэтовъ...

«Что сталось съ Онвгинымъ потомъ? Воскресила ли его страсть для новаго, болбе сообразнато съ человъческимъ достоинствомъ страдания? Или убима она веб силы души его, а безоградная тоска его обратилась въ мертвую, колодную апалю? Не знаемъ, да и на что намъ знать это, колод мы знаемъ, что силы этой белатой натиры остались безъ приложения, жизно безъ смысла, а романъ безъ конща! Довольно и этого знатъ, чтобъ не захотътъ больше ничего знатъ,

Всё эти выписки исно показывають, что Бёлинскій и не думалъ ставить Онёгина на какой-то идеальный пьедесталь и считать его безусловнымь совершенствомъ. Если онъ признавалъ, что въ Онёгинё были не-

дюжинныя силы, то изъ этого еще ничего не следуетъ. Только идеалисты и романтики воображають, что если человакъ обладаетъ недюжинными силами, то онъ непременно будеть срывать звёзды съ неба и разсыпать вокругъ себя добро горстями. Истинные же реалисты очень хорошо понимають, что силы могуть произвести массу добра или зла, скотря по тому, куда онъ будутъ направлены, а если онъ встрътятся съ враждебными силами, равными имъ или превышающими ихъ, то онъ могутъ и ничего не произвести и останутся мертвыми, скованными силами. Вълинскій понималь это, и въ этомъ отношении онъ былъ истинный реалистъ: признавая въ Онтгинт недюжинныя силы, онъ, въ то же вреия, не упустиль изъ виду тёхъ другихъ враждебныхъ силъ, которыя совершенно парализовали силы Онъгина и сдълали ихъ мертвыми силами безъ приложенія, а жизнь Оптина-безъ спысла, и въ этопъ онъ видель истинный трагизиъ положенія Онегина. Точно съ такой же точки зрвнія оцвниль онъ и Татьяну, подраждования высо-

Писаревъ посмотрѣдъ на Татьяну, опять-таки, совершенно съ точки зрѣнія современнаго намъ идеала. Онъ никакъ не могъ себѣ представить сильную женщину съ глубокою натурою иначе, какъ въ видѣ героина, читающей полезныя книги и разливающей вокругъ себя добр отѣльми потоками. Татьяна же жила совершенно праздною жизнью и занималась только своею любовью къ Онѣгину, да чтеніемъ разныхъ романтическихъ бредней, и Писаревъ за это обрушился негодованють и на Пушкина, зачѣмъ Пушкинь вывелъ въ своемъ романъ, въ видѣ тероини, такую пустую женщину, и на Ъѣлинскаго, зачѣмъ Вѣлинскій считатъ зту, женщину обладающею недюжиными силами.

Но вы представьте себѣ только положение женщинъ въ 20-ые года: едва прошло стольтіе, какъ онъ были выведены изъ теремовъ и имъ позволено было являться на ассамблен и балы, танцовать съ мужчинами и выслушивать отъ нихъ комплименты. Въ сущности, теремная жизнь продолжалась еще въ 20-ые года во всей своей силь, въ особенности для незамужнихъ женщинъ. Девушки, въ эпоху Пушкина, были совершенными невольницами; ихъ выводили въ праздничные дни на балы и собранія, на показъ, ради выгоднаго сбыта, какъ на рынокъ негровъ, а въ будніе дни онт сидели взаперти подъ надзоромъ изменекъ, тетенекъ, мамушекъ и нянюшекъ, строго слъдившихъ за каждымъ ихъ шагомъ. Единственнымъ занятіемъ, дозволеннымъ имъ, было вышиванье въ пяльцахъ, единственнымъ чтеніемъ-баллады Жуковскаго, сантиментальныя повъсти Карамзина, да французскіе романы. Если-бы какая-нибудь барышня и захотела читать что-нибудь посерьезнее, то скачи хоть за 1,000 версть; она не отыскала-бы ни одной книги маломальски дельной; да и то, что могла читать девушка, она читала урывками, тишкомъ, держа книжку подъ подушкой и пряча ее отъ всёхъ, какъ запрещенный товаръ. И въ виду такихъ условій жизни россійскихъ барышенъ 20-хъ годовъ, Писаревъ морализируетъ вдругъ относительно Татьяны следующимъ образомъ:

«Необходимо или отыскать себь другое здоровое чтене (!) или, по крайней мюрь, прислониться вз двиствительной жизни ка накому-тодде хорошему

и разумному дълу (!!), которое могло-бы поддерживать въ ней умственную трезвость и отвлекать ее оть тупанной области наркотическихъ печтаній. Такое хорошее и разумное дело отыскать нетрудно; намекъ на него существуеть даже въ нельномъ письмѣ Татьяны; она говорить, что помогаеть бѣднымъ; ну, и помогай, но только займись этимъ дъдомъ серьезно и смотри на него, какъ на постоянный и любимый трудь, а не какъ на дешевое средство стереть съ своей совъсти кое-какіе микроскопическіе грашки. Имай въ виду, при этомъ помоганіи, дійствительныя потребности нуждающихся людей, а не то, чтобы подать бъдному копъечку, а нотомъ погладить себя за это по головкъ. Словомъ, несмотря на пустоту и безцевтность той жизни, на которую была осуждена Татьяна съ самаго детства, наша тероиня все-тихи имъла возможность (?) действовать въ этой жизни съ пользою для себя и для пругихъ, и она непремѣнно принядась-бы за какуюнибудь скромную, но полезную деятельность, еслибы нашелся умный человькь, который-бы энергическимь словомъ и, ризкою насмищкою выбросиль ее вонъ изъ ндовитой атмосферы фантастическихъ видіній и глупыхъ романовъ».

Однимъ словомъ, какъ жалко, что въ 20-е года не было Базаровыхъ съ энергическими словами и ядовитыми насмъщками! Но если такъ глядъть на исторію, то, конечно, еще жальче, что Базаровыхъ не было при Петрѣ Великомъ, въ XV вѣкѣ, въ IX и ужь, конечно, остается обливаться горькими слезами, глядя на нашихъ прародительницъ, которыя шлялись по лъсань и, можеть быть, плясали и горданили вокругь какого-нибудь горящаго пня, принимая его за Бога. Зачёмъ не явился среди нихъ умный человекъ, который энергическимъ словомъ и резкою насмешкою не выбросиль ихъ вонь изъ ядовитой атмосферы фантастическихъ виденій! Въ томъ-то и дело, что являлись такіе умные люди и въ ІХ вък въ видъ миссіонеровъ и проповъдниковъ новой религи-и для своего въка они были Базаровыми своего времени въ глазахъ дикарей, которые смотръли на нихъ, какъ на опасныхъ отрицателей и нововводителей. Но и Евгеній Онвгинъ, — этотъ Базаровъ 20-хъ годовъ, — разрушилъ не мало иллюзій Татьяны. Все несчастіе его заключалось въ томъ, что, разрушая, онъ быль не въ силахъ создать что-нибудь, съ одной стороны, вслёдствіе низкаго уровня своего развитія, съ другой — вследствіе обстоятельствъ, которыя парализировали и его умственное развитіе, и его практическую діятельность.

Далье Писаревъ находить у Бълинскаго неразръшимое, повидимому, противоржчіе: Бълинскій сижется надъ идеальными девами, которыя бредили до истерики рыцарями, луною, любовью, а потомъ это не мъшало имъ дёлаться обыденными пошлыми бабами и сплетницами. Татьяна тоже была предана романтическимъ мечтаніямъ, а потомъ, по вол'в маменьки, сдівлалась украшеніемъ генеральскаго дома. Чёмъ-же отдичается Татьяна-отъ идеальныхъ девъ, надъ которыми сибется Белинскій, и за что геніальный критикъ поставилъ ее на какой-то недосягаемый пьедесталь? Но если вы начнете читать романъ Пушкина безъ всякихъ предвзятыхъ идей и современныхъ намъ требованій, то вы найдете, что между Татьяною и Ольгою Лариными, при всей аналогичности ихъ умственнаго развитія, склада ихъ жизни, наконецъ, ихъ судьбы, есть какая-то существенная разница. Въ чемъ

же она заключается? Чтобы понять ее, обратимся къ нашей жизни: въ каждомъ въкъ есть свои Татьяны и Ольги, и чтобы наглядиве понять ихъ различіе, конечно, всего лучше обратиться къ явленіямъ времени ближайшаго, наиболее намъ понятнаго и ощутительнаго. Чёмъ отличается Щетинина въ повёсти "Трудное время" В. Слепцова отъ Кукшиной? Обе оне могуть быть одинаково развиты, читать однъ и тъ-же книги, увлекаться одними и теми-же вопросами дня и целями въ будущемъ, наконецъ обе, подъ гнетомъ обстоятельствъ, могутъ ни къ чему не прійти, какъ только къ тому-же вожделенному замужеству и няньчанью детей. Но какая между ними будеть разница! Кукшина очень скоро помирится съ своею долею, забудеть всё свои мечты и цёли и будеть весела и беззаботна, какъ птичка; совершенно напротивъ того-Шетинина: у нея не такъ легко будетъ выбить изъ головы все, что волновало ее въ юности и не нашло въ жизни никакого оправланія; она, можеть быть, въ глубинъ души своей затаитъ всю горечь, всю тоску разбитой жизни, она, можетъ быть, бровью не шевельнеть и будеть жить съ стиснутыми зубами, холодна и спокойна по наружности, но въ душт ея будетъ постоянно бушевать огонь, который, если не найдетъ выхода, сожжетъ ее самое.

Вотъ вамъ наглядное различіе между Татьяною и идеальными девами 20-хъ годовъ. У техъ романтическія мечты и иллюзіи проходили черезъ голову и нервы, не оставляя никакого следа: мечты оставались иечтами, а жизнь жизнію. Какая-нибудь идеальная дъва могла сразу совиъстить томный вздохъ и пощечину горничной. Не такова была Татьяна: для нея ея романтическія иляюзін были вопросами жизни. Она предалась имъ вся, всёмъ пыломъ своей страстной, глубокой натуры. Но вина-ли ея была, что жизнь не дала ей не только возможности какого-нибудь выхода изъ неволи, но и сознанія всей унизительности ся рабскаго положенія. Она могла только чувствовать и страдать. Бълинскій въ этомъ отношеніи и не думалъ ставить ее на какой-нибудь пьедесталъ: онъ только указаль на факть, что воть каковы были условія жизни въ 20-е года, что даже женщина съ недюжинными силами, глубокая, цёльная натура, не могла найти. не только никакого разумнаго приложенія своихъ силъ, но и вообще хоть сколько-нибудь естественно и своболно устроить свое личное существование. И развъ это не правла? Развъ не такова была дъйствительность въ 20-е года? Писаревъ-же смотрить на Татьяну совершенно такъ-же, какъ и на Онегина: ужь если, моль, ты сильная натура, такъ дъйствуй и будь счастлива, въ которомъ-бы ты веке и при какихъ-бы условіяхъ ни жила, и если-бы даже вокругь тебя не только не было-бы никакихъ книгъ, а и грамотности никакой не существовало, ты все-таки читай полезныя книги и въ особенности по части естествознанія; а если ты этого не исполнила, то что-же ты за силь-

Говоря объ отсталости типовъ Онъгина и Печорина, Вълинскій, конечно, разумъетъ то, что большее распространеніе знаній, большее развитіе литературы во время Бълинскаго осмыслили инстинктивную и безсознательную тоску Опетиныхъ и Печориныхъ. Виесто безалаберныхъ порывовъ и метаній по світу, которыми старались лучшіе люди прежнихъ поколіній удовлетворить жажду дъятельности, явились опредъленныя стремленія, и лучшіе люди эпохи Бълинскаго поняли, чего имъ недостаетъ въ жизни. Но условія жизни были тъ-же, что и при Онъгинъ, уровень умственнаго развитія все еще быль низокъ, и потому сознание причинъ тоски и жажды ни къ чему не приводили: отдёльные развитые индивидуумы были разрознены, разобщены, каждый самъ по себъ старался удовлетворить жажде деятельности, мечтая одинъ своими собственными силами воплотить въ своей личности идеалъ энергическаго дъятеля на поприщъ добра и правды; но, разбиваясь о каменную ствну, развитой индивидуумъ падалъ въ безсиліи, и въ результатъ оказывалась та-же тоска и апатія Онтгина. Онтгинъ не умеръ, не выродился, онъ продолжалъ жить только подъ другими формами. Являлся онъ то въ формъ Рудина, то въ формъ Бельтова, то Тентетникова, то Облонова.

Въ эпоху 60-хъ годовъ къ типу этому и общество, и критика относились съ полнымъ презрѣніемъ и негодованіемъ. И мудрено было въ эпоху, въ которую все кипъло жизнію, дъятельностью, надеждами, относиться иначе къ людямъ, которые ни на что не надъялись, ничего не дълали, скучали и зъвали въ праздномъ и безплодномъ разочарованіи. Казалось, мы совствь разстались съ типомъ Рудиныхъ и пр., настали времена Инсаровыхъ, Лопуховыхъ, Рахметовыхъ, и Писаревъ славилъ появление новаго типа образованнаго труженика съ его безпощаднымъ отношениемъ къ окружающему міру и энергическою дівятельностью, хотя бы только въ сферъ естественныхъ наукъ. Но не прошло и нёсколько лётъ, поослабли гордые порывы, койкакія надежды поразсёялись, и въ литературі нежданно-негаданно снова промелькнулъ типъ Рудина. Онъгинъ ожилъ, хотя и въ совершенно новой формъ, по того новой, что публика совсёмъ не узнала своего стараго знакомаго и до сихъ поръ еще не узнаетъ. Этотъ новый Онъгинъ появился въ видъ Рязанова въ "Трудномъ времени" В. Слѣпцова. Въ эпоху появленія пов'єсти Сліпцова публика до такой степени была еще подъ обаяніемъ движенія 60-хъ годовъ, что отнеслась къ Рязанову какъ-то двойственно: съ одной стороны, причислила его къ новыиъ людямъ и дъятелямъ, а съ другой-почувствовала, что это что-то не совсёмъ то, и въ недоунении пожала плечами. Писаревъ не замедлилъ отнести Рязанова прямо къ базаровскому типу, единственно на томъ основани, что Рязановъ относится къ окружающему такъ, какъ подобаетъ Базарову. Въ сущности-же Рязановъ — Рудинъ съ ногъ до головы: подобно Рудину, является онъ въ домъ къ Щетинину и начинаетъ проповъдывать свои идеи, увлекаетъ своею проповъдью женщину, ссорить ее со всею окружающею ее обстановкою; и затемъ, когда она естественно ждетъ, что онъ, не ограничиваясь однимъ отрицаніемъ, покажетъ ей новый путь и поведеть ее по этому пути, потому что куда-жъ идти ей, когда кругомъ вездъ степь и глушь - зачъмъ, къ какимъ людямъ, можетъ быть, къ новымъ Щетининымъ? Рязановъ на эти естественные вопросы отвъчаетъ: идите хоть на всв четыре стороны, авось сами найдете что-нибудь, а моя пъсенка спъта.

Мертвый въ гробъ мирно спи, Жизнью пользуйся живущій.

Чтоже сдёлаль В. Слёпцовъ? Откуда онъ выкопалъ своего Рязанова? Не понялъ онъ людей нашего времени и произвель анахронизмъ? Нътъ, Рязановъ не клевета на наше поколение и не анахронизмъ. Тины, являющіеся въ произведеніи писателя такъ, какъ является передъ вами Разановъ, то-есть въ видѣ героя нашего времени съ полнымъ отсутствиемъ объективнаго отношенія къ нимъ со стороны писателя, никогда не бываютъ анахронизмами и клеветами. Рудинъ воскресъ вивств съ твиъ, какъ условія жизни сдвдались нъсколько подходящи къ условіямъ жизни вреиенъ Рудина. Правда, что условія жизни до сихъ поръ все-таки еще не вполнъ таковы, поэтому большинство развитыхъ людей нашего времени все еще находить кой-какія возножности разумнаго, плодотворнаго труда и д'ятельности. Наконецъ, въ развитой средѣ съ каждымъ днемъ прибавляется количество людей, для которыхъ трудъ не есть только удовлетвореніе одной нравственной потребности, но и физической необходимости; поэтому Рязановыхъ до сихъ поръ встрвчается еще не очень много, хотя каждому, я убъжденъ, удавалось уже встрътить по нъскольку людей съ гордо-сложенными на груди ненужными руками и мрачнымъ разочарованиемъ въ головъ... Но представьте вы себь, что условія жизни встануть въ такіе преділы, въ какихъ они были во времена Онігина. Рязановъ, какъ видно изъ повъсти, былъ литераторъ и имълъ возможность хотя въ дитературъ проявлять свою деятельность. Но еслибы и это ему было невозможно, вёдь онъ не могь же бы удовлетвориться описаніями гулянья на Невскомъ проспектъ, легкими замътками о игръ актеровъ и сътованіями на то, что вотъ, молъ, какъ бъдна наша литература, что въ цълый годъ не явилось ни одной дёльной книги, кром'в поваренной да сонника. Чёмъ же въ такомъ случат отличался бы Рязановъ отъ Онегина?

Нѣтъ, рано еще говорить, что съ тѣхъ поръ, какъ появились Базаровы, Рудины невозножны, и что съ Онъгиными у насъ нътъ никакого уже сродства. Сказать это будеть вправъ только то покольніе, которому удается совершенно избавиться отъ такихъ условій жизни, какія создають эти типы, и вполнъ прочно и надежно гарантировать себя отъ этихъ условій. А пока эти условія будуть существовать, сколько бы ны ни анализировали раставнность Онъгиныхъ и Рудиныхъ, сколько бы ны ни изливали нашего негодованія и презрѣнія по поводу лишнихъ и ненужныхъ людей, сколько бы ни убъждали нашихъ современниковъ быть положительными, полезными тружениками, - нашъ голосъ будетъ въчно голосомъ вопіющимъ въ пустынь и, какъ грибы, будуть выростать вокругь насъ Онъгины и Рудины въ раздичныхъ видахъ и формахъ. И при такихъ условінхъ всегда будетъ возножно появленіе писателей, которые, поклоняясь положительному и полезному труженику, ставя его за образецъ для подражанія, въ то же время труженика этого характеризують въ виде того же Онегина, котя къ Оне-

гину въ то же время относятся совершенно антипатично. Такъ поступилъ Инсаревъ, который Онъгина разобраль, что называется, по суставамь и нашель, что каждый суставъ у него гнилой; но въ своей стать во Базаровъ, онъ идеализировалъ намъ того же самого Онъгина, только въ новой формъ. Въ самомъ дълъ, представьте вы человека, который становится въ гордой позъ передъ толпою и говорить: "презрънная толпа, я живу своей жизнію, ты своей; инт діла ніть, что ты думаешъ обо инъ, между мною и тобою ничего неть общаго у меня неть въ жизни никакихъ надеждъ, никакихъ упованій, я никого не люблю, ни съ къмъ ничъмъ не связанъ, и пойдешь ли ты за мною или не пойдешь, мнт решительно все равно "....Такого человъка, очевидно, вы назовете ветхимъ человъкомъ, романтикомъ 20-хъ годовъ, и укажите тотчасъ на мъткій анализъ Писарева пушкинскаго поэта въ стать в его о Пушкинв. Писаревъ относится съ справедливымъ негодованіемъ къ поэту, который говорить толит:

> Подите прочь, какое дѣло Поэту мирному до васъ!

А самъ въ то же время выставляетъ передъ вами въ статъв "Базаровъ" положительнаго труженика, который относится къ толив нисколько не лучше пушкинскаго поэта: "Базаровъ, — говоритъ онъ, — если трудится, то единственно для самого себя, для своей собственной выгоды и личнаго наслажденія; ему нѣтъ дѣда, пойдетъ за нилъ толиз или не пойдетъ; онъ никого не любитъ, ни съ къмъ не связанъ, ни на что не надъется — однимъ словомъ;

Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ, Мы рождены для

химическихъ ретортъ и ръзанія лягушекъ въ нашемъ гордомъ уединенія.

И выходить, въ концъ-концовъ, что своя своихъ не познаша.

XII.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ типомъ Онѣгана и съ опредѣленіемъ вначенія его въ свое время. Теперь мы обратимся къ значенію поэзіи Нушкина и вообще всей его литературной дѣятельности.

И здёсь опять-таки мы должны начать съ полнаго согласія съ Писаревымъ, что поэзія Пушкина, какъ бы она ни была сама по себ' художественна, очевилно. не можеть удовлетворить тёхъ требованій отъ искусства, которыя создало наше время, и потому не можеть имъть прямого воспитательнаго вліянія на наше покольніе. Смышно было бы думать, чтобы современный намъ юноша раскрылъ какой-нибудь томъ произведеній Пушкина, хотя бы даже Евгенія Онъгина, съ цёлью найти отвёты на те вопросы, которые ему задало наше время. Но не говоря уже о современномъ намъ юношъ, даже въ 30-е года, когда Пушкинъ быль еще живъ, были уже на Руси люди, которыхъ не могла удовлетворить поэзія Пушкина и которые отрицали ее совершенно на техъ же основаніяхъ, какъ и Писаревъ. Таковъ былъ кружокъ Надеждина, и въ "Телескопъ", служившемъ выражениемъ этого кружка.

вы найдете критическія статьи Надеждина подъ пвеевдониномъ Надоумки, въл которыхъ вы увидите анализъ всей русской литературы того времени совершенно съ той точки зрёнія, съ которой смотрить Писаревъ на Пушкина. Надеждинъ см'встся надъ нашею литературом, разум'яз: въ томъ числ'я и Пушкина, за то, что литература наша, довольствуясь одною вн'ящнею, безсодержательною художественностью, по большей части подражательною, не проникнута въ то же время никакими глубокими идеми и не вносить въ наше общество анализа жизни на философскихъ основаніяхълюдобно западно-европейскихъ литературамъ.

Но если Пушкинъ даже въ 30-е года не удовлетворяль требованіямь образованнёйшихь людей того времени, то следуеть ли изъ этого, что литературная дъятельность его не имъла ровно никакого значенія въ свое время? Для разръщенія этого вопроса Бълинскій не можеть уже служить намъ такимъ руководителенъ, какимъ онъ былъ для насъ при опредвлении значенія въ прошлой жизни нашей онбинскаго тина. Мы уже сказали выше, что тотъ же самый Белинскій, который является передъ нами истиннымъ реалистомъ при анализъ русской жизни своего времени или пушкинскаго, совершенно не тотъ, когда онъ анализируетъ какія-нибудь поэтическія произведенія. Здёсь онъ платить дань своему времени и является перелъ нами истымъ, гегсліянцемъ и эстетикомъ, Такъ, анализируя Пушкина, онъ находитъ, что главное значеніе этого поэта заключалось въ топъ, что онъ быль чистый художникъ и познакомиль русскую публику съ истинною поэзіею, и вліяніе произведеній Пункина онъ находить въ томъ, что они развивають въ читателяхъ чувство изящнаго и гуманности. Въ этомъ онъ видить вліяніе не только преходящее, существующее для одного какого-нибудь вёка, но безусловное и вёчное. И въ сановъ дълъ, если въ этомъ видъть вліяніе произведеній какого-либо поэта, то такое вліяніе, конечно, должно быть вѣчно и безусловно. Но Бѣлинскій въ своей стать в недостаточно показалъ, да и не могъ показать, почему же иы должны только Пушкину приписывать такое вліяніе. Если ны будень спотрёть на произведенія искусства съ чисто эстетической точки зрѣнія, и искать вънихъ только развитія чувства изящнаго, то въ каждомъ произведении, къ какому бы времени оно не относилось, мы должны видеть то же самое вліяніе, т.-е. развитіе чувства изящнаго. И если мы принишемъ это вліяніе произведеніямъ Пушкина, то чемъ же они будутъ отличаться отъ произведеній Жуковскаго, Батюшкова и многихъ другихъ, предшествовавшихъ Пушкину поэтовъ. Въ то же вреия не согласимся ны и съ Писаревымъ, который, не находя въ произведеніяхъ Пушкина никакихъ современныхъ намъ идей, отвергаетъ за нимъ всякое значение въ исторіи нашего прогресса, кром'є значенія стилиста, говоря, что "усовершенствованіе русскаго стиха составляеть единственную заслугу передъ лицомъ русскаго общества и русской литературы, если тодько это усовершенствованіе действительно можно назвать заслугою" (см. т. Ш, стр. 199).

Конечно, нечего и спорить о значеніи такихъ поэтовъ, которые, живя въ въкъ, богатомъ великнии идеями, стояди во главъ движенія своего времени и своею : нлодотворною д'ятельностью проводили въ поэтическихъ формахъ въ масоы тъ идеи, которыя были достояніемъ немногихъ дучшихъ умовъ въка. Но можно ди требовать того же самого отъ поэтовъ, жившихъ въ такое время, когда вообще никакихъ идей въ обществъ не было, когда и читателей-то у литературы было столько, что издателю можно было заран'я передъ изданіемъ книжки сосчитать ихъ и потомъ лично каждому въ отдёльности приподнести книжку: для прочтенія. Еслибы писатель въ то время случайно и познакомился съ какими-нибудь идеями самаго скромнаго, безобиднаго свойства, едва выходившими изъ ряда обыденныхъ взглядовъ, то не только ему самому не было возможности провести этихъ; идей, но и читателямъ не безопасне было читать книжки съ такими идеями. Ваявши это въ соображение, вы поймете, какъ смъшно требовать, чтобы въ произведеніяхь. Пушкина могли бы быть глубокія, плодотворныя идеи, которыя будили бы общественное совнание, возбуждали бы анализъ окружающей жизни и давали бы философскіе отв'яты на философскіе вопросы. Поэтому, чтобы оцінить вполні безпристрастно значеніе поэзіи Пушкина въ свое время; необходимо совершенно отръщиться отъ всякихъ современныхъ намъ требованій отъ искусства, а просто посмотріть, чёмъ была литература до Пушкина и чёмъ стала она послъ него --- и тогда только мы пойнень, что даль Нушкинь своему въку и какой переворотъ сделаль онъ въ обдасти литературы.

Въ нашей литературъ неоднократно проскальзывали такіе взгляды на значеніе произведеній Пушкина, что будто онъ былъ первый писатель въ Россіи, внесшій къ намъ начада реализма въ искусствъ, и въ то же время неоднократно подымался вопросъ о народности Пушкина, и вопросъ этотъ рѣшался положительно. Оба эти взгляда возбуждали противъ себя бездну справедливыхъ возраженій. Можно ли говорить о реализив Пушкина, который является передъ нами по своему міросозерцанію истымъ романтикомъ и идеалистомъ? Стоить только приномнить его взгляды на поэзію и на цоэта, выраженные имъ въ нъсколькихъ стихотвореніяхъ, котя бы вышеупомянутое обращеніе поэта къ черни, чтобы понять всю нел'впость взгляда на Пушкина, какъ на перваго реадиста въ нашей поэзіи. А съ другой стороны --- можно ди говорить о народности такого поэта, который пълъ не для народа и не отъ народа, никогда не былъ выразителемъ его нуждъ и страданій, принадлежаль къ небольшой средѣ людей, для которыхъ писалъ и потребностямъ, вкусамъ которыхъ старался удовлетворять своими произведеніями. Но какъ, повидимому, ни невърны эти взгляды съ точки эркнія современных намь понятій о реализм'я и народности, темъ не мене, въ нихъ есть своя доля правды.

Чтобы уловить это инчито, намъ следуетъ возвратиться къ той характеристике нашего общества 20-хъ годовъ, которую мы сделали въ начале этой статън. — Представьте вы себе, что въ то время, какъ общество съ чисто-восточнымъ складомъ жизни коситъл въ сеоихъ восточныхъ обрядахъ и обычаяхъ, несколько поэтовъ подносили этому обществу фіалъ забвенія въ видѣ высокопарной риторики, гласивщей о герояхъ

древности или средне-въковыхъ рыцаряхъ и томныхъ девахъ, целующихся съ мертвецами при блеске луны. Вспомните только, что даже солдать 12-го года нельзя было иначе представить въ поэзіи, какъ въ видъ рыцарей въ шлемахъ и со щитами, ноющихъ съ кубками въ рукахъ высокопарную пѣснь славы и побъды. Творить что нибудь поэтическое -- значило въ то время высокимъ слогомъ говорить о высокихъ предметахъ, не имъвшихъ ничего общаго съ обыденною жизнію. Наслаждаться поэвісю, - значило забываться и возноситься въ надзвёздные міры. И вдругь среди этого общества явился поэтъ, который дерзнулъ низвести поэзію съ заоблачныхъ высоть на землю: простымъ разговорнымъ языкомъ онъ заговорилъ о простыхъ, обыденныхъ предметахъ, составлявшихъ обстановку и содержание жизни тысячи дюдей, окружавшихъ его. -- Писаревъ считаетъ поэзію Пушкина пошлою на томъ основаніи, что, не заключая въ себъ никакихъ развивающихъ идей, она ограничивается описаніемъ бобровыхъ шубъ, серебрившихся при морозѣ, ножекъ Истоминой, подробностей объда въ модномъ ресторань, святочныхъ гаданій, красоть природы или мотивовъ обыденной любви простыхъ смертныхъ. - Но въ тонъ самонъ, въ ченъ въ настоящее время заключается пошлость, во время Пушкина быль величайшій шагъ впередъ и высочайшая заслуга поэта передъ современниками, и Писаревъ напрасно думаетъ, будто "та фраза, что Пушкинъ завоевалъ русской землъ поэзію, или не имбетъ никакого осязательнаго смысла. или заключаеть въ себъ тоть очень скромный смысль, что Пушкинъ усовершенствоваль русскій СТИХЪ и осмпьмился заговорить въ стихахъ о пивной кружкъ и о бобровомъ воротникъ, межди тъмъ, какъ его предшественники говорили только о фіалахь и хламидахь" (см. 3 ч., стр. 199).

То, что можеть казаться скромнымъ въ наше время, было вовсе не такъ скромно въ свое время. Возьнемъ только то во внимание, что до Пушкина говорить о предметахъ обыденной жизни дозводялось только въ двухъ отрасляхъ литературы: въ комедін и баснъ. Вспомнимъ при этомъ, что съ появленіемъ поэзіи Пушкина тысячи всякаго рода обскурантовъ съ Каченовскимъ во главъ — завопили, глядя на поэзію Пушкина, какъ на посягательство на святость искусства, нравственности и всего прочаго... На поэзію Пушкина глядели въ свое время такъ-же, какъ потомъ глядели на поэвію Гоголя, а еще позже на поклонниковъ искусства для жизни: Пушкина считали безиравственнымъ, говорили, что онъ унизилъ искусство, опошлилъ его, низведя въ низменность житейской грязи, придирались къ отдёльнымъ выраженіямъ и риомамъ его, считая ихъ лишенными всякаго изящнаго вкуса, грубыми и мужицкими. — Да и самому Пушкину не легко было сдёлать этотъ шагь и отдёлаться сразу отъ старинной высокопарности и отръшенности отъ жизни. Вся литературная деятельность его представляется постепеннымъ движениемъ нашей литературы изъ заоблачныхъ высотъ на землю. Такъ, первыя его произведенія написаны совершенно въ духѣ Жуковскаго и носятъ на себѣ явное вліяніе старой школы, не исключая и тёхъ, которыя созданы подъ вліяніемъ образцовъ французской литературы.

Затемъ является на сцену "Русланъ и Людиила",поэма эта написана въ романтическомъ духъ, но она ръзко уже выдъляется изъ романтическихъ произведеній своего времени: хотя содержаніе ся взято изъ сказочнаго міра, но д'якствіе совершается не въ оссіановскомъ туманъ, а на землъ; характеры дъйствующихъ лицъ очерчены пластично и представляются намъ живыми людьми; а не блёдными призраками. Самый языкъ поэмы является передъ нами простымъ, сказочнымъ трусскимъ языкомъ, а не напыщеннымъ, торжественнымъ явыкомъ балладъ Жуковскаго или элегій Батюшкова; затёнь слёдуеть рядь поэнь изъ нашей южной жизни: "Цыгане", "Бахчисарайскій фонтанъ", "Кавказскій плённикъ". При всемъ романтизм' этихъ поэмъ, вы видите въ нихъ постоянное стремленіе изображать передъ вами живыхъ людей и обставлять ихъ живою, осязаемою дёйствительностью. Такова вся байроновская школа, въ дукъ которой написаны эти поэмы: она была ничемъ инымъ, какъ переходомъ отъ романтизма къ реализму: она старалась совивщать романтизиъ съ реализиомъ, облекая романтическое содержание въ формы живой, современной действительности. Въ Евгенів Онегине вы видите новый шагь на пути къ реализму. Здёсь уже не выбираются для содержанія романа исключительно предметы, поражающіе воображеніе своєю колоссальностью, красотою формъ или мелодраматичностью, -а напротивъ того, изображается обыденная жизнь русскаго общества того времени. Наконецъ, въ "Дубровскомъ", "Капитанской дочкъ" и "Повъстяхъ Бълкина" почти исчезають последніе следы романтизма даже въ байроновскомъ духъ. Только появленіемъ повъстей Бълкина и объяснить можно себъ естественность появленія въ то же время Гоголя съ его натуральною школою. А безъ этого повъсти Гоголя должны казаться намъ какимъ-то чудомъ, свалившимся съ неба, нежданнымъ и негаданнымъ катаклизмомъ. И надо замътить еще то, что Пушкинъ многими своими произведеніями опередиль свой въкь, потому что одновременно съ "Дубровскимъ" и "Капитанскою дочкою" и послъ нихъ возможны были произведения Марлинскаго, Полевого и воскресение байронизма Лерионто-

Если обскуранты въ духѣ Каченовскаго напали на Пушкина за его нововведенія въ литературѣ, совершенно иначе отнеслись къ нему люди молодые и свъжіе. Съ восторгомъ встрѣтили они появленіе такого поэта, который простымъ языкомъ началъ говорить имъ о предметахъ и чувствахъ, близкихъ всемъ и каждому. И въ этомъ отношении понятнымъ становится тоть энтувіазмъ, съ которымъ встречалась каждая любовная элегія Пушкина, въ наше время неим'йющая ровно никакого значенія и представляющаяся намъ лишенною всякаго мало-мальски серьезнаго содержанія. Вивсто отвлеченной любви какого-нибудь тупаннаго Вадина къ тупанной дёвё, въ элегіяхъ Пушкина находили такіе обыденные мотивы любви, которые были близки сердцу всёмъ влюбленнымъ въ то время юношамъ-и поэзія Пушкина потому и приводила въ восторгъ, что она задъвала за самыя живыя, чувствительныя, завётныя струны жизни своихъ современниковъ. Этимъ своимъ свойствомъ,

соединеннымъ съ простотою и общедоступностью,поэвія Пушкина привлекла тысячи читателей и поклонниковъ литературы въ людяхъ, которые до того времени чуждались литературы, потому что, съ одной стороны, она была для нихъ недоступна по своей отвлеченности, а съ другой стороны-они не видели въ ней ничего общаго со своею жизнію, ничего задівающаго за сердце. -- До Пушкина существовалъ небольшой кружокъ диллетантовъ литературы, покровительствовавшій ей и поддерживавшій ее ради собственной услады. Пушкинъ создалъ массу читающей публики, и после него литература могла существовать самостоятельно, опираясь на эту массу, могла развиваться, несмотря на то, что прежніе диллетанты обратились въ ея заклятыхъ враговъ и гонителей. Вотъ почему Пушкина считали реальнымъ и народнымъ поэтомъ, и если съ современной намъ точки зрвнія мы не видимъ въ Пушкинъ никакой народности или реализма въ истинномъ значении этихъ словъ, то относительно его времени, пожалуй, его можно назвать народнымъ и реальнымъ поэтомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ приложили бы мы эти эпитеты къ японскому писателю, который, переставши въ своихъ произведеніяхъ фантазировать на темы европейской жизни, началъ бы черпать содержание своихъ произведений изъ окружающей его японской жизни, хотя бы жизни одного небольшого слоя японскаго общества.

динтрій ивановичь писаревъ.

Но, признавая за Пушкинымъ только историческое значение, им не можемъ въ то же время согласиться съ Писаревымъ въ томъ, что будто мъсто Нушкина "не на письменномъ столъ современнаго работника, а въ пыльномъ кабинетъ антикварія, рядомъ съ заржавленными латами". Другое дёло, еслибы разговоръ шелъ о какихъ нибудь иексиканскихъ и перуанскихъ древностяхъ, или о неизвестномъ поэте, жившемъ въ царствованіе Александра I и ничёмъ себя незаявившемъ; но здёсь дёло идетъ объ одномъ изъ главныхъ представителей эпохи, весьма близкой къ намъ, о такомъ представителъ, безъ изученія котораго эпоха не можетъ быть вполнѣ понята. Конечно, еслибы Писаревъ принималъ излишность лежанія Пушкина на столь современнаго рабочаго только въ томъ смысль, въ какомъ предполагають это лежание эстетики, т.-е. въ смыслъ ежелневнаго наслажденія эстетическими красотами произведеній Пушкина для развитія изящнаго вкуса, то мы могли бы- совершенно согласиться съ Писаревымъ. Но онъ говоритъ: "Пушкинъ можетъ имъть теперь только историческое значение, а для тёхъ людей, которымъ некогда и незачёмъ занинаться исторіей литературы, не имбеть даже совсвиъ никакого значенія" (см. т. 3, стр. 200). Вотъ этото мы и не понимаемъ, что это за люди, которымъ незачёнь и некогда заниматься исторіей литературыи притомъ исторіей литературы не какой нибудь отдалецной эпохи, не инфющей никакого отношенія къ нашему времени, а ближайшаго намъ времени. Если это люди, давно покончившіе всякое образованіе, откинувшіе самую мысль о дальнъйшемъ образованіи и занявшіеся темь или другимъ практическимъ деломъ, то другое дёло. Но если это люди еще образующіеся, такіе люди не должны смотріть на поэзію Пушкина, какъ на древность, любопытную однивъ археологамъ,

въ родъ одъ Майкова, конедін Лукина и проповъдей пр. Платона. Пусть такіе люди не дунають, что они сдёдаются истинными реалистами, если ограничатся чтеніемъ книжекъ, излагающихъ современныя иден, да усвоять кой-какія знанія но естественнымь науканъ. Какинъ бы реальнымъ путемъ ни были добыты великія истины людьми, впервые ихъ открывшими, темъ не менъе, эти истины ни мало не способны сдъдать реалистами людей, у которыхъ въ головъ очень мало фактовъ по всемъ отраслямъ знанія; необходино, чтобы добытыя истины не болгались въ мозгу въ видъ готовыхъ отвлеченныхъ формулъ, а имъли прочную индуктивную подкладку. Въ этомъ отношении изученіе исторических эпохъ, въ особенности ближайшихъ наиъ, и литературныхъ памятниковъ въ связи съ этими эпохами-всегда будетъ служить плодороднымъ матеріаломъ для индуктивнаго мышленія, не менъе необходимымъ, чъмъ изучение фактовъ естествознанія. Вследствіе этого, если поэзія Пушкина не можеть уже представлять для современнаго юноши прямого развивательнаго значенія въ видѣ чтенія, возбуждающаго мысль и дающаго готовый анализъ окружающей жизни, то, тъмъ не менте, она представляеть богатый матеріаль для индукцін; безъ этого матеріала въ голов'є юноши будеть значительный пробълъ, при существовании котораго онъ никогда не составить себ' яснаго понятія объ эпох 20 и 30 годовъ и о различіи этой эпохи отъ нашей.

XIII.

Анализовъ статей Писарева о Пушкинъ я могу закончить свою статью. Конечно, разобранныя мною статьи Писарева далеко не исчернывають всего, поивщеннаго въ 10-ти томахъ собранія его сочиненій. Но цёль моя заключалась не въ томъ, чтобы разобрать все написанное Писаревымъ въ подробности и въ отдёльности, сколько въ опредёленіи общаго характера критической п'ятельности Писарева, для чего я выбраль изъ статей Писарева наиболее выдающіяся и наиболье въ свое время надълавшія шума.

Анализъ мой можетъ инымъ показаться слишкомъ ръзкимъ и жесткимъ по отношению къ писателю, который, во всякомъ случат, быль однимъ изъ талантливъйшихъ и изъ честнъйшихъ дъятелей литературы. Найдутся, можетъ быть, и такіе люди, которые въ рѣзкости моего анализа увидять признакъ затаенной вражды къ покойному. Но такіе люди, которые въ каждомъ полемическомъ отношении сейчасъ же предполагаютъ личныя закулисныя страсти, глупо и пошло ошибутся. Къ Писареву, какъ къ человъку, я питалъ всегда живую симпатію и искренно любилъ его. Разбирая же его сочиненія, я имъть дъло не съ его личностью, а съ тъмъ складомъ мышленія; который часто встрвчается въ нашемъ обществв, едва переходящемъ еще отъ идеалистическаго игросозерцания къ истиннореальному. При этомъ я совершенно далекъ отъ мысли, будто Писаревъ своею литературною дёятельностью произвель такой складъ мыслей, котя есть люди, которые думають такимъ образомъ, принисывая непосредственно пронагандъ Писарева создание среды, видящей альфу и омегу прогресса въ мирномъ заняти естественными науками и презрительномы отношении ко всякой другой отрасли двятельности. Я полагаю, что не Писаревы создаль эту среду, а жизны со всёми ся условіями; Писаревы же быль только талантливѣйшимы и умиѣйшимы выразителемы ся.

Въ то же время я совершенно далекъ отъ мысли, чтобы характеръ деятельности Писарева окончательно сложился, и если бы съ Писаревымъ не случилось несчастной катастрофы, онъ продолжаль бы писать все въ томъ же родъ и духъ. Напротивъ того, вся литературная діятельность Писарева была ничімь инымь, какъ однимъ изъ моментовъ его развитія. Но онъ быль слинкомъ воспріничивый, живой и талантливый человъкъ, чтобы могъ окончально остановиться и не пережить его. Такъ, разсматривая деятельность Нисарева въ кронологическомъ порядкъ, вы видите, что котя до самаго конца своего она сохраняеть тотъ же характеръ, но въ ней, во всякомъ случат, вы замъчаете движение къ выходу изъ того исключительно моральнаго склада имислей; въ которомъ пребывалъ Писаревъ. Въ первыхъ статьяхъ своихъ Писаревъ болбе моралисть, чемь въ последникь. Такъ, напримерь, прочтите въ "Дѣлъ" 1866 г. статью его о романъ Достоевскаго "Преступленіе и наказаніе". Подумайте только о томъ, какую обильную пищу могъ бы доставить Писареву типъ Раскольникова для сличенія его съ базаровскимъ типомъ, и опредъления, насколько Раскольниковъ походитъ или не походитъ на Базарова, еслибы статья была написана въ 1862, 1863-64 годахъ. Но здёсь вы видите у Писарева совершенно иной пріемъ: онъ ставитъ на первый планъ тѣ обстоятельства жизни, которыя довели Раскольникова до преступленія, подробно разбираетъ, какъ пришелъ Раскольниковъ къ такому выходу, и при этомъ замёчаеть, что одни и тв же обстоятельства могуть вліять равно на образованнаго человіка, какъ и на темнаго; различие только въ томъ, что въ то время, какъ необразованный человёкъ будетъ подверженъ данному процессу инстиктивно и безсознательно, образованный человъкъ будетъ анализировать этотъ процессъ, формудировать его, возведеть его въ теорію, и все-таки, результать будеть одинь и тоть же-преступление, вызванное однѣми и тѣми же причинами. Какъ видите, эдёсь Писаревъ совершенно стоить на добродюбовской точкъ зрънія и не говорить уже, что только одни карлики и дъти, необразованная, темная сволочь способна вдругъ съ бухты-барахты или себя укатать, или другого положить на мѣстѣ; а удёлъ образованныхъ людей только наслаждаться разушнымъ счастіемъ и разливать его вокругъ себя.

Такой же тонкій и глубокій анализъ вы видите въ статьяхъ его, поміщенныхъ въ "Отечественныхъ Запискахъ" 1868 года, изъ которыхъ въ особенности хороша статья "Старое барство", разбирающая типы романа Толстаго "Война и миръ". Изъ статей, принадлежащихъ къ прежней діятельности Писарева, въ "Русскоитъ Словій встрічается не мало такихъ, въ которыхъ, сообразно съ характеромъ разбиравшихся книжекъ, Писаревъ не могъ слишкоиъ вдаться въ свою мораль, и такія статьи представляють боліве реальный характеръ, чімъ прочія; таковы: "Наша университетская наука", "Сердитое безсиліе",

"Премахи незрѣлой мысли"; "Погибщіе и погибающіе" и пр. Наконецъ, везд'є тамъ, гд'в Писаревь не пускается въ характеристику положительныхъ типовъ современной намъ эпохи, а ограничивается однимъ анализомъ отрицательныхъ явленій жизни, тамъ анализь его блестящь, глубокь и тонокь. Его анализь отношеній Молотова къ Леночкъ въ статьъ "Романъ кисейной барышни", характеристика россійскихъ ли-бераловъ въ статьв "Подростающая гупанность", характеристика ивмецкихъ либераловъ въ статъв о Гейне и иногія другія-верхъ совершенства. По этимъ карактеристикамъ только мы можемъ составить понятіе, какую могучую силу въ литературі мы утратили. Очень можетъ быть, что еслибы эта сила продолжала жить и развиваться, то вся та деятельность, которою. Писаревъ успълъ въ своей жизни заявить себя, была бы ни чемъ инымъ, какъ первымъ только періодомъ, представляющимъ первые, нетвердые размахи мысли сильной, глубокой, но еще не совдавшей себѣ опредѣленнаго широкаго русла для дальнѣйшаго теченія. Такимъ образомъ, главная и наиболье илодотворная д'ятельность Писарева погла быть еще внереди, и въ этомъ отношении нельзя не пожалъть о преждевременной утрать силы, которая только что начинала развертываться. Вспоинимъ, что Писаревъ умеръ всего какихъ-нибудь 26-27-ии лътъ.

Что касается до вліянія статей Писарева на полодое покольніе, то и въ этомъ отношеній я далекь отъ той мысли, чтобы вліяніе это было вреднее и совращающее съ истиннаго пути. Напротивъ того, я признаю за статьями Нисарева положительную пользу въ своемъ родв. Въ жизни каждаго человека есть періодъ, въ который юноша, живя подъ защитою родительскаго крова или школы, бываеть далекь оть всякихь непосредственныхъ столкновеній съ жизнію, умъ его непробудно спитъ, и юноша не только не имбетъ никакого понятія о томъ, что ділается вокругь него, не не сознаетъ, что такое онъ самъ и съ какою целію онъ живетъ на свёте. Вотъ въ этотъ-то періодъ весьма полезно, если въ ушахъ юноши раздастся могучій голось, полный искренняго энтузіазма, который начнетъ говорить юноше о томъ, что онъ человекъ, а потому ничто человъческое не должно быть ему чуждо, что онъ долженъ трудиться и учиться, чтобы быть достойнымъ названія человіка, что только въ труді и знаніяхъ истинное призваніе, сила и счастіе человъка и т. п. Такой голосъ въ періодъ, когда личные, нравственные вопросы стоять у человека на первомъ плань, можеть служить могучинь нравственнымь толчкомъ, необходимымъ для унственнаго пробужденія. Впоследствіи, когда юноша столкнется более съ жизнію и она начнетъ щупать его ребра и перекленвать его по своему, тогда для него сделаются необходимы иные учителя, которые могли бы дать благоразумный совъть, какъ бороться съ жизнію, противъ чего бореться, при какихъ условіяхъ и какими средствами. Тегда, юноша, при большемъ объемъ знаній и опыта, можеть не согласиться со многими взглядами своего перваго учителя, сознать его заблужденія, односторонности, противоръчія, но темъ не менье не перестанетъ сознавать, что первымъ толчкомъ въ развитін онъ все-таки быль обязань этому учителю. Этимъ

только и можно объяснить, почему статьи Писарева, при всёхъ своихъ очевидныхъ недостаткахъ, возбуждаютъ такой энтузіазмъ въ самомъ юномъ возрастѣ; почему ими зачитываются до бреда начинающіе развиваться. А потомъ эти начинающіе переходитъ къ анализу своего учителя и начинають посмъиваться надъ его разными недостатками. Въ способности будить мысль и подымать нравственные вопросы въ умъ моноше—главная сила, успъхъ и вліяніе статей Писарева. И въ этомъ отнощеніи статьи Писарева будутъ долго самымъ любинымъ чтеніемъ юношества.

Что же касается тёхъ людей, которые, начавши мыслить по Писаребу, не идуть далее, а останавливаются на идеалистическомъ поклоненіи базаровскому типу и дёлаются адентами чистаго естествознанія, те виною этому не Писаревъ, а тё обстоятельства, которыя мёшають этимъ людямъ развиваться, идти далёе отъ писаревскаго идеализма къ истинному реализму, отъ вопросовъ индивидуально-правственныхъ къ общественнымъ, къ изученію жизни въ связи со всёми ей условіями.

СТАРАЯ ПРАВДА.

«Обрывь», романь И. А. Гончарова, въ 5-ти частяхъ.

I.

Подражая герою романа Гончарова, Райскому, которому ежеминутно мерещились женскія статуи, мы иожемъ сравнить романъ Гончарова съ Венерою весьма оригинальнаго свойства. Представьте себ'я статую, въ которой художникъ обратилъ все свое вниманіе на тщательное выполненіе отдёльных частей. Посмотрите, какъ нежно отделаны пальчики, обратите внимание на этотъ мизинчикъ: художникъ не забыль въ немъ каждой тончайшей жилочки, каждая такая жилочка дышеть, тренещеть, и вы какъ будто видите кровь; переливающуюся подъ тонкою кожицею; а этоть артистическій носикь, а сивлый взнахь высокаго лба, однимъ словомъ, на что ни взглянете, такъ и остаетесь прикованные къ мъсту, словно какимъ-то волшебствомъ. Но ведь искусство ваянія заключается не въ одновъ художественномъ исполнении частей; а потому отойдемъ отъ статум подальше и посмотримъ, какъ соединяются части въ одно целов. Отошли, посмотрели, и намъ остается только вскрикнуть, -- но не ють эстетического восторга, а отъ ужаса: вивсто легкой, граціозной Венеры передъ нами безобразное чудовище, въ которомъ мы не можемъ разобрать, гдъ руки, гдё ноги, гдё волосы; передъ нами что-то несоразмірное, тяжелое, какъ кошмаръ и ежеминутно готовое повалиться всею своею нассою. А между тъмъ сквозь это безобразіе не перестаеть мерещиться нічто совершенно иное. Вамъ постоянно чудится, что задумана быда художникомъ предестная Венера, но вноследствіи она была умышленно обезображена и обращена въ чучело для того, чтобы охранять отъ жищныхъ воробьевъ огороды, на которыхъ произрастаютъ невинныя россійскія д'явы. Говорю я это не изъ злобы, не изъ предубъжденія и не съ пълію умышленно унизить произведение Гончарова; напротивъ того, согласенъ, что на многихъ страницахъ своего романа Гончаровъ является тёмъ-же, какимъ онъ былъ и въ "Обыкновенной исторіи", и въ облоновъ . Обратите вниманіе на Райскаго, Бъловодову, Тальяну Марковну, Мареиньку, Викентьева, наконецъ не бездну другихъ побочныхъ

личностей, мелькающихъ въ романъ, всъ они, мало сказать -- живыя личности, исполненныя плоти и крови, но по своей широтъ могутъ служить представителями одного изъ сословій нашего общества. Возьмите вы въ то-же время рядъ мелкихъ сценъ, въ которыхъ действующія лица романа мелькають передъ вами то за обедомъ, то за чаемъ и ужиномъ; то откроются передъ вами закулисныя шашни дворовыхъ; то предстанеть передъ вами бабушка, звенящая ключами и распудривающая какую нибудь Аксинью; то вы увидите сцену кориленія куръ увздною барышнею; то эта барышня бытаеть передъ вами съ женихомъ въ горълки; -- однимъ словомъ, вся немногосложная, бъдная содержаніемъ заходустная, пом'єщичья жизнь добраго стараго времени воспроизводится передъ вами во всей своей обыденности, какъ тянулась она когда-то день за днемъ и авторъ не жалбетъ красокъ: каждую сценку онъ отпълываетъ со всеми мельчайшими подробностями, не забывши даже галки, которая подкрадывается, полскакивая бокомъ къ пшену, когда Мареинька кормить куръ. И въ этомъ отношении Гончаровъ нисколько не уступаетъ своимъ прежнимъ романамъ: они точно также изобиловали мелкими сценами во фламандскомъ вкуст и сцены эти были отдъланы не съ большею художественною тщательностью, чемъ и въ . Обрывъ . . . Но если мы отъ этихъ мелочей перейдемъ къ целому романа, начнемъ разсматривать, какъ совокупилъ авторъ свои типы въ одну стройную драму, то лучше ужь закрыть глаза и совсинь не смо-

Въ этомъ отношения надъ Гончаровымъ до сихъ поръ тяготъетъ приговоръ, сдъданный Вълинскимъ 20 лътъ тому назадъ по поводу появления перваго произведения тогда еще молодаго писателя— "Обыкновенной истории".

«Придуманная авторомъ развязка романа, сказалъ Бълнскій (см. 413 стр. т. XI), портисть внечатлъніе всего этого прекраснаго провъведенія, потому что опа неестественна и ложна. Въ эпилогъ короніи только Петръ Иваничъ и Ливавета Александровна до самаго конца; въ отношеніи же къ герою романа, эпилотъ котъ не читатъл. Камъ такой сильный талантъ могъ впасть въ такую странную ошибку? Или онъ не совладалъ съ своимъ предметомъ? Ничуть не бывало! Авторъ увлекся желаність попробовать свои силы на чуждой ему почвы-на почвы сознательной мысли-и перестать быть поэтомъ. Вдёсь всего ясиће открывается различіе его таланта съ талантомъ Искандера (Бѣлинскій сравниваеть здѣсь «Обыкновенную исторію» Гончарова съ романомъ Искандера «Кто виновать», которые онъ разбираеть вибств, сопоставляя одинъ романъ съ другимъ): тоть и въ сферь, чуждой для его таланта дъйствительности-умъль выпутаться изъ своего положенія силою мысли; авторъ «Обыкновенной исторіи» впаль въ важную ошибку именно оттого, что оставиль на минуту руководство непосредственнаго таланта. У Искандера мысль всегда впереди, онъ впередъ знаетъ, что и для чего пишетъ; онъ изображаетъ съ поразительною върностью сцену дъйствительности для того только, что ы сказать о ней свое слово, прознести судъ. Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности рисовать; говорить и судить и извлекать изъ нихъ правственныя слидствія сму надо предоставить своимъ читателямъ».

Къ этому надо прибавить еще, что почва сознательной мысли не потому чужда Гончарову, что онъ непосредственный поэть. Выло бы совершенною нел'впостью судить, что человакъ, обладающій даромъ непосредственной поэзін, непременно долженъ быть лишенъ сознательной мысли. Еслибы это было такъ, въ такомъ случат не могло бы явиться такихъ поэтовъ, какъ Шекспиръ, Гёте, Байронъ, Гейне и многихъ другихъ, которые рядомъ съ даромъ непосредственной поэзін владёли не менёе сильнымъ мышленіемъ. Наши же писатели стоять на отепени одной непосредственной поэзіи просто потому, что даръ мышленія находится у нихъ въ состояніи наивнаго иладенчества. Въ ихъ фантазіяхъ носятся художественныя представленія, они могутъ воспроизводить ихъ иногда съ геніальною художественностью, но освъщать ихъ философскою иыслію-объ этонъвы ихъ лучше ужь и не спращивайте. Какъ только россійскій беллетристь пустится судить, умозаключать и дёлать разные міровые приговоры-сейчасъ и обнаружится передъ вами вся жалкая бъдность его мысли, все его пошлое невъжество. - Бълинскій совершенно върно опредълиль талантъ Гончарова, сказавши, что онъ больше ничего какъ талантливый рисовальщикъ и рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы насладиться способностію рисовать. Но Гончарову мало одного этого наслажденія; ему постоянно хочется быть судьею своихъ типовъ и своего времени, и это поползновение составляеть ахилессову пятку всёхъ его произведеній. Вёдь и въ "Обломовъ", какъ ни хороши типы Облонова и Ольги, какъ ни хороши отдъльныя мелкія сцены, но драма въ цёломъ не выдерживаеть критики, потому что сопоставивши такіе типы, какъ Ольги и Обломова, авторъ долженъ быль унотребить большую натяжку, чтобы заставить Ольгу хотя бы и временно влюбиться въ Облонова; а съ другой стороны-вамъ представляется Штольцъ, этотъ ходульный, неестественный герой, олицетворенная нравственная сентенція, сочиненная нарочно въ противовъсъ Обломову, -- о немъ и говорить нечего!...

Но если въ "Обыкновенной исторін" неестественъ и ложенъ только исходъ, который придумалъ Гон-

чаровъ для своего героя, если въ "Обломовъ" неестественъ цалый типъ и натянутъ весь ходъ драмы,--что же скажете вы объ "Обрывъ", который создался слёдующимъ образомъ: — Гончаровъ задумалъ этотъ романъ, по собственнымъ его словамъ, ранъе 1856 года. Слава автора была въ то время въ своемъ апогев: "Обломовымъ", вышедшимъ въ свътъ въ концъ 50-хъ годовъ, зачитывались, считали его чуть-что не эпопеею русской жизни; критика отнеслась къ роману такъ, какъ онъ того заслуживалъ, если не более, и самое гордое самолюбіе не могло не быть удовлетворено этою критикою. На молодое покольние глядьли въ то время еще съ надеждою и упованіемъ, видёли въ немъ залогъ новаго времени, расцебтающую зарю и все такое подобное, и никому не приходило тогда въ голову, что это болъе ничего, какъ сонмище недоученныхъ мальчишекъ и стриженныхъ девокъ, совращенныхъ съ истиннаго пути въ бездну отрицанія и разврата. Понятно, что Тончарову въ то время не могло прійти и въ голову выставлять несостоятельность новыхъ ученій и спасительность старыхъ. Останься романъ при своемъ первоначальномъ замыслъ, онъ, конечно, носиль бы такой-же характерь, какой имъють вст предыдущіе романы Тончарова: точно также онъ отличался-бы богатствомъ характеровъ, сценъ и всевозможныхъ красокъ, обрисовывающихъ передъ нами старую жизнь нашего общества. Весьма вѣроятно, что была бы проведена въ романт и тенденція, и, конечно, крайне узенькая: типъ Тушина, разумъется, нарочно, для того и сочиненъ, чтобы, подобно типу Штольца, служить для вящаго нравоученія одицетворенною нравственною сентенцією. Узенькая тенденція вела бы за собою не нало фальши; но объективная сторона романа на столько перевъшивала бы, что сами собою выливалась бы черезъ край узенькой сентенціи и представляла бы критикъ такой же богатый матеріаль для анализа жизни нашего общества, какъ и прежніе романы Гончарова.

Но роману, увы, не суждено было остаться въ своемъ первоначальномъ видъ. Съ течениемъ времени, когда Гончарова, подобно большинству его современниковъ, начали смущать различные призраки, онъ вознамбрился выразить ужасъ свой по поводу этихъ миражей. Но онъ не вполит последовалъ примъру своихъ сотоварищей. Тѣ подъ впечатлѣніемъ такогоже ужаса задумали новыя произведенія, нарочно для того: и предназначенныя, чтобы выразить то, что навъяло на писателей новое время. Гончаровъ вздумалъ употребить въ дело старый матеріалъ, неоконченное произведение, задуманное совершенно подъ иными настроеніями. Ещу показалось, что ничего не стоить сдёлать такое превращение: стоить только передёлать одинъ типъ, да отъ себя прибавить нъсколько разсужденій по поводу новыхъ ученій-и дёло въ шляпъ. Гончаровъ самъ говорить въ предисловіи, что онъ своимъ друзьямъ еще въ 1856 и 57 годахъ "сообщаль подробно, какь самь видьль вь перспективъ весь романь съ толною дъйствующих миць, ст описаніемт мпстностей, сцент, ст характерами, выключая одинг (Маркт Волоховт), принявшій подъ конець романа, начатаго давно и конченнаго недавно, болье современный оттьможъ". Въ этихъ словахъ вы видите удивительную наивность автора и полное непониманіе имъ самыхъ элементарныхъ законовъ творчества. Задумать романъ 15 лётъ тому назадъ, а потомъ взять одинъ изъ тяповъ этого романа, да и передълать его въ раухъ современныхъ нравовъ, — да вёдь это все равно, что взять какую—либо античную статую Аполлона и пытаться преобразить ее въ Суворова, чтобы поставить на монументъ.

Что за сумбуръ вышель отъ такой передълки, уму непостижимо: отъ стараго сюжета романъ уклонился, къ новому не присталъ. Самая иллюзія романа совершенно нарушилась, и авторъ вывелъ такія исихическія положенія, которыя, будучи совершенно естественны и понятны при старомъ замысле, сделались крайне-натянутыми и совершенно немыслимыми при новомъ. Чтобы распутать всю эту путаницу, намъ остается держаться следующаго плана: первоначально мы откинемъ всё разсужденія автора и попытки его подвергнуть изображаемое анализу, откинемъ и типъ Марка Волохова, какъ будто его вовсе не было въ романъ. Тогда передъ нами самъ собою всплыветъ романъ въ основномъ своемъ сюжетъ, вполнъ соотвътствующемъ старой жизни нашего общества; рядомъ съ этимъ вибсто Марка Волохова предстанетъ передъ нами иной типъ; совершенно въ духъ этой старой жизни.

Сдълавши такой анализъ, мы приступимъ къ субъективной сторонъ романа и постараемся раскрыть все, и художественное, и умственное, и нравственное безобразіе романа.

II.

Когда мы называемъ жизнь, изображенную Гончаровымъ, старою, мы употребляемъ это слово не по отношению только къ какимъ-нибудь десятелѣтіямъ; многія явленія, которыя мы находимъ въ ромапъ, встрѣчаются и въ наше время, и мы не знаемъ, сколько пройдетъ еще до тѣхъ поръ, когда ихъ совсѣмъ уже не будетъ встрѣчаться. Мы намърены поставить изображенную Гончаровымъ жизнь на общую историческую почву и посмотрѣть, къ какому періоду цивилнація относится она съ тѣми принципами, которые лежатъ въ ез основаты. И есди мы это сдѣзаемъ, мы увидимъ, что въ основахъ своихъ, она совершенно аналогична съ жизнію не только среднихъ вѣковъ, но и тѣхъ древнихъ обществъ, бытъ которыхъ мы привыкли считать ветхимъ.

Въ древнихъ обществахъ господствовалъ бытъ чисто родовой съ тъми принципами, которые прямо изъ него выходятъ. Принципы эти слъдующіе: 1) полное, безусловное подчиненіе отдъльной личности интересамъ общаго пъзаго, составляющаго отдъльный родъ, въ какомъ бы видъ онъ ни представлялся, въ видъ ли патріархальной семьи кочующаго племени, или въ видъ демократической республики на подобіе Авинъ, еврейской теократии или римскаго патриціата; 2) охраненіе рода и стремленіе возвеличить его по возможности надъ всъми родами и все подчинить его власти.

Изъ перваго принципа вытекала въчная борьба личности съ обществомъ и стремление личности освободиться. Второй принципъ ималь своимъ результатомъ постоянное соперничество между родами и стремленіе родовъ возвыситься одинъ надъ другимъ и, если возможно, подчинить соперниковъ своей власти. Этимъ исчерпывается вся исторія древняго міра: онъ весь состояль изъ отдельных племенных общинъ, въ основаніи которыхъ лежали семейные роды, и каждая община, каждое племя составляли въ цёломъ свой особенный родъ, живущій для себя, соблюдающій только свои интересы, огражденный непроходимой ствною отъ всего человъчества. Соблюдая свои родовые интересы, древнія общины постоянно воевали между собою, стараясь нажиться одна на счетъ другой, поработить одна другую, пока римскій родъ не поглотиль весь древній міръ. И семейные роды внутри каждой древней общины находились въ постоянномъ антагонизмъ: равенство сохранялось обыкновенно только между н'ьсколькими равномогучими родами, которые не имъли возможности возвыситься одинъ надъ другимъ; менъе же могучие роды подчинялись болже могучимъ, а въ саномъ низу представлялась толпа рабовъ, трудами которыхъ существовалъ весь древній міръ.

Христіанскія иден, возникшія на почвѣ древняго міра, представляють полное отрицаніе всѣхъ принциповъ родоваго быта. Частные, родовые культы христіанство замѣнило равно обязательнымъ для всѣхъ народовъ поклоненіемъ единому Богу; на мѣсто охраненія родовыхъ интересовъ поставило служеніе общечеловѣческому благу, на мѣсто соперничества и порабощенія—братство и любовь; наконецъ, оно освободило личность изъ-подъ власти рода и даровало ей

нравственную свободу.

Древній міръ не пережилъ кризиса, послѣ котораго онъ долженъ былъ вступить въ новый возрастъ своего существованія. Германскіе же и славянскіе народы, выступившіе на историческое поприще, хотя и приняли христіанство, но были очень юны, чтобы усвоить и провести сейчась же въ жизнь все его идеи. Они должны были пережить тотъ же возрасть родоваго быта, на которомъ почилъ древній міръ. Средніе въка, какъ на западъ, такъ и у насъ-представляють именно этотъ возрасть. Вся Европа раздёлилась въ средніе въка на отдільные роды феодаловъ, и вст средніе въка представляють борьбу между этими родами изъ-за права первенства и господства, пока болъе могучие роды королей не подчиняютъ своей власти менъе могучіе роды феодаловь, а затымь къ концу среднихъ въковъ болъе могучие изъ королей начинають мечтать о всемірномъ господства въ духа римской имперіи. У насъ мы видимъ то же самое: наша исторія съ того и начинается, что родъ возставаль на родъ, а управы не было; призванные варяги раздъляются на тъ же роды и начинаются удъльныя междоусобія, въ которыхъ родъ воюетъ съ родомъ, племя съ племенемъ изъ-за того же, изъ-за чего воевали древнія республики между собою. И кончается тімь же поглощениемъ родомъ московскихъ князей всёхъ отдъльныхъ родовъ и племенъ Россіи.

Съ XV въка Европа начала переживать кризисъ, подобный кризису, котораго не могъ пережить древній

міръ. Подобно тому, какті в тамъ, въ воздухв начали носиться идеи общечеловіческих в интересові, братаства, любви ві свободы вивсто узкихъ принциповъ родоваго этоизма, завоеванія и норабощенія.

Но родовой быть вевсе не такой хрупкій, чтобы словить его можно было однимъ ударомъ, однимъ почеркомъ пера; какъ изменить какую-нибудь французскую конституцію. Впродолженій пелых в тысячелетій онъ успаль глубоко вкорениться во вса, такъ сказать, поры жизни европейскихъ обществъ. Для того, чтобы окончательно пережить его, необходимы дружныя усилія и неустанная борьба цёлыхъ сотенъ покольній. Если современное намъ человьчество усивло уже во многихъ отношеніяхъ пошатнуть принципы родовато быта, если завоевательная политика все болье и болье уходить на задній плань, если рабство уничтожено въ Европъ и Америкъ, если рушатся ежедневно различным феодальным привиллегін, то во всяковъ случав, родовой быть все еще остается господствующимъ во многихъ отношеніяхъ людей между собою. Семейство въ большинствъ европейскихъ обществъ до сихъ поръ еще основывается на родовыхъ началахъ рабства женщинъ и дътей и деспотизна старшихъ; соперничество родовъ перешло съ почвы владычества меча на почву владычества капитала, и рабы замънились наемниками.

Жизнь, изображенная въ романъ Гончарова, является передъ нами старою именно потому, что въ ней мы видимъ вет принципы родоваго быта и многія черты правовъ, совершенно аналогическія съ чертами правовъ семьи какого-нибудь средневъковаго феодальнаго міра или діреняго, классическаго.

Какъ извъстно, въ родовой семъй существують два необходимые элемента: съ одной стороны, старшіе члены, настыри, натріарки, устроители и окранители рода элементь господствующій; съ другой стороны—низшіе члены рода, наства, охраниемая настырими, элементь подчиненный.

Пастырями и охранителями являются въ романъ тетушки Въловодовой и бабушка Райскаго. Несмотря на различе характеровъ и вытекающаго неъ этого различи въ способъ управления, мы увидимъ, что какъ первыя, такъ и послъдняя преслъдують одиъ и тъ же цъли и приходять къ однимъ и тъмъ же результамъ.

III.

Тетупки Въдоводовы принадлежать къ тъмъ сферамъ нашей жизни, гдб охраненіе родовыхъ началъ возведено въ сознательную, стройную систему, доведено, съ одной стороны, до самаго узкаго педантизма, а съ другой — до крайняго фанатизма, напоминающато фанатизмъ испанскаго католичества. Не ждите здъсь и тъни самостоятельнаго, свободнаго движенія мысли, чувствъ, и что тутъ говорить о какихъ-либо высшихъ принципахъ, и проявленіи хотя бы чего-нибудь похожаго на чувство состраданія, участія къ ближнему; все здъсь подчинено узкимъ интересамъ редоваго эгоняма, и малъйшее отклоненіе отъ разъ опредъленныхъ законовъ компрометируетъ уже родъ то со стороны его значенія, то со стороны его чести. Въ

этой сферк жизни даже присутствіе бъднаго учителя на объдь или soirée musicale наносить уже оскорбленіе роду и коробить настырей. Потопра дам

«Когда папа привезь его (г.-е. учителя) въ первый разъ посль больяни, разсказываеть Бъловодова, онть биль бледень, молчаливъ... глаза такте томине». Мить стало очень жаль его, и я спроевла его, чемъ онъ биль болень... Онъ взглянулъ на мени съ благодарностью, почти нъжно... Но пашапа послъ объда отвела мени въ сторону и сказала, что это ни на что не похоже—дъвицъ спрацинатъ, о здоровъъ молодаго человъка, еще учителя, «и Богъ знаеть, кто онъ такой» прибавила она. Мить стало стидно, и ушла и плакала въ своей комнатъ, потомъ ужь никогда ни о чемъ не разспращивала».

А затвиъ стоило несчастной барыший, вслёдствіе естественной, почти детской влюбчивости, покрасийть при входе учителя на soirée musicale и съиграть не совсёмъ равнодушно музыкальную пьесу, для того, чтобы въ дом'в поднялась страшная буря,

«Матап, не простясь, ушла послъ гостей къ себъ. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала толовой, а у Анны Васильевны на глазахъ были слезы... На утро я ждала, пока позовуть меня къ татап, но меня долго не звали. Наконецъ, за мной пришла ma tante Надежда Васильевна и сухо сказала, чтобъ и шла къ таман: У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядьта, что было, и кто быль у maman въ комнать. Тамъ было темно, портьеры и сторы были спущены, татап казалась утомлена; подле нея сидвла тетушка, mon oncle prince Serge и папа... Пана стояль у камина и гредся. Я посмотрела на него и думала, что онъ взглинетъ на меня ласково; мнъ бы легче было. Но онъ старался не глядъть на меня; бъдняжка папа боялся татап; а я видъла, что ему было жалко. Онъ все жеваль тубами, онъ это всегда дълаеть въ ажитаціи, вы знаете... «Поавольте вась спросить, кто вы, и что вы?» тихо спросила maman. «Ваша дочь», чуть-чуть внятно отвътила я. «Не похоже. Какъ вы ведете себя!». Я молчала: отвъчать было нечего... «Что за сцену разъиграли вы вчера, комедію, драму? Чье это сочиненіе, ваше или учителя этого... Ельнина?»-«Матап, я не играла сцени, я нечаянно»... едва проговорила я; такъ мив было тяжело. «Твмъ хуже-сказала она,—Il y a donc du sentiment là dedans? Воть послушайте, обратилась она къ папа:--что говоритъ ваша дочь. Какъ вамъ нравится это признаніе?». Онъ, съдный, быль смущень и жалокъ больше меня и смотраль внизь; я знала, что онь одинь не сер-дится, а мив хотьлось бы умереть вь эту минуту со стида... «Внаете ли, кто онъ такой? сказала ma-man:—вашъ учитель? Воть князь Serge все узналь: онъ сынъ какого-то лекаря, бъгаеть по урокамъ, сочиняеть, пишеть русскимъ купцамъ французскія письма заграницу за деньги и этимъ живеть»...-«Какой срамъ!», сказала ma tante. Я не дослушала дальше: мив сдвлалось дурно. Когда я опоминаась, подлё меня сидвли обе тетушки, и папа стояль со спиртомъ. Матап не было. Я не видала ее дев недъли. Потомъ, когда увидались, я плакала, просила прощенія. Матап говорила, какъ поразила ее эта сцена, какъ она чуть не заплакала, какъ это все замътила кузина Любимова и пересказала Махайловымъ, какъ тъ обвинили ее въ недостаткъ вниманія, бранили, зачемъ принимала богъ-знаетъ кого. «Вотъ чему ты подвергла меня!» заключила maman.—Я просила простить и забыть эту глупость и дала слово внередь держать себя прилично».

Такъ съ дѣтства уже забивали въ дѣвочкѣ всякія человѣческія побужденія. Все воспитаніе Бѣловодовой было направдено къ тому, чтобы сдѣлать изъ нея не живого, свободнаго человѣка, любящаго, сочувство-

вавшаго радостямь и горю ближнихъ, а какую-то куклу на пружинахъ, бальзамированную мумию, которая ни однимъ шагомъ, ни однимъ движениемъ не могла бы нарушить достоинства и чести своего рода.

«Я не шалила; миесъ Дредсовъ шла рядомъ, и дальше трехъ шаговъ отъ себя не пускала. Однажды мальчикъ бросилъ мячикъ, и онъ покатился мить нь ноги, я поймала его и побъжала отдать ему, миссъ сказала шашар, и меня три дня не пускали гулять. Впрочемъ, я мало помню, что было, номню только, что бядиль танцмейстеръ и училъ: chassé en avant, chassé à gauche, tenez-vous droit, pas de grimaces... Послъ объда мить повволяли въ большой залѣ игратъ часъ въ мячикъ, пригатъ черезъ веревочку, но тихонько, чтобы не разбить зеръвалъ и не топатъ ногами. Машап не мобила, когда у меня раскрасивотся щеки и ущи, а потому мить не велѣно было слишкомъ бъгать. Еще увъряли, что будто я (она засмъяласъ), языкъ показывала, когда рисую и пишу и даже танцую—и оттого раз de grimaces раздавалось довольно часто.

Послѣ замужества, конечно, по указанію старшихъ, въ духѣ родовыхъ интересовъ, въ которомъ и тѣни не было хоть чего-нибудь похожаго на чувство, Веловодова овдовела и должна была сделаться, повидимому, женщиною совершенно самостоятельною; даже и въ древней, до-петровской Руси вдовы пользовались нѣкоторою самостоятельностью, о которой не смёли и помышлять девушки и жены. Ничуть не бывало: мы видимъ, что Бъловодова окружена столь же бдительнымъ надворомъ со всёхъ сторонъ, какъ и 15-тилетняя девочка. Когда она беседуеть съ мужчиной, туть же непременно присутствуеть аргусь въ виде одной изъ тетушекъ, и если затрогиваются вопросы живые, глубокіе, то старухи тономъ и сентенціями сейчасъ кладуть на всякій разговорь патентованную печать. Баловодова понятія не имаеть о томь, что такое значить свободно располагать своими собственными деньгами. "Тетушка десять разъ сочтетъ и спрячетъ къ себъ,-говоритъ Бъловодова,-а я, какъ институтка, выпрашиваю свою долю, и она выдаетъ мнѣ, вы знаете, съ какими наставленіями". Даже самый порядокъ въ комнать Бъловодовой подвергается неусыпному надзору со стороны тетушекъ: чуть цвъты раскинутся въ вазъ прихотливо, сейчасъ они приводятся въ симметрію; чуть книга въ богатомъ переплеть окажется лежащею на диванъ, на стуль-книга ставится на полку; чуть западаетъ слишкомъ вольный лучъ солнца и играетъ на хрусталь, на зеркаль, на серебрь, - тетушка находить, что глазамъ больно, молча указываетъ человъку нальцемъ на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая занавъска мърно падаетъ съ петли и закрываеть свёть.

Наконецъ, въ жизни Въловодовой-вдовы возможенъ эпизодъ, совершенно подобный исторіи Въловодовойдъвочки съ учителемъ Ельиннымъ. Въ домъ ез началь входить итальянскій графъ. Малари; Бъловодова равыгрывала съ нимъ музыкальные дуэты, а онъ, подобно Райскому, толковалъ, еъ ней тишкомъ о свободъ чувствъ и жизни, Бъловодова почувствовала къ нему иъчто вродъ расположенія, которое далеко еще было отъ страсти. Стоило графу нъсколько разъ проѣхаться верхомъ возлѣ экипажа Бъловодовой, чтобы въ свътъ заговорили всъ, что. Въловодовой, чтобы въ свътъ заговорили всъ, что. Въловодовой написать графу Малари записочку самаго невиннаго содержанія, врод'в слъдующаго: "Venez, comte, je vous attends entre huit et neuf heures, personne n'y sera, et surtout n'oubliez pas votre portfeuille artistique. Je suis etc. S. B. ", чтобы въ домъ поднялась буря, совершенно подобная вышеописанной исторіи съ Ельнинымъ: портьеры задвинулись, сторы спустились, домъ заперся для всёхъ входящихъ и выходящихъ, начались охи, ахи, флаконы со спиртомъ и пр. Сама Софья Бъловодова, какъ кающаяся институтка, начала твердить: "Oui, la faute est à moi, je me suis compromise: une femme, qui se respecte ne doit pas pousser la chose trop loin... se permettre"... Въ довершение ужаса узнали, что графъ изъ "новыхъ", и своимъ прежнимъ правительствоиъ былъ "mal vu" и "эмигрировалъ" изъ отечества въ Парижъ, гдъ и проживалъ, а главное, что у него тамъ, подъ голубыми небесами, во Флоренціи или въ Миланъ, есть какая-то нареченная невъста, тоже кузина, что вся его фортуна перейдеть въ его родъ изъ того рода, также какъ и виды на карьеру... Какой ужасный ударъ гордости рода Ельневыхъ и бевукоризненной чистот'в Софіи Б'вловодовой!

Такая строгая система воспитанія, проведенная педантически до последнихъ мелочей, не замедлила окавать свое действіе. Въ лице Веловодовой передъ вами нъчто чудовищное, доведенное до невъроятнаго, а между темъ, это невероятное до такой степени пригляделось намъ на каждомъ шагу, что мы привыкли смотрѣть на него, какъ на явление обыденное. Такія женщины, какъ Бъловодова, создаются безъ всякаго труда въ восточныхъ гаремахъ, подъ надзоромъ строгихъ евнуховъ, но надо удивляться искусству восинтанія, которое съум'єло женщину, живущую въ шум'є свъта столицы, считающейся европейскою, сохранить въ томъ видѣ, въ какомъ могутъ быть только невольницы, впродолженіи цёлой жизни ничего не видавшія дальше ствиъ своего гарема или терема. И если только вы хоть сколько-нибудь знакомы съ положениемъ женщины въ древнемъ мірф, васъ должна поразить аналогія между Біловодовой и какою-нибудь авинскою үрүп и ринскою натроною. Изъ Беловодовой сделали дъйствительно какую-то мраморную статую, въ которой не шевелилось никакой мысли, никакого чувства, никакой жизни-все это было убито и заморожено до крайняго опфпенфнія.

«Когда въ семействъ тетки и близкіе старики и старухи часто при ней гадали ей въ томъ или другомъ искатель мужа: то посланникъ являлся чаще другихъ въ домъ, то недавно отличившійся генераль, а однажды серьезно поговаривали объ одномъ старикъ, иностранцъ, потомкъ королевскаго угасшаго рода - она молчить и смотрить беззаботно, какъ будто дъло шло не о ней... Ни въ одной черть никогда не было никакой тревоги, желания, порыва. Напрасно Райскій, слыша раздирающій вопль на сценъ, быстро глядълъ на нее, что она? Она смотръла на это безъ томительнаго, поглотившаго всю публику напряженія, безь наивнаго страданія. И каррикатура на жизнь, комическая сцена, вызывавшая всеобщій, продолжительный хохоть, вызывала у ней только легкую улы ку и молчаливый, обижненный съ бывшей съ нею въ ложе женщиной взглядъ».

Рядомъ съ этой деревянностью вы видите разумъ младенца, не имъющаго ни мальйшаго понятія о томъ, какія отношенія между людьми, какія бывають у людей заботы, какъ люди живутъ вив собственнаго дома, откуда цапенька съ маменькою или тетеньки беруть деньги для существованія... О какихъ-дибо правахъ, обязанностяхъ человъческихъ тутъ ужь и говорить нечего. Однажды Райскій вздумаль развить передъ Въловодовой картину быта ея крестьянъ и разсказаль, какъ "въ тамбовскихъ или орловскихъ ея поляхъ въ зной жнетъ беременная баба, бросивши дема ребятишекъ, они ползаютъ съ курами, поросятами, а если нътъ: какой-нибудь дряхлой бабушки дона, то жизнь ихъ каждую минуту висить на волоскъ: отъ злой собаки, отъ пробажей телеги, отъ дождевой лужи... А мужъ ея быется туть-же, въ бороздахъ на нашив, или тянется съ обозомъ въ трескучій мерозъ, чтобы добыть хлеба, буквально хлеба, утолить голодъ съ семьей и, между прочимъ, внести въ контору пять или десять рублей, которые потомъ приносять ей, Въловодовой, на нодносъ". Бъловодова, услышавши такія слова Райскаго, пришла възтакое удивленіе и смущение, какъ будто ей въ первый разъ сообщили, что всв люди смертны и что она тоже когда-нибудь ymperb. Thetas are the the their that and that

— Это очень серьезно, что вы мий сказали, произнесла она задумчиво. — Если вы меня не разбудили, то напугали. Я буду дурно спать. Ни тетупика, ни Paul, мужъ мой, никогда не говорили этого—и никто. Иванъ Петровичъ, управляющій, привозиль бумаги, счеты, я слышала, говорили иногда о клёбе, о неурожай. А... о бабахъ этихъ... и о ребятишкахъ... ни-

когда...

И чтобы успокоить внезанно проснувшуюся сов'ясть, В'яловодова тотчасъ-же придумала средство въ та-

комъ полів:

— Когда-нибудь... мы проведемъ лѣто въ деревнѣ, соизіп, сказала она живѣе обыкновеннаго: — пріѣзжайте туда и... мы не велимъ пускать ребятишекъ ползать съ собаками — это прежде всего. Потомъ попросимъ Ивана Петровича не посылать... этихъ бабъ работать... Наконецъ, я не буду брать своихъ карманныхъ денегъ...

IV.

Вабушка Райскаго принадлежить къ охранителямъ другаго рода. Правда, міросозерцаніе ся было чисто родовое, патріархальное въ самомъ узкомъ смысл'я этого слова. Въ своемъ захолустномъ уголк'я она была живымъ одицетвореннымъ преданіемъ старины: вся ся незат'явливая жизнь слагалась по этимъ преданіямъ.

«Разеуждаеть она о людяхь ей знакомыхь очень мётко, разсуждаеть правильно о томъ, что дёлалось вчера, что будеть дёлаться завтра, никогда не опизбается; горизонть ея кончается, съ одной стороны, полями; съ другой—Волгой и ея горами; съ третьей—городомъ, а съ четвертой—дорогой въ міръ, до ко-

тораго ей дёла нёть.

«Желаеть она въ концѣ зимы, чтобы весна скоръй наступила, чтобъ ръка проила къ такому-то дню, чтобъ къто было теплое и урожайное, чтобъ клѣбъ былъ въ цѣнѣ, а сахаръ дешевле, чтобъ, если можно, куппы давали его даромъ, также, какъ вино, кофе и пр. Любила, чтобъ къ ней губернаторъ изръдка завзжалъ съ визитомъ, чтобы пріъзже изъ Петербурга важное или замъчательное лицо непремъно побывало у нея, и вице-губернаторша подошла, а не она къ ней, послъ объдни въ церкви, чтобъ, когда вдетъ по городу, ни одинъ встрвчный не провхать и не прошель не поклониеь ей, чтобы купцы засустились и бросили покупателей, когда она явится въ лавку, чтобы никогда никто не сказаль о ней дурнаго слова, чтобы дома вст ея слушались до того, что кучера никогда не курили трубки ночью, особенно на съновалъ, и чтобъ Тараска не напивался пьянъ, даже когда они могли-бъ это еднать такъ, чтобъ она не узнала. Любила она, чтобы всякій день кто-нибудь завернуль къ ней, а въ именины ея всъ, начиная съ архіерея, губернатора и до последняго повытника въ палате, чтобы три дня городъ поминаль ея роскошный завтракъ, нужды ньть, что ни губернаторь, ни повытчики не пользовались ея искреннимъ расположениемъ. Но если-бы не пришель въ этотъ день m-г. Шарль, котораго она терпъть не могла, или Полина Карповна, она-бы искренно разобидълась...»

Весь міръ раздѣлялся у нея на благородныхъ и неблагородныхъ; самыя людскія дѣла и занятія она подвергала тому-же дѣленію и сокрушалась, когда внукъ ея собирался унивить родъ свой, сдѣлавшись артистомъ или приказнымъ; по ея мнѣнію, только военная

служба быда достойна дворянина:

На женитьбу своего внука она постоянно смотръла съ точки зрънія родовыхъ интересовъ.

— Почему вы знаете, что для меня счастіе—жениться на дочери какого-то Мамыкина? сказаль ей однажды Райскій.

— Она красавица, воспитана въ самомъ дорогомъ пансіонъ въ Москът. Одинхъ брильянтовъ тъсячъ на восемьдесятъ... Тебъ полезно женитъся... Вялъ бы богатое приданое, зажилъ бы большимъ домомъ, у тебя бы весь городъ быватъ, вст бы раболъпствовала передъ тобой, поддержалъ бы свой родъ, связи... И въ Петербургъ не ударилъ бы себя въ гразъ... мечтала почти про себя бабушка.

Наконецъ, по отношению къ внучкамъ она дер-

жалась воть какихъ правиль:

— А есть у тебя кто-нибудь на примътъ, сказалъ Райскій Мароинькъ:—женихъ какой-нибудь? — Что это ты, мой батюшка, опомнись! Какъ

— Что это ты, мой батюшка, опомнись! Какъ она безъ бабушкина спроса будеть о замужествъ мечтать?

— Какъ, и мечтать не можеть безъ спроса?

Конечно, не можетъ.

— Въдь это ея дъло.

— Нътъ, не ея, а пока бабушкино, замътила
Татьяна Марковна.—Пока я жива, она изъ повиновенія не вийдетъ.

- Зачеть это вать, бабушка?

- Что зачемъ?

— Такое повиновеніє: чтобъ Мареинька даже полюбить безъ вашего позволенія не смѣла?

Выйдеть замужъ, тогда и полюбитъ.
 Какъ «выйдетъ замужъ и полюбитъ»; полю-

бить и выйдеть замужь, хотите вы сказать!
— Хорошо, хорошо, это у вась тамь такь, говорила бабушка, замажавь рукой:—а мы здёсь прежде осмотримъ, узнаемъ, что за человёкъ, пудъ соли съёдимь съ инмъ, тогда и отдаемъ за него.

— Такъ у васъ еще не выходять девушки, а отдають ихъ, бабушка! Есть-ди смысать въ этомъ...

Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи ихъ этимъ своимъ идеямъ!... Вонъ покойница мать твоя была такая же... да н сошла прежде времени въ могилу...

Но бабушка была надъдена слишкомъ живою, глубокою, страстною натурою, чтобы изъ всёхъ этихъ правилъ, которыя она исповъдывала, составить сухую, мертвую систему и подчинить ей каждый шагъ и движение окружавшихъ ее людей. Къ тому же въ молодости своей она, какъ мы увидимъ ниже, на своей собственной шев испытала, что такое значить родовой гнетъ: все ен личное счастіе было принесено въ жертву родовымъ интересамъ самымъ безпощаднымъ образомъ. Вотъ почему въ отношения къ домочадцамъ бабушка старалась держаться началъ болве широкихъ и светлыхъ: къ внучкамъ своимъ, помимо всякой патріархальной власти, она питала самую нёжную материнскую дюбовь и на ней старалась основать нравственное вліяніе на нихъ. Молодыя д'ввушки не испытывали и тени того подавляющаго гнета обычаевъ и приличій, которому была подчинена Бѣловодова; напротивъ того, онъ пользовались такою свободою, которой можно было позавидовать, могли даже во всякое время отлучаться изъ дома куда угодно, и никто не требоваль отъ нихъ въ этомъ отчета. Даже относительно свободы чувства у бабушки, рядомъ съ вышеозначенными патріархальными правилами, было спрятано про запасъ правило совсемъ иного рода:

— Ты какъ понимаещь бабушку, сказала она однажды Райскому. — еслибъ богачъ посватался за Марейньку, съ породой, съ именемъ, съ заслугами, да не понравился ей — я бы стала уговаривать ее?

Но всё эти качества бабушки, по истине симпатичныя и достойныя полнаго уваженія, выставляются передъ вами какъ будто нарочно для того, чтобы показать, что даже самыя свётлыя стороны человёческой природы до такой степени парализуются условіями родоваго быта, что дёлаются неспособны произво-

дить ничего, кром'в мрака и растленія. Мы ужь не будемъ много распространяться о томъ, что вся нежная любовь и гуманность, которую бабушка расточала, были направлены къ тому, чтобы воспитать внучекъ въ духѣ все тѣхъ же родовыхъ началъ, привести ихъ путемъ свободнаго воспитанія къ тому же въ сущности знаменателю, къ которому Бъловодова была приведена путемъ суроваго деспотизма. Поэтому, свобода, которою пользовались девушки, быда крайне условна, ограничиваясь тёснымъ кругомъ роловыхъ интересовъ и правилъ укоренившагося быта. Это была чисто отрицательная свобода, заключавшаяся въ правѣ veto: дъвушка могда отказаться отъ десятка родовитыхъ жениховъ, но предполагалось, что одинаднатый, которому она, наконецъ, не откажетъ, будеть все-таки родовитый или, по крайней итръ, съ стремлениемъ сделаться такимъ. Такимъ образомъ, готовая пожертвовать для блага внучекъ родовыми интересами, бабушка ждала отъ нихъ, въ свою очередь, жертвы: пользуясь своею свободою, он'в должны были вести себя и поступать по свободному желанію такъ, чтобы родовые интересы отъ этого не страдали. Малъйшее отклонение отъ такой системы поведения считалось уже преступленіемъ, хотя бы въ немъ не было ничего безиравственнаго. По своей гуманной натурь, бабушка не могла силою деспотизма помъщать, но во всякомъ случай, выражала свое неудовольствіе скорбью и укорами (какъ, напримъръ, при выборъ службы Райскимъ), и тамъ, гдв она имвла нравственное вліяніе, ея расположеніе духа приводило къ тому же, къ чему приводилъ и деспотизиъ тетушекъ Бъло-

водовой.

Но гибельнёе всего на близкихъ людей действовали такія качества бабушки, которыя составляли лучшее

ея достоинство: это именно ея сметливость, энергія, жажда дъятельности и неусыпное трудолюбіе; они-то и были главною причиною растленія всёхъ окружавшихъ бабушку людей. Такъ-какъ бабушка завёдывала сама нетолько имуществомъ своего рода, но старалась, по возможности, завъдывать и судьбою своихъ ролныхъ, и такъ-какъ ея качества, покоряя власти ея окружающихъ людей, въ то же время совершенно обезпечивали ихъ отъ всякой необходимости заботиться саминь о себъ, то близкимъ бабункъ только и оставалось, что, вложивши свою судьбу въ ея руки, предаться безпечной, праздной жизни чисто растительнаго свойства. Такъ мы и видимъ: развертываемъ одну страницу романа, другую, третью, пятую, десятую-и вездв видимъ одно: гером вдять, вдять, вдять - чего только ни бдять они въ пяти частяхъ романа--- но бабушка все недовольна ихъ апцетитомъ, находя, что они вдять очень мало, а въ промежутокъ между вдою и вдою они гуляють по полямь, разсуждають о буряхъ страстей и жаждуть вождельній.

Рядомъ съ этою жизнью, совершенно подобною жизни пасущихся стадъ, вы видите и всё другія свойства, которыя можете найти въ любомъ стадѣ: то же отсутствіе всякой иниціативы, всякато самостоятельнаго стремленія: въ какую сторону махнетъ бичемъ пастырь, туда и бёгутъ испуганныя овцы, а не щелкни бичъ, онѣ вѣчно будутъ топтаться на одномъ полѣ и щипать подъ собою травку, переходя то направо, то налѣво.

V.

Въ Мареинькъ мы еще видимъ кой-какіе здоровые инстинкты. Она является чуть-ли не самою положительною личностью во всемъ романъ; по крайней мъръ, не смотря на крайнюю неразвитость, дълающую изъ нея взрослаго младенца, вы видите въ ней много задатковъ весьма утъщительныхъ.

«Мареннька была свѣжая, бѣлокурая, здоровая, склонная въ полнотъ дѣвушка, живая и веселал. Она придежна, клобить шить, рисуеть. Если сядеть за шитье, то углубится серьезно и молча, долго можетъ просидѣть; сядеть за фортепіано, непремѣнно прочтраеть вес до конца, что предположить; книгу прочтеть весю и долго разсказываеть о томъ, что читала, если ей поправится. Поеть, ходить за цвѣтами, за птичками, любить домашнія заботы, охотница до лакомствъ и пр.»

«Еще въ дътствъ, бывало, узнаеть она, что у мужика пала корова или лошадь, она влёзеть на кольни къ бабушкъ и выпросить лошадь и корову. Изба ветха, или строеніе на дворѣ, она попроситъ лъску. Умеръ у бабы сынъ, мать отстала отъ работы, сидъла въ углу, какъ убитая, Мароинька каждый день ходила къ ней и сидъла часа по два, глядя на нее, и приходила домой съ распухшими отъ слевъ глазами. Коли мужикъ заболъвалъ трудно, она приласкается въ Ивану Богдановичу, лекарю, и сама вскочить къ нему на дрожки и повезеть въ деревню. То и дело просить у бабушки чего-нибудь: холста, коленкору, сахару, чако, мыла. Дввкамъ даетъ старыя платъя, велитъ держатъ себя чисто. Къ слъ-пому старику носитъ чего-нибудь лакомаго повстъ, или дасть немного денегь. Знаеть всёхъ бабъ, даже ребятишекъ по именамъ, последнимъ покупаетъ башмаки, шьеть рубащонки и крестить почти всёхъ новорожденныхъ. Если случится свадьба, Маронныка не знаеть предъла щедрости: съ трудомъ ее ограничиваеть бабушка. Она даеть бёлье, обувь, придумаеть какой-нибудь затёйливый сарафань, истратить всё свои карманныя деньги и долго поскё того экономичиаеть. Только пьяниць, какъ бабушка же, не любила и однажды даже замакнулась зонтикомъ на мужика, когда онъ, пьяный, котёль ударить при ней жену. Когда онъ, пьяный, котёль ударить при ней жену. Когда онъ, подники, хотёль ударить про она раздаеть имъ пряники, орёхи, иного приведеть къ себъ, умоеть, возится съ ними. Всё собаки въ деревий знають и любять ее; у ней есть любимыя коровы и овцы. Она никогда не задумавалась и смотрёла на все бодро, зорко».

Но всёмъ этимъ истинно-человёческимъ проявленіямъ, которыя одни только выдёлялись надъ омутомъ чисто животнаго провябанія бережковской среды, предопредёлено было оставаться на степени безсознательныхъ инстинктовъ. Они не могли въ иладенческомъ, неразвитомъ умѣ Мареиньки дорости до степени сознательной системы, не могли сдёлаться руководящею цёлью и наполнить всю жизнь дёвушки, потому что все въ бережковской средв не направляло къ этому пути, а напротивъ, отклоняло. Мы видимъ, что, вопервыхъ, бабушка, на которую Мареинька смотреда чуть-что не какъ на святую, болве была склонна обуздывать хорошіе порывы Маренньки, чёйъ поощрять ихъ и развивать: бабушка, съ точки зрѣнія своего родоваго скопидоиства, журила Мареиньку за расточительность и старалась всячески ограничивать ея щедрость. Викентьевъ, женихъ Мареиньки, болбе былъ склоненъ бъгать со своею невъстою въ запуски и слушать соловьевъ, чёмъ задаваться вопросами о цёдяхъ жизни и обязанностяхъ человека. А сама Мареинька была до такой степени лишена всякой умственной самодентельности, малейшаго проявленія воли, что для нея не только немыслимо было опредёлить какую-либо самостоятельную, сознательную цёль жизни безъ бабушкинаго совета и води, но даже тамъ, где она хорошо знала, что действовала по бабушкиному благоусмотренію, она приходила въ недоупеніе, робела и окончательно терялась, когда дёло выходило изъ ряда обыкновеннаго, а бабушки не было подъ бокомъ для того, чтобы скомандовать: шагни вотъ туда, повернись такъ. Сцена слушанья соловьевъ и объясненія Викентьева представляется, правда, несколько утрированной. Младенческая наивность полодыхъ людей, незнавшихъ, что такое съ ними происходитъ, выходить слишкомъ уже аркадскою, словно будто объясняются въ любви въ райскихъ садахъ Адамъ и Ева, никогда еще ничего не слыхавшіе о любви, а между темъ Гончаровъ заставляетъ Маренньку и Викентьева читать современные романы и анализировать ихъ въ горячихъ спорахъ. Но при всемъ томъ, въ сценъ этой есть одна очень вёрная черта, совершенно въ духѣ Мареиньки: когда Викентьевъ объяснился по соловыному Мареинькъ въ своей любви, она вдругъ пришла въ страшный испугъ, начала плакать и обвинять своего милаго въ нечестности:

— Вы нечестный, вы заставили бъдную дъвушку высказать поневолт, чего она никому, даже Богу, отцу Василю, не высказала бы... А теперь, Боже мой, какой сражь!

И этотъ «божій младенецъ», по выраженію Татьяны Марковны, опять залился искренними слезами раскаянія. — Нечестно, нечестно! говорила она:—я васъ уже теперь не люблю. Что скажуть, что подумають обо миё? Я пропала.

И далѣе:

— Соловей все объясниль намъ, сказаль Викентьевъ:—мы оба выросли и созръли стю минуту, воть тамъ въ рощё... мы уже не дъти.

— Оть того и нечестно было говорить мив, что вы сказали: вы поступили какъ вътренникъ — нечестно дразнить дввушку, вырывать у ней секретъ...
— Не въкъ же ему оставаться секретомъ, когданибудь и кому-вибудь высказали бы его... Такъ ли?

Она подумала.

— Да, сказала бы: бабушкѣ на ушко и потомъ спритала бы голову подъ подушку на цѣлый день. А здѣсь... одни, Боже мой! досказала она, кидая взглядъ ужаса на него.—Я боюсь теперь показатъстя въ комнату: какое у меня лицо — бабушка сейчасъ замѣтить...

— Ангелъ! прелесть! говориять онъ, нагибаясь въ ея рукъ: — да будетъ благословена темнота, роща

и соловей!

— Прочь, прочь! повторила она, убѣган опять на крыльцо:—вы опять за дераости! А я думала, что честнѣе и скромнѣе васъ нѣть на свѣтѣ, и бабушка думала тоже. А вы...

— Какъ же было честно поступить мив? Кому

мнъ сказать свой секреть?

 На другое ушко бабушкъ, и у ней спросить, люблю ли я васъ.

— Вы ей ныньче все скажите.

— Это все не то будеть: я ужь виновата передъ ней, что слушала васъ, расплакалась. Она огорчится, не простить мив никогда, а все вы!..

Вы, можетъ быть, подумаете, что такая сцена обнаруживаетъ младенческую наивность, эдемскую чистоту Мареиньки. -- Ни чуть не бывало. Дівушка можетъ быть крайне неразвита, невинна и чиста до полнаго неведёнія всёхъ конечныхъ проявленій любви, -- и все-таки она можетъ быть вполне свободнымъ челов комъ въ высказываные своей страсти; мало того, на почет истинной, безъискусственной невинности и чистоты дівушка скорве можеть выслушать безъ смущенія признаніе любимаго человька и отвьтить ему такимъ же признаніемъ, ни мало даже не покраснѣвъ при этомъ; что тутъ худаго и преступнаго, можетъ думать она, что я люблю и неня любять. И напротивъ того, разные ужасы, ужимки и восклицанія въ родъ того, что: ахъ, что вы сказали! ахъ, какъ это можно! ахъ, что вы это!.. Что подумаетъ бабушка и пр. -- всв подобныя наивничанья нисколько не отрицають самаго развращеннаго воображенія и даже чаще всего бывають следствимь его. — Я вовсе не думаю предполагать, чтобы у Мареиньки было развращенное воображение. —Я хочу только сказать, что весь этотъ ужасъ при объяснении Викентьева, всё эти слезы и укоры были вовсе не безъискусственнымъ проявленіемъ ся наивности и чистоты, а напротивъ того, все это было крайне искусственно и неестественно, все это было прямо наваяно на давушку бабушкинымъ воспитаніемъ.

Вы подумайте только, сколько правственнаго безобразія во всемъ этомъ: дѣвушка любитъ человѣка, который сдѣлался для неп дороже жизни, и когда этотъ человѣкъ говоритъ ей, что и онъ ее любитъ, она вдругь приходитъ въ ужасъ, начинаетъ плакатъ, говоритъ, что онъ нечестный, что онъ сдѣлалъ какуюто подлость!.. Не извращено ли здѣсь все, что только есть человъческаго въ человъкъ! Но что-жь дъдать, въ бережковской сферъ такія ивленія до того обыденны, что иной, воспитанный на этой дочвъ, можеть находить въ нихъ, пожалуй, особенную прелесть. Вы неръдко можете встрътить здъсь дъвушекъ, которымъ заранъе, въ видахъ предусмотрительности, строго внушено, что каждый мужчина, будь онъ ангелъ во плоти, если только вздумаетъ говорить о любви, непремънно коварный обольститель и губитель, что малъвшій разговоръ о любви за глазами старшихъ самъ по себъ есть уже преступленіе и наносить дъвушкъ безчестіе, а потому, едва коварный мужчина о любви заикнется, благонравная дъвушка сейчасъ-же должна убъжать стремглавъ, или же зажать руками уши и отослать коварнаго мужчину къ папенькъ и маменькъ.

Послѣ этого, чего-же можно было и ожидать отъ корошихъ инстинктовъ Мареиньки. Всѣ они оставались на степени безсовнательныхъ порывовъ; — отчего же между ѣдою и ѣдою не сдѣдать было какого-нибудь добра, не оказать ласки? Но въ основаніи жизнь мареиньки оставалась жизнію пасущейся овцы, а въ перспективѣ, съ лѣтами, молодымъ корошимъ порывамъ предстояло угаснуть, какъ это всегда бываетъ въ бережковской сферѣ, и изъ Мареиньки обѣщаеть выйги жирная супруга Викентьева, любящая посплетничать, покушать, поспать и распложать дѣтей, которыхъ, по примѣру бабушки, она способна будетъ только закармливать и заланвать.

VI.

Райскій отличается и отъ Бёловодовой, и отъ Маренньки тёмъ, что въ немъ никто никогда не только не подавлялъ влеченій, но не заботился коть сколько нибудь регулировать ихъ. Въ то же время онъ получилъ высшее университетское образованіе съ разными возвышенными стремленіями и свободомысліемъ. Наконець у него была сознательная цёль въ жизни—стремленіе къ кудожественной дёятельности, и онъ мечталъ посвятить ей всю свою жизнь.

Но такова была почва бережковской сферы, что даже такія, сами по себѣ хорошія вещи, какъ свобода воспитанія, высшее образованіе, сознаніе цѣли жизни, были безеильны произвести что-нибудь на ней: высокія идеи осгавались на этой почвѣ краснвыми словами, произвосимыми за ѣдою и послѣ ѣды, а цѣль оставалась вѣчною цѣлью безъ достиженія, и въ результатѣ получалась таже животная жизнь быка, пасущагося въ стадѣ бабушкиныхъ коровъ и жаждущаго вожделѣнія. Когда Райскій развилъ передъ Бѣловодовой весьма картинно быть крестьянъ и привелъ ее въ испуть, у Бѣловодовой возникъ послѣ этого естественный вопросъ:

— 'А вы сами, cousin, что дёлаете съ этими несчастными: вёдь у васъ тоже мужики и эти... бабы? спросила она съ любопытствомъ.

И что же отвѣчаль ей Райскій?

— Мало делаю, или почти ничего, къ стыду моему, или техъ кто меня воспитываль. Я давно вышель изъ опеки, а управляеть все тотъ-же опекунъ—и я не знаю, какъ. Есть у меня еще бабушка, въ другомъ уголкъ—тамъ какой-то кдочокъ земли есть: въ ихъ

рукахъ все же лучше, чёмъ въ монхъ. Но я, по крайней мёрів, не считаю собя вправі отговариваться невідівнемъ жизни—знаю кое-что, говорю объ этомъ, вотъ хоть-бы и теперь, иногда пишу, спорю—и все же дізаю. Но кромі того я выбралъ себі дізос я люблю искусство н... не много занимаюсь... живописью, музыкой... пишу... досказалъ онъ тихо, глядя на кончикъ своего сапога.

Какъ вамъ нравится безперемонная наглость этого отвъта: вы, моль, ничего не дълаете, по крайней мъръ, оть, невъдънія, а я такъ знаю, и все-таки ничего не дълаю, а такъ— немножко рисую, немножко бренчу, немножко пишу...

Да иначе не могло и быть съ Райскимъ на бережковской почвё: самымъ положеніемъ своимъ въ качествъ пасущатося быка онъ былъ освобожденъ отъ всякой цѣли въ жизни, отъ всякихъ обязанностей, и ему предоставлено было ѣсть, ѣсть и ѣсть, а въ промежуткахъ между ѣдою—вожделѣть.

Съ самаго дётства своего онъ быль воспитанъ такъ, что каждая прихоть его сейчасъ же исполнялась: онъ не привыкъ себъ отказывать ни въ чемъ; и когда выросъ, положение его нисколько не измѣнилось: онъ продолжалъ имъть полный досугъ и возможность предаваться свободно минутнымъ влеченіямъ. Зачёмъ сталь бы онъ пригвождать себя къ мольберту, слыша громъ музыки и пъсни за окномъ, все равно онъ могъ заняться живописью и завтра, разсуждая, что дъло отъ него не уйдетъ. Такимъ образомъ, вся жизнь Райскаго заключалась въ въчной игривой смънъ впечатлівній и свободной, безотчетной отдачів себя сегодняшнему влеченію. Этимъ строемъ жизни опредъляется вся безсодержательность Райскаго, вся его непоследовательность въ убежденіяхъ, стремленіяхъ, чувствахъ и поступкахъ. Про людей такого рода вы можете сказать, что они безхарактерны, дрянны, но попадете въ большой просакъ, если скажете, что они исключительно честны, добры, или столь же исключительно низки и элы. Въ жизни подобныхъ людей все возможно, все зависить у нихъ отъ того, какой найдетъ на нихъ стихъ, подъ какимъ впечатлъніемъ они въ данную минуту дъйствують; впродолжение одного дня они способны бывають надёлать и отвратительныхъ гадостей, и удивить людей своимъ благородствомъ и даже геройствомъ. Таковъ передъ вами Райскій впродолженіе всего романа, и Гончаровъ весьма тонко проследилъ этотъ типъ во всехъ его превращеніяхъ, выдержавъ его до конца. Сначала Райскій, подъ впечатленіемъ апатім Беловодовой, проповедывалъ ей о свободъ чувствъ, указывалъ на улицу, на толпу, порицалъ предковъ, свётскія приличія и родовые предразсудки, ибшающіе человіку наслаждаться жизнью; но потомъ, когда явился на сцену гр. Малари, Райскій весь отдался новому впечатлівнію, ревности, и забывши всё свои предыдущія проповёди, началъ, напротивъ того, опираться на тъ же предразсудки родоваго быта, которые прежде порицалъ:

«— А! вскричаль Райскій: вы защищаете его поздравляю! Такъ воть на кого упали лучи съ высоты Олимпа! Кузина! кузина! на комъ вы удостонли остановить взоры! Опоминтесь, ради Бога! Вамъ ли, съ вашими понятіями, снизойти до какого-то безвѣстнаго выходца, можетъ быть, самозванца графа...

Она ужь окончательно развеселилась и, казалось, забыла свой страхъ и осторожность.

«— А Ельнинъ? вдругъ спросила она.

«— Что Ельнинъ? спросиль и онъ, внезапно остановленный ею. — Ельнинъ, Ельнитъ... засмъядся онъ. Это дътская шалость, институтское обожаніе. А здъсь страсть, горачая, опасная!

«— Что же: вы бредили страстью для меня—ну, воть я страстие влюблена, смяллась она. Развъ мив не все-равно идин туда (она показала на улицу), что съ Ельнинымъ, что съ графомъ? въдь тамъ и должна «увидъть счастье, упиться имъ». Райскій стиснуль зубы, съхъ на кресло и злобно молчаль. Она продолжала наслаждаться его положеніемъ».

Прівхавши въ пом'ястье къ бабушкі, Райскій тоже сначала началъ проповедывать о свободе чувствъ, о необходимости въ жизни страсти и грозы-проповѣдываль онь это и Мареинькв, и Верв, и даже бабушкъ. Но когда то, что называлъ Райскій поклоненіемъ красоть, осуществилось въ видь омерзительной сцены съ Мареинькою въ саду-сцены, етъ которой Райскому самому сдѣлалось тошно, онъ подъ впечатльніемъ этой тошноты запьль совершенно иную пъсню: "люби, кто понравится, но прячь это глубоко въ душъ своей, не давай воли ни себь, ни ему, пока... позволить бабушка и отець Василій. Помни пропов'ядь его... " Нослѣ этого всего нѣтъ ничего мудренаго, что Райскій могь пойти къ женѣ Козлова съ пѣлію воскресить въ ней совъсть и напомнить ей объ обязанностяхъ къ мужу, а самъ вивсто того увлекся сиреною и, позабывши все, тутъ же нарушилъ всв обязанности и свои, и ея; не нужно удивляться, что Райскій съ рыцарскимъ чувствомъ самоотвержения свелъ Въру съ обрыва, а потомъ, увидя сцену въ беседке, котелъ было позвать бабушку съ людьми и фонарями; бросилъ въ окно Въры букетъ померанцовыхъ цвътовъ, и, оскорбивши такимъ грубымъ поступкомъ женщину, явился впоследствіи нежнымь и гупаннымь утешителемъ ея. Все это совершенно въ порядкъ вещей и вполнъ въ духъ Райскаго. Если только было чтонибудь постоянное въ жизни Райскаго, такъ это та чувственность, которая обыкновенно развивается до громадныхъ разм'вровъ у людей, обреченныхъ исключительно растительной жизни; низшія животныя страсти, преобладающія въ жизни такихъ людей, естественно получають перевёсь надъ высшими и могутъ, наконецъ, всю жизнь человъка обратить въ какія-то сладострастныя судороги. Вся жизнь Райскаго только въ томъ и заключалась, что онъ соверцалъ разные роды и виды женской красоты, переходя отъ одной женщины къ другой, - постоянно жаждалъ упиться страстію, испытать "бурю жизни, грозу", но конечно ни одна женщина хоть съ малейшимъ чутьемъ не могла увлечься подобнымъ ловеласомъ, страдающимъ крайнимъ раздраженіемъ спиннаго мозга: а единственная женщина, полюбившая Райскаго, Наташа, была вознаграждена за свою любовь темъ; что сошла въ могилу, изнывши отъ трубой невнимательности любинаго человъка, предававшагося пьянымъ. развратнымъ оргіямъ въ то время, когда болёзнь ея требовала особенно нъжнаго и тщательнаго ухода за нею: естественно, что люди въ родъ Райскаго, требуя отъ женщины упоенія, не считають себя ничёмъ обя-

занными за него: они способны бывають питать уваженіе къ женщинъ, благоговъніе къ ея кресотъ не въ реальныхъ отношеніяхъ къ ней, а только въ своихъ безуиныхъ грезахъ. Гончаровъ съ особенною щедростью расточаетъ въ романъ поэтическія грезы своего героя, посвящая читателей во всв ихъ тонкости. Читая этотъ художественный бредъ, удивляешься всей безднъ нравственнаго и умственнаго растлънія, до котораго можеть дойти человікь путемь праздности и распущенности. Вотъ онъ, новъйшій сенсуализнъ-во всенъ своемъ ужасающемъ видъ, ничъмъ въ сущности не отличающійся отъ сенсуализна какого-нибудь римскаго патриція временъ Августа или французскаго наркиза XVIII въка. Это тотъ саный сенсуализмъ, который такъ красиво драпируетъ свое безобразіе и растлініе поклоненіемъ изящному, служеніенъ красоть, искусству ради искусства, обставляетъ себя женскими головками, купающимися вакханками, стоить за классицизмъ и самъ, утопая въ грязи самаго возмутительнаго цинизма, готовъ своею собственною грязью метать во все полодое, живое, свъжее. Тицовъ Райскаго Гончаровъ подписалъ страшный приговоръ надъ всёмъ поколеніемъ его времени, и вы видите изо всей этой характеристики, какъ богата объективная сторона его романа и какъ эта сторона предательски изм'вняетъ всёмъ тенденціямъ автора, съ которыми онъ выступаетъ въ последней части

VII.

Теперь мы обратимся къ такой сторонъ родоваго быта, которая была всегда ахиллесовою пяткою этого порядка вещей, его больнымъ мъстомъ, рогаткою, о которую не одинъ родъ спотыкался и терялъ разомъ все, что накапливалъ иногда столътіями.

Мы уже сказали, что одинъ изъ принциповъ родоваго быта заключается въ стремленіи рода подчинить своимъ общимъ интересамъ отдельную личность. Отсюда проистекаетъ въчное стремление личности освободиться отъ такого гнета. Съ этимъ явленіемъ мы теперь и будемъ имъть дъло. Между тъмъ, какъ родовой быть стремится втиснуть все въ свои узкія рамки и всв человъческія стремленія пріурочить къ тэмъ или другимъ родовымъ интересамъ, изъ своихъ же собственных в недра она постоянно выпускаеть силы, враждебныя всякому регулированью, разрывающія всі рамки и плотины и вырывающіяся широкимъ, всеувлекающимъ потокомъ. Путемъ ли наслёдственнаго подбора, или другихъ обстоятельствъ, но только весьма нередко въ роде являются младийе члены съ такими сильными страстями и деспотическими наклонностями, что никакой строгій, даже до звірства гнеть не въ силахъ подавить ихъ. Люди съ такими наклонностями съ самаго детства выбиваются изъ рукъ старшихъ; насиліе не покоряетъ ихъ, а только ожесточаетъ, и когда они выростаютъ, вся жизнь ихъ идетъ наперекоръ условіямъ, правиламъ и интересамъ родоваго быта.

Но не надо думать, чтобы такія явленія были сл'єдствіемъ непрем'єнно сознательнаго протеста, принадлежащаго изв'єстному времени и возбужденнаго какимъ-нибудь исключительнымъ ученіемъ. Напротивъ того, чаще всего они являются совершенно безсознательными, чисто стихійными взрывами силъ, не витщающихся въ узкія рамки родовыхъ условій. Неръдко люди съ такими наклонностями въ душъ своей виолив искренно исповедують родовой кодексъ, уважаютъ всв добродътели, предписываемыя имъ, но въ то же время не могутъ совладать сами съ собою, уложить свою жизнь въ рамки этихъ добродътелей и въчно мучаются вижшимъ и внутреннимъ разладомъ, пока не дёлаются жертвами этого разлада, или молодая энергія не угасаеть въ нихъ сама собою съ лътами. Явленіе такихъ типовъ мы можетъ проследить на почвъ родоваго быта черезъ всъ въка, начиная съ саныхъ отдаленныхъ: Каинъ, убившій брата Авеля и бъжавшій изъ родительскаго дема; Алкивіадъ, не ужившійся съ своими гражданами и изм'єнившій отечеству; какой-нибудь герой 30-хъ годовъ въ байроновсковъ духѣ; отчаянный донъ-жуанъ, бретеръ и игрокъ, или купеческій сынокъ XVII и XVIII в'яковъ, проиотавшій отцовское добро и сділавшійся разбойникомъ, --- все это явленія вполнѣ аналогическія, хотя и принадлежать къ совершенно различнымъ эпохамъ и обществамъ.

Въ то же время было бы совершенно ошибочно полагать, чтобы эти взрывы силь сами по себѣ были способны поколебать родовой быть въ его основаніяхъ. Для этого необходима еще одна сила, которой въ подобныхъ явленіяхъ никогда не было. Дело въ топъ, что родовой быть, какъ ни тесны его рамки, какъ ни искажаеть онъ существование людей, во всякомъ случать представляеть въ себѣ выработанную вѣками положительную систему жизни, глубоко укоренившуюся во всьхъ отношеніяхъ людей. Уничтожить эту систему возиожно только системою же болбе широкою, удобною для жизни— но въ то же время на столько же положительною, какъ и прежняя. Сила новыхъ идей, одерживающихъ съ каждымъ десятил тіемъ новыя и новыя поб'єды надъ дряхлою и разлагающеюся сферою родоваго быта, въ томъ именно заключается, что эти новыя иден во всей своей сложности представляются положительною системой, въ которой укладываются всё страсти и силы людей, какъ онъ укладывались въ старой системъ, только болъе естественно и свободно. Въ этомъ отношении различные обскуранты и охранители ветхой жизни глубоко и жалко ошибаются, видя въ новыхъ идеяхъ только рядъ отрицаній и антитезъ относительно старыхъ ученій. Они см'єпивають безразлично сознательный протесть противъ родовато быта со стороны новыхъ идей, съ безсознательными взрывами силъ, о которыхъ мы говоримъ. Взрывы были действительно безсильны произвести какое-либо движение, потому что они были всегда явленіями чисто отрицательными: вырывясь изъ оковъ стараго быта, сильныя натуры не предлагали ничего новаго, кроив жизни, полной безпорядочнаго разгула, безъ всякой системы, безъ всякой цали; но такая жизнь совершенно противна человъческой природъ, противъ нея вооружается въ человъкъ все, начиная съ чувства самосохраненія;воть почему сами протестующие кончали часто тычь, что возвращались къ темъ же старымъ системамъ жизни, изъ которыхъ сами вышли, съ тою только раз-

ницею, что избирали себѣ роль не притѣсненныхъ, что было не въ ихъ натурѣ, а притѣснителей, къ чему имъ весьма удобно бывало прилагать свои могучія силы.

Въ 30-е, 40-е и 50-е годы въ образованномъ меньшинствъ нашего общества подобныя явленія совершались обыкновенно на почвѣ романтизма, который служилъ отличнымъ подспорьемъ для этого. — Не давая ничего положительнаго, романтизмъ въ то же время распоясываль человыческую природу отъ всякихъ системъ, принциповъ и правилъ жизни. Единственный принципъ его заключался въ томъ, чтобы не имъть никакихъ принциповъ и повиноваться только свободному влеченію собственныхъ страстей. Идеаломъ его былъ человъкъ съ необузданными страстями, рушащими всякія преграды и пренебрегающими какими бы то ни было условіями жизни. Романтизмъ любиль героизмъ, но героизмъ не усидчивато труда, не того неуклоннаго преследованія своей цели, которое такъ высоко ставить англійскую расу, а героизмъ самозабвенія, которому непрем'єнно нужно или разомъ достигнуть всего; или погибнуть. Романтизмъ прославляль любовь, но признаваль ее только какъ необузданную горячку страсти, снимая съпчеловъка всякія нравственныя обязанности и нисколько не думая о какихъ либо разумныхъ отношеніяхъ между мужчиною и женщиною вив порывовъ страсти. Однимъ словомъ, если ны возьменъ романтизиъ во всей его сложности, то ны увидимъ ту самую теорію, въ вид'я которой люди 40-хъ годовъ представляють себъ то, что они называють современнымъ нигилизмомъ и разными новыми ученіями. Это доказываеть только, что люди эти до такой степени свыклись съ романтизмомъ своего времени, что никакъ представить себъ не могутъ какого либо болъе разумнаго протеста противъ отжившихъ формъ н условій жизни, какъ въ видъ того же романтизма ихъ времени съ растрепанными волосами, разнузданными страстями и безцъльнымъ отрицаніемъ. Они смотрятъ и не видятъ, слушаютъ и не слышатъ, и живя въ 1869 году, живутъ все еще въ какопъ-нибудь 39-иъ, или 49-иът потеля до тем ту

Въ тѣ годы, дѣйствительно, все, что было недовольно жизнію, искало спасенія въ романтизм'в. Въ то время не въ редкость было встретить искателя приключеній, съ гордостью на чель и холоднымъ разочарованіемъ въ сердцъ, отчаяннаго донъ-жуана, бретера, игрока, страстнаго любителя опасностей ради опасностей, стремящагося по этому случаю на погибельный Кавказъ и на пути туда не упускавшаго случая пройтись на счетъ клубнички. Въ женщинахъ, по ихъ положению, романтизиъ не могъ доходить до так кихъ крайностей; но и изъ нихъ лучнія натуры по своему страдали романтизмомъ: среди мертваго однообразнаго прозябанія Райскихъ, Мароинекъ и Бъловодовыхъ, подъ гнетомъ родовыхъ предразсудковъ, такія женщины ударялись обыкновенно въ сосредоточенную мечтательную жизнь, бъжайи общества людей и любили въ уединеніи предаваться созерцанію красоть природы. Въ то же время онъ постоянно мечтали о геров съ титаническими силами, который извлекъ бы ихъ изъ тины мелочей и дрязгъ и повлекъ бы куда нибудь на край света, въ волшебные сады Армиды. Такова была Въра въ романъ г. Гончарова.

VII.

Въра представляетъ радикальную противопеложность съ Мареннькою. Въ послъдней мы видимъ, при полномъ отсутствия всякой самостоятельности мысли, нъсколько положительныхъ качествъ въ родъ усидчивости въ трудъ, жажды разливать вокрутъ себя добро — качествъ, драгоцънныхъ съ точки врънія какого хотите міросозерцанія. Въ Въръ ничего этого нътът она ведстъ въ сущности такую же праздную, чисто растительную жизнь, какъ и Бъловодова или Райскій. Зато въ ней преобладаютъ свойства чисто отрицательныя: отчужденіе отъ окружающей жизни, стремаеніе жить по своему и безсознательная инстинктивная жажда чего-то новаго.

Кому отдать пальму преимущества въ этомъ случать, Мареннькъ или Въръ, — опредълить это трудно, такъ-какъ мы инвемъ дёло съ бережковскою почвою, на которой въ конецъ-концовъ все приводится къ одному знаменателю. Мы замътили уже, что всъ положительныя качества Маренньки, какъ они ни хороши сами по себъ, должны неминуемо заглохнуть на этой почвъ и не принести никакого плода. Сейчасъ мы увидимъ, что и отрицательныя качества Въры приведутся къ тому же результату.

Уже съ самаго дѣтства въ Вѣрѣ начала проявляться натура, не укладывающаяся въ тѣсныя рамки бабушкинаго міросозерцанія.

— Скажите мив, бабушка, что такое Ввра?—вдругь спросиль Райскій, подсёвши къ Татьяні Марковиб.
— Ты самь видишь: что тебі еще говорить? Что видишь, то и есть.

— Да я ничего не вижу.

— Й никто не видить: свой умь, видишь-ли, и своя воля выше всего. И бабушка не емъй спросить ни о чемъ: «нътъ да нътъ ничего, не знаю, да не въдаю». На руквахъ у меня родилась, въкъ со много, а я не знаю, что у ней на умъ, что она любитъ, что нътъ. Если и больна, такъ не узнаешь ее: ни пожалуется, ни лекарства не спроситъ, а только пуще молчить. Не лънива, а ничего не дълаетъ: ни сшить, ни по канвъ, ни музыки не любитъ, ни въ гости не ъздитъ—такъ, уродилась такая! Я не вндала, чтобъ она засмъялась отъ души, или заплакала бы. Если и разсмъется, такъ прачетъ уммбку, точно гръхъ какой. А чутъ что не по ней, разстроена чъмъ инбудь, сейчасъ въ свою башию спрачется и переживетъ тамъ и горе, и радость—одна. Вотъ что!

Подъ башнею бабушка разумѣетъ старый запущенный домъ, который Вѣра полюбила съ дѣтства, и когда выросла, то поселилась тамъ въ одиночествѣ, совершенно въ романтическомъ духѣ.

Въ то же время было бы совершенно ошибочно думать, чтобы такое поведеніе было слёдствіемъ какоголибо сознательнаго недовольства жизнью и окружающими людьми, чтобъ оно могло ясно формулироваться въ ужё Вёры и она могла бы опредъленно сказать, чёмъ она недовольна и чего хочетъ. Міросозерцаніе Вёры ничёмъ въ сущности не отличалось отъ міросозерцанія бабушки и Мареиньки; что бы тамъ ни пропов'ядыль ей отецъ Василій, сколько ни выстанвала Вёра возлѣ часовни, она не могла еще додуматься даже и до того, что вся жизнь и ея, и окружающихъ пюдей представляеть вопіющее противор'ечіе хоть бы съ тівии идеалами, представляеть которыхъ служиль образъ, передъ которымъ она молилась. Но въ ней быль такой набытокъ силъ, который никакъ не вмёщался въ узкія рамки бережковской жизни; онъ требовалъ большаго простора, чёмъ представляла эта жизнь, и тёмъ сильнёе было броженіе этихъ силъ, чёмъ пустве и безсодержательнёе была жизнь Веры, жизнь обёдовъ и ужиновъ, ужиновъ и об'ядовъ, да праздныхъ скитаній по аллеямъ бережковскаго сада.

При всёхъ этихъ обстоятельствахъ, очевидно стоило подвернуться случаю, чтобы избытокъ силъ вырвался наружу и томпая жительница заброшеннаго дома совершила подвитъ въ романтическомъ духѣ, идущій въ разрёзъ со всёми понятіями окружавшей ея среды. Стоило явиться обольстительному герою вродѣ Печорина, дерзкому, отважному, съ глубокою ночью на душѣ, гордымъ челомъ и лицомъ, омраченнымъ скукою разочарованія, — и вотъ вамъ на сценѣ борьба долга съ увлекающею страстью, ходьба по краямъ пропасти, безконечные споры о томъ, что такое страсть и слѣдуетъ или не слѣдуетъ отдаваться ей беззавѣтно, и въз заключеніе бесѣдка на днѣ обрыва, звѣздная ночь, луна и т. д.

Вотъ вамъ ключъ отъ всего романа, какъ онъ, по всей въроятности, задуманъ былъ первоначально. Мы можемъ судить навърное по всену ходу романа и по духу времени, въ которомъ онъ задуманъ, что передъ нами непремънно долженъ былъ предстать романтическій герой вродѣ Печорина съ жаждою приключеній, опасностей и донъ-жуанскими наклонности. У насъ есть и кой-какой фактическій намекъ въ самомъ ропан'т на наше предположение. Гончаровъ такъ неискусно передёлаль свой типь на современный ладь, что въ новой костюмировкѣ, въ которую онъ одѣлъ своего героя, оставиль небольшую проръху и сквозь нее иы видииъ клочокъ шкуры совсить иного волка. Вспомнимъ, что въ заключение Гончаровъ посылаетъ Марка Волохова въ юнкера на Кавказъ. —Какъ вамъ это правится! Въ этомъ открываются передъ вами два факта: во-первыхъ, вы видите, какъ отлично понимаетъ г. Гончаровъ духъ нашего времени, заставляя своего юнаго героя искать забвенія на гибельномъ Кавказъ, а во-вторыхъ, какъ преслъдуетъ Гончарова седая старина, какъ тесно сжидся онъ съ нею и какъ ему трудно отдёлаться оть тёхъ представленій, которыя онъ вынесъ изъ своей молодости.

Одного исхода на гибельный Кавказъ совершенно достаточно, что бы передъ важипредсталъ во всей своей красотѣ тотъ типъ, изъ которато Гончаровъ передѣлалъ своего Волохова, а виѣстѣ съ нишъ и самый романъ открылся бы передъ нами въ своей первобытной чистотѣ.

И вы видите, что романъ задуманъ былъ не дурно. Онъ представлялъ бы одну изъ тъхъ старыхъ неторій, которыя зачастую совершались на бережковской почвъ, и въ этой исторіи ненадежность и дрянность бережковской почвы представлялись бы передъ вами во всей своей ужасающей ясности.

VIII.

Гончаровъ задумалъ такой сюжеть, который требуетъ самой тщательной выдержки: малъйшая фальшь, малъйшій невърный штрихъ, и вся трагедія превращается въ смѣшную, глупую и пошлую ко-

Для того, чтобы трагическая иллюзія была соблюдена, героиня должна быть до конца выдержана въ видъ женщины съ натурою сильною, глубокою, вполнъ неудовлетворенною окружающею ее средою и неуклонно стремящеюся вырваться изъ нея. Въ то же время герой долженъ быть представленъ человъкомъ съ неменъе сильнымъ характеромъ и недюжиннымъ умомъ; возвышался бы надъ всемъ его окружавшимъ, н действительно казался человекомъ, способнымъ увлечь такую женщину. При этихъ условіяхъ вы представьте только себъ, сколько было бы поистинъ трагичнаго въ судьбъ женщины, которая всъ свои стреиленія, мечты, упованія-всю свою жизнь положила въ руки человъка, въ надеждъ, что онъ вырветь ее изъ среды соннаго прозябанія и что съ нимъ рука въ руку онъ пойдетъ по пути иной жизни, полной разумнаго счастія—и вдругь что же: ел герой окавывается пошлымъ ловеласомъ, а себя она видитъ жалкою игрушкою въ его рукахъ, которая годилась только до техъ поръ, пока ея не разбили, а потомъ взяли и бросили. Во всей этой исторіи трагиченъ, такимъ образомъ, не самый фактъ паденія, потери невинности, а ужасиће всего то, что здесь рушатся все стремленія, надежды, иллюзін, женщина становится лицомъ къ лицу съ пошлою, грязною и ужасною дъйствительностію-женщина униженная, оскорбленная, обращенная въ ничтожный предметь минутной прихоти.

Но мы не можемъ судить, съумёлъ ли бы Гончаровъ изобразить передъ нами такого герой, въ котораго могла бы влюбиться Въра? О сопоставления Въры съ Маркомъ Волоховымъ мы еще поговоримъ въ своемъ мъстъ. Что же касается до того, въ какомъ видъ представилъ онъ Въру до и послъ ея паденія, здъсь мы видимъ полную неспособность Гончарова выдерживать характеръ и развивать передъ нами драматическіе сюжеты.

Уже до паденія Вёры съ обрыва вы видите передъ собою въ тип'в Вёры удивительную амальгаму, составленную изъ двухъ, совершенно разнородныхъ личностей.

Съ одной стороны, Гончаровъ старается представить намъ въ лицѣ Въры, какъ мы сказали уже, титаническую натуру, неукладывающуюся въ рамки родовато быта и рвущуюся изъ нихъ:

«Да, это не простодушный ребенокъ, какъ Мареннька, и не «барышня»—говорить онъ въ одномъ мъстъ своего романа. — Ей тъсно и неловко въ этой устаръвшей, искусственной формъ, въ которую такъ долго отмивался складъ ума, нравы, образованіе и все воспитаніе дъвушки до замужества. Она чувствовала условную ложь этой формы, и отдълалась отъ нея (?), добивалсь правды. Въ ней много именно того, чего Райскій напрасно искалъ въ Наташъ, въ Бъловодовой: спирта, задатковъ самобытности, своеобразія ума, характера—всъхъ тъхъ силъ, изъ которыхъ должна сложиться самостоятельная, настоящая женщина, и дать направлене своей и чуждой жизни, многимъ жизнамъ, освътить и согреть цълый кругь, куда поставить ее судьба. Она пока младенецъ, но съ титанической силой: надо только, чтобы сила эта правильно развилась и разумно направилась».

Но въ различныхъ подробностяхъ романа тотъ же Гончаровъ представилъ передъ нами въ дицъ Въры вовсе не какую дибо титаническую натуру, а именно "барышню", и самую дрянненькую, которая, пользуясь своими обольстительными взорами, играла, какъ кошка съ мышкою, съ людьми, ухаживавшими за нею. Читая романъ, вы не разъ возмущаетесь до глубины души ея отношеніями къ Райскому, котораго она съ тактомъ записной кокетки метала съ небесъ въ преисподнюю и обратно. Не лучше были и отношенія ея къ Тушину, котораго она держала въ почтительномъ отдаленіи, при всемъ томъ очень ловко пользовалась имъ, какъ послушнымъ рабомъ, по мере надобности, и не скрывала разсчетецъ очень невысокаго полетачто Тушина не изшаетъ приберечь на случай корабдекрушенія, какъ человіка, на котораго можно будеть тогда положиться. У шаловливых барышень, окруженныхъ поклонниками, всегда бываетъ спрятанъ про запасъ солидный мужчина не безъ состоянія, котораго онъ обыкновенно держатъ позади всъхъ и за котораго впоследствии выходять замужь въ случав крайности.

Такова же Въра и въ минуту паденія. Это вовсе не титаническая женщина, увлекшаяся всепоглощающею страстью, въ которой сосредоточились всё ея надежды, мечты, вся ея въра въ будущее, а опять-таки нервная, чувственная, слабая барышня, которая вовсе не хотела падать, но колебалась-колебалась-да и не утеривла, чтобъ ее кошка не съвла. Послв же окончательной сцены въ обрывъ Гончаровъ превращаетъ Въру буквально въ Маренньку. Горе Въры сосредоточивается, главнымъ образомъ, не на томъ, что разрушились всв ся иллюзін, что все ся существованіе возвращено вспять, и сама она оскорблена и унижена, какъ женщина, какъ человъкъ. Въра обращаетъ все внимание на то, что вотъ она совершила ужасный грёхъ, потеряла невинность—и какъ теперь ей глядыть на всёхъ, что скажеть бабушка, что подумаетъ Райскій, Тушинъ, какъ будутъ глядёть на нее люди, что заговорять въ городъ... А затъмъ, стоило бабушкъ утъшить Въру признаніемъ вродъ того: что ты, душенька, не плачь, я и сама когда-то сдълала то же самое, и Въра разнъжилась, утерла глазки и утъщилась.

Если хотите, то и съ сильною натурою, какъ бы ни была она титанична, должна была послъ такой катастрофы произойти реакція. Но у сильныхъ, страстныхъ натуръ реакція выражается въ такихъ же крайностяхъ, какъ и увлечение. Въра, какъ сильная натура, дойжна была бы кончить непреитно крайностью: скорте всего, согласно игросозерцанію ея, можно было ожидать, что она, подобно "Лизъ" въ "Дворянскомъ гнъздъ" Тургенева, кинется въ суровый, прачный инстицизиъ, въ которомъ будетъ стараться заглушить горе разрушенной на-дежды; или подобно "Татьянъ" Пушкина, могла впасть въ мертвую апатію отчаннья, въ которой ей ръшительно было бы все равно, что бы съ ней ни дълали. Наконецъ, она могла бы впасть въ необузданный чувственный разврать, какъ Ирина въ "Дынъ". Писатели, глубоко прочувствовавшіе бережковскую сферу жизни, обыкновенно кончали однимъ изъ этихъ

выходовъ: такъ и Пушкинъ кончилъ съ Татьяною, разочаровавшеюся въ Онъгинъ; такъ и Тургеневъ покончиль со многими героинями своихъ повъстей. Но Гончаровъ изобрълъ для своей героини выходъ особеннаго сорта, крайне искусственный, фадышивый и совершенно немыслимый на бережковской почвъ. Нодобно тому, какъ въ предыдущемъ романъ, заставивши Ольгу разочароваться въ Обломовъ, Гончаровъ утвшиль ее, нославши ей Штольца, котораго самъ создаль искусственно силою своей досужей фантазіи, такъ же онъ поступилъ и съ Върою. Тушинъ является передъ нами экстрактомъ всевозможныхъ добродътелей, на подобіе тёхъ Правлиныхъ и Стародумовъ, которыхъ изобреталъ некогда фонъ-Визинъ, или еще лучше врод' гоголевскаго Констанжогло, вившаго изъ неску веревки и наживавшаго такинъ образонъ милліоны. Въ Тушинъ вы находите все, что вамъ только угодно: и мускульную силу, и желёзную волю, и зивиную нудрость, и голубиную кротость, и наивную простоту, и энергическую двятельность, и умвнье жить, наживать, да и добро наживать-да такое добро, что и самъ онъ катался, какъ сыръ въ масле, и мужички его благоденствовали, избы у нихъ были все новыя, крыши на избахъ деревянныя, сами они были богатые, энергические, барину, господину своему, не только оброковъ не платили, но еще съ него бради за трудъ свое жалованье-ну, и, конечно, благословляли свою участь и души въ баринт не чаяли; одникъ словомъ, въ имънъъ Тушина чуть что не текли полочныя раки въ кисельныхъ берегахъ.

Но какъ же это при всёхть условіяхъ жизий бережковской сферы могъ создаться такой алмазъ? Какъ онъ сохранился, когда жизиь въ самыхъ основаніяхъ своихъ вела къ растибнію? Гончарову самому приходилъ въ голову этотъ вопросъ при созданіи типа Тушина, но онъ отдълался отъ него безъ затружнена:

«Стройно действующій механизме природных силь—говорить оне ве одному месть—могі. бы разстроиться и оть вившихъ притоковъ разныхъ противныхъ ветровь, голиковъ, остановокъ, м отъ дурной, набалованной воли. У него этого раздала не было. Внутреннем силою онъ отражать вишніе враждебиме притоки, а свой огонь торъть у него неугасимо, и онъ не не уклоняется, не изменяетъ гармовін ума съ сердцемъ и съ, водею, ле совермаєть свой путь безупречно, все стоить на той же высотъ уметвеннаго и нравственнаго гравитія, на которую, пожалуй, поставилы его природа и судьба, сатыовательно, стоить почти, безсовнательно».

Вотъ что значить свобода творческой фантазіи: чуть приходится намъ объяснить какую нибудь, нами же придуманную несообразность—мы сейчась можемъ сослаться на какой нибудь внутренній огонь—и дѣло въ шляпѣ. Намъ съ Гончаровымъ пичего не стоить нарисовать человѣка, окруженнаго бурнымъ плаченемъ, а внизу годиисать: "еей человѣкъ и въ огиъ не горитъ, ибо изъ его могучей натуры непрестанно выступаетъ внутренняя влага, дѣлающая его неуязвимымъ въ пещи огненной ".

Но предположимъ, что Тушинъ возможенъ на бережковской почвв: въ семъв вёдь не безъ урода, и какихъ только чудесъ не бываетъ въ природъ. Какъ же это Вёра, если она была чистая, глубокая, титаническая натура, раньше-то не открыла этого бридьянта въ кучв навоза? Мы можемъ допустить, чтобы сильная натура увлеклась даже не титаническимъ донъ-жуаномъ, а первымъ встреченнымъ гусаромъ и убъжала съ нивъ, еслибы вокругъ нея ничего не было. Но возлѣ Вѣры быль герой, который могъ удовлетворить санынъ пылкинъ мечтаніямъ дівушки. Какого же еще рожна было нужно Въръ, выражаясь бабушкинымъ языкомъ? И здъсь опять-таки иы видимъ все неумбніе Гончарова выдерживать характеры и иллюзію романа. Заставь Гончаровъ Віру встрівтиться съ Тушинымъ после паденія ея съ обрыва, и все было бы въ порядкъ: тэма романа вполнъ соотвътствовала духу беллетристической школы 40-хътодовъ, на почвѣ которой было написано множество романовъ и повъстей съ подобною тэмою, что вотъ, молъ, сильная женская натура, не находя вокругъ себя никакого выхода, наткнулась на подводную скалу, впала въ разочарованіе, отчаянье, но встріча съ новымь героемъ такого рода, о которомъ она и прежде всегда печтала, утъщила ее и возродила къ новой разумной жизни, въ которой она нашла, наконецъ, исходъ изъ своего прежняго безцёльнаго прозябанія. Правда; и въ такомъ видъ романъ представляль бы въ себъ иного ложнаго, потому что новый герой быль бы всетаки герой; сочиненный авторомъ, а не действительный, и новая жизнь; въ которую Въра вступила бы, все-таки оставалась бы фиктивною жизнью, невозможною на той почвѣ, на которой Гончаровъ се представиль; но была бы, но крайней-мёрё, хоть какая нибудь выдержка въ романъ.

Но Гончаровъ поступилъ иначез взявши такой драмалическій сюжеть, который требуеть непремінно глубокаго и свободнато анализа, онъ носмотрълъ на этотъ сюжетъ съ точки зранія узенькой порали; онъ не увидёль въ этомъ сюжете ничего, кроме грековнаго факта паденія Веры, и изъ такого богатаго сюжета, въ которомъ могла бы развернуться старая жизнь нередъ нами во всей своей трагичности; онъ вздуналъ сдёлать нравоучительную повъсть о томъ, какъ дурно поступають дівушки, которыя не слушаются старшихъ и даютъ свободу своей волё и своимъ страстямъ. Съузивши такимъ образомъ богатый сюжетъ; Гончаровъ по необходимости долженъ былъ поставить Въру между двумя началами, злымъ и добрымъ, при чемъ элое начало въ видъ обольстителя тянетъ Въру на дно обрыва, а доброе - въ видъ Тушина тянетъ вверхъ на путь спасенія и благонравія. Мы знаемъ, что Гончаровъ не въ первый разъ поступаетъ такимъ образомъ. Въдь и Ольга въ Обломовъ точно также рисуется передъ нами между двумя противоположными началами: началомъ лѣности въ видъ Облонова и дъятельности въ видъ Штольца. Гончаровъ до сихъ поръ сохраняетъ архаическую манеру живописцевъ до-рафаелевскаго неріода-располагать фигуры въ картинъ симметрически по прянымъ линіямъ. Но такъ-какъ противоположныя нравственныя начала олицетворяются въ романт въ видт раздичныхъ любовниковъ, между которыми Въра колеблется, не зная, кому отдать проимущество, то этимъ самымъ она и обращается изъ титанической натуры въ слабую, нержинтельную нервную барышню, которая, какъ мы выше замътили, кокетничаетъ и съ однимъ,

и съ другимъ, и съ третьимъ, а Тушина оцвниваетъ тогда только, когда двло приходится плохо.

IX.

Вообще нужно замътить, что во всъхъ ръшительныхъ драматическихъ моментахъ романа вы не оберетесь нельпостей самаго перваго сорта. У Гончарова заивчается какая-то фатальная способность изображать трагическій павось своихь героевь въ такомъ комкческомъ видъ, что виъсто трагическаго чувства въ васъ возбуждается истерическій хохотъ. Посмотрите вы, напримъръ, на этого Райскаго, который въ ревнивомъ бъщенствъ, какъ сумасшедшій, мечется по саду во время сцены въ беседке, вопить въ ярости: ищенія, ищенія!... натыкаясь на Полину Карповну, вертить ее, какъ куклу, произнося несвязныя ръчи, и бросаетъ потомъ въ траву съ крикомъ: "прочь, гадина!" Посмотрите вы на этого учителя Козлова, который посл'я того, какъ жена ему изм'янила и убхала отъ него, все смотритъ на дорогу, ожидая ся возвращенія, и каждаго мужика, бдущаго въ телбіть, принимаеть за возвращающуюся супругу. А что сдёлаль Гончановъ съ бабушкою Татьяною Марковною, уму непостижимо. Онъ заставиль ее после паденія Веры нѣсколько дней пробродить по усадыбѣ въ трагическомъ павосъ, напоминающемъ сцену лунатизма леди Макбетъ. Къ ужасу всёхъ дворовыхъ она ходила, ходила, ходила по саду, по полямъ, ломая руки и приговаривая: ной грахъ, ной грахъ!... А за нею бъгалъ Райскій съ кружкою молока, которую желаль поднести ей, опасаясь, чтобъ она не умерла съ голоду.

Изъ-за чего же такъ распиналась бабушка и въ чемъ заключался ея грахъ? А въ томъ вотъ видите, что разъ въ жизни своей, когда была еще иолода, бабушка ръшилась быть женщиной, а не куклой только въ рукахъ своихъ родныхъ. Ее насильно выдавали за графа, адона любила соседняго помещика, Тита Никоновича. Графъ засталъ сцену свиданія Татьяны Марковны съ ея возлюбленнымъ ночью въ оранжереъ-противники чуть не подрадись, но Татьяна Марковна ихъ развела и они дали другъ другу слово: графъ, что онъ этой исторіи не огласить, а Тить Никоновичь-что онъ на Татьянъ Марковиъ не женится: Такъ бабушка и осталась весь въкъ свой дъвушкой. Мы не будемъ иного распространяться о томъ, до какой степени лишена всякаго человъческаго смысла эта драма стараго времени, въ которой все счастье женщины было разбито изъ-за родовыхъ предразсудковъ, изъ-за малодушной, жалкой боязни огласки того, чъмъ люди должны были гордиться, и изъ-за сижшной рыцарской щепетильности, изъ-за которой два существа, любящія другь друга, рішились на весь вікь остаться чуждыми одинъ другому, потому что въ ихъ отношенія вибшался дрянной негодяй, взявшій съ нихъ совершенно безчеловъчно, безцъльно слово, что они никогда не сойдутся!.. И на эту драму своей юности, въ которой все, что было человъческаго въ Татьянъ Марковив, ся любовь, самостоятельность въ выборв предмета чувства, права на счастіе, -- все это было попрано санымъ возмутительнымъ образомъ, -- на подобную драму Татьяна Марковна смотрела, какъ на

свой собственный гръхъ, какъ на свое преступленіе, за которое, вотъ видите ли, провидение наказало ее паденіемъ Въры! Вы подумайте только, есть ли здёсь хоть одна капля здраваго человъческаго смысла? Но курьезнъе всего здъсь не сама Татьяна Марковна, которой могло и въ голову не прійти ломать страшныя комедін и которая смёло можеть заявить свой протестъ противъ разгулявшейся фантазіи Гончарова въ такомъ редѣ, что "батюшка, молъ, Иванъ Александровичъ, что ты за чучело изъ меня сдълалъ, за что ты меня страмишь: ужь инт-то на старости латъ отнюдь не пристало разыгрывать французскія мелодрамы. Не ты ли самъ расхваливалъ меня во всёхъ пяти частяхъ романа за то, что хоть и по французскимъ книгамъ и не училась, а во мнъ много тантся самороднаго здраваго смысла, такта, сдержанности, проницательности, знанія человіческаго сердца и ушёнья вёрно оцёнивать людскія отношенія, — и вдругъ ты заставилъ меня какъ дуру шальную шататься по полямь, Вогь-вёсть для чего, только людей тревожить, да Въру еще пуще разстранвать... Въдь я еще изъ ума не выжила и хорошо понимаю, что этимъ бъды не сбудешь, а пуще только раздуешь ее; только слабые и тщедушные люди мечутся и руки ломають при первоиъ горь, а мят приходится сейчасъ же поспокойнъе за дъло приниматься, замазать, закленть, что можно, Въру какъ нибудь утъщить, да скрутить ее поскорве за Тушина, вотъ ное двло, а не по полямъ шляться безъ пути"!...

Курьезнее всего здесь самъ Гончаровъ, который, заставивши бабушку разыгрявать сцену лунагизма леди Макбетъ, самъ умиляется передъ своею фантазіею и доходить до такого паеоса, что сравниваетъ Татьяну Марковну съ разными историческими геропнями древнихъ и новыхъ вёковъ:

— Это не бабушка!—съ замираніемъ сердца, глядя на нее, думаль Райскій. Она казалась ему одною изъ техъ женскихъ личностей, которыя внезапно изъ круга семьи выходили героннями въ великія минуты, когда падали вокругь тяжкіе удары судьбы и когда нужны были людямъ не грубыя силы мышцъ, не гордость крыпкихъ умовъ, а силы души-нести великую скорбь, страдать, терпать и не падать! У него въ головъ мелькнулъ рядъ женскихъ истори-ческихъ тъней въ параллель бабушкъ видълась ему въ ней-древняя еврейка, іерусалимская госпожа, родоначальница племени—съ улыбкой горделивато преврънія, услышавшая пронесшееся въ народъ глухое пророчество и угрезу: «снимется вънецъ съ клумов пророческо и угрозу. «симентов выводь съ народа, не узнавшаго посъщения», «придугъ римыние и возъмутъю Не повърила она, считан незаблемымъ вънецъ, возложенный рукою Гетови на голову Израиля. Но когда насталь часъ «пришли римляне и взяли», она постигла, откуда паль не-отразимий ударь, встала, сняла свой вёнець, и молча, безъ ропота, безъ малодушныхъ слезъ, которыми омывали іерусалимскія стіны мужья, разбивая о камии головы, только съ окаменалымъ ужасомъ покорности въ глазахъ пошла среди навшаго царпокорность вы вы какама безобразіи одеждь, туда, куда вела ее рука Ісговы, и такъ-же,—какъ эта бабушка теперь—несла святыню страданія на лиць, будто гордись и силою удара, постигшаго ее, и своею силою нести его... Пришла въ голову Райскому силою нести его... другая царица скорби, великая русская Мареа, скованная, истерзанная московскими ордами, но сохранившая въ тюрьмъ свое величіе и могущество скорби по погибшей слава Новгорода, покорная тёломъ, но не духомъ, и умирающая все посадницей, все противницей Москвы, и какъ будто распорядительницей судебъ вольнаго города».

Гончаровъ упустилъ изъвидуздѣсьто, что въ судьбѣ женщинъ, которыми онъ любуется, было трагично именно то, что онъ гонитъ, преслѣдуетъ и отрицаетъ въ женщинахъ, и чего въ Татьянѣ Марковнѣ не было и тѣни: трагично было въ нихъ увлеченіе интересами общественнаго свойства, увлеченіе той или другою великою идеею своего вѣка, для которой онѣ жертвовали не только какими нибудь узкими, эгонстическими страстипками—но жизнью. И такія великія, святыя личности, записанным исторією, идутъ у Гончарова въ сравненіе съ Татьяном Марковною Беражковой, весь трагическій павосъ которой основывался на чувственномъ задорѣ внучки и мелочныхъ, пошлыхъ разсчетцахъ заплесневѣлаго уголка!

X.

Изъ всего этого разбора, я полагаю, ясно можно видёть, что и безъ передёлки на современный ладъ романъ заключалъ бы въ себё не малое количество невыдержанности, искусственности, ложнаго, надутаго павоса и нелѣпостей всякаго рода. Теперь мы посмотримъ, что сдѣлалъ Гончаровъ изъ своего романа, передѣлавши одинъ изъ главныхъ типовъ въ духѣ современныхъ правовъ.

Виёсто неизвёстнаго намъ героя въ романтическомъ духё съ донъ-жуанскими наклонностями, передъ нами парадируетъ въ романё представитель молодого поколёнія, архи-нигилистъ Маркъ Волоховъ.

Создалъ Гончаровъ своего Волохова очень просто и незатъйливо. Твердя въ своемъ романъ все о правдѣ, да о правдѣ, то о новой, то о старой, — Гончаровъ опустилъ изъ виду въ то-же время одну правду, которая для него, какъ создателя романа, была всего нужне: правду художественную. Ему и въ голову не пришло, что для созданія типа молодого покольнія необходимо было ему хоть немного посвятить времени живому наблюденію этого покольнія, коть сколько-нибудь всмотрёться въ жизнь, нравы, стремленія молодежи — всмотрёться собственными своими глазами, не довольствуясь одними ходячими слухами, готовыми стереотипными представленіями, которыя сложились въ пошлой, праздной и легкомысленной толив. Гончарову показалось, что этихъ слуховъ и стереотипныхъ представленій совершенно достаточно, чтобы создать представителя целаго поколенія и произнести судъ надъ нииъ. Онъ такъ и сдёлалъ. Всёмъ извъстно, какіе готовые приговоры о молодежи ходятъ по разнымъ гнилымъ трущобамъ нашего общества. Молодежь, говорять, внавши въ матеріализмъ, отвергаетъ духовную сторону человъка, отрицаетъ всякіе нравственные принципы, смется надъ бракомъ и допускаеть только одни чувственныя наслажденія. На основаніи этихъ ходячихъ слуховъ Гончаровъ изобразиль въ лицъ Волохова человъка, твердящаго, что жизнь людская больше ничего, какъ безпёльное круженіе пылинокъ въ воздухѣ, и склопяющаго Вѣру на птичью любовь до завтрашняго утра, чтобы упить-

ся взаниными наслажденіями и разойтись въ разныя стороны. Молодежь, говорять, отвергаеть все изящное, всякія удобства жизни- все созданное цивилизацією: и вотъ Гончаровъ заставилъ своего Волохова жить въ телеге, ходить растрепаннымъ и грязнымъ, какъ, по мнёнію Гончарова, подобаетъ архи-нигилисту. Молодежь, говорять, отвергаеть собственность-и Гончаровъ заставилъ Волохова лазить по заборанъ въ чужіе сады за яблоками, брать деньги безъ отдачи; надъвши платье Райскаго, безъ церемоніи объявить ему, что платье ему пришлось въ пору и онъ его не отдастъ. Молодежь, говорятъ, отвергаетъ всякій общественный порядокъ — и Гончаровъ заставиль Волохова стредять въ людей, травить собаками женщинъ, дазить въ окна, брать приступомъ трактиры и проч.

Создавши такимъ образомъ типъ не индуктивно и не изъ наблюденій надъ жизнью, а чисто дедуктивно изъ ряда ходячихъ пошлыхъ сентенцій, Гончаровъ представилъ передъ нами не человека, а какое-то квазимодо, лищенное всякой реальности. Всв прочіе беллетристы одной школы съ Гончаровымъ, и Тургеневъ, и Писемскій, и Достоевскій, и даже Ключниковъ, въ какомъ только ложномъ свете они ни пытались представить молодое поколеніе, во всякомъ случав, имвють то преинущество передъ Тончаровымъ, что они въ молодомъ поколени видели, хоть и заблуждающихся людей, но, во всякомъ случав, модей. Они не отвергали въ нихъ такихъ качествъ, которыя дёлають честь всякому человёку, какихъ-бы онъ ни быль убъжденій: трудолюбія, честности, способности любить глубоко и прочно, наконецъ, самопожертвованія; они осмѣивали и отрицали только принцины, убѣжденія, и стремленія молодого поколінія, считая ихъ съ своей точки зренія дожными. Достоевскій въ лице Раскольникова изобразиль злодья, совершившаго убійство на основаніи ложнаго принципа, но и къ этому злодъю онъ отнесся не безъ гуманности: онъ не бросиль въ него камнемъ желчнаго, злобнаго порицанія; онъ не рёшидся съ тономъ высокомернаго безчеловьчія ткнуть нальцемъ убійцу и объявить, чтобъ мы не ждали въ этомъ злодът и тени чего-либо человъческаго: напротивъ того, и въ убійцѣ онъ съумѣлъ уловить біеніе челов'яческаго сердца.

Гончаровъ же въ своемъ взображеніи Марка Вомохова унизился до Стебницкаго и Авенаріуса. Въ лицѣ Марка Волохова онъ изобразилъ экстрактъ всеовзимъныхъ гадостей: наглости, чувственности, распущенности, низости, злости и проч., отвергнувши въ немъвсякую возможность чего-либо человѣческаго. ""Волкомъ, —говоритъ онъ о Маркѣ Волоховѣ, —звала она тебя въ глаза шутя, теперь не шутя, заочно къ хищинчеству волка — въ памяти у нея останета ловкость лисъ, злость на все лающей собаки, и не остинется микакого слюда — о человъкто!..."

Вы подумайте только, сколько нужно накопить желчнаго, слёпого озлобленія, гордаго самомнёнія и безчеловёчнаго высокомёрія, чтобы отвергнуть все человёческое въ людяхъ, которые дервнули не раздёлять нашихъ убёжденій! Неужели Гончаровъ думаетъ, что онъ раскрыль въ истинномъ свётё заблужденія своихъ противниковъ, представивши ихъ въ видё от-

влеченнаго экстракта разныхъ мерзостей неестественнаго, мелодраматическаго элодая, исчадія ада, изрыгающаго изъ себя одно здо и здо... И это сдъдалъ Гончаровъ, художникъ реальной школы, завъщанной Гоголемъ... Это называется стремиться къ художественной правдѣ, брать образы для своихъ произведеній изъ жизни, глубоко изучая ихъ въ самой дійствительности! Но курьезние всего, что, изобразивши въ дицѣ Марка Волохова безобразное чудовище, лишенное всякаго человъческаго смысла, Гончаровъ заставиль въ то-же время въ это чудовище влюбиться лучшую свою героиню; которую онъ на каждой страницъ превозноситъ за глубину природы, проницательность ума и тонкость женскаго инстинкта, унтыщаго многое върно угадывать прежде, чъмъ что-либо дойдеть до яснаго сознанія!

Какъ знатоку по части теоріи влюбчивости, чёмъ такъ славятся всё беллетристы 40-хъ годовъ, Гончарову, я полагаю, должно быть очень хорошо извъстно, что какъ-бы ни была нелвпа иногда влюбчивость, во всякомъ случав, она должна иметь свою иллюзію, на которой она необходимо основывается. - Женщина подъ вліяніемъ страсти можеть до нікотораго времени ошибаться въ мужчинь, объяснять въ хорошую сторону всё физическіе, нравственные и умственные непостатки своего возлюбленнаго; -- но какъ-бы ни была сильна такая идлюзія, она все-таки имветь границы, далъе которыхъ она невозможна. — Посмотримъ-же теперь, чёмъ могла увлечься до самозабвенія Вёра въ Волоховъ, если только она была женщина дъйствительно съ умомъ, проницательностью и т. д. До своего знакомства съ нимъ она могла заинтересоваться имъ, какъ человъкомъ необыкновеннымъ, выходящимъ совершенно изъ круга обыденной жизни. Слыша о разныхъ его курьезахъ, могла думать, что они логически вытекали изъ какого-то новаго ученія, о которомъ она не имъла никакого понятія; изъ неосновательности поступковъ Марка, она могла заключать о неосновательности ученія, которымъ Маркъ увлекся, самая-же личность Марка оставалась для нея еще неприкосновенною; она не могла еще ни увлекаться ею, ни питать къ ней презрѣнія или отвращенія. Ей, во всякомъ случав, любопытно было увидеть, что это за птина этотъ Волоховъ. Наконецъ, она его увидъла: онъ сиделъ на заборе и рвалъ яблоки изъ ел сада, и немедленно-же объясниль ей, что онъ дълаетъ это на основанім принциповъ Прудона, провозгласившаго, что собственность есть кража. Затемъ онъ началъ съ ней видъться и давать ей ть новыя книги, изъ которыхъ онъ извлекалъ свои принципы, въ томъ числф и Прудона.

мнѣ кажется, что этого одного совершенно достаточно, чтобы въ Въръ не возникло никакой иллюзіи относительно Марка. Если только Въра обладала коть каплею ума, то прочтя трактатъ Прудона о собственности, она съ удивленіемъ увидъла бы, что между принципами Прудона и ворованьемъ яблоковъ изъ чужого сада нѣтъ ни малъйшей логической нити, никакой точки соприкосновенія; заблужденіе марка могло возбудить въ Въръ участіе и желаніе воротить его на върную дорогу только въ такомъ случать, еслибы это было логическое заблужденіе глубокаго ума, который-

бы сказывался въ самыхъ крайностяхъ заблужденія. Вотъ еслибы на основании Прудона Маркъ Волоховъ объявилъ Вере, что онъ никогда въ жизни не позводить себь съвсть ни одного куска, который бы онъ не зароботаль честнымъ, производительнымъ трудомъ, а относительно яблоковъ замѣтилъ бы, что они должны принадлежать не Въръ, не ему, Марку Волохову, а тому садовнику, который прилагаль свой трудъ къ произращению ихъ, въ такожъ случат Въра, прочитавшя Прудона, увидела бы, что слова Марка прямо истекаютъ изъ прудоновскихъ принциповъ, могла бы съ своей точки зрвнія видеть въ словахъ Марка заблужденіе, но видъла бы заблужденіе укнаго человъка, способнаго понимать и усвоивать, что читаетъ; такое догическое заблуждение могло возбудить въ Вѣрѣ участіе, желаніе спорить съ Маркомъ и по возможности обратить его на свою сторону. - Но въ примъненіи принциповъ Прудона къ ворованію яблоковъ изъ чужого сада Въра ничего не могла увидъть, кроиъ безумнаго и дикаго скачка идіота. Ну, а гдв женщина видитъ идіота, тамъ плохая надежда на какую-либо иллюзію и влюбчивость.

(Гончаровъ, замътимъ въ скобкахъ, или не читалъ Прудона и имъетъ о немъ очень смутное поняте, или если прочелъ, то понялъ его принцины à la Волоховъ... Но послъднее предположение мы отстраняемъ; оно было бы слишкомъ ужь оскорбительно для Гончарова).

Такимъ образомъ, нытаясь изобразить въ лице Веры сильную, недюжинную личность и вдругъ заставивши увлечься эту недюжинную личность какою-то сибшною и жалкою пародією на человіка, олицетворенною каррикатурою, Гончаровъ окончательно разрушилъ всякую иллюзію романа.—Неужели Гончаровъ ослбиъ до такой степени, что не замъчаетъ, какъ этимъ самымъ глубоко унижаетъ онъ свою героиню? Чтобы допустить возможность паденія Вёры съ обрыва при такихъ условіяхъ, нужно предположить что-нибудь изъ двухъ: или Въра сама была настолько слаба разумомъ, что очевидный, ничъмъ не прикрытый идіотизмъ Марка Волохова остался ею незамъченнымъ до конца романа; или же это была въ такой степени распущенная натура, что замъчая идіотизмъ Волохова съ самаго начала знакомства съ нимъ, споря постоянно и ни въ чемъ не сходясь, она все-таки решилась пасть въ его объятія, -- это ужь чорть знаеть что такое!

XI.

Но этимъ всёмъ еще не исчерпывается вся дикая несообразность романа. —До сихъ поръ мы ограничивались только разборомъ произведенія Гончарова съ точки зрёнія чисто эстетической: мы старались показать, какъ слабъ романъ со стороны выдержанности сюжета, характеровъ, иллюзіи. Если же мы теперь коснемся философін Гончарова, то забредемъ въ такой д'явственно-непроходимый лѣсъ, изъ котораго выбраться нѣть уже никакой человѣческой возможности.

Вся философія, которую Гончаровъ разсыпаєть въ разныхъ мъстахъ своего романа, заключается въ томъ, что онъ постоянно защищаеть старую правду передъ новой. Что же разумъетъ Гончаровъ подъ

Изъ типа Марка Волохова мы могли бы извлечь то заключеніе, что подъ новою правдою Гончаровъ разумбетъ ученіе, отрицающее всякіе правственные принципы и пропов'ядующее жизнь необузданнаго сенсуальна. —Такое понятіе о новой правдів Гончаровъ ясно формулируєть передъ нами въ следующихъ словах:

"Оставивъ себъ одну животную жизнь, "новая сила" не создала, вместо отринутаго стараго, никакого другого, лучшаго идеала жизни".

Но сейчасъ-же всябдь за этою фразою Гончаровъ говоритъ совершенио другое:

"Вглядевшись и вслушавшись во все, что проповедь юнаго апостола выдавала за новыя правды, новое благо, новыя откровенія, она съ удивленіемъ увидёла, что все то, что было в его проповоди обраго и въргицо—не ново, что оно взяти изъ тою-же источника, откуда черпали и не новые люди, что сёмена всёхъ этихъ новыхъ идей, новой цивилизаціи, которую онъ пронов'ядываль такъ квастливо и таинственно, заключены въ старомъ ученій".

Какъ-же это такъ? Значитъ, новое ученіе проповедуетъ не одну животную жизнь, а въ немъ есть доброе и върное, и Гончаровъ не только не имъетъ права пенять, что это доброе и върное не ново, а онъ долженъ радоваться этому, такъ какъ, по его мненію, это доброе и върное взято изъ того-же стараго ученія, защитникомъ котораго онъ является передъ нами. Но если только Гончаровъ признаетъ, что въ новомъ ученін есть хоть одна черта добрая, верная, тогда что же значить вышеупомянутая фраза, будто новое ученіе, оставивъ себ'є одну животную жизнь, не создало, вивсто отринутаго стараго, никакого другого, дучшаго ндеала жизни, что же такое значить типъ Волохова, въ которомъ Гончаровъ не представилъ передъ нами на одной изъ техъ верныхъ, добрыхъ чертъ, которыя онъ самъ же находить въ новомъ учения?-Гав же туть справедливость? выдь это значить --- беззастенчиво клеветать и самому туть же выставлять свою клевету на позорище?

Но, можетъ (ыть, это происходитъ просто изъ неведенія, изъ-за того, что Гончаровъ имеетъ самыя смутныя и неопределенныя понятія о новой правдь, понятія сталкивающіяся, противоречащія другъдругу, составленныя изъ пошлыхъ ходячихъ миёній, самаго разнороднаго свойства. Но что касается старой правды, то тутъ, конечно, мы увидимъ въ Гончаровъ знатока, человъка глубоко вникшаго въ "духъ и глубину кинги стараго ученія", а не обольстившагося одною буквою добродътелей этого ученія, подобно молодежи и "не требующаго исполненія этой буквы съ такою злобою и нетерпимостью, противъ которой остерегало старое ученіе".

Подъ старымъ ученіемъ Гончаровъ разумветъ ученіе христіанское, а подъ книгою этого ученія, конечно, Евангеліе. Посмотримъ же, какъ глубоко проникнутъ Гончаровъ принципами этого ученія.

Намъ извъстно, что христіанскіе принципы совъ-

свой судъ надъ чънъ нибудь: не судите, да не будете осужденными, говорять они, и они готовы простить разбойника, если видять въ немъ коть одну черту добрую и върную. И неужели же Гончаровъ думаетъ, что онъ поступаетъ по христіанскимъ принципамъ, произнося самый строгій и безчелов'вчный судъ надъ людьми, о которыхъ онъ не имфетъ никакого понятія? Съ желчью и негодованіемъ древняго фарисея онъ отвергаеть все человеческое въ целомъ ряде людей, на основаніи однихъ удичныхъ слуховъ, и этотъ же самый Гончаровъ сердобольно толкуетъ о томъ, что старые принципы предостерегали противъ злобы и нетерпиности. Это ли называется проникать въ духъ и глубину стараго ученія? Но этого еще мало: намъ извъстно, что христіанскіе цринцины возстали на тъхъ іудеевъ, которые хотёли забросать камнями завёдуемую блудницу. — Гончаровъ желчью и трязью бросаетъ въ женщинъ, о которыхъ слыхалъ, по всей въроятности, только гразныя сплетни праздной толпы:

"Онъ (т.-е. Маркъ Волоховъ), —говоритъ Гончаровъ, —сравнивалъ ее (т.-е. Въру) съ другими, особенно "новыми" женщинами, изъ которыхъ многія такъ любострастне поддавались жизни по новому ученію, какъ Марина своимъ любвямъ—и болѣе падпими созданіями, нежели всѣ другія падшія женщины, уступавшія воображенію, темпераменту, и даже золоту, а тѣ будто-бы принципу, котораго часто не понимали, въ которомъ не убѣдились, повѣривъ на слово, слѣдовательно, уступали чему нибудь другому, чему простодушно уступала, напримъръ, жена Козлова, только лицемърно или глупо прикрыли это принцииомъ".

Но знаеть-ли Гончаровъ этихъ женщинъ, видѣлъли ихъ? Что если онъ клеймитъ публично названіемъ жалкихъ, пошлыхъ, более падшихъ созданій, чёмъ всё другія, — небольшую толпу бёдныхъ дёвушекъ, которымъ нечемъ жить, нечемъ питаться, которыя въ наукъ видятъ единственное средство существовать какъ нибудь? Не поступаеть ли онъ во сто разъ хуже тёхъ іудеевъ, о которыхъ мы выше упоминали? Во что обращаеть онъ принципы, которые берется защищать? Ужь это одно заставляетъ насъ думать, что подъ старою правдою Гончаровъ разумбеть такіе принципы, которые не имбють въ сущности ничего общаго съ книгою, на которую онъ лицемерно указываеть, и напрасно онъ прикрываеть свои истинные принципы-принципами евангельскими,онъ этимъ только оскорбляетъ последніе.

А что нужно понимать подъ старою правдою Гончарова и каковы истинные принципы его, это открывается намъ само собою изъ всего содержанія романа. По митенію Гончарова, старая живнь ттемъ и отличается, что она основана на старой правде, что въ ней витетъ съ старымъ зломъ таится и старое добро, и что изъ-за живого, прочнаго, вёрнаго, за-ключающагося въ старой жизни, можно простить ей смёшныя, вредныя уродливости, весь отжившій соръ.

Но мы видели изъ картины, представленной саминъ Гончаровымъ, какова эта старан жизнь. Мы видели, что передъ нами были не одит только смъщныя уродливости: въ самой сущности, въ самыхъ основаніяхъ своихъ эта жизнь не имъетъ ничего общаго ни съ какими-либо новыми ученіями, ни съ тъми христіанскими принципами, за которые Гончаровъ ратуеть. Это жизнь, основанная на такихъ же принцинахъ узкаго эгоизма, уничтоженія личности и порабощенія, на какихъ была основана ветхая жизнь древняго міра. Христіанство возстало противъ этихъ принциновъ съ тою же силою, съ какою въ настоящее время вооружается и цивилизація, и совершенно напрасно Гончаровъ колетъ глаза современной цивидизаніей за то, что въ основу свою она положила многія истины, которыя были открыты 2,000 леть тому назадъ; послъ этого Гончарову еще съ большимъ презръніемъ придется отнестись къ натематикъ, которая пользуется аксіонами, изв'єстными челов'єчеству не 2,000 дётъ, а болёе. Стыдно въ этомъ случай телько темъ людямъ, которые, живя въ 1869 году, не доросли еще до истинъ не только современныхъ, но и существовавшихъ уже во времена Августа, и все еще испов'ядують принципы, сгноившіе древній піръ. А ны имбемъ право думать, что Гончаровъ подъ видомъ старой правды защищаеть именно эти ветхіе принципы. Иначе не могъ же бы онъ такъ превозносить жизнь, которую онъ самъ же изображаетъ лишенною всякой прочности, иначе не сталъ бы Гончаровъ съ желчною нетерпимостью и озлоблениемъ, совершенно въ духѣ древняго іудейства, отвергать все человическое въ людяхъ, ратующихъ противъ всякихъ узкихъ, этоистическихъ принциповъ. Откуда же, наконецъ, выходятъ всё эти пресловутыя ходячія интнія о молодомъ покольнім, которыя поддерживаетъ и развиваетъ Гончаровъ въ своемъ романъ, какъ не изъ той же почвы узкихъ, эгоистическихъ принциповъ? Вы подумайте только, какое бы инвніе могли составить люди вродъ Татьяны Марковны, Райскаго, Тычкова и пр. о действительно новомъ человеке явившемся въ ихъ среду, новомъ въ томъ смыслъ, что онъ всю свою жизнь осуществляль бы свои новые принципы. - Это быль бы, конечно, честный труженикъ, упорнымъ, усидчивымъ трудомъ заработывающій себ'в пропитаніе, челов'якъ, который жаждаль бы распространять вокругъ себя истину и посильное добро, жилъ бы просто, не любя излишней роскоши, его занимали бы исключительно общіє интересы, касающіеся улучшенія массы его соотечественниковъ, и онъ былъ бы совершенно чуждъ узкихъ, эгоистическихъ принциповъ. Надъ такимъ человекомъ, конечно, сивялись бы въ бережковской средв, какъ надъ нечтателенъ, не умѣющимъ жить и устраивать свои дълишки, но его терпъли бы до поры до времени, можеть быть, старались бы даже покровительствовать ему, какъ несчастненькому. Но стоило бы только оказать ему малъйшее вліяніе на кого-либо изъ бережковской среды, -- и будь онъ чище алиаза, нравственнъе самой правственности, --- на него не замедлили-бы посмотръть, какъ на исчадіе ада, какъ на чудовище безнравственности. Вы подумайте только, что произошло бы въ дом'в Бережковыхъ, еслибы только челов'вку этому удалось убъдить Въру, что жизнь ея безцельна, пошла, лишена всякой правды, что всякое нравственное: ученіе, какое хотите, старое или човое, требуетъ, чтобы человъкъ въ потъ лица своего заработываль себё хлёбь, чтобы онъ угождаль не одному своему чреву, а жилъ на пользу ближнихъ, и Въра

ношла бы за этимъ человекомъ - на самую чистую, саную высокую жизнь честнаго труда... Разв'в родные Въры поняли бы всю высокость подвига ея и все благотворное вліяніе на нее новаго человъка? Для чего этотъ человъкъ увлекъ за собою дъвушку? — подумали бы они: - о, конечно, для того, чтобы растлить ее и бросить въ омуть разврата... Эти люди, сами растленные до мозга костей, никакъ не могли бы понять, чтобы у мужчины, если онъ не представляется имъ въ видъ выгодной партіи, могутъ быть какіе нибудь иные, высшіе принципы по отношенію въ женщинь, кром'в однихъ клубничныхъ. Какую бы потомъ высокую, чистую жизнь ни вела Въра въ новой сферъ своего существованія, во всякомъ случав, на нее смотрвли бы эти люди, какъ на женщину погибшую, падшую, и въ жизни ея грезился бы ихъ развращеннымъ воображеніямъ одинъ голый развратъ. Они оплакивали бы паденіе Віры уже потому, что она-вийсто того, чтобы быть празднымъ украшениемъ салона Тушина, идоломъ, поставленнымъ на треножникъ и окруженнымъ благоговениемъ со стороны пламеннаго обожателя, была бы принуждена своими трудами заработывать черствый кусокъ хлёба и божественная красота, сіяющая статуя-учила бы ребятишекъ, шила бы манишки, или, что хуже всего, бабничала бы. Въра Бережкова бабничала бы... Какой позоръ всему роду Бережковыхъ!... Сколько бы изъ-за этого одного туровъ вокругъ усадьбы могла сдёлать бабушка, ломая руки и видя во всемъ этомъ наказание за свой собственный гръхъ!... И всему виною былъ бы безчеловъчный, черствый злодъй, развратитель. Да что, конечно, можно было бы ожидать отъ наглаго циника, бездомнаго нищаго... Разв'в такіе люди могутъ цінить красоту, окружать ее поклоненіемъ, беречь и холить? Развъ они понимаютъ какіе нибудь высокіе принцины, изящныя чувства? Разв'в они им'єють понятіе о настоящей любви? Еслибы человъкъ этотъ дъйствительно любилъ Въру, онъ не увлекъ бы ее въ жизнь нищеты и низкаго труда, не заставиль бы ее чахнуть надъ работою, онъ позаботился бы составить поскорже карьеру, зянять выгодное ивсто-и тогда только явился бы и положиль у ногь ея прочное счастіе. А онъ поступиль совершенно, какъ черствый эгоисть, развратникъ, который смутплъ девушку, заботясь только о себь, о томъ, какъ бы удовлетворить поскоръе своей низкой страсти, не налагая на себя высокой нравственной обязанности — даровать счастіе любимой женщинъ. Впрочемъ, что-жь, таковы и всв они новые люди, таково и ученіе ихъ, --- чистый матеріализмъ, отрицание всего высокаго, изящняго, всякихъ нравственныхъ принциповъ. Поди-ка, у него 20 такихъ Въръ, совращенныхъ съ истиннаго пути, и можетъ быть Върочка, увлеченная пагубнымъ ученіемъ, Богъ въсть какъ низко пала... и т. д.

Вотъ откуда и какъ слагаются всевозможныя басни о матеріализив, цинизив, развратв и безправственности новыхъ ученій и новыхъ людей. А Гончаровъ подкватываетъ эти басни и выдаетъ ихъ намъ за продуктъ своего творчества... Поборникомъ какихъ же принциповъ является здъсь передъ нами Гончаровъ—неужели христіанскихъ?

Но этого мало, что романъ Гончарова поддержи-

ваетъ старые, вымирающіе принцины нашей жизни. Онъ заключаетъ въ себъ инойвредъ, несравненно большій и которому не можетъ быть оправданія съ какой хотите точки зрънія. Дъло въ томъ, что искажая новыя ученія, представляя ихъ въ самомъ безнравственномъ видъ, но все-таки въ видъ ученій новыхъ Гончаровъ этимъ самымъ съ гораздо большею силою пропагандируетъ безиравственныя идеи, которыя старается опрогергатъ, чъмъ это дълатъ бы какой-либо человъкъ, выдумавшій подобное ученіе и вздумавщій его защищать.

Гончаровъ самъ выражаетъ въ думахъ Райскаго, собиравшагося писать романъ, опасенія по это-

му поводу:

"Ну, какъ я напипу драму Въры, да не съумъю обставить пропастями ея паденіе (думалъ онъ), а русскія дъвы примуть опибку за образецъ, да какъ козы—одназа другом—пойдуть скакать съ обрывовъ!... А обрывовъ много въ русской землъ! Что скажуть папеньки и маменьки"!

Но Гончаровъ, повидимому, слишкомъ легкомысленно относится къ этому факту. Пусть онъ не забудетъ, что въ разныхъ заплесневълыхъ, отдаленныхъ уголкахъ нашего отечества не мало есть отроковъ и девь съ кипучини, свежими силами, жаждущими новой жизни, молодой, широкой; стороною долетала до нихъ въсть, что существують где-то какія-то новыя идеи, какіе-то новые люди. Они любопытствуютъ, конечно, знать, что сей сонъ значить. Но когда, когда еще дойдеть до нихъ коть одна книжка, въ которой новыя, живыя идеи представлялись бы въ истинномъ, неискаженномъ свътъ, а романъ Гончарова до нихъ дойдеть скорбе и они накинутся на него, потому что онъ новый романъ извъстнаго русскаго писателя и въ этомъ новомъ романъ описываются новые люди съ ихъ новыми ученіями. Начнутъ отроки и дѣвы читать новый романъ и поучаться. Бабушкиными принципами ихъ, конечно, не заманишь, не увлечешь, имъ и безъ того отъ нихъ живется содоно и тошно, но новые люди, съ новыми ученіями ихъ займутъ. Уважая по старымъ преданіямъ художественный авторитетъ Гончарова, они, конечно, подумаютъ, что новые люди и новыя ученія изображень въ романѣ совершенно върно, какъ они существуютъ въ дъйствительности. И, можетъ быть, не одинъ юноша, неимъющій ни малѣйшаго понятія о настоящихъ новыхъ идеяхъ, приметъ за. нихъ фразы Марка Волохова, которыя найдетъ въ романѣ, увлечется ими и захочетъ попробовать сдѣлаться Волоховымъ въ дъйствительности. Оно во всѣхъ отношеніяхъ покажется ему занятнымъ среди глухой скуки захолустья: все-таки произойдетъ маленькій шумъ, онъ сдѣлается героемъ околотка, начнетъ ходить растрепанный и грязный, красть яблоки, въ кого-нибудь выстрѣлитъ въ воздухъ.

256

Но занятные всего покажется юношы — бесыка, дуна и ночь, проведенная въ объятіяхъ Выры. А за Вырою, конечно, дыла не станеть; найдутся и барышни, которымъ тоже покажется интересные быть Выра-

ми, чёмъ Мареиньками.

Вотъ такимъ-то путемъ распложаются по разнымъ закоудкамъ нашего отечества безобразія всякаго рода, настоящими пропагандистами которыхъ являются обыкновенно то какой-нибудь обросшій мохомъ романисть, повсюду видящій одну клубничку, то какойнибудь фельетонисть либеральной или нелиберальной газеты; производится подобная пропаганда и нелитературнымъ путемъ, въ видъ нельпыхъ сплетень и басень, ходящихъ но всёмъ перекресткамъ, запапаетъ она въ уши нетронутыхъ птенцовъ иногда изъ самыхъ грязныхъ, зловонныхъ устъ, а потомъ вся бъда сваливается на растиввающее вліяніе новыхъ ученій. Можеть быть, въ настоящую винуту гдів-нибудь и совершается драма въ духѣ "Обрыва", навѣянная чтеніемъ романа Гончарова — и немало на подобную нелепую драму будеть растрачено попусту молодыхъ, свъжихъ силъ, немало поведетъ она за собою разрушенныхъ иллюзій, горя и слезъ — ны моженъ впередъ поздравить съ этимъ Гончарова.

ЧВГО НУЖНО ДОБИВАТЬСЯ РВАЛЬНОМУ ПОЭТУ.

«Гдъ дучше?», романъ Ө. Ръшетникова. Спб. 1869 г.—«Сочиненія Ө. Ръщетникова», 2 т. Повъсти, очерки, разскавы, сцены. Спб. 1870 г.

Ī.

Что составляеть основной принципъ, внутреннее содержание жизни народныхъ массъ? Какъ объяснить мертвое безмолвіе этой жизни? Неужели оно служитъ привнакомъ того, что жизнь милліоновъ труженвиовъ не представляеть ничего иного, кромѣ безсовнательнаго прозябанія безропотныхъ, безсловесныхъ вьючныхъ животныхъ? Или, быть можетъ, въ этой жизни есть своя опредъленняя, постоянная тяга, свой крикъ, раздающійся, по недолетающій до нашихъ ушей, свои интересы, хотя-бы и подавленные, лишенные полнаго

удовлетворенія? Вопросы эти издавна занимали насъ, но если коть сколько-нибудь подвинулось ихъ развитіе, то для столь різдко встрівчаємыхъ единицъ, что можно считать ихъ до сихъ поръ нерізшенными для огромной массы образованнаго общества.

Выло время, когда рёшались они очень просто. Одна часть нашей интеллигенціи думала, что народъ есть нёчто вродѣ кивота для храннлища различныхъ возвышенныхъ чувствъ. Предполагалось, что каждый отдѣльный мужикъ есть существо совершенно безомысленное, звѣроподюбное и дѣлать съ. нимъ можно, что вздумается, но, тѣмъ не менѣе,—въ цѣлой массѣ эти

авъроподобныя существа питаютъ различныя возвышенныя чувства. — Чувства эти до поры до времени хранятся въ глубинъ сердецъ; въдь не расточать-же ихъ ежедневно и ежечасно; этимъ и объяснялось пъмое молчаніе народа. Въ народъ все шито, крыто, говориля слезливые патріоты 30-хъ годовъ: но наступаютъ великія минуты, и тогда подымаются въ немъ во всей своей мощи возвышенныя чувства его при зичныхъ крикахъ и колокольномъ звонъ, какъ въ оперъ Глинки.

Другая-же часть нашей интеллигенціи не только не признавала въ массахъ народа никакихъ возвышенныхъ чувствъ, но соиневалась даже, чтобы и вообще могло что-либо чувствовать все это мужичье, и не одно только мужичье, а большинство человъческаго рода. Чувствовать, страдать, питать разные высокіе помыслы, все это казалось удёломъ только весьма немногихъ избранныхъ натуръ, возвышающихся надъ міромъ. Одни эти избранныя натуры создавали прогресъ, и для нихъ онъ только и существовалъ. Всеже прочее человъчество, труженики всевозножныхъ профессій и ремеслъ, представлялись безразлично подлою чернью, жалкою посредственностью, иелкими насъкоными, удълъ которыхъ въчно копаться въ грази ради снисканія какихь-нибудь зернышекъ. Всей этой прази, конечно, не суждено никогда понять, какія чувства волнують каждую избранную натуру; напротивъ того, изъ мелкихъ разсчетовъ, зависти и стыда передъ своимъ ничтожествомъ мразь готова ежечасно подвергать избранную натуру всевозможнымъ непріятностямъ. Зато и избранной натуръ дозволялось, если она чувствовала свою силу, делать, что угодно, съ мелкими насъкомыми, въ порывахъ своихъ превыспреннихъ полетовъ и въ разгулъ титаническихъ страстей, не считать стоющею гроша жизнь этихъ клоповъ и давить при случай ихъ хоть тысячами.

Но вогъ наступили 40-е года; мы начали учиться нъмецкой философіи и разнымъ другимъ наукаять, начали рефлектировать, анализировать, добиваться начала всъхъ началъ, вопрошать о судьбъ, значени, цёли существованія, какъ нашего личнаго, такъ и нашего отечества.

Тогда одна половина нашей интеллигенціи видоизивнилась, если не вся, то въ ивкоторой своей части: сбразовалось славянофильство, которое, на основани теоріи Гегеля, начало напирать на то, что народъ есть кивотъ не просто однихъ только возвышенныхъ чувствъ, но особенной исторической идеи, которую онъ представляетъ собою и развиваетъ. Казалось-бы, что такой взглядъ долженъ заключать въ себъ нъчто непохвальное: если мы допустимъ, что народъ движется не возвышенными только чувствами, а какой-то историческою идеею, которую онъ отстанваеть, то слъдуеть намъ, вивств съ темъ, признать, что въ иныхъ случаяхъ, когда что-либо противорачитъ этой идеъ, народъ пожеть быть весьма строптивымъ, а таксе признаніе можеть завести нась Богь-въсть въ какія дебри. Но славянофиды ловко съумъли обойти эти дебри: они предположили, что историческая идея, которую развиваетъ народъ, и заключается, именно, въ его возвышенныхъ чувствахъ. - Вы посмотрите, напримъръ, на петровскую эпоху, указывали они: народная масса

воспротивилась реформамъ Петра и осталась при своихъ старыхъ нравахъ и обычаяхъ, но какъ воспротивилась: тихо, кротко, съ теритинемъ, оставаясь върною завътамъ своихъ возвышенныхъ чувствъ; въ этомъ-то почтигельномъ сопротивлени, кроткомъ, долготеритивомъ смирени и заключается тайла нашей цивилизаціи, отличающая насъ отъ гнилого, распущеннаго, буйнаго Запада. — Такимъ образомъ и капиталъ былъ пріобрътенъ, и невинность соблюдена, и осталось все попрежнену — тотъ-же колокольный звонъ, только съ призваниваніемъ гегелевской діалектвик.

Но и въ другой части нашей интеллигенціи особенно новаго Гегель произвель не иного. Единственно, что внесли новаго сороковые годы по отношению къ народу-это развитие чувства гуманности. - Туманность проповъдывалась въ то время на каждомъ перекресткъ, на каждой страницъ петербургскихъ журналовъ. Но какъ понимало общество эту гуманность? Синонимомъ гуманности сороковыхъ годовъ следуетъ поставить не братство, а снисходительность. У избранной натуры начали отрицать право попирать и давить мелюзгу ради широты полета титанической фантазіи; додунались, наконецъ, что хотя мелюзга и не имъетъ возвышенныхъ стремленій, но, во всякомъ случать, и ей доступны чувства боли, когда ее бьютъ. Додумались и до многихъ другихъ необыкновенныхъ открытій, напрамъръ, до того, что мелюзга способна любить, да мало того, что просто любить, а представьте себѣ, нѣжно таять, томиться и даже умирать въ порывахъ нажной страсти. Тогда мелюзга вошла въ моду. Время отъ времени въ беллетристикъ начали появляться изображенія жизни мелюзги, приченъ особенное вниманіе обращалось на вышеупомянутыя открытія, и писатели распинались, чтобы показать публикь, какъ нелюзга страдаеть отъ разныхъ несправедливостей, въ то-же вреия питая разныя нъжныя чувствія. Но при этомъ все-таки смотръли на мелюзгу не иначе, какъ на мелюзгу, съ высоты величія, предполагая, что если предоставить ей кой-какія гарантіи оть побоевъ, кой-какое удовлетворение самыхъ первыхъ потребностей,этимъ мелюзга совершенно удовлетворится и, конечно, неспособна будетъ желать чего-нибудь высшаго. Высшія стремленія предполагались все-таки удёломъ высшихъ натуръ и даже, когда изображали страданія ислюзги отъ разныхъ несправедливостей, то обыкновенно старались находить среди этой самой мелюзги своего рода избранныя натуры и обращали вниманіе, какъ страдають именно онв. Предполагалось, что обыкповенная мелюзга не только что не страдаеть отъ несправеддивостей и сносить ихъ терпъливо, но даже радуется ихъ существованію и упивается ини; не обыкновенная-же выносить зла не въ состоянія, а кончаеть непременно темь, что или спивается, или попадаеть въ острогъ. Такинъ образонъ составилась особенная ісрархія, на низшей ступени которой стояла мелюзга терибливая и вседовольная, въ серединъсильныя натуры, ропшущія, спивающіяся или попадающія въ острогъ, наконецъ, выше всёхъ красивые, изящные титаны во фракахъ, съ задумчивымъ взоромъ и печатью генія на чель, — страдающіе, томящіеся, изнывающіе.

260

Теперь, когда лежатъ предъ нами сочиненія О. Рѣшетникова, безъ смъха невозможно дълается всномнить, какъ встарину изображались у насъ въ повъстяхъ изъ народнаго быта сильныя натуры, топящія въ водкъ свое горе. Такой герой не бралъ обыкновенно сначала въ ротъ ни капельки. Но вотъ онъ разочаровывался въ своихъ сосъдяхъ, родныхъ, въ сапонъ себъ. Подъ гнетомъ отчаннія и мрачной злобы, въ одинъ прекрасный или чаще всего ненастный вечеръ онъ приходилъ, ни слова не говоря, въ кабакъ, и долго сидёль тамь въ печальномъ раздумьй, положивъ голову на руки, къ великому изумленію целовальника и посътителей; потомъ требоваль неожиданно цълый штефъ водки, залиомъ выпивалъ его - и въ одно мгновеніе изъ трезваго человѣка превращался въ горькаго пьяницу. Послѣ того онъ почти уже не выходилъ изъ кабака, и черезъ нъсколько времени авторъ разсказа встръчалъ его въ одномъ изъ заведеній обрюзгшаго, грязнаго, оборваннаго, пьющаго безъ конца и съ истерическими рыданіями, жалобами на весь міръ, онъ разсказываль автору исторію своей неудавшейся, за-Вденной средою жизни. Я полагаю, что инв не нужно указывать на такія пов'єсти, гд'в читатели найдуть подобные эпизоды; ихъ такъ много, что, безъ сомивнія, каждому приходилось читать ивчто подобное.

Точно такъ-же глядъли у насъ и на всевозможные скандалы въ жизни: покуситься на убійство, нанесеніе личнаго оскорбленія строптивому начальнику, сдёлаться разбойникомъ, воромъ, измѣнить мужу или женѣ, убѣжать изъ дона и проч. — все это предполагалось удѣломъ однѣхъ только избранныхъ натуръ, и дунали при этомъ, что остроги наполнены особенными избранниками судьбы, титанами, стоящими выше всѣхъ головою.

Въ настоящее время, казалось-бы, намъ невозножно уже глядёть на міръ съ такихъ роцантическихъ точекъ эрвнія. Мы имвемъ повади себя целую литературу, которая 10-ть лёть уже проповёдуеть намъ міровоззрѣніе совершенно противоположное; мы читаемъ трактаты политико-экономическіе, статистическіе, физіологическіе-и въ нихъ постоянно инвемъ дело не съ однеми титаническими натурами, а съ массами обыкновенныхъ людей и съ природою человъческою, вообще. Всв положительныя науки вивств убъждають насъ, что уиственный и правственный прогрессь зависять не столько отъ возвышенныхъ стремленій и страданій отдівльных в титанических в личностей, сколько отъ матеріальнаго благосостоянія нассъ нелюзги. Простые факты наблюденія въ то-же время убъждають насъ, что въ острегахъ сидять не однъ титаническія натуры, а чаще всего дюди весьма обыденные. И это весьма естественно: если преступленіе и можеть быть объяснено иногда избыткомъ силъ, сдавленныхъ въ узкія рамки жизни, то часто оно происходить наобороть отъ недостатка силь, причемъ человъкъ, покушающійся на преступленіе, и могъ-бы найти иной, дучшій выходь изъ запутанныхъ обстоятельствъ, но у него не хватаетъ ни знанія, чтобы сообразить этотъ выходъ, ни силъ, чтобы осуществить. и онъ въ своемъ преступлени является не активнымъ борцемъ, а, напротивъ того, жалкою игрупкою въ рукахъ судьбы и людей. Статистика не даронъ сообщаетъ намъ, что количество преступлений зависить прямо отъ благосостоянія массы: въ мрачные годы инщеты и голода достаточно, чтобы отчаяніе и озлобленіе перешли за предълы терпънія, и самая дюжинная личность явится предъ вами трагическимъ героемъ.

Но на много ли подвинула насъ науки, которыя мы нынъ изучаемъ? Истые поклонники реализна, дъйствительно-ли мы такіе реалисты, какими воображаемъ себя? Увы, если мы взглянемъ повнимательнъе, да посравнинъ прежнее съ настоящинъ, мы увидинъ, что и до сихъ поръ во многихъ отношеніяхъ мы продовольствуемся твии-же заплесневълыми теорійками, какія унаследовали отъ нашихъ дедовъ и отцовъ, и все остается въ томъ-же видъ, какъ было 30, 40 лътъ тому назадъ. До сихъ поръ огромное число нашихъ соотечественниковъ основываетъ свое міросозерцаніе на тахъ-же возвышенныхъ чувствахъ народа, передъ которыми умилялись квасные патріоты 30-хъ годовъ, и употребляеть эти чувства въ видъ пугала для застращиванія всякаго, дерзающаго мыслить коть сколько-нибудь самостоятельно. До сихъ поръ всецёло сохранилось пресловутое исканіе ночвы и самобытной цивилизаціи и, увы, не на одн'яхъ только сфренькихъ страничкахъ убогенькой "Зари". А развѣ многіе и очень иногіе не думають до сихъ поръ, что только однинъ высшинъ натуранъ съ титаническими пошибами дано въ удблъ жаждать прогреса и питать разныя высшія стремленія, массы-же обыкновеннаго люда ни къ чему болве неспособны, какъ пресмыкаться въ тинъ животнаго прозябанія — и если-бы не титаны, то массамъ этимъ никогда и въ голову не пришло бы хоть сколько-нибудь улучшить свою участь.

II.

Всв эти соображенія не следуеть намъ упускать изъ виду для того, чтобы передъ нами открылась лучшая сторона произведеній О. Решетникова, сторона, составляющая оригинальность его таланта и несомивнную заслугу его въ литературъ. Есть много писателей, стоящихъ неизифримо выше Рашетникова по силь творчества, глубинь анализа, художественному мастерству и проч. Въ произведенияхъ Рашетникова можно найти не мало существенныхъ недостатковъ, на которые мы въ своемъ мёстё укажемъ; но я не знаю, иного ли найдется у насъ писателей, которынъ до такой стецени удалось бы отрѣшиться отъ всякой тени романтизма, какъ Решетникову. Онъ вполне поняль, что жизнь народа есть жизнь не двухъ, трехъ титановъ, стоящихъ выше всёхъ головою, а обыденныхъ смертныхъ, которыхъ миріады кишать повсюду, и реальный поэть, чтобы представить общій уровень жизни своего въка, долженъ обращать главное вниманіе на то, какъ живеть, къ чему стремится, именно, эта пестрая, безразличная толпа, среди которой ничто особенно ръзко и картинно не выдается, но общій итогъ трудовъ, интересовъ, радостей и страданій которой и есть, именно, итогъ жизни въка. Поэтому въ произведенияхъ Решетникова вы не найдете героевъ, обладающихъ умомъ, очаровывающимъ и ослепляющимъ встхъ окружающихъ, съ мрачною думою на чель, съ титаническими сидами, которымъ бы все покорялось, въ томъ числъ и женщины, выведенныя авторомъ на сцену; не найдете вы и героинь, описанісмъ красоты которыхъ можно было бы наполнить цёлыя страницы, окруженныхъ поклонниками, но готовыхъ возложить венецъ только на главу героя не отъ міра сего; не найдете обольстительныхъ свиданій въ ночной тиши, трогательныхъ разлукъ вследствіе взаимнаго разочарованія или же внезапно налет вших ъ-сомнъній въ возможности счастія на земль и т. п. Кто во всемъ этомъ исключительно видитъ поэзію, тому, конечно, произведенія Рішетникова покажутся крайне прозаичными. Помилуйте, въ его произведеніяхъ выводятся все кухарки, да дворники, семинаристы, да почтальоны, извозчики, да бурлаки, мастеровые, да фабричные. Пусть бы онъ и изъ этихъ людей выбралъ есобенныя, избранныя натуры и показаль бы намъ, напримъръ, какого нибудь генія, который могъ бы сділаться вторымъ Лононосовымъ, а судьба судила ему мести дворъ; пусть бы представиль намъ, какъ бъется этотъ Проистей, прикованный къ скаль, и заключилъ бы какимъ-нибудь эффектнымъ концомъ вродъ сумасшествія, пролитія крови, все бы ничего, а то его герон подъ рядъ люди самые обыденные изъ обыденныхъ чернорабочихъ, которыхъ мы сотнями встржчаемъ ежедневно на улицв. Наконецъ, пусть бы онъ изображаль и подобныхъ людей, но выставляль бы ихъ въ разныхъ комическихъ положеніяхъ вследствіе ихъ крайняго невъжества, несообразительности, глупости, пьянства; по крайней мёрё, мы смёялись бы надъ уродами и дураками и хвалили автора за юморъ, а то и этого мы не находимъ у Ръшетникова: серьезнымъ тономъ, какъ нъчто весьма интересное, описываеть онъ, какъ эти люди мёняють мёста, квартиры, голодають, пьють водку, однимь словомь, чёмь ежедневно занимается чернь. А, мы понимаемъ: значитъ, онъ пишетъ въ духф фланандской школы — какъ въ старину писали картины голландскіе художники: нарисуютъ кабачокъ и нѣсколько толстыхъ голландцевъ съ трубочками, старушку, вдевающую нитку въ иголку -- и дело съ концонъ.

Въ томъ-то и дёло, что нётъ: Рёшетниковъ изображаетъ обыденную жизнь обыкновенныхъ людей не такъ, спроста, безъ всякой пёли. Всё произведенія его, начиная съ "Подлиповцевъ" и кончая романомъ "Гдѣ лучше" — проникнуты одною идеею. Рёшетниковъ во всёхъ своихъ произведеніяхъ старается представить основной принципъ, существенное стремленіе жизни народныхъ массъ. Этотъ принципъ, по его мнёнію, заключается не въ чемъ другомъ, какъ во всеобщемъ стремленіи устроять свою жизнь во всёхъ отношеніяхъ счастливо, пріобрёсти для этого богачество и найти такое мёсто на землё, гдѣ было бы жить лучше.

Какъ, и только-то? Неужели Решетниковъ не иметъ ничего въ виду, какъ только убедить насъ въ такой простой истинъ, которая, конечно, извъстна каждому ребенку? Исписыватъ кипь бумати и печататъ томы для того, чтобы доказать, что рыба нщетъ, гдъ глубже, а человъкъ, гдъ лучше, —это болъе чъмъ смъщно, —это нахально, потому что авторъ считаетъ насъ, конечно, дураками, если думаетъ, что мы незнакомы съ такою прописною истиною! Что-жь дъ-

лать: истины великія и всеобъемлющія всегда кажутся намъ просты до наивности и удобопонятны чуть что не для груднаго ребенка, а между темъ-постоянная судьба ихъ быть непонятыми и пренебреженными умными людьми. Если бы ны только действительно понимали и держали въ умѣ ту простую истину, что главный, основной законъ всякой человъческой жизни есть стремленіе къ лучшему, то развѣ понимо этого естественнаго стремленія мы могли бы допускать въ народъ существование особенныхъ возвышенныхъ чувствъ, ради которыхъ онъ готовъ будто бы выдерживать всевозможныя тягости безъ надежды на улучшеніе своей участи, жертвовать благосостояніемъ и жизнью? А съ другой стороны, развѣ ны могли бы приходить въ уныніе и отчаннье, представляя себъ, будто огромная масса людей лишена всякаго стремленія къ прогресу, всякаго движенія въ своей жизни и обречена на мертвый застой? Всё такія мысли прямо обнаруживають, что истина, которую мы готовы третировать, какъ азбучную, не только-что не усвоена нами, но совершенно чужда намъ, и Решетникова рано еще обвинять въ томъ, будто свои произведенія онъ основаль на всемь известныхь и пошлыхь трюизмахь.

Правда, героп Решетникова не имеють и тени тёхъ высшихъ умственныхъ и нравственныхъ потребностей, которыя мы усвоиваемъ въ нашемъ завидномъ развити; они ни о чемъ не дупаютъ, какъ только о томъ, какъ бы пріобрести кусокъ хлеба хоть скольконабудь не черствый и не голодный, -- однимъ словомъ, руководствуются въ своей жизни исключительно все такими побужденіями, какія мы съ нашего высока привыкли третировать, какъ низкія, мещанскія; но было бы совершенно ложно видеть въ этихъ мещанскихъ побужденіяхъ признакъ застой. Напротивъ того, мы видимъ въ нихъ непрестанное движение, полное такой железной мощи и непреклонной энергіи, какимъ только можно объяснить себъ, почему это движеніе не сломилось и не остановилось досель, несмотря на то, что всв стремленія милліоновъ людей къ улучшенію своей участи ничего до сихъ поръ не встрачали, кроив неодолимыхъ преградъ, - и удивительный реалисть Решетниковъ въ томъ отношении, что представляя намъ подвиги действующихъ лицъ своихъ разаказовъ по-истинъ героическіе, онъ нисколько не ставитъ своихъ героевъ на пьедесталъ, не заставляетъ насъ смотреть на нихъ какъ на нообыкновенныя явленія жизни-напротивъ того: передъ нами являются, какъ мы сказали выше, люди самые обыденные, и въ нихъ Решетниковъ, нисколько объ этомъ не помышляя, изображаетъ намъ поистинъ титановъ, но титановъ совершенно особеннаго рода, не такихъ, которыхъ мы привыкли видёть въ романтическихъ мечтаніяхъ нашихъ беллетристовъ. Вы посмотрите, напримъръ, на Палагею Прохоровну Горюнову, героиню романа "Гдв лучше". Что особеннаго, повидимому, находите вы въ ней? Ровно ничего, резко выдающагося: заурядная работница, какихъ тысячи. Ни о чемъ другомъ не думаеть она, какъ лишь бы найти трудъ, который сделаль бы жизнь ея хоть сколько-нибудь пріятною. Изъ-за этого она ибняеть ибста, занятія, идеть изъ города въ городъ, доходить до Петербурга. Опять-таки милліоны людей живуть такимъ образомъ,

ищуть, домогаются, странствують, и вокзалы жельзныхъ дорогъ тысячами извергаютъ подобныхъ людей въ шунныя улицы столицъ. Что-жь тутъ необыкновеннаго? Необыкновеннаго ничего нътъ, --- но вдумай-тесь, сколько поистин'в героическаго скрывается въ этомъ обыкновенномъ. Развѣ ты, нѣжная барышня, воспитанная на булочкахъ да на сливочкахъ и потомъ развившая въ себъ жажду высшаго прогреса, способна изъ-за своихъ возвышенныхъ стреиленій пройти тысячи верстъ, какъ прошла Горюнова, неуклонно движимая такими побужденіями, на которыя мы привыкли спотрёть, какъ на унижающія природу человъка? Что же будеть изъ подобныхъ людей, когда они додумаются до какихъ-нибудь положительныхъ общественныхъ стремленій? Очень можетъ быть, что нисколько не заботясь о разныхъ возвышенныхъ идеяхь, изъ-за естественнаго желанія улучшить свое матеріальное благосостояніе, -- они покажуть намъ образчики такого общественнаго геройства, о которомъ и не снилось всемъ нашимъ эффектнымъ титанамъ въ духф романовъ Бажина и комп.

Посмотрите вы съ другой стороны, какую страшную трагедію раскрываетъ передъ вами Решетниковъ въ участи своихъ героевъ. Какъ ни ужасно зрълище мучительной смерти борца за свои иден, за правду, за стремленіе къ той или другой возвышенной ціли, но когда вы смотрите на такое зрълище, у васъ невольно является мысль, что всё мученія выкупаются въ сердце героя сторицею сладкимъ сознаніемъ, что онъ могь пойти или не пойти на мучительную смерть, и если пошель, то сань избраль этоть исходь, какъ наибелье сообразный съ своими убъжденіями, что онъ умираеть за благо ближнихъ, не измѣнивъ правдѣ, что его позорная смерть отзовется въ тысячи сердцахъ и придетъ время, когда люди, позорящіе и мучащіе его, будутъ славить и превозносить его. Но чёмъ выкупается та гибель, которая ежелневно постигаеть тысячи безвъстныхъ людей ни за что ни про что, и они сходять со сцены жизни, невъдомые, неоплаканные? Здъсь являются на сцену самыя элементарныя потребности, безъ которыхъ невозножно существование, такъ что н представиться не ножеть мысли о томъ, что человъкъ могъ избрать своимъ удедомъ гибель или не избрать. Здесь гибель неминуемая, безъисходная, угрожающая на каждонъ шагу и притомъ безъ цели, безъ смысла, ниченъ невыкупаеная, неоправдываеная. Влачить ежедневно самое ужасное существование въ какомъ нибудь подваль, не допивать, не довдать, не знать, что будетъ завтра, попадешь-ли въ часть, попрешь-ли съ голоду или въ больницъ, неужели можетъ быть что нибудь трагичные этого положенія? Здысь трагедія является не исходомъ роковой борьбы, не катастрофою, а ежедневнымъ явленіемъ жизни человіка. Вы посмотрите, напримеръ, на мытарства Горюновой въ Петербургъ. Обратите внимание на всъ ся скитания по съвзжинъ дворанъ и улицанъ столицы, на все тв страшные побои, униженія и страданія, которые перенесла эта полодая жизнь, стремящаяся развернуться? Для чего это все? Для того, чтобы едва, только хоть сколько нибудь улыбнулись обстоятельства, — умереть безсмысленною смертію въбольниць! Почти ту же самую картину, представляетъ жизнь Петра Ивановича Кузьмина въ повъсти "Между людьми", хоти здъсь герой взять изъ совершенно другой сферы, — именно, чиновнаго пролетаріата: то же стремленіе пробиться изъподъ гнета обстоятельствъ и устроить жизнь, хоть сколько нибудь улыбающуюся, и тотъ же печальный исходъ, еще болъе мрачный и ужасный, чъмъ гибель Гориновой!.

Нътъ ничего мудренаго, что при такой жизни, какую принуждены вести герои Ръшетникова, водка является единственнымъ утъщеніемъ, заставляющимъ забывать и холодъ продрогнувшихъ, истощенныхъ членовъ, и ъдкое горе въчныхъ неудачъ, лишеній и униженій всякаго рода. Герои Решетникова сплошь и рядомъ спиваются и гибнутъ отъ пьянства; но удивительный въ этомъ отнощени знатокъ жизни и человъческой природы Решетниковъ. Ни въ одномъ разсказъ его вы не найдете ни мальйшей тьни мелодраматизма въ этомъ отношеніи. Онъ очень хорошо понимаетъ, что если и бываютъ случан, что человъкъ, не берущій въ ротъ ни капли, вдругь запиваеть въ порывѣ отчаянія, то такіе случан чрезвычайно рѣдки, исключительны; при всей ихъ эффектности, они далеко не представляють собою той мрачной и ужасающей картины пьянства, которую ны на каждомъ шагу встречаемъвъ жизни народа. Какъ истинно реальный поэтъ, заботящійся, чтобы произведенія его были не одною кунсткамерою, т.-е. собраніемъ необычайныхъ рѣдкостей, а изображали бы явленія жизни общія и встрічающіяся заурядь, Решетниковь обращаеть главнее внимание на то, какъ обыкновенно спиваются людии здёсь передъ нами развертывается картина неизивримо драматичнъе, чъмъ всевозможные эффектные случаи внезапнаго запоя. Ужаснее всего здесь то, что спивающійся человікь инбеть діло съ такимь врагомъ, котораго самъ не замъчаетъ. Пьянство является коварною змею, которая тихо и незамётно вкрадывается въ природу человека. Сначала человекъ пьетъ, какъ и всѣ другіе, ни меньще, ни больше, спотритъ на это, какъ на развлечение, полезную необходимость, нисколько не считая себя пьяницею. Но вотъ обстоятельства его делаются хуже; на сердив скребуть кошки; куда ни взглянетъ беднякъ-кисло, мрачно, непріязненно смотрить на него будничная обстановка жизни, а въ кабакъ веселье, пъсни и послъ штофадругого море по колено-разомъ можно почувствовать себя богатыремъ, способнымъ сжать весь міръ въ кулакъ; поэтому чаще и чаще начинаетъ беднякъ направляться къ кабаку. Но все-таки онъ не считаетъ себя пьяницею-онъ развлекается, веселится; въ то же время мечтаетъ, можетъ быть, по томъ, какъ поправятся его обстоятельства, какую трезвую, трудовую жизнь поведеть онъ тогда. Но съ которыхъ же поръ считать ему себя пьяницею, гдъ положить границу и сказать: вотъ ивсяць тому назадъ, я хоть и нацивался, но пьяницей еще не быль, а теперь я уже пьяница? Какой физіологь опредёлить, съ которыхъ поръ въ какой натура водка перестаетъ уже быть однимъ только минутнымъ психическимъ стремленіемъ забыться, а дълается уже бользненною потребностью природы? Поэтому человекъ очень часто, сделавшись уже горькимъ пьяницею, нисколько объ этомъ не думаетъ, и только тогда приходитъ къ печальному сознанію, когда н'ять уже бол'я никакого выхода, и пьянство давно обратилось въ потребность организма. Такъ, наприм'яръ, спился вышеупомянутый Кузьминъ во время своих митарствъ въ столицъ. Не только самъ онъ, но и вы, перелистывая страницу за страницей, не можете отдать себъ отчета, съ которыхъ поръ счатать Кузьинна пьяницей; вы вядите только, что съ каждою неудачей, по м'яръ того, какъ положене его д'ялается хуже и хуже, онъ все чаще и чаще начинаетъ выпивать и подъ конецъ повъсти является передъ вами полъйшимъ уже завсегдатаемъ кабаковъ, потъщающимъ пьяный народъ игрою на гитаръ. Но и въ такомъ даже состояніи онъ не сознаетъ, что онъ пьяница съ горя, и не строитъ какихъ-либо мелодраматическихъ поэть по этому случаю.

— Опять я живу, — говорить онъ съ Гаврилой Матвъичемъ, — и продаю я вещи днемъ, по вечерамъ шляюсь по кабакамъ и смотрю народъ. А для чего... дуракъ.

Странно, что я нын'є съ двухъ стакановъ хивлею. Акъ, еслибы на родину увхать. А кашель ду-

Видите, какъ онъ безсознательно относится къ своему пьянству: въ кабаки онъ ходить для того, чтобы смотрёть народь, и сётуетъ только на безцёльность этого; въ то же время удивляется съ чисто-гигіенической точки зрівня, что онъ началь хміліть съ двухъ стакановъ.

Почтальонъ изъ семинаристовъ, Макся, спивается еще проще, чѣмъ Кузьминъ. Здѣсь пьянство развивается не вслѣдствіе острыхъ ударовъ судьбы и прямыхъ сознательныхъ огорченій, а такой обстановки жизни, при которой человѣку ничего болѣе не остается, какъ пить и пить. Макся служилъ сначала разносчикомъ писемъ по городу, потомъ состоялъ при конторѣ, парень былъ расторопный, усердный, почтмейстеръ хотѣлъ-было сдѣлать его начальникомъстанцій, но по пронскамъ старшаго почтальона его разжаловали въ разъѣзъ съ почтами. Макся не только не огорчился отъ такого разжалованья, но былъ ему очень радъ.

Макей давно котилось вздить съ ночтой, но его не пускали сначала потому, что онъ служиль недавно, а потомъ занимался постоянно въ конторъ и носиль по городу письма. Почтальоны говорили Макей, что съ почтой іздить корошю разь пять, десять, и то въ хорошее время; но проёздивши разъ двадцать, не радъ будешь Макса, какъ не іздившій никогда съ почтами, а іздившій нікогда съ почтами, а іздившій нісколько сотъ версть съ настоятелемъ, не візриль, что почтальоны говорять діло:

- Воть ужь мий такь не надойсть Ездить съ почтами, говориль онь.

— Не хвались, прежде Богу помолись.

— Ну, не отговаривайте.
— Попробуй разъ десять събздить не то скажень.

макся очень обрадовался, когда ему объявили, что онъ ідеть съ первоотходящей почтой»...

Но не долго продолжалась эта радость.

«Твяда ему опротивъна съ седьмаго раза: опротивъли ему ухабы, чемоданы, моровы, вътры, ямщики, и многое, многое опротивъло Максъ до того, что онь сталь проклинать и дероги, и почты. Чъмъ больше онъ вздилъ, тъмъ больше ему стала надобдать почта.

«Макси самъ не могъ понять, отчего ему спется дорогой? Лишь только завалится онъ на чемоданы, проъдеть версть пять, и спить. И славно ему спиться: снитае ему только конторы, да служащіе почты, да гиканье ямщиковъ, и что онъ далеко куда-то бреть... И бурлить Макся со сна, ворчить что-то несьявно, только голову страживаеть направо и налъво, то объ накладку ударится, то она съ сумы скатится на суму, которая на груди у Макси. Макся не чувствуеть боли; только слюни текуть по губамъ. А ямщикамъ завидно:

— Благая же это жизнь почтальонамъ: только ткнется въ сани или телъгу и дрихнетъ всю дорогу. «Хорошо казалось Максъ спать съ почтой, и ру-

«Хороню казалось Макей спать съ почтой, и ругался же онъ, когда его будили на станціяхъ. Но и на станціяхъ онъ спалъ. Сдасть дорожную писарю или ямщику, завалится на лавку и спить».

Янщики очень часто жаловались Макст на свое

житье-бытье.

«Жалко стало Макей имщиковъ, и онъ полюбиль ихъ до того, что угощаль ихъ водкой, а тв угощаль ихъ водкой, а тв угощаль ие ого. Сталь Макек кръпко поливать подку. Онъ уже зналь вей села, деревни по той дорогі, по которой іздиль, на разстояніи шестисоть версть и вей кабажи. Пробреть отъ губернекаго пять или десять версть и встанеть у деревни.

— Петруха, сходи-ка въ кабакъ.

- Лапно.

Сходить ямщикъ въ кабакъ; принесетъ ему косушку. Половину онъ выпьетъ, половину ямщикъ, а послѣ этого спитъ. Доъдутъ до другой деревни, другой ямщикъ остановитъ лошадей и кричитъ ямщикъ Петрухъ:

— Буди Максю-то.

— Ну? — Вишь кабакъ.

— Ишь, дьяволь! захотёль? и опять будять Максю. Такъ Макся и сбился съ толку до того, что въ пятый мбеяць постоянно прівзжаль съ почтой пьяный даже въ губернскую контору. А одинъ разъ и саблю потеряль дорогой. Такъ и сталь вздить безь са ли.

Почтмейстерь узналь, что Макся пьянствуеть, и рышиль гонять Максю постоянно съ почтой. Макся сдылался отчанннымь пьяницей, никуда негоднымь

почтальономъ».

Но всего трагичите въ жизни героевъ Решетникова то, что при всёхъ обдствіяхъ, которыя имъ приходится вытерпливать, вы не видите въ нихъ и следа какой-либо общественности. Каждый заботится объ улучшени своей участи самъ по себё, нетъ ни мальйшаго сознанія въ людяхъ о томъ, что стремитась къ личному благосостоянию гераздо успёшите и легче сообща, и отдёльная личность при такихъ условіяхъ является совершенно язолированною, брошенною на произволь судьбы безъ участія, безъ помощи.

— Што, говорять, Назарко тебя надуль? спросиль одинь рабочій, обращансь кь Горконову, когда

тоть вошель въ кабакъ.

— А ты почему знаешь?
— Это не секреть. Туть, братець, шило въ м'ящь не утамшь. Што-жь ты теперь думаешь делать?

— Подожду еще недълю, тогда... — Тогда онъ и скажеть: покорно благодаримъ: за

даромъ-де служили нашей милости.

— Хоть ты и заводскій человькь, а практики у тебя ни на грошъ нать!

— Чего ты тольуешь? Какую такую ты еще механику выдумаль? прокричаль другой рабочій. Уговорить другихъ: не хотимъ-де за эту цвну

робить.
— Дуракъ! Да онъ тебя прогонить. Разѣ мало нашего брата, что безъ работы шляются? Разѣ нынѣ мало развелось нищихъ?

- А отчего? Оттого, что мы сами плохи.

- Какъ?

— А такъ. Нъту у насъ согласія. Такъ-то мы по отдельности тараторимъ, а сбери насъ всёхъ, и сало во рту застыло.

Народъ загалдѣлъ.

- Коснись дёло до тебя, ты первый лыжи дашь! — Что-жь, мит одному въ петлю лазть? Одинъ въ пола не воинъ. А вотъ мы даже на счетъ платы не можемъ сговориться! Што сказано въ положеньито: рабочіе должны выбирать старость, а гдѣ они старосты?

Поди-ка сунься!

- Нѣть, можно-бы собраться хоть сотнъ-другой и выбрать припаснаго смотрителя...
- Што ты толкуещь, братець, выбрать... Тебя еще върно не дирали хорошенько-то. Помнишь-ли ты прошлогоднее дѣло?
 — А кто имъ велѣлъ барки рубить, муку топить?

Такъ и слъдовало! - Вовсе не такъ. Собраться всемъ селомъ къ

управляющему и требовать платы.

Эти разсужденія продолжались долго и росписывать ихъ нёть никакой надобности, потому что они ръшительно не приводили рабочихъ ни къ какой цъли. Дъло въ томъ, что согласія между рабочими не существовало, потому что они работали на разныхъ варницахъ, принадлежащихъ разнымъ господамъ, и жили дружно только съ тъми, которые работають съ ними вмасть и которые горой стоять за товарища. А такъ-какъ на однихъ промыслахъ было нёсколько лучше другихъ промысловъ, и треследніе, завидум первымъ, были недовольны ими, говоря, что они заботятся больше о себъ, чёмъ о товарищахъ, только работающихъ отъ нихъ отдёльно. Кромъ этого, одни изъ рабочихъ были слишкомъ робки; они привыкли спосить все терпъливо, и если у нихъ спрашивали мивнія, то они, наученные опытомъ, ничего не могли посовътовать, находя всь толки безполезными; другіе старались какъ нибудь подделаться къ какому нибудь мелкому начальнику изъ-за личной выгоды; третьи, поправив-шись немного выгодною женитьбою, только въ своей компаніи были бойки. Молодежь была, конечно, смёлье, ей бояться было нечего; но такъ-какъ она не могла обходиться безъ любви, увлекалась дъвушками и женщинами, то и отъ нея, то-есть отъ всей сельской молодежи, нечего было добиваться единодушія, если одна половина ея ревновала другую въ предметамъ своей любви. При этомъ надо еще взять во внимание то, что рабочие живуть въ сель, въ ньсколькихъ улицахъ или порядкахъ, носящихъ названія, соотвітственныя или містности, или какой нибудь личности, или данныя какому нибудь событію, въ которыхъ православные смѣшиваются съ единовърцами и отчаянными раскольниками, которые только въ частности заботятся о себь, о своихъ родныхъ и партіяхъ. Поэтому, еслибы и пришлось потребовать голоса отъ всёхъ рабочихъ всего села, то разноголосица вышла бы большая, и у начальства недоставало бы терпънія выслушать мнъніе каждой партіи, каждаго промысла еще и потому, что это начальство делилось на несколько лиць, изъ коихъ каждое оберегало свой пость, защищая интересы своего хозяина, враждебно относись въ другому лицу».

Вся эта разъединенность представляеть очень печальное явленіе въ нашей русской жизни; но не буденъ спешить приписывать ее однимъ простымъ и темнымъ людямъ, объясняя ее исключительно невъжествомъ, отсутствіемъ сознательной мысли, которая могла бы сплачивать отдёльные, разрозненные элементы народа въ одно общественное целое. Кроме этого, по всей въроятности, существуютъ и другія причины, которыя одинаково вліяють, какъ на массы народа, такъ и на цивилизованные верхи, которые, при всемъ своемъ уиственномъ развитіи, при всемъ своемъ сознаніи общественныхъ нуждъ и потребностей, представляють такую же картину. Въ этомъ отношеніи им, не смотря на всю нашу образованность, не далеко ушли отъ народа-и до сихъ поръ еще насъ раздробляють до безконечности не столько какіе-либо общественные, философскіе, литературные принципы, сколько чисто личныя, мелочныя дрязги-изъ-за грошевыхъ разсчетовъ, обиженнаго самолюбія и т. п., и долго еще, должно быть, намъ не додупаться ни до какой солидарности.

III.

Вся эта характеристика достаточно показываеть, что Решетниковъ предпринялъ немаловажную задачу для своей литературной деятельности: отрешиться совершенно отъ всякаго романтизма, наблюдать простую, обыденную жизнь такъ, какъ она течетъ вокругъ насъ, не украшая ее, не идеализируя, не выбирая изъ нея однъ ръдкости-но въ то же время и не ограничиваясь одникъ поверхностныхъ изображениемъ повседневныхъ сценъ въ духв натуральной школы, а проникая въ ся существенныя сокровенныя пружины, раскрывая передъ нами всю ся трагическую глубину. — Задачу эту мало назвать важною, это-задача въка, и еслибы Рашетникову удалось ее разрашить, онъ сдалался бы однимъ изъ передовыхъ и замъчательныхъ дъятелей нашей литературы. Но, удалось-ли Решетникову сколько нибудь справиться съ этою задачею и постигъ ли онъ всю великую важность ея, --- это другой вонросъ, и объ этомъ иы теперь поговоримъ.

Трудность этой задачи обнаруживается изъ того. что всё почти литературы европейскаго материка, несмотря на все стремленіе къ реализму, до сихъ поръ не успали еще отдалаться вполна отъ значительной доли романтизма, какъ въ выборъ сюжетовъ, такъ и въ обработкъ ихъ. - Возьинте вы корифеевъ западноевропейскихъ литературъ-Жоржъ-Занда, Виктора Гюго, Шпильгагена, Ауербаха, — всё они до сихъ поръ выважають на титаническихъ личностяхъ, избранныхъ натурахъ, необыкновенныхъ умахъ и красотахъ, эффектныхъ чувствительныхъ и патетическихъ сценахъ, и у всёхъ у нихъ обыденная жизнь обыкновенныхъ людей является на заднемъ планъ въ видъ фона, на которомъ рисуются необыкновенные герои. - Только одинъ Шатріанъ вполнѣ всталъ на реальную почву:--на первомъ планъ стоятъ у него по большей части простые смертные, не смотря на то, что онъ выбираеть для своихъ сюжетовъ самые великіе и роковые моменты исторической жизни своего отечества; его занимаетъ более всего то, какъ въ эти моменты действовали и проявляли себя массы обыденнаго люда, какими бичами отражались на ихъ плечахъ подвиги разныхъ великихъ героевъ, воспѣтыхъ романтическиин поэтами, какъ изъ будничной жизни мелкаго труда они выходили, исполненные энтузіазма, на историческую арепу--и вы видите, читая эти разсказы, что для того, чтобы проникаться гражданскимъ мужествомъ в соверщать подвиги геройства-вовсе не нужно непреявнно имъть особенные титанические задатки — простые лекаря, зубодеры, кузнецы, крестьяне, настеровые являются у Шатріана тероями, готовыми на всякое самоножертвование. Замъчательное въ этомъ отношеніи зрѣлище представляеть англійская литература. Давно ли она стояла въ Европъ во главъ ронантическаго движенія въ литературъ — въ лиць Байрона, который подчинилъ своему вліянію всё европейскія литературы? Въ то время казалось, что безъ титаническихъ личностей не можетъ обойтись ни одно поэтическое произведение, что только грандіозныя явленія природы и жизни человіческой и достойны изображенія. Надо было ожидать что Англія, какъ страна аристократическая, позже всёхъ разстанется съ романтизмомъ, такъ-какъ романтизмъ есть прямое чадо феодализма, и нигдъ онъ такъ долго не застанвается, какъ въ аристократическихъ сферахъ общества, -- а между тъпъ случилось совершенно наоборотъ: англійская литература раньше всёхъ другихъ очистилась отъ романтизма. Возьмите вы большинство современныхъ англійскихъ романистовъ, возычите вы любой англійскій романь: вы найдете, правда, во многихъ изъ нихъ запутанную, иногда довольно искусственно построенную интригу, -- но рядомъ съ этимъ передъ вами встанетъ самая обыденная жизнь англичанъ: вы встрътите много весьма симпатичныхъ, во всехъ отношеніяхъ прекрасныхъ личностей, но всё эти личности такъ просты и обыкновенны, точно будто вы видите передъ собою вашихъ добрыхъ знакомыхъ безъ малёйшей тёни ходульности, претензін на неудавшуюся геніальность и величественный плачъ о сквернахъ міра сего. Этотъ плачъ принадлежить обыкновенно самому автору и открывается передъ ваин или въ оплакивании отдъльныхъ личностей и формъ жизни, или въ цёломъ сюжете романа. имъющимъ цълью выставить ту или другую общественную несправедливость и показать, какъ отъ нея страдають массы обыкновенных влюдей различных классовъ и сословій.

Нъть ничего мудренаго, что европейскія литературы до сихъ поръ не могутъ отрѣшиться вполнъ отъ романтизма. Кромъ исторической рутины, это обусловливается трудностью сапой задачи. Казалось бы на первый взглядъ, что гораздо легче изображать обыденную жизнь, окружающую васъ, къ которой вы присмотрълись, чъмъ различныя ръдкія, величественныя явленія; но на ділів выходить наобороть: гораздо легче вывести на сцену необыкновенную личность и обставить ее эффектными сценами, чемъ обрисовывать какъ слъдуетъ любаго Ивана и Петра. Въ первомъ случав въ читателъ возбуждается интересъ помино художественности автора самою внёшнею эффектностью образа; а съ другой стороны читателю такъ ръдко приходится въ дъйствительности встръчаться съ необыкновенными явленіями, что ему трудно бываеть убъдиться, въренъ ли писатель дъйствительности, и самое грубое, топорное, сшитое на живую нитку изображение можетъ легко сойти съ рукъ. Совсемъ другое дело съ Иванали и Петрами. Иваны и Петры-не выражають въ длинныхъ, патетическихъ монологахъ своихъ чувствъ и страданій; какія нибудь трагическія катастрофы случаются съ ними ръдко-

нзвольте теперь выбрать изо всей ихъ жизни такія редкія отрывочныя слова, такія движенія, такіе моненты, въ которые жизнь этихъ людей освътилась бы передъ вами во всемъ ея драматизмъ, да съумъйте это такъ сдълать, чтобы пронять читателя, иначе страшно скучно будетъ читать ваше произведение, исполненное будничныхъ сценъ и лицъ; притомъ же Боже васъ сохрани допустить въ изображеніяхъ вашихъ нальйшую фальшь, -- читатель тотчась же ее откроеть, потому что его не проведешь, онъ самъ живетъ тою жизнію, какую вы передъ нимъ изображаете, и хорошо ее прочувствовалъ собственною грудью. Всл'ёдствіе всего этого, естественно, для изображенія жизни обыкновенныхъ людей требуется отъ писателя неизмфримо болье наблюдательности, анализа и тщательной художественной отдёлки, чёмъ для обрисовки какихъ вамъ угодно титаническихъ личностей и загадочныхъ натуръ.

Но беретъ ли Ръшетниковъ въ разсчетъ всю трудность своей задачи? Понимаетъ ли оить, что ему нужно преодолъть, чтобы выполнить ее хоть сколько нибудь добросовъстне? Повидимому, онть не только не понимаетъ, но пренебрегаетъ всъцъ этимъ самымъ упорнымъ образомъ. Суди по характеру и пріемамъ его способа изложенія, онть держится такого взгляда, что лишь бы была разсказана правда жизни, а. какъ она разсказана, это все равно, — правда сама за себя постоитъ; заботиться же объ особенной художественной отдълкъ своего произведенія, — дъло совершенно излишнее и пустое.

Очень понятно, откуда проистекаеть такой взглядъ. Было время, когда на всякую художественность смотръли чуть ли не какъ на преступленіе или, по юрайней мере, какъ на величайшую пошлость, какую только можно себ'в представить. Такой взглядъ оправдывался вполив темь, что понималось въ то время подъ художественностью. Понимали-же подъ нею нъчто такое, что действительно было и пошло, и пусто, и безсодержательно. Отъ произведенія требовалось, чтобы оно непрестанно щекотало нервы читателя, возбуждая въ немъ такъ называемый эстетическій восторгъ разными наркотическими снадобьями, въ родф описанія всевозможныхъ красотъ, начиная съ красотъ природы и кончая красотами ланить и персей. Съ какою цёлію искусство должно было производить подобное щекотанье и возбужденье-спрашивать объ этомъ считалось лишнимъ, и отвътъ былъ одинъ: искусство должно возбуждать эстетическій восторгь не для инаго чего, какъ ради санаго эстетическаго восторга. Въ настоящее вреия вся эта теорія до такой степени усивла опошлиться и разбиться въ дребезги, что смъщно и ратовать противъ нея. Теперь рѣдко уже кто усомнится въ томъ, что искусство должно выставлять правду жизни съ цёлію будить общественное сознаніе въ людяхъ, указывать имъ на общественные недостатки и пъли, къ которымъ они должны стремиться.

Руководствуясь этою формулою, Рашетниковъ и думаетъ, что если онть выводить правду въ своихъ произведенияхъ, этимъ онть вполни иполняетъ свой долгъ и можетъ почивать на лаврахъ. Но такъ ли это? Исчеримвается ли вполни реальное и полезное искусство требованіемъ, чтобы писатель выводилъ въ сво-

ихъ произведеніяхъ правду жизни, или сверхъ этого отъ такого искусства требуется и нѣчто иное? Еслибы искусство вполнъ исчернывалось этипъ, въ такомъ случат чти же бы отличалось оно отъ науки? Не только не отличалось бы, но любая наука вдесятеро могущественные въ изображени правды, чымь какое хотите геніальное искусство. Вы подумайте только о томъ, что одна маленькая статистическая табличка ножетъ не въ примъръ иснъе и больше сказать ванъ о нищетв и страданіяхъ бъднаго класса, чемъ не только три тома сочиненій Решетникова, но 20 томовъ, прибавленные къ нииъ и занятые разсказами все о той же нищеть. Взявши это во вниманіе, остается сдылать простой логическій выводъ, что если искусство не имъетъ никакой своей особенной цъли, кромъ одинаковой съ наукою, въ такоиъ случав вовсе не надо никакого искусства, и Рѣшетниковъ принесъ бы болѣе пользы, занявшись статистикою народных в бъдствій, нежели безконечными описаніями ихъ.

Но искусство можетъ и должно имъть свою особенную, спеціальную цёль; въ силу ея оно только и можетъ быть полезно, только и можетъ имъть право на существованіе. — Цёль науки вполнѣ исчерпывается изысканіемъ истины: разъ ученый открыль истину, онъ свое дело сделаль, и ему остается только изложить открытую имъ истину, чтобы сдёдать ее общеизвъстною. Но и отъ ученаго трактата иы вправъ требовать, чтобы онъ обладаль хорошинь слогонь, ясностью, пожалуй даже картинностью изложенія, однимъ словомъ, своего рода художественностью, и это требованіе не есть пустая прихоть: чёмъ художественные изложение, тымь больше трактать найдеть читателей, а съ другой стороны художественность изложенія ведеть къ прямому выигрышу времени, такъкакъ естественно больше времени нужно употребить на чтеніе сухаго и темно изложеннаго сочиненія, чамъ съ изложеніемъ яснымъ и художественнымъ

Но въ жизни на каждомъ шагу встръчается потребность въ томъ, чтобы истину не только усвоили, но прониклись ею, возбудились до энтузіазма, изижнили ть или другія действія свои подъ вліяніемъ ея, приступили какъ можно скорве къ тому или другому благому начинанію. Возьмите вы, напримеръ, адвоката, защищающаго невиннаго. Цёль его, повидимому, общая съ ученымъ: изложить истину; но этого одного ему недостаточно: онъ долженъ изложить ее такъ, чтобы она връзалась въ сердца судей и присяжныхъ, чтобы они были потрясены ею и она овладъла ими вполив. Если послв рвчи адвоката наступить гробовое молчаніе, на глазахъ у слушателей покажутся слезы, на лицахъ ужасъ и негодование, мы говоримъ, что адвокать достигь своей цёли. Чёнь-же онь достигь ея, какъ не искусствомъ изложенія, какъ не художественностью рёчи? Здёсь художественность является во всемъ своемъ могуществъ, не однимъ уже только средствомъ, облегчающимъ усвоеніе, но необходинымъ орудіемъ, безъ котораго адвокатъ все равно, что боецъ безъ шпаги. — Сухой, скучный ученый трактатъ, лишенный всякой художественности изложенія, еще можеть быть прочтень и принести большую пользу въ силу истинъ, заключающихся въ немъ; но на какихъ бы глубокихъ истинахъ и неопровержимыхъ

доказательствахъ ни основываль адвокать свою рѣчь, онъ не достигнетъ никакой цѣли, если слова его будуть вязнуть 'въ зубахъ и сухость, монотонность, вялость рѣчи заставять слушателей заснуть, не дослушавши оратора.

Но что же такое реальный, полезный поэть, какъ не тоть же ораторъ передъ своими читателями? Цёль его не только пзобравить правду жизни, но заставить ее почувствовать, проникнуться ею, любовью или неависью забиться сердце читателя. Если одна страница статистической таблицы можетъ сказать вамъ болье, чёмъ нёсколько томовъ поэтическихъ разсказовъ о томъ же предметь, то съ-другой стороны педумайте и о томъ, что цёлые томы ужасающихъ истинъ иногда свободно помъщаются въ головъ ученаго, нисколько не нарушая его олимпійскаго спокойствія, а маленькая песенка, спётая хоромъ на улиць, можетъ потрясти его до мозга костей и заставить выбъжать изъ дома.

Жизнь управляется не одними спокойными знаніями и холодными разсчетами; не надо забывать, что чувства и страсти — суть силы, служащія не менёе могучими двигателями жизни, и пренебрегать ими не сл'ядуеть: если не направленным знаніми страсти д'ядетвують сл'япо, безпорядочно и часто совершенно одни знанім безъ живыхъ страстей — все равно, что локомотивъ безъ вара.

Вотъ въ этомъ возбуждении чувствъ и страстей и заключается своя особенная цёль реальнаго искусства, отличающая его отъ науки. - И цёль эта опредёляется не одними только теоретическими, надуманными требованіями: о ней свидътельствуеть намъ тотъ непосредственный инстипкть, который заставляеть человъка, чуждаго всякихъ теоретическихъ взглядовъ, увлекаться однимъ произведениемъ и отвертываться оть другаго. - Что восхищаеть нась въ самонь геніальномъ произведеніи искусства? Не количество новыхъ свёдёній, сообщаемыхъ писателемъ, а то внечатлівніе, которое писатель производить на насъ, явдяясь въ своемъ твореніи защитникомъ или обвинителемъ техъ или другихъ фактовъ жизни. Чемъ, сильнъе это впечатльние, - тъмъ выше цънится произведеніе. — Что же касается фактовъ, сообщаемыхъ писателемъ, то здёсь оцёнка имбетъ севершенно обратный характеръ: въ то время, какъ ученое сочинение вы не станете и читать, если оно не сообщаеть вамъ ничего новаго и неизвъстнаго для васъ, произведеніе же искусства, напротивъ того, интересуетъ вась тѣмъ болье, чыт знакомые вамы изображаемая имы дыйствительность, чёмъ ближе она стоитъ къ вамъ лично. Я полагаю, что еслибы вамъ сказали, что въ такомъ-то романѣ авторъ вывелъ вашу личность со всею вашем обстановкою и со всёми вашими поступками, вы сейчась же набросились бы на этотъ романъ, н при самой незначительной доль таланта автора романъ произвель бы на васъ вдесятеро более потрясающее впечатленіе, вы прочли бы его съ гораздо большимъ интересомъ, чамъ произведение геніальнаго поэта, изображающее чуждую ваиъ дъйствительность.

На этомъ основани реальный поэтъ, для того, чтобы произведения его были дъйствительно полезны, не только не долженъ пренебрегать художественностью, но обязанъ подвергать свои произведенія вдесятеро болье тщательной художественной отдълкъ, чъмъ даже поэть, не думающій ни о чемь, кром'в одной кудожественности. Онъ не долженъ и воображать, что истина сама за себя постоить. Никогда она сама за себя не можетъ постоять, если произведение, въ которомъ она изображена, бледно, скучно, вяло и растянуто, и читатель, виссто того, чтобы возбудиться и быть потрясеннымъ, вынесеть одну усыпительную скуку и неудержимое желаніе уснуть надъ книгой. Пусть не забываеть реальный поэть, что если онъ берется быть обвинителемъ однихъ и защитникомъ другихъ, въ такомъ случав онъ долженъ стремиться быть такимъ адвокатомъ, чтобы каждое слово его, какъ огнемъ, жгло сердне читателя, а какъ же онъ ножетъ достигнуть этого, если не позаботится употребить въ дёло всъ средства ръчи, всю силу своей фантазіи? Онъ не долженъ пренебрегать даже нелочани, деталяни внишней отдёдки, поиня, что все то, что дёлаетъ его произведение болже гладкимъ, удобочитаемымъ, болже легкинъ для воспріятія и удержанія въ памяти-все это въ значительной степени усиливаетъ дъйствіе произведенія на читателя и увеличиваеть его значеніе. Здёсь художественность является уже не прихотыю, не растявающимъ услажденіемъ, а могучею силою, которая должна быть направлена художниковъ на пользу своихъ соотечественниковъ. Умѣнье владъть ею и направлять ее на благо и составляетъ гражданское дело поэта. Художникъ же, пренебрегающій художественностью, этимъ самымъ пренебрегаетъ свониъ гражданскимъ долгомъ.

Посмотрите теперь, какъ нало заботится Ръшетниковъ о томъ, чтобы производить на читателей сильное и глубокое впечатлъніе своими повъстями. Начнемъ съ внишней стороны его разсказовъ. Во-первыхъ, онъ нисколько не старается обрисовывать выводимыя имъ личности какъ можно рельефиве и типичиве, чтобы онъ ръзко, дагеротипно выдавались изъ страницъ разсказовъ и неотразимо запечатлъвались въ нашемъ мозгу. Кром'й только Горюновой, попа Знаменскаго и нъкоторыхъ другихъ, всё почти личности обрисованы блёдно, неопредёленно; онв какъ-то сливаются всё вивств, и не оставляють после себя никакого следа, такъ что вы забываете ихъ тотчасъ же по прочтеніи разсказа. Требованіе, чтобы писатель заботился о типичности и рельефности выводимыхъ личностей, можетъ съ перваго взглада показаться излишнею роскошью съ точки зранія полезности искусства. Но это не такъ: вы не забывайте, что Рѣшетниковъ, описывал бъдствія и страданія своихъ героевъ, хочетъ возбудить въ насъ живое участіе къ нинъ. Но при этомъ вы подунайте о постоянномъ совпадении двухъ слъдующихъ психическихъ процесовъ: 1) по мъръ того, какъ ны ближе и ближе знаконимся въ жизни съ какою-нибудь личностью, эта личность, бывшая сначала неопределенною и тупанною въ нашихъ глазахъ, получаеть все болье и болье опредъленности, выдъляется передъ нами со всеми своими типическими свойствами и личными особенностями, и 2) витстт съ этимъ возрастаетъ участіе наше къ этой личности. Эти два процесса до такой степени сходятся, что нож-

но положительно наибрять степень участія степенью знакоиства нашего съ дичностью. На этомъ основании, какое бы участіе ни возбуждали въ насъ страданія или катастрофа, постигшія незнакомца, оно ничто передъ темъ, какъ если несчастный рисуется передъ нами во всёхъ своихъ особенностяхъ. Вследствие этого и происходить то неръдкое явленіе, что, читая въ газетахъ описаніе какого-нибудь убійства, ны для возбужденія въ себ'в участія, принуждены бываенъ силою воображенія пополнять недостатокъ знакомства съ жертвою преступленія: мы начинаемъ представлять себъ, какова эта жертва, что она могла дълать передъ тыть, какъ надъ нею быль занесень ножь; какія связи, стреиленія были у нея прерваны вийсти съ жизнію и проч. Теперь подунайте, что ділаєть авторь, когда онъ старается обрисовать передъвами личность какъ можно более типично? Онъ старается дать вамъ сразу то, что сами вы добываете долгинъ процессомъ знакомства съ человъкомъ: поставить предъ вами личность такемъ образомъ, какъ будто вы давно уже знаете ее со всехъ сторонъ. Очевидно, что этипъ санымъ необходимо усиливается, участіе ваше жь этой личности; вы начинаете интересоваться ея судьбою, жальть и плакать о ней, какъ о самонъ близконъ ванъ человъкъ, котораго никогда забыть не въ состоянии. Это особенный фокусь искусства, пренебрегать которымъ не долженъ поэтъ-утилитаристъ. Пусть онъ и не думаеть поселить въ насъ особенно сильное участіе къ людскимъ страданіямъ или негодованіе къ различнымъ несправедливостямъ, если въ романъ его вивсто живыхъ, выдающихся личностей выводятся одив бледныя тени.

Съ другой стороны, Рашетниковъ нисколько не заботится о выработкъ сюжета и плана разсказа, чтобы чтеніе не утоиляло и не усыпляло читателя, а, напротивъ того, возбуждало постоячный интересъ, который увеличивался бы съ каждою страницей. Видсто того, чтобы обращать главное внимание на болбе характеристические и ръшительные моненты жизни своихъ героевъ и эти моменты развивать, какъ можно поливе, нелкія же частности ежедневной жизни представлять въ рельефной, но по возможности сжатой картинъ; Рѣшетниковъ ставить на одинъ планъ какъ самые драматическіе моменты, такъ и всё мелкія частности ежедневнаго быта; последнинъ посвящаеть иногда даже болъе развития, чъмъ первымъ, отягощаетъ черезъ это свои разсказы совершенно излишними, ничего не прибавляющими къ картинъ подробностями, длинными сухими описаніями, мелкими сценами, которыя кажутся ванъ темъ более бледны и скучны, что лица, дъйствующія и говорящія въ нихъ; не имъютъ той надлежащей рельефности, которая ногла бы сдёлать живою и увлекательною самую обыденную сцену. Вы посмотрите, напримъръ, на вышеупомянутую повъсть "Между людьии". Задунанъ сюжетъ превосходно; болъе драматическаго сюжета трудно придумать. Но что сдълалъ Ръшетниковъ съ никъ? Вся повъсть занимаетъ 269 страницъ компактной печати. Изъ нихъ 77 страницъ посвящено описанію дітства героя. Чінь же особенно интересно оно, чтобы занимать треть всего разсказа? Это ужь надо спросить у Ръшетникова. Представьте вы себъ дътство бъднаго нальчика, плеиянника убзднаго почтоваго чиновника. Во всемъ этомъ період'в жизни Кузьмина выдаются только два эпизода: побыть изъ семинаріи, и воровство газеть изъ почтовой конторы. Писатель, заботящійся о выработкъ сюжета, очевидно главное внимание свое обратиль бы на развитие этихъ двухъ эпизодовъ; въ нихъ однихъ отлично могло бы охарактеризоваться все дътство героя и вся его окружающая обстановка. Ръшетниковъ же посвящаетъ этимъ эпизодамъ нъсколько страничекъ, передавая ихъ въ сухомъ и сжатомъ разсказъ; всъ же 77 страницъ посвящены у него длиннымъ и до невъроятности скучнымъ описаніемъ житьябытья родственниковъ героя и жителей города, гдв происходило действіе: туть вы находите описаніе того, какъ дядя ловиль рыбу, какъ онъ училь племянника гранотв, какъ онъ получилъ первый чинъ, что онъ при этомъ думалъ, что думала тетка, какъ герой занимался въ конторъ и писалъ письма крестьянамъ и проч. Мив кажется, что Решетниковъ, еслибы только захотёдъ придожить немного старанія, то у него вся первая часть разсказа занимала бы не болве 40 страницъ. На 5 страницахъ онъ могь бы представить такую полную картину жизни захолустнаго городка, которая со всёхъ сторонъ исчернывала бы эту жизнь и избавляла бы его отъ всякихъ излишнихъ подробностей. Затемъ 35 страницъ представляли бы широкое поле для развитія двухъ вышеупомянутыхъ эпизодовъ, которые сами по себъ еще полнъе обрисовали бы жизнь почтовыхъ чиновниковъ въ провинціи. Я нисколько не отрицаю сценъ въ родъ ловли рыбы или семейной пирушки по случаю полученія чина, - всѣ такія подробности придають разсказу живость и рельефность, --- но въ такомъ только случат, когда писатель тъсно и нераздъльно соединяетъ ихъ съ самымъ развитіемъ эпизода, какъ это и дёлають англійскіе писатели: у нихъ герой ловить рыбу-и тутъ же съ нинъ что нибудь происходить, описывается домашняя пирушка и на ней же разыгрывается домашняя драма. У Ръшетникова же - эпизоды сами по себъ, а описанія ловли рыбы или пирушки—сами по себъ.,. и вся повёсть, виёсто того, чтобы кипёть дёйствіемъ, получаеть сухой, монотонный описательный характеръ. Мит кажется, что въ этомъ отношении Решетниковъ не совство отрышился еще отъ нткоторыхъ остатковъ натуральной школы, которая стояла вполив на почвъ чистаго искусства. Иначе какъ же вы объясните обиліе у Рашеникова описательныхъ сценъ, неимающихъ никакой цели, кроме одного описанія ихъ. Но нервая часть повъсти читается все еще довольно сносно, какъ вследствіе того, что читатель не успель еще освоиться съ обстановкою жизни героя, такъ и вся вся вышеуномянутых в эпизодовъ. Вторая же часть занимаеть 126 страниць, т. е. половину всей повъсти, но въ ней безконечно тянется одна д та же канитель — описаніе того же житья-бытья ияди да тетки, родственниковъ да знакомыхъ, наконецъ службы героя сначала въ убздномъ судъ, потомъ въ канцеляріи губернатора. Монотоннъе, растянутве, суше и бледиве всего этого разсказа трудно себъ представить что нибудь. Если первал часть могла бы занимать 40 страницъ, то для второй части и 20 иного. Только подъ конецъ этой второй части разсказъ неиного оживляется отношеніями Кузнецова къ Ленв. Въ третьей части-герой вдетъ въ столицу наживаться. Здёсь завязывается узель всей драмы; эта часть саная решительная, на ней долженъ сосредоточиваться весь интересъ читателя, вся трагическая иллюзія—и что же? Она саная краткая—въ ней всего 55 страницъ. Но и на этихъ страницахъ вы встрътите иного излишнихъ мелкихъ подробностей, растягивающихъ понапрасну разсказъ (напримъръ, длинныя описанія, какъ авторъ искаль квартиру, какъ онъ ночевалъ въ ней первую ночь, какія дрязги произошли между хозяйкою и торговкою и проч.). Съ другой стороны слишкомъ много посвящено мъста на описаніе опреділенія героя на службу, отношеній его къ начальству и редакціи "Насфкомый" - все это крайне стереотипно, давно уже до лохиотьевъ изношено нашею литературою, а потому блёдно и вяло. Что же касается до санаго драматическаго момента жизни Кузьмина, когда онъ, совершенно затерянный въ омутъ петербургской жизни, опускается въ саные бъдные слои населенія—занимается продажею сапоговъ на толкучемъ и спивается, - этому періоду жизни авторъ посвятилъ нъсколько страничекъ сухаго, холоднаго разсказа. Что вышло изъ богатаго сюжета вслъдствіе этого, трудно и выразить. Повъсть, которая могла проникнуть читателю въ самое сердце и оставить навсегда тяжелое, мучительное внечатлёніе, является, правда, мучительною, но совствить съ другой стороны -- со стороны убійственной скуки, съ которою вы ее читаете. До какой степени Решетниковъ мало дорожить темь, чтобы производить на читателей сильное и глубокое впечатленіе, это особенно ярко выставляется въ наиболее драматическихъ мёстахъ его разсказовъ. Мы уже видели, какъ нало обратилъ онъ вниманія на самые выдающіеся моменты жизни Кузьина. То же самое иы находимъ и въ романъ "Гдъ лучше". Вспомните тотъ моментъ въ этомъ романъ, глъ Горюнова, дишившись мъста, проведя нъсколько дней въ части, наконецъ, очутилась на улицъ безъ пристанища, безъ денегъ, одна, среди чуждаго населенія столицы, подозрительно и непріязненно смотр'явшаго на нее, какъ на бродягу. Вы подумайте только о томъ, что бы могь сдёлать художникъ изъ этой сцены отчужденія, отчаянія и голода. Онъ ногь бы нарисовать передъ вами такую страшную, мрачную картину, которая проняла бы васъ до костей-и никогда не забылась бы. Главное дело здёсь не въ томъ, чтобы извъстить читателя, какъ Горюнова шла изъ улицы въ улицу, ночью черезъ ностъ, какъ спала въ паркъ, какъ у нея украли во вреия сна послъднія копъйки, какъ потомъ она просила милостыню и проч.,такіе факты для читателя не новость, й онъ ножеть представить ихъ себъ тысячами: развъ бледные, мудые, оборванные люди не просять у него ежедневно Христа ради? Развъ онъ никогда не видълъ ихъ спящими подъ заборами и въ канавахъ? Но знаетъ ли и отдаеть-ли себѣ ясно отчеть читатель въ томъ, что они чувствують въ то время, когда они испытываютъ всевозможныя мытарства? Вотъ съ этипъ-то и долженъ познакомить писатель: онъ долженъ такъ живо нзобразить холодъ, голодъ и отчанные своихъ героевъ, чтобы читатель все это могъ прочувствовать, чтобы,

несмотря на все тепло, сытость и довольство, ему самому сделалось бы и холодно, и голодно, и гадко вивств съ героями разсказа. Какъ достигнуть этого, избъжавши въ то же время излишнихъ лирическихъ разглагольствованій, мелодраматизма и фальши--это задача и тайна, разрёшить которую ножеть только истинный художникъ. Что же дёлаетъ Решетниковъ? Холодно, сухо, безучастно онъ передаетъ намъ факты скитаній Горюновой, словно какой нибудь дневникъ приключеній, и читатель относится къ этимъ страницамъ съ тъмъ же равнодушіемъ, съ какимъ просматриваютъ протоколъ какого-нибудь судебнаго засъданія, въ которомъ какая бы страшная семейная драма ни развертывалась передъ вами, она излагается все однимъ и темъ же сухимъ, сжатымъ и оффиціальнымъ тономъ...

Таковъ Решетниковъ и во всехъ своихъ произведеніяхъ.



1870-1872.

сорокъ лътъ русской критики.

1820-1860.

I.

Панегирическій и полемическій взгляды на эпоху еороковых тодовь и их несостоятельность.—Необходимость объективнаго обозрѣнія развитія нашей мысли и обращенія при этомъ вниманія на-дай стороны процеса развитіи. — Результать, къ которому должно привести такое обозрѣніе. — Содержаніе и объемъ моего труда.

Много уже было высказано всякаго рода и мивній и сужденій о разныхъ діятеляхъ и литературныхъ явленіяхъ того періода лётъ, который обозначенъ въ заглавіи предпринятаго мною труда. Появленіе каждаго памятника, относящагося къ этому времени, каждой понографіи, трактующей объ этой эпохі, возбуждало не мало всякаго рода толковъ, споровъ и пререканій. Но надо обратить внимание на то, что до последняго времени отношение къ различнымъ явленіямъ такъназываемыхъ сороковыхъ годовъ (эпохѣ, которая, собственно говоря, не ограничивается одними сороковыми годами, а обнимаетъ собою болже трехъ десятильтій) было почти исключительно или панегирическое, или полемическое, и до сихъ поръ, несмотря на все обиліе изданнаго объ этой эпохъ, врядъ-ли вы найдете особенно иного сочиненій, заключающих в в себ вполнь объективные и бепристрастные взгляды. Это вполнь естественно, если взять во внимание, что эпоха эта такъ близка въ намъ, какъ вчерашній день, что хотя она и минула, но идеи и многіе люди, принадлежащіе къ ней, продолжають еще жить и действовать и, окруженные ореоломъ славы, вооруженные талантами, властью и въсомъ въ обществъ, не перестають еще съ слепымъ упорствомъ задерживать напоръ новыхъ идей и потребностей въка. Какому-же быть иному отношенію, какъ не полемическому въ разгаръ той борьбы, какая ведется до сихъ поръ между старымъ поколиніемъ и молодымъ, или, какъ обыкновенно говорятъ,

иежду людьми сороковыхъ годовъ и инестидесятыхъ? Надо взять въ разсчетъ и то, что не болве, какъ 15 лътъ тому вазадъ *), и полемическое отношение къ передовымъ дъятелямъ сороковыхъ годовъ было еще немыслимо въ прогресивныхъ лагеряхъ нашей литературы, а было естественно и даже необходимо -- одно панегирическое: въ то время противъ литературныхъ дъятелей сороковыхъ годовъ ратовали люди, боровшіеся съ ними еще при ихъ жизни во имя началъ, которыя и въ сороковые годы представлялись уже отжившими. Это было время, когда фаза мысли сороковыхъ годовъ успёла вполнё опредёлиться и закончиться, новая-же фаза шестидесятых ь годовъ толькочто зачиналась и еще въ весьма неясныхъ, неопредъленныхъ чертахъ рисовалась въ будущемъ. Гоголь, Бълинскій, Грановскій едва успъли сойти съ поприща и на нихъ (кромѣ развѣ одного Гоголя) не отвыкли еще смотръть, какъ на дъятелей вполнъ современныхъ, которые, если-бы не сошли преждевременно въ могилу, то могли-бы, не отставая отъ въка, продолжать писать и говорить въ томъ же направдении, въ какомъ закончили свое поприще. Однимъ словомъ, къ нимъ относились еще такъ, какъ нынѣ мы относиися къ Добролюбову или Писареву. Такое отношение мы встречаемъ въ "Очеркахъ гоголевскаго періода" ("Совр.", 1856 г.), первомъ дъльномъ и капитальномъ сочиненіи, посвященномъ этой эпохів и трактующемъ объ одномъ изъ самыхъ передовыхъ дъятелей ея-Вълинскомъ. Цель сочиненія — показать, какой великій и глубокій критикъ быль Бълинскій, какое значеніе имъть онъ въ свое время среди разнаго рода литературныхъ партій, окружавшихъ его, что онъ сділаль сравнительно съ предшествующимъ его временемъ, чънъ мы ему обязаны и что мы въ немъ утратили. Всъ эти вопросы разрёшены съ такою полнотою и обстоя-

^{*)} То-есть вы половина 50-хъ годовъ.

тельностью, что врядъ-ли можетъ выйти другое сочинение въ этомъ родъ, могущее соперничать съ нимъ. Но, вмёстё съ темъ, вы не найдете въ немъ того, что въ наше время представляется вопросомъ первой важности: именно постановки деятельности Белинскаго въ общій уровень развитія идей его въка сравнительно съ предшествующимъ и последующимъ временемъ и, притомъ, идей не только однихъ эстетическихъ и литературныхъ, но моральныхъ и политическихъ. Если въ "Очеркахъ" говорится и объ этомъ, то намеками только, вскользь, и при этомъ берется въ соображение кодъ развитія европейской мысли вообще въ ея погическомъ процессъ, безъ принятія въ соображеніе въ тоже время общественныхъ условій, вліяющихъ на различныя колебанія и направленія мысли; главное-же внимание обращено въ "Очеркахъ", все-таки, на значеніе д'ятельности В'ялинскаго, преимущественно лятературное и эстетическое. Этоть характерь "Очерковъ", кромъ разныхъ побочныхъ, нелитературныхъ причинъ, обусловливается и тъмъ, что передъ авторомъ не было еще последующаго времени, съ которымъ онъ могъ-бы сравнивать деятельность Белинскаго въ связи съ характеромъ вѣка его; кромѣ этого, надо взять во вниманіе и то, что въ то время имя Б'ёлинскаго только-что начинало выходить изъ мрака, въ которомъ до того скрывалось. Очень иногіе не имвли еще и нонятія о томъ, что соединяется съ этимъ именемъ: другіе спотрели на него, какъ на имя дерзкаго литературнаго фразёра и недоученаго крикуна; третьи соединяли съ этимъ именемъ нѣчто такое криминальное, что одно упоминание о немъ на страницахъ журнала, да еще съ сочувствіемъ къ нему, считали крайне компрометирующимъ журналъ по отношению къ благонам вренности. Понятно, что въ то время деломъ первой, важности было повнакомить публику съ личностью Велинскаго, какъ съ деятеленъ, едва сошедшимъ съ поприща и вънне котораго отражалось еще на всей литературъ, пропагандировать, такъ сказать, его, и въ то-же время защищать отъ нападковъ на неблагонам вренность, чего вполи в достигли "Очерки".

Совершенно такой-же характеръ носять всв. монографіи о разныхъ ділтеляхъ сороковыхъ годовъ вилоть до 62 года, то-есть, до начала реакцін. Таковы біографія Станкевича, Анненкова, приложенная къ изданію переписки Станкевича, статья Добролюбова о Станкевичъ, воспоминанія о Бълинскомъ И. Панаева и его-же "Литературныя воспоминанія", "Виссаріонъ Григорьевичъ Бълинскій, біографическій очеркъ" Д. Свіяжскаго и проч. Хотя въ это время новая фаза нысли шестидесятыхъ годовъ все болбе и болбе выясняется и опредъляется, но люди сороковыхъ годовъ еще не выделяются изъ движенія, въ упахъ современниковъ сохраняется еще живая преемственная связь ножду эпохой сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ и отношение къ дъятелямъ сороковыхъ годовъ продолжаетъ сохранять характеръ панегирическій. Во всёхъ вышеупомянутыхъ сочиненіяхъ писатели рисують передъ вами дъятелей сороковыхъ годовъ мужественныин борцани и страдальцами мысли среди мрака невъжества, окружавшаго ихъ, благоговино вслушиваются въ каждое ихъ слово, спешать заявить о каждонъ фактъ, характеризующемъ ихъ съ положительной сто-

роны, и съ негодованіемъ относятся къ малёйшимъ нападкамъ на ту или другую чтимую личность.

Съ 1862 г. отношение къ деятелямъ сороковыхъ годовъ, подъ вліяніемъ борьбы, возникшей между старымъ и молодымъ поколеніями, быстро меняется. Рядомъ съ прежнимъ панегирическимъ возникаетъ въ прогресивныхъ лагеряхъ нашей литературы и отношение полемическое. Эпохи сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ начинаютъ становиться другь противъ друга, какъ двъ противоположныя крайности, между которыми лежить непроходимая пропасть, при чемъ, гдъ одни видятъ свътъ, тапъ другіе ничего, кромъ мрака, не признають. До какой степени утвердилось это полемическое увлечение, ны видинъ изъ того, что оно встръчается не въ однъхъ только полемическихъ статьяхъ всякаго рода, каковы, напримъръ, были статьи Писарева и Зайцева, въ которыхъ эти писатели говорили о Грановскоиъ, Кудрявцевъ, Бълинскоиъ, Лермонтовъ, но подчасъ и въ такихъ сочиненияхъ, которыя, по самону содержанію своему, должны бы были вить объективный характеръ, каковы менуары и сборники біографическихъ натеріаловъ. Таковы, наприивръ, "Воспоминанія Тургенева о Бѣлинскомъ": Тургеневу недостаточно было сообщить все, что онъ помнить о Бълинскомъ, ему казалось необходимымъ, рядомъ съ величіемъ Бълинскаго выставить ничтожество Добролюбова. Точно также біографія Грановскаго, Станкевича, подъ конецъ представляетъ вамъ тонкій, но весьма чувствительный намекъ на то, что выде, современныя либеральныя односторонности всякаго рода, напрасно причисляете къ своему лагерю Грановскаго, съ его всеобъемлющею гуманностью и широтой взглядовъ, чуждыхъ всякихъ партій.

Въ силу этой полемики, въ литературф нашей утвердились два резкія направленія въ сравнительной оценке двухъ эпохъ. Съ одной стороны все общественныя реформы последняго времени, все успехи въ наукахъ и искусствахъ выводятся исключительно изъ сороковыхъ годовъ и приписываются людянъ этой эпохи. Вы подумайте, говорять люди этого направленія, сколько могучихъ талантовъ произвела эта эпоха: припомните только имена Бълинскаго, Гоголя, Грановскаго, Кудрявцева, Кавелина, Костонарова, Тургенева, Писемскаго, Гончарова, — все это люди, или двиствовавшіе въ то время, или вышедшіе изъ него и д'я ствующіе теперь. Какіе люди подняли крестьянскую и прочія реформы, содъйствовали и руководили ими свонии знаніями и практическими трудами? По большей части люди сороковыхъ годовъ. Наконецъ, развитіе самосознанія въ нашемъ обществъ, уваженія къ литературъ, наукъ, эстетическаго вкуса, гуманности, все это дело людей сороковыхъ годовъ, всему этому ны имъ обязаны. А что сделало ваше молодое поколение? Много-ли вышло изъ него такихъ иогучихъ, блестищихъ талантовъ, какіе были упомянуты выше? Разъ, два, да и обчелся. А вышло-ли хоть одно произведеніе искусства, которое можно было бы поставить рядомъ съ произведеніями писателей сороковыхъ годовъ? А какое участіе принимало молодое покольніе во всекъ реформахъ? Оно встретило ихъ съ свистомъ, вооружившись несбыточными утопіями. Пропов'ядь его проникнута отрицаніемъ науки, искусства, гуманности,

всякихъ нравственныхъ основъ въ человёкъ и порядка въ обществъ, словомъ, представляетъ мрачныя бездны нигилизма.

Съ другой стороны не перестаютъ высказываться инвнія діаметрально противоположныя: истинное самосознаніе въ обществ'я нашемъ, говорятъ, развилось только съ шестидесятыхъ годовъ; только съ этого времени начались у насъ дъйствительные успъхи въ наукахъ, настоящее понимание значения искусства, глубокій анализъ общественныхъ отношеній; только съ этого времени явились истинные люди свъта, правды, сильные, энергическіе, гуманные, люди дёла, а не однихъ словъ. А что такое были сороковые годы? Эта мрачная эпоха была способна не развивать силы, а сокрушать ихъ. Поэтому, люди сороковыхъ годовъ, это люди больные, надломленые, люди холодной рефлексін, словъ, а не дёла. Чуждые всякихъ живыхъ общественныхъ интересовъ, они искали забвенія или въ отвлеченной отъ жизни наукъ, или въ созерцаніи прекрасныхъ образовъ чистаго искусства, или въ узкой сферъ семейнаго счастія, или, наконепъ, въ легконысленномъ эпикуреизмъ. Въ общественномъ движенін послёдняго времени они постоянно представлялись ториазами, вследствіе своей запуганности, нерешительности и апатін: каждая реформа сначала пугала ихъ, представлялась имъ роковымъ шагомъ, ведущимъ, общество прямо въ пропасть. Они старались обыкновенно всячески ее отодвинуть, ссылаясь на неразвигость, неприготовленность нашего общества; а въ концъ концовъ, когда рядъ реформъ совершился помимо ихъ предостереженій, озлобленные и обезкураженные, они начали спотреть на все совершившееся, какъ на миражъ, дымъ и ничтожную топотню на одновъ ивств.

Въ каждомъ изъ этихъ мивий, если хотите, есть своя доля справедливости и съ изкоторыми отдяльными положеними вы не можете не согласиться. Развъ не правда, что сороковые годы дъйствительно выпустили рядъ весьма даровитыхъ личностей, которымъ мы обязаны не мало? Справедливо, съ другой стороны, и то, что шестидесятымъ годамъ мы обязаны такими усиъхами въ общественномъ и умственномъ развитіи, о какихъ сороковые годы и не мечтали.

Но далье, затымь, въ обоихъ инфијахъ следуетъ рядъ непроходиныхъ противоръчій. Съ одной стороны вы подучайте только, сколько комизму должно представиться во всей деятельности людей сороковыхъ годовъ, если вы посмотрите на нее ихъ-же глазами: является рядъ талантливыхъ людей, начинаютъ развивать въ обществъ гуманность, эстетическій вкусь, уваженіе къ наукъ, стремленіе къ высшему развитію. Казалось бы, что подъ вліяність этой пропаганды должно было воспитаться молодое поколёніе экстрандеальное. И вдругъ что-же: какъ-будто нарочно, вопреки всей пропаганды, является покольніе немытое. печесанное, небритое, съ дикими необузданными нравами, отрицаніемъ наукъ, искусствъ, правственности, цивилизаціи! Что-же это такое? Выходить какой-то неожиданный фокусъ-покусъ, и люди сороковыхъ годовъ сами отрицаютъ всё плоды своей деятельности, выдавая себя за какихъ-то заколдованныхъ и опростоволосившихся сѣятелей, которые посѣяли ананасы, а выросъ хрѣнъ. Если-же считать всю эту печальную катастрофу за случайное вторженіе въ нашу жизне чуждыхъ вліяній, парадизовавшихъ благодѣтельную дѣятельность людей сороковыхъ годовъ, то не забудьте при этомъ, что вѣдь съ одной стороны признается цѣлое созвѣздіе могучихъ, развитыхъ, обогащенныхъ знанівми талантовъ, а съ другой стороны ничего не признается, кромѣ мелкихъ, злобныхъ, невѣжественныхъ посредственностей, и опять-таки вы имѣете дѣло съ чудеснытъ историческимъ фактомъ, совершившимся вопреки всѣхъ законовъ природы: цѣлый рядъ могучихъ талантовъ отодвинутъ въ сторону и благотворное вліяніе его парализовано какими-то темными, ничожными невѣждами.

Но и съ другой стороны вы можете встрътить не меньше противоръчій. Говоря объ успъхахъ общественнаго развитія въ последнее время, сторона эта старается при всякомъ удобномъ случат доказывать, что эти успъхи не были случайны и искусственно привиты, а естественно и органически возникли изъ потребностей нашей жизни и представляють последовательный ходъ этого развитія; но въ то-же время не перестаетъ зіять подъ перьями нашихъ публицистовъ мрачная бездна между сороковыми и шестидесятыми годами, при чемъ новые идеи и люди словно съ неба сваливаются и неожиданно вторгаются въ нашу жизнь въ совершенный разрівзь съ жизнью и дівятельностью прежнихъ поколъній, словно та бълые боги, которые, подъ предводительствомъ Колумба, нежданно-негаданно явились въ гости къ американскимъ дикарямъ. Если-же и стараются разъяснить причины перелома, то все обыкновенно подводять подъ одну какую-либо причину и впадають еще въ большія противоръчія. Такъ, напримъръ, одни опираются исключительно на общественныя обстоятельства: въ сороковые годы, говорять, царствовала прачная реакція, которая растлівала силы людей, а въ шестидесятые, съ большимъ развитіемъ личной свободы, люди почувствовали большую возможность црилагать свои силы къ той или другой деятельности; оттого до шестидесятыхъ годовъ и были все люди однихъ словъ и разъйдающей рефлексін, а послів шестидесятых в годовъ явились люди дъла. Но я не знаю, нужно-ли приводить много доказательствъ, чтобы показать, какъ неопределенно и шатко такое положение, имъющее, очевидно, свою относительную долю правды. Казалось бы, напринеръ, что изъ-подъ гнета реакціи естественно должны были бы явиться самые мрачные, ожесточенные и непримиримые реформаторы, а подъ вліяніемъ свободы, коть въ самой незначительной степени, напротивъ того, должны образоваться новые люди съ болве инрими и оптимистическими наклонностями; а между тёмъ, случилось какъ разъ наоборотъ: люди сороковыхъ годовъ представляють гораздо болье наклонности къ благодушному примиренію, чёмъ поколёніе шестидесятыхъ годовъ. И, вообще, мы видимъ въ исторіи многократные примъры, что реакція въ одну эпоху или въ одной средъ дълаетъ людей никуда негодными тряпками, при другихъ-же обстоятельствахъ, напротивъ того, ожесточаеть ихъ, изощряеть изобрътательность ихъ относительно различныхъ средствъ къ отпору и борьбъ.

Другіе опираются исключительно на уиственное развитіе; все различіе между людьми сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ съ этой точки зрвніл происходить исключительно изъ того, что люди сороковыхъ годовъ были романтики, идеалисты, витали въ отвлеченныхъ сферахъ; съ шестидесятыхъ-же годовъ появилось новое положительное міросозерцаніе, молодое поколъніе спустилось съ облаковъ на землю и начало ставить на первый планъ не какіе-либо отвлеченные, космические, эстетические и моральные вопросы, а насущныя потребности жизни общественной и частной. Опять-таки подобное положение не лишено справедливости; но оно вовсе не есть представление настоящихъ и существенныхъ причинъ различія двухъ нокол'єній, а есть только поставление факта, указание на одинъ изъ признаковъ различія; признакъ этотъ, безспорно, очень важный; онъ долженъ стоять на первомъ плань, но онъ далеко еще не все объясияеть и, въ свою очередь, можеть представить вамъ целый рядъ противоречій, если вы вздумаете на немъ одномъ основать все. Основывать все на этомъ признакъ-значить утверждать, что только современное намъ, положительное міросозерцаніе способно развивать въ людяхъ общественные интересы; идеалистическія-же системы ведутъ непременно и всегда къ отрешению отъ пониманія живыхъ и естественныхъ потребностей частныхъ и общественныхъ и витанію въ отвлеченныхъ сферахъ. Но утверждать это, значитъ отрицать въ историческомъ прошломъ всякую возможность какихълибо общественныхъ движеній, такъ какъ истинно положительное піросозерцаніе развилось въ весьма недавнее время, а между тъмъ, ны видимъ въ исторіи рядъ общественныхъ движеній, совершившихся на почвъ самыхъ крайнихъ идеалистическихъ системъ; вы подумайте только объ англійскихъ пуританахъ временъ Карла I: развъ мы не видимъ въ нихъ идеалистовъ въ высшей степени, мистиковъ съ ногъ до головы, и развъ это помъщало имъ стоять во главъ общественнаго движенія своего времени? И вообще, какое бы ны міросозерцаніе ни взяли изъ тёхъ, какія пережило человъчество, начиная отъ "санаго иладенческаго и не исключая современнаго намъ, реальнаго, на почвъ каждаго ны найденъ оптинистовъ и пессыинстовъ, отвлеченныхъ мыслителей, и мужественныхъ, энергическихъ людей практическаго дъла. Никогда не надо забывать, что тв или другія общественныя, политическія и нравственныя направленія, которыя мы заивчаень въ различныхъ людяхъ, въ различныхъ слояхъ общества и въ различныя эпохи, зависять не столько отъ общихъ системъ міросозерцанія, сколько оть техъ или другихъ вліяній жизни, направляющихъ однихъ людей въ одну сторону, другихъ- въ другую. Общія-же системы міросозерцаній им'єють ту особенность, что онъ, при своей всеобъемлющей широтъ, крайне растяжимы и гибки и при ихъ помощи легко объяснить, оправдать и вывести изъ нихъ самыя противоположныя доктрины. Развѣ не на одномъ и томъже циклё христіанскихъ идей основывались впродолженіе всёхъ среднихъ вёковъ и самыя мрачныя проявленія деспотизма, и самые сиблые порывы къ свободъ? Развъ не изъ одного и того-же Гегеля выводили свои ученія въ сороковые годы и славянофилы, и за-

падники, и отвлеченные эстетики, и люди, проникну-

тые общественными интересами? Выпутаться изъ всёхъ этихъ противорёчій -- одно средство: сойти совершенно и съ панегирической, и съ полемической почвы и безпристрастно, шагь за шагомъ, прослъдить, какъ мысль нашего общества въ ея литературныхъ проявленіяхъ измінялась годъ за годонъ въ ея различныхъ направленіяхъ. При этомъ нужно обратить тщательное внимание на двъ стороны движенія нысли: съ одной стороны, на тотъ логическій процессъ разума, который состоить въ смънъ различныхъ міросоверцаній, зависящей отъ расширенія умственнаго горизонта обогащениемъ его всякаго рода знаніями и изощренія мозга путемъ умственныхъ упражненій; съ другой стороны не менъе важно обратить вниманіе п на дифференцированіе людей по различнымъ партіямъ и направленіямъ, совершающееся на почвъ одного и того-же міросозерцанія вслъдствіе вліяній различных обстоятельствъ жизни. Я вовсе не имбю въ виду утверждать, чтобы это были два различные процесса мысли; это больше ничего, какъ двъ стороны одного процесса; онъ очень тъсно, неразрывно соединяются между собою, такъ что нётъ возможности строго разграничить одну отъ другой; но тъмъ не менъе, опускать совершенно изъ виду ихъ различие и весь прогрессъ основывать на одной, какъ это часто дълается, значить не разъяснять факты движенія данной эпохи, а только затемнять ихъ и запутывать. Различіе этихъ двухъ сторонъ, какъ бы онъ ни сплетались между собою въ ходъ развитія, рѣзко бросается въ глаза тою уже своею противоположностью, что въ то время, какъ изъ одной стороны проистекаетъ стремление разума перерабатывать жизнь сообразно новыхъ пріобретенныхъ имъ данныхъ, другая сторона, напротивъ, обусловливаетъ собою вліяніе жизни на разумъ, на тъ или другія его направленія, успъхи или отклоненія и искаженія.

При таковъ обзоръ должна исчезнуть мнимая пропасть между сороковыми и шестидесятыми годами. Объ эти эполи представятся намъ не двумя различныни эпохами, а двуня противоположными полюсами одной эпохи непрерывнаго умственнаго движенія, начавшагося въ тридцатые годы и дошедшаго до своихъ результатовъ въ щестидесятые, и движение шестидесятыхъ годовъ окажется вовсе не случайнымъ вторжэніемъ извиъ идей и принциповъ, неожиданно увлекшихъ молодежь куда-то въ сторону, и не какинъ-либо чудеснымъ зарожденіемъ новаго вопреки всего стараго, словно изъ головы Юпитера, а последовательнымъ и неизбъжнымъ результатомъ умственнаго процесса, совершавшагося по своимъ непреложнымъ законамъ. Всякое умственное движение въ этомъ отношении можетъ быть сравнено съ прямолинейнымъ движеніемъ: исходя изъ одной точки и двигаясь по прямой линіи, тело необходимо должно перейти къ противоположному концу даннаго пространства. Точно также и умственное движение: въ сущности, прямая его безконечна, но останавливаясь на какой-либо эпохѣ, вы всегда встрътите позади ен міросозерцаніе противоположное, изъ которато мысль, шагъ за шагомъ, пришла къ системъ воззръній разсматриваемаго вами времени. Такъ, греческая философія, начавши съ грубаго эмпи-

ризма іонійской и элейской школь, въ конечномъ результать своемъ ударилась въ необузданный идеализмъ неоплатониковъ. Точно также, что общаго нежду идеями Лютера, Кальвина, Цвингли съ одной сторены, и Вольтера, Дидро, Гельвеція — съ другой? Еслибы эти люди могли встретиться въ жизни, они наверное отшатнулись бы другь отъ друга съ ужасомъ и отвращеніемъ, а нежду тымъ, философія XVIII выка была ни чёмъ инымъ, какъ последовательнымъ результатомъ умственнаго движенія, начавшагося въ Европ' въ ХУ вък' провозглашенить свободы совъсти и критики въ вопросахъ въры. Точно также и многіе современные германскіе мыслители котя и стоятъ на почвъ совершенно противоположной, чъмъ стояли Лессингъ, Кантъ, Фихте, Гегель, тъпъ не менъе, это не даетъ инъ никакого права выдълять себя изъ того круга умственнаго движенія, которое началось въ Германіи во второй половинѣ прошлаго вѣка.

Мий кажется, что теперь уже время для подобнаго анализа, такъ-какъ не только сороковые годы, но п шестидесятые начинають все болье и болье уходить въ глубь прошедшаго и образуется историческая перспектива, достаточная для обозренія двухь эпохъ въ ихъ переходъ одна въ другую. Не имъя претензіи вполнъ удовлетворить этой задачь, что значило бы написать всестороннюю исторію нашей цивилизаціи за последнія пятьдесять леть, принявь въ соображеніе не одни литературныя, но и всѣ прочія явленія общественной жизни этой эпохи въ различныхъ сферахъ, я наифренъ ограничиться обзоромъ движенія нашей критики въ эпоху, начиная съ 1820 г. и кончая 1861-иъ, сгруппировавши этотъ обзоръ вокругъ представителей критики этой эпохи, начиная съ Полевато и кончая Добродюбовымъ. Цъль моего трактата - показать, какими путями развитие нашей мысли отъ того состоянія, въ которомъ находилось въ эпоху "Телеграфа", тагь за шагонъ пришло къ идеямъ Добролюбова.

II.

Ложное пониманіе романтизма въ современной русской литературь и его причины. — Существенныя свойства романтическаго движенів въ Европъ. —Его начало, движеніе, исходъ въ реализмъ и видоизмъненія подъ вліяніемъ различныхъ общественныхъ обстоительствъ. —Предван романтической эпохи въ Россіи.

Тридцатые годы, считаются у насъ годами самаго крайняго развитія романтизма. Но что такое романтизмь? Какое значеніе миблъ онъ въ Европъ и у насъ? Какъ широка его сфера въ жизни, т.-е. ограничивается-ли онъ одном эстетического теоріей, или, напротивъ того, обнимаетъ собою всѣ отношенія жизни? Гдѣ его начало и конецъ?

Надо заметить, что ни о какомъ предметё такъ много не говорили у насъ, какъ о романтизме, начиная съ двадцагихъ годовъ и до нашего времени, и ни о какомъ предмете не существуетъ такихъ смутныхъ, одностороннихъ и неопредъленныхъ поняти, какъ объ этомъ сфинксъ. Говорили, говорили и договорились до того, что слово "романтизмъ", подобно другимъ, вновь

изобрѣтеннымъ прозвищамъ, потеряло въ глазахъ многихъ нашихъ просвѣщенныхъ мыслителей всякое значеніе, какъ навъстное міросозерцаніе или фаза развитія, и приняло безразличный тупой смыслъ оскорбительнаго прозвища, въ родѣ тѣхъ бранныхъ словъ, которыя, ничего въ сущности не выражая, придаются людямъ, которыхъ желаютъ унизить.

Такое низведене слова "романтизмъ" до ругательнаго прозвища произошло изъ того, что романтизмъ отождествляють у пасъ съ реакціей, застоемъ и представляють его не иначе, какъ въ видѣ мистическато паренія въ заоблачныхъ сферахъ, соединеннаго съ полъбищимъ индифферентизмомъ относительно различныхъ реальныхъ потребностей и общественныхъ вопросовъ днл. Поэтому, сказать, что извѣстный писатель—романтикъ, это значитъ у насъ опредѣлить, что сму чуждо все современное; писателя-же, мало-мальски откликающагося на современные вопросы, непремѣнно тотчасъ же причисляютъ у насъ къ лику реальныхъ.

Частная причина такого плоскаго пониманія романтизма заключается въ томъ, что мы привыкли судить объ этомъ предметь по одной изъ вътвей нашего отечсственнаго романтизма, преимущественно по темъ выцвътшикъ, заплесневълымъ романтикамъ, остатки которыхъ встрвчаются еще въ нашей жизни. Общая же причина заключается въ томъ, что понятіе это крайне сложное и многообъемлющее: это не какая-инбудь опредъленная теорія, которую можно было бы формулировать въ нѣсколькихъ фразахъ; это не есть одна только литературная школа, вызванная реакціей противъ ложнаго классицизма, какъ опредвляли романтизмъ прежде, какъ и нынё многіе смотрять на него по старой рутинъ; не есть только целитическая и умственная реакція, изнеможенное возвращеніе всиять къ среднимъ въкамъ, какъ, опять-таки, многіе стараются объяснить романтизмъ. Это есть цълсе упственное движеніе европейскаго міра, развитіе, совершенно иное въ началь, иное въ серединь, иное въ своемъ исходь; оно представляеть на своей почет всевозможныя политическія доктрины отъ соціализма и демократизма до крайняго феодализма и ультрамонтанства, всевозможныя нравственныя теоріи отъ безусловнаго самоотверженія и посвященія личности обществу, до поливишаго индифферентизна и эгоизна, и сколько литературныхъ школъ и философскихъ системъ. Въ средъ романтиковъ вы встрътите людей, погибщихъ на баррикадахъ и выслужившихся при дворахъ, скептиковъ и энтузіастовь віры, которыя отправлялись вы качествъ инссіонеровъ проповъдывать христіанство дикарямъ, людей самой строгой, узкой морали и необузданнаго разврата. Хотите вы, напримъръ, романтиковъ въ прогрессивномъ и даже революціонномъ духѣ--воть вамъ Шиллеръ, Байронъ, В. Гюго, Ж. Зандъ; хотите, напротивъ того, въ реакціонномъ-- Шатобріанъ, Тикъ, Ламотъ-Фукэ, Вернеръ и пр.; :хотите, напротивъ того, писателей чистаго искусства, безпристрастно объективныхъ, во всемъ умъющихъ открывать свою художественную сторону-вотъ ванъ Гете.

Что же такого было общаго между всёми образованными людьми отъ конца прошлаго вёка и до сороковыхъ годовъ, а у насъ и позже, вслёдствіе чего подъ одну категорію подвели людей столь разнообразныхъ во всёхъ отношеніяхъ? Для того, чтобы уяснить намъ романтическое движение во всей его сущности, слъдуетъ обратить внимание на тоть факть, что въ жизни европейскихъ обществъ нъсколько разъ повторялись такого рода уиственныя движенія, во время которыхъ нысль принимала направление не столько качественнаго развитія, сколько количественнаго распространенія въ нассахъ. Рядъ новыхъ идей, выработанныхъ въ предшествующіе годы-въ тиши ученых кабинетовъ, вдругъ вторгался въ жизнь съ неудержимою силой и потопляль цёлыя страны и слои обществъ. Мыслители и ученые изъ скроиныхъ и тединенныхъ разработывателей науки дёлались пламенными энтузіастани и пропов'єдниками; ц'ёдыя массы народа слішо шли за ними, но что составляеть характеристическую черту подобныхъ движеній, веська важную для объясненія романтизма-массы увлекались обыкновенно въ эпохи, подобныя XV или XVIII въкамъ, не столько логическою непреложностью проповёдываемыхъ идей, сколько тою всеувлекающею страстью, съ какою он'в проповъдывались. Вследствіе этого, идеи эти обыкновенно чемъ более обогащались въ количественномъ отношенін нассой сочувствующихъ инъ людей, тімь более теряли въ качественномъ. Огромная масса людей, увлеченныхъ движеніемъ, оказывалась далеко умственно-яецодготовленною къ воспринятию ихъ. И потому даже во время самаго сильнаго разгара движенія, только весьма ограниченный кругъ мыслителей вполнъ ясно, глубоко и всесторонне понималъ то міросозерцаніе, которое стояло во главѣ движенія. Чѣмъ далье отходите вы отъ этого круга, тымь болье поражаетъ васъ страшная путаница взглядовъ самыхъ разнокалиберныхъ. Естественно после этого, что едва только движение теряло свой страстный характеръ, масса людей, неподготовленная къ воспринятію новаго міросозерцанія, быстро возвращалась къ темъ взглядамъ, въ которыхъ коснела до начала движенія. Все пвиженіе представлялось какимъ-то страшнымъ сномъ, разсъявщимся передъ дъйствительностію, въяніемъ чаръ здыхъ волшебниковъ, гибельнымъ увлеченіемъ, избавившись отъ котораго, люди начинали ликовать и праздновать свое спасительное отрезвление.

Но неужели все движение и въ самомъ дёлъ было метеоромъ, мелькнувшимъ мгновенно и разсыпавшимся безъ следа, не оставивъ по себе даже осколковъ? Нътъ, движение совершало свое дъло: оно не успъвало, правда, сразу въ тысячахъ умовъ утвердить то міросозерцаніе, которое стояло во глав'є его, но, тімъ не менъе, оно на столько возбуждало эти умы, что заснуть они уже не могли прежнимъ безмятежнымъ сномъ. Они, правда, ликовали свое возвращение къ прежнимъ детскимъ взглядамъ, но они горько ощибались: совершенное возвращение для нихъ было уже невозможно. Они утрачивали уже ту безиятежную неподвижность, младенческую наивность и непосредственность, съ которыми прежде исповъдывали свои взгляды. Они дълались полны тревоги и сомненія, которое пробивалось наружу и заявляло себя, несмотря на все ихъ стараніе глядьть на свои убъжденія, какъ на рядъ непреложныхъ истинъ. Въ тоскъ и уныніи перебирали они эти вагляды, вев силы напрягали; чтобы примирить ихъ съ новыми успъхами мысли, но тщетно: разъ возбужденные и приведенные въ движение, они, вопреки своей води, шли впередъ, шагъ за шагомъ, теорія за теоріей, все дальше и дальше отодвигались отъ точки, на которой прежде коснъди, все болье приближались къ темъ взглядамъ, которые отвергли съ ужасомъ, и раньше или позже, когда эти возбужденные уны самостоятельно совершали весь тотъ процесь, который предшествоваль возбудившему ихъ міросозерцанію, последнее снова торжествовало, но торжество его дълалось гораздо прочиве, шире и блистательние: съ одной стороны, оно обогащалось иногини новыни изысканіями, которыя были опущены изъ виду въ моментъ перваго увлеченія новыми идеями, и были пополнены потомъ во время переходнаго процеса, а вовторыхъ, оно считало въ своенъ лагеръ не сотни уновъ съ шатающимися взглядами, а тысячи, вполнъ усвоившія его.

Романтизиъ представляется намъ именно однимъ изъ такихъ переходныхъ процессовъ, возбужденныхъ движеніемъ, слишкомъ превзошедшимъ общій уровень развитія европейскихъ массъ. Изв'єстно, что въ XVI и XVII въкахъ, если мысль развивалась и масса знаній увеличивалась, то происходило это изолированно отъ массь, въ тиши кабинетовъ, въ тесныхъ кругахъ цеховыхъ ученыхъ и немногочисленныхъ любителей просвъщенія. Беконъ, Спиноза, Декартъ, Толандъ, Локкъ, Бель, Юнъ и пр., словомъ, всё иыслители этой эпохи нграють великую роль въ развити мысли исключительно почти въ качественномъ отношении: въ количественномъ-же дёйствіе ихъ было весьма ограничено; они имъли своихъ послъдователей и поклонниковъ, но вліяніе ихъ и сравнить нельзя съ тою способностью приводить въ движение умы целыхъ массъ, какою были одарены проповъдники реформаціи или французскіе энциклопедисты XVIII въка.

Въ концъ XVII и началъ XVIII въка было, правда, въ Англіи много весьма просв'єщенныхъ людей, денстовъ и скептиковъ, освободившихся отъ средневъковыхъ преданій, но это были отдёльные, тёсные кружки философствующихъ лордовъ, не одаренные особенною энергіей пропаганды. И только перейдя на французскую почву, идеи этихъ кружковъ начали проповъдываться съ такииъ страстнымъ и всеувлекающимъ краснорвчіемъ, что обратили вскорв вниманіе на себя всей Европы и произведи всеобщее движение умовъ. Но между темъ, какъ идеи эти были плодомъ целаго продесса мысли, непрерывно развивавшейся отъ ХУ въка и до XVIII, вы подумайте, въ какомъ положеніи находились умы европейского общества въ самыхъ даже просвищенных сферахь: они очень неиного подвинулись отъ того состоянія, въ которомъ находились въ эпоху реформаціи. Находясь на чисто еще теологической почев, они готовы были увлечься всякимъ сектаторскимъ движеніемъ, считая его последнимъ словомъ истины, что ясно пеказывають такія явленія, какъ янсенизиъ, массонство, дикій и мрачный мистицизиъ Лафатера, Пфеннингера и Юнга-Штиллинга. О последненъ Шлоссеръ въ своей "Исторіи" говоритъ, что "жизнь и странствованія Штиллинга, особенно двѣ первыя части этого сочиненія, въ то безпокойное время составили эпоху и пріобрѣли себѣ совершенно

свой особенный кругь читателей. Понятія автора были понятіями народа всёхъ мёстъ и провинцій Германіи. Для народа были слишкомъ высоки основатели новой литературы, или самая литература была для него слишкомъ свътскою, а понятія Юнга-Штиллинга были очень сродни ему; поэтому, Юнгъ-Штиллингъ пріобрёль въ Германіи, какъ Пфеннингерь въ Швейцарін, гораздо болье въсу, чыть сколько заслуживали ихъ знанія, способности и форма, которую они могли дать своимъ сочиненіямъ". Въ то время, какъ передовые деятели науки делали славныя открытія въ астрономій и химіи, люди, считавшіеся образованными, върили въ магію, кабалистику, алхимію и астрологію. Личности въ родъ Калліостро и Сенъ-Жермена окружались инстическимъ туманомъ и о нихъ ходили фантастическія легенды въ образованныхъ сферахъ общества. Естественно, что после перваго увлеченія новыни пропов'єдниками, надо было ждать, что мысль пойдеть не тъмъ путемъ, который пролагали мыслители XVIII въка, а тъмъ, какой соотвътствовалъ состоянію умовъ большинства европейскаго общества, темъ более въ такихъ странахъ, какъ Германія или Италія, не просыпавшихся съ XV віка. Романтизмъ и быль именно этимъ путемъ, которымъ пошла Еврона, какъ только обаяние французскихъ идей ослабло.

Начало романтического движенім является намъ повсюду именно въ видъ стремленія освободиться отъ рабскаго подчиненія французской литературѣ, обособиться, завести свою собственную литературу, философію, науку, искусство. Вопросъ о народности является, поэтому, первымъ вопросомъ романтизма. Затемъ начинается удивительная акальгана свободныхъ идей XVIII въка со взглядами и представленіями, вынесенными изъ среднихъ въковъ, скептицизиа и въры, стремленій основать свои сужденія на свободной критикъ разума, но, виъсто этой критики-пугливаго успокоенія посредствомъ различныхъ сближеній и примиреній догматики съ фактами науки. Такимъ образонъ, ны видинъ въ романтическомъ движении мысль, находящуюся не въ застов и неподвижности, а, напротивъ того, возбужденную, энергически работающую, смёлую и гордую въ своихъ порывахъ, но которая въ то же вреия сама пугается своей собственной сиблости, сибется надъ прежничь безиятежнымъ младенчествонъ и въ то же время плачеть о немъ, какъ объ утраченномъ раж, гордится своими успаками и видить въ нихъ источникъ всякаго зла на земив. Всё поэтическія произведенія, возникція въ начал'я романтическаго движенія, отражають въ себ'в эту раздвоенность. Что такое, напримеръ, Фаустъ Гете? Это германскій ученый начала XVIII стольтія, аскеть, отрёшенный отъ жизни, закупоренный въ стёнахъ своего кабинета и тщетно старающійся постигнуть основы знаній посредствомъ своей среднев' ковой схоластики и теологіи. Разочарованный въ своей наукъ, въ отчаяные онъ видитъ исходъ въ одной смерти. И въ самонъ деле, что было делать Германів, какъ не умереть и нравственно, и физически, еслибы ей не представилось никакого исхода изъ того состоянія, въ которомъ она находилась въ началъ XVIII въка? Но воть къ фаусту является на выручку новое движение мысли, французская философія прошлаго въка, олицетворенная въ видъ Мефистофеля. Замътъте при этомъ: обновляющее движение мысли представляется въ то же время въ видъ злаго начала, ничего неспособнаго произвести съ христіанской точки зрівнія, кромі зла и гибели: вотъ гдъ романтизиъ во всей его сущности. И дъйствительно, мы видимъ, что Мефистофель, съ одной стороны, обновляеть жизнь Фауста, выводить его изъ душной кельи на веселый праздникъ жизна, но это обновление ничего не приноситъ, кромъ вла и гибели людямъ въ родъ Гретхенъ, въ которой олицетворено средневъковое состояние дътской непосредственности-ничего, кромъ угрызеній совъсти, стыда и новаго отчанья самому Фаусту. Таковъ же передъ вами и байроновскій Манфредъ: высшую, сатанинскую гордость его составляеть знаніе; въ знаніи онъ полагаетъ основание своего человъческаго достоинства, и въ немъ же онъ видитъ главный источникъ всъхъ своихъ страданій, мученій совъсти, разочарованія и проклятія, тяготіющаго надъ никъ. Припомните сцену его встръчи съ горнымъ охотникомъ. Въ последнемъ одицетворена детская непосредственность среднихъ въковъ, и совершенно върно съ характеромъ романтизма Манфредъ видитъ въ этой жизни единственную возможность счастія на земль; онъ завидуеть охотнику; но согласился-ли бы онъ промънять свою участь на его? О, нътъ, никогда! Манфредъ готовъ вынести лучше еще большія муки, чёмъ вернуться къ жизни охотника. То же самое вы видите и во иногихъ идеальныхъ герояхъ Шилдера: весь ихъ героизиъ, вся ихъ идеальность заключаются въ томъ, что они отръшаются отъ обыденной рутины жизни, но это именно и служитъ главною причиной ихъ гибели.

Я не думаю отрицать, чтобы люди никогда не гибли вследствіе своихъ возвышенныхъ стремленій или оттого, что они, по своему развитію, становятся въ разръзъ съ окружающимъ ихъ зломъ и невъжествомъ; но съ реальной точки зранія, гибель эта представляется вовсе не какимъ-либо фатумомъ, необходимымъ удвломъ всякаго мало-мальски выдающагося человъка, его же не прейдеши. Мы видимъ не мало героевъ, возвышавшихся надъ міромъ своимъ геніемъ, ученостью, развитіемъ, принесшихъ человъчеству громадную массу пользы, и это нисколько не помѣшало имъ умереть въ глубокой старости отъ какой-нибудь прозаической простуды безъ всякихъ возвышенныхъ, трагическихъ страданій. Мы можемъ найти и другихъ героевъ, умершихъ трагически, но трагическій конецъ которыхъ проистекъ вовсе не фатально изъ ихъ героизма, а отъ столкновенія различныхъ внішнихъ, часто совершенно случайныхъ причинъ, иногда даже вследствіе предразсудковъ, которые они разделяли съ своими современниками. Но, съ точки зрвнія романтизма, малейшее возвышение человека надъ тиной животнаго прозябанія, малейшее пробужденіе въ немъ мысли, чувства и человъческаго достоинства - представлялось уже чёмъ-то такимъ, удёлъ чего страдать и гибнуть. Первоначально такое представленіе вытекало, какъ им выше сказали, прямо изъ того впечатлънія, какое произвело на дътскіе умы движеніе мысли восемнадцатаго въка: движение это очаровало ихъ и въ то же время испугало своею смелостью. Это было явленіе, какое люди испытывають при всякой переивнъ въ области мысли или практической жизни: старое надобло, оно гнететь и возбуждаеть всеобщую ненависть, а новое съ одной стороны чаруетъ и влечетъ къ себъ, съ другой же - кажется чънъ-то страшнымъ, преступнымъ и гибельнымъ. Но позже, когда европейскіе уны освобождаются отъ увлеченія скептическими ндеями восемнадцатаго въка и становятся на самостоятельную почву развитія, то же самое представленіе о фатальной гибели идеальныхъ людей переносится на почву дуализна. Дуализнъ проходить сквозь все движение романтизма, вы встретите его во всекъ философскихъ системахъ, начиная съ Канта и кончая Гегелемъ, и это очень естественно: дуализмъ былъ основой міросозерцанія среднихъ въковъ; и нътъ ничего мудренаго, что умы, пробужденные идеями XVIII въка, начали свое движение отъ той точки, на которой находились до этого времени. Среднев вковые аскеты двдили обыкновенно жизнь на матеріальную и духовную, при чемъ предполагали, что матеріальная жизнь можетъ принести человъку всевозможныя блага и наслажденія, если челов'якъ ей предастся всец'яло; духовная же ничего не можеть доставить человеку, кром'в униженій, страданій, иногда же и мучительной смерти; но за то матеріальная жизнь унижаеть нравственное достоинство человъка, духовная же возвышаетъ; первая ведетъ къ въчнымъ мученіямъ въ будущей жизни, послёдняя-къ вёчному блаженству. Подъ духовною же жизнью въ средніе вѣка подразумъвали извъстный циклъ догнатическихъ добродътелей, при чемъ большая часть изъ нихъ заключалась въ подавленіи страстей и похотей, считавшихся заыми навожденіями матеріальной жизни. Но въ романтизмъ рядомъ съ мыслыю, неуспъвшею еще отръшиться отъ средневъковаго дуализма, мы видимъ въ то же время въяніе свободныхъ ндей восемнадцатаго въка, поэтому дуализиъ съ почвы догнатизма переносится на почву этихъ свободныхъ идей.

Вопреки средневъковаго идеализма, заключавшагося въ подавлении страстей, романтизмъ провозгласилъ полную и необузданную свободу ихъ; но не будучи въ силахъ отрёшиться отъ дуализма, онъ тотчасъ-же разделиль людей на две категоріи: на идеальныхъ людей, у которыхъ духовная природа преобладаетъ надъ матеріальною, и преобладаніе это выражается въ томъ, что люди эти обладаютъ сильными страстями и предаются имъ всецело, безъ размышленій и ничемъ не стесняясь, и людей грубаго матеріализма-людей толпы, жалкихъ посредственностей, или не обладающихъ сильными страстями, или подавляющихъ ихъ ради медкихъ матеріальныхъ разсчетовъ. И опятьтаки, совершенно согласно съ средневаковымъ дуализмомъ-первый родъ людей романтизмъ обрекъ на страданія и трагическую гибель, а счастіе и довольство поставиль удёломь грубой толны. Затёмь, этоть принципъ видоизмъняется съ развитіемъ мысли и съ различными ея направленіями. На почв'в исключительнаго поэтическаго движенія въ глухую эпоху реакціи ндеальнымъ человъкомъ является поэтъ, отличающися отъ прозанческой толны даромъ божественнаго вдохновенія, которое доставляеть поэту вийсти съ бездной райскихъ наслажденій, непонятныхъ толив, безъисходныя страданія и гибель-удівль всякаго поэта на

земль. Въ эпоху увлеченія философскими теоріями идеальнымъ человъкомъ, обреченнымъ страдать, терпівть и не знать пріюта—является пзбранная натура, одаренная необъятною глубиной ума, развитаго философскимъ мышленіемъ, въ противоположность грубою толпъ, счастливой своимъ невъжествомъ. Наконецъ, на революціонной почвъ романтивмъ раздъляль человъчество на избранныя натуры, неспособныя мириться съ неправдой и угнетеніями всякаго рода и вслъдствіе этого обреченныя страданіямъ и гибели, и на презрънную толпу, не только будто-бы не страдающую отъ пнета, лежащаго на ней, но извлекающаго изъ него всевозможныя выгоды.

Влизкимъ родственникомъ дуализма является индивидуализмъ, который преобладаетъ во всемъ романтическомъ движеніи и въ свою очередь имъетъ двоякое происхожденіе: съ одной стороны, онъ выносится изъсреднихъ въковъ, въ основаніяхъ върованій которыхъ стояло на первомъ планъ ученіе о свободной волъ человъка и о зависимости настоящей и будущей жизни его отъ него самого; но даруя человъку свободную волю, средніе въка налагали на него рядъ догматическихъ обязанностей, отъ которыхъ человъкъ, хотя и былъ свободенъ отступить, но не иначе, какъ подъ страхомъ разныхъ наказаній: освободившись отъ средневъковаго догматизма—романтизмъ расширилъ сферу индивидуализма, обративши ее въ необузданную анархію личности.

Отсюда проистекаетъ представление прогресса исключительно въ видъ умственнаго и нравственнаго развитія отдільных личностей. Романтизмъ предполагалъ, что масса дика, темна, матеріальна-не отъ чего иного, какъ оттого, что она состоитъ изъ милліоновъ посредственностей, неспособныхъ выбиться нэъ грубаго матеріализма и невѣжества; а каждый отдельный индивидуумъ, мало-мальски одаренный недюжинными силами, среди какой-бы обстановки онъ ни родился, непремённо долженъ выбиться изъ своей среды, возвыситься надъ толпой, развиться и сдълаться героемъ. Отсюда и вытекаеть взглядъ на прогрессъ, какъ на исключительную привилегію избранныхъ натуръ; по мненію романтизма, всю всемірную исторію создаєть рядъ генієвъ, ведущихъ за собою толиу; толпа поклоняется генію, бъжить за нимъ, пользуется его дарами, нисколько въ то-же время не способная оцёнить эти дары-и остается между тёмъ все такою-же безсмысленною, слепою толпой, какою была она при Нинв и Семирамидв.

Далъе затътъ, какъ на существенную принадлежность романтизма, мы должны обратить вниманіе на преобладаніе воображенія, созерцательности и аффекта надъ разсудочныть анализомъ. Это, опить-таки, вполнъ соотвътствуетъ младенческому состоянію мысли, хотя и возбужденной, работающей, но не осиливние еще матеріала, надъ которымъ она трудится. Опытная наука третируется романтизмомъ, какъ нѣчто низшее, служебное, матеріально грубое и безсильное и сміщивается съ эмпиризмомъ невѣжественныхъ массъ; выше-же всего ставится знаніе, непосредственно вытекающее изъ глубины духа, совершенно аналогичное съ средневѣковымъ откровеніемъ; въ силу этого на почвѣ романтизма возникаетъ рядъ фантастическихъ

философскихъ системъ, претендующихъ опредёлить вселенную а priori во всей ся сущности. Вообще въ романтизмъ мы видимъ не столько анализъ жизни, сколько созерцание ея, и притомъ романтизмъ любилъ созерцать жизнь не во всёхъ ея проявленіяхъ, а останавливаться на такихъ явленіяхъ, которыя особенно поражали воображение или возбуждали чувствительность. Совершенно ложно поэтому думать, что романтизмъ любилъ одни только средніе въка съ рыцарями, замками и мертвецами, бродящими въ развалинахъ. Онъ бралъ предметы для своего созерцанія изо всёхъ эпохъ и мёстностей, гдё только онъ могъ найти чтолибо потрясающее и раздирательное: любиль онъ созерцать и древніе віка съ ихъ трагическими героями, тріунфами и языческими вакханаліями, и Востокъ съ его пестрою роскошью, фатализионъ и фантастичностью арабскихъ сказокъ, любилъ, вивств съ Шатобріановъ и Куперовъ, д'явственныя пустыни Америки съ ихъ величественною природою и кровожадными дикарями, и альпійскіе ледники съ ихъ пропастями и кипучими ручьями, и дикія вершины Кавказа. Ставя въ жизни на первый планъ избранныя натуры съ недюжинными силами, романтизмъ не всегда ограничивался однъши идеально-прогрессивными личностями, очень часто онъ восторгался проявлениемъ всякой силы, выходящей изъ уровня и поражающей воображеніе, хотя-бы сила эта им'єда въ жизни значеніе чисто отрицательное; поэтому, романтизмъ возводилъ въ идеалъ неръдко негодяевъ, злодъевъ и изверговъ всякаго рода и любовался ими.

Въ тъсной связи съ преобладаниемъ фантазии въ мышлении стоитъ наклонность къ мистицизму, которая составляетъ, опять-таки, одинъ изъ существен-

ныхъ признаковъ романтизма.

Всѣ вышеупомянутые признаки — раціонализмъ, дуализиъ, индивидуализиъ, преобладание воображения и аффекта въ мышленіи, наклонность къ мистицизму и составляють именно существенный характерь эпохи романтизма, то общее, что послужило къ соединенію подъ одну рубрику людей, значительно отличавшихся другъ отъ друга по своимъ политическимъ; моральнымъ и литературнымъ взглядамъ. Мы далеки отъ того, чтобы сказать, что всё эти признаки входять всецъло въ каждое явленіе на почвъ романтизма. Тъмъ не менте, возьмите любое явленіе этой эпохи (не исключая даже различныхъ теорій соціализна, возникшихъ въ то время, въ особенности теорій Сенъ-Симона и Фурье) — въ каждомъ вы найдете преобладание одного или другого изъ вышеприведенныхъ признаковъ. Здёсь изъ области общности, связывающей въ одну эпоху цёлый рядъ разнородныхъ явленій, мы входимъ въ область частностей, заключающихся въ этой общности. Частности эти, т.-е. разнообразіе формъ и видоизмёненій романтизма, зависять съ одной стороны отъ того, что романтизмъ не былъ определенною, замкнутою въ себъ теоріей, а представляль развитіе, изм'єненіе европейской мысли; съ другой стороны, романтизмъ обнималъ въ своемъ движении различныя страны и слои европейскихъ обществъ и видоизмѣнялся сообразно съ тѣми или другими условіями

Именно вследствие того, что романтизмъ не былъ

замкнутою въ себъ теоріей, а быль движеніемъ, чрезвычайно трудно опредблить его начало, развитие и исходъ. Съ одной стороны онъ уходить въ глубь XVIII въка, гдъ безраздъльно сливается съ возбужденіемъ европейской мысли въ эпоху энциклопедистовъ. Но, какъ движение мысли отъ средневъковато міросозерцанія, романтизмъ уходить и далье, сливаясь съ средними въками, что и подало поводъ писателямъ романтической эпохи глядёть на романтизмъ, какъ на такое общечеловъческое міросоверцаніе, начало котораго относится къ первымъ въкамъ христіанства и которое составляеть существенное отличіе ново-европейской цивилизаціи отъ классическаго міра. Поэтому, на всю среднев ковую литературу Европы смотр вли, какъ на романтическую, а въ современномъ движеніи литературы видёли возрождение средневёковаго романтизма; наконецъ, окрестили всю эпоху именемъ романтизма, происшедшимъ, какъ всемъ известно, отъ преобладанія въ средніе вака въ Европ'я романской или провансальской поэзіи. Съ своей точки эрвнія, романтики были правы: судя по тёмъ основнымъ признакамъ, которыми ны выше охарактеризовали романтизмъ, действительно, въ средневековыхъ формахъ мышленія можно найти много общихъ признаковъ съ формами мышленія и поэзіи эпохи новаго романтизма. Но романтики опустили при этомъ то существенное, радикальное отличіе среднев коваго романтизма отъ новаго, что первый быль эпохой возникновенія и утвержденія тёхъ самыхъ формъ мышленія, съ которыхъ последній началь и представиль собою совершенно напротивъ эпоху паденія ихъ, исхода изъ нихъ европейской мысли:

Не иенъе трудно опредълить всъ фазы развития романтизма, строго отделивши то, что было органическимъ и последовательнымъ развитиемъ, отъ различныхъ колебаній и видоизм'єненій мысли всл'єдствіе вившинкъ вліяній. Мы можемъ только сказать, что существенный характерь развитія заключался въ томъ, что мысль, по мере накопленія знаній, становилась болье и болье на почву книукціи и, вижсть съ темъ, сами собою парализовались всё тё признаки, которыми мы выше охарактеризовали романтизмъ. Виъсто метафизики, которую романтизиъ поставиль въ оппозицію скептическому матеріализму энциклопедистовъ, возникъ впослъдствіи позитивизмъ. Виъсто дуализма, является идея о единствъ мірозданія и школа Гегеля представляеть переходъ къ этой идей: не въ силахъ избавиться впелит отъ дуализма и представляя матерію, все-таки, не чёмъ инымъ, какъ самоопредёленіемъ духа путемъ противоположенія своему духовному бытію бытія матеріальнаго, гегелевская философія кладеть, однакоже, основаніе идев о единствъ вселенной, представляя ее развитіемъ одного абсолюта. Далбе на мъсто индивидуализма является поставленіе умственнаго и нравственнаго развитія личности въ тесную и неразрывную связь съ развитіемъ всей общественной среды.

Но, опять-таки, опредёлить точно границу исхода романтизма и сказать, что воть до сихъ поръ господствоваль романтизмы, а съ сихъ поръ начинается реализмъ, такъ-же невозможно, какъ и опредёленіе начала романтизма. Позднёйшіе романтики западной Европы, напримърт, французскіе беллетристы тридцатыхъ годовъ или современные германскіе, стоять уже во многихъ отношенияхъ на реальной почвъ. Вы замъчаете въ нихъ стремление анализировать жизнь на основаніи опыта и наблюденія и принятіе въ соображеніе вліянія на личность общественныхъ условій; но рядомъ съ этимъ вы видите въ ихъ произведеніяхъ, по прежнему, очень часто преобладание такихъ эффектовъ, которые служатъ не для чего иного, какъ для потрясенія нервовъ; по прежнему являются у нихъ иногда герои, ихъ-же удёль гибнуть, потому что они возвышаются надъ пошлою толной. Викторъ Гюго и до сихъ поръ не можетъ обойтись безъ того, если можно выразиться, изступленія фантазіи, какую вы встръчаете во иногихъ ивстахъ его последняго романа "L'homme qui rit", безъ тъхъ чудовищныхъ героевъ, какіе являются во всёхъ его романахъ. Жоржъ Зандъ тёмъ и отличается отъ позднейшихъ приверженцевъ женской эмансипаціи, что въ то время, какъ последніе ставять женскій вопрось на общественную почву расширенія гражданскихъ и политическихъ правъ женщинъ и обезпеченія ихъ самостоятельности путемъ организаціи женскаго труда. — Жоржъ Зандъ обращаетъ главное вниманіе на чисто индивидуальную сторону свободы страстей отъ гнета предразсудковъ; это именно и есть тотъ вопросъ, съ котораго началь романтизнь свое движение подъ вліяніемъ скептическихъ идей XVIII въка. У нъмецкихъ беллетристовъ нынъшняго времени, въ свою очередь, вы найдете обильные остатки романтизма, что-замъчаю для моихъ читателей, предубъжденныхъ противъ романтизма --- нисколько не уменьшаетъ многихъ достоинствъ ихъ произведеній, подобно тому, какъ романтизмъ нисколько не ившаетъ быть великими писателями Гете или Байрону. Но представить, себъ точно и определенно границу между романтизмомъ и реализномъ становится еще труднъе, если мы возымемъ въ соображеніе, что вся современная намъ цивилизація обнимаетъ собою весьма незначительное меньшинство народонаселенія Европы. Огромныя массы еще и не начинали своего развитія—и можно предположить съ большою достовърностью, что стоить только случиться большому приливу въ русло умственнаго движенія свъжихъ и нетронутыхъ еще силъ, нътъ ничего мудренаго, что снова на первый планъ встануть тв переходные процессы мысли, которые будуть имать, можеть быть, иныя формы, иныя названія, но, тімь не ненье, будуть во многомъ соотвътствовать тому, что ны называенъ романтизмомъ.

Что-же касается вліянія тіхь или другихь общественныхь условій на характерь романтическаго движенія, то въ этомъ отношеніи романтизить представляеть еще боліе видовъ и развітвленій, чімь въ своемъ логическомъ процессів. Можно положительно скавать, что каждая страна Европы и каждый слой общества въ той или другой странь иміли свой собственный романтизить. Возьмите, напримітрь, Германію, разобщенную на мелкія деспотическаї, феодальных государства, чуждую всякихъ общественныхъ интересовъ, которые двигали бы массами. При всеобщемь застой патріархальныхъ правовъ и понятій, вся умственнам жизнь этой странь сосредоточивалась въ униственнам жизнь этой странь сосредоточивалась въ уни-

верситетскихъ городахъ, и эта умственная жизнь витьсто того, чтобы входить въ общественныя отношенія и анализировать ихъ, напротивъ того, старалась отръшиться отъ всего окружающаго въ отвлеченныя сферы космическаго созерцанія. Люди искали въ наукѣ или искусствъ забвенія оть окружающаго ихъ омута жизни. При такихъ условіяхъ естественно, что романтизмъ принялъ въ Германіи характеръ отвлеченномистическій, туманный, стремящійся покинуть тлінный міръ со всёми его сквернами, унестись въ неопредёленную даль и разлиться тамъ въ безпредёльности вселенной. Совершенно иной характеръ имълъ романтизмъ въ Англіи, гдъ, рядомъ съ широкимъ развитіемъ политическихъ и гражданскихъ правъ общества, господствоваль аристократическій строй съ его въковыми, освященными древностью преданіями и цълымъ кругомъ условныхъ, чопорныхъ понятій узкой морали, обычаевъ и приличій, стёснявшихъ и порабощавшихъ дичность. Здёсь романтизмъ имёдъ постоянно общественный, политическій характерь, разв'ятвляясь на двъ вътви: съ одной стороны, онъ представляль апочесть феодализма и аристократіи въ романахъ В. Скота; съ другой — подъ пероиъ Байрона онъ выразиль энергическій, пламенный протесть личности противъ гнета узкой морали, обычаевъ и приличій. Во Франціи, въ которой общественные интересы тоже стояли на первомъ планъ, романтизмъ имълъ характеръ или ультрамонтанства и феодализма, какими представляются намъ произведенія Шатобріана, или, напротивъ того-въ немъ выразился протестъ личности противъ всякаго рода угнетенія, какими и являются произведенія В. Гюго и Ж. Занда.

Въ заключеніе мы должны обратить вниманіе и на то, что романтизмъ носилъ иной характеръ въ сытыхъ и праздныхъ классахъ общества, иной въ средъ трудящихся и голодныхъ. Въ однихъ слояхъ онъ принималъ характеръ праздной соверцательности, маниловской мечтательности, утонченнаго эпикурензма, эстетическихъ наслажденій, разъёдающей рефлексіи или безшабашнаго оправданія необузданнаго разврата припципомъ свободы личности. Въ другихъ-же слояхъ, напротивъ того, онъ носилъ характеръ мрачнаго аскетизма, добровольнаго ниценства и отръшенія отъ своей личности во ими идеальныхъ стремленій.

Я прошу у читателей извиненія, что мит пришлось слишкомъ много распространяться о романтизив и развить при этомъ рядъ идей элементарныхъ и, конечно, извъстныхъ каждому маломальски образованному человъку. Я полагаю, что повторение этихъ идей дъло нелишнее, если взять во вниманіе, какія смутныя, неопределенныя и поверхностныя интенія ходятъ у насъ о различныхъ литературныхъ школахъ и направленіяхъ. Мы до сихъ поръ еще не можемъ усвоить себѣ того истиннаго анализа, который разбираетъ явленія по ихъ существеннымъ признакамъ и помнитъ при этомъ, что онъ имбетъ дело не съ кучей хлама, состоящаго изъ разнородныхъ предметовъ безъ всякой между собою связи, а съ органическими явленіями, вліяющими другь на друга и незам'єтно переходящими одно въ другое. Мы привыкли судить о предметахъ, подводя ихъ подъ узкія рубрики по внѣшнимъ, случайнымъ признакамъ, и совершенно успокоиваемся, думая, что вполнѣ отличили Ивана отъ Петра, замътивши, что у Ивана носъ кверку, а у Петра книзу. Такъ поступаемъ мы во всемъ, между прочимъ и въ нашихъ сужденіяхъ объ отечественной литературъ. Когда-то въ школъ насъ учили, что русская литература пережила следующія видонзивненія: сначала господствоваль у насъ ложный классицизмъ, представителями котораго были Кантемиръ, Ломоносовъ, Сумароковъ и Державинъ; затемъ Карамзинъ введъ сентиментальное направление; потомъ явился Жуковскій и подариль намь романтизмь; затімь Пушкинъ и впосабдствіи Лермонтовъ подражали Байрону; съ Гоголя-же и Бѣлинскаго литература приняла реальное направление и съ тёхъ поръ мы всё истые реалисты. Но какое значение имъла эта сибна направленій, почему шла она такъ, а не иначе, не наоборотъ, отъ реализма къ классицизму - объ этомъ мы не отдаемъ себъ никакого отчета. Для насъ достаточно, что существують эти рубрики и что очень легко сортировать и подводить подъ нихъ что угодно. Гончаровъ никогда не писалъ ни балладъ, ни поэмъ въ духъ Жуковскаго, а писалъ романы, въ которыхъ изображалъ окружащую его жизнь-какой-же онъ романтикъ? Очевидно, реалистъ школы Гоголя. Жуковскій не написаль ни одной оды или трагедін по пінтикъ Буало-очевидно, онъ не ложный классикъ, а романтикъ и т. д. Имъя въ виду такого рода упозаключенія, я и почель необходимымъ представить характеристику переходной эпохи первой половины нынёшняго стольтія по существеннымъ ея признакамъ для того, чтобы очистить поле для анализа литературныхъ явленій нашей жизни въ эту эпоху отъ всёхъ внёшнихъ и условныхъ рубрикъ, утвержденныхъ рутиной. Принявши во вниманіе эту характеристику, читатели не будутъ удивлены, если первый толчокъ къ романтическому движенію въ Россіи мы увидимъ не со стороны Жуковскаго, а въ эпоху царствованія Екатерины; если, затъмъ, полное развитіе романтизма окажется именно въ сороковые годы, въ эпоху Гоголя и Белинскаго; исходъ-же романтизма, мы увидимъ не въ прекращеніи "Телеграфа" Полеваго или смерти Лермонтова, а развѣ что въ умственномъ движеніи нашего времени; да и то далеко еще нельзя сказать, чтобы романтизмъ кончился и быль явленіемъ историческимъ и давно отжившимъ.

III.

Характеристика нашего общества при вступлении на престолъ Екатерини.—Жалкое значение литературы въ то времи.—Начало умственнаго брожения подъ вліяніемъ экциклопедистовъ.—Скептики и мистики.—Необходимость различать умственное движене въ отдільныхъ кружкахъ отъ движенія всего общества.—Йден Карамвина, какъ первые задатки романтивна.—Эначеніе Жуковскаго въ романтическомъ движеніи.—Романтическій идеаль во второй періодъ царствованія Александра I, его отношеніе къ общественному биту и вліяніе на жизнь и литературу.

Въ половинѣ XVIII вѣка, когда идеи французскихъ энциклопедистовъ, пронесшись черезъ всю Европу, отозвались и у насъ, общество наше, какъ по складу жизни, такъ и по своему міросозерцанію, было еще въ большей степени среднев ковымъ, чёмъ въ Германіи. Последняя, все-таки, успела пережить сильное умственное брожение въ эпоху реформации; въ Германии было иножество школъ и университетовъ, своя наука, философія, литература, и хотя умы были подавлены узкими, тесными рамками схоластики и теологіи, но, все-таки, они работали и двигались въ этихъ рамкахъ; наконецъ, какъ ни тяжелъ былъ гнетъ устарвлыхь феодальныхь формь быта, онь быль ничто передъ твиъ чисто азіятскимъ строемъ, который господствоваль въ Россіи до воцаренія Екатерины. Это была эпоха поголовнато рабства, во время которой никто не быль обезпечень ни за свою жизнь, ни за свою спину, ни за свое имущество, начиная отъ крестьянина и до любаго временщика, ръшавшаго судьбы массъ. Это было общество грубое до звърства, суевърное до крайняго фетишизма. Въ этомъ обществъ не было ни мальйшаго понятія о чувствь человьческаго достоинства, чести и нравственной независимости; напротивъ того, робкая приниженность, грубая лесть и прихлебательство считались лучшими достоинствами человъка, признаками ума и практичности, въ то время, какъ звърская жестокость съ низшими считалась признакомъ характера и внушала глубокое уважение. Если хотите, то и въ этомъ обществъ былъ свой прогресъ, состоявшій въ томъ, что полудикіе люди перенимали вижшнія формы европейскаго общежитія, обзаводились европейскою мебелью и домами на европейскій манеръ, следили за изменениемъ парижскихъ модъ и старались устроить нѣчто подобное европейскимъ развлеченіямъ и удовольствіямъ. Въ этомъ отношеніи общество дёлилось на два слоя: на массу консерваторовъ, которые всю свою нравственность видели въ строгомъ и суровомъ соблюдении мрачныхъ и узкихъ дъдовскихъ обычаевъ и нравовъ въ духѣ Домостроя, и на прогресистовъ, которые, напротивъ того, не хотъли знать никакихъ правственныхъ правилъ, видъли въ этомъ особенный шикъ и, подражая обычаямъ высшаго парижскаго общества, представляли картину нравовъ, далеко превосходившую своею чудовищною распущенностью парижское общество того времени, потому что здёсь разврать не быль облечень въ тё утонченно-изящныя и игривыя формы, какъ это было въ Версалъ, а напротивъ того, это былъ голый, наглый и звёрскій разврать варваровь, соединенный съ циническимъ разгуломъ самаго грязнаго свойства и безчеловичень, которому ничего не стоило допанвать до смерти какихъ-нибудь безобразныхъ шутовъ и скомороховъ или превращать живыхъ людей въ ледяныя статуи. Средоточіємъ подобнаго прогресса быль юный, только-что обстроивавшийся Петербургъ; средоточиемъже консерватизна въ духв Домостроя и тогда уже была Москва; и это очень естественно: въ Москвъ остались вст, которые не пошли за Петромъ въ Питеръ и не увъровали въ его реформы; въ Москву-же удалялись постоянно всё недовольные и опальные. Конечно, нечего и товорить о темъ, чтобы въ подобномъ обществъ могла существовать какая-нибудь литература. Какъ? А Кантемиръ, Ломоносовъ, Тредьяковскій, Сумароковъ?.. Но развѣ это была литература? Развѣ можно назвать такимъ именемъ тотъ фактъ, что въ Россіи, въ первой половинѣ XVIII вѣка, было 301

четыре человъка, развившихъ въ себъ вкусъ къ риеиоплетству и сочинявшихъ весьма нескладныя вирши, налииси къ иллюминаціямъ, высокопарныя оды; читавшіяся двумъ-тремъ вельможамъ, у которыхъ эти люди удостоивались иногда отобъдать, или ставившіе на сцену надутыя, уродливыя трагедін, которыя еслибы и совствить не являлись на сцену, то публика ртшительно не заметила бы этого, вполне довольствуясь доморощенными мистеріями, въ родё "О исті въ будущей жизни" или "Воскресеніе мертвыхъ" и т. п. Въ массъ общества ръдко кто даже и зналъ о существованіи этихъ людей; изръдка долетала въ какой-нибудь городъ громкая ода "На побъду", и грамотные люди читали ее, не отдавая себъ отчета въ томъ, была-ли эта ода добровольнымъ выражениемъ восторга пінты, или-же пінта написаль ее по приказанію начальства, и ода представляла изъ себя не что иное, какъ стихотворную реляцію. А если кто и зналь о существованін этихъ людей и что они такое, то одни смотръли на нихъ съ презрвніемъ, смешивая ихъ съ шутами и скоморохами, другіе-же, напротивъ того, завидовали имъ, видя въ ихъ занятіи лестную и редко для кого доступную возможность при маленькомъ чинт вертъться при дворъ, възнатныхъ домахъ, а при умъньъ устроиться или, по крайней-мёрё, снискать милостивую подачку. Сами-же но себъ эти пінты, если сдълали какую-нибудь услугу для будущаго существованія литературы, то развѣ только ту, что своими опытами и упражненіями коть немного обработали языкъ и сдълали его годнымъ для литературнаго изложенія мыслей, превышающихъ обыденный уровень понятій. Въ этомъ отношении труды ихъ имъютъ такое-же значеніе, какое въ жизни отдёльнаго человёка представляютъ классныя упражненія. Единственнымъ русскимъ человъкомъ, стоявшимъ выше всёхъ головой, по своему образованію и учености, быль Ломоносовъ. Но главная заслуга, которою более всего обязана ему Россія, заключалась не столько въ его литературныхъ трудахъ, сколько въ лекціяхъ, которыя онъ читалъ въ академіи, да въ кабинетныхъ беседахъ съ разными вельможами-благод телями, которыхъ Ломоносовъ постоянно побуждаль заботиться о распространеніи просвъщенія въ Россіи и, наконецъ, договорился до учрежденія перваго въ Россіи университета.

И такова была сила гуманныхъ идей XVIII вѣка, что онѣ могли проникнуть даже въ этотъ полудикій, полуавіятскій міръ, въ страну, гдѣ не существовало почти ни школъ, ни науки, ни литературы, ни читающей публики, и мало того, что проникнуть, но возбудить первое умственное броженіе, которое съ тѣхъ

поръ не прерывалось.

Правда, что напи первые скептики и вольтеріанцы были не что иное, какъ поверхностные диллетанты. Идеи, которыя они воспринимали, читая Монтескье, Вольтера и Руссо, не особенно глубоко проникали вънихъ. Они не дълались особенно ревностными и неумодимыми пропагандистами этихъ идей; напротивътого, ихъ умственные интересы имъли характеръ свътскихъ забавъ, блеска остроумія, иронія и суетнаго тщеславія. Въ то-же самое время вся жизнь ихъ радикально противоръчила идеямъ, вычитываемымъ ими изъ любимыхъ книжекъ, жизнь, полная ослъпитель-

ной полуазіятской роскоши, ложившейся тяжелымъ гнетомъ на народныя массы, узкаго своекорыстія, рабской приниженности передъ высшими и барской надменности съ низшими; наконецъ, жизнь, преисполненная крипостных принциповъ, которые, вопреки всякимъ гуманнымъ идеямъ, не только не падали, а напротивъ того, еще больше развивались и утверждались. Не говоря уже о противоръчіи имсли и жизни, въ самомъ унственномъ мірѣ этихъ людей новые идеи и взгляды свободно уживались съ дикими предразсудками и суевъріями. Все это было весьма естественно, если мы примемъ въ соображение полное отсутствие всякой умственной подготовки въ нашемъ обществъ того времени для воспринятія какихъ-бы то ни было идей. Подумаемъ только о томъ, что наши просвъщенные люди того времени принимались за чтеніе Вольтера и Руссо прямо съ какого-нибудь часослова или четын-миней. Одинъ изъ лучшихъ писателей того. времени, Фонъ-Визинъ, кончилъ курсъ училища, не вынеся даже такого элементарнаго знанія-куда течеть Волга. Могли-ли нёсколько гуманныхъ и скептическихъ формулъ, неподкръпленныхъ въ темныхъ головахъ нашихъ дъдовъ никакими знаніями, перевернуть разомъ нравы, привычки, убъжденія и взгляды, утвержденные цълыми въками? И потому, говоря объ умственномъ броженіи, возбужденномъ у насъ въ ХУІП въкъ, им должны принимать это броженіе не въ томъ смыслѣ, чтобы появилось нѣсколько людей, глубоко усвоившихъ и проникнувшихся гуманными идеями XVIII въка, они начали ревностно проповъдывать эти идеи, число ихъ последователей стало возростать ит. д. Ничего этого не было: и люди, читавшіе французских в энциклопедистовъ, и люди, переводившіе ихъ на русскій языкъ, очень смутно понимали тѣ книги, какія были въ ихъ рукахъ, очень часто въ концѣ-концовъ пугались ихъ и добродушно каялись въ увлеченіи ими, какъ въ смертномъ гръхъ. Но, тъмъ не менъе, умственное движение было возбуждено въ томъ смыслъ, что въ образованиъйшихъ людяхъ того времени, какъ ни мало ихъ было, возникла идея, что, кроит собственнаго семейнаго мірка, существуєть отечество н общество, которымъ обязанъ человъкъ служить и приносить пользу, что, кроий однихъ матеріальныхъ заботь и развлеченій, существують уиственные и правственные интересы и наслажденія. Возникаетъ цёлый рядъ учрежденій въ дух'в гуманныхъ идей XVIII в'вка; устроиваются училища, школы, заводятся типографіи и книжныя лавки. Является сатира, бичующая свътскую пустоту, какъ отсутствіе умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, невѣжество, взяточничество и жестокое обхождение помъщиковъ съ крестьянами. Наконецъ, что всего важнѣе, возникаетъ какоето слабое подобіе борьбы различныхъ цаправленій мысли. Здёсь опять выступаеть на сцену различіе въ дукъ и направлении имсли между Москвой и Петербургомъ. Въ то время, какъ въ Петербургѣ, при дворѣ н въ высшемъ обществъ, зачитываются французскихъ энциклопедистовъ и видятъ въ нихъ последнее слово философіи и науки, въ Москв'я сосредоточивается оппозиція противъ этого увлеченія французскими идеями. Какъ прежде старов рческая, консервативная Москва, преисполненная воспоминаній прошлаго на каждомъ

своемъ углё и перекресткі, крамольничала противъ Петербурга, негодуя на его заморскія нововведенія и нравственную распущенность, такъ и теперь таже Москва возстала и противъ уиственнаго движенія, возникшаго подъ вліяніемъ Запада. Эта оппозиція приняла форму массонства; но хотя форма эта была заимствована, въ свою очередь, съ Запада, содержаніе, скрывавшееся подъ нею, было чисто русское, какъ нельзя более соответствующее общему уровню развитія общества: въ томъ, что пропов'ядываль Новиковъ и друзья его, выразилось вполнъ то схоластическое, среднев вковое міросозерцаніе, которое принадлежало большинству образованных в людей того времени. Это міросозерцаніе, чисто заиконоспасское, если можно такъ выразиться, отвергало не однѣ только скептическія иден, которыя естественно могли ужасать его дерзкимъ и разрушительнымъ отношеніемъ къ различнымъ его заповъднымъ предметамъ; съ одинаковымъ недовърјемъ невъжества отнеслось оно и къ такимъ отраслямъ знанія, которыя въ Европъ въ то время давно уже не только получили право гражданства, но вошли въ составъ элементарныхъ сведеній, обязательныхъ для всякаго нало-нальски образованнаго человъка. Вотъ что писалъ, напримъръ, Новиковъ, въ 1814 году, въ одномъ изъ своихъ писемъ Карамзину по поводу успёховъ, которыхъ достигло въ то время естествознаніе:

«Съ позволенія нашихъ почтенныхъ астрономовъ, они изволять бредить, находя болье семи планеть, находя и видя неподвижныя зв'єзды, и жалуя ихъ солнцы. Ни больше, ни меньше семи планеть быть не можеть, понеже Богь ихъ сотвориль только семь и наполниль ихъ силами, каждой приличными. Неподвижныхъ звъздъ быть не можетъ, ибо неоспоримая истина: что не имъетъ движенія, то мертво, понеже жизнь есть движеніе. Они пожаловали и самое солнце въ счастливъйшую планету бездъйственную, ибо, что не имбеть движенія, то не имбеть и дъйствія... Нынъшніе физики, не довольствуясь четырьмя стихіями, которыхъ Богъ сотвориль четыре только, а не болье, совствы ихъ разжаловали изъ стихий за то только, что, по ихъ высокой наукъ, что можеть дёлиться, то не есть стихія. Какая слёпота и какое нищенское понятіе о стихіяхъ! Однако, они наградили насъ почти сотнею стихій. Химики все прежнее отбросили и надълили насъ пустыми газами, т.-е. пустыми словами, неимѣющими ни значенія, ни силы. И кто можеть всё ихъ бредни исчислить? не письмами, но фоліантами разв'я можно описать оныя».

Не забудьте, что такія удивительныя вещи высказываль не более, какъ 56 леть тому назадъ, Новиковъ, человекъ, стоявшій во главе деятелей нысли временъ Екатерины. Вы подумайте послѣ того, каковъ-же быль уровень умственнаго развитія въ массахъ обыкновенныхъ людей, стоявшихъ ниже Новикова и по уму, и по нравственной энергіи, и по образованію. Зам'вчателень здісь также и тоть факть, что такое гоненіе на элементарные факты знанія, преподающіеся нын' гимназистамъ первыхъ трехъ классовъ гимназій, высказываль не какой-нибудь извращенный врагь прогресса, видящій единственное спасеніе въ нев'єжеств'в и застов, а напротивъ того, челов'єкъ, всю свою жизнь посвятившій развитію просвещенія въ своемъ отечестве, издававшій съ этою цълію сатирическіе журналы, сборники историческихъ

памятниковъ до-петровской Россіи, стоявшій во главъ общества, главнъйшею дъятельностью котораго было издавать переводныя и оригинальныя книги, и книги эти не только продавать, но раздавать даромъ для возбужденія въ обществѣ интереса къ чтенію. Въ этомъ поразительномъ совпаденіи стремленія къ прогрессу и образованности съ гоненіемъ противъ идей и наукъ, въ которыхъ и заключался именно весь прогрессъ того времени, им видимъ наглядный примъръ того способа вліянія, какое производять цивилизующія идеи на людей, недоразвившихся еще до нихъ. Большинство русскаго общества съ такий передовыми людыми, стоявшими во главъего, какъ Новиковъ, Тургеневъ, Лопухинъ, Гамалей, не могло, по своей крайней неразвитости, отнестись иначе къ передовымъ ндеянь западной образованности, какъ враждебно, но, темь не мене, оно само сделалось жертвой движенія этихъ идей въ томъ отношении, что прежде оно относилось съ непосредственною детскою верой къ своимъ допотопнымъ взглядамъ, нисколько не думая, чтобъ ихъ кто-нибуль могъ осмедиться опровергать: теперьже отношение къ этимъ взглядамъ ибияется: къ нимъ начинають относиться съ энергіей и страстью проповъдниковъ, начинаютъ вдумываться въ нихъ, развивать ихъ, защищать, распространять, однинъ словонъ, мысль переходить изъ состоянія апатичнаго косненія въ движение и движение это, начавшись естественно съ того пункта, на которомъ мысль стояла прежде, должно было придти раньше или позже именно къ тънъ санымъ идеямъ, противъ которыхъ оно первоначально такъ энергически возставало.

Уиственное броженіе, начавшись такимъ образомъ съ воцареніемъ Екатерины, проходить сквозь все ея царствованіе, нося постоянно одинъ и тотъ-же характеръ раздвоенности, между скептицизмомъ въ духѣ XVIII вѣка и инстицизиомъ различныхъ видовъ и оттънковъ, нежду западничествомъ, увлекавшимся до самозабвенія всёмь иностраннымь, и старовёрствомь, глухо ворчавшимъ на рабскую подражательность Западу, отсутствие самобытности и самостоятельности, и превозносившимъ все русское передъ иностраннымъ. Но скептицизмъ и мистицизмъ, западничество и старовърство, во всю эту эпоху находятся въ такойъ тъсномъ и хаотическомъ смешении другъ съ другомъ, что весьма трудно опредёлить, гдё кончался одинъ элементъ и начинался другой. Одни и тъ-же люди дълались то скептиками, то мистиками, то увлекались реформами по западнымъ образцамъ, то вопили противъ подражанія всему иностранному; въ то-же время большинство инстиковъ и скептиковъ, реформаторовъ и старов вровъ являлись высокопарными риторами ходульнаго патріотизма на словахъ и своекорыстными практиками-рутинерами въ жизни, соискателями теплыхъ мъстечекъ, приверженцами табели о рангахъ, знаковъ отличій и узкихъ родовыхъ и сословныхъ предразсудковъ.

Царствованіе Александра I богато внутренними и внѣшними событіями, имѣвшими огромное вліяніе на кодъ развитія нашего общества. Многіе находять даже большую аналогію между эпохой Александра I и нынѣшнимъ временемъ въ томъ отношеніи, что русское общество въ то время жило том-же, будто бы, на-

пряженною жизнью, обращая главное внимание на различные общественные вопросы, какъ и въ наше время, и при этой аналогіи находять, что хотя наше время отличается оть эпохи Александра I твиъ, что иы сдълали иногое, о чемъ въ ту эпоху только мечтали, но, съ другой стороны, въ то время реформы предполагались въ сферахъ высшихъ гораздо въ болъе широкомъ и радикальномъ видь, чемъ въ наше время позволяють себъ помышлять иногіе граждане, считающіе себя прогрессистами и либерадами. Но при этомъ, становится рѣшительно непонятнымъ, куда-же потомъ дѣлось все это движение въ нашенъ обществъ? Неужели пять какихъ-нибудь лётъ реакціи подъ свёжими еще впечатленіями эпохи Александра I могли произвести то, что въ тридцатые годы лучшіе и передовые люди, вышедшіе изъ эпохи Александра и воспитанные ею, могли сразу утратить всё прежніе интересы и явиться людьми, совершенно чуждыми и индифферентными къ какимъ-бы то ни было живымъ общественнымъ вопросамъ? Конечно, иногда бываетъ очень легко подавить и парализовать какое-либо движение въ обществъ не въ. 5 летъ, а въ 5 дней и мене, но перевоспитать зрёлыхъ людей и обратить весь ходъ ихъ мысли отъ общественныхъ вопросовъ къ отвлеченнымъ эстетическимъ иди инстическимъ, было-бы чудомъ не только въ 5 лътъ, но и въ 30, особенно, если-бы общественными вопросами были глубоко и страстно заинтересованы нассы общества.

Но дёло въ томъ, что, при ходе нашего развитія, совершающагося подъ вліяніемъ близкаго состдства странъ, стоящихъ впереди насъ чуть ли не на три стольтія, нужно весьма осторожно обходиться съ словами "общество" и "общественное движеніе". Въ нашей жизни очень часто въ средъ какихъ-нибудь двухъ, трехъ кружковъ, небольшой горсточки людей, совершается уиственное движение, стоящее почти въ уровень съдвиженіемъ передовыхъ людей Европы въ данное время. Безспорно, что подобное движение оказываеть немаловажное вліяніе и на весь грамотный дюдь нашего общества; но изъ этого вовсе не следуеть, чтобы само общество принимало непосредственное участіе въ этомъ движенін, и чтобы въ немъ движеніе было въ той-же силъ и съ тъпъ-же кругомъ понятій, какъ и въ цивилизующихъ кружкахъ. Прогрессъ общества идетъ своимъ самостоятельнымъ путемъ, сообразнымъ степени развитія большинства грамотных в людей, й хотя въ обществъ совершается движеніе, иногда, можетъ быть, весьма значительное, подъ вліяніемъ движенія передовыхъ кружковъ, но оно бываетъ обыкновенно совершенно въ иномъ родъ и духъ, чъмъ въ передовыхъ кружкахъ, ушедшихъ отъ своихъ современниковъ впередъ на нёсколько столетій. На этомъ основаніи необходимо точно разграничивать движение отдёльныхъ, иногда очень незначительныхъ по количеству кружковъ, отъ движенія всей массы общества въ то же время.

Особенно важно принять въ соображение это обстоятельство при расмотрѣнія эпохи Александра I, такъкакъ все политическое броженіе, на которое нынѣ литература обращаетъ большое вниманіе, совершалось исключительно почти въ высшихъ сферахъ общества, при чемъ имѣдо замкнутый характеръ интимнихъ кружковъ, тайны канцелярской или конспиративной. О какомъ-либо систематическомъ проведении того или другого круга идей въ массахъ общества въ то время мало еще думали; нельзя же назвать такинъ именемъ нъсколько наркотическихъ стишковъ, обращавшихся въ обществъ, по большей части, въ рукописномъ видъ, да две, три либеральныя статейки въ двухъ, трехъ тощенькихъ журнальцахъ, имъвшихъ не болъе 300 или 500 подписчиковъ. Огромное большинство грамотнаго люда, все почти среднее дворянство, не говоря о другихъ сословіяхъ, въ то время продолжало еще жить на степени иладенческой непосредственности преданій и узкопрактическаго эмпиризма въ жизни. Единственный истинно живой интересъ, которымъ эта масса была дъйствительно увлечена въ эпоху Александра I, заключался въ патріотическомъ настроеніи при нашествін французовъ. Что же касается политическаго бреженія, совершавшагося въ высшихъ кружкахъ общества, то оно своею замкнутостью и таинственностью только распаляло воображение людей, непосвященныхъ въ это броженіе, и въ обществъ ходили преувеличенные и дикіе по своей крайней нельпости слухи о разныхъ массонскихъ и тайныхъ обществахъ. Большинство общества на всякаго живаго человъка, въ которомъ наломальски была возбуждена мысль, спотрёло какъ на человека безпокойнаго, опаснаго вольнодумца, не обращая вниманія на то, быль-ли этоть вольнодумець скептикъ или мистикъ: вольтеріанецъ и нассонъ для непросвъщенной массы временъ Александра I были названія тождественныя, между которыми не вид'вли ровно никакого различія, и, если хотите, въ этомъ смъшеніи понятій быль свой сиысль. Не говоря уже о томъ, что и въ царствованіе Александра I, какъ и при Екатеринъ, скептики такъ часто переходили въ мистиковъ, а мистики въ скептиковъ, что ихъ гораздо легче было сившивать, чёмъ различать, въ то же время имстики для людей, преданныхъ укственной спячкъ, не иенъе скептиковъ должны были казаться совершенно особенными, непонятными существами, а потому, можетъ быть, и опасными.

Но недьзя сказать, чтобы и большинство общества оставалось безъ всякаго движенія на той степени, на которой оно было въ началъ царствованія Екатерины, и чтобы въ немъ не совершилось какихъ-либо перемѣнъ въ уиственной и нравственной сферѣ Общество питалось тъмъ, что могла давать и давала ему литература, и развитіемъ, измѣненіемъ литературныхъ направленій темъ справедливее измерять ходъ умственнаго развитія нашего общества въ эпоху Екатерины и Александра I, что большинство литературныхъ дёятелей стояло во все это время почти вполнъ въ общемъ уровнё развитія массъ, очень мало возвышаясь надъ нини. Для общества, при его крайней дикости, было немаловажнымъ прогресомъ уже и то, что оно, послѣ высокопарно-громкихъ одъ, поэмъ и трагедій съ завываніями, настраивавшихъ сердца читателей постоянно на патріотически-торжественный ладъ, начало зачитываться еще при Екатеринъ переводными романами Ричардсона, Клариссой, Памелой и Грандисономъ, чувствительнымъ путешествіемъ Стерна и сентиментальными сочиненіями Вакюдяръ Арно; вибств съ этимъ, на театръ начали появляться мъщанскія,

чувствительныя драмы. Всё эти давно теперь забытыя произведенія читались когда-то съ такимъ-же страстнымъ увлечениемъ, съ какимъ нынъ читаются романы Шпильгагена. Молодые люди и барышни начали бредить Элоизами, Памелами; называть другь друга Агатонами, Эльвирами и пр. Жизнь начала делиться на двъ противоположныя половины: на скучную, обыденную прозу, къ которой начали относить всю будничную практику жизни, и божественную поэзію, заключающуюся въ сладкой чувствительности, таинственной симпатіи сердецъ и мечтательномъ упоеніи природой. Проливать унилительныя слезы на благоухающій букетъ цвётовъ, глядя на закатъ солнца, или бродить по берегу пруда, въ которомъ утопилась бъдная Лиза, и рыдать о ея злочастной судьбъ считалось въ то вреия такимъ же прогрессомъ, какимъ въ настоящее вреия считается дёлать ботаническія экскурсін или устраивать женскій трудъ, и какъ ни приторна, какъ ни искусственна кажется намъ сентиментальность современниковъ Карамзина, въ свое время она была прогрессомъ: молодые люди, занимавшіеся умилительными воздыханіями, заливавшіеся безпрестанно слезами и сажавшіе цвъты на гробъ своего друга Агатона или возлюбленной Батильды, были, во всякомъ случай, и гуманние, и развитие тахъ юношей предшествовавшаго поколенія, которые, едва научившись подписывать фамилію изъ-подъ ферулы дьячка или темнаго выходца изъ Франціи, записывались въ полкъ и дълались развратными петиметрами въ свёте и рабскиприниженными исполнителями по службъ. Сентиментальность послужила первымъ зародышемъ романтическаго движенія въ нашень обществь. Въ ней вы видите, съ одной стороны, дуализиъ, основанный уже не на теологической догматик' среднихъ в ковъ, требующей мрачнаго, аскетическаго подавленія страстей, а напротивъ того, на признаніи высшимъ нраственнымъ идеаломъ-свободныхъвлеченій сердца; съдругой стороны, жы видимъ здёсь первое развитіе того индивидуализма, который составляеть одинъ изъ существенныхъ элементовъ романтизма.

Представителемъ этой фазы развитія нашего общества является Карамзинъ, и въ немъ мы видимъ вполнъ дитя своего времени. Напрасно станете вы искать въ немъ какихъ-либо зрёлыхъ и последовательныхъ политическихъ или философскихъ убъжденій. Вы найдете у него во всёхъ этихъ отношеніяхъ одну только сентиментальную риторику, въ которой васъ поразить эклектическій оптимизиъ, оправдывающій всевозможныя формы общественнаго и политическаго быта, лишь бы только онъ основывались на добрыхъ нравахъ; къ этому ко всему приправлено исканіе мудрой уміренности и золотой середины, и все это вдобавокъ разукрашено узкимъ, кваснымъ патріотизмомъ и консерватизмомъ того трусливаго свойства, который готовъ сочувствовать всевозможнымъ реформамъ, но, за недостаткомъ просвещения, не находитъ возможности въ немедленномъ ихъ осуществлении и потому желаеть отложить ихъ въ долгій ящикъ. Такой безхарактерный эклектизмъ не былъ дичною принадлежностью Карамзина. Вспомнимъ, что Карамзинъ получиль образование въ кружкъ Новикова, въ которомъ сомнѣвались еще, что земля ходитъ вокругъ солн-

ца; отсутствіе какихъ-либо послёдовательныхъ и систематическихъ убъжденій было не его только дичнымъ недостаткомъ, а общею характеристическою чертой его въка, и Каранзинъ не понималъ того, чего не понимало большинство его современниковъ. Но совершенно въ иномъ видъ представится онъ вамъ, если вы, откинувши въ сторону всё его политические взгляды, посмотрите на него, какъ на моралиста. Здъсь передъ вами откроется светлая сторона его деятельности, и вы увидите въ немъ прогрессиста, имъвшаго немаловажное значение въ свое время. Онъ первый, вопреки среднев вковой догнатики, началъ пропов вдывать благо и свободу страстей и право человъка на земное счастіе. Въ этомъ отношенім "Разговоръ о счастін (1797 г.) составляєть эпоху въ развитіи нашей мысли. Въ этомъ сочинении впервые провозглашается, что всякій человікь имбеть право на счастіе; счастіе-же заключается въ тёхъ удовольствіяхъ, которыя доставляють напъ страсти, дарованныя напъ природой для наслажденія жизнью; что страсти губительны только тогда, когда оне выходять изъ своихъ границъ; на этомъ основании нравственная обязанность наша заключается не въ подавлении страстей, а въ наслаждении ими въ данныхъ границахъ, для чего намъ данъ разсудокъ. Какъ бы ни казались намъ эти мысли детскими, но въ свое время оне были такою неслыханною ересью, что возбудили протесть со стороны последователей средневековой догматики; и въ одномъ изъ журналовъ того времени, "Ипокренъ", появился, въ 1799 г., пасквиль на Карамзина, въ которомъ насквилисть обращается къ своему другу съ такимъ противопоставлениемъ догиатической морали противъ морали Карамзина:

Не мнишь, даны чтобъ чувства были На то, чтобъ всё ихъ услаждать, И разума лучи служили, Чтобъ наслажденья избирать; Не выдаль странную чудесность, Приведши страсти въ равновъсность Къ блаженству съ буйствомъ ихъ идти: Но ты, вею цпну истинг зная, Твердишь, что, страсти побъждая, Къ блаженству путь легко найти. Не мнишь, чтобъ жить въ союзъ тесномъ Намъ нужно было со страстьми; Что въ мірѣ нравственномъ, тѣлесномъ Безъ нихъ и жить нельзя съ людьми: Но знасшь, что звърямь подобень, Кто сладострастень, скупь и элобень, Коль равновисны страсти вз немъ. Но если страсти утишились, Молчать, не дъйствують, сокрылись, То схоже онг съ ангелом во всемъ *

Но походъ противъ догматической морали стоилъ Карамзину не однихъ только литературныхъ нападокъ. Противъ него писались въ то-же время и доносы, въ которыхъ сочиненія его выставлялись "исполнеными вольнодумческаго и якобинскаго яда, въ которыхъ явно проповъдуется безбожіе и безначаліе" и пр.

Рядомъ съ пропагандой свободы страстей, Карамзинъ проводилъ въ литературе иден Руссо, съуживая

^{*)} См. Ист. русск. слов. А. Галахова, т. II, гдѣ этотъ пасквиль приведенъ вполнѣ.

ихъ на столько, на сколько онъ были по силанъ пониманію, какъ его личному, такъ и всего общества. Въ нападкахъ Руссо на современную цивилизацію, въ его прославлении простаго, естественнаго, сельскаго быта и въ убъждении людей возвратиться въ лоно природы къ первобытному состоянію, - подъ формой парадоксовъ скрывается пропаганда чисто демократическаго свойства; этотъ демократизмъ Руссо былъ, конечно, сверхъ пониманія Карамзина и его современниковъ. Они приняли парадоксы его за чистую монету, и оттуда явился этотъ пресловутый пастушескій идеалъ удаленія отъ суетнаго свёта и тихаго счастія съ милою подругой, подъ соломенною кровлей, возлѣ журчащаго ручейка. До какой степени этотъ идеалъ господствоваль въ то время, это им видимъ изъ того, что имъ увлекался въ своей юности даже Александръ, которому, казалось бы, менёе всёхъ другихъ россіянъ могла придти въ голову имсль о безв'єстномъ счастін подъ соломенною кровлей. О такомъ-же самомъ счастім мечталъ всю свою жизнь Жуковскій: "Мое теперь, -- писаль онъ къ своимъ роднымъ по прівздв въ Петербургъ, — хуже прежняго. Здвшняя жизнь инъ тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь. Ваше одно и то-же кажется мнъ прекраснымь положеніемь; работать безь всякаго разспянія, въ кругу своихъ, отдплясь отъ прошедшаго и будущаго-вотъ чего мнъ хочется н т. д. О Петербургъ! проклятый Петербургъ, со своими мелкими, убійственными разсвяніями! Здёсь, право, нельзя имъть души. Здъшняя жизнь давить меня и душитъ. Радъ бы бросить и убъжать къ вамъ, чтобы приняться за доброе настоящее, котораго у иеня здёсь нътъ и быть не можетъ "...

Вообще у насъ почему-то принято Жуковскаго считать родоначальникомъ романтизма въ Россіи. Но если смотръть на романтизмъ не только какъ на литературную школу, а какъ на извъстное умственное движеніе, то личность Жуковскаго потернеть половину своего значенія въ этомъ отношеніи. Романтизмъ явился у насъ, какъ и у всехъ другихъ народовъ Европы, вследствіе толчка, возбужденнаго философскимъ движеніемъ восемнадцатаго въка; первые задатки его мы видимъ уже у Карамзина. Что-же касается Жуковскаго, то онъ имбетъ свое значение въ литературѣ только какъ художникъ: онъ обработалъ русскій стихъ, придавши ему ту гибкость, которую потомъ усовершенствовалъ Пушкинъ; онъ нервый показалъ, чемъ отличаются истинно поэтическіе, изящные образы отъ той высокопарной риторики, въ которой прежде видёли поэзію. Наконецъ, оказалъ онъ свое содействіе и эмансинаціи литературныхъ нравовъ оппозиціей Арзамасскаго общества противъ надутой важности и напыщенности "Общества любителей Русскаго Слова". Но что касается до развитія міросозерцанія, нравственныхъ и общественныхъ идеаловъ, то въ этомъ отношении онъ не только не подвинулъ впередъ русскую имсль, но, будучи рабскимъ последователемъ Карамзина, въ некоторыхъ отношенияхъ отступилъ отъ него на шагъ назадъ. Съ одной стороны, онъ посился, какъ иы сейчасъ видёли, съ тенъ-же буколическимъ идеаломъ сельскаго уединенія и отръшенія отъ мірскихъ суетъ, разбавляя подобное стрем-

леніе приторными воздыханіями о непрочности земнаго и мечтательными порываніями dahin-въ туманную даль, по образну немецкаго романтизма, но съ другой стороны, онъ быль послёдователь самой узенькой, догиатической морали. Ему ставять постоянно въ достоинство, что онъ, будучи переводчикомъ, былъ въ то-же время писателемъ самостоятельнымъ, потому что бралъ отовсюду свое и кроит того придавалъ чужимъ произведеніямъ свой собственный колоритъ. Очень можеть быть, что это и достоинство съ чисто эстетической стороны, но со стороны образовательной это былъ большой недостатокъ: выбирая повсюду свое, Жуковскій выбираль постоянно такія произведенія, которыя вполнъ согласовались съ его узкимъ, догматическимъ міросозерцаніемъ, другія сглаживалъ, подводилъ подъ ту-же норму и, такимъ образомъ, знакоия русскихъ людей съ произведеніями Шиллера, Гете, Байрона, онъ совершенно сгладилъ и стушевалъ то, что именно было самаго живаго и цивилизующаго въ произведеніяхъ этихъ писателей — тотъ протесть противъ старыхъ фориъ и условій жизни, который составляль здоровый элементь романтизма. Что-же касается жизни Жуковскаго, то въ этомъ отношеніи мы видимъ, что онъ всецъло принадлежить еще къ покровительственному періоду нашей литературы и ничемъ не отличается въ этомъ отношеніи отъ писателей предшествующей эпохи, отъ Ломоносова до Караизина включительно: всё эти жалобы на суету и пустоту Петербурга, мечты о прелести сельскаго уединенія въ тісномъ кругу семьи, сътованія на непрочность земнаго и порываніе къ небесному — нисколько не ибшали Жуковскому торчать всю свою жизнь въ знатныхъ прихожихъ и посвящать льстивыя восхваленія сильнымъ mipa cero.

Только со второй половины царствованія Александра I началъ у насъ развиваться романтизиъ не въ вид'в только буколическаго сенсуализма, какъ это было во время московской деятельности Карамзина, но въ видъ протеста личности противъ устарълыхъ и давящихъ формъ жизни общественной и семейной, противъ фамусовскаго узкаго практицизма и молчалинской приниженности. Въ воображении представителей этого романтизма начинаеть рисоваться идеаль сильной избранной натуры, гордой, независимой, свободной, подчиняющейся только влеченіямъ своего духа, презирающей искательство натеріальных выгодъ и страдающей отъ грубаго непониманія и гоненія пошлой, пресиыкающейся толны. Этому идеалу поклонялись всё, безъ исключенія, мало-мальски мыслящіе люди въ эпоху 20-хъ годовъ, причемъ требовалось уже не одно только проповъдование его на словахъ, но и осуществленіе въ самой жизни. При этомъ надо опять-таки не забывать, что иначе этотъ идеалъ понимался и осуществлялся въ кружкахъ передовыхъ и лучшихъ представителей имсли въ эпоху 20-хъ годовъ, иначесреди полуобразованной массы общества. Лучше люди того времени-это были Чацкіе, съ глубокою тоской смотрѣвшіе вокругъ и рѣзкими сарказмами клеймившіе всеобщую пошлость, нев'жество и рабство; наконецъ, были люди и выше Чацкаго, не ограничивавшіеся одними пассивными сарказмами, но стремившіеся къ активному освобожденію жизни отъ старыхъ

и гнетущихъ формъ, которыиъ поклонялись Фанусовы и Молчалины, пересозданію ся на такихъ основаніяхъ, которыя даровали бы болже широкій просторъ свободному полету личности. Но иначе представляла себъ этотъ самый идеалъ полуобразованная масса; эта масса не требовала отъ своего героя никакой активности въ жизни, никакого плодотворнаго труда, никакой особенной гупанности и справедливости къ низшимъ: для нея было совершенно достаточно, чтобы герой презиралъ, не покорялся и страдалъ; въ то-же вреия онъ могъ тратить свои силы на какія угодно прихоти и похоти, всю жизнь проводить въ кутежахъ и волокитствъ, стръляться на дуэляхъ, подвергаться всевозможнымъ опасностямъ не изъ-за чего иного, какъ изъ-за безцёльнаго разгула юношеской отваги, -- наконецъ, прокучивать цёлыя именія, разоряя своихъ крестьянъ, или на станціяхъ стегать нагайками жидовъ и припечатывать ихъ бороды къ столу-и при всемъ томъ, все-таки, оставаться героемъ. Однимъ словомъ, та саная свобода страстей, которую Караизинъ защищалъ и оправдываль съ немалою еще робостью, подчиняя ее, ради благонам вренности, разсудку, въ двадцатые годы возвелась въ апочеозъ и сдёлалась безусловнымъ нравственнымъ идеаломъ. Пальму первенства отдали рѣшительно сердцу, на разсудокъ-же начали смотрѣть, какъ на нъчто враждебное сердцу, а потому презрънное и малодушное: подчиняться ему значило унижать себя, измёнять своему нравственному идеалу, приравнивать себя къ пошлой толив.

Въ то-же вреия было-бы совершенно ложно дунать, чтобы такой идеаль быль случайно, искусственно неренесенъ съ Запада подъ вліяніемъ Байрона и не имъть бы никакого отношенія къ нашей жизни. Напротивъ того, онъ вполнѣ соотвѣтствовалъ, какъ духу своего времени, такъ и той средъ, въ которой преобладаль. На Западъ существовали въ то время уже иногіе теоріи и идеады, и была-же какая-либо существенная причина, почему увлеклись именно этимъ идеаломъ, а не какимъ-нибудь другимъ. Для объясненія этого надо принять въ соображеніе характеръ той среды, изъ которой вышель этотъ идеаль и въ которой онъ преобладалъ. Это была петербургская великосвътская среда, въ которой въ то время сосредоточивалось уиственное движение общества. Жизнь этой среды опиралась, главнымъ образомъ, на кръностномъ правъ, которое дошло до высшаго своего развитія, не усцѣвши еще открыть обратную свою сторону экономическаго разоренія. Напротивъ того, оно доставляло въ вышеозначенной средѣ такой избытокъ благосостоянія, при помощи котораго русскій богачъ, путеществовавшій за-границей, могь казаться поистинъ Крезомъ. Въ то-же самое время среда эта только-что успала освоиться съ такъ новымъ своимъ положеніемъ, какое создалось для нея екатерининскою граматой о вольности дворянской. Грамата эта, не даровавши дворянству никакихъ особенныхъ политическихъ правъ, а только освободивши его отъ служилыхъ обязанностей, этимъ самымъ подожила начало особеннаго рода понятіямъ о значенім дворянства въ государстве: на дворянство стали смотреть, съ одной стороны, какъ на плотину, которая должна защищать престоль отъ натиска народныхъ массъ, считавшихся

подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ французской революціи непременно грозными и враждебными, съ другой стороны, предполагали, что славой бранныхъ и государственныхъ подвиговъ, въ особенности-же блескомъ образованности и роскоши — дворянство должно составлять украшеніе и славу государства. Крыдовъ недаромъ сравниваетъ дворянство съ листьями, со ставляющими роскошь и красу дерева. Подъ вліяніемъ этихъ общественныхъ идей о значеніи дворянства сложился и нравственный идеалъ дворянина того времени: дворянинъ, цо понятіямъ людей первой четверти нынъшняго стольтія, должень быль представляться человъконъ храбрымъ до самоотверженія, великодушною и щедрою натурой, незнающей предела своимъ тратамъ. Всякій мелкій разсчетъ, мелкій трудъ, стремленіе къ бережливости считалось свойствомъ низкихъ, скаредныхъ душъ, удъломъ грубой черни, униженіемъ дворянской чести. Гораздо уже позже Лермонтовъ съ презрѣніемъ заставляетъ своего демона смотрѣть на корыстный трудъ предъ тощею ланиадой, приравнивая этотъ трудъ къ прочинъ преступленіямъ, на которыя демонъ смотрить съ злобною отрадой во вреия своего ночнаго путешествія надъ спящею столицей. Этими понятіями обусловливался тотъ веселый, широкій разгуль, который, начиная сь царствованія Екатерины, проходить сквозь все парствование Александра I и о которомъ такъ вздыхають нашистарички, окрестившіе его весьма характеристическимъ, историческимъ выраженіемъ, прямо намекающимъ на екатерининскую грамату: кутить по вольности дворянской. Этинъ положениет создавались великосвътские типы въ родъ Онъгина или Печорина, гордые, свободные отъ всякаго труда, незнающіе предъла своинъ страстямъ и прихотямъ и выносящіе изъ своего празднаго и необузданнаго юношескаго разгуда одно пресыщение и разочарование. До какой степени подобные идеалы были въ духъ того времени, это мы видимъ изъ того, что имъ подчинялись не одни заурядные свътскіе люди, неполучившіе никакого образованія, никакихъ разумныхъ стремленій, но и лучшіе, мыслящіе люди общества представляли въ своей средъ такіе-же типы отчаянныхъ повъсъ, бретеровъ и донъ-жуановъ, готовыхъ пробхаться на челночкъ въ бурю по морю не для чего инаго, какъ изъ-за того, чтобы показать свое рыцарское безстрашіе, или побиться объ закладъ на пріятельской пирушкѣ въ тоиъ, что они проведутъ безстрашно ночь гдъ-нибудь на кладбище или въ доме, въ которомъ по ночамъ совершаются разные ужасы (такихъ домовъ съ блуждающими призраками, пляшущими стульями и проч. было множество въ то романтическое время). До какой степени, наконецъ, идеаль этотъ быль въ духв времени, служиль даже для массы читающей публики лозунгомъ прогресса и оппозиціи, это мы можемъ видеть изъ того внезапнаго охлажденія, съ какимъ въ началъ тридцатыхъ годовъ отнеслась публика къ своему любинцу Пушкину, когда онъ пересталь и въ своей жизни, и въ своихъ произведенияхъ быть представителенъ этого идеала. Надо замътить, что въ двадцатые годы Пушкинымъ увлекались вовсе не изъ одной только художественности его произведеній. Люди двадцатыхъ годовъ были еще весьма плохіе

эстетики: всь ихъ эстетическія понятія ограничивались темъ, что поэтъ долженъ быть свободенъ отъ всякихъ стёсняющихъ творчество правилъ ложнаго классицизма и летать по воль своей фантазіи. Въ Пущкинъ они цънили именно такого независимаго поэта. Его любили за то, что онъ въ своихъ поэмахъ и многихъ лирическихъ произведеніяхъ олицетворялъ любимый идеалъ гордаго, свободнаго романтика, и въ то-же время видёли въ немъ человёка, непокорявшагося обыденной рутинъ жизни, и за то гонимаго и преследуемаго. Когда-же впоследствии Пушкинъ въ поэзін свернуль на почву гетевской объективности, а въ жизни пошелъ по дороге Карамзина и Жуковскаго, въ оценке Пушкина обнаружился тотчасъ-же удивительный расколь. Съ одной стороны, публика, восинтанная въ духъ романтизма двадцатыхъ годовъ, внезанно охладела къ Пушкину и начала видеть въ последующей деятельности его, начиная съ "Бориса Годунова", паденіе его таланта; съ другой стороны, въ то время существовали уже романтики совершенно инаго рода, воспитанные въ духѣ нѣмецкихъ эстетическихъ теорій, для которыхъ художественные вопросы стояли на первомъ планъ и которые выше всего ценили одинпійское безстрастіє Гете. Эти люди, напротивъ того, начали утверждать, что произведенія Пушкина 20-хъ годовъ именно и суть самые слабые плоды его поэтическаго творчества, произведенія молодаго, незръдаго пера, находившагося еще въ рабской зависимости отъ западныхъ учителей; а что съ "Бориса Годунова", напротивъ того, Пушкинъ вступиль въ высшій періодъ своей діятельности, дошедши до полной художественной эрълости и самостоятельности. Ниже, въ своемъ мъсть, намъ подробиве придется коснуться этого раскола, обнаружившагося въ тридцатые годы относительно оценки Пушкина. Теперь-же ны только замётимъ, что какъ ни пустъ и безсодержателенъ быль романтическій идеаль свътской нассы двадцатыхъ годовъ, и какъ отрицательно ни относились къ нему наши критики, начиная съ Веневитинова, Ив. Кирфевскаго, Надеждина, и кончая Добродюбовымъ и Писаревымъ, но, все-таки, надо отдать справедливость, что въ свое время идеаль этотъ принесъ свою немаловажную пользу въ развитіи нашего общества. Какъ бы ни представлялся пассивенъ онъгинскій протесть противъ фамусовства и молчалинства, но, все-таки, онъ хоть сколько-нибудь возвышаль нравственное достоинство человъка надъ тиной рабскаго пресныканья. Какой-нибудь иной исходъ могь существовать только для отдельных развитыхъ личностей, которыя, сколько бы мы сотенъ ихъ ни насчитывали, были, все-таки, отдёльными единицами въ полуобразованной массъ заурядныхъ людей. Для заурядныхъ же людей и то уже было прогрессоиъ, если они предпочитали ничего не делать и зевать, сложа руки, чёнъ подчиняться, кланяться и пресныкаться. Но болбе всего пользы принесъ этотъ идеалъ литературъ: появление его сразу избавило ее отъ прежняго меценатства и поставило на самостоятельную почву лицовъ передъ лицо публики, отъ вкусовъ и симнатій которой сталь зависёть теперь успёхь каждаго литературнаго предпріятія. Пропов'єдуя вышеупомянутый идеаль и поклоняясь ему, немыслимо уже

стало литератору заходить съ задняго крыльца къ благодътелю и съ широкою улыбкой лести заискивать у него получение перстенька, пенсіи и пр. Съ этихъ поръ каждый писатель, мало-мальски разсчитывавшій на покровительство, тотчасъ-же встрачалъ охлажденіе со стороны публики и насмѣщки въ литературѣ. Только Жуковскій доживаль спокойно свой въкъ подъ свнію покровительства, и его щадили, какъ щадять стараго ветерана или развалину, напоминающую былов. Даже Пушкинъ, когда свернулъ на дорогу Жуковскаго, ожесточенный охлаждениемъ публики и журнальными намеками, долженъ былъ признать совершившійся факть, и не могь напасть на него прямымъ опровержениемъ, а долженъ былъ прибъгнуть къ разнымъ экивокамъ, ссылкамъ на примъръ Англіи, указаніень на то, что и въ старину, при господствѣ покровительства, могли существовать честные писатели, каковъ былъ Ломоносовъ, что, наконецъ, совершенная независимость литературы - явленіе только кажущееся, а не истинное.

«Patronage» (покровительство) до сей поры сохраняется въ обычаяхъ англійской литературы. Почтенный Креббъ, умершій недавно, поднесь всь свон прекрасныя поэмы to his grace the Dackete. Въ своихъ смиренныхъ посвященіяхъ онъ почтительно упоминаеть о милостяхъ и высокомъ покровительствъ; коихъ онъ удостоился, и проч. Въ Россіи вы не встрътите ничего подобнаго. У насъ, какъ замъ-тила M-me de Stael, словесностью занимались, большею частію, дворяне (en Russie quelques gentilhommes se sont occupés de litterature). Это дало особенную физіономію нашей литературъ; у насъ писатели не могуть изыскивать милостей и покро-вительства у людей, которыхъ почитають себё равными, и подносить свои сочинения вельможъ или богачу, въ надеждѣ получить отъ него пятьсотъ рублей или перстень, украшенный драгодѣнными каменьями. Что-жь изъ этого слѣдуетъ? Что нынъшніе писатели благородиве мыслять и чувствують, нежели мыслили и чувствовали Ломоносовъ и Костровь? Позвольте въ этомъ усомниться.

«Ныньче писатель, краснівощій при одной мысли посвятить книгу свою человіку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ощельмованному вь общемь миніній, но который можеть повредить продажівними или хвалебнымъ объявленіемъ заманить посупщиковъ. Нынів послідній изъ писать, готовый на всякую праватную поддость, громко проповідуеть независимость, и пишеть безъименные пасквили на людей, передъ которыми разстилается въ кабинстів.

«Къ тому-же; съ ивкоторыхъ поръ литература стала у насъ ремесло выгодное, и публика въ состонни дать более денегь, нежели его сіятельство такой-то, или его высокопревосходительство такой-то. Какъ бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значать. Ломоносовъ и Креббъ достойны уваженія всъхъ честныхъ людей, несмотря на ихъ смиренныя посвященія; а господа NN, все-таки, преврательны, несмотря на то, что въ своихъ книжкахъ они проповѣдують благородную гордость, и что они свои сочинення посвящають не доброму и умному вельможѣ, а какому-нибудь вралю и плуту, подобному имъ».

Наконецъ, вышеупомянутый едеалъ важенъ въ томъ отношени, что когда, послѣ 1825 г., многіе передовые люди дваддатыхъ годовъ сошли съ поприща, благотворное вліяніе этого идеала на литературу и

нравы общества одно пережило и ихъ и было единственнымъ достояніемъ, которое двадцатые годы завѣщаля потояству. Душеприкащиками такого наслѣдства остались Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Полевоѣ, Одоевскій, Веневитиновъ, Ив. Кирѣевскій, Чаадаевъ и многіе другіє, имена которыхъ стоятъ во главѣ періода нашей литературы, послѣдовавшаго непосредственно за 1825 годомъ и продолжавшагося 10 лѣтъ, до прекращенія "Телеграфа" въ 1834 году и начала, въ томъ же году, дѣятельности Бѣлинскаго. Этому періоду, стоящему на рубежѣ двухъ поколѣній, мы посвятимъ слѣдующія главы.

I٧.

Изм'вненіе нравовъ въ 1826 году. — Патріотизмъ и его два вида. — «Русскій Вієстинкъ» С. Н. Глинки и «Сынъ Отечества» Н. И. Греча. — «Вієстинкъ Вероні» Каченовскаго. — Н. А. Полевой. — Отношеніе къ «Телеграфу» петербургских в кружковъ александровской эпохи. — Перемібщеніе центра умственнаго движенія. — Значеніе, какое пріобрізм университеты и журналы съ новою эпохой, и успіхъ «Телеграфа» въ связи съ этимъ. — Состонніе умственнаго развитія молодежи въ Зо-не годы: свидітельство объ этомъ Г. Григорьева и И. Панаева. — Чімъ увлекалась молодежь въ «Телеграфі» и что вообще соеданняла она съ романтиямомъ. — Слабая сторона пропаганды Полеваго. — Почему онъ не понялъ Готоли. — Паденіе Полеваго. — Отношеніе Вілинскаго къ Полевому до и посяїє смерти послідняго.

Надо полагать, что никогда, даже принимая въ соображение петровскія времена, наше общество не испытывало такого быстраго, почти мгновеннаго превращенія, какъ въ 1826 году. Въ одинъ какой-нибудь годъ и прежней жизни-широкой, разгульной, съ смълыми планами, гордыми, заносчивыми мечтами, розовыми, молодыми надеждами и удалью, незнавшею преградъ, ничего этого-какъ ни бывало. "Аристократи-. ческая независимость, гвардейская удаль александровскихъ временъ-все это исчезло съ 1826 годомъ", говорить одинь изъ немуаристовъ. "Нравственный уровень общества паль-говорить онъ въ другомъ ивств своихъ записокъ-развитіе было прервано; все передовое, энергическое вычеркнуто изъ жизни. Остальные - испуганные, слабые, потерянные - были мелки, пусты; дрянь александровскаго покольнія заняла первое мъсто; они мало-по-малу превратились въ полобострастныхъ дёльцовъ, утратили дикую поэзію кутежей и барства, и всякую тень сомобытнаго достоинства: они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановитыми. Время ихъ прошло".

Какъ ни ограничено было участіе передовыхъ дѣятелей дваддатыхъ годовъ въ литературѣ, однако-же, вліяніе ихъ болѣе или менѣе отражалось на всѣхъ лучшихъ литературныхъ дѣятеляхъ того времени и частію послѣдующаго—на Грибоѣдовѣ, Пушкивѣ, Полевомъ, Веневитиновѣ, Чаадаевѣ и др. Послѣ 1826 года мыслящая часть общества представляла видъ хора, изъ котораго вдругъ исчезъ регентъ, и не стало того невидимаго камертона, который до того времени давалъ всему тонъ. Люди съ маломальски стоккими и крѣпкими убъжденіями разбрелись по угламъ, сосредоточились и замолкли въ анатіи нѣмаго отча-

янія. Люди малодушные, перепуганные, лишенные убъжденій, всякаго рода продажные хамелеоны пошли всятдъ за неразвитымъ большинствомъ общества, которое, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, начало искусственно настраиваться на тонъ узкаго, кваснаго патріотизма въ византійскомъ духѣ, пропитаннаго запахомъ ладона и рабскаго подобострастія. Патріотическое настроеніе существовало въ нашемъ обществъ и въ парствование Александра I, естественно возбужденное войной 1812 года и событіями, послівдующими за нимъ. И тогда уже оно ударялось въ крайности, подобныя тамъ, какія мы видимъ въ наше время. Существовали даже два журнальные органа, въ которыхъ патріотизиъ стояль на первоиъ планъ и раздувался вопреки всякаго здраваго смысла. Таковы были: "Русскій Въстникъ", издававшійся съ. 1808 года С. Н. Глинкой, и "Сынъ Отечества", издававшійся въ Петербург'в по иниціатив'в Н. Греча. Но вліяніе реакціоннаго духа этихъ журналовъ умёрялось болье разушнымъ и умъреннымъ патріотизмомъ прогрессивныхъ стремленій въ передовыхъ кружкахъ общества, а подъ конецъ царствованія Александра даже обыденный патріотизиъ полупросвѣщенныхъ массъ принялъ въ себя диберальную струю сочувствія къ возставшимъ грекамъ и желанія помочь имъ противъ угнетателей. При этомъ положении вещей вышеупомянутые журналы далеко не пользовались особеннымъ уваженіемъ въ обществъ. Глинка, проповъдывавшій въ своемъ журналь, что бояринъ Матвъевъ точно такъ-же умствоваль о душъ, какъ Локкъ и Кондильякъ, хотя не могъ читать ни того, ни другаго, что всё "правила, содержащіяся въ Коричей Книгь, согласны съ разсужденіемъ всёхъ знаменитыхъ просвётителей всёхъ странъ и всёхъ вёковъ" и пр., возбуждаль одинъ смъхъ, а Гречъ, который, виъсть съ филиппиками противъ Наполеона, проповедывалъ крестовые походы противъ французскихъ идей XVIII въка и всякаго прогрессивнаго движенія въ духв ихъ, возбуждалъ своею пропагандой только презрѣніе и негодованіе. Пося 1826 года консервативный патріотизмъ въ византійскомъ духѣ сделался господствующимъ настроеніемъ въ высшихъ сферахъ и, исходя оттуда, принялъ видъ общественной религін, обязательной для каждаго подъ страхомъ чуть что не смерти. "Сынъ Отечества", а впоследствии "Северная Пчела" — своими инсинуаціями и доносами въ духѣ этого патріотизма пріобрали особенное благоволеніе со стороны начальства. Въ такомъ-же духѣ подвизался и "Въстникъ Европы" Каченовскаго. Журналъ этотъ, какъ органъ классиковъ, представлялъ оппозицію противъ романтическаго направленія, господствовавшаго въ то время въ литературъ. Въ сущности, онъ не особенно заботился о какихъ-либо политическихъ тенденціяхъ, но, защищая классицизмъ, поневолѣ впадаль въ общій тонъ, господствовавшій въ правительственныхъ сферахъ. Вспомнимъ только, что въ ложноклассическомъ направленіи въ литературъ на шей патріотическое настроеніе стояло на первоиъ планъ: классики требовали, чтобы поэты въ своихъ одахъ, поэмахъ и трагедіяхъ настраивали сердца читателей постоянно на торжественный ладъ, воспъвая гропъ славы и побъдъ, доблесть и величіе русскаго духа. Следые приверженцы авторитетовъ, они не допускали ни малейшаго критическаго отношенія къ прежнимъ писателямъ нашимъ отъ Ломоносова до Карамзина включительно; всёхъ этихъ писателей они ставили на пьедесталы, называя ихъ русскими Пиндарами, Гомерами, Расинами, и въ критическомъ отношени къ нимъ видели не только неуважение къ авторитетамъ, но и недостатокъ патріотизма, преступное порицаніе всего, чемъ должна гордиться Россія. Наконецъ, они были приверженцами меценатства и табели о рангахъ въ литературъ. Романтизнъ-же, какъ иы видъли въ прошлой главъ, явился у насъ съ самаго перваго шага въ тесномъ и неразрывномъ союзе со всеми либеральными стремленіями александровскаго царствованія. Онъ началь съ осменния арзамасцами меценатства, чинопочитанія, напускной важности и торжественности, господствовавшей въ "Обществъ Любителей Русскаго Слова", въ которомъ классики занимались взаимнымъ кажденіемъ другь другу. Романтики возстали, наконецъ, не только противъ стесняющихъ творчество риторическихъ правилъ, но и противъ правилъ ходячей морали, во имя свободы личности. Естественно, что въ глазахъ классиковъ романтики представлялись безнравственными мальчишками, сорванцами, непризнающими никакихъ авторитетовъ, неуважающими старшихъ, непоклоняющимися чинамъ и заслугамъ, отвергающими всякія правила эстетическія и нравственныя и потому готовыми ниспровергнуть всякій общественный и семейный порядокъ. Однимъ словомъ, отношеніе между классиками и романтиками въ двадцатые годы во многихъ отношеніяхъ напоминаетъ отношеніе эстетиковъ и идеалистовъ къ реалистамъ или такъ-называемымъ нигилистамъ въ шестидесятые годы. Точно такъ-же все отжившее, становясь подъ знамена классицизма, принимало на себя личину благонамъренности, патріотизма и заботъ о сохраненіи всевозможныхъ оплотовъ, а все молодое и свъжее увлекалось романтизиомъ, въ которомъ классики видели не одну эстетическую теорію, но нічто, весьма опасное для нравственности и общественного порядка. Замвчательно, что и представляли романтиковъ такимиже длинноволосыми, растрепанными, небрежно одътыми, распущенными отрицателями, какими впоследствіи стали представлять нигилистовъ.

При такихъ условіяхъ понятнымъ становится, что издавать журналъ съ спеціальною цёлію защищать романтизить и пропагандировать его — было немаловажнымъ подвигомъ, съ которымъ выступилъ Н. Ал. Полевой въ самое тяжелое время. Несмотря на то, что "Телеграфъ" Полеваго чуждъ былъ какихъ-либо опредбленныхъ политическихъ тенденцій, будучи журналомъ чисто-литературнымъ, онъ сосредоточилъ въ себе единственную, возможную въ то время, оппозицію именно потому, что взялъ на себя защиту такой эстетической чиколы и такихъ писателей, каковы были Пушкинъ, Дельвитъ, Баратынсяй, Козловъ, о которыхъ, по свидётельству И. Панаева, благонамѣреные педагоги запрещали упоминать въ училищахъ, изъ боязни испортить и растлить молодые умы.

Личность Подевого зам'ячательна тёмь, что стоить на распутьи двухъ покол'яній, соединяеть многіе, достоинства и недостатки двухъ эпохъ и въ то-же вре-

мя не принадлежить всепёло ни къ одной изъ нихъ. Это положеніе Полевого гораздо яснёе и вёрнёе можеть объяснить намъ всё тё противорёчія, которыя вы встрёчаете въ этой личности, всю шаткость и непредёленность воззрёній его, мгновенный успёхь и такое-же быстрое паденіе, чёмъ, напримёръ, объясненіе всего этого случайнымъ увлеченіемъ эклектическою философіей Кузена, а не какою-нибудь другою, болёе послёдовательною и цёльною: здёсь необходимо переставить причину и слёдствіе и сказать, что воззрёнія Полевого не потому были полны эклектизма, что онъ быль послёдователь Кузена, а наобороть, онъ не могь быть удовлетворенъ никакою философіей, кромё эклектической, потому что таковъ быль складь его личности.

Поэтому, чтобы вполит ясно представить себт значеніе Полевого, необходимо разсмотрѣть складъ этой личности въ связи съ предшествующею эпохой, которая создала ее, и съ последующею, которая возвела ее на верхъ славы и потомъ погубила. Полевой вышелъ на литературное поприще, какъ извъстно, изъ купеческаго званія. Съ самой ранней юности онъ принужденъ быль заниматься торговыми дёлами. Умственное броженіе, господствовавшее въ то время, возбудило страсть къ образованию въ чуткомъ и воспріимчивомъ юношть. Онъ началь учиться и читать почти безо всякой посторонней помощи и руководства. Усидчивыя занятія обогатили его умъ всевозможными сведеніями по разнымь предметамь, но, какь это часто бываетъ съ самоучками, занимающимися чтеніемъ безъ всякой системы и критики, вмёстё съ необыкновенною начитанностью у него были пробълы въ знаніяхъ весьма существенныхъ; рядомъ съ нередовыми идеями, выработанными европейскою мыслыю, онъ сохранилъ иногіе совершенно д'ятскіе взгляды; иногое, что онъ не могъ выработать иышленіемъ и привести въ ясное сознаніе, онъ предугадываль и старался постигнуть непосредственнымъ чувствомъ. Въ то время въ Европъ все новое и свъжее становилось подъ знаиенемъ романтизма; то-же самое было и у насъ. Естественно, что и Полевой увлекся романтизмомъ. Но что это за звёрь романтизиъ, объ. этомъ Полевой имёлъ весьма смутныя и неопределенныя понятія. Весь романтизмъ Полевого высказался въ следующихъ положеніяхъ: поэтъ долженъ следовать прихоти своего собственнаго вдохновенія, не подчиняясь никакимъ искусственнымъ, условнымъ правиламъ; поэзія-безуміе, непонятное, странное безуміе-тоска по небесной отчизнъ; ее-ди понимать намъ на землъ? поэты--факиры-мечтатели, добровольные страдальцы; въчно недовольные собою, другими, жизнью, они гибнуть и отъ рукоплесканій, и отъ гоненій пошлой толпы. Подъ эту смутную доктрину Полевой подводилъ всёхъ предшествовавшихъ деятелей нашей литературы и все пресловутое неуважение къ авторитетамъ, которое ему приписывали современники, заключалось въ томъ, что, разбирая авторитетныхъ поэтовъ, начиная съ Ломоносова и кончая Пушкинымъ, онъ не ограничивался безотчетнымъ восторгомъ, а старался отдавать отчетъ въ томъ, было-ли то или другое произведение илодомъ истиннаго вдохновенія, или поэтъ его искусственно придумалъ. Съ этой точки зрвнія, онъ нахо-

диль романтизмъ повсюду, даже и у Державина. Этаже самая доктрина послужила для Полевого канвой для многихъ его романовъ и повъстей, въ которыхъ на первомъ планъ постоянно рисуется передъ вами артистъ-фантазеръ, непонятый толной и гибнущій вследствие особеннаго фатума, обрекающаго на гибель всёхъ поэтовъ, музыкантовъ и художниковъ. Рядомъ съ этою доктриной, безъ всякой связи съ нею, смутно бродила въ Полевомъ идея о необходимости, чтобы поэвія каждаго народа была самобытная и народная. Но въ чемъ должна заключаться эта народность, объ этомъ Полевой телько гадалъ, не не имълъ ровно инкакихъ определенныхъ понятій: то онъ видёлъ народность въ широкихъ розмахахъ державинской лиры, то съуживалъ понятіе о ней до изображенія чего бы то ни было находящагося въ предвлахъ Россій, — такъ, напримерь, считаль народными первыя главы Евгенія Онъгина на томъ только основании, что онъ изображають жизнь и нравы петербургского дендизма, а не парижскаго или лондонскаго, — то онъ впадалъ въ народность кваснаго патріотизма и выставдяль личности изъ простаго народа, преисполненныя такого патріотизма, то, наконецъ, видель народность въ буквальномъ подражаніи народнымъ сказкамъ, и самъ писалъ сказки, поддёлываясь подъ простонародный языкъ.

Въ Петербургъ до изданія "Телеграфа" Полевой познакомился съ передовыми кружками, которые не могли не произвести на него весьма благотворнаго вліянія. Подъ этимъ вліяніемъ сложился у Полевого идеалъ литературной независимости, честности, презрѣнія къ меценатству, лести и продажности. Но однимъ пассивнымъ и неопределеннымъ чувствомъ свободы и демократической ненависти ко всему сильному и возвышающемуся и ограничился весь диберализмъ Полевого. Онъ былъ слишкомъ мало развитъ, чтобы додуматься до какихъ-дибо опредёденныхъ общественныхъ убъжденій. Онъ не могъ отвыкнуть отъ привычки съ мыслью о малейшей активности въ жизни соединять представление чего-то крайне преступнаго. Онъ не сощелся съ нетербургскими кружками и началъ изданіе "Телеграфа" безъ ихъ участія, въ Москвъ, самостоятельно.

Такимъ образомъ, Полевой принялъ многіе элементы, которые неопределенно бродили въ общестев въ начале двадцатыхъ годовъ, но не сделался вполнъ передовымъ человъкомъ этого времени. Но, отставая во многомъ отъ передовыхъ людей александровскаго царствованія, онъ имёль въ то-же время особенное преинущество передъ ними, которое принадлежало ему, какъ человъку новаго уже періода, который если еще не наступиль, то быль уже очень близокъ. Дъло въ томъ, что передовые люди александровскаго времени, съ высоты своей великосветкости и романтическаго задора, слишкомъ пренебрегали, такъ называемою, томой: они думали жить и действовать безъ ея участія и содействія, мечтали облагодетельствовать ее, не спрашиваясь объ этомъ у нея. Для Полевого-же, который самъ вышелъ изъ этой толны, близки къ сердцу были ея уиственные интересы. Онъ чувствоваль живо, а можеть быть, и ясно сознаваль, что ничего не сдёдаешь одинь, безъ участія этой толпы, не возвысивши хоть скольке-нибудь ея умственнаго и нравственнаго уровня. Онъ сознаваль, однимъ словомъ, необходимость энциклопедической литературной пропаганды въ широкомъ смыслё на массу грамотныхъ людей.

«Для изображенія совершеннаго журнала,—говорить онь въ первой книжкъ своего «Телеграфа»,вообразите зеркало, въ которомъ отражается весь міръ нравственный, политическій и физическій. Такой журналь едва-ли не болье многихъ книгь принесеть пользы. Не всь могуть удвлять время на чтеніе огромныхь томовь: многіе-ли привыкли къ обдуманному, систематическому чтенію. Здісь преимущество на сторонъ журналовъ: истинно-полезное, истинно-изящное предлагаеть вамъ журналисть, не пугая обширными опредъленіями, цестротой выписокъ, толщиной книги. Журналистика должна пользоваться важнымъ преимуществомъ своимъпредставлять отчетныя извлеченія изъ всёхъ книгъ любопытныхъ и важныхъ и уръдомлять читателей обо всемъ, что слышно новаго. Журналисть—разносчикъ въстей: встръчансь съ нимъ не спрашивають, что вы знаете, но нъть-ли чего-нибудь новасо? Воть ночему и полагаю критику однимь изъ важнъйшихъ отдёленій журнала—пусть только она будеть умна, правдива, дёльна. Присовокупите къ этому избранныя новости литературныя, важивищія новости въ наукахъ, искусствахъ и художествахъ, обзоръ всеобщаго просвъщенія-и умъйте предлагать это не односторонне, разнообразно».

Такъ представдялъ себъ Полевой программу журнала, который имъль бы видъ не періодическихъ безсвязныхъ сборниковъ для 200, 300 меценатовъ и денди, интересующихся успъхами отечественной литературы, каковы были всё журналы, появлявшіеся до того времени, а энциклопедію, обнимающую всѣ отрасли знанія, искусствъ и политики, и которая иогла бы замёнить чтеніе книгь для массы грамотныхъ людей. Надъ Полевымъ посменлись въ Петербурге. Марлинскій, въ литературновъ обозрѣніи, напечатанномъ въ "Полярной Звъздъ", альманахъ, изданномъ въ 1825 г., помъстиль между прочимъ такой отзывъ о появленіи "Телеграфа": "въ Москвѣ явился двухнедельный журналь "Телеграфъ", издаваемый Полевымъ. Онъ заключаеть въ себъ все, извъщаетъ и судить обо всемь, начиная отъ безконечно малыхъ въ математикъ и до пътушиныхъ гребешковъ въ соусъ или до бантиковъ на новомодныхъ башмачкахъ. Неровный слогъ, самоувъренность въ сужденьяхъ-вотъ знаки сего "Телеграфа", а "Смёлымъ Богъ владеетъ" —его девизъ". Этотъ отзывъ, помѣщенный въ альманахъ, изданномъ по иниціативъ дучшихъ передовыхъ людей того времени, трудно приписать одному личному взгляду Марлинскаго; по всей вброятности, въ немъ, отразилось общее интніе о журналѣ Полевого петербургскихъ кружковъ. Но опытъ вскорв показалъ, что значить безучастность массъ; стоящихъ на низкомъ уровит развитія, и на чьей сторонт было будущее: "Телеграфъ" былъ оправданъ успъхомъ своимъ: онъ пріобраль 2,000 подписчиковъ, количество, о которомъ до того времени не смълъ и думать ни одинъ журналь, и въ то-же время всталь во главе новаго движенія нашего общества, въ которомъ непосредственное уже участіе принимала та самая масса грамотныхъ людей, которая до того времени была только безучастною зрительницей.

1826-й годъ важенъ въ исторіи нашего развитія особенно темъ, что это былъ годъ крутаго перемеще-

нія центра уиственнаго броженія.

Мы говорили уже въ предъидущей главъ, что съ Екатерины и до Николая умственное движение преобладало въ высшихъ кругахъ общества. Всв изданія, журналы и газеты основывали свой успёхъ, главнымъ образомъ, на сужденіяхъ, приговорахъ и сочувствіяхъ этого круга; все, если не изъ него исходило, то для него писалось, наконецъ, подчинялось различнымъ переходамъ умственнаго движенія въ этомъ кругу и отражало ихъ. Но когда это движение было разомъ прервано и все, что только было мыслящаго въ этомъ кругу, сошло съ поприща, свътское общество въ коннь двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ сделалось совершенно чуждо какихъ-либо уиственныхъ интересовъ. Вотъ какъ характеризуетъ это общество И. Панаевъ въ своихъ "Литературныхъ восноминаніяхъ":

«Большинство нашихъ такъ-называемыхъ свътскихъ людей того времени отличалось крайнею пустотой и отсутствемъ всякаго образованія, потому что болтанье на французскомъ языкъ, болъе или менъе удачное усвоение внъшнихъ формъ пошлаго европейскаго дендизма и чтеніе романовъ Поль-де-Кока нельзя-же назвать образованіемъ. Исключеній было немного, и въ нимъ принадлежалъ графъ Ми-хаилъ Юрьевичъ Віельгорскій—человъкъ съ тонкою артистическою натурой и, притомъ, съ большою начитанностью для свътскаго человъка. Остальные не принимали и не могли принимать ни малъйшаго участія ни въ развитіи отечественной литературы, ни въ какихъ человъческихъ интересахъ, а знали о существованіи русской литературы только по Пущкину и по другимъ, которие принадлежали къ ихъ обществу. Они полагали, что вся русская литера-тура заключается въ Жуковскомъ, Крыловъ (басни котораго ихъ заставляли учить вт дэтствэ, Пуш-кинъ; князъ Одоерскомъ, князъ Вяземскомъ и гра-фъ Соллогубъ, который своимъ свътскимъ пріятелямь читаль тогда «Сережу», еще непоявившагося въ печати. Чтобы получить литературную извъстность въ великосейтскомъ кругу, необходимо было попасть въ салонъ г-жи Карамзиной—вдовы исторіографа. Это быль уже настоящій великосейтскій литературный салонь, съ строгимъ выборомъ».

Въ то-же время, когда нравы свътскаго общества такъ печально измѣнились, массы несановитыхъ помъщиковъ, чиновниковъ и всякаго рода достаточныхъ и сытыхъ разночинцевъ были совершенно готовою почвой для умственнаго развитія. Эти массы съ живымъ и свёжимъ интересомъ знакомились съ русскою литературой предшествовавшихъ временъ и до энтузіазма увлекались произведеніями Пушкина. Пущкина читали, переписывали, заучивали наизусть, Пушкинымъ бредили юноши и дёвы по всёмъ уёзднымъ городамъ и захолустьямъ... Понятно, почему эти юноши и дъвы, сдълавшись въ настоящее время старцами, съ такимъ азартомъ напускаются на малейшее критическое отношение къ ихъ любимцу-Пушкину: для нихъ она быль более, чемъ поэтъ-онъ быль ихъ недосягаемый идеаль, ихъ богь. И еще бы: онъ внервые задёль своими лирическими стихотвореніями ихъ заветныя маленькія чувствица, ихъ крошечныя невинныя дунки, не простиравшіяся далье вопроса о свиданіи или разлукі съ милымъ, созерцанія яснаго літняго вечера вы деревий, воспоминаній о счастливомъ детстве и пр. Онъ впервые изобразиль ихъ патріархальные, буколические нравы и начерталъ передъ ниии идеаль гордаго романтика, живущаго въ разладъ съ окружающею средой и съ саминъ собою. Каждый юноша, мало-мальски честолюбивый, непремённо переживаль въ то время періодъ, въ который мечталь сдълаться Пушкинымъ, и исписывалъ тетрадки разными лирическими стихоизверженіями. Каждый спішиль воспользоваться удобнымь случаемь увидёть Пушкина и воображаль при этомъ встрётить его непремённо окруженнымъ лучезарнымъ сіяніемъ. Вспомнимъ при этомъ удивление Гогодя, который, отправившись знакомиться съ Пушкинымъ и узнавъ отъ слуги, что тотъ спитъ, думалъ, что поэтъ непремвино провелъ всю ночь на Парнаст въ бестрт съ музами иупаль съ небесъ, узнавши, что Пушкинъ всю ночь

проиграль въ картишки.

Эта-то масса, невинно увлекавшаяся Пушкинымъ, встала теперь впереди, въ ней сосредоточилась унственная сила русскаго общества. Вибств съ такимъ перем'ящениемъ центра мысли, изм'янились мало-номалу нравственные идеалы-измънились самыя орудія и средства просв'єщенія. Объ изм'єненім нравственныхъ идеаловъ намъ придется говорить впоследствии въ своемъ мѣстѣ; послѣ двадцать-нятаго года и впродолженіи десяти л'єть это изм'єненіе идеаловъ не усп'єло еще опредълиться; но орудія и средства развитія разовъ измѣнились. До 1825 года образование передовыхъ и иыслящихъ дъятелей общества шло обыкновенно такимъ путемъ: сначала юноша воспитывался подъ руководствоиъ домашнихъ учителей, преимущественно выходцевъ изъ-за границы. Иногда выходцы эти были крайне плохи и несостоятельны, но встрвчались и образованные, развитые люди, имъвшіе немаловажное вліяніе на развитіе будущихъ діятелей русской мысли. Потомъ юноша или прямо поступаль на службу, или-же уважаль за границу доучиваться. Во всякомъ случай, дальнийшее развитие онъ пріобриталъ уже въ самой жизни, преимущественно въ чтеніи французскихъ мыслителей прошлаго въка, а если зналь англійскій языкь, то знакомился съ Локкомь, Смитомъ, Бэлемъ и пр. Такимъ образомъ, передовые люди до тридцатыхъ годовъ получали свое развитіе непосредственно изъ европейскихъ источниковъ, минуя вліяніе отечественныхъ школъ и журналистики. Университеты и журнады имъли ничтожное значеніе въ русской жизни. Если и упоминается въ двухъ, трехъ біографіяхъ объ окончаніи курса наукъ въ университетъ, то постоянно при этомъ не безъ ироніи приводится на видъ, что юноща ничего не вынесъ изъ этого курса. Изучая умственное развитіе общества до тридцатыхъ годовъ, вы совершенно не видите учащейся полодежи, какъ особенной уиственной и правственной силы, стоящей впереди развитія. Что-же касается до журналовъ, то если некоторые и имели свое значеніе, какъ, напримъръ, сатирическіе журналы при Екатерина или журналы Карамзина, во всякомъ случав, форма періодическихъ сборниковъ, приданная этимъ изданіямъ въ подражаніе западнымъ образцамъ, вовсе не была вызвана органическою потребностью общества. Новиковъ могъ бы издавать отдёльныя сатирическія брошурки; Карамзинъ-печатать свои произведенія отдёльными выпусками, какъ онъ потонъ

двлаль со своем исторісй; общество того времени читало бы и поучалось, и вовсе не чувствовало бы недостатка въ періодическихъ журналахъ. Доказательствомъ этого служитъ печальное состояніе русской журналистики въ царствованіе Александра І, когда журналы, при всемъ общественномъ возбужденіи, едва влачили свое существованіе почти безъ подписчиковъ.

Съ николаевской эпохи университеты и журналистика делаются въ Россіи главными органами развитія высли, и очень понятно почему. Путешествіе за границу и выписка иностранныхъ книгъ, въ особенности философскихъ и соціальныхъ, на которыя въ правительственныхъ сферахъ начали смотрёть, какъ на главный источникъ всякихъ революціонныхъ стремленій, сділались крайне затруднительными. Как'в ни плохо было общее состояние университетского преподаванія, но въ немъ сосредоточилась единственная возможность получить хоть какое-нибудь систематическое, высшее образование. И между тамъ, какъ высшіе классы общества, по прежнему, продолжали пренебрегать университетами, массы средняго класса начали смотреть на университеты, какъ на главные центры просвъщенія. Каждый отець семейства, въ которомъ мало-мальски были затронуты умственные интересы, только о томъ и мечталъ, какъ бы отдать своего сына въ университетъ. Еще болбе возвышали значение университетовъ для среднихъ классовъ тъ служебныя преинущества, съ которыми соединялось получение диплома. Наконецъ, и самое преподавание въ университетахъ начало улучшаться по итрт того, какъ, съ возбуждениемъ умственнаго движения въ среднихъ классахъ, къ университетамъ сделался приливъ полодыхъ и свёжихъ силъ. Между темъ какъ прежде все, что было наиболье энергическаго, развитаго, ныслящаго, тянулось въ высшія сферы, потому что тамъ былъ центръ броженія мысли, и юноша могъ мечтать найти тамъ широкое поле общественной деятельности; съ 1826 года, напротивъ того, каждый человъкъ съ маломальски независимыми убъжденіями и характеромъ старался подальше отойти отъ тахъ сферъ жизни, въ которыхъ ничего уже не стало требоваться, кром'в безусловнаго повиновенія и нодобострастной исполнительности. Профессорская-же карьера одна только могла сулить завидную независимость отъ тяжелаго гнета и удаление отъ разъбдающихъ дрязгъ жизни въ неприступныя области науки. Естественно, что на университетскія казедры начали приливать свъжія силы общества, и мы видимъ, что все умственное брожение последующаго времени труппируется вокругъ университетовъ, или изъ нихъ исходить, или съ ними тесно соприкасается.

Вторымъ орудіемъ просв'ященія сдівлалась литература и преимущественно журналистика. Недостатокъ книгъ на русскомъ языків; обусловленный, кромів скудости образованія, тажестью цензурныхъ условій, и затруднительность выписки книгъ иностранныхъ естественно обусловили необходимость такихъ журналовъ, которые заключали бы въ себъ энциклопедію ведъхъ знаній, наукъ, искусствъ, философіи, политики; которые сообщали бы и новости, и элементарным свъдъйня, возбуждали умы, развивали и обогащали ихъ свъдъніями. Еслибы движеніе мысли, попрежнему, го-

сподствовало въ высшихъ классахъ, то, конечно, журналы не могли бы получить такого значенія, потому что какія строгія таможни вы ни придумайте противъ ввоза иностранныхъ книгъ, будьте увърены, что всевозможныя строгости окажутся ничтожными для людей, имъющихъ власть, связи и деньги, и люди эти будуть иметь возможность доставать книги, какія только захотять. Но съ перемъщениемъ центра умственнаго движенія въ средніе круги, особенно въ массу людей, жившихъ по отдаленнымъ городамъ въ глуши провинцій — строгости цензурныя и таможенныя произвели то, что журналъ сдълался единственною умственною пищей, настольною книгой, изъ которой грамотные люди почернали все свое развитие и образованіе. Принявъ все это въ соображеніе, понятень становится усивхв "Телеграфа". Это быль пер-. вый журналь, удовлетворившій насущной потребности той свъжей массы, въ которой зачиналось умственное броженіе. Выйдя самъ изъ этой массы, Полевой отлично понималь всь ея потребности. Масса видъла въ романтизм'в посл'яднее слово прогресса — Полевой всталъ на сторону романтизма. Масса увлекалась Пушкинымъ — Полевой восхваляль ея любимца. Масса чувствовала потребность въ элементарныхъ сведеніяхъ по всемъ отраслямъ знанія. Полевой въ обилін сообщаль ихъ въ своемъ журналь. Масса смутно порывалась къ прогрессу - Полевой постоянно проповъдываль въ своемъ журналъ необходимость стремиться къ прогрессу, учиться, развиваться, и съ другой стороны — вредъ апатін, коснівнія и праздности. Естественно, что масса была въ восторга отъ "Телеграфа". Молодежь зачитывалась имъ. Но чтобы читатели наглядиве могли видеть, что это была за молодежь и что увлекало ее въ "Телеграфъ", мы приведемъ два цитаты, одну изъ "Воспоминаний о студенчествъ Грановскаго" Григорьева, другую изъ "Литературныхъ воспоминаній и. Панаева.

«Большая часть монхъ товарищей,—говорить Гри-горьевъ, въ томъ числъ и Грановскій, вступили въ университеть, какъ и я, съ такими неразвитыми понятіями и такимъ ничтожнымъ запасомъ положительныхъ свъдъній, что вспомнить совъстно. Маломальски смышленый гимназисть настоящаго времени сдълален-бы оракуломъ, прослынъ-бы за чудо премудрости между тогдашними студентами петербургскаго университета. Изъ преподавателей, кто читалъ по «собственнымъ запискамъ», кто по печатнымъ учебникамъ. Отъ студентовъ требовалось заучиванье тахъ и другихъ наизусть; радкій профессоръ бывалъ доволенъ, когда на репетиціяхъ слушатель отвъчаль собственными словами; большинство всю заслугу студентовъ поставляло въ томъ, чтобы они воспроизводили записки или учебникъ слово въ слово, безъ малъйшаго отступленія, ничего не убавляя, ни прибавляя. Одинъ профессоръ, впрочемъ, въ наше время еще уволенный изъ университета, просто приходиль въ ужасъ, когда видълъ, что студенть упоминаеть о какихъ-нибудь обстоятельствахъ пред-мета, не заключавшихся въ запискахъ. Исполняя требованіе преподавателей, мы и «зубрили» записки; чёмъ кто быль ревностнёе къ занятымъ темъ усерд-нёе упраживлея въ стубрения. Такъ, на первомъ курсъ, желая отмичиться, я и одинъ изъ товарищей монхъ выучили наизусть вею «Исторію Греціи» Арсеньева, два порядочныхъ тома убористой печати. Но это быль подвигь экстраординарный. Обыкновенно далъе знанія профессорских в записовъ изученіе предмета не простиралось. Не только не тре-

бовалось оть студента, чтобы онъ знакомился съ какими-либо о преподаваемой наукт сочиненіями, даже литература той или другой отрасли знанія не входила въ рамки преподаванія. Насъ какъ-бы заставляли думать, его въ профессорскихъ запискахъ заключается все, что только нужно и можно знать о предметь, и что, заучивъ ихъ, ничего не остава-лось делать болье... Принтельскій кружовъ, о которомъ говорю, собирался нерѣдко in pleno у того или другого изъ его членовъ. Собравшись, толковали о всикой всячинъ, de omni re scibili et quibusdam aliis, въ особенности о последнихъ: міръ духовъ и привидений быль почти постояннымь предметомъ разсказовъ, соображеній и догадокъ, но толковали иначе, нежели последовавшия за нами университетскія покольнія. Я упомянуль уже, что мы, вообще, были мало развиты умственно, и ни начитанностью, ни особымъ участіемъ къ предметамъ университетскаго преподаванія не отличались. Къ этому надо прибавить, что мы или вовсе не читали газеть, или заглядывали въ нихъ случайно: стало быть, политика никоимъ образомъ не могла давать пищи нашимъ разглагольствованіямъ: парижская палата депутатовъ и ен ораторы какъ-бы вовсе для насъ не существовали. Кром'я того, большинство изъ насъ не знало по-ифмецки, и если и искусилось въ этомъ явыкъ, то, все-таки, съ философскою дъятельностью Гер-маніи нисколько не было знакомо: про Гегеля едвали и слухъ до насъ доходилъ; но немногимъ болъе знали мы, кажетси, и про Шеллинга, и про весь сониъ германскихъ философовъ, начиная съ Канта. Труды протестантскихъ богослововь не были извъстны намъ даже по заглавіямъ. Ф. Шлегель съ его исторіей литературы представляйся для насъ апогеемъ философской глубины и туманности. При такой непривычкъ къ умствованию, къ отвлеченностямъ, къ разсматриванио недений въ ихъ идев, даже о томъ немногомъ, что занимало насъ, толковали мы спроста, судя болье по голосу чувства, чъмъ разсудка, почему и восхищались, и бранили довольно безотчетно».

Чімъ-же восхищалась эта молодежь въ "Телеграфъ" Полевого и что могло казаться либеральнаго въ этомъ журналъ для нея, чуждой какихъ-бы толи было общественныхъ вопросовъ? Вотъ что говоритъ объ

этомъ предметъ Панаевъ:

«Въ это время въ Европѣ была въ самомъ разгарѣ война классиковъ съ романтиками. Имена французскихъ сподвижниковъ романтизма: Гюго, Дюма, Барбье, Сулье, Сю, де-Виньи, Бальзака, начинали пріобрѣтать у насъ громкую извѣстность. Гюго своимъ предисловіемъ къ «Кромвелю» начест послидній ударт классицизму, какъ выражался К-овъ *), приходившій въ неистовый энтузіазмъ оть этого преди-словін и всегда носившійся съ «Кромвелемъ». Оть Вальтеръ-Скотта я перешелъ къ французскимъ романтикамъ и читалъ ихъ съ жадностью. Борьба классиковъ съ романтизмомъ нъсколько раздражила мои умственныя спосо ности, давно требовавшія какой-нибудь пище. Я сталь подъ знамена романтизма, представителями котораго у насъ считалъ Полеваго, Пушкина и его щколу, и торжествоваль побъду романтиковъ, имъя, впрочемъ, очень слабое понятіе о томъ, что за звъри классики. Подъ словомъ классицизмъ и неопредъленно разумълъ, вообще, все отжившее, старое, обветшалое, и наоборотъ, подъ словомъ романтизмъ-все живое, новое, къ которому начиналь чувствовать инстинктивное, неопредъленное влечение. Почему возникла эта борьба? Какой смысль заключался въ этомъ явленіи? Я не могъ понимать этого... Въ торжествъ романтизма я праздновалъ побіеніе Толмачевихъ, Роговихъ, Кайдановыхъ, Зябловекихъ, всёхъ нашихъ тупыхъ на«Литературная революція, какъ извѣстно, совпала во Франціи съ полятическою революцієй... И въ янтературѣ, и въ политикъ новыя идеи торжествовали; но и не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о значеній политическихъ движеній... Іюльская революція не произвела на меня ни малѣйшаго впечатлѣнія. Я слышахъ мелькомъ, что Карлъ Х сверженъ и что вмѣсто него вошелъ на престолъ Людовикъ - Филипъ... За что сверженъ одинь и сдѣланъ королемъ другой—это меня нисколько не интересовало. Кромѣ литературы, цичто не трогало меня и я не имѣлъ

ни о чемъ понятія».

Изъ всѣхъ этихъ выдержекъ мы видимъ, что юноши, у которыхъ въ головъ была еще совершенная tabula rasa, хотя и увлекались романтизмомъ, но съ этимъ именемъ у нихъ не было еще связано никакихъ ясныхъ и определенныхъ понятій, а только одно безотчетное порывание къ чему-то светлому, честному и смелому. При этомъ воніющимъ недостаткомъ "Теле» графа", составляющимъ его ахиллесову пяту, было то, что чтеніе этого журнала котя и обогащало различными сведениями, въ то же время не давало никакихъ опредвленныхъ идеаловъ, никакихъ систематическихъ убъжденій, философскихъ, эстетическихъ, моральныхъ или общественныхъ. Доктрина, которую ностоянно развиваль Полевой о томъ, что поэты — факиры-мечтатели и страдальцы, была слишкомъ узка, чтобы обнять все мучительные вопросы жизни; она не годилась никуда, даже и для тёхъ, которые мечтали посвятить себя поэзіи. В'ячныя однообразныя нападки въ демократическомъ духв на пустоту и тлетворность светской жизни, насмешки надъ кваснымъ патріотизмомъ, да мелкія перебранки съ продажными литераторами въ роде Булгарина и Греча, - все это удовлетворяло общество нъсколько времени въ страшные годы всеобщей апатіи, унынія, глухаго молчанія и пустоты, но мало-по-малу начало и прівдаться. Возбуждая умы, Полевой поселяль въ нихъ жажду развитія, но въ то же время не имѣдъ никакихъ данныхъ, никакихъ силъ удовлетворить этой жаждѣ и, создавши что-либо новое, повести возбужденные умы впередъ. Не будучи вполит человъкъ стараго поколънія, т.-е. александровскаго, Полевой не сділался и вполнъ человъкомъ новаго. Онъ понялъ потребности новаго времени гораздо лучше людей александровскаго періода и создаль журналь, въ которомъ всв нуждались, но понялъ ихъ, все-таки, одностороние, съ точки зрвнія идеаловъ и воззрвній своей юности. Последній могикань, обломокь эпохи 20-хъ годовь, Полевой такъ привыкъ съ именемъ романтизма соединять все сватлее и прогрессивное, героическое, а съ именемъ классицизма все обскурантное и гнилое, что онъ никакъ не могъ выйти изъ этихъ рубрикъ и оцънить новыя явленія, которыя не подходили ни къ тому, ни къ другому роду. Явились, напримъръ, произведенія Гоголя—Полевой не поняль ихъ прогрессивнаго значенія, и не поняль ихъ вовсе не потому, что быль приверженець философіи Кузена, а не Гегеля,

ставниковъ, упорно державшихся за свои узкія и гнилыя понятьща и за свою пошую мораль. Всънаши учителя, за исключеніемъ К—ова, всѣ инспекторы, всѣ гувернеры съ презрѣніемъ и ожесточеніемъ отамвались о новомъ литературномъ движеніи и считали его глубоко-безиравственнямъ. Мы считали ихъ классиками. Этого одного уже было довольно, чтобы мы сдѣлалесь романтиками.

^{*)} К-овъ, учитель словесности въ благородномъ пансіонъ при Спб. унив., гдъ воспитывался Панаевъ.

какъ будто нужно непременно быть гегелистомъ, чтобы понять и опенить Гоголя: мы видимъ, что Пушкинъ быль вполив современникомъ и почти даже сверстникомъ Полевого (Полевой родился 1796 г., а Пушкинъ въ 1799 г.), о гегелевской философіи онъ имѣлъ еще менъе понятія, чъмъ Полевой, но Гоголя онъ понялъ и одънилъ. Очень понятно, почему это произошло: не будучи человёкомъ рёзкаго, опредёленнаго направленія, не связывая съ какою-либо доктриной всёхъ своихъ понятій и міровоззріній, не видя въ ней душевнаго дела жизни, Пушкинъ гораздо легче могъ оценить Гоголя, если не со всёхъ сторонъ, то, по крайней-ифрф, съ художественной. Для Иолевого-же романтизмъ былъ не просто эстетическою теоріей, а всеобъемлющимъ прогрессомъ времени, не только художественнымъ, но моральнымъ и соціальнымъ. Йо его инфиію, поэзія должна быть небеснымъ откровенісиъ, исполненнымъ грандіозныхъ образовъ, которые отвлекали бы людей отъ нелочныхъ дрязгъ жизни, показывали бы имъ въ необыкновенныхъ личностяхъ образецъ величія, до котораго люди могутъ достигать, и возбуждали-бы, такинъ образонъ, въ людяхъ чувство гражданскаго героизма. Естественно, что съ такой точки зрѣнія онъ рѣшительно не понималъ, какое гражданское и нравственное значение можетъ имъть поэзія, которая, вийсто того, чтобы возбуждать героизмъ грандіозными образами, напротивъ того изображаеть. Богь знаеть для чего, однъ только мелкія, пошлыя и грязныя стороны жизни. Еще болбе сбило съ толку Полевого то, что всё отношенія дитературныя перепутались, какъ это всегда бываеть въ переходныя эпохи. Подевой естественно ждаль новыхъ словъ и новыхъ явленій жизни изъ лагеря романтиковъ его школы, но молодая травка, растущая на развалинахъ, не разбираетъ, изъ-подъ какихъ плитъ и камней ей пробиваться. Новыя слова и новыя явленія, какъ признаки того самаго движенія, начало котораго возбудиль самъ Полевой, не замедлили появиться отовсюду; изъ глубины университетскихъ аудиторій, изъ страницъ новыхъ органовъ, вздумавшихъ мъряться съ "Телеграфомъ", соперничать съ нямъ и идти наперекоръ, и, къ ужасу Полевого, даже съ обветшалыхъ листовъ классического органа Каченовскаго. Явились шеллингисты, гегелисты, съ новыми взглядами на искусство, съ новыми требованіями отъ жизни. Это было начало движенія, которое впоследствіи принесло обильные плоды, но вначаль оно было столь еще неопредёленно, хаотично, что рёшительно невозможно было предугадать, что изъ него выйдеть: рядомъ съ здоровыми задатками, въ туманномъ хаосъ, оно носило въ себъ элементы затулые, схоластически школьные, аскетически отрёшенные отъ всякихъ живыхъ вопросовъ; были элементы и болъе сомнительнаго свойства. Полевой видель, напримерь, что университетская молодежь увлекалась Надеждинымъ, а Надеждинъ началъ свое литературное поприще въ органъ Каченовскаго съ нападокъ на романтизмъ, соединенныхъ, какъ мы увидинъ ниже, съ инсинуаціями протавъ Подевого, Пушкина и вообще романтиковъ, -- несовсемъ благовиднаго свойства, темъ более, если принять въ соображение время, въ которое эти инсинуанів появились, и духъ, господствовавшій тогда въ

правительственныхъ сферахъ. Во враждѣ Полевого противъ Надеждина и его "Телескопа" была, безспорно, своя правая сторона: величайшая ошибка въ томъ, что на эту борьбу смотрели преимущественно съ эстетической точки зрвнія, какъ на борьбу двухъ философскихъ лагерей — одного отсталаго лагеря Полевого, а другаго передоваго — лагеря Надеждина. Съ эстетической точки зрвнія это было такъ; но, въ тоже время, въ борьбъ этой со стороны Полевого была политическая честность и кое-какое либеральное чутье, за то, съ другой стороны, ничего не было, кроив отвлеченныхъ теорій и высоком'трнаго гелертерства, соединеннаго съ отсутствіемъ всякаго дитературнаго и политическаго такта. Въ этомъ отношении Полевой стояль неизмърнио выше Надеждина и, какъ увидимъ ниже, нельзя сказать, чтобы современники не цвнили

Между тъмъ, гнетъ реакціи становился все сильнъе и чувствительнее... Ледянымъ воздухомъ венло на Полевого съ съвера... Молодымъ и начинающимъ писателямъ, чуждымъ всякихъ общественныхъ вопросовъ и съ репутаціей еще ниченть не заподозренной, было не въ примъръ легче, чемъ последнимъ могиканамъ александровской эпохи, въ томъ числѣ и Полевому... Когда, въ 1834 году, "Телеграфъ" былъ запрещенъ, положение Полевого было по истинъ трагическое. Съ одной стороны правительство его гнало, съ другой -- онъ не виделъ уже прежняго сочувствія къ себъ со стороны общества и полодежи. Легко принимать на себя мученическій вінець, когда вы видите за собою рукоплесканія и крики, если не большинства, то вашей партіи или, наконецъ, хоть немногихъ вашихъ друзей, въ которыхъ вы видите будущихъ апостоловъ вашихъ идей. Но Полевой чувствовалъ, что его время прошло; онъ видель себя всеми брошеннымъ и покинутымъ; финансы его были въ то-же время разстроены, и ему угрожала впереди темная, глухая нищета съ огромнымъ семействомъ на рукахъ, Не рашимся-же обвинять этого человака, зачань онъ не быль такимъ героемъ, чтобы встретить невзгоду мужественно и устоять на высоть своего нравственнаго достоинства. Положение его было до того безвыходно, что и не такія бы силы погнулись. Сбитый съ своей позиціи двумя противоположными толчками и сверху, и снизу, Полевой совершенно растерялся, упаль духомь и разсудиль, что ену остается въ жизни одно: служение своей семью. Онъ и предался этому единственному интересу, махнувши на все рукой. Далъе затъмъ, это уже не былъ прежній Полевой, а живой, ходячій трупъ Полевого, мечущійся то туда, то сюда, безъ всякой системы и последовательности, съ единственною целію поддерживать существованіе своихъ домочадцевъ. То снова принимается онъ за редакторство журнала, но журналы подъ его редакціей выходять безцветны и пусты и не инеють успеха; то онъ пишетъ исторію для дътскаго чтенія, то ставитъ на сцену драмы въ дук' того санаго кваснаго патріотизиа, надъ которыиъ онъ прежде смѣялся; сочиняетъ даже сказки для народа; за что только ни берется онъ, -- во всемъ этомъ вы видите одинъ руководящій интересъ: поддержаніе семь илитературнымъ ренесломъ. Въ то-же вреия онъ сходится съ такими писателями, на которыхъ прежде овъ болъе всего нападаль, съ Булгаринымъ, Гречемъ, Сенковскимъ, унижается до того, что онъ, Полевой, стоявшій прежде во главъ русской литературы, позволяетъ перемарывать и искажать свои статьи Сенковскому, этому литературному фигляру и шарлатану, чего не позволиль бы себъ иной начинающій писатель, принесшій въ редакцію первый свой трудъ. Наконецъ, онъ, Полевой, прежде столь грозный для "Сына Отечества", самъ принимаетъ редакторство этого журнала. Но при всемъ этомъ, нельзя не отдать долга справедливости, что и въ самомъ паденін Полевого вы встрвчаете черты, достойныя всякаго уваженія и обличающія въ немъ человъка хорошаго закала. Бросивши знамя оппозиціи, онъ не сталь топтать его ногами; онъ не последоваль постыдному обыкновенію ренегатовъ нападать на прежнихъ союзниковъ съ большимъ азартомъ и нетерпимостью, чёмъ нападають записные противники. Нътъ, и въ самомъ своемъ паденіи Полевой остался тыпь-же честнымь, гуманнымь писателемь. Хотя онъ и не способенъ былъ опънить значенія новыхъ явленій жизни, но онъ не пропов'ядываль крестовыхъ походовъ на нихъ, не мѣшалъ имъ рости и развиваться, и не кричалъ о ихъ безправственности и опасности. Ни одной тѣни хоть чего-нибудь похожаго на инсинуацію не встрѣтите вы ни въ одномъ сочиненіи послъдующаго печальнаго періода его дъятельности. Въ то-же время онъ не скрывалъ своего паденія, не старался подкрасить его какими-либо высшими соображеніями съ цёлію оправдать себя передъ собою и другими. Напротивъ того, когда Бѣлинскій провожалъ его изъ Москвы до заставы и пожелаль ему успёховъ и счастія въ Петербургь, Полевой уныло улыбнулся и сказалъ: "Благодарю васъ, нътъ-съ, ужь какіе успѣхи! Но если я буду дпйствовать не такъ, какъ слъдуетъ, такъ не вините меня, а пожалъйте-съ... Я человъкъ, обремененный семействомъ". А впоследствій, разговаривая, съ покойнымъ Панаевынь о Вёлинскомъ, онъ сказалъ:

— Вёлинскій — прекраснёйшій, благороднёйшій человёкъ, горачая голова, энтузіасть, но теперь намъ сходиться не для чего-съ. *Я эдпсь ужев совстьмъ не тотъ-съ.* Я воть долженъ хвалить романы какогонибудь Штевена, а вёдь эти романы—галиматья-съ.

— Да кто же заставляеть вась хвалить ихъ?
— Нельзя-съ, помилуйте, въдь онъ частный при-

- Что-жь такое? Что вамъ за дёло до этого?

— Какъ что за дёло-съ? Разбери я его какъ слёдуетъ, онъ, пожалуй, подкинетъ ко мнё въ сарай какую-нибудь вещь, да и обвинитъ меня въ кражё. Меня и поведутъ по улицё на веревкё, а вёдь я отепъ семейства.

Эта страшная ясность сознанія своего паденія и, вийстй съ тимъ, беззастинивая искрепность, не только не старающаяся выставить свои поступки хоть въ сколько-нибудь благовидномъ свйтй, а напротивъ того обнажающая передъ вами чахь во всеить ихъ комическомъ видѣ, —это такой удивительный и ридкій факть, что врядъ ли подобный вы найдете въ исторіи... Гораздо чаще мы встричаемъ, что люди, падающіе неизмиримо наже Полевого, не только не сознають

своего паденія, напротивъ того, гордятся имъ, какъ особеннымъ гражданскимъ и нравственнымъ подвигомъ. За примърами ходить недалеко. Ихъ слишкомъ много въ современной намъ жизни.

Тяжелое, мучительное сознание своего паденія, сознаніе того, что уже онъ не тоть, чёмь быль прежде, еще мучительные и тяжелые дылалось съ каждымъ днемъ вследствіе того, что передъ Полевымъ стояль грозный и безпощадный обвинитель въ лицѣ Бѣлинскаго, который встрвчадъ каждый нетвердый и колеблющійся шагь падшаго учителя резкимъ снёхомъ, убійственными сарказмами и съ укоронъ каждый разъ указываль ему на былое, на успахь и значение въ свое время "Телеграфа"... И по справедливости слъдуеть замътить, что филиппики Бълинскаго, всегда меткія и здыя, доходили иногда до жестокости чрезиврной и совершенно излишней. Возмущенный до глубины души паденіемъ Полевого, Белинскій при своей натуръ, страстно-увлекающейся, нетерпимой, до последней крайности доводящей всякое положениепереливалъ иногда за край, нападалъ не на одни литературныя мижнія, но на самую личность Полевого, предавая осибянію такія сдова и выраженія его, которыя сами по себѣ были извинительны, и, по всей вероятности, самъ Белинскій не обратиль бы на нихъ вниманія, еслибы не быль ожесточень полемикой. Такъ, напримъръ, Полевой, издавши свои лучшія критическія статьи подъ заглавіемъ "Очерки русской литературы", предпослаль этому изданію предисловіе, въ которомъ сообщилъ кое-какія біографическія свёдёнія о своей жизни до-литературнаго поприща, а о литературномъ своемъ поприще высказалъ следующее:

«Въ романъ, въ драмъ, въ исторіи, критикъ и всегда быль одинъ и тотъ же. Мечтатель въ повъсти, безпристрастний изслъдователь въ исторіи, иногда строгій критикъ чужаго произведенія, и ошибался и думалъ, можеть бътъ, невърно, но никогда не измъняль добру, и никогда не подымалась рука моя сорвать вънокъ съ заслугъ, никогда голосъ мой не возвышался противъ дарованія истиннаго».

Эти слова можно было бы легко простить Полевому, несмотря на то, что они, повидимому, и противоръчили дъйствительности, такъ какъ на дълъ Полевой подыналь-таки руки, чтобы сорвать вёнокъ съ Гоголя, и голосъ его возвышался противъ истиннаго дарованія; но Полевой д'влаль это не изъ зависти, не изъ низости, непредумышленно, совершенно не такъ, какъ это же самое твориль Булгаринь. Онъ могь быть оправданъ твиъ, что относительно Гоголя онъ ошибался и думалъ невърно---но думалъ все-таки, честно и высказывался искренно... Что же удивительнаго, что отжившему человъку осталось одно утъщение, что онъ всегда быль искренень и честень, и что худаго, если онъ это высказываетъ? Но Бѣлинскій напалъ за это на Полевого и не столько за несоотвътствіе словъ съ дъйствительностью, сколько за то, что Полевой, самъ хвалясь своей честностью, нарушаеть этимъ чувство нравственнаго смиренія.

«Всему этому мы охотно въримъ—говорить онъ въ своей реценаји на книгу Полевого—и какъ не върить, когда насъ увъряеть въ этомъ самъ Полевой, которий себя знаеть дучще другихъ? Но мы въ то же время думаемь, что судъ о себъ принадлежить другимь, а не самому себь, и что подобныя увърений очень похожи на оправдания въ винъ, въ которой насъ никто не удичаль. Особенно интересни и умалительны увърения Полевого въ чистотъ и невлобии сердца—въ томъ, что ему всегда были чужды низкий чувства, каковы зависть, противоръчие съ своимъ убъждениемъ; что это подтвердать втайнъ самые враги его; что многие изъ бывшихъ его врагами, узнавъ его покороче, кръпко жали ему рукри дъздались его искренними друзьими и пр. и пр. (стр. IX). И этому всему мы охотно въргить — изъ въжливости, не все это приятиъе было бы намъ услышать о Полевомъ отъ кого-нибудь другаго, чъмъ отъ него самого...»

Это очень мътко и зло, но въ то же время и жестоко. Полевой стоилъ котя ничтожнаго синскождения, если не во ими своихъ прежнихъ заслугъ, то хотя во имя того, что даже въ періодъ своего паденя онъ не доходилъ до такихъ крайнихъ реакціонныхъ мнёній, которыя проповъдывалъ тотъ же самый Бъликскій въ одинъ изъ періодовъ своей дъятельности.

Единственно, что оправдываетъ Бѣлинскаго--это то, что, при всемъ своемъ увлечении негодованиемъ противъ Полевого, онъ былъ, все-таки, на столько честный, благородный и высокій человіжь, что, когда врагъ его сошелъ, наконецъ, въ могилу, не выдержавши грока его сарказновъ и не достигши никакихъ матеріальныхъ цёлей всёми своими уступками, такъкакъ онъ умеръ, ничего не оставивши своей семьъ, всь громы Бълинскаго разомъ смолкли, и онъ первый выступиль съ теплымъ и примирительнымъ словомъ въ пользу Полевого. Въ последній годъ своей жизни Полевой издаль книгу подъ заглавіемь: "Стольтіе Россін, съ 1745 по 1845 годъ, или историческая картина достопанятныхъ событій въ Россіи за сто лътъ .. Первый томъ этой книги быль встречень Белинскимъ безпощаднымъ смёхомъ, но когда вибстё съ выходомъ втораго тома разнеслась въсть о смерти Полевого, вифсто рецензіи, Бълинскій поместиль подъ заглавіемъ этой книги следующій некрологь:

«Вотъ последнее произведение Николая Алексеевича Полевого, вышедшее въ свъть при его жизни! Вмъсто рецензіи намъ приходится писать некро-Итакъ, и еще не стало одного изъ замъчательнъйшихъ дъйствователей на поприщъ русской литературы! Говоримъ: изъ «замъчательнъйшихъ», потому что наши съ нимъ несогласія во взглядѣ на многіе предметы нисколько не мішали намъ отдавать ему должную справедливость. Передъ гробомъ умершаго должны умолкать даже личныя вражды; но никогда никакія личныя отношенія не руководили насъ въ нащихъ отзывахъ о литературныхъ трудахъ и мижніяхъ Полевого. Каковъ бы то ни быль характерь его литературной діятельности за последнія десять леть, вынемы многое объясняется ствененными обстоятельствами... Во всякомъ случав, забывая о недавнемъ, мы твиъ живве вспоминаемъ о первомъ блестящемъ періодъ литературной дъятельности этого необыкновеннаго человъка, который самъ себѣ создалъ свои средства, начавъ учиться уже въ тъ льта, когда другіе почти оканчивають свое ученіе, который, опиралсь на свою даровитую натуру, и съ свойственною русскому человъку сметливостью, смышленостью и смълостью, можно сказать, создаль журналь въ Россіи... Этимъ онъ сделалъ гораздо больше, нежели какъ теперь думають, и вообще Полевой еще ждеть, хоти, можеть быть, не скоро дождется истинной оценки; но онъ дождется ея, и имя его навсегда останется въ исторіи русской литературы и въ признательной памяти общества...

«Полевой умерь 22-то февраля *), въ одиннадцать часовъ вечера, на 49 году (онъ родился въ 1796 г.) отъ рождени, посяћ трехнедѣльной мучительной больвив, нервной горачки, которую онъ не могь перенести, давно уже истощивъ фезическія силы свои наприженною работой. Полевой оставиль посяв себи большое семейство, и, какъ онъ всегда помогаль трудомъ и достояніемъ своимъ всякому нуждающемуся въ его помощи, то самъ могь оставить дѣтимъ своимъ только честное, почтенное имя и балодарность соотечественниковъ къ его неоспоримымъ заслугамъ, прекрасное наслѣдіе, которое не можеть остаться безплоднымъ и для его семейства!».

Не ограничиваясь этимъ некрологомъ, Вѣлинскій въ томъ же году посвятилъ памяти Полевого цѣлую статью, въ которой онъ опредѣляеть значеніе дѣятельности Полевого, ставя его наравнѣ съ передовыми просвѣтителями русской мысли—Ломоносовымъ, Новиковымъ и Карамяннымъ.

«Московскій Телеграфъ» — говорить Бѣлинскій въ этой статьт быль явленіечь необыкновеннымъ во всёхъ отношеніяхъ. Человёкъ, почти вовсе неизвъстный въ литературъ, купець званіемъ, берется за изданіе журнала, и его журналь съ первой же книжки изумілеть всёхъ своею живостью, свёжестью, новостью, разнообразіемъ, вкусомъ, хорошимъ языкомъ, наконецъ, верностью каждой строчки однажды принятому и ръзко выразившемуся направленію. Такой журналь не могь бы быть незаміченнымъ и въ толиъ хорошихъ журналовъ, но среди мертвой, вялой, безцвътной, жалкой журналистики того времени, онъ быль изумительнымъ явленіемъ. И съ первой до последней книжки своей издавался онъ въ течени почти десяти лътъ съ тою постоянною заботливостью, съ тамъ вниманиемъ, съ тамъ неослабъваемымъ стремленіемъ къ улучшенію, коніе и страсть. Первая мысль, которую тотчась же началь онъ развивать съ энергіей и талантомъ, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости следовать за успехами времени, улучшаться, идти впередь, избъгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвъщенія, образованія, литературы. Эта мысль, теперь общее мъсто даже для всякаго невъжды и глупца, тогда была новостью, которую почти всё приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее въ общество, сдълать ходячею истиной. И это совершиль Цолевой!»

Эти слова Вълинскаго должны имъть для насъ тъмъ большее значеніе, что Вълинскій самъ началь свое развитіе подъ вліяніемъ чтенія "Телеграфа" и на самомъ себъ испыталъ значеніе этого журнала, какъ особеннаго момента развитія нашего общества.

V

Посивдовательность въ воспріятіи нашемъ различнихь философскихъ системъ съ Запада. —Соотвътъвътельно философія Шеллинга со степенью развитія нашего общества въ тридцатые годы. —Первые шеллингисты — пр. М. Г. Павловъ и кружокъ В. О. Одоевскаго. —Личность Одоевскаго. —Его универсальное образованіе. —Его идеи и вліяніе на современняюють. —Новые вопросы, воз'ужденные философіей Пеллинга, и различные отвъты на нихъ, послужившіе зародышами будущихъ направленій въ литературъ. —Идеи о гніеніи Запада въ связи съ шеллинговою философіей и духомъ времени. —Какъ эта идея отразилась на Одоевскомъ. —Журналы шеллингистовъ. —Мифніе Веневитинова. —Ст. Ив. Канърбевскаго «ХІХ въкъ». —Письмо Чаадаева.

Не смотря на то, что всв направленія мысли, ко-

^{*)} Въ 1846 году.

торыя мы встръчаемъ въ нашемъ обществъ, начиная съ восшествія на престолъ Екатерины и до нашего времени, носять на себ'в сильное вліяніе различныхъ философскихъ и политическихъ системъ западной Европы, нельзя не удивляться той строгой, логической последовательности, съ которою сменялись все эти системы одна за другою на нашей почвъ. Можно подожительно сказать, что мы увлекались тою или другою системой не зря и какъ попало, а совершенно сообразно степени нашего собственнаго развитія, причемъ мысль воспринимала въ данную эпоху ту систему, которую она могла осилить. Вийсти съ этимъ, система принималась обыкновенно не беззавътно и безотносительно, какъ она развилась на Западъ, а переработывалась сообразно потребностямъ, духу и степени пониманія нашего общества. Такъ, напримъръ, иы видёди, что изъ всего цикла идей XVIII въка, большинство образованныхъ людей нашего общества вынесло только чувство нравственнаго достоинства, стреиленіе къ личной свобод'в и смутныя иден о необходимости умственнаго прогресса. Романтизиъ, явившійся на смѣну скентицизму XVIII вѣка только подъ перомъ Жуковскаго быль безсознательною, рабскою пересадкой съ Запада поэтическихъ формъ безъ всякаго отношенія ихъ къ нашей жизни. Но уже при Пушкинъ и Полевомъ этотъ самый романтизмъ выражается, съ одной стороны, въ нравственномъ идеалъ, имъвшемъ глубокое соотвётствіе съ тою средой, въ которой онъ преобладаль, съ другой стороны-съ стремленіемъ создать національную самобытную поэзію, и стремленіе это возникло не съ чужого голоса, не потому только, что на Западъ въ то-же самое время повсюду стояль на первомъ планъ вопросъ о народной поэзін: оно было у насъ такимъ-же органическимъ явленіемъ, какъ и въ каждой стране Европы, въ которой господствовала до того времени ложноклассическая школа, оно вполить соотвътствовало духу и настроенію общества. До какой степени стремление къ самобытности въ поэзін лежало въ дух'в того времени, это мы видимъ на Пушкинъ; всъ вліянія различныхъ западныхъ поэтовъ, которымъ онъ подчинялся, нисколько не поижшали ему быть поэтомъ чисто-русскимъ и вполнъ самобытнымъ. Эта самобытность, сначала совершенно безсознательная и инстинктивная, все болже и болже оснысливалась въ поэтической деятельности Пушкина, пока наконецъ, подъ вліяніемъ идей, бродившихъ въ обществъ, онъ не началъ искусственно, и потому весьма часто неудачно, стремиться къ народности.

Рядомъ съ идеей о народности, въ поэвіи появились различным иден о самобытности и народности цивилизаціи воюще. Эти идеи впервые ясно и сознательно выразились въ ученыхъ и литературныхъ кружкахъ шеллингистовъ, возникшихъ во второй половинѣ двадцатыхъ и первой половинѣ тридцатыхъ годовъ. Увлеченіе философіей Шеллинга, въ свою очередь, какъ нельзя болѣе соотвѣтствовало степени развитія нашего

общества, его духу и настроенію.

Для этого общества нужна была именно такая философія, которая построила бы цёлый мірь, хотя бы и призрачный, но полный величія, блеска, гармоніи, поражающій воображеніе, возбуждающій живой юно-шескій восторгъ и, въ то-же время, приводящій въ тре-

петъ своими мистическими, глубокими и неразгаданными тайнами. Такова и была философія Шеллинга. Основанная на тождествъ духа и натеріи, признавая, что все существующее есть не что иное, какъ видимое тело невидимаго, безсмертнаго разума, воплощающаго въ реальныя конечныя формы свои безконечныя иден, философія эта делала прогрессивный шагь впередъ, освобождая своимъ пантеизмомъ мысль отъ иден произвольнаго личнаго творенія извив, и въ то-же время вполнъ удовлетворяла людей, привыкшихъ къ дуализму и не имъвшихъ еще силъ отръшиться отъ него: она мирила философію съ теми преданіями, передъ которыми люди продолжали еще благоговъть; она не снимала этихъ преданій, а только придавала имъ иной смыслъ и значеніе, сообразное со своею системой. Въ то-же время совершенно соответственно тому апоосозу чувства и фантазіи, въ которомъ выражалось романтическое движение у насъ въ двадцатые годы, философія Шеллинга, считая безсильнымъ и безплоднымъ опытный методъ для определенія сущности всего сушествующаго, выше всего ставила интеллектуальное созерданіе, нічто въ роді экстаза неоплатониковъ, внутреннее, непосредственное чувство, при помощи которато человъкъ постигаетъ безусловную, безконечную идею въ относительныхъ, конечныхъ формахъ бытія; однимъ изъ проявленій такого чувства, философія Шеллинга считала поэтическое творчество, въ которомъ человъкъ самъ унодобляется безсмертному духу, воплощая безконечныя идеи въ тождественныя виъ конечныя формы искусства. Естественно, что для нассы общества, живущей преинущественно жизнію чувства и соверцанія, едва вышедшей изъ средневъковаго догнатическато дуализна и воспитанной исключительно на поэтическихъ произведеніяхъ, трудно было и придушать иную философію, которая соотвётствовала бы ея уиственному развитію и міросозерцанію.

До какой степени общество наше было расположено къ воспринятию шеллинговой философіи, мы можемъ видѣть изъ того, что распространеніе ея произошло почти само собою, безъ малѣйшихъ усилій, безъ вліянія особенно геніальныхъ личностей, всепобѣждающему уму которыхъ можно было бы приписать искусственное увлеченіе общества идеями Шеллинга. Первыми пропагандистами шеллинговой философіи явились съ одной стороны московскій профессоръ М. Г. Павловъ, читавшій въ 1821 году курсъ физики и сельскаго хозяйства, и извъстный, но, къ сожальнію, мало опрыенный писатель В. О. Одоевскій, который ва двадцатыхъ годахъ собираль вокругъ себя кружокъ, во имя любомудрія занимавшійся изученіемъ шеллинговой философіи.

 Павловѣ вотъ какъ отзывается одинъ изъ его учениковъ:

«Каеедра философіи была закрыта съ 1826 года, Павловъ преподавать введеніе къ философіи вибето физики и сельскаго хозийства. Физикъ было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозийству невозможно; но его курсы были чрезвичайно полезны. Павловъ стояль въ дверихъ физико-математическаго отдъленія и останавливать студента вопросомъ: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?». Это чрезвичайно важно; наша молодежь, вступающая въ университеть, оовершенно лишена философскато приготовленія; одни семинаристы

имѣють понятіе о философіи, за то совершенно превратное. Отвѣтомъ на эти вопросы Павловъ излагалъ ученіе Шеллинга и Окэна съ такою пластическою ясностью, которую никогда не имѣль ни одинь натуръ-философъ. Если онъ не во всемъ достигнулъ прозрачности, то это не его вина, а вина мутности шеллинговаго ученів».

Кром'в университетскихъ, Павловъ читалъ и публичныя лекціи въ февралі 1825 года. Въ то-же время появлялись его статьи и въ разныхъ журналахъ: такъ, въ "Мнемозин'в", сборникѣ, изданномъ Одоевскимъ въ 1824 году, встріччается его статья "О способахъ изслідованія природы", а въ "Телескопіъ" 1831 года— "Философическій взглядъ на холеру". Наконецъ, въ 1833 году Павловъ издалъ курсъ физики, проникнутый идемии Шеллинга.

Въ то время, какъ Павловъ, а потомъ Надеждинъ (о которомъ рѣчь будетъ впереди) проводили иден Шеллинга въ университетѣ, кружовъ Одоевскаго выступилъ на поприще журнальной пропаганды тѣхъже идей. Кружовъ этотъ, между прочимъ, заключалъ въ сеоѣ людей, игравшихъ въ то время видную роль въ нашей литературѣ; таковы были Д. В. Веневитиновъ, И. В. Кирѣевскій, С. П. Шевыревъ, М. П. Погодинъ. Въ лицѣ-же Одоевскаго въ кружкѣ этомъ стояда одна изъ самыхъ замѣчательнѣйшихъ личностей нынѣшнаго столѣтія въ Россіи.

Одна изъ важныхъ ошибокъ нашей критики и исторіп литературы заключается въ томъ, что говоря о развитии мысли въ разбираемую нами эпоху, преемственность въ развитіи мысли обыкновенно видять въ переходъ отъ Полевого прямо къ Надеждину и кружку Станкевича съ Бъдинскимъ. При этомъ совершенно упускають изъ виду цёлый моменть въ развити нашей мысли, и моментъ темъ более важный, что въ немъ мы видимъ брожение умовъ, изъ котораго впослёдствін проистекли всевозможныя направленія и партін, существующія до нашего времени, какъ ріки изъ одного общаго хребта горъ или вътви изъ одного корня. Личность Полевого, почти не входитъ въ это броженіе; личность Надеждина играетъ въ немъ родь частную и второстепенную, выбравши на свою долю изъ массы вопросовъ, поднятыхъ этимъ броженіемъ, одни вопросы эстетическіе; что-же касается до кружка Станкевича, то онъ представляется явленіемъ уже последующимъ и есть только одна изъ ветвей дерева, возникшаго изъ того общаго корня, о которомъ здёсь идетъ рѣчь. Такимъ образомъ большинство нашихъ историковъ и критиковъ прыгаютъ съ отростка одного дерева (Полевой) прямо на отростокъ другого (Надеждинъ и кружокъ Станкевича) и оставляють безъ всякаго вниманія корень и стволь того дерева, на который скачуть. При этомъ остается въ тени и личность Одоевскаго, въ произведеніяхъ котораго, какъ въ фокусъ, отражаются думы не только его современниковъ, но и младшаго покольнія, да мало еще этого: въ поразительно глубокомъ умъ этого человъка мелькали многіе иден и вопросы, о которыхъ въ то время никто не имълъ еще и помышленія и которымъ только въ настоящее время придается значение въ нашемъ обществъ.

Причина такого заблужденія заключается въ томъ, что наши историки и критики, говоря о развитіи на-

шего общества въ последнія 30-40 леть, имели въ виду, по большей части, исключительно развитие изящной литературы, эстетическихъ понятій и критики. При такомъ взгляде естественно представлялось, что послѣ Полевого - лучшинъ критикомъ былъ Надеждинь, а потомъ Бълинскій; Пушкину наследовали Гоголь и Лермонтовъ. Одоевскій-же не быль вовсе критикомъ, а какъ поэтъ, онъ представляется поэтомъ второстепеннымъ, потому что мыслитель еще болже преобладаль въ немъ надъ поэтомъ, чемъ это мы вилимъ въ Искандеръ. Единственный хоть скольконибудь полный критическій разборъ произведеній Одоевскаго мы встречаемъ въ сочиненияхъ Белинскаго (т. 9, стр. 29), но Вълинскій, при всемъ уваженін къ Одоевскому и желанін оценить его значение по достоинству, не могъ представить всесторонней оценки деятельности Одоевскаго, потому что личность эта стояла слишкомъ близко ко времени Бълинскаго. Къ тому-же, въ разборъ преобладаетъ эстетическая точка эрвнія. Вылинскій слишкомы много вниманія обращаєть на поэтическую сторону произведеній Одоевскаго-входить по этому поводу въ разсуждение о томъ, въ какомъ случав дидактизмъ можеть быть терпимъ въ поэзій; что-же касается идей Одоевскаго, то Бълинскій относится къ нимъ почти исключительно полемически, встръчая у Одоевскаго рядъ взглядовъ, которые естественно представлялись уже отстальнивъ 1840 г., и въ ратовании противъ которыхъ Бълинскій видълъ свое главное призваніе. Между прочимъ, онъ встръчаетъ у Одоевскаго нъкоторые оттенки славянофильства и, какъ западникъ, конечно, напускается на эти оттънки, не замъчая, что Одоевскій самъ по себъ вовсе не быль ни западникомъ, ни славянофиломъ въ строгомъ смысле этого слова. Направленія мысли, изъ которыхъ потомъ разв'єтвляются различныя партіи, отличаются всегда темъ, что въ нихъ вы встрътите въ общемъ хаотическомъ броженіи оттыки всевозможныхъ последующихъ разветвленій. Таково было направленіе Одоевскаго и прочихъ шеллингистовъ въ эпоху десятилетія отъ 25-35 годовъ: нападая на славянофильство Одоевскаго, Бълинскій быль въ той-же мере правъ, въ какой быль-бы правъ дюбой славянофиль, еслибы нападаль на Одоевскаго, какъ на западника.

Если мы начиемъ съ вившней характеристики Одоевскаго, то и съ этой стороны невольно должна остановить наше вниманіе типичность и оригинальность, съ которыми эта личность рисуется въ средѣ своихъсовременниковъ, исполненныхъ романтическими образами и средневѣковыми понятіями.

Дъло въ томъ, что въ 20-е годы подъ занятіемъ философіей разумъли не то, что въ наше время, т.-е. не простое изученіе какой-либо философской системы или всъхъ вмъстъ въ связи и послъдовательности; нетъ, въ философіи видъли универсальную науку всъхъ наукъ, сосредоточивающую въ себъ всъ отрасли знаній, мистическое таинство, что-то въ родъ средневъковой алхиміи, магіи или кабалистики; со страхомъ и трепетомъ вступали въ ея области, надъясь въ непроницаемой, темной глубинъ ея найти такое знаніе всъхъ знаній, которое сдълало бы человъва всезнающить и всемогущимъ, отворило замки во всъ тайны

природы и разрушило передъ челов'вкомъ завъсу, отдъляющую видимый міръ отъ невидимаго, загробнаго. Въ силу такого средневъкового представления философін, въ то время существовало уже давно утраченное въ наше время понятие о философъ, какъ объ особенномъ мудрець, отличающемся отъ всехъ обыкновенныхъ смертныхъ не одними знаніями, но привычками, правами и образомъ жизни, стоящемъ выше вськъ предразсудковъ и слабостей; если-же въ добавокъ, этотъ философъ занимался естественными науками, то онъ представлялся современникамъ положительно чемъ-то въ роде чародея и мага, и реторты, черепа, старинныя книги въ ветхомъ пергаменть въ кабинетъ философа производили мистический ужасъ на постителей. Одоевскій какъ нельзя болье удовлетворяль своихъ современниковъ осуществлениемъ подобнаго идеала философа. Вотъ какъ описываетъ И. Панаевъ впечатление, которое произвелъ на него Одоевскій:

«Когда и въ первый разъ быль у Одоевскаго, онъ произвель на меня сильное впечатление. Его привлекательная, симпатическая наружность, таинственный тонъ, съ которымъ говорилъ онъ обо всемъ, безпокойство въ движеніяхъ человька, озабоченнаго чъмъ-то серьезнымъ, выражение лица постоянно задумчивое, размышляющее все это не могло не подъйствовать на меня. Прибавьте къ этому оригинальную обстановку его кабинета, уставленнаго необыкновенными столами съ этажерками и съ таинственными ящичками и углубленіями; книги на стънахъ, на столахъ, на диванахъ, на полу, на окнахъ
—и, притомъ, въ старинныхъ пергаментныхъ переплетахъ съ писанными ярлычками на задкахъ; портретъ Бетховена съ длинными съдыми волосами и въ красномъ галстухъ; различные черепа, какія-то необыкновенной формы стклянки и химическія ре-

«Я почувствоваль невольную лихорадку, когда онь заговориль со мною. Такь точно дъйствоваль одоевскій и на моего пріятеля Дирина, о которомь я говориль выше. Диринь благоговъйно любиль Одоевскаго, но одна ммель о его учености приводила его въ трешеть. Меня такъ и танеть къ этому человъку, говориль мнъ Диринъ:— въ немъ столько симпатическаго!... Но когда онъ о чемъ-нибудь заговорить со мною, я вдругъ робъю, чувствую внутреннюю дрожь, и языкъ прилипаеть у меня къ гортани... Меня это мучить, онъ долженъ считать мену ужаснъйшимъ дуракомы!— Диринъ и въ могилу унесъ рабольний страхь къ Одоевскому».

Если во вторую половину 30-хъ годовъ, когда философія на половину утратила уже своей мистической таинственности, Одоевскій производиль такое впечатльніе, то вы подуманте, какое впечатльніе должень быль производить онъвъ 20-е годывъ средъ общества, погруженнаго въ глубокій мистицизмъ. И надо отдать справедливость, обстановка кабинета Одоевскаго не была одною только обстановкой, фантастическими аксессуарами романтика, который, дранируясь въ мантію средневъковаго Фауста, скрываль бы подъ нею тощую скудость поверхностного диллетантизма. Напротивъ того, когда вы читаете "Русскія ночи" Одоевскаго, васъ невольно поражаетъ универсальность и обстоятельность знаній этого челов'єка по самымъ разнообразнымъ отраслямъ. Можно положительно сказать, что вы не много найдете въ Россіи людей, которые обладали бы такимъ общирнымъ энциклопедизмомъ. Онъ изучилъ многія отрасли естественныхъ на-

укъ и зналъ ихъ не телько въ темъ состояни, въ какомъ онв находились въ его время, но и въ историческомъ ихъ развити съ древнихъ временъ; о музыкъ онъ судилъ не какъ диллетантъ, т.-е. не объ однихъ эстетическихъ впечативніяхъ и ощущеніяхъ по поводу различныхъ пьесъ, но какъ знатокъ музыки въ ея техническихъ таинствахъ, и, опять-таки, имълъ свъдънія объ историческомъ ходъ развитія музыкальнаго искусства. Рядомъ съ различными философскими системами древнихъ и новыхъ въковъ, рядомъ съ энциклопедистами XVIII въка и нъмецкими идеалистами его времени, до Шеллинга включительно, онъ изучиль различныя школы политической экономін отъ Адама Смита до Фурье (мы видимъ въ его "Русскихъ ночахъ", что онъ былъ знакомъ со школой Фурье. См. Соч. Од., Т. І, стр. 333).

Подобная универсальная образованность, ставившая его цёлою головой выше своихъ современниковъ, невольно приводила его къ такимъ идеямъ и вопросамъ, которые въ-туманныхъ и темныхъ головахъ людей 30-хъ годовъ были немыслимы. Такъ, напримѣръ, говоря о вредѣ излишняго раздробленія наукъ по отдёльнымъ спеціальностимъ, онъ, между прочимъ, выставляетъ слѣдующіе вопросы:

«Скажите мий, сделайте милость, химическій составъ тёхъ или другихъ веществъ, употребляемихъ въ пищу, какое можетъ имътъ вајиніе на организмъ человъка и слъдственно на одинъ изъ источниковъ общественнато богатства»?—«Извините, это не по моей части; и занимаюсь лишь финансовою наукой».

«Скажите, нельвя-ли объяснить нъкоторыя историческія происшествія вліяніемъ химическаго состава веществъ, въ разныя времена употреблявшихси въ пищу человъкомър»—«Извините, я не могу развлекаться изученіемъ исторіи—я химикъ».

«Скажите, милостивый государь, до какой степени распространеніе теорій за и пропист, врожденныхъ идей въ Платоновомъ смыслѣ, могутъ им'ть вліяніе на административныя міры въ томъ или другомъ государствѣ?»—«Какой странний вопросъ! онъ слишкомъ далекъ отъ меня—я чиновникъ, бюрократъ».

«А вы, милостивый государь, не можете-ли мизсказать, до какой степени гармоническое построеніе души человіческой должно быть принимаемо въ соображеніе при полицейскомы устройстві города?»—«Это, кажется, принадлежить къ камеральнымь наукамъ, а я преподаю логику и ригорику».

«Милостивый государь, вы такъ хорошо пишете, чтобы вамъ написать книгу человъческимъ языкомъ, которая-бы сдъявла для веякаго привлекательными и доступными физическія занятія?»— Что дълать? Это не мой предметь! Я занимаюсь только изящною литературой».

Въ то-же время Одоевскій быль, конечно, первый въ Россіи, который вздумаль усомниться въ исторіи, какъ въ наукъ, отведя ей въ числь гуманныхъ наукъ такое-же м'єсто, какое метереологія им'єсть въ числь наукъ положительныхъ. По мижнію Одоевскаго, исторіи только тогда сдѣлается наукой, когда приметь методъ положительныхъ наукъ.

«Вы знаете также, говорить Одоевскій (370-я стр. 1-й части «Соч. Од.), что въ нашемъ въкъ аналитическая метода въ большомъ коду; я не понимаю, какъ никто до сихъ порть не догадался приложить къ исторіи того-же способа изслѣдованія, какой, напримъръ, употребляють химина при разложеній органическихъ тѣть; сначала доходять они

до ближайшихъ началъ тёла, каковы, напримёръ, кислоты, соли и проч., наконецъ, до самыхъ отда-ленныхъ его стихій, каковы, напримъръ, четыре основные газа; первыя различны въ каждомъ органическомъ тълъ, вторыя—равно принадлежать всвиъ органическимъ тъламъ. Для этого рода историческихъ изследованій можно было-бы образовать прекрасную науку, съ какимъ-нибудь звучнымъ назва-ніемъ, напримъръ, Аналитической этнографіи *). Эта наука была-бы въ отношении къ истории темъ-же, что химическое разложение и химическое соединеніе въ отношеній къ простому механическому раз-пробленію и механическому смітшенію тіль». «Почему знать! говорить онъ ниже: можеть быть, историки посредствомъ аналитической этнографіи **) дойдуть до ивкоторыхъ изъ тёхъ-же результатовъ, до которыхъ дошин химики въ физическомъ міръ; откроють взаимное сродство накоторыхъ элементовъ, взаимное противодъйствіе другихъ, способъ упичтожать или мирить сіе противодъйствіе; от-кроють ненарокомъ тоть чудный химическій законъ, по которому элементы талъ соединяются въ определенныхъ пропорціяхъ и въ прогрессіи простыхъ чисель, какъ одинъ и одинъ, одинъ и два и такъ далбе: можеть быть, наткнутся на то, что химики съ отчаянья назвали каталитическою силой, т.-е. превращение одного тала въ другое посредствомъ присутствія третьяго, безъ явнаго химическаго соединенія; можетъ быть, также убъдятся они, что въ историческомъ производствъ должно употреблять необходимо реактивы чистые ***), безъ всякой примъси, подъ страхомъ наказанія фальшивыми результатами; даже приблизится, можеть быть, и къ основнымъ элементамъ. Конечною, идеальною цёлью аналитической этнографіи било-би - возстапосить историю ****), т.-е. открывь анализисомъ основные элементы народа, по симъ элементамъ систематически построить его исторію; тогда, можеть быть, исторія получила-бы нікоторую достовърность, нъкоторое значение, имъла-бы право на название науки; тогда какъ до сихъ поръ она только весьма скучный романъ, исполненный прежалкихъ и неожиданныхъ катастрофъ, остающихся безъ всякой развязки, и гдѣ авторъ безирестанно забываеть о своемь героф, извъстномъ подъ назва-

Но и этого еще мало: въ "Русскихъ ночахъ" вы встрѣчаете идею о развитіи органической жизни, близкую къ теоріи Дарвина, которую Одоевскій, такъ сказать, предчувствовадъ, хотя, конечно, не имѣлъ о ней понятія. Дѣло въ томъ, что извѣствая теорія Мальтуса послужила отличнымъ подспорьемъ для ремантика изобразить въ произведеніи "Послѣднее самоубійство" грандіозную и мрачную картину того момента, когда земной шаръ переполнится и жизнь станеть въ противорѣчіи сама съ собою, т.-е. послужить источникомъ смерти и истребленія, такъ что дюдямъ останется, проклиная жизнь, поспѣшить избавиться отъ нея общимъ самоубійствомъ. Развивая такую картину, Одоевскій, между прочимъ, говоритъ:

«Вскорт между толпами явились люди—они, казалось, съ давняго времени веди счетъ страданиямъ человъка—и въ итогъ выводили все его существованіе. Обширнымъ, адскимъ взглядомъ они обхватывали минувшее и преслъдовали жизнь съ самаго ея зарожденія. Они вспоминали, какъ она, подобно татю, закралась сперва въ темную земляную глыбу и тамъ, посреди гранита и гнейса, мало-по-малу, истребляя одно вещество другимъ, развила новыя

При этомъ становится решительно загадкой, какъ человъкъ съ такою свътлою головой, съ такою массой знаній и при томъ знаній, въ которыхъ положительныя науки преобладали-ограничился одними только предчувствіями, темными гаданіями и отдёльными мыслями въ духѣ положительнаго міросозерцанія, а не сділался положительным выслителем всецило? Какъ онъ могъ удовлетвориться такою туманною, мистическою философіей, какова была философія Шеллинга, и всъ свои аргументы, взятые изъ подожительныхъ наукъ, употребилъ для доказательствъ истины этого мутнаго ученія? Не противорфчить-ли это вполив положению, которое въ последнее время такъ часто высказывается современными мыслителями-именно, что съ увеличениемъ массы положительныхъ знаній разсвевается мистическій туманъ и человъкъ съ метафизической почвы переходитъ на почву положительную? Здёсь мы находимъ, повидимому, полное опровержение такого взгляда. Какихъ-же еще знаній недоставало Одоевскому, чтобы встать на положительную почву? Сведенія его были гораздо обшириће, чемъ у многихъ русскихъ реалистовъ нашего времени, но, при всемъ томъ, онъ былъ приверженецъ Шеллинга. Но дало въ томъ, что положение о вліяніи положительныхъ знаній на мысль безусловно можетъ быть приманено только къ ходу историческаго развитія всего человъчества; къ отдъльномуже человъку это положение должно быть примъняемо крайне относительно. Не масса знаній сама по себъ изминяеть міросозерцаніе, но тоть трудь, который производить мозгъ надъ этою массой, и та переработка самаго мозга, которая происходить во время этого труда, переработка, обусловливающая такъ-называемое умственное развитіе. Физіологія не дошла еще до того, чтобы определить, въ чемъ заключается измѣненіе мозга во время развитія мысли, но гипотетически мы можемъ сказать съ большою достовърностью, что та или другая система міросозерцанія зависить не оть одной массы знаній, но и оть большей или меньшей энергіи, утонченности и вообще выработки мозговаго вещества. Выработка-же эта есть дёло не одного только частнаго развитія индивидуума, но преемственное развитие въ целомъ ряду поколений. Мы видимъ, что при всемъ разнообразіи въ степеняхъ умственнаго совершенства, начиная отъ идіота и до геніальнаго человіка, въ данномъ поколінім всегда замѣчается извѣстный уровень мозговаго совершенства, опредаляющій степень общаго міросозерцанія и духъ времени, и какою-бы массой сведений ни обладали отдъльные люди, какъ-бы они ни были геніаль-

произведенія, болѣе совершенныя; потомъ, на смерти одиного растенія, она основала существованіе тисячи другихъ; истребленіемъ растеній она размножила животнихъ; съ какимъ коварствомъ она приковала къ страданіямъ одного рода существъ наслажденія, самое битіє другаго рода! Они вспоминали, какъ, наконецъ, честолюбивая, распространия сжечасно свое владичество—она все болѣе и болѣе умножала равдражительность чувствованія, и безпрестанно въ каждомъ новомъ существъ прибавлия къ новому совершенству новый способъ страданія, достигия, наконецъ, до человѣка, въ душтъ его развернулась со всеко своею дѣятельностью и счастіе всѣкъ людей возстановила противъ счастия каждаго человъка».

^{*) **) ***) ****)} Курсивы въ подлинникъ.

ны, имъ никогда не удастся уйти слишкомъ далеко отъ образованной массы своихъ современниковъ; если они и делають два-три открытія и пріобретенія въ богатстве мысли, то въ этомъ они, по большей части, повинуются общему движению всего передового поколенія; имъ принадлежить обыкновенно только пальма первенства въ высказываньи того, къ воспринятию чего всв мыслящіе люди уже готовы и что у многихъ таится уже на душь. Причинъ такого приравненія иысли индивидуума къ массъ и невозможности уйти отъ нея слишкомъ далеко впередъ можно насчитать множество: возьмемъ геніальнаго человака, у котораго мозгъ гораздо совершениће, чемъ не только у всехъ современниковъ, но и у нъсколькихъ послъдующихъ поколеній. Но ведь этоть человекь, какь онь ни геніаленъ, переживаетъ въ детстве такіе моменты развитія, въ которые мозгъ его менте совершененъ, чтиъ у многихъ взрослыхъ современниковъ его, съ крайне ограниченными способностями. Эти люди воспитывають геніальнаго юношу, т.-е. сказать точнее, внушають ему такія мозговыя привычки въ виді всякаго рода идей, върованій, предразсудковъ, которыя лежать въ общемъ уровив развитія общества. Эти мозговыя привычки пріобретають темъ более упорства, что человъкъ воспринимаетъ ихъ не отъ однихъ воспитателей и не изъ однихъ учебниковъ, а отъ всей окружающей его среды, усиливая ихъ ежедневными впечатленіями. Затемъ, если при увеличеніи массы свъдъній, у человъка и начнутъ проскальзывать новые взгляды и новыя иден, вижсто того, чтобы принимать ихъ прямо и непосредственно, какъ они возникаютъ въ индуктивной работь мозга, человькъ замъчаетъ противоръчіе ихъ съ привычными взглядами и понятіями, вынесенными изъ воспитанія, и прямое развитіе мысли замедляется борьбой противоръчій и стремленіемъ помирить ихъ и выйти изъ нихъ такъ или иначе. Хорошо еще, если и передовое движение въ обществъ совпадаеть съ такимъ-же процессомъ или уже вышло изъ него; въ такомъ случат борьба рашается скоро при посредствъ внъшнихъ вліяній, поддержить со стороны другихъ людей и общемъ сотрудничествъ въ разработкъ мысли; но если передовое движение совершается совсёмъ въ иномъ духе и въ обратную сторону? Не забудьте, что въ каждомъ передовомъ движенін заключается бездна заразительнаго и увлекательнаго энтузіазма, подъ обанніемъ котораго отдільный человъкъ, какъ-бы онъ ни былъ геніаленъ, подчиняется общему теченію и, вижсто индуктивной работы мозга надъ массой сведений, онъ можеть поступить наобороть: увлежшись даннымъ движеніемъвсъ свои знанія пріурочить къ оправданію и ускоренію этого движенія. Случается и такъ, что люди, одаренные богатою индукціей, приходять къ идеямъ, опереживающимъ несколько поколеній, но одне изъ этихъ идей утанваютъ, отчасти изъ боязни быть непонятыми, отчасти изъ собственнаго недовърія къ нимъ, другія идеи и желали-бы высказать, но не въ силахъ, потому что они могутъ владъть въ совершенствъ только языкомъ, выработаннымъ современнымъ имъ поколеніемъ, а такой языкъ оказывается безсильнымъ для выраженія идей, слишкомъ ужь превышающихъ общій уровень образованности. Иногда,

впрочемъ, и удается людямъ высоко-талантливымъ н геніальнымъ высказывать мысли, судьба которыхъ сделаться современными только черезъ насколько стольтій, но за то эти мысли остаются не только непонятыми всеми следующими поколениями, но и сами изобрѣтатели ихъ не придаютъ имъ того значенія, какое будеть имъ придаваться только впоследствии. Это ны видимъ и на Одоевскомъ. Отдельныя светлыя мысли, которыя мы встречаемь въ его произведеніяхъ, только въ настоящее время могуть быть оценены надлежащимъ образомъ и онъ сами собою мечутся намъ въ глаза. Но въ эпоху Бълинскаго подобныя мысли положительно не замъчались, и Бълинскій не обратилъ на нихъ никакого вниманія. Но и самъ Одоевскій не достаточно ценнять эти мысли. Его привела въ нимъ невольная индукція мозга при массѣ свѣдѣній, которыми онъ обладалъ, но эти мысли шли совершенно въ разръзъ съ направленіемъ его мозга, которое было внушено ему духомъ его времени и общимъ движеніемъ мысли его современниковъ. Вліяніе детскаго воснитанія и окружающей среды было слишкомъ сильно, чтобы насколькимъ ушедшимъ впередъ мыслямъ пошатнуть все зданіе техъ преданій, въ духе которыхъ Одоевскій быль воспитань и въ атмосферь которыхъ онъ жилъ; шеллингова философія болье соответствовала этимъ преданіямъ и въ то-же время была передовою, которою все увлекались. Въ то-же время Одоевскій нашель и ніжоторыя точки соприкосновенія съ идеями Шеллинга многихъ изъ техъ идей, къ которымъ пришелъ универсальностью своего образованія. Такъ, напримъръ, онъ дошелъ до удивительно свътлой и только въ настоящее время вполив развившейся идеи, что науки, чемъ более спеціализируются и разрозниваются, темъ становятся безсильнее; изученіе-же ихъ въ живой связи и взаимное просвътленіе фактами одной науки фактовъ другой должны значительно ускорить движение знаний и привести къ 60гатымъ результатамъ. Но ведь и Шеллингъ нападалъ на спеціализированье знаній и односторонность опытныхъ наукъ, все безсиліе которыхъ, по его мижнію, заключалось въ томъ, что каждая изъ нихъ изучаетъ какой-нибудь отдельный уголокъ вселенной, совершенно опуская изъ вида, что только созерцание цълаго зданія въ тесной связи всёхъ его частей можеть дать понятіе о немъ. Разница только въ томъ, что современная мысль ищетъ связи между отдёльными науками, для того, чтобы этимъ расширить сферу опытнаго метода; философія-же Шеллинга, нападая на спеціальности, нападала, вижсть съ темъ, и на стремленіе ихъ достигнуть чего-нибудь путемъ опыта. Эти два теченія мы встрачаємь и въ "Русскихъ ночахъ" Одоевскаго. Съ одной стороны, съ точки зрвнія Шеллинга, Одоевский распространяется о безплодности наукъ достигнуть чего-либо путемъ опыта, и вижстж съ Шеллингомъ превозносить внутреннее чувство, посвящающее человъка въ тайны тождества и гармоніи вселенной. Въ другихъ-же мѣстахъ, какъ мы видѣли выше, онъ превозносить опытный методъ до того, что не считаеть наукой исторію, не усвоившую еще вполнь этого метода. И замъчательно, что, высказавши такую идею, Одоевскій самъ сознадъ, что она противорѣчить всей почти книге и не скрываеть этого сознанія:

«Виктор». Победа, победа, господа! нашт идеалисть самъ нечувствительно дошель до того, противъ чего возставаль, дошель до необходимости опыта, эмпиризма... въ томъ и дело, другь: какими окольными путями ни обходи знаніе, все дойдешь до его единственнаго исходнаго пункта, т.-е. до чувственнато опыта...»

И далбе затемь, въ словахъ Фауста Одоевскій видимо старается заштопать на живую нитку внезапную прор'тку, но тщетно путается онъ въ доказательствахъ трудности правильнаго опыта. Противоржчіе тамъ более остается противоречиемъ, что на 302 стр. Одоевскій считаеть безомысленными самыя слова-факть, чистый опыть, положительныя знанія, точныя науки, и даже, хотя въ шутку только, считаеть эти слова порожденіемъ Люцефера; а между тімъ, въ отвітъ Виктору на его вышеприведенныя восклицанія о побѣдѣ, говоритъ: "Я никогда не отвергалъ необходимости опыта вообще и важности чувственныхъ опытовъ. Хорошо, если человакъ можетъ увариться въ истинъ всеми теми органами, которые ему для сего даны Провиденіемъ даже рукой. Весь вопросъ въ томъ: вск-ли эти органы мы употребляемъ? и т. д.".

Подобныя противоръчія какъ нельзя болье характеризують ту страшную, тяжелую раздвоенность, которую вы найдете въ умахъ всёхъ современниковъ Одоевскаго и на Западъ, и у насъ: Съ одной стороны, наука невольно наталкивала ихъ на новыя иден, которыя насильно вырывались изъ нихъ, съ другой стороны, они пугались этихъ идей и спфиили укрыться отъ нихъ подъ сѣнь различныхъ мистическихъ и метафизическихъ ученій. Они верили въ прогрессъ и, вивств съ темъ, отчаявались въ возможности его; они твердили витстт съ Шеллингойъ о міровой гармоніи и въ то-же время ничего не видели въ жизни человъка, кромъ всеобщей дисгармоніи, проклиная эту самую жизнь и оплакивая судьбу человичества. Всю эту раздвоенность, всв эти муки борьбы между надеждой и отчаяньемъ вы встретите на каждой страницѣ сочиненій Одоевскаго. И всѣ эти выстраданныя думы въка выражены у Одоевскаго съ пламенною фантазіей романтика-созерцателя, при чемъ Одоевскій нарочно, какъ будто, избираєть такіе образы, которые поражають вась своею мрачною и эффектною грандіозностью: такъ, напримъръ, мы видъли что для изображенія того мрачнаго отчаннья, какое можеть возбудить въ насъ теорія Мальтуса, онъ рисуетъ передъ вами картину последнихъ дней размножившагося человъчества. Для опроверженія теорін Бентама и утилитаристовъ, онъ развиваетъ цълую исторію вымершаго города, погибшаго всябдствіе исключительнаго развитія принципа пользы и т. д.

Влінніе сочиненій Одоевскаго на его современниковъ и младшее поколеніе было громадно. Оно отразилось на всемъ. Если, напримеръ, все поколеніе Вълинскаго зачитывалось въ юности Гофмана, наполняло журналы переводами этого романтика, проводило мысли его въ критическихъ статьяхъ, если вліяніе Гофмана мы видимъ даже на Гоголе ("Носъ", "Портретъ"), то этимъ поколеніе тридцатыхъ годовъ было примо обязано Одоевскому, который первый познакомитъ русскую публику съ Гофманомъ своими подражаніями этому писателю. Даже его "Русскія ночи"

формою своею напоминають "Серапіоновыхъ Братьевъ" Гофмана, въ которыхъ точно также представляется бесёда нёскольких в нолодых в людей по ночамь о различныхъ предистахъ, вызывающихъ на размышленіе. Вліяніе многихъ идей Одоевскаго отражается, между прочимъ, и на первыхъ сочиненіяхъ Искандера. Та-же въра въ прогрессъ вивств съ отчаяньемъ въ немъ; то-же объяснение несчастий и гибели, постигающихъ людей различными односторонностями въ ихъ жизни; то-же отчаянье въ западной цивилизаціи и надежда на обновленіе ся посредствомъ славянскаго міра. Наконецъ, нельзя не обратить вниманіе на поразительную аналогію "Записокъ доктора Крупова" съ следующаго рода размышленіями, которыя мы читаемъ на 35, 36 и 37 страницахъ "Русскихъ ночей ":

«Одинъ изъ наблюдателей природы пошелъ еще далье: онъ возбудиль сомньние еще болье горестное для самолюбія человіческаго; разсматриван психологическую исторію людей, которыхъ обыкновенно называють сумасшедшими, онъ утверждаль, что нельзя провести върной, опредъленной черты между здравою и безумною мыслью. Онъ утверждаль, что на всякую, самую безумною мысль, взятую изъ дома сумасшедшихъ, можно отыскать равносильную, ежедневно обращающуюся въ свъть. Онъ спрашиваль, какое различіе между ув'вренностью одной женщи-ны, что въ груди ей быль цёлый городъ съ башиями, колокольнымъ звонемъ и теологическими диспутами, и мыслію Томаса Виллиса, автора изв'єстной книги о сумасшедшихъ, что жизненные духи, находясь въ безпрерывномъ движеніи и сильно притекая къ мозгу, производять въ немъ взрывы, по-добно пороху? Какое различіе между понятіемъ одного сумасшедшаго, что когда онъ движется, движутся всё предметы вокругъ него, и доказательствами Птоломея, что вся солнечная система обращается вокругь земли? Какое различіе между бѣдною дъвушкой, которая почитала себя приговоренною къ смертной казни, и мыслію Мальтуса, что голодъ долженъ, наконецъ, погубить всъхъ жителей земнаго шара? Состояніе сумасшедшаго не имъетъли сходства съ состояніемъ поэта, всякаго геніяизобрѣтателя»? и т. д.

Даже самъ Вѣлинскій, при всемъ полемическомъ отношеніи къ нѣкоторымъ мыслямъ Одоевскаго, отдаетъ ему справедливость въ томъ вліяніи и впечатлѣніи, которое производили въ двадцатые и тридцатые годы на молодое поколѣніе его сочиненія.

«Эти апологи *), говорить онь, замичательны уже тымь, что они не походили ни на что, бывшее до нихъ въ русской литературт; они не пользовались популярностью, потому что могли правиться не всымь. Старички острова Паихаи навывали ихъ безнравственными; большинство публики, не находи въ нихъ ничего для фантазій и не любя пинци, предлагаемой преимущественно для ума мыслящаго, пропустило ихъ безъ особеннаго вниманія; но за тю окомисство, одушевленные за предлагаемому, въ хорошемъ значени этого слова, какъ противоположе

^{*)} Здѣсь дѣло идеть о поэтических аллегоріяхь, которыми началь свое литературное поприще Одоевскій съ 1824 года. Изъ этихъ аллегорій особенно замѣчатьлна «Старички и Островъ Паихан»; аллегоріл эта исполнена не только правственнаго, но и политическаго смысла. Въ ней, въ образѣ старичковъ-младенцевь, Одоевскій осмѣнваетъ отжившее поколѣніе своего времени.

ности пошлой прозъ жизни - это юношество читало их съ жадностью, и благодатны были плоды этого чтенія. Мы знаем'ї это пс собственному опыту, и кто умъетъ судить о достоинствъ вещей не по настоящему времени, а по ихъ историческому смыслу, кто помнить состояніе нашей литературы въ ту эпоху, когда лучшими журналами были «Въстникъ Евроны» и «Сынъ Отечества» и еще не было «Московскаго Телеграфа», когда читающая публика была несравненно малочислените нынашней, тъ согласятся съ нами»... а ниже: «какъ-бы то ни было, но чтеніе такихъ произведеній, какъ «Бригадиръ», «Балъ» и «Насмъщка мертвеца» производить на молодую душу, еще свъжую, не подвергшуюся нечистому прикосновению житейской суеты, дъйствіе электрическаго удара, потрясающаго всю нервную систему. И подобный нравственный ударь оставляеть вы юной, исполненной благороднаго стремленія душь самыя благодатныя следствія. Мы энаемь это по собственному примпру: мы помними то время, когда избранная молодежь съ восторгом читала эти пізсы и 10ворила о нихъ съ тьмъ важнымъ видомъ, съ каким обыкновенно неофиты говорят о таинствах своего ученія».

Кружокъ шеллингистовъ, группировавшійся вокругъ Одоевскаго, не ограничивался одними отвлеченными преніями въ духѣ шеллинговой философіи: онъ не замедлилъ шеллинговы идеи переработать сообразно потребностямъ нашего общества, примънить ихъ къ вопросамъ жизни и литературы. Очень многіе считають у насъ шеллингову философію родоначальницей славянофильства въ Россіи. Но это справедливо только отчасти. Дело въ томъ, что хотя западничество и сдавянофильство подъ этими названіями являются только съ сороковыхъ годовъ, но, собственно говоря, они ведутъ свое начало съ самой реформы Петра. Рядомъ съ различными прогрессивными направленіями, видъвшими все спасеніе въ западной цивилизаціи, вы постоянно встрачаетесь съ реакціей противъ этихъ направленій, которая является сначала въ видъ старообрядства, негодующаго на бритье бородъ и немецкіе кафтаны; въ мрачную эпоху Бирона она включаеть въ себя новый элементь общей въ то время ненависти къ немцамъ; при Екатеринъ она вооружается противъ увлеченія французскою философіей восемнадцатаго въка; въ эпоху Карамзина она вонить подъ перомъ Шишкова о порчф русскаго языка, а во время патріотическаго одушевленія посл'я войны двінадцатаго года подъ перомъ Глинки она воспиваетъ доблесть русскаго духа, и тогда уже является идея, что только Россія можеть спасти Европу изъ бездны анархіи, безбожія и опустошительныхъ войнъ. Идеи Шеллинга, правда, видоизменили, осмыслили эту оппозицію, подложивши подъ нее новую, философскую подкладку, но и на западничество они подъйствовали такимъ-же обновляющимъ образомъ.

Философія Шеллинга впервые заставила задуматься все наше мыслящее общество о судьов Россіи въряду другихъ народовъ человѣчества. Представляя все, что существуетъ, формой той или другой идеи безусловнаго разума, шеллингова философія подвела подъ эст формулу и значеніе отдѣльныхъ народностей въ ходѣ общечеловѣческой цивилизаціи. Каждан народность, по этой философіи, есть представительница особенной идеи, которую она вырабатываетъ въсвоей жизни, доходитъ до выраженія ем, въ чемъ вы-

ражается самосознаніе народа, и затімь, внося эту ндею въ общую сокровищницу цивилизаціи, сходитъ съ историческаго поприща. При такомъ понятіи о значенім народностей, каждому шеллингисту должно было кинуться въ глаза непроходимое противоръчіесъ этимъ понятіемъ всего хода развитія нашего общества, начиная съ Петра I. Если народъ можетъ быть названъ историческимъ только въ сиду самостоятельной идеи, которую онъ развиваеть, то какую-же идею вырабатываетъ русскій народъ, образованное общество котораго слепо идеть за Западомъ и питается тьмъ, что вырабатываеть последній? Или русскій народъ не принадлежить къ числу великихъ историческихъ народовъ, не имъетъ никакой собственной физіономіи, индивидуальности и удёль его вёчно брать чужое, ничего не давая своего и следовать за другими лишнею спицей въ колесницѣ? Эти вопросы кошмаромъ легли на все поколение тридцатыхъ годовъ. Не замедлили явиться всевозможные отвъты на нихъ, изъ которыхъ впоследствіи сложились различныя направленія; до сихъ поръ господствующія въ нашей литературъ. Одни вполнъ оправдывали цивилизующее вліяніе на насъ Запада, и не только не желали его прекращенія, но, напротивъ того, находили, что оно было неполное, одностороннее, исключительно вишнее; по ихъ мненію, Россія должна была вполне исчерпать образованность западной Европы во всей ея глубинь, проникнуться ея философіей и тогда явиться на поприще всемірной цивилизаціи вырабатывать какую-нибудь новую, самостоятельную идею. Люди этого мивнія въ западной цивилизаціи видели такой-же классицизмъ для Россіи, какимъ былъ для Европы въ эпоху возрожденія классицизмъ древнихъ народовъ. Другіе, напротивъ того, напирали особенно на цивилизующее вліяніе древняго классицизма, ожидали, что и Россія только тогда сравняется съ Европой и выработаеть свою собственную цивилизацію, когда она, подобно Европъ, проникнется духомъ древняго классицизма. Третьи считали излишними всякія мысли о народной самостоятельности, не потому, чтобы смотрели на нее, какъ на вещь излишнюю, но предполагали, что каждый народъ и безъ того уже имветь ее по своей природь, сохраняеть ее, какъ свою особенную физіономію, какъ бы онъ ни подражалъ другимъ народамъ, и еслибы онъ даже хотъль отдълаться отъ нея, это не въ его власти, какъ не во власти отдельнаго человека хотеть быть брюнетомъ, а не блондиномъ, и имъть носъ орлиный, а не съ закорючкой кверку; поэтому, можно смёло брать отовсюду то, что является передовымъ въ общечеловической цивилизаціи, не опасаясь нисколько потерять этимъ свою индивидуальность. Появилось въ литературъ, какъ увидимъ ниже, и такое крайнее мишніе, которое отсталость, невѣжество и безучастіе Россіи въ общей цивилизаціи приписало тому, что Россія не участвуеть въ томъ религіозно-нравственномъ союзъ, представителемъ котораго является католичество. Все это были интина, представлявшія различные оттынки западничества, и мижнія эти показывають, что шеллингова философія натолкнула западниковъ на вопросы о судьбъ Россіи не менъе, чъмъ и противниковъ западной цивилизаціи. Последніе-же, подъ вліяніемъ

той-же философіи, не замедлили обратиться въ славянофиловъ въ истинномъ значеніи этого слова. Основываясь на томъ, что каждая народность есть носительница особенной идеи и должна вырабатывать цивидизацію изъ своихъ собственныхъ начадъ, сдавянофилы радикально отвергли весь петровскій періодъ съ его увлеченіями западною цивилизаціей, и начали проповедывать необходимость возвращенія къ темъ чистымъ народнымъ началамъ жизни, которыя господствовали въ до-петровской Руси и представлялись славянофиламъ общими всемъ славянскимъ народамъ. Съ особенною страстью ухвалились славянофилы за идею о гніеніи Запада и ближайшей гибели его цивилизацін. Но было бы ложно обвинять ихъ однихъ въ изобратенін подобной идеи и на нихъ свадивать весь грахъ въ ея распространении. Идея эта мелькала въ то время въ умахъ многихъ людей всевозможныхъ партій и на Западѣ, и у насъ, и исходи изъ духа времени, она была заразительна въ то время. Появленіеже ея весьма понятно. Вы подумайте только, сколько горькихъ разочарованій вынесли люди начала XIX стольтія изъ революціи и страшныхъ войнъ, закончившихъ ее. Въ концъ XVIII въка юношески мечтали, что владычество разума начнется не сегоднязавтра, что кончилось навсегда царство невъжества, суевърія и произвола. И вдругъ что-же? Феодализмъ, какъ его ни расшатывали, не палъ, рядомъ съ нимъ возвысился новый феодализмъ буржуазіи — безчеловъчно-черствый, холодно-развратный, налегшій на все еще болье тяжелымъ гнетомъ, чьмъ средневьковой, дворянскій феодализмъ; старыя върованія потеряди свое обаяніе, но царство разума не настало, н общество утопало въ мутномъ, темномъ мистицизмѣ, терзаясь муками раздвоенности между сленою верой и такимъ-же слепымъ безверіемъ. Въ образованныхъ обществахъ замъчалась всеобщая апатія, распущенность, холодный индифферентизмъ, дозволявшій Меттернихамъ всякаго рода произвольно ворочать судьбами народовъ и царствъ. Въ подобныя мрачныя эпохи всеобщаго разочарованія и изнеможенія не разъ уже приходили мысли о близкомъ концъ всего, и мысли эти облекались въ формы господствующаго міросозерцанія. Въ средніе въка онъ проявлялись на Западъ и у насъ въ видъ предреканія близкой кончины міра. Подъ вліяніемъ-же идей германской философіи, онъ выразились въ сравненіяхъ состоянія европейскихъ обществъ съ состояніемъ Рима въ последній періодъ существованія и различныхъ гипотетическихъ фантазіяхъ о смене цивилизацін. Все партін разомъ могли увлечься такими мрачными мыслями, потому что всф равно были недовольны: феодалы видели конецъ цивидизаціи въ ослабленіи феодальнаго режима, буржуазные либералы — въ невозможности совсемъ избавиться отъ феодализма, демократы и соціалисты-въ безвыходности положенія народныхъ массъ, върующіе люди-въ паденіи старыхъ-върованій, нев'трующіе — въ господств'ть мистицизма... Все заблуждение заключалось здёсь въ томъ, что люди, обративши муху въ слона, въ тяжеломъ гнетъ современнаго момента видали рашение судебъ чуть-что не всего человъчества, какъ это бываетъ иногда и съ отдельнымъ человъкомъ: подъ впечатлениемъ сильнаго огорченія, особенно посл'я несбывшихся слишкомъ розовыхъ мечтаній, вдругъ покажется, что все кончено и оставтся только умереть, потому что никакой отрады въ жизни представиться больше не можетъ. Вина славянофиловъ заключалась не въ созданіи иден о гніеніи Запада, а только въ томъ, что они укватились за эту гипотетическую, нешмъющую ровно никакого научнаго основанія идею, вызванную только мрачнымъ моментомъ европейской жизни, и подъ эту идею начали впослъдствіи искусственно и произвольно подводить историческіе факты, выбирая подходящіе и опуская противорфчащіе — для оправданія своихъ поктовить.

Выйдя изъ своихъ общихъ доктринъ, основанныхъ на шеллинговой философіи, славянофилы, въ свою очередь, подобно западникамъ, представили различные оттънки въ своемъ ученін, зависящіе отъ вліянія условій чисто уже реальныхъ, условій самой жизни. Такимъ образомъ, у людей, въ которыхъ жизнь выработала тягу более въ левую сторону, сдавянофильство приняло оппозиціонный и отчасти даже демократическій характеръ: на петровскій періодъ они вооружались за гнетъ бюрократіи и централизаціи; въ древней Руси отвергали родовое начало: въ народныхъ началахъ выше всего ставили-общину и развитіе вибсословнаго земства; въ правосдавіи видели принципы любви и братства; гнісніе Запада приписывали господству феодализма, католицизма и черствому легитимизму буржуазнаго порядка. У людей-же съ тягой направо, каковы, напримеръ, М. Погодинъ и Шевыревъ, славянофильство приняло казенный характеръ порицанія Запада за его наклонность къ анархін, рядомъ съ превознесеніемъ русскихъ народныхъ началъ, заключающихся въ кроткомъ смиреніи, долготерпаніи и всепрощающей любви.

Но въ разбираемый мною періодъ не только вст эти оттънки славянофильства не выдълялись еще слишкомъ рѣвко, но и различія между западниками и славянофилами еще не было столь тлубокато и враждебнаго, какое мы увидимъ въ сороковыхъ годахъ. Напротивъ того, люди съ наклонностями въ западничеству и славянофильству тѣсно славались еще въ одни общіе кружки: и тѣ, и другія тенденціи смѣшивались еще въ общемъ хаосѣ, такъ что въ журналахъ этого періода не въ рѣдкость встрѣтить статьи замѣчательныхъ писателей, въ которыхъ вы рядомъ съ западничествомъ можете встрѣтить идеи, способныя обрадовать каждаго славянофила. Это мы видимъ, напримѣръ, и въ "Русскихъ ночахъ" Одоевскаго.

«Торькое, странное зрѣлище!—читаете ви на 306-й стран. 1-й части — миѣніе противъ миѣнія, вдасть противъ власть; престоль противъ престоль противъ власть; престоль противъ престоль, и вокругъ сего раздора — убійственное насмѣшливое равнодушіе! Науки, вмѣсто того, что м стремнъсел къ единству, которое одно можеть возвратить имъ имъ мощную силу, науки раздробились въ прахълетучій, общая связь ихъ потерялась, нѣтъ въ нихъ органической жизни; старый Западъ, какъ младенецъ, видитъ однѣ части, одни принавки—общее для него непостижимо и невозможно и т. д. Въ искусствѣ давно уже истребилось его значеніе; оно уже не переносится въ тоть чудесный міръ, въ которомъ, бъвало, отдыхалъ человѣъ отъ грусти здѣшняго міра и т. д.

Религіозное чувство на Западв? оно било-би давно уже забито, еслибъ его внёшній лашкъ еще не остадся для украшенія, какъ политическая архитектура, или јероглифи на мебеляхъ и проч. Погабаютъ три главние дёнтеля общественной живни! Осмѣлимон-же виговорить слою, которое, можетъ бить, теперь многимъ покажется страннымъ и черезъ нѣсколько лѣтъ слишкомъ простымъ: Западъ гибпетъ р.... «Мы поставлены на рубежѣ двухъ міровъ—читаемъ ми далѣе—протекшаго и будущаго; мы новы и свѣжи; мы непричастны преступленіямъ Европы... Велико наше званіе и труденъ подвитъ! Все должны оживить мін Нашк духъ вписать въ исторію ума человѣческаго, какъ имя наше вписано на скрижаляхъ побъда. Другая высшая побъда — побъда науки, некусства и въркі, ожидаетъ насъ на раввалинахъ дрихлой Европыр».

Но при всемъ искреннемъ паеосѣ, съ которымъ Одоевскій высказываеть эти мысли, онъ не рішается выговорить ихъ отъ себя, а сообщаетъ въ видъ рукописи, оставленной какими-то покойниками, и потомъ, представивши со стороны своихъ друзей изсколько возраженій, заключающихся въ томъ, что Западъ не только не падаеть, но, напротивъ того, прогрессъ его во всёхъ отношеніяхъ возрастаеть, онъ отъ своего уже лица, т. е. устами Фауста, замъчаетъ: "Я бы на это могъ тебъ отвъчать словами натуралистовъ, политиковъ, медиковъ — о томъ, что высшее развитіе силь какого бы то ни было организма есть начало конца; но я лучие хочу согласиться съ тобою, что митніе моихъ друзей о Западт преувеличено; я собственно не вижу въ немъ признака близкаго паденія, но потому только, что не вижу и того высшаго развитія силь, о которомь ты говоринь"... А ниже:

«Виктор». Послушай: отрицать просвещеніе Запада-дело невозможное; ты этого не докажешь...

«Фауст». Я не отрицаю его и даже признаю, что намъ еще многому остается учиться на Западѣ; но я хотѣлъ-бы привести его просвѣщеніе въ настоящую оцѣнку...»

Такое смъщеніе западничества и славянофильства мы встрътимъ во всъхъ почти статьяхъ шеллингистовъ того времени.

Журнальная пропаганда шеллингистовъ сосредоточилась въ разбираемый нами періодъ въ трехъ послъдующихъ одинъ за другимъ журналахъ: "Московскомъ Въстникъ" (1827—1830 г.), "Европейцъ" (1831—1836 г.) и "Телескопъ" (1831—1836 г.)

"Московскій Въстникъ" быль основань по иниціативъ Веневитинова, составившаго проектъ журнала поль заглавіемъ: "Нъсколько мыслей въ планъ журнала", который онъ прочель на одномъ изъ своихъ литературныхъ вторниковъ. Въ исходъ 1826 года Веневитиновъ сошелся съ Пушкинымъ, познакомиль поэта со всеми своими товарищами, и въ 1827 году быль открыть "Московскій Въстникъ" подъ редакціей М. Погодина и при непосредственномъ участіи въ журналъ всъхъ членовъ кружка. Но живое участіе въ журналъ друзей Веневитинова продолжалось не долго. После смерти Веневитинова (15-го марта 1827 года), только съ годъ-не больше-журналъ продолжалъ вестись въ томъ видь, въ какомъ начался, т.-е. сообщая читателямъ разнообразныя отрасли знаній и освъщая ихъ идеями шеллинговой философіи. Но уже во второй половинъ 1828 года вліяніе на журналъ

Погодина сдёлалось исключительнымъ, судя по тому, что журналъ переполнился статьями историческими, по большей части трудами самого редактора—и вмёстё съ этимъ, весьма скучною пелемикой съ Полевымъ, которая въ томъ только и заключалась, что, съ точки зрёнія ученаго педантизма обвинла Полевого въ поверхностныхъ сужденіяхъ о фактахъ науки и недостаткё ученой добросов'єстности. Въ такомъ вид'я журналъ не могъ пережить тридцатаго, холернаго года.

"Европеецъ" началъ издавать въ исходѣ 1831 года Ив. Кирѣевскій, при сотрудинчествѣ Языкова, Баратынскаго, А. Хомякова, Жуковскаго, Ваземскаго и А. И. Тургенева, но на 2-й же книжкѣ журналъ былъ запрещенъ за статью Кирѣевскаго "XIX столѣтіе".

Одинъ "Телескопъ" Надеждина просуществовалъ болъе пяти лътъ, пока ѝ его не сгубило письмо Чаадаева.

Чтобы познакомить читателя со всёми оттънками взглядовь и мисий шеллингистовь, миси придется сделать исколько выписокъ изъ наиболее выдающихся статей, появившихся въ различное время въ этихъ трехъ журналахъ.

Воть, напримърь, что высказываеть, между прочимъ Веневитиновъ въ своемъ вышеозначенномъ проектъ о создани журнала:

«Всякому человіку, одаренному энтузіазмомъ, знакомому съ наслажденіями высокими, представлялся естественный вопрось: для чего поселена въ немъ страсть къ познанію, и къ чему влечетъ его нешреоборимое желаніе дъйствовать? Къ самопознанію, отвъчаетъ намъ кинта природы. Самопознанію, отвъчаетъ намъ кинта природы. Самопознаніе, отвъчаетъ намъ кинта природы. Самопознаніе, отвъчаетъ намъ кинта природы. Самопознаную; вотъ цъъъ и вънецъ человъка. Науки и искусства, въчные памятники усилій ума, единственные привнаки его существованія, представляють не что иное, какъ развитіе сей начальной и събдственно неограниченной мысли. Художникъ одущевляеть холсть и мраморъ для того только, чтобъ осуществить свое чувство; чтобъ убідиться въ его силі; поэть искусственнымъ образомъ переносить себя въ борьбу съ природой, съ судьбой, чтобы въ семъ противоръчіи испытать духъ свой и гордо провозгласить торжество ума.

«Исторія убъждаєть наст, что сія цъль человъка есть цъль всего человъчества, а любомудріе ясно открываеть въ ней законъ всей природы.

«Съ сей точки зрвнія должны мы взирать на каждый мародь, кака на мино отдъльное, которое ка самопознанно маправляеть сею сеои нравственныя усилія, ознаменованныя печатно особеннаю жарактера. Развите сихъ усилій составляеть просвіщеніе; ціль просвіщенія или самопознання народа есть та степень, на которой око отдель себь отметь за сеоних домага и опредъляеть сферу саосю дыйствія; такъ, наприм'ярь, мекусство древней Греція, скажу болже, весь духъ ен отразился на твореніяхъ Платона и Аристогеля; такних образомъ, новійшая философія въ Германіи есть зрілый плодь того-же зитузівама, который одушевляеть истинныхъ ен поэтовъ, тогоже стремленія къ высокой ціли, которое направляло полеть Шиллера и Гёте.

«Съ сею мислью обратимся въ Россіи и спросимъ: какими силами подвигается она къ цёли просвещения? Какой степени достигла она въ сравненіи съ другими народами на семъ поприще, общемъ для всёхъ? Вопросы, на которые едва-ли можно окидать ответа, ябо безпечная толій нашихъ литераторъв, кажется, не подобрешеть ихъ необходимости. У есъсъ мародовъ самостовленных просвищене раз-

вивалось изъ начала, такт сказать, отечествечнаю; ихъ произведения, достиган даже изкоторой степени совершенетия и схода смедственно от составт всемирных пробрытений ума, не терали отмичительнаю схерактера. Россія все получила извив; оттуда это чувство подражательности, которое самому таланту приносить въ дань не удиваение, но рабол'ящего оттуда совершенное отсутствие всякой свободы и инстинкта дъягельности».

Выставляя такимъ образомъ фактъ отсутствія самостоятельности въ развитіи нашего общества, объясняя далѣе этимъ фактомъ ничтожество нашей литературы, Веневитиновъ, въ заключеніи своего проекта журнала, высказываеть нёсколько мыслей о томъ, какъ помочь торю и ноставить наше общество на самостоятельную почву. Овъ предлагаетъ для этого два средства: философію и древній классицизмъ.

«При семъ нравственномъ положении Россіи-говорить онъ — одно только средство представляется тому, кто пользу ея избереть цьлію своихь дьй-ствій. Надобно-би совершенно остановить и вившній ходъ ея словесности, и заставить ее болве думать, нежели производить. Нельзя скрыть отъ себя трудности такого предпріятія. Оно требуеть тымъ болбе твердости въ исполнении, что отъ самой Россіи не должно ожидать никакого участія; но трудможеть-ли остановить сильное намърение, основанное на правилахъ върныхъ и устремленное къ истинъ? Для сей ивли надлежало-бы инкоторымъ образомъ устранить Россію отъ нынъшняю движенія друших народовъ, закрыть оть взоровъ ен всё маловажныя происшествій въ литературномъ міръ, безполезно развлекающія ея вниманіе, и, опираясь на твердия начала философіи, представить ей полную картину развитія уна человическаго, картину, въ которой-бы она видъли свое собственное предназначение». Къ этому предложению ниже онъ прибавляеть: «Не безполезно-бы было обратить особенное вниманіе Россіи на древній мірь и его произведенія. Мы слишкомъ близки, хотя повидимому, къ просвъщенію новъйшихъ народовъ, и следственно не должны бояться отстать отъ новъйшихъ открытій, если будемъ вникать въ причины, породившія современную намъ образованность, и перенесемся на иткоторое время въ эпохи ей предшествовавшія. Сіе временное устранение отъ настоящаго произведеть еще важнъйшую пользу. Находясь въ міръ совершенно для насъ новомъ, котораго всъ отношенія для насъ загадки, мы невольно принуждены будемъ дъйствовать собственнымъ умомъ для разръщенія всъхъ противоречій, которыя намь въ ономъ представятся. Такимъ образомъ, мы сами сдълаемся преимущественнымь предметомъ нашихъ розысканій. Древняя практика или вообще духъ древняго искусства представляеть намъ обильную жатву мыслей, безъ коихъ новъйшее искусство теряеть большую часть своей цены и не иметь полнаго значения въ отношеніи къ идет о человікть».

Такимъ образомъ, вотъ уже когда впервые была высказана мысль о пресловутомъ "классическомъ образованін". Она прошла сквозь все умственное движене послъдующаго времени, пока, наконецъ, нашла свое осуществленіе въ наше время, когда давно уже пора ей быть сданною въ архивъ вибътъ съ прочимъ хламомъ, завъщаннымъ намъ отцами.

Если поборники классическаго образованія могутъ вести свое начало съ Веневитинова, за то приверженпы западничества во многихъ отношеніяхъ обязаны И. Кирѣевскому. Личность И. Кирѣевскаго замѣчательна въ томъ отношеніи, что отъ нея одинаково вправѣ могутъ вести свое начало, какъ поздиѣйше западники, такъ и славянофилы. Первое коношеское образованіе И. Киръевскій получить подъ вліяніемъ французской философіи XVIII въка в сдълался тъмъ же поверхностнымъ скептикомъ, какими были всі предшествовавшія покольнія, увлекавшіяся энциклопедистами, безъ всякой основательной умственной подготовки.

Могъ-ди этотъ скептициять долго удержаться въ незръломъ умъ юноши, когда даже такой универсально-образованный умъ, какъ Одоевскаго, и тотъ искалъ успокоенія и примиренія съ дътскими върованіями въ

философіи Шеллинга?

Естественно, что, съ одной стороны, подъ вліяніемъ предыдущаго направленія, съ другой подъ впечатленіемъ того восторга, съ кажимъ соединялись первые моменты увлеченія Шеллингомъ, Кирѣевскій всъ свои надежды и упованія возлагаль на западную цивилизацію, и какъ человікь, одаренный страстною, глубокою натурой, неспособною останавливаться на полдорогь, а напротивъ того, доходившій до последней крайности во всёхъ выводахъ, онъ сделался ультразападникомъ, превзошедшимъ всехъ своихъ единомышленниковъ въ своемъ западничествъ. Но мы говорили уже выше, что шеллингова философія не обусловливаеть собою непременно западническихъ возэрвній: изъ ея основаній одинаково исходили какъ западники, такъ и славянофилы. Въ то-же время въ крайнихъ и последовательныхъ выводахъ своихъ, философія эта ведеть къ самому туманному мистицизму. къ которому пришелъ, какъ извъстно, въ своей последующей деятельности самъ Шеллингъ. Когда все литературныя стремленія Кирвевскаго были радикально парализованы, "Европеецъ" былъ запрещенъ за извъстную статью Кирьевскаго "XIX въкъ", статью, въ сущности, самаго невиннаго содержанія, но въ которой почему-то заподозрили революціонную пропаганду; альманахъ "Денница", Максимовича, въ которомъ Кирфевскій написаль статью о Новиковъ, былъ схваченъ и цензоръ Глинка посаженъ подъ аресть, — Киръевскій у вхадъвъ деревню, съ разстроенными финансами отъ неудачи "Европейца", съ глубокимъ уныніемъ на душъ. И нъть ничего удивительнаго, что 10 лёть подавленной энергіи, разъедающей тоски и бездействія сделали изъ романтика съ задатками мистицизма-мистика въ полномъ смысле этого слова. Киртевскому не нужно было для этого даже переменять основных убъжденій, а нужно было только последовательно развить до конца общія начала философіи Шеллинга, которою онъ былъ проникнуть, и схимникъ новоспасскаго монастыря, старецъ Филареть, за которымъ Кирфевскій ухаживаль при его смерти и которому біографъ приписываеть его обращеніе на путь мистицизма, быль туть совершенно не при чемъ. Безъ сомнънія, Киръевскій долженъ быль уже заключать въ себъ порядочную дозу мистицизма, для того только, чтобы сойтись съ этимъ старцемъ. Естественно, что, подъ вліяніемъ мистицизма, онъ изивнилъ свои взгляды на отношение западной цивилизаціи къ намъ: видя въ православіи альфу и омегу всякой философіи и цивилизаціи, въ немъ онъ началъ полагать самобытность Россін, основаніе ея цивилизаціи и будущее вліяніе на ходъ общечеловъческаго просвъщенія. Но этимъ только и ограничилось славянофильство Кирвевскаго. Юношескій закалъ сказался и въ последнемъ видоизменении міросозерцанія Кирѣевскаго; въ мистицизмѣ онъ искалъ только выхода изъ скептицизма, который быль невыносимъ для его натуры, находящейся на степени романтической чувствительности и созерцательности, но тѣ идеи свободы и гуманности, которыя онъ вынесъ изъ юности, не покинули его и въ последнемъ періоде его жизни, и онъ не сходился съ позднейшими славянофилами во многихъ отношенияхъ. "Сердцемъ я больше связанъ съ вами-сказалъ онъ однажды съ глубокою печалію Грановскому—но не делю многаго изъ вашихъ убъжденій; съ нашими я ближе върой, но столько-же расхожусь въ другомъ". Самый мистицизмъ его имълъ совершенно особенный характеръ: это не быль мрачный, нетерцимый мистицизмъ изувъра-фанатика, иди-же исполненный холодной жестокости подъ личиной милосердія и высоком'єрной гордости подъ видомъ смиренія-мистицизмъ іезунта, а напротивъ того, мягкій и гуманный мистицизмъ романтика, исполненный художественной соверцательности. "Я разъ стоялъ въ часовиъ — разсказывалъ однажды Киръевский --- смотрълъ на чудотворную икону Богоматери и думалъ о дътской въръ народа, молящагося ей; нъсколько женщинъ, больные, старики стояли на колъняхъ и, крестясь, клали земные поклоны. Съ горячимъ упованіемъ глядель я потомъ на святыя черты и мало-по-малу тайна чудесной силы стала мнъ уясняться. Да, это не просто доска съ изображеніемъ... въка цълые поглощала она эти потоки страстныхъ возношеній, молитвъ людей скорбящихъ, несчастныхъ; она должна была наполниться силой, струящейся изъ нея, отражающейся отъ нея на върующихъ. Она сделалась живымъ органомъ, местомъ встречи между Творцовъ и людьми. Думая объ этомъ, я еще разъ посмотрѣлъ на старцевъ, на женщинъ съ дътьми, поверженныхъ въ прахъ, и на святую икону тогда и самъ увидѣлъ черты Богородицы одушевленными, она съ милосердіемъ и дюбовью смотрела на этихъ простыхъ людей... и я палъ на колѣни и смиренно молился ей".

Это разсказъ не суроваго мистика, а художника, представившаго вамъ целую картину—взять бы да и нарисовать ее, и вышло бы изображене въ духв итальянской живописи ХУ века. Я нарочно привель этотъ разсказъ, потому что онъ какъ нельзя более характеризуеть то созерцательно-художественное отношене къ жизни, которое мы увидимъ у всекъ людей сороковыхъ годовъ и начало которато мы встречаемъ уже у шеллингистовъ тридцатыхъ годовъ.

Знаменитая статьи Кирбевскаго "XIX въкъ ", подвергиваяся гоненіямъ свыше, представляетъ въ себъ выраженную въ сжатыхъ, но ръзкихъ чертахъ полную программу западничества и рядъ доводовъ въ защиту этой программы, которые впослъдствии всегда служили главными основаніями въ полемикъ западниковъ съ славянофилами. Выставляя въ своей статъъ, что Европа заимствовала свое образованіе изъ классическаго міра, проводникомъ котораго была тамъ сначала церковь, потомъ съ XV въка наука, и замъчая, что у насъ этого ничего не было, что мы до бихъ поръ представляемъ почву совершенно нетронутую,

Кирфевскій прямо выводить изъ этого, что для оплодотворенія этой почвы мы должны заимствовать образованіе изъ ближайшаго источника, какъ это сділала въ свое время Европа; этимъ источникомъ представляется естественно западная цивилизація, которая для насъ такая-же классическая, какая для Европы была образованность древнихъ народовъ.

«На чемъ же основываются ть—говорить между прочимъ Киръевскій — которые обвиняють Петра, утверждая, будто онъ даль ложное направленіе образованности нашей, заимствуя ее изъ просъбщенной Европы, а не развивая изнутри нашего быта?

«Эти обвинители великаго создателя новой Россіи съ нѣкотораго времени распространились у насъ болъе, чъмъ когда-либо; и мы знаемъ, откуда почерпнули они свой образъ мыслей. Они говорятъ намъ о просвъщении національномъ, самобытномъ; не велять заимствовать, бранять нововведенія и хотять возвратить насъ къ коренному и старинно-русскому. Но что-же? Если разсмотръть внимательно, то это самое стремление къ національности есть не что иное, какъ непонятое повтореніе мыслей чужихъ, мыслей европейскихъ, занятыхъ у французовъ, у измисевъ, у англичанъ, и необдуманно при-мънжемыхъ къ Россіи. Дъйствительно, лътъ десять тому назадъ, стремленіе къ національности было господствующимъ въ самыхъ просвъщенныхъ государствахъ Европы, вст обратились къ своему народному, къ своему особенному; но тамъ это стремленіе имъло свой смысль: тамъ просвъщеніе и національность одно, ибо первое развилось изъ послъдней. Поэтому, если нъмцы искали чисто ит-мецкаго, то это не противоръчило ихъ образованности; напротивъ, образованность ихъ, такимъ образомъ, доходила только до своего сознанія, нолучала болье самобытности, болье полноты и твердо-сти. Но у насъ искать національнаго — значить, искать необразованнаго; развивать его на счеть европейскихъ нововведеній—значить, изгонять просвъщение; ибо, не имън достаточныхъ элементовъ для внутренняго развитія образованности, откуда возьмемъ мы ее, если не изъ Европы? Развъ саман образованность европейская не была последствіемъ просвещенія древняго міра? Разв'є не представляєть она теперь просвещения общечеловеческого? Разве не въ такомъ-же отношеніи находится она къ Россіи, въ какомъ просвъщеніе классическое находилось къ Европъ?»

Наконецъ, однить изъ самыхъ крупныхъ и резкихъ выраженій техъ-же самыхъ вопросовъ, которые волновали все поколеніе разсматриваемаго нами періода, представляеть знаменитое письмо Чаздаева, напечатанное въ "Телескопе" 1836 г. Письмо это пронзвело потрисающее впечатленіе на всехъ современниковъ.

Во всёхъ кружкахъ и партіяхъ, пюдяхъ высоко и низко стоящихъ, оно отозвалось ужасомъ и недоумъніемъ. Всё читали и не вёрили своимъ глазамъ. Роковые вопросы, глубоко у всёхъ лежавийе на душѣ, были высказаны человъкомъ стараго закала такимъ ръзкимъ, грознымъ, обвинтельнымъ тономъ, о которомъ никто въ то время и помышлять не смѣлъ. "Телескопъ" быль тотчасъ-же запрещенъ; Волдыревъ старикъ, ректоръ московскаго университета и цензоръ, былъ отставленъ; Надеждинъ, издатель, сосланъ въ Усть-Сысольскъ; съ Чаадаева взита подписка ничего не писать и онъ объявленъ сумасшедшимъ.

Но при всемъ этомъ надо замътить, что какъ ни сильно было впечатлъніе, какое произвело письмо Чаадаева, нельзя сказать, чтобы, вмъстъ съ тъмъ, оно оказало какое-либо положительное вліяніе въ нашей литературів.

Дело въ томъ, что только въ отрицательныхъ идеяхъ Чаалаевъ сощелся со своими современниками. То самое, что высказывали въ то время всё шеллингисты, что мы видели и у Веневитинова, и у Киревскаго, то-же самое вы найдете и у Чаадаева, только въ болье рызкой формы, доведенное до мрачнаго, безотраднаго отчанныя... Чаадаевъ замъчаетъ, что въ то время, какъ у каждаго народа есть нечто оседлое, свое, родное, къ чему онъ привыкъ, чемъ онъ дорожитъ... мы-же-словно какое-нибудь кочевое племя, живенъ настоящею минутой и въчно какъ будто куда-то все вдемъ и находимся въ дорогв, на станціи, на распутьи, готовые тотчась-же покинуть то місто, на которомъ въ настоящую минуту находимся. Прошедшее Россіи пусто, настоящее невынесимо, а будущаго для нея вовсе нетъ и Россія-это пробель разуменія, грозный урокъ, данный народамъ — до чего отчуждение и рабство могутъ довести. Что-же касается до положительной стороны письма, до разъясненія причинъ такого печальнаго состоянія Россіи и указанія выхода изъ него, то мивніе Чаадаева представляется единственнымъ, исключительнымъ и промелькнувшимъ почти безследно въ нашей литературе. Дело въ томъ, что Чаадаева, подобно Ив. Киръевскому, философія Шеллинга привела къ мистицизму, но разница въ томъ, что Кирвевскій самъ вывелъ для себя мистицизмъ изъ общихъ основаній системы и выработаль свой самостоятельный мистицизмъ цравославія, между темъ, какъ Чаадаевъ, во время своего путешествія заграницей, познакомясь лично съ Шеллингомъ, увлекся мистицизмомъ буквально въ томъ самомъ видъ, въ какомъ онъ представлялся въ послъдующемъ період'я д'ятельности Шеллинга и дошель до апоесоза католичества, въ которомъ онъ началъ видеть альфу и омегу цивилизаціи Европы. Съ этой точки зрвнія, главная причина отделенія Россіи отъ Европы и печальнаго ея положенія, по мивнію Чаадаева, заключается въ томъ, что мы не принадлежимъ къ тому умственному и нравственному союзу католичества, который связываеть всв европейскіе народы въ одну нераздельную семью. Если хотите, и у Киревекаго мелькаеть та-же мысль въ его статьв "XIX векъ", когда онъ говорить о томъ вліянін, какое оказала католическая церковь въ средніе въка на цивилизацію Европы, и замъчаетъ при этомъ въ Россіи отсутствіе подобнаго-же вліянія; но Кирфевскій ограничиваетъ это сравнение средними въками; для настоящаго-же времени онъ предполагаетъ иные выходы, -- мы выше видели какіе. Для Чаадаева-же естественно никакого выхода не представлялось: онъ не могъ не сознавать, что обращение въ католичество всего народа дело невозможное да и позднее, и поэтому считалъ зло неисправимымъ. Онъ ничего и не предлагалъ въ своемъ письмѣ, а только выставляль факты безвыходности съ своей точки зрѣнія.

VI.

Отношеніе шеллингистовъ къ китературъ.—Новме критическіе взгляды на Пушкина (статьи Веневитинова и Киръевскаго).—Личность Надеждина.—Взаимное нерасположеніе между нимъ и Бълинскимъ.—Его участіе въ «Въстникъ Европы».—Литературная безгактность Надеждина.—«Гелескопъ»:—Его пропаганда эстетическаго образованія и политическая безхарактерность.—Общій обзорь движенія мысли въ половинъ тридцатыхъ годовъ.—Всеобщая реакція.—Ворьба ей съ московскимъ движеніемъ.—Славянофизм и каравтеръ ихъ пропаганды.—Печальное состояніе петербургской литературы.—«Вибліотека для чтенія».—Тъспая связь взглядовъ Сенковскаго со вяглядами, господствовавщими въ петербургскихъ кружкахъ.—Реформы, произведенным «Библіотекой для чтенія» въ литературъ, и полемика Ефлинскаго съ Шевиревимъ по поводу этихъ реформъ.

Рядомъ съ общими вопросами о судьбъ Россіи, шеддингисты не меньшее внимание обращали и на боиће частные вопросы о характерћ и развити современной имъ литературы въ Россій. Исходя изъ философской системы, которая въ поэтическомъ творчестве видела по отношению къ поэту воплощение міровыхъ идей въ пластическихъ осязательныхъ формахъ, а по отношению къ народу-таинственный, божественный актъ народнаго самосознанія, шеллингисты не могли не обратить вниманія на б'єдность и нустоту нашей литературы, которая, съ одной стороны, страдала отсутствіемъ всякихъ болье или менье глубокихъ идей, съ другой-не заключая въ себъ никакой самобытности, была рабскимъ сколкомъ западныхъ литературъ. Вифстф съ этимъ, шеллингисты видели, что хоти наша литература избавилась отъ ложно-классическихъ оковъ, но это не сделало ее нисколько серьезние и глубже; напротивъ того, она окончательно разнуздалась; на основаніи того новаго понятія, что поэть должень летать по воль своей фантазіи, писать сділалось чрезвычайно легко, обществомъ овладъла положительная стихоманія, и лите! ратура наполнилась лирическими поэмами въ романтическомъ духв, въ которыхъ поэты изливались въ свойхъ чувствахъ на сотнъ страницахъ и выводили необузданныхъ героевъ съ дикими страстями, кинжалами, ядами и всевозможными злодъйствами. Въ тоже время критика еще болье раздувала эту горячку своимъ рабскимъ отношениемъ къ современнымъ знаменитостямъ. Хотя она отучилась уже считать Шиндарами и Гомерами писателей предшествующаго періода нашей литературы, но свое безпристрастіе простирала только на писателей ложно-классической школы. Что-же касается писателей-романтиковъ, то она не переставала держаться относительно ихъ хвалебнаго тона и ограничивала свои отзывы о нихъ сравненіемъ ихъ съ раздичными европейскими знаменитостями. Такъ, напримъръ, Пушкина она ставила на одномъ ряду съ Байрономъ и произведенія его сравнивала съ различными поэмами последняго, въ Онъгинъ видъла русскаго то Чайльдъ-Гарольда, то Донъ-Жуана и пр.

Шеллингисты первые вооружились противъ наводнены литературы стихами. «Мы отбросили французскія правила—говорить Веневитиновъ въ статьъ «Мысли объ изд. журн.» не оть того, чтобы мы могии ихъ опровергнуть какою-либо положительною системой, но потому только, что не могли применить ихъ къ некоторымъ произведеніямъ новъйшихъ писателей, которыми невольно наслаждаемся. Такимъ образомъ, правила невърныя замънились у насъ отсутствиемъ всякихъ правиль. Однимъ изъ пагубныхъ послъдствій сего недостатка нравственной двительности была все-общая страсть выражаться въ стихахъ. Многочисленность стихотворцевъ во всякомъ народъ есть върнъйшій признакъ его легкомислія; самыя типическія эпохи исторіи всегда представляють намъ самое малое число поэтовь. Не трудно, кажется, объяснить причину сего явленія естественными за-конами ума; надобно только вникнуть въ начало всъхъ искусствъ. Первое чувство никогда не творить и не можеть творить, потому что оно всегда представляеть согласіе. Чувство только перождаеть мысль, которая развивается въ борьбъ и тогда, уже снова обратившись въ чувство, является въ произведени. И потому истинные поэты всъхъ наро-довъ, всъхъ въковъ, были глубокими мыслителями, были философами и, такъ сказать, вънцомъ просвъщенія. У насъ языкъ поэзіи превращается въ механизмъ; онъ дъхается орудіемъ безсилія, которое не можетъ себъ дать отчета въ своихъ чувствахъ и потому чуждается опредъянтельнаго языка разсудка. Скажу болбе: у насъ чувство, нъкоторымъ обра-зомъ, освобождаетъ отъ обязанности мислить и, прельщая легкостью безотчетнаго наслажденія, отвлекаеть оть высокой цёли совершенствованія».

Въ то-же время шеллингисты возстали и противъ критики, слишкомъ пристрастной къ наней литературъ и ставившей ее наравиъ съ европейсков. Еще до возникновенія "Московскаго Въстинка" Веневитиновъ, въ 1824 г., въ "Сынъ Отечества", осмъялъ Полевого, когда тотъ, при появленіи первой главы Евгенія Онъгина, сейчасъ-же сравнилъ Пушкина съ Байрономъ, въ Евгеніи Онъгинъ увидълъ типъ въ рода Донъ-Жуана, въ общемъ-же характеръ романа ему пригрезилось почему-то соотвътствіе тому, что въ музыкъ называется саргіссю.

«Кто отказываеть Пушкину въ истинномъ талантъ-говорить, между прочимъ. Веневитиновъ, кто не восхищакие его стихами? Кто не сознается, что онъ подарить нашу словесность предестными произведеніями? Но для чего-же сравнивать его съ Байрономъ, съ поэтомъ, который, духомъ принадлежа не одной Антии, а нашему времени, въ пламенной душь своей сосредоточилъ стремленіе целаго въка, и еслибъ могъ изгладиться въ исторіи частнаго рода позвіи, то въчно осталей-бы въ лѣтописихъ ума человъческато?

«Всё произведенія Байрона носять отпечатокъ одной глубокой мысле—мысли о человікі, въ отношеніи къ окружающей его природі, въ борьбі съ самимъ собою, съ предразсудками, врізавшимися въ его сердце, въ противорічни съ своими чувствами. Говорятъ въ его позмахъ мало дійствій, Правда, его піль не разсказъ, характерь его героевъ не связь описаній; онъ описываеть предмети не для предметовъ самихъ, не для того, чтоби представить рядъ картинъ, но съ наміреніемъ выразить впечатъчній ихъ на лицо, выставленное имъ на сцену. Мысль истинно позтическая, творческая.

«Теперь, г. вздатель «Темеграфа», повторяю вамъ вопросъ: что такое Онътинъ? Онъ вамъ знакомъ, вы его любите. Такъ! но этотъ герой поэмы Пушкина; по собственнымъ словамъ вашимъ, «шалунсъ умомъ, вътренникъ съ сердцемъ», и ничего боже. Я сужу также, какъ вы, т.-е. по одной первой главъ; ми, можетъ быть, оба ошибаемся, и оправ-

даемь осторожность опытнаго критика, который, опасаясь попасть въ «кривотолки», не захотыль произнесть преждевременно своего сужденія.

«Теперь, позвольте спросить: что вы называете «новыми пріобрътеніями Байроновь и Пушкиныхь»? Байрономъ гордится новая поэзія, и я, въ нъскольвихъ строчкахъ, уже старался замътить вамъ, что характерь его произведеній истинно новый. Не бупемъ оспаривать у него славы изобратателя. Павецъ «Руслана и Людмилы», «Кавказскаго плънника» и проч. имжеть неоспоримыя права на благодарность своихъ соотечественниковъ, обогативъ русскую словесность красотами, досель ей неизвъстными, но признаюсь вамъ и самому нашему поэту, что я не вижу въ его твореніяхъ пріобрътеній, подобныхъ Байроновымъ, «дълающихъ честь выку». Лира Альбіона познакомила насъ со звуками, для насъ со-всёмъ новыми. Конечно, въ еъкъ Людовика XIV никто бы не написаль и поэмъ Пушкина; но это показываеть не то, что онь подвинуль въкъ, но то, что онъ отъ него не отсталъ. Многіе критики, говорить Полевой, увъряють, что «Кавказскій плънникъ», «Бахчисарайскій фонтанъ» взяты изъ Байрона. Мы не утверждаемъ такъ опредълительно, чтобы нашъ стихотворецъ заимствовалъ изъ Байрона планы поэмъ, характеры лицъ, описанія; но скажемъ только, что Байронъ оставляеть въ его сердцъ глубскія впечатльнія, которыя отража-котся во всёхъ его твореніяхъ. Я говорю смъло о Пушкинъ, потому что онъ стоить между нашими стихотворцами на такой степени, гдв правда уже не колеть глазъ».

Совершенно такія-же мысля, только высказанныя бол'те ясно и опреділенно, мы встричаемь въ статьть Киртевскаго. "Начто о поэзін Пушкина" ("Московскія Відомости" 1828 г.):

«Времи Чайльдъ-Гарольдовъ, слава Богу, еще не настало для нашего отечества—говорятъ между прочимъ Киръвескій—молодая Россія не участвовала въ жизни западныхъ государствъ, и народъ, какъ человъкъ, не старъется чужими опытами. Бъстинцев поприще открыто еще для русской дългельности; всъ роды искусствъ, всъ отрасли повнаній еще остаются неусвоенными нашему отечеству; намъдано еще: надъяться—что-же дълать у насъ разочарованному Чайльдъ-Гарольду?

«Поемотримъ, какія качества сохранилъ и утратилъ цвёть Британіи, бывъ пересаженъ на русскую ночву.

«Любимая мечта британскаго поэта есть существо необыкновенное, высокое. Не бъдность, но преизбытокъ внутреннихъ силъ дълаеть его холоднымъ къ окружающему міру. Безсмертная мисль живеть въ его сердив и день, и ночь, поглощаеть въ себъ все быте его и отравляетъ всъ наслажденія. Но въ какомъ бы виде она ни являлась: какъ гордое презръніе къ человъчеству, или какъ мучительное раскаяніе, или какъ мрачная безнадежность, или какъ неумолимая жажда забвенія, эта мысль всеобъемлющая, въчная-что она, если не невольное стремление въ лучшему, тоска по недосятаемомъ совершенствъ? Нъть ничего общаго между Чайльдъ-Гарольдомъ и толной людей обыкновенныхъ: его страданія, его мечты, его наслажденія непонятны для другихь; только высокія горы да голые утесы говорять ему отв'ятныя тайны, ему одному слышныя. Но потому именно, что онъ отличенъ отъ обыкновенных людей, можеть онъ отражать въ себъ духъ своего времени и служить границей съ будущимъ; потому что только разногласие связуеть различныя созвучія *).

«Напротивъ того, Онъгинъ есть существо совершенно обыкновенное и ничтожное. Онъ также рав-

^{*)} Курсивъ въ подлинникъ.

нодушенъ ко всему окружающему; но не ожесточеніе, а неспособность любить сдѣдали его колоднымъ. Его молодость также прошла въ вихрѣ забавъ и разсѣннія; но онъ не завлеченъ быль кипѣніемъ страстной неопытной души, но на паркетѣ
провелъ пустую, холодную жизнь франта. Онъ также бросиль свѣтъ и людей; но не для того, чтобы
въ уединеніи найти просторъ взволнованнымъ думамъ, но для того, что ему было равно скучно
вездѣ.

...Что онъ равно зѣвалъ Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

«Онъ не живетъ вокругъ себя жизнію особенною, отмізною отъ жизни другихъ людей, и презираєтъ человічество потому только, что не умізетъ уважать его. Нізть ничего обикновенніе такого рода людей, а всего меньше поэзіи въ такомъ характерія.

«Воть Чайльдь-Гарольдь въ нашемъ отечествъ, и честь поэту, что онъ представнять намъ не настоящаго: потому что, какъ мы уже сказали, его время еще не пришло для Россіи, и дай Богъ чтобы никогда не приходило».

Съ того-же 1828 года началъ печататься въ "Въстникъ Европы" и рядъ статей Надеждина подъ псевдонимомъ Надоумки.

Но статьи эти надо різко отличать отъ статей о томъ-же предметі Веневитинова и Кирізевскаго, и вообще отношеніе Надеждина къ литературіз носить совершенно иной характеръ, чізкъ у прочихъ писателей его школы.

Личность Надеждина чрезвычайно двусмысленно и неопределенно рисуется въ нашей литературів. Самый нервый шагь его на литературное поприще невольно озадачиваетъ васъ. Почему Надеждинъ, увлекшійся философіею Шеллинга, не примкнуль сразу къ кружку прочихъ шеллингистовъ, какъ товарищъ его Павловъ, и не печаталъ своихъ статей исключительно въ "Московскомъ Въстникъ" - журналъ, которому онъ, повидимому, болже, чемъ всемъ другимъ долженъ быль сочувствовать, какъ шелдингистъ? Нътъ, онъ сталь особнякомъ, въ сторонѣ, и пошедъ вдругъ въ "Въстникъ Европы", который былъ сосредоточіемъ всевозможной ветхости и гнили въ то время. Какъ человъкъ талантливый и обладающій большою ученостью, онъ не могъ не обратить вниманія публики на свои статьи; он'в произвели большое впечатление, и вліяніе ихъ было такъ сильно, что отразилось всюду; даже заклятые враги его, каковъ быль Полевой, подчинились этому вліянію и начали повторять многія высказанныя имъ мысли. Но при всемъ этомъ вліянів, съ появленія его статей и до самой смерти его вы не встрътите о немъ ни одного отзыва, вполив благосклоннаго. И не одни только враги отзывались о немъ такъ: даже последователи и ученики его, тъ, которыхъ воспиталъ онъ въ своей замечательной профессорской деятельности (а воспиталь онъ целое поколеніе), и тв, повидимому, не питали къ нему большаго уваженія, какъ къ писателю. По крайней мъръ, лучшій представитель этихъ учениковъ, да и, притомъ, такой, котораго онъ-же, Надеждинъ, вывель на свътъ въ своей "Молвъ", которому подъ конецъ повърилъ въ полное распоряжение свой "Телескопъ", однимъ словомъ, Вълинскій, помъстиль о немъ въ "Отечественныхъ Запискахъ" 1841 г. отзывъ такого содержанія:

«Г. Надеждинъ началъ свое литературное поприще въ «Въстникъ Европы», и началь борьбой противъ романтизма. Въ первыхъ статьяхъ онъ явился псевдонимомъ Надоумкою; но когда были напечатаны отрывки изъ его диссертаціи, писанной для полученія степени доктора, всё узнали, что Надоумка и г. Надеждинъ-одно лицо. Статьи Надоумки отличались особенною журнальною формой, оригинальностью, но еще чаще странностью языка, бойкостью и ръзкостью сужденій. Какь въ нихъ, такъ и въ диссертацін, можно было замѣтить, что противникъ романтизма понималъ романтизмъ лучше его защитниковъ и быль не совстьи искреннимъ врагомъ романтизма. Г. Надеждинъ первий сказаль и развиль истину, что поэзія нашего времени не должна быть ни классическою (потому что мы не греки и не римляне), ни романтическою (потому что мы не паладины среднихъ въковъ); но что въ поэзіи нашего времени должны примириться объ стороны и произвести новую поэвію. Мисль справедливая и глубокая; г. Надеждинь даже хорошо развиль ее. Но, твиъ не менве, она немногихъ убъдила и не вошла въ общее сознание. Много причинъ было этому, а главная изъ нихъ: какая-то печинь омло этому, а главная изъ нихъ: какая-то ис-искрениость и непрямота въ доказательстважь, свой-ственная докторампу, а не доктору, и выное проти-воръчіе межку возвръніями г. Надеждина и ихъ приложениеть. Г. Надеждинъ, понимая, что класси-ческое искусство было только у грековъ и римлянъ, называя французскую позвію псевдоклассическою, неестественною и надутою, въ то-же время съ благоговъніемъ произносиль имена Корнеля, Расина и Мольера и смёло циговаль риторическіе стихи Ломоносова, Петрова, Державина и Мерзлякова, увъряя, что въ нихъ-то и заключается всяческая поэзія. Далье, очень хорошо понимая, что Шекспирь, Байронъ, Гете, Шиллерь, Пушкинъ совсемъ не романтики, но представители новъйшей поэзіи, онъ съ ожесточениемъ глумился надъ ними, какъ надъ неистовыми романтиками, и смъщиваль ихъ съ ге-роями юной французской литературы. Это противортніе едва-ли не было умышленно, во уваженіе невтрных отношений докторанта, желающаго быть докторомг, и потому, по мъръ возможности, не желающиго противоръчить закоренълым предубъжденіям докторов. По этой уважительной причинь г. Надеждинъ вооружился противъ Пушкина всъми аргументами своей учености, всемь остроуміемь своихъ «надоумочныхъ», или, какъ говорили тогда его противники - «недоумочных ь» статей. Время и мъсто не позволяють намъ распространиться о его под-вигахъ въ ратовании противъ Пушкина, ибо это длинная и, притомъ, забавная и занимательная нсторія, которую мы предоставляемъ себъ разсказать въ другое время, какъ скоро представится удобный случай. Теперь-же скажемъ только, что сдълавшись докторожь и получивь канедру, г. Надеждинг сдълался журналистом и совершенно измпниль свои литературные взіляды и даже орвографію; вмѣсто «эсеетическій» и «энеузіазмъ», сталь писать «эстетическій» и «энтузіазмъ»; разбирая «Бориса Годунова», заговориять о Пушкинь ужь другим то-номъ, хотя и осторожно, чтобы не слишкомъ ръзко противоръчить своимъ «надоумочнымъ» и «эсеетическимъ» статьямъ. Во всякомъ случат г. Надеждинъ-примъчательное лицо въ нашей литературъ и васлуживаеть подробной и основательной оценки, которую мы и предоставляемъ себъ сдёлать при случав».

Но и учитель, съ своей стороны, не чувствовалъ большаго расположенія къ своему ученику, и нерасположеніе это было, повидимому, очень сильно, если заставило Надеждина, за неим'вніемъ какихъ-либо основательныхъ обвиненій противъ Вълинскаго, приобязать къ той мелочной лжи и клеветь, къ которой

362

въ настоящее время такъ часто прибъгаютъ различные утонченные и щепетильные эстетики въ своихъ отзывахъ о томъ или другомъ молодомъ человъкъ.

«Ло моего знакомства съ Бълинскимъ-говорить И. Панаевъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ» о Бълинскомъ-я все разспрашиваль о немъ у Надеждина, который больной дежаль тогда (въ 1838 г. *) въ гостинниць Лемута, только-что вернувшись изъ Усть-Сысольска.

«Надеждинь, который быль вообще словоохотливъ, какъ будто избъталъ почему-то всякій разъ разговора о Вълинскомъ. Когда и разъ спросиль о его образъ жизни, о его привычкахъ, Надеждинъ засмънлся во весь роть, обнаруживь, по обыкновенію, свои десны и сказаль:

— Малый онъ съ талантомъ, съ убъжденіемъ, но въ жизни ужаснійшій циникъ. Когда онъ работаль у меня въ «Телескопъ», я наняль ему небольшую, но миленькую и чистенькую квартиру съ мебелью, еще съ цвътами на окнахъ! Онъ не прожиль въ ней и недъли — не могь — и пересе-лился куда-то на Трубу въ непроходимую грязь,. «Когда я сошелся съ Вълинскимъ, я однажды

спросиль его:

- Что, вы всегда были такой охотникъ до чистоты, какъ теперь?
— Что это за вопросъ? перебилъ Бълинскій.

«Я ему передаль слова Надеждина. Бълинскій

расхохотался. - Неужели онъ вамъ говорилъ? вскрикнулъ онь, весь вепыхнувъ.—Я клянусь вамь, что ни о какой подобной квартиръ я отъ роду не слыхи-валь—еще съ цевтами! хорошъ господинъ! Вы теперь меня видите и знаете: ну, похожъ-ли я на ци-

Чтобы понять все противоречія, какія мы встречаемъ въ личности Надеждина, надо взять во вниманіе, что въ этомъ человікі постоянно боролись три элемента, изъ которыхъ каждый тянулъ его въ свою сторону: въ одно и то-же время онъ вибщалъ въ себъ-высокомъріе ученаго неданта, карьеризмъ чиновника съ живыми интересами мыслящаго человъка. Молодость свою провель онъ вдали отъ свъта, въ стънахъ московской духовной академіи, погруженный въ сухую, тошую схоластику, оть вліянія которой не могло избавить Надеждина вполнъ даже увлечение философіей Шеллинга. Съ высоты своей учености, онъ привыкъ смотръть на нашу литературу презрительно. Но если, съ одной стороны, онъ былъ правъ, потому что действительно литература наша была жалка и бъдна сравнительно съ литературами западной Евроны, за то, съ другой стороны, величайщее несчастие его было то, что онъ не испыталь на самомъ себъ той хотя малой доли благотворнаго вліянія, какое производила на его современниковъ эта литература, какъ бы она ни была жалка и бёдна. Какъ ни жидокъ быль романтизмъ эпохи Пушкина и Полевого, но люди, увлекавшіеся имъ искренно и горячо, пріобретали, по крайней мъръ, чувство независимости, которое ставило ихъ въ оппозицію противъ нравственныхъ требованій существующаго порядка, пока они не измѣняли этому чувству. Надеждинъ въ своей ученой отчужденности отъ живаго движенія общества осталля чуждъ этого вліянія-ученый-же педантизмъ не могь избавить его отъ того, если можно такъ выразиться, мандаринства, которымъ были проникнуты въ обществъ всъ, находившіеся внъ сферы романтизма. Стремясь составить ученую карьеру, онъ, конечно, терся болве всего въ кружкв людей, которые были ему для этого нужны, представителемъ мижній которыхъ былъ Каченовскій съ своимъ "В'єстникомъ Европы". Въ кружив этихъ людей Надеждинъ привыкъ слышать ожесточенные нападки на романтизмъза его безиравственность, растивніе молодаго нокольнія, ведущее къ ниспроверженію всякихъ общественныхъ и семейныхъ порядковъ и пр. Мы далеки отъ предположенія, что Надеждинъ сознательно подлаживался подъэти мижнія сънизкою целію угодить людямъ, отъ которыхъ завискла его ученая карьера. Онъ могъ заразиться этими мижніями невольно, темъ болье, что при своемъ гелертерствъ, сооединенномъ съ презръніемъ къ литературъ, онъ могъ видъть, и дъйствительно видель, какъ онъ самъ объ этомъ говорить въ своей автобіографіи, въ ученыхъ, окружавшихъ его, представителей образованности Россіи. Но въ то же время Надеждинъ былъ слишкомъ живой человъкъ, чтобы закупориться окончательно въ науку, отрешившись отъ всего, что делалось вокругъ него. Философія Шеллинга натолкнула и его на тіз же мысли, которыя она везбудила въ Веневитиновъ, Киръевскомъ, но эти мысли соединились у Надеждина съ возэръніями Каченовскаго, и она выступиль въ "Въстникъ Европы" на защиту тенденцій этого журнала методомъ шеллинговой философіи. Этимъ и объясняется громадная разница статей Надеждина въ "Въстникъ Европы" отъ статей Веневитинова и Кирћевскаго въ "Московскомъ Въстникъ" и "Европейцъ". У обоихъ этихъ писателей, если вы не видите какихъ-либо определенных и сознательных политических убежденій, во всякомъ случав, замізчаете въ нихъ сочувствіе и уваженіе ко всему тому, что носило въ себъ хотя бы бледную тень нравственной независимости. Они нападали на бъдность нашей литературы и смъялись надъ сравненіемъ русскихъ писателей съ иностранными, находя, что современная имъ литература производить на общество меньшее вліяніе, чёмъ бы они желали; но при этомъ миъ и въ голову не приходило, чтобъ это малое вліяніе было вредное, развращающее, ведущее къ ниспровержению общественнаго порядка и пр.; напротивъ, они дорожили и тъмъ вліяніемъ, какое было въ наличности, и съ горячимъ сочувствіемъ относились къ писателянъ, любимымъ публикой. Веневитиновъ напалъ на Полевого, какъ им видъли выше, раньше Надеждина; но въ своей полемикъ онъ держался въ строгихъ литературныхъ границахъ; онъ нападалъ на Полевого, какъ на плохого критика, но, вивств съ темъ, съумелъ оценить въ немъ независимаго человека, и когда основался "Московскій Въстникъ", онъ въ письмі изъ Петербурга убъждаль редакцію этого журнала быть остороживе въ полемикъ съ Полевымъ въ уважение къ особеннымъ достоинствамъ его журнала.

Совершенно обратное отношение мы видимъ въ статьяхъ Надеждина. Сквозь нападки на современныхъ писателей съ точки зрвнія шеллингиста, вы повсюду встречаете строки, которыя были подстать скорее писателю полицействующему, каковы были

^{*)} Следовательно, еще до появленія нелестнаго отзыва Бълинскаго о Надеждинъ.

въ то время Гречъ и Булгаринъ, чёмъ писателю, мало-мальски мыслищему. Стентъ сдёлать двё-три выписки изъ первой статьи. Надеждина "Литературныя опасенія" ("В. Европы", № 22, 1828 г.), произведшей самое сильное впечатитніе, чтобы познакомиться съ тономъ и духомъ тенденцій Надеждина. Вы посмотрите, напримёръ, какіе прозрачные намеки на анархію и ниспроверженіе общественнаго порядка вы встрічаете въ-отзывѣ Надеждина о "Евгеній Онѣгинъ" Пушкина.

«Par exemple!» продолжаль неумолкающій Тлюнскій ¹), прихлебнувши изъ чашки: — «ты, конечно, читаль новую поэму Залетина: Евгеній Четверинскій?»

А (важитая лоскутокъ бумажки для раскуренія трубки).—Признаюсь, Богъ еще миловаль!. Меня и такъ уже тошивло съ этихъ Евгеневъ ³), которыхъ по справедливости надлежало бы назвать кокогеніями или выродками добраго вкуса! Вотъ и этотъ доскуточикъ принадлежалъ, кажется, одному изъ нихъ.

Тапи. Вандаль! такова-то всегда участь великихъ геніевъ: истинную цёну узнаеть только потомство! Но-выслушай, однако, меня!.. Новая поэма, которая, между нами будь сказано, есть Сиріуст лите-ратурнаго нашего міра!—овеществляеть подъ образомъ пылкаго юноши, пресыщеннаго на заръ жизни бытіемъ своимъ и попавшагося въ душные Нерчинскіе рудники за произведенное имъ въ пылу безнадежнаго отчаянья смертоубійство и зажигательство (sic) — она, повторяю тебь, овеществляеть высокую идею объ исполинскихъ силахъ души человъческой, рано стряхнувшей съ себя оковы прозаической общественной жизни. И сія гигантская мысль какъ мастерски исполнена. Доселѣ вышло только при ³) главы поэмы: но *мьеа по конто* ³) узнать можно. Какая роскошь въ описаніяхъ! Какое богатство картинъ! Какан върность въ обнажении сокровеннъйшихъ изгибовъ сердца человъческаго!.. Я пришлю тебь завтра мой экземплярь съ портретомъ автора и почеркомъ руки его. Побереги только дорогой персплетъ...

A. O tempora! o mores!

Тивы. О темпоресь! о морусь!.. Здёсь не у мёета твои греческія цитацій. Совѣтую тебѣ прочесть новую повму со вниманіемъ и безъ предубѣжденій: ты увидишь тогда самъ, какъ несправедливы и неосновательна твои восклицанія.

Я. Нечего читать, любезный! видно сову по полету и ворону по перьямь. О, бъдная, бъдная наша ноэзія: долго-ли будеть ей скитаться по нерчинсквить острогамъ, цыганскимь шатрамь и разбойническимъ вертепамъ?... Неужели къ области ея исключительно принадлежать однъ мрачным сцены распутства; ожесточенія, заодъйства?... Что за ръпительная антипатія ко всему доброму, свётлому, мелодическому—радующему и возвышающему душу?... Не такъ думаль великій Горацій, законодатель и исполнитель творческаго искусства:

Musa dedit fidibus Divos, puerosque Deorum Et pygilem victorem, et equum certamine primum Et juvenum curas, et liberà vina referre 5), Вотъ предметы поэзін! Великіе подвиги и невинныя наслажденія человъчества!

Süsser Wohllaut schläft in der Saiten Gold: Der Sänger singt von der Minne Sold, Er preiset das Höchste, das Beste, Was das Herz sich wünscht, was der Sinn begehrt 4).

Такъ мыслилъ и воспъвалъ беземертный Шиллеръ!-Безъ сомивнія, буйная игра страстей, какъ изгращенное 2) отражение величия человъческого. и каррикатурные гротески смъшныхъ слабостей и заблужденій, какъ изпанка з) вещественной нашей жизни, могуть и должны составлять предметь творческой двятельности генія; но подъ какою точнесообразности ихъ съ нашимъ достоинствомъ и назначеніемъ! Это-то собственно означаєть ту эсее-ΤΗ Η Ε ΕΚΥΙΟ πολυροσκη οιμγιμενία 4) (καθάρσις φοβού και єдео,), которую нікогда Аристотель поставляль въ необходимый законъ ужасающей трагедіи. А нынъ? Нынъ поэзія съ какимъ-то неизъяснимымь удовольствіем бродить по вертепам ало-д'яній, омрачающихь природу челов'яческую, съ какою-то безстыдною наглостью срываеть покровь съ ен слабостей и заблужденій, и любуется изведенною на позоръ срамотой наилучшаго созданія Божія»... Къ этому ниже онъ прибавляеть: «нынъ совсимъ не то... Наши пъвцы воздыхають тоскливо о блаженномъ состоянии первобытной дикости и услаждаются живописаніемъ бурныхъ порывовъ ненетоветва, покушающаюся ниспроверинуть до основанія священный оплоть общественнаю порядка й блаюустройства».

Не забудьте, что эти строки написаны въ 1828 г. въ то время, когда воспоминанія 1825 года были еще самыя свежія, когда Пушкинь быль только-что возвращенъ изъ ссылки, когда каждый русскій журналъ висель на волоске... Къ довершению курьева, въ одной изъ своихъ статей Надеждинъ обзываетъ всѣхъ представителей романтизма, Пушкина, Полевого и пр. "сонмищемъ нигилистовъ", предвосхищая, такимъ образомъ, нальму первенства у Тургенева въ изобретении этого термина для означенія имъ всего выходящаго изъ границъ, безпорядочнаго, взбалмошнаго, анархическаго: Однинъ словомъ, читая статьи Надеждина, вы словно переноситесь изъ двадцатыхъ годовъ въ наше время, съ тою только разницей, что писателей, запрещающихся въ наше время въ училищахъ и считающихся нигилистами, въ то время еще не существовало, а считались нигилистами и запрещались въ училищахъ поэты въ роде Пушкина, Дельвига, Баратынскаго, на которыхъ современные педагоги смотрять, какъ на столны благонамеренности. Но отсутствие всякаго литературнаго такта и прили-

Статья Надеждина написана въ виде разговора автора съ Тленскимъ, въ которомъ Надеждинъ изображаетъ приверженца романтической школы.

^{2) 3) «)} Курсивъ въ подлинивъ.

5) Для Тлънскаго, какъ первокласснаго поэта, я сезбоязненно цитовалъ мёста изъ Гораціевой Artis Poeticae, которая, по моему мнёнію, должна бить, если не кораномъ, то, по крайней мъръ, Ручною катехетическою кишжкой для всёхъ, нарекающихся поэтами. Не знающимъ латинскаго языка можно рекомендовать прекрасный переводъ А. Э. Мерзая-

кова. Тамъ упомянутые стихи переведены слёдующимъ образомъ:

Фебъ лирѣ даль въ удёль беземертныхъ прославленье

Ихъ чадъ божественныхъ, героевъ награжденье,

Труды и честь бойцевь, и юности златой Любезны сусты и Вакха дарь благой! Прим. Надеждина.

¹⁾ По переводу Жуковскаго:
Въ струнахъ золотыхъ вдохновенье живеть!
Пъвецъ о любви благодатной поетъ,
О всемъ, что святаго есть въ лиръ,
Что душу волнуетъ, что сердце живитъ.

Прим. Надеждина.

^{2) 3) 4)} Курсивъ въ подлинникъ.

чій со стороны Надеждина не ограничивалось одними только опасеніями относительно ниспроверженія разных в священных оплотовъ, а простерлось до того, что онъ дозволиль подъ одною изъ своихъ статей поместить примечаніе Каченовскаго совсемъ ужь не литературнаго свойства. Дёло въ томъ, что после статьи въ "Телеграфів", подъ псевдонимомъ Бенигны, въ которой опровергалось всякое значеніе Каченовскаго, последній поместиль подъ статьей Надеждина "Откликъ съ Патріаршихъ Прудовъ" следующее примечаністи за общеновня

«Здвеь приличнымъ почитаю объявить, что препираться съ Бенигой и не имъю охоты, отказавнись-навесрда отъ безилодной полемики; з. теперь не имъю на то и права, предприняез другія мъры къ охраненю сеосії мичности от пириваю произвола се-Бенины и всякт прочижъ. Я даже не читаль бы статьи телеграфической, еслибъ не быт увлечето смодствіями неблаюнамъренности, прикосновенными къ чести службы ѝ къ достоинству мъста, при которожь имъю честь продолжать очую».

Эти другія міры состояли вь томь, что Каченовскій обратился съ жалобами на Полевого къ разнымъ начальствамъ, цензурнымъ и сверхцензурнымъ; жалобы эти не имъли послъдствій, но подняли порядочную бурю въ литературъ, при чемъ не малая ттнь пала и на Надеждина. Конечно, онъ не былъ тутъ ни въ чемъ виноватъ активио, но, во всякомъ случать, этотъ фактъ показываетъ полное отсутствіе въ Надеждинъ всякаго чутья литературной чести, потому что какой-же бы писатель, обладающій хоть каплей подобнаго чутьи, рышился бы участвовать въ журнать, издатель котораго позволяеть себъ подобнаго реда вылазки за предълы литературной полемики, не поворя уже о томъ, чтобы терпъть подъ своею статьей примъчанія въ родъ вышеприведеннаго.

При такомъ способъ веденія полемики со стороны противниковъ, естественно, что Полевому весьма трудно было поддерживать полемику, направляя ее туда, куда следовало. Роль Полевого въ этой полемике быда во всёхъ отношеніяхъ нечальна. Съ одной стороны, противникъ побъждаль его въ томъ, въ чемъ былъ безспорно сильнъе его, т.-е. въ учености и въ болье эрылыхь философскихь основанияхь своей критики. А между тымь, слабыя стороны этого самаго противника, его литературная безтактность и отсутствіе чутья литературныхъ приличій, были совершенно недоступны для открытаго нападенія со стороны Полевого при цензурныхъ условіяхъ того времени, и Полевой по необходимости долженъ былъ ограничиваться нападеніями на слогь, ореографію, педантизмъ и тому подобныя вещи, предоставляя читателю уже самому догадываться, что подъ: этими мелочами скрывается нечто другое. Мы видели сейчась, что даже и такіе невинные нападки повели ученыхъ противниковъ Полевого къ обвинению его въ неблагонамъренности.

Вышедши на самостоятельное поприще, сдѣлавмнсь профессоромъ теоріи и исторіи изящныхъ искусствъ и издателемъ "Телескопа", Надеждинъ избавился мало-по-малу отъ вреднаго вліянія на него отсталыхъ педантовъ мосновскаго университета, измениль свои литературныя сампатіи и антипатіи, ему перестали уже мерещиться въ русской литературъ мрачныя преисподни губительнаго нишлизма, о Пушкинъ онъ началъ отзываться благосклонно, въ полемикъ противъ Полевого держался въ литературныхъ пределахъ и пересталъ допускать въ свои статьи полицейскіе пріемы. Но при всемъ томъ, въ "Телескопъ" до самого появленія въ немъ молодыхъ писателей, сохранялся затхлый духъ мертвой схоластики и сухого педантизма. Идеи Шеллинга развивались въ этомъ журналь, какъ и на лекціяхъ Надеждина, преимущественно въ приложении къ эстетикъ, и вопросъ о чувствъ изящнаго стоялъ въ немъ на первомъ планъ. Въ статьяхъ Надеждина впервые мы вндимъ, что чувство изящнаго разсматривается не какъ только одинъ изъ элементовъ человъческой природы, обусловливающій поэтическое творчество, а какъ всеобщій факторъ воспитанія и жизни. Хотя въ то время не было еще такихъ враговъ чистаго искусства, какіе появились впоследствін, но Надеждинъ какъ будто предвидай ихъ, и въ своей стать в "Необходимость, значеніе и сида эстетическаго образованія" ("Телескопъ", 1831 г., № 10), онъ приводить слѣдующія возраженія противъ предполагаемыхъ противниковъ эстетическаго образованія:

«Изящныя искусства, разсматриваемыя сами по себъ отдъльно, могуть легко показаться игрушкавымышляемыми досужею изобратательностью на забаву и нъту праздности; и тогда много-много уже, если имъ, по снисхождению, оставляется служебное преимущество: усыпать цветами скорбный путь нашей жизни, осіявать отрадными веселіеми чело, осіненное мрачными думами, и навівать освъжающее успокоение сердцу, изнуренному тяжкими заботами. Но сія, чисто посторонняя и случайная польза, не всегда и не для всёхъ еще достигаемая, въ очахъ строгихъ ревнителей человъческаго достоинства естественно не можетъ искупать вреда, причиняемаго ихъ злоупотребленіемъ: почему не удивигельно, что изяшныя искусства 1), и выф ств съ ними всякое эстетическое образование 2), осуждались и прежде на пренебрежение и гибли, приносимыя въ жертву или гражданской дъятельности, какъ въ древнія суровыя времена республиканскаго Рима, или умственному утончению, какъ въ средніе мрачные въка схоластической ісрархіи. Но это пренебрежение не можеть имъть мъста, если изящныя искусства будуть представляться въ истинномъ ихъ свътъ, какъ необходимыя условія эстемического образованія з). Эстемическое образо-саніе ресть довершеніе и вънець нашей жизни: безъ него наша человъческая природа вызръть не можеть. Оно должно оканчиваться поэзіей жизни, которая есть ни что иное, какъ полное, гармоническое развитіе всёхъ струнъ человёческаго бытія нашего. Не будь этого развитія-струны сін никогда не издадуть полныхъ и светлыхъ звуковъ. Вся жизнь наша превратится тогда въ протяжную монотонію, хладную и мрачную. Въ нашихъ дъйствіяхъ слышенъ будетъ тяжелый скрипъ механической работы: наши познанія будуть отзываться унылою пустотой чахлаго педантизма. Безъ эстетическаго образованія 5) мы не можемъ вполнъ наслаждаться большинствомъ человеческаго бытія нашего!...»

Эти мысли представляють сущность возвржий Надеждина; онв имвють для насъ твив болве важности, что онв горячо воспринялись учениками покойнаго

^{1) 2) 3) 4) 5)} Курсивы въ подлинникѣ.

профессора и впоследствіи отразились на целоме поколеніи, представителемь котораго быль кружокь Станкевича.

Напирая преимущественно на эстетику, въ политическомъ отношеніи "Телескопъ" представляль полнейшую безхарактерность, отражая въ этомъ отношеніи безхарактерность самаго издателя, и допускаль на свои страницы оттенки всевозможныхъ мненій. Туть вы встретите оппозиціонный романтизмъ начинавшаго уже въ то время Искандера рядомъ съ эстетическимъ индифферентизмомъ кружка Станкевича, католическимъ мистицизмомъ Чаадаева и казеннымъ патріотизмомъ Шевырева съ Погодинымъ. Имена этихъ двухъ писателей особенно часто встречаются въ "Телескопъ". Поступивши почти въ одно время съ ними въ число московскихъ профессоровъ и раздъляя съ ними одни и тѣ же философскія возэрѣнія, Надеждинъ естественно сблизился со своими товарищами; очень можетъ быть, что если не по ихъ совъту, то, во всякомъ случав, въ виду близкаго ихъ участія и сотрудничества. Надеждинь основаль свой журналь. По всей въроятности, въянію духа этихъ писателей "Телескопъ" обязанъ былъ мнвніями въ родв нижеследующаго:

«Въ жизни русскаго народа были такіе моменты, когда внутренняя полнота его, почивающая въ безмятежной тишинъ, воздымалась, потрясенная чудною силой, и являясь во всей роскоши сокровеннаго своего могущества. Къ чести русскаго духа должно сознаться, что сила, производящая въ немъ сіи чудныя потрясенія, достойна великаго народа. Это любовь къ отечеству! Только сіе высокое и святое чувство могло колебать эту великую громаду исполинскихъ силъ и вызывать ее къ полной жизни. У другихъ націй сін достопримъчательныя эпохи всеобщаго движенія бывають обыкновенно следствіями внутренняго разъединенія, всколыханная стра-стями жизнь раздёляется на многія гряды волнь, другъ другу враждебныя, другъ друга поборающія: отсюда междоусобное остервененіе, оскверненіе престоловъ и алтарей, разрушение всёхъ общественныхъ связей, пятнающее любопытный ил страницы въ дътописяхъ народовъ. Не такъ бываетъ съ народомъ русскимъ. Его всеобщее пробуждение можетъ быть только следствіемъ напряженнаго сосредоточія всёхъ силъ его. Русскій человікь, неумінощій составлять для себя отдільную атмосферу бытія, можеть потря-саться только общимы колебаніемы сферы, къ коей принадлежить, можеть жить полною жизнью только въ единствъ жизни отечества. И тогда-то фаруживаются всё тайны его русской природы: всё струны русской его души издають звуки полные, свътлие, могущественные. Смыслъ его жизни совершенно разгадывается: онъ является истиннымъ гражданиномъ и истиннымъ семьяниномъ, когда становится русскимъ» («Рославлевъ или русскіе въ 1812 г.». Критика, статья II, стр. 219. «Телеск.», 1831 года, No 14).

Въ заключеніе характеристики десятилѣтняго періода (1825—35) нашего развитія, который по всей справедливости можеть быть названъ періодомъ шелленгистовъ, я считаю необходимымъ сдѣдать общій очеркъ положенія идей, партій и направленій въ литературѣ въ половинѣ тридцатыхъ годовъ, т.-е. въ то время, когда на дитературное поприще выступили новыя силы въ лицѣ Бѣлинскаго, Лермонтова, Кольцова, Гоголя и пр.

Впродолжение всего этого періода, реакція, если не дошла еще до техъ нечальныхъ крайностей, до которыхъ постигла она въ начале пятидесятыхъ годовъ, во всякомъ случать, успела уже заявить себя, въ особенности после польской революціи тридцатаго года. Общество представляло въ это время картину безропотной, безусловной, рабской покорности передъ всемъ, что только ни делалось въ среде его. Оно было преисполнено хронического страха, заставлявшого людей шопотомъ говорить о каждомъ предмете самаго невиннаго свойства, хоть сколько-нибудь превышавшемъ уровень обыденности. Немая апатія и скука царствовали повсюду, и, казалось, не было исхода изъ этого царства всеобщаго сна, застоя и беззастенчиваго произвола. Среди всего этого прака и сна едва теплился чуть мерцающій огонекъ свёта, пробивалась, журча, чуть слышно, живая струйка: это было философское брожение умовъ въ нъсколькихъ дитературныхъ кружкахъ, и недаромъ это брожение сосредоточилось въ стенахъ Москвы. Въ то время, какъ въ Петербургъ все, что только было мыслящаго, выбыло изъ строя, въ московскомъ затишь уцелели многія личности прежняго закала. Какъ прежде Москва была сосредоточіемъ опальнаго, неслужилаго дворянства, такъ и теперь всв, которые не хотели служить, которымъ было "прислуживаться тешно", удалялись въ Москву, где административное око не было такъ бдительно, какъ въ Петербургъ, гдъ общество, изстари привыкшее къ эксцентрическимъ проявленіямъ барской прихоти, не удивлялось столь-же иногда эксцентрическимъ проявленіямъ независимой мысли, гдѣ Чаадаевъ, сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульварь, въ залахъ и театрахъ, въ клубь, могъ безнаказанно сердить оторопъвших варистократовъ и православныхъ славянь колкими замъчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и нампренно замороженными, и эти люди вздили къ нему, и звали его на свои рауты; гдф славянофилы впоследстви могли наряжаться въ народные костюмы и авляться въ нихъ въ барскія гостиныя проповъдывать возвращение къ народнымъ началамъ. Среди степнато хлабосольства, барской праздности и распущенности, философские споры и пререкания служили немалымъ развлечениемъ отъ скуки, и подъвліяниемъ шеллингистовъ, московскія гостиныя переполнились преніями о судьбахъ европейской и русской цивилизацін, о необходимости усвоенія западной образованности или проникновенія народными началами. Все это движеніе, какъ читатели могли уб'єдиться изъ многочисленныхъ выписокъ, которыя мы ему представили въ двухъ последнихъ главахъ, стояло на чистоотвлеченной почвѣ общихъ, міровыхъ вопросовъ о судьбахъ цивилизаіци, не заключая въ себѣ ни малейшихъ определенныхъ политическихъ тенденцій, никакого побужденія къ критическому анализу окружающей жизни; если нѣсколько передовыхъ людей и желали освобожденія крестьянь и нікоторыхъ другихъ реформъ, то, во всякомъ случат, таили эти мечты про себя, боясь ихъ высказывать кому-либо даже наединъ. Но такой уже характеръ имъла реакція того времени, что для нея казалось опаснымъ уже и то, что въ обществъ быди люди, которые не хотъли слу-

жить и имели дерзость самостоятельно мыслить и заниматься въ своей частной жизни, чёмъ имъ вздумается. Вм'ясто того, чтобы восхищаться всемъ русскимъ, и ставить Россію во главе Европы, они осмелились уверять людей, что Россія отстала отъ Европы, что она государство не европейское, а азіатское, что пефедовые люди ся лишены всякаго философскаго образованія, литература медка и пуста, й что, подражая во всемъ Западу, мы перенимаемъ отъ него дурнато более, чемъ хорошаго. Все это были одни слова, слова и слова- н слова-то самаго, въ сущности, невиннаго свойства. При мало-мальски разумной свободъ и тернимости, эти люди могли-бы смело быть предоставлены самимъ себъ и трудно было-бы придумать болъе мирныхъ, благонамфренныхъ гражданъ съ ихъ скромными занятіями философскими науками и эстетическимъ созерцаніемъ. Но реакція, видя опасность въ одномъ уже романтическомъ стремлении къ индивидуальной свободъ чувства, мысли и воли, сама создавала себъ оппозицію; преслъдуя въ этихъ философахъ и эстетикахъ опасныхъ либераловъ, она убъждала и общество въ томъ, что въ нихъ, въ самомъ дълъ, тантся опнозиція, и многіє изъ философовъ привыкли смотръть на себя, какъ на либераловъ. Создавши, такимъ образомъ, сама себъ врага, реакція пошла далъе: отъ 1831 до 1836 года были запрещены четыре изданія ("Европеецъ", "Денница", "Телескопъ", "Телеграфъ"), издававшіяся подъ весьма строгою пензурой, несмъвшія и заикаться о чемъ-либо политическомъ. Но движение, несмотря на строгія меры, шло crescendo, все болъе и болъе обращая на себя винманіе общества и захватывая кругь его все обширнъе и общирнъе. Въ кониъ разсматриваемаго нами періода движеніе это начало уже изъ общаго и неопредізленнаго хаоса различныхъ мненій разветвляться на опредъленныя категоріи и направленія. Такъ, статья Кирвевскаго "XIX въкъ" и письмо Чаадаева выдълили славянофиловъ изъ общаго движенія и заставили ихъ сомкнуться въ отдельный кружокъ, который, хотя еще и не вступаль въ открытую вражду съ западниками, но деятельно началь вести пропаганду своихъ идей въ московскихъ кружкахъ и гостиныхъ. Замѣчательно, что и въ то время уже славянофилы, не имфвије еще печатнаго органа, любили прибфгать для выраженія своихъ симпатій и заявленій къ объдамъ съ высоконарными спичами и декламаціями. Такъ, въ концѣ тридцатыхъ годовъ, былъ въ Москвѣ профадомъ панславистъ Гай, игравшій потомъ какуюто неясную роль какъ кроатскій агитаторъ и въ тоже время близкій человікъ Вана Іслачича. Ему не трудно было разжалобить москвичей судьбою страждущей православной братіи въ Далмаціи и Кроаціи; огромная подписка была сдёлана въ нёсколько дней и, сверхъ того, Гаю быль данъ обедъ во имя всехъ сербскихъ и русняцкихъ симпатій. За об'єдомъ, одинъ изъ важиващихъ по голосу и по занятіямъ славянофиловъ, разгоряченный, въроятно, тостами за черногорскаго владыку, за разныхъ великихъ босняковъ, чеховъ и словаковъ, импровизировалъ стихи, въ которыхъ было следующее, вовсе не христіанское выраженіе:

Упьюся я кровью мадьяровь и нъмцевъ.

Всѣ неповрежденные съ отвращеніемъ услышали эту фразу. По счастію, остроумный статистикъ Андросовъ выручилъ кровожаднаго пѣвца: онъ вскочилъ съ свеего стула, схватилъ дессертный пожикъ и сказалъ: "Господа, извинтъ меня, я васъ оставлю на минуту; мнѣ пришло въ голову, что хозяинъ моего дома, старикъ настройщикъ Дицъ—нѣмецъ; я сбѣгаю его приръзатъ и сейчасъ возвращусь ". Громъ смѣха заглушилъ негодованіе.

Между темъ, какъ славянофилы проявляли свои симнатии и антипатии въ такихъ воинственныхъ крикахъ, профессоръ Надеждинъ своими лекціями и "Телескопомъ" направялть молодое поколѣніе на чисто
эстетическіе и литературные вопросы и въ половинъ
тридцатыхъ годовъ художественно-созерцательное и
философски-рефлективное направленіе, въ свою очередь, начало выдъляться все опредъленнъе и ръзчеособенно, когда Бълинскій началъ свою дъятельность.

При всемъ различи взглядовъ и направленій; московскіе литературные кружки, въ половинъ тридцатыхъ годовъ, сходидись въ одномъ; въ ожесточенной вражде къ Петербургу за тоть давящій духъ сухаго, механическаго бюрократизма, который царствоваль въ его стънахъ, за тотъ узкій, практическій матеріализмъ, который съ холодною насмъшкой встречаль всякое горячее увлечение какими-бы то ни было идеями, но болъе всего—за его литературу. И Москва была права во всехъ этихъ отношеніяхъ. Общее печальное положение вещей нигде не давало себя чувствовать такъ сильно, какъ въ Петербургъ. Выли въ этомъ городѣ свои литературные и ученые кружки, но они не только не представляли собою какого-либо свъжаго, обновляющаго движенія, но, напротивъ того, саное печальное разложение нравовъ.

Петербургскіе литераторы этого времени дізлились на двіз категоріи. Ст одной стороны, здізсь отживало нізсколько литературных в знаменитостей, каковы были Жуковскій, Крыловъ, а потомъ и Пушкинъ. Это были писатели-аристократы, какъ нотому, что на нихъ смотрізми ст благоговічної, какъ на столиы русской литературы, такъ и потому, что они вращались постоянно въ великосвітскомъ обществі. Къ писателянъ этой категоріи относились также князь Вяземскій, рафъ Соллогубъ и князь В. Одоевскій. Но послідняго не слідуетъ смінивать съ остальными, упомянутьми нами. Вотъ какъ характеристически изображаєть И. Панаєвъ въ своихъ "Воспоминанняхъ" неизмірницю противоположность, какая существовала между княземъ Одоевскимъ и прочими великосвітскими писателями.

«Духъ касть, аристократическій духъ внесень быль такимъ образомъ и въ литературу. Аристократическіе литераторы держана себя съ недоступною гордостью и вдалекъ отъ остальныхъ своихъ собратій, изръдка относясь къ, нимъ только съ вельможескою покровительственностью. Пушкивъ, правда быль очень ласковъ и въжливъ со всёми, какъ я уже говорилъ, но эта угонченная въжливость быль очень декора сель объесть, приванакомъ самаго закоренъяло аристократизма. Его, говорять, приводило въ същенство, когда какіл-нибудь высшія лица принимали его, какъ митератора, а не какъ потомка Аннибалла, передъ къмъ...

Громада кораблей всилывала И палъ впервые Наваринъ.

«Князь Одоевскій, напротивь, принималь каждаго литератора и ученаго съ искреннимъ радушіемъ и протигивалъ дружески руку всёмь выступавшимъ на литературное поприще, безъ различи сословій и званій. Одоевскій желалъ все обобщать, всёхъ сближать, и радушно открыль двери свои для всёхълитераторовъ. Онъ хотель показать своимъ светскимъ пріятелямъ, что, кромъ избранниковъ, посъщающихъ салонъ Караманной, въ Россіи существуетъ еще цълый классъ людей, занимающихся литературой. Одинъ изъ всёхъ литераторовъ-аристократовъ, онъ не стыдился званія литератора, не боялся открыто смъщиваться съ литературною толной, и за свою страсть къ литературъ терпъливо сносилъ насмъшки своихъ свътскихъ пріятелей, которымъ не было никакого дёла до литературы и которые вовсе не хотыми сближаться съ людьми не своего общества... Свътскіе люди на вечерахъ Одоевскаго окружали обыкновенно хозяйку дома, а литераторы были биткомъ набиты въ тъсномъ кабинетъ хозяина, заставленномъ столами различныхъ формъ и заваленномъ книгами, боясь заглянуть въ салонъ... Цёлая бездна раздёляла этоть салонъ оть кабинета...х

Ко второй категоріи петербургскихъ литераторовъ принадлежали писатели-ремесленники. Но довольно сказать, что во главѣ ихъ могли стоять Гречъ съ Булгаринымъ, а впоследствии — Сенковский, чтобы определить, каковы были литературные кружки въ это время въ Истербургъ. Они состояли изъ издателейспекулянтовъ какого-нибудь альманаха, униженно кланявшихся и выпрашивавшихъ стишковъ у того нли другаго корифея дитературы; изъ чиновниковъ, пописывавшихъ на досугъ стишки или носившихъ въ "Сынъ Отечества" статейки, не ожидая за нихъ вознагражденія и довольныхъ вполнѣ, если трудъ ихъ быль напечатанъ. Это быль омуть, въ которомъ вращались безъ толку и смысла минутныя знаменитости того времени въ родъ Воейкова, Кукольника, Бенедиктова, Тимофъева, Каменскаго, Ершова и проч. и проч. Въ этотъ кагалъ переселился доживать свой въкъ и Полевой. Все это сплетничало, пило, пило, сплетничало, ссорилось, мирилось, опять ссорилось, выставляло свои ссоры на показъ передъ публикой въ видѣ мелочной, придирчивой полемики, въ которой темъ менње было смысла, что она возбуждалась не чемъ инымъ, какъ только личными дрязгами, безъ малейшихъ следовъ столкновенія накихъ-либо уб'явденій или направленій. Ніть ничего мудренаго, что изъ этого мутнаго броженія ничего не могло выйти къ концу разсмотрѣннаго нами періода, кромѣ "Вибліотеки для Чтенія" Сенковскаго.

Собственно говоря "Библіотека для Чтенія" была вызвана такою-же живою потребностью въ журнальной литературь, какою быль обусловленъ и успіхх "Телеграфа". Съ тъхъ самых поръ, какъ литература, освободившись отъ меценатства, встала лицомъ къ лицу передъ публикой, на чисто коммерческую почву, она естественно увиділа себя въ необходимости во что бы то ни стало удовлетворять вкусамъ, потребностямъ, интересамъ той массы, отъ которой теперь окончательно сталъ завистъ сбытъ книжнаго товара. Но при этомъ новомъ положени вещей тотчасъ-же опредълились двѣ категоріи писателей, совершенно различно смотрѣвшихъ на книжное дѣло.

Для однихъ книжное дело было не одною только отраслью торговли, но могущественнайшимъ орудіемъ просвещения и развития общества, источникомъ всевозможнаго прогресса. Имъ казалось, что недостаточно только сбывать выгодно книги, удовлетворяя вкусамъ, потребностямъ и интересамъ общества, какъ это делаетъ любой фабрикантъ съ своимъ производ ствомъ; вкусы общества могутъ быть дурны, потребности ложны, интересы мелки и жалки-и первая обязанность инсателя развивать и возвышать общество въ его вкусахъ, потребностяхъ и интересахъ. Другаяже категорія писателей въ успішномъ сбыть книжнаго товара видъла альфу и омегу литературнаго производства; ради уснъха эти писатели готовы были принижаться до удовлетворенія самыхъ грубыхъ вкусовъ и самыхъ мелкихъ интересовъ публики, не только не помышляя о ея умственномъ развитій, но, напротивъ того, развращая ее и укореняя въ невѣжествѣ. Таково было большинство петербургскихъ писателей этого времени, и "Вибліотека для Чтенія" послужила выразительницей этого реда литераторовъ. При этомъ величайшею опасностью для успёшнаго хода развитія общества представлялось въ глазахъ мыслящихъ людей того времени то обстоятельство, что этотъ журналъ при своемъ доявлении грозилъ сдълать безсильною всякую конкурренцію съ нимъ и воцариться надъ всею литературой. Причиной такихъ опасеній было то, что издатели журнала съ коммерческой точки эрънія съумьли обставить изданіе весьма ловко и умно, употребивши вст средства для привлеченія къ нему нублики. Въ то время, накъ большинство тогдашнихъ журналовъ издавалось на жалкія средства небогатыхъ писателей, почему журналы были тощи, издавались на строй бумагт, выходили неисправно, ежеминутно грози прекращениемъ, "Библіотека для Чтенія" оперлась на солидную фирму Смирдина, книгопредавца и издателя, пользовавшагося большимъ уваженіемъ въ масст публики, такъ что публика смтло могла положиться на финансовую прочность изданія. Въ програмив журнала были имена всевозможныхъ знаменитостей того времени; казалось, что вся литература готова быда слиться въ одномъ изданіи. Объявленіе о появденіи журнала было написано въ самомъ хвастливомъ тонь, "безстыдно-самохвальномь", какъ выражается Бълинскій, а "Съверная Пчела" къ этому еще успъла ввернуть и свой полицейскій патріотизмъ, объявивши, что кто не поднишется на "Виблютеку"; тотъ не патріоть, тоть не любить отечества, не желаеть ему добра, что тотъ ренегатъ, измѣнникъ... Когда-же появились первые нумера "Библіотеки", то, не говоря объ изяществъ изданія, однимъ своимъ объемомъ и величиной этотъ журналъ представлялся Левіаваномъ среди массы своихъ тощенькихъ, маленькихъ, сфренькихъ собратій. Естественно, что публика бросилась на это изданіе и вскор'в число подписчиковъ на "Библіотеку" дошло до небывалаго еще до того времени количества 5,000. Но сделавши все возможное иля вившности журнала, издатель въ то-же время ни мало не позаботился о томъ, чтобы и внутреннее сопержаніе журнала соотв'єтствовало этой внішности. Да и какъ было ему позаботиться объ этомъ? Самъ онъ быль человъкъ чисто коммерческій и достоинство литературныхъ деятелей могъ оценивать только по количеству книжекъ, раскупаемыхъ публикой; что-же касается до выбора хорошаго и добросовъстнаго редактора, то чемъ онъ могъ руководствоваться въ этомъ выборъ? Движеніемъ идей въ публикъ? Но такого движенія еще не было. Если умственные интересы и были въ ней пробуждены, то, во всякомъ сдучав, они были крайне смутны и неопределенны; публика требовала умственной нищи, но ей было еще рышительно все равно, что бы ей ни дали. Что-же касается движенія идей въ литературныхъ кружкахъ, то зафсьто и быль главный камень преткновенія. Литературные кружки въ Петербургъ были въ это время до такой степени дрянны, мелки, безсодержательны, что кого бы ни выбраль изъ нихъ Смирдинъ, вышло бы въ результатъ то-же самое, если еще не хуже. Въ Сенковскомъ Смирдинъ виделъ профессора, обланающаго авторитетомъ огромной учености, ловкаго разскащика, владеющаго легкимъ слогомъ и остроуміемъ. Это одно ноказываеть, что выборъ Смирдина не быль лишенъ всякой основательности: онъ выбраль дучшаго редактора, какой только могъ представиться ему въ Петербургъ, и если этотъ лучшій оказался человъкомъ безъ всякихъ убъжденій, основывавшимъ всъ свои литературныя сужденія на личныхъ симпатіяхъ, антипатіяхъ и побужденіяхъ медочнаго самолюбія, шарлатаномъ, привлекавшимъ непросвѣщенную публику плоскими шуточками и дегкомысленною болтовней, то въ этомъ была вина не Смирдина, а той среды, въ которой человекъ, въ роде Сенковскаго, ногъ представляться действительно лучшимъ. Мнъ кажется, что многіе приписывають лично Сенковскому такое, что было въ то время общимъ въ средъ, въ которой онъ находился. Такъ, напримъръ, обвиняютъ Сенковскаго въ безсовъстно-нагломъ и даже мефистофедьско-зломъ глумленіи надъ нев'єжествомъ публики, когда онъ Кукольника ставиль рядомъ съ Байрономъ и Гете, В. Зотова съ Лермонтовымъ, на Гогодя смотрълъ, какъ на русскаго Поль-де-Кока и пр. Но не надо при этомъ забывать, что подобныя критическія сужденія принадлежали не одному Сенковскому, а господствовали въ массъ петербургскихъ писателей того времени. Когда Кукольникъ читалъ своего Торквато-Тасса въ литературныхъ кружнахъ, его превозносили до небесъ и имя его постоянно ставили рядомъ съ именами М. Глинки и К. Брюлова -- смотря на эти три имени, какъ на тріумвиратъ искусствъ того времени. На Лермонтова смотрели, какъ на писателя еще начинающаго, также, какъ и на Бенедиктова, В. Зотова, Бернета, Ершова, Тимофвева и многихъ другихъ, и на всехъ ихъ возлагали равныя надежды, ожидая въ нихъ будущихъ. Пушкиныхъ; не менее легкомысленно смотрели и на Гоголя, ценя въ немъ не болбе, какъ веселаго разскащика, обладающаго искусствомъ возбуждать смахъ, и не видали большой разницы между его произведеніями и комическими повъстями барона Брамбеуса. Однимъ словомъ, каковъ былъ приходъ, таковъ былъ и попъ.

Мы не намърены входить въ подробную оцънку дъятельности Сенковскаго, на томъ осневани, что дъятельность эта оцънева уже со всъхъ сторонъ, сначала Бълинскимъ, потомъ авторомъ "Очерковъ гого-

левскаго періода", и прибавить что-либо новое къ этимъ оцѣнкамъ мы ничего не имѣемъ. Такъ-какъ цёль нашей статьи не подробное разсмотрение всёхъ литературныхъ явленій выбраннаго нами періода безъ исключенія, а только обозрініе развитія критической мысли въ нашемъ обществъ, то мы имъли бы полное право и совствиъ не упоминать о Сенковскомъ съ его "Библіотекой для Чтенія", еслибы намъ не понадобилось это упоминание для болье нагляднаго представленія того печальнаго растлівнія дитературныхъ правовъ, какое мы встречаемъ въ Петербургѣ послѣ. 1825 года, растленія, дошедшаго до самой беззаствичивой эксплуатаціи публики, которая была молода, свіжа, съ юношескимъ жаромъ стремилась къ прогрессу и имъла только несчастіе быть нев'єжественною и неопытною въ выборѣ уиственной нищи, а потому и рисковада попасть въ даны книжныхъ барышниковъ и дегкомысленныхъ фельетонныхъ паяцовъ, которые набросились на нее съ жадностью, въ виду легкой поживы. Въ то печальное время не одна "Вибліотека для Чтенія", "Сѣверная Пчела" и "Сынъ Отечества" подвизались на поприщъ эксплоатаціи невъжества публики—Сенковскихъ разведось тогда многое множество. Чемъ, въ самомъ дёлё, былъ выше Сенковскаго Владиславлевъ со своею "Утреннею Зарей", который, ничего не платя своимъ своимъ сотрудникамъ, распространяль въ то-же время свое издание въ значительномъ количествъ почти силой, пользуясь протекціей начальства. Или чемъ-же не Сенковскій быль Плюшарь со своимъ "Энциклопедическимъ Словаремъ", доведеннымъ до буквы Γ и заключающимъ въ себѣ порядочные курьезы, Башуцкій, со своею "Панорамой С.-Петербурга" и tutti quanti. И если хотите, то "Библіотека для Чтенія" подъ редакціей Сенковскаго, какъ наиболѣе крупное и выдающееся явленіе среди массы подобныхъ ему, явленіе въ журнальномъ мірѣ грандіозное для того времени и представлявшееся, по своему усивху, грознымъ для другихъ журналовъ, принесла свою, хотя бы и косвенную, чисто отрицательную пользу. Надо замътить, что въ то время люди мысли, смотравшіе на журнальное дало, какъ на дало народнаго образованія, и заботившіеся прежде всего о серьезномъ содержани журналовъ, въ своихъ идеальныхъ стремленіяхъ слишкомъ мало заботились какъ о вившности своихъ изданій, такъ и объ искусстве придавать журналу разнообразіе и занимательность; они судили о публикъ по себъ и совершенно забывали, что учить ее можно, только забавляя и завлекая, что прежде чемь подписчикъ прочтетъ дельную стастью, надо, чтобы быль самый подписчикь. Не говоря уже о томъ, что, при возростающей потребности въ журнальной литературъ въ массъ публики, журналы издавались всевъ такомъ-же мизерномъ видъ, въ какомъ ени существовали въ блаженныя времена бородинскаго боя, передовые люди умственнаго движенія, увлекшись философскими и эстетическими вопросами; стали наполнять журналы почти подъ рядъ туманно-философскими статьями русскаго издёлія, историческими изысканіями, эстетическою критикой, которая, конечно, далеко не вся была такъ талантлива, занимательна и вліятельна, какъ критика Белинскаго. Стоить только пересмотръть книжки "Московскаго Въстника", "Телескопа" и "Московскаго Наблюдателя", чтобы понять причину ограниченнаго числа подписчиковъ, какимъ пробавлялись всё эти журналы. При всей дельности, журналы эти были крайне сухи и однообразны и выказывали въ редакторахъ полное незнание того, какъ привлекать публику къ журналу. Мы уже замътили выше, что Погодинъ окончательно засушилъ "Московскій Вістникъ" своею исторіей. Но и полодой Бълинскій со своими друзьями оказалъ такую-же неопытность въ журнальномъ дёлё въ "Московскомъ Наблюдатель", который и основань-то быль именно въ видахъ оппозиціи противъ "Библіотеки для Чтенія". Не говоря уже о томъ, что въ то время трудно было разсчитывать на успахъ журнала, посвященнаго исключительно философско-эстетическимъ вопросамъ, вы можете встретить среди нумеровъ "Наблюдателя" такія книжки, которыя были заняты невыносимо сухими статьями, представляющими кропотливыя ученыя изысканія на счеть частных ь вопросовь по русской исторіи, такъ что вийсто журнальныхъ книжекъ, подписчики получали спеціально-ученые сборники, которые, конечно, не разръзывали. Естественно, что ни одно изданіе въ такомъ видѣ не могло выдержать конкурренціи съ "Библіотекой для Чтенія". Чтобы противопоставить этому пустому и бездёльному журналу журналь дельный и полезный, необходимо было, чтобы последній издавался въ такомъ-же объеме книжекъ, быль столь-же занимателень, разнообразень и такъже изященъ по своей вившности, и мы видимъ, что "Библіотека для Чтенія" сділала рішительный переворотъ, какъ въ наружной физіономіи журналовъ, такъ и въ расположении журнальныхъ отделовъ. Къ концу тридцатыхъ годовъ окончательно исчезли прежніе миніатюрные, карманные журнальцы на сфренькой бумажив въ восьмушку; а вновь возникавшія періодическія изданія печатались уже по образцу "Вибліотеки для Чтенія", въ такомъ-же формать, объемь, съ такими-же разнообразными отделами, однимъ словомъ, въ такомъ виде, въ какомъ существуютъ журналы и въ наше время. Второю, немаловажною заслугой "Виблютеки для Чтенія" или, сказать точнье, Смирдина, было то, что Смирдинъ нервый увеличилъ плату за журнальныя статьи; онъ сделаль это, правда, не въ какихъ иныхъ видахъ, какъ чисто коммерческихъ, въ надеждъ пріобръсти хорошихъ сотрудниковъ, но этимъ онъ безсознательно произвелъ реформу въ томъ отношеніи, что поставилъ литературный трудъ въ то положение, которое хоть сколько - нибудь соотвътствовало измънению литературныхъ правовъ. Дело въ томъ, что прежде плата за журнальный трудъ считалась діломъ не только пустымъ и маловажнымъ, но и въ некоторомъ отношеній унизительнымъ для писателя. Одни изъ писателей слишкомъ высоко стояли, чтобы унижаться до грошовыхъ разсчетовъ съ издателями журналовъ; другіе въ романтическомъ увлеченіи смотрѣли на творческій трудь, какъ на трудь безкорыстный, и видели профанацію небеснаго акта творчества въ оцфикф его на прозаическія ассигнаціи, считая единственнымъ достойнымъ вознагражденіемъ поэта славу среди современниковъ и безсмертіе въ потомствъ. Нокакъ, впрочемъ, идеально ни объясняли писатели двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ свою безсребренность, главная и чисто реальная причина ея заключается въ томъ, что литературный трудъ не услѣлъ еще выдьлиться, какъ особенный и самостоятельный промысель; большинство писателей основывало свое благосостояніе на различныхъ другихъ отрасляхъ промышленности: они были прежде всего помъщиками, профессорами, чиновниками, военными, писателями-же были такъ только, между прочимъ, на досугъ, и потому не особенно обращали внимание на финансовое положение дитературнаго труда. Но въ срединъ тридцатыхъ годовъ въ литературныхъ кругахъ все чаще и чаще начали встречаться люди бедные, ничемъ не обезпеченные и въ то-же время стремившіеся всю свою дъятельность посвятить литературъ. Однимъ словомъ, вивств съ темъ, какъ литература, освободившись отъ покровительства, встала на коммерческую почву, и литературный трудъ долженъ быль придти въ ту-же норму; и въ особенности необходимость такого условія должна была ощущаться писателями съ маломальски независимыми мивнілми: они не могли не убъждаться горькими опытами, что хотя-бы они избъгали зависимости прямого покровительства, но служба и всякая другая профессія, отнимая время отъ ихъ литературнаго труда, въ то-же время гроэнтъ связать ихъ мысль и поставить ихъ въ зависимость отъ начальства, еще более тяжелую и произвольную, чемъ зависимость отъ патрона. Въ этомъ отношении поднятие цены литературнаго труда, совершенное по иниціативъ Смирдина, было несомивнною заслугой для успёха развитія литературы, какъ, съ одной стороны, темъ, что поставило литературу на более самостоятельную почву, сделавши возможнымъ существование литературнаго труда въ видъ отдъльной отрасли промышленности, такъ, съ другой стороны, темъ, что облегчило приливъ новыхъ и свежихъ силь на поприще литературы изъ техъ слоевъ общества, въ которыхъ наиболее развита энергія труда и борьбы. Казалось-бы, что такое нововведение должно было обрадовать всехъ современниковъ, если невследствіе особенной ихъ проницательности относительно важности будущихъ последствій его, то, по крайней мъръ, но тому простому и весьма не замысловатому чувству довольства, какое естественно ощущаеть каждый человъкъ, когда является возможность прибавленія въ его карманъ лишняго рубля; но такъ было сильно развитіе романтизма въ то время, такъ, съ другой стороны, глубоко коренились прежие барскіе порядки въ литературъ, что нововведение Смирдина поразило многихъ непріятно и явились такіе безсребренные и близорукіе нессимисты, которые видели въ этомъ нововведеніи опасность, грозящую литературѣ окончательнымъ ея наденіемъ. По ихъ мнінію, печальное состояніе петербургской литературы отъ того собственно и завистло, что, съ поднятиемъ платы за литературный трудъ, писатели развратились и, вифсто того, чтобы безкорыстно беседовать съ музами въ тиши кабинетовъ, не помышляя о земномъ и тленномъ, только и заботятся о томъ, какъ-бы побольше написать и побольше получить денегъ. Съ такими опасеніями за судьбу литературы выступиль, въ 1836 году, пр. Шевыревъ въ своемъ "Московскомъ Наблюдателъ", посвятивни этому предмету цълую статью подъ заглавіемъ "Словесность и торговдя".

«Нашъ писатель — говорить Шевиревъ въ этой статъй — то, что можно сказать однимъ словомъ, вържаженъ предложеніемъ, а предложеніе, достаточно для мысли, вытагиваеть въ длинный-предлинный періодъ, въ убористую страницу, страницу — въ огромный пистъ печатный. Его саотъ, какъ проводока, можетъ до безконечности вытягиваться. Но въ чемъ тайна всего этого? Въ томъ, что цівна печатнаго листа въс статъй его цівна, можетъ быстатьй его цівнател, можетъ быстатьй его цівнател, можетъ быть, въ гривну, каждо предложеніе есть рублік, каждый періодъ, смотря по длинів, есть синяя или прасная ассигнація].

«На журналы — говорить ниже Шевыревь — я смотрю, какъ на капиталистовъ. «Библютека пля Чтенія» имбеть для меня пять тысячь душь подписчиковъ; «Съверная Пчела», можеть быть, вдвое. Замічательно, что эти журналы еще въ томъ сходятся еъ богачами, что любять хвастаться всенародно своимъ богатетвомъ. И эти души подписчиковъ гораздо върнъе, чъмъ оброчныя: за ними никогда ивть недоимки; онв платить впередъ, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнаціи. Вотъ вдеть литераторъ въ новыхъ саняхъ: ты думаешь, это сани. Нътъ, это статья «Библіотеки для Чтенія», получившая видъ саней, покрытыхъ медвѣжьею полостью, съ богатыми серебряными кистями. Вся эта бронза, этоть коверь, этоть лакь, чистый и опрятный—все это листы этой дорого заплаченной статьи, принявшіе разные виды саннаго изділія. Литераторъ хочеть дать объдъ, и жалуется, что у него ивть денегь. Ему говорять: напиши повъсть и пошли въ «Библіотеку», вотъ и объдъ.

«Вызови на страшний судъ того писателя, котораго первый романъ, внушенный вдохновеніемъ честнымъ й приготовленный долгимъ трудомъ, завоеваль вниманіе публики! Спроси совъеть его о второмъ, о третьемъ, о четвертомъ его романѣ: вслъдствіе чего они ленлись? Не насильно-ли онъ выпросилъ ихъ у непокорнаго вдохновенія, у невнимательной исторія? Не отразился-ли онъ всѣмъ напряженіемъ селъ своихъ противъ условій музи, чтобы только воспользоваться свѣжестью перваго успѣха? Его насильственное третъе и четвертое вдохновеніе не было-ли плодомъ того безотчетнаго, но сладкаго чувства, что романъ теперь самая върная спекуляція?»

Противъ подобныхъ сътованій и опасеній выступиль въ "Телескопъ" молодой, только-что начинавшій тогда писатель, студентъ, исключенный изъ университета за слабость способностей и нерадъніе, и разбиль ученаго профессора слъдующими словами:

«Но что-же этимъ хотёль сказать почтенный критикъ? Не противоръчитъ-ли онъ самому себъ? Теперь наши литераторы въ чести, живуть своимъ ремесломъ, а не посторонними и чуждыми ихъ призванию трудами: это прекрасно, это должно радовать. Теперь таланть есть богатое наслъдство. онъ уже не ропшеть на несправедливость судьбы, онъ уже не завидуеть праву знатнаго происхожденін, доставляющаго всё выгоды, всё блага жизни: это утешительно, это отрадно Но полно, правда-ли, что наша литература даеть объды, живеть въ чертогахъ, ходитъ по коврамъ, вздить въ каретахъ, въ даковыхъ санихъ, кутается въ медвъжью шубу, въ бекешъ съ бобровымъ воротникомъ, возвышаетъ го-мосъ на аукціонахъ опекунскаго совъта, покупаетъ имънія... Нътъ-ли въ этихъ словахъ преувеличенія, типерболь? Не слишкомъ-ли далеко увлекся авторъ въ своемъ благородномъ негодовании? Или не смъшиваеть-ли онъ вещей, ложно принимая одну за другую? Правда, намъ извъстны два или три ро-

маниста, которые обезпечили на всю жизнь свое состояніе своими первыми романами, но это было еще до основанія «Библіотеки»; за что-же взволить на нее небывалыя ваны, когда у ней бывалыхъ много? «Иванъ Выжигинъ» явился въ то время, когда еще наша литература не была торговлей, когда она была во всемъ цвъту своемъ. Вслъдъ за «Иваномъ Выжигинымъ» появились «Юрій Милославскій», «Лмитрій Самозванець», «Рославлевь», «Последній Новикь»; «Библіотека» явилась уже после нехъ. Повъстями-же и журнальными статьями, даже при усиленной деятельности, можно только жить кое-какъ, но объ обезпечении своего состоянія нельзя и думать. Спрашиваю г. Шевырева: изъ участвующихъ въ «Библіотекъ» помъстиль-ии хотя кто-нибудь болье двухъ или трехъ статей въ годъ?.. А на три статьи, какъ-бы онь дороги ни были, право, не наживешь чертоговъ, не заведешь кареты, много развъ купишь сани, да безъ лошадей на нихъ далеко не увдешь... Гдв-жь логика, гдв справедливость? Странное дело, какъ сильно овладела Шевыревымъ ложная мысль, что въ нашъ въкъ поэты и литераторы превратились въ какихъ-то великихъ моголовъ!?. Нъть, г. критикъ, будемъ радоваться отъ искреннаго сердца тому, что теперь талантъ и трудолюбіе дають (хотя и не всёмъ) честный кусокъ хлѣба!.. И въ этомъ отношенія «Библіотека для Чтенія» заслуживаеть благодарность, а не упрекъ. Но вы видите въ этомъ вредъ для успѣховъ литературы; вы говорите, что наши вторые романы бывають какъто хуже первыхъ, третън хуже вторыхъ, что наши повъсти водяны, періоды длинны, обременены безъ нужды эпитетами, глаголами, дополненіями: все это правда, во всемъ этомъ я согласенъ съ вами, но вы ошибаетесь въ причинъ этого явленія. Вспомните, что каждый стихъ Пушкина обходился книгопродавцамъ въ красненькую, если не больше, а въдь стихи Пушкина отъ этого нисколько не стали хуже; вспомните, что за «Пиковую даму» и «Княжну Мими» «Библіотека» заплатила деньгами, ассигнаціями, а вы сами хвалите эти повъсти. Воть вамъ самый простой и убъдительный факть. Онъ доказываеть, что истинний таланть не убивають деньги, что

> Не продается сочиненье, Но можно рукопись продаты!»

Подобныя слова, исполненныя простого здраваго смысла, были неслыханнымъ явленіемъ въ то время. И замъчательно, что эти слова высказалъ человъть, принадлажавшій еще въ то время самъ къ школѣ Шевырева, романтикъ, идеалисть, эстетикъ. Что-же это былъ за человъть, который, при всемъ своемъ романтизмѣ, такъ просто и здраво могъ глядъть на-вещи и такъ реально понимать ихъ значеніе? Это былъ Бълинскій. А въ чемъ заключались особенности этого человъка, которыя во многихъ отношеніяхъ выдълиен его надъ окружающими его людьми и сдѣлали его столь знаменитымъ въ исторіи нашей литературы—это мы увидимъ въ слѣдующихъ главахъ.

VII.

Преобладающіе типы молодежи тридцатыхъ годовъ и ихъ соотвътствіе со ередой умственнаго движенія. —Карамзинская сентиментальность, воскресшан подъ видомь романтическаго прекраснодушій. —Кружокъ Станкевича. — Прекраснодушій его членовъ, заементи развитіи и симпатіи кружка. — Дѣтство Бѣлинскаго. —Обстановка жизни его въ Москвѣ. — Его личния особенности сравнительно съ прочими членами кружка. —Страсть Бѣлинскаго къ полемикъ и недовольство этамъ Станкевича. — Ватляды

Вълинскаго въ первый періодъ его дъятельноста (1834—1836). — Вліяніе на Бълинскаго шеллингистовъ и Н. А. Полевого. — Съвтями и темныя стороны литературной дъятельностя Бълинскаго въ этотъ періодъ. — Его общественные взгляды; французоъдство и германофильство. — Теорія непроизвольнаго творчества и отличіе ея отъ теоріи чистаго искусства. — Мысли Бълинскаго о различіи поззіи реальной отъ идеальной. — Еще нъсколько словь о спорт Бълинскаго съ Шевиревымъ по поводу статьи «Литературная торговля». — Общія заключенія о первомъ періодъ дъятельности Бълинскаго.

Въ третьей главъ мы имъли случай замътить, что съ передвижениемъ центра умственнаго движения изъ великосвътскихъ круговъ въ среду несановитато дверянства, должны были измъниться и правственные идеалы, которые зависятъ не отъ одного только чисто логическаго процесса умственнаго развити, по имъютъ тлубокое соотвътствие съ условиями быта среды, въ которой совершается умственное движение.

Казалось бы, что, следуя хронологическому порядку, мы должны были-бы отъ Евгенія Онбігина перейти немедленно къ Печорину и начать разбирать его, какъ идеальный типъ, преобладавшій въ тридцатые годы, на томъ основаніи, что Лермонтовь назваль Печорина героемъ своего времени, современники-же его не возражали противъ этого и на Печорина смотрели, дъйствительно, какъ на любимаго своего

героя.

Но если мы будемъ анализировать минувшую жизнь не по однимъ поэтическимъ произведеніямъ, а обратимъ внимание на дъйствительные факты разбираемой намъ эпохи, то при этомъ насъ должно поразить слѣдующее явленіе: мы увидимъ, что въ-30-е и 40-е годы действительно было не мало Печориныхъ. Но все они были явленіемъ далеко не новымъ, они повторяли зады, воплощая въ себѣ идеалъ, хорошо извѣстный русскому обществу уже въ двадцатые годы. Въ то-же самое время вовсе не они стояли во главъ умственнаго движенія своей эпохи, не они двигали русскую мысль. Истинные-же герои своего времени, представители умственнаго движенія сороковыхъ годовъ, смотрели на Печориныхъ только со стороны; они по своему анализировали этотъ типъ, восхищались имъ, по свойственному романтикамъ обыкновению любоваться всемъ картинно и эффектно выдающимся, но сами въ то-же время были представителями иного тина, нисколько не похожаго на печоринскій.

Причина такого явленія заключается въ томъ, что всякаго рода хищные типы производятся не иначе, какъ при следующихъ двухъ условіяхъ жизни: или подъ условіемъ жизни, до последней степени подавленной, лишенной всякихъ человъческихъ правъ, ежеминутно оскорбляющей человъка и доводящей его, наконецъ, до крайняго озлобленія и ожесточенія, или-же напротивъ того, подъ условіемъ привычки къ необузданому произволу, сознанія безусловной высоты и силы надъ всемъ окружающимъ. Естественно, что въ то время, какъ хищные типы первой категоріи, т. е. озлобленные, преобладають въ низшихъ, угнетенныхъ слояхъ общества, типы второго разряда-избалованные и пресыщенные, напротивъ того, нигдъ не встречають такой удобной почвы для своего развитія, какъ въ великосвътскомъ кругъ, въ высшихъ, при-

виллегированных классах общества. Не даром пъвець этихъ тиновъ, лордъ Байронъ, былъ представителемъ самой могущественнъйшей и богатъйшей аристократіи въ Европъ. Наше высшее дворянство хотя и никогда не соотвётствовало англійскому лордству, не имъя ни той свободы, ни тъхъ правъзи могущества, которыя придавали бы титаническій видъ самой ничтожной посредственности, а мало-мальски талантливой личности предоставляли неограниченный просторъ для какого хотите широкаго разгула личной воли и фантазін; но, во всякомъ случав, оно было и свободнье, и независимые всыхы другихы слоевы общества. За неимъніемъ могущества, основаннаго на правахъ, оно обладало могуществомъ привиллегій, богатствъ и связей, что ставило его, во всякомъ случат, на неизмърммую высоту передъ рабски приниженною, угнетенною, безсильною толпой. Присоедините къ тому обанню, какое производить на неразвитыхъ людей богатотво, соединенное съ титуломъ, еще большее обаяніе свътскаго лоска и утонченности, и прибавьте къ этому острый тонкій умъ, исполненный скептической ироніи подъ вліяніемъ идей XVIII вѣка, — и передъ вами самъ собою обрисуется всепебъждающій демоническій типъ, напоминающій байроновскихъ героевъ, властитель думъ и сердецъ нашихъ бабушекъ. Да и впослъдстви, въ 30-е, 40-е годы, столичный высшій свёть, некогда представитель образованности въ Россіи, хотя и оскудълъ умственно, тамъ не менве, продолжалъ еще по старой традиціи (для весьма многихъ и до сихъ поръ продолжаеть) сохранять такое обаяніе, что стоило маломальски светскому человеку изъ. столицы появиться въ провинціи, и онъ тотчасъ-же дълался всеобщимъ кумиромъ провинціальнаго общества, предметомъ обожанія со стороны женщинъ и поневоль делался всепобъждающимъ героемъ, хотя-бы по своей натуръ не заключалъ въ себъ ничего титаническаго и хищническаго. Вспомните только того весьма обыденнаго князя, который волей-неволей разыграль роль Печорина въ повъсти Тургенева: "Дневникъ лишняго человека", отбивши у героя героиню ничемъ инымъ, какъ только обаяніемъ своего титула, несмотря на всъ усилія со стороны героя увлечь героиню чтеніемъ русскихъ поэтовъ и эстетикой.

Въ то время, какъ светское общество создавало, такимъ образомъ, хищные типы въ силу одного уже того обаянія, какое оно производило на простыхъ смертныхъ, почва несановитаго, заходустнаго дворянства средней руки была самою неплодородною почвой для печоринства и производила типы совершенно иного рода. Представьте себф жизнь обезпеченную, довольную, сытую до нельзя, и въ то же время совершенно замкнутую въ узкомъ круге семейно-патріархальныхъ отношеній и медкихъ матеріальныхъ заботъ. Везмолвная тишина полей и лесовъ, мирные патріархальные уголки тенистыхъ усадебъ, спрятанныхъ какъ будто отъ всего міра и всеми забытыхъ-все въ этой жизни располагало скорве къ лени, сну, маниловски-сладенькой мечтательности и буколически-сентиментальной созерцательности, чёмъ къ хищной печоринской жажд'в преобладанія и разрушенія. Юнымъ героемъ этого соннаго парства являлся до-нельзя откормлен-

ный Митрофанушка или Ильюша Обломовъ, счастливый, довольный баловень всёхъ домочадцевъ, окруженный целою толпой нянюшекъ, мамушекъ, дядекъ, лакеевъ, горничныхъ, которые безъ замедленія исполняють всё его прихоти, одёвають, обувають, кормять, поять и спать укладывають. Папенька прочить своего возлюбленнаго непременно въ дипломаты, маменька мечтаетъ о гусарскомъ мундиръ, гости наперерывъ предугадывають въ мальчикъ будущаго генія, а Митрофанушка ни о чемъ не думаетъ, бъгаетъ по лъсамъ и лугамъ, охотится, удитъ и питается. Таково было дітство большинства передовыхъ людей сороковыхъ годовъ. Такъ, напримеръ, въ біографіи Станкевича мы читаемъ: "это быль мальчикъ веселый, здоровый и необычайно-ръзвый; деревенскій просторъ и относительная свобода, данная ребенку отдомъ его, развили въ немъ ръзвость до того, что онъ сдълалс: для своих в нянюшекъ, дядекъ и даже для посттителей дема ночти темъ, что французы называють "епfant terrible". Далве біографъ разсказываеть, какой характеръ имели шалости этого деревенского "enfant terrible".

«Разсказывають, что, стоя однажды на балконъ деревенскаго дома, онъ увидълъ внизу отца, который разговариваль на крыльцѣ съ почтеннымъ купцомъ, обладавшимъ лысиной необыкновеннаго размъра; лысина эта тотчасъ же привлекла вниманіе молодаго Станкевича, и онъ никакъ не могь воспротивиться искушению плюнуть на нее сверху, что и исполниль къ ужасу купца и къ совершенному недоумению родныхъ. Въ другой разъ резвость Станкевича была причиной пожара, истребившаго до тла отцовскую деревню, ту Удеревку, которая такъ часто приводется въ его перепискъ. Будучи семи лътъ, онъ досталь где-то ружье, пробрадся на чердакъ дома и выстръдиль въ кровлю. Кровля загорелась, и вскоръ вътеръ разнесъ плами по всей деревиъ. Цілый день не могли отыскать мальчика: онъ убъжаль въ соседнюю рощу и собирался тамъ расположиться на житье, какъ дикій человікъ».

🧎 Между тыпы какы Станкевичы, выкидывая такіе нодвиги, проводиль дни и недели на охоте и дома даже постоянно пребываль въ обществъ лягавыхъ собакъ, другая знаменитость того времени-Грановскій "любиль строить и брать крипости, предводительствуя строемъ своихъ сверстниковъ, былъ охотникъ добывать птицъ изъ гифадъ на высокихъ деревыяхъ, ловить голубей. Петушій бой быль эрелилищемъ, за которымъ ребенокъ следилъ съ страстнымъ увлечениемъ".

«Т. Н. Грановскій въ зріломъ возрасть любиль припоминать ть обстоятельства, которыя выказывали некрасивия черты его ребяческаго характера. Такъ онъ разсказывать, что у родителей его была служанка еварливая и часто бившая дочь свою Агану, на куклы которой онъ посматриваль не безъ зависти. Вотъ, баринъ, говорила ему Агаша, когда мать забыеты меня до смерти, вамы достанутся мои куклы, и онъ нетеривливо ждаль и думаль: когда же мать забьеть Агашу и когда достанутся ему ен куклы? Однажды съ толпой крестьянскихъ мальчиковъ онъ осаждаль устроенную ими кръпость. Онъ карабкался по лестниць, когда одинъ изъ мальчиковъ отдернулъ ее, и онъ, свалившись на землю, ушибся такъ, что болълъ довольно долго послѣ этой осады. Онъ никому не открываль причины своего ушиба, но умъль извлекать для себя пользу изъ случившагося; онъ обращался къ виновнику своей бользни съ требованіями различныхъ услугь, добываль черезь него лакомства, заставляль его исполнять всё свои желанія, зная, что тоть не могь отказать ему ни въ чемъ изъ опасе-

нія открытія его вины».

Мы представляемъ эти весьма непривлекательные факты дітства двухь знаменитостей сороковыхь годовъ, имъя въ виду лишь наглядно показать читателю, каково было воспитание въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ въ усадьбахъ нашихъ несановитыхъ помъщиковъ. И мы видимъ, что воспитание это не подвинулось особенно далеко послѣ фонвизинскаго времени; по прежнему оно лишено было всякихъ гуманныхъ началъ и ограничивалось однимъ кормленіемъ. Подъ вліяніемъ такого воспитанія, человекъ, вступая въ отроческій возрасть, когда впервые пробуждается мысль, когда чувство и воображение начинають усиленно действовать, впадаль въ такъ-называемое прекраснодушіе: все, что окружало его, представлялось ему въ розовомъ цвътъ, люди все такіе, добрые, ласковые, любезные, природа такъ упоительна, все бы любовался ею; настоящее такъ весело и полно, будущее такъ свътло и радужно... "Гдъ же зло на землъ?" думалъ юноща, и оно казалось ему где-то далеко за горами, въ видъ чудовищъ, отъ которыхъ юношу тщательно охраняетъ мудрое и благомыслящее правительство и благоустройство образованнаго гражданскаго общества. Даже все то, что вовсе не пахло такимъ благоустройствомъ, юноша умълъ обратить въ хорошую сторону и смотрель одинаково светлымъ взглядомъ на самыя мрачныя черты окружавшей его жизни. Если онъ слышаль вдали стоны и вопли наказываемыхъ въ конюшит крестьянъ и дворовыхъ, ему тотчасъ же представлялся образъ строгаго, но милостиваго до ангельской доброты родителя, который умъетъ карать, но умъетъ и миловать и который своею строгостью приносить пользу этимъ людямъ; иначе они погибли бы. Если родитель по целымъ ночамъ играль въ карты, проигрывая деревню за деревней, то въ глазахъ юноши онъ развлекался на досугѣ отъ своихъ хозяйственныхъ заботъ и трудовъ въ нотъ лица. За этимъ первымъ періодомъ безусловнаго прекраснодушія, следоваль второй періодъ прекраснодупрія сентиментально-эстетическаго. Въ этомъ період'я юноша представляль себв уже эло не за горами, а находиль его вокругь себя, но подъ вліяніемъ окружающей его среды и условій быта онъ составляль своеобразныя понятія о различіи добра отъ зла. Съ одной стороны, передъ нимъ былъ міръ изящно-утонченныхъ манеръ, изысканной дюбезности, тонкаго эстетическаго вкуса и сентиментально-нёжныхъ чувствъ, однимъ словомъ, ароматный міръ салоновъ, бальныхъ залъ и будуаровъ; съ другой стороны, - грубый неотесанный, утонающій въ невѣжествѣ и буянствѣ міръ непросвъщенной толпы и черни. Основывая все свое міросозерцаніе на развитіи чувства изящнаго въ отпъльныхъ личностяхъ, юноща все подводилъ подъ эту формулу индивидуализма: если мужикъ пьянствовалъ и бидъ жену, то это дедаль онъ не потому, что былъ озлобленъ, раздраженъ, доведенъ до звърства, подъ вліяніемъ нищеты и угнетенія, а отъ того, что въ мужикт не развито техъ эстетическихъ и гуманныхъ чувствъ, которыми преисполненъ дядюшка Кузьма

Андреичъ; если же этотъ гуманный дядюшка и заушаль иногда своего лакея Прошку, то это онъ дълаль только въ минуты вспыльчивости, какъ отступленіе оть своихъ гуманныхъ правиль; къ тому-же, Прошка хоть кого могъ вывести изъ терифиія и заставить забыть все на свете. Если медкій чиновникъ брадъ взятку, то, опять-таки, это происходило не отъ чего инаго, какъ отъ того, что у него недоставало эстетическаго развитія, что у него не было такихъ высокихъ, прекрасныхъ идеаловъ, которые показали бы ейу все нравственное ничтожество его поступковъ. Точно также и среди помъщиковъ, конечно, вывелись бы зверскіе типы истязателей своихъ крепостныхъ, еслибы во всёхъ равно было развито чувство изящнаго (но при этомъ, опять-таки, папенька и дяденька тщательно выгораживались, и эстетическое чувство допускало имъ посъкать иногда крестьянъ ради острастки или строгости, необходимой съ людьми, лишенными всякихъ человъческихъ понятій).

Въ періодъ такого прекраснодущія, особенно подъ вдіяніемъ всеобщаго удивленія относительно геніальности мальчика и возлаганія на него блестящихъ надеждъ, у юноши начинали уже въ головъ мелькать неясныя, но грандіозныя мечтанія о томъ, какъ современемъ онъ сделается великимъ человекомъ и всю свою жизнь посвятить на пользу отечества на военной, государственной служов или на поприщв науки, искусства. Но въ то время, какъ эти мечтанія въ самыхъ общихъ и весьма неопределенныхъ чертахъ рисовались въ воображени юнощи, на первомъ планъ стояла у него жизнь чисто внутренняя, созерцательная жизнь, въ которой чувство и воображение не имъли никакихъ предбловъ и преобладали надо всемъ. Увлекаясь, по старой традицін, идеалами Карамзина и Жуковскаго, а при знаніи немецкаго языка, зачитываясь Шиллеромъ, юноша высшій нравственный идеаль свой подагаль въ развитии той сентиментальной чувствительности, которая должна была непременно возбуждаться при всякомъ маловажномъ случа. Б. Главными проявленіями такой чувствительности считались наслаждение природой, дружба и любовь. Въ силу этого юноша старался непременно проливать слезы, гляня на закать солнца или увяданіе дистьевъ осенью; онъ выбираль себъ среди своихъ товарищей и сверстниковъ особенное существо, такъ называемаго друга, въ которомъ находилъ симпатію его души со своею, и окружаль особеннымь обожаніемь, о которомъ въ наше прозаическое время трудно себъ составить понятіе.

«Я вызываль симпатію, товоримь одинь изъ передовых людей сороковых годовь въ воспоминаниях объ этомь періодё своего развитія—потому что не было мёста въ одной груди вмёстить все, волновавшее ее. Мий надобна была другая дула, которой я. могъ бы высказать свою тайну; мий надобны были глава, поличе любви и слеть, котором были бы устремлены на меня; мий надобень быль другь, къ которому я могъ-бы броситься въ объятия и въ объягиях котороло мий было бы просторно, вольно»...

При такихъ представленіяхъ дружбы, естественно, что стоило другу отлучиться на время въ сосъдній городь, и тотчасъ-же проливались горькія слезы разлуки, міръ пустьлъ, жизнь становилась несносною,

постылою, и юноша бродиль въ тоскъ, уныло повъся голову. Если-же другъ долго не писалъ, то начинались новыя мученія.

«Другъ!—восклицаеть Станкевичь въ одномъ изъ своихъ писемъ Н—ву—благодарю Бога, который сохраниль тебя мей! О, еслиби ты вналь, что волновало меня! Получавнии отъ тебя всегда письма почти каждую недблю, вдругъ не получать почти мъсящъ, знать, что больнъ, подовръвать Богь внаеть что! Я болкси писать къ тебъ; боляси, что лицо, которому я повърю мои чувства... одинъ призракъ, одно имя! Ты можещь представить мое положеніе. Вчера приходилъ ко мить твой Гаврило: я не могъ его видеть; сказаль ему: горе, готовъ былъ ревъть. Посламъ Ивана къ Мех... не получаль-ли онъ какого извъстія? Нътъ».

Но еще болье занимали сердпе юноши мечтанія о любви. Въ любви юноща полагаль всю сущность своего существованія, альфу й омегу жизни, и любовь грезилась юношь не иначе, какъ въ раздирательномъ

и ужасновъ видъ.

«Другь!—восклицаеть Станкевичь въ одномъ изъ писемъ къ тому-же Н-ву-я хотвять би одной бури. Пусть я останусь въ тъхъ отношенияхъ, въ ка-кихъ теперь, но я хотвять би перемвни въ душъ, хотвять би мобви, кобви грозной, палящей Пускай бы опустопительный огонь ея прошель по всему ничтожному битю моему, разрушиль слабыя увы, которыми оно опутано, испепелиль томительное горе и разсвиль безпокойные призраки, блуждающе во мракъ душевномъ. Я бы воскресъ, я бы ожилы Еслибы эта любовь была самая несчастная... Кажется, все я быль бы лучше. Но да будеть воля Божьи. Можеть быть, я не постигаю бъдствій такой любян!».

Представляя себъ дюбовь въ такомъ ужасномъ видъ-чемъ-то въ роде губительной эпидеміи, готовой опустопилельнымъ огнемъ разрушить слабыя узы бытія, юноша, между тімь, только о томь и думаль, какъ-бы поскорве испытать подобный всеразрушающій недугь, ежедневно ожидая роковой встрічи: "Смѣшно, а правда, — говоритъ Станкевичъ въ одномъ изъ писемъ-съ детства привыкъ я на бале ожидать сверхъестественнаго; какой-то важной катастрофы въ жизни-думаешь случайно встретиться съ единственнымъ созданиемъ, которое совершенно наполнитъ душу!" Въ ожиданіи такой встрічи, юноша создаваль въ головъ своей идеалъ женщины, облекая его въ такія радужныя краски, что въ действительности, конечно, онъ ничего не могъ найти подобнаго. "Но какой прекрасный призракъ въ душѣ!--восклицаетъ Станкевичь, -- все, что міръ представляль миж светлаго, божественнаго, сосредоточилось въ этомъ призракъ. Прототипъ женщины основался въ сердиъ моемъ, идеаль невольно составился, но я не думаю искать его; эта несчастная привычка фантазировать о совершенствъ . При такомъ идеальномъ представлении женщины, юноша или воплощаль свой идеаль въ первую встречную женщину и потомъ горько разочаровывался, или-же пренебрегалъ сочувствіемъ дівушки, которая сама по себѣ была достойна глубокой и страстной любви, но имъла только несчастіе не соотвътствовать вполив слишкомъ ужь требовательному идеалу юноши.

Въ прекраснодушін подобнаго рода у насъпривыкли многіе видіть всю сущность романтизма и представляють себі романтика неиначе, какъ въ виді Александра Адуева гончаровскаго романа, этой пародін на пре-

краснодушное юношество. Но, въ сущности, прекраснодушіе далеко не исчерпываетъ собою всего романтическаго развитія; оно составляеть одну только фазу его, за которою следуеть тотъ періодъ борьбы и раздвоенности, въ которомъ заключается высшая точка развитія романтическаго броженія и начало исхода изъ него. Періодъ прекраснодущія начался въ нашемъ обществъ со временъ Карамзина и Жуковскаго, которые до съдыхъ волосъ остались представителями плаксивой сентиментальности и ребяческой экзальтаціи. Лучшимъ представителямъ умственнаго движенія александровскаго періода удавалось выходить изъ прекраснодушія, и многіе въ 20-е годы находились уже въ період'в раздвоенности, котя, при скудости умственныхъ средствъ, и не имъли силы выбиться изъ этого періода, вращаясь, какъ белки въ колесе, между скептицизмомъ и мистицизмомъ. Но огромная масса общества, особенно провинціальнаго, при всемъ преобладанін въ 20-е годы байроновских и оппозиціонных в идеаловъ, продолжала еще пребывать на степени прекраснодушія чисто карамзинскаго-вотъ почему, едва только передовое поколение александровской эпохи сошло съ поприща, эта масса снова воскресила давно, повидимому, забытыя слезы, вздохи и ахи Карамзина. Различіе между сентиментализмомъ конца прошлаго стольтія и 30-хъ годовъ заключалось только въ томъ, что вижсто прежней безсодержательной сентиментальности Агатоновъ и Эрастовъ, не идущихъ далее самоуслажденія своею чувствительностью — подъ вліяніемъ эстетически-художественнаго развитія въ періодъ Пушкина и романтическихъ идеаловъ на Западѣ явились новыя формы сентиментализма, въ виде прекраснодушныхъ художниковъ и поэтовъ, непонимаемыхъ толпой, прозрачно-свётлыхъ и чистыхъ натуръ не отъ міра сего, гибнущихъ отъ одного прикосновенія къ нимъ грязной и грубой провы, и всякаго рода небесныхъ созданій и оскорбленныхъ невинностей. Эти кроткіе, смиренко-плаксивые типы были совершенною противоположностью прежнимъ гордымъ и демоническимъ героямъ въ байроновскомъ духѣ и вполнъ соотвътствовали захолустному патріархальному, идиллическому быту провинціальныхъ юношей, вздельянныхъ въ помъщичьихъ усадьбахъ нянюшками и мамушками на булочкахъ и сдивочкахъ, въ тишинъ дъсовъ и полей. Еще большую противоположность свътскимъ героямъ представляли юноши, вышедшіе изъ обдныхъ слоевъ общества, изъ среды мелкаго чиновничества и духовенства. Они не успали еще выработать своихъ собственныхъ идеаловъ, соотвътствующихъ ихъ быту, но прекраснодушные идеалы усадебныхъ юношей, конечно, были гораздо ближе, сподручнъе и доступнъе имъ, чъмъ свътские идеалы Лермонтова. Проживая на холодныхъ чердачкахъ грошовыми урочками, подъ вліяніемъ, а иногда и подъ покровительствомъ своихъ богатыхъ товарищей, скромные, робкіе, застычиво-неловкіе, не только не спышили они увлекаться печоринствомъ, но, напротивъ того, поставляли своимъ идеаломъ-бѣжать отъ "хладныхъ объятій обманчиваго свъта", уединялись въ тъсные студенческие кружки такихъ-же мечтателей, какъ и они, и въ тиши уединенія сосредоточивались въ себя, то униваясь художественною соверцательностью пре-

красныхъ возвышенныхъ идеаловъ, то терзаясь муками недостижимости последнихъ "Изъ такихъ провинціальныхъ элементовъ состоять въ началь 30-хъ годовъ небольшой кружокъ студентовъ филологическаго факультета въ Москвъ, заключавшій въ себъ Станкевича, Вълинскаго, Константина Аксакова, "Каткова, Клюшникова, Красова и др.

Чтобы болже наглядно и полно познакомить читателей съ духомъ и характеромъ этого кружка, мы приведемъ нъсколько свидътельствъ современниковъ относительно того крайняго прекраснодушія, которымъ

быль преисполнень этоть кружокъ.

§Воть какъ характеризуеть, напримъръ, біографъ Станкевича, Красова—поэта, стихотворенія котораго пользовались извъстностью въ 40-е годы:

«Жизнь этого человъка могла бы составить содержаніе весьма поучительнаго разсказа. Онъ весь быль воодушевленіе, но, къ сожальнію, часто безь дъйствительныхъ серьезныхъ поводовъ къ тому. Восторженное состояние, въ которомъ онъ находился постоянно, принималось тогда за коренное свойство его поэтической натуры, хотя скорбе это было дёло фантазіи, бользненно развитой насчеть всьхь другихъ душевныхъ силъ. Онъ поминутно встрачалъ необыкновенныя созданія. Не останавливаясь долго на разборъ, въ каждомъ переулкъ, гдъ поселялся, встрачаль онъ чудныя существа и необычайныя происшествія, о которыхъ потомъ и разсказываль со всёми невольными прикрасами возбужденнаго воображенія. Самъ онъ объяснялся съ находками своими чрезвычайно восторженно, и одна изъ тожь илубоких патурь, которыя все понимають, послё поэтическаго монолога Красова съ недоумъніемъ спрашивала Станкевича: почему нельзя понять ни одного слова въ разговоръ его друга? Ко всему этому присоединялись у нашего поэта юношеская горячность въ привязанностяхъ, совершенивищая безпечность въ жизни и неизмънная доброта сердца. По выходъ изъ университета, онъжиль бъдно, ничего не дълаль для поправленія своего положенія, цълый день пребываль въ мечтахъ и зимой спасался отъ холода подъ одъядомъ своей постели, гдъ снова фантазироваль и писаль стихи. Подобныя искреннія, дітски-открытыя натуры всегда вызывають симпатіи окружающихь, и Станкевичь, часто дававшій волю юмору своему насчеть прінтеля, любиль его, однакожь, какъ любять существо, живу щее по своимъ особеннымъ, почти исключительнымъ законамъ. Одно время онъ бралъ у него уроки въ датинскомъ и греческомъ языкахъ, такъ какъ Кра-совъ поступилъ въ университетъ изъ семинаріи и вналь языки эти довольно основательно. Нѣсколько поздиве, тщетныя усилія Станкевича вызвать пріятеля изъ праздности и обратить къ какому-либо труду, ослабили нъсколько чувство, связывавшее ихъ, особенно когда Станкевичъ замътилъ еще и признаки и которой претензіи въ фантазіяхъ Красова, что неминуемо должно было случиться рано или поздно. Воодушевленіе, какъ и все другое на свъть, имъеть свои предълы, за которыми уже лвляется насилование его и ложная, непріятная под-ставка придуманнаго ощущенія. Чувство Станкевича, однакожь, не истребилось совсёмь, и мы знаемь, что онъ еще съ любовью вспоминалъ о старомъ своемъ другъ въ Берлинъ... По отъвздъ Станкевича въ Берлинъ, Красовъ получилъ мъсто въ Кіевъ, но не ужился тамъ и возвратился въ Москву съ какимъто обозомъ, въ одной плохой шинелькъ и питаясь чернымъ хаббомъ. Здёсь получиль онъ мёсто преподавателя, безпрестанно отгадывая множество будущихъ талантовъ и геніевъ въ своихъ ученикахъ, наконедъ, женился и недавно (т.-е. около 1857 г.) умерь въ больницъ, оставивъ послъ себя довольно многочисленное семейство».

Въ то время, какъ Красовъ олицетворяль такимъ образомъ прекраснодуще, возросшее на почвѣ пролетаріата, совершенно въ другомъ родѣ и духѣ представляется передъ нами прекраснодуще его товарища,

Константина Аксакова:

«Константинь Аксаковь—говорить И. Панаевь въ своихъ литературнихъ воспоминаніяхъ—въ житейскомъ, практическомъ смыслѣ оставался до сорока слищкомъ лѣть, то-есть, до самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ безаботно всю жизнь провелъ подъ домашнимъ кровомъ и приросъ къ нему, какъ улитка въ раковинѣ, не понимая возможности самостоятельной, отдълной жизни, безъ подпоры семейства. Виѣ своихъ ученыхъ и литературныхъ занитій, онъ не имѣлъ никакого общественнаго положенія. Смерть отца вдругъ сломила его несоврушимое здоровье. Онъ не могъ пережить этой потери и перемѣны, и умеръ не только холостякомъ, даже дѣвственникомъ».

К. Аксаковъ, въ то время, какъ принадлежалъ къ кружку Станкевича, не былъ еще такимъ крайнимъ славянофиломъ, какимъ онъ прославился впослъдствіи, но и тогда уже въ немъ обнаруживалась наконность къ славянофильству, которая, чуждая еще всякихъ философскихъ основаній, ограничивалась ребяческою привязанностью къ Москев и столь-же ребяческою ненавистью къ Петербургу, причемъ и любовь, и ненависть были основаны на художественной созерцательности вполив прекраснодущнаго свойства. Вотъ какъ описмваетъ И. Панаевъ одну свою прогулку съ К. Аксаковымъ по Москев:

«Мы лежали на травѣ безъ сюртуковъ. Дневной жаръ начиналъ спадать понемногу. Легкій вечерній вѣтерокъ пріятно освѣжаль насъ. Закать быль великолѣпный.

— Есть-ии на свътъ другой городъ—говорилъ миъ Константинъ Аксаковъ—въ которомъ бы можно было расположиться такъ просто и свободно, какъ мы теперь?... Далеко-ии мы отъ центра города, а между тъмъ, мы здъсь какъ будто въ деревиъ. Посмотрите, какъ красиво разбросаны эти домики въ зелени на горъ. Въ Москвъ вы найдете множество такихъ уединеннихъ и живописныхъ уголковъ, даже въ нъсколькихъ шагахъ отъ центра города... Вотъ въдь чъмъ хороша Москва! И не понимаю, какъ можно житъ въ вашемъ холодномъ, гранитномъ Петербургъ, вытинутомъ въ струнку?... Интъ, оставайтесь у насъ; у васъ русское сердце, а русское сердце, легко можетъ битъси только здъсъ, среди этого простора, среди этихъ историческихъ мамяниковъ на каждомъ шагуъ... Какъ не любятъ Москву!... Сколько жертвъ принесла она для Россіи!...

«Аксаковъ постепенно одущевлялся, и заговоря объ этихъ жергвахъ, вскочить съ земли; глазки его сверкали, рука сжималась въ кулакъ, голосъ его дълался все звучите...

— Пора намъ сознать нашу національность, а сознать ее можно тложко здёсь; пора сблизиться намъ съ нашимъ народомъ, а для этого надо сначала сбросить съ себя эти глупыя, кургузыя нёмецків платья, которыя раздѣляють насъ съ народомъ (и при этомъ Аксаковъ наклонися къ землѣ, подняль свой сюртукъ и преврительно отбросилъ его отъ себя). Петръ, отрывая насъ отъ нашей національности, заставляль брить бородкі мы должны теперь отпускать ихъ, возвращанов къ ней... Такъ-то, Иванъ Ивановичь! сказаль Аксаковъ въ заключенів, кладя свою широкую задопь на плечо мое, когда я приподнялся съ травы:—бросьте Цетербургъ, переселитесь къ намъ... Мы славно зажывемъ здёсь. Не шутя, подумайте объ этомъ...

«Онъ натянуль на себя узкій німецкій сюртукь, который дійствительно какъ-то неловко сиділь на

его коренастой фигурь, и мы отправились домой, когда уже солице совствы стло».

Курьезите всего проивлялось прекраснодушие К. Аксакова во времи его потадки за границу. Воть какой анекдоть весьма характеристическаго свойства разсказываеть о немь И. Панаевъ:

«На углу одной изъ берлинскихъ улицъ, Аксаковъ замѣтилъ дѣвочку лѣтъ 17-ти; продававшую что-то. Дѣвушка эта ему понравилась. Она всякій день являдась на свое привичное мѣсто и окъ иѣсколько разъ въ день проходилъ мимо нея, не рѣшаясь, однако, заговорить съ нею... Однажды (дней черезъ девять послѣ того, какъ онъ въ первый разъ замѣтилъ ее) онъ рѣшился заговорить съ нею.

«Послѣ нѣсколькихъ несвязныхъ словъ, произнесенныхъ дрожащимъ голосомъ, онъ спросить ее, знаетъ-ли она Шиллера, читала-ли она его? Дѣвушка очень удивилась этому вопросу.

— Нѣть, отвѣчала она:—я не знаю, о чемъ вы говорите; а не угодно-ли вамъ чего-нибудь купить у меня? «Аксаковъ купить какую-то бездѣлушку и началь

«Аксаковъ купиль какую-то бездёмушку и началь толковать ей, что Шиллеръ одинь изь замічательнійшихъ германскихъ поэтовь, и въ доказательство, съ жаромъ прочель ей инсколько стихотвореній.

«Дѣвушка выслушала его болѣе съ наумленіемъ, чѣмъ съ сочувствіемъ. Аксаковъ явился къ ней на другой день и принесъ ей въ подарокъ экземиляръ полимус сочиненій Шиллера.

— Воть вамъ, сказалъ опъ:—читайте его... Это принесеть вамъ пользу. Вы увидите, что, независимо отъ таланте, личность Шихлера самая чистая, самая дцеальная, самая благородная...

 — Благодарю васъ, произнесла дъвушка, дълая книксенъ:—а позвольте спросить, сколько стоитъ эта книжка?

Четыре талера.

— Ахъ, Боже мой, сколько! наивно воскликнула дѣвушка.—Влагодарю васъ... но ужь если вы такъ добры, такъ лучше бы вы миъ, вмъсто книжекъ, деньгами дали...

«Аксаковъ побледнёль, убёжаль отъ нея съ ужасомъ, и съ тёхъ поръ избёгаль даже проходить мимо того угла, гдё она вела свою торговлю»...

Въ заключение считаю нелишнимъ привести еще одинъ анекдотъ касательно одного изъ знаменитыхъ членовъ кружка, Каткова.

«Катковъ быль тогда очень молодь—говорить И. Панаевъ въ своякъ «Воспоминаніяхъ»—и его молодость проявлялась въ немъ странными фантазіями. Разъ какъ-то захотёлось ему идти непремѣнно въ погребокъ и провести тамъ вечеръ, какъ это дѣлывахъ въ Берлинѣ знаменитый Гофманъ, которымъ всѣ мы сильно увлекались въ то время.

«Катковъ предложилъ миъ.

— Да въдъ здъев нъть такихъ погребковъ, какъ въ Германіи, возразилъ я:— здъек берутъ только вино въ погребкахъ, а̀ не распивають его тамъ... Если вы хотите, я пошлю за виномъ...

Нѣть, я хочу непремѣнно пить въ погребкъ.

— Да коли это здвеь не водится?

Отчего не водится?—Это вздоры! Если не водится, такь мы введемъ это въ обычай... Я знако, почему вамъ не хочетси: вы боитееь унизить этимъ свое достоинство... и разгорячась болье и болье, Катковъ началъ нападать по этому поводу на различные дворинскіе предразсудки и нелъпыя приличія, которыми я, по его мижнію, быль зараженъ.

— Такъ вы ръшительно не хотите идти со мною? спросиль онъ въ заключеніе, складывая торжествен-

но руки и щуря глаза.
— Ръшительно нъть.

- Ну, такъ я пойду одинъ.

«Катковъ взялся-было уже за шляпу, но потомъ отложилъ свое намъреніе. Дня два послѣ этого онъ дуля на меня»...

Главой всёхъ этихъ прекраснодушныхъ юношей

быль Станкевичь. Выше мы нѣсколько познакомили уже читателей съ карактеромъ прекраснодушія этого человъка. Во время своего студенчества, Станкевичъ не быль еще знакомъ съ Гегелемъ и стоялъ въ общемъ уровит развитія своихъ товарищей, но и тогда уже онъ быль центромъ кружка, и можно смъло предположить, что вліянісмъ своимъ на товарищей и поклоненіемъ, которымъ онъ былъ окруженъ, онъ былъ обязанъ болье всего своей крайне нервной, бользиенно-нежной натурь, въ которой чувствительность была доведена до послъдней степени. Станкевичъ могъ казаться своимъ прекраснодушнымъ друзьямъ поистинь существомъ не отъ міра сего, воздушнымъ, безтьлеснымъ геніемъ, исполненнымъ граціознаго, тонкаго изящества и нъжнаго чувства. Недаромъ барышни называли Станкевича небеснымъ. Стоитъ взглянуть на его портретъ, чтобы убъдиться, что это была натура, способная не столько подчинять энергіей воли, сколько влюблять въ себя своимъ изяществомъ. И ны видимъ, что во всехъ отзывахъ о Станкевиче современниковъ и людей близкихъ преобладаетъ восхищение сторонами характера его чисто женственными, изъ чего можно заключить, что онъ производилъ на своихъ товарищей совершенно такое-же смиряющее и гуманизирующее вліяніе, какое можетъ произвести умная, развитая, изящная девушка въ кругу молодыхъ людей одного съ нею возраста.

«Въ характеръ Станкевича—говорить Анненковъ въ своей біографіи—не было нисколью элементовъ удали, которан такъ поэтически виражается у русскаго народа, а въ образованныхъ классахъ ограничивается трактирными и домашними кутежами, грубымъ посатательствомъ на права личности, иногда дикемъ проивволомъ. Черта эта пріобрътаетъ важность, разумъется, только еъ той минуты, когда общество смотрить на мее равнодушно, или даже съ прийсько благосколности, радумов ей, какъ безвредному истоку юношескаго пъза. Мало того, что кругомъ Станкевича жизнь шла трезво и бодро, но сна, блаходора на спо природную веселость, было что-то умереное и деликимное ет его шуткъть, подобио тому, какъ мысь его отмичасась истинным чиломую ріемъ, несмотря на страсти и увлеченія молодости. Все это, комечю, держало разнородныя мичности, изъ которыхъ состоля круго го, ето одномъ общемъ настроеніи и на одной правственной высоты.

«Болезненный, тихій по характеру, поэть и мечтатель—читаемъ мы въ другихъ, «Воспоминаніяхъ»— Станкевичь естественно долженъ быль больше любить созерцаніе и отвлеченное мышленіе, чёмъ вопросы жизненные и чисто практическіе; его артистическій идеализмъ ему шель, это быль «побъдный вѣнокъ, выступавшій на блёдномъ, предсмертномъ челѣ коноши».

Педъ кроткимъ и гуманнымъ вліяніемъ Станкевича кружокъ развивался, принимая въ себя всв элементы развитія, окружавшіе юношей. Друзья читали "Телеграфъ" Полевого, "Московскій Въстникъ" Погодина, "Телескопъ" Надеждина, увлекались сочиненіями кн. Одоевскаго, по цізлымъ часамъ заслушивались красноръчивой импровизція любимаго своєто профессора Надеждина и, подъ вліяніемъ его пропаганды, все болъе и болье проникались идеей важности и необходимости эстетическаго образованія. Изъ аудиторію Надеждина они спускались винзъ въ аудиторію Павлова, и обонмъ этимъ профессорамъ были обязаны

тою страстью къ философіи, которая впослёдствін въ нихъ развилась... Уже въ университетъ мысль ихъ начала работать въ духв шеллинговой философіи; это мы видимъ въ первыхъ статьяхъ Бълинскаго и въ письмъ Станкевича къ Невърову, въ которомъ онъ, подъ заглавіемъ "Моя метафизика", излагаетъ рядъ илей въ духъ шеллинговой философіи. Но надо полагать, что московскіе профессора познакомили своихъ учениковъ только съ общими основаніями шеллинговой философіи; бол'ве-же основательное и самостоятельное знакомство съ Шеллингомъ началось въ кружкъ Станкевича уже послъ университета, въ 1835 г. По крайней мірів, Станкевичь говорить въ письмі къ Грановскому, что, окончивши курсъ и послѣ различныхъ колебаній, сомніній относительно того, чімъ бы заняться, онъ нечаянно напаль на философію

Станкевичъ жилъ у Павлова; по вечерамъ друзья собирались въ скромной комнатъ Станкевича, и здъсь велись оживленныя, юношескія бесёды о чувстві изящнаго, о любви и дружбф и пр. Здфсь Красовъ разсказываль свои встрычи съ неземными существами. Здесь Станкевичъ читалъ своимъ товарищамъ, не знавшимъ еще немецкаго языка, какъ, напримеръ, Бълинскому, своихъ любимыхъ нъмецкихъ поэтовъ-Шиллера, Гете, Гофиана. Изъ русскихъ-же писателей друзья зачитывались Пушкинымъ, Жуковскимъ, а впоследствии Лермонтовымъ и Гоголемъ. Въ этотъ періодъ развитія въ кружке Станкевича Шиллеръ преобладаль еще надъ Гете, но болъе всего друзья увлекались Гофманомъ. Мечтатель-фантазеръ, который не могь заговорить объ искусствъ равнодушно и едва касался какого-либо предмета искусства, то не иначе изображаль его, по выражению біографа Станкевича, какъ въ огненномъ, нестерпимомъ блескъ, въ сверхъестественныхъ фантастическихъ размѣрахъ; исполнивъ-же задачу, самъ падалъ ницъ передъ собственнымъ представлениемъ-такой писатель былъ какъ нельзя более подъ стать юнымъ мечтателямъ и поклонникамъ искусства. Книжки "Московскаго Наблюдателя" были впоследстви наполнены повестями Гофмана. До какой степени доходило увлечение Гофманомъ въ кружкъ Бълинскаго, это мы видимъ изъ того, что Бълинскій, еще въ 1839 году, выражаль между разговорами свое недоумение: отчего западная критика не ставить Гофмана наравит со всёми великими поэтами Европы, между темъ какъ онъ обладаеть тою-же сущностью, темъ-же разнообразіемъ и тою-же глубиной проникновенія въ жизнь? По Белинскій не ограничился однимъ недоум'вніемъ и не замедлилъ решить его въ пользу Гофмана. Каждый разъ, какъ только ему приходилось въ своихъ критическихъ статьяхъ говорить о Гофман'я, онъ не иначе отзывался о немъ, какъ о писателъ великомъ, а въ своей стать в "Раздъление поэзін на роды и виды", напечатанной въ "Отеч. Зап." 1841 года, въ № 3-мъ, онъ, между прочимъ, делаетъ следующую параллель.

«Имена Ричардсоновъ, Фильдинговъ, Радклифъ, Левисовъ, Дюкро-де-Менилей, Лафонтеновъ, Шписовъ, Крамеровъ, Поль-де-Коковъ, Марретовъ, Диквеновъ, Лесажей, Мачьюреновъ, Гюго, Де-Виньи, мижють свою относительную важность и пользуются, или пользовались, заслуженною извёстностью;

но ихъ отнюдь не должно смъшивать съ именами Сервантеса, Вальтера-Скотта, Купера, Гофмана и Гете, какъ романистовъ».

Вы видите, что въ то время, какъ Диккенсъ и Гюго стентъ рядомъ съ Поль-де-Кокомъ, Гофманъ становится рядомъ съ Гете, и Въдинскій убъждаеть читателей не смешивать отнюдь этихъ двухъ категорій.

Везъ сомнънія, Гофману, въ особенности его повъсти "Seltsame Leiden eines Theater-Directors" были обязаны друзья темъ юношескимъ энтузіазмомъ, съ какимъ они смотрѣли на театръ. Театръ былъ для нихъ не однимъ только развлечениемъ въ часы досуга, но храмомъ искусства, къ которому они питали религіозное обожаніе и въ который входили съ благоговъніемъ.

«Театръ становится для меня атмосферой-говорить Станкевичь въ одномъ изълисемъ Невёровупрепрасное моей жизни не отъ міра сего. Излить свои чувства некому — тамъ, въ храмъ искусства, какъ-то вольнъе душъ, множество народа не стъсняеть ее, ибо надъ этимъ множествомъ парить какая-то мысль, она закрываеть отъ меня ничтожныхъ, не внемлющихъ голосу общественной любви въ искусствъ... Наше искусство невысоко; но театръ и музыка располагають душу мечтать о немъ, о его совершенствъ, о прелести изящнаго, дълать планы зеемерные, скоропреходящіе»...

Но еще рельефиће и пламениће выражены эти самыя мысли въ первой стать в Белинскаго "Литератур-

ныя нечтанія".

«Театръ! Любите-ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, т. е., всеми силами души вашей, со всемъ энтузіазмомъ, со всёмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатленій изящнаго? Или, лучше сказать, можете-ли вы не любить театра больше всего на свёть, кромь блага и истины? И въ самомъ дъль, не сосредоточиваются-ли въ немъ всь чары, всь обаянія, всв обольщенія изящныхъ искусствь?» и т. д.

Вотъ въ какой средѣ протекди первые и самые роковые годы молодости Бълинскаго. Но Бълинскій, вполн' разделяя все прекраснодущие своихъ юныхъ друзей, всь ихъ мечты и фантастические порывы, въ то-же время явился въ кружкъ Станкевича съ особеннымъ своимъ элементомъ, которато мы не видимъ ни въ комъ изъ друзей его. Этотъ эдементь проходить сквозь всю деятельность Белинскаго, не смотря на всѣ усилія друзей смирить и уничтожить его, и можно положительно сказать, что элементу этому обязань быль Белинскій половиной своей литературной славы н вліннія на современниковъ.

О детскихъ годахъ Белинскаго мы имеенъ мало свёдёній. Знаемъ только, что онъ родился въ 1811 году, былъ сынъ чембарскаго увзднаго штабъ-лекаря, • провель детство въ устаной глуши, въ среде мелкаго уфаднаго чиновничества, и онъ самъ говорилъ впоследствіи, что изъ своей семьи не вынесъ ни одного пріятнаго воспоминанія. Часто пьяный и грубый отецъ его привязывался къ нему иногда безъ всякаго повода; случалось, что и билъ его по чему попало. Въ гимназію онъ поступиль 14-ти літь изъ чембарскаго увзднаго училища. Вотъ что говорить, между прочимъ, учитель пенвенской гимназіи о гимназических в годах в Бѣлинскаго:

«Въ гимназіи, по возрасту и возмужалости, онъ во всёхъ классахъ быль старше многихъ сотоварищей. Наружность его мало измънилась впоследствии,

онъ и тогда быль неуклюжь, угловать въ движеніяхъ. Неправильныя черты лица его, между хорошенькими личиками другихъ дътей, казались суровими и старими. На вакаціи онъ вздиль въ Чембаръ, но не помию, чтобы отецъ его прівзжаль къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь при-нималь въ немъ участіе. Онъ, видимо, быль безъ женскаго призора, носиль платье кое-какое, иногда съ непочиненными проръхами. Другой на его мъстъ смотрёль бы жалкимь, заброщеннымь мальчикомь, а у него взглядъ и поступки были смълые, какъ-бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствъ. Таковъ онъ быль и посль, такимъ и пощель въ могилу».

Какъ всв натуры страстныя и глубокія, Велинскій не могъ подчиниться школьной рутинѣ гимназическаго преподаванія, которое въ то время стоядо еще на более низкомъ уровне, чемъ въ наше время, и въ которомъ долбия стояда на первомъ планъ. Онъ учился, т. е. долбилъ, весьма плохо, въ одномъ классѣ просидель два года, а въ 1829 году быль окончательно исключенъ изъ гимназіи за нехожденіе въ классъ. Какіс-то вдіятельные знакомые помогли ему, однакожь, въ 1829 году поступить въ московскій университеть; но и тамъ онъ не могъ подчиниться школьной схоластикъ записыванія часто весьма снотворныхъ лекцій и потомъ долонъ ихъ передъ экзаменомъ. Въ 1832 г., будучи уже на второмъ курсѣ, онъ оставилъ университеть съ следующей аттестаціей: "способностей слабыхъ и нерадивъ".

Въ то время, какъ забивающая мертвечина школьной ругины возбуждала въ Вълинскомъ такое непреодолимое отвращение, все свое время посвящалъ онъ знакомству съ русскою дитературой и чтенію всевозможныхъ книжекъ, какія только ему попадались подъ руку. Страсть къ чтенію развилась въ Бѣлинскомъ еще въ увздномъ училищь: уже тогда, по свидътельству смотрителя чембарскаго училища, Вълинскій гуляль часто одинь, не быль сообщителень съ товарищами по училищу, не вижшивался въ ихъ игры и находиль особенное удовольствіе за книжками, которыя доставаль, гдф только могь.

Особенно сильное вліяніе на развитіе и направленіе мыслей Бълинскаго имълъ учитель естественной исторін М. М. П-въ, оставившій восноминанія о своемъ питомцв. Но было бы совершенно ошибочно думать, чтобы вдіяніе учитедя естественныхъ наукъ было въ духѣ реальномъ и возбуждало въ ученикахъ страсть къ естествовъдънію. Напротивъ того, питомецъ филологическаго факультета казанскаго университета, П-въ былъ страстный романтикъ и вотъ что говорить онъ о своемъ преподавании и вліяніи на Вѣлин-

«Во время бытности Бѣлинскаго въ пензенской гимназіи, преподаваль я естественную исторію, которая начиналась уже въ 3-мъ классъ (тогдашній курсь гимназическій состояль изъ четырехъ классовъ). Поэтому, онъ учился у меня только въ двухъ высщихъ классахъ. Но я зналъ его съ первыхъ, потому что онъ друженъ быль съ соученикомъ своимъ, моимъ роднымъ племянникомъ, и иногда бываль въ нашемъ домъ. Онъ бралъ у меня вниги и журналы, пересказываль прочитанное, судиль и рядиль обо всемь, задаваль мнв вопрось за вопросомъ. Скоро и полюбиль его. По лътамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ быль неравный мнъ; но не помию, чтобы въ Пензъ съ къмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговариваль, какъ съ нимъ,

о наукахъ и литературъ.

«Домашнія бесёды наши продолжались и послё того, какъ Бълинскій поступиль въ высшіе классы гимназіи. Дома мы толковали о словесности; въ гимназіи, онъ, съ другими учениками, слушаль у меня естественную исторію. Но въ казанскомъ университеть и шель по филологическому факультету, и русская словесность всегда была моею исключительною страстью. Можете представить себь, что иногда происходило въ классь естественной исторіи, гдъ передъ страстнымъ, еще молодымъ въ то время, учителемъ, сидълъ такой-же страстный къ словесности ученикъ. Разумбется, начиналъ и съ зоологіи, ботаники или ориктогновіи и старался держаться этого берега, но съ середины, а случалось и съ начала лекции, отъ меня-ли, отъ Бълинскаго-ли, Богъ знаетъ, только естественныя науки превращались у насъ въ теорію или исторію литературы. Отъ Бюфона-натуралиста я переходиль къ Бюфону-писателю, отъ гумбольдтовой географіи растеній къ его «карти-намъ природы», отъ нихъ къ поэзіи разныхъ странъ, потомъ... къ цълому міру—въ сочиненіяхъ Шиллера и Жуковскаго... Бывало, когда отправляюсь за городъ, во всю дорогу, пока не дойдемъ до засѣки, что повади городскаго гулянья, или до рощи, что за ръкой Пензой, Бълинскій приставаль во миъ съ вопросами о Вальтерь-Скотть, Байронь, Пушкинь, о романтизм'в и обо всемъ, что волновало въ то доброе время наши молодыя сердца.

«Тогда Бълинскій, по лѣтамъ своимъ, еще не моть отрёшиться оть обаянія первыхъ пушкинскихъ поэмъ и мелкихъ стиховъ. Непривѣтно онъ встрѣтихъ сцену: «Келья въ чудовомъ монастърѣ». Онъ и въ то время не скоро поддавался на чужое миѣніе. Когда а объяснихъ ему высокую прелестъ в простотѣ, поворотъ въ самобитности и возрастаніе таланта Пушкина, онъ качалъ головой, отмаливамоя или говоражъ: «дайте подумаю: дайте еще прочту». Если-же съ чѣмъ онъ соглашался, то, бывало, отвѣчалъ съ страшною увѣренностью: «со-

вершенно справедливо».

Ниже II—въ говоритъ, что Бълинскій читаль съ жадностью тогдашніе журналы и всасываль въ себя

духъ Полевого и Надеждина.

Знакоиство съ литературой не замедлило впечатлительнаго вношу, преисполненияго творческихъ силъ, натолкнуть на попытки къ самостоятельному творчеству, и во второмъ классе гимназіи, будучи 15-ти тётъ, онъ началъ писать стихи и повести. Но уже въ 1830 году опъ смотрёлъ на эти попытки критически,

убъдясь, что не рожденъ быть поэтомъ.

«Бывши во второмъ классѣ гимназіи — говорить онъ въ письмъ къ своему бывшему наставнику-я писаль стихи и почиталь себя опаснымь соперникомъ Жуковскаго; но времена перемънились. Вы знаете, что въ жизни юноши всякій чась важенъ: чему онъ въритъ вчера, надъ тъмъ смъется завтра. Я увидълъ, что не рожденъ быть стихотворцемъ и, не хотя идти наперекоръ природъ, давно уже оставиль писать стихи. Въ сердцѣ моемъ часто проискодять движенія необыкновенныя, душа часто бываеть полна чувствами и впечатленіями сильными, вь умъ рождаются мысли высокія, благородныя хочу ихъ выразить стихами и не могу! Тщетно трудись, съ досадой бросаю перо. Имбю пламенную. страстную любовь ко всему изящному, высокому, имъю душу пылкую и, при всемъ томъ, не имъю таланта выразить свои чувства и мысли легкими, гармоническими стихами. Риема мнв не дается и не покоряясь, смъется надъ моими усиліями; выраженія не укладываются въ стопы, и я нашелся принужденнымъ приняться за смиренную прозу... Есть довольно много начатаго и ничего оконченнаго и обработаннаго, даже такого, что бы могло помъститься не только въ альманахѣ, гдѣ собирается все отличное, но даже и въ «Дѣтскомъ журналѣ». Въ первый еще разъ, я съ горестью проклинаю свою неспособность писать стихами и лѣность писать

แทดลดสิ».

Но въ 1832 году неудачный опыть написать драму, которая вышла блёдна и безцвётна, окончательно убъдилъ Бълинскаго, что онъ не рожденъ для поэтическаго творчества, хотя-бы и прозой. Эта неудача стоила Бѣлинскому тяжелаго унынія и паденія духа, темъ более, что обстоятельства его были со всёхъ сторонъ плохи, почти безвыходны. Одинъ въ цёломъ мірь, безсемейный голякь, безъ всякихъ средствъ, безъ всякихъ связей, обладающій въ то-же время гордымъ, независимымъ характеремъ, для котораго, по собственнымъ-же словамъ его, не было ничего тягостнье, ужаснье, какъ быть обязаннымъ кому-либо, онъ быль поставлень лицомъ къ лицу передъ страшнымъ вопросомъ: чемъ питаться и какъ существовать. Мы не знаемъ, чемъ пробивался этотъ геніальный беднякъ со времени своего пріёзда въ Москву въ 1829 г. и по 1834 года, когда онъ началъ сотрудничать въ "Телескопъ". Намъ только извъстно, что онъ во время уже сотрудничества въ журналѣ Надеждина, которое ему давало, повидимому, немного средствъ, жилъ между Трубой и Петровкой, въ какомъ то переуливнадъ кузницей и возлъ прачешной въ ужасной обстановкъ:

«Каково-же было—говорить одинъ изъ его знакомыхъ, посътившій его въ такомъ жилищь— дышать этимъ воздухомъ, особенно ему, съ слабою грудью. Каково было слышать за дверыми упоительную беебду прачекъ и подъ собою стукотню отъ мотовъ русскихъ циклоповъ, если не подземныхъ, то подпольныхъ! Не говорю о бъднъйшей обстановъй его комнаты, незапертой (хоть я не засталь хозинна дома), потому что въ ней нечего. украсть. Прислуги никакови, от въ ней нечего, украсть. Прислуги никакови, от въроянно, то, что бъм его сосъдки. Сердце мое облилось кровью... Я спъщиль бъжать отъ смрада испареній, охватившихъ меня и пропитавшихъ въ нѣсколько минуть мое платье, скоръй, скоръй на чистый воздухъ, чтобы хоть нѣсколько облегчить грудь отъ всего, что я выдать, что я почувствоваль въ этомъ уботомъ жилищъ интератора, заявившаго Россіи свое имя»...

Кром'в этого печальнаго факта, изв'встенъ еще другой, относящійся къ этому періоду жизни Бѣлинскаго и то-же касающійся вопроса о существованіи. Между прочими мытарствами, удалось Бёлинскому найти мёсто домашняго секретаря у одного московскаго богача, любителя литературы, извъстнаго въ ней подъ именемъ Прутикова. Должность Бѣлинскаго заключалась въ томъ, чтобы выглаживать и исправлять сочиненія этого квази-литератора. За такую должность назначалось небольшое жалованье, квартира, прислуга истоль. Но Вълинскій недолго пробыль на этомъ м'яст'я; видно, ену такъ показалось солоно въ блестящихъ хоронахъ барина, что онъ, въ одинъ прекрасный день, бъжалъ отъ него, завизавши въ носовой платокъ все свое имущество и оставивши своему патрону записку съ извиненіемъ въ томъ, что онъ не считаетъ себя способнымъ къ исполнению этой должности и снова переселился онъ въ свою конуру на Трубъ.

Всё эти факты совершенно оттубняють Вълинскаго оты тёхъ прекраснодушныхъ юношей, которые его окружали, которымъ было легко благодушествовать въ

эстетическихъ созерцаніяхъ на папенькиныхъ хльбахъ; позади ихъ были сладкія восноминанія дітства, впереди открытое поприще для какой угодно дъятельности при протекцін вліятельныхъ дяденекъ, тетенекъ и богатыхъ друзей всякаго рода; на каникулахъ ждала ихъ родительская усадьба, со своими патріархальными объятіями, праздниками, гостями, охотами и прогудками... Подвернулся Грановскому случай поступить на университетское поприще, и онъ побхалъ на казенный счеть за-границу; захвораль Станкевичь, и тотчасъ-же родители послали его на кавказскія воды, а потомъ за-границу. Сами московские профессора иначе относились къ баловнямъ судьбы, иначе къ пасынкамъ. Въ то время, какъ Бълинскій оставилъ университеть съ аттестаціей слабыхъ способностей и нераденія, въ то время, какъ Надеждинъ, журналъ котораго прославился именемъ Бълинскаго, съ брезгливостью щепетильнаго эстетика смотрелъ на убогое жилище знаменитаго критика и съ пренебрежениемъ отзывался о немъ, какъ о циникъ, предполагая въ наивности сытаго человёка, что Бёлинскій живетъ убого изъ какой-то врожденной, будто-бы, страсти къ цинизму и грязи, -- Станкевичъ, живя у Павлова, не вамедлиль познакомиться съ Надеждинымъ, Шевыревымъ и другими профессорами московскаго университета, которые приняли его ласково, съ участіемъ, окружили совътами и вскоръ встали съ нимъ даже на дружескую ногу. "Павловъ и Шевыревъ-говоритъ въодномъ изъ писемъ Станкевичъ-познакомили меня съ кн. Т-ой и я плясалъ у нея и проч. ".

При такихъ условіяхъ жизни друзья Бѣлинскаго гораздо уже раньше были расположены къ примирительному взгляду на жизнь и людей и эстетическому квіэтизму, чёмъ успеди подвести свое отношеніе къ жизни подъ формулы гегелевской философіи. И въ первый періодъ своего развитія, когда они еще и не номышляли о Гегель, они требовали отъ мыслящаго человъка, чтобы онъ, во что бы то ни стало, былъ преисполненъ кроткаго, гармоническаго настроенія, чтобы онъ созерцалъ жизнь, анализировалъ ее, въ то-же время отнюдь не допуская вражды и ненависти въ отношении въ различнымъ ся проявленіямъ. Вражда и ненависть считались чемъ-то весьма негармоничнымъ, неизящнымъ, одностороннимъ, и потому вычеркивались изъ жизни. А между тёмъ, всё обстоятельства жизни Белинскаго съ детскихъ летъ къ тому и вели, чтобы озлобить и ожесточить его. Онъ не имълъ даже утъщенія Красова, который, находясь въ такихъ-же бъдственныхъ положеніяхъ, какъ и Бълинскій, состроилъ себъ свой собственный мірь иллюзій и уходиль въ него, забывая и холодъ, и голодъ дъйствительности, и снисходительный юморъ своихъ богатыхъ друзей. Вълинскій не владълъ стихами, чтобы утешаться стихоизліяніями, и быль слишкомъ уменъ, чтобы міръ иллюзій не разрушался ежеминутно передъ его глазами, какъ карточные домики. Вотъ подъ вліяніемъ какихъ обстоятельствъ въ ранней юности уже онъ сосредоточилъ въ себъ столько озлобленія, что его могли заглушить только на время гармоническіе идеалы и увъщанія друзей въ ихъ духв. Онъ быль далекъ еще, по своему развитію, отъ сознанія основныхъ причинъ своего озлобленія,

но, темъ не мене, онъ его чувствоваль; горечь, разъ-**Т**давшая его сердце, искала выхода и, какъ это часто бываетъ съ дюдьми озлобленными, что они, не добирансь до главныхъ причинъ своего озлобленія, обрушивають весь жаръ своего гифва не первые подвернувшіеся подъ руку предметы, такъ какъ чувство ихъ ищетъ какого-бы то ни было проявленія-такъ это было и съ Белинскинъ: онъ вышелъ на литературное поприще не отвлеченнымъ эстетикомъ, созерцателемъ и наблюдателемъ, въ какомъ видъ представляли себъ друзья его идеалъ критика, но съ горячею, страстною жаждой полемики, и хотя полемика эта вращалась исключительно въ пределахъ дитературы, но, темъ не мене, въ страстномъ саркастическомъ тонв ея, сладострастной жаждв нападать и разить-такъ и слышится озлобленіе человізка, который чувствоваль живую потребность хоть на что-нибудь излить горечь своей души. Вы посмотрите, какъ въ первой-же стать своей Велинскій самъ формулируетъ преобладающее настроение своего духа:

сорокъ лътъ русской критики.

«У насъ нападають иногда на полемику, въ особенности журнальную. Это очень естественно. Люди, хладнокровные къ умственной жизни, могутъли понять, какъ можно предпочитать истину приличіямъ и изъ любви къ ней навлекать на себя ненависть и гоненіе? О! имъ никогда не постичь, что за блаженство, что за сладострастіе души-сказать какому-нибудь генію въ отставкъ безъ муннира, что онъ смещонь и жалокъ съ своими детскими претензіями на великость, растолковать ему, что онъ не себъ, а крикуну журналисту обязанъ своею литературною значительностью; сказать какому-нибудь ветерану, что онъ пользуется своимъ кому-нисудь ветерант, что старымс воспомина-намъ или по старой привычкѣ; доказать какому-нибудь литературному учитель, что онъ близорукъ, что онъ отсталь отъ вѣка и что ему надо пере-учиваться съ азбуки; сказать какому-нибудь въкодцу Богь-въсть откуда, какому-нибудь пройдохъ и Видоку, какому-нибудь литературному шарлата-ну, что онъ оскорбляеть собою и эту словесность, которою занимается, и этихъ добрыхъ людей, кредитомъ конхъ пользуется, что онт наругался и надъ святостію истины, и надъ святостію знанія, заклеймить его имя позоромъ отверженія, сорвать съ него маску, хотя-бы она была и баронская, и показать его свёту во всей его наготѣ!... Говорю вамъ, во всемь этому есть блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное! Конечно, въ литературныхъ сшибкахъ иногда нарушаются законы приличія и общежительности, но умный и образованный чита-тель пропустить безь вниманія пошлые намеки о желтякахъ, объ утиныхъ носахъ, семинаристахъ, гарт, полугарт, купцахъ и аршинникахъ; онъ всегда съумъеть отличить истину отъ лжи, человъка оть слабости, таланть оть заблужденія; читателиже невъжды не сдълаются отъ того ни тупъе, ни умнъе. Будь все тихо и чинно, будь вездъ комплименты и въжливости-тогда какой просторъ для безсовъстности, шарлатанства, невъжества: некому обличить, некому изречь грозное слово правды!»

А между тъмъ, друвъя Вълинскаго о томъ только и клопотали, чтобы повсюду было комплименты и въжливости. Они смотръли на страсть къ полемикъ въ Вълиноскомъ, какъ на недостатокъ, котя сами невольно подчинялись вліянію этой полемики. Такъ, напримъръ, конечно, Вълинскому былъ обязанъ Стансквичъ разочарованіемъ въ Шевыревъ, какъ въ человъкъ. По крайней мъръ, при первомъ знакомствъ съ Шевыревымъ, Станкевичъ былъ отъ него безъ ума и

въ письмѣ къ Невфрову отзывался о немъ съ восторгомъ. Но первая-же статья Бълинскаго разрушила это очарованіе. Діло въ томъ, что, вмівсто безусловныхъ похвалъ, Бълинскій отозвался о стихотвореніяхъ Шевырева критически, и Станкевичъ тотчасъ-же увидълъ, какое мелкое, напыщенное самолюбіе скрывалось въ ученомъ профессоръ подъ всеми его громкими фразами: "Бълинскій-пишетъ Станкевичъ въ одномъ изъ своихъ писемъ-въ своихъ "Литературныхъ мечтаніяхъ" (хорошая статья въ "Молвъ"; Шевыревъ, говорятъ, хвадилъ ее, пока до него не дошло дело) сказаль (хваля, впрочемъ, чрезвычайно Шевырева), что въ стихахъ его развивается мысль, а не изливается чувство. Справедливое замъчание! Шевыревъ, говорять, вебесился и кричитъ: "какъ сметь такъ говорить? Это тонъ Полевого. Да развъ онъ власть какая-нибудь, что объ немъ судить пельзя? Досадно! Конечно, иные прибавять ".

Послі того, Станкевичь въ своихъ письмахъ отзывался о Шевмреві не иначе уже, какъ о самолюбивомъ, ограниченномъ педанті; онъ даже восхищался, когда Візинскій, впослідствін, боліе уже різинтельно, напалъ на Шевмрева въ 9 № "Телескопа" за 1835 годъ: "9-й № готовить—писалъ Станкевичь въ письмі Невірову—въ немъ осмілинсь пошутить надъ Шевмревымъ, который съ важностью говорить о реформі въ русской просодіи и хочеть ввести итальянскую. Не говоря уже о нелізности этой мысли, подумай, какъ не стыдно въ нашъ візкъ, богатый чеповіческими интересами, думать о перемінахъ въ провіческими стану согласть обътова постаній чеповіческими интересами, думать о перемінахъ въ провіческими интересами, думать о перемінахъ въ провіческими постанів постанів постанів провіческими интересами, область обътова постанів постані

содін? Таланть самь создаеть ее". А между темъ, такъ сильна была тяга къ прекраснодушному квіэтизму, что тоть-же самый Станкевичъ, при всякомъ удобномъ случав, выражаль въ письмахъ свое несочувствие и неодобрение къ полемическому тону Бълинскаго. Надо думать, что такое неодобрение не ограничивалось одними намеками въ письмахъ къ Невърову, а служило предметомъ неоднократныхъ споровъ между Бѣлинскимъ и его друзьями; очень можеть быть, что и приведенныя патетическія строки о сладострастіи полемики были возбуждены въ Вълинскомъ этими спорами; по крайней мърѣ, намъ извъстно, что Бълинскій имълъ обычай отвінать своимь друзьямь, въ разгарів спора, печатными статьями, какъ впоследствии онъ отвечаль Герцену "Менцелемъ" и "Бородинскою годовщиной". Такимъ образомъ, вотъ уже откуда ведетъ свое начало то пренебрежение и отрицание всякаго живаго и полемическаго отношенія къ жизни и литературѣ во имя олимпійскаго спокойнаго созерцанія и безстрастнаго браминскаго квіэтизма-какое впоследствій мы видимъ въ людяхъ сороковыхъ годовъ, въ ихъ, напримеръ, нападкахъ на полемическій тонъ "Современника" или "Русскаго Слова". Но было бы совершенно ложно обвинять въ этомъ квіэтизмѣ всю эпоху сороковыхъ годовъ и думать, чтобы онъ всецть господствоваль въ эту эпоху, будучи произведениемъ дука этого времени: мы видимъ, что и въ сороковые годы онъ былъ произведениемъ особенной среды, особенныхъ условій жизни, и далеко не господствоваль безусловно, проявляясь только тамъ, где условія жизни вели къ его преобладанію. Что далеко не всѣ

раздізани убіжденія Станкевича относительно полемики, это мы видимъ изъ того, что слухи объ увъщаніяхъ Станкевичемъ Бълинскаго достигли до Петербурга, и тамъ они встречены были не совсемъ благосклонно; по крайней мере, они были формулированы въ томъ видь, что Станкевичъ цензируетъ статьи Бълинскаго, и Станкевичъ, въ письмъ къ Невърову, воть какь отозвался объ этихъ слухахъ: "не знаю, откуда эти чудные слухи заходять въ Питеръ? Я--пензоръ Бълинскаго? Напротивъ, я самъ свои переводы, которыхъ два или три въ "Телескопъ", подвергалъ цензорству Бѣлинскаго, въ отношении русской грамоты, въ которой онъ знатокъ, а въ митніяхъ всегда готовъ съ нимъ посовѣтываться и очень часто послёдовать его советамъ. Конечно, его выходка неосторожна, но не болье; онъ хотълъ напасть на способъ составлять репутацію и оскорбиль человіческую сторону Бенедиктова *). Я ему это скажу .

Ужь один эти факты показывають, что Белинскій далеко не быль исключительнымъ произведеніемъ кружка Станкевича, какимъ-то эхомъ или, лучше сказать, протоколистомъ, который въ своихъ статьяхъ сообщалъ разговоры, которые велись на дружескихъ собраніяхъ кружка, преимущественно же мнѣнія Станкевича, систематизируя и обобщая ихъ, какъ многіе выставляють Белинскаго, между прочимъ, и біографъ Станкевича, Анненковъ. Мы видимъ, что Бълинскій съ перваго своего шага является личностью, по характеру своему вполить оригинальною и ръзко отличающеюся отъ окружавшихъ его людей. Хотя онъ во многомъ подчинялся вдіянію своего кружка, особенно впоследствін, но не одно это вліяніе отражается на первыхъ статьяхъ Бълинскаго. Пересматривая эти статьи и рядомъ съ ними письма Станкевича за эти же годы, мы видимъ, что какъ Бълинскій, такъ и друзья его, равно находились подъ вліяніемъ литературы того времени и философскаго броженія въ духѣ Шеллинга, господствовавшаго въ Москвъ. Такимъ образомъ, читая два первые тома Вълинскаго, мы встрвчаемся тамъ со взглядами Полевого. Одоевскаго, Надеждина, Веневитинова и Кирћевскаго. Со всеми же этими писателями Белинскій успри познакомиться уже на школьной скамых гораздо ранъе, чъмъ вошелъ въ кружокъ Станкевича.

Самая первая статья Белинскаго, "Литературныя мечтанія", написана подъ сильнымъ вліяніемъ полемическихъ этюдовъ Надеждина въ "Въстинкъ Европы", хотя, конечно, отличается отъ нихъ, какъ небо отъ земли, по благородству тона и литературной честности. Самое заглавіе статьи "Литературныя мечтанія" напоминаетъ заглавіе первой статьи Надеждина "Литературныя опасенія". Главною мыолью въ статьть Вълинскаг), какъ и во всёхъ статьхъ Надеждина,

^{*)} Здёсь дёло идеть о критикі Бёлинскаго на стихотворенія Бенедиктова, поміщенной въ «Телескопі» 1835 г. Статья эта дійствительно отличается бевпошадною різкостью, но, при всемь томъ, мы уб'яждены, что эта именно різкость боліве всего дійствовала на современниковъ, заставляя глубоко врізкиваться въ ихъ уми высказавлавамие идем и вяглядкі; въ тому-же, різкость эта преисполнена глубокой, хотя и горькой правды.

является то ноложение, что у насъ нътъ литературы. Для доказательства этой мысли, Белинскій излагаеть основанія шеллинговой философіи, проникаясь при этомъ темъ высокимъ наоосомъ, который такъ часто встричается въ его статьяхъ и который производилъ на современниковъ потрясающее впечативніе. По мивнію Бълинскаго,

«весь безпредѣльный, прекрасный Божій міръ есть ни что иное, какъ дыханіе единой, втиной идеи (мысли единаго, въчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрълище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообравіи». Проявленіе этой идеи въ нравственномъ міръ есть--«борьба между добромъ и зломъ, любовію и эгонямомъ, какъ въ жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной»... «Цёль искусства воспроизводить въ словъ, въ звукъ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы». «Доколѣ поэть слѣдуеть безотчетно мгновенной вспышка своего воображенія, дотола онъ нравственъ, дотоль онь и поэть; но какь скоро онь предположиль себь цьль, задаль тэму, онь уже философъ, мыслитель, моралисть, онь терметь надо мною свою чародъйскую власть, разрушаеть очарование и за-ставляеть меня сожалёть о себь, если, при истинномъ талантъ, имъетъ похвальную цъль, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредныхъ мыслей»...

Изложивши общія понятія объ искусствь, Бълинскій переходить, затімь, къ вопросу, что такое наша литература: "выраженіе общества или духа народнаго?"

«Каждый народъ-говорить Бълинскій совершенно согласно съ тъмъ, что говорили въ то время всъ шеллингисты—вслъдствіе непреложнаго закона провиденія, должень выражать своею жизнію одну какую-нибудь сторону жизни целаго человечества; въ противномъ случав, этотъ народъ не живеть, а только прозябаеть, и его существование ни къ чему не служить... Да-только идя по разнымъ дорогамъ, человичество можеть достигнуть своей единой цыдый народъ принести долю, въ общую сокровищницу. Въ чемъ же состоить самобытность каждаго народа? Въ особенномъ ему принадлежащемъ образъ мыслей и взглядъ на предметы, въ религи, языкъ, и болъе всего въ обычаяхъ»...

Далье затымь, исходя изъ этихъ идей, Вълинскій подробно обозрѣваетъ весь ходъ нашей литературы, начиная съ Кантемира, и сообразно тому, насколько тотъ или другой писатель представляется самостоятельнымъ и народнымъ, Вълинскій приходилъ въ тому выводу, что вся наша литература сосредоточивается

въ четырехъ именахъ:

«Въ самомъ дѣхъ, Державинъ, Пушкинъ, Крыловъ и Грибоѣдовъ—вотъ всѣ ея представители; другихъ покуда нѣтъ и не ищите ихъ. Но могутъ-ли составить цёлую литературу четыре че-ловёка, являвшеся не въ одно время? И притомъ, развъ они были не случайными явленіями?.. Гдъ же, спрашиваю васъ, литература? У насъ было много талантовъ и талантиковъ, но мало, слишкомъ мало художниковъ по призванію, то-есть, такихъ людей, для которыхъ писать и жить, жить и писать, одно и то же, которые уничтожаются вив искусства, которымъ не нужно протекцій, не нужно меценатовъ, или, лучше сказать, которые гибнуть отъ меценатовъ, которыхъ не убиваютъ ни деньги, ни отличія, ни несправедливости, которые до посл'ядняго вадоха остаются върными своему святому призва-нію. У насъ была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романовъ и повъстей, теперь наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литерату-

ры. Стихотворство наше кончилось; мода на романы всюду проходить; теперь терзаемъ драму. И все это безъ причины, все это изъ подражательности: когда же наступить у насъ истинная эпоха искусства? Она наступить, будьте въ томъ увърены! Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, въ которожь бы выразилась физіономія могучаго русскаго народа; надобно, чтобы у насъ было просвъщение, созданное нашими трудами, вогращенное на родной почвы»...

Мы нарочно представили экстрактъ первой статьи Велинскаго, потому что онъ можетъ служить для насъ какъ бы конспектомъ основныхъ взглядовъ, преобладающихъ въ первый періодъ деятельности Белинскаго, въ его статьихъ въ "Телескопъ" и "Молвъ". Взгляды эти могутъ быть формулированы въ следующихъ двухъ положеніяхъ: 1) поэтическое творчество заключается въ стремленіи поэта воплощать идею въ образы искусства, и оно до техъ только поръ можеть быть названо поэтическимъ творчествомъ, пока оно свободно и непроизвольно, и 2) идеи, воспроизводимыя поэтомъ, суть тв, представителемъ которыхъ является народъ, которому принадлежить поэтъ, и время, въ которое онъ живетъ. Этими двумя положеніями обусловливались многія симнатіи и антипатіи, въ которыхъ Вединскій сходидся съ большинствомъ шедлингистовъ, подвизавшихся въ то время въ Москвъ. На основаніи этихъ положеній, онъ возставаль, между прочимъ, на стремление поэтовъ поддѣдываться подъ народную поэзію, которое въ то время было распространено подъ вліяніемъ поднятаго въ литературѣ вопроса о народности. По мненію Белинскаго, Пушкинъ быль более народень, когда писаль естественно и непроивзольно по внушенію впохновенія, чёмъ когла вздуналъ поддёлываться подъ народныя сказки, потому что всякая поддёдка или предваятая мысль парализируетъ непосредственное творчество, а только оно и можеть быть истинно народнымъ. На техъ-же основаніяхъ напаль Велинскій и на Бенедиктова, въ каждомъ стихѣ котораго видѣлъ надуманную вычурность вибсто истиннаго, непосредственнаго творчества, и на Шевырева, за то что "большая часть оригинальныхъ произведеній Шевырева, за исключеніемъ весьма немногихъ, обнаруживающихъ неполивльное чувство, при всёхъ ихъ достоинствахъ, часто обнаруживають болье усилія уна, чыть изліянія горячаго вдохновенія".

Но было бы ложно думать, чтобы, исходя изъ этихъ основаній, Бълинскій всю свою критическую дъятельность основываль на томъ, что подводиль подъ нихъ факты литературы и педантически отрицаль все, что не согласовалось съ ними. Въ то время въ литературъ было много явленій, производившихъ на общество и молодежь сильное вдіяніе, но которыя не были плодами непосредственнаго творчества и не носили на себъ и слъда народности. Таковы были произведенія Одоевскаго и Полевого. Бълинскій умъль цёнить всё литературныя явленія, которыя были прогрессивны для своего времени, хотя-бы и не подходили подъ вышензложенныя определенія поэтическаго творчества. Такъ, не иначе, какъ съ энтузіазмомъ отзывался Бѣлинскій о произведеніяхъ Одоевскаго и высоко цениль повѣсти Полевого.

Вліяніе Одоевскаго и Полевого на Белинскаго бы-

до не менте вліянія университетских в шеллингистовъ и отражается весьма сильно на первыхъ статьяхъ его. Можно положительно сказать, что въ то время, какъ университетскимъ шеллингистамъ былъ обязанъ Вѣлинскій своими эстетическими взглядами, изъ нёмецкихъ писателей Шиллеру и Гофиану, а изъ русскихъ Одоевскому и Полевому быль обязань онъ взглядами моральными, нравственными идеалами. Не иначе, какъ подъ этими вліяніями образовался у Бѣлинскаго идеаль поэта и вообще писателя, въ видъ мученика идеи, безкорыстно, до сапоотверженія преданнаго ся служенію и стоящаго постоянно въ разладѣ съ пошлою толпой, непонимающею генія. По всей в'вроятности, этимъже вліяніямъ быль обязанъ Бёлинскій своею ненавистью къ людямъ большого света за то, какъ онъ натетически выражался, что они "потеряли образъ и подобіе Божіе, за то, что отреклись отъ Бога живаго и поклонились идолу суетъ, за то, что умъ, чувства, совъсть, честь замънили условными приличіями! ". Понятна посл'є этого становится та желчь, которую изливалъ Бълинскій, при всякомъ удобномъ случав, на погоню за свётскостью въ литературе, какъ это иы видимъ, напримъръ, въ нападкахъ на Шевырева, въ стать в "О критик в "Наблюдателя" или въ рецензіяхъ о "Современникъ", журналъ, считавшемся тогда средоточіемъ свётской дитературы и прибёжищемъ великосвётскихъ писателей.

Въ этихъ нападкахъ на свътскую пустоту, "на молодчиковъ и денди, какъ выражался Бѣлинскій, неим'єющихъ никакихъ познаній, кром'є навыка легко болтать всякій вздоръ по-французски, становящихся смъщными и жалкими анахронизиами", затъмъ, въ злыхъ и ивткихъ сарказиахъ, которыми осыпалъ Белинскій всякое легкомысленное отношеніе къ д'яху мысли, постыдный, шарлатанскій торгь непереваренными словоизверженіями, низкое, нагло-безсовъстное отношеніе къ литератур'ї разныхъ Гречей, Булгариныхъ и Сенковскихъ, съ другой стороны-въ возвеличеніи молодого покольнія за то, что оно, празочаровавшись въ геніальности и безсмертій нашихъ дитературныхъ произведеній, вижсто того, чтобы выдавать въ свёть недозрёлыя творенія, съ жадностью предается изучение наукъ и черпаетъ живую воду просвъщенія въ самомъ источникъ "-- во всемъ этомъ мы видимъ живую, светлую сторону пропаганды Велинскаго въ этомъ періодѣ его дѣятельности. Эта сторона его пропаганды и производила именно то потрясающее впечатление на общество, которое заставило съ первыхъ-же статей Бѣлинскаго обратить на него всеобщее внимание. Этою своею пропагандой и заставляль Белинскій молодежь изъ бальных залъ бежать въ библіотеки и аудиторіи, отъ карть бросаться за книги и отъ чтенія романовъ Поль-де-Кока, повъстей Брамбеуса или Булгарина браться за Шекспира, Байрона, Гете, Пушкина и Гоголя.

И вообще должно заметить, что какъ ни узокъ быль еще умственный кругозоръ Ефлинскаго въ этотъ первый періодъ его деятельности и какъ ни отвлеченна та почва, на которой стояль онъ, при всемъ томъ, общее направленіе его мыслей было гораздо живе и прогрессивне, чемъ въ последующій періодъ его деятельности въ "Московскомъ Наблюдатель". Хоти вы

и встречаете въ конце первой статьи его (см. С. В., т. І, стр. 128) несколько мыслей, проникнутыхъ казеннымъ, пошлымъ патріотизмомъ въ роде того, что просвъщение двигается въ Россіи быстрыми шагами, руководствуемое высокими меценатами, а "благородное дворянство, наконецъ, вполив увврилось въ необходимости давать своимъ датямъ образование прочное, основательное, въ духф вфры" и пр., — но надо думать, что всё эти слова были умышленно вставлены въ статью, чтобы хоть какъ-нибудь загладить и затушевать рёзкость некоторых в месть ея и отрицательный характеръ общаго ся направленія. По крайней міръ, эти слова совершенно не гармонируютъ съ цълою статьей и являются въ ней какъ-то съ боку принеку. Но еще более противоречать они со свидетельствомъ самого Вълинскаго объ этомъ періодъ своей жизни. Вотъ что писалъ онъ, въ письмъ своемъ къ Станкевичу, въ 1839 году, т.-е. во время самаго сильнаго увлеченія философіей Гегеля, о направленіи мыслей своихъ въ первый періодъ д'ятельности подъ неносредственнымъ вліяніемъ Шиллера:

«Его «Разбойники», «Коваретво и любовь», вкупів ст «Фізско», этимъ произведеніемь нѣмещкато Гюго, наложили на меня дикую вражду съ общественнимъ порадкомъ во имя абстрактнаго идеала обществе, оторваннато, отъ географическихъ и историческихъ условій развитія, построеннато на воздухі. Его «Донъ-Карлосъ»—эта блідная фантасматорія образовъ безъ лиць и риторическихъ олицетвореній, эта апотеоза абстрактной любии къ человічеству безъ всикато содержанія бросила меня въ абстрактный героизмъ, вні котораге я все превирать, все ненавидіать (и есхиби ти зналь, какъдико и болізненно), и въ которомъ я очень хорошо, несмотря на свой несетственный и напряженный восторть, сознаваль себя—пулемър...

Съ подобнымъ абстрактнымъ героизмомъ, какъ впослъдствіи называль его Вълинскій, какъ нельзя болъе гармонируютъ слъдующія слова, которыя мы встръчаемъ въ той-же первой статьъ Бълинскаго:

«И такъ воть тебѣ двѣ дороги, два неизбѣжные пути: отрекись оть себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами свое своекорыстное я, дыши для счастія другихъ, жертвуй всёмъ для блага родины, для пользы человъчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединение съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтожени твоего я, въ чувствъ безпредълнаго блажен-ства! Что? Ты не рышаешься? Этоть подвить тебя стращить, кажется тебъ не по силамъ? Ну, такъ воть тебь другой путь, онъ шире, спокойнке, легче: люби самого себя больше всего на свътъ; плачь, дълай добро лишь изъ выгоды; не бойся вла, когда оно принесеть тебѣ пользу. Помни это правило: съ нимъ тебѣ вездѣ будетъ тепло! Если ты рожденъ сильнымъ земли, гни твой хребеть, ползи змѣей между тиграми, бросайся тигромъ между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми въндами, рамена согни подъ грузомъ незаслуженныхъ почестей и титлъ. Весела и блестяща будеть жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холодъ и голодъ, что такое угнетение и оскорбленіе, все будеть трепетать тебя, везд'в покорность и услужливость, отовсюду лесть и хваленіе, и по-эть напишеть тебё посланіе и оду, гдё сравнить тебя съ полубогами, и журналисть прокричить во всеуслышаніе, что ты покровитель слабыхъ и сирыхх, столиъ и опора отечества, правал рука государя! Какая тебѣ нужда, что въ душѣ твоей каждую минуту будетъ слишкомт жарко, а въ сердцѣ синикомъ колодно, что вопли угнетенныхъ тобою будутъ пресхъдовать тебя и на свътскомъ пиру, и на мягкомъ ложъ ена, что тъни погубленныхъ тобою окружатъ твой болъненный одръ, составятъ около него адскую плиску и съ яростнымъ кохотомъ будутъ веселиться твоими послъдними предсмертными страданнями, что передъ твоими взорами откроется ужасная картина нравственнаго уничтожения за гробомъ, мукъ въчныхъ!. Э, любезный мой, ты правъ: жизнь—сонъ, и не увидишь, какъ пройдетъ!. За то весело поживещь, сладко поъщь, мягко поспипь, повластвуещь надъ своими ближними, а въдь это чего-нибудь да стоитъ!..» (см. С. Б., т. I, стр. 20, 21, 22).

При всей риторической стереотипности этихъ фравъ, стоящихъ всецёло на почвё догматическаго дуализма, въ нихъ столько жизни, паеоса и желчи, что безъ сомиѣнія, онѣ не были надуманы, а вылились всецёло изъ переполненнаго чувствомъ сердца чистаго юноши, глубоко ненавидѣвшаго все гнусное, что дѣлалось вокругъ него, и искренно готоваго пожертвовать жизнью за благо отечества, какъ бы отвлеченно онъ ни представлялъ себѣ это благо.

Цравда, уже въ первый періодъ своей дѣятельности Бълинскій враждебно относился къ направленію во Франціи литературы и мысли, въ особенности въ XVIII стольтіи, говоря, что факты должно объяснять мыслію, а не мысли выводить изъ фактовъ и что въ XVIII веке опыть привель ни къ чему иному, какъ къ скентицизму, мачеріализму, безвѣрію, разврату и совершенному невъдънію истины при обширныхъ познаніяхъ (см. С. Б., т. І, стр. 282); уже тогда онъ смізялся надъ женщинами-писательницами, между прочимъ, и надъ Жоржъ-Зандомъ, всехъ приверженцевъ женской эмансипаціи безразлично считаль сень-симонистами, всёхъ ихъ одинаково обвинялъ въ отверженін брака и говориль, что если дать право женщинѣ писать, то логика заставляетъ посвятить ее и во всь прочія занятія мужчинь, не исключая и военнаго, а между темъ все имъетъ свое назначение, все прекрасно въ предълахъ своего назначения и дурно вив его, что поприще мужчины цалый міръ, женское же поприще-возбуждать въ мужчинъ энергію души, ныль благородныхъ страстей, поддерживать чувство долга и стремление къ высокому и великому... (См. С. В., т. І, стр. 400—407 и т. Й, 145—147).

Всѣ подобныя мысли совершенно соотвѣтствовали той узкости умственнаго горизонта, какую вы встрътите въ каждомъ мало развитомъ человъкъ, и въ тоже время исходили изъ духа романтическаго движенія въ томъ направленіи, какое оно приняло въ Германіи и у насъ. Не забудьте, что романтизмъ былъ не однимъ только освобожденіемъ поэзін отъ французскаго ложнаго классицизма, но и оппозиціей недозрелой мысли противъ философіи XVIII вѣка, слишкомъ опередившей своимъ реальнымъ направлениемъ міросозерцаніе образованныхъ массъ европейскаго общества. Германское философское движение, смѣнившее французское, съ того и началось, что возстало не только противъ слабыхъ сторонъ философіи XVIII вѣка, но и противъ живыхъ и св'ятлыхъ ея началъ-духа опыта, анализа, скептицизма. Всв германские философы до Гегеля включительно не видели никакого различія между опытомъ и эмпиризмомъ. По ихъ общему миъ-

нію, опыть ни къ чему не ведеть, какъ въ религіи къ безбожію, въ нравственности—къ разврату, въ наукъ—къ безцѣльному блужданію въ массѣ частныхъ, отрывочныхъ впаній—и всѣ они подъ радъ проповѣдывали, что единственное спасеніе человѣчества—въ отвлеченномъ умозрѣніи, въ объясненіи всего сущаго абсолютною идеей, доходящей до самосознанія въ разумѣ человѣческомъ.

У насъ началось гоненіе противъ французскаго вліянія ранже еще увлеченія намецкою философіей. Оно выразилось не только въ реакціонныхъ филиппикахъ писателей въ родъ Греча противъ философіи XVIII въка, но и въ такихъ для своего времени весьма прогрессивныхъ произведеніяхъ, каково "Горе отъ ума", преисполненное, какъ извъстно, желчныхъ нападковъ на рабское подражание всему французскому и сожальющее, зачыть мы не беремъ примыръ съ Китан въ его незнаніи всего иноземнаго. Въ кружкахъ шеллингистовъ началось еще боле систематическое и философски сознательное гоненіе противъ французской философіи XVIII въка во имя философіи германской, противъ опытнаго метода первой, во имя умозрительнаго метода последней, и, наконець, противъ политическаго романтизма французской литературы двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, во имя абстрактнаго романтизма германской литературы, на изучение которой набросились съ увлечениемъ вст шеллингисты. Это направление отражается и на первыхъ статьяхъ Бълинскаго, но отражается еще въ самыхъ общихъ и неопределенныхъ чертахъ, мелькомъ и кое-гдъ. Вълинскій далекъ быль еще отъ техъ крайнихъ франпузовдства и германофильства, какія мы видимъ въ последующій періодъ его деятельности. Хотя сочувствіе его, видимо, склонялось болье на сторону Германіи, но на томъ основаніи, что, по философіи Шеллинга, каждая народность, какъ носительница своей самостоятельной идеи, приносить свою долю пользы, онъ готовъ былъ признать долю пользы и за нелюбимыми французами, хотя и съуживалъ ихъ значение до того, что находилъ ихъ первыми только на паркетъ, и ничего не видѣлъ во Франціи болѣе, какъ только законодательницу модъ, правиль обхожденія, вѣжливости и хорошаго тона.

Точно также далекъ еще быль Бѣлинскій въ этотъ періодъ своей д'янтельности отъ теоріи чистаго искусства. Хотя онъ и говориль, что творчество ноэта есть великое таинство, что минута творчества есть минута великаго священнодъйствія, что творчество безцально съ цълію, безсознательно съ сознаніемъ, свободно съ зависимостью и т. д. (см. С. В., т. І, стр. 209), что поэтъ только тогда можетъ создать истинно художественное произведение, когда творитъ непроизвольно, между темъ, какъ всякая надуманность парализуетъ творчество; но, высказывая эти идеи, Бълинскій дадекъ еще быль отъ техъ крайнихъ выводовъ изъ нихъ, какіе сділаль впослідствін. Онъ не говориль еще, что такъ какъ творчество есть непроизвольное воплощение безотносительной идеи, то содержание истинной поэзін-, не вопросы дня, а вопросы въковъ. не интерссы страны, а интересы міра, не участь партій, а судьба человівчества", что "художникъ въ дивныхъ образахъ осуществляетъ божественную идею для нея самой, а не для какой-нибудь вившней и чуждой ей цвли" и т. д. Напротивъ того, подъ идеяни поэтическаго творчества Вълинскій разу-швлъ еще не однѣ шровыя идеи, отвлеченным отъ всего минутнаго, проходящаго, а прежде всего — идеи, господствующія въ народѣ въ данное врема. Какой-бы частный предметъ жизин ни вдохновлялъ художника, онъ не отрицалъ въ произведеніи его художественности, если видѣлъ, что чувство поэта некренно и непроизвольно вылилось изъ души его. "Если онъ поэтъ, поэтъ истиний, —гоорилъ Бълинскій (см. С. Б., т. І, стр. 35)—то не долженъ-ли сочувствовать своему отечеству, раздѣлять его надежды, болѣть его болѣзнями, радоваться его радостями"?

Высоко ставя идеальную поэзію, представителемъ которой Вілинскій считалъ Шиллера, онъ опреділяль ее такъ, что она "пересоздаетъ жизнь по собственному идеалу, зависящему отъ образь воззрінія поэта на вещь, отъ его отношеній къ міру, къ віжу, къ народу, въ которомъ онъ живетъ". (См. С. В., т. І. стр. 174). Въ то-же время безцільное созерцаніе изящнаго и безогчетное наслажденіе эстетическимъ чувствомъ онъ считалъ принадлежностью міра древняго, отжившаго:

«Для насъ,-говорить онъ (см. С. Б. т. I, стр. 182), вижиная природа, безъ отношенія къ идеж всеобщей жвани, не вибеть никакого смысла, ни-какого значенія, мы не столько наслаждаемся ею, сколько стремимся постигнуть ее; для насъ наша жизнь, сознаніе нашего бытія есть болбе задача, которую мы ищемъ рёшить, нежели даръ, кото-рымъ бы мы спёшили воспользоваться. Мы приглядёлись къ ней, мы свыклись съ нимъ; для насъ жизнь уже не веселое пиршество, не празденственное ликованіе, но поприще труда, борьбы, лишеній и страданій. Отсюда проистекаеть эта тоска, эта грусть, эта задумчивость и, вмъсть съ ними, эта мыслительность, которыми проникнутъ нашъ лиризмъ. Лирическій поэть нашего времени болье грустить и жалуется, нежели восхищается и радуется, болбе спращиваеть и изследуеть, нежели безотчетно восклицаеть. Его пъсня жалоба, его ода-вопросъ. Есян его пъсня обращена на внъшнюю природу, онъ не удивляется ей, не хвалить ее, а ищеть въ ней допытаться тайны своего бытія, своего навначенія, своихъ страданій. Для всего этого, ему кажутся тёсны рамы древней оды, и онъ пе-реносить свой лиризиъ въ эпопею и драму. Въ такомъ случав, у него естественность, гармонія съ законами действительности-дело постороннее; въ такомъ случав, онъ какъ-бы заранве условливается, договаривается съ читателемъ; чтобы тотъ върилъ ему на слово и некаль въ созданіи не жизни, а мысли. Мысль-вотъ предметь его вдохновенія»...

Не что иное, какъ подобное требование серьезнаго, глубокаго содержания отъ поэтическихъ произведений, заставило Вълинскаго въ концъ первой-же статьи своей высказать неслыханно-смълый для того времени парадоксъ, что намъ и литературы пока вовсе не нужно, а прежде всего намъ нужно ученье, ученье, ученье, три раза повторилъ Вълинский это слово. Еслиже на 99-й стр. П тома мы и встръчаемъ мъсто, повиднмому, стоящее въ противоръчи съ этимъ требованіемъ: "вдохновенію не нужна наука, оно учемъе науки, оно никогда не ошибается " и т. д., то здъсь подъ словомъ "наука" разумъется не наука вообще, а піитика, которую Бълинскій считать не только не способною создавать поэтовъ, но гибельною для поэтиче-

скаго творчества и, какъ на примъръ вреда такой науки, онъ показываетъ ниже на французскую классическую литературу прошлаго столътия. Въ этомъ мы видимъ не что иное, какъ продолжение пропаганды Полевого, точно также возстававшаго на классициямъ во ими свободы фантазіи поэта, и самая теорія непроизвольности творчества Бълинскаго была въ сущности та-же романтическая теорія Полевого, только болъе развитая и основанная на -болъе твердыхъ и логичныхъ философскихъ принципахъ.

До какой степени, при всемъ идеализмъ своихъ философскихъ началъ, Бълинскій умель приходить неожиданно къ взглядамъ, поражающимъ своею положительностью и стоящимъ въ разрѣзъ со всѣми его. симпатіями, это мы видимъ во второй-же большой стать вего "О русской повъсти и повъстяхъ Гоголя". Въ этой стать в онъ впервые объявилъ на Руси, что, кром'в идеальной поэзіи, можетъ быть еще иная — реальная, поэзія жизни, поэзія дъйствительности, которая не пересоздаетъ жизнь, но воспроизводить, возсоздаеть ее, и, какъ выпуклое стекло, отражаеть въ себъ, подъ одною точкой эрънія, разнообразныя ся явленія, выбирая изъ нихъ ть, которыя нужны для составленія полной, оживленной и единой картины (См. С. В., т. І, стр. 174, 181). И замъчательно, что при всемъ поклонении своемъ идеальной поэзіи, Вълинскій чуяль, что близки времена, когда реальная поэзія восторжествуєть окончательно надъ идеальною.

«Итакъ-товорить онъ (см. С. Б., т. I, стр. 186)поэзію можно раздёлить на идеальную и реальную. Трудно было бы рышить, которой изъ нихъ должно отдать преимущество. Можеть быть, каждан изъ нихъ равна другой, когда удовлетворнетъ условіямъ творчества, т.-е. когда идеальная гармонируеть съ чувствомъ, а реальная съ истиной представляемой ею жизни. Но, кажется, что послёдняя, родившаяся, вслыдствіе дужа нашего положительнаго времени, болье удовлетворяеть его господствующей потребности. Впрочемъ, здъсь много значить и индиви-дуальность вкуса. Но какъ бы то ни было, въ цаще время, та и другая равно возможны, равно доступны и понятны вебмъ; но со вебмъ этимъ, посладияя есть по преимуществу поэзія нашего времени, болье понятная и доступная для всьхъ и кажда-10, болье согласная въ духомъ и потребностію нашего еремени. Теперь «Мессинская Невъста» и «Жанна д'Аркъ» Шиллера найдуть сочувствие и отзывъ; но задушевными созданіями времени всегда останутся ть, въ коихъ жизнь и дъйствительность отражаются върно и истинно».

Подобныя идеи можно назвать по истин'я пророческими, потому что, высказывая ихъ въ 1835 году, Вълинскій не только опереживаль свой в'якъ, но и самого себя, потому что онь далекъ еще быль отъ того, чтобы на нихъ утвердить оцънку Гоголя, а т'ямъ болъе всю свою критическую д'ятельность. Онъ какъ бы невольно сорвались съ его языка подъ вдохновенемь неожиданно налетъвней свътлой мысли; онъ высказаль ихъ весьма колеблющимся, нетвердымъ голосомъ, то ставя идеальную поэзно рядомъ съ реальною, то послъднюю выше первой, но съ робкими отоворками относительно индивидуальности вкуса. Далефе, въ своей статьъ, онъ оставиль эти мысли совсёмъ въ своей статьъ, онъ оставиль эти мысли совсёмъ въторонъ, какъ будто даже совсёмъ забылъ о няхъ, и началъ развивать иным основаны, на коточ

рыхъ и построилъ первую свою статью о Гоголѣ. Это были тѣ самыя основанія, которыя преобладали въ критической дѣятельности Бѣлинскаго въ этотъ періодъ, т.-е., что творчество поэта должно быть непронавольно и что этою непроизвольностью обусловивается народность поэта. Гоголь, по мижнію Бѣлинскаго, оттого и оригиналенъ, и народенъ, что онъ поэтъ по преимуществу, непроизвольно выливающій свои произведенія изъ гнубины своего духа. Но, хотя и мимолетно высказанныя, вышеозначенныя идеи о реальной позвіи показывають, куда стремились инстинктивныя симпатія Бѣлинскаго.

Послѣ этого можно-ли удивляться тому здравому смыслу, который проявиль Бълинскій въ полемикъ съ Шевыревымъ о платъ за литературный трудъ. Возраженія Велинскаго имеють для нась темь большую важность, что здёсь, кром' голоса здравомыслящаго человъка, мы видимъ впервые раздавшійся голось литературнаго пролетарія, принявшаго на себя защиту нравственнаго права существовать литературнымъ трудомъ. И нечего удивляться, что идеалистъ, романтикъ, ни о чемъ, повидимому, не думавшій, кромъ непроизвольности творчества, спустился неожиданно съ облаковъ и явился приверженцемъ такого грубаго матеріализма, какимъ могъ казаться въ то время вопросъ о деньгахъ. Какъ будто на почва не только идеализма въ духѣ шеллинговой философіи, но и самаго туманнаго, средневъкового мистицизма, не возникали подобные-же вопросы? Они обусловливаются не точкой исхода изъ общаго міросозерцанія, а условіями жизни, и понятно, что въ то время, какъ высокомфрио-черствыя слова ограниченнаго педанта могли быть пропущены мимо ушей сытыми и обезпеченными людьми, такъ-какъ этимъ людямъ, съ одной стороны, было и легко, и лестно похвастаться безкорыстностью своего вдохновенія, а съ другой стороны, эти люди привыкли издревле въ каждомъ бѣднякѣ видѣть продажную душу, готовую забыть совесть и честь изъза денегъ-эти-же самыя слова должны были глубоко оскорбить б'єдняка, жившаго въ мрачной конур'є на Трубъ, которому Шевыревъ объявилъ, что онъ не можеть имъть ни удобной, теплой квартиры, ни хоть сколько-нибудь здоровой питательной пищи, не сдізлавшись продажнымъ, литературнымъ барышникомъ.

Я подагаю, все вышеиздоженное достаточно определенно и ясно показываеть, какой характерь имела д'вятельность В'единскаго въ первый свой періодъ. Мы видимъ, что Белинскій въ этотъ періодъ не имель еще никакого ръзкаго, опредъленнаго направленія и носиль въ себъ съмена и зародыши всевозможныхъ направленій, которыя впоследствіи развились въ нашей литературъ. Онъ могъ сдълаться и славянофиломъ съ своею теоріей народной самобытности и народности творчества; могъ сделаться западникомъ при исключительномъ увлечении намецкимъ философскимъ движеніемъ; могъ сделаться приверженцемъ чистаго искусства со своею теоріей непроизвольнаго творчества, но не чуждъ быль склониться и на сторону полезнаго искусства, требуя, чтобы поэтъ радовался радостію отечества и скорбель скорбію его; могь остаться съ гофмановскими и шиллеровскими идеалами, но могъ сделаться приверженцемъ новаго реальнаго искусства, значение и важность котораго онъ уже предчувствоваль. Подобное совпадение столь разнородныхъ элементовъ было не однимъ только броженіемъ юношескихъ силъ, неустановившихся и ненашедшихъ еще русла, по которому бы направиться въ одну опредъленную сторону. Въ такомъ хаотическомъ состояніи находилась вся русская литература въ это время; весь періодъ шедлингистовъ, къ которому примыкаетъ Бѣлинскій началомъ своей д'ятельности, представляетъ въ себъ такое-же брожение различныхъ эдементовъ, которымъ впоследствии суждено было выделиться изъ общаго хаоса и играть различную роль въ дальнейшемъ развитіи нашей мысли. То-же самое хаотическое совпаденіе раздичныхъ элементовъ мы видёли у прочихъ шеллингистовъ, его-же мы встречаемъ и у Белинскаго, только гораздо рельефиве и иногосторониве, что зависьло отъ большей талантливости, глубины и мгогосторонности богатой натуры Велинскаго.

Далее, затемъ, зависело отъ обстоятельствъ жизни, которому изъ всёхъ отдёльныхъ положеній, найденныхъ нами въ первыхъ статьяхъ Вълинскаго, суждено было развиться въ цёлую теорію и получить преобладаніе въ последующей его деятельности. Если-бы онъ жилъ въ странъ, въ которой сильно были бы развиты общественные вопросы, или, по крайней мѣрѣ, попаль бы въ такой кружокъ, где такіе вопросы преобладали бы, то, безъ сомнанія, требованіе, чтобы ноэть откликался на все вопросы общественной жизни, не замедлило бы получить преобладание въ дальнъйшей критической дъятельности Вълинскаго; германофильство и французобдство были бы немыслимы при такомъ направленіи, и онъ скоро разстался бы съ ними. Попади онъ въ кружокъ сдавянофиловъ, и онъ сталь бы напирать всего болже на идею самостоятельности поэзін и цивилизацін, отрицая все, что къ этой идев такъ или иначе не подходитъ. Но Белинскому суждено было въ самое глухое время всеобщей реакціи и полнаго отсутствія всяких вобщественных винтересовъ попасть въ кружокъ, въ которомъ исключительно преобладали вопросы отвлеченно-философскіе и художественно-эстетическіе, въ которомъ всякій маломальски живой, общественный интересъ, выходящій за предълы индивидуального самосозерцанія, считался признакомъ суетности и призрачности-и въ слѣдующей главътны увидинь, какое вліяніе имъль на Вълинскаго духъ этого кружка.

VIII.

Начало увлеченія кружка Станкевича гегелевскою философіей. —Новый коноводь за отсутствіемъ Станкевича. —Вакунинъ. —Дкойственность выводовь изъ гегелевской философіи и причина ен. — Почему въ кружкі Станкевича утвердились выводы въ абстрантно-примирительнаго направленія съ характеромъ литературно-артистическихъ кружковъ тридцатыхъ и сорковихъ годовъ и ихъ соціальнимъ положеніемъ. —Почему Бълинскій подчинился этому направленію. — Характеристика увлеченія Гегелемъ кружка Станкевича. — «Московскій Наблюдатель» подъ редакціей молодыхъ друвей. —Эстетическія возарвіца Бълинскаго подъ угломъ зрівнія абстрактно-примирительныхъ теорій. —Митенія Бълинскаго о Шилле-

рѣ, Гете, Пушкинѣ, Полежаевѣ, Гоголѣ и Грибоѣдовѣ. —Филиппики противъ французовъ и юной Германіи. —Восхваленіе Греча. —Оппозиція Станкевича противъ увлеченій его московскихъ друзей. —Полнѣйшій разладъ Бѣлинскаго съ духомъ и настроеніемъ общества и паденіе «Московскаго Наблюдателя». — Нѣсколько мыслей о томъ, почему факты такого-же рода повторались неоднократно въ нашей литературѣ. —Матеріальное и правственное положеніе Бѣлинскаго передъ отъѣздомъ въ Петербургъ. —Его собственний взглядъ на гибельное влінніе замкнутаго кружка.

Съ прекращениемъ "Телескопа" въ 1836 году кончается первый періодъ дѣятельности Вѣлинскаго. Затѣять, слѣдуетъ двухлѣтвій перерывъ и мы, опятьтаки, имъемъ весьма смутныя свѣдѣнія о томъ, какъ жилъ и что дѣлалъ Вѣлинскій въ эти два года. Знаемъ только, что онъ собирался ѣхатъ за границу въ качествѣ домашняго учителя въ какомъ-то семействѣ и учился нѣмецкому языку. Знаемъ, что онъ отдыхалъ въ какомъ-то идилической усадъбъ, въ "чистой сферѣ кроткой, христіанской семейной жизни", и Станкевичъ возлагалъ на эту сферу большія и ненапрасным надежды относительно укрощенія сумрачнаго нрава своего ожесточеннаго прілтеля.

«Иолный благородныхъ чувствъ, съ здравымъ, свободнымъ умомъ, добросовъстный — писалъ Станкевичь въ одномъ изъ своихъ писемъ-онъ нуждается въ одномъ только: на опытъ, не по однимъ понятіямъ, увидёть жизне въ благороднѣйшемъ ея смыслѣ; узнать правственное счастіе, возможность гармоніи внутренняго міра съ внѣшнимъ, гармоніи, которая для него казалась недоступною до сихъ поръ, по которой онь теперь вырить. Какъ смягчаеть душу эта чистая сфера кроткой, христіанской семейной жизни! Семейство Бакуниныхъ, идеалъ семейства. Можешь себъ представить, какъ оно должно дъйствовать на душу, которая не чужда искры божіей! Намъ надобно туда вздить исправляться... но яя боюсь испортиться. М. зоветь меня съ своимъ обыкновеннымъ прямодушіемъ, добротой: не знаю, повду-ли? Во мив другой недостатовъ, противопо-ложный недостатку Бълинскаго: я слишкомъ върю въ семейное счастіе, я иногда съ сердечною болью думаю, что это одно возможное... Мнъ надо больше твердости, больше жесткости».

Изъ намековъ этого письма мы видимъ, что чистая сфера кроткой христіанской семейной жизни была не безъ вліянія на Вълинскаго и, по всей въроятности, не мало содъйствовала отвлеченно-примирительному направленію, которое образовалось у Вълинскаго вътеченіи этихъ двухъ промежуточныхъ лътъ.

Между тыть, увлеченіе философіей все болье и болье овладвало кружкомъ Станкевича. Мы видьли въ предъидущей главь, что уже въ 1835 году Станкевичь приступиль къ самостоятельному изученію философіи Шеллинга. Отъ Шеллинга окъ тотчасъ-же перешелъ къ послъдовательному изученію всѣхъ германскихъ философовъ, начиная съ Канта, и первое знакомство съ системой Гегеля тоже относится къ 1835 году. По крайней мъръ, въ этомъ году, въ декабрьской книжкъ "Телескопа", является большая передовая статья Станкевича: "Опытъ о философіи Гегеля", соч. Вильмена. Въ томъ-же году помѣщенъ быль въ "Телескопъ" переводъ лекціи Фихте "О пазначеніи ученыхъ" (см. "Телескопъ" 1835 г., ч. 29, № 17).

Но крайнее увлеченіе философіей Гегеля началось въ кружкі уже послі прекращенія "Телескопа" и отъйзда Станкевича заграницу (въ 1837 г.), и за отсутствіемъ послідняго вожакомъ этого увлеченія сдівлался Бакунинъ.

Бакунинъ кончилъ курсъ въ артиллерійскомъ корнусв и быль выпущень въ гвардію офицеромъ. Его отецъ, говорятъ, сердясь на него, самъ просидъ, чтобы его перевели въ армію; брошенный въ какой-то потерянной білорусской деревні, съ своимъ паркомъ, Бакунинъ одичалъ, сдълался нелюдинымъ, не исполняль службы и дни цёлые лежаль въ тулупё на своей постели. Начальникъ парка жалель его, но делать было нечего; онъ ему напомнилъ, что надобно или служить, или идти въ отставку. Вакунинъ не подозрѣваль, что онъ имбеть на это право, и тотчасъ попросиль его уволить. Получивь отставку, Бакунинъ прі**таль** въ Москву; съ этого времени (около 1836 г.) началась для Бакунина серьезная жизнь. Онъ прежде ничёмъ не занимался, ничего не читалъ и едва зналъ по намецки. Съ большими діалектическими способностями, съ упорнымъ, настойчивымъ даромъ мышленія, онъ блуждалъ, безъ плана и компаса, въ фантастическихъ построеніяхъ и ауто-дидактическихъ попыткахъ. Станкевичь поняль его таданты и засадиль его за философію. Вакунинъ по Канту и Фихте выучился по нъмецки и потомъ принялся за Гегеля, котораго методу и логику онъ усвоилъ въ соверщенствъ, и кому ни пропов'ядывалъ ее потомъ? И Белинскому, и дамамъ, и Прудону.

Но прежде, чёмъ мы приступимъ къ характеристикъ отвлеченно-примирительнаго направленія, которое развидось въ кружке Велинскаго, мы должны установить надлежащую точку эрвнія на основныя причины всёхъ крайностей этого увлеченія. На разсматриваемое нами явленіе, какъ и на всё факты жизни, могуть быть две противоположныя точки зренія -идеалистическая и реальная. Идеалистическая точка эрвнія отличается темь, что она все направленія, стремленія и поступки людей, и всё историческія событія выводить непосредственно изъ идей. По ея мивнію, люди сами по себ'в ни добры, ни злы, ни прогрессивны, ни регрессивны, а представляются какими-то tabula rasa, а все зависить отъ того, что будеть написано на этихъ tabula rasa; если человъкъ случайно увлечется добрыми и прогрессивными принципами, то изъ него выйдетъ прогрессистъ, а если злыми и регрессивными, то онъ сдёлается обскурантомъ. Реальная-же точка зрвнія предполагаеть наобороть, что тв или другія направленій, стремленія и поступки людей происходять прежде всего оть массы условій жизни, создающих въ человеке различныя симнатін и антипатіи прежде еще ихъ разумнаго сознанія и формулированія, и что, затімь, изъ образовавшагося уже направленія создаеть человікь рядь соотвётствующихъ ему идей, принциповъ, создаетъ ихъ самъ, или-же принимаетъ готовые уже, если такіе существують. Реализнъ не отвергаеть возможности увлеченія такими принципами, которые не им'єють никакого соответствія съ реальными наклонностями и побужденіями, вырабатываемыми жизнію, но подобныя увлеченія могуть быть только временныя, не глубокія, и человікъ скоро бросаеть эти принципы, увлекаясь туда, куда тянеть его жизнь.

До сихъ поръ относительно разсматриваемаго нами явленія преобладала въ литературѣ нашей идеалистическая точка зрѣнія. Исключительною виновницей отклеченно-примирительнаго направленія въ кружкѣ Станквича считалась философія Гегеля, въ особонности-же изъ всей этой системы пресловутая формула ея: что отвіствительно, то разумно—то отвіствительно.

Но не стоитъ большого труда разрушить такое заблуждение. Дъло въ томъ, что если всякая философская система, не исключая даже среднев вкового инстицизма *), можетъ послужить для выводовъ, какъ въ духв квіэтизна, такъ и въ духв активнаго вившательства въ жизненную борьбу, то философія Гегеля-въ особенности, потому что, заканчивая собою переходную эпоху романтическаго броженія, она заключила въ себъ, какъ въ фокусъ, ту раздвоенность, которая характеризуетъ собою эту эпоху. Философія Гегеля-это мостъ, одинъ конецъ котораго упирается въ среднев вковой мистицизмъ, другой — въ современный намъ реализмъ. Вотъ почему эта система предетавила зръдище, по того времени невиданное и неслыханное въ исторіи развитія различныхъ философскихъ системъ. Всё другія системы составляють заикнутый въ себъ кругъ и отличаются тъпъ, что разъ вы согласились съ представителемъ ихъ въ основныхъ принцинахъ, вы должны согласиться, вмёстё съ темъ, и во всехъ выводахъ, вы можете даже сами придти къ темъ-же выводамъ, безъ помощи учителя. На почвъ-же философіи Гегеля ученики его изъ однихъ и тёхъ-же основаній пришли къвыводамъ діаметральнопротивоположнымъ, чемъ ихъ учитель. И это зависъло не отъ чего иного, какъ отъ двойственности, скрытой въ самыхъ основаніямъ этой системы, стоящей на распутьи двухъ вѣковъ.

Мы говорили уже выше, обозрѣвая ходъ романтическаго броженія, что философія Гегеля была первая на почвѣ романтизма, рѣшившаяся смѣло отрѣшиться отъ дуализма и признать единое начало всего сущаго, хотя бы на первый разъ начало духовное, и дуализмъ, т.-е. міросозерданіе, основанное на представленіи борьбы между противоположными началами, явился въ философіи Гегеля не на первомъ планѣ, а на второмъ, какъ только переходное состояніе въ развитіи идеи, изъ котораго идея снова возвращаєтся къ своему единству. Мы убъждены, что въ такомъ понятіи, послужившимъ основнымъ началомъ всей философіи Гегеля, всецѣло отразился характеръ вѣва, въ который жилъ Гегель. Вспомните только, въ чемъ заклю-

чалась основная сущность романтическаго движенія: въ томъ, что мысль вышла изъ того детски-непосредственнаго дов'трія, въ какомъ она находилась въ средніе въка, и для нея начались муки борьбы и раздвоенности, изъ которой, казалось, не было никакого выхода. Гегель возвелъ это переходное состояние мысли въ общій принципъ всего сущаго и, сообразно этому, началь учить, что идея существуеть сначала въ состояніи безраздівльнаго, непосредственнаго бытія, потомъ она разлагается на свои противоръчія. А далье... далъе Гегель предчувствовалъ уже выходъ изъ своего въка, хотя и не сознаваль его вполнъ ясно: "далъеучиль Гегель-противорфия должны быть сняты и идея должна явиться въ новомъ блескъ, сознанная разумомъ, воплощенная въ жизни, въ единствъ своего многоразличія. Въ этомъ ученіи примиренія противоръчій и заключалась та обаятельность философіи Гегеля, какую естественно ена должна была имъть для умовъ, растерзанныхъ сомивніями и противорычіями и невидевшихъ никакого исхода изъ нихъ; поэтому, на нее и набросились всь съ жаждой найти въ ней конецъ всемъ сомненіямъ и разрешеніе всехъ вопросовъ въка. Но, затъмъ, сейчасъ-же и представляется вопросъ, въ чемъ-же должно заключаться это примиреніе противорьчій, синтезь, какъ называль его Гегель. Здёсь-то именно и обнаружилась двойственность основаній гегелевской философіи, т.-е. возможность изъ однихъ и техъ-же основаній сделать выводы совершенно противоположные — въ духв среднихъ ввковъ, или современнаго намъ мышленія. Люди, ближе стоявше къ средникъ въкамъ, къ числу которыхъ принадлежаль и самъ Гегель, приняли последнюю фазу развитія иден, синтезъ, исключительно въ смыслѣ абстрактнаго мышленія: по ихъ мнѣнію, сущее есть не что иное, какъ діалектическій процессъ развитія идеи, разлагающейся на свои противоречія. Поэтому, противоръчія, которыми наполнена жизнь, суть явленія только кажущіяся, но не дійствительныя, точно также, какъ и все частное, единичное есть призракъ: дъйствительно только общее, т.-е. соединение противорѣчій въ сознаніи рефлектирующаго разума. Изъ этого выходить, что такъ-какъ міръ полонъ частностей и все въ мірѣ, если хотите, само по себѣ, частное, то истинная действительность возможна только въ разумъ человъка, высшая-же фаза возсоединенія абсолютной идеи во всехъ ея противоречияхъ — есть философія Гегеля; въ ней абсолютная идея сказала свое послъднее слово. Не напоминаетъ-ли вамъ подобное ученіе столь-же наивныя понятія о средоточіи всего вокругъ человъка, господствовавшія въ средніе века? Тогла точно также все звезды небесныя вращались вокругъ земли и весь міръ былъ предоставленъ на служение человъку, да и то не всъиъ людямъ вообще, а только одному какому-нибудь избранному народу. На такой-же средневаковой почва стояль и Гегель, когда училь, что абсолютная идея, пройдя въ своемъ процессв черезъ все мірозданіе, далве, затвив, черезъ исторію Востока, Греціи, Рима, наконецъ, завершила собою всемірную исторію, дойдя до полнаго своего синтеза въ племени германскомъ, именно — въ философіи Гегеля.

Но люди, стоявшие уже въ дверяхъ новаго време-

^{*)} Приверженець квіэтизма въ духѣ средневѣковаго мистицизма можеть опираться на то, что безъ воли божіей волосокъ не можеть упасть съ головы человѣка, и что, слѣдовательно, нашъ удѣль—терпѣть, страдать и покориться; на что приверженець активнаго вмѣшательства въ жизненную борьбу можеть, на основаніи того-же міросозерцанія, возрачьть, что если все отъ Бога, то и стремленіе бороться со зломъ тоже можеть быть внушаемо человѣку божіимъ вдохновеніемъ, причемъ провидѣніе избираеть человѣка орудіемъ для наказанія зла и водворенія правды на землѣ.

ни, сдівлали изъ тіхъ-же основаній совершенно иные выводы. Избавившись изъ узкой сферы индивидуализма и усвонвши себі идею всеобщаго, піроваго, безконечнаго развитія, подъ снятіемъ противорічній они разуміли единство иден и бытія, осуществившеся не только въ мышленіи философа, но и въ самой жизни.

Поэтому, для нихъ недостаточно уже было снимать противоръчія въ рефлектирующемъ разумъ: въ стремленія вносить въ жизнь сознанную ими идею и въ самой жизни симать ея противоръчія они и видъли именно истинный процессъ осуществленія идеи въ единствъ бытія и понятія.

Во всякомъ случат, и въ томъ, и другомъ выводахъ не было и тени оправданія всякихъ мерзостей во имя разумности дъйствительности. О второмъ родъ нечего н говорить: подъ истинно действительнымъ онъ понималъ телько разумную действительность и въ формуль снятія противорьчій объявляль войну всему, что не считалъ разумнымъ и совершеннымъ. Первый-же родъ выводовъ, если и велъ къ отрешению отъ всякаго активнаго отношенія къ жизни и безстрастному квіэтизму, то вовсе, опять-таки, не вследствіе оправданія всёхь гадостей разумностью дёйствительнаго, а напротивъ того, признаніемъ всей реальной действительности за міръ случайности и призрачности и отрѣшеніемъ человіка отъ этого міра въ отвлеченную сферу діалектики. Въ этомъ отношеніи гегелевская философія тёсно сходились съ среднев вковымъ аскетизмомъ, который точно также считалъ все относящееся къ вившней, окружающей насъ жизни-сустой и полагаль, что истинная сфера жизни есть одна только сфера духовная, религіозно-созерцательная.

Но для того, чтобы признать такое учение аскетическаго отрешенія отъ жизни, для того, чтобы уверовать въ него и увлечься имъ, нужно стоять на такой степени развитія, чтобы подобное ученіе было совершенно, что называется, по головь, да и этого еще мало: развѣ мы не видимъ множества людей, стоящихъ на очень низкой степени развитія, но которые, темъ не менее, являются дюдьми вполне живыми, готовыми откликаться такъ или иначе на всякій вопросъ жизни и которые никогда не предпочтутъ активному витемательству въ дела жизни одимпійски-безстрастное, сухое, аскетическое созерцание ея или удаленіе отъ нея въ безвоздушное пространство какихълибо отвлеченныхъ умствованій. Для того, чтобы вступить на путь какого-бы то ни было аскетизна, необходимы особенныя условія жизни, предрасполагающія къ такому направленію мысли. Такимъ образомъ, не въ одной философіи Гегеля должны мы искать источника заблужденій, развившихся въ кружкѣ Станневича. Воспринятіе этой философіи въ томъ или другомъ видъ прежде всего зависъло отъ степени уиственнаго развитія, на которой стояль кружокь, но въ то-же время и отъ вліяній условій жизни, съ одной стороны общественныхъ, а съ другой — и частныхъ большинства членовъ кружка. И если иы обратинъ внимание на все это, ны увидимъ, что какою-бы философскою системой ни увлекся Ефлинскій со своими друзьями, во всякомъ случай, они не замедлили-бы придти къ выводамъ въ духѣ того-же квіэтизна и отвлеченной созерцательности.

Прежде всего надо обратить вниманіе на то, что кружокъ, по своему развитію, стояль на степени самаго узкаго индивидуализма. Хотя члены его и много толковали о цивплизаціи самостоятельной и подражательной, всё эти, повидимому, широкія идеи примѣнялись не иначе, какъ къ вопросу о развитіи одъльной личности въ томъ или другомъ духѣ. Въ саморазвитіи или взаимномъ развитіи между членами кружка замыкались всё умственные интересы друзей. Къ тому же и саморазвитіе это принималось въ тёсномъ симъслъ развитія изящно-эстетическаго и отвлеченно-философскаго. И это обусловливалось не одною только узостью умственнаго кругозора: самая жизнь вела къ этому.

Между твив, какъ старое поколвніе сходило малопо-малу съ поприща, унося съ собою свои неоправданныя мечты или въ настоящіе гробы, или въ гробы въ виде инстицизма, немой анатін въ какой-нибудь усадьбь, въ отдаленномъ захолустьь, молодое поколеніе воспитывалось среди глухой, непробудной реакціи, среди массы общества, совершенно индифферентнаго ко всякимъ вопросамъ, превышавшимъ мелочную, ношлую обыденность. Ни малейшаго живого звука вокругъ, ни малейшаго проблеска где-либо какого-нибудь общественнаго движенія, которое могло-бы обратить на себя вниманіе и заставить задуматься юношу;глухое молчание вокругъ и утомительно скучная будничная канитель тянулась безъ конща мъсяцы, годы... Среди такой пустоты и скуки вокругъ, можно себъ представить, какъ сладка и упоительна могла казаться юношъ внутренняя, отвлеченно-умственная жизнь въ ствнахъ аудиторіи или въ тесномъ кружке товарищей: тамъ была хоть какая-нибудь жизнь, движеніе, развитіе, горячіе споры и пренія, тамъ манила, увлекала и распаляла воображение философія своими бездонными пропастями отвлеченно-туманныхъ умствованій; тамъ лидась среди глубокой тишины, надъ пританвшею дыханіе толпой, полная вдохновенія рѣчь любимаго профессора, который, казалось, такъ горячо, безкорыстно быль предань своему дёлу, и юношество ноучалось у этого профессора тому, что на первомъ планъ должно стоять въ жизни мыслящаго человъка эстетическое развитіе, что тотъ никогда не сдёдается истиннымъ человъкомъ, въ комъ не развито чувство изящнаго, что только просвётленіе чувства художественною созерцательностью и мысли философскимъ анализомъ можетъ возвысить человека налъ массой грубаго эмпиризма и низкой чувственности. Подъ вліяніемъ этой пропаганды вчитывались, вдумывались. опять вчитывались, опять вдумывались юноши въ произведенія великихъ поэтовъ, путались въ философскихъ опредъленіяхъ и категоріяхъ и аскетически удалялись въ эту отвлеченную сферу не только отъ грубой чувственности, но и отъ всей внешней, окружавшей ихъ жизни, и не только отъ участія въ ней, но и отъ анализа ея. При всехъ своихъ философскихъ увлеченіяхъ, юноши оставались, по своимъ убъжденіямъ, общественнымъ, нравственнымъ, семейнымъ, на степени техъ же патріархальныхъ, беззавётныхъ вёрованій, какъ и любой простодюдинъ, незнавшій грамоты. Они сознавали, что общество тонеть въ пошлости и грязи, но это сознаніе не шло у нихъ далье сожальнія, за-

чёмъ толца не увлекается такъ глубоко Шексинромъ или Гете, какъ они, и зачемъ не все философы по Шеллингу и Гегелю. Такое прекраснодущіе, прямое следствіе узкой, замкнутой жизни, школы и теснаго кружка, могло разсъеваться очень быстро, если человъкъ по выходъ изъ училища долженъ былъ немедленно вступать въ близкое, непосредственное столкновегіе съ практическою жизнью. Въ такомъ случав, ему оставалось что-нибудь изъ двухъ: или погибнуть, если онъ по своей натурѣ не могъ подадить съ окружающею его ношлостью-такъ и ногибали въ то время многія свіжія, молодыя силы, погибали часто въ глухой безвъстности, безъ мальйшаго участія или сожаленія — или-же номириться съ действительностью въ такомъ видъ, какова она есть, и махнувъ рукой на юныя мечты, Шилдера и Гегеля, втянуться въ тину мелкой ругины... Но кром'в этихъ двухъ, въ обоихъ случаяхъ печальныхъ исходовъ, былъ еще третій, возможный, конечно, не для всёхъ, но для весьма значительнаго большинства юношей особенной среды. Это была та среда несановитаго дворянства, о которой мы говорили въ предъидущей главъ. Это были юноши, составлявшіе въ то время большинство учащейся молодежи въ университетахъ. Они были не настолько знатны, чтобы, по выходъ изъ университета, блистать въ большомъ свете и втянуться по уши въ светскую жизнь, и не на столько бедны, чтобы непременно запрягаться въ служебную лямку. Многіє изъ нихъ, правда, удалялись и въ свътскіе, и въ служебные круги, но тъ, въ которыхъ сильно были возбуждены умственные интересы, могли безъ всякихъ затрудненій изб'яжать всякихъ столкновеній съ вн'яшнею жизнью, и по выходъ изъ университетовъ и училищъ оставаться все такими-же прекраснодушными мечтателями, хоть до седыхъ волосъ. Многіе изъ нихъ до съдыхъ волосъ такими и остались. Изъ этихъ-то прекраснодушныхъ пропріетеровъ и составились въ сороковые годы цёлые кружки, группировавшіеся овкругъ какого-либо семейства, въ какой-нибудь упомтельной усадьбъ или гостепріимномъ домъ Москвы. Таковы, напримъръ, быди, по воспоминаніямъ Панаева, сепейства Аксаковыхъ, Щепкиныхъ, Майковыхъ; такова была чистая сфера кроткой, христіанской семейной жизни, которою такъ восхищался Станкевичъ. Очень часто кружки собирались и вокругъ женщинъ, особенно привлекавшихъ силой развитаго ума или граціи-такова, напримірь, была Елизавета Павловна Фролова, съ которою были дружны Станкевичъ, Грановскій и иногіе другіе зам'вчательные люди того времени и о которой всё современники отзываются не иначе, какъ съ увлеченіемъ. Всё эти кружки вели жизнь совершенно замкнутую въ своей сферъ, и надо зам'втить, что врядь-ли когда повторится на Руси подобная-же жизнь до такой степени обаятельная, привольная, свётлая при всей тяжести общественной обстановки того времени, исполненная утонченнаго, изящнаго эпикуреизна чисто-классическаго свойства. Въ самомъ деле, читая различныя воспоминанія и описанія жизни этихъ кружковъ, вы точно будто переноситесь въ древній міръ, въ среду какихънибудь авинянъ временъ Сократа, беседующихъ въ твии прохладныхъ портиковъ о разныхъ философскихъ вопросахъ при дружескихъ и веселыхъ возліяніяхъ Вакху. Съ этимъ только и можно сравнить эти въчные разътван то по усадьбамъ, то по заграничнымъ городамъ, этотъ обивнъ мысли и остроумія, философскихъ преній и эстетическихъ наслажденій, то въ какомъ-нибудь сельскомъ домикѣ за шипучимъ самоваромъ въ кругу изящныхъ женщинъ и такихъ-же изящныхъ юношей, то на дружеской пирушкъ или гастрономически утонченномъ объдъ, на которомъ шамнанское лилось рекой, то въ дрезденской картинной галлерев, среди развалинъ Рима или въ аудиторіяхъ берлинскаго университета. Это былъ по истинъ пиръ во время чумы. Я далекъ отъ утвержденія, чтобы веселіе этого пира ничёмъ не помрачалось. Достаточно было мукъ непризнанной дюбви, или хотя и признанной, но быстро испарившейся и утратившей свёжесть чувства вследствіе преданія ея излишнимъ философскимъ рефлексіямъ; достаточно было преждевременной смерти какого-либо дорогаго гостя пиршества, напримёръ, Станкевича, Фроловой или Бёлинскаго, наконецъ, достаточно было, чтобы чума, зацеливши коголибо изъ пирующихъ, неожиданно швырнула его куданибудь къ чорту на кулички - веселіе пирующихъ смолкало, омрачалось на некоторое время---но общій характеръ жизни мыслящихъ и артистическихъ кружковъ сороковыхъ годовъ, все-таки, былъ пиръ, циръ

Читатель можетъ изливать сколько угодно ироніи на эту среду и на характеръ ея жизни, на почвъ которой и развились тѣ утонченные эпикурейцы, праздные фразеры и щенетильные эстетики, которые были воспроизведены впослёдствін литературой въ типахъ Лаврецкаго, Райскаго, Бакланова и проч. Мив-же, въ качествъ безпристрастнаго историка, приходится спокойно обсудить значение этой среды въ развити нашего общества, ея долю пользы и долю вреда, которыми мы ей обязаны. Приступая къ такому обсужденію, прежде всего я долженъ зам'ятить читателю, что, при всей его наклонности къ ироніи, онъ долженъ быть признателенъ этой средв за то, что только она и сохранила хоть какіе-либо свободные умственные интересы въ разбираемый нами періодъ, и не будь ея-всякіе уиственные интересы надолго изсякли-бы въ нашемъ обществъ, и Богъ-въсть въ какомъ положенін находились-бы мы въ настоящее время. Этою заслугой своей вышеупомянутая среда была обязана не чему иному, какъ своей обезпеченности, дававшей ей возможность жить вполнъ изолированною и въ своемъ родъ независимою жизнью. Въ этомъ отношении философско-артистические кружки тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ въ миніатюрь исполнили роль, подобную среднев ковымъ понастырямъ, которые тоже при своей изолированности могли сохранить кой-какія струн древней цивилизацін и не дали варварству окончательно стереть съ лица земли всякую ея традицію. Но такая изолированность отразилась также вредно на большинств' кружковъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, какъ и на средневѣковыхъ монастыряхъ. Подобно тому, какъ последніе, замкнутые отъ столкновенія съ живымъ міромъ въ отвлеченную сферу аскетизма, исказили самое наследіе, которое древніе века завъщали имъ, обративши его въ сухую и мертвую

сколастику, тоже, въ друговъ только видъ, случнлось и съ артистически-философскими кружками, о которыхъ ны говорили. И здёсь открывается передъ нами обратная, мрачная сторона вліянія этихъ кружковъ. Обезпеченные, на сколько было возможно, отъ непосредственных столкновеній съ жизнью, наши философы и эстетики все болбе и болбе удалялись отъ того реальнаго ея анализа и пониманія, которое само собою возникаетъ путемъ опыта, когда жизнь начинаеть тереть бока мало-мальски мыслящему человёку. Вмёсто такого анализа жизни явилось отвлеченносхоластическое подведение подъ философския категорін ея общихъ схемъ въ родъ религіи, власти, семьи, науки и искусства... Подобно тому, какъ средневъковой отшельникъ требовалъ, чтобы всё люди были такіе-же аскеты, какийъ быль онь, не думая вовсе о томъ, есть-ли какая-либо возможность и надобность заглушать въ себѣ всѣ человѣческія потребности и страсти, живя не въ безлюдной пустынъ, но въ міръ, ежеминутно возбуждающемъ ихъ въ человекъ такъ и наши эстетики, подъ вліяніемъ благопріятныхъ условій своей эпикурейской жизни, составили себ'є въ своемъ родъ аскетическій идеалъ гармонически-изящнаго уравновъщенія всёхъ чувствъ и страстей и олимпійски-спокойнаго и философскаго созерцанія, чуждаго всякой односторонней вражды и злобы партій и, подобно средневъковымъ монахамъ, они совершенно забыли при этомъ, что такой браминскій квіэтизмъ трудно выполнимъ даже для нихъ, хотя сытая, обезпеленная жизнь болбе всего могла способствовать усивку подобнаго балансированія въ предвлахъ гармоническаго спокойствія. Но что имъ было за діло до слезъ, стоновъ и проклятій ихъ ближнихъ? Влижніе должны были все это затаивать и глотать, если хотели возвыситься до ихъ одимпійски - ведичественнаго снокойствія, въ противномъ случат они рисковали заслужить презраніе, какъ жалкія односторонности, неимъющія силь освободиться отъ узкой субъективности и возвыситься до истиннаго человеческаго идеала-ввинаго сіянія Аполлона Бельведерскаго. Вотъ гдъ настоящій, истинный источникъ того примиренія и оправданія, который развился въ кружка Станке-

Иниціатива этого принадлежала не столько Гегелю, сколько людянь вродъ Станкевича; Боткина и пр., которые проповъдывали безпристрастно-объективное отношение къ жизни, потому что не замъчали на себъ ея шиповъ и терній, потому что жизнь гладила ихъ иягкою, бархатною лапкой, скрывая про другихъ свои когти. Мы видели въ прошлой главе, что раньше еще увлеченія Гегелень, Станкевичь никакъ не могь помириться съ полемическимъ задоромъ Бълинскаго, и не изъ чего иного, какъ изъ того, что уже тогда Станкевичь успаль создать идеаль олимпийски-бевстрастнаго созерданія жизни. Что въ этомъ челов'єк'є было развито не столько примиреніе съ темными сторонами общественной жизни, сколько упорное отрашение отъ всякихъ живыхъ интересовъ ея и полный индифферентизмъ ко всему, что лежало внъ вопросовъ эстетическихъ и философскихъ, это намъ весьма наглядно показываеть одно изъ его заграничныхъ нисемъ:

«Воть уже нёсколько дней живу я въ Карлсбасочинения а. скасичевскаго. дѣ—пишетъ онъ 20-го сентября 1837 года въ Невърову—началь пять воды и началь неиножко скучать—не съ къмъ молвить слова: молчать пъвъй день, право, непріятно... Вчера занимался я въ Lesesaal и пресерьевно читаю «Journal de Débats» и «Gazette de France»: хевийъ думаль, что я охотникъ до политики, и, отъ всей души принимал участіе въ моемъ положенія, тотъ-же часъ даль миждва нумера «Débats» на домъ, говоря: онпе Politik zu lesen ist war doch Todt—но я умираю отъ скуки, читам большую часть этихъ политическихъ толковъ. Меня занимаеть отчасти романъ Тика «Tischlermeister», который я читаю въ свободные часъ, больше по вечерамъ, потому что днемъ должно ходить и проч.».

Вы видите здёсь не человека, оправдывающаго данный порядокъ жизни, который, при всемъ этомъ оправдания, можетъ быть, однако-же, очень глубоко занитересованъ вопросами жизни, можетъ зачитываться газетой своей партии и активно относиться къ политикъ, хотя-бы и въ дукъ своего оправдания. Напротивъ того, вдесь передъ вами отвлеченный гелертеръ, который зъваетъ надъ газетами и не можетъ понять, какъ ето люди, виъсто высокихъ эстетическихъ наслажденій и философскихъ размишаеній с началь всёхъ началь, могутъ заниматься такими мелочными дрязгами жизни, какъ различныя политическія пренія.

Но читатель при этомъ, конечно, сейчасъ-же спросить меня: если я считаю одною изъ главныхъ причинъ такого отрашенія отъ живыхъ вопросовъ изолированное положение людей отъ шиповъ и терний жизни вследствіе техь благопріятных условій, какія представляла для этого обезпеченная, независиная усадебная жизнь насчеть труда другихъ, то какъ-же Бълинскаго я приравняю къ такинъ-же условіямь? Не выгораживаль-ли я его въ предъидущей глава отъ его прекраснодушныхъ товарищей, не объяснялъ-ли я его страстную наклочность къ полемикъ, его ненависть ко всему гордому, надменно-возвышающемуся, его разочарование и ежесточение противъ условий современной ему жизни именно темъ, что человекъ этотъ слинкомъ много изстрадался, чтобы быть въ состояни относиться съ тою-же объективною безстрастностью, съ какою относились къ жизни счастливые его пріятели? Какъ-же теперь я объясню внезаиный поворотъ Бълинскаго на путь того-же примирительнаго прекраснодушія, въ какомъ находились друзья его?...

Но мы видели уже въ предъидущей главе, что все живыя стремленія Бълинскаго, всё симпатій, выработанныя въ немъ жизнью, находились еще на степени неосмысленных в инстинктовъ, далекія еще отъ глубокаго, яснаго сознанія ихъ и принципіальнаго опредъленія. Мысли Белинскаго находились еще въ томъ неопределенномъ хаосъ, въ которомъ предчувствие идей и стремленій, согласных в съ характеромъ его, выработаннымъ жизнью, смъщивались безразлично съ различными вившними вліяніями. Онъ стояль на распутьи самыхъ разнообразныхъ направленій мысли. При такомъ детстве мысли достаточно было первыхъ встрътившихся людей, которые приласкали-бы бездомнаго, одинокаго бъдняка, приняли-бы нъжное, дружеское участіе въ немъ и явились-бы передъ нимъ съ выработаннымъ уже, систематическимъ міросозерцаніемъ, и ему тімъ естественні было подчиниться вліянію этихъ людей, чёмъ сами по себё умнёе и

цъльнъе были эти люди, чъмъ образованнъе и идеальнъе казались ему они, чъмъ, наконецъ, увлекательнее была всепобеждающая сеть ихъ философской діалектики. Разъ съвши за праздничный пиръ, Бълинскій волей-неволей втянулся въ общее похмёлье, котя-бы это и было для него похивлье въ чужомъ пиру. Наконецъ, въ чемъ заключался для него жизненный опыть? Пока только въ рядъ гнетущихъ воспоминаній дътства. Но эти воспоминанія могли оттынять и представлять въ болбе обантельномъ свете жизнь, исполненную тонкаго изящества, вижшией гуманности, философскихъ преній и эстетическихъ наслажденій, которая представилась Белинскому въ кружке его пріятелей. Чёмъ темнёе было сзади, тёмъ свётлёе должно было казаться Бълинскому вокругъ въ новой обстановкъ. Вълинскій былъ подобенъ полузамерзшему путнику, попавшему, после всёхъ неистовствъ выюги, въ теплую избу; хотя въ избъ и темно и чадне, клопы и тараканы, но путнику должно казаться, что лучше этой избы ничего не можетъ быть. Такъ и Вълинскому могло казаться, что онъ нашель такихъ людей, выше которыхъ не можетъ вырабатывать жизнь, такую среду, которая по истинъ можетъ быть названа земнымъ раемъ, и что нътъ и не можетъ быть конца блаженству въ этомъ раю. Естественно было. Бълинскому вакупориться отъ всего міра въ этомъ рай. Въ особенности его иллюзін должны были разцвесть, когда и самое матеріальное положеніе об'єщало устроиться къ лучшему. Въ "Московскомъ Наблюдателъ", который издавался Степановымъ подъ редакціей Андросова и Шевырева, произошла перемъна: Шевыревъ оставилъ редакцію въ 1838 году, и на мъсто его редакцію принялъ почти въ полное свое распоряжение Бълинскій со своими друзьями. Это было выраженіемъ полнъйшаго торжества Бълинскаго и его друзей надъ непріятелемъ въ лицѣ Шевырева. Въ это время увлеченіе философіей дошло въ кружкѣ Станкевича до своего апогея. Толковали о феноменологіи и логикъ Гегеля безпрестанно: нътъ параграфа во всъхъ трехъ частяхъ логики, въ двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который-бы не былъ взять отчаянными спорами нъсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цёлыя недёли, не согласившись въ опредъленіи "перехватывающаго духа", принимали за обиды инвнія объ "абсолютной личности, в ея по себп бытіи". Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинъ и другихъ губернскихъ и уъздныхъ городахъ немецкой философіи, где только упоминалось о Гегелъ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятень, до паденія листовь въ несколько дней. Такъ, какъ Франкеръ въ Парижѣ плакалъ отъ умиленія, услышавъ, что въ Россіи его принимають за великаго математика и что все юное поколѣніе разрѣшаетъ у насъ уравненія разныхъ степеней, употребляя тѣ-же буквы, какъ онъ-такъ заплакали-бы всё эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Вадке, Шиллеры, Розенкранцы и самъ Арнольдъ Руге, котораго Гейне такъ удивительно хорошо назвалъ "привратникомъ гегелевой философіи -- еслибъ они знали, какія побонща и ратованія возбудили они въ Москвъ между Маросейкой и Моховой, какъ ихъ читали и какъ ихъ покупали. Главное достоинство Павлова состояло

въ необычайной ясности изложенія, нисколько не терявшей всей глубины нъмецкаго мышленія; молодые философы приняля, напротивъ, какой-то условный языкъ; они не переводили на русское, а перекладывали цъликомъ, да еще для большей легкости оставляя всё латинскія слова іп сгидо, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей...

Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка, болве глубокая. Молодые философы наши испортили себъ не однъ фразы, но и пониманье; отношеніе къ жизни, къ двиствительности сделалось школьное, книжное; это было то ученое понимание простыхъ вещей, надъ которыми такъ геніально сивялся Гете въ своемъ разговоръ Мефистофеля съ студентомъ. Все въ самомъ дъль непосредственное, всякое пустое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи, и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блёдной алгебрической тънью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человъкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорога какой-нибудь солдать подъ хивлькомъ, или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредъляль субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на въкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ "гемюту" или къ "трагическому въ сердив". Тоже въ искусствъ. Знаніе Гете, особенно второй части "Фауста" (оттого-ли, что она хуже первой, или оттого, что труднъе ея) было столько-же обязательно, какъ имъть платье. Философія музыки была на первомъ планъ. Разумбется, о Россини и не говорили, къ Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детскимъ и бъднымъ, за то производили философскія слъдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходныя кантаты, сколько за то, что онъ бралъ философскія тэмы для никъ: "Всемогущество Божіе" — "Атласъ". Наравић съ итальнискою нузыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дорогѣ и все политическое.

Подобное направление не замедлило, конечно, отразиться на характеръ "Московскаго Наблюдателя". Онъ началъ наполняться исключительно почти произведеніями и виецкихъ поэтовъ, и изъ поэтовъ Гете, а изъ прозаиковъ Гофианъ стояли на первоиъ планъ; въ то-же время ни одного нумера не проходило безъ какихъ-либо философскихъ и эстетическихъ разсужденій. Такимъ образомъ, журналь имълъ вовсе не такой энциклопедическій характерь, какой им привыкли себъ представлять съ именемъ этого рода изданій у насъ, въ Россіи: это былъ журналъ спеціальный, философско-критическій исключительно. Рядомъ съ критическими статьями, построенными на основаніяхъ философіи Гегеля, тамъ встрачались статьи, посвященныя изложенію гегелевской философіи, наконецъ, выдержки изъ самого Гегеля. Таковы были, напримъръ, "Гимназическія ръчи Гегеля", "О философской критикъ художественнаго произведенія Ретшера. Читатели журнала, повидимому, не совствъ были довольны крайнею сухостью многихъ статей журнала, въ особенности статьей Ретшера. По крайней мъръ, объ этомъ мы имъемъ свидътельство самого Вълинскаго: "Многіе читатели жаловались — говорить онъвъ одной изъ своихъ статей (см. С. Б., т. II, стр. 314) — на помъщеніе нами статьи Ретшера "О философской кричикъ художественнаго произведенія", находя е е темною, недоступною для дониманія". И при этомъ Вълинскій обращается въ публикъ съ наставительнымъ тономъ: "прежде всего мы скажемъ, что не всъ статьи помъщаются въ журналахъ только для удовольствія читателей; необходимы иногда и статъи ученаго содержанія, а такія статьи требуютъ труда и размышленія".

Подъ вліяніемъ новаго направленія, многіе прежніе взгляды Бълинскаго радикально измѣнились, другіе-же получили развитіе, котораго прежде не имели. Прежде Бълинскій, выходя изъ теоріи непроизводьности творчества, съ одинаковымъ сочувствіемъ относился въ каждому лирическому стихотворенію, если видълъ, что оно проникнуто естественнымъ, непроизвольнымъ чувствомъ. Теперь-же, создавши себъ идеаль объективно-спокойнаго созерцанія жизни, онъ нодвелъ подъ этотъ идеалъ поэтическое творчество: истинно-художественнымъ, поэтическимъ произведеніемъ онъ сталъ теперь считать только такое, въ которомъ, при объективномъ созерцании жизни со стороны художника, онъ видель такое тесное, безразличное соединение иден съ формой, чтобы идея совершенно поглощалась формой; всякое-же преобладание иден или чувства надъ формой, по его митию, выдъляло произведение изъ пределовъ истинно-художественнаго творчества.

«Въ творчествъ сила не въ идеъ-говоритъ онъ (см. т. II, етр. 386)—а въ формъ, которая, само собою разумжется, необходимо предполагаеть и условливаетъ идею, и эта форма должна быть проникнута кроткимъ, благоленнымъ сіяніемъ эстетической красоты. Величіе содержанія (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозрѣваетъ ее... Первый-же и высшій способъ непосредственнаго выражения истины-говорить онъ ниже на 388 стр.—есть художественная поэзія, или поэзія формы; а поэзія содержанія, тоесть, такая позвія, которой сила и могущество закаючается въ глубокости и великости идеи, занимаеть середину между этими двумя способами непосредственнаго способа выраженія истины. Она колеблется между красноръчіемъ и художественностью, безпрестанно переходя то въ краснорѣчіе, что вредить ей, то въ художественность, что возвышаеть ее. Въ этомъ смыслё она есть какой-то недоносокъ, и ен произведенія не могуть надбяться на долго-

Отправлянсь отъ такой узвой доктрины, Вълинскій началъ разить и отрицать все, что не подходило къ ней, съ слепотой, поразительной для человъка съ такимъ тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, какимъ былъ одаренъ Вълинскій. Такъ, напримъръ, этого мало, что Гете за его олимпійскую безстрастность онъ поставиль выше Шиллера, онъ началъ совершенно отридать Шиллера и поставиль его ниже Пушкина. "Шиллеръ—говорить онъ—въ которомъ философскій элементъ безпрестанно боролся съ художественнымъ элементомъ и часто побъждалъ его, Шиллеръ, едва-ли не въ большей части своихъ произведеній, принадле-

жить къ числу этихъ полупоэтовъ (то-есть, вышеозначенныхъ недоносковъ, витающихъ между художественностью и красноръчемъ). Гете и нашъ Пущкинъ-вотъ чисто поэтическия натуры: одному довольно сорваннаго цвътка, а другому завядшаго цвътка, нечаянно найденнаго имъ въ книгъ, чтобы ринуть душу читателя въ міръ безконечнаго "... Сравнивая при этомъ произведение Шиллера "Идеалы" съ "Нерендой "Пушкина, онъ ставить последнее на неизмёримую высоту выше "Идеаловъ", именно на томъ основаніи, что первое выражаеть ясную и опред'вленную идею, которую вы можете формулировать, тогда какъ въ "Нереидъ" Пушкина есть идея, но она такъ конкретно слита съ формой, что вамъ, чтобы выговорить ее, надо оторвать ее отъ формы, а форма такъ прекрасна, что у васъ не подымается рука на такую операцію". Изъ этого Белинскій делаеть следующаго рода заключеніе: "спросите всёхъ, что лучше— "Идеалы" или "Нереида": большинство станетъ за "Идеалы", но чьи глаза одарены ясновидениемъ вечной красоты, тв даже не стануть и сравнивать этихъ двухъ произведеній ... За что-же Пушкина-то Бълинскій началь ставить такъ высоко послів того разочарованія, съ которымъ онъ относийся къ нему въ первый періодъ своей діятельности?... А именно за то самое, за что прежде онъ не любилъ Пушкина, за отръшение отъ жизни въ одимпийския сферы безстрастнаго гетевскаго созерцанія, которое было одновременно съ отрешениемъ Пушкина отъ литературныхъ круговъ въ сферы высшаго свъта. "Предметъ отрадный и грустный въ тоже время-говоритъ Бълинскій по поводу посмертныхъ произведений Пушкина (см. С. В., т. И, стр. 332) — съ одной отороны мысль, что эти посмертныя произведенія свидітельствують о новомъ, просвъщенномъ періодъ художественной дъятельности великаго поэта Россіи, объ эпохѣ высшаго и мужественивищаго развитія его геніальнаго дарованія, а съ другой стороны, мысль о томъ жалкомъ воззренін, съ какимъ смотрело на этотъ предметь детское прекраснодушіе, которое, выглядывая изъ узкаго окошечка своей ограниченной субъективности, мфрить действительность своимъ фальшивымъ аршиномъ и, осудивши поэта на жизнь подъ соломенною кровлей, на берегу свътлаго ручейка, не хочетъ признавать его поэтомъ на всякомъ другомъ мъстъ: какое противоръчіе, и сколько отраднаго и горькаго въ этомъ противоръчи"... Изъ этой выдержки мы вкдимъ, что прежде Бълинскій нападалъ на Пушкина не за одну только искусственность творчества въ поддълывании подъ народность, но и раздълялъ мижніе многихъ своихъ современниковъ, въ томъ числѣ и Полеваго, что Пушкинъ и въ самой жизни пошелъ по ложной дорогѣ, несвойственной поэту. Теперь-же, напротивъ того, онъ смѣнлся надъ мнѣніемъ, что среда можеть испортить поэта, считая такое мисие детскимъ прекраснодушіемъ; теперь для него не было среды, не было жизни съ различными ея вліяніями, дурными и хорошими, а существовала только отвлеченная сфера творчества, чуждая всякихъ отношеній нъ жизни, существовала сама для себя, была возможна при какихъ угодно обстоятельствахъ, потому что зависъда не отъ чего инаго, какъ отъ возвышенія

поэта надъ всемъ міромъ и безстрастнаго созерцанія людской жизни, кишащей гдб-то тамъ викзу... Извъстныя произведенія Пушкина "Подите прочь: какое стныя произведенія Пушкина "Подите прочь: какое великій поэть Гете характеризовать эпитетомъ да-дело" и "Пока не требуеть поэта" сделались люби— заретныхъ, и этимъ вполне определиль ихъ отримыми произведениями Бълинскаго, которыя онъ началъ приводить каждый разъ, для нагляднаго представленія своихъ идеаловъ поэта и художественнаго

Если Шиллеръ подвергся отрицанію съ точки зрънія этихъ идеаловъ, то можно себъ представить, съ какимъ сожальніемъ долженъ быль смотреть Велинскій на такого extra-субъективнаго поэта, каковъ быль Полежаевъ. Несмотря на то, что муза его не принадлежала къ числу первостепенныхъ, все-таки, она была живымъ отголоскомъ погубленнаго человъка, который не занимался вычурными измышленіями страданій сердца послів сытнаго ужина и ніскольнихъ бутылокъ шампанскаго, а выражалъ действительное отчаянье человека, котораго вся жизнь была попрана и раздавлена, который на самомъ дёлё

> Не расцевль и отцевль Въ утръ пасмурныхъ дней.

И если взять въ соображение, что въ то времи иного было такихъ-же несчастныхъ, то понятнымъ представляется, что какъ ни скроина и ни бъдна была сама по себъ муза Полежаева, все-таки, она выражала собою одинъ изъ весьма немаловажныхъ мотивовъ жизни того времени; поэтому, она и находила сочувствие въ каждомъ сердив, мало-мальски не зачерствиломъ и способномъ отзываться на всякие естественные и живые мотивы поэзіи, какъ радостные, такъ и скорбные. Въ особенности-же муза Полежаева была дорога для людей, такъ или иначе пострадавшихъ отъ неправды жизни, потому что эти люди въ элегіяхъ Полежаева находили стоны и вопли своего собственнаго сердца. Но для Бълинскаго въ это время не существовало, какъ мы сказали, никакой связи между поэзіей и жизнью; онъ зналъ только свою доктрину, въ силу которой вычеркивалъ изъ области поэзін половину всевозможныхъ явленій творчества. И воть какъ онъ отозвался о стихотвореніяхъ Полежаева согласно своей доктринъ:

«Полежаевъ быль рожденъ великимъ поэтомъ, но не быль поэтомъ: его творенія вопли души, тервающей самое себя, стонъ нестерпимой муки субъективнаго духа, а не пъсни, не гимны, то веселые и радостные, то важные и торжественные, прекрасному бытко, объективно соверцаемому. Истинный поэть не есть ни горинца, тоскине воркующая грустную песнь любви, ни кукушка, надрывающая душу однообразнымъ стономъ скорби, но ввучный, гармоническій, разнообразный соловей, поющій пъснь природъ... Созданія истиннаго поэта суть тимнъ Богу, прославление его великаго творенія... Въ дарствъ божиемъ нътъ плача и скрежета аубовъ-въ немъ одна просвътленная радость, свътлое ликованіе, и самая печаль въ немъ есть грустная радость... Поэтъ есть гражданинъ этого безконечнаго и святаго царства: ему Богь даль илодотворную силу любви проникать въ таинства «полнаго славы твореньи», и потому онъ долженъ быть его органомъ... Вопли растерваннаго духа, сосредоточение въ скорбяхъ и противоръчіяхъ земной жизни, доказывають пребываніе на семлі и только тщетное порываніе къ свътдому, толубому небу—подножию престола Вездъсущаго... Вотъ почему мы не оставляемъ име-

ни поэта за Полежаевымъ, и думаемъ, что его пъсни, нашедшія отзывъ въ современникахъ, не перейдуть въ потомство. Плачевныхъ и скорбящихъ поэтовъ пательное значене въ области искусства» (см. С. В. т. III, стр. 29, 30).

такъ, а не иначе, почему поэту не суждено было прозрать и въ безконечномъ чувствъ безконечной любви найти разръшение и примирение противоръ-

Вы думаете, что хоть на подобный вопросъ послёдуетъ сколько - нибудь прямой и вразумительный ответь? "На это одинь ответь —восклицаеть Велинскій — да будеть благословенна воля Провиденія! "... Впрочемъ, и въ Полежаевъ Бълинскій открываетъ

минутные проблески просветленія и примиренія: «Характеръ імрачнаго отчаянья и тяжелой скорби, поворить онв, лежить на большей части с чиненій Полежаева, но съ его лиры срывались и торжественные звуки примиренія, и гармоническіе аккорды явленій жизни. Кому неизв'єстно его стихотвореніе «Провиденіе», въ которомъ, послё ужасовъ паденія, онъ такъ-торжественно воспъль свое мгновенное возстаніе» и пр. (см. С. Б., т. III, етр. 31).

Къ числу явленій творчества, которыя Бълинскій отрицаль всибдствие ихъ субъективности, относятся и всь сатирическія произведенія, за которыми Бълинскій, въ свою очередь, не признаваль никакого истинно-художественнаго значенія. Еблинскій признаваль, что поэтъ имфетъ право воспроизводить въ своихъ произведеніяхъ сферу пошлости жизни, отрицательный міръ призраковъ и случайностей, какъ онъ выражался на своемъ философскомъ языкѣ, но и въ такомъ случав онъ требоваль, чтобы поэть относился къ своимъ образамъ совершенно объективно, чтобы "ноэтическимъ ясновидъніемъ своимъ онъ провидълъ ихъ идею и, проведя ихъ черезъ свою творческую фантавію, просвытляль этою идеей ихъ естественную грубость и грязность 4. 11

«Объективность, - говорить онъ (см. С. Б., т. Ш, стр. 370), жакъ необходимое условіе творчества, отрицаеть всякую моральную ціль, всякое судопроизводство со стороны поэта. Изображая отрицательныя авленія жизни, поэть нисколько не думаеть писать сатиры, потому что сатира не принадлежить въ области искусства и никогда не можеть быть художественнымь произведениемь. Рисуя нравственных уродовъ, поэть дълаеть это совсемъ не скрыня сердце, какъ думають многіе: нельзя сердиться и творить въ одно и то-же время; досада портить жолчь и отравляеть наслаждение, а минута творчества есть минута величайшаго наслаждентя. Поэть не можеть ненавидьть свои изображения, каковы бы они ни были; напротивъ, скоръе онъ ихъ любить, потому что они представляются ему уже

просвътленными идеей».

Идеаломъ такото объективно-безпристрастнаго изображенія отрицательной стороны жизни Белинскій съ большою натяжкой считалъ Гоголя. Мы говоримъ съ натяжкою, потому что считаемъ всъ требованія Бълинскаго относительно безпристрастной объективности построенными на воздухъ и не имъющими оправданія ни въ одномъ поэтическомъ произведеніи, когдадибо явившемся на светь. Субъективный элементь присущъ въ такой-же шъръ поэтическому творчеству, какъ и объективный, и какъ-бы последній ни преобладалъ надъ первымъ въ некоторыхъ произведе-

ніяхъ, во всяковъ случат, и они не могутъ вполить быть свободны отъ субъективности. Если вы возьмете творенія Гете или Пушкина за послідній періодъ ихъ жизни, и въ нихъ, при всемъ кажущемся олимпійскомъ спокойствін, вы найдете своего рода субъективность, потому что если въ нихъ нёть какихълибо острыхъ чувствъ радости, грусти, злобы, то неужели только одни острыя чувства и составляють сферу субъективности; почему-же всякое спокойное. теплое чувство, "просветленная радость, светлое ликованье", какъ выражается Бълинскій, исключать изъ сферы субъективности? Если-же вы найдете субъективный элементь даже въ самыхъ, повидимому, объективно - безстрастныхъ произведеніяхъ Гете и Пушкина, то въ произведенияхъ Гоголя субъективный элементь преобладаеть еще въ большей степени; что же иное, какъ не чисто субъективный элементь представляеть въ произведеніяхъ Гоголя тотъ смёхъ, изъподъ котораго слышится такая надрывающая грусть? Совершенно вопреки разсужденіямъ Бълинскаго о томъ, что нельзя сердиться и творить въ одно и то-же время, что досада портить жолчь и отравляеть наслажденіе, а минута творчества есть минута ведичайшаго наслажденія, Гоголь самъ признавался, что онъ садился писать въ самыя тяжелыя минуты своей жизни, что смёхомъ надъ своими героями онъ старался заглушать тяжелую, гнетущую тоску, свинцомъ налегавшую на него временами.

Для того, чтобы наглядно показать нехудожественность сатиры, Белинскій уже во время своей петербургской даятельности въ "Отечественныхъ Запискахъ", въ статьв "Горе отъ ума" (см. ч. Ш. стр. 357). представилъ параллельный разборъ "Ревизора" Гоголя и "Горе отъ ума" Грибовдова. "Ревизоръ" представляется въ разборе Велинскаго, очевидно, идеадомъ художественной комедін, по своей объективности, развитію действія, выдержанности характеровъ; между темь, "Горе отъ ума" Белинскій со своею смелою последовательностью, совершенно исключаеть изъ области кудожественных произведеній на томъ основаніи, что въ комедіи этой почти ність никакого дібіствія, характеры, вибсто того, чтобы выражаться въ поступкахъ, сами себя обличають въ сатирическихъ монодогахъ, субъективный, сатирическій элементь преобладаеть въкомедіи надъ всемь, и въ каждомъ стих в вы чувствуете присутствіе самого Грибовдова. Оба эти образца комедіи подобраны весьма удачно, и разборъ ихъ въ частностяхъ выщель блистателенъ, но выводы, тамъ не менте, оказываются совершенно ложными. Недостатки "Горе отъ ума", весьма върно указанные Бълинскимъ, происходятъ, въ сущности, вовсе не отъ того, чтобы сатира, преобладающая въ комедін, сама по себ'є была элементомъ нехудожественнымъ и портила комедію въ той-же степени, какъ еслибы комедія была наполнена адгебраическими вычисленіями; недостатки комедіи, зависять отъ несоблюденія такихъ художественныхъ условій, которыя составляють необходимость этого рода поэзін-таковы быстрота и полнота действія, сила драматическаго эффекта, выдержанность характеровъ; будь эти условія соблюдены, и сатирическія тирады не только не уменьшили бы достоинства комедін, а придавали бы

еще болые опредыленности и рельефности са положеніямь, подобно тому, какъ, напримыръ, сатирическія тирады нисколько не уменьшають достоинствы трагедій Шекспира, котя вы найдете ихъ вы каждомы акты, и никому не придеть вы голову пенять на Шекспира, зачыть оны допускаеть ихъ. Между тымь, по миненю Вылинскаго, всы недостатки комедіи Грибоыдова происходять всецько оттого, что сатира, преобладающая вы ней, есть элементы нехудожественный.

«Выведемъ окончательный результать изъ всего сказаннаго нами о «Горе оть ума», какъ оцёнку этого произведеній — говорить онь въ заключеніе своего разбора (см. С. Б.; т. III, стр. 432)—«Горе отъ ума» не есть комедія, по отсутствію, или лучше сказать, по ложности своей основной идеи; не есть художественное сознаніе по отсутствію самоцібльности, а слідовательно и объективности, составляющей необходимое условіе творічества. «Горе отъ ума»—сатира, а не комедія; сатира-же не можеть бить художественными произведеніемь. И въ эгомъ отношеній «Горе отъ ума» находится на неизміримо безконечномъ разстояніи ниже «Ревизора», какъвнольть 'художественнамъ тробованіямъ искусства и основнямъ законамъ тробованіямъ искусства и основнямъ законамъ творчества».

Рядомъ съ развитіемъ этой противоестественной эстетической теоріи, задатки французойдства, которые мы виділи въ первомъ періодії діятельности Білинскаго, развились до послідней крайности. Въ первый періодъ, онъ хотя и низко ставиль французовъ, но, все-таки, находиль въ нихъ кой-какія преимущества; теперь-же онь началь смотріїть на весь французскій народъ, какъ на скопище развратныхъ изверговъ, не имівющихъ ничего святого.

«Это народъ внѣшности,-говорить онъ на 312 стр. т. П, онъ живеть для внѣшности, для показу, и для него не столько важно быть великимъ, сколько казаться великимъ, быть счастливымъ, сколько казаться такимъ. Посмотрите, какъ слабы, ничтожны во Франціи узы семейственности, родства; въ ихъ домахъ внутренніе покои пристроиваются къ салону и домашняя жизнь есть только приготовленіе къ выходу въ салонъ, какъ закулисныя хлопоты и суетливость есть приготовление къ выходу на сцену. Французъ живеть не для себя—для другихъ; для него не важно, что онъ такое, а важно, что о немъ говорять; онъ весь во внешности, и для нея жертвуеть всёмъ—и человеческимъ достоинствомъ, и личнымъ своимъ счастіемъ. Самая высшая точка духовнаго развитія этой націи, цвътъ ея жизни— есть понятіе о чести... У французовь—у нихъ во всемъ конечный, слепой разсудокъ, который хорошъ на своемъ мъстъ, т.-с. когда дъло идетъ о уразу-мъніи обыжновенныхъ житейскихъ вещей, но который становится буйствомъ передъ Господомъ, когда заходить въ высшія сферы знанія. Народъ безъ религіозныхъ убъжденій, безъ въры въ таинство жизни-все святое оскверняется отъ его прикосновенія, жизнь мреть оть его взгляда. Такъ оскверняется для вкуса прекрасный плодъ, по которому проползла гадина»...

«Все, что есть отвратительнаго въ человъческой природь, говорить онъ въ то-же время о французскихъ инсателяхъ (см. С. Б., т. П., стр. 396), всё ез уклоненія, все, что есть ужаснаго въ гражданскомъ обществъ, всъ его противоръчія все это они отвлекли отъ природы человъка и отъ гражданскато общества, и рядъ чудовищно-нелъпихъ романовъ, повъстей и драмъ наводниль несе бълый свътъ. Евгеній Сю просто-на-просто объявиль, что

на этомъ свътъ быть честнымъ и добрымъ, значитъ мътить прямо на висълицу или на колесо, а быть мерзавцемъ и извергомъ есть върное средство на-слаждаться всъми благами міра сего. Гюго объявиль себя защитникомъ всёхъ гонимихъ, т.-е. физическихъ и моральныхъ чудовищъ: по его теоріи, всъ сосланные на галеры съ клеймомъ лиліи-люди добродътельные, невинно гонимые обществомъ. Бальзакъ проповъдуеть, что быть бъднымъ-все равно, что заживо попасть въ адъ, и что быть счастливымъ и блаженнымъ, значитъ—имъть кучу денегъ и право ставить передъ своею фамиліей частицу де. Дюма возв'єстиль міру, что любить женщину, значить быть готовымъ каждую минуту задушить, зар'єзать ее; что сильно и глубоко чувствовать, значить быть тигромъ, гіеной. Жоржъ Зандъ приглашаетъ людей къ естественному состоянію, почитая гражданскія установленія, и особенно бракъ, главною причиной человъческихъ бъдствій. Развратъ, кровосмъщеніе, равбой, отцеубійство, дітоубійство, братоубійство, предательство, казни, пытки, кровь, гной, різня, тюрьмы, дома разврата—сдёлались любимыми пружинами для возбужденія эффекта. И что-же?—вы думаете, что это люди съ сильными страстями, съ могучею волей, мученики жизни?--Ничего не бывало! это просто добрые ребята, краснощекіе, полные, здоровые, богатые, по модъ одътые, роскошно живущіе. За вкуснымъ об'вдомъ и бутылкой шампанекаго они охотно забывають свое ожесточение противъ жизни, а за порядочную сумму денегъ готовы написать диопрамбъ въ честь ея. Они такъ писами только потому, что это было въ модё и товаръ хорошо съ рукъ шелъ. Дайте имъ денегъони обратятся къ религи-и къ какой вамъ угодно: въ христіанской (даже къ католицизму), къ маго-метанской, къ жидовской; надбавьте цену—они поклонятся идоламъ. Это народъ сговорчивый, и если вы увидите у котораго-нибудь изъ нихъ на лбу морщины, а на устахъ злую усмъшку, то смъло можете сказать-

Какой сердитый видь! Не бойтесь---онъ на дождь сердить!

Но и германофильство Вѣлинскаго не было безусловнымъ и простиралось далеко не на всѣ явленія нѣмецкой жизни. Дѣло въ томъ, что въ то время существовала уже юная Германія, имѣя Берне и Гейне своими представителями. Эта юная Германія не ограничивалась отвлеченными сферами мышленія: она увлекалась живыми общественными вопросами своего времени и требовала, чтобы поэзія отзывалась на эти вопросы. И этого было довольно, чтобы Бѣлинскій преисполнился и противъ юной Германіи такого-же негодованія, какъ и противъ ненавистныхъ францу-

«Да, эта мнан Германія (см. С. Б., т. П, стр. 425)—великій и поучительный урокъ для юношества вебхъ націй! Она лучше веего показнаваеть, какъ бевилодны и ничтожны покушенія индивидуальностей на участіє въ ходё міродержавных судебь. Конечно, общество живеть, развиваеть, техніцовательно, изміжнется, но черезъ кого?—черезъ геніевъ, набранниковъ судебы, которые производять благодътельные перевороты, часто сами того не зная, единственно удовлетворям безсознательному стремженію своего духа. Істо выходить на сцену и говорить: «я геній, я хочу изміжнть къ лучшему общественныя начала», тотъ самозванецъ, который тотчасть-же и ділается жертвой своего самозванства. Кто-же, не понимая жестокихъ уроковъ опыта и сознавши свое безсиліе перестроить дійствительность, живущую изъ самой себя, по непреложнымъ переворить тейшить себя ребяческими выходками протавъ

нея, тоть не перейдеть въ потомство, но только заставить сказать о себь современниковъ-

Ай моська!—знать она сильна, Коль ласть на слона!

Но мы несогласны съ мийніемъ г. Губера о Гейне (Вълинскій разбираеть статью Губера «Взглядь на нынъшнюю литературу Германін»): онъ слишкомъ несправедливъ въ нему. Въ Гейне надо различать двухъ человъкъ. Одинъ прозанческій писатель съ политическимъ направленіемъ. Зараженный тлетворнымъ духомъ новъйшей литературной школы Францін, онъ заняль у нея легкомысліе, поверхность въ сужденіи, безумство, которое для остраго словца искажаеть святую истину. Живя въ Парижъ, онъ изливаеть свою жолчь на то, что зимой бываеть колодно, а лётомъ жарко, что Китай въ Азін, то-гда какъ ему бы надобно быть въ Европъ, и на подобныя несообразности сего несовершеннаго міра, который не хочеть перевернуться вверхъ дномъ, повъривши мудрости Гейне. Потомъ въ Гейне надо видьть поэта съ огромнымъ дарованіемъ, уже не болтуна француза, но истиннаго нъмца-художника, котораго лирическія стихотворенія отличаются непередаваемою простотой содержания и прелестью художественной формы».

Наконенъ, не иначе, какъ увлеченіемъ французобдствомъ можно объяснить тотъ фавтъ, что рядомъ
съ неблагопріятными отзывами о Шиллерѣ, Гейне,
Викторѣ Гюго, Жоржъ-Зандѣ и проч. онъ помѣстилъ
въ "Московскомъ Наблюдателѣ" весьма благопріятный отзывъ о Гречѣ, этомъ ветеранѣ французобдства
у насъ на Руси. Приступая къ оцѣнкѣ сочиненій Греча, Бѣлинскій какъ будто чувствовалъ, что онъ намъренъ дѣлать большія натяжки, разсыная похвалы
Гречу, и что читатели ожидаютъ отъ него совсѣмъ не
этого.

«Нѣкоторые изъ читателей, опытныхъ въ дѣлѣ журналистики—говорить онъ въ началѣ статъи (ом. С. Б., т. II, стр. 455)—часто заранѣе знаютъ, какой приговоръ послѣдуетъ въ томъ или другомъ журналѣ, той или другой книгѣ. Такъ, напримѣръ, мы увѣрены, что многіе изъ читателей, приступивъ къ чтенію нашей статъи, или еще только увидѣвъ въ ен началѣ титулъ осичненій Греча, скажутъ—иные съ ульбкой удовольствія: «поемотримъ, какъ его тутъ отдѣлали», а иные съ ульбкой недовѣрчивости и презрѣнія: «поемотримъ, какъ стотъръ отдѣлали», а иные съ ульбкой недовѣрчивости и презрѣнія: «поемотримъ, какъ тутъ грызутся». Но мы очень рады обмануть ожиданіе тѣхъ и другихъ и доказать фактомъ, что не всѣ предсказанія обываются, и что въ нашемъ журналѣ высказываются миѣнія не о лицахъ, а о сочиненіяхъ».

Мы уже видъли выше, какую узкую мърку употреблялъ Вълинскій для опредъленія того, художественно или нътъ данное произведеніе, и какому грозному ауто-да-фе онъ подвергалъ всъ такія произведенія, которыя не подходили къ его опредъленію художественности, какъ бы они сами по себъ ни были занимательны и полезны. Но для Греча онъ мало того, что дълаетъ изъятіе, оставлял въ сторонъ свою мърку, но даже самъ нападаетъ на тъ требованія, съ которыми онъ относился, напримъръ, къ Шиллеру лии Грибовдову.

«Обыкновенно, прочтуть романь — говорить онь (см. С. Б., т. II, стр. 436) — и не найдя въ немъ художественнаго произведенія, осуждають его на ауто-да-фе, не подумавь о томь, что авторъ и не думаль претендовать на титуль поэта, а хотъль просто написать быль или сказву, для удовольствія

и пользы читателей; и совершенно достигъ своей цьия, потому что нашелъ сеоб и многочисленныхъ читателей, и почитателей. Что нужды, если въ романъ нѣтъ творчества, но естъ вымыселъ, занимательность; нѣтъ фантазіи — естъ воображеніе; нѣтъ глубокихъ идей — естъ върныя практическія замѣчанія о жизни, плодъ опытности и знакомства съ жизнью не по однямъ книгамъ; нѣтъ огня позвіи—естъ теплота чувства; нѣтъ вдохновенія—есть одушевненіе; нѣтъ образовъ—есть портретк; нѣть судущевненіе; нѣтъ образовъ—есть портретк; нѣть судущевнености въ обработкѣ — есть слогъ, языкъ? Что нужды, что это произведеніе не вѣковое, не безсмертное? Авторъ и не имѣль на это претензіи: онъ хотѣль доставить своимъ современникамъ средство къ благородному и полезному развлеченію—и достигъ своей цѣли. Отъ автора должно требовать ни больше, ни меньше того, что онъ обѣщаль...»

Въ такомъ, явно-пристрастномъ тонъ, написанъ весь разборъ. Повсюду такія-же оговорки и рядомъ съ ними хвалебныя фразы. Грамматика Греча-драгоценная сокровищища, неисчерпаемый рудникъ матеріаловъ для изученія русскаго языка и составленія грамматикъ; "Учебная книга русской словесности", котя и содержить понятія не новыя, несообразныя съ современнымъ взглядомъ на искусство и литературу, не отличающіяся наукообразнымъ изложеніемъ и строгостью системы, но, темъ не менее, книга заслуживаетъ вниманія уже по одному тому, что не похожа на всѣ бывшіе и до нея, и послѣ нея опыты въ этомъ родъ. Успъхъ романа Греча "Черная женщина" говорить много въ пользу общества, какъ доказательство, что въ немъ есть живая потребность внутренней жизни и проч., и проч.

Такъ, подъ вліяніемъ ложныхъ теорій, не говоря уже о томъ, что обще взгляды Бълинскаго, общественные и моральные, приняли крайне исключительное, узкое, уродливое направление, но и частные взгляды литературно-эстетические начали искажаться и перепутываться. Врожденное эстетическое чутье, составлявшее главную силу генія Белинскаго, казалось, совершенно оставило его, притупилось, и мъсто его заняло искусственное, схоластическое подведение фактовъ литературы подъ книжныя формулы ложно и уэко понятой философской системы. Вытьсто того здраваго смысла, который поражаль вась въ первыхъ статьяхъ Белинскаго, явился сухой, мертвый, отвлеченный выводъ, идущій иногда совершенно въ разръзъ съ фактами живой дъйствительности. Наконецъ, какъ признакъ близкаго, окончательнаго паденія, въ отзывахъ Бѣлинскаго начало проскальзывать явное пристрастіе, начали попадаться фальшивыя фразы, повидимому, очень громкія, но въ то-же время чуждыя всякаго содержанія, малейшей тени истины; - таково, напримъръ, заключение о томъ, что въ обществъ есть живая потребность внутренней жизни, выведенное изъ того, что общество зачитывается "Черною женщиной" Греча.

Мы говорили выше, что иниціатива такого исключительнаго направленія принадлежала Станкевичу. Но здѣсь мы должны замѣтить, что при всемъ прекраснодушій и отрѣшенности отъ дъйствительности, Станкевичъ, все-таки, далекъ отъ такихъ печальныхъ крайностей, до какихъ дошли его московскіе друзьи. По всей въроятности, еслибы Станкевичъ оставался въ москвъ, и отъ не замединъ придти къ

темъ-же результатамъ, но онъ былъ оторванъ отъ своего кружка заграничною поездкой и въ то-же вреня прожиль накоторое время въ Берлина съ Грановскимъ, котораго одни занятія исторіей дълали человъкомъ болъе живымъ, невольно наталкивая его на современные вопросы. Грановскій быль во многомъ обязанъ Станкевичу, и надо заметить, вліяніе Станкевича на Грановскаго было гораздо благод тельнее, чёмъ на прочихъ друзей его, потому что, при отсутствін всякихъ реальныхъ или определенныхъ научныхъ интересовъ, друзья прямо ринулись въ отвлеченныя сферы философіи, между тімь, какъ Грановскаго философія только отвлекла отъ погруженія въ сухую, педантическую разработку мелочныхъ фактовъ, въ которую онъ рисковалъ погрязнуть, еслибы Станкевичь не указаль ему, хотя и не на лучшій, но, во всякомъ случат, на болте благотворный для нашего общества путь обобщенія фактовъ исторіи философіей. Но и Станкевичь, въ свою очередь, остался не безъ вліянія со стороны Грановскаго. Съ другой стороны, и заграничная обстановка действовала на Станкевича своими впечативніями гораздо благотворнъе, чъмъ замкнутая, жизнь въ Москвъ въ тесномъ кружкъ между Моховой и Маросейкой, Наконецъ, Станкевичь черпаль философію Гегеля изъ болье чистыхъ источниковъ, чемъ друзья его, и глубже вдумывался въ ея основанія. По крайней мѣрѣ, Станкевичъ, уже въ то время, когда друзья его по уши тонули въ отвлеченныхъ уиствованіяхъ, началъ уже чувствовать скуку и отвращение отъ сухихъ и сходастическихъ занятій и инстинктивныя порыванія къ дъйствительности жизни, "Какъ сухи и безполезны -говорилъ онъ уже 1839 г. — нелѣпыя, безпокойныя, отвлеченныя занятія!.. и признается въ то-же время, что досель быль не въ состояніи прямо приступить къ пространной логикъ Гегеля (въ 3 частяхъ) и познакомился съ нею по частямъ энциклопедіи, въ философіи права и въ лекціяхъ, что онъ не чувствуетъ въ себъ довольно жизни, единства, полноты, чтобы броситься въ этотъ міръ скелетовъ, и что для сохраненія всей своей свёжести мысль его постоянно должна набираться силь въ наслаждении исскусствомъ, въ дъйствительномъ міръ; въ письмъ-же изъ Дрездена отъ 20-го мая 1838 г., онъ восклицаетъ въ отчаяніи, что одно спасеніе противъ сумасшествія - исторія. Увлеченія друзей его крайне огорчили его, и вотъ, что пишетъ онъ къ Грановскому въ 1840 г. но поводу извъстія о крайностяхъ этихъ увлеченій:

«Извъстія о литературныхъ трудахъ и понятіяхъ нашихъ знавомыхъ неутъщительны. Что имъ дался Шиллеръ? что за ненависть?.. Такъ-какъ они не понимають, что такое дъйствительность, то я думаю, что они уважають слово, сказанное Гегелемъ. А если авторитеть его силень у нихъ, то пусть прочтуть, что онъ говориль о Шиллерт въ Эстетивъ разныхъ мъстахъ, также о «Валленштейнъ» въ медкихъ сочиненіяхъ. А о дъйствительности пусть прочтуть въ Логикъ, что дъйствительность въ смыслъ непосредственности, виъшняго бытіяесть случайность; что действительность въ ея истинъ есть Разумъ, Духъ. А если Шиллеръ, по ихъ мнънію, не есть поэть дъйствительности, а туманный, то я предлагаю имъ въ поэты Свъчина, который описываеть, какъ въ сраженіи: иному степо

раздвоимо. Но можешь сказать имъ только аргументы, безъ яда насычники—это только ожесточаеть, а они люди хорошіе и я съ ними ссориться не хочу»

Но если человъкъ, и по своему характеру, и по своему изолированному положению въ жизни, болъе наклонный къ отвлеченнымъ, философскимъ занятіямъ, все-таки, тяготился сухостью ихъ и чувствовалъ такіе-же порывы къ жизни, съ какими въ средніе въка тщетно боролись различные отшельники и монахи, то можно себв представить, что долженъ быль чувствовать Вёлинскій, который быль поставлень, по своему положенію, прямо лицомъ къ лицу передъ обществомъ, для котораго общественное сочувствие было важно не только въ нравственномъ отношении, но и въ чисто матеріальномъ, такъ-какъ только это сочувствіе и могло делать жизнь его хоть сколько-нибудь обезпеченною. Человъкъ, обезпеченный въ своей жизни поиимо труда, можеть выдумать какую угодно дикую теорію, и спокойно запереться съ нею отъ всего міра, бросивши на людей, съ высоты своего величія, улыбку гордаго презрънія; но совершенно въ иномъ положенін находится обдный труженикъ, видящій все свое призвание въ живой публицистикъ, т.-е. въ прямомъ вившательствъ въ вопросы жизни; если онъ хочетъ, чтобы его слушали, онъ долженъ страстно отзываться на вст общественные интересы; да и этого еще мало: онъ долженъ предугадывать тъ общественныя инстинктивныя стремленія, которыя вырабатываеть жизнь, доводить ихъ до всеобщаго опредъленнаго сознанія и указывать по возможности пути къ ихъ осуществлению. Если-же, вивсто того, чтобы жить со своимъ обществомъ и быть впереди его, онъ запрется отъ міра въ тесный кружокъ, выработаеть въ этомъ кружкъ какую-нибудь узенькую теорику и выступить съ нею совершенно, можеть быть, въ разръзъ съ общественными симпатіями и антипатіями, то нъть ничего мудренаго, если проповъдникъ встрътить всеобщее несочувствие, насмышки, порицания и, въ концъ-концовъ, пропаганда его останется безъ слушателей, гласомъ вошющаго въ пустынъ.

Правда, что во время "Московскаго Наблюдателя" наше общество было въ такой степени еще не развито, что не чувствовало еще почти никакой потребности въ нублицистахъ въ истинномъ значении этого слова, т.-е. въ смыслъ современныхъ западныхъ публицистовъ; оно не сознавало еще вполит ясно и определенно всей тягости своего положенія, но, темъ не менте, все-таки, инстинктивно чувствовало лежащій на немъ гнетъ: оно скучало, оно было недовольно жизнію, оно страдало. Чёнъ-же, какъ не этимъ вы объясните, что оно съ жадностью набрасывалось на всякое поэтическое произведение, исполненное грусти, тоски, озлобленія, или сивху надъ окружающею действительностью. Не даромъ это общество колодно встретило все произведенія Пушкина последняго періода, и въ то-же время съ жадностью зачитывалось Лерионтовымъ, въ которомъ воскресъ передъ нимъ Пушкинъ прежняго времени, только еще болже грустний, разочарованный, негодующій. Не даромъ это общество съ восторгомъ встрътило надрывающійся от грусти сибхъ Гоголя. Теперь подумайте, какой критикъ ногъ быть самымъ любимымъ и симпатичнымъ? Очевидно, такой, который еслибы не быль въ состоянии разъяснить обществу внолнъ до самыхъ основныхъ причинъ его недовольство жизнію и его пристрастіе къ отрицательной поэзіи, то, всетаки, на сколько возможно, постарался бы это сдедать; наконецъ, публика была бы довольна и темъ, еслибы критикъ смънлся бы вивств съ Гоголемъ и плакаль вивств съ Лерионтовыиъ надъ окружающею дъйствительностью, доказывая, что и смъяться и плакать есть свои основательныя причины... Но могло-ли общество сочувствовать критику, который началь проповъдывать обществу, что какъ ни гнусна дъйствительность, а все-таки; она разумна, потому что она есть проявление въчнаго разума, что, поэтому, мы должны иприться съ действительностью, какова бы она ни была, а всякое выражение недовольства жизнью, или желаніе улучшить ее-есть самозванное поползновение вносить свою маленькую личную волю въ развитіе міровой, безусловной идеи, что, поэтому, всякій скорбящій или негодующій поэтъ вовсе не поэть, мы не должны ему сочувствовать, что Пушкинъ только тогда и достигь до высшей поэтической эрьлости, когда отрышился отъ лирической субъективности, что Гоголь не потому намъ нравится, что выводить на всеобщее посившище пошлость жизни, а потому, что онъ художественно объективенъ й прикиряеть насъ съ отрицательными сторонами жизни, возводя ихъ въ перлъ созданія... Довольно сказать, что впродолжение всего сотрудничества Бълинскаго въ "Московскомъ Наблюдателъ" о Лермонтовъ не было сказано почти ни слова. И знаете почему? Нотому, что Лермонтовъ, съ своимъ демоническимъ и байроническимъ направленіемъ, никакъ не покорялся воззрѣнію друзей, и Бѣлинскаго, по свидѣтельству Панаева, ужасно это мучило... "Онъ видълъ-говорить Панаевъ - что начинающій поэть обнаруживаеть громадныя поэтическія силы; каждое новое его стихотвореніе въ "Отеч. Записк." приводило Бълинскаго въ экставъ, а между темъ, въ этихъ стихотвореніяхъ примиренія не было и тіни! Лермонтова оправдывали, впрочемъ, темъ, что онъ молодъ, что онъ только что начинаеть, нъсколько успоконвались темъ, что онъ владеетъ всеми данными для того, чтобы сдёлаться современемъ полнымъ, великимъ художникомъ и достигнуть венца творчества-художественнаго спокойствія и объективности... " Нѣтъ ничего мудренаго послѣ всего этого, что какъ ни низко стояло общество наше въ своемъ общественномъ развитін, но оно, все-таки, въ масст имтло на столько живое чутье, что отвернулось отъ проповедниковъ, подобныхъ врачу, который, вибсто всякаго врачеванья или хотя бы теплаго слова участія, вздумаль бы советовать больному помириться, съ своею бользнью, такъ-какъ бользнь его въ общемъ ходъ жизни есть своего рода органическій процессъ, прерывать который мы не имбемъ никакого права, потому что процессъ этотъ есть частичка общей работы пудрой природы, и что еще Богь знаеть: если, отръшась отъ субъективной точки зранія, мы станемъ на объективно-міровую, то, быть можеть, бользнь покажется намъ здоровьемъ, а здоровье болъзнью и пр. Плодомъ по-

добной пронаганды было то, что "Московскій Наблюдатель" подъ новой редакціей пошель еще хуже, чемъ прежде, подписчиковъ сделалось еще мене, и въ 1839 году, едва дойдя до 5-й книжки, онъ долженъ былъ прекратить свое существованіе... И можно-ли обвинять публику, что она предпочитала столь глубоко-философскому журналу — "Виблютеку для Чтенія", которая была въ это время въ апогей своего успъха. Какъ ни была безосновательна, иногда и прямо недобросовъстна и пристрастна критика этого журнала, какъ ни была поверхностна и парадоксальна ученость его, какъ ни плоско и бъдно было остроуміе его, но, все-таки, это былъ единственный хоть сколько-нибудь живой журналъ въ то время... Подсмѣиваясь надъ философскою ученостью и туманнымъ языкомъ московскихъ писателей, журналъ этотъ легкимъ, популярнымъ языкомъ сообщалъ своимъ читателямъ всв новости и важныя открытія по части естествознанія и другихъ наукъ, и въ то время, какъ "Московскій Наблюдатель", разражаясь грозными филиппиками противъ французской литературы, угощалъ публику повъстями Гофмана, преклоняясь передъ его геніемъ, "Вибліотека для Чтенія" переводила Бальзака, Жоржъ- Зандъ, Гюго, а впоследствии знакомила русскую публику съ произведеніями англійской литературы — Диккенсонъ и Теккереенъ. И мы убъждены, что знакомство публики со всёми этими писателями было неизмѣримо важнѣе и цѣннѣе въ ходѣ развитія нашего общества, чёмъ всё выдержки изъ Ретшера, стихотворенія Клюшникова или пов'єсти Кудравцева. За одно это можно простить "Виблютек в для Чтенія" многіе ся грѣхи.

Вся эта исторія съ "Московскимъ Наблюдателемъ" темъ более характеристична, что подобныя ей исторін не разъ повторялись въ нашей литературѣ и каждый разъ оканчивались такими же фіаско. Мы до такой степени еще люди среднев ковые, для насъ такъ еще непривычны сферы науки или философіи, что стоить только углубиться намъ въ какую бы то ни было спеціальную область, хотя бы даже и естествознанія, и мы тотчась же готовы закупориться въ этой области отъ всего міра; мы теряемъ всякую связь между различными элементами жизни и начинаемъ думать, что единственное спасеніе людей и всего міра зависить оть того, чтобы всё только и делали, что проникались нашею спеціальностью и ни о чемъ больше не заботились. Вместе съ этимъ мы исполняемся гордаго высокомърія средневъковыхъ адептовъ и съ презрѣніемъ начинаемъ смотрѣть на все, что не принадлежить къ узкой сферт нашей спеціальности... Мы совершенно забываемъ, что какъ ни важенъ въ области науки вопросъ о лабиринтахъ уха, но часто какой-нибудь романь, даже не изъ первостепенныхъ, можетъ оказывать гораздо более непосредственное, сильное, вліятельное дійствіе на настроеніе общества, на развитие его сознанія и на ходъ его политической жизни, чемъ брошурка о какихъ-нибудь инфузоріяхъ на рыбѣ, въ своемъ родѣ очень можеть быть и почтенная. Въ нашемъ гордомъ увлечение мы готовы остановить весь ходъ развитія общественной мысли и общественных интересовъ, потому что все это кажется намъ поверхностнымъ, ничтожнымъ, пре-

исполненнымъ беллетристической дегкости и лицемърнаго либерализма сравнительно съ важностью и глубокомысліємь таинствь нашей науки. Мы забываемь при этомъ, что самыя таинства науки не иначе могуть быть проведены въ общество, какъ въ популярномъ, общедоступномъ изложении, и что чемъ въ болъе беллетристическомъ видъ передается истина, хотя бы и самая глубокая, темъ скорте она можетъ быть распространена и усвоена. И кончается эта исторія всегда темъ, что коварная публика становится спиной къ глубокомысленнымъ спеціалистамъ и бросается на то, что ей легко доступно, что соответствуетъ степени ея развитія, что отв'ячаетъ на ея вопросы, удовлетворяеть ея интересамъ, оставляя въ то же время глубокомысленных спеціалистовъ или оплакивать свое увлечение, или кипъть негодование. на инимое развращение и измельчание общества...

Печально отразилось на личности Бѣлинскаго подобное увлеченіе. Матеріальное положеніе его, по прекращеній "Московскаго Наблюдателя", сдѣладось снова отчаянно. "При такихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахь—говоритъ И. Панаевъ—Бѣлинскій задолжаль въ лавочку. Въ долгъ ему не хотѣли ничего отпускать. Обфдъ его, при которомъ я не разъ присутствоваль, былъ и безъ того неприхотливъ: онъ состояль изъ дурно-свареннаго супа, который Бѣлинскій густо поскивать перцемъ, и куска говядины изъ этого супа..."

Нравственное же состояніе Вѣлинскаго было еще хуже. Вмѣсто ожидаемаго примиренія, онъ обрель окончательный разладъ и съ сжимить собою, и съ окружающимъ ето міромъ. Послѣднее время пребинанія своето въ Месквѣ онъ постоянно былъ въ раздраженномъ и взволнованномъ состояніи духа.

— Нітть, сказаль онь однажды Панаеву: — мить, во что бы то ни стало, надобно вонъ изъ Москви... Мить эта жизнь надобла и Москва опротивъла мить...

Въ то же время со всёхъ сторонъ онъ слышаль возраженія и порицанія относительно направленія его критическихъ статей. Незадолго затёмъ онъ разошелся съ Герценомъ и всёмъ кружкомъ его, и надо думать, что изъ многихъ устъ онъ слышаль одни и тъ же упреки. Это видно изъ намековъ и тона его же собственныхъ нижеприводимыхъ словъ. Дѣло дошло внослѣдствін даже до личнаго оскороленія, до того, что когда Бѣлинскому, въ бътность его уже въ Петероургѣ, былъ представленъ какой-то артиллерійскій офицеръ, послѣдній, узнавъ, что передъ нитъ авторъ "Вородинской годовщины", не хотѣль подать ему своей руки.

Воть что разсказываеть Панаевь относительно того, какъ относился Бълинскій въ последніе дни своего пребыванія въ Москве къ своимъ убежденіямъ и возраженіямъ противъ нихъ:

«Черезъ нѣсколько дней послѣ моего возвращенія изъ Москвы, Бѣлинскій принесъ мнѣ прочесть свою рецензію на книгу Ө. Глинки «Вородинская годовщина», которую онь отослаль для напечатанія въ «Отечественныя Записки»:

— Послушайте-ка, сказаль онъ мий: — кажется мий еще до сихъ поръ не удавалось ничего написать такъ горячо и такъ рфшительно высказать наши убъкденія. Я читаль эту статейку Мишелю (Бакунину)

и онъ пришелъ отъ нея въ восторъ-ну, а митніе его чего-нибудь да стоить! Да, что много говорить, я самъ чувствую, что статейка вытанцовалась... «И Бълинскій началь мнё читать ее съ такимъ

волненіемъ и жаромъ, съ какимъ онъ никогда ни-

чего не читаль ни прежде, ни послъ.

«Лихорадочное увлеченіе, съ которымъ читалъ Бълинскій, языкъ этой статьи, исполненной странной торжественности и напряженнаго паеоса, произвель во мит нервное раздражение... Бълинский самъ былъ

явно раздраженъ нервически... Удивительно! превосходно! повторяль я во время чтенія и по окончаніи чтенія: --но я вамъ за-

мѣчу одно...

Я знаю, знаю что-не договаривайте, перебиль меня съ жаромъ Бълинскій:—меня назовуть въстецомъ, подлецомъ, скажуть, что я кувыркаюсь передъ властями... Пусть ихъ! Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убъжденія, что бы обо мив ни думали...

«Онъ началъ ходить по комнатѣ въ волнеіи...

Да! это мон убъжденія! продолжаль онь, разгорячансь болье и болье. - Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мив дорожить мивніемь и толками чорть знаеть кого? Я только дорожу мивніемь людей развитыхъ и друзей моихъ... Они не заподозрять меня въ лести и подлости. Противъ убъжденій никакая сила не заставить меня написать ни одной строчки... они знають это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вамъ, Панаевъ-вы въдь еще меня мало знаете...

«Онъ подошель ко мнъ и остановился передо мною. Блёдное лидо его вспыхнуло, вся кровь при-

лила къ головъ, глаза его горъли.

- Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничемъ! Мне легче умереть съ голода-я и безъ того рискую эдакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькою ироніей), чёмъ потоптать свое человъческое достоинство, унизить се я передъ къмъ бы то ни было, или продать себя...

«Разговоръ этоть со всёми подробностями живо връзался въ мою память. Бълинскій какъ будто

теперь передо мною...

«Онъ бросился на стулъ, запыхавшись... и отдохнувъ немного, продолжаль съ ожесточениемъ:

Эта статья ръзка, я знаю - но у меня въ головъ рядъ статей еще болье ръзкихъ... Ужь какъ же я отхлещу этого негодяя Менцеля, который осмъливается судить объ искусствъ, ничего не сиысля въ немъ!..»

Весь этотъ разговоръ съ Панаевымъ показываетъ, что Бълинскій и самъ чувствовалъ неправоту своихъ убъжденій, иначе возраженія не дъйствовали бы на него такъ болъзнение, и виъсто наступательнаго тона, не принималъ бы онъ тона оправдательнаго и, притомъ, исполненнаго такой раздражительности, какъ будто кто затрогивалъ самую глубокую и болю-

Въ заключение, мы считаемъ нелишнимъ привести инъніе самого Бълинскаго о вредномъ вліяніи на человъка замкнутаго кружка, высказанное имъ въ 1845 году въ статът "Славянскій Сборникъ" Н. В. Савельева-Ростиславича (см. VI т., ст. 433). Хотя мижніе это высказалъ Бълинскій, имъя въ виду славянофиловъ, но, тъпъ не менъе, въ словахъ его такъ и слы-

шится сознаніе личнаго опыта:

«Берегитесь, господа, обольщеній своего кружка: въ немъ какъ разъ увърять васъ, что вы геній и что вы побъдили всёхъ вашихъ противниковъ, которые даже и не думали съ вами бороться, а просто или сибелись надъ вами, или не обращали на ваше ратованіе никакого вниманія. Кружокъ-вещь опасная: онъ можеть довести человъка до жалкаго

донъ-кихотства. Кружокъ и свёть двё вещи разныя; первый признаеть за достовърное, доказанное и несомивнное то, надъ чемъ часто смется второй, какъ надъ нелъпостью. Живите въ кружкъ, который вамъ нравится; но заглядывайте и въ свътъ, прислушивайтесь и къ его сужденіямъ, чтобы не впасть сперва въ односторонность и исключительность, а потомъ и просто въ нелепость. Исключительное и безвыходное пребывание въ себъ, или въ пріятельскомъ кружкѣ, или въ приходѣ своего журнала-гибельны для человъка. Ограничение себя однимъ и тъмъ же, отчуждение отъ всего, что не мы и не наше, гибельно не только для частныхъ лицъ, но и для народовъ: вспомните Китай и Японію!»

IX.

Вліяніе на Бълинскаго перевзда въ Петербургъ,--Начало въ Бълинскомъ переходнаго процесса.-Свидетельство объ этомъ Тургенева. - Новый взглядъ на романтизмъ. - Статья о Лермонтовъ. - Рефлексіи отрицаніе рутинной морали. — Примиреніе съ ранцузскою литературой и увлечение романами Жоржъ-Зандъ.—Новые взгляды философскіе и эстетическіе. — Оцънка Пушкина и Ап. Майкова.

Прівадъ въ Петербургъ и начало сотрудничества въ "Отечественныхъ Запискахъ" послужили толчками, возбудившими въ Бълинскомъ умственный и

нравственный переломъ.

Не говоря о томъ вліянін, какое необходимо производить появленіе новыхь, разномыслящихь людей на членовъ замкнутаго кружка, увлекшагося какоюнибудь узенькою, одностороннею доктриной, не малое освъжающее и отрезввляющее дъйствіе оказываеть въ этомъ случав всякое удаление отъ кружка въ видъ путешествія, переселенія въ другой городъ, переміны занятій. Мы виділи, что даже представитель кружка, Станкевичъ, сдёлался уже не тотъ, что быль въ Москвъ, съ переселениемъ за границу: его начало тяготить то самое углубление въ отвлеченныя сферы гегелевской философіи, въ которомъ онъ прежде виделъ высокую задачу жизни. То-же самое случилось и съ Вълинскимъ по перевздъ его въ Петербургъ.

«Хотя москвичь вообще оригинальнее и какъ будто самобытнъе петербуржца, однако, тъмъ не менье, онъ очень скоро свыкается съ Петербургомъ, если перевдетъ въ него жить-говоритъ Вълинскій въ своей стать в «Москва и Петербургь» (см. «Соч. Бъл.», т. XII, стр. 229). — Куда дъваются высокопарныя мечты, идеалы, теоріи, фантазіи! Петербургь, въ этомъ отношени, пробный камень человъка: кто, живя въ немъ, не увлекся водоворо-томъ призрачной жизни, умъль сберечь и душу, и сердце на счетъ здраваго смысла, сохранить свое человъческое достоинство, не предаваясь донкихотству, тому смёло можете вы протануть руку, какъ человъку... Петербургъ имъеть на нъкоторыя натуры отрезвляющее свойство; сначала, кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадають съ васъ самыя дорогія убъяденія; но скоро замъчаете вы, что то не убъждения, а мечты, порожденныя праздною жизнью и рѣшительнымъ незнаніемъ дъйствительности, и вы остаетесь, можеть быть, съ тяжелою грустью, но въ этой грусти такъ много святаго, человъческаго... Что мечты! Самыя обольстительныя изъ нихъ не стоють въ глазахъ дёльнаго (въ разумномъ значеніи этого слова) человъка самой горькой истики, потому что счастіе глупца есть ложь, тогда какъ страданіе дёльнаго человёка есть истина, и, притомъ, плодотворная въ будущемъ...»

Но было-бы ошибочно думать, чтобы прежнія теоріи и фантазіи Бѣлинскаго спали съ него дѣйствительно съ легьостью осеннихъ листьевъ и чтобы перевороть совершился въ немъ съ быстротой балетныхъ превращеній. Напротивъ того, цѣлые годы таниулось переходное состояніе въ умственномъ мірѣ Бѣлинскаго; въ эти годы Бѣлинскій переживаль тотъже самый періодъ рефлексій и сомнѣній, какой въ то время переживали всѣ его современники, начиная съ Герцена и кончая Грановскимъ. Всѣ эти рефлексіи и сомнѣнія, всѣ эти блужданія въ потемкахъ различныхъ противорѣчій — были столь-же мучительны для Бѣлинскаго, какъ и для всѣхъ его современниковъ. Вотъ что свидѣтельствуетъ объ этомъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ:

«Векоръ послъ моего знакометва съ нимъ (1843 г.), его снова начали тревожить тѣ вопросы, которые, не получивь разрѣшенія или получивь разрѣшеніе одностороннее, не дають покоя человъку, особенно въ молодости: философическіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніяхъ людей другь къ другу и къ божеству, о происхождени міра, о беземертін души и т. п. Не будучи знакомъ ни съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ (онъ даже по француз-ски читалъ съ большимъ трудомъ) и не находя въ русскихъ книгахъ ничего, что могло-бы удовлетнорить его пытливость, Бълинскій поневоль должень быль прибъгать къ разговорамъ съ друзьями, къ продолжительнымъ толкамъ, сужденіямъ и разспросамъ; и онъ отдавался имъ со всёмъ лихорадочнымъ жаромъ своей жаждавшей правды души... И такъ, когда я познакомился съ Бълинскимъ, его мучили сомнънія. Эту фразу я часто слышаль и самь употребляль не однажды; но въ дѣйствительности и и вполиѣ она примѣнялась въ одному Бѣлинскому. Сомивнія его именно мучили, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его, онъ не позво-явлъ себъ забыться и не зналъ усталости; онъ денно и нощно бился надъ разръшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себъ. Бывало, какъ только я приду къ нему, онъ, исхудалый, больной (съ нимъ сдълалось тогда воспаление въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ встанеть съ дивана и едва слышнымъ колосомъ, безпрестанно кашляя, съ пульсомъ, бившимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерван-ную наканунъ бесъду. Искренность его дъйствовала на меня, его огонь сообщался и мнъ, важность предмета меня увлекала, но, поговоривъ часа два, три, я. ослабваать, легкомисліе молодости брало свое, мив хотвлось отдохнуть, я думаль о прогульть, объ объдв, сама жена Велинскаго умолила и мужа, и меня, хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему пред-писаніе врача... но съ Бълинскимъ сладить было нелегко. «Мы не ръшили еще вопроса о существовании Бога—сказалъ онъ мнъ однажды съ горькимъ упрекомъ-а вы хотите ѣсты!»

Это переходное состояніе отражается и въ сочиненіяхъ Вълинскаго сороковыхъ годовъ, эпохи сотрудничества его въ "Отечественныхъ Запискахъ". Перебирая статъи его этой эпохи, одна за другою, вы
видите, какъ постепенно Бълинскій переходитъ изъ
праваго лагеря гегеліанцевъ въ лѣвый и дѣлается,
наконецъ, фейербахистомъ; отрѣшаясь отъ идеализма, все болѣе становится на реальную почву, наконецъ, наъ поклонника чистаго искусства превращается въ проповъдника искусства для жизни.

По прівздв въ Петербургъ въ 1839 году, Вълинскій въ теченіи перваго года все еще носился со своими московскими идеями. Первымъ дъломъ онъ напечаталъ въ "Отечественныхъ Запискахъ" двъ свои знаменитыя статьи, написанныя имъ еще въ Москвъ и выражающія апогей его московскихъ увлеченій: "Очерки Бородинскаго сраженія" и "Менцель, критикъ Гете". Затъмъ, въ 1840 году была напечатана имъ критическая статья, посвященная разбору "Горя оть ума" Гриботдова рядомъ съ "Ревизоромъ" Гоголя. Мы разсматривали эту статью въ 8-й главе и видъли въ ней преобладание идей московскаго періода: комедія Гогодя въ этой стать в превозносится, какъ идеалъ комедіи, вследствіе своей объективности, а "Горе отъ ума" выключается изъ ряда художественныхъ произведений за преобладание въ ней сатиры.

Но уже и въ этой статьъ, несмотря на преобладаніе въ ней все еще московскихъ теорій, вы видите въяніе новаго духа. Вы замъчаете, что Бълинскій гораздо глубже усвоилъ гегелевскую философію и пришелъ къ болъе правильному пониманію ея. Онъ уже не считаетъ все дъйствительное разумнымъ и не проповъдуетъ примиреніе съ мрачными сторонами жизни въ сферъ отвлеченнаго мышленія. Напротивъ того, дъйствительнымъ онъ призняетъ только разумное въ жизни, все-же остальное относить къ категоріи призрачнаго. "Дъйствительность — говорить онъ (см. "Соч. Б.", т. III, стр. 364)—есть во всемъ, въ чемъ только есть движеніе, жизнь, любовь; все мертвое, холодное, не разумное, эгоистическое-есть призрачность". Сообразно этимъ двумъ категоріямъ, онъ дълить и поэзію на положительную поэзію разумной дъйствительности, и отрицательную — поэзію неразумной призрачности.

Но особенно замъчательна эта статья тъмъ, что въ ней Ефлинскій впервые решился признать романтизмъ явленіемъ вполнѣ отжившимъ и не имъющимъ никакого значенія въ современной жизни. Онъ провель на отношение романтизма къ классицизму взглядъ, основанный вполнт на гегелевской философін. По его мнінію, древній классицизмъ и средневъковой романтизмъ суть двъ противоположности, тезъ и антитезъ. Въ одной крайности, именно въ классицизмъ, Бълинскій видить преобладаніе формы надъ идеей, чувственной красоты надъ духомъ; въ романтизмъ-наоборотъ: преобладание дука надъ формой. Искать идеада поэзін въ одной изъ этихъ крайностей, по мнѣнію Бѣлинскаго, крайне нелѣпо, такъ какъ прогрессъ заключается не въ установленін той или другой крайности, а въ примиреніи ихъ, синтезъ.

«Наше новъйшее искусство—говорить онь (см. «Соч. Б.», т. I, стр. 349)—начатое Шекспиромъ и Сервантесомъ, не есть ни классическое, потому что мы не греки и не римляне», и не романтическое, потому что мы не рыпари и не трубадуры среднихъ въковъ. Какъ-же его назватъ? Новъйшимъ. Въ чемъ его характеръ? Въ примиреніи классическаго и романтическаго, въ тождествъ, а слъдовательно, и въ различіи отъ того и другого, какъ двухъ крайностей. Происходя исторически, непосредственно отъ вторато, наслъдовавъ вею глубину и обширность его бевконечнаго содержанія и обогати его дальнъйшимъ развитіемъ христіанской

жизни и пріобрітеніемъ новаго знанія, оно примирило богатство своего романтическаго содержанія съ пластицизмомъ классической формы».

Мы не будемъ распространяться объ искусственности подобнаго метафизическаго взгляда на исторію искусства-взгляда, который господствоваль въ 40-е годы. Если вы вооружитесь имъ, то, конечно, вы должны будете безпрестанно становиться въ тупикъ при анализъ различныхъ произведеній древнихъ, среднихъ и новыхъ въковъ: такъ, наприкъръ, на какомъ основании вы отвергнете преобладание внутренняго содержанія, иден въ такихъ произведеніяхъ древности; какъ Прометей Эсхила, комедін Аристофана, сатиры Ювенала, а съ другой стороны, Divina comedia Данте, несмотря на то, что появилась въ саной глубина среднихъ ваковъ, представляетъ вовсе не преобладание иден, содержания надъ формой, а напротивъ того, вы видите въ ней представление сверхчувственныхъ вещей до такой степени чувственное и пластичное, что, читая комедію, забываете о духовности этихъ вещей. Но для насъ взглядъ Вълинскаго важенъ не по отношению въ его върности, а по значению въ свое время. Статья Бълинскаго, проведшая подобный взглядъ и напечатанная въ 1840 году, представляется какъ-бы сигнальнымъ выстрёломъ, возв'ястившимъ переходъ отъ 30-хъ годовь въ 40-мъ. Этотъ выстрелъ возвестиль, что близокъ конецъ царству романтизма, что романтизмъ утратилъ свое значение передоваго знамени въка. Правда, тотъ-же самый взглядъ провелъ еще ранке Бѣлинскаго Н. Надеждинъ въ своей диссертаціи о романтизмъ. Но Надеждинъ не погъ имъть такого вліянія какъ по своей уклончивости, непрямотъ, вилянію хвостикомъ передъ классицизмомъ, такъ и потему, что въ 20-е годы взглядъ, высказанный Надеждинымъ, быль слишкомъ преждевременъ. Правда, что Бълинскій, возв'ястившій конець романтизма, тімь не менъе, оставался до могилы во многихъ отношенияхъ истымъ романтикомъ, подобно многимъ его современникамъ, но это показываетъ только, что уиственные перевороты совершаются не по мановенію волшебнаго жезла, а имъютъ свой неизбъжный процессъ, который можно предвидеть, можно сознавать, но перешагнуть черезъ который такъ-же невозможно, какъ сразу отростить бороду или вырости на вершокъ. Статья Вълинскаго въ этомъ отношении возвъстила не конецъ романтизма, а начало выхода изъ него, наступленіе эпохи броженія и борьбы идей, карактеризующихъ собою 40-е годы. Послѣ статьи Бѣлинскаго крики противъ романтизма начинаютъ раздаваться въ литературъ чаще, ръшительнъе и громче, и въ концѣ 40-хъ годовъ, какъ мы вскорѣ увидимъ, романтизмъ сдълался браннымъ прозвищемъ для всего отсталаго и отжившаго.

И надо отдать справедливость Вёлинскому, что въ синтезѣ классицизма и романтизма, который онъ преповѣдывалъ, онъ предвидѣлъ именно то, къ чему стремилось человѣчество въ его время. Въ той-же статьѣ о "Горе отъ ума" вы читаете слѣдующія мнотознаменательныя строки (см. С. Б., т. III, стр. 355, 357):

«Мечтательность въ XIX въкъ такъ-же смъшна, пошла и приториа, какъ и сантиментальность. Дъй-

ствительность-воть пароль и лозунгъ нашего въка, действительность во всемь, и въ върованіяхъ, и въ наукъ, и въ искусствъ, и въ жизни. Могучій мужественный въкъ, онъ не терпить ничего ложнаго, поддельнаго, слабаго, расплывающагося, но любить одно мощное, крёпкое, существенное... Мечтательность была высшею действительностью только въ періодъ юношества человъческаго рода; тогда и формы поэвіи улетучивались въ ниміамъ молитвы, во вздохъ блаженствующей любви или тоскующей разлуки. Поэзія-же мужественнаго возраста человъчества, наша новъйшая поэвія осязаеть изящную форму, просвётляеть эеиромъ мысли, и на яву действительности, а не во сит мечтаній отворяеть таниственныя врата священнаго храма духа. Короче, какъ романтическая поэзія была поэзіей мечты и безотчетнымъ порывомъ въ область идеаловъ, такъ новъйшая поэзія есть поэзія дъйствительности, поэзія жизни...»

Вь томъ-же году, въ статъв по поводу сочиненій Марлинскаго, Вълинскій еще болье развиль эту идею о позвін лействительности, жизни.

«Истинно-художественное произведение всегда поражаеть читателя-говорить онъ («Соч. В.», т. III, стр. 458 и 459) - своей истиной, естественностью, върностью, дъйствительностью, до того, что, читая его, вы безсознательно, но глубово убъждены, что все разскавываемое или представляемое въ немъ, происходило именно такъ, и совершиться иначе не могло. Когда вы его окончите, изображенныя въ немъ лица стоятъ передъ вами, какъ живыя, во весь ростъ, со вежми малъйшими своими особенностями съ лицемъ, съ голосомъ, съ поступью, со своимъ образомъ мышленія; они навсегда и неизгладимо запечатитваются въ вашей памяти, такъ что вы никогда уже не забудете ихъ. Целое піэсы обхватываеть все существо ваше, проникаеть его насквозь, а частности ея памятны и живы для васъ только по отношению къ цълому. И чъмъ больше читаете вы такое художественное создание, тъмъ глубже, ближе и неразрывные совершается въ васъ внутреннее и задушевное освоение и сдружение съ нимъ. Простота есть необходимое условіе художественнаго произведенія, по своей сущности отри-цающее всякое внёшнее украшеніе, всякую изысканность. Простота есть красота истины, и художественныя произведенія сильны ею, тогда какъ мнимо-художественныя часто гибнуть оть нея, и потому по необходимости прибъгають къ изысканности, запутанности и необыкновенности... искусствъ, все невърное дъйствительности есть ложь и обличаеть не таланть, а бездарность. Искусство есть выражение истины, и только одна дтиствительность есть высочайшая истина, а все внъ ен, т.-е. всякая выдуманная какимъ-нибудь «сочинителемъ» действительность есть ложь и клевета

Подобныя иден, сдёлавшіяся въ настоящее время азбучными истинами, были великими открытіями для русской публики въ то время, какъ писаль эти строки Белинскій. Публика эта продолжала еще въ то время авчитываться Марлинскить; на Гоголя смотрёли, какъ на комическаго балагура или гризнаго пасквилянта, и въ поэвіи видёли не болбе, какъ праздный вымыселъ, сказку. Понятно, что прежде чёмъ дойти до идеи полезнаго искусства, совершенно последовательно было со стороны Белинскаго установить истинный взглядъ на искусство вообще, какое бы ни было, чистое или полезное, убёдить публику, что истинное носкусство высоко не вымысломъ, а правдой, вёрнымъ воспроизведеніемъ жизни. Изъ этой-же идеи самъ собою слёдовалъ прямой выводъ, что искусство, цённое

правдою жизни—этимъ уже самымъ есть искусство помезное; если ставить искусство, воспроизводящее дъйствительность, выше искусства вышысла, отръшеннаго отъ жизни, то во имя чего-же другаго, какъ не во имя насущной, жизненной полезности подобнаго искусства? Мы увидимъ вскоръ, что Бълинскій не замедлилъ придти къ подобному выводу.

Въ томъ-же 1840 году была помъщена въ "Отечественных Ванискахъ статья Белинскаго о "Геров нашего времени" Лермонтова. Статья эта замъчательна прежде всего темъ, что Белинскій решился, наконецъ, заговорить о Лерионтовъ, не путаясь его субъективности; это быль въ своемъ родъ прогрессъ для него и большой шагь отъ московских в теорій. Съ другой стороны, статья замёчательна тёмъ, что она посвящаетъ васъ въ ту внутреннюю борьбу, которую началь переживать Белинскій съ своего прівада въ Петербургъ. Анализъ знаменитаго романа Лермонтова, проведенный въ статьт, отличается именно ттиъ, что это не историческій анализъ, не общественно-физіологическій, не эстетическій, наконець, а чисто-субъективный, отражающій внутренній міръ критика. Оставдая въ сторонъ вліяніе Байрона на Лермонтова и общественную среду, создавшую Печорина, и къ которой онъ исключительно принадлежить, Бѣлинскій приравниваетъ героя романа Лермонтова. къ своему въку вообще и къ самому себъ въ частности; онъ видить въ немъ одидетворение того духа сомнений и рефлексій, который терзаль въ это время всёхъ мыслящихъ современниковъ Велинскаго, въ томъ числе

«Духъ его созрѣдъ для новыхъ чувствъ и думъговорить Бѣлинскій о Печоринь, подразумьвая въ этихъ словахъ свой въкъ и самого себя-сердце требуеть новой привязанности: дъйствительность воть сущность и характерь всего этого новаго. Онъ готовъ для него; но судьба еще не даеть ему новыхъ опытовъ, и презирая старые, онъ, все-таки, по нимъ-же судить о жизни. Отсюда это безвъріе въ дъйствительность чувства и мысли, это охлажденіз къ жизни, въ которой ему видится то оптическій обманъ, то безсмысленное мелькание китайскихъ тъней. Это-переходное состояние духа, въ которомъ для человька все старое разрушено, а новаго еще ньтъ, и въ которомъ человъкъ есть только возможность чего-то действительнаго въ будущемъ, и совершенный призракъ въ настоящемъ. Туть каетъ въ немъ то, что на простомъ нзыкѣ называется и «хандрой», и «инохондріей», и «инительностью», и «сомнѣньемъ», и другими словами, далеко не выражающими сущности явленія, и что на нзыка философскомъ называетси рефлексіей. Мы не будемъ объяснять ни этимологическаго, ни философскаго вначенія этого слова, а скажемъ коротко, что въ состояние рефлексии человъкъ распадается на два человъка, изъ которыхъ одинъ живеть, а другой наблюдаеть за нимъ и судить о немъ. Тутъ нёть полноти ни въ какомъ чувстве, ни въ какой мысли, ни въ какомъ дъйствій: какъ только вародится въ человъкъ чувство, намъреніе, дъйствіе, тотчасъ какой-то скрытый въ немъ самомъ врагъ уже подсматриваеть зародышь, анализируеть его, изследуеть, верна-ли, истинна-ли эта мысль, действительно-ли чувство, законно-ли намереніе, и какая ихъ цёль, и къ чему они ведуть-и благоуханный цевть чувства блекнеть, не распустившись, мысль дробится въ безконечность, какъ солнечный лучь въ граненомъ хрусталь, рука, подъятая для дъйствія, какъ внезапно окаментлая, останавливается на ввиахі, и не ударяєть... Ужасное состояніе! Даже въ объягіяхь любви, среди блаженнійшаго упоенія и полноти жизни, возстаєть этоть враждебный внутренній голось, чтобы заставить человіка думать вь такое время, когда не думаєть никто, и вырвавь изъ его рукъ очаровательний образь, замінить его отвратительным скелетомь.

«Но это состояніе сколько ужасно, столь-же и необходимо. Это одинъ изъ величайшихъ моментовъ духа. Полнота жизни въ чувствъ, но чувство не есть еще последняя ступень духа, дальше которой онь не можеть развиваться. При одномъ чувстве, человекь есть рабь собственных ощущений, какь животное есть рабъ собственнаго инстинкта. Достоинство безсмертнаго духа человъческаго заключается въ его разумности, а последній, высщій акть разумности есть-мысль. Въ мысли-независимость и свобода человъка отъ собственныхъ страстей и темныхъ ощущеній. Когда человікь поднимаєть въ гићет руку на врага своего-онъ следуеть чувству, его одушевляющему; но только разумная мысль о своемъ человъческомъ достоинствъ и о своемъ человъческомъ братствъ со врагомъ можетъ удержать порывъ гитва и обеворужить поднятую для убійства руку. Но переходъ изъ непосредственности въ разумное совнание необходимо совершается черезъ рефлексию, болже или менже болжиненную, смотря по свойству индивидуума. Если человёкъ чувствуеть, хоть сколько нибудь свое родство съ человъчествомъ и хоть сколько нибудь сознаеть себя духомъ въ духъ-онъ не можеть быть чуждь рефлексии. Исключенія остаются только или за натурами чисто-практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересовъ духа и которыхъ жизньапатическая дремота. И нашъ въкъ есть по преимуществу въкъ рефлексін, почему отъ нея не освобождены ни тъ мирныя и счастливыя натуры, которыя съ глубокостью соединяють тихость и невозмущаемое спокойствіе, ни самыя практическія натуры, если онъ не лишены глубокости»...

Эта характеристика въка живо напоминаетъ намъ подобныя-же характеристики, которыми начинаются статъи Герцена "Диллеганты-романтики" и "По поводу одной драмы". Въ разбираемой нами статъъ Вълинскаго можно найти и другое сходство съ рефлективными статъями Герцена; именно, въ статъћ Вълинскаго вы видите такое-же ироническое отношеніе къ установленнымъ правиламъ ходячей, рутинной морали, какое мы видимъ въ "Капризахъ и раздумьяхъ"... Подобное отношеніе представляется однимъ изъ неизмѣнныхъ симптомовъ, сопровождавщихъ рефлективный періодъ 40-хъ годовъ Образцомъ иронін, съ сторой Вълинскій обращается къ пошлымъ моралистамъ, могутъ служить слёдующім строки, встрѣчаемыя нами въ статъв (см. С. Б., т. Ш., стр. 601):

«Какой странный человёка этоть Печоринь! Потому что его безпокойный духъ требуеть движенія, дъятельность ищеть пищи, сердце жаждеть интересовъ жизни, потому должна страдать бъдная дъвушка! Эгонсть, злодъй, извергь, безиравственный человъвъ!»... хоромъ закричать, можеть быть, стро-гіе моралисты. Ваша правда, господа: но вы то изъ чего хлопочете, за что сердитесь? Право, намъ кажется, вы пришли не въ свое мъсто, съли за столь, за которымъ вамъ не поставлено прибора... Не подходите слишкомъ близко къ этому человъку, не нападайте на него съ такою запальчивою храбростью: онъ на васъ взглянеть, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ всъ прочтуть судъ вашъ. Вы предаете его анаеемъ не ва порожи — въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чериће и повориће — но за ту смћиую свободу, за ту жолчную откровенность, съ которою онъ говорить о няхь. Вы позволяете человъку дѣлать все, что ему угодно, быть всёмъ, чѣмъ онъ хочеть, вы охотно прощаете ему и безуміе, и низость, и разврать: но, какъ пошлину за право торговли, требуете отъ него моральныхъ сентенцій о томъ, какъ долженъ человъкъ думать и дъйствовать, и какъ онъ въ самомъ дъле и не думаеть, и не дъйствуеть... И за то, ваще инквизиторское ауто-да-фе готово для всякаго, кто имбеть благородную привычку смотрыть действительности примо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называть вещи настоящими ихъ именами и показывать другимъ себя не въ бальномъ костюмѣ, не въ мундирѣ, а въ халатъ, въ своей комнатъ, въ уединенной бесъдъ съ самимъ собою, въ домашнемъ разсчетъ съ своею совъстію... И вы правы: покажитесь передъ людьми хоть разъ въ своемъ поворномъ неглиже, въ своихъ засаленныхъ ночныхъ колпакахъ, въ своихъ оборванныхъ халатахъ, люди съ отвращеніемъ отвернутся отъ васъ и общество отвергнеть васъ изъ себя. Но этому человъку нечего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что онъ не то, чёмъ самому себѣ кажется и что онъ есть только въ настоящую минуту. Да, въ этомъ человъкъ есть сила духа и могущество воли, которыхъ въ васъ нёть; въ самыхъ порокахъ его проблескиваеть что-то великоз, какъ молнія въ черныхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, полонъ позвін даже и въ тъ минуты, когда человъческое чувство возстаеть на него... Ему другое назначеніе, другой путь, чъмъ вамъ. Его страсти — бури, очищающім сферу духа; его заблужденія, какъ ни странны ониострыя бользий вь молодомъ тыль, укрыпляющія его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ и геморой, ко-торыми вы, бъдные, такъ безплодно страдаете... Пусть онъ клевещеть на въчные законы разума, поставляя высшее счастіе въ насыщенной гордости; пусть онъ клевещеть на человъческую природу, види въ ней одинъ эгоизмъ; пусть клевещетъ на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитие и смешивая юность съ возмужалостью-пусть!.. Настанеть торжественная минута, и противоръчіе разръшится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются въ одинъ гармоническій аккордъ'»...

Во всемъ этомъ, если хотите, много романтическаго и даже риторическаго: Типъ Печорина былъ разобранъ впоследствіи на иныхъ основаніяхъ, более реальныхъ и объективныхъ, и въ глазахъ публики всталь на одну доску съ Обломовымъ. Но вы не забудьте, что, когда Бълинскій впервые разбираль Печорина, этихъ новыхъ и реальныхъ основаній еще не существовало; повсюду господствовала одна только ругинная, пошлая мораль. Въ это время сочувственное отношение ко всему, выходящему такъ или иначе изъ предвловъ этой моради, было въ высшей степени полезно въ томъ отношении, что подкапывалось подъ гнилую, отжившую мораль и расшатывало ся господство. Еслибы въ то время могъ появиться критикъ, который взглянуйть бы на Печорина глазами Добролюбова, или Писарева, его анализъ былъ бы не понятъ современниками Бълинскаго, недоразвившимися до реальныхъ основаній этого анализа, и послужилъ бы только орудіемъ въ нападкахъ на Печорина различныхъ святошъ и лиценфровъ того времени. Замъчателенъ въ этомъ отношеніи тогь фактъ, что преждевременные проблески идей будущаго въка бываютъ обыкновенно въ той-же и рв вредны для прогресса, какъ и упорство старыхъ идей. Пока передовая мысль нька не совершила своего дела, нападки на нее, хотя бы и съ точки зрвнія будущихъ и самыхъ зрвдыхъ

покольній, каждый разь ставять полемизатора въ лагерь обскурантовь, и двлають его ревностнымъ ихъ помощникомъ. Мы уже видели одинъ разительный примъръ подобнаго явленія: такъ Надеждинъ, со своими идеями сороковыхъ годовъ, въ конце двадцатыхъ годовъ сделался было союзникомъ приверженцевъ ложно-классическихъ тенденцій.

Впродолженіи 1841 и 42 годовъ, Бълинскій писалъ свои статьи все еще подъ преобладающимъ вліяніемъ московскихъ теорій, хотя и значительно поколебленныхъ уже новымъ движеніемъ его мысли. Такъ, онъ отръшается мало-по-малу отъ своего французовдства и начинаетъ ставить французскую литературу рядомъ съ нѣмецкою, какъ ея антитезъ, имъющій свое значеніе.

«Для нъмца,—говорить онь,—наука и искусствосами себъ цъль и высшая жизнь, абсолютное бытіс, для француза, наука и искусство—средства для общественнаго развитія, для отрышения личности человъческой отъ тяготящихъ и унижающихъ се оковъ преданія, моментальнаго опредъленіи и временныхъ (а не въчныхъ) общественныхъ отношеній. Вотъ причина, почему литература французская имъстъ такое огромное вліяніе на всъ образованные народы; вотъ почему си летучія произведенія пользуются такою всеобщностью, такою извъстностью; вотъ почему они такъ и недолговъчны, такъ эфемерны»...

Въ Англіи онъ видитъ примиреніе этихъ двухъ крайностей. Въ то-же время въ рецензіи на романъ Жоржъ-Занда "Бернаръ-Мопра" (1841 г.), Бълнискій впервые является горячимъ поклонникомъ этом писательницы, которая въ послѣдующій періодъ ето жизни сдѣлалась для него столь-же любимымъ поэтомъ, какими были Гете и Гофманъ въ лѣта его юности.

«Это не де-Бальзакъ, -- восклицаеть въ восторгъ съ своими герцогами, герцогиними, графами, графинями и маркизами, которые столькоже похожи на истинных, сколько самъ де-Баль-закъ похожь на великаго писателя, или геніаль-наго человека. У Жоржъ-Зандъ нётъ ни любви, ни ненависти къ привилегированнымъ сословіямъ, нътъ ни благоговънія, ни презрѣнія къ низшимъ слоямъ общества; для нея не существують ни аристократы, ни плебен; для нея существуеть только человькь, и она находить человька во всёхъ сословіяхъ, во всёхъ слонув общества, лю інть его, сострадаеть ему, гордится имъ и плачеть о немъ. Но женщина и ея отношенія въ обществу, столь мало оправдываемыя разумомъ, столь много основывающіяся на преданіи, предразсудкахъ, эгоизмъ мужчинъ- эта женщина наиболъе вдохновляетъ поэтическую фантазію Жоржъ-Зандъ и возвышаеть до паеоса благородную энергію ея негодованія къ легитимированной насиліемъ невъжества, ен живую симпатію къ угнетенной пред-разсудками истинь. Жоржь-Зандь есть адвокать женщины, какъ Шиллеръ быль адвокать человъчества. Мудрено-ли после этого, что г-жа Дюдеванъ ославлена слепою чернью, дикою, невежественною толпой, какъ писательница безиравственная! Кто открываеть людямъ новыя истины, тому люди не дадуть спокойно кончить въка; за то, когда сведуть въ раннюю могилу, то непремънно воздвигнуть великолепный памятникъ, и какъ на святотатца будуть смотрёть на того, кто-бы дерзнуль сказать коть одно слово противъ предмета ихъ прежней остервенькой ненависти... Выдь и Шиллерь, при жизни своей, слыль писателемъ безиравственнымъ и развратнымъ»...

Какая очевидная разница и въ идеяхъ, и въ симнатіяхъ, и въ тонъ между Вълинскимъ 1839 года и 41! Тотъ-ли это Белинскій, который смотрёдъ на произведенія Шиллера, какъ на уродливые ублюдки, смёсь красноречія и поэзіи, въ женскомъ вопросв видълъ одни бредни сенъ-симонистовъ, а Жоржъ Зандъ самъ считалъ, подобно невъжественной толиф, писательницей безиравственною.

Въ 1843 году Вълинскій окончательно переходить въ лѣвый лагерь гегеліанцевъ, такъ что послѣдніе слѣды московскихъ увлеченій исчезають. Гегелевскую діалектику онъ начинаетъ употреблять уже не въ видѣ одного усматриванія въ жизни различныхъ противорѣчій и искусственнаго сведенія ихъ въ примиряющіе синтезы, а съ цѣлію проповѣди вѣчнаго и неусыпнаго прогресса.

«До постиженія идеи — говорить Бѣлинскій въ обозрѣніи литературы за 1842 г. (см. С. Б., т. VII, стр. 56)-мы доходимъ искусственнымъ путемъ отвлеченія: слёдонательно, идея сама по себё есть только одна сторона предмета, искусственно отделяемая нами отъ живой всецелости предмета, для того, чтобы намъ можно было отръшиться отъ непосредственнаго. эмпирического способа понимать этотъ предметь. И потому нъть идей, которыя и оставались бы иденми; но всякая идея осуществляется какъ факть-какъ предметь или какь действіе. Осуществленіе идеи въ факть имбеть свои непреложные законы, изъ которыхъ главнъйшій-посльдовательность и постепенность. Ничто не является вдругь, ничто не рождается готовымъ; но все, имъющее идеи своимъ исходнымъ пунктомъ, развивается по моментамъ, движется діалектически, изъ низшей ступени переходя на высшую. Этоть непреложный законь мы видимъ и въ природъ, и въ человъкъ, и въ человъчествъ. Природа явилась не вдругъ, готовая, но имъла свои дни, или свои моменты творенія. Цар-ство некопаемое предшествовало въ ней парству прозябаемому, прозябаемое — животному. Каждая былинка проходить черезъ нъсколько фазисовъ развитія, и стебель, листь, цвъть, зерно, суть не что иное, какъ непреложные последовательные моменты въ жизни растенія. Человёкъ проходить черезъфизические моменты младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости, которымъ соответствують нравственные моменты, выражающиеся въ глубинъ, объемъ и характеръ его сознанія. Тотьже законъ существуеть и для обществъ, и для человъчества»...

Сознаніе этого закона заставдяетъ Вълинскаго смъло смотръть на будущее, не обращая вниманія на всъ ужасы настоящаго. Такъ, въ своей статьть о сочиненіяхъ Варатынскаго (см. С. Б., т. VI, стр. 311) онъ смъется надъ людьми, "которыхъ разложеніе и гніеніе элементовъ старой общественности, продажность, правственный развратъ и оскудъніе жизни и доблести въ современномъ—заставляють отчаяваться за будущую участь человъчества"...

дущую участь человьества.... соверать чель на факть, — говорить Бълинскій объ этихъ людяхъ—за которымь они не видать идеи, не понимая, что умираеть и гніеть только отживнее, чтобы уступить місто новому и живому. Еслибы вмісто того, чтобы испугаться демона, они испугали его—онь указаль бы имъ на посліднее время умиравшей древности, которая въ амфитеатрахъ свонхъ тіпинась кровавымь арблищемъ, какъ вібри тервають христіанъ, и которая, въ слівотіъ своей, не подогрівала, что этою побідой надь мучениками она сама била побіждена, ст своїми уже опошлившимися богами... Тогда они поняли бы, что смерть старой истины еще не означаєть смерти истины вообще»...

Этотъ законъ прогресса Бълинскій примъняеть и

къ некусству. Если развивается въ мір'в все сущее, то и некусство, въ свою очередь, подлежитъ развитію, и къ тому-же развитіе его, по мижнію Бълинскаго, всегда бываетъ связано съ другими сферами сознанія. "Въ эпоху младенчества и юношества народовъ, искусство всегда болѣе или менѣе—выраженіе религіозныхъ идей, а въ эпоху возмужалости—философскихъ понятій". Кромъ этого, Вълинскій примодать на развитіе и характеръ искусства вліяніе природы, мѣстности, страны, климата, наконецъ, политическихъ обстоятельствъ. Всѣ эти соображенія приводятъ Вълинскаго къ слѣдующему выводу:

«Изъ этого видно, -- говорить онъ, -- какъ жестоко ошибаются ть умозрительные судьи изящнаго, которые хотять видёть въ искусствъ совершенно отдёльный мірь, существующій независимо оть другихъ сферъ сознанія и отъ исторіи. Основываясь на томъ, что предметь искусства не временное и относительное, а въчное и безусловное, они думають, что искусство унижаеть себя, если подчиняется какимъ-бы то ни было историческимъ и временнымъ вліяніямъ. Но это значить смотръть на «вѣчное» и «безусловное», какъ на отвлеченныя понятія, чуждыя всякаго содержанія, какъ на логическія построенія, лишенныя всякой жизненности; ибо «вѣчное» выражается во времени, «безусловное» ограничивается формой проявленія, «безконечное» дълается доступнымъ созерцанію въ конечномъ.

«Вайронъ, Шиллеръ и Гете,—говорить Вълинскій въ другомъ мѣстѣ (см. С. Е., т. VI, стр. 208),—это философы и критики въ поэтической формѣ. О нихъ всего менъе можно сказать, что они поэты, и больше ничего. Правда, Гете, вследствіе своей уже слишкомъ нъмецкой натуры и аскетическаго образа возврънія на міръ, Гете еще могъ бы подходить подъ идеаль поэта, который поеть, какъ птица, для себя, не требуя ничьего вниманія (лишь печатаеть свои пѣснопънія для людей); но и онъ не могъ не заплатить дани духу времени: его «Вертеръ» есть не что иное, какъ вопль эпохи; въ его «Фаустъ» заключены всъ нравственные вопросы, какіе только могуть возникнуть въ груди внутренняго человъка нашего вре-мени; его «Прометей» дышеть преобладающимъ духомъ въка; многія изъ его мелкихъ лирическихъ півев суть не что иное, какъ выраженіе философскихъ идей... Духъ нашего времени таковъ, что величайщая творческая сила можеть только изумить на время, если она ограничится «птичьимъ пъніемъ», создасть себъ свой мірь, неимъющій ничего общаго еъ историческою и философскою дъйствительностью современности, если она вообразить, что земля не достойна ея, что ея мъсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ся таинственныхъ сновиденій и поэтическихъ соверданій! Произведенія такой творческой силы, какъ бы ни громадна была она, не войдуть въ жизнь, не вов-будять восторга и сочувстви ни въ современникахъ, ни въ потомствъ... Свобода творчества легко согласуется съ служениемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на тэмы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себъ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія. любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдёляеть убъжденія отъ дёла, сочиненія отъ жизни. Что вошло, глубоко запало въ душу, то само собою проявится во виж».

Сообразно съ этими новыми возгрѣніями Бѣлинскаго на искусство, измѣнилась и оцѣнка его поэтическихъ произведеній. Онъ началъ смотрѣть на нихъ не съ одной только эстетической точки зрѣнія, началъ искать въ нихъ не одного только соотвѣтствія иден и формы, а между прочимъ, обращать вниманіе и на то, насколько произведеніе выражаеть духъ современности и удовлетворяеть интересамъ общества. Такъ, напримъръ, взглядъ его на Пушкина соверешенно измѣнился сравнительно съ тѣмъ, какой онъвысказываль въ "Московскомъ Наблюдателъ". Върядъ статей, посвященныхъ разбору стихотвореній Пушкина, онъ ставить на видъ историческое значеніе Пушкина, какъ поэта, отдаетъ ему въ этомъ отношеніи полную справедливость, но въ то-же время смотритъ, какъ на большой недостатокъ Пушкина, него стремленіе къ чистому искусству и отрѣшеніе отъ современности, и вслъдствіе этого отрицаеть значеніе Пушкина для 40-хъ годовъ.

«Какъ-бы то ни было, — говорить Вѣлинскій (см. С. Б., т. VIII, стр. 398), но по своему возгрѣнію, Пушкинь принадлежить къ той школь искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европъ и которая даже у насъ не можеть произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изследованія, страстное, полное вражды стремлене мышлене, сдълансь теперь жизнію всякой истинной поззіи. Воть въ чемъ время опередило поззію Пушкина и большую часть еге произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возникаеть только какъ удовлетворительный отвёть на тревожные бользненные вопросы настоящаго... Личность Пушкина высока и благородна; но его взглядь на свое художественное служение, равно какъ и недостатокъ современнаго европейскаго обравованія, тъмъ не менье, были причиной постепеннаго охлажденія восторга, который возбудили первыя его произведенія. Правда, самый неумъренный восторгь возбудили его самыя слабыя, въ художественномъ отношении, піэсы; но въ нихъ видна была сильная, одушевленная субъективнымъ стремленіемъ личность. И чёмъ совершенние становился Пушкинъ, какъ художникъ, тъмъ болъе скрывалась и исчезала его личность за чуднымъ, роскошнымъ міромъ его поэтическихъ созерцаній. Публика, съ одной стороны, не была въ сестояніи оцілить художественнаго совершенства его последнихъ созданій (и это, конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны, она вправъ была искать въ поэзіи Пулкина болъе нравственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это, конечно, была не ея вина)...»

Радомъ съ этимъ новымъ взглядомъ Вълинскаго на Пушкина, мы можемъ поставить приговоръ его относительно таланта Ап. Майкова — приговоръ, показывающій наглядно его требованія отъ современной пезвіи й нелишенный нѣкотораго пророческаго предына. Вѣлинскій встрѣтиль появленіе Ап. Майкова на литературномъ поприщѣ съ тѣмъ восторгомъ, съ какимъ онъ встрѣчалъ всѣ молодыя дарованія. Но, превознеся антологическія произведеніи Майкова, поставивши ихъ даже выше подобныхъ-же произведеній Пушкина, Бѣлинскій, вмѣстѣ съ тѣмъ, выразиль опасеніе, чтобы Майковъ не ограничился однѣми антологиями.

«Но жаль было-бы, —говорить онъ въ «Обозрѣніи Русской Литературы за 1842 г.» (см. С. Б., т. VII, стр. 32) —еслибы только на этомъ остановился Майновъ. Антологическія стяхотворенія, какъ бы ни были хороши—не болёе, какъ пробный камень артистическаго элемента въ поэть Ихъ можно сравнить съ ножкой Психеи, рукой Венеры, головой Фавна, превосходно высѣченными лять мрамора. Конечно, превосходно сдѣланная ножка, ручка, грудь, или голова, каждая изъ этихъ деталей можеть слу-

жить доказательствомь необыкновенныхь скульптурных дарованій, чувства пластики, изученія древняго искусства, но еще не составляеть скульптуры, какъ искусства, и превосходно сдблать ножку, ручку, грудь, или головку далеко не то, что создать цвлую статую. Сверхъ того, исключительная преданность древнему міру (и притомъ далеко не вполнъ понятому), безъ всякаго живаго, кровнаго сочувствія къ современному міру, не можеть сдблать великимъ или особенно замъчательнымъ поэта нашего времени. Къ этому еще должно присовокупить, что одно да одно, теряя прелесть новости, теряеть и свою цъну. И такъ, мы желали бы, чтобы Майковъ или предавался основательному и обширному изучению древности и передаваль на рус-скій языкъ, своимь дивнимь стихомъ, въчныя, не-умиракощія созданія эллинскаго некусства, или обръдь въ тайникъ духа своего тѣ сердечныя, задушевныя вдохновенія, на которыя радостно и привътливо отзывается поэту современность. Покоряясь требованіямъ справедливости, мы не можемъ не повторить здась уже сказаннаго нами въ статъв о стихотворениях Майкова, что почти всв его не антологическія стихотворенія пока не объщають въ будущемъ ничего особеннаго».

X.

Двѣ струи въ движеніи мисли сороковыхъ годовъ: струя зрѣлаго и молодого покольнія.—Причины преобладанія отрицанія въ зрѣлыхъ дѣятеляхъ сороковыхъ годовъ.—Отрицательный характеръ сочиненій Вѣлинскаго съ 1843 года и недостатокъ опредѣленыхъ взглядовъ на положительность, натуральную школу и женскій вопросъ.—Направленіе молодежи сороковыхъ годовъ.—Первые проблески реальной мисл.—В. Н. Майковъ и его эстетическая теорія.—Критика метафявической эстетики.

Мы уже сказали въ предъидущей главъ, что окон- . чательный переходъ Вълинскаго въ лагерь левыхъ гегеліанцевъ совершился въ 1843 году. Годъ этотъ во многихъ отношеніяхъ замічателенъ въ ході развитія нашей мысли. Къ этому году успёль и Герценъ обратиться въ фейербахиста; въ этомъ году Грановскій началь читать публичныя лекцін; съ этого года "Отечественныя Записки" окончательно дёлаются органомъ передовой партіи западниковъ, группирующихся въ тёсный союзъ вокругъ Герцена, Бёлинскаго и Грановскаго. Этотъ годъ можетъ считаться рубежемъ въ переходномъ процессъ нашей мысли: до него мы видимъ все еще преобладание метафизики и мистицизма, послѣ него мысль начинаетъ съ большею и большею смёлостью стремиться на почву реализма. До него передовые люди находились подъ сильнымъ вліяніемъ германской философіи; послѣ него начинаетъ преобладать вліяніе политическаго и соціальнаго движенія, господствовавшаго въ то время во

При этомъ новомъ движенін нашей мысли надо тщательно различать дв'в струи, которыя особенно різко выступають къ концу сороковыхъ годовъ—струю зрізлаго и молодого поколінія. Грановскій, Герценъ, Візлинскій, Гоголь и др. называются обыкновенно людьми сороковыхъ годовъ, потому только, что въ эти годы совершилось главное развитіе ихъ діятельности. Но въ то-же время они уже не были въ сороковые годы тімъ, что обыкновенно называется у

насъ полодымъ поколеніемъ. Это было молодое поколеніе тридцатыхъ годовъ. Изъ тридцатыхъ годовъ вынесли они свои преданія; тридцатые годы воспитали ихъ и направили. Въ сороковые-же годы они были уже людьми зрёлыми и во многихъ отношеніяхъ установившимися. Это не мъшало имъ переживать переходный процессъ развитія сороковыхъ годовъ. Но мы видъли, какъ трудно давался инъ этотъ процессъ. И это очень пенятно: въ 30 и 35 летъ переходные процессы мысли не могуть уже совершаться съ такою быстротой, какъ въ 20 и 25 леть; мозгъ человека такъ привыкаетъ имслить въ известномъ направлении и системъ, что словно окостенъваеть въ томъ видъ, какъ онъ устроился въ молодые годы. Вотъ почему даже на самыхъ даровитыхъ и сильныхъ умахъ людей сороковыхъ годовъ, наиболъе освободившихся отъ истафизическихъ принциповъ, нътъ, нътъ, да и отзывались тридцатые годы. Вся сила и слабость ихъ пропаганды вполив обусловливаются темъ моментомъ въ переходномъ процессъ развитія, когда мысль едва только сбрасываетъ иго отжившихъ принциповъ. Такая нысль всегда бываеть болже критическая, отрицательная, чемъ положительная. Новаго еще неть; оно только-что строится, предвидится и смутно мелькаетъ передъ сознаніемъ въ блёдныхъ и туманныхъ очеркахъ, между тъмъ, все старое и пережитое такъ еще свъжо въ намяти, такъ глубоко врёзалось у всёхъ въ нравы и привычки, такъ наболело на сердцахъ всехъ и каждаго, что мысль невольно обращается ко всему этому, она чувствуетъ свою силу, мощь въ отрицани этого стараго, она находить въ этомъ отридани невыразимое сладострастіе; но въ то-же время, когда ей приходится давать отчеть, во имя чего-же она отрицаеть, туть открывается передъ вами вся ея немощность и бъдность: за неимбијемъ ничего новаго, она ограничивается общими, неопределенными фразами, темными гаданіями, или-же, по привычкъ, вертится въ очарованномъ кругу того-же стараго міросозерцанія, ограничиваясь только темъ, что называетъ бёлымъ то, что, съ точки зрвнія стараго міросозерпанія, считалось чернымъ, и наоборотъ, хотя въ сущности и черное, и бълое стараго міросозерцанія одинаково подлежить скептицизму. Бълинскій съ поразительною глубиной определиять свой вект въ этомъ отношении, сказавши о Печоринъ, что онъ готовъ для всего новаго, но судьба еще не даеть ему новыхъ опытовъ, и, презирая старые, онъ, все-таки, по нимъ-же судить о жизни.

Эти слова Вълинскаго о Печоринъ вполит применими къ нему самому. Въ самомъ дълъ, самым сильныя, патетическія и наиболте вліятельныя статьи или отдъльныя мъста изъ статей Вълинскаго послъ 1843 года суть именно тъ, въ которыхъ онъ отридаетъ отжившіе принцицы, формы и явленія жизни, окружавшей его; но если вы захотите отдать себт отчетъ, что-же онъ ставить вмъсто всего этого, — сколько ни перечитывайте статьи Бълинскаго, вы не въ состояни будете составить хоть сколько нибудь опредъленныхъ представленій о его положительныхъ идеалахъ и стремленіяхъ и придете только къ тому заключенію, что онъ держится въ какомъ то очарованномъ кругу. Такъ, напримъръ, при каждомъ удобномъ

случат Бълинскій нападаеть на романтизмъ. Въ романтизмъ онъ преследуеть фантастичность, мечтательность, стремленіе жить мимо жизни.

«Раздада съ дъйствительностъю, —товоритъ онъ о романтикахъ (см. С. Б., т. Х., стр. 269), —болъвнь этакъ людей. Въ дни кипучей, полной силами юности, когда надо китъ, надо сибишитъ жисъ, они, вмёсто этого, только разсуждаютъ о жизни. Нѣкоторые изъ нихъ спохватываются, но поздяю: именно въ то время, когда чловъкъ не годится уже ни на что лучшее; развъ это не такая-же, или даже еще не большая уродливость? Но теперь всъ заговорили одъйствительности. У всёхъ на языкъ одна и таке фраза: «надо дълатъ». А между тъмъ, все-такъ, никто ничего не дъластъ! Это показываетъ, что во чтобы ни нарядился романтикъ, онъ все останется романтикомъ»...

Все это совершенно справедливо; но справедливо только въ отрицательномъ смыслѣ, въ приложеніи къромантикамъ. Затѣяъ, является немедленно неотвязный вопросъ: какъ-же нужно жить и что-же дѣлать, чтобы не быть романтикомъ и не быть въ то-же время въ ряду пошлой толны, которая живетъ не мысля? На это отвѣчаетъ вамъ Бѣлинскій слѣдующею отвлеченною, философскою формой:

«Человъкъ долженъ сознавать жизнь, и разумъ долженъ вести человъка по нути жизни—тъмъ и отличается человъкъ отъ животныхъ безсловесныхъ; но основой жизни долженъ быть инстинкть, непосредственное чувство. Безъ нихъ жизнь есть пустое, холодное и, къ довершенію, преглупое уминчанье; такъ-же какъ безъ мислительности непосредственное существованіе есть животное состояніе»...

Все это очень красиво, какъ правильно-построенная, логическая формула, но формула слишкомъ общая, чтобы служить отвътомъ на вопросъ. По своей отвлеченности, она ничъмъ не отличается отъ азбучныхъ аксіомъ, въ родъ: праздность—есть мать всъхъ пороковъ, наука отворяеть врата въ царство разума и пр., которыя, оставаясь вполнъ истинными и непреложными аксіомами, тъмъ не менѣе, представляются какими-то засушеными остовами мысли, поражающими васъ своею мертвенностью и ничего не говорящими вапему уму.

Но когда изъ этихъ отвлеченныхъ аксіонъ Бълинскому приходилось спускаться въ міръ живой дъйствительности и анализировать факты жизни, тогда оказывалось, что онъ ничего не былъ въ состояніи противопоставить романтизму, какъ тотъ-же слъпой, практическій эмпиризмъ пошлой толиы.

Въ 1847 году появился на литературное поприще Гончаровъ со своею "Обыкновенною исторіей". Бълинскій оціниль весьма върно вновь появившійся таланть, объявивши, что Гончаровъ поэтъ, художникъ и больше ничего, мыслитель-же онъ плохой, что Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать; говорить-же, судить и извлекать изъ нихъ нравственныя слъдствія ему надо предоставить своимъ читателямъ.

Но въ чемъ выражается слабость мысли Гончарова, этого Вълинский не могъ уяснить себъ ясно и опредъленно. Недостатокъ мыслительности Гончарова заключается именно въ томъ, что, отнесшись отрицательно къ романтизму и осмъявъ его въ лицъ Але»

ксандра Адуева, Гончаровъ, въ то-же время, въ противовьсь этому отжившему типу, поставиль, какъ идеаль положительности, типъ еще болье отжившій. Если романтизмъ имъетъ какое-либо значеніе въ исторін нашего развитія, то именно то, что онъ первый надаль на эмпиризмъ пошлой толны. Романтики стоять вовсе не рядомъ съ Фамусовыми и Молчалиными, а неизмъримо впереди нихъ. Но что такое дядюшка Петръ Ивановичь Адуевъ, какъ не тотъ-же Фамусовъ, идеализированный Гончаровымъ, какъ типъ современной положительности? Ставить въ противовъсъ мечтательности---эмпиризмъ, въ противовесъ романтика -Фамусова, это, значитъ, идти не впередъ, а назадъ, становиться на точку зрёнія беззавётной пошлости филистерства, не помышляющаго ни о чемъ болъе, какъ о нарощении брюшка и капитальца, и считающаго все остальное праздною мечтательностью.

Между тёмъ, Вѣлинскій слѣно слѣдуеть за Гончаровымъ. Осыпавъ всевозможными насмѣшками Александра Адуева, онъ въ то-же время совершенно доволенъ дядюшкой.

«Петръ Ивановичь, - говорить онь, - по своему человькь очень хорошій; онь умень, очень умень, потому что хорошо понимаеть чувства и страсти, которых въ немъ нѣтъ и которыя онъ презиралъ; существо вовсе не поэтическое, онъ понималь поэзко въ тисячу разъ лучше своего племянника, который изъ лучшихъ произведений Пушкина какъ-то ухитрился набраться такого духа, какого можно былобы набраться изъ сочиненій фразеровъ и риторовъ. Петръ Ивановичъ-эгоисть, холоденъ по натуръ, неспособень къ великодушнымъ движеніямъ; но вмъсть съ этимъ онъ не только не золъ, но положительно добръ. Онъ честенъ, благороденъ, не лицемъръ, не притворщикъ, на него можно положиться, онъ не, объщаеть чего не можеть или не хочеть сдълать, а что объщаеть, то непремънно сдълаеть. Словомъ, это въ полномъ смыслѣ порядочный человъкъ, какихъ, дай Богъ, чтобы было больше»...

Что Гончаровъ выставиль идеаломъ положительности отъъвшагося филистера, въ этомъ нътъ ничего удивительнаго; но что Вълинскій могъ увлечься этимъ господиномъ, это можетъ представляться съ перваго вятляда ръшительно непонятнымъ, если вы не примете въ соображеніе, что Вълинскій просто-на-просто увлекся до такой степени отрицаніемъ романтизма, что ему было ръшительно все равно, чъмъ ни бить ненавистный ему романтизмъ, и далъе этого отрицанія онъ не отдавалъ себъ ни въ чемъ отчета.

Но если Вълинскій оказывается согласнымъ съ Гончаровымъ въ главныхъ мотивахъ романа, то почему, спросите вы, опъ считаеть Гончарова плохимъ мыслителемъ? Вълинскій даетъ важь ответъ на этотъ вопросъ въ своемъ разборѐ "Обыкновенной исторін", но разъ не попавши въ цёль, не уловивши сущности недостатковъ романа, Вълинскій остается на ложномъ пути и во всёхъ своихъ выводахъ. По его мителію, недостатокъ мыслительности Гончарова заключается въ томъ, что онъ не выдержалъ характера Ал. Адуева, зачъпъ онъ заставиль его отрезейть и склониться на дорогу дядюшки; романтикъ, по мифию Вълинска но, и Гончаровъ поступилъ бы справедливъе, еслибы обратилъ Александра Ивановича въ славянофила.

«Тулъ Адуевъ, поворить Бълинскій, остался бы върнымь своей натуръ, продолжаль бы старую свою

жизнь, и между тёмъ думаль бы, что онъ и Богъ внееть какъ ушелъ внередь, тогда какъ, въ сущности, онъ только бы перенесъ стария внамена своихъ мечтаній на новую почву. Прежде онъ мечталь о славѣ, о дружбѣ, о любви, а тутъ сталъ-бы мечтать о народахъ и племенахъ, о томъ, что на долю славянъ досталась любовь, а на долю тевтоновъ вражда, о томъ, что во времена Гостомисла «славине имѣли висшую и образцовую для всего міра цивилязацію» и пр.

Основная ошибка во всемъ этомъ суждении о развязкъ "Обыкновенной исторіи" заключается въ томъ, что Бълинскій почему-то романтизмъ считаетъ не преходящею фазой развитія, съ которой человікь можеть двигаться назадъ и впередъ, а какою-то врожденною бользнью, какъ будто извъстный процентъ народонаселенія родится въ видѣ романтиковъ, и ужь разъ кому на долю выпало это несчастіе, тотъ такъ и остается на всю жизнь до гробовой доски романтикомъ. Между темъ, въ векъ Белинскаго превращение романтиковъ въ филистеры было явленіемъ весьма зауряднымъ, особенно если взять во вниманіе, что при всеобщенъ стремлении къ положительности, даже такіе передовые и глубокіе мыслители, какъ Вълинскій, не могли себф представить иной положительности, какъ въ виде Петра Ивановича Адуева. Такимъ образонъ, Гончаровъ совершенно справедливъ въ развязкъ романа. Для подобной развязки ему вовсе не нужно было даже быть особенно глубокимъ мыслителемъ: ему нужно было только вооружиться хорошимъ художественнымъ чутьемъ, чтобы перенесть въ свое произведеніе всецёло факть, который, безъ сомнёнія, примедыкался въ глазахъ его обыденной жизни. Но какъ-же Вълинскій не поняль всей этой естественности развязки романа и почему захотълось ему непременно, чтобы Адуевъ до конца жизни оставался романтикомъ? И опять-таки, по нашему мнанію, это произошло отъ увлеченія отрицаніемъ. Осмінвши романтиковъ, Бълинскій не могъ не прихватить по дорогъ и славянофиловъ. Вообще, въ его полемикъ всегда были гдъ романтики, тамъ непремънно и славянофилы и наоборотъ, а между тъмъ Гончаровъ о славянофилахъ, какъ нарочно, не говоритъ въ своемъ романъ ни подсловечка. У Бълинскаго и мелькнула въ годовъ соблазнительная идейка, какъ бы хорошо обратить Адуева въ заключение въ славянофилы и зачеть это Гончаровъ упустилъ изъ виду. Вследствіе этого онъ и признадъ въ Гончаровъ слабаго мыслителя и, такимъ образомъ, исходя изъ ложнаго основанія, нечаянно высказалъ правду.

Радонъ съ пропагандой положительности мы видимъ въ Бѣлинскомъ проповѣдника искусства дѣйствительности, правды, почитателя Гоголя и защитника натуральной школы. Эта школа, ведя свое начало отъ Гоголя, на первыхъ шагахъ далеко опередила своего основателя. Она заимствовала отъ него одну только внѣшнюю форму; между тѣмъ духъ, господствовавшій въ ней, идеи, лежавшія въ ея произведеніяхъ, не имѣли ничего общаго съ мистическими, средневѣковыми тендевціями Гоголя. По своему внутреннему содержанію, натуральная школа была отголоскомъ того соціальнаго движенія, которое въ то время господствовало во Франціи. Защита раба отъ промявола господина, женщины отъ родовато ига, осмѣя-

ніе апатіи и рутины, грубаго нев'єжества, отсутствія честности, гуманности и гражданскаго чувства—воть

мотивы натуральной школы.

Вследствіе этого, натуральная школа по самому существу своему была поэзіей тенденціозною. Писатели, принадлежавшіе къ этой школь, изображали жизнь не ради одной чистой художественности, а съ цёлью анализа этой жизни, выраженія своихъ общественныхъ симпатій и антипатій. Этоть анализь быль часто весьма не глубокій, узкій и поверхностный, завися отъ степени развитія большинства писателей того времени; нередко писатели упускали совершенно изъ виду всякій анализь и увлекались художественнымъ воспроизведеніемъ действительности безъ всякой цели, совершенно въ духф чистаго искусства; но, во всякомъ случав, общее направление натуральной школы было, все-таки, тенденціозное, аналитическое и отрицательное по преимуществу. Въ концъ сороковыхъ годовъ школа эта окончательно утвердилась въ нашей литературъ. Въ это время въ ней подвизались уже Искандеръ, Тургеневъ, Гончаровъ, Григоровичъ, Достоевскій, Н. Некрасовъ, И. Панаевъ и пр.

Бълинскій глубоко понималь значеніе и сущность этой новой школы. Съ энтузіазмомъ встрічаль онъ каждый начинающій таланть, идущій по этому направленію. Онъ не упускалъ случая, чтобы не распространиться по поводу значенія въ его время натуральной школы, и значенія не одного только художественнаго, но преимущественно общественнаго, гражданскаго. При этомъ онъ постоянно ратовалъ противъ чистаго искусства и доказывалъ, что служеніе общественнымъ интересамъ не только не унижаетъ искусства, но, напротивъ того, возвышаетъ его, расширяетъ сферу его содержанія. Но всё эти ратованія и доказательства были хороши только до той поры, пока Евлинскій оставался въ сферв общихъ философскихъ положеній; но едва спускался онъ къ анализу и оценке различныхъ литературныхъ произведеній своего времени, онъ снова сбивался на старую эстетику й путался въ неисходныхъ противоръчіяхъ, стремясь къ новому, а судя, все-таки, по старому.

Такъ, напримъръ, въ 1847 году начали печататься въ "Современникъ" "Записки охотника" Тургенева. Первые разсказы этого сборника были помъщены въ самомъ концъ книги, въ отдълъ смъси. Но, при всемъ томъ, публика обратила вниманіе на эти разсказы и оценила ихъ съ перваго-же появленія дучше многихъ повъстей и романовъ, помъщенныхъ въ первомъ отдълъ того-же журнала. Въ обозръніи русской литературы за 1847 годъ мы читаемъ слъдующій отвывъ Вълинскаго о "Запискахъ охотника" Тургенева:

«Наконець, въ первой книгѣ «Современника» за прошлий годь быть напечатанть его разсказа «Хорь и Калинычъ». Успѣть въ публикѣ этого небольшато разсказа, помѣщеннаго въ смѣси, былъ неомиданъ для автора и заставилъ его продолжать разсказы охотника. Здѣсь талантъ его обозначился вполнѣ. Очевидно, что у него нѣтъ таланта чистаго творчества, что онъ не можетъ создавать характеровъ, ставить ихъ въ такія отношенія между собою, изъ какихъ образуются сами собою романы и потейсти. Онъ можетъ изображать дѣйствительность, видѣнную и изученную имъ, если угодно—творить,

но изъ готоваго, даннаго, дёйствительнаго матеріала. Это не простое списыванье съ дъйствительности, она не даеть автору идей, но наводить, наталкиваеть, такъ сказать, на нихъ. Онъ переработываеть взятое имъ готовое содержание по своему идеалу, и отъ этого у него выходить картина, болъе живая, говорящая и полная мысли, нежели дъйствительный случай, подавшій ему поводъ написать картину; и для этого необходимь, въ извъстной мърѣ, поэтическій таланть. Правда, иногда все умѣнье его заключается въ томъ, чтобы только вѣрно передать знакомое ему лицо или событе, котораго онъ быль свидътелемъ, потому что въ дъйствительности бывають иногда явленія, которыя стоить только върно переложить на бумагу, чтобы они имъли вст признаки художественнаго вымысла. Но и для этого необходимъ талантъ, и таланты такого рода имъютъ свои степени. Въ обоихъ этихъ случаяхъ Тургеневъ обладаетъ замъчательнымъ талантомъ. Главная характеристическая черта его таланта завлючается въ томъ, что ему едва-ли бы удалось создать вёрно такой характерь, подобнаго которому онъ не встрётиль въ дъйствительности. Для такого рода искусства ему даны отъ природы богатыя средства: даръ наблюдательности, способность върно и быстро понять и оценить всякое явленіе, инстинктомъ разгадать его причины и следствія, и, такимъ образомъ, догадкой и соображениемъ допол-нить необходимый ему запасъ свъдъній, когда раз-

спросы мало объясняють».

Прочитавши это опредъление таланта Тургенева, вы сразу запутываетесь въ либиринтъ поразительныхъ противоречій. Съ одной стороны, казалось бы, что, по теоріи Вёлинскаго, у Тургенева есть всё данныя для истиннаго художественнаго таланта, такъ какъ онъ не просто списываетъ съ натуры, а "переработываетъ взятое имъ готовое содержание по своему идеаду, и отъ этого у него выходить картина, болве живая, говорящая и полная мысли, нежели действительный случай, подавшій ему поводъ написать картину... " Казалось бы, что подъ такое определение, по теоріи-же Бълинскаго, подходитъ не одинъ только родъ ноэзіи, и притомъ какой-то самый низшій родь, а поэзія вообще? Не самъ-же ли Бълинскій такъ часто проповъдываль въ своихъ статьяхъ, что поэтъ не можетъ творить изъ себя, выдумывать действительность, что онъ только преображаетъ то, что виделъ и слышалъ, въ свои поэтические образы? И вдругъ оказывается, что Тургеневъ, который дёлаеть, по словамъ Вёлинскаго, именно это самое, не имбетъ таланта чистаго творчества, и потому не имветь, что не можеть создать характера, "подобнаго которому онъ не встретиль въ действительности", потому что "онъ всегда долженъ держаться почвы действительности"... Такимъ образомъ и оказывается, въ концѣ концовъ, что истинное творчество есть вовсе не преображение действительности въ поэтические образы, а все тотъ-же метафизическій дарь поэта создавать свой собственный мірь; следовательно, и все произведенія натуральной школы, главное достоинство которыхъ въ топъ именно и заключалось, что они твердо держались почвы действительности, следуеть отнести не къ истинно-художественнымъ произведеніямъ, а къ тому-же низшему роду нозвін, какъ и "Записки охотника" Тургенева. А между темъ, тотъ-же Белинскій постоянно восхваляль натуральную школу именно за то, что она держится на почвѣ дѣйствительности.

Это подведение подъ метафизический принципъ про-

изведеній натуральной школы, совершенно не подходящих в подъ этотъ принципъ, и было причиной, что Вълинскій не имълъ никакого истиннаго критеріума для опредъленія относительнаго достоинства этихъ

произведеній.

Такъ, напримъръ, и Григоровича, и Тургенева онъ ставилъ совершенно рядомъ съ Далемъ, чуждымъ по- этическаго творчества, съ точки врѣны какого угодно принципа, метафизическаго или реальнаго. И очен понятно послѣ всего сказаннаго, почему Даль въ глазахъ Бѣлинскаго долженъ былъ стоять на одной доскѣ съ Тургеневымъ: Тургеневъ точно такъ-же не творилъ своего особеннаго міра, какъ и Даль, а такъ какъ Григоровичъ творилъ своихъ особенныхъ крестъянъ, не похожихъ на дѣйствительныхъ и, слѣдовательно, совершенно подходилъ подъ метафизическъ принципъ Бълинскаго, то Бълинскій и не замедлилъ признатъ его истиннымъ художникомъ. Только первые его опыты онъ сравниваетъ съ очерками Даля

«Но его два послѣдніе опыта: «Деревня» и въ замѣчаетъ Бѣособенности «Антонъ Горемыка» линскій-идуть гораздо дальше физіологическихъ очерковъ. «Антонъ Горемыка» больше, чёмъ повёсть, это романъ, въ которомъ все върно основной идеъ, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходить изъ самой сущности дела. Несмотря на то, что вившняя сторона разсказа вертится на пропажѣ мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антонъ-мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, --- онъ лицо трагическое, въ полномъ значенін этого слова. Это пов'єсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тёснятся мысли грустныя и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичь продолжаль идти по этой дорогь, на которой от вео таланта можно ожидать такъ

Мы знаемъ въ настоящее время, на сколько Григоровичъ оправдалъ эти ожиданія Бълинскаго; мы знаемъ, какъ отнеслась къ его произведеніямъ новая, реальная критика, и видимъ, наконецъ, что въ то время, какъ произведенія Григоровича давно всѣ забыты, несмотря даже на то, что авторъ ихъ еще живъ, "Записки охотника" до сихъ поръ читаются всѣми и каждымъ съ наслажденіемъ, и именно вслѣдствіе своей художественности, такъ какъ общественные интересы, проводимые въ нихъ, принадлежатъ уже исторіи.

Дальше вышеупомянутаго метафизическаго принципа Бълинскій не пошелъ. Это былъ предълъ его развитія или, лучше сказать, иго привычки, пріобрѣтенной имъ долгими годами увлеченія метафизическими идеями. Онъ привыкъ думать, что главная цёль критики заключается въ опредъленіи, на сколько поэтъ обладаетъ даромъ чистаго творчества, создающаго свой особенный мірь просв'ятленной д'яйствительности-и съ этой точки эрвнія до конца своего литературнато поприща, занимался подведениемъ поэтожъ подъ искусственно-составленную метафизиками і ерархію, во глав'в которой цариль геній, затемь следовалъ геніальный таланть и, наконецъ, просто таланть, граничащій съ бездарностью. Мы увидимъ ниже, съ какимъ усифхомъ молодая мысль разбила эту поэтическую табель о рангахъ Бълинскаго.

Мы уже видъли выше, что Вълинскій уже въ 1841 г. сдълался поклонникомъ Жоржъ-Занда и при-

верженцемъ женскаго вопроса. Послѣ того онъ неоднократно возвращался къ этому вопросу и каждый разъ его ръчи въ защиту угнетенной женщины были преисполнены искренней, задушевной теплоты и глубокаго сознанія ненормадьности положенія женщины въ обществъ. Но и здёсь, опять-таки, главная сила пропаганды Вёлинскаго заключалась въ отрицанів. Все то, что говорилъ Вѣлинскій о торговлѣ невѣстами, объ исключительномъ посвящении жизни женщины кухнъ и дътской, о положеніи женщины въ гостиной, о женщинахъ-писательницахъ — все это дышетъ поразительно глубокою правдой и мъткостью, все это не потеряетъ значение неоспоримой, хотя и грустной истины, пока не изменится положение женщинь. Анализъ Татьяны и Ольги при разборъ "Евгенія Онъгина " наполго еще останется лучшимъ изъ всего, что инсано у насъ о положеніи женщины въ Россіи.

Но если вы, опять-таки, захотите отдать себё отчеть, во имя чего-же отридаль Вёлинскій современное положеніе женщины, какой лучшій идеаль этого положенія носился въ его воображеніи и какихъ требоваль онъ измёненій въ бытё женщийь—вы, опятьтаки, не въ состояніи будете, перечитывая статьи Вёлинскаго, составить объ этомъ ясное понятіе.

Сначала вамъ можетъ показаться, что Вѣлинскій требоваль полнаго равенства женщинъ и мужчинъ и допущенія женщинъ ко всѣмъ занятіямъ, исполняемымъ нынѣ одними мужчинами.

«Ми охотно соглашаемся, —говорить онъ (см. С. Б., т. VII, стр. 146), —въ томъ, что сама природа создала женщину преимущественно для любви; но изътого еще не слъдуетъ, чтоби женщина только на одно то и родилась, чтоби любить; напротивъ, изътого слъдуетъ, что женщина, подъ преимущественнымъ преобладаніемъ характера любви и чувства, создана дъйствосато въ писът-же самыхъ сфератъ и ма тихъ-же самыхъ подъ претиущественнымъ преобладаніемъ мужчина, подъ претиущественнымъ преобладаніемъ ума и характера. А между тімъ, общественный порадокъ обрекъ женщину на исключительное служеніе любви и преградиль ей пути со всть другів сферы человъчскаю существосамія. Гаремы только фактически принадлежатъ Востоку: въ идеъ они принадлежатъ и просвъщенной Евройъ, и всему міру».

Такъ писалъ Белинскій въ 1843 году по поводу сочиненія Зинанды Р-вой. Въ следующемъ году, въ 1844, въ одной изъ статей о сочиненіяхъ Пушкина онъ посвятиль еще нъсколько строкъ положению женщины, но изъ этихъ строкъ оказывается, что подъ сферами и поприщами, въ которыя должна быть допущена женщина наравив съ мужчиной, Вълинскій подразунъваетъ вовсе не тъ или другія реальныя сферы дъятельности, а философское раздъление жизни на двъ сферы: частную и общую, разумъл подъ частной сеиейные интересы, а подъ общей-интересы человъческіе. Такимъ образомъ, и выходитъ, по теоріи Бълинскаго, что до сихъ поръ женщина жила въ одной семейной сферф, а отнынъ должна быть посвящена и въ общечеловъческую, но, все-таки, не иначе, какъ въ виду своего спеціальнаго, предназначеннаго природой призванія —быть хорошею женой и матерью.

«Но, скажуть намь: женщина—мать, а назначеніе матери свято и высоко—она воспитательница дѣтй своихъ. Прекрасно!—говорять Вѣдинскій по этому поводу (см. Соч. Б., т. УІІІ, стр. 172).—Но въдь воспитывать не значить только выкармливать, вынаньчивать (первое можеть сдалать корова или коза, а второе—нянька), но и дать направление сердцу и уму, а для этого развъ не нужно, со стороны матери, характера, науки, развития, доступности ко всёмы человъческимы интересамъ? Ибть, міръ внанія, искусства, словомъ, мірь общаго долженъ быть столько-же открыть женщинъ, какъ и мужчинъ, на томъ основанія, что и она, какъ и онь, прежде всего—человъкъ, а потомъ уже любовница, жена, мать, ховяйка и проч.».

И здёсь мы видимъ тотъ-же очарованный кругъя въ которомъ вертится Бълинскій. Онъ отрицаеть подожение женщины, какъ самки, а самъ, все-таки, продолжаетъ смотрѣть на женщину, какъ на самку преимущественно, и скромныя желанія его не простираются палье того, чтобы эта самка интересовалась науками, искусствами, общественными вопросами для того. чтобы могла исполнять свои обязанности самки сознательно и разумно, не только выкариливала-бы своихъ петей, но и воспитывала-бы ихъ, такъ какъ она не простая самка, а самка-человъкъ. Если мы рядомъ съ этими взглядами Вѣлинскаго на женщину вспомнимъ, какія мивнія высказывали о томъ-же предметв Грановскій, Герпенъ, или хотя-бы и Гончаровъ (въ своемъ романъ "Обрывъ"), то для насъ станетъ ясенъ тотъ предълъ, далъе котораго люди сороковыхъ годовъ въ женскомъ вопрост не пошли. Этотъ предълъ обусловливается вполнъ метафизическою системой ихъ міровозэрвнія. Вивсто того, чтобы анализировать различіе женщинъ отъ мужчинъ въ его историческомъ теченіи, какъ явленіе измѣняющееся, преходящее, они брали современное имъ различіе, какъ начто субстанніальное, т.-е. неизм'єнное, предуставленное природой, полводили его подъ тезы и антитезы и различныя философскія категоріи, и выходила изъ этого удивительная мъшанина консервативнаго взгляда съ прогрессивнымъ: смотря на современное имъ различіе женщинъ отъ мужчинъ, какъ на нъчто, предуставленное природой, неизивниое, они, въ то-же время, проповъдывали изм'тнение въ положении женщинъ, но такое изм'вненіе, чтобы оно, все-таки, не выходило за предълы предуставленной неизмънности:

Намъ остается разсмотрѣть общественныя убъжденія Бѣлинскаго. Но это мы оставимъ на следующую главу, такъ какъ роковой предѣлъ Бѣлинскаго въ этой сферѣ болѣе всего выясняется въ его столкновеніи съ первыми проблесками въ концѣ сороковыхъ годовъ новой и реальной мысли.

Эти проблески новой и реальной мысли принадлежали молодому поколенію сороковых тодовт и составляли ту другую струю въ движеніи въ сороковые годы, о которой мы упомянули въ началё этой главы.

Молодое поколѣніе сороковыхъ годовъ училось подъ сидьныть вліяніемъ стараго. Оно начинало съ тѣхъже метафизическихъ принциповъ, но гораздо скорѣе своихъ учителей переживало переходный процессъ и рѣшительнѣе свергало съ себя отжившія системы. Доститать этого ему было тѣмъ легче, чѣмъ энергичнѣе, свѣжѣе была молодая мысль и чѣмъ меньше было въ ней старыхъ привычекъ. При этомъ многіе изъ лучшихъ молодыхъ людей сороковыхъ годовъ не ограничивались однимъ отрицаніемъ и шли далѣе; мысль ихъ начинала работать въ новомъ, чисто-реальномъ направленіи, безъ малѣйшихъ уже метафизическихъ отзывовъ, и это вступленіе на реальный путь совершалось тѣмъ быстрѣе, что обновленная мысль находила готовый и богатый матеріалъ на Западѣ, и ей оставалось только усвоивать и переработывать его сообразно потребностямъ русской жизни.

Такимъ образомъ, къ концу сороковыхъ годовъ составилось нъсколько новыхъ и молодыхъ кружковъ, которые не довольствовались уже одними отвлеченнофилософскими и эстетическими вопросами. Внимание ихъ было жадно приковано къ той драмъ, которая разыгрывалась въ то время въ Европъ. Не ограничиваясь одними поверхностными разсужденіями о мотивахъ этой драмы, они глубоко изучали соціальные вопросы того времени, прочитывая цёдые топы политико-экономическихъ и соціологическихъ трактатовъ. Но не менте политическихъ и соціальныхъ вопросовъ занимали ихъ и всв прочія отрасли человвческихъ внаній. Это новое движеніе не замедлило отразиться и въ литературъ. Въ концъ сороковыхъ годовъ начали появляться въ петербургскихъ журналахъ политикоэкономические этюды, естественно-научныя обозрѣнія, новыя эстетическія теоріи, и въ то-же время была впервые проповъдана русской публикъ позитивная философія Конта-мы увидимъ въ одной изъ следуюшихъ главъ, съ какимъ блистательнымъ талантомъ.

Между прочинъ, въ 1846 году, когда Бълинскій, со всёми своими друзьями удалился въ обновленный "Современникъ", въ покинутыхъ "Отечественныхъ Запискахъ появился новый полодой критикъ — Валеріанъ Николаевичь Майковъ. Онъ быль младшимъ братомъ извъстнаго поэта Ан. Майкова, учился въ петербургскомъ университетъ и кончилъ курсъ со степенью кандидата юридическихъ наукъ въ 1842 году. Следовательно, онъ быль еще мальчикомъ, когда Велинскій началь свою литературную дізтельность, и выступиль на литературное поприще, когда Бълинскій кончаль уже его. Впрочемь, В. Майковь кончиль свое поприще еще раньше Бълинскаго, едва начавии его. Летомъ, въ 1847 году, онъ утонулъ, купаясь въ прудъ, въ одной изъ окрестностей Петербурга. Онъ оставиль послѣ себя нѣсколько статей въ "Отечественныхъ Запискахъ", изъ которыхъ наиболъе замѣчательны статьи о стихотвореніяхъ Кольцова ("От. Зап. 1846 г., т. 49) и о романахъ Вальтеръ-Скотта ("От. Зап." 1847 г., т. 51). Мы обратимъ внимание на статью его о Кольцовь, такъ какъ въ стать в этой наиболье полно выражаются возгрынія В. Майкова, и притонъ она послужила полемическимъ столкновеніемъ съ новымъ критикомъ со стороны Вълинскаго.

Такъ какъ мы имъемъ дъло съ критикомъ, то мы начнемъ съ изложенія эстетическихъ воззрѣній В. Майкова. Онъ начинаеть свою статью о Кольцовъ прямо съ того, что нападеть на самую слабую сторону критики Бълинскаго, на отсутствіе систематической и послъдовательной теоретической подкладки подъ его литературными симпатіями и антипатіями. Онъ отдаеть полную справедливость этой критикъ.

«Она оказала—говорить онъ—русской литературф равнообразныя заслуги. Гланное, она служила до сихъ поръ энергическихъ выражениемъ симпатии къ новой школъ искусства...» «Но—говорить онъ да-

лъе-выражать симпатію и анализировать ее-двъ вещи разныя и по сущности, и по результатамъ. Само собою разумъется, что ваща страсть укръпляется, если узнаеть себя въ выражении страсти другого, но укрыпляется она безсознательно, безотчетно: кто выразиль ее сильнее, чемь бы вы сами могли выразить, тоть еще не оправдаль, не осимсдиль ее въ глазахъ людей съ совершенно иными потребностями и даже въ собственныхъ вашихъ глазахъ. Справедливо и то, что сильное выражение всякой мысли и всякаго чувства озадачиваеть людей, неим'єющихъ возможности противопоставить ему такого-же обнаружения своей мыски и своего чувства, особенно если первое имъетъ на своей сторонъ большинство и моду. Но разсчитывать на такой успёхъ своей рёчи все равно, что полагаться на силу легкихъ и на крѣпость груди. Мы даже готовы жальть о томъ, чья недоказанная мысль нашла себь поддержку въ модъ. Что будеть съ этою мыслью? Пускай бы каждый понималь ее по своему, обръзываль или раздуваль по своему разумънію, прицепляль къ такимъ идеямъ, какихъ и не подозраваль творець ся, однимь словомь, пускай бы каждый претворяль ее такъ органически, чтобы не оставалось отъ нея и тъни того смисла, какой онъ котълъ ей дать. Въ этомъ больше хорошаго, чъмъ дурного: бросан, такимъ образомъ, свою мысль въ круговороть вськь идей, вращающихся въ обществъ, вы подмазываете колеса этой машинъ, давая ей пищу, работу, и тъмъ самымъ поддерживаете ся движение. Но горе вамъ, если слово ваше разыгрываеть въ публикъ роль людской новинки, если оно, неоправданное собственными вашими доказательствами, пріобрётеть въ публике силу авторитета! Выразить свое мивніе публично и не подкрыпить его доводами, которые самъ находишь убъдительными, уже значить выразить свое неуважение къ свободъ мабнія и претензію на диктаторство. Но за это-то, рано или поздно, всегда и приходится поплатиться горькимъ чувствомъ разочарованія. Прежде всего увидить диктаторь, что идеи его не сливаются съ другими идеями его публики и находятся съ ними въ самой нелогической противоположности: доказать одну истину нельзя безь того, чтобъ не доказать и цёлаго ряда истинъ, изъ которыхъ она взята, или, лучше сказать, объяснение частнаго предполагаеть объяснение общаго. Чтобъ доказать, напримъръ, что Ломоносовъ не быль поэтомь, надо доказать, что дидакцика не поззія, а что їх успіять въ этомъ, надо объяснить сущность того и другого, и.т. д. Представимъ-же себь, что намъ навязано безъ вслемът доказательства изсколько мыслей, которыя мы имёли слабость принять на слово—случай, болье чёмъ не исключи-тельный. Намъ неизвъстно ихъ основаніе, слеповательно, неизвъстны и тъ истины, которыя находятся съ ними въ связи -или какъ понятія однородныя, или какъ предшествующія посылки силлогизмовъ. Что изъ этого должно выйти? То, что мы не будемъ имъть никакого понятія о вопросъ, ръшенномъ нашимъ диктаторомъ, а будемъ только опасаться проговориться по этому поводу въ чемъ-нибудь такомъ, что противоръчить его приговору. Въ то-же время мы не перестанемъ рѣшать по старому вев тв вопросы, которыхъ онъ не коснулся, но которые объяснились бы намъ сами собою, какъ однородные съ ръшеннымъ, или какъ обусловливающіе его, еслибъ только онъ, диктаторъ, снизошелъ на цоказательное изложение своей идеи. Больно, должно быть, ему видеть въ целомъ обществе такіе тощіе плоды своего слова, особенно если онъ не только не добивался диктатуры, но даже, какъ часто бываеть, отвергаль благороднымь сердцемь всякій помысель на завоевание умовь силой своего личнаго вліянія. Еще больніе должно быть ему встрічать на каждомъ шагу безобразныя доктрины, развитыя изъ его-же мыслей, его-же поклонникамиа все потому, что мысли эти оставлены имъ самимъ

безъ развитія»,

«Довольно—говорить В. Майковъ въ заключеніеесли изъ всего сказаннаго убъдятся читатели, что теперь только-что пришла пора толковать о законахъ изящнаго, и что приняться за этотъ трудъ недъзя иначе, какъ правильнымъ вчинаніемъ иска на таків эстетическія ученія, которыя считаются опровергнутыми».

Далве затыть, В. Майковъ приступаеть къ разбору нъсколькихъ стихотвореній Кольцова, выставляя на видъ тъ сътованья, то негодованіе и ужасъ, какіе должны возбудить эти стихотворенія въ людяхь отжившихъ эстетическихъ ученій, именно романтикахъ.

«Въ самомъ деле-говорить В. Майковъ, - какъ не негодовать господамъ романтикамъ на бъднаго Кольцова, когда, вивсто того, чтобы гнушаться такими вещами, каковы, напримъръ, физическій трудъ, любовь къ полезной работь, деньги, выручаемыя потомъ и терпъніемъ, онъ совершенно преданъ земледёльческому промыслу, совершенно сочувствуеть пахарю, заботливо и любовно входить въ его тяжкія нужды, радуется его прозаической радости при видѣ урожая, слъдуеть за нимъ на пашнѣ» и пр. «Чтобы сочувствовать такимъ стихамъ, чтобы проникнуться ихъ основною идеей, чтобы понимать сладость труда, исполняемаго съ любовью, нёжность человեка къ животному, разделяющему съ нимъ тягость работы, неравнодушіе его даже къ механическимъ орудіямъ промысла и, наконець, вдохновительность мысли о плодахъ труда, о какихъ-нибудь снопахь тяжелыхь-для всего этого надо быть самому человъкомъ трудящимся съ любовью, съ терпъніемъ и безъ презранія къ заработку. Можно-лиже требовать этихъ условій отъ романтика, отъ человъка, гнушающагося всякимъ трудомъ, всякими матеріальными выгодами (последнее, разумеется, только въ стихахъ)?»

Далъе, затъмъ, естественно слъдуетъ вопросъ, чъмъ-же оправдывается допущение въ область поэзін изображеніе простого крестьянскаго быта съ его практическими интересами рядомъ съ различными, такънавываемыми, "поэтическими" сторонами мизни? Почему романтики, исключающіе изъ поэзіи изображеніе объденной жизни, не правы, и чъмъ объясняется симпатія новаго времени къ натуральной школъ?

«Кто-жь правъ—Кольцовъ или романтики?—говорить В. Майковъ;—здась частный вопросъ долженъ перейти въ общій: спрашивается, въ чемъ сущность поэтическаго и непоэтическаго содержанія—ни бо-

лѣе, ни менѣе»:

Для ръшенія этого вопроса В. Майковъ и издагаетъ новую эстетическую теорію, которая должна оправдать существованіе натуральной піколы и позвіи Кольцова не голословно, не диктаторски, а на основаніи общихъ законовъ искусства.

Теорію свою В. Майковъ выводить изъ следующаго закона нашего психическаго міра: "каждый изъ насъ познаеть и объясняеть себё все единственно по

сравнении съ саминъ собою".

«Съ перваго взгляда — говорить В. Майковъкалется, что мы болбе всего сочувствуемъ тому, что отъ насъ отдаленно, что намъ ново, чуждо, однимъ словомъ, занимательно. По крайней мъръ, все отдаленное, новое, чуждое влечеть насъ къ себъ съ неотразимымъ могуществомъ, между тъмъ, какъ все ближое, все старое, все сесе съ каждого минутой тернетъ для насъ всю прелесть. Но если всмотръться въ этотъ фактъ поглубже, нехьзя не увидъть, что причина его заключается въ способности и склонности человъка объяснять все по сравнению съ самимъ собою и въ происходящей оттуда страсти усвоивать своею мыслію все, что встрёчаеть онъ посторонняго, непохожаго на него самого. Эта сила усвоенія, при встрічь съ предметомъ новымъ, оказывающимъ ей энергическое сопротивление, напригается со всею данною ей мощью, до тъхъ поръ, пока не покорить себъ познаваемаго, или, лучше сказать, усвоиваемаго предмета. Такъ, напримѣръ, описаніе быта дикарей Тихаго Океана занимательнье для европейцевь самой лучшей статистики какого угодно просвъщеннаго государства стараго свъта. Почему? Иотому, что жизнь образован-ныхъ народовъ намъ уже извъстна, мы ее уже усвоими себь, сравними съ собственною жизнью и усповоимись. Напротивъ, дикіе народы представляются намъ чёмъ-то совершенно не похожимъ на насъ, и потому-то нами овладъваетъ тревожное желаніе усвоить себь этоть предметь, сравнить его сътъмъ, что знаемъ мы о самихъ себь. И мы успокоиваемъ свою любознательность, унимаемъ свою тревогу только тогда, когда, наконець, и въ дикихъ народахъ увнаемъ людей, т.-е. существа, подобныя намъ но натуръ, хотя и совершенно различныя отъ насъ по развитію...

«Таково свойство занимательности: предметь занимателень, любопытень для нась до тёхь порь, пока мы не сравнили его съ собственною природой. Но это и доказываеть, что влечение наше ко всему новому, непонятному, обманчиво: если-бы мы дъйствительно стремились къ нему, а не къ чему-нибудь другому, то мы и успоконвались-бы въ немъ. Напротивъ, оно насъ мучить и манить вдаль, и это мучение продолжается до тёхъ поръ, пока непонятное не сдълается понятнымъ, чужое своимъ, постороннее-тождественнымъ съ нами. И такъ, истинное стремление наше въ томъ, чтобы во всемъ найти самихъ себя. Изъ этого следуеть, что занимательность и симпатичность предмета—два свойства совершен-но различныя: насъ занимаеть то, что кажется намъ новымъ, неизвъстнымъ, непонятнымъ; сочувствовать-же можемъ мы только тому, въ чемъ мы уже дали себъ отчеть и въ чемъ нашли сами себя. Поэтому, каждый предметь, доступный нашему повнанію, не обходимо раздъляется нами на двъ половины: къ первой относимъ мы все то, что нисколько не напоминаеть намъ о собственной нашей природъ-это сторона любопытная, подстрекающая одну любознательность; ко второй-все то, что въ немъ есть общаго съ нами, человъкомъ-это сторона симпатическая, возбуждающая въ насъ мобовь, сердечное, кровное сочувствіе. Количественное различіе впечатльній, произведенных на насъ тою и другою, заключается въ томъ, что любопытное владветь нами только въ силу своей новости и дълается безразличнымъ тотчасъ-же по усвоеніи, между тімь, какъ симпатическое (назовите его какъ угодно) въчно будеть имъть для насъ интересъ, если мы только сами не теряемъ способности чувствовать и сочув-

Далёе Майковъ объясняеть, почему мы любуемся какимъ-нибудь ландшафтомъ.

«Отчего можеть нравиться намь ландшафть—говорить онь—вовее не поражающій красотой линій изображаемой местности? Какое-нибудь плоское захолустье, двъ-тры кривыя береяки, да сёреньки тучи на горизонть, напоминающемь своими колерами цвътъ синяго молока, что въ нихъ такого, что мотло-би приковать къ себь наше вниманіе, заставить насъ прочувствовать и полюбить картину? Не отворачиваемся-ли ми на самомы двяб отъ этой голой плоскости и отъ этихъ хворыхъ березокъ? Не ворчимъ-ли ми на эти грявния тучки по десяти разь въ часъ? Такъ; но это-то и влечеть насъ къ картинъ; во всъхъ ея печальнихъ подробностяхъ человъкъ находить частвчку самого себя—увнаеть плоскость, которая ему такъ надобаа въ дъйствительности, узнаеть березки, которыя всегда казались жалкими усиліями бёдной, но, все-таки, заботливой природы-скрасить безотрадную гладь поляны; узнаеть дождевыя тучки, отъ которыхъ онъ куталь обванное ватромъ лицо свое въ высокій воротникъ пальто, когда возвращался изъ департамента на дачу-и эта странная встреча съ саминъ собою проливаеть для него неизъяснимую прелесть на какойнибудь ландшафть петербургского художника, потому что онъ не можеть не любить самого себя, не интересоваться и не любоваться собою, какъ-бы онъ ни быль плохъ для другихъ... Ужь такъ онъ устроенъ, что всюду онъ себя отыщеть и обрадуется находкъ и полюбить ее. Положимъ даже, что на ландшафть изображена не наша блъдная съверная природа, а какія-нибудь окрестности Неаполя. Пусть посмотрить на нихъ петербургскій автохтонь, который никогда не видаль природы роскошнъе парго-ловской: что-жь? это не помъщаеть ему симпатизировать и синему небу, и кремнистымъ ходмамъ, которые одъты ползучимъ плющемъ и цъпкимъ виноградомъ съ баснословно - огромными кистями голубыхъ и лиловыхъ ягодъ, покрытыхъ матовою влагой и темнокожему явитяю, валяющемуся на солицъ въ ожидании карлина, который удастся вымовжить ему у англичанина, когда этоть прямолинейный и никогда не улыбающійся туристь пройдеть мимо его въ сопровождени плута чичероне, съ цълью помучить несколько живыхь тварей въ Собачьема грото. Разумбется, для этого надобно имъть ибсколько искоръ воображенія; но діло въ томъ, что воображение явится къ услугамъ нашего автохтона не для чего иного, какъ для того, чтобы перенести подъ неаполитанское небо собственную его особу, чтобы самого его пожарить на сорока градусахъ тепла, чтобы понъжить его языкь, привыкшій къ впечатленіямь товара милютиныхь лавокь, невыразимонъжнымъ и гастрономически-сложнымъ вкусомъ южнаго винограда. Иначе-что ему въ картинъ неапонато винограда. Плава— по слу выполнять поль-видьность диній не объясняють вопроса; остается неразгаданною предесть густой синевы неба, роскошной растительности, изнаженности людей и животныхъ, развивающихся подъ вліяніемъ мъстности. Пожалуй, можно дать другой видь объяснению, но сущность его останется все та-же. Можно сказать, что мы, вообще, симпатизируемъ природъ, котя-бы она и не напоминала намъ человъка. Такъ, напримъръ, дъвственный льсь, незнакомый съ топоромъ, непроходимая пустыня, въ которую никогда не пускался ни одинъ отважный искатель приключеній, жерло вулкана, оть котораго удалялись люди — развъ изображения такихъ предметовъ не могуть произвести впечатленія на душу врителя? Конечно, могуть; но всмотритесь внимательные, и рышите, далоть ли и они возможность человых уйти оть самого себя, плыниться чымьнибудь такимъ, въ чемъ нътъ ничего ему родственнаго, соприсущаго? Нъть, мы всюду сами съ собою; ибо, вижеть съ природой, мы составляемъ одно цълое, гармоническое произведение одной животворной силы; накъ часть этого цёлаго, имѣющая свой частный организмъ, мы можемъ забывать о своемъ съ нимъ единствъ, можемъ не замъчать его, увлекаясь тяготеніемъ собственнаго частнаго (индивидуальнаго) содержанія, но не можемъ не чувствовать его непосредственно, безсознательно. Пусть каждый изь читателей повёрить эти слова собственными впечатавніями. Кто можеть анализировать свои ощущенія - разум'єтся, не во время самаго обравованія ихъ въ душь, а съ помощію восноминанія и размышленія—тотъ, навірное, согласится съ нами, что природа производить на насъ разомъ два впечатленія-и пріятное, и горькое, и что источникъ этой двойственности заключается въ нашемъ родствъ, или, лучше сказать, въ существенномъ тождествъ съ нею. Предавансь простому, непосредственному созерцанию ся нерукотворной жизни, мы невольно настраиваемся на одинъ ладъ съ ен гармоніей, сливаемся съ ен жизнію, какъ часть съ цълимъ, и чувство этого сліянія невыразимо сладко: чувствуещь, что безсознательно попаль въ колею своихъ настоящихъ, непреклонныхъ законовъ, чувствуещь, что находишься въ своей сферъ, или, лучше сказать, чувствуешь, что возвращаешься въ свою сферу. Вь то же время, этоть внезапный приливъ гармоніи, этотъ быстрый переходъ отъ нашей обыкновенной, искусственной жизни къ бытію нормальному, естественному, сообразному съ нашею сущностью, действуеть на нась и бользненно, рождаеть грусть, следствие сравнения того и другого порядка вещей. Тяжело соверцание этой гармонии при свъжести воспоминанія о хаось, изъ котораго вырвался на время; многіе не въ силахъ перенести ея впечативнія безь боли, точно также, какъ человъкъ, изуродованный бользнію, не въ силахъ смотръть безъ грустнаго сожальнія о самомъ себъ на розовыя лица, цвётущія жизнію и здоровьемъ...

«Теперь, соображая все сказанное, спрашиваемъ: что плъняеть насъ въ дъйствительности и искусствъ? Отвътъ будетъ такой: во всемъ мы илъняемся собою. И такъ, интъ на свить предмета неизящнаго, неплънительнаго, если только художникъ, изображающій его, можеть отдълять безразличное от симпатического и не смъшивать симпатического съ занимательных *). Этипъ объясняется ложность не только неестественности, но и всякой эксцентричности содержанія изящнаго произведенія. Изобразить несуществующую жизнь и людей несуществующихъ-значить, стремиться къ тому, чтобы изображеніе не возбудило въ людяхъ никакой симпатіи, чтобы они не поняли его, не могли объяснить себъ, по сравнению изображеннаго съ собственною ихъ жизнью и собственною ихъ натурой. Равнымъ образомь, изображение существь и явлений, выступаю-щихь изъ круга обыкновенныхь людей и обыкновенныхъ событій, тогда только можеть служить содержаніемъ изящному произведенію, когда художникъ умфетъ представить ихъ, какъ результаты при чинъ самыхъ понятныхъ и обыкновенныхъ; иначе, они останутся любопытными загадками, а любопытному, какъ уже сказано, никто не можеть сочувствовать. Другими словами: эксцентрическое явленіе тогда только ділается изящнымъ или симпатическимъ, когда художникъ съумветъ угадать и выразить его понятную, обыкновенную сторону. Принципы эти заключають въ себъ осуждение класси-цизма и романтизма. Но сяждуеть-ли изъ этого, чтобы они оправдывали все, что современная литература выдаеть намъ за натуральность и неизыскан-

Далье следуеть оборотная сторона медали. Майковъ обращается къ дагеротипистанъ и копінстанъ живой действительности, и старается въ свою очередь ѝ ихъ опровергнуть на основании своихъ принциповъ. Эстетики старой школы возставали на безцельное списывание съ действительности обыкновенно во имя того, что цель искусства не одно только подражаніе природі, а выраженіе идей въ формі. Майковъ отвергаетъ этотъ метафизическій принципъ. По его мижнію, подъ него можно подвести все, что угодно. Въ самомъ дѣлѣ, по мнѣнію самихъ-же метафизиковъ, весь міръ есть не что иное, какъ выраженіе идеи въ формъ, затэнъ и каждую человъческую дъятельность можно подвести подъ эту-же формулу. Чтобы разграничить искусство отъ прочихъ сферъ дъятельности человъка, истафизики къ слову форма прибавляють художественная.

«Нотакъ какъ, -говорить Майковъ-этотъ эпитетъ и остается эпитетомъ, свидѣтельствующимъ только о темномъ предчувствін какою-то отличія художественной действительности оть действительности простой, непосредственной, то вопросъ и возвращается въ самого себя. Мы полагаемъ, что до тёхъ поръ и останется онъ-сфинксовою загадкой, нока эстетика будеть ограничиваться толкованіемъ о различіи формъ художественной и действительной... Художественныя формы всегда останутся тождественными съ формами дъйствительности, такъ, какъ это было до сихъ поръ, и не выдумать ничего лучшаго цілому легіону прометеевъ-эстетиковь даже при помощи такого-же легіона риемоплетовъ и сказочниковъ»... «Другое дъло, — продолжаетъ Майковъ, писать и спорить о художественной идеп. Тутъ, въ самомъ дёлё, есть о чемъ подумать: здёсь опыть, факты наводять на существование различія... Голая мысль ученаго и живая мысль художника-двъ силы существенно различныя»...

Оставивъ въ сторонъ анализъ различныхъ фактовъ художественной деятельности, къ которой Майковъ приступаеть далже, мы заметимь только, что различіе мысли художественной отъ ученой заключается уже всепёло въ самыхъ основныхъ принципахъ теорін Майкова. Разграничивъ познаваніе предметовъ на занимательное и симпатическое, этимъ самымъ уже Майковъ положилъ и основание различия науки отъ искусства. Все то, что для насъ только занимательно, все это входить въ область науки, а съ другой стороны, все симпатическое, все, въ чемъ мы находимъ хотя частичку самихъ себя, все, что напоминаетъ намъ о насъ — все это входить въ область поэзін, именно своею этою симпатическою стороной. Отсюда следуеть прямой выводъ о сущности поэтическаго творчества: "Художественная иысль — говорить Майковъ — зарождается въ формъ любви или негодованія, и тайна творчества — въ способности върно изображать дъйствительность съ ея симпатической стороны. Иными словами, художественное творчество есть пересозданіе дъйствительности, совершаемое не измънением ся формь, а возведеніемь ихъ въ мірь человических винтересовь (въ поэзію) ".

Само собою разунвется, что послв такого опредвнія поэзін нечего и говорить о безцільномъ списываніи съ действительности. Такое списываніе погло-бы быть оправдано скорбе съ точки эрбнія метафизики. На ен положение о томъ, что поэзія есть выражение идеи въ формъ, коніисть дъйствительности погъ-бы сивло возразить, что списывая действительность такъ, какъ она есть, онъ нисколько не отступаетъ отъ этого требованія: если д'яйствительность сама по себ'я есть уже выражение идеи въ формахъ, то и въ простыхъ снимкахъ она останется тъмъ-же самымъ, т.-е. и сники эти будуть выражать идею въ формв. Но совершенно иначе представляется дёло съ точки эрфнія теоріи, развитой Майковымъ: по этой теоріи безцъльное списыванье дъйствительности, безъ возведенія ея въ сферы человіческих винтересовъ, совершенно выпадаеть изъ области поэзіи и делается безсмыслицей, если только такое списыванье не служить для какихъ-нибудь ученыхъ целей.

Вотъ первая положительная эстетическая теорія, съ которою выступила молодая мысль, освободившаяся отъ метафизическихъ принциповъ. Надо-ли при-

^{*)} Курсивъ въ подлинникъ.

бавлять, что эта теорія стоитъ уже на реальной почвъ. Она намъчена только общими чертами, требуетъ разработки, уясненій и подтвержденій фактами художественной даятельности и физіологическихъ изсладованій. Такъ, напримъръ, тайна вліянія на насъ красотъ природы значительно уяснилась въ нашихъ глазахъ посят В. Майкова, и мы уже не будемъ говорить, что природа действуетъ на насъ потому, что мы безсознательно чувствуемъ свое единство съ нею и сравниваемъ ея гарионію съ хаосомъ нашей жизни. Но подобныя мысли, высказанныя Майковымъ, выходять не изъ ложной основной теоріи, а отъ безсилія объяснить ть или другіе факты нашей психической жизни, безсилія, зависящаго отъ недостатка физіологическихъ и психическихъ изысканій, которыя могли-бы пролить свъть на эти факты. Эти промахи не мъщають теоріи оставаться самой по себ'в истинною и вс'в позднайшія открытія не только не опровергають, а только больше подтверждають и уясняють ее.

Въ слъдующей главъ мы разсиотримъ воззрѣнія Майкова на другіе предметы, причемъ обратимъ особенное внимание на тъ возгрънія, на которыя наиболье напаль Бѣлинскій. Теперь-же, въ заключеніе этой главы, считаемъ нелишнимъ, чтобы познакомить читателей нашихъ вполнё съ развитіемъ новыхъ эстетическихъ идей въ концѣ сороковыхъ годовъ, привести еще небольшую выдержку изъ одной критической статьи, напечатанной въ 53-мъ томъ "Отечественныхъ Записокъ" за 1847 годъ. Эта критическая статья посвящена разбору перевода В. Модестова курса эстетики Гегеля. Статья, надо зам'втить, написана чрезвычайно тяжелымъ языкомъ; не говоря уже о массѣ философскихъ терминовъ, испещряющихъ статью. самый слогь отличается крайнею темнотой и сбивчивостью изложенія. Во иногихъ м'єстахъ вы не разберете даже, говоритъ-ли авторъ отъ себя или онъ приводить слова какого-либо нёмецкаго эстетика, гдё онъ кончаетъ цитату и гдъ начинаетъ свои собственныя сужденія. Авторъ старается опровергнуть метафизическую эстетику, но самъ во многихъ мъстахъ своей статьи путается въ метафизическихъ тонкостяхъ. Но въ то-же время вы часто натыкаетесь, какъ на оазисы въ степи, на рядъ мыслей, поражающихъ васъ своею реальностью, свёжестью и глубиной. Такъ, напримъръ, вотъ что читаете вы на одной изъ страницъ критики:

«Точка зрвніи умозрительной эстетики по преимуществу практическая: искусство существуеть только потому, что въ природь нёть истинно-прекраснаго. Капитолійская и Медичейская Венеры должны быть идеалами женской красоты; ландшафтная живопись должна очистить ландшафть отъ всего случайнаго. Между тъму, искусство далеко не превосходить природу; вездь уступаеть оно ей въ себжести и полноть жизии. Въ этомъ-то смыслъ говорить Тете, что вст формы искусства имбють въ себт нъчго ложное, даже самыя върныя, самыя прочувствованныя. Пусть спросить себя каждый, не обращались-ли невольно его глаза въ трибунъ во Флоренціи отъ Венеры Медичейской на живыя, одушевленныя формы прекрасныхъ женщить, раза сматривавшихъ статую, на ихъ прелестно-застычивую улыбку; или, если это кажется слишкомъ гръщнымъ для нѣкоторыхъ набожныхъ душъ, спрашиваю, не лучше-ли во сто разъ, не тармоцичићели всякой прекраснъйшей картины отзывается въ нашей душт Неаполитанскій залявь въ своей очаровательной дійствительности? Но ціль искусства и не заключается советмъ въ такомъ неравномъ соперничествъ. Оно есть языкъ, кичто болье, какъ языкъ, чувственное выражение нашист чувственног опричинъ, что это индивидуально-чувственное содержаніе не можеть быть выражено никакимъ другимъ способомъ, какъ въ этихъ чувственныхъ формахъ природы и жизни, только потому и говоритъ ими искусство».

Такимъ образомъ, уже въ 1847 году были высказаны тъ иден о преимуществъ дъйствительности передъ образами искусства-ндеи, которыя, несколько лёть спустя, высказанныя въ более систематичномъ, полномъ, ясномъ изложения съ увлекательнымъ талантомъ — возбудили порядочную бурю въ наукъ и литературъ. Въ 1847-же году мысли эти остались почти незамвченными. Я полагаю, что редко кто и прочелъ статью, въ которой онъ издожены. Но нало подагать, оне глубоко запали въ душу одного даровитаго студента, бывшаго въ то время на 2-мъ курси филологическаго факультета с.-петербургскаго университета. Черезъ несколько деть этоть самый студенть, къ ужасу устарълыхъ метафизиковъ и приверженцевъ чистаго искусства, предложилъ эти самыя мысли на соискание степени магистра.

XI.

Идеи В. Майкова объ отношеніи народности ка общечьлов'яческой цивилизацій и вначеніе этихъндей.—
Общность основнихъ принциповъ западниковъ и славинофиловъ 40-хъ годовъ и противоположность идей В. Майкова съ этими принципами.—Полемика Бфлинскаго съ славинофилами и внезапное смагченіе полемическато тона со сторони Бфлинскаго при помеленіи статьи В. Майкова. — Опроверженіе Бфлинскаго от томъ, какъ слідуеть относиться намъ къ современнимъ вопросамъ Запада.

Въ то время, какъ первая статъя В. Майкова о Кольцовъ посвящена изложенію новой эстетической теоріи, во второй статьъ на первый планъ В. Майковъ выдвинулъ животрепещущій въ то время вопросъ объ отношеніи народности къ общечеловъческой цивилизаціи — вопросъ, какъ намъ извъстно, сильно занимавшій всёхъ мыслящихъ людей сороковыхъ годовъ, какъ славянофиловъ, такъ и западниковъ. По этому поводу, какъ мы сейчасъ увидимъ, В. Майковъ высказалъ нъсколько идей, въ свою очередь, совершенно новыхъ для сороковыхъ годовъ.

Статья эта начинается прямо съ опроверженія тёхть панегиристовъ Кольцова, которые называють его типомь русской натуры. По мнёнію В. Майкова, человёкь, котораго можно назвать типомъ какой бы то ни
было націн, никакъ не можеть быть не только великимъ, но даже и необыкновеннымъ. Дале следуетъ
наложеніе цёлой теоріи для доказательства этого
мнёнія.

«Увлекаясь одностороннимъ изученіемъ человъка, какъ члена общежитія—говоритъ В. Майковъ-

^{*)} Курсивъ въ подлинникъ.

мы легко доходимъ до того, что онъ представляется намъ не иначе, какъ французомъ или нѣмцемъ, англичаниномъ, пруссакомъ, испанцемъ и пр. При такомъ взглядѣ мы убѣждаемся, что только тоть и имъеть физіономію, чью національность можно узнать среди другихъ національностей; идеальный, ничемъ неизмененый человекъ начинаетъ представлиться намъ существомъ безкровнымъ, отръшеннымъ оть органических условій жизни, и потому самому чёмъ-то крайне - уродливымъ, непормальнымъ. Продолжая, такимъ образомъ, изучать человека въ народахъ, мы открываемъ, наконецъ, что каждый народъ отличается отъ другихъ не однъми только слабостими, но и добродътелями; это открытіе приводить насъ въ заключению, что національность есть совокупность условій, безь которыхь человікь не можеть проявлять той или другой свътлой стороны своей натуры...».

Противъ подобныхъ положеній, по митнію В. Май-кова, представляются следующія соображенія:

«Вспомнимъ только-говорить онъ-что человъкъ, къ какой-бы націи ни принадлежаль и какимъ-бы обстоятельствамъ ни подвергался въ своемъ зачатіи, рожденіи и развитіи, все-таки, принадлежить, по натуре своей, къ разряду существъ однородныхъ, называемыхъ модъма, а не французами, не нѣидами, не русскими, не англичанами. Въ безконечномъ множествъ органическихъ типовъ есть типъ человъка, который не смышивается ни съ типомъ минерала, ни съ типомъ растенія, ни съ типомъ животнаго. Какое-же право имбемъ мы смотръть на хорошія стороны народа, какъ на его особенность, какъ на исключительную принадлежность его національности? Не правильнье-ли было-бы видьть въ нихъ черты общей человвческой натуры, черты, ко-торыя могутъ быть пощажены одною національ-ностью и заглушены другою? Приписывая честность ивмиамъ, энтузіазмъ французамъ, практическій симсть англичанамъ, смълость русскимъ и т. д., мы какъ будто признаемъ, что въ типъ человъка не входить ни одно изъ этихъ прекрасныхъ свойствъ. А такъ-какъ, вообще, всё добродётели, сколько ихъ есть въ руководствахъ нравственной философіи, давно уже розданы въ въчное и потомственное владъніе каждая одному какому-нибудь племени или народу, то идеаль человека, при такомъ взгляде на вещи, выходить какое-то совершенно-отрицательное, нулевое существо! Между тъмъ, если мы хвалимъ честность иъмда, энтузіазиъ француза, практицизмъ англичанина, смълость русскаго, то гдъ-же источникъ и основание нашей похвалы, какъ не въ сознаніи того, что человъкъ вообще, къ какому-бы племени ни принадлежалъ, подъ какимъ-бы граду-сомъ ни родился, долженъ быть и честенъ, и великодушенъ, и уменъ, и смёлъ? Однимъ словомъ, общій всёмъ людямъ идеаль человёка составлень изъ свойствъ положительныхъ, которыя обыкновенно называются добродетелями и которыя всё вмёсте составляють одно свойство-жизненность, т.-е. гармоническое развитие всёхъ человёческихъ потребностей и соотвътствующихъ имъ способностей. Пороковъ въ этомъ идеалъ нътъ ни одного».

Далѣе Майковъ, развивая эти идеи, выставляеть въ основу своихъ доказательствъ то положеніе реальной философіи, что добродѣтели прирождены человъческой природѣ, какъ силы, составляющія ен сущность; внѣшнія обстоятельства не создають ихъ, а только вызивають изъ бездѣйствіи, укрѣпляють и направляють, однянь словомъ, упраженяють, по собственному выраженію В. Майкова. Пороки же, "наобороть, вовсе не принадлежать человѣческой природѣ; они-то и суть созданія внѣшнихъ обстоятельствъ всѣ пороки, по словамъ В. Майкова, не что иное, какъ

добрыя наклонности, или сбитыя съ прямого пути, или вовсе неуваженныя випиними обстоятельствами.

Подобное положеніе реальной философіи прямо ведеть В. Майкова къ тому выводу, что если особенности каждаго народа создаются визиними обстоятельствами, то само собою разум'яется, что рядъ этихъ особенностей—есть рядъ не добродѣтелей, а пороковъ; вибшнія обстоятельства, вліяя на народъ, искажаютъ такъ или иначе основныя свойства челов'яческой природы и искажаютъ естественно тъмъ болѣе, чѣмъ болѣе народъ является подъ властію этихъ вибшнихъ обстоятельствъ, чѣмъ болѣе онъ въ силу этого отличается отъ другихъ народовъ.

Но далъе слъдуетъ естественный вопросъ: если это такъ, т.-е. если признаками отличительныхъ свойствъ народовъ служать не добродетели, а пороки, то откуда же является противоположная привычка отличать народы по добродътелямъ (практичности, энтузіазму, смітлости и пр.)? Подобная ложная привычка, по мнёнію Майкова, происходить не отъ чего иного, какъ отъ того, что, при перечислении народныхъ добродътелей, внимание-обращается обыкновенно не на большинство народа, а на его выдающееся меньшинство. Это же меньшинство бываеть обыкновенно діаметрально противоположно большинству народа по следующей причине: естественно, что четь сильнее личность, темъ более она иметь возможности удовлетворять своимъ человъческимъ потребностямъ и бороться съ внёшними обстоятельствами, препятствующими этому удовлетворенію и искажающими этимъ самымъ человъческую природу. Поэтому, чёмъ сильнъе личность, тымь болже отрышается она отъ особенностей своего племени и темъ более приближается къ общечеловъческому типу. Наиболъе удается это тъмъ дичностямъ, которыхъ мы называемъ великими, геніальными, и въ которыхъ ны действительно находимъ менте всего народныхъ особенностей. По большей же части меньшинство, стремясь выдёлиться изъ подъ гнета обстоятельствъ, въ борьбъ съ своею средой ударяется въ противоположную крайность и въ оппозицію этой среди развиваеть въ себи наиболие такое свойство характера, которое въ этой средв развито всего менте. Подобное явление Майковъ формулируетъ въ видъ слъдующаго закона:

Каждый народз импетз двъ физіономіи; одна изъ нихъ діаметрально противоположна другой; одна принадлежитъ большинству, другая меньшинству (миноритету). Большинство народа всегда представляетъ собою механическую подчиненность вліяніямъ климата, мъстности, племеми и судьбы. Меньшинство же впадаетъ въ крайность отрицанія этихъ явленій.

Дале въ статъе следуетъ анализъ карактера французской, немецкой и русской народностей сообразно этему закону. Мы обратимъ внимание на то, какъ анализируетъ Майковъ русскую народность, причемъ читателю, безъ сомнёния, бросится въ глаза сходство наей Майкова съ иделии Вокла.

иден манкова св идслан покали.
«Національным особенности русскихъ—говорить
В. Майковъ—совпадають съ особенностями вебхус
съверныхъ народовъ. Этимъ одолжены мы климату.
Но, неучая самихъ себя, мы не можемъ не привнать
въ своей оригинальности столь-же сильныхъ влія-

ній почвы и судьбы. Необозримая плоскость земли, которую мы населяемъ, и татарское иго, которое перенесли мы впродолженім двухъ съ половиною въковь, воть двѣ силы — одна постоянная, другая преходящая, которыхъ дъйствіе отзывается въ оттынкахъ нашей особенности. Равнина безжизненна, а особенно, если она двъ трети года покрыта снъгомъ. Безпрестанное созерцание ся содъйствуетъ къ усыпленію потребностей и силь, спокойствію. Житель равнины, настраиваясь на одинъ дадъ съ природой, которая его окружаеть, находить столькоже наслаждения въ дремотъ жизненности, сколько житель горъ въ безпрерывномъ ея обнаружении. Дъятельность его поддерживается или безплодіемъ этой равнины, или излишнею ея населенностью. Люди, поселившіеся на безплодномъ или слишкомъ маломъ участив земли, поневоль двлаются трудолюбивы и предпримчивы: въ нихъ развивается даже потребность оживеть искусствомъ безжизненную мъстность, которан имъ досталась на долю. Если-же она и плодородна, и общирна, тогда отъ неи нечего ждать никакого вліянія на человека, кроме постоянной дремы и страстной привязанности къ покою. Противоположность съверной и южной Россіи оправдываеть эту истину. Въ странъ болоть, песку и глины возникла новгородская держава; развилось племя живое, бойкое, предпримчивое. До сихъ поръ новгородские выселенцы отличаются отъ большенства русскаго народонаселенія своею жизненностью, любовью къ движенію и къ усовершенствованію своего быта. Напротивь того, на хлѣбороднихъ земляхъ средней и южной Россіи живеть народъ тяжелый, привизанный болже всего къ покою. Сверхъ того, судьба наслада на Россію татарское иго, со встми его последствими, и болбе четырехсоть леть, именно отъ батыева нашествія до единодержавія Петра Великаго, дъйствовала на насъ заодно съ природой. Истръ явилъ собою геніальную противоположность свойствамь русскаго большинства и вступиль съ нимъ въ борьбу, которая длится до сихъ

«Но законъ двойственности народныхъ физіономій такъ-же ясно проявляется между нами, какъ и въ другихъ націяхъ. Удальство, свойственное всёмъ съвернымъ народамъ, такъ часто и сильно выражается въ русской жизни, что многіе принимають его даже за черту нашей національности— одна изъ тъхъ ошибокъ, въ которыя такъ легко впасть всякому наблюдателю народныхъ нравовъ, незнакомому

съ закономъ двойственности.

«Но объяснивъ себъ тайну отношеній національности къ человъчности, легко понять всъ противоположности явленій русскаго міра: уразумініе закона борьбы человіческой натуры є вившними вліяніями устраняєть всякую сбивчивость въ объ-ясненіи самыхъ противоположныхъ фактовъ. Чёмъ инымъ объясните вы себѣ въ русскомъ народъ, съ одной стороны, его привязанность къ покою, съ другой-его-же склонность къ удальству и его раздражительность?..».

Примъняя далье всь эти идеи къ Кольцову, Майковъ решительно отвергаетъ мненіе, что Кольцовъ быль народный поэть, какъ представитель народнаго типа. По его мненію, Кольцовъ быль равно далекъ отъ объихъ противоположностей народнаго характера.

Онъ быль одною изъ тёхъ рёдкихъ личностей, которымъ удается наибодъе подойти къ общечеловъческому типу. "Вся поэвія Кольцова—по митиїю В. Майкова -- есть художественное выражение того всеобъемлющаго ученія любви къ жизни, до котораго человічество только-что доходить путемъ идей и опытовъ, совершенно неизвъстныхъ нашему поэту. Ясно, что въ такомъ человъкъ не могло быть никакой бользненной односторонности, сколько-нибудь напоминающей

собою народное удальство. Самая жизнь его представляеть собою удивительный образець гармоніи между стремленіемъ къ лучшему и разумнымъ уваженіемъ къ дъйствительности".

Но въ то же время Майковъ признаетъ Кольцова народнымъ поэтомъ, въ смысле върности въ изображенін народныхъ особенностей, русской действительности, жизни.

Въ заключение статъи, Майковъ опровергаетъ искусственную табель о рангахъ, по которой Бѣлинскій пытался распредёлять поэтовъ въ своей стать во Кольцовъ по степенямъ ихъ творчества, предполагая, что поэты бывають геніи, геніальные таланты и просто таланты.

«Нътъ никакого сомнънія — говорить онъ творческая сила вообще имбеть множество степеней, какъ и всякая человъческая способность. Но можно ин сосчитать степени развитія и напряженін той или другой, можно-ли сказать опредёли-тельно, что ихъ всего на все три или четыре, десять или двънадцать? Нашлись люди, которые приписали Бълинскому именно эту претензію; изъ таковых одни обрадовались случаю перетолковать его ндею, а другіе остаінсь ею очень довольны, ни мало не разобравь, въ чемъ діло. Вілинскій говорить на стр. XLVIII: «толна подражателей доказываеть только то, что и талант импеть степени, и менте талантливые подражають боле талантливому». Не очевидно-ли послѣ этого, что говоря о различныхъ степеняхъ творческой силы, онъ хотъхъ только назвать ть изъ нихъ, которыя, по его мнению, мо-гуть быть уловдены въ свойственныхъ имъ оттенкахъ? Но мы убъждены съ своей стороны, что умножать число терминовъ для опредъленія степеней какой бы то ни было силы, неподлежащей количественному измъренію, значить не болье, какъ уве-личивать сбивчивость языка, ничего не прибавляя въ объясненію самаго дёла. Всякая попытка на этомъ мелочномъ поприща ведеть только къ тому, что опредъляющий все болье и болье забываеть простую истину, что умъ-великъ онъ или маль-все таки, умъ; воображение-сильно оно или слабовсе-таки, воображение и т. п.

«Но главное, на что, по нашему мижнію, стоить обращать внимание при одънкъ степени какой бы то ни было способности человъка, заключается въ анализъ внъщнихъ обстоятельствъ, содъйствующихъ или препятствующихъ ея развитю. Можно даже сказать, что и ийть иныхъ средствъ къ разрешению вопросовъ о могуществъ той или другой личности, потому что наши психологическія свідінія, въ свою очередь, ограничиваются знаніемъ условій развитія, дъятельности и ослабленія психологических по-требностей и способностей. Если біографія человъка не показываеть намъ, какія противодійствія вившности преодольла его личность, мы не можемъ имьть и масштаба для опредъления ея могущества. И наоборотъ: соображая плоды его дъятельности съ силой встръченныхъ имъ противодъйствій, мы идемъ по единственно-върному пути къ разръшенію

вопроса...»

Въ заключение статьи, В. Майковъ дёлаетъ слёдующій приговорь относительно стихотвореній Кольцова, какъ окончательный выводъ изъ всей статьи:

«По недостатку образованія, Кольцовъ не могъ своими произведеніями попасть въ колею современнаго ему движенія общества и литературы. Въ то же время, могучая личность ставила его выше времени. Его произведенія положительно выразили собою тоть идеаль, на который остальные поэты наши указывають путемъ отрицанія. Онъ быль болье поэтомъ возможнаго и будущаго, чёмъ поэтомъ дъйствительнаго и настоящаго. Его позвія прямо призываеть въ полноть наслажденія тою жизнію, которой простые законы стремится опредълить и современная мудрость путемъ критики и утопін. Страсть и труді, ст міст естественном блаюустройствевоть простыя начала, неть которыхъ сложился яркій идеаль жизни, проникцій восторгомъ здоровую натуру поэта-мѣщанина!!.»

Мы не будемъ оспаривать Майкова, насколько Кольцовъ дъйствительно быль поэтомъ возможнаго будущаго въ томъ смыслъ, какъ принимаетъ это Майковъ,
т.-е. въ смыслъ воспъванія страсти и труда въ ихъ
естественномъ благоустройствъ; замътимъ только, что
это мнѣніе не было исключительною принадлежностью
одного Майкова. Въ концъ сороковихъ годовъ, вся
мыслящая молодежь, мало-мальски знакомая съ соціальными идеями, двигавшими западное общество въ
то время, смотръла на Кольцова такимъ образомъ.
Кольцовъ былъ любимъйпимъ поэтомъ молодежи именно какъ поэтъ труда, наслажденія жизнью и могучихъ страстей пъльныхъ, глубокихъ, чуждыхъ
растлъвающихъ рефлексій или экзальтацій—страстей
простаго, естественнаго человъка свободнаго труда.

Для насъ статья Майкова о Кольцов'в важнъе всего, какъ новый моменть въ развити нашей мысли, обусловливающій собою всю последующую эпоху. Въ самомъ дёлё, въ этой статьё им видимъ впервые смёлое и радикальное отрицание узкихъ принциповъ народности и предпочтение имъ общечеловъческихъ принпиновъ. После того, какъ разъ народность была признана искажениемъ человъческой природы, признакомъ-же прогресса поставлена большая или меньшая степень выдёленія изъ узкой колен народности и приближение къ общечеловъческому типу — послъ этого никакія уступки, никакія соглашенія съ приверженцами принциповъ народности сделались немыслимы. Можно смёло сказать, что только со статьи В. Майкова началась настоящая оппозиція славянофильству. Въ этой оппозиціи противъ славянофиловъ встали уже не западники, не защитники усвоенія западной цивилизаціи, а пропов'єдники той новой будущей цивилизаціи, которая должна явиться не въ западномъ или восточномъ, а въ общечеловъческомъ духъ, которая должна въ своемъ результать сломать всь китайскія стіны различных народностей, уничтожить ихъ въчное соперничество о нравственныхъ преимуществахъ и матеріальныхъ выгодахъ, и сдёлать изъ французовъ, нёмцевъ, англичанъ, русскихъ-людей, которые жили-бы въ единеніи любви и братства. Надо-ли говорить, что таковъ быль духъ всей послъдующей эпохи движенія мысли нашей въ концѣ пятидесятыхъ и началъ шестидесятыхъ годовъ. Передовые люди этой эпохи твердо стояли на общечеловъческой почвъ, были чужды всякихъ народныхъ пристрастій, и ихъ отнюдь не слёдуеть смёшивать съ западниками сороковыхъ годовъ.

Западники, какими-бы они ни представлялись намъ антагонистами славянофиловъ, недалеко шли въ отрицаніи славянофильскихъ пенденцій и робко останавливались на полдорогъ. Мы уже говорили выше, что нѣть возможности опредѣлить, гдѣ быль конецъ славянофильства и начало западничества въ сороковые годы; теперь мы можемь освѣтить ясиѣе эту путаницу принциповъ. Дѣло въ томъ, что западники и сла-

вянофилы, равно основывалсь на идеяхъ гегелевской философія, совершенно сходились въ основныхъ взглядахъ на цивилизацію вообще и будущую цивилизацію Россіи. Какъ тѣ, такъ и другіе одинаково думали, что цивилизація не иначе можеть выразиться, какъ въ духѣ народности, и исторія цивилизаціи есть исторія смѣны народностей по мѣрѣ того, какъ историческая народность выразить собою то, что ей предопредѣлено выразить. Какъ славнюфилы, такъ и западники одинаково вѣрили, на всѣхъ этихъ основаніяхъ, что будущее принадлежить Россіи, которой суждено сказать новое слово цивилизаціи послѣ Европы, но сказать его не иначе, какъ въ духѣ своей народности.

Такимъ образомъ, въ главныхъ основаніяхъ славянофилы и западники совершенно сходились, представляя собою одинъ и тотъ-же результатъ гегелевской философіи. Пунктъ-же ихъ разделенія начинался съ опредъленія путей, по которымъ Россія должна идти для выполненія своего историческаго назначенія. По мевнію славянофиловъ, Россія, чтобы сказать свое новое слово, должна создать свою самостоятельную цивилизацію на народныхъ началахъ, отстранившись отъ всякаго вліянія Запада; западники-же думали, что европейская цивилизація не только не пом'єшаеть созданію въ Россіи самобытной цивилизаціи, не только не убъетъ въ насъ нашей народности, но что, напротивъ того, только съ усвоеніемъ ся наши народныя начала дойдуть до своей сознательности и полнаго развитія.

Послѣ этого понятно становится, что, расходясь другъ съ другомъ во взглядахъ не о цѣляхъ, а только о средствахъ нашего развитія, славянофилы и западники, при всей своей ожесточенной полемикѣ, часто совершенно сходились и говорили одно и то-же, когда дѣло касалось не пунктовъ ихъ спора, а тѣхъ основаній, которыя у нихъ были общія. Тогда они становились въ рѣщительное недоумѣніе, изъ-за чего они спорятъ, начинались отданія относительныхъ справедливостей, дѣлались примирительные обѣды съ поцѣлуями, послѣ которыхъ снова начинался разладъ и споры.

Такъ продолжалось дело именно до техъ поръ, пока не выделились изъ кружка западниковъ люди, которые рашились предать новой реальной критик в не одни выгляды о путяхъ и средствахъ, а и о самыхъ целяхъ; они решились заявить, что не только славянофилы, но п западники заблуждаются, мечтая о какой-то цивилизаціи въ народномъ духѣ, что смѣшно и ставить вопросъ о томъ, повредить или не повредить цивилизація духу народности, когда цивилизація именно есть начто противоположное этому духу, такъ-какъ основная цъль ея вывести человъка изъ узкой колеи народности на степень общечеловъчности. Эти новые люди полагали, что западники робки и уклончивы въ своихъ спорахъ съ славянофилами, позволяя себь подобострастно раскланиваться передъ ихъ народными началами и разсыпаться въ увереніяхъ, чтобы тъ не боялись западной цивилизаціи, что она и не дотронется до ихъ народныхъ началъ, а напротивъ того, послъднія еще болье процвытуть. Такое лицемеріе, по мненію новыхъ людей, кроме униженія, не могло имъть никакихъ благихъ результатовъ: не въ примъръ честиче было снять маску и заявить прямо: да, господа славянофилы, цивилизація затымь и явилась къ намъ, чтобы бороться съ вашими пресловутыми народными началами, и слава ей, если она будеть побъдительницей въ этой борьбъ.

Вотъ смысать статьи Майкова. Послё этой статьи и вообще послё появленія людей съ отрицаніемъ принциповъ народности, западники сороковыхъ годовъ должны были почувствовать, что они болье солидарны съ славянофилами, что они думали, и что они стоять въ такой-же оппозиціи противъ новыхъ мыслителей, какъ и ихъ прежніе противники, славянофилы. Этимъ и объясняется тотъ фактъ, что по мъръ того, какъ новые мыслители начали въ концё пятидесктыхъ годовъ получать все большую и большую силу въ литературъ, прежніе западники, одинъ за другимъ, начали переходить въ лагерь славянофиловъ.

Но этотъ переходъ старыхъ западниковъ въ сдавнофильскій лагерь имветъ место не только въ шестидесятие годы. Ми видимъ, что тотчасъ-же по появленіи статьи Майкова, западники забили тревогу и почувствовали побужденіе попятиться назадъ, въ окрестности московскаго Кремля, въ лице главнаго представителя своего—Белинскаго.

О Бѣлинскомъ сохранились воспоминанія у всѣхъ знавшихъ его лично, какъ о наиболѣе ожесточенномъ противникѣ славянофиловъ. Какъ примѣръ его непримиримаго антагонняма съ московскими мыслителями, приводять его письма, въ которыхъ онъ упрекаетъ своихъ московскихъ сторонниковъ (Грановскаго, Герцена) за ихъ полытки къ примиренію и лобзанія съ противниками западной цивилизаціи. Въ послѣдніе годы литературной дѣягельности Бѣлинскаго вы не найдете ни одной статьи, въ которой онъ не нападаль-бы на славянофиловъ, не осыпалъ ихъ злыми и ожесточенными сарказмами.

Но за что собственно онъ нападалъ на славянофиловъ? Онъ нападалъ на нихъ только за смѣшным и доходящія до абсурда крайности ихъ увлеченій. Онъ видѣлъ въ нихъ мистиковъ и романтиковъ, которые, увлеченные патріотическить пристрастіемъ ко всему урсскому, отрицали все хорошее на Западѣ и преклонялись передъ всѣмъ русскимъ не разбирая, хорошо оно или дурно, возводили все русское, народное въ идеалъ, доходя до слѣпаго обожанія даже разныхъ устарѣлыхъ народныхъ обичаевъ, правовъ, костюмовъ и пр. Онъ нападалъ на нихъ за отрицаніе петровское реформы, за порицаніе натуральной школы и вообще всякаго произведенія искусства, въ которомъ имъ не правилось критическое отношеніе къ русской жизни.

Но вотъ появилась статья Майкова, и діло коснулось не однихъ уже только заблужденій и крайпостей славянофиловъ, а самыхъ основаній ученій ихъ. И Білинскій не замедлилъ обнаружить и по отношенію къ славянофильскому ученію тотъ-же роковой преділь, который мы виділи въ немъ и по другимъ вопросамъ жизни. Статья Майкова открыла, такъ сказать, глаза Білинскаго, ослівленнаго ожесточенною полемикой съ славянофилами, и онъ, внезапно прозрівши, увиділь, что онъ далеко не такъ расходится съ ними, какъ думаль, что въ виду новыхъ, боліве смілыхъ противниковъ, славянофилы являются скорве союзниками, чемъ врагами, и Бълинскій внезапно делаетъ отбой отъ своихъ нападеній на славянофиловъ, протягиваетъ имъ руку въ знакъ примиренія, говорить о безполезности вражды и въ заключеніе набрасывается на новыхъ противниковъ, открыто высказывая, что лучше быть славянофиломъ, чемъ ими.

Все это мы находимъ въ статъв Бълинскаго "Взглядъ на русскую литературу 1846 г." (см. "С. В.", т. П). Въ самомъ дълъ, на самыхъ первыхъ страницахъ статън васъ сразу поражаетъ радикальное измънене въ отношени Бълинскаго къ славянфиламъ; словно это совершенно не тотъ Бълинскій, какимъ мы его знаемъ въ полемикъ съ московскими мыслителями.

«Такъ называемое славянофильство — говоритъ онъ на 20-й страницѣ статьи-безъ всякаго сомнънія, касается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей общественности. Какъ оно ихъ касается и какъ оно къ нимъ относится-это другое дъло. Но прежде всего, славянофильство есть убъжденіе, которое, какъ всякое убъжденіе, заслуживаеть полнаго уваженія, даже и въ такомъ случаь, если съ нимъ вовсе несогласны. Славянофиловь у насъ много, и число ихъ все увеличивается: факть, который тоже говорить въ пользу. славянофильства. Можно сказать, что вся наша литература, а съ нею и часть публики, если не вся публика, раздёлились на двё стороны—славянофиловъ и неславянофиловъ. Много можно сказать въ пользу славянофильства, говоря о причинахъ, вызвавшихъ его явленіе; но разсмотрівши его ближе, нельзя не увидёть, что существование и важность этой литературной котеріи чисто-отрицательныя, что она вызвана и живеть не для себя, а для оправданія и утвержденія именно той идеи, на борьбу съ которой обрекла себя. Поэтому, нътъ никакого интереса говорить съ славянофилами о томъ, чего они хотять, да и сами они неохотно говорять и пишуть объ этомь, хотя и не дёлають изъ этого ни-какой тайны. Дёло въ томъ, что положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то туманныхъ, мистическихъ предчувствияхъ побъды Востока надъ Западомъ, которыхъ несостоятельность слишкомъ ясно обнаруживается фактами дъй-ствительности, всъми вмъстъ и каждымъ порознь. Но отрицательная сторона ихъ ученія гораздо болье заслуживаеть вниманія, не въ томъ, что она говорить противь гніющаго, будто-бы, Запада (Запада славянофилы ръшительно не понимають, потому что мъряють его на восточный аршинь), но въ томъ, что они говорять противъ русскаго европеняма, а объ этомъ они говорять много дъльнаго, съ чёмъ нельзя не согласиться хотя на половину, какъ, напримъръ, что въ русской жизни есть какан-то двойственность, слёдовательно, отсутствие нравственнаго единства; что это лишаеть насъ рёзко выразившагося національнаго характера, кимъ, въ чести ихъ, отличаются почти всѣ евро-пейскіе народы; что это д'власть насъ какими-то междоумками, которые хорощо умъють мыслить по французски, по нъмецки и по англійски, но никакъ не умъють мыслить по русски, и что причина всего этого въ реформъ Петра Великаго. Все это справедливо до извъстной степени. Но нельзя остановиться на признаніи справедливости какого бы то ни было факта, а должно изследовать его при-чины, въ надежде въ самомъ вле найти и средства къ выходу изъ него. Этого славянофилы не делали и не сдёлали; но за то они заставили если не сдёлать, то делать это своихъ противниковъ. И воть гдъ ихъ истинная заслуга». Уже въ этихъ строкахъ Бълинскій сильно сбивается на славянофильскую почву и во многомъ вторитъ имъ. Далѣе онъ еще рѣзче выставляетъ точки соприкосновенія своихъ взглядовъ съ славянофильскими.

«Повторяемъ, славянофилы правы во многихъ отношеніяхъ-говорить онь на 24-й страниць-но, тьмъ не менье, ихъ роль чисто-отрицательная, хотя и полезная на время. Гласная причина ихъ странныхъ выводовъ заключается въ томъ, что они произвольно упреждають время, процессь развитія принимають за его результать, котять видить плодъ прежде цепта, и находя листья безекусными, объявляють плодь инилымы и предлагають огромный льсь, разросшійся на необозримом пространствь, пересадить на другое мисто и приложить къ нему другого рода уходт. По ихъ мнънію, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая Петровская Россія такъ-же молода, какъ и Съверная Америка, что въ будущемъ ей представляется гораздо больше, чёмъ въ проинедшемъ. Они забыли, что въ разгаръ процесса часто оссбенно бросаются въ глаза именно тт основанія, которыя по окончаніи процесса должны исченуть; и часто не видно именно того, что впосандствии должно явиться результатом проneccally.

Этими словами Бълинскій высказываеть всю свою солидарность съ славянофилами: онъ не доволенъ на нихъ только за то, зачемъ они слишкомъ мрачно смотрять на подражательность нашего общества европейцамъ. Онъ соглашается съ ними, что эта подражательность прискорбна, но, смотря на нее, какъ на временное зло, утъщаетъ славянофиловъ, что это зло преходящее и въ результатъ славянофилы, все-таки, восторжествують: не они, такъ внуки ихъ дождутся русской цивилизаціи совершенно въ народномъ духѣ. "Да, у насъ есть національная жизнь-восклицаетъ онъ на 26-й страницѣ-мы призваны сказать міру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль-объ этомъ пока еще рано намъ клопотать. Наши внуки и правнуки узнають это безъ всякихъ усилій напряженнаго разгадыванья, потому что это слово, эта мысль будетъ сказана ими..."

Теперь вы и подумайте, велико-ли разстояние всёхъ этихъ мыслей отъ славянофильскихъ тенденцій? Сколько вдёсь точекъ совпаденія въ существеннихъ вопросахъ и какъ частны разнорфиія. При такомъ угай врёнія одинъ шатъ—и вы славянофиль. Не понравится вамъ какая-либо реформа, перенятая съ Запада, не согласитесь вы съ ученіемъ, заимствованнымъ изъ Европы, и въ вашемъ голосъ точчасъже зазвучатъ славянофильскія нотки о прискорбности подражательности, о необходимости самостоятельности жизви и мысли, о народныхъ началахъ, о здравомъ инстинктъ народныхъ массъ и пр. И при всемъ томъ, вы, все-таки, будете считатъ себя запад-почитая фракъ зипуну или лимонадъ-газесъ—квасу...

На слъдующей страниць Вълинскій уже не ограничивается одними комплиментами и отданіями долговъ справедливости славянофиламъ; онъ доходитъ даже до почтительныхъ извиненій передъ ними.

«Просимъ извиненія у гг. сдавинофиловъ—говорить онъ—если мы приписали имъ что-нибудь такое, чего они и не думали или неговорили: еслибъ они могли упреквуть насъ въ чемъ-нибудь подобномъ, пусть примуть это за простую и не умышленную опибку съ нашей стороны. Каковы бы ин были ихъ понатія, или, по нашему, ошибки и заблужъ

денія, мы уважаемъ ихъ источникъ. Мы можемъ сочувствовать всякому искреннему, независимому и благородному, въ его началь, убъждению, не только не раздѣляя его, но и видя въ немъ діаметрально не раздили ст., но и нашему убъядению. На чьей сторонъ истина—разсудить время—великій и непогрышительный судья всыхы умственныхы и теоретическихъ тажбъ. Журналъ, который теперь одинъ остался органомъ славянофильского направленія, объявиль ніжогда «непримиримую вражду» всякому противоположному направленію. Что касается до насъ, имъя свое опредъленное направленіе, свои горячія убъжденія, которыя намъ дороже всего на свъть, мы тоже готовы защищать ихъ всёми силами нашими и, вмёстё съ тёмъ, противоборствовать всякому противоположному направленію убъжденію; но мы хотыли-бы защитить наши мивнія съ достоинствомъ, а противоположнымъ противоборствовать съ твердостью и спокойствіемъ, безъ всикой вражды. Къ чему вражда? Кто враждуеть, тоть сердится, а кто сердится, тоть чувствуеть, что онь не правъ. Мы имжемь самолюбіе до того считать себя правыми въ главныхъ основаніяхъ нашихъ уб'єжденій, что не им'ємъ никакой нужды враждовать и сердиться, смъщивать идеи съ лицами и, вмъсто благородной и позволенной борь-бы мнъній, заводить- безполезную и неприличную борьбу личностей и самолюбій...»

Все это, если вы хотите, очень благородно, возвышенно и великодушно со стороны Бълинскаго, но вы не поймете, съ какой стати вздумалось ему, ни съ того, ни съ сего, великодушничать, протягивать руку заклятымъ врагамъ и даже на половину соглашаться съ ними, если не примете въ разсчетъ появленія новыхъ непріятелей, въ которыхъ Бълинскій встръчалгораздо болье разнорычій съ его идеями, чъмъ въ славянофилахъ, которые съ одинаковымъ отрицаніемъ отнеслись какъ къ славянофиламъ, такъ и къ западникамъ съ Бълинскимъ во главъ.

На следующихъ-же страницахъ Велинскій деласть натискь на этихъ новыхъ враговъ.

Сначала онъ пускаетъ въ дъло діалектику Гегеля; въ майковскихъ идеяхъ видятъ антитезъ славянофильству, въ своихъ-же убъжденіяхъ, конечно—возсоединяющій синтезъ.

«Естественно-говорить онъ на 32-й страницъчто подобныя (т.-е. славянофильскія) крайности вывывають такія же противоположныя крайности. Одни бросились въ фантастическую народность, другіе — въ фантастическій космонолитизмъ, во имя человъчества. По мнънію последнихь, національность происходить оть чисто-вижшнихъ вліяній, выражаетъ собою все, что есть въ народъ неподвижнаго, грубаго, ограниченнаго, неразумнаго, и діаметрально противополагается всему человическому. Чувствуя же, что нельзя отрицать въ народъ и человъческаго, противоположнаго, по ихъ митнію, національному, они раздёляють недёлимую личность народа на большинство и меньшинство, приписывая последнему качества, діаметрально противоположныя качествамъ перваго. Такимъ образомъ, безпрестанно нападая на какой-то дуализмъ, который они видять всюду, даже тамъ, гдв его вовсе неть, они сами впадають въ крайность самаго отвлеченнаго дуализма. Великіе люди, по ихъ понятію, стоятъ виъ своей національности, и вся заслуга, все величіе ихъ въ томъ и заключается, что они идуть прямо противъ своей національности, борятся съ нею и побъждають ее. Воть истинно русское и, въ этомъ отношении, ръзко-національное мивніе, которое не могло бы придти въ голову европейцу! Это мибије вытекло прамо изъ ложнаго взгляда на реформу Петра Великаго, который, по общему въ

Россіи мивнію, будто би уничтожиль русскую народность. Это мивнія тёхь, которые народность видять въ обычанть и предравсудкахь, не понимал, что въ нихъ дъйствительно отражается народность, но что они отнюдь еще не составляють народности. Раздълить народное и человъческое на два совершенно чуждыя, даже враждебныя одно другому начала, значить впасть въ самый абстрактный, въ самый книжный дуализмъ».

Но Бѣлинскій не останавливается на безпристрастномъ равновѣсіи гегелевскаго синтеза и не одинаково относится къ обѣимъ выставленнымъ имъ крайностямъ: къ славянофильству и космополитизму; вѣсы его синтеза тотчасъ-же склоняются на сторону славянофильства и онъ отдаетъ послѣднему преимущество передъ космополитизмомъ.

Далбе онъ входить въ длинныя разсужденія въ духв гегелевской философіи объ отношеніи личности къ идев человъка. Изъ этого разсужденія онъ выво-

дить следующія положенія:

«Что личность въ отношеніи къ идев человъка, то народность въ отношеніи къ идев человъчества. Другими словами: народности суть личности человъчества. Вевъ національностей, человъчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ вначенія. Въ отношении къ этому вопросу, я скорпь чотов перейни на сторони уманическиет космополитовъ, потому ито ели первые и ошибаются, то какт моди, какт мисися существа, а вторые и истину-то говорять, какт такоето издание такой-то лошки... Но, къ счастію, я на-дъюсь остаться на своемъ мѣстъ, не переходя ни къ чему...»

уже во встхъ этихъ выдержиахъ вы видите иткоторое искажение и представление въ ложномъ свъть идей Майкова. Такъ, напримъръ, Майковъ нигдъ не говорилъ, чтобы великіе люди уничтожали народность, а говориль только о ихъ личномъ выделеніи изъ узкой колен народности и борьбъ съ узкими національными элементами во имя общечеловъческихъ идеаловъ; что-же касается до уничтоженія народныхъ перегородокъ, то, съ точки зрвнія Майкова, оно имбеть место не въ настоящемъ, а въ будущемъ; это - результатъ современной цивилизаціи, къ которому стремится она, по до котораго она далеко еще не достигла. Къ тому-же, мнение Майкова вовсе не исключительно самодельное русское, и насмешливыя слова Велинскаго, что будто оно не могло бы придти въ голову европейцу-лишены всякаго основанія. Напротивъ того, въ сочиненияхъ многихъ современныхъ передовыхъ европейскихъ мыслителей вы найдете часто встречаемое мненіе, что уже и въ настоящее время образованный англичанинъ гораздо болье имъетъ общаго въ своемъ типъ съ образованнымиже людьми всёхъ странъ, чёмъ съ своимъ необразованнымъ землякомъ.

Но далее вы встречаете еще большее искажене мифній Майкова. Такъ, напримеръ, говоря о противоположности меньшинства и большинства народа, Майковъ и не думалъ подъ меньшинствомъ разуметь какое-либо привиллегированное, сословное меньшинство, не думалъ даже и объ образованномъ меньшинстве. Подъ меньшинствомъ онъ разуметъ рядъ личностей, развивающихъ въ себъ, вследстве набытка своихъ физическихъ или умственныхъ силъ, каче-

ства, противоположныя общимъ качествамъ среды. При этомъ Майкову рѣшительно все равно, къ какимъ-бы слоямъ общества эти личностй ни принадлежали. Такъ, напримъръ, онъ находитъ своихъ людей покоя и удальцевъ—и среди западниковъ, и среди славянофиловъ. Различные выходим изъ народа,
самоучки, удальцы-разбойники—совершенно подходятъ подъ этотъ-же типъ. Между тѣмъ, Бѣлинскій
заставляетъ Майкова подъ меньшинствомъ подразумъвать непремънно привиллегированные классы и

дълаетъ ему слъдующее возражение:

«Разделеніе народа на противоположныя, враждебныя, будто бы, другь другу большинство и мень-шинство, можеть быть, и справедливо со стороны логики, но решительно ложно со стороны здраваго смысла. Меньшинство всегда выражаеть собою большинство, въ хорошемъ или въ дурномъ смыслъ. Еще странные приписать большинству народа только дурныя качества, а меньшинству одни хорошія. Хороша была бы французская нація, если бы о ней стали судить по развратному дворянству временъ Людовика XV. Этоть примъръ указываетъ, что меньшинство скорбе можеть выражать собою болбе дурныя, нежели хорошія стороны національности народа, потому что оно живеть исскуственною жизнію, когда противополагаеть себя большинству, какъ что-то отдъльное отъ него и чуждое ему. Это мы видимъ и въ современной намъ Франціи, въ лицъ bourgeoisie-господствующаго теперь въ ней сословія». (См. стр. 40, 41).

Когда вы читаете эти строки, соображая, въ тоже время, идеи Майкова, то вы решительно недоумеваете, что это сделалось съ Велинскимъ! Невозможно прелставить себь, чтобы такой безукоризненно-благородный человъкъ, какъ Вълинскій, умышленно исказилъ идеи своего противника для удобствъ полемики; невозможно и подумать, съ другой стороны, чтобы такой добросовъстный человъкъ, какъ Бълинскій, ограничился поверхностнымъ перелистываніемъ статьи Майкова и не вдумался въ суть его идей. Остается предположить, что Бёлинскій просто не поняль этихъ идей, потому что онв выходили изъ круга его міросозерцанія, стѣсненнаго принципами гегедевской діалектики. Остается и здёсь предположить предёль, далье котораго не шель Вълинскій, не шли и всь его сверстники сороковыхъ годовъ.

Вообще, статья Вълинскаго, которую мы разсматриваемъ, особенно дорога тъмъ, что она проливаетъ большой свътъ на характеръ тъхъ реакціонныхъ пріемовъ, съ какими сверстники Бълинскаго явились впослъдствін въ противодъйствіе движеню шестидесятыхъ годовъ. Зачатки этихъ пріемовъ такъ и выглядываютъ во многихъ мъстахъ статых. Такъ, напрямъръ, посмотрите, что говоритъ Бълинскій о ве-

ликихъ людяхъ:

«Что же касается до великихъ людей, они по превмуществу дѣти своей страны. Великій человѣкъ всегда націоналенъ, какъ его народъ, но онъ потому и великъ, что представляетъ собою свой народъ. Ворьба тенія съ народомъ не есть борьба человѣческаго съ національнымъ, а просто-на-просто новаго съ старымъ, иден съ эмпириямомъ, разума съ предразоудкомъ. Масса всегда живетъ привичкой, и разумнымъ, истиннымъ, полезнымъ считаетъ только то, къ чему привыкла. Она защищаетъ съ остервенѣніемъ и старое, противъ котораго, кѣсмъ или менѣе назадъ, съ ежрепренѣніемъ же осролась она, какъ противъ новаго. Противофъйство

массы ченю необходимо: это съ ел стороны экзаменъ ченю: если онъ возъменъ свое, ни на что несмотря, значить, онъ точно ченй, т.-е. въ саможь себь носить свое право дъйствовать на судъбы своею отечества. Иначе всякій резонеръ, осливи мечтатель, всякій философа, всякій маленькій великій человыть сталь бы обходиться съ лародомъ, какъ съ лошадыю, направлял вы опо воль своих прихотей и фантазій то въ ту, то въ другую сторону...»

Въ первой половинъ этой тирады вы ничего не находите, кром'в ряда противоречій. Оказывается, что геній, въ одно и то же время, является и представителемъ народной массы, и ея антогонистомъ, защишающимъ новое противъ того стараго, къ которому масса привыкла. Но мы просимъ обратить особенное внимание нашихъ читателей на последния строки тирады, напечатанныя курсивомъ. Воть они гдв, запатки техъ ядовитыхъ насмещекъ, которыми осыпали впоследствім сверстники Белинскаго людей шестидесятыхъ годовъ. Резонеры, мечтатели, маленькие великіе люди, думающіе обходиться съ народомъ, какъ съ лошадью, направляя его по воль своихъ прихотей и фантазій!--- только и слышалось впоследствін со стороны людей сороковыхъ годовъ. Такова именно софистика гегелевской діалектики, что, подводя вещи подъ общирныя отвлеченныя категоріи и избъгая точнаго определенія ихъ, она даеть место какимъ угодно тодкованіямъ фактовъ. Понравится вамъ какое-нибудь ученіе, стоящее въ уровив вашего міросозерцанія, вы готовы навязывать это ученіе всёмь и каждому, стремиться всёми правдами и неправдами къ господству его, топтать противниковъ въ грязь, не думая о томъ, что вы относитесь къ ближнимъ, какъ къ лошадямъ, которыхъ стараетесь направить въ ту сторону, въ какую вамъ угодно. Нътъ, ваше поведение представляется вамъ борьбой геніальной мысли съ непониманіемъ толиы. А чуть вамъ не понравилось ученіе, можеть быть, просто потому, что оно стоить выше вашего пониманія, и тотчасъ-же выступають на сцену резонеры, мечтатели, маленькіе великіе люди, фантастические космонолиты и пр.

Но отношениемъ къ новымъ людямъ, какъ резонерамъ, мечтателямъ и пр., не исчерпываются реакціонные пріемы сверстниковъ В'єдинскаго. Рядомъ съ этимъ вы встрачаете еще одинъ общеупотребительный пріемъ, въ которомъ, впрочемъ, люди сороковыхъ годовъ сходятся съ реакціонерами всёхъ вёковъ. Этотъ пріемъ заключается въ томъ, что, выражая полное сочувствіе къ тому или другому ученію, къ той или другой реформъ, реакціонеры, въ то же время, употребляють рядь всевозможныхь доводовь для того, чтобы доказать, что данная реформа преждевременна, ученіе, при всей своей несомивнной истинности, безплодно, потому что предвосхищаетъ будущее, что мы можемъ дюбоваться сколько угодно на те блага, какими пользуются люди на Западъ, но сами до этихъ благъ еще не доросли, не созръли и, какъ дъти, должны облизывать губки, смотря издали, какъ пируютъ большіе. Задатки такого пріема им, въ свою очередь, встрѣчаемъ уже у Бѣлинскаго.

Ненавистные для него космополиты, какъ извъстно, не ограничивались однимъ противопоставлениемъ принципамъ народности общечеловъческой цивилиза-

ціи. Изучая соціологію и политическую экономію и усвоивая последнія истины, добытыя этою наукой, они не думали, чтобы истины эти могли быть годны для одной страны и негодны для другой, или чтобы истины решенію вопросовъ жизни, стоящихъ позади этихъ истинъ; напротивъ того, они полагали, подобно многимъ современнымъ европейскимъ публицистамъ, что, безъ примененія этихъ истинъ къ жизни, всё другіе вопросы, стоящіе позади ихъ, не могутъ нивогда быть решены правильно и что всякое решеніе этихъ вопросовъ безъ примененія новыхъ истинъ всегда будетъ равняться постройкей зданія на пескть.

Бѣлинскій, въ свою очередь, страстно проникался современными ему вопросами. Въ своей рецензіи на "Парижскія тайны" Евгенія Сю (см. "С. В.", т. ІХ, стр. 1), онъ посвятиль нізсколько страниць нолитическому движенію Франціи, и читая эти страницы, вы видите, какъ глубоко понималь Бѣлинскій современное ему положеніе Франціи, съ какимъ неподдѣльнымъ паеосомъ и съ какою геніальною мѣткостью рисуетъ онъ отношеніе народа къ буржуазіи.

Но вышеупомянутая нами статья Вѣлинскаго ("Обозр. р. дит. за 1846 г.") показываетъ намъ, что и для этихъ вопросовъ у Вѣлинскаго былъ свой роковой предълъ, далѣе котораго онъ не шелъ. Сочувствие его къ новымъ истинамъ политической экономи было чисто внѣшнее, какъ къ чему-то, способному возбуждать въ насъ извѣстный симпати и антипати, но при всемъ томъ совершенно чуждому намъ и не имъющему никакого отношенія къ нашей жизни.

«Теперь Европу занимають новые великіе вопросы—говорить онъ на 43-й стравиць—и интересоваться ими, следиять за ними намъ можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо намъ, если мы хогимъ быть людьми. Но въ то-же время для насъ било-бы вовее безплодно принимать эти вопросы, какъ наши собственные. Въ нихъ нашего только то, что примению въ нашему положению; вее остальное чуждо намъ, и мы стали-бы миграть роль Донъ-Кихотовъ, торячась изъ ничего. Этимъ мы заслужили-бы скорве насмъщки европейцевъ, нежели ихъ уважение. У себя, въ себъ, вокругъ себя, вотъ гдё должны мы искать и вопросовъ, и ихъ решения. Это направление будеть плодотворно, если не будеть блестяще...»

Ивиствительно, если вы начнете смотрыть съ чисто вившней, поверхностной стороны на новыя истины политической экономіи, то, конечно, вы не увидите ничего общаго между этими истинами и вопросами нашей жизни. Такъ, напримъръ, что, повидимому, общаго между вопросомъ объ отношении рабочихъ къ фабрикантамъ во Франціи и вопросомъ объ освобожденіи крестьянь, который стояль на первомъ планъ въ глазахъ всехъ мыслящихъ людей въ сороковые годы? Съ одной стороны, шелъ споръ между людьми, одинаково свободными и граждански равноправными о барышахъ, съ другой-дъло шло о даровани элементарных ражданских правъ рабамъ, не имъвшимъ не только движимой или недвижимой собственности, но о которыхъ нельзя было сказать даже, чтобы они были владальцами своего собственнаго тала. Естественно, что последній вопрось представлялся на нъсколько въковъ стоявшимъ сзади перваго. Но еслибы Бълинский усвоилъ себъ всю суть новыхъ политикоэкономическихъ истинъ, онъ увидель бы, что оне касаются не однихъ только отношеній рабочихъ къ фабрикантамъ, а относятся къ какимъ угодно вопросамъ жизни, и относятся не частію, а всецело составляють существенное основание правильности рашения всякаго вопроса жизни, не исключая и вопроса объ освобожденіи крестьянъ. Люди же сороковыхъ головъ смотрели на это не такъ: имъ казалось, что если есть что-либо общее между политико-экономическими вопросами Запада и элементарными вопросами нашей жизни, то развѣ только одно общее чувство гуманности, изъ которой исходять тв и другіе. Имъ казалось, что сначала следуеть решить какъ бы то ни было крестьянскій вопрось, два, три другіе столь же элементарные вопроса нашей жизни; затымь, льть черезъ 60, черезъ 100 и болъе, когда у насъ явится промышленный пролетаріать, тогда только политикоэкономические вопросы Европы будуть у насъ современны, и мы получимъ право горячиться за нихъ. А до техъ поръ мы можемъ следить за развитіемъ этихъ вопросовъ на Западъ, сочувствовать имъ, но проникаться ими и считать ихъ своими не полжны, иначе мы прослывемъ за Донъ-Кихотовъ и надъ нами посмвется Европа.

Вотъ вамъ и еще одинъ изъ ключей къ реакціоннымъ принципамъ людей сороковыхъ годовъ. Когда появились люди, которые не довольствовались однимъ созерданіемъ и сочувствіемъ и глубоко прониклись новыми политико-экономическими истинами, прониклись не отчасти, а всецело и безраздельно, съ точки зрвнія этихъ истинъ начали смотреть и на все событія Европы, и на всё вопросы нашей жизни, въ глазахъ людей сороковыхъ годовъ они не переставали слыть Донъ-Кихотами, предвосхищающими будущее. посмъщищами и т. п. При этомъ люди сороковыхъ годовъ, привыкшіе къ своей раздвоенности, упустили изъ виду тотъ естественный законъ нашей психической жизни, что здоровый и цельный умъ не можетъ довольствоваться истиной отчасти, на половину, а тъмъ менъе судить о вещахъ иначе, какъ онъ ему представляются съ точки эренія этой истины. Такъ, напримеръ, здоровый, сильный умъ не можетъ составить о Кавур'в одинъ взглядъ, а высказывать публикъ другой на томъ основаніи, вотъ видите, что мы, въ развитіи нашей общественной жизни, не доросли еще и до Кавура. Вспомните, что въ этой последовательности своимъ идеямъ именно и обвиняетъ Добролюбова Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Бълин-CKOMB.

Волте намъ не придется бесёдовать въ этихъ очеркахъ о Белинскомъ. Въ заключеніе считаю нелишнимъ сдёлать такую же оговорку и относительно Белинскаго, какую мнё пришлось сдёлать относительно Грановскаго, для читателя, стоящаго на степени безусловнаго отрицанія или безусловнаго обожанія. Да не подумаетъ такой читатель, чтобы, выставляя различныя противоречія и пределы во взгладахъ Белинскаго, я желалъ бы, не говоря уже объ отрицані значенія этого геніальнаго представителя нашей литературы, коть на одну іоту уменьшить въ глазахъ публики это вначеніе. Я либать нъ виду только обозначить этоть предель міросоверцанія Белинскаго, оставаясь въ которомъ, Бълинскій представляется вполнъ сыномъ своего въка и далъе котораго начинается развитіе новой мысли, начало новой фазы нашего развитія. Какъ бы продолжалъ Бълинскій относиться къ этой новой фазѣ, еслибы жизнь и дѣятельность его продолжались, усвоилъ-ли бы онъ новыя идеи, или онъ все болве и болве расходился бы съ ними вийсти со всими другими своими сверстникамиобъ этомъ нътъ возможности судить, не входя въ область произвольных в фантазій и догадокъ. Впрочемъ, судя по живой, страстной, впечатлительной натуръ Бълинскаго, по его чутью, крайнему ожесточенію, которое онъ вынесъ изъ всей своей жизни, наконецъ, по его литературному положенію въ журналь, которому впоследствии пришлось стоять впереди движенія новой мысли, судя по всему этому, можно предположить, что Белинскій, по всей вероятности, скорее разошелся бы со своими сверстниками, чёмъ не сошелся бы съ новыми литературными дъятелями. Замётьте, что, не понявъ идей Майкова, онъ обвинилъ его не въ излишнемъ демократизмѣ, а напротивъ того, въ инимомъ аристократизив.

XII.

Владиміръ Алексвевичъ Милютинъ.— Краткія біографическія свёдёнія о его жизни.— Первай статья его «Пролетаріи и паупериямъ».— Статьи о книгъ Бутовскаго въ «Современникъ» и «Отечественнихъ Запискахъ».— Изложеніе идей повитивной философіи.— Вгляды на политическую экономію и ея школы съ точки зрѣнія этихъ идей.— Передовая статья въ «Отечественнихъ Запискахъ» въ началѣ 1848 года.— Общій характеръ умственнаго движенія въ концѣ сороковихъ годовъ и нѣкоторое сходство его съ движеніемъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ.— Внезанний перерывъ этого движенія.

Одитии статьями В. Майкова не ограничивались проблески новой реальной мысли въ концт сороковыхъ годовъ. Въ то время, какъ Майковъ явился представителемъ молодой критики, вмёстё съ нимъ вышелъ на поприще литературы новый талантливый публицистъ — Владиміръ Алекствичъ Милютинъ. Настоящая глава будетъ посвящена ознакомленію читателей съ идеями этого писателя. Читатели найдутъ въ нихъ передовыя идеи нашего времени п увидятъ, съ какою силой таланта изложены эти идеи въ статьяхъ Милютина.

Владиміръ Алексвевнъ Милютинъ родился 16-го декабря 1826 года. Поступивши въ московскій университетъ въ началѣ сороковыхъ годовъ, окъ перешелъ потомъ въ нетербургскій, гдѣ и кончилъ курст по юридическому факультету со степенью кандидаль диссертацію на званіе магистра "О недвижимыхъ имуществахъ духовенства въ Россіи"; въ 1850 году былъ опредѣленъ въ цетербургскій университетъ адъюнктомъ русскаго государственнаго права, а съ 1853 г. читалъ полицейское право. Какъ профессоръ, онъ былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ дѣнтелей петербургскаго университета; его аудаторія была постоянно полна слушателей изъ всѣхъ факультетовъ.

Въ последние годы своей жизни Милютинъ трудился надъ своею докторскою диссертаціей "О Дьякахъ", посвящая ежедневно своимъ трудамъ до десяти часовъ. Въ то-же время онъ быль съ 1848 года членомъ географическаго общества, состоя производителемъ дёлъ въ отдълении статистики, а съ 1849 года секретаремъ общества. Разнообразныя и усидчивыя занятія не замедлили подъйствовать на слабое здоровье Милютина. Въ 1854 году онъ долженъ быль вхать за границу лечиться. Но бользнь оказалась неизлечимая и грозила Милютину близкою кончиною, исполненною мученій. Къ этому подвернулись ніжоторыя сердечныя обстоятельства. Все это ввергло Милютина въ мрачную кандру, разръшившуюся самоубійствомъ. Въ 1855 г., 5-го августа, Милютина не стало. Онъ умеръ на 29-мъ году своей жизни, оставивши послъ себя самыя блистательныя надежды.

Спеціальныя ученыя занятія по университету и въ географическомъ обществъ не мъщали Милютину удънять время для литературныхъ занятій. Онъ весьма часто помъщалъ публицистическія и критическія статьи въ "Современникъ" и "Отечественныхъ Запискахъ". Началъ онъ свою литературную дъятельность очень рано, 20-ти лътъ, будучи еще на 4-мъ курсъ университета, и въ первыхъ статьяхъ услѣлъ уже обратить на себя всеобщее вниманіе. Статьи эти дійствительно открывали русской публика совершенно новый міръ. Съ одной стороны, публика познакомилась въ нихъ впервые съ основными началами позитивной философіи Огюста Конта, съ другой сторонысъ развитіемъ политико-экономическихъ школъ на Западъ, ихъ борьбой и отношениемъ къ передовымъ идеямъ современной жизни.

Первый его литературный трудъ появился въ 1846 году, въ видъ ряда статей подъ заглавіемъ "Пролетаріи и пауперизмъ", которыя дечатались въ "Отечественныхъ Запискахъ", начиная съ 50-го тома этого журнала. Въ этихъ статьяхъ вы находите весьма полное и обстоятельное изложеніе развитія пролетаріата на Западъ, его причинъ и слъдствій и отношенія къ этому явленію различныхъ политико-экономическихъ школъ.

Въ началъ своего трактата Милютинъ выставляетъ на видъ то впечатлъне, которое производитъ развите продетаріата на людей различнаго сорта, и говоритъ о томъ, какъ обязана смотръть на то-же самое явленіе наука.

«Въ-настоящее время-говоритъ онъ-есть много людей, въ которыхъ эта мрачная сторона дъйствительности производить недоумъніе, страхъ и даже отчание. Твердо въруя въ высокое значение промышленности и въ необходимость прогресса, они не знають, какъ оправдать такую- цивилизацію, среди которой встрачаются факты столь горестные. Для того, чтобы избавиться оть этого неразръшимаго для нихъ противоръчія, одни малодушно останавливаются только при свётлой сторонё жизни, закрывая глаза при видъ бъдствій, страданій и язвъ человічества; другіе, въ противность истині и дійствительности, упорно отрицають самое существование зла, или, по крайней мъръ, стараются уменьшить его значеніе, стараются скрыть его страшныя посл'ядствія. Но наука, въ своемъ постоянномъ стремленіи къ истинъ, не можеть допускать ни такого равнодушія, ни такого антагонизма. Съ одной

стороны, следуя за успехами и за развитіеме человечества, она не можеть не сочувствовать его страданіяме, потому что это сочувствіе составляеть свищенную ея обяванность. Съ другой стороны, для нея истина должна быть и святою, и неприкосновенною, и какъ бы истина эта ни была мрачна, наука не должна прятаться оть ен свёта, потому что иначе она отказалась бы оть своего назначенія.

«Но если въ настоящее время есть люди, которые готовы жертвовать истиной изъ любви къ прогрессу и цивилизаціи, то, съ другой стороны, есть также люди, которые, по ненависти къ тому-же прогрессу, или по какой-нибудь другой, неизвъстной намъ причинъ, доходять до самаго несправедливаго возарѣнія на этотъ предметь. Бѣдственное состояніе рабочихъ классовъ подаеть имъ поводъ къ самымъ несправедливымъ нападкамъ на Западъ. Въ его настоящей организаціи они видять только неустройство, разладъ какъ мивній, такъ и интересовъ; изъ этого они глубокомысленно заключають, что Западъ устарвять, что онъ уже растратиль всв жизненныя свои силы, что онъ гність, что государствамъ его остается только рухнуться, и уступить свое поприще новымъ племенамъ. Но такіе взгляды, изъ какого бы источника ни проистекали они, не заслуживають даже и опроверженія. Близорукимъ судьямъ Запада можно сказать, что они смотрять и не видять, слушають и не слышать. Они не понимають, что эта борьба интересовъ есть признакъ не распаденія, а жизни, что она показываеть не гнилость общества, а напротивъ, его зрѣлость, его свѣжесть, его силу. Они не видить, что надъ этимъ противоръчіемъ мысли и убъжденій возвышается стремленіе къ добру. И можно-ли назвать устарьнымъ то общество, которое сознаеть въ себъ несправедливость и силится побъдить ее? Можно-ли находить признаки упадка тамъ, гдф все дышеть свфжестью юности, гдф всф взоры и всф умы съ надеждой обращены на будущее, гдъ все движется, все развивается!

«Нѣть! не гніють ть общества, которыя рождають ивъ себа безпрестанно и посьтаровательно новые элементы жизни—не гніють, а усиливаются и созрѣвають, переходя черезь различные моменты и фавы къ совершенству. Гняль только тоть, кто вопес не примѣчаеть своей гнилости. Тоть только малодушень, кто, отгадывая у себа зло и неправду, предпочитаеть спокойно лежать въ гряви, вміето того, чтобы трудомъ и пожертвованіями стремиться къ благородной цѣли».

После такого вступленія, Милютинъ приступаетъ къ предмету своего трактата, который разделяется у него на два существенные отдела. Въ первомъ онъ издагаетъ причины продетаріата, во второмъ—его следствія.

Къ причинамъ пролетаріата онъ относить анархію конкурренціи, неправильное распредѣленіе поземельной собственности, тяжесть налоговъ примыхъ и косвенныхъ и финансовые законы. Каждую изъ этихъпричинъ онъ разсматриваетъ съ полною обстоятельностью, не упускал ни одного изъ выводовъ современной политико-экономической науки.

Въ заключение этого отдъла Милютинъ говоритъ нъсколько словъ и о той мнимой причинъ пролетаріата, въ которой рутинеры видять обыкновенно существенную причину объдности.

«Что касается—говорить онъ—до причинь бъдности, зависящихь оть вины самихъ людей, то на нихъ до сихъ поръ обращали слишкомъ много винманія и приписывали имъ слишкомъ много важности, преимущественно потому, что для нъкоторихъ дюдей весьма выгодно и удобно возлагать на самихъ отнътственность за тъ несчастія, въ которыхъ виновно одно только общество... Но въ настолищее время, когда политіе о правдё и справедливости распространнеть съ каждімых днемъ свое господство надъ сферой общественныхъ явленій, такой своеворыстный и жестокій вяглядь на эту важную и мрачную сторону народной живни сділагся уже невозможенъ. Теперь въ государствахъ западной Европы вей ті, которые не осатилены иредразсудками и преданіями пропилаго, ясно понимаютъ, что бідность нившихъ классовъ проистекаетъ не отъ нихъ самияхъ, а отъ другихъ, болбе глубокихъ, болбе существенныхъ причинъ, и что въ высшей степени было бы жестоко и несправедливо вмінять людямъ такія несчастін, въ которыхъ они вовсе не виноваты...»

Во второмъ отдёлть, какъ мы сказали выше, Милютинъ разсматриваетъ последствія пролетаріата, которыя онъ видить въ уменьшеніи нравственныхъ и физическихъ силь рабочаго сословія, уменьшеніи производительности, увеличеніи числа преступленій, въ вырожденіи такого обширнаго класса общества, который составляетъ большинство населенія Европы, и опасности окончательнаго уничтоженія этого больпинства.

Въ заключение трактата Милютинъ вооружается противъ тѣхъ экономистовъ, которые, по его словамъ, "думаютъ только объ усилении производительности, видятъ въ этомъ единственное средство для улучшения участи рабочаго класса и увѣряютъ, что о справедливомъ распредълается само собою виѣстѣ съ постепеннымъ увеличениемъ числа продуктовъ и понижениемъ ихъ пѣны..."

Противъ этихъ экономистовъ Милютинъ выставляеть представителей новой школы, которые, по его словамъ, оставивъ тотъ безплодный путь, по которому шли досель ихъ предшественники, устремили все свое внимание на изучение недостатковъ современнаго экономическаго устройства и на прінсканіе способовъ къ исправлению этихъ недостатковъ и къ усовершенствованію этого устройства. Твердо уб'єжденные въ томъ, что свобода промышленности въ настоящую минуту недостаточна для разрѣшенія всѣхъ вопросовъ, вызываемыхъ бъдствіями рабочаго класса, что принципъ laissez faire, laissez passer тягответъ только надъ рабочими, потворствуя капиталистамъ, они ноставили себъ задачей утвердить политическую экономію на новыхъ, более разумныхъ и более сообразныхъ съ требованіями настоящаго времени основаніяхъ. "Надоговорять они — чтобы работа была организована и чтобы наука, изучивъ законы производительности, определила законы отношенія труда къ капиталу, отношенія раціональнаго, а не на сліномъ случав основаннато".

Относясь, затъмъ, критически къ различнымъ направденимъ этой новой школы экономистовъ, Милютинъ находитъ, что она не ръшила еще той задачи, которую предстонтъ разръшить современной наукъ, что но вопросу, какъ о тъхъ главныхъ началахъ, на которыхъ должно быть основано отношение капитала къ труду, такъ и о средствахъ для замъны того или другаго устройства экономическаго устройствомъ болъе разумнымъ и справедливымъ, экономисты новой школы не успъли еще дойти до единогласнаго, утверди-

тельнаго и вполив формулированнаго решенія. И на этомъ пути, какъ и между приверженцами промышленной анархін, Милютинъ находитъ множество самыхъразнородныхъ мивній, самыхъ противоположныхъ теорій. Но это не мёшаетъ ему цёнить всю важность и все великое впаченіе новой школы экономистовъ.

«Нѣть никакого сомнанія-говорить онъ-что многія изъ современныхъ ученій носять на себъ явную печать мечтательности и невозможности; но слъдуеть-ли изъ этого, что надо презирать тахъ, которые впадають въ такія заблужденія и върують въ такіе призраки? Развъ человъчество доходило когда-нибудь до сознанія нетины внезапно и съ одного раза? Развів всі ті цетины, которыя принимаются теперь за неопровержимия аксіоми, не выработались постепенно и въ течение стольтій, развивансь изъ борьбы одностороннихъ, исключительныхъ и ошибочныхъ митній? Разві, наконець, мы не знаемъ, что множество новыхъ идей, при вомъ появленій своемъ возбудившихъ смёхъ и недовърчивость, впосиъдствіи приняты и осуществлены человъчествомъ во всемъ ихъ объемъ и во всей полноть? Не будемъ-же отвъчать насмъшкой на усилія людей, которыхъ неограниченная любовь къ своимъ собратіямъ доводить часто до крайностей, до преувеличенія, до смешныхь, можеть быть, взглядовъ и ученій. Станемъ, напротивъ, поощрять этн усилія, потому что въ нихъ заключается върный залогъ для будущаго усовершенствованія науки и для исцаленія тахъ язвъ, оть которыхъ страдають современныя общества на Запада. Станемъ сочувствовать этимъ благороднымъ стремленіямъ, и, твердо въруя въ обътованія божественнаго Спасителя, съ любовью ожидая пришествія того времени, когда воля Божія осуществится на земль, эту живую въру, эту твердую надежду, эту возвышенную любовь противопоставимъ и гордой недовтрчивости, и преступному равнодушію, и безплодному оптимизму...»

Въ 1847 году вышла книга А. Бутовскаго "Опытъ о народномъ богатствъ или о началахъ политической экономіи". Въ этой книгъ А. Бутовскій является приверженцемъ экономистовъ школы неограниченной свободы промышленности, причемъ авторъ придерживается идей Сэ и новторяетъ всѣ тѣ наладки, которыми осыпала эта школа новъйшихъ экономистовъ. Книга Бутовскаго послужила для Милютина такичъ-же прекраснымъ предлогомъ для проведены своихъ идей, какую услугу оказало впослъдствіи для другаго писателя руководство Горлова. Милютинъ паписалъ по новоду этой книги сразу двѣ критическія статьи, изъ которыхъ одну помъстиль въ "Современникъ" (см. "Совр. «, 1847 г., т. V и VI), а другую въ "Отечетвен-

ныхъ Запискахъ (см. "От. Зап. ", 1847 г., т. 55). Въ "Современникъ "Милютинъ изложилъ целую исторію политической экономіи, разсмотрѣвши весьма обстоятельно и подробно веѣ школы этой науки, начиная съ меркантилистовъ и физіократовъ, перейдя, затѣмъ, къ смитовской школѣ и заканчивая теоріями сопіалистовъ. Мы не имѣемъ ни возможности, ни цѣли подробно излатать веѣ ввгляды Милютина; желая ознакомить читателей нашихъ только съ основными идеями этого писателя, мы опускаемъ эту статью въ "Современникъ", равно какъ и другую прекрасную монографію Милютина, напечатанную тоже въ "Современникъ". "Мальтусъ и его противники" (см. "Современникъ". т. IV и V), и обращаемся къ статъѣ "Отечественныхъ Записокъ", въ которой наиболѣе развиты именно тѣ общія основанія, изъ которыхъ исходилъ

Милютинъ въ своихъ взглядахъ на различныя политико-экономическія школы.

Статья о книге Бутовскаго, напечатанная въ "Отечественныхъ Запискахъ", дорога для насъ именно темь, что въ ней Милютинъ высказываеть основы своего міросозерцанія, и вы видите, что передъ вами стоить уже не гегеліанець, не фейербахисть, а строгій и посявдовательный позитивисть. Онъ начинаеть свою статью прямо съ изложенія основаній позитивной философіи Ог. Конта. На первой-же страницъ онъ говоритъ о трехъ періодахъ умственнаго развитія: минологическомъ, метафизическомъ и положительномъ. Представлял характеристику каждаго изъ этихъ періодовъ и въ заключение заявляя, что настоящая цель умственной деятельности человека состоить въ томъ, чтобы возвести каждую отрасль познаній на степень науки положительной, т.-е. науки въ истинномъ смыслѣ, Милютинъ находитъ, что хотя многія науки достигли этого, но рядомъ съ ними мы находимъ множество и такихъ наукъ, которыя не вышли еще изъ періода мивологически-метафизическаго направленія. Сюда Милютинъ вифстф съ Контомъ причисляетъ всю отрасль знаній, известных подъ названіемъ общественныхъ

Далее затемъ, Милютинъ приступаетъ въ изъясненію причинъ подобной отсталости общественныхъ наукъ, что даетъ ему поводъ къ издожению извъстной ісрархін наукъ Ог. Конта. "Въ категорію положительныхъ наукъ-говорить онъ-вошли прежде всего математика и астрономія, потомъ химія и, наконець, физіологія". Если последняя опоздала, вследствіе многосложности, спеціальности ся феноменовъ и зависимости отъ другихъ явленій, то общественная наука уступаеть въ этомъ отношени даже самой физіологіи. "Явденія общественныя—говорить Милютинъ-несравненно сложиве и спеціальные всихъ другихъ, имъютъ въ себъ гораздо менъе самостоятельности, находясь въ самой тесной зависимости отъ всёхъ другихъ явленій и въ самой близкой связи съ интересами и страстями человѣка... "

Затемъ, второю и не менее важною причиной отсутствін положительности въ общественныхъ наукахъ Милютинъ подагаетъ недостатокъ разнообразія въ матеріалахъ для наблюденій, на которыхъ должна строиться каждая наука. "Общественная жизнь -- говорить онъ -- развивается медленно и постепенно; въ первое время она такъ проста и однообразна, что не представляетъ собою достаточной пищи для умственной д'вятельности. И не въ одни первыя времена общественной жизни этотъ недостатокъ матеріаловъ для наблюденія составляеть препятствіе къ образованію положительной науки: препятствіе это сохраняется весьма долго во всей своей силъ и изглаживается только постепенно, мало-по-малу. Можно даже сказать безъ преувеличенія, что только въ наше время сфера общественных виденій достигла, наконець, той степени обидія и разнообразія, при которой является уже возможность построить общественную науку на положительных основаніяхъ ". Съ другой стороны, по словамъ Милютина, не изучивъ природы человъка индивидуальнаго, невозможно было приступить къ изученію челов'єка общественнаго. Но физіологическое изученіе челов'яка достигло надлежащей стенени совершенства только весьма недавно, въ начал'я нын'яшняго стол'ятія.

Ниже онъ излагаетъ тв условія, какія необходимы, чтобы общественныя науки достигли степени положительныхъ знаній. Первое условіе, по его мнѣнію, заключается въ очищеніи этихъ наукъ отъ произвольныхъ фантазій, преобладанія воображенія ддеализма, въ подчиненіи воображенія господству методы наблюдательной и опытной; затѣмъ, онъ требуетъ превращенія абсолютныхъ понятій въ относительныя; наконецъ, говоритъ о необходимости отказаться навсегда отъ господствующаго стремленія къ безграничному и произвольному вліянію на общественные факты.

«То-же самое стремленіе—говорить онъ-руководило прежде и всёми другими науками въ ихъ практическихъ приложеніяхъ. Но относительно явленій астрономическихъ, физическихъ, химическихъ, даже физіологическихъ, это самообольщеніе человъка, естественное въ первое время, мало-по-малу исчезло вследствіе успеховь положительной методы, раскрывшей существование естественныхъ и необходимых законовъ, которымъ подчиняются всё явленя и которые не могуть быть отменены нашимъ произволомъ. Но въ сферъ общественной эти несбыточныя надежды, къ сожалению, сохраняются до сихъ поръ во всей своей силь. Всь политическія и соціальныя школы постоянно принисывають человъку власть измънять по произволу устройство общественныхъ отношеній и навязывать свои личныя стремленія цёлыму народаму или даже цёлому роду человъческому. Онъ всегда позабывають, что въ этой сферь, точно такъ же, какъ и во всъхъ другихъ, существуеть извъстный порядокъ вещей, неизмънный и необходимый, который ограничиваеть дъятельность человъка точными, постоянными предълами...»

Далъе Милютинъ приступаетъ къ изложению положеній въ пользу возможности приміненія метода положительныхъ наукъ къ общественнымъ наукамъ. Сначала онъ говорить о необходимости такого-же разделенія общественных в наукъ на статику и динамику, какое существуеть въ наукахъ естественныхъ, далфе онъ трактуетъ о возможности приложенія къ общественнымъ наукамъ различныхъ средствъ наукъ подожительныхъ, какъ-то: наблюденія, опыта, сравненія, историческаго способа изследованія. Рядомъ съ этими прямыми средствами онъ указываеть и на косвенныя, вытекающія изъ соотношеній науки общественной съ другими науками положительными: "Въ настоящее время—говорить онъ—по большей части или не знають этихъ соотношеній, или пренебрегають ими: общественная наука изучается и обработывается обыкновенно, какъ наука отдельная, независимая, занимающая совершенно-самостоятельное мъсто въ энцикпопедін человъческихъ познаній. Это стремленіе къ изолированію общественной науки чрезвычайно вредно, потому что выражать вы себы отсутствие одного изъ важивищихъ условій положительности и доставляетъ самое значительное пособіе господству метафивическаго направленія".

Исходя изъ этихъ основаній, Милютинъ отвергаетъ за политическою экономіей всякую положительность. Можно-ли назвать политическую экономію паукою, когда она не опредѣлила даже области и цѣли 'своего изученія? По мітьнію Милютина, истинная наука имѣетъ цѣлію не одно изученіе фактовъ и не одно практическое приложеніе добытыхъ истинъ къ жизни, а изученіе законовъ природы. Описаніе фактовъ есть не болѣе, какъ средство, а придоженіе открытыхъ истинъ къ дѣйствительности, жизни не болѣе, какъ внѣшняя цѣль. Политическая-же экономія раздѣлается на два противоположные лагеря, которые ведутъ ожесточенные споры о самыхъ цѣляхъ своей науки. Съ своей стороны, экономисты считають обыкновенно простое описаніе экономическихъ фактовъ нашего времени единственнымъ назначеніемъ науки.

«Вся дъятельность экономистовъ-говорить Милютинъ-ограничивается обыжновенно описаніемъ и объясненіемъ существующаго порядка вещей; они собирають отовеюду и разлагають на составныя части современный явленія экономическаго міра, выводять изъ этого анализа познаніе экономическихъ законовъ, дъйствующихъ въ настоящее время и при нынъшнихъ условіяхъ общественной жизни, и потомъ, не дълая никакого различія между прошедшимъ, настоящимъ и будущимъ, выдають вев отслучайныя, за законы общіе, постоянные, одинаково дъйствующие во всъ времена и на всъхъ ступеняхъ развитія. Нікоторые даже не употребляють и этой уловки, а объявляють прямо, что политическая экономія должна быть наукою чисто-описательною, показывающею порядокъ производства, распредъленія и потребленія богатствь въ современныхъ обществахъ: отказываясь, такимъ образомъ, отъ обязанности восходить отъ наблюденія надъ фактами къ познанію ихъ ваконовъ, или употребляя для исполненія этой обязанности совершенно ложную методу, состоящую въ произвольномъ смѣшеніи частныхъ и временных законовъ съ законами общими и необкодимыми, экономисты искажають, кромё того, понятіе о своей наукі и другимь образомь, исключая изъ ея сферы всв практические вопросы и не обращая никакого вниманія на приложеніе ея истинъ къ усовершенствованію экономическаго быта. Соціалисты, съ своей стороны, вдаются въ противо-положную крайность, и, пренебрегая изученіемъ дъйствительнаго, существующаго, занимаются единственно изследованіями о будущемь и возможномь. Политическая экономія въ ихъ глазахъ есть наука чисто-юридическая, опредёляющая взаимныя права и обязанности общества и его членовъ въ отношенін къ ихъ матеріальнымъ интересамъ. Основная идея ея-идея права, изъ которой должны быть выведены, по ихъ мивнію, рашенія всахъ общественныхъ и экономическихъ вопросовъ. Однимъ словомъ, политическая экономія, какъ понимають ее соціалисты, принимающіе въ этомъ случав опредвленіе физіократовь, есть не болбе, какъ искусство дълать людей богатыми и счастливыми; ен призваніе будеть достигнуто, если она придумаеть такой способь устройства общественныхь отношеній, который обезнечить каждому пользование всеми возможными благами и который будеть сообразень съ требованіями разума и справедливости. Возможноли такое идеальное устройство? Можеть-ли оно быть согласовано съ существованиемъ тъхъ неизмънныхъ законовъ, которымъ безусловно подчиняется дъятельность отдъльных в людей и пълыхъ обществъ? Объ этомъ соціалисты заботятся весьма мало, потому что, наперекоръ экономистамъ, признающимъ все существующее разумнымъ, принимаютъ обыкновенно справедливое за единственный критеріумъ возмож-

Относясь, такимъ образомъ, критически, какъ къ экономистамъ, такъ и соціалистамъ, Милютинъ не отрицаетъ, вирочемъ, ни тъхъ, ни другихъ безусловно, а указываетъ только односторонности объяхъ партій, мъшающія политической экономіи встать на положи-

тельную почву. Съ одной стороны, и описательный методъ экономистовъ имъетъ свое значене въ наукѣ, съ другой и приложене открытыхъ истинъ къ жизни, чего добиваются соціалисты, имъетъ безспорную важность, ио ни то, ни другое не исчершываетъ цѣли политической экономіи: первое есть только—средство науки, второе—еи ввъщняя цѣль котинняя—же, существенная цѣль политической экономіи заключается въ открытіи тѣхъ общихъ, постоянныхъ законовъ, по которымъ совершается матеріальное развитіе обществъ, и только установившись въ престѣдованіи этой цѣли, политическая экономія можетъ сдѣлаться положительною наукой.

Вотъ основные взгляды Милютина, исходя изъ которыхъ онъ анализируетъ всё политико-экономическія школы. Не вдаваясь въ подробности анализа, мы только заметимъ, что, по глубине и меткости многихъ его замъчаній, по ясности и силь изложенія, статьи его представляють замічательнійшее литературное явленіе своего времени. Он' и теперь могуть читаться съ большимъ интересомъ и пользой, и весьма жалко, что онъ не собраны и не изданы отдъльно. Въ тоже время, читая ихъ, приходишь въ невольное удивленіе, что юноша, едва достигнувъ 20-ти леть, успель уже запастись такою массой знаній самыхь разнообразныхъ и выступилъ на литературное поприще съ такими эрфлыми, положительными и глубокими идеями. При этомъ сознаешь всю великость преждевременной утраты нашею литературой и наукой такой по истинъ колоссальной силы, объщавшей огромные результаты въ своемъ развитии. Въ то-же время нельзя не подивиться всей забывчивости нашей литературной критики, которая до сихъ поръ игнорировала этого, можно сказать, перваго вполнъ сформировавшагося и опредълившагося представителя новой эпохи, новаго міросозерцанія и новаго направленія въ нашей литературф. И нельзя сказать, чтобы статьи его были преждевременны, чтобы онв прошли безследно въ свое время. Напротивъ того, он'я произведи сильное впечатление въ литературъ и публикъ. Въ журналахъ, враждебныхъ "Современнику" и "Отечественнымъ Запискамъ", онъ возбудили полемику, въ которую витшался и самъ Бутовскій, защищая свою книгу и свои идеи; въ тоже время многіе второстепенные журналы ("Финскій Въстникъ", "Литературная Газета", "Сынъ Отечества"), въ своихъ рецензіяхъ на книгу Бутовскаго, целикомъ повторили взгляды Милютина, ссыдаясь на статьи его. На среду университетской молодежи, какъ статьи, такъ темъ более лекціи Милютина, безъ сомивнія, остались не безъ благод втельнаго вліянія.

Вообще нужно зам'ятить, что, начиная съ 42-то и по 47-й годъ, журналистика наша представляеть одинъ изъ самыхъ цвётущихъ своихъ періодовъ, мало чёмъ уступающихъ посл'ядующему такому-же періоду отъ 58-го по 63-й годъ. Особенно, если вы примете во вниманіе стеснительность цензурныхъ условій того времени, то приходится еще бол'я удивляться, какъ при всей этой ст'яснительности— лигература могла, однаво-же, высказывать такъ много. Это можно объясните себ'я только рядомъ блестящихъ талантовъ, которые стояли въ то время во глав'я журналистики. Въ конців-же этого періода литература наша совершенно на-

чала принимать тотъ характеръ, который развился въ ней впосиъдстви, въ конць 50-хъ годовъ. Читая "Отечественный Записки" и "Современникъ" за 1846 и 1847 годы, вы совершенно иногая забываете, что передъ вами нумера, вышедшіе въ концъ 40-хъ, а не въ началь 60-хъ годовъ. Развертываете вы журналъ, передъ вами политико-зкономическое обозувые совершенно въ духъ 60-хъ годовъ, естественно-научная статъя, новая эстетнеская теорія, издоженіе позитивной философіи. Переглядываете вы хотя бы передовую критическую статью въ "Отечественныхъ Записвахъ" въ первомъ нумеръ 1848 года, "Русская литература въ 1848 году", и вы глазамъ своимъ не върите:

«Самое важное, характеристическое явленіе современной жизни,—чатаете вы,— заключастся въ сильномъ стремленіи общества къ матеріальнымъ интересамъ. Вещественное благосостояніе человіка занимаеть умы всёхъ сословій. Удобство земнаго существованія, повсюдное довольство—вотъ глав-

ный вопросъ, вопнощая забота нашего въка». «Давно-ли Германія погружена была въ умозрънія?--читаете вы далье-теперь иное время. Метафизическая эпоха германской жизни кончилась. Путешественники, посъщавшіе Берлинъ, нашли опустълыми аудиторіи философскихъ наукъ. Публика охладъла въ лекціямъ рго и contra Гегеля. Предложеніе Фихте учредить събзды философовъ, по образцу другихъ ученыхъ съёздовъ, осталось предложеніемъ. Вниманіе и надежды обратились къ требованіямъ общественной жизни, которой нечего дълать въ холодной отвлеченности философскихъ системъ. Какимъ-же наукамъ принадлежитъ теперь первенство и сила развитія? Наукамъ обществен-нымъ. Какъ земное благосостояніе человъка замѣнило собою его идеальное, фантастическое, отвлеченное отъ земли блаженство, такъ политическая экономія изгнала философію. Но интересы двиствительности должны быть разлиты по всему обществу и застрахованы обществомъ; поэтому другая характеристическая черта нашего временисоціальность предлагаеть господствующей наукв главную задачу: показать законы равномърнаго распредвленія блага по всёмъ классамъ, опредвлить разумныя начала, постоянныя правила общественнаго богатства».

«Другая наука—читаете вы, перевернувъ странциу, двъ-получившая въ послъднее время сильное
развяте, есть физіологія. Такъ и быть должентвовало! Ел быстрые успъхи и общирное прихоженіе
совпадають съ осъдлостью той мысли, что человъкъ,
прявванный на землю, не долженъ упускать изъ
виду своего призванія, если онъ хочеть произвести
что-пибудь прочное. Вмъсто вражды съ живымъ
организмомъ, современность начала изучать его
строеніе и отправленія. Бросивъ ипотезы, она избрала методу положительныхъ изслъдованій и при помощи ихъ увидъла, въ чемъ истинная сила людей.
Успъхи физіологіи (и естественныхъ наукъ вообщеприводятъ къ сознанію началь и законовъ общественной жизни: другихъ путей къ этому не су-

«Что дізлаетъ критика при такомъ движеніи ума? Конечно, не остается праздною и неподвижною. Она изм'яннетъ свою точку зрібнія сообразно общему повороту, объясняеть новые поводы къ своему расположенію или непріизни. Замічательно, что послідній періодъ нашей литературы, извістный подъименемъ «пушкинскаго», отличается двумя характеристическими чертами: сильнымъ развитісмъ поззін и сильнымъ развитіемъ критики, особенно въ послідніе годы. Но въ этой бистро поднявшейся, хотя и молодой по времени критикі, легко уже подмітить періоды возрастанія, степени усп'яза. Теперь съ чисто-эстетической арены она ступила на другія

пространства, не стесняясь одною сферой художественнаго творчества, но имёя дёло съ цёлымъ твореніемъ жизни. Она вмёнила себё въ облазниость смотрёть на произведени сховесныя съ той стороны, которою они соприкасаются съ общественнымъ бытомъ. Ен цёль—оцёнить литературную дёнгельность въ отношени къ общественнымъ вопросамъ».

Неправда-ли, что если я не предупредилъ бы читателя, что все это находится въ первонъ нумерѣ "Отечественныхъ Записокъ" за 1848 годъ, онъ подумалъ бы навърное, что я сделаль извлечение изъ какой-нибудь статьн "Современника", за 59-й или 60-й годъ? Но еще болъе приходите вы въ удивление, когда среди всёхъ этихъ привётствій новому времени и новымъ идеямъ, вы внезапно встречаете въ стать в прямой намекъ на вопросъ объ освобождени крестьянъ: "Поставить нормальныя отношенія—читаете вы, -- опредълить, гдъ больше обоюдной пользы, въ барщинной обработкъ, или въ отдачъ земли въ наемъ — такова настоящая задача землевладельцевь! Некоторыя книги и журнальныя статьи показали, что люди, принимающіе участіе въ устройств'є сказанных в нормальных в отношеній, находять только тё привиллегіи важными, отъ которыхъ есть существенный интересъ".

Не трудно объяснить себъ такое оживление журналистики въ концъ 40-хъ годовъ, если им примемъ въ разсчеть, что и передовое, образованное общество въ это время, при всей косности массъ, при всемъ стращномъ застов во всехъ элементахъ общественной жизни, находилось въ состояни сильнаго брожения умовъ при переходъ въ новую фазу своего развитія. Политическое движение на Западъ и въ особенности во Франци еще болье увеличивало напряженность этого броженія. Можно положительно сказать, что въ конць 40-хъ годовъ общество наше было уже вполнъ готово вступить на путь движенія 60-хъ годовъ: были уже подняты многіе изъ тіхъ философскихъ и общественныхъ вопросовъ, которые впоследствін волновали умы людей 60-хъ годовъ, явились уже нъкоторые симптомы предстоящаго раскола стараго покольнія и полодого, метафизиковъ и реалистовъ, людей слова и людей діла. Мы виділи уже и первые приступы къ литературной полемикъ между старою метафизическою школой и новою реальной. Но движеніе это было быстро и радикально остановлено тою паникой, какую произвела французская революція. Не прошло и 3-хъ, 4-хъ мъсяцевъ послъ появленія вышеупомянутой статьи въ "Отечественныхъ Запискахъ" — и всего этого новаго движенія, которое такъ радостно привътствовала статья, какъ бы и не существовало. Оно было отодвинуто на цёлыя 10 лётъ назадъ. Въ прогресивномъ лагеръ литературы положительно остались одни беллетристы и поэты, да и то не всѣ. Герценъ былъ уже за границей, Бълинскій и В. Майковъ въ могилахъ, Грановскій хандриль, играль въ карты и, входя въ различные компромиссы во витшней жизни, во внутренней - путался въ туманномъ мистицизмъ и метафизическихъ рефлексіяхъ; Милютинъ все болье и болъе уходиль въ сферу науки, и если не покидалъ литературы, то говорилъ преимущественно о вопросахъ частныхъ, научно-спеціальныхъ. Начался самый безцветный періодь въ русской журналистике и одинъ изъ самыхъ мрачныхъ періодовъ русской жизни. Произошель одинъ изъ тъхъ бользиенныхъ перерывовъ, которые столь обыкновенны въ развити нашего русскаго общества.

хш.

Нѣсколько словъ объ отношеніи качественлаго развитія мысли къ количественному и о вліяніи этого отношеніи на основной законь развитія мысли.—Состояніе общественнаго развитія въ началѣ пятидесятихь годовъ.—Реакція сверху и снизу.—Возвращеніе къ теоріи чистаго искусства.—Безцвѣтность и произвольность критики пятидесятыхъ годовъ.—Возвращеніе къ теоріи чистой науки.—Ученость среди молодежи и наплывъ ен въ журналистику.—Общее заключеніе о состояніи общественной мысли въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ.

Еслибы ны имъли дело съ областью чистой нысли и цёль нашего обозрёнія ограничивалась-бы тёмъ, чтобы показать только, какъ живая человъческая мысль, развиваясь на нашей русской почев, перешла отъ мистицизна къ метафизикъ, а потомъ отъ метафизики къ реализму, не касаясь при этомъ вопроса о томъ. какой кругъ общества обниналъ этотъ унственный процессъ, то мы могли-бы считать трудъ нашъ поконченнымъ предъидущею главой. Въ самонъ деле, мы видели, что къ концу сороковыхъ годовъ весь этотъ процессъ мысли былъ уже совершенъ: передовая мысль наша, хотя-бы въ кругу трехъ, четырехъ человъкъ, решительно встала на почву реализма, отвергла всё метафизическія бредни, теорію чистаго искусства замѣнила теоріей искусства для жизни; наконецъ, отъ задачъ индивидуально-правственныхъ перешла къ вопросамъ общественнымъ и нолитическимъ. Мы видъли, что въ концъ сороковыхъ годовъ были подняты уже многіе изъ тъхъ вопросовъ общественныхъ и философскихъ, съ которыхъ началось впоследствін движеніе шестидесятыхъ годовъ. Но мы намекали уже въ вступленіи къ нашему труду, что обозрѣніе одного только процесса чистой нысли не можеть дать никаких ь ясных ь и определенныхъ понятій о ходъ развитія общества. Процессъ развитія чистой мысли несомн'янно совершается по той формуль, которую установиль и достаточно уяснилъ Ог. Контъ въ своей позитивной философін. Формулу эту, заключающуюся въ переходѣ мысли отъ мисологіи къ метафизикъ и отъ метафизики къ положительности можно считать основнымъ закономъ развитія человѣческой мысли. Но при этомъ не надо забывать, что законъ этоть касается только качественнаго развитія мысли, то-есть, изміненія мысли въ ен содержаніи. Между тінь, нысль развивается въ обществъ не только качественно, но и количественно: рядомъ съ измѣненіемъ ея содержанія идетъ распространение ея въ обществъ. Это количественное развитіе иысли инветь свои условія и законы и, притомъ, такого рода, что въ ходе развитія общества основной контовскій законъ развитія мысли можеть быть не только парализованъ, но и обращенъ вспять. И въ этомъ явленіи не будеть ничего неестественнаго. Въ природ'я н'ять ни одного закона, д'яйствіе котораго не могло-бы быть на время парадизовано и совершенно искажено другими законами, действующими въ одно съ

нимъ время. Такъ, напримъръ, законы паденія тълъ нисколько не мѣшаютъ воздушному шару подниматься въ высшіе слои атмосферы, вивсто того, чтобы падать на землю съ вычисленною наукой скоростью, и въ тоже время подобное нарушение воздушнымъ шаромъ этихъ законовъ ни мало не скандализуетъ ихъ; они остаются тёми-же законами и тогчась-же начинають свое действіе надъ воздушнымъ шаромъ, едва только прекратится вліяніе причинъ, по которымъ шаръ подымался вверхъ. Такъ точно и въ развитіи общества мысль, вивсто того, чтобы повиноваться контовскому закону, можетъ идти совершенно обратно: отъ реализма къ мистицизму; контовскій законъ нисколько не теряетъ вследствіе этого своего значенія ине перестаетъ дъйствовать тамъ, гдв ему не мешають постороннія вліянія. Но вы подумайте, на какую шаткую и неопределенную почву всталь-бы обозраватель развитія общества, еслибы, ограничившись однимъ контовскимъ закономъ развитія чистой мысли, онъ не принядъ-бы въ соображение тъхъ постороннихъ вліяній, которыя дъйствують на этоть законь, ускоряють его или замедляють и совствь парализують. Подобный изследователь былъ-бы подобенъ физику, который вздуналъбы всё физическія явленія на землё подводить подъ законы цаленія тёль.

Въ области физики вы не найдете ни одного подобнаго безунца; нежду темъ, въ сопіологін заблужденія такого рода встрвчаются на каждонъ шагу. Едва открывается одинъ какой-нибудь законъ общественной жизни, и тотчасъ вы встречаете нассу трактатовъ, брошюръ и статей, которые весь сложный механизмъ развитія общества стараются подвести подъ этотъ законъ и объяснить имъ. Увлечется какой-нибуль имслитель теоріей Спенсера и ужь онъ ничего не видитъ въ человъческой жизни, кромъ одного безконечнато диференцированья. Другой всю историю подводить подъ дарвиновскій законъ борьбы за существованіе и половаго подбора, третій все и вся объясняеть вліяніемъ природы на человека, четвертый весь прогрессъ обусловливаеть однимъ расширеніемъ знаній, цятый все основываеть на смънъ сословій, щестой, наконець, на все спотритъ подъ углопъ контовскихъ періодовъ развитія иысли. Результатомъ такой односторонности въ изследованіяхъ и выходить то, что сами по себе всё эти законы человёческаго развитія несомнённы, но, тыть не менье, разсматриваемые отдыльно, безъ всякой связи другъ съ другомъ, да къ тому еще при попыткахъ объяснить все и вся однимъ изъ нихъ, они не оправдываются фактами жизни и въ концъ-концовъ приводять изслёдователя къ неизбёжнымъ противорфчіянъ.

Чтобы показать наглядно, насколько односторонне разсматривать развитее общества, принимая во вниманіе одинъ какой-нибудь законъ этого развитія, мы возвратимся къ закону Конта и постараемся наглядно показать, какъ ходъ общественной жизни можеть жестоко обмануть изследователя и поставить его втупикъ съ его тремя контовскими періодами. Это прамо относится къ нашему трактату, такъ какъ мы имѣемъ дѣло именно съ переходомъ передовой мысли нашего общества изъ мистицизма черезъ метифизику къ реализму.

И такъ, представьте себъ общество, состоящее изъ тысячи человъкъ, пребывающихъ на степени первагомисологическаго періода развитія. Изъ этого общества выдъляется, мало-по-ману, сто человъкъ, переходящихъ во второй періодъ — нетафизическій; затвиъ, изъ этихъ 100 человъкъ 10 человъкъ доходятъ до третьяго періода и становятся реалистами. Для изслёдователя, инфющаго дело съ областью чистой иысли, этихъ явленій совершенно достаточно, чтобы сказать вамъ, что мысль свое дёло сдёлала, совершила свой неизбъжный процессъ, дошла до геркулесовыхъ столбовъ позитивизна и, затъмъ, остается только славить нашъ смёлый вёкъ, въ который разсёлнъ мистическій и метафизическій туманъ, повалено столько устарівлыхъ купировъ, сдёлано такъ иного открытій, изобретеній и пр. и пр. Многіе историки и публицисты такъ обыкновенно и поступають. XIX въкъ получиль даже названіе положительного, віка паденія мистицизма и метафизики, господства точныхъ наукъ и пр. и пр. Однимъ словомъ, человъчество дошло до третьяго періода контовской философіи, и ену остается только торжественно шествовать по пути реализма, дёлать новыя открытія, примінять ихъ къ усовершенствованію человіческой жизни, прилагать положительный методъ къ изученію законовъ соціологіи, и такъ далье, до безконечности. Но исторія жестоко можеть разрушить всё иллюзіи оптимистовъ, какъ она не разъ уже это дёлала.

Возвратимся къ нашему примерному обществу: 10 реалистовъ, 90 метафизиковъ и 900 полудикарей, изъ которыхъ 800 только-что не приносять жертвы пнямъ и камнямъ на распутьяхъ. Подумаешь, какой прогресъ, какое торжество реализма! И не забудьте при этомъ, что численный перевъсъ, большинство, следовательно, и натеріальная сила на стороне такихъ принциповъ, которые не очень-то допускаютъ иыслить несогласно съ ними и на всякое противоръчіе знаютъ одно возраженіе-показаніе кулака. При такихъ условіяхъ десятокъ нашихъ реалистовъ завтраже ножеть исчезнуть безследно съ лица земли. Останутся одни метафизики; а метафизики, по самому существу своему, народъ шаткій; сегодня они строють смълую метафизическую систему, идущую въ разръзъ со всёми господствовавшими до нихъ бреднями; завтраже они эту-же самую систему могутъ подвести подъ ть-жебредни или подъ новыя въ ихъдухь; для фантазіи законовъ не писано и нѣтъ ничего легче слѣдовать по теченію вітра, обитая въ нетафизических высотахъ и не чувствуя твердой почвы подъ ногами. При такихъ условіяхъ изслідователю можеть представиться совершенно обратный путь мысли, вопреки всёмъ законамъ позитивной философіи. Сегодня въ передовыхъ журналахъ и газетахъ кричатъ еще о торжествъ реализма, о положительныхъ знаніяхъ, а завтра какая-нибудь метафизическая теорія будеть считаться вдругь знаиенемъ прогресса;на реализмъ прошлаго въка начнутъ смотръть, какъ на заблуждение умовъ, уклонившихся отъ истиннаго пути, впавшихъ въ односторонность; а послъзавтра и метафизическая теорія покажется ничьмъ болье, какъ кичливостью гордаго ума, дерзнувшагои т. д., и начнется прачное царство какого-нибудь безумнаго спиритизна. Развъ въ исторіи не бывало подобныхъ

обратныхъ шествій? Развѣ Бэконъ, Локкъ, Кабанисъ не были почти совствиъ въ дверяхъ позитивизма, и это нисколько не пом'вшало много времени посл'в нихъ господствовать неограниченно надъ всею Европой иетафизикъ Гегеля. Средневъковой мистицизмъ, этотъ первый періодъ европейской мысли, развился изъ втораго періода - метафизическаго древняго міра. Превніе пошли-было по пути, начертанному Контомъ, дошли до метафизики, да потомъ взяли вдругъ, да и свернули назадъ. Этотъ печальный фактъ объясняютъ обыкновенно недостаткомъ положительныхъ знаній въ древней цивилизаціи люди, которые обусловливають прогрессъ исключительно количествомъ знаній. Положимъ, что у древнихъ не было на столько знаній, чтобы они могли вступить въ третій положительный періодъ развитія, однакоже, столько-же знаній они иміли, чтобы дойти до метафизики: ночему-же они не удержались въ своемъ метафизическомъ періодъ, а обратились вспять — или они какъ-нибудь растеряли всв свои знанія, забыли ихъ? Но тогда, значить, исторія идеть по пути не одного только накопленія знаній, случаются въ ней, наоборотъ, и растерянія, и что-же обезпечиваеть человъчество впредь отъ подобныхъ случайностей? Особенно если принять во вниманіе, что наща пропорція реализма—10/0—взята самая преувеличенная изавидная. О, если-бы въ европейскомъ народонаселеніи быль 1 реалисть на 100 человікь населенія, какъ бы тогда кричали наши оптинисты о торжествъ положительности! А въдь въ дъйствительности весь нашъ пресловутый реализмъ — капля въ норѣ всеобщаго варварства и дикости человѣческаго рода...

Надо-ли ко всему этому прибавлять, что возможность всякихъ пертурбацій и обратныхъ шествій, нисколько не опровергая контовскаго закона трехъ періодовъ, прямо зависить отъ количества распространенія идей въ обществъ, чъмъ только и обусловливается дъйствительное торжество этихъ идей. Что толку, что древніе дошли до метафизики, когда метафизиковъ быда среди нихъ ничтожная горсть, потонувшая въ массахъ, коснѣвшихъ въ политеизиѣ. Поэтому, им не имѣемъ никакого права впадать въ розовый оптимизъ, мѣряя развитіе общества и человъчества на нашъ субъективный аршинчикъ и предполагая, что если въ нашемъ умѣ восторжествовали какія-нибудь начала, то это значить, что начала эти восторжествовали повсюду, и человъчество до нихъ дожило. Подобное заблужденіе свойственно только метафизикамъ, которые подъ человъчествомъ разумъютъ отвлеченную идею, одинаково осуществляющуюся въмасстваселенія земнаго шара и въ одноиъ человеке. Такъ, Гегель полагалъ, что безусловная идея, создавши всю вселенную, дошла до апогея своего развитія въ лиць его - Гегеля, додунавшагося до своей философіи.

На Западв, впрочемъ, очень простительно ученымъ и публицистамъ кичиться торжествомъ прогресса и новыхъ идей, такъ-какъ обратныя шествія тамъ ръдки, медленны, совершаются въ теченіи иногда цѣлыхъ столѣтій, и легко ихъ совсѣмъ не замѣчать. Къ томуже, большинство писателей, принадлежа къ привиллегированнымъ классамъ, носителямъ европейской образованности, съ давнихъ временъ привыкли считатъ

прогрессъ своего меньшинства прогрессомъ всего человъчества и ръдкіе изъ нихъ замъчають, на какой вулканической почвъ воздвигнутъ весь этотъ призрачный прогрессъ.

Но у насъ подобныя заблужденія крайне непростительны, такъ-какъ у насъ передовые кружки, носители новыхъ идей, обыкновенно состоятъ изъ нѣсколькихъ добрыхъ пріятелей, которые составляютъ обыкновенно контрасть не только съ необразованными нассами, но даже и съ меньшинствоиъ, имѣющийъ претензію считаться образованнымъ. Чуть не каждыя десять лѣтъ эти добрые пріятели стушевываются со всйми своими прогрессивными успѣхами подъ напоромь всеобщаго невѣжества, и развите общественной мысли начинается съизнова, съ мистическаго періода.

Такъ, мы уже видъли, что въ то время, когда передовые кружки въ двадцатые годы интересовались различными общественными вопросами, для образованныхъ массъ не существовало никакихъ другихъ интересовъ, кроив эстетическихъ. Высшимъ словомъ прогресса для этой массы были стихотворенія Пушкина; единственнымъ существеннымъ вопросомъ-вопрось о томъ, какой школе поэзім следуеть существовать: классической или романтической? Сошли съ поприща жизни дюди двадцатыхъ годовъ, общество такъ и осталось со своимъ романтизмомъ и Пушкинымъ, при чемъ развитіе началось снова съ мистицизма, при чемъ передовые мыслители тридцатыхъ годовъ, стоя на почет авторитета и преданія, начали толковать о тщеть призрачныхъ вопросовъ дня и о неприличіп непосвященнымъ людямъ ниспускаться въ область публицистики.

Нѣчто подобное повторилось въ концѣ сороковыхъ годовъ. Между темъ, какъ въ несколькихъ передовыхъ кружкахъ совершился переворотъ отъ метафизики къ реализму и отъ вопросовъ индивидуально-нравственныхъ къ общественнымъ, въ обществъ, подъ вліяніенъ этихъ кружковъ, только-что началось философское и нравственное брожение въ самомъ первомъ его періодъ. Въ то время, какъ передовое слово изъ устъ Бълинскаго громило Гоголя за его "Переписку съ друзьями", эта самая "Переписка" была еще тревожнымъ вопросомъ для огромнаго большинства общества. Суровый аскетизить въ видъ подавленія гръховной плоти или мучительныя рефлексій, эти первые проблески сомивнія, были зауряднымъ явленіемъ въ обществъ впродолжени почти всъхъ пятидесятыхъ годовъ. Типъ Лизы, героини повъсти Тургенева "Дворянское гитядо", былъ современнымъ женскимъ типомъ даже во второй половинъ интидесятыхъ годовъ.

Рядомъ съ аскетизмомъ другимъ передовымъ словомъ въ обществъ была гуманностъ — понятіе, принадлежащее къ области чисто индивидуально-правственной. Носясь съ вопросами о гуманности, общество показывало этямъ, что оно только-что додумалось до основныхъ началъ гражданственности, только-что дошло до отрицанія грубаго, азіатскаго варварства, въ которомъ до того времени утопало. Чтобы понять всю элементарность этого слова, которое такъ гремъло въ концъ сороковыхъ и началъ пятидесятыхъ годовъ, надо только принять въ соображеніе, что въ понятіи

туманность на первомъ планѣ стоялъ вопросъ о томъ, бить или не бить, при чемъ только весьма немногіе смѣльчаки рѣшали этотъ вопросъ полнымъ отрицаніемъ битья, и считались вслѣдствіе этого крайнимъ радикалами, большинство-же благонамѣренныхъ гражданъ сводило вопросъ на то, чтобы бить, но только съ приличною просвѣщенному человѣку кротостью, вѣжливостью и умѣренностью. Это и считалось гуманностью на обыденномъ языкѣ.

Рука объ руку съ гуманностью шелъ столь-же элементарный вопросъ о честности. Въдь если подумать, что вопросъ о честности, занимавшій человічество еще во времена Монсея, могъ быть вопросомъ у насъ въ пятидесятыхъ годахъ, то сами по себъ разсъеваются всв иллюзім о гигантскихъ шагахъ нашего прогресса. При чемъ даже и въ этомъ отношеніи люди, которые подъ честностью разумели верность своимъ убёжденіямъ и готовность поплатиться кое-какими матеріальными благами, не говоря уже о чемъ другомъ-такіе люди считались крайними радикалами. Большинствоже ограничивалось более скромнымъ вопросомъ:грабить или не грабить, причемъ пускались въ тончайшія разграниченія доходовъ грішных отъ безгрішных и задавались рашеніемъ глубочайшихъ нравственнофилософскихъ вопросовъ въ томъ родъ, что можно-ли считать безчестнымъ поступкомъ, если судья, решая ваше дёло правильно и по закону, принимаетъ отъ васъ вознаграждение за то, что, приступая къ вашему двлу не въ очередь, онъ этикъ ускоряетъ его ходъ, или преступаеть-ли законы честности штабсь-капитанъ, если солдаты у него сыты и одъты, а у него, все-таки, остается сверхъ всего экономія, которую куда-же дъть? — не въ казну-же представлять обратно!

При такой всеобщей неразвитости умовъ большинства образованнаго общества, нѣтъ ничего пудренаго, что первые проблески реальной мысли, въ видѣ статей В. Майкова и Милютина, остались совершенно незавитеченными и непонятыми обществомъ, которое вымосило крайне смутныя и неопредъленныя понятія даже изъ статей Бълнскаго или лекцій Грановскаго, стоявшихъ гораздо ближе къ развитю большинства.

Если даже такой ногучій унь, какъ унь Белинскаго, не могъ осилить вопроса о томъ, въ чемъ заключается истинная положительность мысли, явившаяся на смѣну метафизики и романтизма, и смѣшалъ положительность. съ мѣщанскою узкою практичностью Петра Ивановича Адуева, то чего-же было ожидать отъ его читателей? Въ образованной средъ всъ эти толки литературы о положительности ограничились насившками надъ романтиками, восклицавшими некогда, что деньги-тлень, да прославлениемъ комфорта и энергическаго наживанія капиталовъ. Идеаломъ подобной положительности явился практическій д'явтель, заводящій фабрики, выписывающій изъ Англія нашины, обработывающій поля по всёмъ правиламъ агрономіи съ Либихонъ въ рукахъ, ворочающій милліонами - однимъ словомъ, Штольиъ въ романъ г. Гончарова. Изъ последователей подобнаго идеала вышли впоследстви учредители безчисленныхъ акціонерныхъ обществъ, возникавшихъ и лопавшихся, какъ мыльные пузыря, въ конце пятидесятыхъ годовъ, концессіонеры, биржевые игроки и всякаго рода аферисты, о которыхъ и понятія не им'яли патріархальные сороковые голы.

Если даже для Бълинскаго экономические вопросы, волновавије Западную Европу, представлялись хотя и интересными съ научной точки зрѣнія, но въ то-же время чёмъ-то совершенно чуждымъ нашей жизни въ такой-же степени, будто какой нибудь китайскій вопросъ объ отношеніи буддизма къ конфуцієву ученію, то можно себѣ представить, какъ должна была относиться ко всемь этимъ толкамъ о пролетаріате, Мальтусъ, Адамъ Смитъ и Лун-Бланъ образованная среда, тыть болье, что среда эта состояла почти сплошь изъ людей обезпеченныхъ, сытыхъ. По одному этому для людей этихъ были совершенно чужды и непонятны стремленія западноевропейскихъ массъ. Къ тому-же люди эти привыкли у себя дома смотрёть на эти массы, какъ на безсловесныя, вьючныя животныя. Мы видъли, что даже такой гуманный мыслитель, какъ Грановскій, и тотъ въ торжествъ массъ не предвидълъ ничего лучшаго, какъ гибель цивилизаціи. Правда, образованнѣйшіе люди въ душѣ не прочь были отъ освобожденія крестьянъ. Но это были тайныя желанія совершенно платоническаго свойства, исполнение которыхъ пугало опасеніемъ всякихъ ужасовъ анархін и представлялось въ отдаленномъ будущемъ. Къ томуже, эти платоническія желанія нисколько не ившали образованнъйшимъ людямъ не только пользоваться всёми своими правами надъ крестьянами, но и злоупотреблять ими...

Литературные толки о недостаточности однихъ личныхъ, узко - эгоистическихъ интересовъ, о необходимости жизни общественной, исполненной гражданскихъ доблестей, отражались въ образованной средъ смутными мечтами, что какъ бы это хорошо было говорить пицероновскую рачь передъ какимъ-нибудь многочисленнымъ собраніемъ и быть прерываемому громкими аплодисментами. О содержании цицероновской рфчи просвъщеннымъ Маниловыиъ не приходило и въ голову. А такъ какъ мечты оставались мечтами, не представляя въ действительности ни малейшаго осуществленія, то вся гражданская доблесть просв'ьщенных Маниловых сводилась на административную карьеру, причемъ Маниловъ или втягивался въ рутину чиновничьей жизни и обращался въ обыденнаго чиновника, или-же, не поладивъ на служот, гордо выходиль въ отставку и вступаль въ рядъ унылыхъ Гаилетовъ Щигровскаго убяда, заваливался на облоновскій диванъ и ворчаль про себя, такъ чтобы этого никто не услышаль, на судебныя и административныя неправды, соображая при этомъ, что законы святы, но исполнители лихіе супостаты, и что стоитъ только на тъ-же мъста, при всъхъ тъхъ-же порядкахъ, поставить людей европейски-образованныхъ, въ роде ихъ, просвещенныхъ Манидовыхъ, то, безъ сомнанія, они не замедлять искоренить всяческое зло и водворить повсюду правду, законъ и порядокъ.

Ко всему этому надо присовокупить еще то важное соображене, что, при общей неразвитости образованной среды, самым условім жизим си не очень-то благопріятствовали тому, чтобы новым идеи особенно глубоко проникали въ нее, утверждались въ ней и раз-

вивали ее. Здёсь невольно припоминается всёмъ извъстная притча о съятель и о различныхъ почвахъ, на которыя попадало съим его. Надо признаться, что почва, на которую попреннуществу падали съмена литературной имсли въ сороковые годы, была саная неблагопріятная. Это была такая среда, которая, по свойству своего быта и по всемь наследственнымъ качествамъ, должна была отнестись къ новынъ идеянъ враждебно, потому что эти идеи, въ концѣ концовъ, сводились къ отрицанію самого ся существованія. Если-же она и увлекалась этими идеями, то увлекалась легкомысленно, поверхностно, ради забавы, такъ какъ вся жизнь ея была рядоиъ забавъ и развлеченій отъ скуки и бездёлья. Все это увлечение сводилось на то, чтобы въ суперки, между обедонъ и картани, потолковать о Мальтусв и о матеріяхъ важныхъ. А чуть встречался нало-мальски серьезный человекъ, видевшій въ литературныхъ идеяхъ вопросы жизни, а не праздной забавы, среда эта тотчась-же начинала открещевиться отъ этихъ идей, и оказывалось тогда, что единственные вопросы, которые могутъ ее серьезно занимать — это вопросы объ итальянской оперв, преинуществахъ французской кухни передъ англійскою и о томъ, что предпочтительнее - страстность брюнетки или нъжность блондинки.

При всёхъ этихъ условіяхъ понятно, что едва сошли съ литературнаго поприща передовие и лучшіе дёятели сороковыхъ годовъ, и отъ всего того движенія идей, которое мы разсматривали въ ціломъ рядів предшествовашихъ главъ, не осталось, повидимону, и сліда. Этого мало сказать, что движеніе было остановлено, парализовано; нітъ: оно было словно отброшено пазадъ къ концу тридцатыхъ и началу сороковыхъ головъ.

Когда въ нашей литератур'в говорятъ о техъ ирачныхъ и глухихъ годахъ, которые последовали за 1848 годомъ, то характеризуютъ обыкновенно только одну сворону реакціи: такъ, описывають тотъ страхъ, какой обужиъ все общество и вопарилъ повсюду мертвое молчаніе, описывають, какъ люди говорили шепотомъ о вещахъ самаго невиннаго свойства, въ родъ того, что будочникъ ограбилъ прохожаго, какъ цензура дошла до такой строгости, что выпарала вольный духъ изъ поваренной книги, какъ ограничили число студентовъ въ университетахъ до 300 человъкъ, и носились слухи о совершенномъ закрытіи университетовъ, какъ по всъмъ мужскимъ заведеніямъ вводили маршировку и пр. и пр. Но при этомъ опускають совершенно другую сторону той-же реакціи реакцію самого общества, преисшедшую всяждствіе той причины, что, по выбытій изъ строя людей передоваго движенія мысли, общество, не успъвшее еще догнать этихъ людей, осталось при идеяхъ, давно уже разбитыхъ и отвергнутыхъ литературой сороковыхъ годовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, нельзя, конечно, пенять на литературу, что въ пятидесятые годы она не могла ясно и прямо высказивать взгляды, какіе проповѣдывались въ петербургскихъ журналахъ сороковкух годовъ, но, вѣдь, никто-же не могъ заставить литературу проповѣдывать взгляды противопложные. А между тѣмъ, мы именно видимъ это въ литературѣ пятидесятыхъ годовъ.

Такъ, въ критикъ снова водарилась теорія чистаго искусства и нетафизическая эстетика. Мы не будемъ уже говорить о "Москвитянинъ", гдъ царствовалъ Ан. Григорьевъ и на основаніи идей чистаго искусства ликовалъ о кончинъ натуральной школы, этой, по его мифнію, литературф заднихъ дворовъ и грязныхъ подваловъ, которая унышленно представляла жизнь въ прачномъ видъ, всяъдствіе раздраженнаго самолюбія писателей этой школы. "Москвитянинъ" быль журналъ, отивтый еще во времена Вълинскаго. Но и въ петербургскихъжурналахъ — "Отечественныхъ Запискахъ" и "Современникъ" - критика приняла тоже исключительно эстетическое направление. Въ обоихъ журналахъ помъщались скучныя, сукія статьи, трактовавшія о художественныхъ достоинствахъ стихотвореній Фета, Тютчева и Ап. Майкова. Выходила повъсть Тургенева, романъ Хвощинской, комедія Островскаго, и тотчасъ-же въ каждомъ журналъ следовала казенная рецензія, монотонно нересказывающая содержаніе произведенія, отивчающая и перепечатывающая лучшія и наиболье художественныя мьста, затьиь, дьлающая ин на чемъ не основанныя замечанія о томъ, что тоть или другой карактерь не выдержань, та или другая сцена излишня и т. п. И все это совершенно произвольно, случайно, безъ всякихъ руководящахъ идей. Читая рецензіи въ двухъ-трехъ журпадахъ о какой-нибудь комедін Островскаго, вы можете думать и соображать, сколько угодно времени, и ни за что не догадаетесь, на какомъ основания эта комедія въ одномъ журналѣ расхвалена, въ другомъ признана слабою, почему критику показалось вдругъ, что "Въдная невъста" лучше или хуже, чънъ "Свои люди сочтемся Въ тридцатые годы подобныя произвольныя сужденія въ нетербургскихъ журналахъ легко объясняются личностями и обиженными самолюбіями, й вамъ стоитъ заглянуть за кулисы литературной жизни, чтобы сейчасъ-же для васъ стало ясно, на какомъ основанін рецензентъ расхвалиль или охаяль автора; въ сороковые-же годы сужденія критики были еще произвольное, потому что очень часто не . основывались решительно ни на чемъ, хотя бы даже и на личностяхъ. Въ самомъ деле, какую-же личность могъ имъть рецензентъ къ "Бъдной невъстъ", ставя ее выше или ниже "Своихъ людей"? Здёсь, очевидно, разгуливаль на просторѣ вышедшій изъ всякихъ границъ произволъ чистой эстетики.

Что-же, какъ не подобный произволъ заставилъ неизвъстнаго рецензента "Отечественныхъ Записокъ" признать въ повъстяхъ Хвощинской, кромъ всъхъ другихъ достоинствъ, какой-то еще особенный поэтическій колоритъ или ароматъ, который, будто бы, давно уже не встръчался въ русскихъ повъстяхъ?

Понятно, что подъ вліяніемъ такой безпутной критики, и б ллетристика пятидесятыхъ годовъ, въ свою очередь, блуждала въ потемкахъ. Вольшинство беллетристовъ пятидесятыхъ годовъ были совершенно дътьин толпы. Движеніе сороковыхъ годовъ вызвало ихъ на литературное поприще, направило ихъ поэтическую дѣятельность, возбудяло въ нихъ многіе тревожные вопросы; но оно прекратилось, когда они только-что начинали мыслить, и передовым идеи, результаты этого движенія, остались для нихъ недоступны.

Олин изъ нихъ, каковы, напримъръ, Гончаровъ, Писемскій. Лостоевскій, остались всепало въ первомъ період' мышленія на почет преданія и авторитета; про нихъ смъло можно сказать, что сороковые годы не смутили ихъ младенческой невинности и мысль ихъ осталась въ полней неприкосновенности на степени міросозерцанія тридцатыхъ годовъ. Другіе-же восприняли кое-какіе обрывки изъ идей сороковыхъ годовъ. Такъ, напринвръ, Авдвевъ увлекся идеей женской эмансипацін, но поняль ее въ узкомъ симслѣ эмансипацін одной чувственности. Григоровичъ изъ всего движенія сороковыхъ годовъ вынесъ единственное новое для него убъждение, что и мужики могутъ такъ-же любить и страдать, какъ и дворяне. Развъ только про одного Тургенева можно сказать, что сороковые годы задёли мысль его сильнее, чёмъ прочихъ современныхъ ему беллетристовъ, по крайней ибръ, онъ дошель въ своемъ развитіи до періода метафизики и рефлексій. Но и онъ остановился въ самонъ началь этого періода на такомъ еще распутьи, что вы и не разберете, къ которому пункту онъ ближе-къ томули, куда движение сороковыхъ годовъ его направило, или къ тому, изъ котораго онъ вышелъ. То вы встрътите въ его произведенияхъ порывы къ свободъ, къ счастью, къ земнымъ положительнымъ наслажденіямъ, то вдругъ огорошить онъ васъ мрачнымъ, аскетическимъ вопросомъ, словно выхваченнымъ изъ "Переписки съ друзьяни" Гоголя, въ родъ того, что имъемъ-ли мы право на жизнь и не есть-ли преступленіе уже то, что мы живемъ. То онъ сибло рущитъ всъ узкіе семейные предразсудки и перегородки, возвеличивая передъ вани Елену въ "Наканунъ" или Наталью въ "Рудинъ", которыя готовы пренебречь мнънісиъ света, принужденіями родныхъ и, разорвавши со всёмъ старымъ, ринуться вслёдъ за Рудинымъ и Инсаровымъ на широкій просторъ жизни; то вдругъ онъ пускается въ томительныя рефлексіи, въ этихъ самыхъ порывахъ къ свободъ, счастію и широкому простору жизни видитъ что-то преступное, ему мерещится какой-то роковой предёль, перейдя за который непременно должны следовать тоска по всему милому старому, болъзненная сердечная боль вслъдствіе разрыва съ нимъ, угрызенія совъсти и призраки всякаго рода. Въ этомъ отношении Тургеневъ остался ронантикомъ въ истинномъ смысле этого слова. Въ тоже время вы не разберете, принадлежитъ-ли онъ къ славянофиламъ или западникамъ. Въ этомъ отношенін онъ ділить судьбу со всёми прочими людьми своего въка, Бълинскимъ, Грановскимъ и пр., стоя на распутьи между Петербургомъ и Москвой и не зная, въ какую сторону направить путь. Такъ, въ "Дынв", напримеръ, онъ сивется надъ славянофилами, надъ поисками народности въ искусствъ, говоря, что единственнымъ побудительнымъ словомъ для насъ должно быть слово-пивилизація, и выражая мысль, что въ этомъ словъ цивилизація образцомъ для насъ до сихъ поръ служитъ Европа; въ Рудинъ-же онъ высказываетъ наоборотъ, что вип народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нътъ и

Что касается Островскаго, то о міросозерцанім его трудно судить, що его комедіямь, слишкомь объектив-

нымъ; біографическихъ-же свёдёній о немъ мы никакихъ не имбемъ, но и у него вы найдете следы техъже колебаній между Москвой и Петербурговъ. Въ однъхъ комедіяхъ его тъ черты стараго патріархальнаго быта, которыя сохранились въ средъ нашего купечества, представляются вамъ въ самомъ мрачномъ видь вполнь отрицательно; въ другихъ-же комедіяхъ, какъ, напримеръ: "Не въ свои сани не садись", или "Грахъ да бада на кого не живетъ", тогъ-же самый патріархальный быть представлень въ нёсколько идеальномъ свътъ, въ столкновении съ гнилыми элементами нашей жизни, растлёнными подъ вдіяніемъ западной цивилизацін. По основной идет, вышеупоиянутыя комедін весьма близко сходятся съ тенденціями иногихъ пов'єстей Кохановской, произведеній, написанныхъ вполнё въ славянофильскомъ духв.

Далее затемъ, если спросите, какой эстетической теоріи придерживалось большинство беллетристовъ пятидесятыхъ годовъ, то и на этотъ вопросъ придется дать вамъ самый неопределенный ответъ. Повидимому, подъ вліяніемъ движенія сороковыхъ годовъ, они следовали теоріи искусства для жизни; по крайней мфрф, вы видите въ большинствф повфстей и ронановъ пятидесятыхъ годовъ нопытки провести какойнибудь взглядь на изображаемую действительность, выразить какую-нибудь думу, вопросъ, проанализировать тотъ или другой типъ, то или другое явленіе жизни. Но, вийсти съ типъ, васъ поражаетъ въ беллетристахъ пятидесятыхъ годовъ полное отсутствіе серьезнаго и глубокаго изученія жизни, стреиленія расширять по возможности кругъ своихъ наблюденій и стараться удовить жизнь во всемъ ея безконечномъ разнообразіи и единств'є этого разнообразія. Напротивъ того, вы видите передъ собою эпикурейцевъ и диллетантовъ, которые рисуютъ ванъ первое, что только подвернется имъ подъ руку, совершенно какъ чистые художники, последователи искусства для искусства. Наведетъ ихъ подивченный въ жизни фактецъ на какое-нибудь раздумьице, по большей части исключительно моральнаго свойства-ладно; а не то, не прогижвайтесь, выйдеть передъ вами безцильная картинка во фламандскомъ или итальянскомъ вкусъ. При этомъ надо замътить, что такъ-какъ жизнь большинства беллетристовъ цатидесятыхъ годовъ вращалась въ узкомъ и тъсномъ кругу заикнутой среды, къ которой они принадлежали, такъ-какъ и въ этой средъ они наблюдали жизнь по преинуществу съ лицевой ея стороны, какъ она проявлялась въ салонахъ, разодътая, приглаженная, прицонаженная, то можете себъ представить, какъ узокъ и однообразенъ былъ кругь образовъ беллетристики пятидесятыхъ годовъ.

После той пестроты образовь и типовы изы всёхк слоевь жизни, какимы отличается литература вы эпоху Гоголя, вы сороковые годы, пожалуй, вы началё интераситыхы, мало-по-малу беллетристика кы половины питиреситыхы годовь вся сводится на три-четыре типа: типы лишняго человых, фразера или байбака, томной дывы, жаждущей любви, да молодой женщины, неудовлетворенной Менелаемы и жаждущей париса. Воты и вей передовые типы, которые разработывала беллетристика пятидесятыхы годовы.

Началось безконечное повторение однихъ и техъ-

же романсовъ: "Онъ меня разлюбилъ, онъ меня погубидъ", или "Скажите ей, какъ пламенно и нъжно". или "Старый мужъ, грозный мужъ" и т. п. Такимъ образомъ, беллетристика вся свелась на анализъ одной только стороны жизни-всевозножныхъ мленій, воздыханій и терзаній любви. Да и то, какой-же это быль анализь? Это было просто изображение различныхъ любовныхъ сценъ, исполненное утонченнаго, изящнаго сладострастья, при чемъ писатели, подъ вліяність преобладающей критики, заботившейся только о художественных в колоритахъ и аропатахъ, только о темъ и думали, какъ бы превзойти одинъ другого въ изображенін какого-нибудь сельскаго ландшафта, свиданія при блескі луны, женской прелести и граціи и тому подобныхъ художественныхъ принадлежностей, нисколько, если хотите, не лишнихъ, но въ которыя нередко уходиль весь художникъ, полагая на нихъ всю сущность своего произведенія и забывая за ними о более серьезныхъ и высокихъ цъляхъ искусства.

Рядонъ съ критикей и беллетристикой — сдълала нъсколько шаговъ назадъ и наука. Въ сороковые годы, въ университетахъ читалась философія и не было ни одного передоваго талантливаго ученаго и профессора, которые не старались бы обобщить философскими идеями изучаемые ими факты и въ то-же время популяризировать свою науку. Это было время публичныхъ чтеній и общихъ курсовъ, показывающихъ, что ученые сороковыхъ годовъ не запирались отъ толпы, не корчили изъ себя таинственныхъ адептовъ высшаго знанія, доступнаго только для немногихъ; они спѣшили подблиться съ толпой своими знаніями и въ тоже время связать, такъ или иначе, свою науку съ жизнью. Однимъ словомъ, это было время Грановскаго, который, приготовляясь къ канедрф, уже додумался до тщеты для русскаго профессора забиваться въ мелочную разработку фактовъ; это было время появленія статей: "Буддизиъ въ наукъ", "Цехъ ученыхъ", "Писемъ объ изучении природы".

Въ пятидесятые годы обо всемъ этомъ движенін науки къ толиъ, къ жизни какъ будто исчезло всякое и преданіе. Снова ученые и профессора замкнулись въ непроницаемые цехи, снова сухая, мелочная, схоластическая разработка мелкихъ фактиковъ сдълась единственнымъ содержаніемъ науки и снова всплыда наверхъ, казалось бы, лавно уже потопленная теорія чистой науки.

Здёсь мы можемъ иозволить сеой приобенуть къ нашимъ личнымъ воспоминаніямъ и присовокупить, что безъ ужаса мы не можемъ вспоминть объ этомъ времени, когда почти вся учащаяся молодежь состояла изъ зубрилъ, не думавшихъ ни о чемъ другомъ какъ только о скорейшемъ окончаніи курса и оплученіи аттестата, и изъ студентовъ занимающихся, подъ которыми разумёлись ученые юные-старцы. Это были несчастные аскеты, которые чуть что не съ пятнадцати лётъ, съ шестаго класса гимназіи, прямо съ Спарагдова и Зеленецкаго, когда въ головё ихъ не услевало еще образоваться двухъ-трехъ связныхъ мыслей, уже избирали какую-пибудь узенькую спеціальность, и блёдные, изнеможенные, вёчно сосредоточенные въ

себя, въ свою глубокую ученость, просиживали дни и ночи надъ фоліантами, составляя словарь какой-нибудь лътописи или сличая различные варіанты какого-нибудь ринскаго писателя. Профессора, въ свою очередь, поощряли въ молодыхъ ученыхъ такія занятія. Студентъ не составиль еще никакого связнаго понятія объ общемъ историческомъ ходе развитія человечества или о царствахъ животныхъ, а ему уже совътывали спеціально заняться изследованіемъ салическихъ законовъ, государственнаго устройства Іерусалимскаго королевства или какого-нибудь отряда насъкомыхъ. Общество, не додумавшееся до идей сороковыхъ годовъ или забывшее ихъ, въ свою очередь, съ благоговъніемъ смотръло на подобную ученость, и чёмъ спеціальнее, уже, чёмъ непонятнее для толпы являлось ученое изследованіе, темъ более внушало оно уваженія. Подобное поклоненіе чистой и спеціальной учености проникло даже въ журнальную литературу. Толстые журналы тымь болые внушали уваженія къ себъ, чънъ болье наполнялись сухими, ни для кого неинтересными и никому непонятными сцеціально-учеными статьями. Уже около половины пятидесятыхъ годовъ на "Современникъ" начали смотръть съ накоторымъ презраніемъ, какъ на журналь пустой и легковысленный, беллетристическій и фельетонный по преимуществу, хотя и въ немъ встръчались порой статьи чисто-ученыя, каковы, напримеръ: "О русской журналистикъ прошлаго стольтія" — статья В. Милютина, или его-же трактатъ объ Алкивіадъ. Нанбольшимъ-же почетомъ за свою ученость славились "Отечественныя Записки". Журналомъ этимъ не брезгали саные записные адепты чистой науки. И еще бы: вся художественная критика и полемика были загнаны въ этомъ журналь въ особенный маленькій отдыликъ, подъ названіемъ "Журналистики". Въ критическомъ-же отдёлё помещались статьи въ родё изследованія о летописи Якимовской, о русскихъ журналахъ съ 1764 по 1767 годъ, о сказкахъ въ XIII и XIV въкахъ и въ особенности объ одной переведенной съ арабскаго языка изъ тысячи одной ночи и проч.

И такъ, вотъ вамъ общая картина состоянія общества и литературы въ половинь иятидесятыхъ годовъ.

Полное забвеніе всёхъ идей сороковыхъ годовъ; возвращение къ теоріи чистаго искусства и чистой науки; бедлетристика, посвященная интересамъ одного узенькаго кружка образованной среды и, притонъ, изображающая этотъ кружокъ съ одной только стороны тонкихъ ощущеній любви въ разныхъ ея фазахъ и позахъ. А въ обществъ-или безсимсленное, безсознательное, пошлое прозябание, или едва пробудившаяся мысль, путающаяся въ томительныхъ рефлексіяхъ и бросающаяся изъ мрака противорьчій и сомньній всякаго рода то въ мрачный аскетизмъ, то въ поверхностный и легкомысленный эпикуреизмъ чувственныхъ наслажденій и оргій, то въ спеціальную узенькую ученость, то въ такую-же узенькую, эгоистическую практичность. А надъ всёмъ этимъ возвышался квасной патріотизмъ, возбужденный и раздутый до последней крайности крымскою войной, кричавшій на страницахъ "Сѣверной Пчелы" или "Москвитянина" о забросанін шапками Европы, грем'ввий трескучими драмами воскресціаго Кукольника на Александринскомъ те́атрѣ или воинственными куплетами, перепечатываемыми во всѣхъ журналахъ и возвѣщавшими русской публикѣ о томъ, какъ

Въ воинственномъ азартѣ, Воевода Пальмерстонъ Поражаетъ Русь на картѣ Указательнымъ перстомъ.

XIV.

Переходъ отъ индивидуально-правственныхъ идей къ общественнымъ. — Неподготовленность общества къ общественнымъ вопросамъ. — Средневѣковыя точки врѣнія на реформы. — Статья Пирогова «Вопросы жвани». — Воврожденіе идеи сороковыхъ годовъ. — Значеніе въ этомъ отношеніи петербургскаго университета. — Метаморфоза «Современника». — Статьи «Очерки гоголевскаго періода» и «Лессингъ». Возбужденіе философскаго броженія въ обществъ.

Говоря въ предыдущей главъ, о томъ, что общество не успало усвоить себа идей сороковых в годова, мы вовсе не думаемъ этимъ утверждать, чтобы все движение сороновыхъ годовъ прошло безследно и не оказало никакого вліянія на общество. Напротивъ того, вліяніе было громадно, только оно заключалось не въ непосредственномъ усвоения со стороны общества идей и міросозерцанія, до котораго додумались передовые люди сороковыхъ годовъ, а въ томъ возбужденін умовъ, какое произвело это движеніе. Хотя общество не дошло до реализма, стоявшаго во главъ западной мысли, но, во всякомъ случать, и то было большимъ прогрессомъ, что отъ вопросовъ эстетическихъ, которые исключительно занимали образованную среду въ концъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, движение сороковыхъ годовъ привело эту среду къ вопросамъ философскимъ и нравственнымъ, отъ которыхъ одинъ шагъ до вопросовъ чисто общественныхъ. Въ самомъ дълъ, какъ ни элементарны были тъ иден о гуманности, о честности, о принесеніи пользы обществу, и хотя, повидимому, это были идеи исключительно индивидуальныя, касающіяся поведенія личности, но едва изъ теоріи он' переходили къ практикъ, тотчасъ-же приводили къ вопросамъ общественнымъ. Человъкъ, лично стремящійся къ гуманности, честности и принесенію пользы, естественно желаль, чтобы и всв его сограждане стремились къ тому-же, и если онъ вокругъ себя не находилъ этого, то, естественно, онъ делался протестантомъ противъ всёхъ окружавшихъ его общественных в золь и несовершенствъ. Если-же развитой человакъ, крома того, во всахъ своихъ гуманныхъ и высокихъ стремленіяхъ постоянно встречалъ отпоръ со стороны не однежъ только личностей, поступающихъ вопреки этимъ стремленіямъ, а со стороны самыхъ порядковъ общества и оказывалось, въконцъконцовъ, что порядки эти шли совершенно въ разрезъ съ стремленіями развитаго человѣка, то естественно было додуматься последнему, въ конце-концовъ, и до несостоятельности самихъ порядковъ. Положимъ, что не вст доходили до такихъ выводовъ; очень многіе, можно сказать, большинство, останавливались на полпути на одномъ перелитіи новаго вина въ старые мъхи, т. е. на мечтахъ о томъ, что, оставивши все по

старому, стоить только поставить на старыя мѣста людей новыхъ и развитыхъ; но и подобнаго рода госмода этимъ самымъ желаніемъ показывали, что и они недовольны настоящимъ положеніемъ дѣлъ и они желаютъ кос-какихъ перемѣнъ, хотя бы только въ видѣ должностныхъ перемѣщеній...

Этотъ неизбежный переходъ отъ идей индивидуально-правственныхъ къ общественнымъ былъ ускоренъ самымъ кодомъ общественныхъ дълъ въ Россіи. Реакція, подавивши движеніе сороковыхъ годовъ, сама явилась невольною возбудительницей общественныхъ идей въ образованной средъ, своими крайностями обративъ невольное внимание общества ко всеобщей безурядиць и ускоривъ этимъ переходъ отъ вопросовъ индивидуально - нравственныхъ къ общественнымъ. Всеобщее беззаконіе и произволь судовь, безчинства откупщиковъ, поившихъ народъ почти водой, поголовное взяточничество и круговой грабежъ, ожидавшій вась чуть что не на каждомъ перекресткъ, объднение крестьянъ, отягощенныхъ оброками и барщинами, увеличивающееся съ каждымъ годомъ число :бъглыхъ и бродягъ всякаго рода, и неизбъжные виъстъ съ этимъ разбои по дорогамъ и городамъ. Все это росло crescendo, невольно возбуждая недовольство и ропотъ среди людей самыхъ благонамъренныхъ и смирныхъ, и дошло, наконецъ, до геркулесовыхъ столбовъ, обнаружившись во всемъ своемъ страшномъ безобразіи въ общей безурядиць крымской кампанік.

Послѣ крымской войны вопросъ о необходимости перестроить всё общественные порядки на новый ладъ, произвести безконечный рядъ реформъ, сделался всеобщимъ вопросомъ, возбудившимъ все слои общества, бевъ исключенія. Началась эпоха всевозможныхъ обличеній, эпоха шумныхъ ликованій о наступленіи новой эры, о возрожденіи и пр. Трудно придумать такую сторону жизни, такое учреждение, такое колесико изъ безчисленныхъ колесъ общественной машины, которыя не возбудили бы вопроса о необходимости чистки, передълки, переформировки... Довольно сказать, что отъ государственныхъ вопросовъ первой важности, каковы вопросы объ освобождении крестьянъ, земствъ и гласныхъ судахъ, реформаторскія стремленія проникли да-, же въ русскую грамиатику и возбудили жаркія пренія въ педагогическомъ мір'я объ изгнаніи изъ алфавита нъсколькихъ лишнихъ буквъ.

Но, при поднятіи всей этой массы общественныхъ вопросовъ, тотчасъ-же и обнаружилась полнъйшая неподготовленность общества къ политической жизни, отсутствіе всякаго теоретическаго развитія для правильной и систематической постановки всёхъ этихъ вопросовъ. Вопросы эти, возбужденные западно-евронейскою цивилизаціей, исходили изъ цёлой системы новаго міросозерцанія, стоявшаго въ Европ'є совершенно въ разръзъ съ піросозерцаніемъ старынъ, средневъковымъ. Между тъмъ, наша образованная среда приступила къ этимъ вопросамъ, оставаясь, какъ мы говорили уже въ предъидущей главъ, на почвъ стараго міросозерцанія, основаннаго на авторитеть и преданіи. Всл'ядствіе этого и произошло такое явленіе, что общество видело въ массе задуманных реформъ не перестройку самой системы общественнаго строя, а рядъ частныхъ и вропріятій, очень хорошихъ каждое

сано по себъ, но не имъющихъ, въ то-же время, ничего общаго, улучшающихъ бытъ, но ни мало не изиъняющихъ его основаній. Такой взглядъ, положинъ, совершенно соответствоваль темъ изъ реформъ, которыя, действительно, касались различных в частностей общественнаго строя, изманяли одна формы его, таковы, наприивръ, были — уничтоженіе откуповъ, сокрашеніе штатовъ, судебная реформа и пр. Но чуть дівло доходило до реформъ, которыя касались основныхъ началь общественнаго строя, каковы, наприитрь, были крестьянская реформа, вопросъ о земствъ, о восинтаніи, то здісь тотчасъ-же и обнаруживалась непроходимая путаница вопросовъ, исходящихъ отъ новаго иіросозерцанія съ среднев вковыми системами мышленія. Такъ, напримівръ, нассы кричали о необходимости освобожденія крестьянъ, но въ то-же время, при средневъковомъ стров своей мысли, онв привыкли въ крвпостномъ правъ видъть единственное спасение общества отъ анархіи и никакъ не могли себ'в представить, чтобы тридцати-милліонное населеніе крестьянъ могло существовать вна привычнаго авторитета помъщичьей власти, оставаясь въ пределахъ гражданственности, осъдлости и мирнаго труда. Крестьяне представлялись имъ не иначе, какъ въ видъ кровожадныхъ звърей, которыхъ стоитъ только выпустить изъ клатокъ и они тотчасъ-же разбредутся въ разныя стороны, перестанутъ работать, платить подати, повиноваться властянъ и начнутъ нахать тонорами во всё стороны, проливан безъ всякой нужды норя крови. Подобное дикое понятіе, надо сказать правду, существовало, въ конц'є пятидесятыхъ годовъ, не въ однихъ только кругахъ ретроградовъ и кръпостниковъ. Даже иногіе люди, считавшіеся образованными, либералами, искренно желавшіе освобожденія крестьянь, и тѣ побаивались всякаго рода анархін со стороны крестьянъ и заблаговременно принимали разумныя міры къ эмиграціи. Изъ подобныхъ опасеній, источникъ которыхъ прямо кроется въ средневъковоиъ строъ мысли, и происходили различныя нелъпыя предположения и гаданія о томъ, какъ би устроить дело такинъ образомъ, чтобыт п крестьяне были свободны, и власть помъщиковъ надъ ними оставалась въ прежней силъ. Изъ подобнаго-же средневъковаго міросозерцанія исходили различные проекты выкуповъ, отправлявшіеся прямо отъ средневъковой точки зрънія на крестьянина, какъ на вещь, принадлежавшую пом'вщику и которую необходимо купить у него, чтобы выпустить ее на свободу.

508

Если читатель ближе желаетъ познакомиться съ подобнаго рода взглядами, то онъ можетъ прочитать множество статей объ освобождени крестьянъ въ различныхъ журпалахъ конца пятидесятыхъ годовъ. Мыже, съ своей сторонь, чтобы наглядиве показать нашивъ читателянъ, на какихъ традиціонныхъ точахъ врзнія столла образованная среда въ началі двяженія шестидесятыхъ годовъ и какъ велика была путанйца взглядовъ, обратимъ вниманіе на знаменитую и, конечно, везить извъстную статью Н. И. Пирогова, "Вопросы жизни", папечатанную въ "Морскомъ Сборникъ", въ 23-мъ т. 1856 года. Статья та знаменита не только тъмъ, что подняла въ обществі и журналистикъ цёлый радъ вопросовъ о восинтаніи, но, кромъ того, это былъ первый могучій тол-

чекъ, возбудившій общественную мысль и приведшій ее въ сидьное движение. Статью, мало сказать, что вст прочитали: она возбудила послт себя огрожные толки и споры по всей Россіи, съ нею носились изъ угла въ уголъ, она была перепечатана во многихъ журналахъ. Имя Пирогова, и безъ того известное публикъ, какъ имя перваго хирурва въ Россіи, сдълалось именемъ передовато мыслителя своего въка. Даже студенты петербургскаго университета, собираясь издавать студенческій сборникъ, обратились къ Пирогову подать имъ напутственный советь въ ихъ предпріятіи. Если Пироговъ считался передовымъ человъкомъ въ 1856 году, то это показываетъ, что иден его и въ самомъ дълъ стояли впереди этого времени и масса образованнаго общества другихъ болъе передовыхъ идей не знала. Посмотримъ-же, что это были за иден, къ какой системъ міросозерцанія можно ихъ причислить?

Цёль статьи Пирогова заключалась въ томъ, чтобы внушить обществу, что воснитаніе должно заключаться не въ узко-утилитарныхъ цёляхъ, не въ томъ, чтобы приготовлять чиновниковъ, моряковъ, докторовъ, невъстъ, а въ томъ, чтобы прежде всего приготовить человъка. Изъ дътей, не развитыхъ до степени людей, никогда не выйдетъ хорошихъ и спеціалистовъ; между тъмъ, кто развился до человъка, изъ того скоръв всего можно ждать хорошаго медика, солдата и пр.

Мысль, безъ сомивнія, совершенно истинная и внушающая полное сочувствіе. На первый взглядъ всякому читателю можеть показаться, что въ этой мысли снова воскресають передъ нами сороковые года, потому что въ ченъ-же и заключалось, главнымъ образомъ движеніе сороковыхъ годовъ, какъ не въ томъ, чтобы довести людей изъ непосредственнаго, безсознательнаго существованія до сознанія, что они люди, и внушить имъ стремленіе къ осуществленію высшихъ человъческихъ идеаловъ.

Но сходство основной мысли статьи Пирогова съ идеями сороковыхъ годовъ чисто-внъшнее, не идущее дальше общей неопредъленной фравы. Если-же мы, не ограничавать однимъ этимъ внъшнимъ сходствомъ, захотимъ точнёе опредълить взгляды, изложенные въ статьъ, то мы увидимъ, что между идеями сороковыхъ годовъ и взглядами Пирогова существуетъ неизмъримая разница, и это намъ покажетъ, какъ образованная среда, въ лицъ своего передовато человъка, Пирогова, относилась къ идеямъ сороковыхъ годовъ, замиствуя отъ нихъ одну внъшнюю оболочку и, въ тоже время, вкладывая въ нее содержание вполнъ средневъковато качества.

Въ самомъ дѣлѣ, что проповѣдывали сороковые годы? Проповѣдывали они, что-прежде всего надо быть
модьми. Но какой-же вѣкъ не проповѣдываль того-же
самаго? Вѣдь и дикарь по своему признаетъ, что надо
быть человѣкомъ, понимая подъ этимъ извѣстную домю силы, ловкости, китрости и тому подобныхъ качествъ, составляющихъ идеалъ дикари. Что-же поинмали подъ словомъ быть человъкъсороковые года
понимали не что иное,
какъ то, чтобы каждый человѣкъ принадлежалъ самому себъ, былъ свободенъ во всѣхъ своихъ мысляхъ,

чувствахъ, выборе действій и самыхъ действіяхъ: чтобы стремленіе къ совершенству было продуктомъ его собственной свободной мысли, а не внушенной извнъ, не принятой на въру; чтобы далъе затъпъ, стремленіе-къ счастію было его собственною заботой, а не заботой другихъ за него. Подобныя идеи иненно и шли въ разръзъ со старою системой мышленія и жизни. Эта система была несостоятельна не тыть однинь, что задавалась исключительно утилитарными цълями приготовлять обществу солдать, медиковъ, техниковъ, и пр. Сущность этой системы заключалась въ томъ, что человъкъ не принадлежаль въ ней самому себъ, а быль неотъемленою собственностью семьи, общины, государства и пр. За него дунали один, о неиъ заботились другіе, ему предписывали, сколько им'єть мыслей въ головъ и какихъ именно, и ужь ни одной мысли лишней онъ не осмѣливался усвоить себѣ сверхъ комплекта, ни одного шагу въ жизни сделать, не положеннаго въ церемоніаль его шествія по пути жизни. При таковъ положени человъкъ обращался въ машину не только вследствіе того, что делался узкимъ спеціалистомъ какого-нибудь ремесла, а и потому, что-думаль, чувствоваль, действоваль не по своей человёческой иниціативъ, а сообразно тому, какъ его завели н направили мастера, которые, въ свою очередь, были нашинами, инфющими за собою другихъ мастеровъ высшаго разряда и т. д. Все это было очень, повидиному, стройно, однообразно, размъренно, но въ то-же время и крайне безжизненно, монотонно, а въ заключеніе всего никуда и негодно, потому что колеса машинъ постоянно ржавели, винты разъезжались, производить-же починку, очевидно, было бы некому, еслибы система эта была доведена до такого совершенства, что не стало бы на свъть ни одного человъка, а существовали бы однъ машины; при такихъ условіяхъ, въ концъ-концовъ, весь механизиъ или остановился бы, или разъбхался въ разныя стороны. Но, по счастью, оставалась извъстная доля людей, не обращенныхъ еще въ нашины. Вотъ эти-то люди сначала долгое время пытались чинить и чистить колеса машинъ, но види, что ничто не помогаетъ, что пока чинишь одну часть неханизна, десять другихъ портятся въ это время и приходятъ въ большее еще разстройство, они махнули рукой и начали отвергать сямую систему нашинообразной жизни. Такое отрицаніе было послёднимъ результатомъ движенія сороковыхъ

Теперь рядомъ съ этимъ разберемъ подробние мысли Пирогова и посмотримъ, какое отношение имъютъ опъ къ вышеупомянутому взгляду сороковыхъ годовъ на человъка.

«Вспомнимъ еще разъ — говоритъ Пироговъ въ началѣ статъи— что ма кристіане, и, слѣдовательно, главною основой нашего воспитанія служить и должно служить Откровеніе.

«Вей мы съ дътства не напрасно-же ознакомлены съ мыслью о загробной жизни, всё мы не напрасноже должны считать настоящее приготовленіемъ къ будущему.

«Винкая-же въ существующее направление нашего общества, мы не находимъ въ его дъйствихъ ни малъйшаго слъда этой мысли. Во всъхъ обнаруживанияхъ, по крайней мъръ, жизни практической и даже отчасти и умственной, мы находимъ. ръвко вираженное матеріальное, почти торговое стремленіе, основаніемъ которому служить идея о счастіи и наслажденіяхъ въ жизни земной».

Такинъ образомъ, въ самомъ началѣ статьи Инроговъ отвергаетъ весь результатъ мысли XIX въка, нотому что въ чемъ-же и заключается этотъ результать, какъ не въ признаніи за человікомъ права стремиться къ положительному счастію и къ наслажденіямъ жизни земной. Мы видели въ предшествующихъ главахъ, что передовые люди сороковыхъ годовъ, въ свою очередь, вследъ за Европой признали за человакомъ это право. Но Пироговъ стреидение къ земному счастію считаетъ отступленіемъ человіка отъ надлежащаго пути; по его мижнію, идеальный человъкъ на настоящее долженъ смотръть, какъ на приготовленіе къ будущему и, поэтому, не особенно дорожить благами этого настоящаго... Какая-же это точка зрънія, какъ не средневъковая? Чъмъ подобныя иден отличаются отъ взглядовъ, которые вы на каждой страница можете встратить въ "Переписка съ друзьями" Гоголя?

Отправившись отъ такой арханческой точки эрйнія, Пироговъ развиваетъ свою мысль далю и приходить къ такому заключенію, что преобладаніе матеріальныхъ стремленій въ обществѣ показываетъ, что общество въ жизни своей все еще находится на степени язычества. Пирогова ужасаетъ радикальный разладъ основного ученіи, которое люди держатъ въ своей головѣ, съ ихъ жизнью, не инъющею никакихъ точекъ соприкосновенія съ этимъ ученіемъ, и онъ грозитъ обществу опаснымъ потрясеніемъ, если не распаденіемъ.

Новая мысль, въ свою очередь, не отвергаетъ этого разлада міросозерцанія массы съ жизнью. Но она въ этомъ разладъ видитъ прежде всего именно несостоятельность самого міросозерцанія. Это міросозерцаніе старалось всячески исковеркать жизнь, подавить ее ради заоблачныхъ мечтаній, и счастіе еще для человъчества, что это не удалось: человъческая природа оказалась слишкомъ упруга и жизнь, прорывая всъ плотины, постоянно стремилась по своему естественному пути. Новая мысль потому собственно и новая, что она, вийсто того, чтобы сфтовать на жизнь массы, зачёмь она идеть въ разрёзъ съ міросозерцаніемъ, напротивъ того, сътуетъ больше всего на міросозерцаніе, считая его никуда негоднымъ и убъждая массу бросить его, какъ лишній тормазъ; взамінь-же его, новая мысль предлагаетъ другое міросозерцаніе, бол'є согласное съ основными и естественными стремленіями жизни.

Пироговъ-же съ своихъ средневѣковыхъ точекъ зрѣнія приходитъ къ совершенно противоноложнымъ результатамъ:

«Существуеть—говорить онь только три возможности или три пути вывести человъчество изь этого ложнаго и опаснаго положения.

«Ими согласить нравственно-религозныя основы воспитанія съ настоящимъ направленіемъ общества. Ими перем'єнить направленіе общества.

Нам, неремвиль нараделие общества. Нам, наконець, приготовить наст воспитаніемъ из внутренней борьбі, неминуемой и роковой, доставивь намъ вет способы и всю энергію видерживать неравивій бой.

«Сладовать первымъ путемъ, значило-бы иска-

жать то, что намь осталось на землё святого, чистаго и высокаго. Одна только упругая нравственность фарисеевь и іезунтовь можеть поддълываться высоким к к невкому и соглащать произвольно вѣчныя истины нашихъ нравственно-религіозныхъ началь съ меркантильными и чувственными интересами, преобладающими въ обществъ. Исторія показала, чъмъ окончилась попытка папизма, подъличной іезунтетва, ультрамонтановъ и энциклопедистовъ, шедшихъ этою тропой человѣческихъ заблужденій.

«Измѣнить направленіе общества есть дѣло Про-

мысла и времени

«Остается третій путь. Онъ трудень, но возможень; избравь его, придется многимь воспитатеямъ сначала перевоспитать себя.

«Приготовить насъ съ юныхъ лътъ къ этой борьбъ, значить именно «сдилать паст людьми».

«То-есть, тъмъ, чего не достигнетъ ни одна наша реальная ингола въ мірѣ, заботясь сдѣдать изъ насъ, съ самаю лешею дътема, негоціантовъ, солдать, моряковъ, духовныхъ пастырей или юриетовъ».

Итакъ, согласовать воспитаніе съ живыми, естественными стремленіями общества къ земнымъ благамъ, ко всеобщему счастію, оставивши въ сторонв среднев вковое піросоверцаніе, идущее въ разрізъ съ этими живыми и естественными стремленіями, это, по мивнію Пирогова, значить идти по пути ісзуитовъ и энциклопедистовъ. Что общаго могъ найти Пироговъ между језунтами и энциклопедистами, объ этомъ нужно у него спросить, это остается темною водой во облацёхъ воздушныхъ... Далёе, затёнъ, измёнить направленіе общества, то-есть, по всей вфроятности, принудить его отказаться отъ естественныхъ стремленій къ земнымъ благамъ и счастію, это, по мнівнію Пиротова, дёло времени и Проимсла; значить объ этомъ ны не сибемъ дерзать и думать: Что-же намъ остается дёдать? Дёйствовать путемъ воспитанія на молодое покольніе, воспитывать изъ него такихъ дюдей, которые не шли бы за толной, не увлекались бы стремленіями къ земнымъ бдагамъ, а оставаясь върными все тому-же міросозерцанію, о которомъ ратуетъ Пироговъ, укрѣплядись бы въ борьбѣ... вы думаете въ борьбъ съ какимъ-нибудь вившнимъ зломъ... нътъ; Пироговъ ясно говоритъ вамъ о роковой борьбъ внутренней. Противъ чего-же долженъ бороться внутри себя идеальный человекъ Пирогова? спросите вы. Конечно, опять-таки, противъ соблазнительныхъ побужденій къ внёшнимъ благамъ. Впрочемъ, ниже, Пироговъ очень наглядно и отчетливо обрисовываеть намъ своего идеальнаго человъка, котораго должно произвести, по его инфино, идеальное воспитаніе:

«Каковъ долженъ быть юный атлетъ, приготовляющійся къ этой роковой борьбъ?

«Первое условіє: онъ должень имъть отъ природы хотя какое-нибудь притязаніе на умъ и чувство.

«Пользуйтесь этими благими дарами Творца, но не двлайте одаренных безсмысленными поклонниками мертной буквы, дерэновитыми противниками необходимию на земно авторитета, суемудрыми приверженцими грубаю матеріализма, восторженными расточителями чувства и воли и холодными адептами разума».

Итакъ, вотъ вамъ идеальный человъкъ, которато рекомендуетъ вамъ Пироговъ въ образецъ! вотъ, по его мижнію, какихъ модей должно создавать воспитаніе! Но развѣ это человѣкъ? спросите вы. Конечно, отвѣтимъ мы, это не человѣкъ, а чистѣйшай машина, въ которой, по миѣнію Пирогова, должно быть вложено два-три валика ума и чувства, и онъ долженъ на этихъ валикахъ разыгрывать безконечную симфонію о неприкосновенности авторитета, вѣчно маршируя въ предназначенномъ е́иу кружкѣ, въ блаженном середникъ между поклоненіемъ мертвой буквѣ и сусмудріемъ грубато матеріализма, расточенімии чувства и воли и безстрастіємъ холоднаго разума...

Такиит образовъ Пироговъ, хотя и отправляется, повидимому, отъ громкой фразы новаго чекана о развитии человъка, новъто-же время стоитъ все еще на почвъ средневъковато міросозерпанія; подъ развитіемъ человъка онъ разум'єсть вовсе не эмансицацію личности, эту дъйствительно новую идею XIX въка, а напротивъ того, пригвожденіе личности къ отъвлеченному, мертвому принципу во ими заоблачныхъ фантазій...

Эмансипація личности, индивидуализиъ, обособляетъ личность, даруетъ ей полную свободу идти по какому угодно пути и думать, какъ угодно, лишь бы только, конечно, своею свободой не завдать такой-же свободы другихъ; вследствіе этого, индивидуализиъ прямо ведеть къ разнообразію жизни. Между тёмъ, подобное разнообразіе совершенно противно среднев'ьковому міросозерцанію. Подчиная человіна внішнему отвлеченному принципу, подавляя въ немъ всв естественныя стремленія и обезличивая его, среднев вковая мысль о томъ только и заботилась, чтобы все на землѣ пришло къ мертвому, сухому однообразію, чтобы повсюду господствоваль одинь и тоть-же отвлеченный принципъ, и люди, слепо повинуясь ему, обратились бы въ машины, марширующія разм'вренными шагами, по одному направленію, слушаясь конанды и не задаваясь размышленіями, куда они идуть.

Пироговъ, вѣрный своей средневѣковой точкѣ зрѣнія, не упустилъ изъ виду и этого машиннаго однообразія. Вотъ что говоритъ онъ, между прочимъ, о выгодахъ своего идеальнаго воспитанія:

«Оно (то-есть, воспитаніе) самое удобное и для правительствь, и для подданных. Для правительствь потому, что всё воспитанники до ивъёстнаго возраста будуть образовываться, руководимые однимы и пымъже направленель, въ одномы духъ, съ одною и тою-же иныхо; съядовательно, правственно-каучное оссиштание встать будущихть удождать будеть маходител ет однихо рукахо. Всё виды, всё благія нам'бренія правительствь къ улучшенію просъёщенія будуть исполняться послёдовательно, съ одинаковою энергіей и одновъдомственными лицами.

одмовложенными лицами.
«Для подданных» потому, что всё воспитанники, до вступленія ихъ въ число граждань, будуть дружно пользоваться одинаклии правами и одинаковыми выгодами воспитанія».

Послё всего этого рёшительно дёлается непонятнымъ, противъ чего-же ратуетъ Пироговъ? Задался человъкъ мыслью, что будто воспитаніе въ Россіи ни о чемъ боле не заботится, какъ объ узко-утилитарныхъ цёляхъ, о приготовленіи разныхъ спеціалистовъ... Но не только-что этого ничего не было въ то время, какъ писалъ Пироговъ свою статью, но, напротивъ, того, воспитаніе въ Россіи было тогда организовано именно въ томъ самомъ духё, о которомъ

ратуетъ Пироговъ. Правда, существовало въ то время на Руси иного всякаго рода спеціальныхъ заведеній — корпусовъ, семинарій и пр., но во всёхъ этихъ заведеніяхъ не столько заботились о томъ, чтобы выпускать хорошихъ спеціалистовъ, сколько именно о томъ, чтобы приготовлять людей, воспитанныхъ въ дух в техъ принциповъ, которые Пироговъ ставитъ во главъ воспитанія... Въ этомъ отношеніи однообразіе воспитанія было доведено до идеальнаго совершенства, превосходящаго мечты Пирогова. Въ результатъ оказывалось, что выпущенные медики немногимъ болье имьли свъдыни въ недицинь, чемъ выпущенные кадеты, а выпущенные кадеты знали толкъ въ военныхъ наукахъ, пожетъ быть, даже менве, чвиъ окончившіе курсъ семинаристы; но за то педагоги заботились всеми силами, чтобы и медёки, и кадеты, и семинаристы, выходили всё на одинъ покрой, людьми, пропитанными духомъ тёхъ средневёковыхъ принциповъ, о которыхъ такъ горячо заботился нъкогда блаженной паинти Магницкій и которыми задался вдругь, ни съ того, ни съ сего, передовой мыслитель пятилесятыхъ годовъ, Пароговъ.

Для довершенія болье близкаго знакомства съ взглядами Пирогова, мы выпишемъ еще два мъста изъ его статън, мъста, которыя сами по себь, безъ всякихъ комментаріевъ, свидътельствуютъ о томъ, съ какими арханческими, допотопными взглядами выступилъ Пироговъ въ своей статъъ.

Какъ вамъ нравится, напримъръ, котя бы такой афоризмъ:

«Все, что есть высокаго, прекраснаго на свётё, некусство, вдохновеніе, наука, не должно слишкомъ сродняться со вседневною живнью; оно утратить свою первобытную чистоту, выродится и запылится прахомъ».

А вотъ вамъ взглядъ Пирогова на свободу жен-

«Воспитаніе, наряжая, выставляеть ее (то-есть, женщину) на показъ для зѣвакъ, обставляеть кулисами и заставляеть ее дѣйствовать на пружинахъ, такъ, какъ ему хочется. Ржавчина съѣдасть эти пружины, а черезъ щели истертыхъ и изорванныхъ кулисъ она начинаеть высматривать то, что отъ нея такъ бережно скрывали. Мудрено-ли, что ей тогда приходитъ на мысль пробовать самой, какъ ходятъ люди. Эмансипація, вотъ эта мысль. Паденіе, вотъ первый шагъ. Пусть многое остинется ей неизетствыем. Она должена гордиться тимы», что многало не знаетъ. Не всякій долженъ безъ нужды смотрѣть на язвы общества...

«Если женскіе педанты, толкул объ эмансипація, разумбють одно воспитаніе жинцинь—они правы. Если они разумбють эмансипацію общественных правы женщины, то они сами не знають, чего хотять».

Послѣ всеѓо этого читателѣ, конечно, станетъ въ недоумѣніе и спроситъ, что-же такъ поразило общество въ статъѣ Пирогова? Система воспитанія, предлагаемая Пироговымъ, не представляла ничего, конечно, воваго пи относительно осповнаго принципа воспитанія, ни относительно общественнаго его положенія. Что касается перваго пункта, то Пироговъ предлагалъ поставить во главѣ воспитанія такой принципъ, о которомъ далеко прежде него успѣли уже позаботиться, а относительно общественнаго положенія онъ

проповедываль все ту-же централизацію воспитанія, которая и безъ того была доведена до nec plus ultra. Но общество такъ нало думало еще о какихъ-нибудь иныхъ принципахъ, кромѣ предложеннаго Пироговымъ, и такъ мало заботились объ общественномъ положенім воспитанія, что въ этихъ пунктахъ оно и не ждало отъ Пирогова ничего новаго. Для него оказалась неслыханною новостью и такая элементарная иысль, что воспитание должно заботиться не о приготовленін офицеровъ, медиковъ и священниковъ, а о развитіи человека, что, поэтому, съ детскихъ летъ обрекать человака на какую-нибудь спеціальность, не спросясь его способностей и наклонностей, значить коверкать всю его жизнь и пр. Подобныя высли въ практическомъ ихъ приивнении певели къ тому, что большая часть среднихъ учебныхъ заведеній, прежде казавшихся спеціальными, были преобразованы такъ, чтобы они казались общеобразовательными; спеціальныя-же заведенія начали устроиваться для юношей, окончившихъ уже курсы среднихъ учебныхъ заведеній и способныхъ сознательно избирать дорогу. Въ теоретическомъ-же отношеніи мысль о необходимости развитія прежле воего человіка естественно повела къ вопросу: что-же это значить рязвить человака? значитъ-ли это то, что предполагаетъ Пироговъ или что-нибудь другое?

Мы не знаемъ, какъ рашило бы общество этотъ вопросъ и скоро-ли бы оно, предоставленное само себъ, дошло въ этомъ ръшени до какихъ-нибудь болъе новыхъ и более основательныхъ взглядовъ, чемъ те, которые вы встретили въ статье Пирогова. Не знаемъ также, далеко-ли пошло бы общество во всёхъ задуманныхъ реформахъ при своемъ средневъковомъ стров мысли. Но движение при самомъ своемъ началъ осложнилось весьма важнымъ элементомъ — именно возрожденіемъ идей сороковыхъ годовъ и быстрымъ развитіемъ въ большой массь общества того философскаго процеса, который быль уже пройдень предшествовавшимъ поколъніемъ въ сороковыхъ годахъ. Въ предъидущей главъ, сравнивая реакцію пятидесятыхъ годовъ съ подобною-же ей реакціей двадцатыхъ годовъ, мы не упоминали объ одномъ весьма существенномъ различіи между ними. Дело въ томъ, что когда люди двадцатыхъ годовъ сошли съ своего поприща, отъ нихъ остались одни темныя преданія, и поколініе тридцатыхъ годовъ начало путь умственнаго развитія почти снова, не имъя за собою никакихъ наставниковъ сзади и получивши отъ своихъ предшественниковъ самое скудное наследство. Между темъ, отъ сороковыхъ годовъ осталась богатая дитература, въ которой отразилось все философское движение этой эпохи. Литература эта была почти забыта во вреия пятидесятыхъ годовъ. Но, все-таки, она оставалась; были и люди, которые помнили о ней, держали ее въ головъ или развивались по ней. И замечательно при этомъ, что подобно тому, какъ въ тридцатые годы философское движение началось по преимуществу въ кружкахъ московскато университета, такъ теперь исходомъ движенія послужиль петербургскій университеть. Въ тёсныхъ кружкахъ его иден сороковыхъ годовъ сохраниинсь во всёхъ тёхъ результатахъ, до какихъ дошла мысль младшаго поколенія сороковыхъ годовъ, и мало того, получили дальнъйшее развите, болье глубокое и основательное.

Въ журналистикъ воскресителенъ и распространителемъ идей сороковыхъ годовъ явился "Современникъ", который, въ половинъ пятидесятыхъ годовъ обновился новыми и молодыми сидами и всталъ сразу на ту высоту, на которой была журналистика въ исходъ сороковыхъ годовъ. Такъ, журналъ этотъ явился приверженцемъ реальной эстетики, отвергавшей ученіе метафизиковъ о преимуществѣ образовъ искусства передъ образами действительности, и въ то-же время врагомъ чистаго искусства и чистой науки. Въ конца 1855 года, въ "Современника" начался рядъ статей, извёстныхъ подъ заглавіенъ "Очерки гоголевскаго періода", имъвшихъ снеціальную цъль познакомить публику съ литературно-философскимъ движеніемъ сороковыхъ годовъ и показать значеніе двухъ главныхъ представителей этого движенія — Гоголя и Бълинскаго.

Хотя реакція миновала уже въ концъ 1855 года, а тыть болые въ 1856 году, но какъ сильно было ея обаяніе и неусп'явшей еще разс'яться впечатлівніе, это ны можемъ судить по содержанію "Очерковъ". Хотя авторъ ихъ, очевидно, понималъ всю сущность и значеніе движенія сороковыхъ годовъ и отлично зналъ, что движение это заключалось не въ одной сивнъ литературныхъ школъ и критическихъ принциповъ, а было движениемъ въ то-же время философско-нравственнымъ, приведшимъ передовыхъ людей къ вопросамъ соціальнымъ, пробудившимъ въ нихъ общественные интересы, тёмъ не менёе, мы видимъ, что авторъ былъ принужденъ вдвинуть свое обозрѣніе въ тѣсную рамку вопросовъ литературно-эстетическихъ. Онъ не могъ даже решиться назвать свое обозрение прямымъ именемъ—въ родѣ "философское движеніе идей въ сороковыхъ годахъ" или "о значеніи Бълинскаго и его въка", а назвалъ въкъ этотъ въкомъ Гоголя и придаль своему обозренію такой видь, какь будто оно имъло въ виду ничего болъе, какъ показать эстетическое значеніе литературной школы Гоголя и отношеніе къ этой школъ различныхъ критиковъ. Довольно сказать, что въ обозрѣніи, имѣвщемъ спеціальною своею пелью показать публике вначение Белинскаго и познаконить публику съ его идеями, авторъ долго не могъ ръшиться назвать по имени то самое историческое лицо, съ которымъ онъ взялся познакомить публику. Такъ, въ первой статье, упоминая о Белинскопъ, онъ называеть его не иначе, какъ авторомъ статей о Пушкинъ; критику его называетъ глухо критикой гоголевскаго періода, центромъ которой были "Отечественныя Записки", а въ другойъ мёсте говорить, что только-что высказанное мнание о Гогола извлечено имъ изъ статьи "О русской повъсти и повъстяхъ Гогодя", напечатанной ровно двадцать лътъ тому назадъ въ "Телескопъ", 1835 г., часть XXVI, и принадлежащей автору "статей о Пушкини". И только въ шестой уже стать (напечатанной въ іюльской книжкъ 1856 года) авторъ ръшается впервые упомянуть имя Бълинскаго, сказать прямо, что главнымъ деятелемъ критики гоголевскаго періода былъ Бълинскій. Но и этого еще всего мало: говоря о критикъ Бълинскаго, о его идеяхъ, дълая иножество выпи-

сокъ и извлеченій изъ его статей, авторъ не ръшается, въ то-же время, высказать прямо главной и основной своей иысли, которая должна бы была проникать собою все обозрѣніе, именно той имсли, что вѣкъ Бѣлинскаго имбетъ много общаго съ векомъ философскаго движенія въ Германіи въ XVIII стольтіи и что роль Вълинскаго въ этомъ въкъ напоминаетъ собою роль Лессинга. Для того, чтобы выразить эту мысль, авторъ принужденъ былъ параллельно съ "Очерками гоголевскаго періода" печатать трактать о Лессингь, и въ этомъ уже трактатъ, въ предисловіи, онъ дъ- лаетъ тенные намеки на сходство эпохи Бълинскаго съ эпохой Лессинга. Такъ, онъ говоритъ, что, по большей части, доля литературы въ историческомъ процессъ, никогда не бывая совершенно маловажна, обыкновенно бывала и вовсе не такъ значительна, чтобы заслуживать особеннаго вниманія, что литература почти всегда имъла для развитія человъческой жизни только второстепенное значение. Но далже онъ замъчаетъ, что бывали и свои исключенія изъ этого порядка, хотя ихъ и очень неиного, бывали случан, когда литература являлась действительно главною двигательницей исторического развитія. Немецкая литература последней половины прошедшаго и первыхъ годовъ нынфинято въка, по мньчію автора, есть одна изъ самыхъ важныхъ между этими рёдкими явленіями. Отъ начала д'ятельности Лессинга до смерти Шиллера (до завоеванія Западной Германіи Наполеономъ, законодательства Штейна въ Пруссіи и до распространенія философіи-явленій, которыя овладавають посладующимъ развитіемъ нёмецкаго народа), въ теченіи пятидесяти лътъ, развитіе одной изъ величайшихъ между европейскими націями, будущность странъ отъ Валтійскаго до Средиземнаго Моря, отъ Рейна до Одера, определялась литературнымъ движеніемъ. Участіе всёхъ остальныхъ общественныхъ силъ и событій въ національномъ развитіи должно назвать незначительнымъ сравнительно съ вліяніемъ литературы. Ничто не помогало въ то время ея благотворному действію на судьбу нфмецкой націи; напротивъ, почти всё другія отношенія и условія, отъ которыхъ зависить жизнь не благонріятствовали развитію народа. Литература одна вела его впередъ, борясь съ безчисленными препятствіямп...

Представляя въ такомъ виде значение немецкой литературы прошлаго стольтія, авторъ Ідалье высказываеть рядъ намековъ, что и у насъ былъ періодъ, въ который литература имела такое-же значение. Но до какой степени темны и уклончивы эти намекиобъ этомъ можно судить по тому, что авторъ не рѣшается не только назвать прямо, о какомъ періодъ русской литературы онъ говорить, но старается, по возможности, замаскировать даже тотъ фактъ, что онъ дълаетъ какія бы то ни было сближенія. Такъ, по его интино, еслибы не выщель изъ моды старый и, въ сущности, вовсе не безполезный обычай объяснять въ предисловіяхъ къ сочиненіямъ, трактующимъ объ ученыхъ предметахъ, какую пользу приноситъ вообще внаніе, какую пользу въ частности приносить знаніе того предмета, о которомъ трактуется въ этомъ сочиненіи, и какую пользу въ особенности принесеть знаніе этого предмета тімь читателямь, для которыхь назначается это сочинение, еслибы не вышелъ изъ моды этотъ старый обычай, тогда авторъ долженъ былъ бы сказать что-нибудь о той особенной пользъ, какую можемъ извлечь мы, русскіе, изъ знакомства съ судьбаии немецкой литературы временъ Лессинга, Шиллера и Гёте. Еслибы не вышель также изъ ноды другой старый добрый обычай - проводить нараллели между сходными явленіями въ исторіп различныхъ народовъ, то авторъ ногъ бы также отыскать некоторыя занинательныя аналогіи между положеніемъ нѣменкой дитературы того времени и положением ипкоторых других литератург в другія времена. Наконецъ, еслибы не вышли изъ моды "Разговоры въ царствъ нертвыхъ", то авторъ могъ бы выставить Лессинга, разговаривающаго, напримеръ, съ Нушкинымъ и Гоголемъ въ Елисейскихъ поляхъ: Лессингъ разспрашиваль бы Пушкина и Гоголя о русской литературъ и, въ свою очередь, сообщалъ бы имъ различныя замічанія о литературів вообще.

Все это наглядно показываетъ, что движение сороковыхъ годовъ даже въ 1856 году представлялось еще чемъ-то такимъ, о чемъ въ печати нельзя было говорить прямо и открыто, не прибъгая къ темнымъ и уклончивымъ намекамъ. Но, темъ не менее, вышеозначенныя статьи — "Очерки гоголевскаго періода" и "Лессингъ" -- произвели сильное вліяніе на общество особенно на иолодое покольніе. И прежде статьи Бълинскаго, особенно о Пушкинъ, кое-къмъ перечитывались, теперь-же старые журналы сороковыхъ годовъ ръшительно вошли въ моду. Статьи передовыхъ дъятелей сороковыхъ годовъ выдирались изъ нихъ, переплетались въ отдёльные сборники, перечитывались, переписывались. Снова началось сильнее философское броженіе, заключающееся въ ломкъ всваъ старыхъ допотопныхъ, среднев ковыхъ идей, преданій, предразсудковъ. Процесъ этого броженія совершался тыть быстрые, что, съ одной стороны, онъ овладёль, по большей части, молодыми свёжими умами, не окръпшими еще въ привычкахъ къ старымъ и отжившимъ идеямъ; съ другой стороны, эти молодые и свъжіе умы, находя въ предшествовавшей литературъ сороковыхъ годовъ готовое разръшение многихъ философскихъ вопросовъ, были избавлены отъ необходимости и трудности доходить своимъ собственнымъ умомъ до этого решенія; наконецъ, втретьихъ, съ этой эпохи началось знакомство русской публики съ послёдними результатами западной мысли уже не въ видъ однихъ туманныхъ изложеній этихъ результатовъ русскими писателями, а въ виде переводовъ на русскій языкъ трактатовъ западныхъ мыслителей, такъ что русская публика могла, наконецъ почерпать невыя иден изъ саныхъ ихъ источниковъ. Сначада эти переводы были ръдки и распространялись по преимуществу въ рукописномъ видѣ; потомъ они, мало-помалу, составили громадную отрасль-печатной литературы, далеко превзошедшую бёдную отрасль отечественной литературы, какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношении.

Но вышеозначенными двумя элементами, то-есть, возбужденіемъ общественныхъ реформъ и философскимъ броженіемъ, еще не исчерпывается движеніе

шестидесятых годовъ. Оно осложнилось, кроий всего этого, еще и третьимъ явленіемъ, игравшимъ немаловажную роль въ этомъ движеніи. Объ этомъ явленіи и будетъ рёчь въ слёдующей главъ.

XV.

Вліяніе движенія сороковых годовъ на умственное развитіє непривилегированных классовъ.—Появленіе новаго нравственнаго идеала въ концѣ пятидесятых годовъ и его соотвътствіе съ средой образованнаго пролетаріата.—Два различныя отношенія къ этому идеалу въ эпоху движенія шестидесятых годовъ. Добролюбовъ, какъ представитель новаго идеала.—Характеръ дѣтства Добролюбова.—Привязанность его къ матеръ.—Ученіе дома и въ семинаріи.—Страсть къ авторству.—Аскептямь.—Романтическій мечты и порывы. — Разочарованіе въ нихъ и обращеніе къдъйствительности.—Поступленіе въ педагогическій институтъ. —Характеръ институтской жизни Добролюбова и первые проблески новаго идеала.—Повые удары жизни.—Ожесточеніе.—Окончательное развитіе новаго идеала. — Писаніе романа. — Внутренніи тревоги и колебанія.

Мы инбли уже случай замечать въ нашемъ труде о той аналогін, какая постоянно существуеть между идеальнымъ типомъ даннаго въка и характеромъ той среды, въ которой въ этотъ векъ сосредоточивается умственное движеніе. Такъ, ны видёли, что пока укственное движение сосредоточивалось преимущественно въ кругахъ ведикосвътскаго общества, героемъ времени быль изящный денди, съ внёшнимъ лоскомъ европейскаго образованія, поверхностно усвоившій нісколько последнихъ идеекъ, смотрящій на всёхъ и все съ высоком врнымъ презрвніемъ и легкомысленно надо всёмъ смёющійся, пресыщенный всевозможными излишествами, скучающій и разочарованный не столько вследствіе того, чтобы жизнь не давала ему и въ самомъ дёлё никакого содержанія, сколько вследствіе той крайней легкости, съ какою исполнялась всякая его прихоть и все покорялось передъ его титулами и бо-

Далье, затывь, мы видьли, что съ передвижениемъ центра уиственнаго движенія изъ ведикосв'єтскихъ круговъ въ среду несановитаго, провинціальнаго дворянства средней руки, измѣнился и герой времени, отразивши, опять-таки, характеръ той среды, которая въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ сдёлалась представительницей уиственнаго движенія въ Россіи. Условія жизни этой среды, освобождая людей отъ всякихъ насущныхъ заботъ и энергическихъ усилій въ борьбъ за существованіе, не давала имъ, однакожь, возможности доходить до такого крайняго пресыщенія, до какого доходили великосвътскіе герои предъидущей эпохи. Привиллегированное положение ихъ хотя и внущало имъ порядочную долю высокомърія въ отношенін къ низпимъ непривидлегированнымъ классамъ, но въ то-же время высокомбріе это имбло свои границы, за которыми люди эти чувствовали себя маленькими и ничтожными смертными, въ виду того большаго свъта, на который они глядели издали и о которомъ тайно вздыхали. Однинъ словонъ, жизнь подставляла къ ихъ устамъ готовую и даровую чашу, но позволяла имъ

пить изъ этой чаши потихонько и понемножку, въчно смакуя, но никогда не напиваясь до сыта и не доходя до дна чаши. Тишина сельской жизни, скроиные, но усладительные ландшафтики вокругъ, въчвая безпечность, не роскошная, но изящная и, въ то-же время, комфортабельная обстановка, сладкое farniente, наполненное тихими беседами съ другомъ, съ милой, или наслажденіями изящными искусствами — таково было все содержаніе жизни этой среды въ самомъ ея наилучщемъ видъ. Изъ такой жизни и вышелъ герой сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ въ виде Манидова и-Обломова, въ одно и то-же время-сентиментальный, женоподобный эпикуреецъ, любитель тихихъ созерцаній, сладкихъ бесёдъ съ музами, лакомка до гастрономических ь объдовъ, нъжный селадонъ, ильющій и тающій передъ обаяність женской красоты и, въ то-же время, безхарактерная тряница, не способная ни къ мальйшему напряжению воли.

Въ концъ пятилесятыхъ годовъ мы видимъ новое перемъщение центра умственнаго движения въ среду непривилегированнаго иыслящаго пролетаріата, въ классъ разночинцевъ и мъщанъ, выражаясь оффиціальнымъ языкомъ. Такой переворотъ, въ свою очередь, ознаменовался созданіемъ новыхъ нравственныхъ идеаловъ; на сцену выступили новые герои времени, въ свою очередь выражающіе вполн'ї духъ и характеръ своей среды. Подобное переивщение центра уиственнаго движенія значительно осложнило процессь общественнаго броженія въ знаменитую эпоху шестидесятыхъ годовъ. Фактъ этотъ заслуживаетъ полнаго вниманія при обозрѣніи этой эпохи. Упустивши его изъ виду, вы не въ состояни будете понять весьиа многихъ явленій, не стоящихъ въ прямой причинной связи ни съ философскими идеями, ни съ общественными вопросами, возбудившими рядъ реформъ.

Этимъ перемъщеніемъ центра умственнаго движенія эпоха шестидесятыхъ годовъ была обязана, въ свою очередь, движенію сороковыхъ годовъ. Мы говорили въ началь нашего трактата, что уже въ двадцатые годы выступили на сцену два могучіе проводника интеллигенцін въ нассу общества - журналистика и университеты, и вокругъ этихъ проводниковъ сгруппировалось все уиственное движение тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Журналистика и университеты, можно сказать, въ такой-же степени удешевили образование и ускорили обращение идей въ нассахъ общества, на сколько впоследствіи железныя дороги ускорили и удешевили обращение самихъ массъ въ странѣ. Бѣдный человѣкъ, сынъ медкаго чиновника, священника, ибщанина, въ прежніе годы оканчиваль обыкновенно все образованіе увзднымъ училищемъ, семинаріей, гимназіей; теперь онъ, при мало-мальски недюжинныхъ способностяхъ, имълъ возможность продолжать свое образование въ университетъ. Права и привилегін, соединенныя съ университетскими дипломами, еще болже усилили движеніе дітей изъ непривидегированных классовъ къ университетанъ. Университетъ избавлялъ отъ нищеты, дълалъ человъка изъ жалкаго, пресмыкающагося паріи, передовымъ гражданиномъ, которому открывались всевозможныя карьеры и почести. Литература, въ свою очередь, сдёлалась доступна для бёдныхъ классовъ населенія. До двадцатыхъ годовъ передовые люди,

принадлежавийе препиущественно къ высшимъ слоямъ ' общества, неръдко собирали обширныя библютеки изъ массы иностранныхъ художественныхъ и философскихъ сочиненій. Но, между тімь, какь владільцы поучались изъ своихъ книгохранилищъ, для грамотныхъ людей изъ бъдныхъ классовъ общества и то уже было праздникомъ, если въ ихъ среду попадалъ томикъ Ломоносова, Державина, Каранзина, какой нибудь раздирательный романъ Радклифъ или Жанлисъ, переведенный варварскимъ языкомъ и изданный чуть что не на оберточной бумагь. Кое-гдъ ходили по рукамъ разрезненныя книги карамзинскаго "Въстника", нумера "Сына Отечества" или какого нибудь "Благонамъреннаго", но изъ всего этого ничего не выносилось, крои в сентиментальных слезъ надъ чувствительными романами, поползновенія составить тетрадочку изъ стихотвореній Жуковскаго и Пушкина, да напыщенной риторики казеннаго патріотизна.

Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ въ средніе, а черезъ нихъ и въ бъдные классы общества начался наплывъ журналовъ съ энциклопедическимъ карактеромъ, съ стремленіемъ познакомить читателей съ результатами европейской науки и мысли. Тъ самыя политическія и философскія идеи, которыя прежде были закупорены въ библіотекахъ знатныхъ людей, теперь сдёлались доступными для бёднёйшихъ классовъ въ популярныхъ журнальныхъ изложеніяхъ, въ извлеченіяхъ и переводахъ. Вёдный семинаристь, гимназисть, приходскій учитель получили возможность, не зная ни одного иностраннаго языка, не выбажая изъ своей глуши, знакомиться съ произведеніями Шекспира и Гете, съ идеями Шеллинга и Гегеля, наконецъ, съ политико-экономическими вопросами, волновавшими Западъ. То возбуждение мысли, которое мы видели въ кружкахъ средняго дворянства въ сороковые годы, неминуемо должно было при такихъ условіяхъ сообщиться и въ слои грамотнаго пролетаріата.

Первоначально, когда проценть мыслящаго пролетаріата быль еще ничтожень въ средѣ уиственнаго движенія и большинство передовыхъ людей принадлежало къ дворянскому кругу, въ литературѣ и жизни естественно преобладали идеалы, сообразные большинству. Въ это время ничтожная горсть мыслящаго пролетаріата, разстянная въ видт незаметныхъ единицъ въ образованной средѣ-увлекалась за большинствоиъ и раздъляла идеалы его, не соображая всей односторонности этихъ идеаловъ и несообразности ихъ съ условіями жизни всякой иной среды, кромъ той, которая эти идеалы создала. Естественно, что преследование идеаловъ, въ конце-концовъ исключительно сводящихся на эпикурейское наслаждение встив изящнымъ, только и возможно, что при условіи полной обеспеченности, соединенной съ безграничнымъ досугомъ, чуждымъ накихъ-бы то ни было матеріальныхъ заботъ и дрязгъ. Для бёдняка не было никакой возможности подойти хоть на одинъ куриный шагъ къ такимъ идеаламъ. Едва входилъ онъ въ общество избранниковъ, онъ тотчасъ-же долженъ быль чувствовать всю несообразность своей особы въ виду идеально изящныхъ существъ, окружавшихъ его, начиная съ своей дурноскроенной и сшитой, часто и обветшалой одежды, со своихъ недовкихъ ма-

неръ и кончая тыпь мучительнымъ сознаніемъ, что какъ ни старайся наслаждаться сонатой Бетховена или закатомъ солнца, а все-таки, впереди всего всплываетъ мысль о томъ, что-то завтра придется всть и какъ-бы это устроить, чтобы палець не выглядываль изъ сапога. Бъдному человъку оставалось только чувствовать свое ничтожество и смиряться. Такъ обыкновенно онъ и дълалъ, и литература въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ была права, выставляя на сцену обдняка, не иначе какъ въ видъ неуклюжаго педвъдя, застънчиваго, робкаго, смиренно сидящаго на кончикъ стула, говорящато почти шопотомъ несообразныя вещи и внутренно терзающагося своинъ убожествомъ. Но, по мъръ того, какъ литература сороковыхъ годовъ начала разъяснять, мало-по-малу, сколько ничтожной мишуры въ ложномъ блески тихъ избранниковъ, передъ которыми смирялся прежде бъднякъ, и чемъ обусловливается возможность вечно и исключительно помышлять объ одномъ изящномъ, бъднякъ началъ подымать свою голову. Онъ вдругъ почувствоваль, что онь, оборванный, неуклюжій, неловкій, стоитъ на нензміримой степени выше многихъ изящныхъ существъ, передъ которыми онъ смирялся, выше тъмъ, во-нервыхъ, что совъсть у него чище, а во-вторыхъ, темъ, что въ то время, какъ они, при всей своей мнимой идеальности, постоянно жалуются на свою безхарактерность, онъ-же, закаленный въ борьбѣ со своею нищетой, чувствуетъ въ себѣ неистощимый родникъ силъ. Но литература сороковыхъ годовъ оказала одну только отрицательную услугу бёдняку, разубъдивши его, въ концъ-концовъ, въ прежнихъ идеалахъ и поставивши его на ноги. Новые-же идеалы біднякъ создаль самъ, сообразно реальнымъ условіямъ своего быта. Это созданіе новыхъ идеаловъ произошло именно въ то время, когда процентъ мыслящаго пролетаріата въ сфер'в умственнаго движенія сдёлался на столько уже великъ, что самый центръ этой сферы переизстился въ среду уиственнаго пролетаріата, и среда эта, въ свою очередь, явилась съ идеалами, сообразными условіямъ своего быта и своихъ основныхъ стремленій.

Сообразно новымъ идеаламъ, выступилъ на сцену и новый герой времени. Это быль уже не прежній эпикуреецъ, эстетикъ и селадонъ; напротивъ того, въ немъ поражали наклонности спартанскаго свойства, доходившія порой до крайностей. Онъ началь проповъдывать простоту и безъискуственность въ одеждъ, жилищь, пищь; врагь изныженности и лыни, онь требоваль, чтобы человькъ быль закалень въ перенесеніи холода и голода, чтобы онъ непрестанно трудился, и энергія его не ослабевала ни на минуту въ деятельности и борьбъ. Вмъсто прежняго поклоненія красотъ, онъ выше всего поставилъ пользу, общественное благо, требуя, чтобы и наука, и искусство, и литература служили не для личнаго безотчетнаго наслажденія диллетантовъ, а соединялись въ одномъ непреклонномъ стремлении къ водворению на землѣ всеобщаго счастія, справедливости и братства. На женщину онъ началь смотреть не какъ на предметь эпикурейскихъ наслажденій, а какъ на равноправное существо, и онъ проповедываль образование женщинь не ради только того, чтобы женщина, всябдствіе развитія, сделалась

лучшею самкой, а чтобы она могла занять мъсто въ жизни во всъхъ отношенияхъ рядомъ съ мужчиной.

Было бы ошибочно появленіе такого идеала приписывать исключительно одному только новому міросозерцанію, пропов'яданному въ сороковыхъ годахъ и возродившемуся въ концъ пятидесятыхъ. Реальная философія, якившаяся на сміну метафизикі, сама по себъ не заключаетъ въ себъ никакихъ нравственныхъ колексовъ и ограничивается только темъ, что те самые факты, которые метафизика объясняла по своему, она объясняеть иначе или совствы отказывается отъ всякихъ объясненій. Такъ, реальная философія показываетъ вамъ, при какихъ условіяхъ жизни являются тъ или другіе нравственные идеалы, но въ то-же время она не только не предписываетъ вамъ слъдовать непременно тому идеалу или другому, а напротивъ того, внушаетъ вамъ, что какимъ бы идеаломъ вы ни увлекались отвлеченно, жизнь, все-таки, приведеть вась къ такому изъ нихъ, какой сообразенъ съ условіями вашего быта. Сообразно этому положенію реальной философіи, мы и должны искать причинъ появленія новаго нравственнаго кодекса не въ ней самой, а въ условіяхъ жизни той новой среды, которая выступила на сцену умственнаго движенія въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. И действительно, стоитъ только принять въ соображение эти условія, мы сейчасъ-же увидимъ, какъ прямо и непосредственно вытекаетъ изъ нихъ новый идеалъ.

Человакъ ставитъ на первый планъ и возводитъ въ идеаль обыкновенно такія свои стремленія, какія преобладають въ его жизни и въ которыхъ онъ видитъ необходимое условіе для поддержанія своего существованія. Естественно, что человікь, обезпеченный отъ всякихъ трудовъ и заботъ, въ разнообразін и утонченности наслажденій видить единственное средство не помереть отъ скуки и онъ привыкаетъ во всемъ искать наслажденія, на все смотрёть съ этой точки врвнія и въ развитіи все болье и болье утонченныхъ, болье и болье разнообразныхъ и обаятельныхъ наслажденій, полагать единственный, исключительный принципъ, идеалъ жизни. Столь-же естественно, что ничтить необезпеченный бъднякъ, принужденный ежеминутно трудиться, чтобы не помереть съ голоду и бороться за свое существованіе, привыкаетъ на первый планъ ставить въ жизни трудъ и борьбу. Стремленіе къ счастью, къ пользе, сначала личной, а потомъ подъ впечатленіемъ всеобщихъ страданій вокругъ, къ пользѣ общей-вотъ чемъ по необходимости бываютъ заняты всё его помышленія, и онь, въ свою очередь, возводить это стремление въ идеалъ, во всемъ ищетъ прежде всего пользы, победы надъ гнетущею нуждой; и отъ науки, и отъ искусства, и отъ публицистики онъ требуетъ прежде всего помощи, помышленія объ улучшении его жалкой участи. Его выводить изъ себя эгоисть, который, углубясь въ науку или соверцание искусства, ищеть въ своихъ занятіяхъ однихъ наслажденій и не думаєть о пользѣ и улучшеніи участи его, бъдняка. Въ ожесточени онъ начинаетъ отрицать всё тё отрасли человеческой деятельности, которыя не имѣютъ въ виду ничего, кромѣ однихъ наслажденій. Отвлеченно судя, онъ, конечно, не правъ въ по-

добных отрицаніяхь; въ сущности, и у него всё стремленія къ личной и общественной пользё клонятся ни къ чему иному, какъ къ тому, чтобы доставить и себе и другимъ возможно-больщее количество наслажденій. Но не спешите винить его слишкомъ строго въ его часто действительно излишнихъ крайностяхъ и противоречіяхъ. Вы сами виноваты въ томъ, что путь къ той цели, къ которой онъ стремится, такъ дологъ и труденъ, что на этомъ безконечномъ пути онъ забываетъ часто о самой цели и возводить въ основной принципъ жизни средства, которыми онъ добивается своей цели.

Если, затемъ, мы обратимъ внимание на чисто вижшнія черты типа новаго героя времеми, то и въ нихъ мы не увидимъ ничего такого, что было бы навъяно откуда-нибудь извит и не лежало бы всецъло въ нравахъ и быте техъ бедныхъ классевъ общества, нзъ которыхъ вышелъ этотъ герой. Въ самомъ дѣлѣ, отрицаніе излишнихъ светскихъ этикетовъ и предразсудковъ, изысканности въ одежде, въ пище, въ обстановкъ-въдь это все могло показаться чъмъ-то неслыханно новымъ, дерзкимъ и разрушительнымъ развъ только для людей, никогда не видавшихъ иной тарелки на столъ, кромъ серебряной, никогда не ходившихъ пѣшкомъ и не имѣвшихъ ни малѣйшаго понятія объ обстановкі иныхъ квартиръ, кромі бельэтажныхъ. Между тъмъ и въ прежніе годы, когда еще у подобныхъ господъ и въ помышленіи не было приходить въ ужасъ отъ появленія различныхъ Базаровыхъ или Рахметовыхъ, бъдняки ходили въ тъхъ-же поношенныхъ и дешевыхъ костюмахъ безъ перчатокъ и англійскихъ проборовъ, спади только-что не на гвоздяхъ и питались ситниками съ вечтиной. И прежде мало-мальски умненькія и разсудительныя дівушки изъ бедныхъ классовъ населенія не торчали по цълымъ часамъ у зеркала и не считали предосудительнымъ ходить въ ситцевыхъ или кисейныхъ нещеголеватыхъ платьицахъ, сшитыхъ собственными руками. Конечно, съ точки зрвнія господъ, привыкшихъ, чтобы дамы или дъвицы не иначе хедили по улицамъ, какъ съ диврейнымъ лакеемъ сзади, могло казаться чёмъ-то неслыханно новымъ и неприличнымъ, чтобы молодая дъвушка могла ходить по улицамъ одна и куда ей вздумается, но для дъвушекъ изъ бъдныхъ классовъ въ этомъ не было ровно ничего новаго, не представлялось ни малейшаго вопроса... Оне и прежде ходили по городу однъ безъ провожатыхъ, и никто этому не удивлялся, никто даже не замічаль этого, пока нравы бедныхъ классовъ общества не вошли въ моду и не пріобрѣли себѣ множества подражателей, изъ другихъ слоевъ общества. Точно также и вопросъ о женскомъ трудѣ могъ быть вопросомъ только для людей, не видавщихъ или, лучше сказать, не замъчавшихъ иныхъ женщинъ, кроме воздушныхъ созданій, фей, украшавшихъ бальныя залы и салоны, для которыхъ вопросъ о ненужномъ трудъ могъ дъйствительно казаться совершенно излишнимъ и, Богъ вѣсть къть, навъяннымъ откуда-то извеъ. Но для пассы женщинъ бъднаго класса въ этомъ вопросъ не было ровно ничего новаго: за много, много летъ раньше поднятія его, эти женщины принуждены были заботиться о кускё хлеба и трудиться, и никому не казадось страннымъ или неесстетвеннымъ существованіе женской прислуги, акушерокъ, гувернантокъ и проч.

Вы, можеть быть, возразите мив, что въ стреиленіи найти строгое соотв'єтствіе наших в нравственных в идеаловъ шестидесятыхъ годовъ съ условіями быта бедныхъ классовъ общества, я забываю, что ведь многія стороны этихъ идеаловъ коренятся въ ученіяхъ, проповъданныхъ уже въ сороковые годы людьми, вовсе не принадлежавшими къ бѣднымъ классамъ населенія. Такъ, напримѣръ, мы видѣли, что теорія чистаго искусства и чистой науки отвергалась уже въ сороковые годы, и въ то-же время начали уже проводиться принципы утилитаризма. Но на это мы замътимъ, что люди сороковыхъ годовъ не сами выдумали эти принципы, а пришли къ нимъ потому, что принципы эти господствовали въ то время на Западъ. А на Западъ принципы эти вышли, все-таки, изъ бъдныхъ классовъ общества. Что-же касается людей сороковыхъ годовъ, то большинство ихъ принимало принципы эти отвлеченно, теоретически, въ видъ безстрастныхъ; безжизненно холодныхъ формулъ и фразъ, которыя, пребывая въ головахъ ихъ безъ всякой связи и осмысленности, нисколько не изшали имъ въ своей практикъ жизни, въ своихъ живыхъ симпатіяхь и антипатіяхь слёдовать все тому-же своему эпикурейскому принципу наслажденія. По этой причинъ принципы утилитаризна такъ легко и забылись, едва только въ концѣ сороковыхъ годовъ сошли со сцены люди, пропов'єдывавшіе ихъ, и снова большинство людей сороковыхъ годовъ возвратилось къ теоріямъ чистаго искусства, чистой науки и проч. Но совершенно иначе принялись та-же самые утилитарные принципы на новой почвѣ мыслящаго пролетаріата, выступавшаго на поприщѣ уиственнаго движенія въ конца пятидесятыхъ годовъ. Здась эти принципы нашли сродство съ условіями самого быта, они встали не въ разладъ съ основными стремленіями жизни, а напротивъ, узаконили и осмыслили эти стремденія и, въ свою очередь, стремленія эти оживили принципы; изъ отвлеченныхъ теоретическихъ формулъ, они обратились въ живыя слова страсти и того горячаго энтузіазма, съ какими выступили новые люди шестидесятыхъ годовъ на проповёдь своихъ новыхъ нравственныхъ и общественныхъ идеаловъ.

Чтобы судить о томъ тесномъ соответствіи, какое существуетъ между новыми нравственными идеалами шестидесятыхъ годовъ и бытоиъ той среды, изъ которой эти идеалы вышли, стоить только принять во внимание тъ два совершенно различныя отношения къ этимъ идеаламъ, какія мы видимъ въ различныхъ людяхъ шестидесятыхъ годовъ. Для однихъ идеалы эти являлись чёмъ-то совершенно новымъ, стояли совершенно въ разръзъ со всеми ихъ прежними понятіями, нравами, привычками и перевертывали всю ихъ жизнь. Для юнаго питоица какого-нибудь лицея или училища правовъдънія было безспорно радикальнымъ переворотомъ въ жизни перестать франтить и, вследствіе того, преградить себ'в доступъ въ сферы больщаго свъта, разстроить нъсколько хорошихъ связей, потерять возможность выгодно и быстро составить карьеру, вооружить противъ себя родныхъ, замънить упорнымъ труженичествомъ привычку къ свътской разсвянности и строгою воздержностью и бережливостью—наклонность къ мотовству и разнузданности страстей. Между тъмъ, тъ-же самые идеалы ровно ничего новаго не вносили въ жизнь бъдняка: они только подчеркивали его привычки, осмысливали его стремленія, развивали до разумной сознательности зародыни различныхъ симпатій и антинатій его. Въ самомъ дъть, чъмъ нямъняли филиппики противъ изнъженности, праздности, роскоши, фатовства и прочаго жизнь бъднаго честнаго труженика, гиъздящагося гдъ-нибудь на чердачкъ и ходящаго въ подбитой воздухомъ пинелькъ въ трескучіе морозы и что уднвительнаго могло быть для дъвушки, питающейся какимъ-нибудь ремесломъ, въ новой идеъ о необходимости самостоятельнаго женскаго трупа?

Вследствіе этого, наиболее чистые, верные, кровные, если можно такъ выразиться, представители новыхъ идеаловъ выходили, по преимуществу, изъ бъдныхъ слоевъ общества. Что-же касается иныхъ слоевъ, то, всявдствіе трудности переворота, радикально измѣняющаго жизнь и нравы людей этихъ слоевъ, только весьма немногіе, наиболье сильные и богато одаренные люди могли глубоко проникаться новыми идеалами и последовательно проводить ихъ въ жизни. Большинство последователей новыхъ идеаловъ изъ привиллегированныхъ слоевъ явились только диллетантами этихъ идеаловъ, принимали одну вившность ихъ, доводили ее часто дъйствительно до смъшныхъ крайностей и нел'єпостей, и между тімь, какъ языки ихъ болтали фразы въ новомъ духъ, въ жизни ихъ сохранялись все тв-же старые нравы и привычки, унаследованные отъ отцевъ и дедовъ.

Къ сожалению, литература до сихъ поръ еще недостаточно разграничила эти два отношенія къ новымъ идеаламъ: съ одной стороны, простыя естественныя отношенія людей, приготовленныхъ самою жизнію къ ихъ осуществленію, съ другой — искусственное, натянутое, ходульное отношение къ нимъ людей, не инфющихъ съ этими идеалами ничего общаго, какъ по складу своей жизни, такъ и по всемъ своимъ наслёдственно-укоренившимся привычкамъ, симпатіянь и антипатіянь. Между тень, въ продолженіе всего движенія шестидесятыхъ годовъ и до нашего времени проходять въ жизни эти два отношенія, дідящія представителей новыхъ идеаловъ на два типа, рѣзко отличающіеся другъ отъ друга. Въ послѣдовавшую эпоху новой реакціи, реакціонная литература, въ своихъ пресловутыхъ нападкахъ на новыхъ людей, или представляла ихъ въ самомъ нельномъ карикатурномъ видъ, или-же брала черты втораго тина, выводя на сцену различныхъ диллетантовъ и фразеровъ. Что-же насается литературы, стоявшей на сторонъ новыхъ идеаловъ, то она, въ соппозицію реакціонной литературъ, начала представлять, въ свою очередь, не дъйствительныхъ, реальныхъ новыхъ людей того или другаго тина, а какія-то невозможно-идеальныя совершенства, соединяющія въ себ'в букеты самыхъ возвышенныхъ дебродътелей. Подобнаго рода свътозарные герои явились передъ публикой, конечно, не простыми естественными продуктами своей среды, а пействительно чемъ-то новымъ, небывалымъ, словно свалившимся вдругъ съ неба.

Между тъмъ, какъ литература сошла такимъ образомъ съ почвы безпристрастнаго анализа действительности, жизнь, върная своимъ законамъ, своему пути, не замедлила выставить впереди уиственнаго движенія эпохи насколько представителей новаго идеала во всей ихъ безъискусственной простотв н естественности. Къ числу такихъ представителей принадлежить, между прочинь, Николай Александровичь Добролюбовъ. Личность Добролюбова должна играть одну изъ главныхъ ролей въ исторіи развитія нашего общества, не только какъ перваго вполив реальнаго критика и публициста, не только накъ даровитаго пропов'єдника новыхъ идей, наложившаго печать своего живаго слова на целую эпоху: въ то-же время личность эта замбчательна, какъ человбкъ, какъ типъ, вполнб дільный, опреділенный и могущій служить однимъ нзъ самыхъ яркихъ представителей той новой среды, которая выступила на поприще умственнаго движенія. среда эта и прежде выпускала изъ себя порой талантливыхъ людей, становившихся во главѣ вѣка, каковы были: Ломоносовъ, Полевой, Белинскій; но всё они, действуя среди чуждой имъ среды, невольно подчинялись давленію ся духа, увлекались болье или менъе ея идеалами, ея принципами. Въ лицъ-же Добролюбова среда эта впервые выступила сама собою и смёло выставила свои собственные идеалы и принцины въ разрёзъ со всёми прежними идеалами и принципами, выставила ихъ не только въ словъ, но и въ самой жизни. Слово и жизнь такъ нераздёльны въ личности Добролюбова, что говорить о его словъ, не говоря о его жизни -- невозможно. Не опредъливши его, какъ типъ своего времени и своей среды, вы не въ состояни будете получить яснаго понятія о значеніи его сочиненій.

Еще болье поучительнымъ должно представиться намъ знакомство съ жизнью Добролюбова вследствіе того, что, давая намъ понятіе о естественномъ и чистомъ представителъ новыхъ идеаловъ, знакомство это должно разрушить множество иллюзій. Подъ впечатлівніемъ, съ одной стороны, массы обезьянъ, диллетантовъ и фразеровъ прогреса, съ другой — подъ обаяніемъ реакціонной литературы, выставлявшей этихъ господъ въ виде действительныхъ представителей новыхъ людей, публика наша до такой степени получила ложныя, искаженныя понятія о новыхъ людяхъ, что когда появились въ печати "Отцы и дъти" Тургенева, она готова была повърить нелъпому слуху, ходившему въ то время, что будто Тургеневъ своего Базарова срисовалъ съ Добролюбова. Базаровъ и Добролюбовъ! Это совершенно все равно, что сказать будто Грибофдовъ срисовалъ Репетилова съ Чаадаева или Лермонтовъ въ Грушницкомъ изобразилъ Бѣлинскаго!

Николай Александровичъ Добролюбовъ родился въ Нижнемъ Новгородъ, 24-го января 1836 году. Отецъ его, Александръ Ивановичъ, былъ священникъ нижегородской Никольской церкви.

Такимъ образомъ, родители его принадлежали, по своему положению и состоянию, вполив къ среднему кругу непривилегированной среды—т. е., были далеки, какъ отъ безпомощной нищеты мелкаго мѣщанства, такъ и отъ избытка купеческаго круга. Это именно такой центръ продетаріата, который повсюду иво всъ

времена быль самою плодотворною почвой для произведенія сознательныхъ друзей народа и борцовъ за его интересы, основателей религіозныхъ секть, проповъдниковъ новыхъ общественныхъ идей, изобрътателей и проч. Челов'якъ, воспитанный этою средой, обыкновенно привыкаеть съ младенчества къ простой и незатвиливой обстановив: жизнь не изнаживаеть его, но въ то-же время и не на столько бъдна эта обстановка, чтобы въ немъ загрубеди все чувства и исчезли всякія потребности къ улучшенію своего быта. Съ самаго дътства человъкъ этотъ чувствуетъ н на себъ, и на родныхъ всю тяжесть борьбы за существованіе, всю унизительность печальной зависимости каждаго шага жизни отъ грубаго производа; жизнь, такимъ образомъ, рано начинаетъ открываться ему съизнанки, и онъ привыкаетъ обращать все свое вниманіе на мрачныя стороны ся. Но въ то же время тяжесть всего этого гнета не на столько, все-таки сильна въ этой средъ, чтобы окончательно обезличить и и убить человека, загородивши ему всякую дорогу къ исходу изъ его положенія; напротивъ того, какъ ни бъдны средства этой среды и какъ ни тяжеле они достаются, все таки, ихъ хватаетъ на столько, чтобы давать детямъ образованіе. И такъ какъ въ образованіи представляется для этой среды единственный выходъ изъ гнетущихъ обстоятельствъ, то понятно, что мало-мальски талантливый человъкъ всеми силами души пристращается къ книгамъ. Въ книгахъ онъ ищетъ не одни только умственные и нравственные интересы, но и чисто практические, матеріальные: книга не только должна научить его, образовать, но освободить и даровать лишній кусокъ хльба. Наконецъ, нужно обратить внимание и на то, что центральное положение этой среды между богатствомъ и нищетой, привидегированными и низшими классами общества, представляетъ ту выгоду, что человъкъ, находясь въ такомъ центръ, имъетъ сношенія съ различными слоями общества, пріучается изучать эти слои, сравнивая ихъ другъ съ другомъ и усвоиваетъ, такимъ образомъ, вполнъ опредъленныя и реальныя понятія объ ихъ отношеніяхъ одинъ къ другому.

Детство свое Добролюбовъ провелъ такъ-же монотонно и однообразно, какъ проводять его всь дъти изъ его среды. Первою воспитательницей его была мать его, Зинаида Васильевна, женщина, по общимъ отзывамъ, умная и прекрасная, и Добролюбовъ тъмъ болье быль привязань къ ней, что делиль съ нею всь мелкія домашнія невзгоды, которыя столь частывъ семействахъ средняго круга, гдѣ глава дома, занятый съ утра до вечера различными трудами и заботами, приходить домой поздно, усталый, угрюмый и нередко на своихъ домочадцахъ вымешаетъ тѣ непріятности, какія въ теченіе дня ему пришлось испытать при исполнении своихъ обязанностей; гдф ежедневно и ежечасно всилывають всякія медкія дрязги, заботы и черныя мысли о нерадестномъ настоящемъ и темномъ будущемъ; гдв на каждомъ шагу ждетъ то какое-нибудь унижение, то какое-нибудь лишение. Чтобы вполнъ очертить мрачный фонъ детства Добролюбова, стоитъ только выписать изъ дневника его одинъ день, описанный съ весьма характеристическими подробностями, бросающими яркій светь на все детство Добролюбова и всю обстановку его родительскаго крова, тъмъ болъе, что день этотъ новогодий, въ который домашняя обстановка въ каждомъ семействъ принимаетъ наиболъе парадный и праздичиный видъ.

1-го января 1852 г.

«Вотъ и еще одинъ годъ «юркнулъ въ въчность!». И еще годъ прошель, и еще годомъ сократилась жизнь моя. Грустно встрётиль я этоть годь, котораго ждаль я, можно сказать, съ нетерпѣніемъ. Много я надъяжя на него и отъ него... Но вотъ пришелъ онъ, и при самомъ вступлении его, надежды мои разсыпаются прахомъ. Грустно, невесело!.. Тяжелый день провель я нынъ. Теперь (12-й часъ вечера) на дворъ бущуеть вътеръ, злится буря, свистить и воеть, и бурлить, и это довольно олизко къ состоянію души моей. Я не сдѣлаль нынъ ничего добраго и полезнаго. Встръчая новый годъ, не хотель и спать всю ночь, но въ два часа «легъ полежать»—не больше—и задремаль и уснуль... А свъча осталась на столь не погашенная, а книга лежала раскрытая. Къ счастію, огарокъ быль не великъ и, въроятно, скоро догоръль и погасъ самъ собой. Впрочемъ, можетъ быть, погасила и ияня. Я не говориль объ этомъ ни слова, но целое утро быль въ какомъ-то смущении. Наделаль-было я дела-подумаль я, проснувшись, и примо бросился въ другую комнату къ столу, свъчъ и книгъ, и нашедъ все въ цѣлости, не мало былъ удивленъ и еще болѣе о радованъ... Потомъ и поздно пришелъ къ объдиъ, простояль, у порога, сконфузился при исполненіи нельной фантазіи, пришедшей мив въ голову-поздравить въ церкви А. Н. Ник..., которая мин только кивнула на мое привитствие, и ущель, не достоявъ молебенъ. Потомъ вздумалось мив идти поздравить мою крестную — Л. В. П.; я пошель, встрыпиль сухой приемь, проскучаль лишние полчаса въ жизни, быль раздосадовань невниманиемь къ себы, получиль порученіе, которое потомъ позабиль исполнить, и не знаю еще, какъ отделаюсь!.. Дома оскорбиль маменьку, но вскорт помирился. Въ половинъ шестаго пошелъ въ одному изъ товарищей, хорошему знакомому, В. В. Л., просидель тамъ часа два ни скучно, ни весело, хотя смъядся очень много... Оттуда мнъ презвычайно хотълось, необыкновенно хотелось побывать у постояльцевъ нашихъ III... и понграть тамъ съ ихъ прокрасными дёть-ми... особенно одна... Тамъ было бы такъ весело!.. Все это думаль и дорогой; но дома ждало мени достойное заключение этого дня... Нужно было случиться, чтобы у насъ въ этотъ день сбъжала со двора наша корова... Папенька и такъ нынъ быль довольно въ худомъ расположения духа по нѣкоторымъ обстоятельствамъ; но когда сказали ему объ этомъ, онъ окончательно растерялся, и пришедши домой, я засталь его въ крайне мрачномъ расположеніи, особенно потому, что это случилось въ новый годъ, и следовательно, предвещало несчастия въ будущемъ — предразсудокъ, оказавшій, однако, сильное вліяніе на папашу. Къ вящщему несчастію, мамаща съ старшею моею сестрой убхали къ А. И. Н. на вечеръ, папаша быль одинъ, и я долженъ быль подвергнуться непріятностямь. Сначала папаша пожальть о коровь, побраниль заочно работницу-ва дело!-и приняйся писать свои дела... Я думаль, что ждать мнъ больше нечего, взиль свъчу и пошель къ себъ въ комнату. Но папаша позваль меня къ себъ и сказалъ, что если бы я мало-мальски радёль отцу, жалёль его, если бы у меня хотя немного было мозгу въ головъ, то и занилси бы этимъ дъломъ, а не оставилъ его безъ вниманія, будто мнъ все равно, коть все гори, все распропади... Иосле этого нечего было ждать ласковаго слова. Я таки испугался предстоящей сцены, и поскоръе, но приказанію папаши, сошель въ кухню и разспросиль кухарку объ успъхахъ ся поисковъ, которые были

совсёмъ безусившны. Узнавши это, я въ точности донесь папашъ. Онъ сталъ что-то говорить, и вдругъ, Богъ-въсть какъ, разговоръ перешелъ ко миъ, и туть-то я должень быль выслушать множество вещей, которыхъ теперь и не припомню въ подробностяхъ. Но только главный смыслъ ихъ быль таковъ: «Ты негодяй; ты не радбешь отцу, не смотришь ни зачёмъ; не любишь и не жалбешь отца, мучишь меня и не понимаешь того, какъ и тружусь для васъ, не жалёя ни силь, ни здоровья. Ты дуракъ, изъ тебя толку немного выйдеть; ты ученъ, хорошо сочиняещь, но все это вздорь. Ты дуракъ и будешь всегда дуракомъ въ жизни, потому что ты ничего всегда дуракомъ въ жизни, потому что ты начего не умъещь и не хочещь дълать. Вы меня не слушаете, вы меня мучите; когда-нибудь вспомните, что я говориль, да будеть поздно. Можеть, я не долго ужь проживу. Отъ такихъ безпокойствъ, тревогь и непріятностей поневоль захочещь умереть; лучше прямо вь могилу, чёмъ этакъ жить. Ничего въ свёть нёть для меня радостнаго; нигдё я не найду отрады, весь свёть-подлець; всё твои науки никуда не годятся, если не будешь умъть жить. Умъй беречь деньгу; безъ денегъ ничего не сдъ лаешь; деньги—охъ! трудно достаются; надо умъть, да и умъть пріобрътать ихъ; какъ меня не будеть, вы съ голоду всъ умрете; никакія твои сочиненія тебъ не помогуть!.. Изъ тебя ничего хорошаго не выйдеть; хило-гнило, хило-гнило; немного въ тебъ мозгу, а еще умнымъ считаешься». Все это, на разныя манеры повторяемое, я слушаль отъ 8-ми до 11-ти часовъровно три часа... Каково это винести? Не въ первый и не въ послыдній разъ слышаль я эти упреки, но нынѣ они особенно были тяжелы для меня. Они продолжались три часа; произносились не съ сердцемъ, не въ гижет, но очень спокойно, только въ необыкновенно мрачномъ и грустномъ тонѣ. Я не видѣмъ никакого повода къ такому обороту разговора, котя большею частью и сознаваль относительную справедливость высказываемых вамёчаній. Но все это ничего бы: особенно поразили меня упреки въ нелюбви, нерадени къ отцу, пророческія слова о томъ, что изъ меня ничего не выйдеть; всего-же болье эти жалобы на свои труды и безпокойства, на то, что не долго ему остается жить. Чуть не плачу и теперь, припоминая это. Однако, мий не хочется върить, и я не смъю върить этимъ словамъ. Но когда папаша говориль, я не смъть, я не могъ произнести ни одного слова, если онъ самъ не спрашиваль меня: «такъ-ли?» на что я отвъчаль только: такъ-съ... Я бы нашелся, что сказать, но у меня недоставало духу говорить... Не понимаю, что это такое. А папашѣ это, виднио, непріятно... Но что-же дѣлать? Не такъ, не такъ надо со мною говорить и обращаться, чтоби достигнуть того, чего ему хочется. Нужно прежде разрушить эту робость, побъдить это чувство приличія передъ роднымъ отцомъ, будто чужимъ, смирить эту недовърчивость, и тогда уже явится эта младенческая искренность и простота. Впрочемъ, что винить папашу?я виновать, одинь я причиной этого. Должно быть, я гордъ, и изъ этого источника происходитъ весь мой гадкій характерь. Это, впрочемь, кажется, у насть наслъдственное качество, хотя въ довольно благородномъ значени... Однако, чудный денекъ! Всѣ такъ встръчаютъ новый годъ? Не правда-ли?... Можно повеселиться!»...

Итакъ, вотъ вамъ вси грустная картина дётства Добролюбова: провинціальная скука внё дома, разсівеваемая изрёдка какимъ-нибудь часикомъ молодаго хохота съ товарищемъ, оскорбительное невниманіе и небрежность въ обращеніи со стороны губернскихъ шутихъ, едва удостоивавшихъ ничтожнаго и неловаго семинариста величественнаго кивка головой или сухаго прієма, адома—ежеминутныя ожиданія какойнибудь бури, невыносимыхъ попрековъ и унизитель

ныхъ порицаній... Робкое безмолвіе передъ гифеомъ отца и мучительное чувство отчужденности отъ него. Только одиф ласки матери хоть сколько-нибудь скрапивали эту жизнь. После этого всего появтив становится та страстная привязанность Добролюбова къматери своей, которая такъ естественна й поиятна въсемействахъ съ такимъ строемъ жизни: это не та холодная, отвлеченная любовь къматери, которую вы часто можете встретить среди роскошной обстановки, такъ-называемое чувство сыновняго долга, внушаемое обыкновенно малюткф гувернанткой на французскомъ языкъ; это привязанность къ другу и хранителю дътства, къ товарищу страданій и невзгодъ.

«Отъ нея-писалъ Доброжюбовъ въ 1854 году послъ ся смерти-получиль и свои лучнія качества, съ ней сроднился я съ первыхъ дней моего дътства; къ ней летело мое сердце, где бы и ни быль, для нея было все, все, что я ни дълалъ. Она понимала эту любовь; но я не успёль показать ее на дёлё, не успёль осуществить то, чёмъ хотёль ее радовать... Мало радостныхъ минуть доставиль я ей. Я быль слишкомъ гордъ, я не хотъль прежде времени высказывать даже ей, моей дорогой, своихъ гордыхъ плановъ и надеждъ, думалъ, что будеть время—на дёлё увидить она, какого сына имбеть и сколько онъ любить ее... Не случилось такъ!.. И почему-же не върять мив, что она смотрить на меня съ высоты небесъ, радуется... Нътъ, нъть, нъть-если это правда, если она видить меня, мою тоску, мои терзанья, мои сомивныя, она умолить Бога, чтобы онъ послаль ее вразумить бъднаго, жалкаго сыва. Иначе ей будеть рай не въ рай, если только она не разлюбила меня. Мать моя! Михая, дорогая моя! Я всего лишился въ те-бъ! Видишь, я плачу... Мий тяжело, мий горько! Помолись за меня, чтобы Богь остановиль меня на краю гибели!.. Въдь ты чистая праведница, и Богъ услышить тебя. Явись мив, утвшь меня... Дай мив въру, надежду... Съ надеждой можно жить въ міръ... Неужели-же разстояние между нами такъ непрохомо, что и материнское сердце не услышить мольбы страдающаго сина? Или я въ самомъ дълъ должень думать, что ты не существуешь болбе и что я тоже машина?.. Но зачемъ-же эта странная тоска, эта грусть, эти сомивнія? Мать моя! Върю, что ты любишь меня... Вразуми и научи безпомощнаго! Заставь меня върить и утьшаться будущимъ!.. Мое положение такъ горько, такъ страшно, такъ отчаянно, что теперь ничто на земле не утещить меня. Самая сильная радость обратится у меня въ печаль, самая громкая слава, огромное богатство, всевозможные успёхи только заставять содрогнуться мое сердце при одной мысли, что еслибы это знала мамаша, какъ-бы мы съ нею порадовались!.. И эта мысль тяжко, громаднымъ камнемъ падетъ мнѣ на сердце, и не будетъ мнѣ счастья въ счастьи одинокаго эгонзма...»

Не правда-ли, какъ напоминаетъ то страстное, нъжное обращение Добролюбова въ умерма старина, откланялась, или, еще лучше, подохла, которыми современные наши беллетристы характеризують небрежное и циническое отношеніе людей молодаго поколѣнія къ своимъ престарѣлымъ родителямъ!,.. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, похожъ Добролюбовъ на Базарова, синоходительно треплющаго своего отца по плечамъ...

Мате ри быль обязань Добролюбовь началомь своего ум ственнаго развитія. Уже трехь льть, со словь матери своей, онь заучиль нъсколько басень Крылова

и прекрасно произносиль ихъ передъ домашними и чужими... Мать-же выучила его и читать, да, кажется, и писать азбуку. Когда ему стало 8 лётъ, то приглашенъ быль въ учители для него кончившій курсъ семинаріи — Садовскій; но этотъ послѣдній занимался не болѣ двухъ мѣсяцевъ, потому что поступиль самъ въ священники. Тогда приглашенъ былъ къ нему михвилъ Алексѣевичъ Костровъ, семинаристъ философскаго класса, впослѣдствін зять его, мужъ старшей сестры, который приготовлялъ мальчика въ продолженіи 3-хъ лѣтъ!

«Поступивъ къ нему въ учителя-говоритъ Костровъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Добролюбовъя старался, во-первыхъ, заохотить его къ ученію, чтобы «учиться» обратилось для него въ главную и насущную потребность; а во-вторыхъ, доводить его до яснаго, по возможности полнаго и отчетливаго понятія о каждомъ предметв, не слишкомъ заботясь о буквальномъ заучивании имъ уроковъ (конечно, при обучении латинскому и греческому языкамъ приходилось ограничиваться только, впрочемъ, совершенно достаточнымъ, знаніемъ всякихъ правиль грамматическихъ и синтаксическихъ). Покойная мать его не разъ туть замъчала, что изъ нашей классной комнаты почти только и слышно: «почему», «отчего», да «какъ» и т. д. Отецъ его, видя, что сынъ его, при своей отличной воиспріимчивости, при усердін и любознательности, оказываль отличные успыхи, и что вообще наше учение идеть въ порядкъ, не мъшаль намъ и свободно предавался своимъ служебнымъ и хозяйственнымъ занятіямъ—только иногда навѣдывался о его успѣхахъ и давалъ ему тъ или другіе вопросы по тому или другому предмету».

Одиннадцати лѣтъ Добролюбовъ былъ отданъ въ духовное училище, и черезъ годъ усиѣлъ уже попасть въ четвертый, послѣдній классъ этого училища. Въ училищѣ биъ съ нерваго-же года обратилъ
на себя вниманіе какъ учителей, такъ и товарищей.
Робкій, застѣнчивый мальчикъ нѣжной, барской наружности съ мягкими руками, въ то-же время, онъ
поразилъ всѣхъ бойкостью и находчивостью отвѣтовъ и начитанностью, необыкновенною для 12-тилѣтняго ребенка.

«Пытались объяснить успёхъ Добролюбова-говорить въ воспоминаніяхь о немъ товарищь его, М. Е. Лебедевъ-постороннею помощью, но скоро разубъдились. Когда учитель заставляль въ классъ учениковъ фразировать по латыни русскія предложенія и разсказывать по-латыни своими словами изъ «Корнелія Непота» и «Латинской христоматіи», то Добролюбовъ постоянно отличался при всёхъ. Наконець, и собственные опыты подражателей его увърили, что это довольно возможно и безъ посто-ронней помощи. Съ такимъ-же успъхомъ Добролюбовъ занимался священною исторіей, географіей, ариеметикой и другими науками, заняль повсюду 4-й № въ спискахъ, а въ 1848 году перешелъ во 2-е отдъление словесности (низшее отдъление семинаріи, по множеству воспитанниковъ дѣлившееся на два параллельныя отдъленія). Въ семинаріи, съ теченіемъ времени, Добролюбовъ погружается въ ученыя занатія. Оть товарищей держится такъ-же далеко, котя принимаеть къ себѣ всѣхъ, кому угодно его посътить. Но все свободное отъ посъщеній время занять книгами. Онъ читаль русскихъ авторовъ, ученыя сочиненія, журналы и дома, и въ классахъ. Въ его упражненіяхъ по классу реторики и пінтики постоянно было видно знакомство съ лучшими русскими литераторами, что и выставлялось на видъ учителемъ словесности. Въ немногихъ упражненіяхъ, какія были по исторіи всеобщей, бы-

ла видна та-же начитанность. Его возраженія, напримъръ, по математикъ профессору-монаху, по исторіи противъ учебника Кайданова были выслушиваемы учениками съ участіемъ, которое возрастало, когда профессоръ не решаль возражений, а заминаль ихъ своимъ авторитетомъ, невозможностью распространяться по причинъ недосуга и другими уловками. Въ среднемъ отдълении семинарии Добролюбовъ поражалъ громадными сочиненіями по философскимъ тэмамъ, особенно объ учении отцовъ церкви, отчасти изъ русской церковной исторіи...»

Сочиненія эти действительно были колоссальны по своему объему для ученика семинарін-въ 30, 40, 100 листовъ (конечно, писчихъ), и недаромъ Добролюбовъ въ глазахъ отца былъ литераторомъ уже на семинарской скамейкъ. Впрочемъ, кромъ этихъ классныхъ сочиненій, въ Добродюбов'в рано, еще на 14-мъ году, обнаружилась страсть къ авторству, конечно, въ виль писанія стиховъ, при чемъ онъ, между прочимъ, переводилъ Горація. Въ 1850 году онъ даже решился послать въ "Москвитянинъ" письмо, прося у редакціи 100 руб. и об'єщая за нихъ прислать 40 стихотвореній. А въ 1852 году онъ послаль въ редакцію "Сына Отечества" 12 стихотвореній подъ псевдонимомъ Владиміра Ленскаго.

Что касается до внутренняго развитія Добролюбова, то оно шло своимъ путемъ, переходя тв-же неизбъжные періоды, какіе мы видимъ въ развитін каждаго человъка и общества-періодъ дътской непосредственности, періодъ романтизма и рефлексій и, наконець, періодъ реализма. Разница между Добролюбовымъ съ его сверстниками и людьми предшествовавшей эпохи заключалась только въ томъ, что ть-же самые періоды, которые люди сороковыхъ годовъ переживали въ продолжени цёлой своей жизни, останавливаясь часто на второмъ и даже на первомъ, люди молодаго поколенія успевали переживать въ продолжении первой юности, такъ что въ 20 летъ являлись часто вполит уже на реальной почвъ.

Выходъ изъ дётской непосредственности выразился у Добролюбова, какъ у многихъ натуръ глубокихъ, сильныхъ и сосредоточенныхъ въ себъ, въ видъ суроваго, самобичующаго аскетизма. Аскетизмъ, начиная съ среднихъ въковъ и до нашего времени, является неръдко первою формой мысли пробужденной и дошедшей до сознанія. Естественно, что идеи и върованія, которыя безсознательно бродять въ головѣ нашей, внушаемыя съ самаго ранняго дѣтства, при первомъ возбуждении мысли вдругъ пробуждаются, складываются въ стройную систему, представляются чёмъ-то новымъ, какъ будто прежде ихъ не было у насъ въ головъ. Тогда люди поверхностные, разстянная жизнь которых в разнообразна витиними впечатленіями, ограничиваются обыкновенно редкими минутами благочестивыхъ размышленій, послі которыхъ съ спокойною совъстью вступають въ обиденную рутину жизни, не имъющей ничего общаго съ этими размышленіями; люди съ иламеннымъ воображеніемъ бросаются въ туманный и таинственный инстицизмъ; люди-же, привыкшіе сосредоточиваться въ себѣ и слѣдить за каждымъ своимъ шагомъ и помышленіемъ, всл'ядствіе однообразія своей жизни, подавленности и ряда несчастій, или-же по особенному складу глубокой, строго-логической и последователь-

ной натуры, начинають стремиться согласовать съ своими идеями каждый шагь жизни, что и ведеть ихъ, по характеру идей, къ аскетизму. Поэтому, аскетизмъ чаще всего встръчается възкизни, какъ первая фаза развитія, съ одной стороны, у людей геніальныхъ, съ другой-у людей несчастныхъ и подавленныхъ, и вследствіе последней причины въ низшихъ слояхъ общества.

Во время самаго большого разгара своего аскетизма. Побролюбовъ, въ дневникъ своемъ, ежедневно вель списокъ всехъ своихъ прегрешений съ благочестивыми укоризнами себя и оканчивалъ эти списки словами: "Господи! Спаси мя, не остави мене погибающа! Вотъ образчикъ подобнаго рода самобиче-

7-го марта 1853 года, 1-й част пополудни.

«Нынъ сподобился я причащенія пречистыхъ таинъ Христовыхъ и принялъ намърение съ этого времени строже наблюдать за собою. Не знаю, будеть-ли у меня силь давать себъ каждый день отчеть въ своихъ прегрышенияхъ, но, по крайней мъръ, прошу Вога моего, чтобы онъ далъ мнй положить хотя начало благое. Воже мой! Какъ мало еще прошло времени, и какъ уже много лежить на моей совъсти! Вчера, во время исповёди, я осудиль духовника своего и потомъ скрылъ это, не покаялся; кромъ того, я сказалъ не всъ гръхи, и это не потому, что позабыль ихъ или не хотыль, но потому, что не ръшился сказать духовнику, что еще рано разръшать меня, что я еще не все сказаль. Потомъ я сътоваль на отца духовнаго, что онь не о многомъ спрашивалъ меня; но развъ я долженъ ожидать вопросовь, а не самъ говорить о своихъ прегрешеніяхъ? Только вышель я изъ алтаря, и сде-лался виновень въ страхъ человъческомъ, затёмъ человъкоугодіе и, хотя легкій, смѣхъ съ товарища-ми присоединились къ этому. Потомъ суетныя помышленія славолюбія и гордости, разсѣянность во время молитвы, леность въ богослужению, осужденіе другихъ-увеличили число гріховъ моихъ и т. д. и т. д.»

Но подобнаго рода аскетизмъ не былъ, впрочемъ, исключительнымъ и всеобъемлющимъ явленіемъ въ психической жизни юноши. Съ одной стороны, разнообразное чтеніе, съ другой-жизнь постоянно возбуждали въ немъ соотвътствующія впечатльнія и влеченія. Такъ, въ одно время съ вышеозначенными самобичеваніями, Добролюбовъ, по собственнымъ словамъ своимъ, "хотълъ походить на Печорина и Тамарина, хотель толковать, какъ Чацкій". Въ то-же время, читая списки греховъ, вы видите въ числе ихъ первые проблески тревожныхъ сомнъній, которыя все болье и болье начинають овладывать юношей, и тщетно онъ гонить ихъ отъ себя... Это уже начало втораго періода-сомніній, рефлексій и романтических в порываній. Въ этотъ періодъ съ презрѣніемъ и ненавистью начинаетъ смотреть юноша на всю окружавшую его пошлость губернской жизни. "Все пошло, глупо, мелко-восклицаетъ онъ въ своемъ дневникъ-ничто не удовлетворяеть порывовъ высокаго ума, глубоко чувствующаго сердца..."

Въ то-же время онъ мечтаетъ объ университетъ, о литературной славъ, и питаетъ глубокую, страстную привязанность къ прівхавшему, въ 1851 году, изъ Петербурга учителю немецкаго языка Ивану Максимовичу Сладкопъвцеву. Привязанность эта, хотя и

основанная, повидимому, на реальныхъ основаніяхъ, то-есть, на благотворномъ вліяніи Сладкопъвцева на развитие юноши, такъ не менфе носила чисто романтическій характеръ, соединяясь съ тою безотчетною влюбчивостью, какую нередко испытывають 17-тилътніе мальчики. Такъ, Добролюбовъ, еще не видя Сладкопъвцева, успълъ уже влюбиться въ него заочно, по однимъ слухамъ, распространивши свое обожание даже на внѣшность предмета любви:

«Сиутно я постигаль что-то прекрасное-говорить онъ въ письмѣ къ Сладкопѣвцеву-въ этомъ соединенін повятія: Орюнеть, изъ петербургской академін, молодой, благородный и умный... Не говоря уже о умі и благородстві, надо замітить, что я особенно люблю брюнетовъ, чрезвичайно уважаю петербургскую академію и молодыхъ профессоровъ предпочитаю старымъ. Я съ нетеривніемъ ждаль минуты, когда увижу васъ, и во все это время я чувствоваль что-то особенное... Чего ищещь, то обыкновенно скоро находишь; на следующій-же день я съ полчаса прогуливался по нижнему корридору и дождался-таки вась. Правду сказать, при моей близорукости, я не могъ хорошо разсмотръть вашей физіономіи; но и одинъ бѣглый взглядъ на васъ достаточень быль, чтобы произвести во мис самое выгодное впечатисніе. Я люблю эти гордыя, энергическія физіономіи, въ которыхъ выражается столько отваги, ума и мужества. Признаюсь, я нъсколько ошибся тогда, признавши васъ существомъ гордымъ и недоступнымъ; но это было тогда полезно миъ тъмъ, что я сталъ съ того времени считать васъ чёмъ-то высшимъ, неприступнымъ, передъ чёмъ я должень только благоговеть и смиренно посматривать на следъ, жалея, что не могу ваглянуть прямо въ

Это благоговъйное смотръніе въ слёдъ продолжалось не дни, не недёли, а мёсяцы и, повидимому, около года. Въ продолжении всего этого времени юноша обожалъ своего учителя издали, не смея и думать о томъ, чтобы сблизиться съ нимъ, издали онъ радовался и печалился, боялся и стояль горой за преднетъ своего обожанія. Когда случай, наконецъ, свель его съ Сладкопевцевымъ, онъ шелъ къ нему съ темъ трепетомъ, съ какимъ только ходятъ на первое свиданіе. Познакомившись со своимъ учителемъ. Добролюбовъ еще болве привязался къ нему.

«Что-то особенно привлекало меня къ нему-пишеть онъ въ дневникъ-возбуждало во миъ болъе, нежели просто привязанность-какое-то благоговъніе къ нему. При всей короткости нашихъ отношеній, я уважаль его, какъ не уважаль ни одного профессора, ни самаго ректора или архіерея-словомъ, какъ не уважалъ ни одного начальника. Ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ не ръшился бы я оскорбить его; просьбу его я считаль для себя закономъ. Вздумалъ-бы онъ публично наказать меня, я послушался-бы, перенесь наказаніе, и мое расположение къ нему нисколько-бы отъ того не уменьшилось... Какъ собака, и быль привязанъ къ нему, и для него я готовъ быль сдёлать все, не разсуждая о последствіяхъ, и пр...»

Но блаженный міръ золотыхъ мечтаній о славъ, наукъ, университетъ и упоеніе безкорыстнаго дътскаго обожанія-все это вскорѣ было разрушено самымъ безжалостнымъ образомъ. Жизнь бедняка такъ ужь складывается, что не даеть ему долго пребывать въ мірѣ романтическихъ иллюзій и скоро отрезвляеть, возвращая его на землю и заставляя его почувствовать всю мизерность окружающей его действитель-

ности.

Первыя разсёллись мечты объ университетв. Добролюбовъ долго не рашался заговорить съ отцомъ объ этомъ щекотливомъ предметъ; наконецъ, изъ косвенныхъ распросовъ онъ узналъ, что родителямъ его очень трудно, почти невозможно содержать его во время университетского курса. Тогда ему пришлось отложить въ сторону свои мечты и утвшать себя, въ замень ихъ, темъ, чтобы выйти годомъ раньше изъ семинарін и поступить въ петербургскую духовную академію. Мечты объ авторствъ, въ свою очередь, начали колебаться.

«Главнымъ образомъ-пишеть онъ въ дневникъсоблазняеть меня авторство, и если мит хочется въ Петербургъ, то не по желанію видёть сѣверную Пальмиру, не по разсчетамъ на превосходство столичнаго образованія: это все на второмъ плань, это только средство. На первомъ-же планъ стоить удобство сообщенія съ журналистами и литераторами. Прежде я безотчетно увлекался этою мыслію, а теперь уже начинаю подумывать, что

То кровь кипить, то силь избытокъ...

Надежда на журналистовъ для меня очень плока, потому что, не доучившись годъ въ семинаріи, я въ академіи долженъ буду заниматься очень сильно, и времени празднаго у меня не будеть, и, притомъ, я не знаю новыхъ языковъ, следовательно, переводное дёло уже не по моей части, а иначе какъ начать?»

Вижсть со всемь этимъ потерижла жестокое испытаніе и привязанность Добродюбова къ учителю. Сдадкопъвцева перевели въ Тамбовъ-и эта уграта, разомъ осветивши всю бедность, монотонность и безпомощность жизни юноши, довела его до крайней степени отчаянья и ожесточенія.

«Боже мой! — пишеть онъ въ дневникъ — люди пристращаются къ красотамъ природы, къ картинамъ, статуямъ, деньгамъ, и они не имъють препятствій для наслажденія ими. Всь эти вещи могуть принадлежать имъ, быть ихъ неотъемлемою собственностью, если только не принадлежать всемь, что также не мъщаеть всякому наслаждаться ими... Чёмъ-же виновать я, что привизиваюсь къ челові-ку, превосходнёйшему творенію Божію? Чёмъ я несчастяннь, что моя душа не любить ничего въ мірь, кромь такой-же души? Ужели преступленіе то, что и инстинктивно отгадываю умъ, благородство, доброту человъка и отгадавши, већми сидами души привязываюсь къ нему? И за что-же наказывать меня, за что отнимать у меня счастіе, когда оно такъ чисте, невинно и благородно? Сколько ни имъй я привязанностей, всегда злая судьба умчить оть меня далеко любимый предметь, и въ душт тоскливое воспоминание и горькое сознание своего отчаянія... Я рожденъ съ чрезвычайно симпатичнымъ сердцемъ: слезы сострадательности чаще всъхъ, бывало, вытекали изъ глазъ моихъ. Я никогда не могъ житъ безъ любви, безъ привизанности къ ко-му бы то ни было. Это было такъ, что и себя не запомню. Но эта постоянная насмішка судьбы, по которой всё мои надежды и мечты обыкновенно разлетались прахомъ, постоянно сущить и охлаждаеть мое сердце, и нътъ ничего мудренаго, что скоро оно будеть твердо и холодно, какт камень. Воть хоть бы и теперь — что вдругь понадобилось Ивану Максимовичу въ Тамбовъ Чъмъ ему нехорошо здёсь? Что за обстоятельства? А между тёмь, и страдаю, и еще какъ страдаю — тъмъ болье, что мив этого ни передъ къмъ нельзя высказать: всъ стануть смъяться. Я бъщусь только внутренно, и произношу тысячу проклятій. Но какія проклятія, какія слова выразять то, что я чувствую теперь вы глубины души моей! Я пробоваль всё энергическія

восклицанія русскаго народа, которыми онъ выражаєть свои сильния ощущенія, но все, что я знаюслабо, не выражаєть... и я по-прежнему взволнованъ, и по-прежнему въ душѣ моей кипитъ и бурлить страшное безпокойство. Я теперь надѣлаль бы чорть-знаеть что, весь мірь первернуль бы вверхь дномъ, выцарапаль бы глаза, откусиль бы пальцы тому... который подписаль увольненіе Ивана Максимовича. Но, увы! это ни къ чему не поведеть; и миѣ остается только стараться смирить свои бѣшеные порывы»...

Вст эти разочарованія привели Добролюбова къ мучительному сознанію своего ничтожества передъ обстоятельствами, которыя, какъ будто нарочно, смѣялись надъ бёднякомъ, разрушая въ прахъ его самыя завѣтныя мечты и вертя имъ по какому-то слѣпому произвелу. Тяжелое уныніе и апатія были слѣдствіемъ этого сознанія.

«А совершенно опустился—пишеть Добролюбовь объ этомъ своемъ состояни—ничего не дѣлаль, не писаль, мало даже читаль... Что-то такое тяготимо меня и, указывая на всю суету мірскую, говорило: къ чему? Что тебя здѣсь ожидаеть? Тебѣ суждено пройти незамѣченнымъ въ твоей жизни и при первой попиткѣ выдвинуться изъ толим, обстоятельств, какъ ничтожнаго червя, раздавять тебя... И ничего ты не сдѣлаець, ничего не можешѣ ты сдѣлать, не смотря на всю твою самонадѣянность, и припомнился мнѣ жолчный стихъ Лермонтова:

Не върь, не върь себъ, мечтатель молодой!..»

Это былъ кризисъ, послѣ котораго энергія воскресла съ новою силой и напряженностью, но это была уже не энергія романтическихъ мечтаній и безогчетныхъ порывовъ, а сознательной борьбы съ гнетущим постоятельствами. Вѣднякъ впервые трезво взглянулъ на свое положеніе и созналъ, что даромъ ему ничего не дается, что достигиуть чего-нибудь окъ можетъ только усидчивымъ, кропотливымъ трудомъ, и въ немъ появились первые ростки новаго идеала — идеала положительнато труженика, который энергически стремясь къ возвышеннымъ цвлямъ, не пренебрегаетъ, въ то-же время, матеріальными условіями жизни, сознаетъ ихъ неотразимость и старается принимать ихъ въ соображеніе при каждомъ своемъ шатъ:

«Тогда я все собирался вхать въ университетьпишеть онь объ этой перемёнё въ началё 1853 года-и между тъмъ, ничего не дълалъ; ныньче мои предположенія опредёленніе, й я готовлюсь ихъ выполнить. Тогда мнв представлялось, что въ университеть лучше учиться, чымь въ ажадеміи. Но я считаль тогда совершенно излишнимь думать о томъ, что будетъ по окончании курса; теперь я подумаль объ этомъ и нашель, что разница между тымь и другимь самая малая, а между тымь, сберегается въ четыре года около 1,000 р. сер.—вещь немаловажная. Кромъ того, замътно даже миъ самому (впрочемъ, это не диво: я люблю наблюдать надъ собою), что я сдълался гораздо серьезнъе, положительные, чемъ прежде. Бывало, я хотель все исчислить, все понять и узнать; науки казались миъ лучше всего, и моей страстью из книгам я хотыль доказывать—для самого себя—безкорыстное служе-ніе и природное призваніе къ наукѣ. Нынѣ я въ своихъ мечтахъ не забываю и деньги и, разсчитывая на славу, разсчитываю вивств на барыши, хотя еще не могу отказаться оть плана-употребить ихъ, опать-таки, для пріобрътенія новой славы. Страсть мою къ книгамъ я не называю ныньче влеченіемъ къ наукъ, а настоящимъ он именемъ, и вижу въ ней только признакъ того, что я большой библіофилъ, потому что я люблю книги, какого бы рода онѣ ни были, и сгораю желаніемъ, увидя книгу, не узнать то, что въ ней написано, но только узнать, что это за книга, какова и проч. Самому чтенію какой-бы то ни было книги я, большею частью, предаюсь только для удовольствія сказать себі: читаль то и то; эта, и другая, третья, и десятав книгаль то и то; эта, и другая, третья, и десятав книгаль то и то; эта, и другая, третья, и десятав книгаль то и то; эта, и другая, третья, и десятав книгаль то и то; эта, и другая, третья, и десятав книгаль то и то; эта, и другая, третья, и десятав книгаль то и то; эта и премоущегевенно страть быбліографіи и журнальным замітки. Недавно присоединилось сюда и другое побужденіе: я читаю иное для того, что это пригодится на пріємномть явзамень. Далье я пока не простираюсь. Литературныя ціли мон достигаются пока только записываньемъ в писаньемъ».

Рядомъ со всемъ этимъ повліяло на Добролюбова и чтеніе белдетристовъ сороковыхъ годовъ. Какъ ни узокъ былъ кругъ ихъ художественныхъ образовъ, какъ ни мелки и жалки были ихъ положительные идеалы, какъ, наконецъ, ни отстало было ихъ міросозерцаніе, но, темъ не менье, различные отголоски идей сороковыхъ годовъ постоянно отзывались въ ихъ произведеніяхъ. Въ то-же время они не переставали выставлять во всемъ безобразіи героевъ растленнаго эпикуреизма праздной жизни своей среды. Отвращение, возбуждаемое этими героями, было темъ сильнее, что изображение ихъ носило совершенно субъективный характеръ. Писатели любили своихъ героевъ, выставляли ихъ нередко, какъ лучшихъ представителей своей среды и, темъ не мене, обнаруживали всю ихъ несостоятельность, рефлектируя и плача вибств съ ними надъ несостоятельностью всей своей среды. Такими самоизгрызеніями бедлетристы сороковыхъ годовъ сами внушали въ молодомъ поколѣнін то отвращение отъ всехъ прежнихъ идеаловъ, за которое они впоследстви напали на это молодое поколение... Такому вліянію беллетристовъ сороковыхъ годовъ подвергся и Добролюбовъ.

«Въ началѣ прошлаго года — пишеть онъ все о томъ-же своемъ возрождении - я какъ-то все сбивался: хотъть походить на Печорина и Тамарина, хотёль толковать, какъ Чацкій, а между тёмъ, представлялся какимъ-то Вихляевымъ и особенно похожъ былъ на Шамилова. Изображение этого человъка глубоко укололо мое самолюбіе, я устыдился, и если не тотчасъ принялся за дело, то, по прайней мара, созналь потребность труда, пересталь заноситься въ высшія сферы, и мало-по-малу исправляюсь теперь. Конечно, много здёсь подъйствовало на меня и время, но не могу не сознать, что и чтеніе «Богатаго Жениха» также способствовало этому. Оно пробудило и опредблило для меня давно спавшую во мнт и смутно понимаемую мною мысль о необходимости труда, и показало все бе-зобразіе, пустоту и несчастіє Шамиловыхъ. Я отъ души поблагодариль Писемскаго. Кто знаеть, можеть быть, онъ помогь мнв, чтобъ я со временемъ лучше могь поблагодарить ero!?...».

Следствіемъ подобнаго возрожденія энергін и обращенія ея къ труду и положительнымъ целямъ было то, что въ томъ-же году уже Добролюбовъ им'єлъ возможность выйти изъ семинаріи за два года до окончанія курса и, въ августі 1853 года, онъ отправился въ Петербургъ держать пріемный экзамень въ санктпетербургскую духовную академію. Но въ Петербургъ онъ узналъ о возможности поступить въ педагогическій институтъ и поступилъ туда, такъ какъ институтъ, при всёхъ своихъ недостаткахъ, все-таки, ближе подходиль къ университету во всёхъ отношеніяхъ, чёмъ академія. Поступивши въ ниститутъ, на казенный, конечно, счетъ, Добролюбовъ избралъ, такъ сказатъ, средній путь: удовлетворилъ, на сколько возможно, своимъ мечтамъ объ университетъ и, въ тоже время, избавилъ своихъ родителей отъ необходимости содержать его.

По прівзді въ Петербургъ и по поступленіи въ институть, развитіе Добролюбова пошло еще, конечно,

бъстръе. Онъ весь углубился въ книги.

«Онъ читалъ, читалъ всегда и вездѣ, по временамъ внося содержаніе прочитаннаго (хота онъ и безъ того хорошо помнить) въ имѣвшуюся у него толстую въ зафавитномъ порядкѣ библіографическую тетрадь — говоритъ товарищъ Добролюбова, Радонежскій, въ своихъ воспоминаніяхъ объ институтскихъ годахъ Добролюбова — въ столѣ у него било столько разнаго рода замѣтокъ, рѣдкихъ рукописей, тетрадей, корректуръ, держа которыя въ первое время онъ заработавалъ себѣ копѣйку, въ шкапу столько книгъ, что и ящикъ въ столѣ, и полки въ шкапу хомилисъ».

Это исключительное погружение въ міръ науки и идей отражалось, какъ въ письмахъ Добролюбова, такъ и во всехъ его отношенияхъ къ людямъ.

«Въ его первыхъ письмахъ изъ Пет рбурга — говорить Лебедевъ въ своихъ воспоминаніяхъ — выражалось совершенное невнимание къ красотамъ столины, полное хладнокровіе къ нимъ, которое онъ заметно старался передать и темъ, кто требоваль отъ него подробныхъ описаній. А какъ у семинастовъ водится описывать всякій городь, куда метнеть ихъ судьба учиться, то молчаніе Добролюбова было очень непріятно для его товарищей. Нашлось довольно людей, которые, нисколько не сговариваясь между собой, прямо осудили его за то, что онъ корчить изъ себя ужь очень умнаго человъка, на котораго, будто, не действуеть никакая внешность. Упреки въ гордости, въ невнимательности къ товарищамъ и тому подобное носыпались отовсюду. За то безъ всякой просьбы съ ихъ стороны, Николай Александровичь дёлился съ знакомыми тёми иденми, какія онъ встрётиль или развиль въ институть; онъ высылаль целыя тетрадки записокъ, печатные листки по почть, или съ върными людьми къ нъкоторимъ знакомымъ, къ профессорамъ; онъ зваль ихъ на честную, благую дъягельность, рисоваль имъ идеалы обязанностей, преимущественно священническихъ; въ прівады въ Нижній онъ довершалъ такія сношенія лично ...

Такимъ образомъ, вы видите, что уже въ семнадцать леть изъ Добролюбова выработался энтузіасть, по самозабвенія преданный идеямъ, развитію себя и другихъ, стремленію осуществлять въ жизни высокіе идеалы и побуждать къ этому ближнихъ. Уже съ семнадцати леть онь привыкаеть къ серьезному отношенію къ жизни, ищетъ всюду пользы и содержанія, дѣдается врагомъ безцъльныхъ созерцаній и чувствоизліяній, всябдствіе чего, находя излишнимъ пускаться въ описаніе красотъ столицы, спішить поділиться съ товарищами своими идеями. И во всемъ этомъ вы не видите ни капли чего-либо напускнаго, навъяннаго извив. Такъ выработала и направила молодаго человека сама жизнь со всеми своими невзгодами, преиятствіями, разочарованіями, лишеніями, униженіями и прочими прелестями положенія біднаго семинариста, самостоятельно пробивающаго себъ дорогу безъ всякихъ протекцій и какихъ-либо постороннихъ поддержекъ.

А жизнь не переставала наносить ему ударъ за ударомъ, все болъе и болъе напрягая его энергію въ борьбъ съ обстоятельствами, раскрывая ему глаза на всю безпомощность положенія массы такихъ бъдняковъ, какъ онъ, ожесточая его и не давая ни минуты отдохнуть и забыться въ какихъ-нибудь успокоительныхъ мечтахъ и сладкихъ иллюзіяхъ. Не прошло и году по поступлении его въ институтъ, какъ вдругъ умерла у него мать. Не успаль онъ оправиться отъ страшнаго потрясенія, какое произвела на него утрата этого нежно любимаго имъ друга детства, какъ вследъ за матерью пошелъ въ могилу и отецъ, оставивши посл'в себя все семейство въ крайней нищетъ, къ тому-же, обремененное тяжкими долгами, въ которыхъ старикъ запутался, вздумавши передъ своею смертію строить домъ, не имъя на это надежнаго капитала. На рукахъ студента перваго курса осталось семейство изъ ияти сестеръ и двухъ братьевъ. Въ отчаяны Добролюбовъ наміревался уже бросить институтъ и искать м'еста увзднаго учителя въ своемъ городъ, и едва только уговорили его родные, знакомые и товарищи отказаться отъ этого намеренія, доказавъ ему, что скуднымъ жалованьемъ убеднаго учителя онъ не въ силахъ будеть содержать свое семейство, для самыхъ выгодъ которато необходимо, чтобы онъ кончиль курсь въ институть. Ему представили также, что три года, оставинеся ему до окончанія курса, сестры и братья его будутъ безбъдно жить - одни у родственниковъ, другіе у некоторыхъ изъ прихожанъ, уважавшихъ его отца. Такъ было и сдълано. Но Добролюбовъ былъ слишкомъ гордъ и независимъ, и не могъ допустить, чтобы его братья и сестры существовали исключительно милостью другихъ; къ тому-же, родные его были сами люди небогатые, и Добролюбовъ принужденъ былъ, не щадя себя, работать день и ночь; сверхъ своихъ институтскихъ занятій онъ началъ давать уроки, доставать переводы, и такимъ образомъ пріобраталь деньги на содержаніе сестерь и братьевь

Это семейное несчастіе повліяло какъ на здоровье Добролюбова, такъ и на всё его нравственныя и умственныя уб'яжденія.

Начать съ того, что смерть матери такъ сильно подъйствовала на основы его міросозерцанія, что послі этой катастрофы совершился окончательный перевороть, разрушившій всі его дітскія уб'яжденія.

— За что такъ строга судьба? говориль онъ однажды Радонежскому: — матушка моя была такъ религіозна... такъ набожна... и такъ необходима малолътней семь нашей... Зачъмъ было отнимать ее у насъ?.. Поневолъ задумаешьси...

— Неужели-же разстояніе между нами такъ непроходимо, что и материнское сердце не услышить мольбы страдающаго сына?—пишеть онъ въ вышеприведенномъ обращени къ умершей матери—нии я въ самомъ дъй долженъ думать, что ты не существуещь болёе и что я тоже машина...

Вмъсть съ нереворотомъ основнихъ убъжденій, переворотомъ, въ которомъ жизнь участвовала не менъе, если не болъе книги, совершился подъ вліяніємъ той-же катастрофы окончательный закалъ его правственныхъ и общественныхъ стремленій.

Первый ныль отчаянья, во время котораго Добро-

любовъ говорилъ своимъ роднымъ, что на что ему и жизнь-то теперь, развѣ только для братьевъ и сестеръ, для которыхъ онъ еще лѣтъ пять-шесть поживетъ, сифнился сдержаннымъ, холоднымъ и тѣмъ болѣе мрачнымъ ожесточеніемъ.

— Въ концѣ августа — говоритъ Радонежскій — на обратномъ пути изъ дома въ Петербургъ, я встратилъ Добролюбова на желѣзной дорогѣ, уже ъхавшаго на этотъ разъ съ какимъ-то бариномъземлякомъ во II классѣ.

— Что новаго у васъ, Николай, въ Нижнемъ?

Отецъ умеръ, отвѣтилъ онъ.

Въ холодномъ тонъ отвъта, сказаннаго Добролюбовымъ съ яввительною удыбкой, мит послышалось проклатіе, посланное судьбъ... Да, онъ смъядся, сообщая мит эту грустную новость, но такъ смъядся, что меня покоробило...

Эта холодная, явительная улыбка, скрывающая за собою ёдкую горечь, негодованіе и озлобленіе, сдёлалась посл'є того основною чертой характера Добролюбова, отразившеюся впосл'єдствім во всёхъ его сочиненіяхъ.

Другою, столь-же основною чертой характера Добролюбова сдёлалась нетериимость ко всяким'я безотчетнымъ восторгамъ и безпёльнымъ радостямъ, нетериимость, если хотите, н'ясколько аскетическая, но весьма понятая для челов'яса, которому въ 18 л'ятъ жизнь успёла насолить столько, сколько насолила она Добролюбову. Такова естественная логика б'ядняка: тяжела жизнь для большинства смертныхъ, все въ ней какъ будто нарочно, на вло, по какой-то безчелов'ячной насм'яшк'й судьбы устроено такъ, чтобы существованіе тысячъ было подавлено, искажено, отравлено ради благополучія н'ёсколькихъ избранниковъ. До см'яху-ли и веселыхъ п'ёсенъ при взглядв на подобное зрёлище? И такъ:

— Радонежскій! перестанешь-ля ты сердечные романсы распівать? вскричаль однажды Добролюбовь своему товарищу; —ужели ты не имбешь въ запасів для півнія чего-нибудь получше? На, воть, пой... И Добролюбовь сунуль своему товарищу стихотворенія Некрасова: "Оставь, пожалуйста, любовь и цвіты, пой "жизнь" или плачь: это одно и то-же—ну, свисти!" И при этомъ единственная пісня, которую Добролюбовь любиль и часто просиль Радонежскаго спіть ее была: "Не слышно шуму городскаго".

Но было-бы дожно дунать, чтобы эта энергія ожесточенія, направившая всё силы Добролюбова на борьбу съ различными прачными элементами жизни, не ослабевала ни на минуту, чтобы нервы его были постоянно одинаково напряжены и чтобы 18-ти-лътвій юноша обратился въ какую-то безчувственную машину, направленную въ одну сторону. Жизнь постоянно представляла юношт свои различныя приманки и искушенія. Молодая, кипучая натура заявляла о своихъ требованіяхъ. Силы, направленныя къ одной цёли, ослаб'євали порой: тогда являлась живая потребность покоя, отдыха, наслажденій. Но, вибств съ тімь, въ полодомъ человікі возникаль страхь опуститься, потерять энергію, упустить изъ виду главную цёль жизни, утратить благородную злобу, помириться съ жизнію, и начиналась внутренняя борьба, подобная

той, какую испытываль Гамлеть между любовью къ Офеліи и сыновнимь полгомь мести.

«Странное дёло-нишеть Добролюбовь въ своемъ дневникъ въ одну изъ подобныхъ минутъ-нъсколько дней тому назадъ я почувствоваль въ себъ возможность влюбиться; а вчера, ни съ того, ни съ сего, вдругъ мит пришла охота учиться танцовать. Чорть знаеть, что это такое. Какъ-бы то ни было, а это означаеть во мий начало примиренія съ обществомъ. Но я надъюсь, что не поддамся такому настроенію: чтобы сдълать что-нибудь, я долженъ не убаюкивать себя, не дълать уступки обществу, а напротивъ, держаться отъ него дальше, питать жолчь свою. При этомъ разумбется, конечно, что я не буду дѣлать себѣ насилія, а стану ругаться только до тѣхъ поръ, пока это будеть занимать меня и доставлять миѣ удовольствіе. Дѣлать то, что мит противно, я не люблю. Если даже разумъ убъдить меня, что то, къ чему имъю я отвращение, благородно и нужно, и тогда и сначала стараюсь пріучить себя къ мысли объ этомъ, придать болъе интереса для себя этому дълу-словомъ, развить себя до того, чтобы поступки мои, будучи согласны съ абсолютною справедливостью, не были противны и моему личному чувству. Иначе, если и примусь за дёло, для котораго я еще недовольно развить, и следовательно, не гожусь, то, во-первыхъ, выйдетъ изъ него-«не двло, только мука», а во-вторыхъ, никогда не найдешь въ своемъ отвлеченномъ разумъ столько силъ, чтобы до конца выдержать пожертвование собственною дичностью отвлеченному понятію, за которое быешыся».

«Жизнь меня тинеть къ себъ, тянетъ неотразимо пинетъ Добролюбовъ въ другомъ мѣстѣ—бѣда, если в встрѣчу теперь хорошенькую дѣзушку, съ которою близко сойдусь—влюблюсь непремѣню и сойду съ ума на иѣкоторое время... И такъ вотъ она начинается, жизнь-то... Воть время для разгула и власти страстей... А и, дурачекъ, думалъ въ своей педагогической и метафизической отвлеченности, въ своей кинжной сосредоточенности, что уже я «пережилъ свои желаньи и разлюбилъ свои мечты». Я думалъ, что войду на поприще общественной дѣятельности чѣмъ-то въ родѣ Катона безстрастнаго или Зенона Стоика. Но вѣрно жизнь возьметъ

CB06...)

Одновременно съ этими бореніями и совершенно согласно съ ними окончательно выяснился и выработался въ умѣ Добролюбова тотъ новый идеалъ труженика, о которомъ мы говорили въ началѣ этой главы. Увлекшись этимъ идеаломъ, Добролюбовъ вознамѣрился выставить его въ романѣ, за писаніе котораго съ жаромъ принялся онъ въ 1855 году. Вотъ какія любопытных свѣдѣнія сообщаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Радонежскій объ этомъ романѣ;

«Если не ошибаюсь, въ февралѣ 1855 года, я отправился въ лазареть. Въ лазаретѣ я нашелъ Добролюбова здоровымъ. Онъ по вечерамъ тамъ чтото писалъ и записывался иногда далеко за полночь. Я полюбопытствоваль спроситъ: что тм иншешь, Ни-

...?йакол

«—А воть слушай. И онъ мий прочель отрывокь изъ предполагаемаго романа. Отрывокъ этоть составлять первыя главы. Въ нихъ, помню, дёле шло о воспитании двухъ мальчивовъ. Одинъ изъ нихъ былъ аристократенокъ—маменькинъ сынокъ, другой пріемишъ—соединенный братъ, служивший компаньономъ барченку... Мий особенно памятны тѣ страницы, гдѣ авторъ говорить о деспотическихъ отношенихъ перваго къ послъднему, и сцена, гдѣ малъчикъ пріемишъ-сирота однажды отдалъ встрѣченной имъ на улипѣ дѣвушкѣ-ницей, босой, съ окровавъченными ногами, свои сапоги, за что барына-матъ больно высѣкла своего пріемнаго сына... Я долго

слушаль этоть разсказь, полный горячаго сочувствія къ сироть и читанный Добролюбовымь съ большимъ одушевленіемъ... На глазахъ у меня навернулись слезы. Потомъ эти мальчики были отданы въ одно заведение учебное, вићетѣ училиеь, кончили курсъ удачно. Барченокъ жилъ и училел съ протежцей... Сирота—самъ собою, безъ помощи, всегда въ борьбъ съ нуждой и людьми, подъ вліяніемъ чего характерь последняго выработался симпатичный, твердый, самостоятельный. Чтеніе, помню, кончено было (тутъ-же быль и конець рукописи будущаго большаго романа) на томъ мѣстѣ, гдѣ эти два герон начинають служебную карьеру, какъ и следовало ожидать, различными путями. Маменькинъ сынокъ поступаетъ подъ крыло какого-то директора департамента, а сирота самъ гдв-то находить для себя мъсто... Заглавія этого романа мив тогда Добролюбовъ не сказалъ, въроятно, и самъ еще не зналъ, какъ его назвать; но замътилъ мнъ, что пишется легко, что вовсе не такой трудъ, какъ онъ прежде думаль, писать повъсти... Кажется, этой повъсти или романа нокойный Добролюбовъ такъ и не кончилъ».

Надо-ли прибавлять, что въ этомъ сиротѣ, пробивающемъ стмостоятельную дорогу, Добролюбовъ изобравилъ самого себя. Вмѣстѣ съ выработкой подобнаго идеала, онъ, естественно, сдѣлался ожесточеннымъ врагомъ всякой мишуры, рисовки, нарядныхъ мундировъ, ловкихъ поклоновъ и заискивающихъ ульбокъ, пшкалъ въ театрѣ Максимову за его слишкомъ усердныя раскланиванъя съ публикой, чуть не побилъ товарища, высказавшагося противъ освобожденія крестъянъ при первыхъ слухахъ объ эмалсипаціи. Наконецъ, въ то-же время начали въ немъ бродить идеи въ родѣ той, какъ бы хорошо было уничтожить неравенство состояній, дѣлающее, по собственнымъ словамъ его, всѣхъ несчастными.

Но надо зам'ятить, что и при пресл'ядовании этого новаго идеала бывали въ жизни Добролюбова свои реакціи, свои тревоги и сомн'янія, въ которыя ему вдругъ начинало казаться, что вн'яшность и свътская мишура составляють н'ячто такое необходимое въ жизни, безъ чего онъ потибнеть. Въ такія минуты Добролюбовъ, забывая о своихъ новыхъ идеалахъ, становился въ положеніе т'яхъ б'ядняковъ сороковыхъ годовъ, которые, какъ мы говорили выше, терзались своимъ ничтожествомъ среди свътскаго общества.

«Мы остались вдвоемь съ В. А. и я сталь ей гопорить совершенно беззастънчиво о своей застънчивости, неловкости, незнании свътскихъ приличий, неумъньи держать себя въ обществъ и т. п.—говорить Доброльбовъ въ одномъ мѣстъ своего дневника: она согласилась, что я, дъйствительно, не боекъ, но утъщала меня тъмъ, что всъ означенныя достоинства находятся во мив не въ столь высокой степени, какъ и думаю. А въ самомъ дѣлъ, какоето ужасающее сходство нашелъ я въ себъ съ Чулкатуринымъ. Я былъ виъ себя читяя разсказъ; сердце мое билось сильнъе, къ глазамъ подступали слезы, й мив такъ и казалось, что со мной непремънно случится, рано или повдно, подобная исторія. Чувства-же, подобния чувствамъ Чулкатурина на балъ, мив приходилось не разъ испытивать...»

Вотъ каковъ былъ Добролюбовъ передъ началомъ своей литературной дѣятельности. Таковъ былъ въ истинномъ смыслѣ этого слова типическій представитель молодаго человѣка той новой среды, которая выступила на поприще умственнаго движенія въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Безъ сомиѣпія, многіе молодые

люди изъ этой среды, прочтя біографическія свёдёнія о Добролюбовъ, найдутъ въ различныхъ чертахъ его характера, жизни, во многихъ его чувствахъ, думахъ и тревогахъ много знакомаго и общаго съ собою. Оттого-то Добродюбовъ и можетъ быть названъ вполнъ типическимъ героемъ своего времени, и нельзя не послать упрека нашимъ беллетристамъ, что, измышляя различныхъ Базаровыхъ да Волоховыхъ, они упустили изъ виду заглянуть хотя бы въ "Современникъ" 1862 года № 1-й, гдѣ помѣщены "Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова", изъ которыхъ мы заимствовали вышензложенныя свъдънія. Эти матеріалы показали бы имъ, что передумалъ и перечувствовалъ молодой человакъ новаго поколенія въ своемъ развитін, и каковъ онъ на самомъ дёлё, въ живой дёйствительности, въ лицъ своего наиболъе типичнаго представи-

XVI.

Начало литературней двятельности Добролюбова.— Добролюбовь, какъ воекреситель идей сороковыхъ годовь.—Реальныя основанія его міросоверцанія.— Зестетическій воззрѣнія.—Преобладаніе публицистики надъ кретикой въ статьяхъ Добролюбова.—Характеръ публицистической двятельности Добролюбова.—Ворьба противь господства авторитета и влінній крѣностнаго права.—Обличеніе отсутствія народныхъ интересовъ, безсилія и мелочности въ литературѣ.—Положительные идеалы Добролюбова,—Выставленіе типа молодаго поколѣнія противъ типа людей сороковыхъ годовъ.—Исканіе цѣльныхъ характеровъ въ народѣ.—Въра въ живыя слам народа и противупоставленіе ихъ драблости интеллигентной среды.—Заключеніе о Добролюбовъ.—Общіе выводы и положенія изъ всего трактата.

Уже въ началѣ 1855 года Добролюбовъ познакомился и вошелъ въ сношенія съ однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ "Современника". Радонежскій говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что Добролюбовъ отправился со своею неоконченною повѣстью, о которой была рѣчь въ предъидущей главѣ, къ этому сотруднику, и тотъ прямо и положительно сказалъ Добролюбову, чтобы онъ не совался въ беллетристику, что онъ пишетъ не повѣсть, а критику на сцены, имъ самимъ придуманныя. Надо полагать, что этотъ приговоръ сотрудника "Современника" окончательно направилъ Добролюбова на тотъ путь, на который онъ не замедлилъ вскорѣ послѣ того выступить.

Такъ, лѣтомъ 1856 года, за годъ до окончанія курса въ педагогическимъ институтѣ, Добролюбовъ отдалъ въ "Современникъ" историко-дитературную статью о "Собесѣдникъ любителей русскаго слова" и вскорѣ потомъ разборъ "Акта главнаго педагогическаго института". Въ объихъ этихъ статьяхъ Добро-любовъ выступилъ не такъ, какъ обыкновенно выступаютъ начинающіе писатели, то-есть, съ задатками будущаго таланта, но въ то-же время съ неопредѣленными, шаткими взглядами и подъ вліяніемъ предмественниковъ и учителей; напротивъ, онъ сразу явися передъ публикой во всей силѣ и зрѣлости таланта, вполнъ сформировавшагося; будучи студентомъ 3-го курса, онъ уже стоялъ впереди своего въка и первыя статьи его являются передъ нами писколько

не слабе последнихъ, писанныхъ передъ смертью. Такъ, въ статът объ актт вы видите ту-же спокойную, сдержанную и тъмъ болъе безпощадную иронію, какую можете встрётить въ последнихъ статьяхъ "Свистка". Въ статъв о "Собеседнике" васъ поражаетъ громадная начитанность Добролюбова: вы видите, что онъ усиблъ уже изучить всю русскую литературу съ Ломоносова и до новъйшаго времени, и изучиль ее не поверхностнымъ диллетантскимъ способомъ, а чисто ученымъ, до мельчайшихъ библіографическихъ подробностей. Такое изученіе по истинъ поразительно въ 19-ти-летненъ юноше, особенно, если принять во вниманіе, что у него, сверхъ этихъ ученыхъ трудовъ, были на шев казенныя институтскія зянятія, да семья, для обезпеченія которой онъ долженъ быль заработывать матеріальныя средства. Въ то-же время статья о "Собеседникъ" показываетъ вамъ, что Добролюбовъ вполнъ уже усвоилъ весь духъ и всё результаты движенія сороковыхъ годовъ, что и поставило его сразу впереди своего въка, стоявшаго, какъ мы уже говорили, сзади этихъ результатовъ. Такъ, въ самомъ началъ статън, онъ прямо нападаетъ на узкоспеціальное, библіографическое направленіе современной критики, сравнивая ее съ критикой сороковыхъ годовъ.

«За 15—20 лёть передь этимь—говорить онь ко всему хотёли прилагать эстетическія и философскія начала, во всемъ искали внутренняго смысла, всякій предметь оценивали по тому значенію, какое имъетъ онъ въ общей системъ знаній или между явленіями д'вйствительной жизни. Тогда господствовали висшіе взгляды, тогда старались уловить духъ, характеръ, направленіе, оставляя въ сторонъ мелкія подробности, не выставляя на показъ всёхъ данныхъ, а выбиран изъ нихъ только наибояве характерныя: Тогда критика обыкновенно рисовала намъ прежде всего фасадъ зданія, потомъ представляла намъ его планъ, говорила о матеріа-лахъ, изъ которыхъ оно построено, разсказивала о внутреннемъ устройствъ и, затъмъ, анализировала впечативніе, которое производить это зданіе. Нынъ это дълается не такъ. (Разумъется, здъсь-прибавляеть при этомъ Добролюбовъ въ выносвъ-большинство случаевъ, изъ которыхъ съ прошедшаго года начали появляться пріятныя исключенія). Прежле всего намъ показывають отдельно каждый кирпичъ, каждое бреню, каждый гозодикъ, употребленный при постройкъ дома, разсказывая подробно, гдъ каждый изъ нихъ купденъ, откуда привезенъ, гдъ дежаль до того времени, какъ заняль свое настоящее мъсто. Затъмъ, занимаются изслъдованіемъ, на сколько, къмъ и какъ обрубленъ и обсъченъ сирой матеріаль, приготовленный для стройки. Наконець, представляють смёту, сколько эти матеріалы стоили во время самой постройки и сколько они теперь стоють. Теперь дорожать каждымь мальйшимь фактомъ біографіи и библіографіи. Можно надвятьсяговорить далее Добролюбовь—далеко уйдеть съ ними молодое покольніе. Много эта критика сообщить ему живыхъ воззрёній, много породить отрадныхъ, прекрасныхъ явленій въ области умственной жизни, много подъйствуеть на развитие общества... Пусть библіографы—заключаеть Добролюбовь эту карактеристику современной ему критики—съ презрвніемъ отвернутся отъ моего труда; пусть люди, ищущіе все только фактовъ, голыхъ, сырыхъ фактовъ, пусть они обвиняють меня въ недостаткъ научнаго, моральнаго изследованія, въ пристрастіи къ общимъ вглядамъ, пусть мой трудъ покажется имъ неосновательнымъ, пустымъ, легкимъ. Я не боюсь обвиненія и надіюсь найти защиту передъ

читателями именно въ легкости моего обозрвнія. Я вебям силами старался сврыть черную работу, которая положена въ основаніе зданія, снять вей явласа, по которыму зазиль я во время стройки, потому что почитаю ихъ совершенно налишними украшеннями. Я старался представить выводы, результаты, итоги, а не частные счеты, не множителы и двантелы. Можеть быть, отъ этого трудъ мой потреметь назучное достоинство, но за то его можно будеть читать, а я хочу лучше служить для чтения, нежели для справокъ...» (см. С. Д., т. І, стр. 1—4 *).

Въ концъ сороковыхъ годовъ, такія иден, конечно, никого не удивили бы; напротивъ того, возбудили бы всеобщее сочувстве. Но такова была отсталость общества въ пятидесятые годы, что въ этихъ самыхъ идеяхъ большинство общества, въ особенности-же солидные и строгіе аденты различныхъ спеціальностей, видели дерзкое глумление надъ наукой и легкомысленное отрицание ея. Даже самое невинное участие въ журналь, помъстившемъ эти двъ первыя статьи Добролюбова, котя и безъ подписи его имени, могло навлечь на Добролюбова всевозможныя непріятности въ институть. Поэтому, Добролюбовь должень быль отложить свое сотрудничество въ "Современникъ" до окончанія курса. Въ послъдній годъ пребыванія своего въ институть онъ ограничиль свою дитературную деятельность пом'ящениемъ насколькихъ педагогическихъ статей въ журналъ гг. Чуникова и Паульсона. И только по окончаніи курса въ половина 1857 года началь онь свое постоянное сотрудничество въ "Современникъ", а въ концъ 1858 года опъ уже принялъ въ свое завъдывание отдълъ критики и библіографіи въ этомъ журналъ.

Мы говорили уже, что исходъ пятидесятыхъ годовъ быль эпохой возрожденія идей сороковых в годовъ въ массь молодаго покольнія и мыслящаго пролетаріата, причемъ тотъ самый процесъ умственнаго броженія, который обнималь собою всю жизнь стараго покольнія, въ новомъ поколеніи совершался въ самомъ юномъ возрасть, подъ вліяніемъ литературы сороковыхъ годовъ. Мы проследили этотъ процесъ на Добролюбовъ, видъли, какъ юноша перешелъ черезъ мистициямъ и романтиямъ, рефлексіи и сомненія всякаго рода, и въ 19 леть онъ явился передъ нами усвоившимъ уже вст результаты движенія сороковыхъ годовъ. Читая статьи Добролюбова, вы не найдете уже тёхъ колебаній и сомненій, той двойственности реальныхъ и истафизическихъ идей, какія иы встручали въ сочиненіяхъ мыслителей предшествующей эпохи. Вы видите, что иысль Добролюбова решительно и твердо стоить на реальной почев. Поэтому, въ статьяхъ его вы не встретите техъ резкихъ противорвчій, переходовъ отъ одного строя мысли къ другому противуположному, тёхъ, однимъ словомъ, періодовъ ужственнаго процесса, которые мы видели въ сочиненіяхъ Бълинскаго или Герцена. Мысль Добролюбова одна и та-же въ последней статье, что и въ первой, примененная только къ различнымъ обстоятельствамъ и вопросамъ времени, и содержание этой мысли-полное, торжественное и безвозвратное отречение отъ

^{*)} Всѣ ссылки на страницы мы дѣдаемъ по второму изданію сочиненій Добролюбова.

всёхъ обветшалыхъ и отжившихъ взглядовъ. Мы не будемъ подробно издагать техъ реальныхъ основаній, изъ которыхъ исходиль Добролюбовь въ своихъ статьяхъ, иначе намъ пришлось бы въ сотый разъ повторять идеи, о которыхъ мы неоднократно распространялись уже въ нашемъ обзорѣ: Отрицаніе заоблачныхъ и метафизическихъ фантазій, убъжденіе, что явленія жизни частной и общественной подчиняются непреложнымъ, естественнымъ законамъ природы, сознание важности естественныхъ наукъ и опытнаго метода для изученія человіка и общества, объясненіе побужденій и д'яйствій челов'яка вліяніемъ обстоятельствъ, образующихъ характеръ его, отрицаніе отвлеченной теоріи нравственнаго долга и выводъ началь нравственности изъ естественныхъ побужденій этонама на разныхъ ступеняхъ развитія, отрицаніе среднев вковой теоріи подавленія страстей и пропов'ядь гармоническаго развитія ихъ-всв эти краеугольные камни реализма вы найдете въ каждой стать Б. Добролюбова. Желающіе болье подробно познакомиться съ этими основами міросозерцанія Добролюбова могуть обратить особенное внимание на следующия его статьи: "Буддизмъ, его догматы, исторія и литература", соч. В. Васильева (см. С. Добр., т. И, стр. 321), "Жизнь Магомета", сеч. Вашингтона Ирвинга (см. С. Д., т. І, стр. 614); въ объихъ статьяхъ Добролюбовъ проводить свои вгляды на значение и характеръ вфрованій въ исторіи; въ стать в "Органическое развитіе человена въ связи съ его умственною и нравственною дъятельностью" (см. С. Д., т. И, стр. 25) вы найдете взгляды Добролюбова на единство человъческой природы и на тёсную зависимость духовной дёятельности человъка отъ его матеріальнаго организма. Въ статьъ "Русская цивилизація, сочиненная г. Жеребцовымъ" (см. С. Д., т. П, стр. 275) теорія эгонзма развивается, какъ основа любен къ общему благу (см. стр. 308); въ стать в о Станкевич в (см. С. Д., т. И, стр. 1) та-же теорія эгоизма противуставляется теоріи нравственнаго долга и свободное влечение сердца представляется основой нравственности (см. стр. 10 и 11).

Мы тымь болье имыми права не распространяться объ основных вначалах міросозерцанія Добролюбова, что роль Добролюбова въ нашей литературъ была отнюдь не роль проповыника новой философской системы. Чисто-философскіе вопросы занимали Добролюбова гораздо въ меньшей степени, чъмъ, напримърь, Былискаго въ конца тридцатых годовъ или Герцена въ началъ сороковых в несьма немного найдете вы въ собраніи его сочиненій таких статей, которыя были бы посвящены исключительно развитію тъх вили других положеній реальной философіи. Послъдняя служила для Добролюбова не предметомы и цълью его пропаганды, а только исходною точкой, отъ которой онъ отправнялся, почвой, утвердись на

которой онъ делалъ свое дело.
Въ такой-же стецени, какъ нельзя Добролюбова назвать проповедникомъ реальной философіи, такъ было-бы ложно считать его исключительно критикомъ, то-есть, проповедникомъ какой-нибудь новов эстетической теоріи. Что касается эстетической теоріи, то Добролюбовъ весьма недалеко ушелъ въ ней отъ Вълинскаго и является въ этомъ отношеніи, въ

свою очередь, воскресителемъ забытыхъ идей сороковыхъ годовъ. Онъ стоитъ впереди Вълинскаго въ своихъ эстетическихъ взглядахъ на столько лишь, на сколько онъ опережаеть современниковъ Бѣлинскаго и во всёхъ другихъ отношеніяхъ, то-есть; принявши новую теорію, утвердившись въ новыхъ взглядахъ, онъ уже безвозвратно покинулъ старые, основанные на метафизическихъ основаніяхъ. Такъ, ны видёли, что и Бълинскій уже стояль за теорію искусства для жизни, требовалъ, чтобы произведение писателя удовлетворяло не однимъ эстетическимъ требованіямъ, но, въ то-же время, заключало въ себъ накое-нибудь философское или общественное содержание. Но Бълинскій, какъ мы видели, очень часто въ практике отступаль оть этихъ вглядовъ и въ оценкахъ своихъ руководился началами чисто эстетической критики. Добролюбовъ-же решительно отвергаеть эстетическую критику. Такъ, напримъръ, въ началъ своей статьи о "Наканунъ" онъ прямо говорить, что эстетическая критика сделалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень. "Малому знакомству съ чувствительными барышнями-говорить онъ-одолжены мы твиъ, что не умвемъ писать такихъ пріятныхъ и безвредныхъ критикъ. Откровенно признаваясь въ томъ н отказываясь отъ роли "воспитателя эстетическаго вкуса публики", мы избираемъ другую задачу, болже скромную и болбе соразмерную съ нашими силами". Это отрицание эстетической критики навлекло на Добролюбова болве всего гоненій со стороны чистыхъ эстетиковъ и обвиненій его въ томъ, что, отрицая эстетическую критику, онъ, будто бы, является приверженцемъ критики тенденціозной, требующей, чтобы поэты вдохновлялись различными гражданскими тенденціями и писали свои произведенія, искусственно задаваясь различными утилитарными тэмами.

Между темъ, въ сущности, Добролюбовъ былъ такой-же врагъ искусственной тенденціозности, какъ и Вълинскій, и во всемъ томъ, что было реальнаго въ эстетическихъ воззрѣніяхъ Вѣлинскаго, Добролюбовъ совершенно сходится съ нимъ. Такъ, напримъръ, въ началѣ статьи о "Трозѣ" Островскаго (см. т. 3-й, стр. 511) онъ прямо говоритъ:

«Мы нисколько не думаемъ, чтобы всякій авторъ долженъ быль создавать свои произведенія подъ влінніемъ извістной теоріи: онъ можеть быть какихъ угодно мижній, лишь бы таланть его быль чутокъ къ жизненной правдъ. Художественное произведение можеть быть выражениемъ извъстной идеи не потому, что авторъ задался этою идеей при его создании, а потому, что автора его поразиди такіе факты дъйствительности, изъ которыхъ эта идея вытекаеть сама собою. Такимъ образомъ, напримъръ: философія Сократа и комедіи Аристофана, въ отношеніи къ религіозному ученію грековъ, служать выраженіемь одной и той-же общей идеиразрушенія древнихъ върованій; но вовсе нъть нарабрушени думать, что Аристофанъ задаваль себъ именно-эту цъв для своихъ комедій: она дости-гается у него просто картиной нравовъ того времени. Изъ его комедій мы ръшительно убъждаемся, что въ то время, когда онъ писаль, царство греческой минологій уже прошло; то-есть, онъ практически приводить насъ къ тому, что Сократь и Платонъ доказывають философскимъ образомъ. Такова и вообще бываеть разница въ способъ дъйствія произведеній поэтических и собственно теоретическихъ. Она соотвътствуетъ разницъ въ самомъ

способъ мышленія художника и мыслителя: одинъ мыслить конкретнымъ образомъ, никогда не терия изъ виду частныхъ явленій и образовъ, а другой стремится все обобщать, слить частные признаки въ общей формуль; но существенной разницы между истиннымъ знаніемъ и истинною поэзіей быть не можеть: таланть есть принадлежность натуры человъка и потому онъ несомижнно гарантируеть намъ извъстную силу и широту естественныхъ стремленій въ томъ, кого мы признаемъ талантиквымъ. Сябдовательно, и произведения его должны совдаваться подъ вліяніемъ этихъ естественныхъ, правильныхъ потребностей натури; сознаніе нормальнаго порядка вещей должно быть въ немъ ясно и живо, идеаль его прость и разумень, и онъ не отдасть себя на служение неправде и безсимслинь. не потому, чтобы не котъль, а просто потому, что не можеть-не выйдеть у него ничего хорошаго, если онъ вздумаеть насиловать свой таланть. Подобно Валааму, захочеть онъ проклинать Израиля, и противъ его воли, въ торжественную минуту вдохновеніи, въ его устахъ явятся благословенія вмъсто проклятій. А если и удастся ему выговорить слово проклятія, то оно лишено будеть внутренняго жара, будеть слабо и невразумительно. Намъ нечего ходить далеко за примърами-наша литература изобилуеть ими едва-ли не болъе вся-кой другой. Возьмите хоть Пушкина и Гоголя; какъ бъдны и трескучи заказныя стихотворенія Пушкина, какъ жалки аскетическія попытки Гоголя въ литературъ! Доброй воли было у нихъ эмного, но воображение и чувство не давали достаточно матеріала для того, чтобы сдёлать истинно поэтическую вещь на заказныя, искусственныя тэмы. Да и не мудрено: дъйствительность, изъ которой почернаеть поэть свои матеріалы и свои вдохновенія, имфеть свой натуральный смысль, при нарушении котораго уничтожается самая жизнь предмета и остается только мертвый остовъ его. Съ этимъ остовомъ и принуждены были всегда оставаться писатели, хотвине, вижето естественнаго симсла, придать явленіямь другой, противный ихъ сущности».

Такимъ образомъ, основною эстетическою теоріей Добролюбова является, какъ и у Бѣлинскаго, —та-же теорія непроизвольнаго, эстественнаго творчества, влекущаго пеэта къ изображенію дъйствительности, правды жизни. Различіе между Бѣлинскимъ и Добролюбовымъ съ одной стороны и чистыми эстетиками съ другой заключалось только въ томъ, что послъдніе, проповъдуя ту-же самую теорію, говорили, что превосходное изображеніе древеснаго листочка стольже важно, какъ, напримъръ, превосходное изображеніе харажтера человъка. Добролюбовъ-же возражаль на это, повторяя то, что неоднократне говориль и Бѣлинскій:

«Можеть быть, субъективно это будеть и справеданно: собственно сила таланта можеть быть однавнова у двухь художниковь, и только сфера ихъ двягельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэть, гратащій свой таланть на образцовыя описанія листочковь и ручейковь, могь им'ять одинаковое значеніе съ тімъ, кто съ равною силой таланта ум'ясть воспроизводить, наприм'ярь, явленія общественной жизни. Намь кажется, что для критики, для литературы, для самого общества гораздо важнійе вопросъ о томъ, на что употребляется, въ въ чемъ выражается таланть художника, нежели то, какіе разм'яры и свойства им'ясть онъ въ самомо собъ, въ отвлеченіи, въ возможности» (см. С. Д., т. 2-й, стр. 585).

Но еще разъ повторяемъ, высказывая подобные взгляды на искусство, Добролюбовъ, темъ не менее, все-таки, не быль критикомъ въ тёсномъ смыслё этого слова, сообразно этимъ взглядамъ.

Взгляды эти, въ свою очередь, не составляли главной цели дентельности Добролюбова, а были только исходными точками, отъ которыхъ онъ отправлялся. Скроиная роль оценщика изящныхъ произведеній, ихъ относительныхъ достоинствъ и недостатковъ, хотя-бы и съ точекъ зрѣнія критики содержанія, была совершенно не по характеру какъ въка, въ который выразилась д'ятельность Добролюбова, такъ и самого д'ятеля. Это быль слишкомъ бурный и тревожный въкъ, и слишкомъ много было поставлено въ немъ роковыхъ и существенныхъ вопросовъ жизни, чтобы мало-мальски живой человъкъ могъ довольствоваться проведеніемъ новыхъ критическихъ взглядовъ на излидныя произведенія своего времени, а тэмъ болье такой человькъ, какъ Добролюбовъ, котораго, какъ ны видёли, сана жизнь привела, своими ударами и испытаніями, къ общественнымъ вопросанъ. Поэтому, мы и видинъ въ Добролюбов не столько критика, сколько нублициста. Произведенія искусства, которыя являлись въ его время, служили для него вовсе не предметами его разсмотренія, а только предлогами для того, чтобы обсуждать тв факты жизни, которые въ этихъ произведеніяхъ отражались. Какъ критикъ, онъ, конечно, обязанъ былъ бы обращать внимание на каждое литературное явленіе, мало-мальски выдающееся изъ ряда посредственности, и разъяснять публикъ значение этого явленія, определять ему место въ литературе. Такъ дълаль въ свое время Бълинскій, который не упускаль изъ виду ни одного выдающагося произведенія своего времени и каждое подвергалъ надлежащей опенке съ своей точки зранія. Но публицисть, пресладующій свои особенныя цали, очевидно, не имветъ надобности обращать внимание на каждое произведение, а береть изъ нихъ только такія, какія почену либо пригодны для его пропаганды; наконецъ, что касается тыхъ произденій, какія онъ выбираеть для своего разсмотрівнія, то для него важны они не сами по себь, какъ образцы литературныхъ усивховъ, а по темъ фактамъ, которые онъ въ нихъ находитъ. Такъ делалъ и Добролюбовъ. Въ выбора произведеній для своего анадиза онъ руководствовался чисто публицистическими цёлями и обращаль внимание только на такія изъ нихъ, которыя этимъ цёлямъ такъ или иначе удовлетворяли. Такъ, напримъръ, романъ Писемскаго "Тысяча душъ", надълавшій не мало шуму въ свое время, совершенно не подвергся критик В Добролюбова, хотя критик в въ истинномъ значения этого слова, конечно, быль обязанъ высказать о немъ свое суждение и тыпь болые обязань, чёмъ важнёе были недостатки этого романа. Между тъмъ, Добролюбовъ умолчалъ объ этомъ романъ, именно вследствіе его недостатковъ, такъ какъ, представляя факты жизни невёрно, романъ этотъ не даетъ возможности положиться на него. "О "Тысячь душь" — говоритъ Добролюбовъ (см. т. 3, стр. 304) — мы вовсе не говорили, потому что, по нашему мижнію, вся общественная сторона этого романа сильно пригнана къ заранъе сочиненной идев. Стало быть, тутъ не о чемъ толковать, кромѣ того, въ какой степени довко составиль авторъ свое сочинение. Положиться на правду и живую дъйствительность фактовъ, изложенных авторомъ, невозможно, потому что отношение его къ этихъ словахъ отношеніе Добролюбова къ задачать критика совершенно такое-же, каково отношеніе историка-прагматика къ исторической критикъ. Послъдняя разсматриваеть всё исторические источники безъ исключенія, никъ въ виду опредъленіе ихъ достовърности или нелъпости; между тътъ, историкъпрагматикъ выбираетъ для своего изслъдованія одни достовърные источники, на которые можно положиться при обсужденіи историческихъ фактовъ.

Такинъ образонъ, ни философскія задачи, ни критическія не были главными цёлями дёятельности Добролюбова. Онъ былъ публицистъ въ истинномъ значенін этого слова-всё его статьи направлены были къ проповёди новыхъ общественныхъ идеаловъ и къ анализу современной ему жизни на основании этихъ идеадовъ. Въ этопъ заключается вся цёль его дёнтельности, и этою цёлью опредёляется все его литературное значеніе, сила и вліяніе на общество. Подъ перомъ Добролюбова съ русскою критикой сдедалось такое-же превращение, какое случается испытывать парижскимъ кафе или паркамъ въ моменты особенно сильнаго напряженія общественной жизни: предназначенченные для отдыха и мирныхъ наслажденій, они вдругъ обращаются въ арены бурныхъ преній и политической борьбы. Такъ точно измънилась подъ вліяніемъ обстоятельствъ критика, имъвшая во времена Бълинскаго скромное назначение заниматься чисто литературными вопросами. Внешняя форма осталась та-же саман: то-же, повидимому, обсуждение того или другаго изящнаго произведенія; между тімь, содержаніе вдругь раздвинулось и совершенно вышло изъ прежнихъ границъ. Литературная критика обратилась въ критику жизни, критику общества, и соціальные вопросы отодвинули литературные на самый задній планъ.

На всёхъ этихъ основанияхъ, не распространяясь болѣе о философскихъ и эстетическихъ воззрѣнияхъ Добролюбова и довольствуясъ тъпъ, что ны сказали объ этомъ предметѣ на предъдущихъ страницахъ, мы считаемъ необходимымъ обратитъ все наше вниманіе на общественные взгляды Добролюбова, на характеръ и пъли его пропаганды въ качествъ публицаста, чъмъ, еще разъ повторяю, и опредъляется все значеніе его

въ литературъ.

Подъ общинъ и крайне широкимъ понятіемъ публициста разумъются писатели самыхъ разнообразныхъ свойствъ и спеціальностей, не имінощихъ часто ничего общаго нежду собою: сюда входить и газетный обличитель, не идущій далье раскрытія какихъ нибудь частныхъ злоупотребленій или беззаконій, и партизанъ, етстанвающій принципы своей партін, и составитель проекта объ устройствъ какой нибудь новой отрасли правленія, и сиблый утописть, рисующій передъ вами картину совершенно новой и небывалой на землъ жизни. Совершенно иная роль представляется публицисту въ обществе, въ которомъ политическая жизнь вполне развита со всеми своими аттрибутами — свободой преній и борьбой партіей — и въ обществ'є патріархальномъ, апатичномъ и равнодушномъ къ вопросамъ общаго блага. Въ последненъ случае публицисту при-

ходится говорить о такихъ элементарныхъ предметахъ,

о которых в в развитых в обществах публицисть, конечно, почель бы столь-же излишний распространяться, как о какой нибудь табличк умноженія.

Наконецъ, если мы возьменъ массу публицистовъпрогрессистовъ, къ какимъ, конечно, принадлежалъ
Добролюбовъ, то есть, такого рода публицистовъ, которые предлагаютъ обществу новые пути и цъли, то
мы увидимъ, что во всё времена и во всёхъ странахъ
публицисты этого рода представлютъ два рёзкіе типа;
иногда типы эти соединяются и въ одной личности, но
чаще всего проявляются раздъльно, сообразно паклонности публициста выразить дъягельность въ томъ или
другомъ типъ. Эти два типа суть: 1) типъ возбудителя и 2) типъ указателя.

Въ самомъ дълъ, предположите, что вы живете въ очень скверной, сырой и грязной квартирѣ, рискуя подвергаться съ сенействомъ всевозможнымъ болезнямъ; въ то же время вы платите за квартиру крайне дорого и терпите, вдобавокъ, всевозножныя непріятности отъ вашего хозяина. Между твиъ, вы продолжаете жить на вашей квартирь, терпъливо сносите всъ ея неудобства и непріятности, и вамъ не приходить и въ голову пънять ее. Наконецъ, являются къ вамъ на выручку ваши пріятели съ цілью во чтобы то ни стало перетащить насъ на новоседье. Что-же нужно сдёлать для этого вашимъ пріятелямъ? Очевидно, прежде всего имъ необходимо убъдить васъ, что ваша квартира никуда не годится, представить въ самыхъ яркихъ краскахъ всѣ ея неудобства, всю недобросовъстность вашего хозяина, всю неблаговидность вашей безпечности и теривливости, наконецъ, всв гибельныя последствія, которымъ вы рискуете подвергнуться со всемъ вашимъ сепействомъ, если останетесь на прежней квартиръ. Всё эти доводы необходимо представить вамъ, чтобы внушить решиность и энергію къ перемене квартиры. Но этого всего еще недостаточно: при всемъ убъжденіи въ неебходимости перевзда, вы можете остаться на прежней квартиръ, полагая, что новыхъ квартиръ въ городъ не имъется, а если и есть нъсколько пустыхъ, то, пожалуй, он'в еще куже той, которую вы заникаете; ко всему этому, васъ можетъ удержать и неимвніе лишнихъ средствъ къ перевзду. Но могутъ найтись и такіе практическіе и услужливые друзья, которые возьмутся отыскать вамъ болъе удобную и дешевую квартиру, убъдять васъ во всёхъ ся преинуществахъ относительно старой, наконецъ, предложатъ вамъ и нъсколько весьма дёльныхъ совётовъ къ отысканію средствъ, необходимыхъ для вашего перевзда. Ничто, конечно, не изшаетъ темъ же самымъ пріятелямъ, которые возбудили въ васъ рёшимость къ перемёнё квартиры, приняться и за вторую половину дёла, то есть, за прінсканіе для васъ новой квартиры. Но чаще всего въ жизни роли раздъляются. Одни обладаютъ болье всего силой убъжденія, жаромъ страстнаго, энергическаго энтузіазна, способнаго увлекать всёхъ за собою, въ другихъ же преобладаетъ спокойная и практическая разсудочность, дёлающая ихъ наклонными къ обдумыванью различныхъ мёръ и средствъ. Этимъ различіемъ темпераментовъ и складовъ ума и опредъляются два вышеу помянутые типа публицистовъ-публицистъ пропов'вдникъ-обличитель и публицистъ-ибропріятель.

Челов'єкъ, глубоко, пламенно, до мозга костей проникнутый своими идеалами, въ самыхъ юныхъ лѣтахъ усп'выпій ожесточиться подъ ударами судьбы, энергическій, трудолюбивый и въ то же время впечатлятельный и страстный до лирическихъ стихоизліяній, Добролюбовъ, по всему складу характера, ума и живни, быль именно созданъ дія роли публициста-пропов'єдника и обличителя. Такимъ и является онъ въ своихъ сочиненіяхъ. Что же касается содержанія его пропаганды, то оно вполн'є опред'єднется степенью развитіи и состояніемъ общества, среди котораго онъ жилъ и д'єйствовалъ.

Мы уже говорили, что это было общество средневъковое, полудикое, въ которомъ впервые только что пробудились самыя элементарныя понятія о гуманности, справедливости, честности, общественномъ благь: но всё эти понятія бродили въ смутномъ хаосё неосиысленныхъ фразъ и безотчетныхъ, неопредъленныхъ порывовъ. Общество было сильно возбуждено рядомъ реформъ, задуманныхъ частью вследствіе сознанія невозможности существовать при прежнихъ порядкахъ, частью подъ вліяніемъ Запада; но всё эти реформы понимались въ виде частимкъ меръ и нисколько не мъщали господствовать во всёхъ отношеніяхъ жизни, съ одной стороны, все тому же среднев вковому принципу безусловнаго подчиненія авторитету, съ другой стороны, темъ привычкамъ, нравамъ и идеаламъ, кокорые основывались на крепостномъ праве и готовы были пережить его.

Вотъ противъ втихъ-то обветшалыхъ и отжившихъ началъ жизни и направилъ Добролюбовъ, главнымъ образомъ, свою пропаганду. Что касается принципа безусловнаго авторитета, то съ неумолимою последовательностью и безъ малъйшихъ уступокъ преслъдуетъ этотъ принципъ Добролюбовъ во всехъ его проявленияхъ въ семът, въ школъ, въ обществъ и смъто отвергаетъ его не только въ отношени къ взрослымъ людямъ, но и къ дътимъ.

Статья "О значенін авторитета въ воспитанін" (См. С. Д., т. 1, стр. 237) посвящена именно анализу растивнающаго вліянія принципа безусловнаго послушанія на развитіе ребенка. Для изложенія взглядовъ на этотъ предметъ Добрюлюбовъ воспользовался "Вопросами жизни" Пирогова, по поводу которыхъ и написана статья. Но съ первыхъ-же страницъ вы видите, какая радикальная противоположность между взглядами Пирогова и Добролюбова. Добролюбовъ, правда, не оспариваеть взглядовъ Пирогова; напротивъ того, отдаетъ полную справедливость главному положению его, заключающемуся въ томъ, что воспитание должно быть не узко-спеціальное, а общее, съ целью воспитанія человека. Но, соглашаясь съ этимъ положениемъ Пирогова, Добролюбовъ тотчасъ-же идеть въ совершенно противоположную сторону отъ автора "Вопросовъ жизни". Мы видели, что Пироговъ подъ общимъ воспитаниемъ разумель подчинение человъка отвлеченнымъ, заоблачнымъ принципамъ, и притомъ принципамъ такого рода, изъ которыхъ прямо и непосредственно вытекаетъ подчиненіе авторитету. Добролюбовъ, совершенно наобороть, въ слепомъ подчинении авторитету и полагаетъ

главную причину убійства въ д'ятяхъ внутренняго челов'яка. По мн'янію Добролюбова,

«отсутствіе самостоятельности въ сужденіяхъ и взглядахъ, въчное недовольство въ глубинъ души, вилость и нержшительность въ дъйствіяхъ, недостатокъ силы воли, чтобы противиться постороннимъ вліяніямъ, вообще обезличеніе, а вследствіе этого легкомысліе и подлость, недостатокъ твердаго и яснаго сознанія своего долга и невозможность внести въ жизнь что-либо новое, болъе совершенное, отличное отъ прежде установленныхъ порядковъ-вотъ дары, которыми безусловное повиновенте при воспитаніи наділяеть человіка, отпуская его на жизненную борьбу!.. И съ такими-то качествами говорить. Добролюбовь-человъкъ долженъ ратовать за свои убъжденія противъ цѣлаго общества, и онъ, привыкцій жить чужим умомъ, дъйствовать по чужой воль, онъ долженъ вдругь поставить себя мёркой для цёлаго общества, должень сказать: вы ошибаетесь, я правъ; вы дълаете дурно, а вотъ какъ нужно делать хорошо!.. Да где-же онъ возьметь столько силы? Во имя чего онь будеть бороться? Неужели во имя авторитета своихъ наставниковъ, которые до сихъ поръ управдяли его жизнью и понятіями? Да кто-же, наконецъ, далъ ему право на это? Собственно говоря, его отношенія и теперь нисколько не измінились: до сихъ поръ были полчиненныя отношенія въ воспитаніи и обучения, теперь настали точно такія-же отношенія въ служов и общежитіи. Какая-же голова можеть переварить такое умозаключение: воть чертапятнадцать, двадцать льть-до которой ведуть тебя, заставляя безпрекословно и безусловно слушаться другихъ; это дълается для того собственно, чтобы, перешедши черезъ эту черту, ты умъл бороться съ другими. Гораздо естественные заключить, что и последующей жизни человекь должень вести себя именно такъ, какъ до сихъ поръ заставляли его» (см. стр. 251).

Но было бы ошибочно думать, что, отвергая въ воспитаніи принципъ слѣпаго послушанія, Добролюбовъ проповъдываль полный произволь въ живни дитяти и предоставленіе послѣдняго всѣмъ прихотямъ его рефлексій. Напротивъ того, воть какой идеаль воспитанія предлагаеть Добролюбовъ взамѣнъ прежняго средневѣковаго:

«Но чего-же вы хотите? спросять насъ:—неужелиже можно предоставить ребенку полную волю, ни въ чемъ не останавливая его, во всемъ уступая его капризамъ?

«Совеймъ нётъ. Мы говоримъ только, что не нужно дресировать ребенка, какъ собаку, заставлин его выдёлывать тъ или другія штуки, по тому или другому знаку воспитатель. Мы хотимъ, чтобы въ воспитании господствовала разумность и чтобы разумность эта вёдома была не только учителю, но представлялась ясно и самому ребенку. Мы утверждаемъ, что вей мёры воспитателя должны быть предлагаемы въ такомъ видѣ, чтобы могли быть вполий и ясно оправданы въ собственномъ сознаніи ребенка. Мы требуемъ, чтобы воспитателя кыказывали болѣе уваженія къ человъческой природѣ и старались о развитіц, а не о подавленіи очуптреньню человна въ своихъ воспитанникахъ, и чтобы воспитаніе стремилось сдѣлать человѣка нравственнымъ не по привычкѣ, а по сознанію и убъяденію».

Наиболее обстоятельное и полное розсмотрение всёхы причино и следствій слепаго подчиненія авторитету мы видимъ въ статьяхъ Добролюбова "Темное царство" (см. т. 3, стр. 1). Въ статьяхъ этихъ Добролюбовъ, воспользованнись комедіями Островскаго, представилъ самый подробный анализъ того средневеко-

вого порядка, въ которомъ главнымъ основаніемъ жизни и является именно безграничное царство авторитета. Шагъ за шагомъ проследилъ онъ за всеми мельчайшими оттынками того страшнаго паденія и нравственнаго растленія, какое является прямымъ следствиемъ царства авторитета, ведущее однихъ къ необузданному произволу самодурства, другихъ или къ полному обездичению, или-же къ искажению личности путемъ лицемерія, лжи, коварства и тому подобныхъ качествъ, развивающихся подъ гнетомъ самодурства. Не ограничиваясь одними дикими и звърскими проявленіями самодурства, Добролюбовъ въ лицъ Русакова, одного изъ дъйствующихъ лицъ комедін Островскаго "Не въ свои сани не садись", анализируетъ самодурство въ самомъ гуманномъ, кроткомъ и идиллическипатріархальномъ видѣ его и находитъ, что и въ такомъ наилучшемъ видъ самодурство ведетъ къ тъмъже результатамъ.

Анализируя всё слёдствія царства безусловнаго авторитета, Добролюбовъ не опускаеть при этомъ и того существеннаго вопроса, который представляется главнымъ основаніемъ всего анализа и безъ разрішенія котораго статьи потерили бы половину своего значенія: именно вопроса о томъ, что-же побуждаеть людей терить такихъ безобразнікъ самодуровъ, какіе являются передъ нами въ комедіяхъ Островскаго, и склоняться подъ ихъ игомъ?... Добролюбовъ находить двё причины, удеживающія пюдей отъ производбиствія самодурству: чувство законности и необходилость въ матеріальнолю обеспечении.

По мивнію Добролюбова, понятіє о ваконности само по себѣ крайне относительное. Законы не вѣчны и не абсолютны. Вступая въ общественный соювъ, человѣкъ беретъ на себя обязанность не только повиноваться имъ, но и стараться о пріисканіи лучшихъ законовъ и объ уничтоженіи негодныхъ.

«Такимъ образомъ, въ силу самого чувства законности, устраняется застой и неподвижность въ общественной организаціи, мысли и воль дается просторъ и работа; нарушение формальнаго statu quo нерѣдко требуется тѣмъ-же чувствомъ закон-Такъ понимають и объясняють - товорить ноети. Такъ понимаютъ и объясняютъ — товоритъ далъе Добролюбовъ—чувство законноети люди просвъщенные, люди, участвующіе, подобно намъ, въ благодвяніяхъ цивилизацін. Но не такъ понимають его тъ темные люди, которыхъ изображаеть намъ Островскій. Въ его «темномъ царствъ» вопросъ становится совершенно иначе. Тамъ господствуетъ въра въ однъ, разъ навсегда опредъленния и закрапленныя формы. Знанія здась ограничены очень твенымъ кругомъ, работы для мысли -почти никакой; все идеть машинально, разъ навсегда заведеннымъ порядкомъ. Отъ этого совершенно понятно, что здёсь дёти никогда не выростають, а остаются дътъми до тъхъ поръ, пока механически не передвинутся на мъсто отца. Понятно и то, почему средніе термины, посредствующіе между самодурами и угнетенными, вовсе не им'єють опреділенной личности, а заимствують свой характерь оть положенія, въ какомъ находятся: то ползають передъ высшими, то, въ свою очередь, задирають носъ передъ назшими. Точно механическія куколки: поставять ихъ на одинъ конецъ-кланяются; передернуть на другой—вытягиваются и загибають голову назадь... И все это происходить отъ недостатка внутренней самостоятельности, отъ забитости природы. Человъку съ малыхъ лътъ внушають, что онъ самъ по себъ-ничто, что онъ есть, нъкоторымъ

образомъ, только орудіе чьей-то чужой воли и что всявдствіе того онъ должень не разсуждать, а только слушаться, слушаться и покоряться. Единственный предметь, на который можеть еще быть направлень его умъ, это—пріобрѣтеніе умѣнья принаравливаться къ обстоятельствамъ. Кто съумветь такъ повернуть себя, тому и благо: онъ вынырнеть... А кто не сьумветь, тому бъда — задавять»... (см. стр. 113 и 114). «Но «чувство законности—говорить дальше Добролюбовъ (см. етр. 132) — едълавшись пассивнымъ и окаменълымъ, превратившееся въ тупое благоговение къ авторитету чужой воли, не моглобы такъ кротко и безмятежно сохраняться въ угнетенныхъ людяхъ, при видъ всъхъ нелъпостей и гадостей самодурства, если-бы его не поддерживало что нибудь болбе живое и существенное. И дъйствительно, оно поддерживается постоянно темъ, что въ людяхъ есть неизбъжное стремленіе и потребность-обевпечить свой матеріальный быть. Эта потребность, въ соединени съ тупимъ и неразумнимъ чувствомъ законности, чрезвычайно благопріятствуєть процватанію самодурства... Матеріальныя блага (см. етр. 133) нужны всякому человъку, но они уже захвачены самодурами, такъ что слабан, угнетенная сторона, находящаяся подъ ихъ вліяніемъ, должна и въ этомъ зависьть оть самодурной личности какого-нибудь Торцова и Уланбековой; можно-бы оть нихъ потребовать того, чъмъ они владёють не по праву; но чувство законности запрещаетъ нарушатъ должное уважение къ нимъ... Что-же изъ этого выходитъ? Слъдствие, кажется, исно: нужно «безъ роптанія просить» отъ самодуровъ, чтобы они, живи сами, дали жить и другимъ... Но чтобы они исполнили просьбу, нужно снискать ихъ милость; а для этого надо во всемь съ ними согласиться, имъ покориться и «съ терпѣньемъ тяготу сносить», если придется... А тяготы придется довольно, судя но крутому характеру Гордъя Карпыча или г-жи Уланбековой, да и по ихъ непроходимой глупости... Ко всему этому надо себя приготовить, воспитать себя для этого, а именно: переломить свой характерь, выбить изь головы дурь, то-есть, собственныя убъжденія, смирить себя, то есть отложить всякую мысль о своихъ правахъ и о человъческомъ достоинствъ. Все это самими самодурами очень успашно и выполняется надъ всами людьми, родящимися въ предблахъ ихъ вліянія. Оттого-то у нихъ и есть всегда подъ руками такъ много безотвътныхъ Митей, Андрюшъ, раболъпныхъ Потапычей и т. п. Если-же вы комъ и послъ самодурной дрессировки еще останется какое нибудь чувство личной самостоятельности, и умъ сохранить еще способность къ составлению собственныхъ сужденій, то для этой личности и ума готовъ торный путь: самодурство, какъ мы убъдились, по самому существу своему тупоумно и невѣжественно, слѣдовательно, ничего не можеть быть дегче, какъ надуть любого самодура. Человѣкъ, сохранившій остатки ума, непремѣнно на то и пускается въ этомъ самодурномъ кругъ «темнаго парства», если только пускается въ практическую деятельность; отсюда и произошла пословица, что умный человъкъ не можетъ быть не плутомъ. Такимъ образомъ, подъ самодурами два разряда ихъ воспитанниковъ и кліентовъ—живне и неживне. Неживне, задавленные, неподвижные, такъ ужь и лежатъ, не обнаруживая никакихъ попытокъ: перетащатъ ихъ съ одного мъста на другое—ладно, а не перетащатъ— такъ и сгиїютъ... Живые, напротивъ, все стараются помъститься получше и поближе около самодура, а если линія подойдеть, то и ножку ему подставить, чтобы състь на него верхомъ и самимъ задурить. И новый самодурь ужь бываеть хуже, опасный и долговъчнъй, потому что онъ хитръе прежняго и наученъ его горькимъ опытомъ. Такъ оно все и идеть: за однимъ самодуромъ другой, въ другихъ формахъ, болъе цивилизованныхъ, какъ Уланбекова

цивилизована сравнительно, напримъръ, съ Брусковимъ, но въ сущности съ тъми-же требованіями и съ тъмъ же характеромъ. Живын натуры угнетаемой стороны пускаются въ плутни для своего обезпеченія, а неживыя стараются своею неподвижностью и покорностью заслужить себъ милость самодура и капельку живой воды (каторую онъ впрочемъ, даетъ имъ очень ръдко, чтобы не слишкомъ оживали)».

Рядомъ съ необузданнымъ господствомъ авторитета, не менъе существенною причиной растлънія общественныхъ нравовъ представлялось крѣпостное право, которое отразилось самыми ужасными последствіями на цілой среді общества, стоявшей до эпохи Добролюбова во главъ интеллигенціи. Добролюбовъ съ тоюже обстоятельностью анализируеть искажение нравственныхъ и умственныхъ качествъ людей подъ вліяніемъ крипостного права, какую мы видимъ и при анализъ вліянія господства авторитета. Вы не найдете статьи Добролюбова, въ которой, при томъ или другомъ случав, въ той или другой формв, не было бы задъто этой больной стороны нашего общественнаго организма. Но наиболье полному и подробному разсмотрению этого вопроса посвящены деё статьи-"Деревенская жизнь помъщика въ старые годы" (см. С. Д. т. 1, стр. 344) и "Что такое облововщина?" (см. С. Д. т. 2, стр. 578). Последняя статья представляется однимъ изъ самыхъ лучшихъ произведеній Добролюбова-рядомъ съ "Темнымъ царствомъ", лучшимъ по важности и обширности обобщеній, къ которымъ приходитъ Добролюбовъ при своемъ анализѣ современной ему русской жизни. Тѣ умственныя и нравственныя качества, которыя Гончаровъ вдожиль въ типъ своего героя, Добролюбовъ распространяеть на всю среду, къ которой принадлежить Обломовъ, на всѣ прошедшіе и настоящіе идеалы этой среды, и, делая весьма остроумныя сближенія, находить, что и Онегинь, и Печоринь, и Бельтовь, и Рудинъ-суть тв-же Обломовы, только въ разныхъ формахъ, сообразно времени ихъ появленія и различію въ темпераментахъ.

«Общее у всёхъ этихъ людей то—говоритъ Добролюбовъ (см. стр. 611)—что въ жизни нётъ имъ дёла, которое бы для нихъ било жизненною необходимостью, серречною святиней, боторое бы органически срослось съ ними, такъ что отнять его у нихъ значило бы лишить ихъ жизни. Все у нихъ внёшнее, ничто не имъетъ кория въ ихъ натурб. Они пожалуй, и дёлаютъ что-то такое, когда принуждаетъ внёшняя необходимостъ, такъ, какъ Обломовъ ёздиль въ гости, куда тащилъ его Штольцъ, покупалъ ноты и книги для Ольги, читалъ то, что она заставляла его читатъ. Но душа ихъ не лежитъ къ тому дёлу, которое наложено на нихъ случаемъ. Еслиби каждому изъ нихъ даромъ предложнай всё внёшнія выгоды, какій имъ доставляются ихъ работой, ови бы съ радостью отказались отъ своего жёла.

«Даже наиболёе образованные люди, притомъ люди съ живою натурой, съ теплымъ сердцемъ, чревычайно легко отступаются въ практической живни отъ своихъ идей и плановъ, чревычайно легко мирятся съ окружающею дёйствительностью, которую, однажо, на словахъ не перестаютъ считать пошлою и гадкою. Это значить, что все, о чемъ они говорять и мечтають—у нихъ чужое, наносное; въ глубинъ же души ихъ коренится одна мечта, одинъ идеалъ—возможно-невозмутимый покой, квіэтизмъ, обломовшина...»

«Да, всё эти обломовцы никогда не переработывали въ плоть и кровь свою тёхъ началъ, которыя имъ внушили, никогда не проводнии ихъ до последнихъ выводовъ, не доходили до той грани, гдё слово дёлается дёломъ, гдё принципъ сливается съ внутреннею потребностью души, исчеваетъ въ ней и дѣлается единственною силой, двигающей человісюмъ. Потому-то эти люди игутъ безпрестанно, потому-то они и являются такъ несостоятельными въ частныхъ фактахъ своей дѣятельности. Потомуто и дороже для нихъ отвлеченныя возгранія, чёмъ живые факты, важнёе общіе принципы, чёмъ простая живненная правда...

«Если я вижу теперь помъщика, толкующаго о правахъ человъчества и о необходимости развитія личности, я уже съ первыхъ словъ его знаю, что тото....Обломовъ

«Если встрѣчаю чиновника, жалующагося на вапутанность и обременительность дѣлопроизводства, онъ—Обломовъ.

«Если слишу отъ офицера жалобы на утомительность походовь и смъдыя разсуждени о безполезности тикаю шага и т. п., и не сомнъваюсь, что онъ— Обломовъ

«Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выкодки противъ здоупотребленій и радость о томъ, что, наконецъ, сдѣлано то, чего им давно надѣянись и желали, я думаю, что это все пишуть наъ Обломовки.

«Когда и нахожусь въ кружей образованных людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человъчества и въ теченіи многихъ лѣтъ съ неуменьшающимся жаромъ разсказывающихъ все тъ-же самые (а иногда и новые) апекдоти о взяточникахъ, о притъспеніяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода, я невольно чувствую что я перенесенъ въ старую Обломовку...

«Остановите этихъ людей въ ихъ смутномъ разглагольствовани и сважите: вы говорите, что не хорошо то и то; что-же нужно дѣлатъ? Они не знаютъ... Предложите имъ самое простое средство, они сважутъ: «да какъ-же это такъ вдругъ?» Непремѣнно сважутъ, потому что Обломови иначе отвечать не могутъ... Продолжайте разговоръ съ ними и спросите: что-же вы намѣрены дѣлатъ? Они вамъ отвѣтатъ тѣтъ, чѣмъ Рудинь отвѣталъ наталъѣ: «Что дѣлатъ? Разумѣетоя, покориться судьбѣ. Что-же дѣлатъ! Я слипкомъ хорошо внаю, какъ это горько, тажело, невъносимо, но посудите сами...» и пр. Больще отъ нихъ вы ничего не дождетесь, потому что на всѣхъ ихъ лежить печать обломовщины».

Тъ-же самыя средневъковыя начала, которыя Добролюбовъ караеть въ обществъ, онъ находить и въ литературъ.

Литература въ его время имъла гордую, кичливую и воинственную осанку. Наполнившись массой ръзкихъ и тщедушныхъ обличеній по части мелочныхъ и частныхъ злоупотребленій, въ то-же время литература становилась на ходули, приписывала себѣ громадное значеніе въ дѣлѣ общественнаго развитія, гордо величала себя судомъ общественной совѣсти, благодѣтельною гласностью и хвалилась тѣмъ, что она борется съ общественнымъ зломъ и разсѣвваетъ мракъ прошедшей ночи...

Но, по мизнію Добролюбова, литература всегда была и будеть только отраженіемь общественнаго настроенія. "Никогда и нигдів—говорить онъ—литературные дізители не сходили съ эвирныхъ пространствъ и не приносили съ собом новыхъ началъ, независимыхъ отъ дійствительной жизни. Литература постоянно отражаетъ тіз идеи, которыя бродять въ обществъ, и большій или меньшій успіхъ писателя мо-

жетъ служить міркой того, на сколько онъ уміль въ себі выразить общественные интересы и стремленія"

(см. С. Д. т. 2, стр. 439).

Но если это такъ, если литература служитъ отраженіемъ жизни, а не жизнь складывается по литературнымъ программамъ, то естественно, что если въ жизни преобладаютъ средневъковыя начала господства авторитета и вліянія крѣпостнаго права, то и въ литературѣ должны преобладать тѣже начала и вліянія, таже апатія, отсутствіе всякой иниціативы, узкость взглядовъ, приниженность и т. п.

Всѣ вышеприведенные недостатки общества Добролюбовъ дѣйствительно находитъ въ современной ему

литературѣ.

Начать съ того, что эта литература партіальная, то-есть, существуеть въ нёдрахъ одной среды, небольшаго кружка, к чуждая всякихъ народныхъ интересовъ, недоступная пароду, удовлетворяеть интересамъ н потребностямъ той горсти, для которой она существуетъ

«Напрасно также у насъ-говорить Добролюбовъ (см. т.: 1, стр. 563)-и громкое название народных; писателей: народу, къ сожалению, вовсе нъть дела до художественности Пушкина, до плънительной сладости стиховъ Жуковскаго, до высовихъ пареній Державина и т. д. Скажемъ больше: даже юморъ Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже онь и грамоть выучится: онъ долженъ заботиться о томъ, какъ-бы дать средства полмилліону читающаго люда прокормить себя и еще тысячу людей, которые пишуть для удоволь-ствія читающихъ. Забота немалая! Она-то и служить причиной того, что литература досель имъеть такой ограниченный кругь дъйствія. Не навязывай мы народу заботы о нашемъ прокормлении и о всякомъ нашемъ удовольствін, такъ, конечно, мы-же были-бы въ выигрышѣ; наши просвъщенныя идеи быстро распространились-бы въ массахъ и мы сталибы имъть больше вначенія, наши труды стали-бы цёнить выше. Но, къ сожальнію, литература, т. е., ея восхвалители и многіе дѣятели находятся въ горькомъ самообольщеніи, изъ котораго трудно извлечь ихъ. Изобразивши художественнымъ образомъ красу природы, неба, прътъ розо-желтый облаковъ, или совершивши глубокій анализь какогонибудь перегороженнаго сердца, или трогательно разсказавши исторію будочника, вынувшаго пятакъ изъ кармана пьянаго мужика, литераторъ воображаеть, что онь ужь невесть какой подвигь совершиль, и что отъ его созданія произойдуть для народа последствія неисчислимыя. Напрасно: созданіе это, во-первыхъ, и не дойдетъ до народа, а во-вторыхъ, если и дойдетъ, то ни мало не займетъ его и не принесетъ ему пользы. Массъ народа чужды наши интересы, непонятны наши страданія, забавны наши восторги. Мы дъйствуемъ и пишемъ, за немногими исключеніями, въ интересахъ кружка, болъе или менъе незначительнаго; оттого обыкновенно взглядъ нашъ узокъ, стремленія мелки, всѣ понятія и сочувствія носять характерь партіальности. Если и трактуются предметы, прямо касающіеся народа и для него интересные, то трактуются опять не съ обще-справедливой, не съ человъческой, не съ народной точки зржнія, а непременно въ видахъ частныхъ интересовъ той или другой партіи, того или другаго класса».

Далье, затым, Добролюбовь находить, что подобно тому, какъ общество наше подъ гнетомъ слъного поклонения авторитетамъ, обращаетъ внимание на различныя несовершенства общественнаго строя тодько тогда лишь, когда на нихъ устремляють свои взоры разныя авторитетныя личности, такъ и литература подниваеть вопросы, обсуждаеть и обличаеть постоянно заднивъ числомъ. Въ стать , Литературныя мелочи прошлаго года" (см. С. Д. т. 2, стр. 481) Добролюбовъ представляеть цёлый рядъ фактовъ изъ современной ему жизни, показывающихъ подобное отсутствіе всякой иниціативы въ литературѣ. Въ статьяхь-же, Русская сатира Екатерининскаго времени" (см. С. Д. т. 1, стр. 117) и "О степени участія народности въ развитіи русской литературы" (см. С. Д. т. 1, стр. 589) онъ проводить подобный-же взглядъ и на историческое прошлое нашей сатиры.

«Стоитъ всмотрѣтьен пристальные въ нашу сатиру —говорять онъ (см. т. 1, стр. 605)—чтоби убѣдиться, что она проповѣдывала зады. Положеніе нашихъ сатиривовъ было, въ самомъ дѣлѣ, отличновыгодное; они видѣли передъ главами, въ другихъ частяхъ Европы, лучшій порядокъ и могли смѣтъсь надъ нашимъ дурнымъ порядкомъ, зпад, чего именно хотять они. Они могли выставдять на поворъ наши заблужденія, наше невѣжество, почерпнувъ изъ вападной науки истивы, еще неизвѣстивла и недоступныи нашему обществу. Но что-же дѣлала сатира? Она всегда шѣа позади жизни, тогда какъ, по своему исключительному положенію среди нашего общества, могла опережать ее; она видѣла порокъ только тогда, когда онъ былъ уже улкчекъ, опубликованъ и всенародно наказанъ; ранѣе она не осмѣливалась дотронуться до него...»

Но этого мало, что сатира шла позади реформъ опа постоянно отличалась мелочностью и узкостью взгляда.

«Когда человекъ говорить о дёлё-говорить Добромюбовь въ стать в «Русская сатира Екатерининскаго времени» (см. т. 1, стр. 119)-то прямая цаль его словъ та, чтобы дѣло было сдѣлано; когда сатирикъ возстаетъ противъ недостатковъ, то у него непремънно есть стремление исправить недостатки. Но чтобы подобная цёль могла достигаться, нужно говорить дёльно и договаривать до конца; иначе никакого толку не выйдеть. Если меня, напримъръ, порицають за то, что я живу въ дурной квартиръ и вмъ плохую пищу, между тъмъ, какъ у меня нътъ денегь для лучшей квартиры и пищи, то очевидно, что вей порицанія не принесуть мит ровно ника-кой пользи. Человіка, истинно желающій, чтоби я исправился отъ дурной привычки скудно ъсть и жить въ обдности, непременно обратить свои обличенія не на квартиру и столь мой, а на то, зачёмь я самъ ничего не дълаю для своего обеспеченія, нли на то, зачѣмъ другіе не вознаграждають моего труда, какъ схѣдуетъ. Тоже самое и въ нравствен-ной жизни общества. Большая часть общественныхъ явленій не можеть быть измінена просто волей частныхъ лиць: нужно изменить обстановку, дать другія начала для общей діятельности, и тогда уже обличать техъ, которые не съумбють воспользоваться выгодами новаго устройства. Наши сатирики отчасти не хотъли понять этого, а отчасти и понимали, да не могли выразить. Они нападали на необразованность, взяточничество и ханжество, отсутствіе законности, сибсь и жестокость въ обращеній съ низшими, подлость передъ высшими и пр. Но весьма радко въ этихъ обличеніяхъ прогладывала мысль, что всё эти частныя явленія суть не что иное, какъ неизбъжныя слъдствія ненормальности всего общественнаго устройства. Большею частью нападали на взяточника такъ, жакъ будтобы все зло взяточничества зависьло единственно отъ личной наклонности такихъ-то къ обдиранию просителей. Никогда въ сатирахъ нашихъ вопросъ о ванткахъ не переходилъ въ разсмотрѣніе общаго

вреда бюрократіи и тёхъ обстоятельствь, которыми сама бюрократія порождена и развита. Тоже было и во всёхъ другихъ вопросахъ. Большая часть сатириковъ нашихъ уподоблялась человёку, обличающему бёдняка за то, что тоть не живеть въ роскоши, и добросовъстно убёжденному, что отъ этихъ обличеній живнь бёдняка пойдеть лучше. Нёкоторые изъ обличетелей задавались такою мислью: «мы, дескать, будень обличать и ославлять бёдняка за его скудость; когда это дойдеть до хозинна, отъ которато онъ получаеть жалованье, такъ хозинтъто усовъстител да и сдёлаеть ему прибавку». Разсужденіе это, замѣчательное по своей канвности, очевидно, руководило весьма многими изъ нашихъ сатериковъ, отъ Сумарокова до нашихъ дней, и, вслёдствіе того, обличенія бёдняка въ скудости обыкновенно заканчивались увъщаніемъ исправиться, оставаясь на службё у того же хозяина...»

Такой-же характеръ, по миснію Добролюбова, имъла обличительная литература и въ его время.

«Уние нъсколько дъть-говорить онъ (см. т. I, стр. 443) - всв наши журналы и газеты трубять, что мгновенно, какъ бы по манію волшебства, Росеін векочила со сна и во всю мочь побѣжала по дорогъ прогреса, такъ что ее теперь собаками не догонишь... Нъсколько дъть уже каждая статейка, претендующая на современное значение, непремѣнно начинается у насъ словами: «ез настоящее время, когда поднято столько общественных вопросовъю и т. д., слёдуеть изложение вопросовъ. Нёсколько леть уже русская литература льстила обществу, уверяя, что въ немъ теперь пробудилось самосознаніе, раскаяніе въ своихъ порокахъ, стремленіе къ совершенствованію; а русское общество похваливало дитературу за то, что она такъ старается вызолотить горькія пилюли, которыя, наконець, заставила его принимать прошедшая его жизнь. Лесть и самообольщение-таковы были главныя качества современности въ литературныхъ явленіяхъ последняго времени. Странно сказать это о литературъ въ то время, когда она изъ кожи лъзла, по собственному признанію, пресладуя и обличая, карая и выль русской. Но всмотритесь пристальные въ характеръ этихъ обличеній, вы безъ особеннаго труда замѣтите въ нихъ нѣжность неслыханную, доходящую до приторности, равняющуюся развѣ только нѣжности, обнаруженной во взаимныхъ отношеніяхъ тъхъ достойныхъ друзей, одинъ изъ кото-рыхъ у Гоголя мечтаетъ о томъ, какъ свисщее на-чальство, узнавъ о ихъ дружов, пожаловало ихъ генерадами».

«Конечно, это плохо, это гадко, безумно, отвратительно», говорять всё обличители, не скупясь на сильные эпитеты, и вы думаете: воть молодильто, воть энергические-то деятели!... Ногодите немножко: это въ нихъ говорить Собакевичь; но Маниловъ не замедлить вступить въ свои права, и у нихъ тотчасть явител мостикъ черезъ рѣчку и огромнъйший домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что оттуда можно видъть даже Москву.

— Конечно, чиновники берутъ взятки, но въдь это единственно отъ недостаточности жалованья; прибавьте жалованья, и взятокъ не будетъ въ Россіи... Невозможно же допустить предположеніе, чтобы взятки брали и тъ чиновники, которые, по своему чину и мъсту служенія, получаютъ хорошіе оклады. Нътъ, какъ можно: вся язва взяточничества ограничивается чиновниками нившихъ судебныхъ инстанцій, получающими ничтожное жалованье.

— Просвъщение плохо подвигается — правда. Но въдь вся бъда въ томъ только, что въ гимназияхъ учителя и учебники плохи. Но еслиби гимнази приготовияли достойныхъ слушателей для нашихъ веливихъ профессоровъ, да если би профессора и академики удостоили заняться составлениемъ учебин-

ковъ, о! тогда у насъ мгновенно водворимось-бы хучезарное просейщеніе. «Общества нёть въ деревні; надобно, въ городъ іздить, чтобы увидаться съ образованнями людьми—какъ говорить Маняловъ. Но, конечно, еслибы сосёдство близкое, еслибы такой человісь, съ которимъ бы въ ийкоторомъ роді можно было поговорить о хобезности, о хорошемъ обращеніи, слёдить какую-нибудь этакую науку...» словомъ, еслибы такой образповый человість, какъ вы, Павель Ивановичъ... о! тогда наша деревни и уединеніе мибли бы много прівтностей...

— Ремесленный классь у насъ въ дурномъ положени— жаль. Но это зависить, впрочемъ, отъ личности хозяевъ, и больше ни отчего; надо только запретить хозяевамъ бить и морить голодомъ мальчишекъ, и ремесленники наши будуть блаженство-

вать.

— Промышленность у насъ развивается слабо, торговля не въ блестящемъ положенік... Алъ, это очень просто: конкурренція слаба, оттого, что тарифъ высокъ. Пониженный тарифъ—это универсальная и радикальная мѣра для развитія нашей промышленность.

— Мужики живуть плохо. Что дёлать? Мужики, во-первыхь, грубы и необразованны; а вслёдствіе того, во-вторыхь, они мало имёлоть потребностей и неопособны въ высшимь, деликатнымъ наслажденіямъ. Они привыкли въ своей судьбь, и еко довольны; значить, объ этомъ и толковать нечего. Схёдуеть только позаботиться объ уничтоженіи знотребленій ихъ положенія.

— Проинвается сильно русскій человікъ... Это грустное явленіе... Но, відь, туть вся біда оттого происходить, что система винныхь сборовь несовершенно устроена. Стоить вавести акцизь вмісто прежняго откупа (и даже съ небольшою надбавкой), и все пойдеть отлично.

Въ такомъ видѣ представляются намъ почти всѣ русскіе обличители. Кричатъ, кричатъ противъ ка-кихъ-то заоупотребленій, какихъ-то дурныхъ порядковъ... Подумаешь, у нихъ на умѣ и Богъ знаетъ какія общирныя соображеній. И вдругъ, смотришь, у нихъ самыя кроткія и милыя требованія, мало это-то—окозывается, что они и кричатъ-то вовсе не изъ-за того, что составляеть дѣйствительный, существенный недостатокъ, а изъ-за какихъ-нибудь частностей и мелочей...»

Но Добролюбовъ не ограничивался одними отрицаніями средневъковыхъ и отжившихъ началъ въ жизни и литературъ и ратованіями противъ печальныхъ результатовъ долгаго господства этихъ началъ. Рядомъ съ отрицательными взглядами, онъ постоянно проповъдывалъ новые положительные идеалы, стоящіе въ разръзъ со всъии старыми. Такъ, въ статъъ "Литературныя мелочи прошлаго года" онъ впервые въ нашей литературъ сдълалъ параллель между людьми сороковыхъ годовъ и молодымъ поколъніемъ.

«Люди сороковых» годовъ, по его мићнію, проникнуты были высокими, но изсколько отвлеченными стремленіями. Они стремились къ истинъ, желали добра, ихъ плъняло прекрасное; но выше всего быль для нихъ принципъ. Принципомъ-же называли общую философскую идею, которую признавали основаніемъ всей своей логики и морали. Страшной мукой сомнёнья и отрицанья купили они свой принципъ и никогда не могли освободиться отъ его давящаго, мертвящаго визнія. Что-то пан-тенстическое было у нихъ въ признаніи принципа: жизнь была для нихъ служениемъ принципу, человъкъ-рабомъ принципа; всякій поступокъ, не соображенный съ принципомъ, считался преступленіемъ. Отвленшись такимъ образомъ отъ дъйствительной жизни и обрекши себя на служение принципу, они не умѣли върно разсчитать свои силы и

взяли на себя гораздо больше, чёмъ сколько могли сдълать. Немногіе только уміжи, подобно Вёлинскому, слить самихъ себи съ своимъ принципомъ и такимъ образомъ придать ему жизненность. У Вёлинскаго внёшній, отвлеченный принципъ превратияся въ его внутреннюю, жизненную потребность: проповёдівлять евои идей было для него столь-же необходимо, какъ ёсть и пить. Но немногіе могли дойти до такіго сіліянія своей личности съ философекимъ принципомъ. Вольшая часть осталастолько при разсудочномъ пониманіи принципа и потому вёчно насиловали себя на такія вещи, которыя были имъ вовее не по натуріз и не по ніраву. Отсюда вічно фальшивое положеніе, вічное недовольство собою, вічное ободреніе и расшевеливанів себя громкими фразами, и вічныя неудачи в практической діянельности». (Ом. т. 2-й, стр. 456).

Противъ сороковыхъ годовъ, людей отвлеченнато принципа, Добролюбовъ ставитъ новыхъ людей—реальныхъ людей "съ кръпкими нервами и здоровымъ воображениемъ", какъ онъ называетъ ихъ.

«Благодаря трудамъ прошедтаго поколѣнія—говорить онь-принципа достался этимъ людямъ уже не съ такимъ трудомъ, какъ ихъ предшественникамъ, и потому они не столь исключительно привязали себя къ нему, имън возможность и силы повърять его и соразмърять съ жизнію. Осмотръвшись вокругь себя, они, вижето всёхъ туманныхъ абстракцій и призраковъ прошедшихъ покольній, увидѣли въ мірѣ только человпка, настоящаго человъка, состоящаго изъ плоти и крови, съ его дъйствительными, а не фантастическими отношеніями ко всему витшнему міру. Они въ самомъ дѣлѣ стали мельче, если хотите, и потеряли ту стремительную страстность, которою отличалось прошлое покольніе; но за то они гораздо тверже и жизненнъе... они спустились изъ безграничныхъ сферъ абсолютной мысли и стали въ ближайшее соприкосновеніе къ действительной жизни. Отвлеченныя понятія замінились у нихъ живыми представленіями, подробности частныхъ фактовъ обрисовались ярче и отняли много силы у общихъ опредѣленій. Люди новаго времени не только поняли, но и почувстволи, что абсолютнаго въ міръ ничего нъть, а все имветь только относительное значение. Оттого для нихъ невозможно увлечение тенденціями, подобными, напримёрь, следующимь: «pereat mundus et fiat justitia»; «лучше умереть, нежели солгать хоть разъ въ жизни»; «лучще убить свое сердце, чёмъ измънить хоть однажды долгу супружескому, или сыновнему, или гражданскому» и т. д. Все это для нихъ слишкомъ абстрактно и слишкомъ мало имъетъ значенія. На первомъ планъ всегда стоитъ у нихъ человъкъ и его прямое, существенное благо; эта точка зрвнія отражается во всёхъ ихъ поступкахъ и сужденіяхъ. Сознаніе своего кровнаго, живаго родства съ человъчествомъ, полное разумъние солидарности всёхъ человёческихъ отношеній между собою-воть тв внутренніе возбудители, которые занимають у нихъ мъсто принципа. Ихъ последняя цъль- не совершенная, рабская върность отвлеченнымъ высшимъ идеямъ, а принесение возможно большей пользы человъчеству; въ ихъ сужденіяхъ люди возвышаются не по тому, сколько было въ нихъ сокрыто великихъ силь и талантовъ, а по тому, сколько они желали и умъли сдълать пользы человъчеству; не тъ событія обращають на себя особое ихъ вниманіе, которыя имжють характерь грандіозный или патетическій, а тъ, которыя сколько-нибудь подвинули благосостояние массь человъчества...

Впрочемъ, было бы пожно думать, что Добролюбовъ только и ограничивался, что этимъ идеаломъ молодато поколънія, построеннымъ на чисто философскихъ основаніяхъ, и что въ зам'вн'є отвлеченныхъ принциповъ реальными взглядами онъ полагалъ все спасеніе русскаго общества. Взгляды его были въ этомъ отношении гораздо шире и глубже тахъ изъ поздивишихъ публицистовъ, которые ограничивались прославленіемъ молодаго поколінія и на одну только среду трезвыхъ реалистовъ "съ крепкими нервами и здоровымъ воображениемъ" возлагали всъ свои упованія. Преслідуя самодурство, дармойдство, праздность и апатію однихъ людей, приниженность, низкую угодливость и коварство другихъ-однимъ словомъ, все пороки, громоздящиеся въ старомъ средневъковомъ строъ жизни-Добролюбовъ искалъ свъжихъ, нерастленныхъ силъ общества во всехъ его слояхъ. Типъ пламеннаго энтузіаста, преданнаго душой и таломъ далу спасенія своей родины и слившійся съ этимъ діломъ, быль его высшимъ идеаломъ, который онъ представиль въ своей характеристикъ Инсарова, но это не мъщало ему сочувственно относиться ко всякому проявленію въ жизни простоты, искренности, гуманности, любви къ труду, сознанія чувства своего достоинства и готовности отстоять его, хотя бы цёною жизни, противъ покушеній самодурства... Но гда-же могъ находить Добролюбовъ всего болъе такихъ качествъ? Очевидно, въ средъ простыхъ и бъдныхъ тружениковъ, не растленныхъ высокомеріемъ, дармоедствомъ и праздностью, среде, близко знакомой ему съ детства, среде, къ которой онь самь принадлежаль, -- наконець, въ нассъ чернаго люда, интересы котораго онъ ставиль на первый планъ во всехъ общественныхъ вопросахъ. Къ этой средъ всего болъе лежало его сердце, къ ней стремились все его симпатін, въ ней онъ искаль более всего свъжихъ силъ, въ нее онъ върилъ и полагался на нее гораздо въ большей степени, чёмъ даже на массу интеллигенціи, на которую онъ, напротивъ того, постоянно смотрелъ скептически. Замечательно, что вирододженіи всей своей діятельности всего одинъ только разъ онъ, въ контрастъ всего стараго и отжившаго, выставиль полодое покольніе. По большейже части, для своихъ контрастовъ онъ обращался къ средѣ простолюдиновъ. Такъ, мы видимъ, въ статьѣ Черты для характеристики русскаго простонародья" (по поводу разсказовъ Марка Вовчка) вотъ какую нарадель проводить Добролюбовъ между интеллигенціей и простыми классами народа:

«Общее разслабленіе, болѣзненность, неспособность въ глубокой, сосредоточенной страсти характеривуеть если не всёхъ, то большинство нашихъ «цивилизованныхъ» собратій. Оттого-то они и мечутся безпрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего имъ нужно и чего имъ жалко. Желають они—такъ что жить безь того не могуть, и, все-таки, ничего не ділають для осуществленія своихъ желаній; страдають опи-такъ что умереть лучше, а живуть себъ, ничего, только меланхолический видъ принимають. Не то у простого человека: онъ или неглижируетъ, вниманія не обращаетъ на предметъ и ужь не толкуетъ о своихъ желаніяхъ, или ужь если привяжется, если решится, то привяжется и решится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствія не стращать его, когда ихъ нужно одольть для достиженія страстно-желаннаго и глубоко-задуманнаго. Еслиже нельзя достигнуть, простой человька не останется, сложа руки: по малой мъръ, онъ измънить все свое положение, весь образъ своей жизни, убъжить, въ солдаты наймется, въ монастырь пойдеть; часто онъ просто, естественнымъ образомъ не переживеть неудачи въ достижени цѣли, которая уже проникла въ существо его и сдѣлалась ему необходима для живни; если-же физическое сложение его слишкомъ крѣпко и можетъ вынести больше, нежели сколько нужно для крайнато раздражения нервовъ въ фантазія, онъ не церемонится покончить съ собою насильственнымъ образомъ. И это тоже служить для наст свидѣтельствомъ, какъ для простаго, здороваго человѣка, разъ почувствовавшаго свою личность и ея права, несносна жизнь безподъная, автоматическая, безъ принциповъ и стремленій, безъ смысла и правды, жизнь, подобная той, какую проводять, напримѣръ, Игрушечкины господа и многіе другіе въ томъ же родѣ» (см. С. Д. т. 3-й, стр. 454).

Этотъ нравственный закаль въ простыхъ людихъ Добролюбовъ прамо выводитъ изъ склада ихъ жизни, чуждой самодурскихъ основаній. Такъ, восхищамоь типомъ Дуни въ "Відной невістів" Островскаго, Добролюбовъ говоритъ:

«Да, эта дввушка сохранила въ себъ чистоту сердца и все благородство, доступное человъку. Но что-же она такое въ нашемъ обществъ? Не отвержена ля она имъ? Да и не этому-ли отверженъ, не отчужденю-ли отъ эрола самодурныть дълж, киша-иция въ лашей средо обществениой, надобно приписать и то, что она такъ отрадно сілетъ передъ нами благородствомъ и ясностью своею сердца?» (см. т. 3-й, стр. 149).

То-же самое говорить онъ ѝ о Любимъ Торцовъ:

«Онъ гразенъ, пъянъ, тижелъ; онъ надорванъ жизнію и очень запустиль самъ себи. Но ма-же ссимая жизкь, мишиет его готовькъ средствъ къ существоватию, унизиет и заставиет тертить и жду, сдъмала ему то балгодъяще, что подломила ет немъ сенову самодурства. Онъ—родной братецъ Гордъя Каршича и, по его-же разеказамъ, былъ съ молоду самодурства и куже его. Но какъ припилосъ ему паленичатъ на морозъ за пятачокъ, да проентъ милостиню, да у брата изъ милости жить, такъ тутъ пробудилось въ немъ и человъческое чувство, и сознание правды, и любовь къ бъднымъ братьимъ, и даже уважение къ труду...»

Но изъ всъхъ простыхъ типовъ наиболев всего увлекся Добролюбовъ типомъ Катерины въ "Грозъ", посвятивъ характеристикъ этого типа цѣлую статью подъ названемъ "Дучъ свѣта въ темномъ царствъ". Типъ Катерины разочаровалъ его, не говоря о всѣхъ прочихъ сильныхъ типахъ, виставленныхъ въ нашей беллетристикъ, даже въ Инсаровъ, которымъ онъ восхищался въ статъъ "Когда-же придетъ настоящій

день 4.

«Русская жизнь-говорить онь въ своей стать в о «Грозв» Островскаго (см. т. 3-й, стр. 537)—дошла, навонець, до того, что добродътельныя и почтенныя, но слабыя и безличныя существа не удовлетворяють общественнаго сознанія и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность въ людяхъ, хотя-бы и менье прекрасныхъ, но более деятельныхъ и энергичныхъ. Иначе и невозможно: какъ скоро сознание правды и права, здравый смысль проснулись въ людяхъ, они непремънно требують не только отвлеченнаго съ ними согласія (которымъ такъ блистали всегда добродътельные гером прежняго времени), но и внесенія ихъ въ жизнь, въ дънтельность. Но чтобы внести нхъ въ жизнь, надо побороть много препятетвій, подставляемыхъ Дикими, Кабановыми и т. и.; для преодолёнія препятствій нужны характеры предпріимчивые, рѣшительные, настойчивые. Нужно, чтобы въ нихъ воплотилось, съ ними слилось то общее

требованіе правды и права, которое, наконець, прорывается въ людяхъ еквозь всѣ преграды, поставленныя дикими самодурами. Теперь задача представлялась въ томъ, какъ-же долженъ образоваться и проявиться характерь, требуемый у нась новымъ поворотомъ общественной жизни. Задачу эту пытались разръшить наши писатели, но всегда болье или менбе неудачно. Намъ кажется, что всѣ ихъ неудачи происходили оттого, что они просто логическимъ процессомъ доходили до убъжденія, что такого характера ищеть русская жизнь, и затемъ кроили его сообразно съ своими понятіями о требованіяхъ доблести вообще и русской въ особенности. Такимъ образомъ и явился, напримъръ, Калиновичь, чуть не таскающій купца за бороду, чтобы тоть пожертвоваль десять тысячь на пользу общества, и истязающій въ тюрьм'в стараго внязя, на любовниць котораго женился, чтобы составить себъ карьеру. Такт. явился и Штольцъ, отлично управ-ляющи имъніями и умъющій живо уничтожать фальшивые векселя при помощи благодътельнаго начальства. Явился Инсаровъ, бросающій нъмца въ несоглашающійся жить даромь, въ гостихъ на дачь у пріятеля, и даже не рышающійся жениться на любимой дівушкі!! Явилась и княжна Зинаида, итчто среднее между Печоринымъ и Ноздревымъ въ юбкъ... Не такъ понять и выраженъ русскій сильный характерь въ «Грозъ». Онъ прежде всего поражаеть насъ своею противоположностью всякимъ самодурнымъ началамъ. Не съ инстинктомъ буйства и разрушенія, но и не съ практическою довкостью улаживать для высокихъ целей свои собственныя дълишки, не съ безсмысленнымъ трескучимъ пафосомъ, но и не съ дипломатическимъ, педантскимъ разсчетомъ является онъ передъ нами. Нътъ, онъ сосредоточенно-рѣшителенъ, неуклонно вѣренъ чутью естественной правды, исполненъ въры въ новые идеалы и самоотвержень въ томъ смыслѣ, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тѣхъ началахъ, которыя ему противны. Онъ водится не отвлеченными принципами, не практическими соображеніями, не мгновеннымъ паеосомъ, а просто натурой, всёмъ существомъ своимъ. Въ этой цёльности и гармоніи характера заключается его сила и существенная необходимость его въ то время, когда старыя, дикія отношенія, потерявь всякую внутреннюю силу, продолжають держаться визшнею, механическою

Но не одни только отдёльныя проявленія пёльныхь натуръ искалъ Добролюбовъ среди простыхъ классовъ. Вибств съ темъ, онъ питалъ живую и горячую въру въ массу народа во всей ся сложности и видель въ ней единственную мощную силу, на которую можеть всегда положиться во всёхъ своихъ разумныхъ и благихъ стремленіяхъ безсильная и ничтожная сама по себь интеллигенція. Онъ быль чуждъ техъ славянофильскихъ тенденцій; по которымъ "что ни мужикъ, то геній", или "русскій мужикъ топоромъ больше сделаетъ, чемъ англичане со всеми машинами" (см. т. 3-й, стр. 411), но еще въ большей степени чуждъ онъ быль противоположной крайности, того завещаннаго крепостнымь правомъ мненія, что народъ есть не что иное, какъ стадо безсмысленныхъ барановъ, не имъющихъни человъческаго разума, ни человъческихъ чувствъ, ни даже человъческаго языка, и что весь вопросъ состоить вътомъ, какихъ пастуховъ поставить надъ этими стадами: знакомыхъ со всеми последними открытіями естествознанія или незнакомыхъ. Добролюбовъ далекъ былъ отъ того пресловутаго мийнія цивилизованных баричей, что народъ самъ собою никогда не дойдеть до сознанія малей-

щаго улучшенія своего быта, пока трезвые реалисты съ кръпкими нервами не снизойдутъ до него и не просвътять его... Онъ зналъ, что такой путь прогресса очень долгій и пришлось бы ждать много стольтій, нока трезвымъ реалистамъ удалось бы сделать это. Въря, что въ народъ таится живая сила жизни, хотя и подавленная временно, онъ полагалъ, что эта сила можеть воспрануть гораздо скорфе, прежде чемъ народные благод втели примутся за дело просвещения народа. Съ цёлью внушить обществу это свое завътное върование въ народъ, Добролюбовъ написалъ двъ статьи "Непостижниая странность" (см. С. Д. т. 4-й, стр. 140) и "Народное дъло. Распространение обществъ трезвости" (т. 4-й, стр. 71). Въ первой статът онъ разсказываеть о томъ, какъ внезапно воскресли къ новой жизни и деятельности итальянцы, повидимому, совершенно подавленные подъ гнетомъ среднев вковыхъ предразсудковъ, невъжества, суевърія и считавшіеся народомъ, лишеннымъ всякой жизни и стремленій къ лучшему. Во второй стать в онъ имветь дело съ нашимъ народомъ, который выразилъ въ концъ пятидесятыхъ годовъ свой протесть противъ винныхъ откуповъ заведеніемъ обществъ трезвости, и выразиль его вполит самостоятельно, безъ всякихъ вліяній литературных види какихъ-нибудь другихъ. Въ статът этой мы остановимся на одной страницъ, которая, по нашему мненію, выражаеть всю суть убъжденій Добролюбова и бросаеть яркій свъть на весь характеръ его литературной деятельности. Вотъ это ивсто (см. стр. 75-ю):

«Нѣть такой вещи, которую бы можно было гнуть и тянуть безконечно: дойдя до извъстнаго предъла, она непремънно изломится или оборвется. Такъ точно нать на светь человька и неть общества, котораго нельзя было-бы вывести изъ терпфнія. Вічной апати нельзя предположить въ существъ живущемъ; за летаргіей должна следовать или смерть, или пробуждение къ дъятельной жизни. Слъдова-тельно, ежели правда, что нашъ народъ совершенно равнодушенъ къ общественнымъ дъламъ, то изъ этого вытекаеть вопросъ: нужно-ли считать это признакомъ близкой смерти націи, или нужно ждать скораго пробужденія? Пессимисты готовы, пожалуй, осудить на медленную смерть цёлое племя славянское; но, по нашему глубокому убъждению, они крайне несправедливы. Ихъ обманываеть временная летаргія, и они не хотять видёть признаковь жизненности, по временамъ обнаруживающихся въ нашемъ народъ. А между тъмъ, существование этихъ признаковъ не только подтверждается внимательными наблюденіями, но даже оправдывается нѣкоторыми соображеніями а priori. Говоря о народъ, у насъ сожальють, обыкновенно, о томъ, что къ нему почти не проникають лучи просвъщенія, и что онъ, поэтому, не имъетъ средствъ возвысить себя нравственно, сознать права личности, приготовить себя жь гражданской деятельности и проч. Сожальнія эти очень благородны и даже основательны; но они вовсе не дають намъ права махнуть рукой на народныя массы и отчаяться въ ихъ дальнъйшей участи. Не одно скромное ученье, подъ руководствомъ опытныхъ наставниковъ, не одна литература, всегда болбе или менбе фразистан, ведеть народъ къ нравственному развитію и къ самостоятельнымъ улучшеніямъ матеріальнаго быта. Есть другой путь—путь живненныхъ фактовъ, никогда не пропадающихъ безследно, но всегда влекущихъ событіе за событіемъ, неизбъжно, неотразимо. Факты жизни не пропускають никого мимо: они действують и на безграмотного престыянского пария,

и на отупъвшаго отъ фухтелей кантониста, какъ дъйствують на студента университета. Холодъ и голодь, отсутствіе законныхь гарантій въ жизни, нарушение первыхъ началъ справедливости въ отношенін къ личности человіка — всегда дійствують несравненно возбудительные, нежели самыя громкія и высокія фразы о правдё и чести. Точно такъ и наоборотъ: матеріальное довольство и полное признаніе всѣхъ нравственныхъ правъ человѣка успо-конваеть его несравненно болѣе, нежели всѣ глубокомысленныя внушенія о кротости и благодуш-номъ терпѣніи. Поэтому, если розовое настроеніе духа, развивающееся въ богатомъ лежебокѣ, мы не можемъ принять за доказательство того, что и для рабочаго бъдняка очень весело жить на свъть; такъ отсюда вовсе не сладуеть, чтобы, въ противномъ случав, нельзя было сдвлать заключенія обратно. Напротивъ, если богатий и свободный отъ дълъ человъкъ жалуется на то, что тяжело жить на свъть, то изъ этого именно можно заключить, что бъдному труженику еще тяжелье, хотя онь, можеть быть, и не умъеть такъ красноръчиво изобразить свои страданія, по недостатку образованности. Образованность именно ведеть къ большей или меньшей степени ясности сознанія, и, затёмъ, къ умёнью формулировать то, что совнается... Но и неформулированное страданіе, все-таки, страданіе. Пусть оно таится, пусть не принимаеть определеннаго выраженія, это не должно обманывать насъ: есть предълъ, за которымъ оно можетъ ярко обозначиться, и тогда безъ всякихъ книгъ, безъ отвлеченныхъ соображеній, не говоря никакихъ фразъ, даже не принимая особаго имени для себя, оно проявится на самомъ дёлё. Апиствительный факть, отразившись въ практической жизни дъятельного, рабочаго человика, породить тоже дийствительный факть, тогда какъ книжныя теоріи и предположенія образованных глюдей, можеть быть, такь и останутся только теоретическими предположеніями».

Въ этой тирадъ, какъ въ фокусъ, сосредоточиваются всь основанія пропаганды Добродюбова, слагавшейся изъ двухъ элементовъ: глубокой въры въ народъ, въ его живыя силы, готовыя перейти въ деятельность подъ вліяніємъ жизненныхъ фактовъ и рядомъ съ этимъ недовѣріе къ пассивной интеллигенціи, возросшей на гнилой почев самодурства и обломовщины... Изъ этихъ двухъ элементовъ его пропаганды прямо проистекаетъ, какъ, съ одной стороны, наклонность его къ выставленію контрастовъ простой среды съ цивилизованною; далеко не въ пользу последней, такъ, съ другой стороны, весь безчисленный рядъ сарказмовъ, которыми онъ, при каждомъ удобномъ случав, осыпаль интеллитенціею со всемь ея мишурнымъ прогресомъ отвлеченныхъ теорій и громкихъ, риторическихъ фразъ, заносчивой кичливости на словахъ и дрябломъ безсилін, безхарактерности и несостоятельности на деле...

Не долго продолжалась діятельность Добролюбова; въ конді 1860 года его уже не было. Но столь плодовита и плодотворна была она, что вся послідующая япоха прогресивной литературы можеть быть названа впохой Добролюбова, потому что литература въ эпоху эту разработывала и развивала то, что положиль въ основаніе ея представитель, шла по его направленію. Й до сихъ поръ еще вліяніе Добролюбова ощущается во всемъ, что только есть лучшаго въ современной нашей литературів. Если вы и встрітите какія-лябо отступленія отъ того йути, на который поставиль Добролюбовъ литературу, то отступленія эти имъють не прогрессивный, а регрессивный характерь, такъ что вполит выдерживають буквальный

смыслъ слова отступление. Вліяніе Добролюбова на жизнь было еще благотвориће и ощутимће. Представитель среды мыслящаго труженичества, онъ выдвинуль эту среду впередъ изъ мрака, загнанности и робости, онъ внушилъ ей сознаніе собственнаго достоинства, возбудиль въ ней горячую энергію и направиль ее на служеніе народнымъ интересамъ и на упорную борьбу со всеми мрачными элементами невъжества и самодурства. Послъ него и въ литературъ, и въ жизни все истинно прогресивное устремилось на путь реальныхъ стремленій о существенном улучшеній благосостоянія народа. Всь мертвые, отвлеченные принципы, поверхностный диллетантизмъ, метафизика и эстетика, напыщенная риторика и эпикурейская созерцательность-все это удалилось пресмыкаться и отживать свой въкъ на задніе дворы литературы и жизни. Идеалъ энергическаго, честнаго труженика-простаго, искренняго, естественнаго и безъискусственнаго въ различныхъ проявленіяхь своихь чувствъ и стремленій, руководящагося во всехъ своихъ поступкахъ натурой, живою страстью, а не отвлеченными принципамитакой идеаль смениль все прежніе. Выше и естествениве этого идеала до сихъ поръ еще не создала жизнь и нужно-ли прибавлять, что, всматриваясь во все факты жизни Добролюбова, его развитіе, его энергическую деятельность, наконецъ, доблестную кончину въ самоотвержени упорнаго труда и борьбыневольно приходишь къ заключенію, что, проповедуя вышеупомянутый идеаль, Добролюбовъ проповедывалъ самого себя. Въ самомъ деле, наиболее полное, безукоризненно-совершенное, доблестное сліяніе съ проповедываемымъ идеаломъ редко вы встретите въ исторіи. Понятно, что передъ этимъ чистымъ, светлымъ, незапятнаннымъ ни одною пылинкой образомъ смодкаетъ всякая вражда и останавливаются въ безмодвій желиные памфлетисты, злобные приверженцы мрака и обскурантизма, которые, конечно, не переставали бы вопить и глумиться надъ священною памятью неумодимаго карателя ихъ, еслибы они хоть одно нятнышко усматривали на этой памяти.

Очеркомъ дентельности Добролюбова мы можемъ считать свой трудъ поконченнымъ. Надвенся, что цель, которую предположили мы въ вступлении къ нашему обозрѣнію, хоть въ малой мѣрѣ достигнутапри всёхъ недостаткахъ труда. Цёдь эта заключалась въ томъ, чтобы очертить процессъ развитія передовой мысли нашего общества отъ двадцатыхъ годовъ до пестидесятыхъ и показать этимъ очеркомъ, что движение шестидесятыхъ годовъ естественно и последовательно вытекло изъ всего этого процеса, безъ всякихъ скачковъ куда-либо въ сторону или внезапнаго разрыва со встанъ прошлынъ ради идей и взглядовъ, произвольно вломившихся въ нашу литературу, словно внезацио свадившихся съ неба на нашу голову. И дъйствительно, что им видимъ изъ всего нашего обозрвнія? Къ какинъ результатамъ оно приведо насъ?

Результаты эти мы можемъ формулировать въ слѣдующихъ положеніяхъ:

1) Уже въ сороковые годы мысль наша направилась на почву положительности, и все движеніе сороковыхъ годовъ было ничёмъ инымъ, какъ стремленіемъ передовой мысли сбросить съ себя оковы старыхъ преданій и путы метафизики.

2) Уже въ сороковые годы былъ проповеданъ утилитаризиъ искусства и науки.

3) Уже въ концѣ сороковыхъ годовъ начали проповѣдываться новыя эстетическія, нравственныя и общественныя теоріи, основанныя на началахъ реализма. Было уже высказано много живыхъ и свѣтлыхъ мыслей о важности естествознанія въ антропологіи и соціологіи, о необходимости опытнаго метода въ этихъ наукахъ. Наконецъ, была проповѣдана позитивная философія Огюста Конта.

4) Движеніе шестидесятых в годовь было, такимъ образомъ, главнымъ образомъ основано на возрожденіи идей сороковыхъ годовъ, не усвоенных массой неразвитаго общества и подавленныхъ реакціей пятидесятыхъ годовъ.

5) Новаго въ движеніи шестидеситыхъ годовъ было только окончательное упроченіе передовой мысли на почвѣ реализма и болѣе плодотворное, широкое и всестороннее резвитіе идей реализма съ одной стороны, а съ другой—перемѣщеніе центра умственнато движенія въ среду мыслящаго пролетаріата, повлекшее за собою развитіе новыхъ нравственныхъ идеаловъ.

6) Но и въ этомъ последнемъ обстоятельстве мы видимъ тотъ-же естественный и неизбежный результатъ движенія сороковыхъ годовъ: распространяя иден посредствомъ университетовъ и журналистики и расширяя кругъ мыслящаго общества, люди сороковыхъ годовъ неизбежно пришли къ возбужденію мысли въ массе бедныхъ слоевъ общества; последніе и выступили, наконецъ, на поприще умственнаго движенія съ теми идеалами, какіе были присущи имъ по складу ихъ жизни и характеру ихъ реальныхъ стремленій.

7) Что-же касается антагонизма, который возникъ въ шестидесятые годы между старымъ и молодымъ поколъніемъ, то, въ философскомъ отношеніи, противниками движенія шестидесятыхъ годовъ явились вовсе не люди сороковыхъ годовъ въ истинномъ симсле этого слова, то-есть, не те изъ поколенія сороковыхъ годовъ, которые вполнъ усвоили всъ передовыя идеи своего времени. Такіе люди и не дупали идти противъ движенія шестидесятыхъ годовъ, хотя они, можеть быть, и отставали отъ этого движенія въ некоторыхъ второстепенныхъ положенияхъ. Возстали-же противъ молодаго поколенія мыслители, практики, публицисты и беллетристы, усвоившіе изъ всего движенія сороковыхъ годовъ одни жалкіе обрывки, поверхностныя фразы и оставшіеся, по своему міросозерцанію, во многихъ отношеніяхъ, романтиками тридцатыхъ годовъ. Но подобные господа, еслибы только они могли глубоко вдумываться въ содержание различныхъ идей, а не скользить по поверхности ихъ, конечно, не стали бы выставлять имена передовыхъ дъятелей сороковыхъ годовъ въ укоръ молодому покол'янію, а должны были бы празнать себя врагами и т'яхъ авторитетовъ, которымъ они покланяются и за которые укрываются въ своемъ жалкомъ нев'їжестві.

Но есть другая и более существенная причина антагонизма между дюдьми сороковых и местидесятых в годов , причина чисто соціально-физіологическая. Тоть новый слой общества, который вошель въ русло умственнаго движенія въ местидесятые годы и всталь внереди, не могъ не встать въ оппозицію съ людьми сороковыхъ годовъ, даже дучшими изъ нихъ, даже при всемъ согласіи съ нѣкоторыми изъ нихъ въ основнихъ убѣжденіяхъ и стремленіяхъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ борьбой не міросозерцаній или поколѣній, а общественныхъ слоевъ, съ міровымъ, вѣчнымъ антагонизмомъ любищевъ и пасынковъ судьбы...

ГЕРОИ ВѢЧНЫХЪ ОЖИДАНІЙ

(«Разореніе», романъ Глаба Успенскаго. Спб. 1871 г.).

I.

Всякая блаженная середина бываеть пошла и всв ублюдки уродливы, но нътъ ничего безобразнъе той помъси эстетической критики съ тенденціозною, какая часто встречается въ настоящее время въ нашей литературъ то на столбцахъ газетъ, то на страницахъ журналовъ, а оттуда переходить въ салонную болтовню о литературныхъ новостяхъ. Пріемы этой критики весьма незамысловаты и изобратены не ею, а достались ей по наслёдству, потому что въ каждый вёкъ существовала подобная междоумочная критика и употребляла одни и тъ же неизмънныя правила: къ произведеніямъ общепризнанныхъ знаменитостей относись смёло, восторгайся ихъ эстетическими красотами, силою художественнаго таланта, и, развъ если они черезчуръ ужь плохи, то удивляйся, какъ такой высокій таланть и т. д. Что же касается произведеній именъ новыхъ, непризнанныхъ и не попавшихъ еще въ литературную табель о рангахъ, то, чтобы не попасться въ просакъ, избътай всякихъ ръшительныхъ приговоровъ: можешь замѣтить въ произведеніи съ серьезнымъ тономъ знатока кое-какія достоинства, кое-какіе недостатки, поощрительно заявить, что авторъ подаетъ некоторыя надежды, войти въ небольшое разсужденьице по поводу той или другой современной идейки; но главное заключается въ томъ, чтобы оставить для себя два выхода изъ рецензіи, чтобы впоследствіи во всякомъ случать можно было; опираясь на рецензію, сказать: мы говорили и вкогда то и то, последствія оправдали наши предположенія. Этому дорогому правилу, завѣщанному предками, держится и современная намъ междоумочная критика.

Что особенно подвупаеть публику въ подобной критикъ, такъ это то, что робко и уклончиво держась спасительной серединки, рецензенты всегда умъютъ съ серьезнымъ тономъ знатоковъ выставить нъсколько замъчаній по поводу произведенія, повидимому, совершенно неопровержимыхъ. Откроетъ вамъ рецензентъ нъсколько несомнънныхъ достоистъ произведенія, и вамъ остается только удивляться его проницательности, такъ-какъ вы сами раньше рецензента обратили вниманіе на эти достоинства. Затъмъ заявить онъ,

что произведение выиграло бы, еслибы было менте растянуто, тотъ или другой характеръ былъ бы выдержанъ или выкинутъ изъ пьесы, какъ илиній, въ томь или другомъ мъстѣ не было бы напущено излишнъ игемноты и проч. — и опять вамъ остается только соглашаться съ критикомъ и удивляться втриости и мъткости его критическаго чутъя. Въ заключение критикъ съ тономъ благороднаго либерала напускается на тъ скверны живни, какія изображены въ произведени, или, наконецъ, на самого автора за непохвальность его гражданскихъ чувствъ, — и вамъ остается только проникнуться глубокимъ уваженіемъ къ доблести вашего согражданина.

Но начните вглядываться въ цёлый рядъ подобныхъ рецензій, вамъ представится странное зрѣлище: вы увидите, что произведения самыхъ разнородныхъ писателей, если последние не имеють еще счастия принадлежать къ общепризнаннымъ знаменитостямъ, ставятся рецензентомъ въ одинъ безразличный рядъ: Гльбъ Успенскій, Николай Успенскій, Лейкинъ, Левитовъ, Омулевскій, Крестовскій (псевдонимъ), Кущевскій, —вы и не думайте ожидать, чтобы междоумочная критика установила вамъ какіе бы то ни было опредъленные взгляды на всъхъ этихъ писателей. Всъ они поощряются по одной и той же итркт: во встхъ ихъ находятся свои несомнънныя достоинства, несоинфиные недостатки и своя тенденція, которую слфдуетъ одобрить или предать порицанію. Я уб'вжденъ, что еслибы возстадъ изъ гроба самъ Шекспиръ и выпустиль на свъть комедію, конечно, въ духъ нашего времени и подъ новымъ именемъ, междоумочная критика не замедлила бы отнестись къ нему съ тъмъ же поощрительнымъ тономъ: замътила бы въ немъ нъсколько несомивнныхъ достоинствъ, —и пошелъ бы гулять онъ по свёту на одномъ ряду съ Лейкинымъ, Александровымъ, Аверкіевымъ и прочими драматургами Александринки.

Это полижитее отсутствие всякаго критеріума въ междоумочной критик отъ того именно и зависитъ, что она и отъ эстетическихъ принциповъ отстала, но и къ реальнымъ принципамъ не пристала. Съ одной стороны отыскивание эстетическихъ достоинствъ и недостатковъ въ произведении по мъркамъ отжившей

умозрительной эстетики прямо ведеть къ тому, что не только произведенія новыхъ талантовъ, но и всё величайшіе памятники искусства, если не знать предварительно, что они величайшіе, можно поставить въ одинъ безразличный рядъ, потому что нѣтъ такого произведенія на свёте, въ которомъ, при мало-мальски тщательномъ анализъ, вы не нашли бы рядомъ съ достоинствами своихъ недостатковъ. Эстетическая критика потому именно и пала, что она морочила людей на каждомъ шагу. Заблуждалась она и въ томъ отношеніи, будто образы искусства выше образовъ дъйствительности, но еще болъе заблуждалась она, воображая, что чемъ выше, геніальнее произведеніе, темъ строже соблюдены въ немъ всё законы изящнаго, темъ более найдете вы въ немъ гармоническаго соответствія частей съ цельмъ, и что эти эстетическія совершенства могутъ служить вфримъ мфриломъ достоинства и высоты произведенія. Оказалось, что не только образы искусства не выше дъйствительности, но что и съ формальной стороны искусство только стремится къ достиженію идеаловъ красоты и гармонін, но такъ же редко и случайно достигаетъ этихъ идеаловъ, какъ и все въ природѣ. Въ самонъ дѣлѣ, развѣ только въ небольшомъ, моментально выдившемся изъ души лирическомъ стихотвореніи поэтъ еще можеть удовлетворить всёмъ законамъ эстетики относительно симметріи, гармоніи частей съ цельнь, единства, полноты и проч. Но чуть дело коснется маломальски крупнаго произведенія, для созданія котораго необходимъ годъ времени и болье, требованія эстетики становятся совершенно неисполнимыми. Поэтъ — существо живое, измѣняющееся; сегодня онъ уже не тотъ, чемъ былъ вчера; на него постоянно действуютъ всевозможныя внешнія обстоятельства й ежеминутно измъняютъ его настроеніе, мысли, планы. Можно ли после этого ожидать, чтобы произведение его, писанное въ теченіе ніскольких вліть, или хотя бы и місяцевъ, было гармоническимъ цельмъ? И действительно, мы видимъ, что почти всѣ крупныя произведенія поэзіи представляются не столько стройными, симметрическими храмами, сколько наслоеніями пластовъ внутренней жизни поэта, расположенными столь же неправильно со всевозможными покатостями, неровностями и кривизнами, какъ и геологическія формаціи. Нужно употребить неимов'єрное хитросплетеніе софистической діалектики, чтобы доказать, что та или другая драма Шекспира представляетъ единое целое, въ которомъ будто бы нетъ ничего излишняго, ничего недосказаннаго, въ которомъ каждая часть служила бы для выраженія основной идеи произведенія, и что въ драм'є Шекспира не можеть быть измънена или выброшена ни одна строчка безъ нарушенія гармоніи цілаго. О "Фаустів" Гете, поэмахъ Байрона, "Евгеніи Онфгинф" Пушкина и говорить нечего. Въ произведеніяхъ Гейне образы, чувства, идеи мелькаютъ передъ вами въ хаосъ и съ прихотливостью сонныхъ грезъ, а "Мертвыя Души" Гогодя следовало бы совершенно исключить изъ ряда изящныхъ произведеній. Не говоря ужь о томъ, что это произведеніе неоконченное, не говоря о томъ, что вторая часть его писана совершенно подъ инымъ настроеніемъ поэта, четь первая, вы не видите въ немъ решительно ничего, что напоминало бы вамъ о гармоническомъ, замкнутомъ въ себъ цъломъ. Это галлерея портретовъ, повъшенныхъ рядомъ, при чемъ каждый портретъ самъ по себъ и для себя. Въ эту галлерею можно быдо бы вносить новые портреты; можно и уносить оттуда каждый въ отдельности; оставшіеся ни мало не потеряють, если ихъ товарищь будеть унесень; съ своей стороны ни мало не потеряеть и унесенный товарищъ: глава о Плюшкинъ, помъщенная въ какойнибудь христоматіи, представляется вамъ не безсвязнымъ отрывкомъ, а совершенно отдельнымъ произведеніемъ. Однимъ словомъ, еслибы эстетическая критика не была слеца, уклончива, а смело и последовательно договорилась до конца, то ей пришлось бы, въ pendant своимъ противникамъ, отрицателямъ искусства, которыхъ она некогда обвиняла въ предпочтеніи сапоговъ Шекспиру, самой, въ свою очередь, предпочесть изящно сделанный подсвечникъ большинству великихъ произведеній поэзіи.

Но не въ состояніи будучи найти въ старой эстетик' никакого вернаго критеріума для определенія достоинства произведеній, междоумочная критика наша недалеко идетъ и по пути новыхъ, реальныхъ принциповъ полезнаго искусства. Она ограничивается только указаніемъ на тенденцію и признаніемъ произведенія полезнымъ или вреднымъ по в'єрности тенденціи. Но надо-ли много говорить о томъ, что и тенденціи не могуть дать никакого вернаго критеріума для оцінки относительнаго достоинства произведеній? Хорошо, если передъ вами два произведенія, изъ которыхъ въ одномъ проведена тенденція полезная, а въ другомъ, очевидно, ложная и вредная. Ну, а если вы натыкаетесь на два произведенія съ одинаково полезными тенденціями? Неужели оба одинаково полезны, потому что въ нихъ проведена одинаково полезная тенденція? Но почему-же иное произведеніе подымаєть въ васъ столько чувствъ и думъ, что не исчернать ихъ цълыми томами критическихъ трактатовъ; а объ иномъ, при всей похвальности тенденціи, трудно бываеть сказать несколько словь? Оть этихъ вопросовъ междоумочная критика отделывается обыкновенно насколькими рутинными, стараго покроя фразами въ родъ: такова сила художественнаго таланта, тайна творчества, возведенія въ пердъ созданія и пр.

Всё эти мысли невольно пришли мнё въ голову, когда я читаль "Разореніе", Гл. Успенскаго. Вотъ ужъ нъсколько лътъ подвизается Гл. Успенскій на литературновъ поприщъ, но замътила-ли наша междоумочная критика этотъ молодой и свъжій таланть, отличила-ли отъ ряда другихъ талантовъ молодой школы, опвиила-ли его по достоинству? Положимъ, что первые очерки Гл. Успенскаго еще не могли обратить на него особеннаго вниманія критики, потому что это были негвердые и неопределенные шаги начинающаго таланта, по которымъ трудно еще было судить, что изъ него выйдеть, и пойдеть-ли онъ дальше. Но вотъ передъ вами первое его крупное произведение, почти два года назалъ напечатанное на журнальныхъ страницахъ. Это произведение впервые обнаружило въ Гл. Успенскомъ сильный самостоятельный таланть, решительно выходящій изъ ряда обыкновенныхъ и пролагающій свою собственную дорогу. Про-

изведение Гл. Успенскаго не напоминаеть вамъ ничего. появлявшагося въ литературъ прежде и послъ. Отъ первой страницы и до последней все въ немъ ново, свѣжо, оригинально. Обратила-ли наша междоумочная критика ннимание на эту отрадную и светлую надежду нашей юной литературы и разъяснила-ли, что именно заслуживаетъ особеннаго вниманія въ произведенін Гл. Успенскаго и чёмъ этотъ таланть отличается отъ массы всякаго рода писателей романовъ,

пов'єстей и очерковъ?

Можно заранъе предвидъть, какъ отнеслась бы, если уже не отнеслась междоумочная критика къ произведенію Гл. Успенскаго. Прежле всего она зам'ятила бы, что "Разореніе" представляєть первую попытку Гл. Успенскаго отъ мелкихъ очерковъ провинціальной жизни перейти къ созданію романа, но что попытка эта, къ сожальню, не удалась: вышель все-таки не романъ, а тотъ-же рядъ очерковъ, связанныхъ витств на живую нитку. Довольно сказать, что въ роман' вы видите полное отсутствие всякаго сюжета; только въ концъ уже его завязывается что-то въ роль сюжета, вертящагося около вопроса объ эмансипаціи женщинъ отъ семейнаго деспотизма, но и этотъ сюжеть прерывается въ самомъ началѣ развитія, оканчиваясь безобразною уличною сценою. Что-жельдають дъйствующія лица романа Гл. Успенскаго? А ничего не дълаютъ: спять, эввають и жадуются на томительную скуку, нагоняя еще болье томительную скуку на читателя. Но всего болье надоблаеть вамь въ романъ главный его герой, Михаилъ Ивановичъ, этотъ протестанть изъ народа, выгнанный отовсюду фабричный "за бунты", какъ онъ выражается. Этотъ господинъ впродолжение всего романа ничего не пъластъ, какъ только шатается изъ мелочной давочки въ кабакъ, отъ однихъ знакомыхъ къ другимъ, -- и все жалуется и злится на "прижимку". Онъ весь исчерпывается передъ вами на двухъ-трехъ первыхъ страницахъ романа, но авторъ заставляетъ его стонать и жаловаться до последней страницы; наконецъ, эти безконечныя жалобы героя, повидимому, надожли самому автору, и онъ прервалъ свой разсказъ, предвидя, что еслибы продолжалъ его долве, то далве ему ничего не оставалось бы дёлать, какъ приводить новыя тирады сётованій своего героя. Къ этому надо прибавить нѣкоторую искусственность, съ которою Гл. Успенскій мізстами утрируетъ комизмъ своихъ героевъ, желая наглядиве выставить ихъ пошлость; местами вы видите самого автора, говорящаго устами своихъ героевъ. Такъ, напримъръ, въ длинной тирадъ Черемухина въ концъ романа такъ и видится вамъ въ каждомъ словъ самъ авторъ, анализирущій этого Черемухина его же собственными устами. Эта тирада очень напоминаеть вамь тёхь дёйствующихь лиць плохихь комедій, которыя вдругъ, ни съ того, ни съ сего, обращаются къ зрителямъ, о существовании которыхъ они должны были бы не подозрѣвать, и начинають разсказывать имъ о прежнихъ обстоятельствахъ своей жизни, чтобы уяснить зрителямъ сюжетъ комедін. Точно также и Михаилъ Ивановичъ былъ бы естественные, еслибы симпатін, антипатін и сытованія его авторъ съунълъ представить хотя-бы и глубокими, мъткими, но все-таки инстинктивными гаданіями че-

ловека темнаго, дошедшаго до всего путемъ личнаго опыта, непросвътленнаго знаніями. Михаилъ же Ивановичь подчасъ такъ сознательно формулируетъ свое недовольство, будто онъ знакомъ со всёми новейшишими открытіями политической экономіи. Очевидно, что въ тирадъ Михаила Ивановича на половину вы-

сказывается передъ вами самъ авторъ.

Но при встхъ этихъ недостаткахъ, заметила-бы далее междоумочная критика, вы видите местами въ произведеніи Г. Успенскаго задатки сильнаго и недюжиннаго юмора. Вы найдете въ романъ Гл. Успенскаго страницы, которыя могли бы быть украшеніемъ любого романа Диккенса. Въ самомъ дъль, стоитъ приномнить только въ романт Гл. Успенскаго картину гитада взяточниковъ, разоренныхъ новъйшими реформами и умирающихъ на развалинахъ прежней веселой жизни. Ужасенъ видъ этого опустелаго, заброшеннаго жилища, исполненнаго плесени, духоты и одуряющаго запаха ладона. Эта туноумная старуха-бабка, все продолжающая шептать съ жадностію: "въ карманъ-то, въ кармань - то норови"; этоть парадичный хозяинь, надъ головою котораго сынъ разражается проклятіями; эта хозяйка, которая чуть не ежедневно соборуется въ течение нъсколькихъ лътъ, а послъ отходной быстро вскаживаетъ съ постели и ругается на всю улицу съ водовозомъ или съ мужемъ; наконецъ, этотъ умирающій молодой музыкальный таланть, забитый, запуганный домашнимъ гнетомъ, вообразившій, что онъ виновенъ въ непочтеніи къ родителямъ, къ самому Богу, за то, что игралъ подъ воскресенья и двунадесятые праздники, обвесившій стены своей коморки лубочными картинками, изображающими сперть съ косой, адъ, геенну, страшный судъ, лежащій, обернувшись въ стене, не говорящій ни съ кемь ни слова и ожидающій смерти и всяких ужасовъ, --- все это вибств во всехъ своихъ подробностяхъ представляетъ потрясающее действие. Отъ подобной картины не отказался бы лучшій юмористь въ Европъ.

Только жалко, прибавила бы ко всему этому междоумочная критика, что Гл. Успенскій не всегда употребляеть свой юморь тамь, гдв онь нужень, что онъ расточаеть его безь ибры и подвергаеть ему такія вещи, передъ которыми каждый истиню-прогресивный писатель долженъ останавливаться съ уваженіемъ. Такъ, наприм'єръ, наши земскія и мировыя учрежденія, составляющія высшую степень современнаго россійскаго прогресса и въ которыхъ таится драгоценный залогь всего нашего будущаго, очевидно должны возбуждать въ писателяхъ скорбе чувство восторга, располагающаго къ одописанію, чемъ побужденіе къ см'єху и сатир'є. Когда авторъ заставиль свою героиню Наденьку познакомиться съ семействомъ Шапкина, мы надъялись, что въ лицъ Шапкина онъ изобразить намъ положительный типъ современной русской доблести въ лица либерального дантеля по мировымъ учрежденіямъ, высоко парящаго надъ всею окружающею его пощлостью и распространяющаго вокругъ себя свътъ, торжество правды, законности и уваженія къ порядку; но авторъ не замедлиль пролить свой юморъ даже и на эту свётлую сторону нашей жизни, изобразивши заседание иирового съезда СЪ ТЕМЪ Же СМЕХОМЪ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ, КАКЪ И КАКОЕ-НИ-

будь гизло отжившихъ взяточниковъ. Это непочтительное отношение къ драгоценному залогу показываетъ въ авторъ наклонность къ отрицанию ради отрицания, и авторъ, самъ не замъчая того, подаетъ руку тъмъ врагамъ прогреса, которме рады въ нашихъ земскихъ и мировыхъ учрежденияхъ отыскивать всевозможные недостатки.

Воть и все, что можеть сказать или уже сказала о произведении Гл. Успенскаго междоумочная критика. Все это можно было бы развить гораздо болве, на десяткахъ страницъ, привести множество цитатъ изъ романа для подтвержденія всёхъ вышеизложенныхъ инвній, и я убъждень, публика осталась бы вполнь довольна критикой, даже можеть быть болже, чемъ она останется довольна тою критикою, какую встретить на следующихъ страницахъ. По прочтении подобной критики, какому нибудь салонному говоруну можно было бы вдосталь посм'яться надъ тамъ, что наши юные литераторы до сихъ поръ не выучились составлять сюжетовъ, заставляютъ мужиковъ говорить чуть что не цитатами изъ Прудона, и что вотъ до чего дошло наше покольніе; отрицаеть даже такія благодътельныя учрежденія нашего времени, какъ гласный судъ и земскія собранія. Болье благосклонные къ юному покольнію, можеть быть, заинтересовались бы прочесть "Разореніе", если еще не читали; прочитавши, замѣтили бы, что, да, дѣйствительно, молодой авторъ не безъ таланта; юморъ его мъстами задоренъ, но все это еще такъ молодо и незрело, котя и подаетъ кое-какія надежды. Воть и все, къ чему могла-бы привести подобная критика. А между тимъ, это все не даетъ и тъни понятія объ истиниомъ значеніи и достоинствъ произведенія Гл. Успенскаго. Какъ бы ни были велики эстетические недостатки "Разоренія", но въ немъ схвачены такіе существенные и общіе мотивы современной намъ жизни, которые наводять васъ на множество тяжелыхъ и грустныхъ размышленій. Чтобы оцінить по достоинству произведеніе Гл. Успенскаго, критика должна указать, въ чемъ заключается уменье автора, схватывать обще мотивы нашей современной жизни, какіе именно мотивы схвачены въ романт Гл. Успенскаго, и какое действие производять они на читателя, на какія мысли наталкивають его. Но для всего этого нужно установить особенный критеріумь, такъ какъ вышеупомянутые критеріуны не могуть дать обо всемъ этомъ и приблизительнаго понятія.

II.

Актъ творчества межетъ быть раздёленъ на два совершенно различные и даже противоположные момента: моментъ образованія поэтическихъ образовъ, и моментъ, въ который готовые уже образы бвладѣваютъ поэтомъ и возбуждаютъ его къ воспроизведенію ихъ въ формахъ искусства. Умозријельная эстетика имѣла постоянно дѣло только съ послѣднимъ моментомъ, которому придавала самое главное значеніе, который ѝ считала собственно поэтическимъ творчествомъ. Что же касается до образованія поэтическихъ образовъ, то на этотъ моментъ она смотрѣла, какъ на непостижиную тайну поэтическаго творчества, предполагая, что по-

этическіе образы создаются какъ-то вдругь, моментально, во всей своей величинь, въ экстазъ поэтическаго ясновидънія.

А между тёмъ, въ сущности этотъ первый моментъ поэтическаго творчества длится неизмёримо долее втораго; опъ представляетъ вовсе не взрывъ экстаза, а медленное и постепенное, продолжающееся день за день, годъ за годъ развитіе различныхъ умственныхъ комбинацій. Этотъ первый моментъ составляетъ самую главную и существенную часть поэтическаго творчества. Можно сказать даже, что отъ него зависитъ почти все. Между тёмъ, новъйшія психологическій изысканія пролили такой уже свётъ на всё наши мозговые процессы, что этотъ первый моментъ творчества уже не составляетъ болѣе непостижимой тайны.

Новъйшая психологія учить насъ, что въ основъ вськъ умственныхъ отправленій лежить индукція, то-есть сведение въ нашемъ умф отдельныхъ представленій къ общимъ образамъ, категоріямъ, идеямъ. Если таково существенное свойство нашего ума, то неужели одно поэтическое творчество изъято изъ этого закона нашей психической жизни и имъетъ свои особенные законы? Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. Образованіе поэтическихъ образовъ совершается по темъ же законамъ индукціи. Поэтъ приходить къ своимъ созданіямъ такимъ же медленнымъ путемъ изученія и обобщенія, какъ и ученый къ своимъ открытіямъ. Этимъ обусловливается и достоинство произведеній искусства. Въ области науки ны ставинъ низко компиляцію, пережевывающую добытыя уже и всемь извъстныя мысли, какъ бы хорошо ни была эта компидяція издожена; съ другой стороны, мы темъ выше ставимъ ученый трактатъ, чёмъ больше находимъ въ немъ новыхъ открытій и чемъ важиве те обобщенія, къ которымъ приводитъ насъ ученый. Но не то-же ли самое наблюдается нами и въ пірѣ искусства? Что дълаетъ произведение особенно цъннымъ въ глазахъ нашихъ, какъ не новыя открытія и сбобщенія, къ которымъ приходитъ поэтъ путемъ изученія окружающей его жизни? Почему мы низко ценимъ подражательныя произведенія, сколько бы ни доставляли они намъ эстетическаго наслажденія? Потому что одно эстетическое наслаждение никогда не удовлетворяетъ насъ; мы постоянно ищемъ въ произведении новыхъ итоговъ и обобщеній нашей жизни; подражательный же поэть-тоть же компиляторь, пересказывающій намъ то, что уже добыто и повъдано намъ другими.

Нелья сказать, чтобы старая эстетика и критика, основанная на ней, вполив игнорировали бы этоть законъ поэтическаго творчества. Онф часто говорили намъ о томъ, что одного таланта мало для созданія мало-мальски порядочных произведеній, что торить изъ ничего нашъ умъ не можетъ, что поэтъ долженъ наблюдать и изучать окружающую его живнь. Но старая эстетика ограничивалась этими общими фразами, не разъясняя ихъ, не доводя ихъ до сознательнаго и ясно формулированнаго критеріума, а напротивъ того, тотчасъ же переходила къ радикальныть противорібчіямъ съ этими положеніями, начиная говорить о поэтическомъ чутьй, предвидёній, ясновийній и проч. Этого мало сказать, что поэть дол-

женъ изучать жизнь. Нужно изслёдовать различныя степени и способы изученія живни—и затёмь опредёлять, какъ отражаются они на поэтическихъ созданіяхъ, дёлая ихъ выше или ниже.

Индукція вовсе не есть результать развитія, принадлежность однихъ умовъ, обогащенныхъ всевозможными знаніями. Это такое же существенное свойство человъческаго ума, каково, напримъръ, свойство желудка переваривать пищу. Желудку все равно, чтобы въ него ни положили: опустите въ него одну крошку хлѣба, онъ начнетъ уже свою работу, проглотите кусокъ камня, онъ будетъ стараться переработать и его, не заботясь о результатахъ. Точно такъ же дъйствуетъ и нашъ мозгъ. Какъ только онъ получилъ два, три представленія, онъ тотчась пытается выжать изъ нихъ обобщенія, и ему все равно, каковы эти представленія и каковы выйдуть изъ нихъ обобщенія. По мірів того, какъ количество представленій увеличивается, умъ доходить до сознанія несостоятельности прежнихъ обобщеній, являются на ихъ мъсть новыя, болъе широкія и основательныя. Этимъ обусловливаются всё фазы развитія человёческаго ума, всё ошножи и заблужденія вёковъ, отъ которыхъ человъчество медленно освобождается съ расширеніемъ знаній. Такъ напримеръ, даже такое, повидимому, дъло чистой фантазіи, какъ минологія, есть не что иное, какъ одна изъ первыхъ ступеней индукціи. На этой ступени люди, наблюдая окружающій ихъ міръ, приравнивають къ себъ, обобщають съ собою все, им'тющее движение, производящее то или другое дъйствіе, и приходять къ заключенію, что всѣ подобные предметы въ природъ такія же живыя существа, какъ и человѣкъ. При большей же степени развитія люди уб'яждаются, что предметы матеріальной природы не живыя существа; тогда они начинають дедуктивно приписывать движение этихъ предметовъ человъкообразнымъ существамъ, управляющимъ міромъ. Сравнивая д'яйствія силь природы съ своими действіями, люди приходять къ тому выводу, что существа, управляющія міромъ, неизм'єримо колоссальные, сильные, могущественные людей. Здысь начинаетъ уже работать фантазія; но мы виділи, что толчкомъ къ ней все-таки послужила индукція, да и самая фантазін, создающая мисологію, работаеть чисто-индуктивнымъ путемъ: люди обобщаютъ характеры и качества своего племени въ типы и затъмъ приравнивають эти типы къ различнымъ силамъ природы, смотря по тому, какое впечатление производить на нихъ то или другое явленіе; такимъ образомъ и выходить всегда, что въ богв грома олицетворяется тинъ скоропреходящаго гивва, богъ солнца является красавцемъ, пребывающимъ въ въчно-свътломъ, сіяющемъ настроеніи духа и пр.

Теперь мы посметримъ, какъ дъйствуетъ индукція творчества въ развитіи отдъльнаго человъка, обладающаго поэтическимъ талантомъ. Человъкъ этотъ живетъ въ своемъ дътствъ обикновенно въ весьма ограниченної для его кругозора средъ—семьи и школы. Нъсколько человъкъ роднихъ, нъсколько знакомихъ, приходящихъ въ домъ отца, прислуга, да десятокъ, другой товарищей, изъ которыхъ болъе обизъкихъ къ юнощъ—много пять, шесть человъкъ. Од-

нимъ словомъ, не наберется и 20 человъкъ, которые служатъ матеріаломъ для первыхъ обобщеній коноши, да къ тому-же эти люди по большей части скрываютъ отъ него существеннъйшія явленія своей жизни. Но за то ближе всего, въ полной откровенности стоитъ передъ юношею онъ самъ, и онъ можетъ наблюдать сколько угодно явленія своей молодой, бьющей ключомъ жизни.

Какъ только въ умъ юноши сложатся нъсколько образовъ и типовъ изъ этого маленькаго мірка, тотчасъ же въ немъ является потребность воспроизводить эти образы, творить; рядомъ съ этимъ действуетъ, конечно, возбудительно и заразительно чтеніе изящныхъ произведеній. Юноша обыкновенно подражаетъ любимымъ поэтамъ; но если у него есть хоть маленькій зародышь самостоятельнаго творчества, онъ не ограничивается однимъ рабскимъ подражаніемъ, а пытается пустить въ дёло и свой маленькій запасецъ первыхъ обобщеній. При этомъ онъ поступаетъ совершенно такъ же, какъ и дикари на степени антропоморфизма: онъ приравниваетъ весь міръ къ самону себѣ и тому наленькому мірку, который окружаетъ его; какъ бы онъ ни пытался отрашиться отъ этого міра въ сферу и обстановку иной жизни, иныхъ людей, онъ непремённо изобразить на первомъ планё самого себя, своихъ двухъ, трехъ товарищей; мать героя будеть похожа на его собственную мать, дътство героя онъ наполнитъ впечатленіями своего собственнаго детства; явится въ его разсказе слуга, онъ будетъ непременно похожъ на того Ивана или Павла, который ему примелькался въ дътствъ. Вотъ почену всв юныя произведенія писателей бывають особенно дороги для ихъ біографовъ, проливая иного свъту на дътство и юность писателей.

По мурѣ того, какъ юноща вступаеть въ жизнь, раздвигается передъ нимъ кругозоръ его наблюденій, вмѣстѣ съ тѣмъ становятся разнообразнѣе и общѣе его поэтическіе образы. Онъ создаетъ типы различныхъ сословій и состояній, помѣщиковъ, крестьянъ, ученыхъ и пр. Вмѣстѣ съ тѣмъ, начинаетъ проникать въ тѣ общіе мотивы жизни, которые принадлежатъ множеству людей.

При этомъ следуетъ обратить вниманіе на два совершенно различные склада жизни писателей. Писатель можетъ всю жизнь провести въ какой-нибудь тёсной сословной средѣ, и даже въ этой средѣ въ небольшомъ кружкѣ знакомыхъ. Очевидно, такая жизнь не замедлитъ произвести свое вдіяніе на его творчество. Обобщенія его будутъ частны, узки; самое большее, до чего онъ доститнетъ, будетъ развѣ то, что ему удастся схватить кое-какіе типы другихъ сословій и круговъ жизни тъ чисто внѣпіней стороны. Изть общихъ же мотивовъ жизни онъ схватитъ только мотивы своей среды; обо всемъ, что выходитъ изъ этой среды, онъ будетъ судить гадательно, гипотетически и всюду онъ будетъ совать тѣ самые мотивы, какіе ему удалось подмѣтить въ своей средѣ.

Но поэть можеть жить жизнью, исполненною самыхъ разнообразныхъ приключеній и столкновеній съ разнородными слоями общества; въ то же время передъ нимъ можетъ разыгрываться какая нибудь общественная драма, историческое движеніе, въ которомъ принимають деятельное участіе массы всякаго народа, и прислушиваясь къ говору этихъ нассъ, поэтъ знакомится съ мотивами жизни всевозможныхъ круговъ. Сначала типы и жизнь различныхъ слоевъ общества представляются ему только въ своихъ отличительныхъ чертахъ, неимѣющихъ повидимому ничего общаго между собою и часто совершенно противоположныхъ: тряпичники, роющіеся въ навозт и собирающіе разбитых банки, и вельможи, рѣшающіе судьбы міра- кажутся ему словно существами различныхъ породъ животныхъ. Но мало-по-малу онъ начинаетъ находить общее въ жизни саныхъ противоположныхъ слоевъ общества, подмъчать такіе существенные мотивы жизни, которые общи цёлому народу, въку или даже всену человъчеству. Степени подобныхъ обобщеній бывають различны, завися, какъ отъ круга наблюденій поэта, такъ и отъ способности обобщенія, и отъ этихъ степеней только однёхъ и зависить достоинство произведенія писателя. Писателя, умъвшаго схватить общенародные типы и потивы, иы ставимъ и цёнимъ всегда неизм'тримо выше писателей, не выходящихъ изъ сословной сферы; въ свою очередь еще выше ставинь ны поэтовъ общечеловъческихъ мотивовъ. Последнихъ очень немного, и только ихъ произведенія никогда не теряють своего интереса и пользы, и очень понятно почему: когда вы читаете произведение писателя, не выходящаго изъ круга частныхъ обобщеній, то, какъ бы глубоко ни проникались вы образами поэта, они все-таки остаются болже или менње чужды вамъ, если только вы сами не принадлежите къ кругу жизни, хорошо изученному поэтомъ; вы проникаетесь жалостью, негодованиемъ къ героямъ произведенія, завидуете имъ или чувствуете свое превосходство надъ ними, -- но все-таки чувствуете вижсте съ темъ, что смотрите на нихъ со стороны; когда же вы читаете произведение, схватывающее общечеловъческие мотивы жизни, то, хотя бы авторъ изображалъ передъ вами совершенно чуждую вамъ жизнь, онъ и въ этой жизни покажетъ вамъ нъчто, принадлежащее вамъ самимъ, и глубоко взволнуетъ васъ, затронувши ваши личные интересы, мечты, желанія, стремленія и пр.

Всё эти теоретическія положенія виолий подтвержпаются историческими наблюденіями. Перечтите біографіи всевозможныхъ писателей, вы не найдете ни одного, который бы, живя въ тесномъ, замкнутомъ кругу, написалъ бы что либо истинно великое. Напротивъ дого, мы видимъ, что всв общечеловъческие ноэты, -- начиная съ Эсхилла и кончая Вайрономъжили весьма разнообразною жизнью; они были или тружениками, пробивающимися изъ нищеты и мрака, или скитальцами, изгнанниками, не говоря о томъ, что почти всв они являлись въ эпохи наиболее напряженнаго пульса общественной жизни, въ которой сами принимали непосредственное участіе и наблюдали ее ужь никакъ не изъ своего кабинета, не по газе-

тамъ и реляціямъ.

Понятно послів этого становится и то, почему у насъ не можетъ явиться ни одного писателя, котораго можно было бы поставить на одну высоту съ Шекспиромъ или Байрономъ. До сихъ поръ всю вину въ этомъ исключительно свадивали на необразованность

нашихъ поэтовъ и утешали насъ обыкновенно темъ, что погодите, модъ, вотъ мы сравняемся съ Европой и даже оперединъ ее, тогда и у насъ будутъ свои Гете и Сервантесы. Но при этомъ вы примите только то въ соображение, что хотя у насъ и мало писателей вполнъ образованнымъ, тъмъ не менъе, если вы возьмете русскаго писателя даже самаго необразованнаго, и онъ окажется образованнъе Софокла, просто уже потому, что живеть въ XIX столетіи после Р. Х., тогда какъ Софоклъ жилъ въ V стольтін до Р. Х., когда люди не имъли еще никакихъ опредъленныхъ понятій о томъ, какія страны лежать далье бассейна Средиземнаго моря, думали, что солнце тздитъ по небу на колесницъ Аполлона и злая мойра управляеть судьбою людей; а между темъ въ тотъ векъ всеобщаго невъжества - могъ развиться Софоклъ, тогда какъ у насъ не можетъ произвести. Софокла никакое общеевропейское блестящее образование. Очевидно, что причины этого нужно искать отнюдь не въ отсталости нашей отъ Европы, а въ чемъ-то другомъ. Въ чемъ же именно? Всв вышеприведенныя данныя могутъ дать прямой и ясный отвёть.

Страна удивительныхъ противоречій-наше отечество отличается темъ отъ многихъ странъ Европы, что нигдъ сословныя перегородки не такъ слабы и не такъ шатки, какъ у насъ: мы можемъ похвастаться, что въ настоящее время у насъ почти нътъ сословій, которыя спорили бы между собою о правъ существованія и боролись не на животь, а на смерть. Но если мы не имбемъ четырехъ западныхъ сословій, за то у насъ можно насчитать тысячи всевозможныхъ сословій, которыя действительно не борятся между собой, потому что не хотять и знать другь друга. У насъ, что занятіе, что ремесло, то и свое собственное сословіе, и каждое сословіе отдёлено другь отъ друга китайскою ствною. Да мало еще этого: у насъ люди, получающіе въ годъ 5,000 рублей доходу, только и знають людей, получающихъ столько же; людей же съ 1,000 рублей они уже чуждаются, какъ плебеевъ, а на людей съ 10,000 рублей смотрять уже издали, зная, что те не допустять ихъ въ свою компанію, какъ въ свою очередь плебеевъ. При подобныхъ условіяхъ мы всё живемъ въ тесныхъ замкнутыхъ кружкахъ, считая только свой кружокъ за людей, единственно полезныхъ въ мірѣ, только свою профессію постойною занятія порядочнаго человека; на всехъ же остальных ближних вы косимся и отстраняемся отъ нихъ въ ужасъ, какъ бы боясь, чтобы одно прикосновение къ нимъ не дишило насъ нашей невинноети. Каждый кружокъ у насъ инветъ свое особенное прозябаніе, питается своими идлюзіями, создаеть даже свой особенный языкъ, понятный только для членовъ кружка. Оттого у насъ и случается зачастую, что иной кружокъ, живя въ тёсной заикнутости и не зная о томъ, что делается за его стенами, унесется въ своей иллюзінвътакія эмпиреи и выкинеть вдругь такое колънце на удивление всему свъту, что будучи не въ силахъ отдать себъ отчета, что побудило людей дойти до подобнаго увлеченія, не зная тёхъ путей, какими мысли этихъ людей додумались до чортиковъ, вы чувствуете себя словно въ какомъ-то бедламъ и видите людей окончательно поврежденныхъ.

Теперь подумайте, гдв же нашимъ писателямъ доходить до такихъ общечеловъческихъ обобщеній, которыя могли-бы поставить ихъ на одну высоту съ Шекспиромъ или Сервантесомъ? Гдѣ же у насъ такая общественная жизнь, такое всемірно-историческое движение, которое приводило бы въ столкновение и выдвигало бы наружу существенныя стороны людей различныхъ состояній и доставляло бы поэту обильный матеріаль для наблюденій и обобщеній? Прозябая въ тесныхъ, замкнутыхъ кружкахъ, наши писатели только и могутъ доходить до техъ частныхъ, узкихъ обобщеній, какія имъ доставляєть ихъ кружокъ. Они только и могутъ выставлять рельефно типы своей среды; обо всъхъ же прочихъ слояхъ общества они уже судять гадательно, гипотетично, изображая только вижшина черты; внутрения же предполагая все тв же, какія имъ удалось подметить въ своей средв. Такимъ образомъ, если писатель помъщикъ, то и всё его герои будуть смахивать на помещиковь: у него и мужикъ будетъ выставленъ какимъ-то селадономъ, илжющимъ въ порывѣ нѣжной страсти и дрожащимъ при видъ обнаженной ручки или ножки деревенской красавицы; если онъ офицеръ, то у него и всв героп будутъ смахивать на офицеровъ, и мужикъ въ его повъсти, при порывъ ревности, выйдетъ съ дубиною въ рукахъ на дуэль съ оскорбителемъ своей чести. При этомъ нужно заметить, что немногихъ писателей, которымъ удалось обобщить типы и мотивы жизни целаго класса помещичьяго, купеческаго или военнаго, мы по всей справедливости считаемъ нашиии первоклассными корифеями, потому что обобщенія ихъ, какъ ни частны сами по себъ, все-таки довольно широки сравнительно съ обобщеніями тёхъ писателей, жизнь которыхъ сосредоточивается въ тесномъ кружкъ пяти, шести человъкъ. Последние на всю жизнь страны, о которой не имфютъ ровно никакого понятія, смотрять обыкновенно съ точки зранія идлюзій своего кружка и искажають эту жизнь, елико возможно. Кромф двухъ, трехъ такъ-называемыхъ положительныхъ типовъ, являющихся кодячими олицетвореніями иллюзій кружка, всё остальные герои у нихъ представляются обыкновенно или блёдными призраками, или стереотипными манекенами. Вотъ почему немногіе молодые таланты наши гибнуть въ самомъ началъ своего поприща, не идя далъе многообъщающихъ начинаній. Но и первоклассные таланты, при условіяхъ нашей жизни, бродять часто въ потемкахъ, рискуя ежедневно попадать въ просакъ. Такимъ блужданіемъ въ потемкахъ является, напримъръ, отношение нашихъ первовлассныхъ беллетристовъ къ молодому поколенію. Критика напада на подобное отношение вовсе не потому, чтобы требовала отъ бедлетристовъ нашихъ непременно выставленія молодого покольнія въ идеальномъ свыть. Никто этого отъ белдетристовъ не требовалъ; никому и въ голову не приходило, чтобы въ молодомъ поколеніи олицетворились всевозможныя добродетели и не было ни одного порока. Пусть бы беллетристы выставляли отрицательныя стороны молодаго покольнія, и критика, и молодое поколеніе ничего не могли бы чувствовать къ правдивымъ беллетристамъ, кромъ глубокой признательности; нечего и говорить о томъ, что

выставленіе недостатковъ бываеть всегда вдесятеро полезние и богаче результатами превознесенія достоинствъ. Но для того, чтобы выставлять недостатки какой-либо среды, нужно прежде всего глубоко изучить эту среду; собрать какъ можно болье наблюденій изъ ея жизни, и тогда уже решиться делать какіе-либо выводы и обобщенія. Теперь подумайте, могутъ-ли, положа руку на сердце, по чистой совъсти, беллетристы наши громко заявить, что да, они изучили молодое поколеніе и создавали свои типы не гипотетически, не наобумъ, не по двумъ, тремъ, случайно встръчаемымъ экземилярамъ? Видъли ли ихъ когда нибудь среди этого молодаго покольнія, наблюдающими его быть, нравы, интересы? Напротивъ того, можно сказать, что последнія произведенія нашихъ первоклассныхъ беллетристовъ какъ будто нарочно для того написаны, чтобы показать людямъ несостоятельность теоріи поэтическаго ясновиденія и всю важность опыта для поэтическаго творчества. Вся сила таланта не выручила ни Тургенева, ни Гончарова, едва они съ почвы изученной ими действительности сошли на почву жизни, о которой не позаботились составить себѣ никакого яснаго понятія. Писатель, наинсавшій "Залиски охотника", писатель, создавшій типъ "Обломова" — начали вивсто истинныхъ представителей молодаго покольнія угощать насъ-совершенно подобно начинающимъ писать гимназистамъ 7-го класса — ходульными героями въ духѣ Марлинскаго! Въ наукъ всякія самоувъренныя сужденія, произвольныя заключенія о неизученных фактахъ называются шардатанствомъ. Въ искусствъ подобное же отношение къ действительности считается поэтическимъ ясновидениемъ!

Вотъ на этомъ основаніи мы нѣсколько разъ уже говорили, и считаемъ нелишнимъ повторять каждый разъ, что единственную надежду нашей современной литературы составляеть та реальная школа молодыхъ писателей, которые смёдо разрывають всякую связь со всёми литературными традиціями, оставляють всякія понытки создавать по отвлеченнымъ теоріямъ положительные типы и вообще творить на основании поэтическаго ясновидѣнія, а начинаютъ прямо съ азбуки, наблюдають и изучають народь въ разныхъ слояхъ его и рисують намъ нашу жизнь такъ, какъ она представляется ихъ наблюденіямъ. Не надъяться, что подобный способъ индуктивнаго изученія жизни въ результатъ своемъ произведетъ писателя, если не общечеловъческаго, то всенароднаго, значить не придавать никакого значенія индуктивному методу, отрицать самое свойство человеческого ума доходить до чего-либо путемъ опытовъ и наблюденій. Пусть подобнаго рода скептики сидять у моря и ждуть появленія такого генія, который не выходя изъ своего кабинета, очаруеть ихъ глубокимъ анализомъ ихъ жизни, а въ ожиданіи подобнаго чуда пусть тешатся эстетическими красотами поэтовъ, никуда не заглядывающихъ далъе нъсколькихъ будуаровъ съ запахомъ свѣжаго женскаго тѣла, итальянскихъ оперъ, клубовъ да баденской рулетки.

Мы же будемъ твердо убъждены, что идя по тому пути, на который наша литература сороковыхъ годовъ только выступила, но тотчасъ же съ него и свороти-

ла, и на которомъ изъ пожилыхъ писателей удержались только Островскій, да гр. Л. Толстой. — по этому пути раньше или позже литература наша дойдеть до созданій истинно великихъ произведеній. И мы тімь более имееть право питать подобныя надежды, что рядомъ съ темъ печальнымъ растленіемъ, какое представляють всё прочія отрасли нашей беллетристики, только одна эта отрасль, напротивъ того, имбетъ постоянный и несомивнный прогрессъ. Первымъ. замъчательнымъ явленіемъ на этомъ пути, явленіемъ, обратившимъ на себя всеобщее вниманіе, были произведенія Рашетникова. Какъ ни преждевременно сошель съ литературнаго поприща этоть таланть, но онъ успель уже сделать иного заибуательных обобщеній изъ круга жизни низшихъ классовъ нашего общества. Но обобщенія Рішетникова были все-таки еще довольно частны; они не простирались далъе быта нашихъ восточныхъ инородцевъ, рабочаго сословія и духовнаго; едва Рфшетниковъ выходиль изъ этихъ рамокъ, онъ уже становился на шаткую почву догадокъ, гипотетическихъ или черезчуръ конкретныхъ образовъ, словомъ, обнаруживалъ полное незнакомство со всёми прочими слоями нашей жизни. Гл. Успенскій составляеть шагь впередь послі Різшетникова. Онъ не ограничивается уже изученіемъ быта одного какого-либо слоя или среды общества, а изучаеть быть общества въ его совокупности — въ разныхъ его слояхъ и въ столкновеніяхъ этихъ слоевъ между собою. И виссте съ темъ, вы встречаете въ его произведенін насколько обобщеній, касающихся не одного только крестьянскаго, фабричнаго или помізщичьяго класса, а всей русской жизни вообще. Да не подумаетъ читатель, чтобы мы вследствіе этихъ обобщеній смотрели на произведенія Гл. Успенскаго, какъ на высшую точку, до которой можетъ только достигнуть эта школа беллетристики, чтобы мы считали Гл. Успенскаго писателемъ вполнѣ всенароднымъ. Нъсколько обобщеній еще не составляють всего, что входить въ идеалъ всенароднаго поэта, къ тому же обобщенія обобщеніямъ рознь, но и тѣ обобщенія, до которыхъ достигь Гл. Успенскій, ставять "Разореніе" въ число замічательнійшихъ произведеній посл'ядняго времени и заставляють ожидать отъ Гл. Успенскаго въ будущемъ многаго.

III.

Гл. Успенскій изображаєть передъ вами ийсколько типовъ изъ жизни неизв'ястнаго губернскаго города, и типы эти не принадлежатъ даже къ верхамъ интеллигенціи этого города. Что общаго между жителями столицъ, усвовними себѣ высшую цивилизацію Европы, жадно сл'ядщими по журналамъ и газетамъ за развитіемъ европейской жизни, принимающими живое участіє во встять современныхъ вопросахъ общественной жизни отечества, разд'яляющимися на партіи, спорящими, соглашающимися, опять сцорящими, и н'єколькими темными лицами, выведенными на сцену Гл. Успенскимъ въ своемъ роман'я? Они не только не принимаютъ участія въ д'ялахъ Европы, но многіє изъ нихъ им'яютъ самое неопред'яленое понятіе о томъ, что гдъ-то за морями лежитъ н'яметчина,

живуть гишпанцы и англичане, за что-то въ высшей степени недоброжелательные къ намъ; ихъ общественные интересы не простираются далбе круга ихъ околотка и мелкихъ сплетенъ губернскаго захолустья; они тоже спорять и мирятся между собою, но не по вопросу о реальномъ и классическомъ образованіи, о земскихъ и городскихъ повинностяхъ, а о какомъ нибудь ухвать, разбитой мискь со щами, или же — это уже самый высшій общественный вопросъ — о подмазкъ ревизора, или о томъ, изъ-за чего фабриканту вздуналось угостить чаемъ рабочихъ. Но посмотримъ, дъйствительно ли такъ-таки и нътъ уже ничего общаго между Черемухиными, Птициными, Печкиными, Михаилами Ивановичами, Надями, Ванями и прочими заходустными личностями, являющимися передъ нами въ разсказъ, и самыми передовыми изъ передовыхъ читателей нашихъ.

Первое, что васъ поражаеть во всёхъ этихъ людяхъ, -- это полное отсутствіе всякой активности, налейшихъ попытокъ отстаивать свои принципы или вносить ихъ въ жизнь самостоятельно и неуклонно. Въ мір'в очерченномъ Гл. Успенскимъ есть свои злыя начала и благія, отжившіе и свіжіе элементы, тираны и угнетенные-но всё они являются безразлично жертвани какого-то вившияго рока, своего рода мойры, которая управляетъ ихъ судьбою и которой они безропотно покоряются. Жизнь тянется монотонно, безцветно, скучно, вяло, день за день, завтра-какъ вчера. Царство Черемухиныхъ и Птициныхъ, это гивадо провинціальнаго хищничества, стоить, повидимому, незыблемо, и нътъ ему конца. Все гитадо объедается и опивается до потери сознанія, что могуть существовать на свёте ревизоры, до потери счета нарожденному числу детей, многое множество поглощается этою прорвою чужихъ денегъ, трудовъ и слевъ. Но въ то же время никто не отдаетъ себѣ отчета, откуда вышли всв эти Черемухины, Птицины и гдв конецъ ихъ объедание и опиванью. Всемъ кажется, что такъ всегда было и всегда будетъ, подобно тому, какъ пауки никогда не перестануть ёсть мухъ, а куры вёчно будутъ глотать червяковъ.

Но вдругъ является нежданно, негаданно толчокъ внъшней, словно сверхъестественной силы, не имъющей ничего общаго съ этимъ міромъ глухихъ губернскихъ улицъ. Черенухины, Птицины падаютъ, предаются суду, отставляются, подвергаются всеобщему презрѣнію. Старыя начала побѣждены: новые, свѣжіе элементы торжествують, сказаль бы иной публицисть. Ничего не бывало. Можно ли туть и говорить о какойлибо побъдъ или поражении, когда самой борьбы никакой не было. Въ самомъ дёль, развъ обо всъхъ этихъ Черемухиныхъ, Птициныхъ можно сказать, что они поражены, когда имъ и въ голову не приходило отстаивать свое пированье? Черемухины и Птицины относятся къ своему паденію, какъ къ дъйствію внъшней, стихійной силы въ роді пожара или землетрясенія. Они воють и плачуть при видѣ своего неожиданнаго бъдствія, но въ то же время чувствують фатальность его; имъ не на кого жаловаться, некого обвинять, не на кого ожесточаться -- и они, какъ всегда это бываеть въ бедствіяхь, ниспосланныхь свыше, напускаются другь на друга, изыскивая причину своего несчастія въ человіні наиболію согрішившемъ, разгивавшемъ божество и не съумвишемъ умилости-BUTL CTO.

«Въ семъв Птициныхъ шелъ вой и плачъ -- говорить Успенскій.-Исчезновеніе кармана, изъ котораго можно было произвольно выхватывать, сколько душа желаеть, подорвало даже идиллію семейной жизни

- Въ карманъ-то, въ карманъ-то норови! едва

лепетала бабка.

Прикарманили, матушка! Нечего накарманивать-то, плакала ся дочь и съ нажностью гладила по головъ сына, попавшагося въ двадцати уголовныхъ дълахъ. - Попълуй меня, зайчикъ мой! говорила она ему.

- Отстаньте вы съ поцълуями... Нашли время! До чего вы меня довели? осналивался сынь на матушку, которую ему было не за что уважать. — что я оть васъ видёль, пользу какую? Вамъ только подавай... ризу сдёлать дали объщаніе... Ну, и хваталь... Вы — мать, развъ я могу ослушаться... «Птицинъ лежалъ въ параличъ, и надъ нимъ тотъ

же рабски покорный сынъ срываль свой гиввъ. — A называетесь генераль! Не умьли во-времи подмазать ревизора. Вамъ жаль... A небось, какъ съ меня, такъ подавай... Какъ принесещь— «умникъ»... А-а... Богъ васъ наказываетъ... Какой вы отецъ? Удавлюсь воть возьму!..»

Неудивительно, что сынъ могъ говорить родителю такимъ образомъ: они были равны въ хищничествъ.

Развѣ это пораженные люди, а не погорѣльцы, грызущіеся другь съ другомъ на пожарищь и обвиняющіе одинъ другого въ неосторожномъ обращенім съ огнемъ? Еслибы они чувствовали себя пораженныии, то, конечно, они еще друживе прижались-бы другъ къ другу послъ своего пораженія; но вы видите, что всё они начинають чуждаться другь друга, совершенно подобно дикарямъ, которые, видя ближняго, пораженнаго ударонъ какой-нибудь мойры, боятся прикоснуться къ нему, чтобы и самиль не подвергнуться гивву того же божества.

«Товарищи мужа-читаемъ мы въ романв-скомпрометированные темъ же, чемъ и онъ, сторонились отъ нея, и, какъ пьянчужки отрезвленные въ кварталь, сердито смотрым другь на друга и на нее; иные изъ нихъ, перебравшись въ новые суды, перестали нюхать табакъ, стали курить сигары, обрились, умылись и старались казаться людьми совершенно новыми, или отделанными заново. Всъ знакомства, всв старинныя пріязни какъ-будто и не существовали, всё они держались на «дёлежё» и кончились вийсти съ нимъ»!..

Совершенно такъ-же жители города, разрушеннаго землетрясеніемъ, безропотно покоряются своей участи и разъезжаются въ разныя стороны, забывая о существованін другь друга.

Такую-же пассивность вы видите въ противоположномъ дагеръ свътлыхъ дичностей и свъжихъ силъ этого захолустья. Въяніе новой жизни радуеть тъхъ изъ нихъ, которые мало-мальски сознають значение этого въянья. Паденіе Черемухиныхъ, Птициныхъ кружить имъ голову. Ихъ приводить въ восторгъ все, что ни видять они вокругь себя: и то, что въ судахъ или вагонахъ железной дороги обращаются въжливо съ народомъ, и то, что какой-нибудь прежній грабитель тащить въ залогь къ закладчиць изъ крыпостныхъ последній свой галстухъ и даеть ей волю накуражиться надъ нипъ такъ-же, какъ онъ прежде надъ ней куражился, и то страшное запуствные, какое представляють изъ себя жилища Птициныхъ и Черемухиныхъ. "Обмякла прижимка, теперь уже не то"... торжествують свётлыя начала глухихъ губерискихъ улицъ, но во всей этой радости вы опять-таки не видите перваго и самаго главнаго: сознанія своей силы, успъха своего предпріятія. Это не побъдители, отдыхающіе въ сладкой усталости усилій борьбы, а какіето праздные зрители. Такъ дикари цоютъ гимны солипу, прорезавшему мрачныя тучи, или пляшуть на трупахъ враговъ, пораженныхъ ударомъ грома.

О, конечно, только въ глухихъ улицахъ губернскаго города мы встръчаемъ такое поразительное отсутствіе всякой активности, борьбы, самостоятельной жизни, иниціативы. Ну, а въ прогресивныхъ передовыхъ сферахъ развѣ не то же самое? Загляните въ русскую исторію, и что вы тамъ увидите: развѣ не тѣже толчки вившнихъ постороннихъ силъ, являющихся то въ видъ неожиданныхъ рефориъ Петра, то въ видъ войны 12-го года, то въ видъ крымской кампаніи? Послѣ каждаго подобнаго толчка тѣже паденія какихъ-нибудь Черемухийыхъ, Птициныхъ, теже восторги о наступленіи новыхъ временъ, занимающихся зорь, теже восклицанія Михаила Ивановича о томъ. что "прижимка обмякла и что теперь уже не то!" и тоже внутреннее, неотвязное сознаніе, что всѣ наступившія благоденствія пришли извив, что мы туть не причемъ, ни въ чемъ не виноваты, и можемъ только чувствовать признательность, ликовать и благословлять судьбу, которая послала намъ счастіє, свалившееся на насъ съ неба, безъ всякихъ усилій съ нашей стороны выработать его своими собственными трудами.

Въ самомъ дёлё, гдё они, какіе-бы то ни было труды? Что делають обыкновенно наши ликующіе герои прогреса до наступленія вившняго толчка, который исполняетъ ихъ невинныя души чувствомъ чисто-телячьяго изупленія? Они могуть видёть себя, какъ въ зеркаль, въ двухъ-трехъ положительныхъ типахъ разсказа Гл. Успенскаго, какъ-бы ни высоко стояли они по своему образованію сравнительно съ темными героями глухой улицы провинціальнаго захолустья.

Россійскій герой прогресса — это Ваня, отличаюшійся только тёмъ отъ своихъ' любостяжательныхъ родныхъ, что чувствуетъ въ себе страсть попискивать на скрипицѣ, и на удовлетвореніе этой страсти онъ готовъ променять все соблазнительныя приманки заднихъ крылецъ чиновничьяго гизада. Ему надо очень немного: онъ былъ-бы доволенъ, еслибы его оставили въ покож, и онъ могъ бы издавать свои звуки въ тишинъ, никого не трогая и не задъвая; но и этого-то малаго не можетъ онъ завоевать себъ, бъдняга. Вся жизнь его-рядъ колотушекъ со стороны отца, матери, всякаго рода униженій и оскорбленій со стороны начальства, товарищей. Безропотно, молча сносить онъ все это и дълаетъ уступки за уступками безспысленнымъ усиліямъ приравнять его къ общей чиновничьей ругинъ. Странная, потрясающая картина живого человёка, который является въ глазахъ глупновъ, пошляковъ и злодфевъ словно какою-то бездушною куклою, надъ которою они могутъ потешаться, какъ имъ вздумается, и этотъ живой человекъ не дълаетъ даже тъхъ естественныхъ барахтаній саносохраненія, какія вы видите въ птиців или рыбів, попавшихся въ руки охотника... Но еще страшийе дилается у васъ на душъ, когда вы видите, что этотъ живой человъкъ доведенъ до такой степени заморености, окончательнаго обезличенья, что, сходя, наконецъ, на смертный одръ, онъ не сохраняетъ даже чувства внутренней правоты, того сладкаго сознанія мученичества, которое одно только остается утвшеніемъ невинно загубленной жертв'є; напротивъ того, его начинають терзать раздумья: "а что, какъ если люди правы, что если я самъ виноватъ во всемъ и терилю достойныя вознездія за свои собственныя вины ? О, россійскій герой прогресса, какъ часто ты доходишь до подобнаго самоизгрызенія и кончаешь тімь, что теряешь всякое сознаніе, гдф правая стерона, гдф лъвая, и начинаешь каяться, зачънъ ты нъкогда считалъ своинъ правонъ лелеять въ сердце два-три естественныя, человъческія стреиленія!

Россійсскій герой прогресса—это Надя, вся жизнь которой проходить въ томъ, что она ходить изъ одной комнаты въ другую, со двора, въ садъ и жалуется, что ей скучно.

— Да вотъ какъ же, отвъчаютъ ей на это:—сейчасъ для васъ заиграютъ въ барабаны, въ трубы затрубятъ, чтобы вамъ веселъе было... Оченно всъ объ этомъ въ заботъ, чтобы васъ увеселить... Сію мину-

На досугѣ начинаются раздумья, откуда эта скука? Рядъ размышленій, толкованій и наблюденій приводять Надю, или все равно, героя россійскаго прогресса, къ мысли, что скука происходить отъ ничегонедѣланія. У простого, молъ, человѣка дѣловъ много.
Онъ скуки не внаетъ. Никто не видываль, чтобы, напримѣръ, мужикъ шатался, да валялся этакъ-то, да
зѣваль: "мнѣ скучно!" Отродясь и не было такого мужика... У простого человѣка — скуки нѣту, дѣла у

Плодомъ такихъ разимшленій является отыскиванье дёла и даже не столько отыскиванье дёла, сколько размышленія объ отыскиваньи дёла, размышленія, кончающіяся обыкновенно вопросомъ: неужели надо идти въ кухарки? О, герон россійскаго прогресса! кому неизвъстны всъ эти пресловутыя ваши раздумья о такъ-называемомъ дюлю, начинающіяся различными опытами надъ собою, всёмъ извёстными попытками идти въ портные или сапожники, вхать въ Америку для заведенія тамъ земледъльческихъ колоній! Но всё эти нсканья оканчиваются обыкновенно сбиваньемъ на старыя рутинныя дорожки; въ результатъ получается та же скука, сопровождаемая рядомъ горьких в разочарованій — и только новый вибшній толчокъ можетъ измёнить это расположение духа; тогда котя дёла никакого, все-таки, не представляется, но и скуки уже не бываеть, а начинается рядъ ликованій, изумленій и признательностей.

Но лучше всего герой россійскаго прогресса выражается въ Михаилъ Ивановичъ Мы уже говорили выше устами иеждоумочной критики, что тыть Михаила Ивановича мъстами слишкомъ субъективенъ, и авторъ высказывается самъ устами своего героя. Здъсь же мы замътимъ, что въ лицъ Михаила Ивановича изображенъ передъ нами на столько общій типъ россійскаго прогрессиста, къ какой-бы средв этотъ прогрессистъ ни принадлежалъ, что Гл. Успенскому нужно было чивть невозможную силу объективности, чтобы не слиться самому всецёло съ этипъ типомъ.

Въ санонъ дълъ, Михаилъ Ивановичъ — это типъ россійскаго прогрессиста съ головы до ногъ, отъ своего происхожденія до своего исчезновенія, неизв'єстно куда и зачёмъ. Подобно всёмъ россійскимъ прогрессистанъ онъ не ножетъ даже похвастаться; чтобы самое его прогрессивное настроеніе было неизбіжнымъ явленіемъ въ его жизни, чтобы онъ это настроеніе принядъ въ себя наслёдственно отъ отца и деда, всосаль съ нолокомъ изтери, быль воспитанъ въ немъ средою. Напротивъ того: то, что Михаилъ Ивановичъ называеть своимъ "просіяніемъ", является въ его жизни, въ свою очередь, дъйствіемъ случайнаго, вившняго толчка, безъ котораго не было бы передъ вами и прогрессиста, а выработался бы такой же мелкій плутишка, какъ и всё его окружающіе. Онъ санъ разсказываеть о своемь дётствё слёдующее:

- Сталъ я о себъ думать... И дълаю такое замъчаніе, что у всёхъ народовъ идеть грабежъ... Думаю: мужикъ мнъ не дасть, съ кого мнъ? Думалъ, думаль, затруднялся въ мысляхь, глядь—бъжить ко мнъ на печку барчукъ маленькій, черемухинскій сынокъ: «скажи сказочку...» Изволь. Сказалъ. Онъ и повадился ко мий на печку шататься сказки слушать. «Э, думаю, другь-пріятель: надо быть, тебф въ хоромахъ хвость-отъ присъкають, что ты во миъ-въ мужикъ — получаещь нужду...» Подумаль такъ-то. Бъжитъ барчукъ. «Скажи сказку...» -- «Дай копейку!» Эдакъ-то ръзанулъ. «Дашь-скажу, нътьне будеть разсказу... Я и то, моль, языкъ весь отколотиль, разсказываючи тебь». Припугнуль его такимы манеромы, и сталь онь мив пятачки, да гроши таскать и сталь я ихъ попрятывать. И такъ было ловко научился я поколупывать съ него, такъто ли пристально въ разбойники приготовлялся, анъ тутъ-то и подвернись ко мнъ человъкъ... Максимъ Петровичъ... семинаристикъ, племянникъ Черемухинскій. Часто онъ къ намъ въ кухню хаживалъ, дожидался, пока дяденька, самъ Черемухинъто, проснется, полтинничекь у него попросить... Когда тверезъ — тихій такой... «На сапоги, говорить...» А Черемухинъ: «То-то, говорить, на сапоти!..» И сердито на него смотрить, а тоть боится. Это когда тверезъ. Ну, а коли ежели да пьянъ, такъ ужь тутъ никакого страху для него нъту... Тутъ ужъ онъ кричитъ, бунтуетъ... И диденьку-то, такъ-то ли поливаетъ... «Взяточники, разбойники... Докуда вы разбойничать будете... Провались вы и съ полтинниками...» Разъ зимой скинуль съ себя полушубокъ и шваркнулъ его объ земь. «Подавитесь вы имъ!..» и ушель. Бывало такъ, что и стекла онь выбиваль въ дому, и ворота исписываль ругательными словами. Вотъ и на этого человъка и наскочиль. Отъ него я и получиль вдохновеніе, напримъръ. То-есть сначала-то меня за виски отворочаль, а потомь ужь объясниль мит существо...»

Теперь пусть кто-либо изъ россійских прогрессистовь скажеть по чистой совъсти, чтобы и онъ всёмъ своимъ "просіяніемъ" не быль обизанъ совершенно случайно подвернувшейся головомойкъ, нравственной или физической со стороны Максима Петровича, который, въ свою очередь, по всей въромтности, обизанъ своимъ просіяніемъ дѣлу чистой случайности, безъ которой существоваль бы членъ врачебной управы, помощникъ столоначальника, діаконъ, ревизоръ, но не было бы прогрессиста.

Но какъ бы то ни было, прогрессисть созданъ и гуляеть по бёлому свёту въ видё Михаила Ивановича съ его просіяніемъ. Что же онъ дёлаетъ, что производить полезнаго его просіяніе, какое дёйствіе оказываеть на людей и на него самого?...

Произведение чистой случайности, Михаилъ Ивановичъ является совершенно лишнею спицею въ колесницъ въ сонномъ прозябани нашей захолустной жизни. Внашній толчока, ва вида просіянія, оторваль его отъ общей массы, онъ свернуль съ битой колеи мелкаго плутовства и очутился гдё-то въ воздухё, но остался въ тоже время съ теми же наследственными свойствами своей среды, съ которыми родился. Просіяніе даровало ему только сознаніе того, что вокругъ иногое гадко, но не даровало ни малъйшой энергіи къ борьбъ съ этимъ гадкимъ, ни малъйшаго опредъленнаго плана жизни, выдержки въ этомъ планѣ - однимъ словонь, ничего того, чёнь такъ отличается западный человъкъ, на какой бы ступени онъ ни стоялъ. Въ сущности, Михаилъ Ивановичъ со всёмъ своимъ просіяніемъ остался все тъпъ же безвольнымъ, пассивнымъ существомъ, какимъ былъ бы, еслибы этого просіянія и не случилось. Онъ весь ушель въ анализъ всевозможныхъ прижимокъ, которыя представлялись ену на каждонъ шагу, и началъ ежеминутно истощаться въ безплодной злобъ на все его окружающее.

«Пить-бы надо—говориль онъ—слабъ, не могъ, а все больше заняся, потому, которыя я получаль отъ Максима Петровича мысли, то никакимъ родомъ онъ у меня изъ головы не выходили. Злился, злился я; бъсился, бъсился, да одново подгулялъ и махнуль въ арендателя камнемъ... Спасибо, скрось колесо камень прошелъ, а то бы въ каторгѣ быть. Да еще то облегчило, что ночью было, не могли вызнать кто такой, такъ что собственно по подозрѣнію щесяь мѣсядевъ высидѣлъ...»

Вотъ вамъ единственная активность, на которую является способенъ Михаилъ Ивановичъ, активность всёхъ пассивныхъ натуръ: выйти изъ себя въ одну изъ мрачныхъ минутъ, кинуть, зажмуря глаза, чёмъ попало и куда попало, не нанеся ни вреда, ни пользы, и затемъ радоваться, что дешево обощлось, что камень въ колест застрялъ и что дело было ночью, такъ что легко было спрятать кукишъ въ карианъ. Вотъ гдѣ истинная художественность: въ нѣсколькихъ словахъ вы видите обобщение, дающее вамъ глубокую перспективу! Подумайте только, къ какой массъ ежедневныхъ случаевъ нашей жизни можно примънить этотъ факть! Художникъ, менье глубокій, не съумъль бы открыть передъ вани всю пронію поступка Михаида Ивановича. Иной поставиль-бы, конечно, постунокъ этотъ на ходули, какъ взрывъ негодованія честнаго человека, у которато до того накипело на сердцъ, что онъ готовъ на все, и вышло-бы нъчто даже героическое въ этомъ метаніи камнемъ подгулявшаго мастероваго. Другой нравописатель представиль-бы тотъ-же самый факть съ обличительной точки эрвнія. что воть, моль, кинуль пьяный человькъ камень; камень пональ въ колесо, но сейчасъ-же поставили дъло такъ, что какъ-будто онъ хотель убить арендатора-и совершенно невинный человекъ просиделъ ни за что, ни про что полгода въ острогв. Гл. Успенскій

въ томъ же фактѣ представилъ одно изъ существенныхъ свойствъ характера недовольнаго человъка русскаго издълія, на какихъ-бы ступеняхъ развитія и положенія этотъ человъкъ ни столяъ.

И вотъ, въ заключеніе, россійскій прогрессистъ, въ лицѣ Михаила Ивановича, оборванный, худой, голодный, съ глухимъ кашлемъ въ груди — всюду изгнанный, никуда непринимаемый, безъ занятій, безъ денегъ ходить изъ угла въ уголъ изъ мелочной лавочки въ кабакъ, отъ Черемухиныхъ къ Птицинымъ, разражается тѣии же безплодными жалобами на всеобщую прижимку, и никто не слушаетъ его, вездѣ гонютъ его или слъются надъ нимъ. Но это еще не верхъ трагичности положенія Михаила Ивановича: въ заключеніе онъ, гонитель всякой прижимки, самъ попадаетъ на хлѣбы къ той-же прижимкі, и притомъ въ самой унизительной роли двороваго шута.

Однажды, когда онъ лежалъ пьяный въ канавъ, бормоча свеи проклятія, мимо шелъ барчукъ Уткинъ, проживающій праздно въ своей усадьбъ и отъ скуки занимающійся стръляніемъ галокъ. Уткина заинтересовали нъкоторыя слова Михаила Ивановича, долетъвшія до его ушей.

— Вы кто такой? спросиль барчукь, когда Михаиль Ивановичь выскочиль изъ канавы.

— Отставной рабочій... съ заводу-съ... Выгнанъ за бунты.
— За что?

— За бунтованія. Потому что я бунтовался, производиль, напримъръ, возмущенія... мятежи...

«Это было до того любопытно—читаемъ мы далбе въ повъсти — что Уткинъ тотчасъ-же нашелъ нужнымъ сдълать полезнее дъло, пріютивъ Михаила Ивановную дібло не стоило ни конбики. Михаилъ Мвановичъ поселился въ кухиъ и въ короткое время пошолъ у всъхъ ва большого чудака. Не одинъ барчукъ смѣлсен всякій разъ, когда маъ устъ его выходили слова въ родѣ «прижника», «къ осьмому часу», «увѣдомился» и проч.».

Итакъ, вотъ вамъ заключительная пронія жизни россійскаго прогрессиста: сдёлаться шутомъ у какогонибудь пугателя воронъ, который отъ скуки готовъ подъ часокъ позабавиться красивостью слога, рёзкостью выраженій и отрицаній чудака. Кстати, отчего не пріютить бездомнаго бродягу!

И вотъ Михаилъ Ивановичъ живетъ насчетъ тойже прижимки, которую отрицаетъ, причемъ не въ силахъ выпутаться изъ своего положенія, старается смягчить иронію его тіми палліативными средствами, къ какимъ всегда прибъгаютъ нассивныя существа. Здъсь вы опять встрівчаетесь съ весьма характеристическою чертою нашей жизни. Вы видите сплошь и рядомъ, что пассивные люди, чувствуя унизительность своего положенія, вийсто того чтобы выйти изъ него прямо и смёло куда-бы то ни было, коть-бы на голодную смерть въ канаву, стараются обыкновенно замаскировать свое нравственное унижение напускною грубостью и рѣзкостью съ тами, отъ кого зависитъ ихъ участь. Нагрубять, и какъ будто поднинутся въ своихъ глазахъ, покажутъ, что коть мы отъ тебя и зависимъ, а всетаки, мы тебя въ грошъ не ставимъ, и сами не куже тебя. Подобное санообольщение доходить часто до того, что тъ-же люди, которые не въ силахъ сдълать шагу, чтобы выйти самимъ изъ своего униженія, въ тоже время искренно желають, чтобы это произощдо

само собою посредствомъ ихъ грубости, чтобы виновникъ ихъ униженія вышель, наконець, изъ терпінія и прогналъ ихъ отъ себя. И если имъ удастся достигнуть этого, они чувствують себя въ барышахъ: если-бы они сами вышли изъ своего положенія, имъ пришлось-бы ограничиться простымъ сознаніемъ исполненія, нравственнаго долга, теперь-же они начинаютъ считать себя не то героями, не то мучениками, съ самодовольствомъ приноминаютъ разкость своихъ отватовъ и рисуются жертвани своей правдивости и людскаго коварства.

Совершенно таковъ Михаилъ Ивановичъ въ своихъ бесёдахъ съ Уткинымъ.

— Михаиль Ивановичь! говорить барчукь, торопливо проходя мимо него но саду, чтобы ошарашить изъ ружьи галку.-Такъ увъдомились?

- Я довольно аккуратно въ жизни своей увъдомился, какъ простому человъку... начинаетъ Ми-хаилъ Ивановичъ вслъдъ барчуку; но въ этотъ мо-ментъ раздается оглушительный выстръдъ, крикъ разлетающихся галокъ и лай собакъ...

— Эхъ, ума-то нагулить! иронически шепчеть Миханть Ивановичь, качая головою.—Сколько, чай, на эдакую-то тетерю пошло... Прокъ!..

Были у Синицына? возвращаясь съ убитой галкой, спрашиваеть барчукъ.

Былъ-съ

Миханлъ Ивановичь говорить съ сердцемъ, но старается скрыть это.

Аффишъ не было-съ, разобраны... продолжаеть онъ.

Что-жь въ городъ?

— На столбу объявлено воздухоплаваніе слона... въ эрмитажі... Рубь за входъ.

Чорть знаеть что такое.

- Во всёхъ Европахъ одобряли, прибавляеть Михаилъ Ивановичь, не скрывая сердца, и какъ-бы говоря въ то-же время: «стоишь-ли ты слона-то смотрѣть».

По уходъ барчука, на травъ остается мертван птица. Михандъ Ивановичъ смотритъ на нее и го-

ворить:

- Воть это господское дъло!.. Хлопнуль и по-

шель. А ружье кто ему выработаль?

Теперь подунай, русскій прогрессисть, какъ часто услужливые романисты, желая изобразить твои гражданскія деблести, только одну доблесть и находять въ тебъ обыкновенно: это твое умънье героически нагрубить начальнику отдёленія и быть изгнанну съ должности столоначальника... О, если-бы подумаль ты, русскій прогрессисть, какъ жестоко унижають тебя этимъ наши романисты! Знай-же, что встинный прогрессисть не грубить, потому что не ставить себя въ такое ложное положение, чтобы ему нужно было грубить, или же старается выйти поскорве изъ этого положенія, какъ-бы то ни было. Грубятъ-же рабы, грубять существа безвольныя, апатичныя, во всемь полагающіяся на другихъ, грубять діти подъ властію родителей, грубять люди, живущіе на чужой счеть.

Следствиемъ пассивности, зависимости различныхъ перемѣнъ жизни не отъ собственныхъ усилій, а отъ случайныхъ внёшнихъ толчковъ-бываетъ страшная, одуряющая скука, вялость и сонливость существованія, причемъ всё интересы, мечты и надежды человека сосредоточиваются въ ожиданіи, что вотъ, вотъ на-

грянеть такой факторъ, который сейчасъ-же. все вокругъ перевернетъ, и въ заключение непременно осыпеть всевозможными благами угнетенную добродатель, сидящую въ ожиданіи этихъ благь на заваленкъ у вороть и вертящую нальчикъ вокругъ пальчика. Такова въковая участь россійскаго прогрессиста, что онъ, вечно скучая и бездействуя въ настоящую минуту, все ждеть какихъ-нибудь благихъ и необыкновенныхъ переменъ въ близкомъ будущемъ, переменъ, которыя сразу осуществять всё его надежды и сдёлають его изъ празднаго лентяя энергическимъ деятеленъ. Въ саномъ дълъ, мы постоянно чего-нибудь ожидаемъ и ожидаемъ вившияго, отъ насъ нисколько не зависящаго-утышая себя, что воть, моль, когда дождемся, тогда только и буденъ дёлать дёло... Если ожидать бываеть подъ часъ нечего, то мы уносимся въ область фантазіи, и создаень себ'я такія мечты, что, какъ встретишься съ инымъ такинъ надеющимся и ожидающимъ человѣкомъ, только подивишься: казалосьбы, не глупый человёкъ и не безъ здраваго смысла въ головъ, а между тъиъ такъ и спотритъ въ Ведламъ.

Совершенно точно такъ-же предаются всё ожиданіякъ и въ разсказъ Г. Успенскаго. Наденьки, Сашеньки, скромныя, робкія, застёнчивыя розы глухихъ губернскихъ удицъ, тихохонько ходящія изъ комнаты въ комнату, тихонько поливающія цвіты, тихонько читающія "Юрія Милославскаго" — ожидають обыкновенно жениховъ. Эти ожиданія наиболье положительныя и осуществиныя. Дёвушки, конечно, дождутся жениховъ. Безъ сомнёнія, подвернется такой благорасположенный герой, что осчастливить угнетенную невинность, -- въ родѣ Павла Ивановича Печкина, съ солиднымъ мъстомъ, солиднымъ жалованьемъ, солиднымъ дономъ, запретъ птичку въ ствиы затхлыхъ комнать, припреть наружную дверь коломь, чтобы нтичка не улетъла, избавитъ ее, ради благополучія, отъ всёхъ трудовъ, заботъ, думъ-и будетъ она расплываться въ сонномъ бездъйствіи, разваливаясь съ утра до вечера на пуховикахъ.

Ну, а ты, читатель, не ожидаешь никакого жениха? Вотъ Михаилъ Ивановичъ, такъ тотъ ожидаетъ. Максимъ Петровичъ, внушившій ему просіяніе ума, увхаль въ Петербургъ, объщавши выписать туда Михапла Ивановича, но не выписаль. И воть всё мечты, надежды, ожиданія Михаила Ивановича сосредоточились на этомъ иненческомъ Максимъ Петровичъ. Гдъ онъ, что онъ, можетъ быть его вовсе уже нътъ, или онъ терпитъ такую-же участь, какъ и Михаилъ Ивановичь, и ему вовсе не до своего пріятеля; можеть быть, онъ и самъ возлагаетъ всв надежды на какогонибудь Максина Нетровича-всв подобныя соображенія не приходять и въ голову Михаилу Ивановичу. Максимъ Петровичъ представляется въ глазахъ его какимъ-то неземнымъ, всеногущимъ существомъ, держащинъ въ рукахъ рогъ изобилія, чтобы излить изъ него всевозможныя благополучія на горемычную голо-

Но для того, чтобы достигнуть этого рога изобилія, Михаиль Ивановичь лельеть другую надежду: онъ ждеть не дождется, когда окончать постройку желёзной дореги, которая повезеть его въ Петербургъ къ

Максиму Петровичу. Чуть не каждый день ходить онъ

ву Миханла Ивановича.

къ строющенуся вокзалу осведомляться, не готова-ли чугунка. Но онъ не ограничивается надеждою на жельзную дорогу, какъ на средство къ достиженію Максима Петровича. Какъ истый россійскій прогрессисть, онъ тотчасъ-же возводить ожидаемый предметь въ универсальное средство отъ всёхъ человёческихъ бёдствій. Ему кажется, что когда обладять чугунную дорогу, которая скоро можетъ простого человъка въ Петербургъ доставлять; тогда наступить конецъ всякой прижимкъ, потому что стоитъ проехать на чугункъ въ Петербургъ, да поразсказать тамъ-и дело будетъ въ шляпѣ...

Вамъ, конечно, смѣшны золотыя надежды Михаила Ивановича на чугунку, но одинъ-ли онъ, темный и нигдъ не ученый человъкъ, ожидаль отъ нея возвращенія земнаго рая? Не слыхали-ли вы на каждомъ шагу и отъ людей, которые не чета Миханду Ивановичу, подобныхъ же восклицаній, что погодите, молъ, воть выстроять железныя дороги, увидите, что такое будетъ?

Описаніе прівзда перваго повзда и впечативнія. какое произвелъ онъ на городъ -- составляетъ чутьли не лучшее мъсто въ романъ Гл. Успенскаго, и безспорно лучшее, что только являлось въ нашей литературѣ въ последніе годы. Пассивность, скука и вялость жизни губернскаго заходустья сразу всилывають наружу и оттаняются въ виду прошунавшаго мино повзда, словно былыя зданія на черномъ фонъ тучи. Я считаю нелишнимъ сдёлать нёсколько выдержекъ, чтобы припоинить читателю это лучшее мъсто въ ронанъ, въ которонъ художественный паеосъ Гл. Усценскаго доходить до своей крайней высоты.

«Не для одного Михаила Ивановича и Черемухиныхъ этотъ день быль чёмъ-то особеннымъ, не будничнымъ, когда люди умирають отъ скуки, и не праздничнымъ, когда люди могутъ пить, спать до обморока и смотръть фейерверкъ въ присутствии господина начальника губерній. Въ этомъ диб чувствовалось что-то томительное и радостное. Въ нашу глушь, въ нашу скуку, беззащитную, брошенную жизнь, пришло что-то совствив новое, сулящее лучшее будущее, и еще не измѣнившее нашей тоски, нашего гореванья ни на волосъ. Не одинъ Михаилъ Ивановичь ни свъть ни заря суетился и торопился на машину-весь городъ быль какъ-то наэлектризованъ этою новостью, такъ что когда часовъ въ шесть Михаилъ Ивановичъ, сопревождаемый Надей и Софьей Васильевной, пришель въ вокзаль-здёсь уже были толпы народа. Все это двигалось, было весело, собиралось убхать, улетъть; ни одной заспанной щеки, ни однихъ глазъ, заплывшихъ отъ одури, нельзя было встрътить среди толиы, бродившей по широкимъ комнатамъ вокзала. Вси эта суета, пробужденіе, чёмъ-то горькимъ отзывались въ серпив Нади; а Михаилъ Ивановичь, въ жизни котораго событія слідовали въ посліднее время съ такой ошеломинощей быстротой, почувствоваль ибкоторый страхъ, вследствие чего, попросивъ барышенъ поглядъть за узелкомъ; скрылся на время неизвъстно куда, а возвратившись черезъ нъсколько минутъ, имълъ лицо весьма радостное.

То-есть, воть какъ обладимъ дъла! — сказалъ онь Надъ, тряхнувъ кудакомъ.

- Вы водки напились? - вмёсто отвёта, сказала та. Да, голубчики! — снимая картузъ, залепеталъ Михаилъ Ивановичъ: -- милыя!.. Да какъ миѣ не выпить?.. Ангелочки вы мои.

И принялся цъловать у барышенъ руки, что хотя и было не особенно замътно среди толпы, однако заставило Надю и Софью Васильевну уйти впередъ

на платформу.

«Скоро Михаилъ Ивановичъ розыскалъ ихъ и здѣсь. Но оть изліяній воздерживался, ибо всеобщее вииманіе было обращено на лёсъ, изъ котораго съ минуты на минуту долженъ быль выпорхнуть первый повадъ. Въ ожидании его шли разговоры. Благородные толкавали о томъ, что теперь представляется удобный случай вздить въ Москву, въ театръ. «Утудолия как объду тамъ; умился, одълся и-маршъ, а къ утру опять дома». «Великольпно!» Дру-гіе, изъ числа тъхъ же благородныхъ, смотръвшіе на это дъло глубже, разсуждали о подвозъ, о расширенія. Простой народь, не имъвшій возможности понять, что оный подвозь и оное расширение могуть образоваться изъ ихъ дирявихъ лаптей, трактоваль чугунку съ точки зрћијя величаншей умственной чуши.

Потребоваль ты чаю, -- слышалось въ толпъ.

Hy?

— Ну, сейчасъ подають тебъ — га-ярячева... изъ первыхъ книятковъ... Чуещь, чтобы облымъ ключомъ кипёль—ну, чтобы ты его выпиль! Ужъ, что-бы, брать, ты его въ три минуты выхватилъ... Ужь, брать, туть ни-ни...

- А ежели не дохлебаю?

 А ежели ты его не дохлебаень—штрафъ! Потому, ей некогда тебя дожидаться, пока ты раскиебывать будешь! Ты хлебнуль, а ужь она, брать, хво-стомъ вильнула,—за тысячу версть... Туть, брать, ужь ни Боже мой!..

Хитра пружина!..

«Въ другой группъ слышалось:

А батюшка?

- онъ почему? Потому что онъ А батюшка, съ кропиломъ. Какъ она подлетить, сейчасъ онъ ей кропиломъ въ эвто мъсто... Напримъръ, въ морду ей, будемъ такъ говорить, для тово, что намъ требуется, чтобы она насъ снабжала, напримъръ, на пользу, но нежели, чтобы дозволить ей разводить бъсину-прости Господи! Надо его выколотить оттэда. Воть почему отець Амвросій съ причтомъ, а нежели вы утверждаете, чтобы принимать ему благословение отъ петербургскаго генерала... фальшъ.

«Разговоры публики были прерваны необыкновенно-громкимъ крикомъ какого-то сильнъйшаго горла, раздавшимся откуда-то сверху.

Ана-а!.. Бра-атцы!..

«Все зашумъло, шатнулось и замолило.

«Изъ глубины начинавшаго темнёть леса, выглянули два красные глаза, донесся жиденькій свистокъ-это быль первый повадъ.

Воть она, матушка! шепталь захмелевшій Михаилъ Ивановичъ въ то время, когда среди всеобщаго молчанія, потадъ все ближе и ближе подходиль къ платформъ

Ахъ, голубчики!-слышалось робко то тамъ, то сямъ.

«Повздъ пришелъ и остановился. Молчаніе смѣнилось еще болье оживленнымъ движениемъ. Говоръ. Шумъ. Смъхъ. Михаилъ Ивановичъ чуть не плакаль оть радости и безпрепятственно целоваль ручки своихъ спутницъ, которыя были совершенно подавлены всёмъ, что видели.

— Дай Богъ вамъ! за вашу доброту!.. Надежда Андреевна! Софья Васильевна! — бормоталъ Ми-

хаиль Ивановичь.

Отыщите брата! Пожалуйста! — просила его

- Подъ землей вырою-съ! На нихъ надежда! Для

васъ, для маменьки вашей... Ту-ись...

«И снова начиналось хватаніе рукъ, цълованье концовъ кофты, въ которую была одъта Надя... Долго на спинъ Михаила Ивановича плисалъ узелъ съ пожитками отъ поклоновъ и намереній стать на кольнки. Звонокъ прерваль эти изліянія.

— Дай Богь вамъ...—крикнуль Михаиль Ивановичь, махнувь картузомъ и скрытся въ толив. Въ дверихъ началась давка, уничтожившая сразу- всю новизиу минуты.

«Затертка толпой, Надя и Софья Васильевна не видали, какъ Михаилъ Ивановичь, высунувъ голову въ вагонное окно, искалъ ихъ глазами, чтобы еще разъ сказать: «дай Богъ ввамъ!» Онъ слышали, какъ застучали колеса поъзда, раздались свистки, повисли надъ головой чериме клубы дима.

«Видъли, какъ дымъ поблъднълъ и исчезъ

«Громъ колесъ сдълался тише и скоро замолкъ. «Повадъ выглянулъ черной массой у новаго чугуннаго моста, прогремълъ надъ водой, окуталь дымомъ старинную заръченскую колокольно, на которой жиденькие колокола возвъщали третий авонъ,

«Толпа долго стояла и смотрѣла вслѣдъ. Многіе почему-то вздохнули и пошли по домамъ.

. «На бульваръ играла музыка и происходило обычное провинціальное гулянье. Между темитвищими въ вечернемъ сумракъ сучьями деревъ, въ особенности же около небольшаго кафе, въ русскомъ вкусъ, видиълись разноцвътные фонари, освъщая то женскую шлянку, то столь съ чайнымъ приборомъ и проч. Липован аллен, тянувшанся по низменному берегу ръки, около старинной кремлевской стъны, была наполнена народомъ, медленно двигавшимся и весьма скучавшимъ. Когда замолила музыка, то въ саду наставала почти мертвая тишина; слышался только шумъ ногь и шлейфовъ по песку, стукъ чайной ложечки о край стакана и возгласъ: «чело-Скука, составляющая обычное достояніе провинціальнаго гулянья, такъ-какъ обществу должно же надобсть исключительное занятіе однимъ гуляньемъ, эта скука въ нынъшній день перваго новзда была какъ-то упорные и молчаливые обыкновеннаго. И можно сказать, положительно, что «первый повздъ» игралъ въ этой всеобщей задумчивости не последнюю роль. То «что-то новое», сопряженное съ нимъ, та новая власть, какъ-бы понукающая заснувшій народь впередь, которая скрыта въ этомъ событін, и другіе элементы его, неуловимые, но вломившіеся въ нашъ умъ и тронутые имъ съ новою силою, — все это какъ-то отягчало душу не одного изъ тосковавшихъ на бульварь, помимо тъхъ, разумъется, которые были озабочены перемёною начальства, распеканіемъ, даннымъ губернаторомъ, и проч., и проч. Не одинъ семинаристь, изъ числа тъхъ, которые выступають на гульбище позднимъ вечеромъ и скитаются по заднимъ аллеямъ, боясь испугать своимъ калатомъ публику, не одинъ изъ нихъ чертилъ въ эту минуту планы будущей жизни въ Петербургъ, куда теперь такъ легко попасть, и въ ожидани котораго нелегко живется. Не одинъ подгулявшій мастеровой, раздумавшись на лавочкъ около ръки о своей судьбѣ, подумаль о томъ, что «была не былару отседа! Пропадай!» Не одна Надя и Софыя Васильевна завидовали участи улетъвшихъ изъ этого мертваго царства».

Теперь поразмысли, читатель, надъ этой картиной: имѣеть-ли она одно частное значеніе, т. е. ограничивается ли однимъ изображеніемъ прівзда перваго по-взда въ губернскій городъ, или и въ этомъ фактѣ авторъ съумѣлъ схватить такой общій мотивъ нашем живни, что, хотя бы ты никогда въ губернскомъ городъ не былъ и не испытывалъ, какое впечализніе производить на губернскаго жителя первый повздъ, между тѣмъ, ты чувствуещь во всемъ этомъ что-то какъ будто весьма близкое, испытанное тобою, пробуждающее въ тебѣ какія-то воспоминанія? Это пото-

му, что хотя ты и не губернскій житель, но всетаки русскій челов'якъ, и твоя жизнь немногимъ разнообразнее и живее жизни глухой улицы въ губерискомъ городѣ; въ ней тоже много монотоннаго, вялаго, тоскливаго. Поэтому и въ твоей жизни бывали своего рода первые поезды, въ виде минутъ, въ которыя такъ или иначе вдругъ передъ тобою проносилась иная жизнь, полная тревоги, деятельности, страсти. Ты вдругъ просыпался отъ своего одуренія, но просыпался только для того, чтобы сознать во всей ясности всю пустоту твоего собственнаго прозябанія, и вздохнувши раза два, три отъ всей глубины души, снова погрузиться въ то же онъмъніе. Каждое чтеніе какой-либо живой, задирающей книги, каждая встреча съ налональски деятельнымъ, полнымъ мысли и жизни человекомъ, заставляютъ васъ чувствовать тоже, что чувствовали до извѣстной степени жители города по возвращении со станции на бульваръ. И дай Богъ, читатель, чтобы въ твоей жизни почаще случались подобныя минуты пробужденія.

٧.

Но вялость и одуряющая скука монотонной жизни являются еще не последними результатами нассивности. Есть результаты еще болёе тралическіе и роковые. Люди нассивные, ничего не предпринимающе для устройства своего счастія, во всемъ полагающіеся на другихъ, делаются, въ конце-концовъ, игрушкою въ рукахъ перваго встрёчнаго афериста или шарлатана, которому ничего не стоить обольстить ихъ блестящими обещаніями взяться устранвать за нихъ ихъ дела — въ конце-концовъ обратить ихъ въ слепое орудіе замысловъ и цёлей, иногда самыхъ постыднихъ.

Въ романѣ Гл. Успенскаго мы видимъ два рода эксплуататоровъ пассивности, играющихъ не послѣднюю роль въ современной намъ жизни. Перваго рода эксплуататоры—это люди сами по себѣ не глупые й не злые. Они часто вполнѣ искренно желаютъ служить дѣлу прогресса, но вся ихъ несостоятельность заключается въ томъ, что рядомъ съ такъ называемымъ "развитіемъ", побуждающимъ ихъ приносить пользу, въ нихъ глубоко сидитъ рядъ привычекъ, принятыхъ наслѣдственно и затѣмъ взлелѣянныхъ воспитаніемъ. Вслѣдстве этого, за что бы они ни принялись, въ нихъ дѣйствуютъ разомъ по сту направленій, они подходятъ къ дѣлу, по выраженію Черемухина, по сорока семи дорогамъ, осѣняемые сорока-семью разнородными взглядами.

"Въ прежнее время, —говоритъ совершенно справедливо Гл. Успенскій — восижваніе безплодныхъ шатаній человіка этой породы составляло единственный шодвигъ литературы, которая такинъ образомъ сдівлала его почти образодомъ истиннаго героя, никогда не упоминая о вліяніи оброковъ, взятокъ, откупныхъ доходовъ на развитіе нравственнаго капитала человіка, выросшаго среди ихъ и на нихъ. И, олагодаря сокрытію вышеупоминутыхъ, весьма неврасивыхъ вещей, типъ этотъ былъ весьма плівнителенъ — и разнообразіе его оттівнювъ было безковечно, хотя сущность оставалась одна и та же — недостатокъ нрав-

ственныхъ силъ, вследствіе обезличивающаго вліянія семьи. Въ настоящее время, привлекательная сторона этого типа утратилась безвозвратно, но существование его и до сихъ поръ не подлежитъ никакому сомниню, обнаруживается поминутно, только въ иной формъ. Прежде онъ просто ничего не делалъ и шатался по помъщичьимъ паркамъ, опустошая сердца помъщичыхъ девицъ; теперь же онъ пытается делать дело, выказываетъ желаніе радёть народу, но срывается, и внезапно опустошивъ земскій сундукъ, исчезаетъ куда-нибудь подальше доживать свой въкъ. Такъ какъ нравственная пустота весьма удобно принимаетъ всякія направленія и выказываеть готовность ко всякому сочувствію, подобно стакану, который одинаково способенъ принять и воду, и вследъ за ней вино, то было множество случаевъ, когда шатающійся типъ принималь участие въ дъдахъ совершенно новыхъ, и на первыхъ порахъ казался действительно дельнымъ человекомъ, какъ тотъ же стаканъ кажется краснымъ, когда въ немъ красное вино. Но, по обыкновенію, участіе это оканчивалось темъ, что въ дело виёшивался будочникъ, а самое лучшее предпріятіе оскандаливалось на глазахъ массы и доставляло полную возможность врагамъ его опорочивать и его сущность ".

Надо ли иного распространяться о томъ, какими миріадами кружатся эти трутни вокругъ такъ называемаго нашего прогреса? При этомъ мы ностоянно видимъ, что, чёмъ бёднёе ихъ нравственное содержаніе, тёмъ краснорёчивёе ихъ языкъ, тёмъ смедлё замыслы и блистагельнёе объщанія, которыми они морочать публику, и тёмъ скоре попадаются на ихъ удочку наши простодушные и пассивные прогресисты.

Въ романѣ Гл. Успенскаго подобными трутнями представляются молодой Черемухинъ, барчукъ Уткинъ иблестящій герой новыхъ судебныхъ учрежденій Шапкинъ.

Молодой Черемухинъ, какъ только встречается съ Михаиломъ Ивановичемъ въ Петербургѣ, тотчасъ же забираетъ его въ свой нумеръ, берется разыскать миюнческаго Максина Петровича и устроить всѣ его дѣла. Михаилъ Ивановичъ, какъ истый россійскій прогрессистъ нашего времени, вполнѣ возлагаетъ всѣ свои заботы на услужливаго прінтеля, а самъ складываетъ спокойно на груди свои руки и предается полнѣйшему бездѣйствію въ нумерѣ Черемухина.

И кончается все это тымь, что Черемухинь пропиваеть всё деньги Михаила Ивановича и въ заключеніе кается ему въ своей несостоятельности.

Уткинъ, въ свою очередь, является такимъ же эксилуататоромъ Сонечки и Наденьки. Онъ начинаетъ свое знакомство съ ними съ поднятія женскаго вопроса, является передъ ними съ искреннимъ желаніемъ спасти Софью Васильевну отъ безсмысленнаго деснотизма мужа, читаетъ передъ ними чуть не цѣлыя лекціи о необходимости своей корки хлѣба, но рядомъ съ этими красивыми тирадами тотчасъ же и обнаруживаются тѣ сотни направленій, которыя тянуть его въ разные концы.

Съ одной стороны, чтобы отъ словъ перейти къ дѣлу, оказалась необходимость идти въ первый дворъ и просить заказъ бѣлья. Еслибъ Уткинъ былъ простой мужикъ, ужѣющій войти въ первыя ворота, остановить первую бабу, и назвавъ ее теткой или красавицей, прямо объявить ей въ чемъ дёло, то онъ бы такъ и сдёлалъ. Но у него били сотни разнородныхъ ввглядовъ на предметъ, и поэтому, какъ только его дъло обнаружилось виолиф, вся серьезность и значеніе его поблекли. Уткинъ представилъ себі, какъ онъ, барчукъ, стоитъ среди двора и просить бѣлья въ стирку, и какъ потомъ онъ идетъ съ узломъ. Въ головъ его мелькнула мысль, что такъ не бываетъ, что это даже смѣшно. Онъ былъ совершенно согласенъ съ тъмъ, что это нужно, что это дъйствительно такъ, и въ то время находилъ, что это невозможная и смѣпная чушь. Таковы были свойства нравственной толкучки.

Но подобное препятствие для оказания истинной пользы своимъ новымъ знакомкамъ еще не вполиъ опредъляетъ Уткина. Вслъдъ затъмъ онъ встръчается съ шутливымъ офицеромъ, который наводитъ его на совершенно новым соображения, развитив которыхъ не мало помогаетъ картина бабъ съ обнаженными колънками, полощущихъ бълье на ръкъ. И вотъ вамъ весь Уткинъ на лицо, во всемъ своемъ нравственномъ безобразіи — открывающій за собою цълую толиу подобныхъ ему женскихъ малсипаторомъ, начинающихъ съ вопроса о женской самостоятельности и корки хлъба и оканчивающихъ мыслью о томъ, нто нельзя ли при этомъ кстати и попользоваться...

Такимъ-же благодътелемъ рода человъческаго является передъ вами и Шапкинъ. Посмотрите на него со стороны—что за красота, что за изящество въ движеніяхь, въ манерахъ, во всей обстановкъ его жизни. Его домъ-идеалъ семейнаго блаженства и сеиейныхъ добродътелей, его ръчи дышутъ благородствоиъ и гуманнестью. Когда онъ идетъ, стоитъ или говорить, то, кажется вамъ, что даже вокругъ него распространяется не то сіяніе, не то благоуханіе. Повидимому, онъ такъ горячо сочувствуетъ благу народа, такъ искренно желаетъ оказать всякую пользу нениущему и невъдующему собрату. Но вотъ онъ стоитъ передъ толпою этихъ собратій. Ему предстоитъ говорить судебную рѣчь. Казалось, что здѣсь-то бы и развернуться его доблести. Безъ сомненія, онъ сообразилъ, что передъ нимъ народъ темный, что необходино спуститься до его пониманія и заговорить съ нимъ самымъ простымъ и удобопонятнымъ языкомъ, чтобы онъ уразумълъ, чего отъ него требуютъ и чего онъ можеть ожидать. Но туть и являются передъ нами тъ же сотни направленій. Шапкинъ не можеть забыть, что онъ какъ бы то ни было, кончилъ курсъ университета съ степенью кандидата, что онъ блестящій ораторъ, что передъ нимъ сидять двѣ, три губернскія львицы, наведены на него лорнеты--въожиданіи, какъ польется его красивая рёчь... И воть онъ, забывая, къ кому обращена ръчь, начинаетъ сыпать своими de capo, ab ovo, ex-abrupto, умственный уровень, декорумъ той среды, гдѣ подсудимый и пр., начинаетъ мотивировать, формулировать, обособлять—къ ужасу мужиковъ, недоумъвающихъ, что тантся подъ этими пугалами-словами: розга или штрафы. Изъ этого и выходять подъ часъ смёшныя и грустныя комедіи въ род'в той сцены съ бабой, которую Шапкинъ целый часъ вразумлялъ, чтобы она держалась въ передълахъ кассаціи, а она, въ отвіть на вст его краспорічнивые

доводы, ползала передъ нимъ на колтняхъ, умоляя среди горькихъ рыданій помиловать ея собаку.

- Развѣ ты не понимаешь, что она хочетъ? говорила Шапкину его жена по выходѣ изъ суда.
- Разумъется, понимаю... Но видишь, въ чемъ дъло...
- Такъ зачемъ же ты не слушаещь ее?.. Она говорить свое, а ты свое...
- Поэтому-то мы оба и правы: она говорить, что ей нужно, а я—что миѣ нужно.
- Да она не понимаеть тебя. Ты быль въ университетъ, а она...
 - Чъмъ же я виновать, что она не была тамъ? Шапкинъ улыбался. Жена молчала.
- Я самъ въ томъ же положени, какъ и она. Я не могу ей сдълать добра потому, что она тоже не можеть доставить мив удовольствия быть ей познанымъ... Когда мы будемъ-вибеть съ ней по одной книжкъ читать, тогда все это и кончится.

Вотъ она, въчная логика Шапкиныхъ. Они рады оказать своимъ ближнимъ всевозможныя благод'янія, но для этого необходимо, чтобы ближніе эти развились до счастія принимать благодівнія изъ ихъ бархатныхъ ручекъ, возвысились до ихъ высокообразованнаго величія. Въ самомъ дель, чемъ же они виноваты, что мужики не понимають ихъ, зачёмь не восинтывались въ университетахъ!.. При этомъ замъчательно, что въ тоже время Шапкину и въ голову не приходить спросить себя: ну, а пока мы не будемъ читать вифстф съ этими людьми по одной книжкф или говорить съ ними однимъ языкомъ, то въ чемъ же заключается приносимая мною польза на моемъ мъсть и за что я получаю жалованье? За то, что я удивляю двухъ-трехъ барынь съ лориетками своимъ краснорвчіемь? Что же я такое, общественный двятель или конедіанть, потішающій публику?

Но вск эти простодушные эксплоататоры хороши тъмъ, что они не долго обманываютъ людей, полагающихся на нихъ, быстро обнаруживая всю свою несостоятельность. Рядомъ же съ ними есть другато рода артисты, действующие уже не по сотне направленій, а стремящіеся къ какой-нибудь одной опреділенной своекорыстной цёли, и нассивные люди являются слёпыми орудіями въ ихъ рукахъ для исполненія ихъ замысловъ, совершенно не входящихъ въ разсчеть этихъ пассивныхъ людей. Такимъ слепымъ орудіемъ является передъ вами Михаилъ Ивановичъ. Какъ истый россійскій прогрессисть, онъ только умъль возлагать надежды на чугунку, но въ то же время палецъ о палецъ не двинулъ для того, чтобы снискать средства и быть въ состояни воспользоваться этою благод втельницею, которая должна доставить его къ Максиму Петровичу. Ему и въ голову не приходило, что чугунка даромъ его не повезетъ. Когда чугунка была облажена, онъ тогда только догадался, что у него въ карманъ ни гроша и ъхать ему не на что, и впалъ въ мрачное уныніе. Но тутъ подвернулся некій купець, подслушавшій случайно его сътование на прижимку. Это былъ одинъ изъ мъстныхъ кулаковъ, желавшій получить въ аренду казенный заводъ. И воть, чтобы предпріятіе это удалесь, кулаки вознамърились воспользоваться Михаиломъ Ивановичемъ и отправить его въ Петербургъ, чтобъ онъ тамъ, жалуясь на прижимку, внушилъ мысль кому следуеть: эво, моль, до чего народъ немцемъ - арендателемъ прижатъ, что ровно бъщеные, на последніе въ Питеръ бегуть жалиться... Сказано, следано... Михаилъ Ивановичъ и поехалъ въ Петербургъ на купеческія деньги слепымъ орудіемъ ихъ замысла, пофхаль жаловаться на прижимку, чтобы оказать этимъ пользу такой же прижимкъ. Это верхъ ироніи. Этимъ по истинѣ Гл. Успенскій имѣлъ полное право закончить романъ. Подобный результатъ жизни Михаила Ивановича — хуже смерти и всякой другой катастрофы, къ какимъ прибъгаютъ обыкновенно романисты, чтобы покончить романъ и отдълаться отъ героя! Если-бы Гл. Успенскій вздумаль продолжать романъ далве, то ему оставалось бы только сообщить читателю рядъ подробностей, о которыхъ читатели и сами могуть догадаться. Это было бы все равно, что доведя героя до трагической смерти, начать подробно описывать въ последней главе, какъ разлагался его трупъ въ могилф!

VI.

Много можно бы еще чего сказать по поводу романа Гл. Успенскаго, потому что на каждой страницъ его вы найдете сцены и очерки, открывающіе передъ вами глубокія перспективы и наводящіе васъ на цізлый рядъ размышленій о тёхъ или другихъ сторонахъ общей неурядицы нашей житейской суеты. Но предоставляемъ это сделать самимъ читателямъ, иначе намъ долго пришлось бы еще беседовать. Въ заключеніе мы скаженъ только, что произведенія Г. Успенскаго особенно подезны при нашей замкнутой жизни, при обыкновеніи спотр'ять на міръ въ узенькое окошечко какого-нибудь теснаго кружка нашего прозябанія и уноситься въ милыхъ сердцу иллюзіяхъ въ различныя эмпиреи. Произведенія Гл. Успенскаго однимъ ударомъ способны разрушать всё подобныя иллюзін, открывая намъ жизнь не такою, какова она намъ кажется изъ нашего прекраснаго далека, а во всей ея неподкрашенной правдъ. Г. Успенскій обладаеть въ этомъ отношении удивительнымъ даромъ одною небольшою сценкою открыть передъ вами изнанку невыразимой пошлости даже тамъ, гдъ иной романисть, конечно, ничего не нашель бы, кромъ однёхъ свётлыхъ сторонъ, и заставилъ читателей отдыхать душою. Такъ напримеръ, припомните только сцену изъ "Наблюденій пентяя". Вотъ передъ вами несколько молодыхъ дюдей-такихъ образованныхъ, такихъ гуманныхъ, мыслящихъ-собрались и бесъдують о высокихь предметахъ. Какой богатый сюжетъ для начала романа съ великоленными женскими типами, анализомъ любви, борющейся съ призваніемъ гражданскаго долга и пр. Романисть стараго покроя не земедлиль бы въ кругъ этихъ предающихся глубокомысленнымъ беседамъ героевъ тотчасъ втереть деву съ задатками страстности и неразгаданныхъ думъ въ темныхъ очахъ, а Гл. Успенскій вмѣсто этого заставилъ появиться протопопа и вся компанія отъ вызывающихъ на размышленіе разговоровъ

ринулась—вследъ за приглашениемъ протопона топить кобеля, богъ-весть зачемъ и для чего, и кончилось дело всеобщею попойкою. О, русская жизнь, какъ видна ты вся, будто на ладони, въ одной этой

сценкв!... Въ самомъ дълв, чтобы ты ни предпринималъ, о чемъ бы ни размышлялъ, мой читатель, въ конце концовъ ты все-таки придешь къ одному: пойдешь топить кобеля и при этомъ случав напьешься.

ГРАФЪ ЛЕВЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ТОЛСТОЙ—

КАКЪ ХУДОЖНИКЪ И МЫСЛИТЕЛЬ.

I.

Элементарный принципъ реальнаго искусства заключается, какъ всёмъ извёстно, въ томъ, чтобы изображать жизнь такъ, какъ она есть, во всей ея неподкрашенной правдѣ, не идеализируя и не искажая ея. Въ этомъ принципѣ выразилось первое сознание реальнаго искусства въ отличіе его отърюмантизма и долгое время принципъ этотъ исключительно господствовалъ въ критикѣ, приверженной реальному искусству. Установленіе его составляло главиую заслугу дѣятельности Вѣлинскаго, сущность такъ-назмаемой натуральной школы. Въ эпоху сороковыхъ годовъ принципа этого совершенно было достаточно, чтобы пошатить всѣ устарѣлые романтическіе вягіяльны на искусство и водворить господство новой реальной школы.

Но, когда этотъ принципъ восторжествовалъ къ концу сороковыхъ годовъ, оказалось, что онъ далеко не обнимаетъ собою всей сущности искусства и не опредъляетъ его цълей. Прекрасно изображать жизнь въ ея неподкрашенной правдѣ; но, съ одной стороны, съ какою же целью должень поэть быть какимъ-то рабскимъ эхомъ жизни, и притомъ эхомъ, далеко уступающимъ отражаемымъ звукамъ? А съ другой стороны -- долженъ ли поэтъ, дъйствительно, подобпо эху, отражать безразлично все, что только ни вошло въ его кругозоръ, или онъ имъетъ право выбора? Вышеупомянутый принципъ потому и оказался недостаточенъ, что онъ не отвичаль на эти вопросы и допускаль въ области искусства каосъ и безцельность. Въ самомъ дълъ, что бы поэту ни задумалось: явленія, выражающія собою духъ віка или журчанія ручейковъ, роковыя стремденія своихъ современниковъ, или же впечативнія и мелкія подробности рыбныхъ ловлей — все безразлично входило въ область реальнаго искусства и допускалось вышеумпомянутымъпринциномъ, лишь бы только изображение было верно действительности. Изъ этого выходила распущенность и произволь почти столь же необузданные, какіе господствовали и въ романтизит съ его теоріею безусловной свободы ноэтической фантазіи. Тогда-то и возникли две партіи: одна осталась при прежнемъ принципъ, т.-е. вполнъ довольствовалась тъмъ, чтобы искусство изображало художественно-върно жизнь, не входя при этомъ въ разборъ, что и для чего изображается про-

изведеніемъ. Люди этой партіи не отвергали того, что искусство должно быть полезно, но въ то же время они полагали, что польза его заключается въ самой его сферъ, безотносительно къ содержанію изящныхъ произведеній, что искусство само по себ'в приносить свою специфическую пользу темъ уже, что художественно изображаеть жизнь, во всей ся правде, и требовать отъ него другихъ какихъ-нибудь целей, это значить выводить его изъ своей сферы, заставлять его переставать быть искусствомъ. Противъ этихъ приверженцевъ стараго принципа возникли новые люди, которые начали доказывать, что старый принципъ недостаточно опредъляетъ значение и пъль искусства, что для поэта недостаточно върно изображать первое, что попалось ему на глаза и привлекло его вниманіе, что не всякое изображеніе дійствительности имветъ одинаковое значение и приносить одинаковую долю пользы, что неизмериман бездна лежить между безцальнымъ изображениемъ соловыныхъ трелей или любовныхъ томленій и такихъ явленій жизни. въ которыхъ дежатъ существенныя задачи въка. Болъе десяти лътъ велись ожесточенные споры между защитниками искусства для искусства и искусства для жизни, и кончились въ свою очередь торжествомъ новаго принципа утилитарнаго искусства. Покрайней мъръ въ настоящее время *) торжество это можно считать до такой степени полнымъ, что если въ литературъ и раздаются еще порою отдельные голоса приверженцевъ искусства для искусства, то голоса эти слишкомъ и робки, и ничтожны, чтобы обращать на себя вниманіе, и противъ нихъ никто уже и не возражаетъ, считая это дело совершенно излишнимъ. Но торжество какой-либо иден всегда бываеть въ то же время обнаружениемъ слабыхъ сторонъ ея. То же самое происходить нынъ и съ утилитарнымъ принципомъ.

"Я пришелъ въ міръ не для того, чтобы уничтожить законъ, а чтобы поправить". Это изрѣченіе пригодно для каждой новой иден, ивлиющейся на смѣну старой. Какъ бы ни казалась отживінею старая идея, но не надо забывать, что и она когда-то была новою, была какою нибудь ступенью въ развитіи человѣчества и какое нибудь новое сознаніе принесла людямъ свонмъ появленіемъ. Неужели же это пріобрѣтеніе

^{*)} Т.-е. въ 1872 году, когда была писана эта

безвозвратно утрачивается для человъчества съ появденіемъ новой идеи и новая до основанія разрушаєть старую, не оставляя въ ней и следа? Иначе сказать, неужели все развитіе человъчества заключается въ вычной безсмысленной смыть идей, въ результать оказывающихся одинаково ложными? Ничуть ни бывало: старыя идеи не уничтожаются, а только теряють свое безусловное господство, ограничиваются новыми идеями и входять въ нихъ въ видъ элементовъ. Это мы видимъ въ какой угодно области мысли, въ томъ числѣ и въ сферѣ эстетическихъ понятій. Основная формула всёхъ нёмецкихъ метафизиковъ заключалась въ томъ, что искусство должно быть свободнымъ, непроизвольнымъ актомъ творчества. Реальная эстетика, явившаяся на см'тну "метафизической, не опровергнула этой формулы, а только ограничила ее: да, сказала она, конечно, это такъ, но при всей свободъ и непроизвольности творчества, поэтъ не можеть отрешиться отъ действительности; произвести что-нибудь свое, не находящееся въ сферв жизни, совершенно не въ его власти; всякая такая попытка есть бользнь творчества, ведеть къ произведеніямъ безобразнымъ, уродливымъ, и только такое произведеніе можно назвать художественнымъ, въ которомъ, при всей свободъ и непроизвольности творчества, воспроизводится жизнь во всей ея правдѣ.

Утилитаризмъ въ свою очередь не заключаетъ въ себъ отрицания ин непроизвольности творчества, ни тъмъ ментве върности дъйствительности поэтическихъ образовъ. Признавая и то, и другое, онъ опять-таки ивляется только ограниченемъ элементариаго искусства, говоря, что только такое произведене искусства аслуживаетъ уваженія современниковъ и памяти потомства, которое, при условіи непроизвольности тверчества и вървости дъйствительности, проникнуто обчества и вървости дъйствительности, проникнуто обчества и вървости дъйствительности, проникнуто обчества и вървости дъйствительности, проникнуто обч

щественными интересами времени.

Въ такомъ видъ и являлся угилитаризмъ искусства при своемъ появленіи въ статьяхъ Бѣлинскаго послъднято періода его дъягельности и Добролюбова. Проводя угилитаризмъ, писатели эти не забывали и того, что было истиннаго въ прежнихъ принципахъ, и всячески заботились о приведеніи въ согласіе нонаго принципа со старыми. Мы могли бы привести ми жество цитатъ изъ статей Добролюбова, въ кото дхъ этотъ горячій приверженецъ принципа искусства для жизни преслъдовать всякую преднамъренность. Творчества, искусственность или же искаженіе дъйствительности, фальшь, — не менёе самыхъ рьяныхъ защитниковъ искусства для искусства.

Но по мърѣ того, какъ утилитаризмъ окончательно восторжествовалъ, онъ возъимълъ претензію быть единственнымъ и исключительнымъ прицципомъ исключательна и прицципомъ исключательна и прицципомъ исключательна и прицципы, не входя даже въ размотрѣніе ихъ, какъ будто ихъ вовсе никогда не существовало. Вмѣстѣ съ тѣмъ не замедлилъ обнаружиться и весь вредъ исключительнаго и односторонняго господства его въ критикъ Оказывается, что ввятый отдѣльно, безъ содъйствія предшествовавшихъ принциповъ, утилитаризмъ ведетъ искусство къ такому же хаотическому произволу, какъ и прежніе прикципы, во время ихъ исключительнаго господства. Въ самомъ дѣлѣ, вы посмотрите,

что только дёлается въ современной беллетристики: нынъ не требуется отъ писателя ни знанія жизни въ ея неподкрашенной, правдѣ, ни возведенія дѣйствительности въ перлъ созданія, какъ выражались нъкогда, или, сказать проще, обобщений частныхъ явленій въ общіе образы; писатель можеть остановиться на первыхъ конкретныхъ фактахъ, обратившихъ на себя вниманіе, взять своихъ двухъ-трехъ пріятелей, и, произвольно перемъшавши ихъ качества, написать безъ дальнихъ околичностей романъ изъ несколькихъ ихъ похожденій; можеть и этого не делать: имъетъ полный произволъ искажать дъйствительность, какъ ему вздумается, пригоняя ее къ задуманной идеж, даже совсёмъ обойтись безъ действительности, выдумать небывалыхъ героевъ изъ своей собственной фантазіи, поставить ихъ въ самую фантастическую обстановку, гдф-то между небомъ и землей, и заставить проделывать подвиги или преступленія, подобныхъ которымъ вы не сыщете на всемъ земномъ шаръ, и лишь бы романъ былъ написанъ бойко, не причиняль з'явоты, и, что прежде всего и главиве всего, въ немъ была бы проведена поучительная тенденція, — и будьте ув'трены, романъ найдетъ своихъ почитателей въ томъ лагеръ, для котораго эта тенденція пріятна. Въ самомъ діль, неужели есть хоть мальйшій признакъ поэтическаго творчества или бледная тынь правды жизни въ тыхъ многочисленныхъ романахъ, которые нишутся словно по заказу для "Русскато Въстника", въ которыхъ непремънно должны парадировать растрепанные нигилисты съ различными коварными интригами, съ подделываньемъ векселей, обольщениемъ дёвъ и отравлениемъ старцевъ, а рядомъ съ ними благонамъренные администраторыпатріоты должны разрушать все эти злокозненныя интриги, жениться на обольщенных в нигилистами дъвахъ и при встречахъ съ благодушными крестьянами получать отъ нихъ клѣбъ-соль на серебряныхъ блюдахъ. Что представляетъ изъ себя наприм. романъ Лескова, "На ножахъ" какъ не какой-то горячечный бредъ разстроеннаго воображенія, потерявшаго всякое чутье действительности и дошедшаго до чудовищныхъ галлюцинацій! Не говоря уже о томъ, что въ этомъ романъ, по прихоти фантазіи автора и по тону тенденціи, жизнь искажается елико возможно въ своихъ существенныхъ, общихъ явленіяхъ, -авторъ не позаботился, чтобы читатели, хотя бы въ мелкихъ аксессуарахъ и подробностяхъ, видъли окружающую ихъ действительность; действующія лица говорять. богъ-въсть какиму страннымъ языкомъ, подобнаго которому нигде не слышинь, представляются исключительными, нигдё невиданными уродами, и вся обстановка ихъ жизни освещена такимъ какимъ-то страннымъ, мистическимъ свътомъ, словно это жители не русской вемли, а иной планеты, на которой солнце свътить не бълымъ, а синевато-зеленымъ пветомъ. Но и беллетристы противоположнаго лагеря, тенденціозные романисты въ родѣ Бажина, Шеллера, Омуневскаго, въ одинаковой мъръ не заботятся объ изображеніи действительности, правды жизни. Разница только въ томъ, что здёсь вмёсто необузданныхъ нигилистовъ творятъ всевозможныя пакости развращенные филистеры, а надъ ними парятъ въ

облакахъ молодые реалисты "съ крипкими первами и облакахъ", потому что, когда вы читаете романъ или повъсть этого рода, передъ вами стушевываются и земля, и небо, и вы видите передъ собою одно тріумфальное шествіе світозарныхъ тероевъ, совершенно въ такомъ же родъ, какъ изображаются тріумфальныя шествія на барельефахъ: смотрите вкі на барельефъ, и передъ вами не существуетъ древней жизни со всею ея обыденною обстановкою, никакого ландшафта, одно бълое поле да такое же бълое кудрявое деревцо въ сторонъ, и подъ нимъ колесницы и побъдители, величественно правящіе рьяными конями. Точно тоже самое представляють изъ себя и романы вышеупомянутыхъ беллетристовъ. Откуда беругъ они своихъ величавыхъ, мудрыхъ яко змін героевъ, гдѣ они ихъ видятъ, не спрашивайте объ этомъ, Въ романахъ этихъ беллетристика совершенно сошла съ почвы реализна и ударилась въ шиллеровскій идеализиъ созданія русскихъ маркизовъ Повъ и Іоаннъ д'Аркъ. Здёсь жизнь даже ужь и не искажается, а просто выдумывается сообразно проводимой тенденцін.

Въ концъ-концовъ не уничтожается-ди и саный принципъ утилитаризма такимъ его исключительнымъ преследованиемъ? Человеческое слово можетъ быть полезно только тогда, когда оно заключаеть въ себъ истину. Всякая ложь, даже самая блестящая, выскавываемая хотя бы даже съ самыми благородными, высокими цёлями, непремённо въ концё концовъ, должна произвести не пользу, а величайшій вредъ. О вредъ романовъ въ духъ тенденцій "Русскаго Въстника" нечего и говорить; но не трудно доказать, что и выставленіе новыхъ людей въ видѣ маркизовъ Позъ и Ісаннъ-д'Аркъ, можетъ принести не менте вреда для тёхъ же самыхъ юношей, для поученія которыхъ эти романы пишутся. Вивсто того, чтобы представлять этимъ юношамъ жизнь въ ея настоящемъ свътъ, вивсто того, чтобы заставлять ихъ узнавать себя въ произведенияхъ со всеми ихъ недостатками, авторы употребляють всё усилія, чтобы закрыть отъ нихъ настоящую действительность со всемъ ея жалкимъ убожествомъ, обольщая ихъ различными радужными призраками. Последствія подобныхъ обольщеній очевидны: юноша прочтеть нісколько подобныхъ романовъ и не замедлить вообразить самого себя однимъ изъ ихъ героевъ; витстт съ темъ начинаются поиски повсюду людей съ необъятными силами и непоколебиной энергіей, приченъ каждый встрёченный, сказавшій двѣ, три фразы, согласныя съ возэрѣніями юноши, кажется ему человъкомъ не отъ міра сего и находить подобіе себѣ въ томъ или другомъ романъ Важина, и кончается все это тъмъ горькимъ и тяжелымъ разочарованіемъ идеализма, изъ котораго немногіе выходять, не утративъ молодыхъ силь и завътныхъ убъжденій. Чтотакое это все, какъ не тоть же романтизиъ, только въ новой оболочкѣ, съ иными кличками?

Но неужели - же возвратиться ко временамъ чистаго искусства и снова воспавать что взбредеть на умъ, слене повинуясь всёмъ прихотямъ художественнаго вдохновенія?... Никто объ этомъ не говоритъ; что пройдено, къ тому возвращаться было бы крайне постыдно, и не даромъ явился принципъ уталитариз-

ма искусства; по только цель его не пренебрегать здоровымъ воображениемъ". Я говорю "парятъ въ | всёми прежними принципами, а только ограничивать ихъ. Актъ поэтическаго творчества попрежнему обязанъ изображать жизнь такъ, какъ она есть. Что же касается тенденціозности произведеній, то она должна заключаться вовсе не въ томъ, чтобы во что бы ни стало приноравливать изображаемую дёйствительность къ тенденціи. Тенденціозность должна предшествовать творчеству, руководя поэта не столько въ изображеніи жизни, сколько въ изученіи ея. Поэть, проникнутый серьезными и глубокими идеями, стоящими впереди въка, очевидно, не будетъ обращать исключительнаго вниманія на красоты природы, по цвлыйь часамь следить за темь, какъ тучки плывуть по небосклону; онъ станеть изучать такія явленія жизни, которыя такъ или иначе относятся къ вопросамъ, занимающимъ его умъ. И если онъ обладаеть дёйствительнымъ талантомъ, явленія эти не замедлять сложиться въ поэтические образы; тогда пусть онъ садится къ столу и воспроизводить эти образы; пусть въ это время онъ ни о чемъ не думаетъ болже, какъ только о поэтическомъ воспроизведении и задастся исключительно художественными цёдями и, пов'трьте, произведенія его в'т гораздо большей степени проникнуты будуть серьезными, глубокими тенденціями, чемъ еслибы онъ преднамеренно задался ими. Не только помимо, но иногда и вопреки воли его поэтические образы станутъ сами по себъ вопіять вамъ о вашихъ скорбяхъ и нуждахъ и будутъ производить на васъ тамъ сильнайшее впечатланіе, чамъ меньше преднамъренности со стороны автора. Таковъ законъ иллюзін, что всякое непреднамеренное меткое вамъчаніе, нечаянная острота, случайно сорвавшіяся съ языка, дъйствуютъ сильнее разсчитанныхъ и взвашанныхъ предварительно словъ. Въ этомъ отношеніи искусство доджно идти совершенно по тому же пути, по какону идеть наука. Когда ученый принимается за свои изследованія, онъ ограничивается только общими, всёмъ и каждому съ дётскихъ лётъ известными соображеніями о томъ, что всё научныя изследованія должны клониться къ пользе людямь; но было бы нельпо, если бы ученый захотьль заранъе опредълить, какую долю пользы принесуть его изследованія и въ какомъ виде; вдругь бы ему пришла въ голову мысль: дай, моль, я открою такой газъ, который горёль бы свётлее водорода и стоиль бы вдесятеро дешевле. Вы, конечно, тотчасъ-же усомнились бы въ успехе подобнаго предпріятія, назвали бы ученаго химеристомъ и готовы были бы побиться объ закладъ, что подобныя преднамъренныя изысканія ни къ чему не поведутъ; но мало того, что они ни къ чену не поведутъ — они могутъ помѣшать ученому сдълать десять полезнъйшихъ непредвидимыхъ открытій въ теченіе того времени, которое онъ потратить на свой замысель. На этомъ основании, вы не требуете отъ ученаго ничего болве, какъ только того, чтобы онъ изследоваль свой предметь, и затемь поведаль міру о такъ открытіяхъ, къ которымъ естественно и непроизвольно привели его изысканія. Совершенно точно такъ-же долженъ поступать и поэтъ. Вся обязанность его заключается въ томъ, чтобы изучать окружающую его людскую жизнь въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ и затемъ поведать намъ въ поэтических в образах в о результат в своих в изследованій. Польза же подобныхъ пов'єданій будеть прямо зависьть отъ того, на сколько богаты результаты изученія поэтомъ жизни, т.-е. на сколько глубоко успълъ онъ проникнуть въ изучаемую имъ область и сдёлать въ ней болье или менье существенныя открытія... Основной методъ такого изученія долженъ быть такой же индуктивный, какъ и во всехъ другихъ наукахъ, иначе сказать, изучение должно основываться на возможно большемъ количествъ фактовъ, чъмъ только и можеть обусловливаться върность выводовъ. Таковъ основной, единственно - истинный принципъ искусства, который, къ сожальнію, пренебрегается нашими современными белдетристами: они считаютъ совершенно излишнимъ заниматься постояннымъ и пристальнымъ изученіемъ жизни въ самыхъ разнообразныхъ ея сферахъ и полагаютъ, что сдёлали свое дёло и совесть ихъ ножетъ быть спокойна, если имъ удалось стереотипную тенденційку, принятую въ наследство отъ бабущки или вычитанную изъ книжки, пришпилить кое-какъ, на живую нитку, къ двумъ, тремъ бладнымъ образамъ, или совершенно конкретнымъ, или же составленнымъ изъ самаго ограниченнаго круга наблюденій. И они воображають, что произведенія ихъ могуть быть въ какой-нибудь степени

Для большей ясности и вразумительности сунтаю нелишинить въ заключение этой главы привести всё вышеозначенные принципы въ краткихъ формулахъ, въ ихъ последовательности другъ за другомъ. И такъ:

1) Поэтическое творчество должно быть свободно и непроизвольно.

 Оно должно воспроизводить жизнь во всей ея неподкрашенной правдъ.

3) Оно должно стремиться къ воспроизведению существенных явленій жизни, въ которых выражаются духъ въка и его интересы.

4) А этого поэтъ можетъ достигнуть только путемъ всесторонняго изученія жизни.

II.

Произведенія гр. Л. Толстого потому и дороги для насъ въ смыслѣ разъясненія всѣхъ этихъ принциповъ, особенно послѣдняго, что они наглядно показываютъ, до чего можетъ достигнуть художникъ путемъ изученія жизни и безхитростнато воспроизведенія ея въ поэтическихъ образахъ, и какъ съ другой сторены тенденціи, которыми иногда старается тотъ же художникъ освѣщать образы свои, не только не освѣщаютъ ихъ, а напротивъ того—портятъ впечатлѣніе, которое образы производятъ сами по себѣ, заглушаютъ ихъ естественный голосъ.

Гр. Л. Тодстой принадлежить къ школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Школа эта имѣетъ свое историческое значеніе въ томъ отношеніи, что въ ней впервые возникло стремленіе къ серьезному нализу жизни на основаніи тѣхъ новыхъ, гуманныхъ идей, наплывъ которыхъ съ Запада составляетъ главную суть умственнаго движенія сороковыхъ годовъ. Въ защитѣ раба отъ помѣщичьяго произвола, женщины

оть домашняго гнета, въ отрицаніи праздности, діни и нравственной распущенности, этихъ результатовъ крвностнаго права, заключается несомнънная заслуга этой школы. Но вифстф съ тфиъ она инфетъ и свои недостатки, зависящіе отъ духа времени и условій жизни представителей ея. Школа эта-та саная, которая при своемъ возникновеніи, въ последніе годы Вълинскаго, славилась подъ названіемъ натуральной. Она возникла такимъ образомъ въ то время, когда отъ писателей начинали уже требовать проникновенія общественными интересами, но требование это было еще вопросомъ спорнымъ, между темъ безгранично царилъ принципъ, не требующій отъ искусства ничего болве, кромв вврнаго изображенія жизни. Въ силу этого, беллетристы сороковыхъ годовъ постоянно колебались между принципами искусства для искусства и уталитарнымъ: останавливая свое внимание на такихъ явленіяхъ жизни, въ которыхъ выражались существенные интересы ихъ времени, рядомъ съ этимъ они предавались той безцальной созерцательности, которая допускалась принципонъ натуральной школы н въ то же вреия была столь естественна при складъ жизни большинства представителей этой школы. Это и было причиною такого обилія описательной поэзін въ произведеніяхъ всёхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ; произведенія эти переполнены описаніями красотъ природы, тончайшихъ мелочей быта и обыденныхъ сценъ жизни въ родъ печенья пироговъ, проводовъ, встречъ, езды на долгихъ или перекладныхъ и пр. Вивств съ темъ принципъ натуральной школы не заключаль въ себъ требованія всесторонняго и сравнительнаго изученія жизни въ разныхъ слояхъ общества и совершенно довольствовался знаніемъ се стороны поэта одной маленькой частицы жизни, лишь бы онъ изображаль ее върно. Въ силу этого, белдетристы сороковыхъ годовъ позводяли себв имъть весьна поверхностныя свёдёнія о всёхъ прочихъ слояхъ общества, кром' того интеллигентнаго, къ которому сами принадлежали. Иногда они делали вылазки и въ другіе слои, но если только быть этихъ слоевъ не искажался авторами, если въ него не вносились нравы, понятія и чувства той же интеллигентной среды (что случалось очень часто), то во всякомъ случат выбирались факты чисто конкретные, случайно понавшіе въ кругозоръ художника, и выводились въ произведеніи для того, чтобы выставить какую-либо вредную сторону крепостнаго права или же внушить публике, что и подъ сермягою бьется такое же человъческое сердце. Существенныя же основы быта всёхъ прочихъ слоевъ общества, кроив интеллигентнаго, ихъ основныя стремленія, симпатім и антипатім въ соприкосновеніи съ интеллигентнымъ слоемъ, оставались чужды беллетристикъ сороковыхъ годовъ; по большей части она занималась изображениемъ одного интеллигентнаго слоя въ различныхъ отношеніяхъ людей этого слоя другъ къ другу. Подобныя односторонность и замкнутость бедлетристики въ одномъ слов общества были не малою помёхою для разрёшенія тёхъ существенныхъ задачь, которыя были заданы этой школь выкомъ. Школа белдетристовъ сороковыхъ годовъ стремилась осветить ту страшную нравственную распущенность, дряблость, ту крайнюю искусственность

жизни, до какихъ дошла интеллигентная среда вследствіе ненормальности своего общественнаго положенія. Простой, здравый спысль говорить вамь, что всё вышеупомянутые недостатки интеллигентной среды только и могутъ быть освъщены въ настоящемъ свъть въ сопоставленіи этой среды съ другими сдоями общества, въ которыхъ этихъ недостатковъ нетъ, и въ то же время наибольшій вредъ этихъ недостатковъ обнаруживается очевидно опять-таки въ отношеніяхъ интеллигентной среды къ прочимъ слоямъ общества. Между темъ этого-то именно и не могла сделать беллетристика сороковыхъ годовъ, весьма мало знакомая съ прочими слоями общества и занимавшаяся почти исключительно однимъ интеллигентнымъ слоемъ. Она выводила на сцену постоянно безхарактернаго, нравственно - распущеннаго героя, но всё эти качества могла показывать только по отношенію героя къ матери, любимой девушке, другу. Въ то же время она, при всемъ отрицательномъ отношении къ подобному герою, все-таки питала къ нему величайшую нъжность, какъ къ представителю интеллигенціи. Такимъ образомъ, герой оказывался несостоятельнымъ во всёхъ отнощеніяхъ, но при всемъ томъ рисовался выше всёхъ головою; и читатель оставался въ полномъ недоуменін, кто сей герой и какъ объяснить дрянность его отношеній въ ближнимъ: ненормальностью его самого или этихъ ближнихъ? Представляетъ ли господинъ этотъ собою печальный результатъ неправильной обстановки жизни, или ножетъ быть, такова участь всякаго, возвысившагося надъ своею средою и вставшаго вследствіе этого съ нею въ раздадъ? Впрочемъ, къ концу сороковыхъ годовъ беллетристы начали болъе склоняться къ первому предположению: безхарактерный герой пересталь рисоваться выше всёхъ головою, а началь изображаться темъ, чемъ онъ быль на самомь дёлё: никуда негоднымъ продуктомъ растивнной среды; изъ Вельтова онъ быль разжалованъ въ Облонова. Вивств съ установлениемъ подобнаго взгляда на безхарактернаго героя, еще болье почувствовалась потребность оттененія последняго героями съ противоположными качествами. Въ прежніе годы герой оттенялся средою, которая предполагалась стоящею ниже его, теперь же онъ оказался нисколько не выше своей среды, ся органическимъ продуктомъ. Казалось, что туть-то и должно было возникнуть сознаніе, что самое лучшее оттіненіе безхарактерности героя, это поставление его въ соприкосновение съ другини слоями общества. Между темъ большинство беллетристовъ сороковыхъ годовъ продолжали имъть все такія же смутныя понятія о прочихъ слояхъ общества; поневоль они принуждены были, для оттененія безхарактерныхъ героевъ, сочинять героевъ характерныхъ силою своего воображенія и отвлеченнаго мышленіясходя такимъ образомъ съ реальной почвы изображенія дійствительности. Нікоторые такъ и ділали. Другіе начали возводить въ идеалъ различныхъ кулаковъ, находящихся въ той же интеллигентной средь, лишь бы только эти кулаки проявляли хотя блёдную тынь характерности и твердости нравственныхъ правиль по отношению къ матери, женъ и другу, и читатель долженъ былъ върить, что передъ нимъ если не идеальныя совершенства, то во всякомъ случав

столим русской земли, черноземныя силы. И вѣрилъ простодушный читатель, благодаря тому, что писатели не заботились представить, какъ проявляеть себя почтений синъ, вѣрный мужъ и неизмѣнный другъ къ людямъ, не стоящимъ столь близко къ нему... Чнтатель не менѣе простодушный задавалъ себѣ естественный вопросъ: какимъ чудодѣйственнымъ образомъ на почвѣ изображаемой среды могутъ возникать столь доблестные герои, если естественнымъ продуктомъ ея являются Обломовы въ различныхъ видахъ и формахъ? Въ такое безвыходное противорѣчіе поставила себя натуральная школа беллетристовъ сорковыхъ годовъ, сойдя съ почвы объективнаго изображенія жизни на почву идеализаціи дѣйствительности.

Принадлежа къ этой школь, гр. Л. Толстой представляеть въ своихъ произведеніяхъ и многія такія свойства и особенности, которыя характеризують ее. Такъ вы найдете въ нихъ такое же обиліе художественной созерцательности, результатомъ которой явдяются многочисленныя описанія природы, вижшнихъ обыденныхъ чертъ жизни, рядомъ съ анализомъ всевозможныхъ психическихъ ощущеній до самыхъ мельчайшихъ и неуловиныхъ. Особенное богатство въ этомъ отношении представляють первыя повъсти гр. Л. Толстого: "Детство", "Отрочество" и "Юность". Но и въ последнемъ произведении гр. Толстаго "Война и миръ" вы найдете не менъе описательной поэзіи на каждой страницѣ. Стоитъ только припомнить такія выдающіяся вещи въ этомъ родь, какъ описаніе бала у Ростовыхъ или святочнаго пикника. Мы указываемъ на эту особенность произведеній гр. Л. Толстого, которую раздёляеть онъ со всёми беллетристами одной съ нимъ школы, не какъ на достоинство или недостатокъ этихъ произведеній, а какъ на характеристическую принадлежность ихъ, которая зависить отъ иногихъ условій жизни, создавшей эту школу, и должна утратиться вивств съ паденіемъ ея. Не входя въ разбирательство частныхъ, индивидуальныхъ причинъ, зависящихъ отъ склада характера и темперамента того или другаго писателя, зам'ятимъ только, что общая причина богатства описательной поэзіи въ нашей беллетристик взависить, по нашему мнинію, отъ бъдности содержанія нашей жизни и ея тоскливаго однообразія: всявдствіе недостатка такихъ сильныхъ впечатленій, которыя всецело овладевали бы фантазіею художника, наши писатели имбютъ бездну досуга наблюдать различныя мелкія детали жизни и этими деталями иногда и ограничиваются.

Вийстй съ тёмъ у гр. Л. Толстого, подобно какъ и у всйхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, на первомъ плант рисуются тё же безхарактерные герои интеллигентной среды, анализъ правственной несостоятельности которыхъ и составляетъ главное содержане не творчества гр. Л. Толстого. Но въ то же время гр. Л. Толстой не раздаляетъ многихъ недостатковъ представителей своей школы, и этимъ онъ обязанъ, по нашему митню, тому, что сфера наблюденій жизни у гр. Толстаго гораздо шире, чти у прочихъ представителей сего школы. Въ его произведеніяхъ вы найдете тишы не одной только интеллигентной среды, но раздичныхъ слоевъ общества — міщанъ, крестьянъ, солдатъ, казаковъ, обядныхъ студентовъ и музыкан-

товъ и пр., и всё эти типы рисчются передъ вами въ надлежащемъ свете и не въ однехъ только внешнихъ формахъ, но и въ существенныхъ свойствахъ, представляющихъ отличіе ихъ нравовъ, понятій и стремленій сравнительно съ привиллегированнымъ слоемъ общества. При такихъ условіяхъ и безхарактерный герой, составляющій главный предметь творчества гр. Л. Толстого, рисуется передъ нами совершенно въ иной перспективѣ, чѣмъ у прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Гр. Л. Толстой не принадлежить ни къ темъ беллетристамъ своей школы, которые безхарактернаго героя ставили на романтическій пьедесталь выше всёхь головою, ни къ темъ, которые, ради отрицательнаго отношенія къ безхарактерному герою, выдумывали изъ своей фантазін характерныхъ героевъ или идеализировали кулаковъ.

Вивсто всего этого гр. Толстой, относясь къ своему безхарактерному герою совершенно объективно и безпристрастно, не преувеличивая и не умаляя его, анализируеть его въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ жизни, отъ колыбели и до могилы; не довольствуясь одними отношеніями ето къ ближайшимъ родственникамъ, друзьямъ и любимымъ женщинамъ, приводить его въ соприкосновение съ личностями различныхъ слоевъ жизни; -- отъ этого отрицание въ неизмеримой степени выигрываеть: безхарактерный герой рисуется передъ вами несостоятельнымъ не въ одной сферѣ семейныхъ и сердечныхъ вопросовъ, но во всѣхъ общественныхъ отношеніяхъ; онъ пасуеть не передъ одними идеальными героями авторскихъ измышленій, но передъ простыми обыкновенными смертными, ежедневно встръчаемыми въ жизни. Въ этомъ отношеніи гр. Толстой представляеть сравнительно съ прочими представителями своей шкоды шагъ впередъ на пути реализма, и во многихъ отношенияхъ приближается къ той новой школъ писателей, которые бросили прежній путь субъективно-психическаго анализа душевныхъ настроеній героевъ интеллигентной среды и принядись изучать жизнь объективно, какъ она проявляется въ отношеніяхъ различныхъ общественныхъ слоевъ между собою. Мы не говоримъ, чтобы онъ вполнъ принадлежалъ къ этой новой школъ, въ его произведеніяхъ анализъ душевныхъ настроеній интеллигентныхъ героевъ все-таки преобладаетъ, но самый этоть анализь значительно расширяется твив, что не ограничивается одною семейною или любовною сферою и касается часто такихъ сторонъ жизни, которыя или совствить не затрогивались беллетристикою сороковыхъ годовъ, или же затрогивались едва-едва, мелькомъ и поверхностно.

Саман внёшняя форма произведеній гр. Толстого вначительно отличается отъ формы произведеній прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ: вибсто пов'єстей и романовъ съ законченными сюжетами, весь узель которыхъ основывается у беллетристовъ сороковыхъ годовъ объкновенно на любви, произведенія гр. Толстого представляютъ рядъ очерковъ и частныхъ энизодовъ изъ жизни героевъ, въ которыхъ очень часто любовь не играетъ ровно никакой роли; есть произведенія, обходящіяся и совс'ямъ безъ любви—каковы "Утро ном'єщика", "Маркеръ". Даже произведеніе "Война и миръ", хоти и названо ро-

маномъ, но это вовсе не романъ по своей витиней формъ: вы не найдете въ немъ одного цъльнаго сюжета, вокругъ котораго были бы сконцентрированы всв действующія лица, что вы встретите во всехъ европейскихъ романахъ безъ исключенія: это галлерея всевозможныхъ картинъ изъ жизни нашего общества начала нынешняго столетія; эдёсь вы найдете цёлые десятки сюжетовъ, немёющихъ никакихъ точекъ соприкосновенія, и изъ которыхъ каждый могъ бы послужить темою для особеннаго романа; авторъ руководился очевидно вовсе не тою задачею, чтобы написать романъ изъ жизни перваго десятильтія, а чтобы изобразить" эту жизнь въ наибольшей полнотъ, во всемъ ся разнообразіи. Единственное исключеніе въ этомъ отношении изъ всёхъ произведений гр. Л. Толстого составляетъ романъ: "Сенейное счастье". Здёсь дёйствительно мы видимъ цёльный сюжетъ, основанный на любви. Но за то и по внутрениему содержанію романь этоть наиболье подходить къ школь беллетристовъ сороковыхъ годовъ: действіе романа сосредоточивается въ узкой сферѣ нѣсколькихъ личностей интеллигентной среды и все содержание егоанализъ всевозможныхъ ощущеній супружеской любви въ различныхъ ея періодахъ, -- содержаніе, какъ видите, крайне частное.

III.

Произведенія гр. Толстого "Д'втство", "Отрочество" и "Юность" ваключають картину воспитанія безхарактернаро героя. Произведенія эти какъ нельзя болье наглядно показывають, какъ излишня какая-либо налужанная тенденціозность, если поэтическіе образы, изображаемые художникомъ передъ вами сами по себь внушають вамь рядь идей, независимо оть того, пумаль ди поэть провести эти идеи, или онъ ни о чемъ не помышляль, какъ только о художественномъ воспроизведении своихъ образовъ. Въ самомъ дёль, читаете вы произведенія эти, и вамъ постоянно кажется, что у автора не было въ виду ничего иного, кромъ желанія рисовать, — и рисовать-то такими микроскопическими штрихами столь микроскопическія вещи, какъ дътскія игры, радости и печали. Сначала вы теряетесь въ массъ безсодержательныхъ повидимому очерковъ: но мало-но-малу, но мъръ того, какъ вы вчитываетесь, передъ вами возникаеть стройная картина детства и юности тысячь людей, подобныхъ терою, и эта картина показываетъ вамъ ясно, откуда берутся и какъ складываются въ нашей жизни тъ безхарактерные люди, которыми и теперь еще полны наши интеллигентные слои. Въ этойъ отношении мы нисколько не преувеличимъ, если скажемъ, что во всей нашей беллетристикъ мы можемъ поставить рядомъ только двухъ писателей, которые съ такою полною обстоятельностью рисуютъ передъ нами дътскіе годы и воспитаніе героевъ нашей интеллигенціи-именно, Гончарова съ его "Сномъ Обломова" и гр. Л. Толстого съ его "Дътствомъ", "Отрочествомъ" и "Юностью".

Первое, что васъ поражаеть, когда вы читаете "Дѣтство" — это полная изолированность ребенка отъ жизни взрослыхъ, совершенная отчужденность его отъ интересовъ семъи. Не говоря уже о

томъ, что ребенокъ не участвуетъ ни въ какихъ трудахъ взрослыхъ и потому не пріучается считать себя полезнымъ членомъ семьи, -- онъ не принимаетъ никакого участія и въ ихъ радостяхъ иди печаляхъ. Гр. Толстой нигда не говорить объ этомъ, но онъ даеть вамъ это чувствовать. Вы видите, что передъ ребенкомъ совершается страшная семейная драма, одна изъ техъ драмъ, которыя столь часты въ нашей интеллигентной средь: тщеславный моть, фразерь и седадонъ губитъ жизнь молодой и порядочной женщины, сділавшей роковую ошибку влюбиться въ него по неопытности и выйти за него замужъ. Она истаиваетъ въ слезахъ при виде его легкомыслія, губящаго семейство, и сходить въ могилу обманутая, униженная, оскорбленная, почти брошенная въ деревенскомъ захолустьъ. И все это остается совершенно незамъченнымъ ребенкомъ, безъ мадъйшаго протеста или простаго вопроса о томъ, что такое делается вокругъ него. У насъ много толкують о вредъ посвященія дітей въ семейныя дрязги; стараются даже, ради сохраненія въ детяхъ младенческой чистоты и невинности, а также и должнаго уваженія къ родителянъ, производить семейныя ссоры при закрытыхъ дверяхъ, удаляя детей какъ можно подальше. Вы найдете не мало несчастныхъ матерей, которыя считають обязанностью заглущать въ полушкѣ свои слезы и считали бы страшнымъ нравственнымъ преступленіемъ выразить передъ детьми хоть одну жалобу на отца. Но какія бы вы педагогическія соображенія ни приводили въ пользу этого, а все-таки вы не локажете, чтобы въ этомъ скрываніи семейной грязи, въ этихъ улыбкахъ милымъ детямъ, когда на сердие у насъ скребуть кошки, не было возмутительнъйшаго лицемерія. Вы уб'єждены, что воспитаніе должно быть основано на истинъ, и между тъмъ на первыхъ же поражь вибсто истины представляете детямь дожь. притворство, лицемфріе. Вы унышленно стараетесь казаться передъ детьми въ лучшемъ свете, не темъ. что вы на самомъ деле, умышленно стараетесь скрывать передъ ними жизнь въ ея неподкрашенной правдъ. На сколько въ этомъ отношении и честиве, и правдивъе васъ тъ простые и безхитростные люди, у которыхъ не существуетъ для дътей никакой цензуры на семейные интересы, вопросы и дрязги, которые открыто высказывають передъ детьми все жалобы и протесты. Дътскій инстинкть всегда подскажеть ребенку, гдф правда, гдф ложь, и дфтское сердце всегда встанетъ на сторону угнетеннаго противъ угнетателя. Правда, при такомъ воспитаніи вы не будете наслаждаться эрелищемъ детской невинности, играющей въ куколки и лошадки, когда на столъ лежитъ мать, убитая горемъ; за то ваше дитя смолоду пріучится видеть жизнь не въ цветахъ и благоуханіяхъ. а со всеми ея заботами и дрязгами, пріучится дюбить и ненавидёть то, что стоить любви и ненависти, а главное дело-привыкнеть жить человеческою жизнію мысли, труда и борьбы, а не животнымъ провябаніемъ, заключающимся въ одномъ питаніи.

Жизнь героя повъсти гр. Л. Толстого, изолированная отъ всёхъ вопросовъ и интересовъ вѕрослыхъ, была именно такою животною жизнію отдёльныхъ безсвязныхъ впечатлёній: сегодня школьная скука, завтра охота, игры съ сверстниками, поездка въ Москву на долгихъ, бабушкины именины съ гостями, безотчетная влюбчивость въ товарищей и подругъ. А тамъ вдругъ внезапная смерть матери, произведшая, правда, тяжелое впечатление на мальчика, но всетаки вполи безсознательное впечатление неожиданнаго и безсмысленнаго удара слепаго рока. Можно себъ представить, какъ освътилась-бы вся дальныйщая жизнь ребенка, еслибы у него при этомъ событіи было хоть мальйшее темное предчувствие причины смерти матери, хоть бы какая-нибудь одна ея слеза или жалоба остались въ его памяти. Сколько сознанія было бы внесено тогда въ умъ ребенка видомъ лежащей въ гробу страдалицы, сколько думъ заронилось бы въ голове его, какъ ясно определились бы его симпатін и антипатін. Это быль бы тяжелый, страшный, но великій нравственный урокъ на всю жизнь, -- но этотъ урокъ миновалъ нашего героя. Безсмысленными глазами глядаль онъ на трупъ, и какъ ни велико казалось отчанніе ребенка, оно мигомъ разсівнось, когда схоронили мать и увезли детей въ Москву, и сменилось рядомъ новыхъ впечатленій, столь-же инмолетныхъ и безследныхъ.

Изолированный такимъ образомъ отъ жизни, ребенокъ былъ совершенно предоставленъ той страшной умственной и нравственной праздности, которая составляетъ удёлъ тысячи дътей въ нашей интелдигентной средъ. У мальчика возникали весьма живые вопросы, которые онъ обращалъ къ внѣщнему міру за неимѣніемъ никакихъ вопросовъ и интересовъ въ своей семъѣ.

«Когда я глядёль на деревни и города, которые мы проважали—говорить герой гр. Л. Толстаго—въ воторых въ каждомь домё жило по крайней міррі такое же семейство, какъ наше, на женщинь, дітей, которыя съ минутнымъ клобопытствомъ смотръли на экппажь и навсегда исчевали изъ глазъ, на завочниковъ, мужиковъ, которые не только не кланялись намъ, какъ я привыкъ видёть это въ Петровскомъ, но не удостоявали насъ даже взглядомъ, мий въ первый разъ пришелъ въ голову вопросъ: что же ихъ можетъ занимать, ежели они нисколько не заботятея о насъ? и изъ этого вопроса вовникъщ другіе: какъ и тёмъ они живутъ, какъ воспитываютъ своихъ дётей, учатъ-ли ихъ, пускалютъ-ли играть, какъ накавиваютъ? и т. д.»

Но никто не позаботился дать никакихъ отвётовъ на такіе вопросы мальчика: виёсто этого, мальчика начали забивать рутинною школьною дрессировкою, ученіемъ французскихъ и иёмецкихъ вокабулъ, рѣкъ, городовъ и неторическихъ фактовъ съ докучною хронологією.

Такая умственная и нравственная праздность не замедлила принести свои плоды. — Умъ юнопи, не находя пищи и содержанія явий, бросился пожирать самого себя, углубился въ рядь отвлеченивйшихъ вопросовъ и началь строить различныя гипотезы и тесрій въ род'я стоицияма, эпикурензма, или же бросался въ кругъ безъисходнаго скептицияма.

«Въ продолженіи года, во время котораго я вель уединенную, сосредоточенную въ самомъ себъ, моральную жизнь—говорить герой гр. Л. Толстаго—всъ отвлеченные вопросы о назначеніи человъка, о будущей жизни, о беземертів души уже представлямись миѣ; и дътскій слабий умъ мой со всъмъ

жаромъ неопытности старадся унснить тѣ вопросы, предложение которыхъ составляетъ высшую степень, до которой можетъ достигать умъ человъка, но разръшение которыхъ не дано ему...

«Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда, я не вынесъ ничего, кромъ изворотивности ума, ослабившей во мнъ силу воли, и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожившей свъжесть чувства и моность разсудка.

«Отвлеченныя мысли образуются вслёдствіе способности челов'ява уловить сознаніемь вы изв'явстный моменть состояніе души и перенести его вы воспоминаніе. Склонность мои кь отвлеченнымы размышненіямъ до такой степени неестественно развяда во мить сознаніе, что часто, начиная думаль о самой простой вещи, и впадаль въ безвыходный кругъ анализа своихъ мыслей, и не думаль уже о вопросъ, занимавщемъ меня, а думаль отомъ, о чемъ и думалъ. Спращиван себя: о чемъ и думаю? я отвъчаль: я думаю, о чемъ и думаю. А теперь о чемъ и думаю? Я думаю, что я думаю. А теперь о чемъ и думаю? Я думаю, что я думаю. А семъ и думаю, и такъ далъе. Умъ за разумъ заходилъ»...

Въ нравственномъ мірѣ юноши происходило тоже стремленіе, за недостаткомъ истиннаго нравственнаго содержанія, создать содержаніе отвлеченное, фантастическое. Онъ не быль пріучень ни къ какому труду, усившное совершение котораго удовлетворяло бы его самолюбіе, не приносиль никому никакого добра и пользы, которыя могли-бы доставить ему нравственное довольство. За неимъніемъ никакого подобнаго реальнаго содержанія нравственности, онъ удовлетворяль свое самолюбіе тімь, что создаваль себі всевозможные величественные идеалы, воображая себя олицетвореніемъ ихъ. Дъйствительность часто разрушала подобныя мечты; вдругь онъ начиналь себя чувствовать такимъ ничтожнымъ и жалкимъ, пока не отвлекался отъ действительности и снова не уносился въ міръ своихъ фантазій.

«Я часто воображаль себя великимъ человъкомъговоритъ герой гр. Л. Толстого, — открывающимъ
для блага всего человъчества новыя истины, и съ
гордимъ совнаніемъ своего достоинства емотръль
на остальныхъ смертныхъ; но странио, приходя въ
столкновеніе съ этими смертными, я робълъ передъ
каждымъ, и чъмъ выше ставилъ себя въ собственномъ митній, тъмъ менъе бълъ способенъ съ другими не только высказывать сознаніе собственнаго
достоинства, но не могъ даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и дви-

Иногда эти ничёмъ неудовлетвордемые нравственные порывы принимали религіозный характеръ подъвліяніємъ вившнихъ внечатлёній въ родф говёнья. Юноша ударался въ аскетизить самобичеваній и самоугрызеній и составляль себё правила жизни, мечтая сразу измёниться и начать совершенно новую

«Нынче я исповѣдаюсь, очищаюсь отъ всѣхъ грѣховъ, думаль онъ: и больше уже никогда не буду... (тутъ онъ припоминалъ всѣ грѣхи, которые больше всего мучили его). Буду каждое воскресенье ходить непремѣнно въ церковъ и еще послѣ пѣлый часъ читать сваниеліс, потомъ изъ бѣленькой, которую и буду получать каждый мѣсліць, югда постучило въ университетъ, непремѣнно два съ полтиной (одну десятую) я буду отдавать бѣднымъ, и такъ, чтобы инкто не знатъ; и не нищимъ, а стану отыскивать такъхъ бѣдныхъ, спроту или старушку, про которыхъ никто не знаетъ. У меня будеть особенная

комната, и я буду самъ убирать ее и держать въ удивительной чистотъ, человъка-же ничего для себя не буду заставлять дълать. Въдь онь такой-же, какъ и и. Потомъ буду ходить каждый день въ университеть пъшкомъ (а ежеля мин дадуть дрожки, то продамъ ихъ и деньги эти отложу тоже на бъдняхъ) и въ точности буду исполнять «все» (что было это «все», я никакъ бы не могъ сказать тогда, но я живо понималь и чувствовать это «все» разумной, правственной, безупречной жизни)».

Подъ внечатленіемъ такихъ мыслей юноша однажды дошель до такого религіознаго экстаза, что ему мало показалось одинь разъ поисповідываться у монаха. Поздно ночью онъ всталь и поіхаль въ монастырь исповідаться во второй разъ, воображая въ тоже время при этомъ, что такой прекрасной души молодаго человіска никогда никто невстрічаль въ жизни, да и не встрічить, даже и не бываеть подобныхъ. Въ этомъ містії гр. Толстой употребиль драгоцінное сближеніе всей этой сферы искусственныхъ, натянутыхъ и подогрітыхъ экстазовъ съ міромъ здраваго смисла простого народа.

Нопит мало было внутренняго довольства самимъ собою. Ему захотълось подълиться съ къмъ нибудь своими ощущениями.

«Мий ужасно хотилось поговорить съ кимъ нибудь; но такъ-какъ никого подъ рукоко не было, кроми извощика, я обратился къ нему.

- Что, долго я быль? епросиль я.

— Ничего-таки, долго, а лошадь давно кормить пора, вёдь я ночной, отвёчаль старичокъ извощикъ, теперь; повидимому, съ солнышкомъ, повеселёвшій сравнительно съ прежнимъ.

— А мнѣ показалось, что я быль всего одну минуту, сказаль я.—А знаешь, зачьмы я быль вы монастыры? прибавиль я, пересаживансь изъ углубленія, которое было на дрожкахь, ближе къ старичку извощику.

— Наше двло какое? Куда сёдокъ скажеть, туда и веземь, отвачаль онь.

туда и веземъ, откъчаль онъ.

— Нётъ, все-таки, какъ ты думаешь? продолжаль я допрашивать.

— Да, върно, хоронить кого, вздили мъсто покупать, сказаль онъ.

— Нътъ, братецъ, а знаешь, зачъмъ я ъздилъ? — Не могу знать, баринъ, повторилъ онъ.

Голосъ извощика показался мит такимъ добрымъ, что я ръшился въ назиданіе его разсказать ему причины моей побадки и даже чувство, которое и мс-

— Хочешь, я тебѣ разскажу? вотъ видишь-ли...
И я разсказать ему все и описаль всѣ свои прекрасныя чувства. Я даже теперь краснѣю при этомъ воспоминании.

Такъ-съ, сказалъ извощикъ недовърчиво.

И долго послё этого молчаль и сидёль неподвижно, только иврёдка поправляя полу армяка, которая все выбивалась изъ нодё его полосатой ноги, прыгавшей въ большомъ сапотё на подножкё калябера. Я уже думаль, что и онъ думаеть про меня тоже, что духовникъ, то-есть, что такого прекраснаго молодого человёка, какъ я, другого иёть на свёть, но онъ вдругь обратился ко мий:

- А что, баринъ, ваше дъло господское.

— Что? спросиль я.

 Дёло-то, дёло господское, повториль онъ, шамкая беззубыми губами.

«Нѣть онъ меня не поняль», подумаль я, но уже больше не говориль съ нимъ до самаго дома».

Вотъ вамъ одинъ изъ образчиковъ техъ сближеній, которыя часто дёлаеть гр. Л. Толстой между искусственною жизнью отвлеченныхъ уиствованій и натянутых в экзальтацій праздной среды и естественною, наполненною трудомъ и реальными заботами жизнью простого человъка. Сами по себъ подобныя умствованія, экзальтацін, рефлексін могуть показаться чёмъ-то весьма почтеннымъ, какою-то высокою работою умственнаго и нравственнаго самосовершенствованія, возвышающаго человёка надъ всёмъ окружающимъ міромъ. Но всё эти иллюзін разомъ разрушаются въ сопоставлении съ логикой рабочаго человъка, и тамъ, гдт вы видели рядъ возвышенныхъ идей или героическихъ стремленій къ идеальному совершенству, передъ вами открывается безобразная пошлость праздности, эгонзма и напыщеннаго высокомърія. Гр. Толстой въ этомъ отношени не щадить своихъ героевъ и относится къ нипъ съ самой безжалостной ироніей, которая представляется темъ забе, что она скрыта подъ видомъ такого, повидимому, добродушнаго, объективно-безхитростнаго разсказа. Такъ, въ одномъ ивств, гр. Толстой заставляеть друга своего героя, Неклюдова, среди самаго разгара разговора о различныхъ возвышенныхъ предметахъ — оттаскать кулакомъ по головъ лакея Ваську въ внезапномъ порывъ б'вшенства, носл'в чего Неклюдовъ сп'вшить загладить свой поступокъ долгою и жаркою молитвою и вечеръ кончается слёдующими восклицаніями друзей:

«- Отлично жить на светь? сказаль я.

— Отлично жить на свёть, отвічать они такимъ голосомъ, что и въ темноть, казалось, видель выражене его веселыхъ, даскающихся глазъ и детской ульбки».

Религіозная экзальтація овладіваеть не одними людьми, подобными герою гр. Л. Толстого; ее могуть испытывать люди различныхъ слоевъ общества. Но у людей, у которыхъ жизнь нолна реадьнаго содержанія, религіозная экзальтація тёсно соединяется съ различными существенными вопросами жизни, прининаеть деятельный характерь и составляеть одинъ изъ періодовъ ихъ развитія, оставляющій свои глубокіе следы на всю ихъ жизнь, какъ бы потомъ ни изменялись убъжденія человъка. Но мы говорили уже, что жизнь героя гр. Л. Толстого, лишенная всякаго содержанія, представляла одинъ безконечный рядъ мимолетныхъ впечатленій, случайно возникавшихъ и такъ же случайно исчезавшихъ. Однивъ изъ такихъ висчативній, наввянным в говінісмь, быль и тоть религіозный экстазь, который съ такою же быстротою исчеть послъ говънья, съ какою возникъ и не оставиль послё себя, ни малёйшаго слёда въ молодомъ человъкъ. Прошло говънье — и разсъялись всъ аскетическія грезы, забыта рёшимость продать дрожки и раздѣваться безъ помощи человѣка, тетрадь правиль куда-то исчезла, —и что же осталось? Осталось только то, что безсознательно навъвалось окружающею юношу жизнью: преждевременное развитіе чувственности, какъ прямой результать умственной и нравственной праздности: мальчикъ чуть что не 12 или 13 лётъпо цёлынъ часанъ заглядывался въ щолочку дёвичьей, заигрываль съ горничными, а впослъдствіи влюблялся въ каждую встръченную дъвицу не живымъ и

непосредственным чувствомъ, а по программамъ читаемыхъ романовъ. Вибстб съ тбмъ, всб прежніе умственные и нравственные ндеалы смбинлись мало-помалу сознаніемъ превосходства своей среды, раздѣденіемъ людей на comme il faut и mauvais genre и стремленіемъ во что бы то ни стало возвыситься до идеала comme il faut.

«Мое любимое и главное подраздъление людей говорить герой гр. Л. Толстого-въ то время, о которомъ я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas! Второй родъ подраздълняся еще на людей собственно comme il ne faut pas и простой народъ. Людей comme il faut я уважаль и считаль достойными имьть со мной равныя отношенія; вторыхъ-притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидель ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали — я ихъ презиралъ совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, въ отличномъ французскомъ языкъ и особенно въ выговоръ. Человъкъ, дурно выговаривавшій по французски, тотчасъ же возбуждаль во мнь чувство ненависти. «Для чего ты хочешь говорить, какъ мы, когда не умъешь?» съ ядовитой усмъшкой спрашиваль я его мысленно. Второе условіе comme il faut были ногтидлинные, отчищенные и чистые; третье было умёнье кланяться; танцовать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изящной, презритель-ной скуки. Кромѣ того, у меня были общіе признаки, по которымъ я, не говоря съ человъкомъ, ръшаль, въ какому разряду онъ принадлежить. Главнымъ изъ этихъ признаковъ, кромъ убранства ком-наты, перчатокъ, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапоть въ панталонамъ тотчасъ рѣшало въ моихъ глазахъ положение человъка. Сапоги безъ каблука съ угловатымъ носкомъ, а концы панта-лонъ узвіе, безъ штрипокъ — это быль простой; сапогь съ узкимъ круглымъ носкомъ и каблукомъ и панталоны узкіе, внизу со штрипками, облегающіе ногу, или широкія со штринками, какъ балдахинъ стоящіе подъ носкомъ — это быль человыкь mauvais genre, и т. п.

Создавши такой внёшній, условный идеаль, юношё ничего уже не стоило пренебрегать всёми нравственными правилами, лишь бы казаться ближе къ своему идеалу conime il faut'наго человёка. Такъ за чаемъ у Неклюдова онъ не стыдится лігать самымъ нахальнымъ образомъ, тщеславно хвасталсь родственными богатствами ради того, чтобы возвыситься въ глазахъ знакомыхъ.

«Когда зашемъ разговоръ о дачахъ — говоритъ онъ, — я вдругъ разсказалъ, что у князя Ивана Ивановича есть такая дача около Москвы, что на нее пріважали смотріть изт. Лондона и изъ Парижа, что тамъ есть рішетка, которая стоитъ триста восемьдесятъ тисячъ, и что князъ Иванъ Иванънчъ митъ очень близкій родственникъ, и и ныньче у него обідаль, и онъ звалъ меня непремінно прібхать къ нему на дачу жить съ нимъ цілое хіто, но что я отказался, потому что знаю хорошо эту дачу, нісколько разъ биваль на ней, и что всі эти рішотки и мость для меня нисколько не занимательны, потому что я терпітъ не могу, роскоши, особенно ві деревні; я люблю, чтоби въ деревні уже было совсімъ, какъ въ деревні»...

Такъ изъ нашего героя создавался обыденный клыщъ, какихъ много можно встретить ежедневно въ три часа на Невскомъ проспекте; но вотъ пришлось этому клыщу сесть по воле папеньки на университетскую скамейку, и онъ попалъ совершенно въ иную сферу жизни, не имѣющую ничего общаго съ тою, которой быль окружень до того времени...

Здёсь гр. Толстой дёлаеть нёсколько очерковъ обдныхъ студентовъ, въ средв которыхъ очутился нашъ герой. Очерки эти намъчены самыми крупными чертами, безъ особенной художественной отдёлки и деталей; между тёмъ, мы не знаемъ въ нашей литератур' другого, въ такой же степени карактеристическаго изображенія бёдняковъ-студентовъ, исполненнаго столь искренняго сочувствія къ трудящемуся юношеству, безъ малёйшей въ то же время идеализапіи его.

Ничтожество и пошлость героя ярко рисуется передъ вами въ различныхъ столкновеніяхъ его съ учащейся молодежью. Сначала онъ пробуеть относиться къ ней высокомърно, какъ подобаетъ человъку сотте il-faut относиться къ mauvais genre. Но огорошенный нъсколько разъ людьми, въ которыхъ не встръчаетъ ни малъйшаго желанія смотръть на него, какъ на высшее существо, онъ смиряется. Долгое время дичится товарищей, снося тоскливое одиночество. Наконецъ, мало-по-малу, сближается съ ними, втягивается въ ихъ кружокъ и начинаетъ открывать въ нихъ такія достоинства, которыхъ онъ и не подозрѣвалъ съ своей comme il faut'ной точки зрѣнія:

«Съ каждымъ днемъ я больше и больше извинялъ непорядочность этого кружка, втягиваясь въ ихъ быть и находя въ немъ много поэтическаго! Только одно честное слово, данное мною Дмитрію, не ъздить никуда кутить съ ними, удержало меня отъ

желанія раздалять ихъ удовольствія. «Разъ я хотурь похвастаться передъ ними своими знаними въ литературъ, въ особенности француз-ской, и завелъ разговоръ на эту тему. Къ удивае-нію моему, оказалось, что, котя они выговаривали иностранным заглавія по русски, они читали го-раздо больше меня, знали, цънили англійскихъ, даже вспанскихъ, писаталей Пасежа про коториту, и испанскихъ писателей, Лесажа, про которыхъ я даже и не слыхивалъ. Пушкинъ и Жуковскій были для нихъ литература (а не такъ, какъ для мена, книжки въ желтомъ переплетъ, которыя и читалъ и училь ребенкомъ). Они презирали равно Дюма, Сю и феваля и судили, въ особенности Зухинъ, гораздо лучше и яснъе о литературъ, чъмъ я, въ

чемъ я не могъ не сознаться. «Въ знаніи музыки я тоже не имълъ передъ ними никакого преимущества. Еще къ большему удивленію моему, Оперовъ играль на скрипкь, другой изъ ванимавшихся съ нами студентовь играль на віолончели и фортецьяно, и оба играль въ университетскомъ оркестръ, порядочно знали музыку и цънили хорошую. Однимъ словомъ, все, чъмъ я хотыль похвастаться передъ ними, исключая выговора французскаго и итмецкаго языковъ, они знали лучше меня и нисколько не гордились этимъ. Могъбы я похвастаться въ моемъ положение свътскостью, но я ея не имѣль, какъ Володя; — такъ чтоже такое была та высота, съ которой и смотрълъ на нихъ? Мое знакомство съ княземъ Иваномъ Ивановичемъ? выговоръ французскаго языка? дрож-ки? голландская рубашка? ногти? Да ужъ не вздоръли все это? начинало мив глухо приходить иногда въ голову, подъ влінніемъ чувства зависти къ товариществу и добродушному молодому веселью, которое я видъть передъ собою. Они всъ были на ты. Простота ихъ обращенія доходила до грубости, но и подъ этой грубой вившностью быль видимъ страхъ хотъ чуть-чуть оскорбить другъ друга. Подлець, свинья, употребнемые ими въ ласкательномъ

смысль, только коробили меня и мнъ подавали по-

водъ къ внутреннему подсмънванью, но эти слова

не оскорбляли ихъ и не мъщали имъ быть между собою на самой искренней дружеской ногъ. Въ обращении между собою они были такъ осторожны и деликатны, какъ только бывають очень бёдные и очень молодые люди. Главное-же, что-то широкое, разгульное чуялось миж въ этомъ характеръ Зухина и его похожденіяхъ въ Лиссабонъ. Я предчувствоваль, что эти кутежи должны были быть что-то совсъмъ другое; чъмъ то притворство съ зажжоннымъ ромомъ и шампанскимъ, въ которомъ и участвоваль у барона 3.».

Такое сближение съ новымъ кругомъ людей должно было раньше или позже произвести перевороть въ нашемъ геров. -- Къ сожалению, гр. Л. Толстой остановился въ своей повъсти "Юность" на началь этого переворота, и оставилъ повъсть неоконченною, ограничившись невыполненнымъ до сихъ поръ объщаніенъ разсказать дальнѣйшую исторію героя въ "слѣдующей, болже счастливой половине его юности".

Впрочемъ, и не имъя подъ руками такого разсказа, можно предвидёть, что потомъ сталось съ героемъ. Университеть оторваль его оть родной почвы фатовства и comme il faut'ства; онъ внушиль ему рядъ разумныхъ идей и стремленій, но не могъ влить въ его жилы новую кровь и пересоздать его нервы, не могъ заменить того здороваго воспитанія, котораго не доставало юнош'в въ детстве. Не принимая до того времени никакого участія въ реальной жизни окружающихъ его людей труда и борьбы, не зная, что это за люди, онъ вошелъ въ эту жизнь и въ кругъ этихъ людей совершенно посторонникъ и даже ненавистнымъ человъкомъ, съ рядомъ отвлеченныхъ мечтаній, не имъющихъ съ этою жизнью ничего общаго — а что изъ этого вышло, это ны увидимъ на дъйствующихъ лицахъ других в пов'єстей гр. Л. Толстого, героевъ, совершенно подобныхъ тому, какого мы встратили въ разобранномъ произведении.

IV.

За произведеніями "Д'єтство", "Отрочество" и "Юность" следуеть повесть "Утро помещика", представляющая первый шагъ въ жизни безхарактернаго героя. И въ этомъ уже первомъ шагъ герой представляется передъ вами во всей своей несостоятельности, при чемъ вы видите, что эта несостоятельность зависить не отъ одной только нравственной распущенности, надломленности и апатіи героя, но отъ ненормальности всёхъ условій его жизни и отношеній къ другимъ людямъ, такой страшной ненормальности, что даже самыя почтенныя и энергическія усилія приносить пользу людямъ, разливать вокругъ себя добро парализируются сами собою, - и это еще самое лучшее, когда они только парализируются; при настойчивости подобныхъ усилій, дёятельность, основанная на началахъ гуманности и терпимости, превращается въ попраніе всёхъ человёческихъ правъ, и вмёсто добра и пользы результатами выходять вредъ и зло. Когда вы созерцаете типы въ родъ Тентетникова и Обломова, вы можете подумать, что все несчастие этихъ людей зависить отъ ихъ изнъженности и дряблости, плодовъ дурнаго воспитанія и избалованности жизнію, и что будь воспитаніе ихъ иное, проживи они хоть нёсколько лётъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ жизни, закаляющихъ характеръ, они могли бы, еслибы захотѣли, что-нибудь сдѣлать на своемъ мѣстѣ и въ своемъ положеніи. Гр. Толстой окончательно разочаровываеть васъ въ подобныхъ предположеніяхъ. Своимъ безпощаднымъ анализомъ онъ докавываеть вамъ, что герои его безсильны сдѣлать что либо полезное ближнимъ вслѣдствіе не одной только своей безхарактерности, а самаго своего положенія.

Въ самомъ дълъ, пора понять и признать, что истинимя и положительныя добро и польза заключаются единственно и исключительно въ результатахъ производительнаго труда. Всякое другое добро или случайно, минутно и обусловдено для своего проявления существованіемъ зла въ родъ, напримъръ, спасения утопающаго, или же мнимо и эфемерно и очень часто подъ личиною добра заключаетъ въ ссоъ рядъ возмутительнъйшихъ золъ и несправедливостей.

Точно также прогресь для того, чтобы быть истиннымъ, естественнымъ и прочнымъ прогресомъ, долженъ исходить изъ труда и корениться въ немъ. Всякій иной прогресъ ложенъ, эфемеренъ и крайне ненадеженъ.

Представьте себъ, что у меня есть маленькое хозяйство, которое составляетъ единственный источникъ моего существованія. Я тружусь, и земля такъ вознаграждаетъ иой трудъ, что я не только обезпеченъ въ необходимомъ, но у меня отъ каждаго года остается избытокъ. Этотъ избытокъ и есть залогъ какъ моего личнаго прогреса, такъ и прогреса всего человъчества. Избыткомъ этимъ только и могутъ обусловливаться съ одной стороны пріобретеніе средствъ для улучшенія хозяйства, съ другой --- существованіе досуга для умственнаго развитія. — При такихъ условіяхъ прогресъ долженъ возростать въ геометрической прогрессіи, такъ какъ всё элементы его, действуя взаимно другь на друга, составляють особенный прогресивный кругь: избытокъ удучшаеть хозяйство, улучшенное хозяйство даеть еще большій избытокъ, умственное развитіе, пріобрътенное въ часы досуга-въ свою очередь действуетъ и на улучшение хозяйства, и на увеличение избытка, а послёдній доставляеть все большія и большія средства для уиственнаго развитія. — При такомъ правильномъ теченіи прогреса, если по прошествін Х времени бъдныя хижины замбиятся дворцами, жалкія патріархальныя орудія—паровыми машинами, знахари—искусными медиками и пр., всё подобные плоды прогреса явятся эрълыми плодами, возрощенными на родной почвъ; въ то же время люди, которые будутъ пользоваться всёмъ этимъ, будуть стоять въ уровнъ такого прогреса: они сами его произвели и сами сознательно, какъ свое добро, будутъ сохранять его и заботиться объ его возростаніи. Въ этомъ и заключается естественность и прочность прогреса, свободно возростающаго изъ недръ труда.

Но представьте себё, что у васъ есть другъ, который, предположимъ даже, изъ самыхъ честныхъ и безкорыстныхъ видовъ, станетъ отбирать отъ васъ ежегодно весь избытокъ вашего хозяйства и класть его въ банкъ, на томъ основании, что вы, въ его глазахъ, человѣкъ безпечный и расточительный, и что гораздо благоразумние, если капиталь будеть накапливаться. лежа въ банкъ, чъть станетъ расточаться въ вашихъ рукахъ. — Принявши на себя такую заботливость о вашенъ благосостоянін, пріятель вашь, въ вознагражденіе за свои труды, присвоиваеть себ'в пользованіе процентами съ вашего капитала, накапливающагося въ банкв. Что произойдеть вследствіе этого? Естественно, что по прошествін того же Х времени ваше хозяйство, не улучшаемое избытками, должно остаться совершенно въ такомъ же положени, какъ и въ первый годъ вашего труда, и сами вы нисколько не подвинетесь въ умственномъ развитии. Но этого мало, что хозяйство ваше нисколько не улучшится; оно навтрное разстроится, потому что не только для улучшенія, но и для сохраненія хозяйства въ одномъ положеніи необходима взвъстная доля избытка. При такихъ условіяхъ вийсто прогресивнаго круга долженъ совершиться такой же кругь регресивный. По мере истощенія хозяйства, у вась будеть все меньше и меньше становиться досуга для умственнаго развитія; вы будете употреблять всё силы, все время, чтобы натянуть, во что бы ни стало, сушку, которую вы обязались доставлять другу для внесенія въ банкъ. Въ этихъ усиліяхъ, вибсто того, чтобы развиваться, вы будете туп'ять и груб'ять; а ваше отуп'яніе въ свою. очередь отзовется на еще большемъ разстройствъ козяйства; наконець, всеобщій упадокъ ножеть дойти до того, что вы не въ силахъ уже будете удёлять вашему пріятелю никакого избытка отъ вашего хозяйства, и если вашъ другъ будетъ продолжать требовать уплаты такихъ же сумиъ, вы будете принуждены платить ихъ съ саного имущества.

Но что-же въ этотъ самый Х времени произойдетъ съ вашимъ пріятелемъ? Живя на проценты съ вашего капитала, онъ все время имълъ безграничный досугъ и следовательно полнейшую возможность умственнаго развитія. Онъ и явится передъ вами по прошествін Х времени человъкомъ въ высшей степени развитымъ, передовымъ свътиломъ своего времени. Въ головъ его будуть вибщаться всё современныя идеи, до которыхъ додумалось человъчество, онъ будеть говорить на нъсколькихъ языкахъ, будетъ знать все, что делается на земномъ шарѣ, въ нѣдрахъ его и въ небесныхъ сферахъ, будетъ судить о томъ, какое правленіе болѣе или менње способствуетъ прогресу, въ какомъ положенін должна находиться женщина въ семействѣ и государствъ, какое воспитаніе дучше---классическое или реальное и пр. и пр. Однимъ словомъ, это будетъ прогресисть въ полномъ смысле этого слова, но весь этотъ прогресъ будетъ сосредоточиваться исключительно въ головѣ вашего пріятеля, и вамъ отъ него не будетъ ни теплъе, ни сытнъе. Это не прогресъ дъйствительный, осуществленный, а только одно отвлеченное представление его, радужныя гаданія о немъ. Въ самомъ- дёлё: что толку, что въ голове вашего пріятеля сидить великолівный отель на манерь американскихъ, когда не только вы, но и этотъ блестящій прогресисть должны довольствоваться въ действительности грязненькою харчевнею, и въ то-же время вы знаете, что если-бы вашъ пріятель взялся за построеніе американскаго отеля, онъ все-таки ничего не произвель-бы кром' той-же грязной харчевни, потопу что ни онъ, ни тѣнъ менѣе окружающе его дюди не имѣютъ ни налѣйшихъ приспособленій, навыка, сноровки, средствъ, для созданія такихъ отелей, которые устранвяють, американцы

рые устраивають американцы. Предположимъ теперь, что вашъ прогресивный пріятель, неожиданно, какъ снегь на голову, является въ среду вашей безпонощной нищеты и, сострадая къ вашему бъдственному положенію, ръшается мало того, что помочь вамъ, а сразу возвысить васъ на высоту самаго блестащаго прогреса. Положимъ, что для этого онъ готовъ пожертвовать всемъ капиталомъ, накопившимся въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ отъ вашихъ избытковъ. Калиталъ этотъ такъ великъ, что, затративъ его, онъ можетъ разонъ завести въ вашенъ хозяйствъ всъ тъ улучшенія, которыя возникли-бы сами собою въ теченіе того времени, въ которое вы отдавали ему свои избытки. Прекрасно: онъ можетъ возвратить вамъ все, что онъ взяль у васъ, но какъ возвратить онь вамъ потерянное время, въ которое вы могли-бы умственно развиться до возможности пользоваться всёми предлагаемыми вамъ благами, а вы между темъ не развились, потому что этого времени не нивли? Какъ сразу поставить онъ васъ на ту высоту, чтобы вы могли не только пользоваться, но имъть хоть налъйшій толкъ въ томъ, чёмъ предлагаютъ вамъ пользоваться? Что толку, что вашъ пріятель окружить вась паровыми нашинами, когда вы не имъете ни малъйшаго понятія о нихъ, ни навыка владеть ими, да и самъ вашъ пріятель не лучше васъ знаеть, какъ съ ними обращаться, имъя одни отвлеченныя соображенія въ голов'є объ ихъ преимуществ'ь. Мы говорили выше, что по прошестви Х времени, у васъ иогъ быть выстроенъ дворецъ; положимъ, что и пріятель захочеть выстроить вань тоть-же дворець; но при этомъ надо взять въ соображение, что при естественномъ развитіи прогреса, этотъ дворецъ вамъ было-бы выстроить чрезвычайно легко, потому что вы, конечно, тогда только занялись-бы постройкою его, когда прогресъ успълъ-бы уже выработать въ вашемъ околоткъ кирпичные заводы и каменьщиковъ. Но въ настоящемъ случав ничего этого въ наличности не имъется, а имъетесь только вы съ развалившеюся избенкою и унаньемъ сколотить кое-какъ изъ бревенъ патріархальный щалашикъ. Да наконецъ, чтобы стали д'влать вы во вновь выстроенномъ дворц'в, когда у васъ нътъ ни навыка, ни потребности жить въ десяти огромныхъ комнатахъ, ни мебели, необходимой для этого; понятно, что вамъ покажется неуютно, нехозайственно, жутко въ пустыхъ огромныхъ сараяхъ, и вы предпочтете вашу развалившуюся избушку великолепному дворцу вашего пріятеля. Наконецъ, надо обратить внимание и на то обстоятельство, что какъ ни мизерна жизнь ваша, а въ ней успали уже образоваться свои привычки, приміненія, склонности, залоги будущаго естественнаго прогреса, если-бы предоставили ему свободное развитие. У васъ, напримъръ, развита страсть къ ичеловодству, или условія и встности склоняють вась къ воздёлыванію льна, винокуренію, леснымъ промысламъ. На этихъ производствахъ было-бы всего естественные вамъ прогресировать; между темъ пріятель ващъ вдругъ устраиваетъ ни съ того, ни съ сего для васъ огромный свеклосахарный заводъ, или склоняетъ васъ вступить въ иное коммерческое предпріятіе широкихъ разибровъ. Очень понятно, что вы откажетесь и отъ подобныхъ предложеній вашего пріятеля, такъ какъ они идуть противъ вашихъ склонностей, отвлекають васъ отъ привычнаго, любимаго труда къ чуждому и незнакомому вамъ, и къ которому вы вдобавокъ не имъете ни малъйшей подготовки. Что-же останется дёлать вашему пріятелю? Или идти по пути Угрюмъ-Бурчеева, то-есть силою устроивать вашъ бытъ по своему усмотренію, перевернуть все кверху днокъ въ ващей жизни и въ концъ концовъ привести васъ къ окончательному разоренію и отвращению отъ подобнаго насильственнаго прогреса, или начать устраивать прогресъ на европейскій ладъ посредствомъ выписываемыхъ для этого нёмцевъ, махнувши на васъ рукою и заставивши васъ оплачивать эти затви, хотя вы и не принимали въ нихъ ни мальйшаго участія.

Но есть еще третій путь, повидимому самый разумный и естественный: вашъ пріятель можеть вийсто того, чтобы пытаться сразу поставить васъ на вершину европейскаго прогреса, дёлать это исподволь и постепенно, приглядеться къ вашей жизни, принять въ соображение условія вашего быта, ваши склонности и привычки, и начать делать улучшенія въ вашей жизни съ мелочей, хоть съ того, напримъръ, что покрыть тесоиъ ваши избы, развалившіяся возобновить, уведичить количество вашего скота и пр. Но и этотъ путь не замедлить оказаться столь-же искусственнымъ, ложнымъ, а потому и ни къ чему не приводящимъ. Неизмъримая разница существуетъ между тъиъ, улучшаете-ли вы свой быть сами, самостоятельно, избытками вашего труда, или какой-нибудь близкій ванъ человъкъ, считая васъ въчно несовершеннолътнимъ, принимаетъ на себя заботу объ улучшения вашей участи. Только при самостоятельномъ улучшении своего быта возножно развитие той мужественной энерги, которая составляеть необходимое условіе всякаго прогреса. Между темъ всякая посторонняя опека, привычка видеть надъ собою щедрую руку, которая все для тебя сделаеть, что ни пожелаешь, все въ твоемъ хозяйствъ сейчасъ-же исправитъ, приведетъ въ порядокъ и заштопаетъ каждую прореку --- все это прямо ведетъ къ апатіи, застою и деморализаціи. При такихъ условіяхъ нечего и думать о прогресь. Это смерть и растлѣніе.

Но что-же тогда дѣлать вашему пріятелю? Отвѣтъ на этотъ вопросъ весьма простъ и незамысловатъ. Вы котите, чтобы окружающіе васъ люди были счастливы: предоставьте-же ихъ самивъ себѣ, ничего имъ даромъ не давайте, но ничего отъ нихъ и не берите даромъ, и они сами съумѣютъ устроить свою судьбу, на томъ простомъ основаніи, что и рыба ищетъ тдѣ глуоже. Вы хотите, чтобы люди развивальсь,—не торопитесьже принимать на себя роли ихъ развивателей, развѣ они сами обратятся къ вамъ. Европа не дувала о развиті Россіи, русскіе сами пошли учиться у Европы,—въ то время какъ всѣ цивилизаторскія стремлены дветріи въ славянскихъ земляхъ возбуждаютъ въ славянахъ только оппозицію народныхъ инстинктовъ, препятствующихъ естественному теченію прогреса.

Вотъ до этой-то простой истины и не могутъ ни-

какъ додуматься герои гр. Толстого. Они постоянно мечтаютъ о томъ, какъ-бы разсёнть вокругъ себя всевояможный прогресъ, не замёчая того, что сами они продолжаютъ стоять на такой почеѣ, которая обусловиваетъ собою полную невозможность прогреса, допуская одинъ призракъ его, очень часто весьма ослъщительный для глазъ, но все-таки пустой и холодный!

Такимъ героемъ является, между прочимъ, Нехлюдовъ въ повъсти "Утро помъщика". Здъсь вы встръчаетсь не съ лѣнью, апатіей, изнѣженностью и прочиме обломовскими качествами, присущими нашей интеллигенцік. Напротивъ того, передъ вами та молодая, пылкая энергія, какую только возможно бываетъ встрѣтить въ 19-лѣтнемъ юношѣ, къ тому еще студентѣ. Не кончивъ еще курса въ университетъ, проведя лѣто въ деревнъ, Нехлюдовъ до такой степени увлекся мыслью о устроеніи быта крестьянъ, что рѣшился тотчасъ-же оставить университетъ, столицу, прекратить всѣ прежнія связи, и всю жизнь посвятить

благу принадлежащихъ ему мужиковъ.

«Онъ видель передъ собою, —читаемъ мы въ повъсти, —огромное ноприще для цёлой жизни, которую онъ посвятить на добро и въ которой слёдовательно будетъ счастливъ. Ему не надо искать сферы дѣятельности; она готова: у него есть прямая обланность—у него есть крестьяне... И какой отрадний и благодарный трудъ представляется ему — «дѣйствовать на этотъ простой, воспріимчивый, ненспорченный классть народа, избавить его отъ бѣдности, дать довольство, передать имъ образованіе, которымъ по счастью и пользуюсь, исправить ихъ пороки, порожденные невѣжествомъ и суевѣріемъ, пороки, порожденные невѣжествомъ и суевѣріемъ, давить ихъ нравственность, заставить полюбить добро... Какая бъестящая, счастливая будущность! И за все это и, который буду дѣлать это для соб ственнаго счастія, а буду наслаждаться благодарностью ихъ, буду видѣть, какъ съ каждымъ днемъ я дальше и дальше иду къ предположенной цѣли. Чудная будущность! Какъ могъ я прежде не видѣть этото?»

«И кромѣ этого, въ то-же время думаль онъ: кто мнъ мъщаеть самому быть счастливымъ въ любви къ женщинъ, въ счастъъ семейной жизни? И юное воображеніе рисовало ему еще болье обворожительную будущность. «Я и жена, которую я люблю такъ, какъ никто, никогда, никого не любилъ на свътъ, мы всегда живемъ ереди этой спокойной, поэтической деревенской природы, съ дётьми, можеть быть съ старухой теткой; у насъ есть наша взаим-ная любовь, любовь къ дътямъ, и мы оба знаемъ, что наше назначение добро. Мы помогаемъ другъ другу идти къ этой цели. Я делаю общія распоряженія, даю общія, справедливыя пособія, завожу фермы, сберегательныя кассы, мастерскія; а она, съ своей хорошенькой гоховкой, въ простомъ, бёломъ платьв, поднимая его надъ стройной ножкой, идеть по грязи въ кресть некую школу, въ лазареть, къ несчастному мужику, по справедливости, незаслуживающему помощи, и вездъ утъщаеть, помогаеть... Дъти, старики, бабы обожають ее и смотрять на нее, какъ на какого-то ангела, на Провидение. Потомъ она возвращается и скрываеть отъ меня, что ходила къ несчастному мужику и дала ему денегъ, но я все знаю и кръпко обнимаю ее, и кръпко и нѣжно цѣлую ея прелестные глаза, стыдливо-краснъющія щеки и улыбающіяся румяныя губы»...

Исполненный подобных воных грезв, Нехлюдовь, оставшись въ деревит, энергически принялся за хозяйство, составилъ правила дъйствий, всю жизнь и занятія свои распредъливъ по часамъ, днямъ и мъсяцамъ, причемъ воскресенья были у него назначены для

пріема посётителей, дворовыхъ и мужиковъ, для обхода хозяйства бёдныхъ крестьянъ и для поданія имъ помощи съ согласія міра, который собирался вечеромъ каждое воскресенье и долженъ былъ рѣшать, кому и какую помощь нужно было оказывать. Въ-такихъ занятіяхъ прошло болёе года, и этого года было вполнѣ достаточно, чтобы разочаровать Нехлюдова во всей дёнтельности, во всёхъ его замыслахъ и мечтахъ.

Въ своихъ отношениях къ мужикамъ онъ постоянно встръчалъ два рода явленій: исполненный недовърія отпоръ противъ всёхъ его плановъ и предложеній
относительно тъхъ или другихъ мъръ къ улучшенію
быта мужиковъ. Это былъ отпоръ жизни, желавшей
устроиться, худо-ли, хорошо-ли, но по своему и течь
по тъмъ русламъ, какія удалось уже ей самой проложить, а не по направленіямъ, измышленнымъ праздною фантазіею барина. А гдѣ онъ не встръчалъ такого отпора, тамъ онъ находилъ полную деморализацію,
нагло въ глаза издъвавшуюся надъ нимъ и дѣлавшуюся тъмъ распущеннъе и нахальнъе, чъмъ болъе
онъ прилагалъ заботъ объ ея исправленіи. Въ представленномъ въ повъсти воскресномъ утръ Нехлюдова,
мы встръчаемъ нѣсколько явленій того и другаго рода.

Такъ, между прочинъ, Нехлюдовъ на своей новой ферив построилъ нъсколько герардовскихъ каменныхъ избъ, думая церевести туда лучшихъ своихъ крестьянъ. Вотъ онъ приходатъ на дворъ къ крестьянину Чурисенку съ предложениемъ подобнаго переселения. Печальное зрѣлище крайней нищеты встръчаеть онъ во дворъ Чурисенка. Изба, клъти, амбары — представляютъ развалины, готовыя еженинутно рухнуть. И нежду темъ этогъ Чурисенокъ ни разу не обратился къ нему съ просьбою о помощи, тогда какъ Нехлюдовъ никогда не отказывалъ мужикамъ и только того добивался, чтобы всё прямо приходили къ нему за своими нуждами. Нехлюдовъ почувствовалъ досаду, боль и даже нъкоторое озлобление на мужика за такое невниманіе со стороны последняго къ его гуманности. Здёсь подъ гуманностью выступаеть порядочная доля безчеловъчнаго высокомърія: Нехлюдовъ не могъ поставить себя на исста мужика и не понималь, что если онъ въ себъ, въ своемъ родственникъ или другъ цъниль гордость, не любящую обязываться, просить, кланяться, то темъ более онъ долженъ быль-бы опенить такія качества въ крестьянинъ. Несмотря на всю гуманность, логика его продолжала въ этомъ отношенін двоиться, и то самое, что уважаль онъ въ лицахъ своей среды, не нравилось ему въ нужикахъ. Мы видъли выше, что при мысли о мужикахъ онъ не иначе представляль ихъ себъ, какъ умиляющимися при видѣ его благодѣяній и возсылающими къ нему горячія благодаренія. Понятно, не могъ онъ оценить п следующихъ простыхъ, но исполненныхъ глубокаго человъческаго достоинства словъ Чурисенка:

— Не все-же на барскій дворь ходить! Коли нашему брату повадку дать къ вашему сіятельству за всикимъ добромъ на барскій дворъ кланяться, какіе мы крестьяне будемъ?

Не обративши вниманія на эти слова и не желая понять, что передъ нимъ стоитъ человъкъ, вовсе не желающій принимать отъ него какихъ-либо благодъяній, Нехлюдовъ приступиль таки къ Чурисенку съ предложениеть переселиться въ герардовскую избу, и

встретиль еще более решительный отпоръ.

«Нехлюдовъ сталь-было доказывать мужику,-читаемъ мы въ повъсти, --что переселение, напротивъ очень выгодно для него, что плетни и сараи тамъ построятъ, что вода тамъ хорошая, и т. д., но глупое молчание Чуриса смущало его, и онъ почему-то чувствоваль, что говорить не такъ, какъ бы следовало. Чурисенокъ не возражалъ ему; но когда баринъ замолчать, онъ, слегка ульбирешись, замътилъ, что лучше-бы всего было поселить на этомъ хутор'в стариковъ дворовихъ и Алешу-дурачка, что-бы они тамъ хавбъ караулили.

Воть бы важно-то было! замѣтиль онь, и снова усмѣхнулся.-Пустое это дѣло, ваше сіятельство! Ла что-жь что мъсто нежилое? терпъливо настанваль Нехлюдовъ: въдь и здъсь когда-то мъсто было нежилое, а воть живуть-же люди; и тамъ, воть: ты только первый поселись съ легкой руки ...

Ты непремѣнно поселись.

- И, батюшка, ваше сіятельство, какъ можно сличить! съ живостью отвъчаль Чурись, какъ буд-то испугавшись, чтобы баринъ не приняль окончательнаго решенія: - здёсь на міру место, место веселое, обычное: и дорога, и прудъ тебъ, бълье чтоли бабъ стирать, скотину-ли поить-и все наше ваведеніе мужицкое, туть искони-заводенное, и гум-но, и огородники, и ветлы,—воть, что мои родители садили; и дъдъ, и батюшка наши здъсь Богу душу отдали, и миъ только-бы въкъ тутъ свой кончить, ваше сіятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправить - много довольны вашей милостью останемся; а нъть, такъ и въ старенькой свой въкъ какъ нибудь доживемъ. Заставь въкъ Бога молить, продолжаль онъ, низко кланяясь: - не сгоняй ты насъ съ гивада нашего, батюшка!..

Что было дёлать Нехлюдову послё подобныхъ доводовъ, какъ не ретироваться въ крайнемъ смущения и не ограничиться после всёхъ своихъ широкихъ занысловъ создать счастіе Чурисенка-скромною и рутинною подачкою ему нъсколькихъ десятковъ рублей на корову, — да и тъ Чурисенокъ принялъ безъ всякой особенной благодарности и неохотно.

Еще большій отноръ встрётиль Нехлюдовъ и во дворъ крестьянина Дутлова. Дутловъ былъ мужикъ, окруженный многочисленнымъ семействомъ, достаточный, у котораго не только все хозяйство находилось въ полной исправности, но были припрятаны и деньги въ кубышкъ. Нехлюдовъ явился къ нему съ предложеніемъ, чтобы онъ наняль у него земли десятинъ 30 и кроив того купиль вивств съ нимъ лесъ.

Но и здёсь жизнь стремилась устроиться по своему, а не по замысламъ Нехлюдова. Еще Нехлюдовъ не успълъ заикнуться о своемъ предложении, какъ старикъ Дутловъ обратился къ нему съ просьбою, чтобы онъ отпустиль его сыновей по оброку въ извозъ.

Мало-ли чёмъ другимъ вы-бы могли заняться дома: и землей, и лугами... возражаль Нехлюдовь. — Какъ можно, ваше сіятельство! подхватиль Ильюшка съ одушевленіемъ:-ужь мы съ этимъ родились, всё эти порядки намъ извёстные, способное для насъ дъло, самое любезное дъло, ваше сіятельство, какъ нашему брату съ рядой ъздить.

Когда же наконецъ Нехлюдовъ заикнулся о своихъ намереніяхъ, онъ встретиль такое крайнее и, хотя и обидное, но справедливое недовъріе со стороны старика, что ему осталось только проклинать ту минуту, въ которую ему вздумалось идти къ старику со свонии предложеніями.

- Что жь, батюшка Митрій Миколаевичь, какъ насчеть ребять-то прикажете? сказаль старикь.

Да н-бы тебѣ совѣтовалъ вовсе не отпускать ихь, а найтя эджь имь работу, вдругь, собравшись съ духомь, выговориль Нехлюдовь. — Я, знаешь, что тебь придумаль: купи ты со мною пополамъ рощу

въ казенномъ льсу, да еще землю... — Какъ-же, ваше сіятельство, на какія-же день-

ги покупать будемъ? перебиль онъ барина.

Да въдь небольшую рощу, рублей въ двъсти, замътиль Нехлюдовъ.

Старикъ сердито усмъхнулся. — Хорошо, кабы были, отчего-бы не купить, ска-Развѣ у тебя этихъ денегь нѣтъ? съ упрекомъ

сказаль баринь.

 Охъ, батюшка ваше сіятельство! отвѣчалъ съ грустью въ голосъ старикъ, оглядываясь въ двери: только-бы семью прокормить, а ужь намъ не рощи

- Да въдь есть у тебя деньги, что-жь имъ ле-

жать? настаиваль Нехлюдовъ.

Старикъ вдругъ пришелъ въ сильное волненіе; глаза его засверкали, плечи стало подергивать.

- Може злые люди про меня сказали, заговориль онь дрожащимь голосомь:- такъ върьте Богу, говориль онь, одушевляясь все болье и болье и обращая глаза къ иконъ:--что вотъ, лопни мои глаза, провались я на семъ мѣстѣ, коли у меня что есть окромф пятнадцати целковыхъ, что Ильюшка привезъ, и то подушныя платить надо-вы сами изволите знать: избу поставили...

Ну, хорошо, хорошо! сказаль баринь, вставан

сь лавки.-Прощайте, хозяева.

Встрвчая подобные отпоры во всемъ, что было лучшаго въ деревић, рядомъ съ этимъ Нехлюдовъ находилъ и такихъ крестьянъ, которые обращались къ нену съ просъбани, кланялись, изъявляли благодарности, о чемъ баринъ мечталъ некогда съ такимъ упоеніемъ, но за то въ этихъ крестьянахъ его поражали такая апатія, лень, такое отсутствіе малейшаго чувства человъческаго достоинства, такая полная деморализація, что онъ терялся и приходиль къ сознанію, что ему только и остается, что или махнуть на все рукою, или принять крутыя, насильственныя мёры. Все это въ концѣ концовъ совершенно обезкуражило его и разс'вяло, какъ дынъ, всв его грезы.

«Гдь-же мои мечты?» думаль теперь юноша, послѣ своихъ посѣщеній подходи къ дому: «воть ужь больше года, что я ищу счастія на этой дорогь, и что-жъ я нашель? Правда, иногда и чувствую, что могу быть довольнымъ собой; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нъть, я просто недоволенъ собой! Я недоволенъ потому, что я здъсь не знаю счастія, а желаю, страстно желаю счастія. Я, не испытавъ наслажденій, уже отрізаль оть себя все, что даеть ихъ. Зачъмъ? за что? Кому отъ этого стало легко? Правду писала тетка, что легче самому найти счастіє, чёмъ дать его другимъ. Раз-вѣ богаче стали мои мужики? образовались или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не лучше, а мит съ каждымъ днемъ становится тяжеле. Еслибъ я видълъ успъхъ въ своемъ предпріятін, еслибъ я видёль благодарность... но нёть, я вижу ложную рутину, порокъ, недовъріе, безпомощность! Я даромъ трачу лучшіе годы жизни», подумаль онъ, и ему почему-то вспомнилось, что сосъди, какъ онъ слышалъ отъ няни, называли его недорослемъ; что денегъ у него въ конторт ничего уже не оставалось, что выдуманная имъ новая молотильная машина, къ общему смѣху мужиковъ, только свистъла и ничего не молотила, когда ее въ первый разъ, при многочисленной публикъ, пустили въ ходъ въ молотильномъ сараћ; что со дня на день надо было ожидать прівада земскаго суда для описи имънія, которое онъ просрочиль, увлекшись различными новыми хозяйственными предпріятіями. И вдругь такъ-же живо, какъ прежде, представилась ему деревенская прогулка по лъсу и мечта о помъщичьей жизни, такъ-же живо представилась ему его московская студенческая комнатвъ которой онъ поздно ночью сидить при одной свычкы съ своимы товарищемы и обожаемымъ шестнадцатилътнимъ другомъ. Они часовъ пять сряду читали и повторяли какія-то скучныя записки гражданскаго права, и, окончивъ ихъ, послали за ужиномъ, сложились на бутылку шампанскаго и разговорились о будущности, которан ожидаеть ихъ. Какъ совсемъ иначе представлялась будущность молодому студенту! Тогда будущность была полна наслажденій, разнообразной дъятельности, блеска, успъховъ и несомнънно вела ихъ обоихъ къ лучшему, какъ тогда казалось, благу въ міръ-

«Онъ уже идетъ и быстро идетъ по этой дорогъ», подумалъ Нехлюдовъ про своего друга: «а я»...

Но зачёмъ-же такъ долго останавливаться, спроситъ меня иной читатель, на повёсти, представляющей дёла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой? Неудачная дёятельность Нехлюдова принадлежить ко временамъ крёпостнаго права, есть явлене историческое, невозможное въ настоящее время при свободё крестьянъ, и подробное обсужденіе этой дёятельности не имъетъ никакихъ отношеній къ современнымъ вопросамъ.

Но въ томъ-то и состоитъ особенность поэтическихъ произведеній, отражающихъ въ себѣ характеристическія и существенныя явленія жизни, что значеніе ихъ не утрачивается съ нісколькими реформами, какъ бы ни были важны последнія, и они надолго сохраняють свою силу, служа маяками, освёщающими иногда ддинныя перспективы временъ. - Такъ, напримъръ, "Горе отъ ума", изображающая нравы московскаго общества 20-хъ годовъ, представляетъ въ себъ иногія черты жизни, встръчающіяся на каждомъ шагу и въ настоящее время, 60 летъ спустя. Деятельность Чичикова и прочихъ героевъ "Мертвыхъ Душъ" тоже сдёдалась невозможною со времени эмансипаціи, но это не мѣшаеть имъ существовать попрежнему въ русской жизни; они все остались те же самые, и изменились только формы проявленія ихъ качествъ. То же самое можно сказать и о Нехлюдовъ. Эмансипація не уничтожила подобныхъ героевъ, а только отняла у нихъ возможность действовать силою тамъ, гдв нельзя было ничего сдвлать добровольно. Такъ Нехлюдовъ могъ прежде, еслибы захотелъ, заставить Чурисенка переселиться въ герардовскую избу, а Дуглова — купить дёсъ; нынё онъ этого не въ состояніи сдёдать; но онъ остался тёмъ-же Нехлюдовымъ, и подобныхъ ему Нехлюдовыхъ вы можете встрётить на каждонъ шагу. Каждый наменькинъ сынокъ, читающій на досугь хорошія книжки и подъ вліяніемъ ихъ мечтающій посвятить всю жизнь народу, котораго онъ не знаетъ и на котораго онъ въ то же время привыкъ смотръть съ гордымъ пренебреженісмъ, есть Нехлюдовъ съ головы до ногъ; каждый практическій дізтель, видящій въ желізныхъ дорогахъ или сыровареніи панацею оть всёхъ народныхъ бъдствій, каждый ревнитель народнаго просвъщенія,

воображающій, что стоить завести нісколько школокь и выучить сотню сельскихъ дътей читать и писать, и образованіе широкою ріжою польется въ нассы народа; каждый газетный чиновникъ-публицисть, измышляющій подъ свнію канцеляріи передовыя статьи о народныхъ нуждахъ и потребностяхъ; каждый судебный ораторъ въ родъ выведеннаго Гл. Успенскимъ въ "Разоренін" Шанкина, сожалівющій, что половина слушателей не были въ университетъ и потому не могутъ его понимать, --- все это современныя воплощенія того же самаго Нехлюдова со всёми его особенностями: полною неспособностью встать въ мало-мальски человеческія отношенія съ народомъ и оказать ему хоть каплю истинной пользы, и въ то же время привычкою считать себя свытилами прогреса, воображать, что каждое слово, каждый жесть ихъ долженъ осчастливить тисячи и возбудить со всёхъ сторонъ чувства изумленія къ ихъ доблести и горячей благодарности. Повъсть гр. Толстого говоритъ всъмъ этимъ господамъ: Вы хотите быть полезными народу? Но для этого прежде всего перестаньте принимать на себя роль народныхъ опекуновъ и благодътелей, перестаньте смотръть на народъ, какъ на несовершеннолътнихъ дътей, которыя безъ вашихъ заботъ должны погибнуть. Знайте, что какъ ни жалка, ни бъдна жизнь народа, а все-таки это жизнь, и какъ всякая естественная жизнь подлежить своему самостоятельному развитію, требуя только тепла, воздуха, света и пищи иля того, чтобы разивасти во всемъ своемъ пвата... Заботьтесь-же только объ одномъ: чтобы доставить всё эти необходиныя условія для жизни и дать ей полный просторъ для развитія. Иначе вы будете представлять изъ себя садовника, который, поставивъ растеніе въ темнот'в и оборвавъ листья, будеть въ то же время унавоживать его землю и тщательно поливать ее, воображая, что у него что-нибудь выростеть изъ этого. Знайте, что въ такоиъ случав ваши двйствительно полезныя и вропріятія или будуть производить неожиданный вредъ, или-же будутъ отскакивать отъ народа, какъ отъ стѣны горохъ, чисто вследствіе той естественной оппозиціи, по которой ванъ саминъ часто въ большей степени нравится худшее свое, до чего вы дошли самостоятельно, чемъ дучиее, навязываемое со стороны, и притомъ людьми, къ которымъ вы не имъете особеннаго довърія.

V.

Въ повёсти "Утро помёщика" представляется, какъ мы видёли, первый шагъ въ жизни безхарактернаго героя. Здёсь герой является передъ нами исполненный молодыхъ надеждъ и энергіи, не знающей удержа; онъ нщеть опредѣленной цёли жизни, и спъшить испробовать свои силы въ какой-либо широкой и плодотворной дёятельности. Такъ всегда начинають подобные герои. Они не знаютъ мудраго пути начинать съ малаго и постепенно путемъ труда и борьбы доходить до великаго, — пути, по которому идутъ всё истинно-геніальные люди; нашимъ героямъ непремѣнено нужно или сразу все, или ничего. Примутся они за какое-пибудь дёло, и тотчасъ-же вообразить себя благодѣтелями если не всего человѣчества, то цёлаго

края — поэтому и дёло свое спёшать поставить на кодули, придать ему сразу грандіозные цёли и размёры. Но за то, какъ скоро возникаетъ ихъ очарованіе, такъ же скоро слъдуетъ и разочарованіе. Жизнь не замедлить показать имъ всю искусственность, отвлеченность и эфемерность ихъ замысловъ. Такъ иы видёли, что для Нехлюдова достаточно было года, чтобы убъдиться въ несостоятельности своей дъятельности. Но разъ сбитые съ своего пути, Нехлюдовы не ищуть уже ни новаго пути, ни возвращения на старый. Вся дальнёйшая жизнь представляется рядомъ безибльныхъ скитаній и сдучайныхъ порывовъ, смотря по тому, куда дуетъ вътеръ. Начиная день, они не могутъ отдать себъ хотя приблизительнаго отчета, что съ ними будетъ вечеромъ: можетъ быть женятся, можеть быть очутится на пути въ Америку, можемъ быть проиграють все свое состояние и пустять въ лобъ пулю. Одно только неизмённо преслёдуеть ихъ всю жизнь, составляя существенное ихъ отличіе--это постоянный разладъ убъжденій и дъятельности. Убъжденія ихъ попрежнему прекрасны, высоки, во всёхъ отношеніяхъ безукоризненны и, попрежнему, едва только пытаются они осуществить которое нибудь, на дёлё выходить какъ-то совершенно невольно, неотразимо, словно по какому-то фатуму, тяготъющему надъ ними, нъчто совершенно противоположное.

Повъсти "Люцернъ", "Альбертъ", "Казаки", "Маркеръ" представляютъ передъ нами рядъ подобныхъ скитаній и порывовъ безхарактернаго героя послё

своего неудачнаго перваго шага.

Въ новъсти "Люцернъ" мы встръчаемъ Нехлюдова. скитающагося по Европе въ качестве туриста. Остановившись въ Люцерив, онъ пошелъ вечеромъ гулять по набережной озера и заслушался панія уличнаго тирольца. Тиролецъ иёлъ такъ хорощо, что вокругъ него собралась толна, которая жадно внимала ему. Элегантные путешественники различныхъ націй стояли на улицъ и на балконахъ, притаивъ дыханіе. И каково-же было удивленіе Нехлюдова, когда по окончаніи пінія не только никто ничего не даль біздному пъвцу, но толна осивяла его, когда онъ обратился къ ней съ протянутою шляною. Нехлюдова тяжело поразила эта сцена, ему сдёлалось больно, горько, по собственнымъ его словамъ, стыдно за маленькаго человъка, за толну, за себя, какъ будто онъ санъ просилъ денегъ, ему ничего не дали и надъ нимъ смѣились... За симъ последовалъ цедый рядъ рефлексій о несообразности жизни вообще и въ особенности относительно настоящаго факта. Нехлюдовъ началъ задавать себѣ вопросы въ родѣ того, что отчего этотъ безчеловічный факть, невозможный ни въ какой деревні німецкой, французской или итальянской, возможенъ эдёсь, гда цивилизація, свобода и равенство доведены до высшей степени, гдф собираются путешествующіе, самые цивилизованные люди самыхъ цивилизованныхъ націй? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные въ общекъ на всякое честное, гуманное дело, не имѣютъ человѣческаго сердечнаго чувства на личное доброе дело? И какимъ образомъ въ Швейцаріи, въ свободной странв, республикв, могь существовать законъ, вследствіе котораго тиролецъ рисковаль быть посаженъ въ тюрьму за свое невинное удичное пъніе:

неужели это свободное то, что люди называютъ даже положештельно свободное государство, то, въ которомъ есть хоть одинъ гражданинъ, котораго сажаютъ въ тюрьму за то, что онъ, никому не вредя, никому не мѣшая, дѣлаетъ единственное, что можетъ, для того, чтобы не умереть съ голода?

Всё эти размышленія были прекрасны, пока оставались одинии размышленіями, но когда Нехлюдову вздумалось осуществить ихъ на практике, оказалось

нъчто совствъ неподходящее.

Нехлюдову захотелось отличиться, показать, что онъ вовсе не такой безчувственный и черствый человъкъ, какъ элегантные англичане и прочая толпа, осивявшая тирольца. Но какъ же онъ могъ выразить это отличіе? Простой здравый смыслъ скажетъ ванъ, что сдёлать это было очень просто: никто ничего пёвцу не далъ и его осиъяли, а Нехлюдову оставалось, не принимая участія въ этомъ смёхё, дать певцу денегъ, что последнему только и надо было. Темъ и ограничился бы всякій простой, безъискусственный человъкъ съ душою. Но Нехлюдову этого было недостаточно: онъ привыкъ каждый ничтожный поступокъ становить на ходули и возводить на степень необыкновеннаго геройства. Такъ и въ настоящемъ случав ему захотвлось устроить посредствомъ пвида демонстрацію безчувственной толп'є и въ особенности элегантнымъ англичанамъ, громко заявить передъ ними, что вотъ, молъ, какой передъ ними гуманный человъкъ, какое у него ръдкое сердце и какъ глубоко онъ усвоилъ идею равенства: стыдитесь, молъ, и поучайтесь, И вотъ онъ последоваль за итвиомъ, остановиль его, пригласиль выпить съ нимъ вина, повелъ его въ самую фешенебльную гостиницу, произвелъ танъ скандалъ, разругалъ швейцара и лакеевъ, какъ они смёли сидёть въ присутствіи его по той причинв, что онъ пьетъ вино съ человекомъ бедно одетымъ, тогда какъ предъ богатыми англичанами они не смѣди садиться; затёмъ потребовадъ, чтобы его ввели въ лучшую залу и тамъ присутствіемъ півца разогналь чопорныхъ англичанъ, собиравшихся ужинать. Въдный, робкій півецъ нградъ во всемъ этомъ самую жалкую роль не то жертвы, не то нассивнаго орудія героизма Неклюдова, глоталь виссть съ шампанскимъ, которымъ угощаль его разгичванный баринъ, горечь презрительныхъ подсмёнваній, которыми со всёхъ сторонъ его осыпали, и до чрезвычайности быль радъ, когда наконецъ удалось ему избавиться отъ непрошеннаго защитника его правъ и убраться поскоръй по добру, по здорову...

Все это, если хотите, имъетъ въ основани со стороны Нехлюдова рядъ побужденій, безукоризненно честныхъ и высокихъ. Но вдумайтесь поглубже въ его поступокъ, и вы найдете въ немъ безчеловъче, превышающее бездушіе чопорныхъ англичанъ и толны. Не дать денегъ уличному пъвцу, это вовсе еще не значитъ оскорбить его, а напротивъ того—унизить себя передъ нимъ. Осмъять его—въ этомъ, безспорно, видно желаніе унизить его человъческое достоинство. Но заставить прострадать часъ, другой, употребивъего жалкимъ, пассивнымъ орудіемъ для выказанія своето геройства и показанія бездушій ближнихъ,—въ этомъ уже не одно только униженіе человъческого

достоинства, а окончательное попраніе его, уничтоженіе личности. И послі этого Нехлюдовъ могъ кипятиться во имя идеи равенства на слугъ, которые сидъли предъ пъвцомъ, и на англичанъ, ушедшихъ изъ валы; какъ будто схватить съ улицы беднаго человъка, робъющаго передъ вами и несибющаго сопротивляться, привести его въ фешенебльную гостиницу на всеобщее посмѣяніе и великодушно напоить его лучшимъ шампанскимъ, такой поступокъ выше чёмънибудь отношенія слугь и англичань къ півцу и имъетъ въ себъ котя бледную тень равенства! И какой же вышель изъ всего этого толкъ? Были-ли хоть посрамлены лакеи и англичане и получили ли урокъ? Ничуть не бывало. Лакен остались лакеями, при убъжденін, что гостиница, въ которой они служать, перестанеть быть фешенебльною, если будуть допускаемы въ нее уличные птвцы, а англичане, надо полагать, удалились изъ залы не столько потому, что ихъ оскорбилъ видъ бёдно одётаго человёка, сколько съ мыслію, что, по всей вфроятности, русскій варваръ, привыкшій у себя дома забавляться съ шутами, вздумаль и заграницей потешиться темъ же, нзбравъ себъ шута въ уличномъ невце, а потому лучше уйти отъ возмутительной сцены. И действительно, поступокъ Нехлюдова по отношенію къ півцу напоминаетъ весьма потехи нашихъ прадедовъ, которые, не довольствуясь повседневными шутами, любили подъ веселый часъ посадить рядомъ съ собой за столъ оборванивищаго бъдняка изъ толпы и забавляться, при видё, какъ онъ смущается, пьетъ лучшее вино, не пивъ до сегодня ничего кромъ водки, и какъ присутствиемъ его возлъ хозяина скандализируются какія-нибудь чопорныя барыни.

Разсказъ "Альбертъ" представляетъ подобный же эпизодъ изъ жизни безхарактернаго героя. Герой этого разсказа, Делесовъ, принимаетъ на себя роль покровителя искусства. Встретивъ на петербургскомъ баликъ полусумасшедшаго, спившагося музыканта Альберта и увлекшись его игрою, онъ рашается взять его въ свой домъ, устроить его карьеру и возвратить свѣту погибающій таланть. При этомъ онъ, конечно, тотчасъ же становится въ позу благодътеля человъческаго рода и начинаеть гладить себя по головкъ: "право, я не совсёмъ дурной человёкъ; даже совсёмъ недурной человъкъ. Даже очень хорошій человъкъ, какъ сравню себя съ другими... Но, какъ все подобные благод тели челов вческаго рода, онъ смотритъ постоянно только на одну сторону своего дела: на величіе своей личности въ виду такого благороднаго дела; на личность же покровительствуемаго онъ не обращаетъ ровно никакого вниманія и ему не приходить и въ голову, что его великодушіе нисколько не разръщаетъ ему забывать уваженія къ человъческимъ правамъ ближняго, на какой бы крайней степени паденія ни находился этотъ ближній. Такъ онъ думаєть вылечить Альберта отъ пьянства и остепенить темъ, что запираетъ его въ своей квартиръ, велитъ человъку никуда его не выпускать и не давать ему ни капли вина. Такое крайнее насиліе доводить Альберта до овшенства и великодушный подвигъ Делесова кончается слёдующею сценою:

«Ночью Делесова разбудиль стукъ упавшаго сто-

ла въ передней и звукъ голосовъ и шопота. Онъ зажегъ свъчу и съ удивленіемъ сталь прислушиваться... Погодите, Дмитрію Ивановичу скажу, говориль Захаръ; голосъ Альберта бормоталъ что-то горячо и несвизно. Делесовъ вскочилъ и со свъчею выбъжалъ въ переднюю. Захаръ въ ночномъ костюмъ стоялъ противъ двери, Альбертъ въ шляпъ и альмавивъ отталкивалъ его отъ двери и слезливымъ голосомъ кричаль на него.

- Вы не можете не пустить меня. У меня паспорть, я ничего не унесь у вась. Можете обыскать

и. Я къ полиціймейстеру пойду.

— Позвольте, Дмитрій Ивановичь! обратился Захаръ къ барину, продолжая спиной защищать дверь. Они ночью встали, нашли ключь въ моемъ пальто и выпили цёлый графинъ сладкой водки. Это развё хорошо? А теперь уйти хотять. Вы не приказали, а потому я не могу пустить ихъ.

Альбертъ, увидавъ Делесова, еще горячье сталъ

приступать къ Захару.

Не можеть меня никто держать! не имбеть права! кричалъ онъ, все больше и больше возвышая голосъ. Отойди, Захаръ, сказалъ Делесовъ:-- я васъ держать не хочу и не могу, но я совътываль-бы вамъ остаться до завтра, обратился онъ къ Альберту.

Никто меня держать не можеть. Я къ полиціймейстеру пойду, все сильнье и сильные кричаль Альберть, обращаясь только къ Захару и не глядя на Делесова: — караулъ! вдругъ завопилъ онъ неистовымъ голосомъ.

- Да что-же вы кричите такъ-то? въдь вась не

держать, сказаль Захарь, отворяя дверь.

Альберть пересталь кричать. «Не удалось? Хотьли уморить меня, нътъ!»... бормоталь онъ про себя, надъвая галони. Не простившись и продолжая говорить что-то непонятное, онъ вышель въ дверь. Захаръ посвътиль ему до вороть и вернулся.

И слава Богу, Дмитрій Ивановичь! а то долголи до гръха, сказалъ онъ барину:--и теперь серебро

повърить надо...».

Въ повъсти "Казаки" представляется одна изъ дальнайшихъ фазъ жизни безхарактерныхъ героевъ. После целаго ряда всевозможныхъ несообразностей, въ роде вышеописанныхъ, расточивъ половину имущества, надълавъ долговъ, подобные герои въ одинъ прекрасный день вдругь приходять къ убъжденію, что вся окружающая ихъ жизнь и ихъ собственная искусствена, нелъпа, исполнена призрачности и джи, и что необходимо сразу разорвать съ нею и начать новую жизнь, простую, естественную на лонъ природы, въ средъ ен дътей непосредственно-наивныхъ, цъльныхъ и нерастленныхъ цивилизацією. Подобныя идиллическія стремленія, родоначальникомъ которыхъ считается, какъ извъстно, Руссо, присущи всемъ въкамъ, только въ каждый въкъ они находятъ различныя примѣненія. Такъ, въ 60-е годы, герои, ищущіе разрыва съ своею средою и новой жизни, удалялись въ кружки, такъ называемыхъ, новыхъ людей и мечтали вийсть съ ними о заведеніи земледьльческих волоній на новыхъ основаніяхъ въ какихъ-нибудь девственныхъ льсахь, вдали оть всякихь человыческихь обществъ. Въ 30-е же и 40-е года безхарактерные герои стремились обыкновенно на Кавказъ, гдв имъ грезилась новая жизнь въ видѣ Амалатъ-бековъ, черкешенокъ, горъ, обрывовъ, стращныхъ потоковъ и опасностей...

Въ повъсти "Казаки" и представляется намъ одинъ изъ такихъ россійскихъ Жанъ-Жаковъ-Руссо въ видъ Оленина, который въ сущности тотъ-же Нехлюдовъ и Делесовъ. Послъ цълаго ряда безплодныхъ порывовъ-светской жизни, службы, хозяйства, иувыки, которымъ, по словамъ гр. Толстого, онъ отдавался на столько лишь, на сколько они не связывали его, и отъ которыхъ спѣшилъ поскорѣе отдѣлываться, какъ только начиналъ чуять приближеніе труда и мелочной борьбы съ жизнію, — Оленинъ опредѣлился юнкеромъ въ кавказскую армію съ цѣлью начать но-

вмю жизне

«Убажая изъ Москви—читаемъ ми въ повъсти онъ находился въ самомъ счастливомъ настроевій дутха, когда, сознавъ прежнія опибъки, юноша вдругь скажеть себъ, что все это было не то,—что все прежнее было случайно и незначительно,—что онъ прежде не хотъ́лъ жить хорошенью,— но что теперь, съ выбядомъ его изъ Москвы, начинается новая жазнь, въ которой уже не будеть больше тъхъ ошибовъ, не будеть раскаянія, а навърное будеть одно счастіе».

Сообразно этимъ ныслямъ,-

«Чёмъ дальше уёзжаль Оленинъ отъ центра Россін, тыть дальше казались отъ него веё его воспоминанія, и чёмъ больше подъёзжаль къ Кавказу, тёмъ отраднёе становилось ему на душѣ. Уёхать собсёмъ и никогда не пріёзжать назадъ, не показываться въ общество, приходило ему иногда въ голору. «А эти люди, которыхъ я здѣсь вижу, — не моди; никто изъ нихъ меня не знаеть, и никто, никогда не можеть быть въ Москвё въ томъ обществъ, тра в быть, и узнать о моски прошедшемъ». И совершенно новое для него чувство свободи отъ всего прошедшаго охватывала его между этими грубыми существами, которыхъ онъ всербчаль по дорогѣ, и которыхъ не признаваль людьми наравнё съ своими московскими знакомыми. Чёмъ грубъе былъ народъ, чёмъ меньше было признаковъ цивилизаціи, тёмъ свободийе опъ чувствоваль себя».

Такъ мечталъ Оленинъ, и не подозрѣвалъ онъ, что все прошлое, отъ чего онъ такъ жадно желялъ отрѣшиться, онъ везетъ съ собою на Кавказъ, что оно сидитъ во всемъ его существѣ и, какъ фатумъ, будетъ преслѣдовать его до гробовой доски, что онъ носитъ на своемъ челѣ особенную печать проклятія, вслѣдствіе которой не знать ему мѣста на землѣ, гдѣ-бы онъ могъ пріютиться. Не зналъ онъ также и того, что въ средѣ людей простыхъ, безъискусственныхъ и цѣльныхъ, вся ложь его существа, вся его дрянность должны обозначиться съ особенною яркостью во всемъ ужасающемъ видѣ, какъ черныя пятна на бѣломъ

фонв.

Такъ и случилось. Явившись въ полкъ, Оленинъ первымъ деломъ всталъ въ ложныя и неестественныя отношенія къ товарищамъ. Врагъ всядаго труда, опъ, конечно, постарался изобегнуть служебной лямки, и это ему было очень легко сдёлать, такъ-какъ его, какъ богатаго юнкера, не посылали ни на ученье, ни на работы; товарищи считали его аристократомъ и потому держали себя въ отношени къ нему съ достоинствомъ, а онъ чуждался ихъ общества; онъ, вотъ видите, имѣлъ безсовнательное отвращение къ битымъ дорожкамъ и здёсь также не пошелъ по избитой колей жизни кавказскаго офицера.

Онъ началь вести вполий своеобразную жизнь въ казачьей станиць, въ которой поселился. Жители этой станицы были потомки раскольниковъ, въ отдаленных времена бѣжавшихъ отъ преслѣдованій на берега. Терека. Они сохранили вѣру и языкъ предковъ, но въ своихъ правахъ, понятіяхъ и обычалуъ слились съ абреками, съ которыми постоянно дрались, что не мѣ-

шало имъ въ то-же вреия скрещиваться съ врагами браками. - Это было племя въ одно и то-же время земледельческое и дико-воинственное, и при всей грубости нравовъ и понятій, въ этихъ людихъ проглядывала та мужественная отвага, та глубокія нравственныя начала, которыя вы можете встретить на какой угодно степени цивилизаціи въ каждой средѣ, жизнь которой основана на труде и борьбе, какой-бы ни было борьбъ: съ дикими племенами, съ стихіями природы или съ общественнымъ зломъ. Поселившись въ этой станиць, Оленинь проводиль всь дни въ охоть, въ беседахъ съ старынъ казакомъ Ерошкой, котораго онъ щедро поилъ чихиренъ, и въ созерцаніи окружающаго его быта, простота и естественность котораго приводила его въ восторгъ. Въ этомъ и заключалась такъ-называемая новая жизнь, въ сущности, какъ видите, столь-же праздная и пустая, какъ и старая, отъ которой Оленинъ воображалъ себя отрёшившимся. Оденинъ быдъ въ восхищении отъ этой жизни и во время своихъ скитаній по лісамъ предавался слідующимъ размышленіямъ:

«Отчего я счастливъ, и зачъмъ я жилъ прежде? раздумываль онъ: какъ я быль требователенъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сдълалъ себъ. кромф стыда и горя! А воть какъ миф янчего не нужно для счастія!» И вдругъ ему какъ будто открыдся новый свёть. «Счастіе воть что, сказаль онъ самъ себъ: счастіе въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человъка вложена потребность счастін; стало-быть она законна. Удовлетворня ее эгонстически, то-есть отыскивая для себя богатства, славу, удобства жизни, любви, можеть случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будеть удовлетворять этимъ желаніямъ. Слёдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастія незаконна. Какія-же желанія всегда могуть быть удовлетворены, несмотря на вившина условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!..». Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывь эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочиль, и въ нетерпънім сталь искать, для кого-бы ему поскорће пожертвовать собой, кому-бы едёлать добро, кого-бы любить. Въдь ничего для себя не нужно, все думалъ онъ: отчего-же не жить для другихъ?».

Вы видите, въкажемъ заколдованномъ кругъ вертится Оленинъ. Отъ какой-бы жизни онъ ни отръшился и къ какой быжизни ни пришелъ, онъ не въ состояни додуматься ни до какой другой нравственной теоріи, какъ только одной: отръшенія отъ своей личности въ пользу другихъ, но такого отръшенія, которое на практикъ ведетъ всегда наоборотъ-къ уничтожению личности ближняго ради возвышенія своей. Это своего рода нравственная лихорадка; подобно тому, какъ въ физической человѣкъ тѣиъ больше чувствуетъ холодъ, чтиъ больше горить его тало, такъ и здесь: чтиъ эгоистичнъе человъкъ, чъмъ болъе развиты въ немъ наклонность возвышаться, преобладать надъ личностями ближнихъ и жертвовать ими въ свою пользу, тъмъ болье такой человькъ имьеть всегда пристрастіе къ теоріямъ нравственныхъ самоотреченій и самопожертвованій. "Жить для блага другихъ!" Сколько въ этомъ до сей поры мерещится нравственнаго величія и какъ эта фраза заставляетъ биться сердце юноши! Придетъли время, когда вполнъ додумаются люди до того, сколько безчеловачия въ этой красивой фраза? Убыдятся-ли они когда-нибудь, что истинная нравственность заключается не въ томъ, чтобы жить для блага другихъ, унижая этихъ другихъ своими самопожертвованіями, а въ томъ, чтобы жить съ другими для общаго и взаимнаго блага?

Ложность такой теоріи не замедлила, конечно, обнаружиться, едва только Оленину удалось осуществить ее на практикъ. Онъ нанималъ квартиру у хорунжаго, у котораго была красавица дочка Маріана. Въ эту дъвушку быль влюбленъ удалой казакъ Лукашка. Но хорунжій быль богать, а Лукашка б'ёдень, у него не было еще и коня. Желая облагод тельствовать Лукашку и помочь ему жепиться на Маріанф, Оденинъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, подарилъ ему одного изъ своихъ коней. Конечно, въ этомъ не было еще большаго самоножертвованія для человіка, который имълъ у себя дома, въ имъніи, какъ онъ самъ хвастался Лукашкъ, до 100 головъ лошадей по 300 и 400 рублей каждая; но во всякомъ случай подобный поступокъ былъ до такой степени не въ нравахъ простыхъ обытателей станицы, что поставилъ ихъ въ крайнее, весьма естественное недоумание. И между темъ, какъ Оленинъ, какъ ребенокъ, восхищался своею радостью съ лакеемъ Ванюшею, разсказавъ ему не только, что онъ подарилъ Лукашкъ лошадь, но и зачъмъ подарилъ, и всю свою новую теорію счастія; Лукашка, до подарка коня бывшій весьма расположенъ къ Оленину, проникся рядомъ соображеній, весьма неожиданныхъ для последняго.

«Лукашка пошелъ одинъ на кардонъ и все раз-думывалъ о поступкъ Оленина. Хотя конь и нехорошь быль по его мивнію, однако стоиль по крайней мёрё сорокъ монетовъ, и Лукашка быль очень, очень радъ подарку. Но зачёмъ быль сдёланъ этотъ подарокъ, этого онъ не могъ понять, и потому не испытываль ни мальйшаго чувства благодарности. Напротивъ, въ головѣ его бродили темныя подозрѣнія въ дурныхъ умыслахъ юнкера. Въ чемъ состояли эти умыслы, онъ не могъ дать себъ отчета, но и допустить мысль, что такъ ни за что, по добротъ, незнакомый человекъ подарилъ ему лошадь въ сорокъ монетовъ, ему казалось невозможно. Какъ бы пьяный быль, тогда-бы еще понятно было, хотёль покуражиться. Но юнкеръ быль трезвъ, а потому хотвлъ подкупить его на какое нибудь дурное дёло. «Ну да врешы!» ду-маль Лукашка. «Конь-то у меня, а тамъ видно будеть. Я самъ малый не промахъ. Еще кто кого проведеть! Посмотримъ!» думаль онь, испытывая потребность быть на сторож противъ Оленина, и потому не разсказываль, какъ ему достался конь. Однимъ говорить, что купиль; отъ другихъ отдёлывался уклончивымъ отвётомъ. Однако въ станицё скоро узнали правду. Мать Лукашки, Маріана, Илья Васильевичь и другіе казаки, узнавшіе о безпричинномъ подаркъ Оленина, пришли въ недоумъне и стали опасаться юнкера. Несмотри на такія опасенія, поступовъ этотъ возбудиль въ нихъ большое уваженіе въ простоть и богатству Оленина.

 Слышь, Лукашьт коня въ пятьдееятъ монетовъ бросиль юнкирь-то, что у Ильи Васильича етоитъ, говорилъ одинъ.

— Слыхаль, отвъчаль другой глубокомысленно: должно услужиль ему. Поглядинь, поглядинь, что

изъ него будеть. Эко дьяволу счастье.
— Экой народъ продувной изъ юнкирей, бъда!
говориль третій—камъ разъ подожжеть или что».

Такимъ образомъ, вмъсто ожидаемаго поклоненія его геройской доброть, Оленинъ поступкомъ своимъ возбудидъ въ станицъ недоброжелательство и подоврительность въ отнощеніи къ себъ и сразу встадъ въ

ложныя и неестественныя отношенія къ окружающимъ его дюлямъ.

И что же! въ концё концовъ оказалось, что Лукашка быль правъ въ своихъ предчувствіяхъ чего-то недобраго отъ Оленина: дальнъйшее поведеніе последняго оправдало недоброжелательство къ нему Лукашки.

Оленинъ подарилъ Лукашкъ коня съ целью способствовать ему этимъ въ женитьбе на Маріане. Но мало-по-малу онъ самъ влюбился въ Маріану. Сначала онъ долго упорствовалъ въ своемъ самоотверженін, стараясь подавить въ себе дюбовь нъ Маріань, въ пользу Лукашки, но когда случай позволилъ ему сблизиться съ Маріаною, страсть его дошла до такого разгара, что забыто было все, и Лукашка, и самоотверженіе, —и Оленинъ былъ готовъ приписаться въ казаки и жениться на Маріанъ. Молодая дъвушка въ сознаніи своей молодости и красоты кокетничала съ Оденинымъ. Весьма естественно, онъ возбудилъ ея женское дюбопытство своеобразностью своей жизни, въчною задумчивостью и отчужденностью отъ всёхъ. Кроме того, безъ сомнения, ее предъстили слухи о его несметныхъ богатствахъ и шедростиэто быль соблазнь, показывающій, что герон, подобные Оленину, распространяють яль своего собственнаго растявнія и на другихъ людей, съ которыми они вступають въ сношенія. Но недолго прододжалось это заблужденіе. Когда Лукашка былъ смертельно раненъ въ сшибкъ съ абреками, ея любовь къ нему вдругъ воскресла въ ней съ прежнею силою; вивств съ темъ къ Оленину она почувствовала крайнее нравственное омерзение и его ухаживание за нею окончидось следующею сценою:

— Маріана, сказаль онъ:—а Маріана! можно войти къ тебѣ?

Вдругъ она обернулась. На глазахъ ся были чуть замътным слезы. На лицъ была красивая печаль. Она посмотръла молча и величаво.

— Оставь, сказада она. Лицо ен не измѣнилось,

но слезы полились у ней изъ глазъ.
 — О чемъ ты? Что ты?

— Что? повторила она грубымъ и жестокимъ голосомъ.—Казаковъ перебили, вотъ что.

— Лукашку? сказаль Оленинъ.

Уйди, чего тебѣ надо?
 Маріана! сказалъ Оденинъ, подходя къ ней.
 Никогда ничего тебѣ отъ меня не будетъ.

— Маріана, не говори, умолилъ Оленинъ.

Уйди, постылый! врикнула дъвка, топнула ногой и угрожающе педвинулась къ нему. И такое
отвращене, и презръне, и злоба выразились на
липъ ея, что Оленинъ вдругъ понялъ, что ему нечего надъяться; что онъ прежде думалъ о неприступности этой женщины, была несомиъннам правда.

Оленинъ ничего не сказалъ ей и выбъжалъ нас каты. Послѣ этого ему оставалось одно: идти своей натуральной доргой, т.-е. опредъниться въ штабъ, что онъ и сдѣхалъ. «Не простившись ни съ къмъ и черезъ Ванюшку расплатившись съ хозяевамъ, онъ собрален-ъкать въ кръпость, гдѣ стоялъ полкъ, читаемъ мы въ повѣсти. Одинъ дядя Ерошка провожалъ его.. Они випили, и еще выпили. Такъ же, какъ во время его проводовъ изъ Москвы, ямская тройка стоила у подъѣзда. Но Оленинъ уже не считалсы, какъ тогда, самъ съ собою и не говориль себъ, что все что онъ думалъ и дѣлалъ здѣсь, бъло не то. Онъ уже не объщалъ себъ новой жизни. Онъ клюбилъ Маріанку больще чѣмъ прежде, и зналъ теперь, что никогда не можетъ бятъ кобимимъ еко»:

"Записки Маркера" представляють последнія нравственныя судороги безхарактернаго человъка после целаго ряда всевозможных пертурбацій. Разочарованный во всехъ своихъ величавыхъ порывахъ, во всехъ своихъ надеждахъ на обновление жизни, на счастіе, потерявшій уваженіе и ко всей своей средь, и къ самому себь, убъдившійся, что жизнь, окружающая его, и самъ онъ представляютъ рядъ лжи и несообразностей, и въ то же время съ презръніемъ отвергнутый всёмъ, что не носить на себ'в печати этого страшнаго растленія, — Нехлюдовъ дошель до той страшной сердечной пустоты, въ которой человъкъ ничего уже не ищетъ въ жизни, какъ только минутныхъ наслажденій, чтобы уйти отъ себя, забыться. Въ такомъ состояни онъ сходится съ весьма сомнительнаго вида завсегдатаями какого-то сомнительнаго трактирчика, втягивается въ игру, проигрываетъ последніе остатки своего состоянія и наконецъ пускаеть себь въ лобъ пулю, оставивъ посль себя письмо, въ которомъ читаемъ мы следующаго рода ужасающія признанія:

«Богь даль мнв все, чего можеть желать человъкъ: богатство, имя, умъ, благородныя стремленія. Я хотель наслаждаться и затопталь въ грязь все, что было во мив хорошаго.

«Я не обезчещенъ, не несчастенъ, не сдълаль ни-какого преступленія; но я сдълаль хуже: я убиль

свои чувства, свой умъ, свою молодость.

«Я опутанъ грязной сътью, изъ которой не могу выпутаться и къ которой не могу привыкнуть. Я безпрерывно падаю, падаю, чувствую свое паденіе и не могу остановиться...

«И что погубило меня? Была-ли во мив какая нибудь сильная страсть, которая бы извинила меня?

«Хороши мои воспоминанія!

«Одна ужасная минута забвенія, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидёль, какая неизмёримая про-пасть отдёлала меня отъ того, чёмъ я хотёль и могь быть. Въ моемъ воображеніи возникли надежды, мечты и думы моей юности.

«Гдё тё свётлыя мысли о жизни, о вёчности, о Богь, которыя съ такою ясностію и силой наполняли мою душу? Гдв безпредметная сила любви, отрадной теплотой согрѣвавшая мое сердце? Гдѣ надежда на развитіе, сочувствіе ко всему прекрасному,

любовь къ роднымъ, къ ближнимъ, къ труду, къ славъ? Гдъ понятіе обязанности!

«- А какъ бы я могъ быть хорошъ и счастливъ, ежели бы я шель по той дорогь, которую, вступая въ жизнь, открыль мой свёжій умъ и дётское, истинное чувство! Не разъ пробоваль я выйти изъ колен, по которой шла моя жизнь, на эту свётлую дорогу. Я говориль себь: употреблю все, что есть у меня воли, и не могь. Когда я оставался одинь, мив становилось неловко и стращно съ самимъ собою. Когда я быль съ другими, я забываль невольно евои убъяденія, не слыхаль болье внутренняго голоса и снова падалъ.

«Наконець я дошель до страшнаго убъжденія, что не могу подняться, пересталь думать объ этомъ и котъль забыться, безнадежное раскаяние еще сильнье тревожило меня. Тогда мнь въ первый разъ

пришла мысль о самоубійствь...»

Какое страшное сознаніе, и сколько въ то же время правдивости и честности въ немъ! Увы! прошли ть наивныя времена, когда безхарактерные люди, колотя руками въ грудь, всенародно казлись въ своей дрянности и несостоятельности. Добролюбовъ въ

своихъ статьяхъ не мало потешался надъ подобными самочниженіями, не зная, конечно, что будеть вперели. А впереди произошло то, что сарказмы его произвели свои д'яйствія, самоугрызенія вышли теперь изъ моды, унеся съ собою последній остатокъ правды, который вы могли добиться у безхарактернаго человъка нашей интеллигенціи. Нынв вы ни отъ кого ужь не услышите техъ откровенныхъ сознаній, какія были весьма нередки въ 40-ме и 50-ме годы; подобныя сознанія исчезли изъ самых сокровенных тайниковъ души современныхъ намъ безхарактерныхъ людей. Впрочемъ, надо признаться, что тутъ дъйствують не одни сарказны Добролюбова: много здёсь им вють вліянія духь и обстоятельства времени. Прежде всъ общественныя отношенія интеллигентнаго героя были замкнуты въ такомъ тесномъ круге и столь были нельшы и неестественны, что онъ не могъ, при всемъ своемъ желаніи, ни въ чемъ найти ни утъщенія, ни оправданія, и естественно, что въ честномъ сознаніи своей несостоятельности виділь единственную заслугу и право хоть на какое-нибудь уважение. Но нынѣ жизнь создала иножество такого рода дѣятельностей, въ которыхъ тотъ же самый герой, принося не болбе пользы, чемъ и прежде, можеть съ достоинствоиъ подвизаться на свободной, нейтральной почвъ, не приходя въ особенно роковыя столкновенія съ людьми не своей среды и оставаясь поэтому совершенно довольнымъ и собою и окружающею его жизнью. Онъ можеть сказать нёсколько рёчей, проникнутыхъ дъловымъ, практическимъ тономъ, въ земскомъ собраніи или на какомъ нибудь съёздё, засёданіи того или другаго общества, -- ръчей, которыя, можно надъяться, будутъ приняты въ соображение, хотя и останутся безъ последствій. Онъ можеть сделаться адвокатомъ, концессіонеромъ жельзной дороги, биржевымъ игрокомъ, разразиться цёлымъ рядомъ передовыхъ статей въ той или другой газетъ о пользъ развитія свеклосахарной промышленности или излишнемъ распространении пьянства въ какой-нибудь Пошехонской губерніи, можеть наконець заняться устройствомъ благородныхъ концертовъ съ благотворительною цёлію или суетиться и бёгать до упаду по случаю заведенія общества бережливости, въ техъ видахъ, чтобы люди, которымъ ничего не стоитъ проиграть въ вечеръ 100 рублей въ карты, могли покупать хл56ь по $2^1/4$ коп5йки ви5сто $2^1/2$ и проч., проч. При такихъ условіяхъ безукоризненная слава нашего современнаго героя можетъ рости не по днямъ, а по часамъ, деньги сыпаться въ карианы горстями, а, что самое главное, время можеть быть занято до такой степени, что не останется ни минуты свободной для того, чтобы отдать себъ отчетъ во всей свой дъятельности и предаться самоугрызеніямъ при сознаніи, что ны въ сущности тъ же Нехлюдовы, если не похуже еще. По этому всему и такой страшный исходъ, къ какому пришель Нехлюдовъ, сделался въ настоящее время почти невозможенъ.

Современные Нехлюдовы не въщають болье головы, а напротивъ того, чемъ ниже падають они нравственно, темъ выше ее задирають. Они не оплакивають уже своихъ юношескихъ мечтаній облагод тельствовать родъ человъческій, слиться съ народомъ и пр.

и пр., и только посменваются надъ ними съ практической точки эрвнія, какъ надъ ребяческими мечтами. Предаваясь оргіямъ и разврату, они делають это не съ темъ, чтобы забыться, уйти отъ своихъ разъедающихъ думъ; нѣтъ, они просто развлекаются въ часы досуга, и эти развлеченія въ свою очередь не могутъ привести ихъ къ исходу Нехлюдова, потому что последній забывался, проживая свое наследіе, а они развлекаются, срывая въ то же время новые и новые купін. Разв'я иной въ разгар'я своихъ развлеченій зарвется до того, что залъзетъ въ земскій или казенный сундукъ, да и то при этомъ несчастномъ случав только развѣ одинъ изъ десяти окончитъ нехлюдовскою смертію, девять же предпочтуть убраться за границу. Однимъ словомъ, въкъ лишнихъ людей прошель, лишніе люди см'єнились людьми нужными, какъ справедливо замътилъ недавно одинъ изъ нашихъ публицистовъ, но, прибавимъ мы къ этому справедливому замѣчанію, нужные люди остаются въ сущности попрежнему лишними, и нехлюдовщина продолжаетъ разъёдать нашу жизнь.

Всв разобранныя нами произведенія гр. Толстого достаточно знакомять насъ съ характеромъ его поэтическаго творчества. Творчество это представляется намъ реальнымъ въ истинномъ и высшемъ смыслё этого слова. Главный, отличительный признакъ этой реальности-полное отсутствие всякой идеализации, преувеличенія, вымысла. — Произведенія гр. Толстого отражають, какъ чистое и върное зеркало, людей въ ихъ натуральный ростъ, такими, каковы они представляются намъ въ дъйствительности, со всеми ихъ недостатками и слабостями. - Разобравши цёлый рядъ повъстей, мы не встретили ни одного типа, который не быль бы всецёло взять изъ жизни, въ которомъ мы не видели бы обыкновенныхъ людей, ежедневно встречающихся въ жизни; въ то же время мы не нащди ни одного такого характера, который представляль бы искусственное воплощение различныхъ идеальныхъ качествъ, и о которомъ можно было бы сказать, что хорошо было бы встрётить въ жизни такого господина или такую госпожу, но что навърное никогда ихъ не встретишь, потому что художникъ ихъ выдумаль, а не взяль изъ действительности. Далее затемь ны видимъ, что стоя на такой реальной почве, гр. Л. Толстой обращаетъ внимание не на первое, что только бросается ему на глаза; его поражаетъ постоянно одно изъ самыхъ характеристическихъ явленій нашего общества, --- именно крайняя искусственность, ходульность и призрачность жизни нашей интеллигентной среды; это явление и составляеть главное содержаніе большинства его произведеній. — При этомъ мы должны замѣтить, что подобное содержаніе не искусственно придумывается и проводится писателемъ, а составляетъ вполив естественный результатъ его изученія жизни и непроизвольно отражается во всёхъ его твореніяхъ, отчего они и производятъ такое сильное, неотразимое впечатленіе. Впечатленіе это еще болье усиливается тыть, что сопоставляя интеллигентную среду съ иными слоями общества, гр. Л. Толстой въ такой же мёрё чуждъ идеализаціи этихъ слоевъ, какъ чуждъ онъ идеализаціи интеллигентнаго слоя; напротивъ того мы видъли, что по

большей части онъ сопоставляеть своихъ безхарактерныхъ героевъ съ самыми повидимому невзрачными представителями иныхъзслоевъ общества, но въ тоже время какъ-то невольно, можетъ быть безъ въдома самого автора, эти невзрачные люди въ родъ комическаго нъща, гувернера Карла Ивановича (въ повъсти "Дътство"), убогато Чуриса, бездомнаго уличнаго пъвца-тирольца, воинственно-грубыхъ казаковъ и казачекъ-оставляють въ васъ боле тенлое и отрадное впечатленіе, чемъ все эти Нехлюдовы, Делесовы и Оленины со своими идеальными стремленіями и нравственнымъ убожествомъ. Ваше сердце какъ-то невольно отпыхаетъ на этихъ людяхъ; можетъ быть потому, что въ нихъ, при всемъ отсутствии вижиняго лоска образованности и свътскости, вы встръчаете неизмеримо более той простой, неносредственной и темь более высокой человечности, той цельности и невыставляющейся на показъ и на ходули силы, которыя вы тщетно будете искать въ элегантныхъ герояхъ съ ихъ принятыми напрокатъ гуманными идеями и мишурными доблестями.

То же самое вы встречаете и въ прочихъ повъстихъ гр. Толстаго, на которыхъ я не буду долго останавливаться, иначе статъя моя вышла-бы безконечна. Такъ въ повъсти "Три смерти" — рядомъ съ величественною смертью дерева, срубленнаго дровосъками, и не менте величественною смертно ямщика, поражающаго васъ тъмъ непритворно-прозанческимъ спокойствиемъ, съ которымъ встречаетъ онъ свой конецъ, Толстой представляетъ смерть молодой барыни, окруженной попеченіями родственниковъ и докторовъ и при самомъ послъднемъ издыханіи незабывающей капризничать, попрекать въ своей смерти мужа и риссоваться своимъ положеніемъ.

Подобныя-же параллели вы встретите на каждой страниць въ очеркахъ севастопольской и кавказской войны. Здёсь также, рядомъ съ напускною аффектацією мишурнаго героизма, подъ внашнею оболочкою котораго скрывается часто самая не героическая трусость, рядомъ съ тщеславнымъ хвастовствомъ, съ какимъ инимые герои разсказывають о своихъ небывалыхъ подвигахъ, искажая и преувеличивая дёла, въ которыхъ они участвовали, васъ поражаетъ простое, непритворно-спокойное и въ то же время серьезное отношение къ своему дълу нижнихъ чиновъ. Не напрашиваясь на героизмъ и не помышляя о немъ, последніе являются въ сущности передъ вами истинными героями: отъ нихъ зависитъ исходъ всякаго сраженія, они всегда находятся ближе къ сперти, ихъ болъе падаетъ, и въ то же время они спокойнъе самыхъ отчаянныхъ храбрецовъ встрфчаютъ смерть, и вмёсть съ тыпь имь не приходить и въ голову хвастаться и тщеславиться своимъ мужествомъ.

Очерки Севастопольской войны имѣють и другое важное достоинство: именно, что они представляють первое вполив реальное отношение искусства къ военнымъ дѣйствілить.—Въ очеркахъ этихъ военныя дѣйствіл впервые представляются во всей своей прозаичности, такъ, какъ они совершаются на самомъ дѣлѣ, разоблаченныя отъ того ореола бранвыхъ ужасовъ и героическихъ аффектацій, въ какомъ эти дѣйствія представляются въ разсказахъ хвастливыхъ очевид-

цевъ и въ произведеніяхъ художниковъ романтическаго періода нашей литературы. - Чтобы понять, какой громадный шать сделало въ этомъ отношеніи искусство, следуеть рядомъ съ очерками гр. Л. Толстого приномнить хотя-бы описание Полтавской битвы Пушкина или "Вородино" Лермонтова. У гр. Толстого вы не найдете и следа такихъ ужасающихъ батальныхъ картинъ, чтобы рука бойцовъ колоть устала и япрамъ продетать изшада гора кровавыхъ телъ. Читая очерки гр. Толстого или хотя-бы описание тогоже Бородинскаго сраженія въ "Войнѣ и мирѣ", вы сразу чувствуете всю ходульность и риторичность выщеупомянутыхъ картинъ Пушкина и Лермонтова, которыя и теперь еще принимаются многими за чистую монету и во всёхъ школахъ заучиваются и разбираются д'ятьми, какъ: образцы истинно-художественнаго воспроизведенія сраженій.

Въ этомъ отношени гр. Толстой имълъ полное право сказать въ концъ первыхъ своихъ очерковъ о севастопольской войнъ:

«Гдѣ выраженіе вла, котораго должно избытать? гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повъсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ уродини всѣ уграния

хороши и всв дурны...
«Герой-же моей повъсти, котораго я люблю всвми силами души, котораго старался воспроизвести по всей красотъ его и который всегда былъ есть и будеть прекрасенъ—правда».

VI.

Въ судьбъ гр. Д. Толстого есть много общаго съ судьбою Гоголя. Д'ятельность Гоголя, какъ всемъ извъстно, имъетъ два періода: въ первый періодъ онъ писалъ свои произведенія, не задаваясь никакими особенными замыслами: повинуясь своему непосредственному творчеству, онъ воспроизводилъ жизнь такъ, какъ она представлялась его художественному наблюденію, и несмотря на такую, повидимому, безцільность творчества, каждое произведение его этого періода исполнено глубокаго и важнаго содержанія, что зависьло ни отъ чего иного, какъ отъ громадной силы творческих в способностей Гоголя, умавшаго быстро схватывать общія и существенныя явленія жизни. Въ концѣ этого періода онъ началь писать "Мертвыя Души", имъя первоначально въ виду опять-таки ничего болье, какъ нъсколько картинъ изъ нравовъ русскаго заходустья. -- Но воть наступиль для Гогодя періодъ мистицизма; сообразно новому психическому настроенію, Гоголю недостаточно уже показалось прежняго непосредственнаго творчества.

Онт началъ стремитьси къ тому, чтобы каждый его шагъ въ жизни былъ исполненъ высшихъ цёлей, стремился къ осуществлению тъхъ мистическихъ идеаловъ, которые онть себё поставилъ; сообразно этому онъ сталъ задавать себё вопросы: къ чему я пишу? какая цёль всего этото осмъянія пошлости? Вся его литературная дъятельность показалась ему безцёльною, и онъ пачалъ ее искусственно направлять къ своимъ идеаламъ. — Мы знаемъ, какъ это отразилось на "Мертвыхъ Душахъ". Въ первой части "Мертвыхъ Душахъ". Въ первой части "Мертвыхъ Душахъ" въ вътемъ того-же Гоголя, какой кавътемъ намъ по "Миргороцу", "Арабескатъ", "Ре-

визору", но чёмъ далёе подвигаемся мы въ чтеніи второй части, тёмъ болёе Гоголь-художникъ превращается передъ нами въ Гоголя-мистика, являются божественные помёщики и божественные откупщики, очевидно, взятые не изъ живни, а отвлеченно задуманные въ высшихъ соображеніяхъ; начинаются мистическій разсужденія и, надо полагать, что еслибы Гоголю удалось кончить "Мертвыя Души", въ третьей части не было-бы уже и слёда чего либо художественнаго, какихъ-либо характеровъ, сцепъ, а былъбы рядъ поученій въ духъ, Переписки съ друзьями".

Совершенно то же самое представляеть гр. Л. Толстой въ своей литературной дёятельности. — Всё произведенія его до "Войны и мира" являются передк нами плодомъ непосредственнаго творчества и соотвётствують вполнё первому періоду литературной діялтельности Гоголя. Богатство ихъ содержанія въ свою очередь зависять отъ массы художественныхъ наблюденій гр. Толстого и силы его творческихъ способностей, при помощи которыхъ онъ усвоилъ эту массу и вывель наъ нея нёсколько существенныхъ обобщеній жизии.

Далѣе слѣдуетъ произведеніе гр. Толстого "Война и миръ", которое по общирности замысла играетъ такую-же роль относительно предъидущихъ произведеній гр. Толстаго, какую играютъ "Мертвыя Души" въ ряду прочихъ произведеній Гоголя. Отъ мелкихъ очерковъ, частныхъ эпизодовъ жизни, гр. Толстой приступаетъ къ общирной эпопеѣ, имѣющей цѣлю представить цѣлую историческую эпоху во всемъ разнообразіи ея жизни.

И опять-таки подобно Гоголю, гр. Толстой въ первой половинъ своего произведенія (въ первыхъ 3-хъ томахъ) является передъ нами темъ-же гр. Толстымъ, какимъ мы его знали прежде, -- Повидимому, онъ не имъетъ въ виду ничего иного, какъ только представить галлерею картинъ изъ жизни великосвътскаго общества начала нынешняго столетія. — Съ этой стороны романъ не только представляется безукоризненнымъ, но его можно поистинъ назвать явленіемъ, небывалымъ еще въ нашей литературъ, однимъ изъ заивчательныйшихъ памятниковъ ея. Въ самомъ дыль, въ дитературѣ нашей вы найдете множество романовъ, повъстей, драмъ и комедій и даже поэмъ изъ великосвътской жизни, — но вы не найдете такого полнаго, обстоятельнаго, рельефнаго изображенія этой жизни, какое представляется вамь въ "Войнъ и миръ . Здъсь вы видите рядъ существенныхъ типовъ ведикосвътской среды, исчернывающихъ все ея содержаніе. Поистин'я такіе характеры, какъ семейство Болконскихъ, Курагиныхъ, Ростовыхъ, Пьеръ Безухій, Долоховъ, Билибинъ и пр., и пр. — представляють типы, нисколько не менте существенные, чамъ безсмертные тины "Мертвыхъ Душъ" и могутъ служить для той среды, представителями которой являются они, такими же родовыми названіями, кличками, какъ Чичиковъ, Маниловъ, Ноздревъ, Плюшкинъ и проч. Типы эти изследованы во всехъ основныхъ пружинахъ своей жизни и въ самыхъ мельчайшихъ психическихъ движеніяхъ. Всё ихъ можно подраздёлить на четыре разряда. Одни изъ нихъ, каковы Курагины, Долоховъ представляють последнюю степень

нравственнаго растивнія, доходящую до отсутствія въ нихъ всего человъческаго не только по отношению къ людямъ иныхъ слоевъ общества, но и къ стоящимъ на одной съ ними высотъ; это римляне послъдняго періода инперіи, люди, приближаться къ которынъ положительно опасно, потому что въ случат надобности они не только готовы унизить ваше человеческое достоинство, лишить васъ чести, пустить васъ по міру въ одной рубашкъ, но даже и отправить васъ на тотъ свъть. При этомъ нужно замътить, что самые стращные изъ этихъ илотоядныхъ звърей суть такіе, которые при всёхъ своихъ чудовищныхъ свойствахъ сохраняють извъстную долю сдержанности, такта, изворотливости, - которые постоянно себв на умв и ум'єють над'євать на себя личины различныхъ добродътелей, каковъ, напримъръ, князь Курагинъ; не менъе ужасенъ и Долоховъ съ своею отчаянною дерзостью, стальными нервами и обаяніемъ недюжинныхъ силъ, сидевшихъ въ этомъ человеке. Въ лице Долохова гр. Толстой окончательно развѣнчиваеть и ставить на свое мёсто тоть демоническій типъ, который въ 30-е и 40-е годы былъ столь любезенъ нашей художественной литературь, что она, и до сихъ поръ, не можетъ вспомнить о немъ безъ некотораго томнаго вздоха. Долоховъ-это почти тоть-же Печоринъ, -- но вийсто удивленія возбуждающій подъ правдивымъ перомъ гр. Толстого одно омерзение.-Вольшаго снисхожденія заслуживають типы въ родів Анатолія Курагина и состры его Едены Безухой, — въ томъ отношение, что животные инстинкты до такой уже степени заглушають въ нихъ и разсудокъ, и волю, что по большей части герои эти сами делаются жертвами своего разврата.

Ко второй категоріи принадлежать карьеристы въ род'в Бориса Друбецкаго, Берга—выслуживающіе и наживающіеся. Вёчно приглаженные и припомаженные, умъренные въ своихъ страстяхъ и привычкахъ, сдержанные и почтительные, они имжють видь порядочныхъ людей, но въ сущности въ нихъ не боле человѣчности, ченъ и въ людяхъ первой категоріи. Они не сдёлають вамъ бевъ нужды зла, - и только, но не ждите отъ нихъ добра, помощи, участія: сухи и холодны они ко всему, въ чемъ не видять своего личнаго блага. Ихъ дружба и любовь — опредъляются различными служебными видами, и какъ бы вы глубоко ни были привязаны къ одному изъ такихъ господъ, если только можно быть къ нимъ привязаннымъ, будьте увърены, что выжавши изъ васъ весь нужный для нихъ сокъ, они васъ бросять, какъ тряпку, едва только потеряють въ васъ надобность. Такъ-Борисъ прекратилъ дружбу съ Ростовымъ, которымъ быль облагодетельствовань, какъ только всталь на свои ноги. Въ своихъ служебныхъ и другихъ узкосвоекорыстныхъ разсчетахъ, они не любять бывать въ обществъ людей, не только стоящихъ ниже ихъ, но и равныхъ, и предпочитаютъ забираться въ высшія сферы, где низкопоклонничая и услуживая, малопо-малу втираются въ довъріе, затъмъ незаметно становится на равную ногу и лезуть еще выше.

Къ третьей категоріи относятся Ростовы. Это люди, у которыхъ вы найдете много челов'яческаго: они спесобны безкорыстно любить и увлекаться, способны

подъ-часъ на какой-нибудь высокій порывъ подъ вліяніемъ минуты, но вмёстё съ тёмъ, вы видите въ нихъ полное отсутствіе всякой цёли въ жизни, какого - нибудь серьезнаго дёда, малейшаго анализа жизни и людей. Это какія-то взрослыя дети съ безиятежными детскими верованіями и возгреніями на міръ, слепо отдающіяся настоящей минуть, вечно жаждущія широкаго и светлаго веселья, счастія. Если жизнь иногда и угостить ихъ какою-нибудь горькою минутою, стоить погладить ихъ по головке и поднесть имъ новую игрушку, и они мигомъ забываются, утвшаются и онять довольны и веселы; если вдругъ подвернутся обстоятельства, которыя нарушають неприкосновенность ихъ детскихъ воззреній, они слещо гонять отъ себя прочь сомнанія и считають какимь-то преступленіемъ допускать въ себѣ малѣйшую самостоятельность мысли. Такъ, когда имъніе ихъ отъ слишкомъ широкой жизни разстраивается, они спёшатъ вынисать изъ полка сына своего Николушку, воображая, что онъ какимъ-то небеснымъ чудомъ выручить изъ бъды. Николушка прівзжаеть; ничего не понимая въ счетахъ и разсчетахъ по именію, набрасывается на управляющаго Митеньку, осыпавъ его градомъ ругательствъ, сбрасываетъ его съ лъстницы, и все семейство сразу успоконвается посл'в такой сцены, какъ будто отъ одного этого иманіе должно поправиться, и затыть снова начинается рядъ веселыхъ праздниковъ и охотъ. Такъ впечатлительная Наташа, почитавшая своимъ долгомъ влюбляться въ каждаго встречнаго новаго мужчину, вдругъ вздумала после помолвки своей съ княземъ Андреемъ обжать съ Анатолемъ Курагинымъ. После скандала, какой вышель изъ этого, и отказа жениха, она впала въ отчаяніе, была близка къ смерти, но стоило Пьеру Безухову радушно улыбнуться ей и сказать несколько словь участія, и она снова разцвела, и всего прежняго какъ не бывало. Такъ Николай Ростовъ после тильзитскаго мира, несправедливости, которой подвергся другь его Денисовъ, ужасающаго зрелища госпиталей, раненыхъ, вдругъ исполнился неожиданныхъ сомненій, готовыхъ поколебать весь его экстазъ, которымъ онъ проникался на различныхъ смотрахъ и парадахъ; но онъ, ударивъ злобно по столу кулакомъ, вскричалъ товарищу, который выражаль подобныя-же сомнёнія:

 Наше дъло исполнять свой долгъ, рубиться и не думать, вотъ и все. И соинтній его какъ не бывало.

Къ четвертой категоріи относятся люди, развившіе въ себ'я высшія умственныя и нравственныя стремленія путемь чтенія и размышленій. Они постоянно спрашивають себя: анализировать и опред'ялять различныя явленія, окружающія ихъ, отношенія свои къ другимъ людямъ. Таковы князья Волконскіе—отецъ, дочь Марія и сынъ Андрей, Пьеръ Везухій. Но такъ какъ они продолжають стоять въ техъ-же ненормальныхъ условіяхъ жизни, то ц'ъли, которыя они себ'я ставятъ, не выходятъ естественно изъ ихъ жизни и натуры, а искусственно придумываются, чтобы хоть чтом нибудь наполнить пустоту жизни, и какъ такія ц'яли ни прекрасны бивають въ теоріи, —осуществленныя онъ или обращаются въ нечто, или вм'ясто

добра приносять неожиданное эло тёмъ людямъ, къ которымъ относятся. Однимъ словомъ, здёсь мы встре-

чаемся съ тою-же нехлюдовщиною. Такъ старикъ Волконскій, отставной генераль-аншефъ екатерининскихъ временъ, жившій безвытіздно въ деревив, твердившій, что есть только два источника людскихъ пороковъ: праздность и суевъріе, и вследствіе этого уб'єжденія наполнявшій свою жизнь никому не нужною деятельностью въ роде точенія на токарномъ станкъ, перестроекъ по интніямъ и выкладокъ изъ высшей математики, державшій весь домъ подъ гнетомъ суроваго деспотизма, -- воображаль, что существенная цёль, оставшаяся ему въ жизни-воспитание дочери Маріи. Но все это воспитаніе заключалось въ томъ, что онъ до двадцати леть даваль ей уроки алгебры и геометріи, глумился надъ ен некрасивостью и распредёляль всю ен жизнь въ безпрерывныхъ занятіяхъ. Молодая дівушка до такой степени была подавлена его деспотизиомъ, что входя въ кабинетъ отца, молилась предварительно, чтобы свидание сошло благополучно. Подъ вліяниемъ такого страха, молодая дівушка, очевидно, не могла ничего понимать изъ геометрическихъ толкованій отца, что каждый разъ окончательно выводило изъ себя старика и происходили бурныя сцены. Подъ вліяніемъ такого деспотизма, Марія кинулась въ крайній мистицизмъ, читала мистическія книги, окружала себя странниками и калеками, мечтала сама сделаться странницею, и воображала, что главная цёль ея жизни-самоотвержение ради отца. Обезличение ея при этомъ доходило до такой степени, что она, столь терпвышая отъ отца, приходила въ ужасъ, когда братъ ея, князь Андрей, относился въ ея глазахъ къ отцу критически. Витстт съ темъ, живя постоянно въ отвлеченномъ мір'є духовныхъ созерцаній, перем'єшанныхъ съ сухими алгебранческими выкладками-она не имъла ни малъйшаго понятія ни о людяхъ, ни о жизни, до крайней и самой комической наивности. Такъ, когда князь Курагинъ прітхаль къ нимъ сватать сына, она тотчасъ-же илвнилась молодымъ человекомъ. Онъ ей показался добръ, храбръ, решителенъ, мужественъ и великодушенъ. Потомъ она застала весьма скандалезную сцену между Анатолемъ и гувернанткою-француженкою M-lle Bourienne; но и туть она не разочаровалась въ своемъ женихъ; она поняла въ своей наивности сцену эту такъ, что Анатоль и M-lle Bourienne влюбились другь въ друга; въ то-же время разсудила-что она не должна мѣшать ихъ счастію, такъ какъ цель ся жизни-самоотверженіе, и отказала жениху на этомъ основаніи. Но еще комичнъе представляется сцена ея съ возмутившимися крестьянами при нашествіи французовъ. — Возбужденные ложными слухами, крестьяне ожидали отъ французовъ воли, и не только не хотвли сами переселяться при ихъ нашествін, но не соглашались отпустить и барышню, которая осталась въ именіи одна посл'я смерти отца. Между тыть, Марія поняла ихъ волнение такимъ образомъ, что они боятся, что она убдеть и оставить ихъ въ жертву французамь, и она обратилась къ собравшимся крестьянамъ съ такою рфчью:

- Я очень рада, что вы пришли, начала княжна

Марія, не поднимая глазт и чувствуя, кака бистро и сильно билось ея сердце. —Мит Дронушка сказалть, что васт разорила война. Это наше общегоре, и я инчего не пожалко, чтобы помочь вамъ. Я сама тду, потому что опасно здтесь... и непріятель блязко... потому что... Я вамъ отдало все, мощ друзья, и прошу васъ взять все, весь хлтбъ напъ, чтобы у васъ не было нужды. А если вамъ сказали, что я отдако вамъ хлтбъ съ ттмъ, чтобы вы остались здтесь, то это неправда. Я, напротивъ, прошу васъ утвяжать со ветьмъ вашимъ имуществомъ нъ нашу подмосковную, и тамъ я беру на себя и обталуть и домы, и хлтба. —Княжна остановилась. Въ тольть осъпшались вздохи.

— Я не отъ себя дёлаю это, продолжала княжна, я это дёлаю именемъ покойнаго отца, который быль вамъ корошимъ бариномъ, и за брата, и за его емна.
— Вишь научила ловко, аа ней въ крѣпоеть поды! Дома разори, да въ кабалу и ступай. Какъ же? Я хлѣбъ, молъ, отдамъ! слышались голоса въ толпъ. Княжна Марья, опустивъ голову, вышла изъ круга и пошла въ домъ.

«Долго эту ночь, читаемъ мы далѣе, вняжна Марья сидѣяз у открытаго овна въ своей комнатѣ, прислушиваясь въ звукамъ говора мужиковъ, доносившагося съ деревни, но она не думала о нихъ. Она чувствовала, что сколько бы она ни думала о нихъ, она не могла бы понятъ ихъ...»

Становится просто жалко и страшно за челов'ка при вид'я такого крайняго идіотизма, до котораго была доведена д'явушка, сама по себ'я неглупал и съ различными идеальными стремленіями.

Что касается до брата ея, князя Андрея, то на первый взглядъ онъ вамъ ножетъ показаться человъкомъ съ глубокимъ укомъ, твердынъ и энергическимъ характеромъ, солиднымъ, практическимъ, но вглядъвшись пристальнъе въ различныя пертурбаціи его жизни, вы открываете въ немъ тѣ же знакомыя вамъ черты Нехлюдова. Женившись, Богъ въсть какъ, на пустомъ и кокетливомъ свътскомъ ребенкъ, онъ скучаетъ женою, скучаеть свётскою жизнію. "Свяжи, говорить онъ, себя съ женщиной, и, какъ скованный колодникъ, теряешь всякую свободу. И все, что есть въ тебъ надеждъ и силъ, все только тяготитъ и раскаянісиъ мучасть тебя. Гостиныя сплетни, балы, тщеславіе, ничтожество, — воть заколдованный кругъ, изъ котораго я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь... "

Однакожъ онъ отправился-таки на войну, и здъсь ны встречаемся съ поразительною двойственностью логики въ подобныхъ людяхъ: съ одной стороны вы видите въ невъ сезнание, что онъ ничего не знаетъ н никуда не годится, но это сознание не мешаетъ ему мечтать, что онъ совершить одинъ или насколько такихъ подвиговъ, что сделается спасителемъ отечества, и слава его вознесется наравит съ Наполеоновъ. Эти мечты особенно обуяли его, когда онъ узналъ о переходъ французовъ чрезъ Таборскій мостъ и объ опасности, въ которую была этикъ переходомъ поставлена русская армія. "Изв'єстіе это, читаемъ мы въ романъ, было горестно и вивств съ твиъ пріятно князю Андрею. Какъ только онъ узналъ, что русская армія находится въ такомъ безнадежномъ положении, ему пришло въ голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армію изъ этого положенія, что вотъ онъ тотъ Тулонъ, который выведеть его изъ рядовъ неиз

въстныхъ офицеровъ и откроетъ ему первый путь къ славъ! Слушая Билибина, онъ соображалъ уже, какъ, прівхавъ къ арміи, онъ на военномъ совътъ подастъ мнѣніе, которое одно спасетъ армію, и какъ ему одному будетъ поручено исполненіе этого плана".

Не правда-ли, какъ напоминаютъ подобныя мечты весь сонмъ Нехлюдовыхъ?

Мы уже говорили выше, что сразу безъ труда, безъ борьбы сдёлаться историческимъ героемъ, благодёгелемъ и спасителемъ человёческаго рода — объ этомъ только и мечтаютъ Нехлюдовы, въ этомъ только и полагаютъ они всю цёль жизии; всё другія, болёе скромныя цёли, кажутся имъ жалкимъ удёломъ толны, недостойными ихъ милости.

Здёсь ны опять встрёчаемся съ однивь изъ тёхъ сопоставленій, которыя составляють отдичетельную черту таланта гр. Толстого и такъ разко оттаняютъ несостоятельность его героевъ. Между твиъ, какъ князь Андрей все ждалъ минуты, когда онъ со знаменемъ въ рукахъ спасетъ все россійское войско, онъ встрътилъ наканунъ передъ дъломъ при Шенграбенъ въ цалаткъ маркитанта маленькаго, грязнаго, худого артиллерійскаго офицера Тушина, который быль безъ сапогъ, отдавши ихъ сушить наркитанту. Въ немъ не было и тени чего-нибудь героическаго, и вероятно, ему и въ голову не приходило спасать. Россію. Робкій и заствичивый передъ начальствомъ, онъ представлялъ въ своей фигуръ что-то особенное, соверщенно не военное, нъсколько комическое, но чрезвычайно привлекательное. И каково-же было удивление князя Андрея, когда на другой день, между тёмъ какъ онъ безъ пользы слонялся по полю сраженія, этоть невзрачный офицерикъ оказался истиннымъ героемъ, и темъ более поразительнымъ, что геройство это было совершенно безсознательное. Будучи начальникомъ батареи, расположенной въ центръ, онъ одинъ съ небольшою ротою, безъ прикрытія, держадся съ четырьия пушками до самаго конца дела, отразиль картечью двѣ аттаки и зажегъ деревию Шенграбенъ, между тыть какъ непріятель выставиль противь этой назойливой батареи десять пушекъ, полагая, что тутъ сосредоточены главныя наши силы и никакъ не воображая дерзости стрёльбы четырехъ никёмъ не защищенныхъ пущекъ. Поразительнъе всего при этомъ было то, что Тушинъ и не замъчалъ своего отчаннаго геройства. Онъ быль на батарев, какъ дона, покуривалъ свою коротенькую трубочку, дружески разговаривалъ со своими пушками, называя ихъ различными прозвищами, иногда поморщивался, когда возлё него падалъ какой-нибудь солдатикъ, и только тогда окончиль свое дело, когда получиль черевъ Болконскаго приказаніе отступать. И, какъ часто встрівчается съ истинными героями, вмёсто удивленія и награды, онъ получилъ выговоръ отъ главнокомандующаго, зачёмъ при отступлении не успаль захватить съ собою всахъ пушекъ.

«Въ то время на порогѣ показался Тупинъ, читаемъ мм въ романѣ: —робко пробиравшийся изъ-за симнъ генераловъ. Обходя генераловъ въ тѣсной избъ, сконфуженый какъ и всегда при видѣ начальства, Тушинъ не разсмотрѣлъ древка знамени и споткнулся на него. Нѣсколько голосовъ засмѣялосъ.

— Какимъ образомъ орудіє оставлено? епросилъ Багратіонь, нахмуривников не столько на капитана, сколько на смѣявшихся, въ числѣ которыхъ громче всёхъ билъ Жерковъ. Тушину теперь только, при видѣ грознаго начальства, во всемъ ужасѣ представилась его вина и позоръ въ томъ, что онъ, оставшись живъ, потериять два орудія. Онъ такъ былъ ваволнованъ, что до сей минуты не успѣяъ подумать объ этомъ. Смѣхъ офицеровъ еще больше сбилъ его съ толку. Онъ стоялъ передъ Багратіономъ съ дрожащею нижнею челюстью, и одва протоворилъ. Не знаю... ваще сіятельство... людей не било, ваше сіятельство... людей не

— Вы бы могли изъ прикрытія взять!

Что прикрытія не было, этого не сказаль Тушинъ, хотя это была сущая правда. Онъ боялся подвести этимь другаго начальника и молча, остановившимися глазами, смотрёдъ прямо въ лицо Багратіону, какъ смотрить сбившійся ученикъ въ глаза экзаменатору.

Молчаніе било довольно продолжительно. Кинаь Багратіонъ, видимо, не желая быть строгимъ, не находиль что сказать, остальные не смѣли вмѣшаться въ разговоръ. Кинаь Андрей изподлобья смотрѣль на Тушина, а пальцы его рукъ нервически двига-

— Ваше сіятельство, прерваль князь Андрей молчаніе своимъ різкимъ голосомъ: —вы меня изволили послать къ батарей капитана Тушина. Я быль тамъ и нашель дві треги людей и лошадей перебитыми, два орудія исковерканнями й прикрытія никакого.

Кназь Багратіонь и Тушинь одинавово упорно смотрым теперь на сдержанно и ваволнованно говорившаго Болконскаго.

— И ежели, ваше сіятельство, повволите мий высказать свое мийніе, продолжаль отъ:—то усийхомь дня мы обязаны болйе всего дійствію этой батарем и геройской стойкости капитана Тушина съ его ротой, сказаль князь Андрей, и не ожидан отвіта,

тотчасъ же всталъ и отошелъ отъ стола.

Князъ Багратіонъ посмотрѣлъ на Тушина, и, видимо не желая выказать недовѣрія къ рѣзкому сужденію Болконскаго и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуя себи не въ состонни вполнѣ вѣрить ему, наклонилъ голову и сказалъ Тушину, что онъ можетъ идти. Князъ Андрей вышелъ за нимъ.

Воть спасибо, выручиль, голубчикь, сказаль ему Тушинъ. Князь Андрей оглянуль Тушина и, ничето не сказавь, отошель оть него. Князю Андрею было грустно и тяжело. Все это бяло такъ странно, такъ не похоже на то, чего онъ надъялся".

Я не знаю, нужно-ли входить въ дальнайшія разъясненія всей глубины и и тткости подобнаго сопоставленія мишурнаго, кичливаго стремленія къ геройству, изъ котораго никогда ничего не выходитъ, какъ изъ лопнувшаго мыльнаго пузыря, рядемъ съ истиннымъ геройствомъ, которое сплошь и рядомъ всплываетъ неожиданно въ жизни въ какомъ-нибудь маленькомъ, незамътномъ, смъшномъ человъкъ, и сіястъ кроткою, гунанною простотою, соединяясь иногда съ наивною робостью и застенчивостью передъ ложнымъ блескомъ различныхъ надутыхъ и пустыхъ величій. Вышеприведенная сцена говорить сама по себъясно и вразумительно: ничтожному изъ малыхъ сихъ ничего не стоитъ затиить тебя, высокопарный герой высшаго полета. Выведение на сцену Тушина рядомъ съ Болконскимъ принадлежить, по моему мнанію, къ числу самыхъ свётлыхъ, можно сказать великихъ проблесковъ таланта гр. Толстого.

Послё того, какъ Болконскому не удалось спасти отъ гибели русскую армію, раненый онъ вышель въ отставку и захандрилъ. Отъ скуки онъ занялся различными либеральными идеями, бродившими въ то вреня въ обществъ; такъ, занявшись устройствомъ имъній, онъ перечислиль 300 душь крестьянь въ вольные хлебопашцы (это быль одинь изъ первыхъ примёровъ въ Россіи), въ другихъ барщину замёнилъ оброкомъ. Это было поистинъ единственное доброе дъло, которое онъ сдёдаль впродолжение всей своей жизни. Но вы подумаете, можетъ быть, что онъ это сдъдаль, проникнутый тою гуманною, христіанскою, теплою любовью къ низшинъ міра сего, которая одна могла бы смирить его гордыню, смягчить его черствое сердце, утолить его праздную тоску и наполнить пустоту его жизни?.. Нътъ, видно, то безпредъльное небо, которое созерцаль онъ съ такимъ умиленіемъ, раненый при Аустерлицъ-внушало ему болъе любви къ самому себь, чымь къ ближнимъ. По крайней мъръ, ны видимъ, что послъ всъхъ своихъ возвышенныхъ мыслей онъ не сдалался хоть на столько человачнае, чтобы постыдиться произносить подобныя циническія рвчи:

- Ну, воть ты хочешь освободить врестьянь, говориль онь Пьеру:-- это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засёкаль и не посылаль въ Сибирь), и еще меньше для крестьянъ. Ежели ихъ быють, секуть, посылають въ Сибирь, то я думаю, что имъ отъ этого нисколько не хуже. Въ Сибири ведеть онь ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживуть, и онь также счастливь, какъ и быль прежде. А нужно это для техъ людей, которые гибнуть нравственно, наживають себб раскаяніе, подавляють это раскаяніе и груб'ють отъ того, что у нихъ есть возможность казнить право и неправо. Воть кого мнв жалко и для кого бы я желаль освободить крестьянь. Ты можеть быть не видаль, а я видёль, какъ хорошіе люди, воспитан-ные въ этихъ преданіяхъ неограниченной власти, съ годами, когда они дёлаются раздражительнее, дёлаются жестоки, грубы, знають это, не могуть удержаться и все делаются несчастиве и несчастиве. Князь Андрей говориль это съ такимъ увлечениемъ, что Пьеръ невольно подумаль о томъ, что мысли эти наведены были Андрею его отцомъ. Онъ ничего не отвѣчалъ ему.

— Такъ вотъ кого мнѣ жалко—человѣческаго достоинства, спокойствія совѣсти, чистоты, а не ихъсиинъ и лбовъ, которыя, сколько ни сѣки, сколько ни брей, все остаются таким же спинами и лбами».

Подумаень, до какого отсутствія всякой здравой логики можетъ довести человъка безчеловъчіе узкаго сословнаго эгоизма. Андрей не въ силахъ оказывается понять той простой истины, что грубость, жестокость потому только и могутъ считаться пороками, ведущиии за собой угрызенія совъсти, что онъ причиняютъ страданія тамъ людямъ, на которыхъ обрушиваются. Если же князь Андрей полагалъ, что сколько ни съки спинъ, ни брей лбовъ, они все останутся такими же спинами и лбами, и что мужикамъ нисколько не хуже, если ихъ быотъ, секутъ, посылаютъ въ Сибирь, -то спрашивается, что же послё этого находиль онъ худого въ грубости и жестокости людей своей среды? На какомъ иномъ основании мы не раскаяваемся въ жестокости и не грубъемъ, когда колемъ на щены дерево или рвемъ на клочки бумагу, какъ не въ томъ убъжденіи, что дерево и бумага не чувствують при этомъ ни нравственной, ни физической боли?

Если во всякомъ случай лучшій представитель своей среды является передъ нами въ такомъ печаль-

номъ видъ, то я не знаю, нужно ли послъ того много распространяться о Пьерѣ Везухомъ, объ этой жалкой игрушкъ въ рукахъ всехъ окружавшихъ его людей, у котораго вся жизнь представляеть рядъ непредвидиныхъ случайностей, бросающихъ его, какъ куклу, то въ ту, то въ другую сторону, безъ малъйшей упругости сопротивленія съ его стороны. Отвлеченный теоретикъ, увлекавшійся французскою революцією и поклонявшійся Наполеону, онъ все ищеть, какимь бы заняться ему дёломъ, и вдругъ неожиданно дёлается первымъ богачемъ, наследуя титулы и именія графа Везухова; втягивается въ омуть свътской жизни, опивается, объедается, женится на Едене Курагиной, увлекшись бѣлизною ея плечъ, для того, чтобы разойтись съ нею при первой ей измене и вызвать на дуэль перваго ея любовника. Столь-же неожиданно дълается потомъ изъ вольтеріанца массономъ, встрътясь во время пути на станцін съ старымъ массономъ временъ Екатерины, пишетъ мистическій дневникъ, разъъзжаеть по своимъ имъніямъ съ цалію улучшить быть крестьянь, заводить школы, больницы, аптеки и остается доволенъ своею деятельностью, особенно торжественными встрачами, какія устраивають ему крестьяне по приказу управляющихъ, и не замвчаетъ при этомъ, сколько новыхъ тягостей налагаютъ на крестьянъ эти управляющіе по причинь его благодытельныхъ распоряженій. Передъ войною 12-го года онъ, посредствомъ инстическихъ выкладокъ, преобразовавши при этомъ свою фамилію въ l'Russe Besuhof, определиль, что судьба его связана таинственною связью съ судьбою Наполеона, и исполнился великой радости, нечтая, что его любовь къ Ростовой, антихристь, нашествіе Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoleon и l'Russe Besuhof, все это вивств должно было созр'вть, разразиться и вывести его изъ того заколдованнаго, ничтожнаго міра московскихъ привычекъ, въ которыхъ онъ чувствовалъ себя плененнымъ, и привести его къ великому подвигу и великому счастію". Въ такихъ мечтаніяхъ онъ полетель въ действующую армію, не опредёляясь однакоже въ военную службу, безцёльно толкался по батареямъ во время бородинскаго сраженія, остался въ Москвѣ во время вступленія въ нее французовъ; тугъ совреда у него мысль убить Наполеона; онъ одбися въ мужицкое платье, купилъ пистолеть и ножь, но вивсто исполненія своего трагическаго замысла, очень весело побеседоваль о любви съ французскимъ капитаномъ за бутылкой бордо, и потомъ быль захваченъ французами но подозрѣнію въ поджигательстве на пожаре, где онъ спасаль изъ огня какого-то ребенка.

Однинъ словомъ, въ Пьерѣ Безухомъ является передъ нами Нехлюдовъ начала нынѣшняго столѣтія въ полномъ своемъ блескъ, со всѣми своими характеристическими особенностями, въ такой неподкрашенной правдѣ, въ какой одинъ только гр. Толстой умѣетъ воспроязводять подобные типы.

VII.

Тремя первыми частями исчернывается, по нашему митнію, романъ во всемъ, что только есть въ немъ мучшаго. Не отрицаю, что въ следующихъ частяхъ есть въ немъ множество прекрасныхъ сценъ и кар-

тинъ, стоящихъ вполнъ въ уровнъ таланта гр. Толстого, но со второю половиною романа случилась исторія, во многомъ напоминающая собою исторію съ "Мертвыми Душами" Гоголя. Чёмъ далёе читаете вы романъ, тъмъ болъе и болъе непосредственно правдивое художественное творчество автора смёняется нередъ вами - странною неестественностью, надуманностію. Безпристрастное отношеніе къ изображаемымъ предметамъ сменяется односторонними, пристрастныии взглядами на нихъ съ точки зрвнія инстическихъ теорій; художественныя сцены и картины все болье и болье сивняются длинными отвлеченными разсужденіями, причемъ гр. Толстой не замѣчаетъ, какъ одну и ту же канитель, растягивая на десяткахъ страницъ. онъ повторяетъ десятки разъ; наконецъ, последняя часть шестаго тома представляеть изъ себя одни сплошныя разсужденія на различныя историко-философскія темы; художникъ исчезаеть здёсь совершенно, уступая ивсто мыслителю.

Такое странное и печальное явленіе можно объяснить себё только однимъ способомъ. До созданія "Войны и Мира" гр. Толстой ограничивался одними наблюденіями конкретныхъ фактовъ жизни, дёлая изъ нихъ тъ художественныя обобщенія, которыя онъ и представиль намь въ своихъ произведеніяхъ. При этомъ міросозерцаніе его, основныя философскія убъжденія оставались, такъ сказать, нетронутыми, въ той степени развитія, въ какой гр. Толстой оставиль нѣкогда школьную скамью. Такъ, напринъръ, его историческіе взіляды не шли дальше учебниковъ, въ которыхъ всё исторические факты объясняются доброю и злою волею стоящихъ впереди историческихъ дёятелей и вожаковъ. Задумавши писать историческій романъ, изображающій жизнь цёлой эпохи и притомъ эпохи, сильной важными историческими событіями, гр. Толстой необходимо приступилъ къ изученію ея по различнымъ памятникамъ, мемуарамъ, біографіямъ и сочиненіямъ европейскихъ и русскихъ историковъ. Такое изучение раздвинуло умственный горизонтъ гр. Толстого, открывши ему новыя области жизни и мысли, о которыхъ до того времени онъ имълъ саныя элементарныя, смутныя понятія. Въ головъ его зароились новыя нысли и начался уиственный процессъ, поглотившій вск его силы. Путемъ этого процесса гр. Толстой дошель до того, что снова открыль Америку и изобрёль порохъ и книгопечатаніе, иначе сказать, онъ додумался до такихъ историко-философскихъ истинъ, которыя давно уже были открыты до него, но онъ ихъ снова открыль для самаго себя, и вообразиль при этомъ весьма естественно, и какъ это часто бываетъ, что истины эти должны быть новостію и для всего человичества. Такъ, напримиръ, для какого мало-мальски серьезно образованнаго человека можеть быть въ настоящее вреия новостію, что историческое событіе зависить не отъ одной води того или другого лица, а имъетъ за собою тысячи различныхъ причинъ, совокупность которыхъ и производить это событіе? Эта истина давно уже сдёлалась банальною въ области исторіи, и никто, держа ее въ головъ и принимая въ соображение, не станеть распространяться о ней, подобно тому, какъ не почтетъ нужнымъ писать трактать о томъ, что воздухъ состоить изъ кислорода и

азота или что $2 \times 2 = 4$. Между темъ человекъ, впервые додумавшійся до такой идеи, весьма естественно можетъ проникнуться ею до такого крайняго увлеченія, что будеть чувствовать потребность проповідывать эту идею на всёхъ перекресткахъ, развивая ее на тысячи ладовъ и подкрѣпляя всевозможными доводами изъ областей философіи, исихологіи, исторіи и проч. Увлечение всякою новою идеею имбетъ такой карактеръ манін до тёхъ поръ, пока человёкъ не свыкается съ нею, и она не дълается заурядною идеею его. -- Подобное увлечение новичка идеею исторической причинности им видинъ въ гр. Толстонъ. Онъ забываетъ ради нея о своемъ романѣ и о его герояхъ. Мало того, что при каждомъ удобномъ случав онъ воввращается къ ней и на тысячу ладовъ повторяетъ одно и то-же, — но, какъ я уже говорилъ, последнюю часть романа всецёло посвящаеть философскимъ разсужденіямь все на ту-же тему, и все для того, чтобы убъдить насъ, что походъ Наполеона въ Россію зависёль не отъ одной его личной воли, честолюбивыхъ замысловъ, а отъ сцёпленія цёлаго ряда причинъ. Когда вы читаете всё подобныя разсужденія, вамъ становится съ одной стороны сибшно за автора, съ такою наивною горячностью посвящающаго вась въ свое давно открытое открытіе; съ другой стороны неловко и стыдно за себя, какъ это и должно быть, если вашъ пріятель вдругъ заподозрить вась, что вы земней шаръ считаете плоскостью, и начнетъ съ жаромъ убъждать вась, что земля шарообразна.

Въ то-же время, какъ и каждый новичекъ идеи, графъ Толстой, какъ только опускается отъ своей излюбленной идеи къ фактамъ и пытается приложить ее къ нимъ, передъ вами обнаруживается вся неопытность его обращаться съ нею, все неумънье обсуждать исторические факты на ея основании. Мы можемъ вѣрить въ разумную цёлесообразность всей вселенной, но отнюдь не историческихъ событій, совершающихся на такомъ атомъ, какъ нашъ земной шаръ. Съ одной стороны подъ совокупностью причинъ исторія разумъсть рядъ факторовъ естественныхъ, изъ которыхъ весьма иногіе потому уже не могуть вызывать событій ради какихъ-либо высшихъ цёлей, что они лишены всякой сознательности. Съ другой стороны, самое понятіе объ отношеніи слъдствія къ причинь не представляеть ничего общаго съ понятіемъ объ отношеніи цёли и намеренія: слёдствіе есть только явленіе, неизийнио вызывающееся другииъ явленіемъ, а отнюдь не цёль своей причины. Далёе затёмъ разумная цёлесообразность событій опровергается и тыпь, что въ исторіи мы видимъ на каждомъ шагу такую-же слёпую инерцію движеній, какъ и въ физическихъ явленіяхъ. Совершается какой-нибудь историческій толчокъ, возбуждающій изв'єстное движеніе народовъ, и движение это долго идетъ по своему направлению, послъ того какъ всякій симсяв его давно уже потерянъ. Такъ между двумя народами иногда возбуждается ненависть вследствие какихъ-либо основательныхъ причинъ, но ненависть эта долго переживаетъ эти причины и въ свою очередь возбуждаеть рядъ событій, зависящихъ уже отъ нея самой. Наполеоновскія войны носили именно этотъ характеръ слепой и неосмысленной инерціи. Когда европейскія государства составили реакціонную

коалицію для подавленія революціи, тогда борьба Франціи съ этою коалицією имала свое разумное основаніє: это была борьба двухъ противоположныхъ началъ. Но мало-по-малу, когда революція во Франціи была подавлена тъмъ самымъ орудіемъ, которымъ она защищалась противъ враговъ, то-есть войскомъ, смыслъ борьбы Франціи съ европейскою коалиціею быль потерянь, между тыпь разъ возбужденное движеніе продолжалось все по одному направленію по слъной инерціи. Французы поклонялись Наполеону и шли за нимъ, попрежнему возбуждаемые революціоннымъ энтузіазмомъ и мечтая, что цёль наполеоновскихъ войнъ --- вводить во всё страны Европы новыя начала; европейскія государства въ свою очередь въ Наполеонѣ видѣли исчадіе революціи и боролись съ нииъ во имя охранительныхъ началъ; самъ Наполеонъ върилъ въ революціонное значеніе своихъ войнъ, вследствіе чего вводиль въ завоеванныя имъ страны свои кодексы и конституціи. И до такой степени была сильна инерція въ этомъ отношеніи, что идея о революціонномъ значеніи семейства Наполеона продолжала существовать до нашего времени, до Седана. Къ ней пріурочивали и крымскую войну, и освобождение Италіи; не будь Седана, окажись Наполеонъ III побъдителенъ въ войнъ съ Пруссіею, очень можетъ быть, что и въ настоящее время весьма многіе виділи-бы въ этой побъдъ торжество революціоннаго Наполеона надъ прусскимъ феодализмомъ.

Но совершенно иначе объясняеть гр. Толстой значеніе Наполеоновских войнъ. Для него не существуєть въ исторіи ошибокъ, въковыхъ заблужденій, народныхъ супасшествій, неоспысленныхъ движеній, не ведущихъ часто за собою ничего, кроит всеобщаго вреда, невознаградиныхъ потерь и гибели. Доказывая на десяткахъ страницъ идею исторической причинности, онъ въ то-же время ратуетъ за разумную цёлесообразность событій. По его мнѣнію, всѣ причины, которыми историки объясняютъ наполеоновскія войны, суть причины мелкія, второстепенныя, не исключая даже и французской революціи. Все это даже не причины, а просто сладующія другь за другомъ событія, изъ которыхъ ны совершенно произвольно и безосновательно предыдущее считаемъ причиною последующаго. Настоящія-же причины недоступны для нашего ума; он'в стоятъ гдё-то за кулисами исторической сцены, въ видѣ какого-то таинственнаго предопредѣленія, которое движетъ народами по своему благоусмотренію и сталкиваетъ ихъ сообразно своимъ замысламъ. Такъ и въ настоящемъ случав причина Наполеоновскихъ войнъ заключается не въ революціи, не въ европейской коалиціи, не въ честолюбіи Наполеона. Ничуть ни бывало: по неисповёдимымъ историческимъ причинамъ, по недоступнымъ человъческому уму предусмотръніямъ положено гай-то, чтобы европейские народы двигались въ началъ нынъшняго стольтія сначала съ запада на востокъ, потомъ съ востока на западъ, --они и давай двигаться, такъ что даже саная французская революпія произошла не почему-нибудь другому, какъ потому, чтобы послужить сигналомъ этого движенія: надо же было съ чего-нибудь начать двигаться. Вотъ какъ курьезно понимаетъ гр. Толстой идею исторической причинности. Вы думаете, что безсиліе генія совер-

шить что-либо по своему личному произволу, вопреки законамъ исторической жизни и народнымъ стремленіямъ, оправдалось по отношенію къ Наполеону въ томъ простомъ и очевидномъ фактѣ, что всѣ его завоеванія рушились прахонь, основать общеевропейскую имперію ему не удалось, народы снова сложились въ тв-же группы, въ которыхъ существовали прежде, и даже иногія безспорно полезныя преобразованія, которыя сдёлаль Наполеонь въ завоеванныхъ инъ государствахъ, были отвергнуты, какъ навязанныя силою извив. Нътъ, отсутствие личной свободы со стороны Наполеона заключалось въ томъ, что все, что ни замышляль онъ, казалось-бы, повидимому, совершенно произвольно по своей иниціативъ и въ личныхъ видахъ, все это клонилось къ тому, чтобы совершилась предусиотренная прогулка народовъ съ запада на востокъ и обратно. Такимъ-же самынъ образомъ и русскіе отступали передъ Наполеономъ вовсе не потому, что военныя силы ихъ были значительно слабъе наполеоновскихъ и полководцы робъли въ виду военнаго генія Наполеона, а онять-таки вследствіе того-же высшаго предусмотрвнія: надо было, чтобы прогулка съ запада на востокъ дошла до своего надлежащаго пункта, Москвы, а потомъ, сано собою, должно было начаться обратное шествіе. Неужели гр. Толстой, который рядомъ съ подобными курьезами высказываетъ столько свътлыхъ и реальныхъ взглядовъ на частности тойже самой войны, не понимаеть, какой дикій, чистовосточный фатализмъ проповъдуетъ онъ въ то-же вреня? Замътьте при этомъ, что одъ считаетъ отжившимъ взглядъ древнихъ на историческія событія, основывающійся на произвольномъ управленім народами и царями воли божествъ. А самъ между темъ проводитъ тотъ-же самый взглядъ, замёняя только личную волю человъкообразныхъ божествъ древняго міра предопредёленіями какихъ-то таинственныхъ, безусловныхъ силь, безличныхь и между томь сознательныхь и разумныхъ. "На вопросъ о томъ, что составляетъ причину историческихъ событій, говорить онъ, представдяется другой отвътъ, заключающійся въ томъ, что ходъ ніровыхъ событій предопредёленъ свыше, зависить отъ совпаденія всёхъ произволовъ людей, участвующихъ въ этихъ событіяхъ, и что вліяніе Наполеоновъ на ходъ этихъ событій есть только внъшнее, фиктивное".

Становится просто непонятно, какъ можетъ столь дико заблуждаться столь свётлый умъ, который во многихъ местахъ романа такъ метко судить объ отношеніи историческихъ личностей къ массамъ и высказываеть неоднократно мысли, вполнъ основательныя; такова, напримеръ, мысль, что историческія событія совершаются всегда, даже въ самыхъ деспотическихъ государствахъ, не государственными людьми, а массами, отъ дука которыхъ, энергіи, готовности исполнить то или другое приказание зависить не только успъхъ предпріятія, но и слава генія: полководецъ идеть во главъ арији недеморализованной, энергической, исполненной по той или другой причинъ жажды борьбы и победъ — онъ побеждаеть, то-есть побеждаеть армія, и победа зависить оть совокупныхь действій всёхъ солдатъ, но принисывается она полководцу и онъ попадаеть въ геніи; въ противномъ случат

историки не замедлять открыть вамъ бездну ошибокъ, зависящихъ, конечно, отъ неспособности полководцаи не обращають при этомъ вниманія на то обстоятельство, что въ разгаръ сраженія половина приказаній полководца остается неисполненными за невозножностью, часто просто потому, что адъютанть, несущій приказаніе, падаеть убитый и раненый на дорогь, въ то-же вреия делается войсками множество удачныхъ и неудачныхъ движеній, помимо всякихъ приказаній начальства. Все это совершенно справедливо, - и, развивая далее подобныя светлыя мысли гр. Толстого, мы ножемъ замътить, что и во внутренией жизни народа наблюдается таже зависимость историческихъ дъятелей отъ дука и настроенія массъ. Въ геніи попадаетъ обыкновенно не тотъ, который измышляетъ изъ своей головы что-либо непредвиденное, а кто уловляеть духъ времени, настроение массъ, ихъ потребность или готовность принять рядъ полезныхъ реформъ; отъ всего этого прямо зависить успъшность саныхъ реформъ, такъ какъ онв исполняются, конечно, не лично геніальнымъ преобразователемъ, онъ только ихъ предлагаетъ, утверждаетъ, а масса приводить ихъ въ исполнение, и конечно можетъ, если не активнымъ сопротивлениемъ, то пассивнымъ бездействіемъ, непониманіемъ, наконецъ, парализовать всё его действія. Все это несомнённо; только все-таки остается непонятнымъ, зачемъ-же для объясненія различныхъ настроеній нассъ, не довольствуясь реальными и опредъленными причинами, необходимо гр. Толстому прибъгать къ какимъ-то сверхъестественнымъ и таниственнымъ? Что за причина такого страннаго заблужденія ума, такъ неожиданно повернувшаго къ

Не желая слёдовать примеру гр. Толстого и считать подобное заблужденіе слёдствіем в таниственных в и неразгаданныхъ причинъ, мы постараемся объяснить его причинами очевидными, и надвемся, что объяснение наше покажется читателямъ небезосновательнымъ. Дело въ томъ, что умственный процессъ, возбудившійся въ гр. Толстомъ изученіемъ событій начала нынёшняго столётія, приняль не обыкновенное, естественное теченіе, а осложнился особенными, посторонними вліяніями искусственныхъ теорій весьма сомнительнаго свойства. Здёсь встретились два противоположныхъ теченія: одно теченіе чистое и прозрачное, какъ хрусталь - это теченіе самостоятельной дъятельности ума гр. Толстого, который перенесъ свой индуктивный методъ оть изученія окружающей его жизни къ изучению жизни прошлой и приложилъ къ последней те же обобщенія, найдя въ ней факты иными только по своей вившности, но подобными но сущности: ту же искусственность, ходульность, нравственную распущенность и безцёльность жизни интеллигентныхъ слоевъ общества, рядомъ съ полезной естественною жизнію безъискусственно-простыхъ, пельныхъ и сильныхъ людей труда. Отсюда онъ и пришелъ къ окончательному выводу, что исторію производить народь, событія совершаются усиліями и трудами темныхъ массъ, отъ стремленій и настроеній которыхъ зависить все и вся. Но онъ не могъ остановиться на этомъ истинномъ и глубокомъ вывсив. Завсь вившалась другая струя мысли — и помутила чистоту ясныхъ и свётлыхъ возвреній гр. Толстого. Это—роковая струя, погубившая не одинъ талантъ на Руси! Мы имбемъ здёсь дёло съ особеннаго рода мистицизмомъ, представляющимъ, если хотите, одну изъ неизбёжкыхъ стадій умственнаго развитія, но тёмъ не менѣе это все-таки процессъ крайне-болёзненный, показывающій намъ, что наша психическая природа подобно физической имѣетъ свои критическіе недуги, которые, какъ весеннія грозы, даютъ могучій толчекъ развертывающимся силамъ.

Но необходимо, чтобы весеннія грозы дійствительно были весенними; подъ осень же тіже самыя грозы способны производить лишь неизгладимых опустошенія, ускоряющія приходь зимы. Такт и въ человіческой природі тіже критическіе недуги, которые очень легко переносятся въ юности и обновляють молодыя салы, напротивъ того, въ старости принимають весьма зловіщій характерь. Старческій организмъ не въ состояніи бываеть осилить ихъ и приходить въ пол-

ное разстройство.

Это именно произопло съ Гоголемъ. Вся бѣда заключалась въ томъ, что мистическій періодъ развитія Гоголь началъ переживать слишкомъ поздно для своихъ лѣтъ, чтобы переварить его и выйти изъ него побѣдителемъ, и ни уметвенныя, ни физическія силы

его не выдержали кризиса.

Мы боимся, чтобы и съ гр. Л. Толстымъ не случилось того-же. По крайней мърф, когда вы читаете
"Войну и мирь", вамъ кажется, что съ каждой страницей на васъ словно надвигаются какія-то мрачныя
тучи и затмъвають яркіе лучи поэзіи гр. Л. Толстого.
И если-бы вышеозначенныя теоретическія разсужденія встрѣчались въ романъ отдѣльными клочками,
были-бы сами по себъ, не вмѣшиваясь въ актъ
поэтическаго творчества художника. Но мы, напротивъ того, видимъ, что воззрѣнія эти стремятся покорить своей власти образы поэта, придать имъ свой
особенный мистическій оттѣнокъ, совершенно исказивши ихъ жизненную правду. Возьмите вы напримъръ эпизодъ вліянія на Пьера Каратаева.

Начало увлеченія Пьера простыми людьми посл'є бородинскаго сраженія стоить совершенно на реальной почвъ. Весьма естественно, что запутавшійся въ омуть свытской пустоты, разочарованный и нравственно надломленный, Пьеръ могъ увлечься видомъ простыхъ и сильныхъ людей, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, безъ всякаго хвастовства и напускнаго геройства смотравшихъ въ глаза смерти; понятно, что онъ долженъ былъ ясно почувствовать, въ сравненіи съ правдой, простотой и силой этихъ дюдей, ощущеніе своей ничтожности и дживости, и проникнуться стремленіемъ "войти во эту общую жизнь встмо существомь, проникнуться тьмь, что дплаеть ихъ такими... "Такія мысли и чувства мы видели уже въ цёломъ рядё героевъ гр. Толстого и можемъ встретить ихъ зачастую въ жизни. Не менее естественно выведенъ типъ Каратаева.

Простой, гуманный, одаренный художественною натурою и теплымъ сердцемъ, много испытавний въ жизии, — Каратаевъ самъ по себе являдся бы весьма живою и удачно – очерченною личностью въ романъ, если-бы гр. Толстой не возвелъ его на пьедесталъ, представивъ въ немъ какого-то вдохновеннаго глашатал народной мудрости, исполненной неизреченныхъ глубинъ, чуть что не живое олицетвореніе божественной правды и благости. Вліяніе его на Пьера было столь сильно, по словамъ гр. Толстого, что Пьеръ совершенно переродился: онъ самъ исполнился кроткой терпимости и благодушія, подъ обаяніемъ которыхъ во всемъ сталъ видъть Бога, все ему показалось ведущимъ къ благу, всъ люди сдѣлались его друзьими и, незамѣтно для самихъ себя, почувствовали потребность повѣрять ему всѣ сокровенных свои тайны. Нѣтъ, говорилъ Пьеръ, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотнаго человѣка-дурачка.

Неужели гр. Толстой до такой степени потерялъ свое художественное чутье правды, что не понимаетъ, сколько надуманной несстественности и лжи во всемъ этомъ? Гдѣ въ жизни встрѣчалъ онъ подобныя чудодѣйственныя превращени?.. Развѣтолько въ письмахъ Гоголя, описывавшаго друзьямъ своимъ различныя

свои просіянія и умиротворенія ...

Вообще въ последнихъ частяхъ романа чаще и чаще вы встречаетесь съ гоголевскою философіею различныхъ просіяній. Такъ длинное описаніе смерти князи Андрея преисполнено разсужденій на такія темы, что счастіе, находящееся внё матеріальныхъ силъ, внё матеріальныхъ внёшнихъ вліяній на человека, счастье одной души, счастье любви — понять можетъ всякій человекъ, но сознать и предписать его могъ только одниъ Богъ, что любя человеческою любовью можно отъ любви перейти къ ненависти, но сожеская любовь не можетъ измёниться; ничто, ни смерть, ничто не можетъ разрушить ее; она есть сущность души и пр.

Положимъ, что гр. Толстой не дошелъ еще до того, чтобы дарить насъ подобными изреченіями отъ своего лица; онъ очень ловко влагаетъ ихъ въ уста умирающаго человъка, для котораго подобныя размышленія могутъ быть весьма естественны, но во всякомъ случать депущеніе, чтобы цёлыя страницы были заняты подобными разсужденіями, хотя бы и въ устахъ героя, да и вообще весь мистическій колоритъ кончины Ан-

дрея, -- все это весьма зловещіе знаки.

Признаемся откровенно, намъ страшно за гр. Толстого. Мы боимся, что одинъ изъ самыхъ могучихъ, свътлыхъ и симпатичныхъ талантовъ настоящаго времени погибнетъ такъ же ужасно, какъ погибъ талантъ Гоголя. Очень можетъ быть, что такъ и будетъ. Не впервые намъ приходится оплакивать подобный печальный исходъ нашихъ талантовъ, причемъ замъчательно, что къ нему приходятъ обыкновенино наиболъе сильныя и свътлыя дарования.

Вороны почувствовали уже инъ любимый запахъ и не замедлили слетаться. Такъ въ "Заръ", вскоръ послѣ появленія романа "Война и Миръ", гр. Толстой объявленъ геніемъ, а романъ его однимъ изъ величайшихъ произведеній настоящаго времени. О, еслибы могь почувствовать гр. Толстой, сколько злой ироніи заключается для него въ похваль "Зари"!.. Если бы только онъ понялъ, что не за то превознесла его "Заря", что въ его произведеніяхъ можно найти дъйствительно ведикаго, а именно за то, что предвъщаетъ начало печальнаго паденія его таланта, за тѣ затхлыя тенденціи, въ которыхъ онъ сошелся съ "Зарею"... Но гр. Толстой, который самъ проникся уже этими тенденціями, конечно приняль за чистую монету похвалы "Зари", и ему остается телько, подобно Гоголю, вообразить себя пророкомъ и начать провозглашать людямъ вещіе глаголы. Повидимому, онъ уже и начинаетъ: такъ, въ настоящее время онъ издаетъ букварь для народныхъ школъ, и въ начале нынешняго года въ дружественныхъ своихъ органахъ "Заръ п "Беседъ папечаталь по повъстиизъ предназначенныхъ для этого букваря...Повъсть, помъщенная въ № 2 "Зари", "Кавказскій пленникъ", напоминаетъ намъ прежняго гр. Толстаго; она столь же проста, безъискусственна, реальна и исполнена того же глубокаго содержанія, какъ и всё его предыдущія произведенія. Что же касается до пов'єсти "Вогъ правду любить, да не скоро скажеть", помъщенной въ № 3 "Беседы", то она представляетъ пересказъ каратаевской легенды о купцъ, невинно сосланномъ въ каторгу и встрётившемся тамъ съ настоящимъ виновникомъ преступленія, за которое быль сослань; легенда эта преисполнена дикато фатализма и мистицизма, и довольно сказать, что въ ней-то именно Пьеръ наиболъе прозрълъ глубину народной мудрости и пришедъ отъ нея въ окончательное умиленіе, чтобы понять, что это за предесть такая!...

Все это очень печально!.. И все это происходить ни отъ чего другаго, какъ отъ того, что ир. Толстой покинулъ прежній путь творчества, зависящій отъ естественныхъ обобщеній въ поэтическіе образы частныхъ фактовъ жизни, и проміняль его на ндущій отъ предвзятыхъ теорій, произвольно подчиняющихъ себѣ поэтическіе образы, искажающихъ ихъ, иногда и побуждающихъ поэта просто выдумывать образы изъ своей фантазіи...

Только одно индуктивное творчество есть истинно свободное, реальное и полезное, потому что только оно одно можетъ вполнъ върно и безпристрастно изображать передъ вами правду жизни, а отъ одной правды только и можно ждать истинной пользы...

ВОЛНЫ РУССКАГО ПРОГРЕСА.

«Романы и повъсти» Хвощинской, 8 томовъ. Спб. 1859 г.—«Большая Медвёдица», романъ Хвощинской, 1 т. Спб. 1872 г.

I.

Нензвастно, всладствіе навиха причина, по какима законама, но можно положительно сказать, что развитіе всего человачества и каждаго общества совершается въ вида періодических приливова и отпусканій, въ вида волить, среди которыха подымаются свои грозные, всесокрушающіе девятые валы, бывають и свои минутныя затипья.

Любопытно при этомъ наблюдать тѣ неизмѣнно повторяющіеся симитомы общественной мысли, какими сопровождаются эти ажціи и реажціи. Подобныя наблюденія тѣмъболѣе поучительны, что ониясно показывають намъ, какъ ничтоженъ въ жизни нашей такъ называемый историческій опыть: мы постоянно видимъ, что люди, которые вчера еще смѣялись надъ своими предшественниками, сегодня повторяють ихъ глупости, слѣпо подчиняясь тому эпидемическому потатрію, которое, какъ колера, періодически возвращается, несмотря на всё предосторожности.

Одинаковость симптомовъ, сопровождающихъ акцін и реакціи, действительно поразительна. Такъ мы видимъ, что каждый приступъ какого-либо напряженнаго движенія общественной мысли и жизни неизм'єнно сопровождается сильнымъ развитіемъ скептицизма, который разъёдаетъ своимъ безпощаднымъ анализомъ всё устарёлые элементы мысли и жизни, смёло рушить вст старые кумиры и не щадить никакихъ тайниковъ ума и сердца. Въ эти дивныя минуты кровь обращается въ жидахъ сильнье, самый воздухъ бываетъ насыщенъ какимъ-то электричествомъ безпокойной отваги, мысль стремится въ головахъ людей въ какомъ-то вихрѣ, и имъ не сидится на мѣстѣ. Все будничное, обыденное тяготить ихъ; всв прославленныя въками добродътели азбукъ и прописей кажутся имъ сибшны и пошлы. Они не считають безполезною тратою времени разръшение существенныхъ вопросовъ мысли и жизни, не смотрятъ на попытки вносить въ жизнь свои мечты, какъ на безунную борьбу съ историческими судьбами, ихъ же не прейдеши, и въ этой отважной борьбѣ со стихіями они представляются исторіи поистинѣ могучими титанами.

Литература въ такія эпохи бываетъ скептическая, отрицательная по преимуществу. Но она осмѣиваетъ и бичуетъ не однѣ только завѣдомо-мрачныя стороны жизни, а идетъ далѣе: открываетъ смѣшное и пошлое и тамъ, гдѣ уличная толпа привыкла находить одни свѣтлыя явленія. Въ своетъ отрицаніи она доходитъ иногда до скептическихъ сарказмовъ надъ всѣмъ человѣчествомъ, обращается въ горькій плачъ надъ несостоятельностью человѣческаго рода вообще. Въ такія именно эпохи и создаются произведенія въ родѣ "Похвалы глупости» Эразма, первой части Фауста,

"Записокъ доктора Крупова" и пр. Понятно, что при такомъ размахѣ отрицанія, созданіе идеальныхъ типовъ въ духѣ отжившей морали бываетъ немыслимо. Понятія о добрѣ и злѣ, добродѣтеляхъ и порокахъ дотакой степени перемѣшиваются подъ вліяніемъ скептицияма, все запретное по кодексу обыденной морали дѣлается столь привлекательнымъ, что добродѣтельные герои, если и выводятся въ литературѣ, то являются обыкповенно въ самой непроглядной пошлости, стушевывалсь передъ демоническими героями отрицанія. Такъ добродѣтельный Крусцисферскій стушевывается передъ Вельтовымъ.

Но вотъ опускается волна жизни, кровь начинаетъ обращаться въ жилахъ медленно, мысль работать вяло, наступаетъ впоха всеобщей апатия, усталости и словно какого-то изнеможения... Съ одинаковышъ равнодушемъ глядатъ люди на смъхъ и слезы, на разгулъ пошлости, глупости и звърства. Мельчаютъ интересы, съуживаются понятія; прежине титаны сходятъ съ поприща плоявляется всякая мразь и нечисть обгладывать ихъ великіе трупы. Словомъ:

То быль вёкь богатирей; Но емёшались шашки, И полёзли изъ щелей Мошки да букащки.

Сившиве всего то, что эти мошки да букашки воображають обыкновенно, что они далеко ушли впередъ отъ павшихъ титановъ, которые конечно не годятся имъ и въ подметки. Они сифются обыкновенно надъ этими титанами, какъ надъ безумцами, утопистами, иделогами, теоретиками и воображають, что только съ нихъ началась истинная положительность, практичность, настоящее дело. И действительно, что толку мучиться и умирать безплодно надъ решеніемъ въковыхъ вопросовъ жизни? Развъ можно ръшить ихъ однимъ разрубленіемъ гордіева узла? Вдагоразумно ли бороться съ такими стихійными силами, какъ историческая необходимость, въковой строй быта? Однимъ словомъ, прежняя отвага, гордо говорившая---, или все или ничего", смъняется скромною, нищенскою логикою пришибленныхъ, приниженныхъ попрошаекъ, которые, робко протягивая руку жизни, просять у нея Христа-ради хоть чего-нибудь, хоть копъечку, все лучше, чемъ ничего...

Это пресловутое жоть что-мибудь дёлается господствующимъ принципомъ вёка, знаменемъ прогреса; въ немъ именно и полагаютъ мошки да букашки всю свою правтическую мудрость, всю суть истинной, современной положительности. О! сколько развращающаго и притупляющаго въ этомъ жоть что-мибудь, изъ-за котораго дёлаются уступка за уступками, продаются за грошъ самыя дорогія уб'яжденія, подавляются самыя святыя чувства, сквозь пальцы мотрится на многое, отъ чего должно было бы облиться кровью сердце каждаго мало-мальски порядочнаго человъка, и кончается дёло тупымъ, самодовольнымъ успокоеніемъ совести, подачею пятака на общую пользу—все хоть что-нибудь.

Вибств съ успокоеніемъ пытливаго духа анализа и отрицанія, снова возвращаются люди къ своикъ пенатамъ, къ своей будничной обстановкѣ; словно прокутившіеся блудные сынки подъ отечестві кровъ. Снова дѣлается мила сердцу прописная, уличная мораль съ ея умилительными добродѣтелями въ духѣ всѣмъ извѣстныхъ дѣтскихъ повѣстей съ благонравными Настеньками и послушными Коленьками. Люди перестаютъ быть гереями, но за то, Боже мой, какими они дѣлаются патріотами! Они терпятъ, допускаютъ, глотаютъ, унижаются, но взамѣнъ этого спѣшатъ навектризовать себя различными патріотическими чувствами, чтобы забыть свою личную низость въ созерцаніи величія ихъ отечества.

Литература въ такія эпохи дёлается безцёльною, безцветною, вялою, исполняется мелкими дрязгами, вспышками задорнаго самодюбія, инсинуаціями и клеветами всякаго рода. Вийсто принциповъ выступаютъ въ ней на первый планъ личности со всею своею грязью застоявшейся жизни. Художественныя произведенія, подчиняясь общему духу успокоенія, исподняются изящными картинками въ духв чистаго искусства, сказочными сюжетами, усладительными любовными сценками, нъжащими и разслабляющими мотивами жизни утонченнаго и сытаго комфорта. Съ негодованіемъ и презрѣніемъ относится литература къ прежнимъ своимъ героямъ отрицанія и сомнінія, и взамънъ ихъ создаетъ положительные типы, какъ для успокоенія сердець читателей, такъ и для ихъ назиданія, при чемъ героями ея оказываются тё же современные рыцари принесенія пятаковъ на общую пользу, скромные представители изщанскихъ добродътелей, тихаго семейнаго счастія и отдохновенія на лон'в улыбающейся сельской природы.

Подобную волну акціи и реакціи вы можете проследить, сравнивая между собою сороковые и иятидесятые годы. Какъ ни стёснена была мысль людей сороковыхъ годовъ, но это была могучая мысль, которая рвала всь преграды и увлекала за собою все. Въ самомъ воздухѣ въ это время было что-то отрицательное, скептическое. Люди ни на чемъ не могли остановиться и успоконться. Всё старыя преданія, предразсудки подвергались въ это время разлагающей критикъ; каждая попытка примиренія и успокоенія встръчалась злымъ, Едкимъ смёхомъ и, снова начиналась ломка всесокрушающаго скептицизма. Въ литературъ этого періода, эпохи сатанинскаго хохота доктора Крунова, вы не встретите ни одного добродетельнаго типа. Она выводила очень часто героевъ своего времени, каковы были Печоринъ, Вельтовъ и пр., но эти герои являлись не идеалами для подражанія, а лишь собирательными типами, представителями своихъ современниковъ со всемиихъ достоинствами и недостатками. И мало сказать, что достоинства и недостатки ихъ не имели ничего общаго съ правилами уличной морали, напротивъ того были діаметрально противоположны имъ. Ихъ достоинства въ томъ именно и заключались, что они не имъли ни одной добродътели, любимой пошлою толпою, какъ-то скопидомства, умънья ладить и привлекать, кротости, смиренія и пр. Муъ недостатки въсвою очередь совершенно не входили въ списокъ пороковъ и слабостей, преслъдуемыхъ моралистами: таковъ билъ недостатокъ духа единенія и активности.

До такой степени было заразительно повътріе времени, что даже Гоголь, человъкъ вполнъ стараго міросоверцанія, и тотъ увлекся въяніемъ всеобщаго скептицизма. Къ эпохѣ сорековыхъ годовъ относятся всѣ его комедіи съ Ревизоромъ во главѣ и первая часть мертвыхъ душъ. Прочтите эти призведенія; и въ свою очередь вы найдете въ нихъ рядъ отрицаній безъ малѣйшаго поползновенія успокоить на чемъ-нибудь читателя и примирить его съ дъйствительностью. Напротивъ того, вы видите, что въ Мертвыхъ душахъ Гоголь смѣется надъ добродѣтельными героями романовъ.

Но воть наступили пятидесятые годы, и куда дълось все это пов'тріе пытливаго анализа и отрицанія! Уже въ 48-мъ году круповскій кохотъ вдруть смѣнился самодовольнымъ хихиканьемъ Петра Ивановича Адуева, этого отъввшагося представителя узкой практичности, составденія карьеры и наживанія капиталовъ. И вдругъ критика, та самая критика, которая стояла во главъ эпохи отрицанія и сомнънія, -- не поняда всей оскорбительности появленія этого хохота въ литературъ, хотя бы онъ относился и къ вещамъ дъйствительно смешнымъ. Она не предугадала, что этотъ высокомърный хохотъ съ потрясениемъ брюшка не ограничится однимъ Александромъ Адуевымъ, а обратится ко всему, что только не подходить къ мудрости собиранія грошей. Критика прив'ятствовала Петра Ивановича Адуева, какъ представителя современной практичности, положительности. Въ одномъ этомъ фактъ видится начало конца. И этотъ конецъ не замедлилъ явиться.

Въ 1849 году большинства передовыхъ людей эпохи уже не было на поприщъ литературы и жизни. Оставшіеся накъ-то съежились, сжались и сдёлались тише воды, ниже травы. Такъ Грановскій, сказавши "стой" сомнёнію, положиль ему границу, за которою оставиль въ утвшение своей старости любимые призраки дётства, и вмёстё съ тёмъ началъ дёлать уступки за уступками, сделки за сделками, чтобы хоте чтомънибудь остаться полезнымъ московскому университету. Милютинъ, начавний свою литературную дъятельность рядомъ животрепещущихъ вопросовъ, разбился на мелкіе спеціальные вопросики. Въ журналистикт оказалось полное отсутствее критики, публицистики. Въ ней прододжали повидимому господствовать прежнія симпатіи и антипатіи, прежнія иден, направленія. Но все это крайне съузилось, опошлилось. Наступила эпоха усладительныхъ пъснопъній Фета, Тютчева и Ап. Майкова, эпоха воспеваній рыбныхъ ловлей въ Парголовъ, натріотическихъ чувствоизліяній и классическихъ Пропилей съ ихъ мелочными археологическими изысканіями. Даже Кукольникъ, всеми давно забытый и уничтоженный критикою Велинскаго, воскресъ и на сценъ Александринскаго театра, и на страницахъ журналовъ съ своими воинственными драмами и безконечными романами, и о

немъ заговорили въ литературѣ съ нѣкоторымъ уваженіемъ.

Натуральная школа все еще существовала, но въ какомъ жалкомъ видъ существовала она! При своемъ возникновеніи школа эта поставила широкую программу изображенія русской жизни во всей ся сложности и всесторонняго анадиза этой жизни. Но програмиа эта оказалась вскор'в неисполнима. Большинство беллетристовъ пятидесятыхъ головъ изъ всей русской жизни хорошо знали одну только жизнь помещичьихъ усадьбъ, да и ее съ одной только стороны: какъ она проявляется разодетая, приглаженная, припомаженная въ парадныхъ комнатахъ и салонахъ... И вотъ изъ натуральной школы вышелъ особенный родъ поэзіи баловъ, семейныхъ праздниковъ, пикниковъ, объдовъ, - поэзін идиллическихъ сельскихъ ландшафтовъ, нъжныхъ свиданій при лунь подъ свнію густолиственныхъ, запущенныхъ садовъ, и утонченнаго анализа разныхъ моментовъ дюбви возникающей или гаснущей, непризнанной или обманутой и пр.

Вмъстъ съ этимъ съужениемъ круга содержанія беллетристики измънидся и духъ ся направленія. Разслабляющая нервы, изиъживающая сценами любви, исполненными утонченной, художественной и тъмъ болъе возбудительной чувственности, беллетристика изгидесятыхъ годовъ вполнъ утратила прежній духъ отрицанія и сомпънія и обратилась въ своихъ конечныхъ выводахъ къ кодексу обыденной, ругинной мо-

na.ru

Желая дать отдохнуть сердцу читателя на положительных сторонахъ нашей жизни, она начала выводить доблестныхъ героевъ принесенія пятаковъ — благонравныхъ, благовоспитанныхъ, великодушныхъ, практическихъ, постоянныхъ въ любви и дружов — Волынцевыхъ, Штольцевъ и прочія такъ называемыя черноземныя натуры и силы — представителей непосредственной естественности, или, сказать проще, беззавътнаго невъжества и міросозерцанія въ духъ Домостроя...

Выли и въ эту эпоху свои исключенія, пробивалась своя живая струйка сквозь груду всякаго мусора. Иногда появлялись произведенія безъ всякаго желанія успокоить и примірить читателя на какой-пибудь рутинной пошлости подъ видомъ непосредственной сетественности. Но это были одни исключенія, служившія признакомъ, что общество не окончательно еще пало и что въ немъ танлась еще искра жизни.

Воть подъ вліяніемъ какихъ тяжвихъ, неблагопріятныхъ условій литературы и жизни начала свое
поприще въ 1849 г. Надежда Дмитріевна Хвощинская,
извъстная подъ псевдониюмъ В. Крестовскій. При
этомъ нужно замѣтить, что литературная судьба этой
иссательницы весьма оригинальна: 40 лѣтъ подвизалась на литературномъ поприщѣ Хвощинская и въ
этотъ періодъ времени она, можно сказать, пережила
двѣ славы. Въ 50-е годы, годы наиболѣе плодовитой
дѣятельности Хвощинской, она обращала на себя постоянно общее вниманіе публики и была въ числѣ любимъйшихъ писателей. Нумеръ Отечественныхъ Записокъ съ повѣстью или романомъ ея привѣтственно
встрѣчался всѣми. Но вотъ пастали гордые, заносчивые 60-е годы — и Хвощинская вдругъ словно сту-

шевалась. Публика совершенно забыла свою прежнюю любимицу, не вспоминая о ней хотя бы даже и лихомъ. Довольно того, что когда въ 1859 году вышло полное изданіе романовъ Хвощинской, - критика Добролюбова совершенно игнорировала это явленіе, хотя Добролюбовъ имълъ неръдко надобность отвываться о писателяхъ въ неизмѣримой степени менѣе даровитыхъ и не имъющихъ и десятой доли того значенія, какое имала въ свое время Хвошинская такъ, напримъръ, посвятилъ же Добролюбовъ статью произведеніямъ графини Ростопчиной. Но вотъ настали 70-е годы, Хвощинская словно воскресла изъ мертвыхъ. Снова публика вспомнила о своей прежней любимиць. Последній романь Хвощинской, "Большая Медвъдина", обратилъ на себя внимание публики. какъ одно изъ дучшихъ произведеній прошедшаго года. Газетные рецензенты не замедлили подробно расписать обо всёхъ достоинствахъ и недостаткахъ этого романа; о "Большой Мелведице" говорили, спорили, редко кто ея не читаль... Какъ же вы теперь объясните молчание о Хвощинской 60-хъ головъ и внезапное возвращение сочувствія къ нікогда любимой писательница въ наше время? Или таланть ея. неудовлетворявшій почему-либо 50-е годы, вдругъ развился и возросъ въ наше время до высшаго уровня современнаго искусства, или же наоборотъ не возвращается и наше общество, и литература къ эпохъ 50-хъ годовъ? Анализъ произведеній Хвощинской въ связи съ измѣненіями духа общественнаго движенія въ различныя эпохи долженъ дать намъ отвётъ на этотъ вопросъ.

II.

Перечитывая произведенія Хвощинской 50-хъ годовъ, вы постоянно чувствуете невыразимую жалость, видя передъ собою могучій, свіжій, оригинальный н весьма симпатичный таланть и чувствуя, какъ онъ не можеть такъ сказать расправить крыдьевъ, сжатый съ одной стороны узкостью круга наблюденій, а съ другой, что еще того хуже-узкостью самого міросоверцанія писателя. Развившись на почет 50-хъ годовъ, въ эпоху апатіи, застоя и полной разъединенности общества, таланть этоть поневоль вошель въ узкую колею тогдашней белдетристики. При этомъ нужно зам'ятить, что, какъ писательница, Хвощинская принуждена была еще болье съуванть ту тысную сферу наблюденій, въ которую замкнута была беллетристика 50 хъ годовъ. Какъ ни жалокъ былъ кругъ наблюдательности писателя-мужчины въ 50-е годы, но онъ все-таки быль значительно шире круга наблюдательности образованной женщины въ эту эпоху. Мужчина все-таки сталкивался хоть сколько нибудь съ различными слоями жизни виж своей среды. Для наблюдательности женщины открыта была исключительно одна только жизнь девичьихъ, детскихъ, будуаровъ и гостиныхъ, жизнь баловъ, парадныхъ пріемовъ, утонченныхъ разговоровъ о чувствахъ и нежныхъ интимныхъ беседъ подъзвуки фортепьяно. Женщина могла только отвлеченно судить, что где-то совершаются какіе-то общественные подвиги и гадости, но самые герои этихъ гадостей

постоянно являлись передъ женщиною не иначе, какъ своею парадною стороною, во фракахъ, раздушенные физически и нравственно... Молодой администраторъ, покоритель сердецъ провинціальныхъ барышень, можеть быть только и делаль на службе, что читаль газеты, сплетничаль, зъваль да потягивался, но это ему не мѣшало являться въ салонъ такимъ утомленнымъ и ораторствовать передъ женщиною о тягости исполненія долга отечеству. Капитанъ-исправникъ, только-что съ піною у рта оравшій на оторопівлыхъ крестьянъ, могъ очень дегко представиться наблюдательницъ добрымъ старичкомъ стараго закада, выше всего ставящимъ правду-матку... При такихъ условіяхъ женщина могла анализировать людей только въ той степени, какъ проявляются они въ семьв, въ свътскихъ развлеченіяхъ, и главное дъло-по отношенію къ ней самой.

Этими причинами обусловливается тотъ узкій кругъ жизни, который обнимають собою романы Хвощинской. Она ограничивается почти исключительно изображеніемъ свётской жизни провинціальныхъ круговъ, — это романы баловъ, пикниковъ и сельскихъ стдохновеній. Преобладающими типами этихъ романовъ являются на первоиъ планъ коварная интригантка-матушка, съ молоду кокетка, тщеславная любительница роскоши, блеску и свётскихъ развлеченій, а подъ старость суровая ханжа или нервная тиранка, которая держить весь домь въ ежовыхъ рукавицахъ, производитъ ежедневно чувствительныя нервныя сцены съ истериками и выдаетъ своихъ дочерей за первыхъ попавшихся болвановъ ради поправленія финансовъ и положенія въ свете, не принимая при этомъ въ разсчетъ слезъ и рыданій дівушекъ, — однимъ словомъ, это видоизмъненный сообразно времени типъ Простаковой. На второмъ планъ парадируетъ добрякъотецъ, ни во что не входящій, съ молоду украшавшійся рогами, приставляемыми нъжной супругой, а подъ старость выдерживающій ежедневно ея истерики, покоряющися безусловно ея непоколебимой волв и оплакивающій судьбу дочерей, выдаваемых ва негодневъ. Дале идетъ типъ изнеженнаго, избалованнаго селадона съ высокими фразами о чувствахъ, объ обязанностяхь и вполит несостоятельнаго на дель, оказывающагося и коварнымъ другомъ, и безхарактернымъ любовникомъ. Затемъ следуетъ типъ сынка, обезличеннаго и доведеннаго до последней степени идіотизма подъ гнетомъ материнскаго деспотизма, соединеннато съ баловствомъ, типъ Митрофанушки нашего времени. Наконецъ, следуетъ рядъ девушекъ простыхъ, добрыхъ, способныхъ глубоко и сильно полюбить, но совершенно въ свою очередь обезличенныхъ и доведенныхъ до пассивнаго повиновенія. Вотъ кругъ любимыхъ типовъ Хвощинской, которые парадирують при небольшихъ видоизмененияхъ въ большинствъ ея романовъ. Едва только выходить изъ этого круга Хвощинская, какъ ужъ етъ сочинять или выводить такіе блёдные очерки, въ которыхъ и не узнаешь живой, осязательной дъйствительности. Такъ напримъръ въ повъсти "Баритонъ « Хвощинская покусилась вывести передъ нами быть семинаристовъ. Но стоить прочесть рядомъ съ "Баритоновъ" "Очерки Бурсы" Помяловскаго, которые кстати появились въ литературѣ въ одно почти время съ "Баритономъ", чтобы увидѣть, насколько Хвощинская знаетъ дѣйствительный быть семинаристовъ. Бурсаки въ повѣсти ея выглядятъ совершенно вербными херувимчиками передъ чудищами "Очерковъ Бурсы".

Но при этомъ надо замътить, что какъ ни тъсна сфера наблюдательности Хвощинской, авторъ глубово изучилъ жизнь своего уголка, во всей его ужасающей пустотъ лжи и крайняго растлънія. Здъсь мы по всей справедливости можемъ сказать, что хотя для уиственнаго кругозора женщинъ были недоступны многія сферы жизни, какія могъ наблюдать мужчина, но за то тѣ сферы жизни, въ которыхъ вращалась женщина, она постигала не однимъ наблюденіемъ со стороны, но тяжелымъ опытомъ самой жизни, всемъ своимъ существомъ. Вся одуряющая пошдость, дожь, растивнность этой жизни тяжелымъ гнетомъ ложились на женщину, какъ на существо безправное, угнетенное и лишенное часто всякой возможности выбиться изъ своего положенія. Мужчина, которому тяжело жилось подъ домашнею кровлею и въ кругу провинціальнаго сплетничества, могъ убхать учиться, служить, путешествовать; издали гнеть чувствовался менъе сильно, и даже совсъмъ не чувствовался. Та саная губернская сплетня, которая была весьма снисходительна къ мужчинъ, или надъ которою онъ смёндся, молодецки заломивъ на бекрень шапку, женщину уничтожала. По этимъ причинамъ вы не найдете въ произведеніяхъ Хвощинской того эпикурейско-художественнаго отношения къ жизни. какое встратите въ произведенияхъ мужчинъ-писателей 50-хъ годовъ. Послёдніе изображали передъ нами ту-же самую жизнь, но умели ее какъ-то смягчить, представить въ игриво-граціозномъ изящномъ видь, благосклонно отдать справедливость нъсколькимъ добрымъ качестванъ какой-нибудь сельской мегеры—въ родъ, напримъръ, гостепримства, здраваго сиысла и простоты патріархальных в нравовъ. Одиниъ словомъ, весьма естественно, что люди, которымъ жилось весело, привольно и легко, были расположены везде находить светдыя и поэтическія стороны. Они не чувствовали на самихъ себъ всего ужасающаго гнета пошлости и зла, и эти стороны жизни вовсе не казадись имъ такъ ужасны. Счастіе или несчастіе всей ихъ жизни зависъли часто отъ единственнаго вопроса: полюбить или не полюбить? Этоть вопросъ и развивали они преимущественно въ своихъ произведе-

Проивведенія Хвопіннской пятилесятыхъ годовъ, напротивъ того, отличаются почти полнымъ отсутсутствіемъ чистой художественности и диллетантскаго отношенія къ жизни. Вы не найдете въ нихъ ни одной черточки, которая не служила-би къ опредвленной, серьевно задуманной цёли. Если у Хвощинской и встрѣчаются различныя описанія природы, то
всегда въ возможно сжатомъ видѣ на столько, на
сколько это необходимо для декораціи описываемаго
собятія и приданія колорита разсказу, и никогда
Хвощинская не увлекается ландшафтомъ до забвенія
главной цёли, къ которой ведетъ свой разсказъ. Сцены любви отличаются у Хвощинской, въ свою оче-

редь, цёломудренною чистотою; вы не найдете въ нихъ и тени того сластолюбиваго упоенія, съ какимъ пишутся обыжновенно эти сцены нашими писатедямиселадонами; по большей части это сцены слевь и рыданій любви, попираемой различными неправлами и дрязгами жизни. Живо и глубоко чувствуя всеми своими нервами, если можно такъ выразиться, всю одуряющую ложь пошлой жизни светскаго досуга, постигши всю грязь провинціальных сплетень, тщеславія, зависти и мелкой злости, весь давящій, обезличивающій и уничтожающій гнеть семейнаго деспотизма. Хвощинская не смягчаеть, не идеализируеть всей этой печальной действительности, а изображаеть ее во всей ен безобразной наготь, не жалья красокъ, не жалъя анализа, крайне утонченнаго, подчасъ даже, если можно такъ выразиться, поистинъ микроскопическаго. Каждый ея романъ-потрясающая драма, въ концъконцовъ которой у васъ непременно разрывается сердце при вид' какой-нибудь жертвы той среды, которую изображаетъ обыкновенно Хвощинская. Эта жертвапо большей части женщина: или молодая дівушка, судьбою которой родители распоряжаются, какъ имъ угодно, тщетно рыдающая у ногъ ихъ въ мольбахъ о своемъ счастін; или старая діва, представляющаяся мишенью для плоскихъ насмёщекъ высокомёрныхъ благод втелей, пріютивших в ее из в жалости, и праздныхъ селадоновъ, приходящихъ къ нимъ въ гости: или молодая дана-вдова, которую какой-нибудь пошлый свётскій хлыщь и волокита позволяеть себ'я компрометтировать безнаказанно въ глазахъ свъта, и она не знаетъ, куда дъться ей подъ гнетомъ стращныхъ клеветъ и сплетень, обрушивающихся на нее со всихъ сторонъ въ праздномъ обществи, которое радо посплетничать отъ нечего дълать, ради забавы.

Но при всёхъ этихъ несомненныхъ достоинствахъ, отличающихъ романы Хвощинской, вы все-таки чувствуете, читая ихъ, что вы неудовлетворены, что чего-то вамъ не достаетъ. Точно какъ будто надъ вами виситъ низенькій потолокъ и мёшаетъ вамъ вздох-чуть полною грудью. Вы плачете надъ печальною судьбою героевъ Хвощинской, а между тёмъ чувствуете въ то-же время, что въ васъ сидитъ какой-то неудержимый хохотъ, которымъ хочется вамъ осмёять этихъ-же героевъ. Иногда-же вдругъ вы чувствуете, читая роматъ, ту неловкостъ, съ которою выслупиваютъ обыкновенно нравственныя поученя. Что это за причина? Объ этомъ мы поговоримъ въ слёдующей главъ.

III.

Казалось-бы, что по всёмъ своимъ симпатіямъ и антипатіямъ Хвощинская вполнё согласовалась съ духомъ шестидесятыхъ годовъ и должна была-бы быть цёнима этою эпохою болёе всёхъ писателей пятидесятыхъ годовъ. Но это можетъ казаться только съ перваго взгляда.

Дело въ томъ, что те-же изтидесятые годы, которые не дали Хвощинской широты наблюденія, не дали ей и широты міросозерданія. Все несчастіє Хвощинской заключается въ томъ, что таланть ея развился подъ вліяніемъ эпохи затишья, паденія вол-

ны, и это помѣнало Хвощинской глубоко усвоить, если можно такъ выразиться, всю суть злобы нашего XIX вѣка.

Злоба нашего въка заключается не въ одномъ только отриданіи различныхъ личныхъ отступленій отъ правилъ рутинной морали, но въ отрицаніи самой этой морали, въ отрицаніи всіхъ отжившихъ идеаловъ совершенства и счастія. Нашъ скептическій въкъ нашелъ бездну противоръчій, какъ въ самомъ кодексъ этой морали, такъ и въ приложени ея къ жизни. Такъ, напримъръ, попробуйте согласить хотябы благонравное желаніе помочь ближнему съ темъ нравственнымъ унижениемъ, въ какое вы ставите ближняго этою помощью, попробуйте отдёлить чувство признательности-отъ низкопоклонства передъ благод втелемъ. Попробуйте согласовать ненасытность желаній, этотъ могучій и чуть-ли не единственный рычагь всего прогреса человичества, съ мудрымъ правиломъ довольствоваться малымъ, скромною жизнію честнаго труда подъ соломенною кровлею и пр. Захотите вы помогать ближнимъ, желая быть идеальнымъ человъкомъ, вы рискуете или застыть въ высомфрной роли благодътеля, или-же ежедневно испытывать тяжелое чувство, правственно унижая людей своими благодъяніями. Не хотите вы принимать на себя роди благодетеля, вы рискуете сделаться этоистомъ, глухимъ къ страданіямъ ближнихъ. Вздумаете вы следовать естественному побуждению расширять свои потребности до безконечности и искать имъ удовлетворенія, вы рискуете сдёлаться эксплуататоромъ; начнете ограничивать ваши желанія, -- рискуете со всемь вашимь честнымь трудомъ и возвышенными чувствами обратиться въ ограниченную посредственность, въ выючное животное, на которомъ будутъ возить воду люди, держащіеся противоположных правилъ, и пр.

Вся эта путаница жизни періодически выдвигаеть людей, которые, указывая на эти противоръчія и изыскивая средства избавиться отъ нихъ. и составляють злобу въка. Надо-ди говорить, что сами по себѣ эти люди вовсе не представляются воплошениемъ добродътелей? Въдь они созданы тою-же средою, какъ и всё прочіе ихъ ближніе, и въ своей практикъ жизни принуждены также путаться въ неисходныхъ противорѣчіяхъ, какъ и всѣ смертные, потому что такъ устроена жизнь, и другой какой-нибудь жизни, кром'в данной, въ наличности не имъется. Если люли въ эпохи наиболье напряженнаго импульса общественной жизни выходящіе впередъ подъ именемъ новыхъ людей, героевъ въка, являются лучше другихъ, то лучше они единственно сознаніемъ несостоятельности даннаго строя жизни, непримиримою готовностью жертвовать всёмъ ради стремленія измёнить этотъ строй. Впрочемъ, и жертвовать-то, собственно говоря, бываеть имъ нечего. Съ одной стороны скептицизмъ, съ другой - рядъ страданій, которыя выносять они изъ жизни, отнимають у нихъ особенную любовь къ окружающей ихъ действительности. Они не верятъ въ возможность достиженія личнаго счастія и совершенства въ недрахъ той жизни, которою пресмыкается большинство. Они убъждены, что это счастие достижимо не иначе, какъ путемъ такихъ сделокъ, въ

результать которыхъ, при всемъ искреннемъ стремленін къ идеальному совершенству, непременно лежитъ отупаніе и растланіе. Каждое новое движеніе создаеть новыхъ людей въ такомъ роде и каждый разъ эти люди, при всёхъ общихъ свойствахъ этой породы, имъютъ свои особенныя начества, создаваемыя эпохой; но еще разъ повторяю, качества эти не имфють ничего общаго съ прекрасными добродетелями азбукъ и прописей. Такъ, напримъръ, были эпохи, въ которыя лучшіе и наиболье живые люди поневоль являлись праздными и безполезными скитальцами, тогда какъ на всякой прописи вы прочтете, что праздность есть мать всёхъ пороковъ. Есть и теперь огромная среда, въ которой наиболье хорошіе люди являются въ видь горчайшихъ пьяницъ. Йаконецъ, вы найдете въ исторіи нісколько такихъ мгновеній, когда единственную живую искупительную силу дучшихъ людей составляло ожесточение. Такимъ былъ, напримъръ, Вильгельмъ - Телль со своими героями, а что-же хорошаго въ ожесточени съ точки зрѣнія обыденной морали?

Посят всего этого понятнымъ становится, что истинный художникъ, художникъ правды, никогда не будеть дълать тщетныхъ и совершенно нехудожественныхъ попытокъ изображать передъ вами ндеальныхъ людей въ духъ обыденной морали. Если только онъ глубокомысленный, безпристрастный и и всесторонній наблюдатель, то наблюденія не замедлять привести его къ убъжденію, что удичная мораль, мораль азбукъ и прописей представляется ни чёмъ инымъ, какъ застывшею скорлупою, которую огненная лава жизни рветь и мечеть во всё стороны, а гдъ скорлупа тверда или сида жизни немощна прорвать ее, тамъ неминуемо водаряются молчание и колодъ смерти и зловонный сирадъ гніенія. Поэтому не върьте художнику, если онъ представитъ вамъ добродетельнаго, совершеннаго человека, добраго, гуманнаго, мягкаго, вседовольнаго, деятельнаго въ сфере скромной практики, не задающагося несбыточными мечтами и сіяющаго счастіємъ въ кругу семейнаго и общественнаго служенія. Подобный господинъ, если только не выдуманъ художникомъ, если только это не чудовищный Костанжогло, если онъ взять художникомъ изъ жизни, то значитъ художникъ недостаточно глубоко изучилъ его и выдаетъ вамъ издный пятакъ за червонецъ. Въ такопъ случав вапъ сапинъ не ившаетъ присмотръться внимательнъе къ идеалу художника, и навърно вы откроете подъ мнимыми добродътелями черты обыденнаго черстваго филистера, типъ золотой, близорукой посредственности, самодовольнаго, грубаго резонерства, плаксивой сентиментальности и пр. Истинные художники, жившіе въ эпохи сильныхъ умственныхъ возбужденій общества и глубоко постигшіе злобу въка, никогда и не дълали попытокъ созданія идеальныхъ людей среди жизни. неспособной по своему строю создавать нравственныя совершенства. Типы-же лучшихъ людей въка, выведенные ими, являются передъ вами отнюдь не идеальными и сіяющими въ сознаніи своихъ совершенствъ; напротивъ того, они отражають въ себв всв муки, страданія и болезни века. Они допускають критическое отношение къ себъ, и сходятъ съ поприща виъсть со своимъ въкомъ. Таковы были Чацкій, Онъгинъ, Печовитъ, Бельтовъ, Рязановъ.

Величайшій недостатокъ романовъ Хвошинской въ томъ собственно и состоитъ, что, не въ силахъ будучи остановиться на одномъ отрицаніи, она сивішить успокоить читателей, выводя рядъ свётлыхъ явленій, положительныхъ, идеальныхъ типовъ, но эти типы явдяются совершенно въ духф смиренномудрія пятидесятыхъ годовъ. Хвощинской въ голову какъ-будто не приходитъ, что нисколько не идеальные, мало-мальски живые люди не могли-бы и минуты остаться въ недрахъ той затхлой среды, которую она изображаетъ. Они обжали-бы изъ этой среды, куда видно, и въ этомъ бъгствъ изаключалось-быихъ единственное право на званіе живыхъ людей. Большинство-же идеальныхъ героевъ Хвощинской, обыкновенно принадлежа кътой-же средъ, занимаются тъми-же пустяками, какъ и никуда негодные люди, которыхъ Хвощинская отрицаеть. Живя такою жизнію, какою живеть вся эта среда, эти герои остаются при всемъ этомъ идеальными, по крайней мъръ мы должны върить Хвощинской, что они идеальные, потому что Хвощинская надъляетъ ихъ всевозможными добродътелями обыденной морали, въ родъ постоянства въ любви и въ дружбъ, гуманности къ низшимъ, честности въ денежныхъ разсчетахъ и пр., и пр. Но подъ всеми этими качествами передъ вами, вопреки желанію самого автора, такъ и проглядывають или филистерство, или узкая ограниченность ивщанской посредственности, или-же невообразимая тряпичность. Особенно любить часто Хвощинская оттвнять светскую среду людьми несветского покроя, всевозможными бъдняками и тружениками. Но всъ бъдные труженики въ свою очередь являются у нея очень жалкими существами подъ личиною идеальныхъ совершенствъ. Всё они терпять тысячу всевозможныхъ оскорбленій со стороны светских в хлыщей, и не только хлыщамъ проходитъ все это безнаказанно, но въ то-же время вы видите, что бедняковъ какой-то магнитъ такъ и тянетъ непременно въ ту самую свётскую среду, гдв имъ нътъ мъста. Да полно, знаетъ-ли Хвощинская не идеальныхъ, а имъющихъ хоть каплю самолюбія людей изъ среды бедныхъ тружениковъ?

Нѣсколько подробный анализъ двухъ трехъ типовъ изъ романовъ Хвощинской нагляднѣе познакомитъ насъ съ идеалами этого писателя.

Прежде всего возьмемъ повъсть Хвощинской "Прихолскій учитель"

На первыхъ-же страницахъ этой повъсти васъ поражають феномены по-истинъ удивительные. Вы видите объдняка, круглаго сироту, безъ родныхъ, безъ средствъ, но имъющаго доблестнаго покровителя въ лицъ иткоето Алексън Петровича, бившаго пачальникомъ отца героя. Доблестный покровитель опредъляетъ героя приходскимъ учителемъ, и герой торжествуетъ, изливая въ своемъ дневникъ итклые потоки своихъ чувствъ и восторговъ по поводу улыбающейся природы, сельской простоты и своей скромности... "Деревня, глушъ—восклицаетъ онъ—этого митъ давно хотълось: душа мон давно сотворена для нихъ; молодая, она любитъ тънь и тишину, тъсный приотъ, скромный уголъ. Все это мечталось митъ еще въ классахъ. Не митъ шумъть въ свътъ, и охотно уступаю я другимъ свое мѣсто въ его волненіяхъ, свою долю въ его славѣ, почестяхъ, даже довольствѣ. Мнѣ нужно очень немногое... ...

Всё эти чувства скромный но съ возвышенною душою молодой человекъ издагаетъ въ почтительныхъ письмахъ къ своему благодетелю. Благодетель, въ свою очередь, присылаетъ ему длинныя письма, наполненныя наставительныхъ поученій, которыя приводять полодого человека въ умиление: "Письмо восклицаетъ онъ-такъ-же благородно, полно доброты, веселости и милой насмёшки, какъ тотъ, кто имсалъ его!.. "Читаете вы далве и видите, что молодой человъкъ все болъе и болъе торжествуетъ на лонъ улыбающейся природы... Онъ ходить со своими учениками, сельскими ребятами любоваться заходомъ солнца и дълится съ ними ощущеніями по этому поводу, заставляеть ихъ долбить таблицу умноженія, читаетъ, пишетъ, умиляется при получении каждаго письма отъ благодетеля и аккуратно записываетъ въ дневникъ каждое свое ощущеньице. Дъти души въ немъ не видятъ, начальство одобряетъ его и онъ этимъ очень доволенъ. Одобрение начальства еще болже усиливаеть въ немъ рвеніе къ ділу....

Но вдругъ поселяется по состаству молодая помъщица, и все довольство, все спокойствіе благонравнаго и благонадежнаго молодого человъка рушится. Отъ скуки эта помъщица приманиваетъ къ себе бъднаго приходскаго учителя и начинаетъ съ нимъ кометничатъ. У бъднаго молодого человъка голова пошла кругомъ. Забяты и ульбающаяся природа, и книги, и школа. "Бъдная школа! — пишетъ въ своемъ дневникъ нашъ герой — стоило не заняться ею мъсяцъ — и все разстроено. Вмёсто понятливыхъ дътей, начинавшихъ любить ученье, вокругъ меня школьнижи, которымъ любить ученье, вокругъ меня школьнижи, которымъ лишь-бы кончитъ. Меня начали не слушимъся и не бояться. Грустно; жаль; виноватъ я, но я и не могу не быть виноватымъ. Утъщаться своимъ дълонъ я болъе не умъю..."

Цълые вечера началъ просиживать молодой человъть въ салонъ кокетливой сирены, не обращая вниманія на все свое жалкое и унивительное положеніе ничтожной игрушки въ рукахъ скучающей барьени и притомъ такой ничтожной, мелкой игрушки, съ которою не церемонились. "Со мной она мучительно-ивиъточива—пишетъ онъ въ своемъ дневникъ— то внимательна и добра, встръчаетъ привътливо, говоритъ не умолкая, заставляетъ читать себъ, приглашаетъ провожать въ прогулкахъ; то не замъчаетъ; тутъ-ли я, или, еще хуже, преслъдуетъ колкостями и насиъшками. Прикажетъ придти, и тутъ-же призоветъ управляющаго и толкуетъ о несносномъ тяжебномъ дълъ, которому конца нътъ. И такъ цълые часъ..."

Читая все это, вы приходите къ невольному заключеню, что Хвощинская иронизируетъ, что она сознательно выводитъ передъ вами типъ безхарактерной размазни, благонамъренной посредственности во всей ея трапичности. Но вскоръ вы жестоко разочаровываетесь въ своем предположении. Читая далъе, вы видите, что сочувствие автора къ своему герою ростетъ не по страницамъ, а по строкамъ; передъ вами не осмъиваемая личность, а напротивъ, воспъваемая за свои добродътели дъйствительно необыкновеннаго свой-

ства. Дело въ томъ, что коварная помещица продаетъ свое имъніе и уважаетъ, оставя, конечно, своего обожателя въ полномъ пренебрежении. Новыми владельцами именія делаются Ардабьевы, состоящіе изъ великосвътской барыни, двухъ дочерей и пасынка. Пасынокъ Ардабьевъ представляется вамъ весьма ловко и удачно очерченнымъ типомъ безхарактернаго, избалованнаго селадона, который жалуется на свою праздность, отсутствіе всякой самостоятельности всябдствіе излишней заботливости мачихи, а самъ въ то-же время палецъ о палецъ не двинетъ, чтобы выйти изъ своего положенія. Подобный господинь, сходясь съ приходскимъ учителемъ, дёлается закадычнымъ другомъ его, и герой нашъ привязывается къ своему другу, что называется, по гробъ жизни. Между прочимъ, Ардабьевъ волочится за нъкоею Софьею Николаевною, дочерью небогатаго пом'вщика, которая гостить у Ардабьевыхъ. Особенной любви онъ къ ней не чувствуетъ, а такъ балуется отъ скуки и праздности. Приходскій учитель, въ свою очередь, влюбляется въ Софью Николаевну, но видя, что за нею ухаживаетъ Ардабьевъ и предполагая, что она влюблена, въ свою очередь, въ Ардабьева, решается скромно пожертвовать своею любовью милому другу. Здёсь вы видите самоножертвование въ пользу друга — добродътель № 1-ñ.

Затыть Ардабьевъ проигрывается въ картишки. Достать денегъ ему неоткуда, а мачихи онъ боится. Тогда доблестный другъ рѣшается для него на новое самопожертвованіе: рискуя потерять уваженіе благодітеля, онъ пишетъ ему письмо, въ которомъ разсказываетъ ему придуманную исторію, что будто онъ, увлекшись игрою, проигрался и просить у него денегъ. Влогодітель присылаетъ денегъ — и другъ вырученъ изъ беды. Новое великодушіе, относящееся кътой-же добродітели № 1-й.

Далѣе, затѣмъ, герой нашъ подслушивает разговоръ Ардабьева съ Софьей Николаевной, изъ котораго узнаетъ, что Софьи Николаевна любитъ его, бъднаго приходскаго учителя, а Ардабьева презираетъ. При этомъ приходскій учитель убѣждается, какъ люди коварны. Тотъ самый другъ, которому онъ пожертвовалъ уваженіемъ благодѣтеля, которато выручилъ изъ бѣды,—этотъ самый другъ, выслушавъ признаніе Софьи Николаевны, начинаетъ третировать своего спасителя съ презрительными насмѣшками барича, который не можетъ переварить, что какая-то мелочь, иразь, въ видѣ приходскаго учителя, сдѣлалась вдругъ счастливымъ соперникомъ и передъ кѣмъ-же, передъ нимъ, Ардабьевымъ.

Вѣдный герой нашъ горестно оплакиваетъ изиѣну и коварство друга, но стоитъ ему услышать одно его нѣжное слово, и онъ снова бросается въ его объятія. Здѣсь вы видите постоянство въ дружоѣ и забвеніе обидъ—добродѣтели № 2-й и 3-й.

Герой нашъ мићетъ отъ восторга, узнавши, что онъ взанино любимъ, и притомъ такимъ совершенствомъ, какъ Софья Николаевна, но онъ бъденъ, онъ не можетъ составить счастія любимой дъвушки, онъ не хочетъ забсть ея живни, подвергая ее всъмъ ужасамъ нищеты, и ръшается разстаться съ нею. Добродътель безъ названія— № 4.

Но за всё эти огорченія, испытанія и пожертвованія, герой нашъ вознаграждается подъ конецъ повѣсти сторицею: благодѣтель узнаеть, что его протеже ѝ не думаль проигрываться и что заемъ денегь у него быль со стороны учителя подвигомъ самопожертвованія. Конечно, льются со всѣхъ сторонъ слезы умиленія и герой уѣзкаетъ изъ села на зовъ своего высокаго благодѣтеля въ его отеческія объятія...

Читатель, можеть быть, возразить мий, прочитавши всю эту сентиментальную разманню, что "Приходскій учитель" — одна изъ первыхъ повёстей Хвощинской, написанная, безъ сомнёнія, въ ранней юности, и что ее не слёдуеть вовсе брать во вимманіе при оцёнкй таланта ен. Возьмемъ-же наиболіе зріжое и самое удачное произведеніе Хвощинской "Въ ожиданіи лучшаго", напечатанное въ "Русскомъ Вёстникі", въ 58-мъ или 59-мъ году.

Мы не будемъ говорить объ отрицательныхъ типахъ романа. Эти типы столь-же безукоризненны, какъ и въ прочихъ произведеніяхъ Хвощинской, и даже, если котите, очерчены съ гораздо большем тщательностью, рельефностью и полнотою.

Лица всего княжескаго семейства—старуха княтиня Десятова, ея внуки—Вася и Жанъ, ея приживальщицы—Аделанда Григорьевна и Анна Өедоровна съ
дочерью Полиною, словно живые рисуются передъ вами въ романъ въ своей будничной обстановкъ. Мы
посмотримъ на положительные характеры романа,
идеальные типы, которыми Хвощинская оттъняетъ
изображаемую ею среду. Здъсь намъ представится
совершенно особенный міръ идеальныхъ армейскихъ
артиллеристовъ и еще болъе идеальныхъ управляющихъ инънями...

Дѣло въ томъ, что у княгини Десятовой была крестница, которая вышла замужъ за армейскаго артиллериста Алексинскаго, человѣка, одареннаго красотою, состояніемъ и всёми возможными добродѣтелями; но по уши втянувшаяся въ свѣтскую жизнь, безхарактерная и легкомысленная, Алексинская не могла оцѣнить всѣхъ достоинствъ своего идеальнаго мужа и у молодыхъ супруговъ начался естепенный, въ такомъ случаф, разладъ. Съ характеромъ разлада насъ отлично познакомить сама Алексинская въ своемъ привнаніи княгинѣ.

— Вы знаете, maman, продолжала Катерина Александровна:—что, когда, четыре года назадъ, я вышла за Nicolas, и не любила его de cet amour immense, этою безибрною любовью, которою мы бы должны любить того, кому отдаемъ всю жизнь. Ј'étais orpheline, on m'a mal conseillé. Nicolas модъ, хорошъ собою, конечно; и ничего не могла сказать противъ этого; можетъ быть, было и увлеченіе съ моей стороны. Но у него былы свои принички, у меня—мои. Помните, патапа, всъ, и вы говорили, что тутъ между нами бездна?

— Я это всегда говорила, отвечала княгини; — конечно, твой мужь и хорошь собой, и съ прекраснымь состояніемь, и не глупь, но вы съ нимъ разнаго круга, а сколько тамъ ихъ ни воспитывай... что онъ? артиллерійскій офицерь быль, армейскій; что же онъ видёль? Вышель въ отставку, заставили его; только ты ввела его куда-нибудь.

— Да, татап, и вы знаете, что это стоило труда. Я должна была выносить это. Вы знаете, какъ трудно сдёлать что нибудь такъ, въ семействъ, между мужемъ и женой, чтобы одна сторона не замъчала вліянія другой. Мой мужъ сталъ недоволенъ, что я брала на себя этотъ трудъ.

— Le sot! прервала княгиня:—что же, лучше то общество, въ которомъ онъ таскался, se trainait là, въ провинци?

— Не знаю, отвѣчала, покраснѣвъ, молодая женщина:—но онъ бялъ недоволенъ, онъ даже выражать, что это ему непріятно. Я понимаю... я не эгонетка, а понимаю, что его самолюбіе было затронуто; но и онъ долженъ былъ понять, что это необходимо... Вы не повърите, пашап, я выдерживала сцены!.. Онъ страстно любилъ меня, я это знаю, онъ это доказываль, но какое упрямство! Онъ сталъ умолять меня избавить его отъ этой «школы приличія». Вотъ я даже заучила фразу! Потомъ онъ сталъ умолять меня отдалиться отъ моего общества; то говорилъ, что оно слишкомъ часто насъ разучастъ, то оно сму въ тягость, наконецъ, что оно пусто.

«Княгиня покачала головою, ульбаясь.
— Что же мив оставалось двлать? я сказала ему, въ минуту раздраженія, dans un moment d'irritation, что не могу же я для него бросить кругь, гдв для меня все родное. Я стала выважать одна. Ло этого времени я все думала, все върила, что онъ меня любить. Онъ ничего не выговаривалъ мив, ни въ чемъ не противоръчилъ, но сдълался такъ несносно скученъ, что, право, раздражать миѣ нервы. Молчить, читаеть. Я стала просто убитать наз дома. Онъ отыскаль какихъ-то старыхъ друзей; они начали появляться у него. Это были не оргіи, о, нъть! но сберутся, разговаривають, курять, все это иногда за полночь. Случалось, я возвращаюсь съ бала и нахожу это общество уже не въ его кабинеть, но въ заль; на одномъ столь ужинъ, на другомъ шахматы, мой рояль открыть! Его пріятель какой-то пъвалъ романсы. Онъ вздумалъ представить мив этого пъвца: страшный, съ длинивищими усами; вы можете вообразить, какъ мало меня интересоваль его теноръ!.. Я думаю, эти физіономіи сделали тогда на меня такое впечатиеніе, что... Тогда я была въ такомъ положения... Я должна отдать Nicolas эту справедливость; онъ, казалось, быль самь готовь упасть въ обморокъ, если видъть, что я бивдника. Но что за манера беречь мое здоровье, удерживая меня дома? Я продолжала выбъжать, coute que coute. Тогда родилась мон Лили... Мис говорили, что мужь мой сходиль сь ума оть радости, а потомъ съ горя, когда я едва не умерла. Онъ, говорили миъ, десять дней не пилъ, не ълъ, не спалъ, не отходя отъ моей постели. Я не могла этому върить, когда онъ брадъ на руки Лили; не знаю, чего я всегда боялась, ел нъжное личико и его лицо вийсти cela me faisait un effet terrible... Онъ не даль мив привязаться къ этому ребенку... впрочемъ, слава Богу, что не далъ: я потеряла съ-на такъ скоро, еще не оправясь сама! Тутъ его слезы... Не эгонэмъ ди быль съ его стороны мучить меня слезами, жалобами? развѣ я не должна быть для него дороже ребенка, котораго и онъ, и я равно лишились? Туть я поняла, какъ, въ два года, мы стали далеки другь отъ друга. Между нами все было кончено, въ глубинъ сердца. Я это чувствовала... Мы побхали въ деревню. Онъ оставляль меня одну, по цёлымъ днямъ хозяйничалъ. У меня было только чтеніе, работа. Онъ предлагаль прогулки... но въдь это нестерпимо, когда люди уже не понимають другь друга! Я имъла мужество и, право, могу сказать это не хвалясь, я имъда достоинство не обманивать его, не притворяться, не скрывать чувства холода, скуки, которое онъ мнъ внушаль...

— Давно пора было дёлать это; замѣтила жингиня, прилежно работавшан:—надо было начать съ этого. Эти господа способин какъ разъ вовгордиться при малѣйшемъ вниманіи женъ. Что же, онъ дѣлалъ тебь спены?

- О, нъть, никогда. Онъ молчаль.

— Какъ человъкъ ничтожный.

— Но онъ отметиль мив, maman!

— Отметиль? Какь? развь онь способень?

— Hélas, оці, татапі Едва мы воротилнов сюда, онъ возобновиль свои старын знакомства, надвлаль новыхь, по своему вкусу, сталь убажать дать дома такъ же часто, какъ прежде и убажала отъ него, сталь игратъ.,, Это продолжается два года... En un mot, maman, il me neglige!

«Катерина Александровна прослезилась».

Прочитавши эту тираду, вотъ вы и пораздумайте, какъ смотреть вамъ на героя романа: какъ на идеальный, добродетельный типъ, или какъ на человека съ головою, положительно какою-то деревянною. Съ одной стороны, чёмъ же онъ не идеалисть: посмотрите, какъ нѣжно, глубоко, страстно, постоянно любитъ онъ свою жену, просиживаетъ ночи у ея изголовья, когда она больна, проливаеть горькія слезы при видъ умершей малютки. Какая возвышенная страсть, что за нѣжное сердце!.. Посмотрите, какъ тяготить его пустое свётское общество, со всею его чонорностью: онъ бъжить отъ хладнаго свъта въ кружокъ милыхъ друзей, такихъ же простыхъ, добрыхъ, гуманныхъ, какъ и онъ самъ, и въ этомъ кружке длятся за полночь задушевныя бесёды о добрё, истинё, благё... И этого ангела во плоти не понимаетъ его пустая, вътреная супруга! О, сколько горя причиняетъ она ему! А онъ, коть бы слово упрека. Молчить и страждеть, ища въ кружкъ друзей развлечения отъ домашняго горя.

Но рядомъ со всёмъ этимъ, вы видите, что въ этомъ герой не хватало настолько здраваго смысла, чтобы, если не до свадьбы, то въ первые же мъсяцы супружества понять всю суть своей супруги и всю пропасть, которая лежитъ между имъ и ею, пропасть, замътъте, которую видъли всъ, кромъ него. Какъ не искажены всъ понятія Алексинской, какъ ни легкомысленно судить она обо всемъ, но читая вышеприведенную тираду ея, вы невольно сознаетесь, что она гораздо умиве своего мужа и правъе его.

Въ самомъ дёлё, чёмъ же она виновата, что расходится съ мужемъ и въ привычкахъ, и въ понятіяхъ, и въ симпатіяхъ? Чемъ виновата она, что она его не любить, что онъ даже отвратителенъ ей? Она въдь не скрываеть своего охлажденія къ нему, не притворяется дюбящею, не обманываетъ его. Казалось бы, что, не имъя никакихъ идеальныхъ совершенствъ, человъкъ, одаренный коть каплею простого, грошоваго самолюбія, могъ бы принять въ соображеніе, что разъ его не понимаютъ, не ценятъ, не любятъ, то нечего надобдать женщинъ своею непрошенною любовью, а остается разорвать съ нею всякія сношенія или устроить жизнь такъ, чтобы не мъшать другъ другу... Но ужь я не знаю, до какихъ только невозможныхъ, немыслимыхъ предёловъ доходитъ, трудно и назвать что-тупоуміе, сліпота или крайняя дряблость Алексинскаго, который продолжаетъ донимать супругу своею нёжною страстью, упрашиваеть ее не ъхать въ деревню, куда она хочетъ скрыться хоть на время отъ напоблавшаго ей человбка, пишеть ей нажныя письма, въ роде того, что двадцать - четыре часа безъ нея были очень долги, мечется во всф стороны, чуть не умираетъ, узнавши объ ея изивнъ и,

наконецъ, лишаетъ себя жизни, убѣдившись окончательно въ ея пошлости.

Я не хочу утверждать, чтобы такихъ людей, какъ Алексинскій, не было въ дъйствительности; но въ жизни такіе люди представляются весьма жалки и дряблы. Они являются передъ вами вполнъ произведеніями той же среды, которая выдвигаеть передъ вами героевъ въ родъ Катерины Александровны, Полины, Жана и прочихъ личностей романа, и нисколько они не лучше этихъ лицъ. Отчасти преследуя узкіе идеальчики въ духѣ прописной морали, отчасти руководясь слепыми, безотчетными страстями, люди эти способны нападать болье зла, чыть даже обыденные, пошлые люди той же среды, не беря въ разсчетъ, что жизнь ихъ въ основаніяхъ своихъ лежитъ на такихъ же ложныхъ началахъ, какъ и жизнь Десятовыхъ. Въ самомъ деле, у такихъ людей, какъ Алексинскій и пріятель его Неряцкій, не достаеть на столько здраваго смысла и простой деликатности, чтобы не навязываться женщинь со своими чувствами и понятіями, которыя она и не понимаеть, и не разделяеть, не тиранить ее своими нравоученіями, подсматриваніями, подслушиваніями (зам'ячательно, что у Хвощинской идеальные типы усердно подслушивають при всякомъ удобномъ случав), великодушными прощеніями и проч. Въ этомъ отношении, какъ ни пошлы осмъиваемые Хвощинскою свътскіе люди, но они являются гораздо здравомыслящее идеальныхъ героевъ, а старуха Десятова положительно умиве всёхъ въ романт. Ее нисколько не удивляетъ разладъ съ мужемъ ея крестницы, она не прибъгаетъ при этомъ ни къ какимъ правоучительнымъ сентенціямъ о святости семейнаго долга и обязанностяхъ жены, а напротивъ того, когда крестница возражаеть, что при всемъ раздадъ она не разделяеть съ мужемъ денежныхъ счетовъ, княгиня хладнокровно отв'ячаетъ на это:

разделить...

Положимъ, она произносить эти слова изъ опасенія, чтобы Алексинскій не прокутиль денегь своей жены. Но изъ какихъ бы пошлыхъ побужденій ни сказала княгиня эти слова, во всякомъ случав, не въ тысячу-ли разъ благоразумнъе ея отношение въ дълу, чемь всё эти нравственныя разглагольствованія, навязыванія и терзанія во имя идеальныхъ призраковъ семейнаго счастія со стороны Алексинскаго и Неряцкаго? Не заботясь ни о какихъ идеалахъ любви и семейнаго долга, княгиня въ то же время весьма послъдовательно разсуждаеть, что если существуеть пропасть между мужемъ и женою, то эту пропасть ничемъ не наполнишь, и витсто того, чтобы трудиться понапрасну о построеніи черезъ эту пропасть соломенныхъ мостиковъ, не честиве ли признать фактъ разлада, какъ онъ есть и идти до конца, безъ всякихъ остановожъ, колебаній и оглядываній: если нётъ любви и согласія, если все идетъ врозь--и привычки, и симпатіи, то естественно остается раздълиться и имуще-

Въ неизмъримой степени гуманите и деликатите оказывается княгиня и во взглядт на связь Алексинской съ Жаномъ... Она не спітшить оглушить свою крестницу громами упрековъ за измъну ея супруже-

скому полгу, не терзаеть и безъ того несчастную женщину изъявленіями лицем'врнаго негодованія и презрвнія къ падшей преступниць. Она очень хорошо, повидимому, понимаетъ, что если женщина не любитъ олного, то никакими силами и законами не потушите въ ней любви къ другому, и было-бы въ высшей степени жестоко и безчеловъчно клеймить позоромъ и оскорбленіями женщину за то, что ея сердце не новинуется правственнымъ сентенціямъ. Вы посмотрите, какъ гуманно и деликатно встречаетъ княгиня крестницу после всего семейнаго погрома.

«Недъли черезъ двъ, Катерина Александровна прівхала въ Бубново. Вася бъжаль оть нея, самъ не зная чего скунфузясь. Княгиня поднялась на этаблисманъ и встрътила ее привътливо.
— Bonjour, mon enfant. Тебя давно не видно.

«Молодая женщина была сконфужена и дрожала. Она, въ родъ Васи, сама не знала чего боялась; ласковый пріемъ княгини ее ободриль и разчувствоваль; она обнялась со старухой и векричала

Ah, chère maman, je suis une malheureuse! Что такое? спросила княгиня, наморщивъ брови:-мужь твой болень? Это еще не большая печаль.

- Ему лучие, татап, тегсі... Я потому и не была у вась... Ему дучие, мы даже скоро возвратимся въ Москву, какъ только будеть можно. Этимъ временемъ... я столько вынесла, chère maman, что, право, надо, чтобы Богъ далъ силу отдохнуть отъ всего. Я даже думала вхать заграницу.
- Что-же? — Нъть я потомъ разочла сама. Мит лучше быть между своими, между обществомъ, которое мнъ давно знакомо, нежели одной, въ чужой земяй, съ นาเมช!..
- Развъ твой мужъ хотъль тоже ъхать? спросила съ усмъшкой киягиня.
- Да. Онъ и предлагалъ мив. - Ему-то, заграницу! сказада княгиня, продол-
- жая усмъхаться.—Ну, что онъ? Ничего, все тоже... отвъчала Катерина Александровна, потупляя голову.
- Franchement, ii n'y avait rien entre vous? спросила княгиня.
- Oh, rien! отвъчала поспъшно Катерина Александровна.
 - Въ самомъ дѣлѣ?
- Клянусь вамъ... И за что-же? И онъ все по прежнему влюбленъ? спросила княгиня, улыбаясь съ удовольствіемъ особы, рой эта сцена напоминаеть ся собственное прошлое.
- О, но прежнему, отвъчала Катерина Александровна.
- Il est bête, mais la perle des maris, произнесла княгиня:—только скучно съ нимъ оченъ; рес-сурсовъ ужь никакихъ. Впрочемъ, въ Москвъ тебъ будуть развлеченія, будешь выззжать, принимать у себя.

Онъ объщаль мнъ два бала.
- Назначь дни, кромъ того. Я пріъду къ тебъ играть. Останься теперь у меня на весь день. Нех-деновъ прівдеть, а то я безъ партіи.

«Катерина Александровна подумала, что это ея обязанность, и сняла шляпку. Она подумала еще, освъжившись въ родномъ ей обществъ, что вынесла слишкомъ много въ эти горькіе дни отъ грубыхъ людей, и можеть позволить себь изсколько часовь удовольствія. Она стала очень весела и поиграла въ саду въ воланъ съ Васей».

Теперь вы сравните эту сцену съ следующими нравственными истязаніями, которымъ подвергаетъ Катерину Александровну въ качествъ представителя идеальнаго совершенства Неряцкій.

- Отворите, Катерина Александровна, послышалось вдругь за дверью балкона.

Она вскочила и машинально отворила; вошель Неряцкій.

De quel droit, monsieur... начала она, теряясь, гивваясь, испугавшись.

- Я видёль, что вы еще не ложились, отвёчаль онь, запирая дверь спальни:— a de quel droit, это ужь я знаю. Вы знаете, что вашь мужь болень? Я присылаль вамъ сказать, - сказали вамъ? Почему вы не пришли къ нему въ ту же минуту?

— А по какому праву вы меня допрашиваете? возразила Катерина Александровна:—вы забываетесь; c'est une insolence, ça n'a pas de nom...

А то, что вы сдёлали, - какъ назвать? прерваль онь тихо. — То, что вы сделали, Катерина Александровна, избавляеть отъ учтивости съ вами. Понимаете вы это? Извольте сказать мив, что вы,а потомъ кричите, что я забываюсь.

- О, какая низость, какая низость! векричала Катерина Александровна, рыдая и падая въ крес-до.—Vous êtes un homme horrible, вы сдёлали мое несчастіе, вы донесли на меня, вы осм'ялились ва

мной подсматривать, подслушивать. - Не подслушиваль, а только слышаль! Не подсматриваль, а только увидёль ваше унижение: вы сами выставляли его на показъ цёлому свёту! Вы обезумѣли! Если-бы, четыре дня тому назадъ, не прибъжаль я сюда, Пехлецовъ засталь бы васъ съ вашимъ княземъ.

– Monsieur Неряцкій!

 Я не доносияъ, —я долженъ быль призвать вашего мужа!

— И призвали! наслаждайтесь вашимъ дъломъ! Онъ меня убъетъ!

- Нътъ, сы его убъете... Да думаете-ли вы когда нибудь о чемъ нибудь? Есть у васъ сердце, или нътъ? Онъ вамъ прощаетъ, а вы ему чъмъ платите? слезами и мольбами за любовника! Вы мий скажите, васъ учили хоть катехизису? Толковали вамъ, что такое совъсть? Вы поклоны земные кладете на умиленіе всей вашей дворни,—а есть ли въ вашей дворнъ женщина, которая бы пала ниже вась?

«Катерина Александровна вскочила, не имъя силы

вскрикнуть. - Обидълись? продолжаль Неряцкій:-- да въ вечернихъ молитвахъ вашихъ вы, благочестивая, раз-бираете ли себя? Вотъ онъ, глубокій разврать! Вы отдались отъ нечего ділать, отъ пустоты, отъ лів-ни понять честнаго человіка, который загубиль себя, связавшись съ вами... вы отдались, а не полюбили. Любить вы не умфете, шначе, вы бы любили вашего мужа! Это даже не страсть, это у вась такъ, препровождение времени, привычка... и даже въ ней никакого достоинства! Я видель, слышаль: негодий васъ больше знать не хочеть, а вы въщаетесь ему

на шею... - Sortez, monsieur Неряцкій! вскричала Катерина Александровна.

— Я бы убиль васъ, продолжаль онъ:—безъ ма-лъйшаго права, я-бы убиль васъ! Я бы не сталь, какъ этотъ несчастний, совать себъ пистолеть въ роть... какъ удалось его выхватить! Не надо васъ на светь, —не потому, что вы неверная жена, не потому, что вы одного оскорбили, —а потому что вы отвратительное порождение отвратительнаго общества, потому что вы медки, развращены, потому что, погубивъ человъка, вы пищите о томъ, что будеть съ вами и какъ на васъ поглядять тамъ, въ свътъ вашемъ... будь онъ проклять! Слушайте, что я говорю: вамъ этого не говорили и никто не скажеть!... Воть вы вся туть: от умираеть, вы романы читаете! «Неряцкій бросиль книгу о поль...

Но довольно, довольно! Силь итть выносить болье возмутительности этой сцены, этихъ наглыхъ, безивльныхъ и безчеловвчныхъ рвчей грубаго пошляка,

принявшаго на себя доброводьно и безъ всякихъ правъ фарисейскую роль нравственнаго налача!.. И хоть-бы вспомнила эта ходячая мораль, величественно напоминающая о катехизись, притчу "о блудниць" изъ того же катехизиса или всемъ известное изречение , не судите, да не судимы будете!.. Такъ вотъ они каковы эти идеальныя совершенства Хвощинской, вотъ она калова, по метнію Хвощинской, та среда, въ которой она видить противоположность светской пустоты. Признаться сказать, эта прославляемая среда представляется въ романъ неизмъримо нелъпъе и пошлее светской среды и последняя является передъ нами поистинъ во сто разъ гуманнъе и цивилизованнъе. Послъ этого понятно, что Катерину Александровну тянуло въ общество, где не тыкали въ нее пальцами, не позволяли себѣ дѣлать ей грубыхъ оскорбленій во имя того, что она нала и поэтому, моль, лишается права учтивости съ нею; понятно. что она бъжала отъ людей, которые не съ однихъ свётскихъ точекъ эрвнія, а на самомъ дёлё являются передъ нами грубыми дикарями и невоспитанными невъждами. Что же это за дрянная среда, которую Хвощинская представила намъ, какъ витстилище правственныхъ совершенствъ? Откуда взяла она своихъ безобразныхъ героевъ? А это не что иное, какъ среда самодовольнаго, грубаго мѣщанства, равно ненавистная, какъ для людей большаго свёта, такъ и для противоположныхъ имъ людей злобы нашего въка. Здесь мы должны кстати заметить, что какъ ни противоположны между собою люди большаго света и люди злобы въка, но въ то же время они гораздо более имеють общаго во многихь своихъ правилахъ, чёмъ оба эти сорта людей съ мёщанскою средою. Вы ножете сколько угодно обвинять пустоту свётской жизни, но вифстф съ этимъ, съ точки зрфнія самыхъ передовыхъ идей века, вы должны отдать полную справедливость многимъ светскимъ правиламъ, такъ напримеръ, хотя бы мудрейшему правилу не соваться съ непрошеннымъ участіемъ въ чужія семейныя дёла, не позволять себ' давать сов'товъ, когда у васъ ихъ не спрашивають, и не пускаться въ поральныя сентенціи, если вы не носите на себ'є рясы, которая васъ къ этому обязываетъ. Въ сиду этихъ правидъ, истинно свътскій человъкъ никогда не позволить себъ надёлять нравственными оплеухами женщину, измёнившую мужу; онъ способенъ даже и съ преступникомъ любезно заговорить о политикъ или погодъ, ни словомъ, ни движеніемъ не намекая, что онъ передъ этимъ преступникомъ нравственное совершенство. Крайности въ этомъ отношении сходятся. Но полно, крайности ли это? Тв привычки истинно-светскаго воспитанія, которыя делають человека равно со всеми привътливымъ, любезнымъ, деликатнымъ и сдержаннымъ, особенно въ щекотливыхъ семейныхъ вопросахъ, не являются ли закостенфвщими и обратившимися въ безсознательныя привычки, отголосками той энохи, когда среда, создавшая эти светскія правила, стояла во главъ умственнаго движенія въка, впервые додумалась до основныхъ началъ нравственной эмансипаціи и провозгласила первые уроки истинной гуманности. Впоследствіи умственное движеніе перешло въ другія сферы общества; светская среда

застыла въ томъ виде, въ какомъ остановилась ея жизнь; гуманныя идеи выветрились изъ ея сознанія, но многія изъ правиль, которыя некогда возникли изъ этихъ идей, остались въ ней въ виде культурныхъ привычекъ, безсознательно передаваемыхъ отъ отцовъ дътямъ. Въ силу этого пребыванія гуманныхъ и прогресивныхъ идей за кулисами безсознательныхъ, повидимому, свётскихъ привычекъ, последнія и имъють въ себъ такую привлекательность и силу, что дъдаются обязательными для каждаго мало-мальски образованнаго человска. Такъ, напримеръ, возьмите хоть свътскій обычай, въ силу котораго мужъ и жена имъютъ не только отдельныя спальни, но и отдельныя половины квартиръ, и не только чужой человекъ, но и мужъ не можетъ войти въ спальню женщины безъ ея позволенія. Развѣ въ этомъ законѣ вы не видите перваго шага эмансипаціи женщины и ея равноправности? Женщина, безответная раба, не сместь не только помышлять о прав'в пускать или не пускать мужа въ спальню, не сметь обыкновенно иметь и свою спальню. Но до такой степени сильно еще варварство мещанскихъ нравовъ, что когда въ подовинъ шестидесятыхъ годовъ явился романъ, въ воторомъ авторъ рекомендовалъ такое устройство семейной жизни, грубая мъщанская среда вдругъ пришла въ ужасъ и забила тревогу о покушеніи на семейную нравственность, забывши, что подобный обычай давно существуеть въ томъ самомъ свътскомъ обществъ, съ котораго такъ постоянно и такъ пошло старается обезьяничать та же самая мъщанская среда. Герои же Хвощинской находятся на такой еще низкой ступени цивилизаціи, что, какъ мы видели, позволяють себе насильно врываться въ спальню женщины, даже не будучи ихъ мужьями. Впрочемъ, что же значитъ врываніе въ спальню передъ нахальнымъ врываніемъ въ нравственный міръ человіка! Это ужь, конечно, пустяки — такъ, ничтожные свътскіе обычаи, которыми нравственный герой всегда можетъ пренебречь. Развъ можеть быть вопросъ о схватываніи за волосы, когда вследъ за этимъ готовится ударъ ножемъ въ сердце?

Но вы, можетъ быть, скажете, что Хвощинская и не думала выставлять такихъ господъ, какъ Адексинскій и Неряцкій, правственными идеалами; что она нарисовала намъ нѣсколько типовъ въ тѣхъ ихъ столкновеніяхъ, въ какихъ они представлялись ей въ самой жизни, предоставдия читателю самому выволить какія угодно заключенія изъ анализа этихъ типовъ. Но Хвощинския вовсе не принадлежить къ числу писательницъ вполнё объективныхъ и относящихся къ своимъ типамъ съ полнымъ безразличіемъ; впрочемъ, такихъ писателей и не бываетъ. Хвощинская не упускаеть ни одной отрицательной черточки своихъ героевъ, чтобы не указать на нее читателямъ. Къ Алексинскому же и Неряцкому она относится съ безусловной симпатіей, какъ къ типамъ вполить положительнымъ, и въ особенности къ Неряцкому. Вотъ заключительныя слова ея романа:

«Неряцкій, впрочемъ, давно не управляющій въ Вознесенскомъ; онъ въ то же люто простился съ Алексинскимъ. Съ тъхъ поръ онъ перебивалъ почти во всёхъ концахъ Россіи, съёздиль въ Америку, и теперь занимается устройствомъ одного чугуниваго вавода. Люди, какъ онъ, не затериваются, а когда человъкъ занятъ, ему легко живется».

Мы тоже снажемъ, въ свою очередь, что люди, подобные Нерящкому, не затериваются, и что легко живется на свётъ подобнымъ устроителямъ чугунныхъ заволовъ съ ихъ чугунными ложми и нервами.

Но мы представили читателямь, въ лицѣ приходскаго учителя, Алексинскаго и Неряцкаго — наиболѣе типичныхъ представителей идеальнаго міра Хвощинской. Далѣе слѣдуеть рядъ личностей совершенно безпрѣтныхъ, различныхъ добродѣтельныхъ помѣщьювъ средней руки, идеальныхъ чиновниковъ гражданской палаты и пр., и пр. Характеры эти совершенно соотвѣтствуютъ стереотипнымь героямъ заурядныхъ французскихъ романовъ. Таковы, напримѣръ, Бѣлягинъ въ романѣ "Кто-жь остался доволенъ? «, Карзановъ въ романѣ "Кпо-жь остался доволенъ? «, Карзановъ въ романѣ "Испытаніе", Нестоевъ въ романѣ "Послѣднее дѣйствіе въ комедіи" — все это больше ничего, какъ — благородные јешпе ргетіегь, умѣющіе постоянно и пламенно любить и мужественно отстанвать свою честь нередъ дуломъ пистолета...

Послъ этого всего понятно, что шестидесятые годы не могли удовлетворяться романами Хвощинской. Съ одной стороны, шестидесятые годы не находили ничего новаго въ ея отрицаніи свътской пустоты, — конькъ, достаточно изъвзжанномъ нашею литературою со временъ сатирическихъ журналовъ Новикова. Но это-бы еще ничего, а главное то, что тотъ идеальный міръ, который противопоставляетъ Хвощинская своимъ отрицаніямъ, является передъ нами, именно, тъмъ саиымъ міромъ, надъ которымъ болье всего смыялись шестидесятые годы. Герои узенькихъ идеальчиковъ ившанскаго счастья и ивщанскихъ добродътелей, рыцари блаженной серединки, представители постепеннаго прогреса - это были тв самые господа, которые наиболже кричали: "въ наше время, когда"; публично хвастались въ газетахъ, что они не берутъ взятокъ, были въчно вседовольны и всесовершенны, и впоследствии первые встали въ ряды благоразуиныхъ съятелей и піонеровъ, принявшихся расчищать поле россійскаго прогреса отъ вредныхъ плевелъ безразсуднаго отрицанія. Въ то же время, хотя шестидесятые годы симпатизировали людямъ честнаго труда, возставая на среду свътской праздности, но подъ людьми честнаго труда они разумъли вовсе не сердобольныя посредственности, довольствующіяся скромною жизнью подъ соломенною крышей, и тёмъ менье тыхь тружениковь, которые толкутся въ переднихъ благодетелей и втираются, во что бы то ни стало, въ светское общество, чтобы сидеть тамъ, хоть на кончикъ стола, глотая всякія униженія.

TV

Да, шестидесятые годы были гордою эпохой, которая не умёда и не хотёла мириться на какихъ-небудь узенькихъ и маленькихъ идеальчикахъ. Шестидесятые годы требовали отъ литературы, чтобы она лучше не выводила ничего положительнаго, идеальнаго, чёмъ обманывала людей, утёшая ихъ приничными героями, изъ-подъ сусальнаго золота которыхъ выглядывало бы копбечное тёсто.

Но измёнились времена и снова упала волна нашей жизни. И опять мельчають интересы, мельчають люди; опять жизнь начинаеть тянуться день за день, безцветно и вяло, и опять им видиить въ литературе те же неизивнные симптомы. Снова героями ея сдвлались рыпари пятаковъ, благоленные администраторы въ ріпсе-пех и съ пушистыти бакенбардами, ревностные поборники и вщанских в доброд втелей и установители россійскаго прогреса въ благоприличные предвлы. Эти рыцари величественно красуются въ современныхъ романахъ, пылая негодованиемъ и презрѣниемъ къ павшимъ и отошедшимъ въ въчностъ героямъ отрицанія и сомнёнія шестидесятыхъ годовъ, которыхъ усердные романисты спёшать въ запуски осмёнвать и освистывать. Снова подняла голову узкая, мъщанская мораль, делающая передовые вопросы литературы и жизни изъ карточки актрисы, снявшейся слишкомъ декольте, или излишняго поднятія ноги танцовшипею. И въ этомъ отношении стыдливая и скроино потупляющая взоры литература нашего времени вполнь уподобляется старой дывь, которая чымь болые ахаеть и возмущается о безиравственности, чемъ болбе старается отогнать отъ себя всякія нечистыя жысли, твиъ болве преследують ся воображение самыя соблазнительныя картины. Совершенно точно такъ же и тв изъ нашихъ дитераторовъ, которые наиболве быють тревогу о паденіи нравовъ, въ то же время наиболбе угощають читателей клубничными сценами санаго вожделеннаго свойства.

Вивств со всёмъ тёмъ вы слышите въ литературъ и грубые, нахальные голоса, напоминающие вамъ вполит поборниковъ нравственности въ родъ Неряцкаго... Совершенно въ pendant Неряцкому, находившему, что Катерина Александровна, изм'єнивши мужу, лишается этимъ права на учтивость, и эти голоса негодують на судей, обращающихся въжливо съ подсудимыми. Въкъ Неряцкихъ, въкъ грядущаго господства грубаго ивщанства требуеть, чтобы преступникамъ читались такія же нотаціи, какія Неряцкій читаль Катерина Александровна, и что всего смашиле, подобные голоса раздаются изъ той самой части литературы, которая болже всего претендуеть на защиту свътскихъ интересовъ и свътскихъ нравовъ! Послъ этого всего понятно, что при всеобщемъ измельчании литературныхъ интересовъ, при крайнемъ съужении литературной мысли—романъ Хвощинской "Большая Медвъдица" приходится вполнъ въ уровень нашему времени. Въ шестидесятыхъ годахъ романъ этотъ коекъмъ прочелся бы, кое-кому понравился, но навърное остался бы безъ вниманія, какъ, напримірь, остался незамъченнымъ въ свое время романъ "Въ ожидании лучшаго". Но въ наше время "Большая Медвёдица" сдълалась вдругъ передовымъ явленіемъ литературы, несмотря на то, что романъ этотъ нетолько что ниже "Въ ожидании лучшаго", но не выдерживаетъ критики сравнительно съ многими произведеніями Хвощинской пятидесятыхъ годовъ.

Говорять, что въ романт вы встретите множество прекрасныхъ отдельныхъ сцент, отделанныхъ съ неподражаемымъ художествомъ, что многіе светскіе и провинціальные типы очерчены съ рельефностью и выдержанностью недюжиннаго таланта, таковы Лидія Верховская, Волкаревы, Духановъ и пр., что общественныя симпатіи и антипатіи автора вполит честны

и современны и проч. и проч. Но при этомъ забывають, что развъ можно судить о достоинствъ романа по несколькимъ отдельнымъ сценамъ и местамъ, по двумъ, тремъ удачнымъ типамъ, забывая, что сила романа въ техъ обобщенияхъ жизни и въ техъ выводахъ, къ которымъ приходитъ читатель изъ чтенія всего романа отъ начала до конца. Отдельныя прекрасныя мёста и удачно очерченные типы вы встрётите и въ "Отцахъ и дътяхъ" Тургенева, и въ "Взбаламученномъ моръ "Писенскаго, а тъмъ болъе въ "Обрывъ" Гончарова, но между тъмъ люди, маломальски серьезно смотрящіе на литературу, остались почему-то недовольными этими произведеніями при всёхъ ихъ эстетическихъ красотахъ. Что же касается до честности симпатій и антипатій автора, то что намъ до нихъ за дёло, если мы видимъ, что авторъ питаетъ симпатін къ тому, о чемъ онъ имфетъ весьма смутныя и неопределенныя понятія; мы не знаемъ, можетъ быть, онъ и не сиппатизироваль бы этимъ самымъ явленіямъ жизни, еслибы изучиль ихъ, какъ следуетъ.

Прежде всего поражаеть вась въ романа крайная неестественность главнаго героя романа Верховскаго; но что всего сибшнае, вы видите такого рода неестественность, при условів которой только и оказалась возможною фабула романа, то-есть поставь авторъ своего героя на вполна естественную почву — и романь далае первой части оказался бы невозможень.

Чтобы читатель могь судить, какъ неестественъ Верховскій, мы сравнимъ его съ героемъ небольшой повъсти Хвощинской "Искушеніе", написанной въ 1854 году.

Герой этой повъсти — Озеринъ представляется вполить прототиномъ Верховскаго. Въ повъсти развивается передъ вами та же самая борьба честной бъдности съ искушеніемъ разбогатъть легкимъ, но постыднымъ образомъ. У Озерина богатъй дядя, который объщаетъ сділать его наслёдникомъ всъхъ своихъ богатствъ съ тъмъ, чтобы онъ помогъ ему выпрать неправедный процессъ, грозящій разореніемъ цілому семейству. Но надо замѣтить, что та же самая пдея развита въ повъсти въ неявмърмой степени естественнъе и върнъе, чъмъ въ "Вольшой Медвъдицъ".

Съ одной стороны, вы не понимаете, какъ такая идеальная женщина, какъ мать Верховскаго, могла воспитать такого дряннаго и слабохарактернаго сына. Въдь вы подужанте, что за обстановка окружала Верховскаго въ детстве. Мать его по смерти отца бросила все прежнее --- свътскую праздность, балы и наряды, -- не захотъла слышать ни о какихъ благодъяніякъ и протекціяхъ и начала самостоятельно зарабатывать честный хлёбъ уроками. Сынъ въ промежуткахъ чтенія, занятій, переводовъ, англійскихъ уроковъ, носилъ воду, кололъ дрова, топилъ печи, подметалъ дворъ... "Онъ прежде любилъ ее, говоритъ Хвощинская: въ бёдности сталь обожать. Онъ видёль, что она не старалась выказывать твердость, только для того, чтобы поддержать его: она не притворялась, она была тверда въ самомъ дёлё, въ самомъ деле товарищъ, съ которымъ легко жилось, при которомъ было стыдно сробъть или залъниться. Она была его нравственной силой, говорить далье Хвощинская, какъ будто прямо издеваясь надъ читателемъ: ему хотёлось быть чёмъ-нибудь для нея. Онъ сталъ ея радостью. Бёдность была велика, но велико было счастіе всякій день больше и больше любить другъ друга, встръчаться каждое угро съ восторгомъ, будто послё разлуки нёсколькихъ годовъ, жить только вдвоемъ— и все не наговориться".

Какъ же это изъ такого воспитанія Верховскій не вынесь никакого правственнаго закала и поддался, очертя голову, первому искушенію, когда отъ него въ то же время никто не требоваль, никто не ждаль такой ужасной жертвы. Неужели мать, читая, бесёдуя съ юношей, никогда не натыкалась на вопросъ о женитьов, и ей въ голову не пришло внушить сыну, что такое значить -- жениться на богатой, или съ другой стороны, неужели она никогда не говорила ему, чего она ожидаеть отъ него въ жизни? Вотъ-тотои есть, что бъда изображать слишкомъ идеальные типы, имъя дело съ нашею жизнію! Другое дело, еслибы Хвощинская витсто "ненаглядной" к "святой", какъ величаетъ постоянно Верховскій свою мать, вывела бы обыкновенную, объднъвшую помъщицу, которая поневол'в принуждена давать уроки, иначе нечемъ было бы ей жить, и при этомъ съ утра до ночи только и дълаетъ, что стонетъ о своей бъдности, о своемъ унизительномъ положении, разсыпается передъ сыномъ слезливыми рѣчами о своемъ самоножертвованіи для него и о томъ, что, конечно, онъ воздасть ей за все это сторицею, когда выучится, сделается генераломъ, женится на богатой, разбогатесть и пр. -- тогда понятенъ быль бы пагубный шагъ Верховскаго, къ которому онъ быль бы приготовлень съ детства.

Вотъ въ этомъ отношении "Искушение" и представляется перломъ сравнительно съ "Большою Медвёдицею . Вы видите здёсь наглядно побудительныя причины къ искушению, и притомъ такого рода, которыя заурядны въ жизни. Въдные родители, отпуская дътей на последнія деньги въ университеты, о томъ только и мечтають обыкновенно, что сыновья, выйдя кандидатами, начнутъ хватать звъзды съ неба, что имъ будуть открыты двери повсюду, что почести и богатства такъ и посыпятся на нихъ. А нежду темъ, изъ университетовъ сыновья зачастую выносять рядъ убъжденій, совершенно противоположных в ожиданіямъ родителей... Вотъ и образуются двъ противоположныя тяги при первомъ столкновеніи молодаго человъка съ жизнію. Убъжденія, вынесенныя изъ университета, тянутъ въ одну сторону, а родные слезно умоляють и плачуть, вопять о неблагодарности, о черствости сердца, гордости и проч. "Къ чему послужило, говорять они, все это образование, которое ны тебъ дали, зачъмъ тратили на тебя послъднія деньги, когда ты не хочешь воспользоваться такимъ прекраснымъ случаемъ, чтобы, осчастливя себя, выручить и насъ изъ той нищеты, которую мы столько лътъ терпъли и при томъ терпъли отчасти и по твоей милости, удёляя на твое воспитание послёдния крохи? "Вотъ здёсь есть о чемъ подумать, есть съ чемъ побороться... Вамъ становится жаль Озерина, когда вы видите, что его толкають въ пропасть родныемать и сестра, которые ежедневно жалуются передъ нимъ на свою нищету и съ жадностью ухватываются за предложение дяди, укоряя Озерина въ гордости и

безсердечий, если онъ откажется отъ этого предложенія. Положеніе Озерина поистинѣ трагическое: согдаситься на предложеніе дяди, — значитъ ринуться прямо въ пропасть лжи и преступленія и сказать прости всёмъ своимъ уб'єжденіямъ; отказатьбя— по тогда онъ останется навсегда въ глазахъ матери неблагодарнымъ, безчувственнымъ сыномъ и долженъ будетъ вёчно слушать попреки, не въ силахъ будучи доставить роднымъ такого матеріальнаго довольства, какое имъ представлялось, еслибы онъ послушался ихъ.

Подобное положение Озерина темъ боле поражаетъ васъ, чемъ зауряднее и общее оно. Вы сознаете, читая повъсть, что можеть быть подъ каждою кровлею совершается подобная борьба, и кто въ своей жизни не вынесъ насколько такихъ же игновеній. Воть это и есть именно то, что называется въ искусстве широкимъ обобщениемъ. Между темъ, какъ женитьба Верховскаго представляется какинъ-тоисключительнымъ, необъяснимымъ случаемъ, если взять въ разсчетъ идеальность матери и тотъ нравственный закалъ, который онъ долженъ быль получить въ детстве и который еще болже должно было украпить университетское образование. Въ дъйствительности людямъ съ подобнымъ воспитаниемъ и развитиемъ, какое получилъ Верховскій, не пришла бы и въ голову мысль о такой женитьбъ... Не нашель-бы онъ мъста, побхальбы къ матери раздълять съ нею нищету и грошовые уроки и навърное въ два-три года что-нибудь и подвернулось-бы лучшее. Но тогда не было-бы и романа, не было-бы падшаго Верховскаго съ воспоминаніями о "святой".

Но предположимъ, что такъ или иначе Верховскій палъ. Далее затемъ вы встречаете новый рядъ не-сообразностей, опять-таки ставящихъ "Большую Медведицу" въ весьма невыгодное положеніе сравни-

тельно съ "Искушеніемъ". Дело въ томъ, что та острая правственная борьба. которая изображена въ обоихъ произведеніяхъ, не можетъ длиться долго, не уничтоживъ человека. Человъкъ можетъ воротиться на прежнюю дорогу, но не иначе, какъ вскоръ послъ паденія, пока есть еще возможность возврата и еще не поздно. Если же человъкъ безвозвратно оторванъ отъ старыхъ береговъ, то волна жизни не замедлить унести его. Конечно, случается иногда, что прежнее глубоко сидить въ сердце человека, и ложность шага не перестаеть мучить его, но при такихъ обстоятельствахъ нервы его не въ состояніи бывають выносить долго подобныхъ мученій, стыда, угрызеній и воспоминаній. Если ніть возврата, человекъ начинаетъ искать какого-бы то ни было исхода, чтобы покончить сразу съ погубленною жизнію, онъ страдяется, а не то - ему грозить сунасшествіе, чахотка. Вообще, какъ-бы ни были сильны нервы-постоянное, упорное напряжение ихъ такъ же невозможно, какъ и постоянная безсонница. Но случан трагическихъ исходовъ изъ нравственной борьбы вообще редки. По большей же части чувство самосохраненія береть верхъ, къ тому же новая обстановка, новая среда, въ которую человъкъ вступаеть - делають свое вліяніе на него, обтесывають, полирують его по своему. Сначала ему жалко прежняго, неловко, стыдно своего паденія — но мало по

малу болото, въ которое онъ свадился, всасываетъ его; онъ свыкается со своинъ положеніемъ, обживается въ новой средь, а совъсть — о, для нея какъ разъ возникаютъ цёлмя утёшительным теоріи, которыми человъкъ сибпитъ не только оправдать свой поступокъ, но даже представить его въ идеальномъ свъть — и глядишь, часто не только въ два-три года, — въ нъсколько мъсяцевъ передъ вами совствъ иной господинъ, не имъющій ни малъйшаго подобія съ

Въ "Искушении" нравственная борьба представлена темъ естествениее, чемъ короче она длится всего какихъ-нибудь два мѣсяца, въ исходѣ которыхъ Озеринъ не выдерживаетъ и круго разрываетъ съ дядею сношенія, чёмъ и кончается пов'єсть. Хотя и изъ этихъ двухъ мъсяцевъ Озеринъ вынесъ столько униженія, столько гнетущих воспоминаній, что, конечно, всю жизнь будуть ему помниться эти два ивсяца, но все-таки его хоть сколько-нибудь будеть поддерживать и утёшать спасительный выходъ изъ искушенія. Верховскій же влізь въ болото по уши, безъисходно, безутешно, и между темъ впродолжении 10 летъ остадся темъ же Верховскимъ, какимъ былъ подъ вънцомъ или шелъ за гробомъ матери, т.-е. съ тъмъ же гнетущимъ сознаніемъ своего паденія й съ теми же острыми муками совъсти. Но въдь это невозможно прежде всего съ чисто-физіологической точки зрѣнія. Не аллегорически, а буквально это точно также нелъпо, какъ представить человёка, который 10 дётъ куска хлеба въ ротъ не бралъ и остался все такимъ же полнымъ, румянымъ, сильнымъ. Или нервы у Верховскаго были изъ толстыхъ стальныхъ проволокъ? При нашихъ скудныхъ физіологическихъ свёдёніяхъ мы не въ состояніи ощутить всей колоссальности этой нел'впости, но наши потомки навтрно расхохочутся при представленіи Верховскаго, который 10 леть все ныль, ныль и не изныль... Для нихь это будеть такая же безобразная гипербола, какою представляется для насъ выпивание нашими богатырями чары вина въ полтора ведра. Верховскій могъ прожить 10 літь со своею супругою (и зам'ятьте, какою еще ужасною супругою) только при одномъ условіи-окончательнаго всосанія его темъ болотомъ, въ какое онъ попалъ. И недьзя сказать, чтобы Хвощинская не въдала о процессь подобнаго всасыванья. Такъ, вы видите въ концв уже романа, что Верховскій вдругъ какъ-то начинаетъ мириться и съ обстановкой, и съ обществомъ, и съ женою, начинаетъ жаждать покоя и веселья, роскошно убираетъ домъ къ восхищенію Лидіи Матвъевны, восхищается помъщикомъ Ильицинымъ, главнымъ соучастникомъ въ грабительствъ, процессъ о которомъ ему поручено изследовать, склоняется все более и более на сторону Волкарева - и все это въ то время, когда подъ бокомъ у него была уже Катерина со своими пламенными увъщаніями... Какъ же это въ теченіи 10 діть раньше, при боліве удобныхъ обстоятельствахъ, онъ не успри опоширть, а началъ пошлёть только въ конце романа?... Но опять-таки въ такомъ случат была бы жизненная правда, но не вышло бы романа, потому что настоящій Верховскій, каковы подобные люди бывають въ жизни, безъ сомненія, явился бы передъ Катериною после 10-ти-летняго супружества съ Лидіей Матв'євной въ такомъ уже безобразномъ виде, что, безъ сомнинія, вибсто любви могъ бы внушить героин'є одно омерз'євіе...

Хвощинская могла-бы, правда, влюбить Верховскаго и вскорѣ послѣ его женитьбы и смерти матери, но тогда Верховскій былъ столь ещеюнъ, что не могъ бы заинмать того положенія въ губерискомъ обществѣ, какъ внослѣдствіи. Ему, пожалуй, и не поручичили бы ни покупки имѣнія, ни слѣдствія — какъ молокососу. Однимъ словомъ, куда ни кинь, все выходить клинъ.

Далее затемъ отъ Верховскаго намъ приходится обратиться къ міру праведниковъ й святыхъ, выражаясь цвётистымъ языкомъ Хвощинской, или сказать проще, къ темъ героямъ азбучной морали, которыми Хвощинская утёшаетъ обыкновенно сердца читателей и въ которыхъ она ищетъ примиренія съ живнію.

«А вёдь есть люди, говорить Верховскій, огиндиваясь на широкое пространство, откритое кругомъ. — Градъ, говорить, праведниками спасается. Должны быть люди, въ которыхъ живо сознаніе, которые въ настоящемъ видить не одну нужду да корысть... Далеко запрятались эти люди!»...

Далъе оказывается, что градъ, въ который попалъ Верховскій, спасается двуми праведниками: идеальнымъ предсъдателемъ палаты государственныхъ имуществъ Багрянскимъ и столь же идеальною дочерью его Катериною.

Но здѣсь мы имѣемъ дѣло даже не съ обыденною уличною моралью. Передъ нами предстаеть утѣпительный типъ въ духѣ "Переписки съ друзьями" Го-

На первый разъ васъ поражаютъ черты характера Багрянскаго, повидомому и въ самомъ дѣлѣ идеальныя. Выйдя изъ семинаристовъ, почти изъ народа, Багрянскій оказался человікомъ крівкаго закала—честный, трудолюбивый, врагь роскоши и свѣтской пустоты и ставщій на первый планъ благо ввѣренныхъ ему крестьянъ, о которыхъ онъ печется, какъ родной отецъ. Всѣ, выходящіе отъ него изъ кабинета или изъ палаты, выходять не иначе, какъ со слезами умиленія. Волкаревъ его ненавидить и дѣлаетъ ему всякія непріятности, но онъ смѣло борется со всѣми неправдами и остается непоколебимъ.

У него есть дочка, которая составляеть его единственное утышеніе, гордость, которой онь чуть не молится. У него есть сынь, изъ котораго вышель негодяй, и онь не хочеть и слышать о немь.

Ко всёмъ этимъ достоинствамъ присоединяется еще то, что онъ до врайности религіозенъ. Впродолженіе всего романа онъ только и дёлаетъ, что все молится, кладетъ земные поклоны, и Хвощинская съ большими подробностями излагаетъ намъ каждую его молитву.

Но вотъ прітажаеть сынъ, произведенный въ офицеры изъ рядовыхъ, въ которые онъ былъ разжалованъ за свои преступленія, и родительское сердце его разчувствовалось!

— Домъ твоего отца—твой домъ! произнесъ Багрянскій, твердо и торжественно осіняя его крестомъ.—Боже, помилуй, прости меня гръщнаго! Прощаю и разръщаю тебя, сімть мой! да будёть надътобою милость Господни и мое благословеніе; во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа отнынѣ и до вѣ-ка! Аминь!

Такъ, читатель, отецъ простилъ своего блуднаго сына. Простилъ негодяя, и вдругъ что-же: словно по мановенію волшебнаго жевла, самъ изъ идеальнаго человѣка сдѣлался негодяемъ. Ето начало заѣдать самолюбіе, что онъ съ своей стороны недостойнаго простиль, а Катерина не кочетъ прощать брату его преступленій и выказываетъ къ тому же неудовольствіе, зачѣмъ отецъ простиль такого преступнаго сына. Видя подобную гордыно со стороны дочери, отецъ началъ еще болѣе класть земныхъ поклоновъ, чтобы Господь смирилъ сердце ея, но молясь о смиреніи дочери—въ то же время самъ онъ сдѣлался жестокъ и несправедливъ съ подчинеными и крестьянами. Но будемъ говорить словами самого автора.

«Онъ рыдалъ. Ему было ее какъ-то жаль, жаль, безмърно жаль. Почему? Онъ отворачивался отъ этого вопроса. Онъ осветился самъ для себя своимъ прощеніемъ сыну и считаль обязанностью смирить ее, пробудить въ ней чувство раскаянія и милосер-дія. Эта была одна его мысль. Занятый только тёмъ, что происходило и волновало его въ семъй, истомленный, растерянный, онъ переставаль сознавать, что дълалъ. Его тяготилъ трудъ, служба... прежде было изъ-за чего трудиться! Теперь являлась усталось, вялость въ дёлахъ, требующихъ энергін, копотливость въ пустякахъ, трата времени, забывчивость, что-то вдругь старчески мелкое и злое. Его презрительный тонь съ подчиненными, придирчивость, подоврительность становились невыносимы. Прежде его строгости боялись только виноватые; теперь, повторяя Богу, что совершиль подвигь благости, онъ будто свыше приняль благословение карать и казнить... или, страдая и стыдясь этого «подвига», вымещаль его на другихь, срываль сердце, наслаждался, находя людей виноватыми. Въ палатъ удивлялись и трепетали. Дома, въ утренніе часы просителей, его грубан брань на крестьянъ терзала

— Послушайте, — сказала она, захиопывая и запирая дверь въ прихожую, гда толпились крестьяне: — оглянитесь на себя, что вы далаете?

— Что ты, матушка?

— Что вы дѣлаете?—повторила она:—вы несправеднивы, вы жестоки, вы шутите. Огланитесь. Это несчастные, ихъ обидѣли, они просять заступиться; вся-то вина ихъ — нагрубили, а вы ихъ ведете въ ссылку! Опомнитесь, разберите!

— Не за свое берешься, Катерина Николаевна...

Вотъ вамъ и нравственный идеалъ, сила жизненнаго закала, праведникъ, спасающій градъ, старый мудрецъ, рѣчамъ котораго съ удивленіемъ внималъ Верховскій. Изъ-подъ всей цвітистой риторики, въ которую Хвощинская облекла своего героя — вдругъ передъ вами самъ собою предсталь настоящій Багрянскій, какимъ созидаетъ подобныхъ людей жизнь, старая приказная ханжа, которую можеть сломить первая семейная невзгода, да и невзгода-то самого какого-то допотопнаго свойства, вертящаяся на домостроевскомъ вопроса: прощать или не прощать, покарать преступнаго сына или помиловать. Видя подобнаго Багряйскаго въ последнихъ частяхъ романа, вы поневолъ начинаете думать: да не таковъ-ли онъ былъ и прежде до своего превращения? Не возвела-ли Хвощинская своего героя на пъедесталъ, чтобы непремънно найти спасающаго градъ праведника? Тъмъ болъе, что самый процессъ превращения старика заставляетъ

васъ сомнѣваться въ своемъ правдоподобіи. Описанный какою-то надутою риторикою, полубиблейскимъ слогомъ, поставленный въ какія-то заоблачныя выси, принахивающій запахомъ постнаго маслица — этотъ процессъ превращенія живо напоминаеть вамъ Гогодя въ его последние годы, и вамъ невольно думается, что послѣ "Большой Медвѣдицы" не издастъ-ли Хвощинская переписку съ друзьями въ такомъ же духъ и тонв.

Но все это цвъточки, ягодки впереди. Въ концъ романа Багрянскій ділается положительнымъ чудовищемъ, послъ внезапнаго открытія Верховскаго въ спальнѣ Катерины и постыднаго бѣгства героя. Казалось бы, что нисколько неидеальный человъкъ, саный обыкновенный изъ обыкновенныхъ рутинеровъи тоть, если-бы нёжно любиль дочь, то хоть бы выслушалъ ее, прежде нежели проклинать и карать. А этому мудрецу могучаго закала и опыта, и въ голову не пришло, что передъ нимъ дочь, которая столько льть делила съ нимъ радость и горе, помогала ему во всемъ, составляла его единственную гордость и утвшение... Не удостоивъ ее трехъ-четырехъ словъ объясненія, онъ сразу началь третировать ее куда куже, заве и безчеловъчнье, чъмъ третировалъ Неряцкій Катерину Александровну. Какъ вамъ понравится, напримъръ, хотя-бы сдедующій разговоръ:

- Какъ вы себя чувствуете?-спросиль онъ, бёгдо огланувъ ее вею, отъ гладко-убранныхъ волосъ до пышнаго платья.—Разрядилась!

- Батюшка, -- векричала она: -- что вы съ собой

Онъ отсторонился, оглянулся опять съ отвращеніемъ, съ ужасомъ, съ презрительной насмѣшки восторженнаго торжества, и закинуль голову, будто наступая на что-то поверженное.

Надо вамъ объявить, -- началъ онъ. -- Кто сего-

дня оправляль лампадку?

Онъ указаль на образъ.

— Не знако,—отвъчала Катерина.
— Не ты, слава Богу! Не смъй прикасаться. И безъ того столько времени... Господи, прости мое прегръшеніе!

Въ страхъ и умиленіи онъ зашепталь молитву.

Не напоминаеть-ли вамъ Багрянскій въ этой омерзительной сценъ старую Кабанику "Грозы"? Да, онъ таковъ и есть съ ногъ до головы, и если-бы Хвощинская не мудрствуя лукаво, безъ цвътистой риторики и идеальничанья представила намъ Багрянскаго, какъ онь есть въ самой жизни, тогда наверное ей пришлось бы съ первой страницы отнестись къ этому госполину отрипательно. Но тогда не было бы праведника, спасающаго градъ, не было-бы дивнаго уголка, обвъяннаго благодатью, въ которомъ даже щи со снытью и манная каша кажутся вкуснье, чемь въ пругомъ месте; не надъ чемъ было бы пролить цветистой риторики.

Теперь намъ остается разсмотръть типъ главной героини романа-Катерины. Здёсь мы опять видимъ то же печальное заблуждение таланта, какое мы видели везде. Ведь нельзя сказать, что Хвощинская сочиняла типы, выдумывала; она береть ихъ изъ дъйствительности: и Неряцкихъ, и Багрянскихъ вы встретите много въ жизни. Но беда вся въ томъ, что эти типы она ложно освъщаеть, возводить ихъ на идеальные пьедесталы и иногда страшно искажаетъ

ихъ, желая утёшить сердца читателей такими прекрасными явленіями жизни, въ которыхъ ничего нътъ въ сущности прекраснаго, или если и есть свои хорошія стороны, то далеко не столь безусловно идеальныя, какъ ихъ обыкновенно старается раздуть авторъ.

То же самое мы видимъ и въ типъ Катерины. Задуманъ этотъ типъ весьма удачно. Но для того, чтобы уяснить намъ, что такое Катерина не въ романв, а въ самой жизни, для этого намъ следуетъ поступить съ нею такъ-же, какъ мы поступали и съ другими героями романовъ Хвощинской, т. е. снять ее съ пьедестала и развинчать отъ всихъ риторическихъ укращеній, въ род'в "черныя выющіяся косы", "гордые взоры", "пламенныя рёчи", "ненаглядная радость", "чище свътлостей солнечныхъ" и проч.

Въ сущности Катерина больше ничего, какъ спазливенькая провинціальная барышня съ насколькими хорошими задатками и не безъ характера — энергическая, страстная, она жаждетъ широкаго круга жизни, деятельности, встречи съ идеальными людыми, но въ то же время жизнь ся замкнута въ тесный кругъ провинціальнаго захолустья, ея горячая головка путается въ дабиринтъ узкихъ, отжившихъ преданій, перемъщанныхъ съ радужными мечтаніями самаго неопредъленнаго свойства. Подобнаго рода барышни постоянно томятся и чего-то ждуть, имъ хочется сдълать что-нибудь полезное и притомъ выходящее изъ ряда обыкновеннаго, и все онв не знають, къ чему приложить свои молодыя силы, которыя бродять въ нихъ и ищутъ исхода; отсюда рядъ бросаній въ разныя стороны; то примется барышня за чтеніе и не выпускаеть изъ рукъ книги по целымъ днямъ, то набежитъ на нее волна веселья, и она порхаетъ по бальнымъ заламъ до упаду, то вздумаетъ помогать папенькъ, начнетъ строчить разныя бюрократическія бумаги, то вдругъ страстно привяжется къ какому-нибудь ко-

Если-бы Хвощинская въ такомъ простомъ и безкитростномъ видъ, представила намъ Катерину, образъ ея быль бы все-таки симпатиченъ, но отъ него въядо-бы простою, жизненною правдою, вы видъли бы въ этомъ образъ тысячи провинціальныхъ барышень самаго высшаго сорта, какой только можетъ производить наша убогая жизнь. И съ другой стороны вамъ понятна была бы любовь Катерины къ Верховскому. Не идеальная, а обыкновенная провинціальная барышня, мало видъвшая людей, мало знакомая съ жизнью, могла легко не разглядъть съ перваго взгляда дрянности Верховскаго, и въ то же вреия, среди пустыхъ провинціальныхъ фатовъ, ее легко могъ поразить человъкъ, при первомъ же свиданіи заявившій себя отдачею сосъднимъ крестьянамъ земли, неправильно отнятой у нихъ прежнимъ владельцемъ. Мы не будемъ входить въ соображения на счетъ того, на сколько высокъ и великодушенъ подобный подвигъ, и подвигъ-ли это; но Катерина и въ такомъ мизерномъ родъ ничего подобнаго не видала вокругъ себя-и Верховскій могь легко показаться ей необыкновеннымъ героемъ, человъкомъ, котораго она такъ долго ждала. Къ тому же человекъ этотъ такъ несчастенъ, такъ убитъ судьбою, и очень понятно, что увлекшаяся и влюбившаяся по уши провинціальная

барышня сейчась-же возомнила, что цель жизни ея найдена: быть его утішительницею, нравственною поддержкой, склонить его на разные подвиги и, помогая ему въ совершении этихъ подвиговъ, идти съ нииъ рука объ руку. Но какіе же особенные подвиги могла сочинить Катерина для своего героя при скудости и мертвенности жизни вокругъ нея, да къ тому же еще при полномъ невъдъніи этой жизни? Она была совершенно въ положении ребенка, воображение котораго вращается въ кругу того маленькаго мірка, среди котораго онъ живетъ, и онъ въ состояніи придумать только такія игры, которыя отражають жизнь этого мірка. Такъ и Катерина могла измыслить для своего героя только такіе подвиги, какіе были въ сферѣ наблюдаемой ею жизни. Она видѣла вокругъ себя однихъ только помъщиковъ да чиновниковъ, чиновниковъ да помъщиковъ - и естественно, никакъ не могла представить себъ своего героя иначе, какъ въ видъ доблестнаго помъщика или идеальнаго чиновника. И вотъ, не замѣчая, что жалкій герой ся находится совершенно подъ башмакомъ своей Лидіи Матвъевны, Катерина начала торопить его ъхать въ деревню устроивать благосостояние крестьянь, а потомъ, убъдившись въ несостоятельности подобныхъ мечтаній, начала ожидать отъ Верховскаго высокихъ подвиговъ въ роли следователя.

Вотъ вамъ настоящая, неподкрашенная Катерина, какою создала ее наша русская, провинціальная жизнь. Но Хвощинская тѣ же самыя черты возводить во чтото безусловно-идеальное, выше котораго она не мометь себѣ ничего представить. Катерина является передъ вами въ роматѣ въ какомъ-то гордомъ сіяніи вседовольнаго, всеблаженнаго, покоющагося въ самомъ себѣ совершенства. Это какая-то Іоанна д'Аркъ своего околодка. Она руководитъ всѣми занятіями отца, даетъ практическіе совѣты крестьянамъ; мудрая, какъ змій, насквозь видитъ людей со всѣми ихъ недостат-ками. Каждое слово ея дышетъ глубокою правдой и павосомъ героини.

Но какъ же такая необыкновенная комета на горизонтв нашей жизни могла полюбить Верховскаго, не понявши сразу всей его несостоятельности? Какъ согласать змвиную мудрость глубокаго ума съ твим палліативными затычками, въ которыхъ Кагерина видить всю суть полезной двятельности и для своего отца, и для своего героя, и для себя самой? Объяснить это можно только твить, что сама Хвощинская при узости своего міросозерцанія, дальше Катерины ничего не можеть себъ и представить, потому и співшить успоконть на ней сердце читателя, возводя ее въ безусловный пдеаль. Вставши разъ на ложную точку зрінія, Хвощинская зашла съ своею Катериною въ такія неисходныя дебри, что изъ героини сдівлала въ конців концовь посмітшище.

Вы подумайте, чёмъ могла кончить не идеальная, а та обыкновеннай Катерина, образецъ которой мы выше представили. Разочарованной въ своей любви, униженной своимъ любовникомъ, который, не забудьте, предлагаль ей уёхать съ нимъ въ Перепреругъ и сдёлаться тамъ чёмъ-то въ родѣ содержанки его, обруганной отщомъ, Катеринт оставалось два исхода: или наложить на себя руки, пойти въ мона-

стырь, - чемъ кончають многія провинціальныя барышни въ ея родъ, - или же переродиться и сдълаться женщиною злобы нашего въка. Но подобное перерождение не ограничилось бы одними вижшними обстоятельствами ея жизни, т. е. темъ, что, покинувъ домъ отца, она начала бы самостоятельную, трудовую жизнь. Этого мало: драма, которую вынесла она, была такого потрясающаго свойства, что неминуемо должна была перевернуть весь ся и умственный, и нравственный міръ. Всв ея дітскій узкій понятія, заоблачныя мечты, всё ся симпатіи и аптипатіи рушились, бы разомъ — и она узръла бы ложность всей своей прежней жизни и несостоятельность всёхъ людей, которыми была окружена, не исключая и своего папеньки. Восноминание о своей дюбви къ Верховскому осталось бы въ ней не иначе, какъ въ виде стыда о прежней глупости, соединеннаго съ непримиримымъ презраніемъ и ненавистью къ пошляку, который при всёхъ своихъ возвышенныхъ фразахъ, дюбиль въ ней одно тело и жаждаль только упиться ея объятіями. Очень можетъ быть, и даже можно сказать наверное, что изъ нея не вышло бы ничего особенно необыкновеннаго и идеальнаго на новомъ пути, вышла бы заурядная работница маленькаго труда — какая нибудь переводчица, акушерка или учительница; но и при всемъ томъ она была бы лучше многихъ, считающихъ себя полезнъйшими дъятелями на поприщъ жизни: она была бы выше ихъ именно сознаніемъ невозможности принириться на томъ, на чемъ мирятся обыкновенно эти полезнъйшіе дъятели, и желанісиъ идти

Но вы не должны забывать, что вѣдь Хвощинская въ лица Катерины, представила намъ идеальный типъ; идеальные же люди, по самой своей сущности, одарены тёмъ свойствомъ, что они могутъ измёняться только во вившности, т. е. въ своей вившней судьбь; внутренній же мірь ихъ должень оставаться неизміненъ, потому что разъ вы допустили возможность изміненія во внутреннемъ мірі человіка, этимъ однимъ вы отрицаете идеальность его: что изминяется къ лучшему или худшему, то не есть уже идеально, совершенно. Катерина, какъ идеальная личность, и остается въ романъ Хвощинской неизмѣнной. Вся драма, которую она вынесла, изм'вняетъ одну только ея вн'вшнюю судьбу. Изъ помощницы председателя палаты она делается сельскою учительницею. И вотъ передъ вами живая картина: представьте себф во мракф ночи тодпу темныхъ, несвъдущихъ крестьянъ и передъ ними сіяющаго красотою ангела, возв'єщающаго истину.

«Овъть, дрожа, установился и озаряль ее всю. Она показывала вверхь, поднавъ голову. Ен чорная коса длинимть кольцомъ перекинулась черезъплечо. Толстын складки рубащки высоко легли на грудь и падали до распущенной ополски; пирокіе красивые концы шелестили по клътчатой поневъ.

Она говорила. Слышались и слова, но лучше ихъея голось, ободряющій, ласковый, веселый; отъ него должны были бъжать и страхъ, и невъдѣніе; въ немъ была свобода, радость, убѣжденіе... Еще слышались старческіе вздохи и оханье... Но ужь ихъ начали смѣнять вопросы, толковыя рѣчи, что-то увъренное, надежное... Поднялся простой, молодой смѣхъ, потомъ говоръ, путкк... Милый голосъ раздавался среди всѣхъ, ясный, кавъ счастье...» Подумаешь, какая картива, совершенно въ современномъ духъ, скажетъ иной читатель, который не читаль "Тише воды и ниже травы" Гл. Успенскаго и не знаетъ, какая дъйствительность и жалкая проза ожидаетъ каждую сельскую учительницу, какъ бы она ни была идеальна.

Но мы не будемъ разочаровывать читателя и напоминать ему овышеупомянутомъ очеркъ Гл. Успенскаго, мы примемъ живую картину Хвощинской за чистую монету. И такъ, повидимому, передъ нами нъчто совершенно въ современномъ духъ: женщина, поучаюшая народъ и объясняющая ему все светила небесныя. Но, о, ужасъ! такъ-какъ эта женщина представляется вамъ идеальнымъ и, следовательно, неизменнымъ типомъ, то вы видите передъ собою въ то же время совершенно ту же самую Катерину, какую видъли ее въ объятіяхъ Верховскаго, нисколько неизменившеюся, со всеми теми же симпатіями, антипатіями и допотопными понятіями. Мадо этого, даже постыдную дюбовь свою къ Верховскому она чтитъ въ груди своей, какъ святыню. Постоянство въ дюбви во что бы то ни стало тоже въдь входитъ въ кодексъ идеальныхъ представленій Хвощинской.

И вотъ вамъ новая живая картина:

Кружекъ разошелся.

«Она осталась одна, стояла и смотръла на прелестныя семь созвъздій въ высоть, подъ столбомъ огненной пыли. Задумавшись, забывшись, она сложила руки...»

Вотъ вы теперь и подумайте о всей чудовищной несообразности, которая тантся подъ этою прекрасною картиною: вы представьте только себѣ современную женцину, поучающую народь и въ то же время забывающуюся въ сладостномъ раздумъѣ, вспоминая, при соверцании семи совъѣздій въ высотѣ, о своемъ миломъ, который предлагаль ей нѣкогда доблестный путь — сдѣлаться его содержанкою...

Но наша публика всёмъ этимъ довольна, она удовлетворена романомъ Хвощинской!.. И действительно, чего же ей надо лучше? Глубокій, безпощадный анализъ жизни, представление правды во всей ея безобразной наготь — могли бы пожалуй испугать публику, напоминая ей о всемъ жалкомъ убожествъ ея жизни... Публика же жаждеть сна и успокоенія. И чъмъ же можно лучше усыпить ее, какъ не подобными поэтическими картинками въ идеальномъ духъ. -- Не вдумываясь въ правдоподобіе этихъ картинъ, публика можетъ спать спокойно въ сладостной мысли, что если въ жизни ея возможны такія лучезарныя явленія, то чего же лучше: остается только почаще увъщевать дюдей, чтобы они шли по пути Багрянскаго и Катерины и представлять имъ поболже подобныхъ образцовъ для подражанія...

И всего печальнее, что на такомъ ложномъ пути удовлетворенія мелкимъ и жалкимъ идеальчикамъ пошлой толны стоить таланть по истинь недюжинный. Можно положительно сказать, что изъ всёхъ писательницъ-женщинъ Хвощинская по силъ таланта способна была бы занять первое м'ясто... И что стоитъ ей, обладающей даромъ такого исткаго анализа пошлости жизни, такимъ подчасъ удивительнымъ чутьемъ дъйствительности, отръшиться разъ навсегда отъ своего сентиментальнаго идеальничанья? Въдь это вовсе не трудно: стоить только дать себъ слово никогда впредь не оттёнять своихъ произведеній идеальными образами, а если въ действительности представится повидимому нёчто идеальное, то не върить съ перваго раза своимъ впечативніемъ, а вглядеться поглубже, осмотреть предметь со всехъ сторонъ, изучить его - можетъ быть при тщательномъ анализъ очарование пропадетъ, - и предметъ окажется далеко не столь идеальнымъ, какъ съ перваго раза... Зрълое разочарование всегда полезнъе скоросивлаго, поверхностнаго очарованія...

СТАРЫЙ ИДЕАЛИЗМЪ ВЪ СОВРЕМЕННОЙ ОБОЛОЧКЪ.

«Сказки Кота-Мурлыки», собранныя Николаемъ Вагнеромъ. Изданіе Стасовой и Трубниковой. Спб. 1872 г.

Сказки Вагнера были приняты публикою со всеобщимъ сочувствіемъ. По крайней мёрт, сколько намъни приходилось встречаться съ читателями ихъ, мы постоянно слышали одни лестные отвывы объ этой книтъ. Журнальные и газетные рецензенты не замедлили, въ свою очередь, отозваться о книгъ Вагнера, какъ о выдающемся явленіи нашего времени, и признали въ ней бездну высокихъ достоинствъ. Словомъ, книга пришласъ совершенно по вкусу общества и пріобръда полный усиъхъ.

Но всв похвалы, расточаемыя книгі Вагнера, носять чисто вибшній и крайне поверхностный характерь. Книга понравилась публикі потому, что въ ней сочувствіе автора къ различнымъ гуманнымъ и передовымъ идеямъ нашего времени облечено въ художественную форму, при чемъ Вагнеръ выказалъ себя нисателемъ съ богатымъ воображениемъ. Но изъ всъхъ почетныхъ о ней отзывовъ читатели едва-ли могутъ дать себѣ ясный отчетъ въ томъ, какова общая система міровоззрѣнія сказокъ; удовлетворяютъ ли онъ всѣмъ требованіямъ современной педаготики, что онъ даютъ и къ какимъ результатамъ приводятъ? Между тѣмъ разъяснене этихъ вопросовъ одно только можетъ показать истинное значене книги Вагнера. На эти-то вопросы мы и постараемся отвѣтитъ нашей статьей.

Въ сказкахъ Вагнера, безспорно, задъваются всевозможные моральные и соціальные вопросы нашего времени. Но есть два рода отношенія къ вопросамъ жизик: идеалистически-рефлективное — нашихъ отцовъ и дѣдовъ и отношеніе реальное—нашего времени. Естественно, что прежде всего слѣдуетъ опредѣлять, какое изъ этихъ двухъ отношеній преобладаеть въ сказкахъ Вагнера; однимъ этимъ опредѣденіемъ могутъ быть окончательно рѣшены характеръ и постоинство сказокъ.

Съ реальной современной точки эрвнія — жизнь есть естественный процессъ природы, неотразимо стремящійся отъ ряда причинъ къ неизбёжнымъ слёдствіямъ. Одно это опредаленіе сразу уничтожаетъ реальность всёхъ такъ-называемыхъ вековечныхъ идеаловъ, отъ которыхъ шла обыкновенно мысль идеалистовъ добраго стараго времени. Всв подобные идеалы становятся въ рядъ нашихъ субъективныхъ меччтаній и утопій; сама же по себ'в жизнь очевидно и не думаеть объ осуществленін ихъ, такъ-какъ въ ней въ настоящемъ нътъ ничего безотносительнаго, безусловнаго, а въ будущемъ ничего пълесообразнаго. На основаніи этихъ положеній истинный реалисть въ жизни своей долженъ руководиться не предписаніями отвлеченныхъ теорій, а влеченіями и призывами самой жизни въ ея прогресивномъ процессъ. Бдаго для него то, что способствуетъ этому процессу, а здо -что ему препятствуеть. Но отнюдь не долженъ онъ это благо и зло-возводить въ накіе-либо безусловные принципы, имъющіе одинаковое значеніе для встхъ обстоятельствъ и временъ; никогда не долженъ онъ забывать, что благо и эло суть такія же относительныя вещи въ жизни, какъ и все въ ней относительно: что сегодня благо, завтра можетъ быть зломъ, и наоборотъ, словомъ, благо только то, что въ данный моменть способствуеть прогресивному процессу жизни, хотя бы это благо и не казалось таковымъ съ безусловно-идеальной точки эрвнія. Такъ, напримеръ, предположите, что въ Россіи снова вторглись бы изъ Азін несметныя толпы варваровъ. Было бы безспорнымъ благомъ, обязанностью всёхъ и каждаго вооружиться и идти защищать свою родину, несмотря на то, что съ точки зрвнія безусловныхъ идеаловъ, требующихъ, чтобы ны любили и враговъ своихъ, проливать кровь нахлынувщихъ на насъ азіатовъ-есть здо, для избъжанія котораго намъ следовало бы смиренно сидыть сложа руки и покоряться всему, что при такомъ воображаемомъ нашествіи ни стали бы съ нами делать нахлынувшія орды. Подобный разладъ между благомъ съ точки зрвнія безусловныхъ идеаловъ и жизненнаго процесса можно встретить на каждомъ шагу, и только того можно назвать истиннымъ реалистомъ, вто, не обращая вниманія на этотъ разладъ, повинуется жизни, а не отвлеченнымъ теоріямъ.

Не такъ поступали передовые люди въ средъ нашихъ отцовъ и дъдовъ. Они постоянно носились съ своими въковъчными ддеалами, немедленнато и полнаго осуществленія йхъ искали въ жизни и по ихъ мъркъ судили обо всъхъ ея явленіяхъ. Но не находя нигдъ, ни въ себъ, ни внъ себя ничего соотвътствующаго идеаламъ, они обыкновенно всю жизнь проводили въ мукахъ и терзаніяхъ при видъ этого разпада. Какая бы живая страсть ни возпикла въ ихъ душъ и какъ бы ни была она естественна, законна и необходима, но такъ-какъ страсть эта именно по своей естественности носила всегда характеръ относительнаго, условнаго, а опи искали во всемъ безусловнаго, то они въ каждой такой страсти, въ каждомъ поступкъ отыскивали свои противоречія, односторонности, отступленія отъ безусловныхъ идеаловъ. Они не смъли ни сильно любить, ни сильно ененавидетъ. Каждое сильное чувство парализовали они разъъдающими рефлексіями. Результатомъ всего этого представлялось отсутствіе всякихъ живыхъ страстей, всякой энергіи и дъягельности, мрачное разочарованіе и въ себъ, и въ людяхъ, и въчный разъъдающій анализъ всевозможныхъ противоръчій жизни.

Сообразно всему этому и воспитание детей носить совершенно иной характерь съ идеалистической точки эрвнія, иной-съ реальной. Воспитательреалистъ, не преследуя въ жизни ничего безусловнаго, не мечтаетъ, конечно, и о томъ, чтобы изъ ребенка создать непременно идеального человека. Смотря на воспитанника, какъ на явление въ своемъ родъ относительное, какъ на сумну физическихъ и умственныхъ силъ, которыя, какъ бы ни были велики, во всякомъ случав ограничены, воспитатель-реалистъ помышляеть только о томъ, какъ бы развить эти сиды, на сколько это возможно, и дать имъ върное направленіе, но направленіе не къ безусловнымъ опятьтаки идеаламъ, а къ тому, чтобы своею деятельностью будущій члень общества способствоваль прогресивному процессу жизни, а не парадизовадъ его. Не заботясь о несоотвътственности относительных явденій жизни съ безусловными идеалами, воспитательреалистъ не станетъ сившить, чтобы ребенокъ какъ можно скоръе усвоилъ себъ эти безусловные илеалы и постигь суетность и несостоятельность всего земнаго, сравнительно съ ними. Вся забота его будеть состоять въ томъ, чтобы возбудить въ воспитанникъ живыя страсти и такъ направить ихъ, чтобы при всей ихъ относительности, оне могли принести наиболее пользы самому воспитаннику и другимъ людямъ. Такимъ образомъ, если въ воспитанникъ возбуждается страсть къ дюбознательности, воспитатель-реалистъ не станеть толковать ребенку о ничтожествъ человъческихъ знаній цередъ идеаломъ вічной и безусловной истины и о томъ, что человъкъ, гоняясь за знаніями, въчно вертится на одномъ мѣстѣ, какъ бѣлка въ колесѣ, тщетно стараясь постигнуть непостижимое, а напротивъ того, онъ будетъ стараться еще болве усилить въ ребенкъ страсть къ пріобрътенію знаній, указывая на всю благотворность этой страсти въ прогресъ человъчества. Если въ ребенкъ развивается сильное чувство къ какому-нибудь человъку, воспитатель-реалистъ не станетъ толковать о ничтожествъ этого чувства передъ всеобъемлющей любовью, проникающею всю вселенную, или о томъ, что на время не стоить любить, а вечно любить - невозможно, и что раньше или позже недуги страстей угаснуть при словъ разсудка. Если ребеновъ кочетъ повеселиться, воспитатель-реалисть не станеть отравлять дётскаго веселья сентиментальными соображеніями въ таконь родь, что воть, моль, онь смется и скачеть, а другіе въ это время плачуть, какъ будто эти другіе такъ сейчась и перестануть плакать оттого только, что ребенокъ перестенетъ веселиться. Наконецъ, если ребенокъ захочетъ помочь бъдному,

голодному, страдающему, воспитатель-реалисть не станеть толковать ему о томъ, что ни частная, ни общая благотворительность ни къ чему не ведуть, что хотя бы ему удалось устроить благосостояне цёлыхъ массъ, эти массы не замедять снова сойти на прежній путь эксплуатаціи и нищеты, и вдобавокъ ему, благодітелю человіческого рода, отплатять чорною неблагодарностью и пр., пр.

Но не такъ дъйствовали воспитатели-идеалисты добраго стараго времени. Отправляясь отъ своихъ возвышенныхъ идеаловъ, они все воспитание основывали на томъ, чтобы какъ можно скоръе внушить дътямъ эти идеалы и возбуждать въ нихъ стремление къ немедленному осуществленію ихъ. Разочарованные и въ себъ самихъ, и во всъхъ своихъ сверстникахъ, они обыкновенно всю надежду возлагали на детей, мечтая, что съ нихъ-то и начнется, конечно, тотъ золотой въкъ, который представлялся въ радужныхъ краскахъ ихъ воображенію. Они воображали даже, что раньше возбужденія въ дътяхъ безусловныхъ идеаловъ, дъти сами по себъ уже существа идеальныя. "Въ ихъ сердцахъ, говорили они, сама природа, простая, прямая, великая. Они старше васъ палымъ поколаніемъ; выше вась цёлой головой, потому что въ этой голове уже сложились тъ пути, до которыхъ добивались ваши отцы и деды, и все-таки не добились!.. И вотъ, на основаніи этихъ мечтательныхъ надеждъ, начинали они огуломъ валить въ младенческія головы всѣ свои растленныя рефлексін и сентиментальныя стто ванія о тщетв всего земнаго. Они воображали, что эти головы, въ которыхъ сложились уже, по ихъ мивнію, всё пути, конечно, не замедлять распутать всё тё противоречія, въ лабиринте которыхъ саии они бродили и путались, а иладенческія головы между тёмъ путались еще болёе ихъ головъ, именно, потому, что были младенческія... Ребенокъ не вполнъ еще постигаль свои отношенія къ родителямь и нянькъ, а ему уже задавались вопросы о томъ, въ какой степени правы или неправы были Лиръ, Ганлетъ, и - отчего подъ ношей крестной весь въ крови влачится правый, отчего вездё безчестный встрёченъ почестью и славой". — Такинъ образонъ воспитанникъ, нысль котораго не успъвала еще окръпнуть, пріучался уже мучиться надъ решеніями различныхъ головоломныхъ вопросовъ отвлеченнъйшаго свойства, анализировать мальйшіе оттыки своихъ ощущеній; и даже такихъ ощущеній, которыхъ въ непъ и возникнуть еще не могло, сообразно его возрасту... Результать такого воспитанія быль двоякій: или воспитанникь, если у него были здоровыя силы и крепкіе нервы, дойдя до извъстнаго возраста и освободясь отъ воспитателя, бросаль всю эту канитель праздныхъ и растлевающихъ рефлексій, и начиналь руководиться своей прирелою и страстями, возбуждаемыми жизнію, руководиться слепо и случайно, такъ-какъ воспитатели заботились только о решени разныхъ, такъ-называемыхъ, роковыхъ вопросовъ жизни, а не о томъ, чтобы разунно направить страсти воспитанника, -- или-же, если это былъ слабый, нервновосприичивый ребенокъ. то изъ него дълался безхарактерный, дряблый мечтатель, сентиментальный плакса съ разстроенными нервами или полусумасшедшій фантазерь. Въ этомъ отно-

шеніи всь недостатки последняго романа О. Достоевскаго "Въсм" мы готовы простить за одну истинную, чрезвычайно ивтко схваченную черту воспитанія добраго стараго времени; это, именно, если читатель припомнитъ-воспитание знаменитымъ историкомъ и героемъ 40-хъ годовъ Верховенскивъ сына своей благодътельницы: все это воспитание заключалось въ томъ, что педагогъ постоянно терзалъ восцитанника патетическими речами самого неопределеннаго свойства; воспитанникъ ничего не понималъ изъ этихъ рёчей, но онё такъ постоянно возбуждали его нервы, что съ нипъ дълались истерики, и въ концъ-концовъ воспитатель растлиль своего ученика и нравственно, и физически, до такой степени, что довелъ до столбняка и до того, что ему начали мерещиться чортики. При всемъ преувеличении, эта метода воспитания Верковенскаго можетъ сдужить, темъ не менее, весьма карактеристическимъ типомъ идеалистической систе-

Что касается до книги Вагнера, то въ ней мы моженъ найдти два рода сказокъ: однъ изъ нихъ, по нашему мижнію, совершенно соотвітствують всёмь требованіямъ реальнаго воспитанія дітей. Таковы — "Курилка", "Чудный нальчикъ", "Папа-праникъ", "Вереза", "Дядя-Пудъ". Всё эти сказки, при своей свъжей, такъ и быощей изъ каждой строки художественности, въ то же вреия чрезвычайно просты, естественны; нътъ въ нихъ ничего вычурно-фантастическаго, ничего мечтательнаго, сентиментальнаго или слишкомъ отвлеченнаго для дътскаго возраста. Въ каждой изъ этихъ сказокъ анализируется какое-нибудь действительное явленіе жизни, и притомъ раз-. сматриваются такія явленія, которыя вполив доступны для детскаго анализа, могуть быть даже заурядными въ тесномъ кругу детской жизни. Такъ, наприивръ, безъ сомненія, каждый ребенокъ встречаль въ своей жизни, среди даже своихъ сверстниковъ, тщеславныхъ болтуновъ и хвастуновъ, въ роде Курилки; каждый ребенокъ могъ въ своей жизни быть поставленъ въ положение царевны Меллины, Луппа, Кики и Толля. Достоинство всёхъ вышеупомянутыхъ нами сказокъ въ томъ, именно, и заключается, что имъя дело съ конкретными фактами, оне анализирують и обобщають ихъ, насколько это пригодно для дътскаго возраста; въ результатъ своемъ, онъ возбуждають въ дътяхъ симпатію къ однимъ явленіямъ жизни и антипатію въ другимъ, - півль, по нашену мнівнію, вполнів разумная, которую и доджно имъть постоянно въ виду истинное реальное воспитаніе. Скаженъ по справедливости, что еслибы вся книга была наполнена подобными сказками, ее можно было бы назвать лучшею педагогическою книгою для детскаго чтенія и рекомендовать ее непремённо пріобрёсти всёмъ родителямъ.

Но, къ величайшему нашему сожалёнію, Вагнеръ не могь удержаться на реальной печей анализа частныхъ и доступныхъ для дётскаго возраста явленій живни. Въ нъкоторыхъ сказкахъ онъ пустился въ отвечненайшій анализъ тонкихъ психическихъ ощущеній и самыхъ общихъ, сложныхъ явленій жизни, и притомъ анализъ вполнё рефлективнаго свойства, въ духъ сентиментальнаго романтизма 20-хъ годовъ.—Всё подобнаго рода сказки, выставляющія различныя

неисходныя противоръчія или тщету жизни, своимъ унылынъ тономъ мрачнаго разочарованія способны навести сплинъ даже на взрослаго человъка; можно представить себ'в, какъ разъ'вдающе должны он'в д'виствовать на детей, темъ более, если принять во вниманіе, что сказки написаны такинъ философскимъ языкомъ и трактують о такихъ отвлеченныхъ предметахъ, что дети настолько же поймутъ ихъ, насколько воспитанникъ Верховенскаго понималъ его патетическія річи.

Самое предисловіе къ сказкамъ поражаеть васъ своимъ страннымъ тономъ; вы словно переноситесь за 50 лътъ назадъ и видите передъ собой унылаго романтика въ родъ Жанъ-Поль-Рихтера, словно развертываете "Русскія ночи" кн. Одоевскаго. Только въ нихъ можно встрътить рядъ сарказновъ въ такомъ родъ:

»Бідный Коть быль немного помішань. У него была одна idée fixe, отъ которой не могли освободить его вет европейскіе и американскіе эскуланы. — Я,-говориль онъ,-родился на свъть внизь

головой, и съ тъхъ поръ все на свъть мнъ кажетен вверхъ ногами.

- На верху стоять сильные и прекрасные золотые тельцы, передъ которыми многіе преклоняются, или по крайней мъръ, скачуть и плящуть на заднихъ лапкахъ, а мив кажется, что на верху стоятъ ть самые маленькие червячки, которые весь деньденьской роются въ земль, изъ-за насущнаго хльба, и стоять потому, что первые должны-же быть когда-нибудь послёдними...

- На верху стоитъ человъколюбивое братство и отдаетъ своему ближнему последнюю собственную рубашку, - а мий кажется, что на верху стоить именно та самая собственная рубашка, которая бли-

же къ телу, чемъ всякая другая.

На верху стоить стоябь прогреса, съ рукой, указующей, куда идти людямь,—а миз кажется, что этоть столбь давно лежить на боку, а на немь дежать люди, твердя въ умиленіи сердець: chi va piano va sano!

- На верху стоить свътильникъ міра, потому что никто не ставить его подъ столь, -а мив кажется, что онъ, именно, стоить подъ темъ столомъ, за которымъ пируетъ добран богиня Глупость и ворожить всемь, кому хорощо живется на светь.

- На верху стоитъ истина, въчно влекущая на свободу сознанный факть,—а миѣ кажется, что на верху курятся тѣ самыя старыя курильницы, которыя стоять тамъ со временъ древнихъ авгуровъ, а внизу... Но внизу нельзя ничего разобрать за облаками одуряющаго дыма...

- Ахъ! своро-ли же мив представится, что люди ходять вверхъ головами и не болтають ногами по

воздуху?»

Многимъ любителямъ эффектныхъ противопоставленій понравилась эта романтическая риторика, но мы спросимъ, для кого и для чего она написана?.. Что поймуть изъ всего этого дёти, когда даже и для взрослыхъ все это имбетъ смыслъ только при чтеніи нежду строкъ, да и то самый обдный и рутинный смыслъ общаго изста... Подъ конецъ-же авторъ заговорился до того, что не только для дътей, но и для взрослыхъ, одна фраза такъ и останется въчною загадкою: признаться, мы долго думали надъ темъ, какъ это "истина влечетъ на свободу сознанный фактъ", и не проникли философскаго тумана этого изреченія.

Для примъра того, въ какія растлъвающія сентиментально-чувствительныя рефлексін пускается порою

Вагнеръ, ны разскаженъ содержание нъкоторыхъ саныхъ большихъ и видныхъ сказокъ, помъщенныхъ въ книгъ. Начневъ съ сказки "Мила и Нолли". Гдъ-то на морф-океан'я существовали Голубые острова, владенія фен Лазуры; обитатели этихъ острововъ не знали никакихъ трудовъ, заботъ, страстей и печалей, и наслаждались ввчнымъ блаженствомъ подъ владычествомъ фен Лазуры. Между прочими счастливцами быль одинъ юноша, любимецъ феи Лазуры, котораго эта жизнь вѣчнаго блаженства не могла удовлетворить, и онъ внезапно исполнился одною изъ самыхъ тдетворныхъ человъческихъ страстей, именно, ревностью. Дёло было такъ:

- Разъ вечеромъ на веселомъ пиру, разсказываль преступникъ -- я лежаль подле Лазуры, въ кругу нашей веселой и веселившейся толпы. Лазура ласкала, улыбаясь, мои волнистыя кудри, точно также, какъ она ласкала всехъ безъ разбора, и и сменлся, ловиль ея маленькія білорозовыя ручки и ціловаль ихъ. Потомъ она быстро вскочила и понеслась въ пляскъ съ другимъ юношей, а я, вмъсто того, чтобы засмъяться и точно также броситься вертъться съ какою-нибудь изъ тъхъ прекрасныхъ дъвущекъ, которыя лежали возлё меня, я вдругъ почувствоваль, что я одинокъ и что веб эти девушки не замънять мив одной Лазуры. Не знаю, почему мив вдругъ показалось, что она должна принадлежать мит и никому больше. Нашъ пиръ былъ на Лебяжьемъ островъ, мы всъ танцовали, сидъли или лежали на берегу, а передъ нами плавали цёлыя стада лебедей; они также ръзвились, играли, бризгались и громко кричали. Когда Лазура вернулась на свое мъсто, и хотълъ снова положить голову на ен плечо, хотъль схватить ся хорошенькую ручку, и не могъ. Я чувствовалъ, что во мнъ происходить что-то страшное, неиспытанное. Она бистро обернулась ко мнъ, улыбансь, посмотръла на меня и потомъ вдругь захлопала въ ладощи, такъ что всё къ ней

— Смотрите, закричала она, указывая на меня— воть чудо! между нами чужой! Онъ върно выросъ изъ какихъ-нибудь сёмянь, которыя были принесены къ намъ водой или вътромъ изъ людскаго свъта. Ну, мы сейчась будемь охотиться за нимь, а чтобы прохладить его, мы его выкупаемъ. Квинъ! ату его, чужой!—И она махнула рукой, и въ то-же время я, весь сконфуженный и перепуганный, полетъль, въ видъ лебеди, прямо въ море, а вслъдъ за мной полетели оръхи, яблоки, апельсины, камешки, каждый бросаль чемь попало мив въ догонку; и все кричали: ату его, ату, чужой! и вев хохотали до

Такъ быль превращенъ въ лебедя нечестивецъ, выросшій изъ человіческихъ сімянь, занесенныхъ вітромъ на блаженные острова, и въ заключение былъ изгнанъ феею Лазурою изъ ея владёній. "Прощай, сказала она, ступай въ тотъ старый міръ страстей и пороковъ, добра и зла, лжи и правды, которому ты принадлежишь по натуръ. Ступай, и не возвращайся къ намъ до техъ поръ, пока ты не узнаешь его и не почувствуещь къ нему полнаго и глубокаго отвраще-

Лебедь и полетёль въ міръ страстей и пороковъ.— "Я не буду разсказывать вамъ, говорилъ онъ, что я видель и сколько страданій я пережиль. Я видель смерть и подлость. Не разъ мое бъдное сердце переставало биться, и инъ казалось, что я умираю. Не разъ я прилеталъ къ Голубымъ островамъ съ глубокимъ омерзеніемъ и ненавистью ко всему людскому, съ

желаніемъ остаться на няхъ. Но невёдощая сила снова гнала меня прочь въ этотъ ненавистный и презираемый міръ, гдё я принужденъ былъ скитаться... "

Наконецъ, лебедь сдёлался покровителемъ двухъ гонимыхъ существъ, — маленькой Милы, преследуемой алой мачихой, и сиротки Нолли. Онъ поселилъ ихъ сначала на Зеленыхъ островахъ, потомъ на островахъ Попугаевъ, а впоследстви, когда они выросли и полюбили другъ друга, перевезъ ихъ на Голубые острова, въ парство феи Лазуры.

Здѣсь, предварительно, прежде нежели они вступили въ область въчнаго блаженства, между нами произошелъ слъдующій чувствительный разговоръ:

— Вы оба, —сказаль Лебедь, —любищій и дорогій другь другу варослыя двти. Въ вашихъ двтскихъ сердцахъ ивть мёста нивакому тяжелому, враждебному для кого-би то ни было чувству, но эти сердца только тогда будуть покойни и защищени отъ всивато горя, когда въ нихъ не будеть той сграсти, которая горить въ нихъ теперь такимъ чистимъ, но бурнымь огнемь. Эта страсть тогчась падасть и превращается въ тихое чувство довольства и весельи, когда она не принадлежить двумъ только сердцамъ, а разливается на всёхъ, кто отъйчаетъ на нимъ помысламъ. Если такихъ лицъ много, если они окружаютъ насъ цѣлой толной, то между ними ивтъ, не можетъ бить избранниковъ сердца, они и стружають насъ цѣлой толной, то между ними ивтъ, не можетъ бить избранниковъ сердца, оно постоянно ликуетъ, полное довольствомъ, весельемъ и вѣчнымъ, невозмутимымъ счастьемъ.

весельеми и въчными, невозмутимыми счастьеми. — Мила! — отвечай мив: если вокругь тебя будуть такіе-же оноши, какт твой Нолли, если они съ такой-же любящей, ніжной лаской будуть пъловать твои руки и твои ясные глаза, будещь-ли ты отвъчать имъ на ихъ ласки такъ-же, какъ ты отвъ

чаешь Нолли?

Мила молчала; она вся покраснёла, такъ что слезы выступили на ея глазкахъ. Она смотрёла на Нолли и гладила его черные кудри, какъ будто ждала

отъ него отвъта и помощи.

— Ноли,—сказать Лебедь,—если Мила не отинчить тебя въ толив другихъ коношей, если ея сердце, до сихъ поръ постоянно страдавшее отъ наплыва тѣхъ глубокихъ чувствъ, въ которыхъ нельза найти границы между наслажденіемъ и страданіемъ, если это сердце, наконецъ, успокоится въ тихихъ радостяхъ, если Мила будетъ постоянно весела, довольна и счастлява,—Нолли! отвъчай, будетъ-ли довольно тѣмъ твое собственное сердце и не возмущается-ли оно теперь при одной мысли о томъ, что Мила не будетъ принадлежать тебъ одному, что въ ея сердцъ не будетъ даже завиднато уголка для

— Нѣты!—вскричаль Нолли,—поднявшись съ камня и откинувъ назадъ свои черные кудри. Нѣты! Я не знако, найдеть-ли мое сердце счастье и довольство въ любви ко мить всёхъ дѣвушекъ, такихъ-же прекрасныхъ, какъ Мила; но я знако, что мое сердце будетъ вполнъ довольно счастьемъ дорогой моей Милы, если она, моя родная, будетъ весела, довольна, счастлива. О, Лебеды! лучше, желаннъе этого инчего не представляется, ничего не можетъ

представиться моему любящему сердцу!

— Нолли! — воскликнула Мила и крѣпко обняла его, —дорогой мой! Я не хотѣла отвачать Лебедко, потому что боялась огорчить тебя. Ахв! если вмѣето одного тебя, вокругъ меня будеть много такихъ-же точно какъ ты, добрыхъ и милыхъ Нолли, то я ужъ не буду любить ни тебя, ни ихъ такъ сильно, какъ я люблю теперь тебя одного. Вѣдъ сердце дорожитъ только тѣмъ, что рѣдко и дорого! И если глубокая, сильная привизанность исчеанетъ

изъ него, тогда чёмъ-же оно будеть жить, чёмъ оно будеть полно?

— Наслажденьемь, весельемь, довольствомь собственнымь и веёхы окружающихь тебя! — отвётиль Лебедь. — И еще не договориль онъ последниго слова, какъ вдругь въ воздухё, гдё-то вдали, раздалась чудная музыка...

Наши любящіе молодые люди вступили въ міръ блаженства. Но блаженство это не могло ихъ удоввстворить. Мила видѣла вокругъ себя множество
Нолля, какъ двѣ капли воды, похожихъ на неїо, но
все искала своего собственнаго "Нолли, который въ
свою очередь искаль ее. Однимъ словомъ, оказалось,
по словамъ Милы, что «сердце не можетъ забытъ
того, съ къмъ оно сроднилось; оно ищетъ не заскъ,

не веселья, а глубокой любви!..»

Позню вечеромъ встрѣтились тоскующія и ищущія другъ друга существа, и едва усиѣли они опомниться отъ восторга встрѣчи, какъ сердца ихъ снова исполнились горестью: околѣла ихъ любиная собачка Волокъ, другь и товарищъ ихъ дѣтства и неизиѣнный спутникъ ихъ, обрагивъ растущіе вокругъ цвѣты во множество Волчковъ: оказалось, что еслибы фея Лазура всѣ цвѣты, которые цвѣтутъ на Голубыхъ островахъ, обратила въ Волчковъ, они не замѣнили бы одного Волчка, потому что, по словамъ Милы, съ пими не будутъ связаны, крѣпкимъ узломъ взаимнаго чувства, дорогія для сердца воспоминанія...

Вслъдъ затъмъ начались со стороны Милы томныя рефлексін, весьма напоминающія собою доброе старое время, золотую молодость нашихъ бабущекъ...

«—Нолли, товорить Мила, закрывь глаза, —мон мысли бігуть, бігуть, и я никакь не могу остановить ихь. Голова мон кружится. Скажи мий, дорогой мой, что такое смерть? И неужели, какъ говорила Лазура, жизнь есть вічная переміна различних образовъ? Для чего-же живемь мы, волнуемся, страдаемь, и неужели, дійствительно, ність ничего лучше, выше, блаженніве той жизни, которой живуть эти веселыя діяти, окружающія Лазуру?

— Мила моя, товорить Нолли, сердце привываеть и твить волненіямь, ст которыми сжилось оно съ детства, ему тяжело разстаться съ этими сильными, но сладкими страстями. Если-же оно не сродняюсь съ ними, то для него нёть ничего желанийе мирныхъ удовольствій, среди которыхъ такъ легко и

свободно живется.»

Или еще того лучше:

«— Мила, — говорить Нолли, и голосъ его дрежить, — дорогая моя Мила, что съ тобою? Мив страшно за тебя и за себя; мић кажется, что ты не лю-

бишь меня больше.

— Нъть, Нолли, нъть, мой милый другь,—и она връпко цълуеть его,—я люблю тебя, но скажи миз: развъ любовь не тоже опьяненье? Развъ рано или поздно не ослабнуть 'ея натянутыя струны? Развъ не улетать всъ грезы ея и сладкія волненья, какъ милыї, обманчивый сонъ, и чувства не завянуть въ насъ, какъ цвъты поздней, морозной осенью? И тогда... что-же останется въ живин?.. Ахъ Нолли, Нолли! Скажи мнъ, для чего мы живемъ?..

Почти ведь буквально, какъ у Лермонтова:

Что страсти?.. Вёдь рано иль поздно ихъ сладый

Замолкнеть при слове разсудка. И жизнь, какъ посмотришь съ колоднымъ винманьемъ вокругь,

Такая пустая и глупая шутка!..

Однивъ слововъ, закуражилась барышня такъ, что все не по ней — и любовь не по ней, и жизнь не по

ней, и смерть не по ней; ныла, ныла въ объятіяхъ Нолли, наконецъ, изныла и умерла...

«Фен Лазура унеслась въ какіе-то надзвѣздные міры со всѣмъ своимъ царствоить счастивыхъ существъ», читаемъ мы въ заключеніи сказки. «Давно уже пропаль и слѣдъ Голубыхъ острововъ. Уцѣлѣлъ только островъ Лебяжій на Тихомъ Океанѣ... Онъ весь окруженъ подводными каминми и неприступными скалами, нѣть къ нему ни подхода, ни подъвзда. На немъ стоитъ Нолли и думаетъ свою глубокую думу о томъ: чего недоставало для полнаго счастья его дорогой, ненаглядной Милѣ?... Да! чего недоставало?..»

Мы нарочно подробиве постарались познакомить читателей съ этою сказкою, но при всемъ томъ мы не могли привести и десятой доли тёхъ сентиментальныхъ томленій и воздыханій, какими наполнена она. Для чего-же, спрашиваемъ мы, написана эта сказка? Что это за странный, болёвненный бредъ разстроеннато воображенья и разстроенныхъ нервовъ? Положимъ, что было когда-то давно, давно такое время, когда всё подобиме, такъ называемые, роковые вопросы жизни — кого любеть, къ чему стремиться? могли казаться верхомъ прогреса, но въ наше время подносить дётниъ чащу подобиаго рода прокислыхъ напитковъ сентиментализма, по нашему мийнію, верхъ безумія, просто непонятнаго.

Въ сказкѣ "Колесо счастія" затрогивается одинъ изъ дѣйствительно роковыхъ вопросовъ нашей жизни: именно, рабочій вопросъ; но ставится онъ въ свою очередь на почву романтическихъ рефлексій, неизобжно приводящихъ всѣ вопросы къ одному знаменателю: сознанію тщеты всего земного и унылому разочарованію.

Героемъ этой сказки является Гранжо. Внукъ стараго тряничника, онъ остается круглымъ, обездоленнымъ сиротою послё смерти дёда; попадаетъ на фабрику, тамъ, своимъ умомъ и смышленностью, пріобрътаетъ быстрые успахи, обращаетъ на себя всеобщее внимание и возвышается до того, что не только дълается главнымъ управляющимъ фабрики, но, уличивши фабриканта въ злоупотреблении по части казенныхъ подрядовъ, отнимаетъ у него фабрику угрозою "донести на него правительству"; женится на его дочери, и вибств съ твиъ, оказывается внезапно графомъ, всябдствіе открытія стараго документа, доставшатося ему отъ дъда. Для чего автору нужно было сдёлать своего героя непремённо графомъ, употребивши рутинный пріемъ французскихъ романовъ и трескучихъ мелодрамъ, объ этомъ нужно ужь у него спросить. По всей въроятности, Вагнеръ желалъ, чтобы герой его, идеальный во всёхъ отношеніяхъ, былъ идеаленъ и по своему титулу... Но это мелочь и не въ этомъ заключается сущность сказки.

Одѣлавшись графомъ и владѣльцемъ фабрики, Гранжо занялся устройствомъ благосостоянія рабочихъ и довелъ свою фабрику до верха совершенства: она достигла такихъ громадныхъ размѣровъ, что убила почти всѣ другія фабрики, уничтожила всякую конкурренцію. Вмѣстѣ съ тѣмъ, рабочіе начали вести жизипочти роскошную. Но недолго продолжался этотъ земной рай. Какъ подобаетъ съ рефлективной точки зрѣнія, ивъ самого вѣдра благополучія начали возростать ростки гибели этого благополучія. Съ одной стороны отсутствіе конкурренціи повелофабрику къ застою; счастливые рабочіе, довольные своею участью, не видъли никакой нужды въ какомъ-либо улучшении: "я своимъ положеніемъ доволенъ, мнъ больше ничего не надо, а общее дёло — не мое дёло , говориль каждый изъ нихъ. Съ другой стороны, избытокъ благосостоянія повель некоторыя горячія натуры къ излишествамъ, мотовству: явились развратники, пьяницы, они разорялись и рядомъ съ ними возникли жадные къ деньгамъ ростовщики, которые ссужали проиотавшихся деньгами за жидовскіе проценты. Равновісіе было такимъ образомъ нарушено. Гранжо боролся противъ всего этого, но тщетно: противъ него быль составленъ цълый заговоръ, чтобы свергнуть его и утвердить свободу труда и капитала. Во главъ заговора всталъ рабочій Вилень и такъ ловко повелъ дёло, что Гранжо, дъйствительно, долженъ былъ оставить фабрику. Съ участіемъ следиль онъ после того за делами общества.

«--- Можеть быть, думаль онь, прійдеть оттуда что-нибудь неожиданное, новое, успоконтельное, на чемъ-бы я могь отдохнуть. Но ничего новаго и успоконтельнаго не доходило до его слуха, а почти все шло такъ, какъ онъ предвиделъ. Страсти делали свое дело. Общество падало, разрушалось медленно и неотразимо. Самымъ сильнымъ въ борьбъ, которан теперь шла въ немъ, оказался Вилень. Не даромъ онъ и хлопоталъ о новомъ, или, правильнъе говоря, старомъ принципъ. Онъ быстро все подобралъ къ рукамъ. Онъ быль главный распорядитель и руководитель. Ловко онъ эксплуатироваль и средства, и страсти общества, игралъ на самолюбіи, завелъ поощренія, биржу. Начались разныя поддёлки, удешевленія, кредить фабрики быстро падалт; давно уже явилось раздвоеніе: явились хозяева и работники, и притомъ много хозяевъ, которые грызлись изъза каждой конейки, изъ-за грошоваго дивиденда, рыли другь другу ямы и торопили гибель общества. Самые кроткіе и безобидные давно его оставили и унесли капиталы. Никонецъ, явились несомивниые вловъщіе признаки мерзости запустьнія: ремонть зданій быль брошень, на многомь явились какія-то случайныя заплаты. Положеніе рабочихь ухудшалось, поднялся ропотъ. Вилень уже разсчитывалъ общую ликвидацію и свой барышъ; и за этими разсчетами, одинъ разъ, въ теплую, октябрскую ночь, засталъ его пожаръ фабрики. Зарево далеко разлилось. Два дня и двъ ночи горъли зданія общества, и сгорьли до тла. Пострадали самые бъдные и невинные. Земли, зданія и все, что можно было продать — было продано, и все исчезло, какъ дымъ, безъ следовъ»...

Удивительно, въ этомъ отношении, какъ сходятся крайности. Спросите вы у любого идеалиста-романтика добраго стараго времени, какое мнине имветь онъ объ экономистахъ школы Сэ, съ ихъ оправданиемъ эксилуатаціи канитала и промышленнаго произвола; онъ, конечно, отзовется о нихъ съ отвращениемъ, какъ о черствыхъ защитникахъ безчеловечнаго филистерства; но заставьте вы этого же самаго романтика обсуждать рабочій воопрось со своей точки эрвнія, и что же: такова уже эта рефлективная точка эрвнія, стремящаяся во всемъ открывать противориче и созерцать въ жизни смерть и въ смерти жизнь, что романтикъ не замедлить съ своей стороны развить передъ вами тъ же доводы, какие развивали въ свое время безчувственные экономисты въ защиту своихъ теорій: точно также романтикъ будеть увърять васъ, что отсутствіе конкурренціи должно привести къ застою, а благосостояніе новедеть рабочихь къ ліности и разврату; и такинъ образонъ, все зданіе проимпленности

разрушится. Но развъ не бывало въ исторіи попытокъ заводить такія благоденственныя фабрики, какъ фабрика Гранжо, и развъ эти попытки не кончались такъ же неудачно и совершенно подобно тому, какъ это описано у Вагнера? спросить меня читатель. Да, ответинь мы, существовало много подобныхъ попытокъ и кончались онъ столь же неудачно. Но вы подумайте только, когда на Западъ было особенное повътріе на эти попытки? Тогда, когда рабочій вопросъ только-что возникъ и коренился на почвъ романтизма, представлялся въ виде прекрасныхъ, но совершенно отвлеченныхъ теорій, осуществленіе которыхъ возлагалось на идеальныя личности; личности эти должны были явиться благод втелями челов вческаго рода и водворять повсюду благосостояніе и счастіе. Неудачи всёхъ подобныхъ попытокъ и произощин отъ такой ложной постановки вопроса; онъ показывають намъ только то, что всякое стремление осуществить отвлеченную теорию должно рушиться передъ напоромъ жизни, какъ бы ни казалась эта теорія прекрасна и догически совершенна; но эти неудачи нисколько не опровергаютъ возножности естественнаго возникновенія и свободнаго развитія ассоціацій путемъ самого жизненнаго процесса. Величайшая ошибка Вагнера въ томъ именно и заключается, что онъ снова вздумалъ поднять на ноги отжившую старину и поставиль вопрось на идеалистическую почву частнаго благотворительнаго предпріятія. Для чего же это? Для того, чтобы преждевременно запутать унъ нолодого читателя безъисходною дилением и привести его къ сознанію, что вопросъ неразрѣшимъ и что лучше махнуть на него рукой, предоставивши жизни идти какъ ей угодно; однимъ словомъ, laisser faire, laisser passer... Конецъ сказки подтверждаетъ это наше предположение. Когда Гранжо умиралъ, ему постоянно мерещилась покойная жена его Али: свътлая, лучезарная, въ каковъ-то сіяющемъ, біломъ платьй изъ ажурной кисеи, и говорила ему:

«— Я прогресъ; но ты не думай, мой дорогой другъ, чтобы я все вела къ лучшему: я дѣлаю только все сложнѣе, и дурное, и хорошее, и умъ, и глуность, и мий дѣла нѣтъ до людей: я—дитя природы....

— Видишь ли, отъ борьбы я становлюсь свётийе; но утихнеть борьба - и весь мой свёть расплывается въ общей массё, и иёть во мий яркихъ, свер-

кающихъ искръ!..

— Другъ мой, дорогой мой другъ! ты напрасно думаль, что я погибну—в не могу погибнуть. Я приняла въ себя всю темную массу и стала еще блестаще. Но вглядись въ этотъ блескъ: онъ только ослъпляеть, а внутря—тамъ много темнаго, гораздо больше, чъмъ было. И Гранжо, дъйствительно, видить это темное, стралиное, отталкивающее: въ немъ кишатъ черные черви людскихъ страстей и прихотей. Онъ снова мечется, мучительно мечется и падасть безъ памяти».

Какъ вамъ нравится это мрачное разочарованіе въ прогресь, въ смыслъ улучшенія отношеній людей между собою; представленіе прогреса въ видъ спенсеровскаго дифференцированья, въ образъ холоднаго сіянія, вмъщающаго въ себъ всъ человъческія гадости!.. И это представляется результатомъ обсужденія одного

изъ передовыхъ вопросовъ современной жизни и подносится дѣтямъ, для возбужденія въ нихъ вѣры въ прогресъ и энтузіазма къ слѣдованію по е́го пути!.. До какой, въ самоиъ дѣлѣ, нужно додуматься крайней мудрости, чтобы обратиться къ дѣтямъ съ такими словами: "Вотъ вамъ, дѣти, дорога; по ней должны вы шествовать въ вашей жизни; только будьте увѣрены, что никуда она васъ не приведетъ!.."

Совершенно согласно съ этимъ духомъ разъвдающихъ рефлексій и тоскливаго разочарованья, у Вагнера мы видимъ страсть рисовать картины самаго мрачнаго характера, всеобщаго разлада, разрушенія, смерти. Иногда въ подобной маніи онъ доходитъ до крайняго изступленія фантавіи, какъ, напримърт, въ сказкахъ "Максъ и Волчокъ" и "Али-Гафизъ"; иногда же, какъ въ сказкахъ "Пѣсенка земли" и "Швен", онъ разливается въ слезивой чувствительности... И то, и другое, по нашему мнѣнію, должно одинаково тлетворно дъйствовать на дътей.

🗻 Много въ былое врекя толковали у насъ о вредъ излишней фантастичности сказокъ, но всё эти толки были крайне односторонни и поверхностны, потому что подъ фантастичностью разумвли обыкновенно, исключительно фантастичность минологическую: сказки о лъшихъ, домовыхъ, мертвецахъ и пр., а вредъ подобной фантастичности видёли исключительно въ развитіи суевфрныхъ инстинктовъ въ ребенкѣ. Между тыть, вредъ подобныхъ сказокъ заключается въ сущности не столько въ развитіи суеверія, сколько въ сильномъ возбужденіи воображенія и потрясеніи всей нервной системы, могущемъ довести ребенка до галлюцинацій, въ крайнемъ случав, до сумашествія. Разувърить ребенка въ несуществовани лъшихъ и домовыхъ не стоитъ большой трудности; но случается неръдко, что дъти, нисколько не върящія ни въ домовыхъ, ни въ мертвецовъ, такъ сильно возбуждаются разсказами объ этихъ предметахъ и пріобретають къ нимъ такую страсть, что днемъ и ночью грезятъ прочитаннымъ, теряя способность заниматься и думать о чемъ-нибудь другомъ. Здёсь все зависить не столько отъ самыхъ фактовъ, передаваемыхъ сказкою, сколько отъ той силы впечатленія, съ какою они передаются. Въ этомъ отношенім "Вій" Гоголя можетъ гораздо сильнъе подъйствовать на ребенка, невърующаго въ содержание повъсти, чъмъ та-же самая легенда, разсказанная вяло и безцвётно, на вёрующаго. Но, если вредъ фантастическихъ сказокъ заключается не столько въ содержаніи ихъ, сколько въ силѣ впечатлѣнія, дѣйствующей на нервы ребенка, то очевидно, что вредна сказка со всякимъ излишнимъ направленіемъ фантазіи, хотя-бы въ ней и не говорилось ни о какихъ сверхъестественныхъ вещахъ. Мало этого; въ последнемъ случае сказка должна подействовать еще вреднее: читая инфологическую, сказку, ребенокъ, потерявшій уже въру въ реальность мионческихъ существъ, какъ-бы сильно ни напечатлъвался прочитаннымъ, во всякомъ случав, не можетъ напечатлъться до такой степени сильно, какъ если-бы онъ слепо вериль всему, что читаль; такимъ образомъ, иллюзія до ніжоторой степени уменьшается. Между твиъ, фантастическая сказка, въ которой представлены въ преувеличенномъ виде различныя разди-

рательныя вещи, съ претензією на ихъ реальность, дъйствуеть на воображение неудержимо, и иллюзія въ этомъ случав не имветъ границъ. Трудно себв представить, до какого умоизступленія можно довести мало-мальски нервнаго ребенка, пичкая его такими апокалипсическими картинами, какъ сонъ "Али-Гафиза"... Излишняя чувствительность сказокъ, въ родъ "Иъсенка земли" или "Швея, въ свою очередь, должна дъйствовать на дътей санымъ раздагающимъ образомъ. Въ "Швев" такое вредное действіе, по крайней итрь, выкупается содержаніемъ сказки; "Ивсенка же земли", не имъя ровно никакого содержанія, какъ будто нарочно для того только и написана, чтобы пощекотать чувствительность дитяти и заставить его лишній разъ прослезиться. Въ самомъ дёлё, все содержаніе сказки въ томъ только и заключается, какъ постепенно хворалъ и таялъ ребенокъ съ теченіемъ временъ года, начиная съ весны, и какъ онъ, наконецъ, умеръ зимою, къ огорченію своей матери... Если Вагнеръ воображаетъ подобными разсказами развивать въ дётяхъ чувствительность, то онъ весьма ошибается; ошибается въ такой-же степени, въ какой заблуждался-бы медикъ, если-бы мечталъ развить дъятельность желудка дитити, заставляя его глотать большими дозами раздичныя наркотическія, возбуждающія снадобья. Не чувствительность, а нервную экзальтацію разовьеть онъ въ дётяхъ своими "Півсенками земли", ту нервную экзальтацію, при которой человекъ, воспитанный на подобныхъ разсказахъ, будетъ готовъ проливать обильныя слезы при видъ мухи, утопающей въ стаканъ, а въ то-же время будетъ глухъ и холоденъ къ дъйствительному горю ближняго, если только это горе не проявляется въ раздирательномъ видъ. Ребенку постоянно будетъ мерещиться швея, упирающая въ нетопленной комната съ гододу надъ работой, а тутъ-же, передъ нимъ, его же мамаша или сестрица станутъ распекать действительную, а не воображаемую швею, за то, что она не цоспъла во время, не угодила; ребенку же и въ голову не придетъ, какое страшное горе терпятъ отъ всевозможной житейской грязи швеи, не умирающія надъ работой. Напротивъ того, онъ, пожадуй, еще приметъ сторону намаши и у него сложится такое понятіе, что, въ дъйствительности, передъ нимъ, конечно, не та швея, какую онъ видёль въ сказка: то была швея идеальная, а эта распутная; та укерла надъ работой, чтобы во время поспъть; эта же принесла шитье неделею позже, чемъ объщала, испортила талію, и еще отвъчаетъ дерзкими словами на справедливые упреки мамаши. Впрочемъ, чтобы не тратить много словъ, мы можемъ привести и фактическія доказательства, какъ дъйствують накоторыя сказки Вагнера. Навъ приходилось уже не разъ слышать, что одинъ ребенокъ зарыдалъ отъ "Пъсенки земли"; другой — впалъ въ истерику, при чтеніи "Швен". Зам'вчательно, что подобныя вещи намъ приходилось слышать отъ почитателей книги Вагнера, которые приводили эти факты въ видѣ доказательства того, какое благотворное и сильное дъйствіе производять эти сказки на дътей. Да, надо признаться, действительно, сильное, и по благотворности своей не уступающее действію речей Верховенскаго: тъ тоже доводили воспитанника до истерикъ...

Но Вагнеру мало сказокъ слезоточивыхъ и съ апокалипсическими картинами; вы найдете въ книгъ сказку, въ которой представляется передъ вами не что иное, какъ сумасшедшій бредъ пьяницы, находящагося въ бёлой горячкъ! Такова сказка "Майоръ и сверчокъ". Самое начало этой сказки поражаетъ васъ своею курьезностью:

«— Эй, Иванъ! Тащи паровозъ! Мы поблемъ че-

резъ Китай, примо въ Ямайку.

И тотчасъ же тащить деньщикъ Иванъ небольшой походный самоварь красной мёди и ставить его на столъ. Онъ очень хорошо знаетъ, чего требуеть майорь, потому что, каждый вечерь аккуратно, майорь вздить черезь Китай прямо въ Ямайку. И несеть Иванъ Китай, въ маленькомъ ящикъ изъ карельской березы, который, по прежнему, навывается чайницей. Несеть онь и чайникь, и стаканъ, и самую чистейшую ямайку, въ высокой бутылкъ съ разволоченнымъ ярлыкомъ.

Пьеть майоръ стаканъ, пьеть другой. Въ самоваръ врасной мъди видно его красное лицо съ вспо-

тъвшимъ лбомъ и длинными усами.

«Ну!» думаеть майорь: «теперь я въ самой

Ямайкъ!...

Затёмъ, маіору начинаетъ грезиться, что сверчокъ въ своей трескотив разсказываеть ему жизнь, какъ онъ сошелся съ подругой и эта подруга пренебрегла игрою на фортепьяно хозяйки дома, въ которомъ они жили, и пришла слушать пъсню своего возлюбленнаго. Мајора привелъ этотъ разсказъ въ такое умиленіе, что, стукнувъ по столу кулакомъ, онъ вскричалъ:

«— Эхъ! вёдь это, дёйствительно, хорошо; но этого я никогда не испытываль, а тоже быль молодъ. И помню я и панну Юзефу, и панну Фелицатуи мазуречка цанна, не кохайся дармо. Ахъ! вы всъ, ясноокія панны! И скоро ли я доберусь до пани Ямайки?! И майорь выпиль еще стаканъ; но который, онъ уже и самъ не понималъ».

Далбе за темъ, сверчокъ началъ разсказывать о томъ, какъ между его собратьями произошелъ раздоръ СЪ ТЕХЪ ПОРЪ, КАКЪ ОДНИ ИЗЪ НИХЪ ПОСЕЛИЛИСЬ ВЪ избахъ съ людьми, и началась у нихъ безконечная борьба съ полевыми сверчками. Разсказъ этотъ, а витстт съ нипъ и вся сказка, кончается следующинъ

«И чуть не каждый день, —пъль сверчокъ, —идутъ у насъ битвы цёлые длинные годы. Это бевконечная, старая сказка. И нёть конца нашимъ усобицамъ и распрямъ. Старые, съдые сверчки говорятъ, что, наконець, настанеть время, когда улягутся всф раздоры, и веж мы, сверчки, по-братски, соединимся въ одинъ народъ, въ одно стадо... Да, видно, это блаженное времи тогда настанетъ, когда ни одного сверчка на свътъ не будетъ! И сверчокъ пропълъ свое грустное, послъднее: «Чильжиль!» и замолкъ.

А майоръ?.. Но майоръ уже давно ничего не говорилъ.

Свъча догоръла, самоваръ потухъ, трубка погасла, а самъ майоръ лежалъ истымъ богатыремъ, просто на полу, подлъ кресла, и храпълъ богатырски...

Ахъ! навърно, теперь онъ былъ въ самой «Ямайкъ». Мы изложили содержание этой сказки, не столько потому, чтобы и подобную сказку считали вредною для дётей, сколько для того, чтобы ноказать, до какого непостижимаго сумбура договаривается порою Вагнеръ. Въ виду такой нелъпицы, конечно, смъшно и говорить о какомъ-либо дъйствіи или вліяніи ся на дътей. Она любопытна только, какъ весьма характеристическій фактъ, до какого бреда додумываются современные наши русскіе мыслители и, что всего зам'ячательніве, возбуждають этимь бредомъ сочувствіе публики и похвалы газетныхъ рецензентовъ!..

Въ заключение намъ остается еще разъ выразить наше искреннее сожальние, что Вагнеръ, въ которомъ мы не можемъ не признать и художественнаго таланта, и умънья говорить съ дътьми, не удержался на реальной почвы объективнаго анализа относительныхъ явлени жизни, а пустился въ область раздирательныхъ и туманныхъ рефлексій, не принявши въ софражение разумныхъ педагогическихъ требованій. Мы отъ души желаль-бы, чтобы Вагнеръ не оставлялъ начатаго имъ дъла, то-есть написалъ-бы еще томъ

сказокъ, но при этомъ, чтобы поступалъ осмотрительнее, обдумывалъ тщательно, о чемъ можно говорить съ дётскій умъ можно валить все, что толькони взбредетъ въ голову, надёясь, что онъ все перемелетъ и обратитъ въ муку. Если-же у Вагнера такая уже субъективная натура, что онъ не можетъ воздержаться отъ чувствительныхъ сердценяліяній всего, что у него только кипитъ на сердце, тогда пусть онъ лучше ужь и не пишетъ дётскихъ сказокъ, а подвизается на поприщё какихъ-нибудь лирическихъ стихотвореній.

ТРИ ЧЕЛОВЪКА СОРОКОВЫХЪ ГОДОВЪ.

I.

Всякій умственный процессъ имбетъ три необходимые періода въ своемъ развитіи. Во время перваго періода, хотя мысль является уже возбужденною и приведенною въ движеніе, но старыя убъжденія до такой степени тяготёють еще надъ умами, вследствіе глубоко вкоренившейся привычки къ нимъ, что людямъ кажется, что съ поколебаніемъ ихъ все должно придти въ хаосъ и разрушение. Поэтому, человъкъ ограничивается только соверцаніемъ своихъ нравственныхъ убъжденій, анализируетъ ихъ, не имъя въ въ виду ничего иного, какъ только проникнутъ въ нихъ какъ можно глубже и довести себя до разумнаго сознанія ихъ. Но такой анализъ прямо ведеть къ тому, что старое міровоззрѣніе оказывается исполненнымъ неразрѣшимыхъ противорѣчій и внутри себя, и въ своихъ приложеніяхъ въ жизни. Въ то-же время въ области мысли все болёе и болёе выясняются новыя идеи, идушія совершенно въ разрёзъ господствующему міровоззрѣнію, и начинають все назойливѣе и назойливѣе заявлять свое превосходство сравнительно съ отживающими идеями. Тогда ничинается второй періодъ процесса-періодъ борьбы, раздвоенности и мучительнаго скептицизма въ области мысли и жизни. Какъ старое міровоззрвніе, такъ и новое заявляють равныя права гражданства и въ то-же время взаимно другъ друга уничтожають. Мозгъ человека делается ареной борьбы противоположных в идей. Человъкъ самъ сознаетъ въ это время, что въ немъ идетъ борьба свъта и тымы, жизни и смерти и тъмъ тревожнъе, мучительные бываеть его настроение, что онъ самъ не знаетъ, гдѣ жизнь, гдѣ смерть. Наконецъ, наступаеть третій періодъ, но онъ заключается не въ примиреніи и не въ снятіи противоржчій, какъ учила гегелевская философія, а въ решительной победе новаго міровоззрѣнія надъ старымъ. Въ этомъ періодѣ старое міровозэрѣніе окончательно рушится и производится та страшная ломка его, вслёдствіе которой приверженцы старыхъ идей видять въ этомъ періодё одно безусловное отрицаніе, разрушеніе, нигилизмъ, не замічая въ своей близорукости, что рядомъ съ разрушеніемъ и отрицаніемъ стараго повсюду возникаетъ и развивается новое, красуется и ликуетъ, исполненное свёжей, весенней жизни на развалинахъ отжившаго.

Въ тридцатые годы нынёшияго столётія преобладали явленія перваго періода того умственнаго процесса, который мы переживали въ то время. Всё вопросы и сомнинія, водновавшіе людей тридцатых в годовь, разрѣшались постоянно въ духѣ старыхъ міровозэрѣній. Отжившія преданія были такъ еще дороги, что мальйшій разладь съ ними бользненно отзывался въ серанахъ, и мыслители изощрялись въ схоластической діалектикъ, чтобы натянуть какое бы то ни было примиреніе съ тімъ, что безвозвратно отжило и испускало последнее дыханіе. Это были бальзамировщики, тщетно старавшіеся предохранить отъ тлінія раздагавшійся трупъ посредствомъ различныхъ втираній и умащиваній. Это были жены Лота, готовыя обратиться въ соляные столбы, лишь бы не выпускать изъ глазъ роднаго пепедища. Но на такомъ распутьи могли остаться только такія личности, которыя были или слишкомъ стары, чтобы мозгъ ихъ могъ энергически продолжать процессъ развитія, или были окончательно растліны условіями быта той размягчающей и притупляющей сферы усадебной жизни, которая во всё времена была особенно урожайна на всякаго рода философовъ-примирителей, поверхностных в созерцателей и артистовъэпикурейцевъ: Всь-же люди, одаренные коть малъйшею энергіей мысли, пошли впередъ и вступили во второй періодъ умственнаго процесса, въ періодъ скептицизма и раздвоенности. Сороковые годы и представляютъ собою этотъ второй періодъ.

Съ самаго начала сороковыхъ годовъ картина умственной жизни совершенно измѣняется. Дѣленіе людей прогреса и застоя на классиковъ и романтиковъ окончательно исчезаеть къ этому времени. Виъсто этихъ узкихъ рамокъ, основанныхъ исключительно на художественныхъ интересахъ, принимаются более широкія рамки вопросовъ о направленін въ Россін образованности вообще, выработанныя московскимъ философскимъ движеніемъ въ духѣ Щеллинга. Между тѣмъ, какъ люди, приверженные старымъ міровозэръніямъ, основаннымъ на преданіяхъ допетровской Руси, сосредоточиваются въ Москвъ подъ знаменемъ славянофильства, люди движенія впередъ отъ средневъковыхъ міровоззрвній и формъ сосредоточиваются въ Петербургъ подъ общимъ названіемъ западниковъ. Такинъ образомъ, уиственный антагонизмъ между двумя столицами принимаетъ такой-же видъ, какъ это было при Петрѣ I и Екатеринѣ II. Едва только мысль двинулась съ новою энергіей и сиблостью отъ допетровскихъ преданій, тотчасъ-же всё мало-мальски талантливые представители движенія покинули Москву, совершенно подобно тому, какъ некогда покинулъ ее знаменитый основатель Петербурга, и Москва, съ оставленіемъ ее западниками, еще болье утвердилась въ своемъ консерватизит всякаго рода. Замъчательно, что въ сороковые годы, когда западники начали сосредоточиваться въ Петербургъ, въ большую моду вошии въ литературъ сравненія объихъ столицъ относительно различныхъ ихъ особенностей, достоинствъ и недостатковъ. Кто только не упражнялся въ то время въ этихъ сравненіяхъ, начиная съ Бѣлинскаго и Герцена и кончая К. Аксаковымъ: последній довель это сопоставленіе Москвы съ Петербургомъ даже до сцены, написавши водевиль, въ которомъ москвичъ встрвчается съ петербуржцемъ на станціи среди московскаго шоссе и оба начинають петь куплеты о взаимнымъ преимуществахъ и недостаткахъ объихъ столицъ.

При всемъ томъ, что раздёленіе мыслящихъ людей на славянофиловъ и западниковъ стояло на первоиъ плант въ сороковые годы, и при всей ожесточенной борьбѣ этихъ партій, замѣчательно, что онѣ въ томъ видъ, какъ существовали въ сороковые годы, имъли гораздо болже точекъ соприкоснованія, чёмъ разділенія. Это не была борьба двукъ философскихъ системъ, такъ-какъ славянофилы опирались на тѣ-же философскія ученія, какъ и западники; не была, съ другой стороны, борьба двухъ политическихъ партій, такъ-какъ славянофилы, со своимъ отрицаніемъ петровскаго періода, представляли такую-же оппозицію противъ господствовавшей въ то время реакціи, какъ и западники. Не менъе западниковъ желали они освобожденія крестьянъ, улучшенія судовъ и администрацін; что-же касается общихъ идеаловъ общественной жизни, то западники представляли столь-же смутныя и неопредвленныя иден, какъ и славянофилы. Что касается до сословныхъ принциповъ, то на нихъ темъ менье можно основывать раздыление этихъ партій, такъ какъ славянофилы принадлежали къ той-же средъ, какъ и западники, выработывавшей въ обоихъ лагеряхъ одинаковые типы диллетантовъ, фразеровъ, эстетиковъ, эпикурейцевъ и діалектиковъ, исполненныхъ мрачной, разъедающей рефлексии. Но что-же могло раздёлять славянофиловъ отъ западниковъ, если они

сходились въ такихъ трехъ принципахъ, какъ философскій, политическій и сословный - принципахъ, на которыхъ съ испоконъ въковъ основывались всё партін? Основой дёленія было именно съ одной стороны стремленіе во что бы то ни стало удержаться на допетровскихъ средневъковыхъ принципахъ иысли и жизнивъ то время, какъ съ другой стороны была постоянная тяга отръшаться отъ нихъ все болье и болье. Мы нарочно употребляемъ здёсь такія неопредёленныя слова, какъ стремление и тяга, потому что только такія слова и могуть соотвётствовать столь неопредёленнымъ отношеніямъ, какія существовали между славянофилами и западниками въ сороковые годы. Въ саномъ дёлё: при всемъ томъ, что славянофилы основывали всё свои ученія на слепой и часто фанатической въръ, въ то время, какъ западники все болъе и болве проникались скептицизмомъ, при всемъ этомъ, отръшение западниковъ отъ средневъковыхъ преданій было дізломъ не одной минуты, не какимъ-нибуль отважнымъ скачкомъ, послѣ котораго западники вдругъ начали отрицать все и вся, что ихъ связывало съ стариной. Это былъ весьма медленный, постепенный, трудный процесь, который шель шагь за шагонъ, все болѣе и болѣе отдаляя людей прогресса отъ средневъковыхъ преданій. Сороковые годы, какъ ны уже сказали, представляють иненно тоть второй періодъ переходнаго процеса, въ который новын начала мысли вступили въ решительную борьбу со старыми, но старыя начала все еще заявляли свое существование на каждомъ шагу и не сразу уступали свое мъсто. Поэтому, при всъхъ насмъшкахъ надъ юродствами славянофиловъ, у большинства западниковъ было такъ много еще непоколебленныхъ предразсудковъ, преданій и слёпыхъ упованій, что сами они на половину были такіе-же славянофилы. Достаточно указать на беллетристовъ сороковыхъ годовъ-Тургенева, Писемскаго, Л. Тостого и пр. Подумайте, къ какой категоріи ножно ихъ причислить--къ западникамъ или славянофиламъ? Всѣ они воспитались подъ вліяніемъ западническихъ кружковъ, всё они ставять воглавъ своей Вълинскаго, этого самаго рьянаго гонителя славянофиловъ. Но тотъ-же самый Тургеневъ, который въ "Дымъ" сиъется надъ славянофильствонъ, прославляя западную цивилизацію, въ "Рудинъ", напротивъ того, выставляетъ нъсколько идей вполнъ славянофильскихъ, въ родъ того, что внъ народности нътъ спасенія, что космополитизмъ-нуль и пр. А кто такой Л. Толстой—западникъ онъ или славянофиль? То-же самое и Писемскій въ своемъ "Взбаланученномъ моръ". Замъчателенъ въ этомъ отношеніи тотъ фактъ, что едва отрѣшеніе отъ средневъковыхъ преданій приняло въ кружкахъ западниковъ болье широкіе размыры, весьма многіе нвъ западниковъ сороковыхъ годовъ увидели въ себе гораздо более солидарности съ славянофилами, чемъ съ своими-же последователями, и примкнули къ славинофиламъ.

По этому всему, одною борьбой славянофиловъ съ западниками далеко не исчериывается характеръ и духъ движенія сороковыхъ годовъ; не въ ней одной заключалась сущность прогресса въ сороковые годы, а въ томъ движеніи, которое совершалось въ самыхъ

кружкахъ западниковъ, въ тёхъ развётвленіяхъ, которыя новели къ тому, что къ концу сороковыхъ годовъ одинъ западчикъ отличался отъ другого въ большей степени, чёмъ иной западникъ отъ славянофила. Это движеніе, дробленіе людей на различные оттенки мыслей, постоянные переходы отъ однёхъ системъ къ другимъ, смъщение различныхъ взглядовъ и ученій, множество точекъ соприкосновенія между самыми, повидимому, противоположными возгреніями, наконецъ, взаимное вліяніе и полировка между людьми, отставшими въ одномъ и опередившими другъ друга въ другомъ-все это вижств представляетъ такой пестрый хаосъ въ эпоху сороковыхъ годовъ, что изследование этой эпохи делается крайне затруднительнымъ. Если въ каждый векъ люди переростаютъ другъ друга, какъ деревья въ лёсу, то можно себъ представить, до чего доходить такое переростание въ такія переходныя эпохи, къ какимъ принадлежатъ сороковые годы. Въ подобныя эпохи нётъ кикакой возможности провести особенно разкихъ граней между людьми отсталыми и передовыми, такъ-какъ въ каждомъ человъкъ вы найдете два враждующіе лагеря, наъ которыхъ одинъ тянетъ въ одну сторону, другой-въ другую. Вы можете встретить во главе движенія людей, опередившихъ своихъ современниковъ въ одномъ отношени на цълое поколъние, за то въ другомъ отставшихъ отъ нихъ на несколько поколеній; люди, едва начинающіе уиственное развитіе, ни къ чему не пришедшіе, ничего не рішившіе, становятся вдругъ во главъ движенія и ведутъ за собою свое покольніе, въ то-же время сами идя за другими людьми, которые, въ свою очередь, учатся у третьихъ. Люди, вчера еще отстававшіе и заблуждавшіеся, сегодня становятся вдругь впереди тъхъ, которые вчера еще ихъ укоряли въ отсталости и заблуждении; наконецъ, при постоянномъ теченій развитія, вы встрічаете въ кажломъ пунктъ его своихъ утопленниковъ, людей, которые вчера еще плыли впереди другихъ, а сегодня уже лежать на див трупами и задніе пловцы переплывають ихъ.

Чтобы читатели могли наглядно судить, какое въ этомъ отношени вавилонское столиотворение представляли собою 40 годы, ны представинъ рядомъ карактеристику трехъ дъятелей этой эпохи, которые всъ трое являются вождями своего вёка и оказывають на свое поколеніе громадное вліяніе, а между темъ, одинъ отстаеть оть своихъ современниковъ на нѣсколько стольтій; другой стоить въ общемъ уровив эпохи, а третій во многихъ отношеніяхъ опереживаетъ своихъ современниковъ. Эти три человека суть: Н. В. Гоголь, Т. Н. Грановскій и А. И. Герценъ. Они могутъ служить намъ тремя путеводительными маяками, которые покажуть намъ начало, средину и выходъ изъ хаоса сороковыхъ годовъ. Въ то-же время они могутъ служить насштабомъ для изибренія различныхъ дівятелей того времени.

П

Итакъ, начнемъ съ Гоголя. Вдіяніе его на развитіе художественной литературы признается столь сильнымъ, что весь періодъ литературы сороковыхъ

годовъ называется гоголевскимъ. Переворотъ, который Гоголь совершилъ въ нашей литературъ, заключается, какъ всёмъ извёстно, въ томъ, что онъ первый решился радикально обратиться въ своемъ творчествъ отъ разныхъ романтическихъ красотъ и эксцентричностей, къ простой и обыденной действительности и изображать ее во всей ея непривлекательной грязи, не идеализируя и не выбирая изъ нея одни художественные перлы. Были и до него художники, которые изображали грязь и пошлость действительности (фонъ-Визинъ, Капнистъ, Крыловъ, Грибовдовъ), но они не имъли такой силы, чтобы всю литературу обратить на этотъ путь и создать цёлую школу, идущую совершенно въ разрѣзъ со всѣми прежними художественными традиціями. Но въ то-же самое время тотъ-же Гоголь, опередившій, въ художественномъ отношении, многихъ, даже последующихъ дъятелей литературы, не только что не былъ человъкомъ сороковыхъ годовъ-не принадлежалъ лаже и къ XIX стольтію, и можно даже сказать, что этимъ онъ и обязанъ былъ тою легкостью, съ которою онъ отрёшился отъ всёхъ художественныхъ традицій, въ духѣ которыхъ были воспитаны его современники. Онъ былъ выходецъ изъ страны, отдаленной отъ центровъ московско-петербургскаго умственнаго движенія, которая едва покончила свою самобытную жизнь, дико-воинственную, вполнъ средневъковую, и была еще преисполнена пъсенъ, легендъ и преданій этой жизни, сохранявшихъ еще свъжее обаяние только-что иинувшаго вчерашняго дня. Идеалы этой среды были еще вполнъ средневъковые. Съ одной стороны, это быль рыцарскій идеаль удалаго казака Занорожской свчи, съ другой-прачнаго, набожнаго аскета-отшельника Кіево-печерской лавры. Степь или монастырь—таковы были два единственныя убъжища въ среднев вковой Руси для людей, не ладящихъ съ дъйствительностью; съ уничтожениемъ казачества, остался одинъ монастырь.

Съ міросозерцаніемъ непосредственно средневѣковымъ, религіозно-набожнымъ, прівхалъ Гоголь въ Петербургъ въ такое время, когда последній представдяль полное запуствніе и отсутствіе вскаго умственнаго движенія. Здёсь онъ замкнулся въ тёсный кружокъ своихъ товарищей-земляковъ, стоявшихъ на той-же степени развитія, какъ и онъ. Стренькое петербургское небо и такал-же серенькая жизнь, полная лишеній, нужды и заботь о существованіи, тяжелымъ свинцомъ налегли на молодаго человъка, и вся эта обстановка должна была показаться ему вдвое бъднъе, жальче и пошлъе сравнительно съ яркими цвътами малороссійской природы и преданіями отжившей старины, исполненными обаятельной, свъжей поэзін. Малороссы, заёхавшіе въ Петербургъ, обыкновенно долго носятся съ пъснями и преданіями своей родины и приходять въ слезливое умиленіе отъ одного запаха малороссійскаго сала. Такъ точно и Гоголь, при своемъ пламенномъ воображении, весь унесся въ воспоминание о своей родинт, въ ея поэтическия преданія и плодомъ этого явились "Вечера на хуторъ" и "Тарасъ Бульба". Если хотите, эти произведенія можно причислить къ романтическимъ---но это былъ вовсе не тотъ романтизмъ, который господствовалъ

въ Европѣ и у насъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, который проникался образами и мотивами среднихъ вѣковъ, искусственно, съ задними мыслями и по большей части одѣвалъ въ рыцарскія латы своихъ-же современниковъ, исполненныхъ внутренняю разлада, скептицизма или туманной мечтательности. Романтивиъ Гоголя въ "Вечерахъ на хуторѣ является передъ нами вполнѣ средневѣковымъ, отпошеніе Гоголя къ природѣ, жизни и преданіянъ своей родины пречисполнено той наивной непосредственности, той дѣтской простоты, вслѣдствіе которыхъ "Вечера на хуторѣ являются передъ нами словно какими то средневѣковыми новеллами. Самый юморъ, которымъ пречисполнены "Вечера — безкитростный, добродушный, вполнѣ народный, маллороссійскій юморъ.

Появленіе "Вечеровъ" сблизило Гоголя съ литературнымъ міромъ—онъ познакомился съ Пушкинымъ, Жуковскимъ, Вяземскимъ, внослёдствіи съ Шевыревымъ и Погодинымъ; все это были люди отжившіе или остановившіеся. Лучшій изъ нихъ былъ безспорно Пушкинъ, но это былъ Пушкинъ послёднято періода своей дёятельности. Онъ могъ быть полезенъ Гоголю своими совътями по художественной части; что-же касается обще-развивательнаго вліянія, то въ этомъ отношеніи онъ могъ быть болье вреденъ,

чёмъ полезенъ.

Такимъ образомъ, Гоголь остался совершенно внъ умственнаго движенія своего времени. Въ юности его занимали вопросы исключительно художественные, литературные, причемъ для него вовсе не существовало тёхъ мучительныхъ вопросовъ о судьбё, духё и направленіи русской образованности, надъ разрѣшеніемъ которыхъ мучилось поколение тридцатыхъ годовъ. Онъ не сдълался ни западникойъ, ни славянофиломъ. Западникомъ онъ не ногъ сдёлаться потому, что имълъ весьма смутныя понятія о духъ и направленіи западной образованности и никакое учение Запада не увлекало его; что-же касается славянофильства, то Гоголь, хотя и стоялъ на почвъ того-же до-петровскаго міросозерцанія, на которомъ славянофилы основывали все спасеніе міра, но онъ отличался, все-таки, отъ нихъ тамъ, что славянофилы были люди тронутые, раздвоенные, сами находились уже вит до-петровскаго міросозерданія и только натягивали во что бы то ни стало возвращение къ нему и примирение съ нимъ посредствомъ различныхъ хитросплетеній гегелевской діалектики, заразившись ею отъ того-же растленнаго Запада, который такъ проклинали. Между темъ, на Гоголе не было и следа никакой полобной западной проказы: допетровское міросоверпаніе было предметомъ такой-же непосредственной, наивной вуры для него, какъ и для любаго простолюдина, и ему не для чего было стремиться къ возвращению къ тому, въ сферъ чего онъ и безъ того всецьло находился.

Одно время, впрочемъ, и онъ подчинился нѣсколько духу своего времени. Послѣ наивной фантастичности народныхъ преданій, какую мы видикъ въ "Вечерахъ", онъ обратилсявъ "Портретѣ" къискусственной фантастичности въ гофмановскомъ родѣ, съ другой стороны началъ выводить въ своихъ произведеніяхъ романтическихъ художниковъ совершенно въ духѣ прекраснодушныхъ идеаловъ того времени. Но

это въяніе въка было мимолетнымъ; какъ у человъка вполнъ средневъковаго, - у Гоголя преобладало то непосредственное, эмпирическое воззрѣніе на жизнь, которое ведеть въ творчествъ къ преобладанію внышняго пластицизма; фантастическіе образы его явились слишкомъ преисполненными плоти и крови, и гофиановская туманная, мистическая фантастичность была совершенно не по плечу Гоголя, чтобы онъ могъ проникнуться ею и остановиться на ней. Съ другой стороны, и прекраснодушный художникъ не погъ сдълаться его идеаломъ при томъ религіозномъ настроеніи, которымъ Гоголь былъ проникнуть съ самой ранней юности и которое отзывается во всей его перепискъ уже со скамьи Нъжинскаго лицея. Такъ, уже въ "Портреть" вы видите, что прекраснодушная, исключительная преданность искусству ведеть, по инжнію Гоголя, къ тому, что художникъ творитъ чуть не антихриста; высшимъ-же идеаломъ человъка уже въ этой повъсти является передъ вами аскеть, замаливающій въ монастырѣ грѣхъ своей молодости.

Съ точки эрвнія этого среднев вковаго идеала, осививалъ Гоголь и окружающую его типу мелочей и дрязгъ. Выло бы совершенно ложно думать, что міръ Собакевичей, Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Коробочекъ можетъ казаться пошлымъ и лишеннымъ всякаго образа и подобія человъческаго только съ высоты чайльдьгарольдовскихъ или бельтовскихъ идеаловъ. Отъ него съ ужасовъ отшатнулся бы и любой среднев ковой аскеть въ роде Савонароллы. Гоголь-же обладалъ именно тою сильною, нетерпимою натурой, которую обыкновенно глубоко возмущаетъ разладъ действительности съ идеаломъ, къ какому бы въку ни принадлежалъ этотъ идеалъ, и обладая геніальнымъ юморомъ, Гоголь принялся османвать окружающую его жизнь изъ чистой потребности своего духа, внъ всяких в в ній какихъ-либо идей философскихъ или политическихъ, вит всякихъ художественныхъ традицій. Поэтому, вы не найдете и тіни какихъ-дибо сознательныхъ гражданскихъ тенденцій въ сатирѣ Гоголя. Гоголь и не воображаль, что, сибясь надъ пошлостью жизни, онъ сибется и надъ темъ общественнымъ строемъ, который порождаетъ эту пошлость, а когда этотъ выводъ былъ сделанъ изъ его произведеній другими, онъ съ ужасомъ отъ него отшатнулся. Онъ воображаль въ своей среднековой наивности, что общественный быть въ томъ видь, въ какомъ существовалъ при немъ, есть нѣчто такое-же незыблемое, утвержденное съ испоконъ-вековъ, какъ перемѣны временъ года, и что допущение малъйшаго серьезнаго измъненія въ немъ-есть нъчто въродъ святотатства; что-же касается Ноздревыхъ. Плюшкиныхъ, Хлестаковыхъ, то онъ объясиялъ ихъ пошлость тёмъ, что они не просвещены светомъ его аскетическихъ, средневъковыхъ идеаловъ. Недаромъ онь объщаль, что въ третьей части изъ устъ Плюшкина польются иныя рфчи. Изъ этого міровоззрфнія прямо и естественно вышель переходь къ последнему періоду д'ятельности Гоголя, ознаненовавшенуся "Перепискою съ друзьями". На это произведение Гоголя многіе смотрять, какъ на паденіе его таланта, какъ на окончательное растлёніе его подъ гнетомъ обстоятельствъ, болезни и пр., и пр. Кто не знакопъ съ те-

ии ожесточенными нападками, которыя посыпались на Гоголя со всёхъ сторонъ послё появленія "Переписки съ друзьями"? Кто изъ современниковъ не читалъ грозныхъ нисемъ Вълинскаго къ Гоголю и писемъ Павлова, которыя были перепечатаны во иногихъ газетахъ и журналахъ при своемъ появленіи? Но, въ сущности, по отношению къ самому Гоголю последний періодъ его дъятельности не только не быль паденіемъ и растлъніемъ, а напротивъ, шагомъ впередъ... Весь этотъ переломъ произошелъ оттого, что Гоголь вовсе не принадлежаль къ числу техъ созерцательныхъ натуръ, которыя могуть ограничиться однимъ художественнымъ творчествомъ; въ немъ была, слишкомъ сильна жилка пропаганды, что ясно видно изъ всей переписки его съ самымъ юныхъ лётъ. Кого только онъ ни назидалъ, начиная съ матери и сестры и кончая Погодинымъ и Шевыревымъ? Что-же мудренаго, если ену показалось недостаточнымъ осминать пошлыхъ людей, а захотелось, виёстё съ темъ, и внушить имъ тъ самые идеалы и принципы, на основании которыхъ онъ ихъ осмѣивалъ? Это побуждение усиливалось въ немъ по мъръ того, какъ и самъ онъ все глубже и глубже проникался этими принципами по и ръ своей зрѣлости и, наконецъ, дошелъ до того изступленнаго экстаза, въ которомъ ему начали грезиться виденія, действительный и фактическій мірь перемешались въ его глазахъ и онъ вообразилъ себя чёмъ-то въ родъ пророка. Это было сумасшествіе, если хотите, но то самое, съ какимъ въ средніе въка совершали религіозные перевороты люди въ родъ Магомета, Гусса, Лютера и прочихъ реформаторовъ. Гоголя обвиняли при этомъ въ страшномъ высокомърін, скрывающемся подъ напускнымъ смиреніемъ; но спрашивается, какой-же фанатикъ, увлекційся до энтузіазна своею идеей, не воображаеть, что онъ пришедь обновить мірь и что міръ долженъ внимать ему и идти за нимъ, иначе всѣ погибнуть? Да и возможно-ли увлечение пропагандой безъ того качества, которое обыкновенно, когда пропаганда намъ нравится, называють величіемъ, возвышеннымъ энтузіазмомъ и пр., а когда не нравится, то высокомфріемъ? Единственнымъ промахомъ Гоголя было развѣ то, что пропаганда его явилась не во время. Явись она не только въ средніе вѣка, а лѣтъ сорокъ назадъ, и никого-бы она не удивила. Живи Гоголь во времена Новикова, онъ, конечно, сначала участвоваль-бы въ новиковскихъ сатирическихъ журналахъ, а потомъ сдёлался-бы ревностнымъ массономъ, и это казалось-бы столь-же естественнымъ, какъ это намъ представляется въ Новиковъ; никто не находилъ-бы въ "Перепискъ съ друзьями" никакого высокомбрія или повішательства, и тоть-же Білинскій или Павловъ съ уваженіемъ отзывались-бы о "Перепискъ съ друзьями", какъ о памятникъ успъховъ въ свое время русскаго просвъщенія. Но и отъ того времени, въ которое появилась, "Переписка съ друзьяии" быда явленіемъ не слишкомъ уже отсталымъ. Подумайте только о томъ, многимъ-ли отличаются принципы самого Бълинскаго, носковскаго періода его дъятельности отъ принциповъ "Переписки съ друзьями"? Развѣ только тѣмъ, что первые были замаскированы гегелевскою діалектикой, привлекавшей своею заимсловатостью и новизной, и потому казались передовымъ,

новымъ словомъ, тогда какъ въ "Перепискъ" тъ-же принципы были высказаны съ ничёмъ неприкрытою наготой, съ наивнымъ энтузіазмемъ изувера. Но въ этомъ отношеніи "Переписка" была полезніве "Менцеля" или "Бородинской годовщины". Появившись въ такое время (1847 г.), когда средневѣковое міросозерцаніе находилось въ самой упорной борьбѣ съ новыми идеями, "Переписка" оказала своимъ принципамъ самую медвёжью услугу, выразивши ихъ во всемъ ихъ умственномъ убожествъ, со всъми внутренними противоречіями. Этимъ Гоголь, какъ будто нарочно, напоказъвыставиль всю ихъ несостоятельность и заставиль людей нало-нальски свёжихъ съ большею решимостью отшатнуться отъ нихъ и поспешить отъ нихъ избавиться. Между тёмъ, какъ тё-же самые принципы, выраженные въ статьяхъ Велинскаго московскаго періода, подъ прикрытіемъ гегелевской діалектики, могли многихъ сбить съ толку и остановить навсегда на степени того двухсмысленнаго прогреса, который, оставаясь на одномъ и томъ-же мъсть, воображаеть, что онь идеть впередь, перемалывая старое на новый ладъ.

Средневановой человань по своимы міровоззраніямъ, такой-же былъ Гоголь и по всемъ своимъ привычкамъ. До него вовсе не коснулась господствовавшая въ то время идея независимости литературы, и онъ всецъло принадлежаль еще къ текъ минувшимъ въкамъ, въ которые писатели взапуски добивались покровительства; ему и въ голову не приходило считать унизительными ждопоты о различныхъ вспомоществованіяхъ. Но рядомъ съ этимъ вы видите въ немъ полное отсутствие особенной искательности, лести, желанія пробиться вверхъ или составить состояніе: Это быль вічно скитающійся, безсемейный казакъ въ личинъ писателя, перевозившій все свое добро въ небольшомъ чемоданъ. Вольшія суммы денегъ, получаемыя имъ отъ продажи своихъ сочиненій, или-же въ видъ вспомоществованій свыше, онъ употреблядъ на стипендіи въ пользу б'ёдныхъ московскихъ студентовъ, или-же скупалъ дорогія картины, для того, чтобы выручить изъ нужды бёдныхъ художниковъ, и въ то-же время терпелъ иногда нужду и не зналъ, какъ перебиться. Самое то чудное, прекрасное далеко, куда онъ такъ часто удалялся, чтобы оттуда созерцать Россію, вполнѣ соотвѣтствовало его міровозэрѣніямъ. Это быль Римъ, въ которомъ средніе въка процвътали еще во всей своей красотъ, и тамъ Гоголь бродилъ воплощеннымъ анахронизмомъ XIX стольтія среди величавыхъ памятниковъ отжившей старины, исчтая о техъ блаженныхъ временахъ, когда, подъ покровительствомъ владетельныхъ особъ, великіе художники, исполненные религіознаго энтузіазма, цёлые годы проводили надъ какою-нибудь мадонной или расписываньемъ перковнаго плафона. Живымъ напоминаніемъ этого давно-минувшаго времени служиль для Гоголя Ивановъ, проведщій полживни надъ своею знаменитою картиной, такой-же средневъковый аскеть, какинь быль и Гоголь.

Ш

Въ то время, какъ Гоголь можетъ служить для насъ представителемъ средневѣковыхъ принциповъ въ ихъ чистомъ и непосредственномъ видѣ — современникъ его, Тимофей Николаевичъ Грановскій, явлиется вполнѣ человѣкомъ сороковыхъ годовъ, живымъ, воплощеннымъ типомъ тѣхъ промежуточныхъ людей, въ которыхъ старыя идеи упорно боролись съ новыми и которые въ изнеможеніи останавливались на этой борьбѣ, будучи не въ силахъ найти никакого исхода изъ нея и не смѣя рѣшиться смѣло пойти въ одну какую-нибудь сторону.

Какъ по своему карактеру, по своимъ убъжденіямъ, такъ и по всему складу и ходу жизни, Грановскій является преисполненнымъ тахъ непримиримыхъ противоржчій, которыми обыкновенно всегда отличаются люди промежуточные, стоящіе на рубежѣ двухъ противоположныхъ міровоззріній. Родясь въ богатомъ номѣщичьемъ семействѣ, онъ провелъ свое дѣтство подъ вліяніемъ такихъ разиягчающихъ условій усадебной жизни, что изъ него объщалъ выйти или праздный, безмольный эпикуреецъ, или отвлеченный эстетикъ-созерцатель, въ родё массы людей его поколёнія, не пошедшихъ далее этого тепличнаго склала ума н характера. Довольно того, что родители только тогда вздумали отвезти мальчика въ Москву и помъстить его въ частный пансіонъ Кистера, когда мальчику исполнилось уже 13 лёть. Но и выборь заведенія быль сдёланъ эря, чтобы только какъ-нибудь отдёлаться, хотя для виду, отъ обязанности воспитанія сына. Грановскій учился въ пансіонъ всего два года, оставаясь въ теченіи этого времени очень долго дома всякій разъ, какъ прівзжаль въ семью свою на вакацію, и не научился въ пансіонъ этомъ ничему — даже нъмецкому языку, несмотря на то, что заведение содержалось нъмцемъ. Отправившись доной на вакаціонные місяцы после двухлетняго ученія въ пансіоне, Грановскій уже не возвращался туда-и три года провель въ родительскомъ Погоральца въ мучительной скука праздности, бродя по цёлымъ днямъ съ ружьемъ въ рукахъ по лѣсамъ и болотамъ. Единственное живое вліяніе, какое испыталь на себъ въ эти потерянные годы Грановскій, было вдіяніе француза Жаньо, съ которымъ онъ познакомился въ Орлъ. Замъчательно, что ръдкій изъ передовыхъ дѣятелей нашего стараго времени обощелся безъ благотворнаго вліянія тахъ выходцевъ изъ Франціи, которыхъ нікогда такъ преслідовала наша отечественная сатира. Безъ такого вдіянія не обощелся и Грановскій. "Устами француза-говоритъ біографъ Грановскаго-произносились ръчи и понятія цивилизованной націи, и мальчинъ, которому былъ уже шестнадцатый годъ, почувствоваль различіе ихъ отъ того, что слышалось вокругъ него, среди полуобразованнаго общества, среди соседей и помещиковъ, посъщавшихъ Погорълецъ". До 18-ти почти лътъ Грановскій проживаль недорослемь въ родительской усадьбъ, съ увлечениемъ предаваясь танцамъ и безпечному веселью и редко ложась спать ранее пяти часовъ утра. Наконецъ, отецъ Грановскаго, человъкъ до крайности безпечный, праздный игрокъ и мотъ, приведшій свое семейство къ окончательному разоренію-рішился отправить сына въ Петербургъ на службу. Какъ истый питомець усадебной теплицы, сынь, конечно, ни о чемъ болбе не мечталъ, какъ объ эполетахъ, н только просьбы матери, которая одна изъ всёхъ домаш-

нихъ, оказывала на сына благотворное нравственное вліяніе, склонили его на гражданское поприще и весной 1831 года, съ помощью какого-то друга матери, Грановскій опредідился на службу въ департаментъ министерства внутреннихъ делъ. "Внечатление столицы, чтеніе (въ которому Грановскій успёль уже пристраститься еще во время своей усадебной праздности), новыя встръчи съ людьми не остались безъ вліянія на даровитаго юношу. Онъ скоро и мучительно началъ чувствовать недостаточность своего образованія и своихъ познаній — говорить біографъ Грановскаго н следствіемъ этого было то, что Грановскій, несмотря на неодобрение отца, въ іюль 1831 года вышель въ отставку и началь готовиться въ вступительному университетскому экзамену. Надо быдо случиться, что въ это самое время умерла мать Грановскаго, и всё обстоятельства жизни его радикально изм'енились. Наследникъ богатаго имущества вдругт очутился въ положеніи б'єдняка, который принужденъ собственными усиліями пробивать дорогу среди нужды и лишеній. Онъ, конечно, тотчась - же поняль, что со смертью матери нечего надаяться на родовыя именія, что если онъ не обезпечить себя самостоятельнымъ трудомъ, то и самого его, и сестеръ ждеть неминуемая нищета, такъ-какъ отъ управленія имвніями отцомъ ничего нельзя было ожидать, кромв неминуемаго разоренія. Поэтому, съ удвоеннымъ рвенісмъ принялся Грановскій за приготовленіе къ экзамену. Въ то-же время отецъ его, среди своихъ оргій, часто забываль о сынв и не высылаль ему денегь или-же высылаль такія ничтожныя суммы, что избалованный питомецъ роскоши и неги долженъ былъ неръдко голодать по нъскольку дней, питаясь чаемъ съ картофелемъ, впадать въ долги, пробиваться уроками, а впоследствіи переводными и компилятивными статейками въ "Библіотекъ для Чтенія" Сенков-

Такимъ образомъ, самими обстоятельствами жизни Грановскій былъ поставленъ такъ, что среда, къ которой онъ принадлежалъ, была обращена къ нему своею обратною стороной дикой, варварской грязи, соединенной съ печальнымъ нравственнымъ растлъніемъ. Это заставило юношу на университетской скамъъ уже обратить вниманіе на мрачным стороны нашей жизни. Рядомъ съ этимъ Грановскій зачитывался "Телеграфомъ", и уже въ университетъ, пристрастившись къ исторіи, познакомился съ сочиненіями Тиво, Варанта, Сисмонди, Тьера, Вильмена и пр. Все это выбств внушило юношъ то живое расположеніе къ общественнымъ вопросамъ, котораго были такъ чужды московскіе мыслители кружка Станкевича съ ихъ отвлеченно-эстетическими умозръпіями.

Но рядомъ съ этою несомнѣнною энергіей, которую обнаружилъ Грановскій во время своего студенчества, васъ поражають первые шаги его въ жизии за уннверситетомъ, представляющіе радикальную противоположность съ тѣмъ отважнымъ скачкомъ, которымъ шагнулъ Грановскій изъ канцеляріи въ университетъ.

Пройдя въ какія-нибудь пять лётъ, среди нужды и всякаго рода лишеній, два курса, которме, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, проходятся обыкновенно лётъ въ десять, Грановскій успёлъ при этомъ

обратить на себя внимание профессоровъ, и его хотъли послать заграницу для занятія впослёдствін казедры. Въ то-же самое время Грановскій любиль дочь сосёда по имъніямъ отца, дъвушку, по словамъ біографа Грановскаго, весьма пріятной наружности, сосредоточеннаго, сдержаннаго нрава и одаренную замътнымъ умомъ. Казалось бы, что для человъка, закаленнаго въ трудъ и борьбъ съ жизнью, успъвшаго пристраститься къ наукъ и для котораго планъ жизни представлялся уже определеннымъ, поездка заграницу не только-что не могла стоять поперегъ вопроса о любви, напротивъ того, должна была способствовать благополучному разрешению его, хотя бы и отсрочивала на время это разрѣшеніе. Немного нужно было имъть здраваго смысла и твердости характера, чтобы разсудить, что долгъ и призвание должны стоять на первомъ планъ, особенно-же, если раньше устройства положенія невозможно и думать о женитьов. Но Грановскому вдругъ, ни съ того, ни съ сего, вздумалось разыграть роль Митрофанушки комедіи Фонвизина---не хочу, молъ, учиться, хочу жениться---и онъ отклонилъ отъ себя поездку заграницу на томъ основаніи, по словамъ біографа, что не желаль на долгое время разставаться съ нею.

Но и въ любви Грановскій не нашелъ техт удовольствій, которыхъ, в'фроятно, ожидаль, отказавшись бхать заграницу. Начались различныя ревности, упреки, рефлексін и привели къ тому, что довъріе къ Е. П. ослабъло въ сердцъ Грановскаго и порой онъ началъ подумывать уже о томъ, что бракъ съ иной женщиной, которую онъ менже бы любилъ, но болже довъряль, объщаль бы ему болье счастія. Казалось бы, чего еще дожидать отъ любви после подобныхъ рефлексій? Но въ 1835 году снова было сдівлано предложение Грановскому бхать заграницу для приготовленія къ профессурф-теперь уже отъ московскаго университета черезъ П. К. Ржевскаго, служившаго при московскомъ попечителъ графъ С. Г. Строгановъ. И вдругъ, что-же: послъ всъхъ рефлек. сій, Грановскій снова спішить къ Е. П. рішить: фхать ему или остаться, готовый покориться ея рфшенію, каково бы оно ни было. Дівушка, однакоже, оказалась съ характеромъ болѣе серьезнымъ и самоотверженнымъ, чёмъ ея возлюбленный. При всемъ томъ, что, по словамъ біографа, она рисковала потерять, вследствіе поездки Грановскаго, гораздо более, чёмъ онъ, она не замедлила выговорить свое разръшающее partez, и Грановскій убхаль, съ умиленіемъ всю жизнь вспоминая потомъ объ этомъ великодушномъ отвътъ. Послъ такого умиленія чего, казалось, было ждать, какъ не большей еще привязанности къ дъвушкъ отъ истинно и горячо любящаго человъка? И что-же вдругь вышло: Грановскій уговорился съ своею возлюбленною не переписываться во время его отсутствія для избѣжанія толковъ, любопытства и опасеній, возбужденныхъ отношеніями молодыхъ людей въ кругу родныхъ и въ обществъ, среди котораго осталась Е. П., а получать извёстія черезъ общую пріятельницу М. А. С., которая часто виделась съ Е. II. и вела переписку съ Грановскимъ. Но эта пріятельница, одна изъ тъхъ старыхъ, перезрълыхъ дъвъ, которыя среди провинціальнаго безділья отъ скуки

бывають часто такія вюбительницы и искусницы сводить и разводить влюбленныхь, оказалась коварибишимъ другомъ. Она оклеветала передъ Грановскимъ его возлюбленную, а передъ послъдней его; вслъдствіе этого произошла ссора, и любовь Грановскаго, на карту которой онъ ставиль всего себя, разсъялась, какъ дымъ. Позже Грановскій убъдился въ коварствъ злой женщины; узналь онъ также, что дъвушка и туть оказалась выше его: она не разлюбила его при всъхъ наущеніяхъ пріятельницы; пять лъть послъ того провела она въ нъмой тоскъ, въ полномъ уединенія... Можно себъ представить, сколько стыда, нравственнаго униженія и раскаянія оставила въ серацъ Грановскаго подобная разваяка.

«Его мучила мысль-говорить біографъ-что эта третья сестра, какъ онъ началъ называть ее, можетъ презирать его, въ ен глазахъ онъ можеть казатьен пустымъ и бездушнымъ человъкомъ. Онъ ръшился объяснить ей въ короткомъ письмі все діло, какъ оно было, и сказать, какъ мучительна для него мысль о возможности преврѣнія съ ея стороны. Отъ нея онь получиль отвыть, въ короткихъ и простыхъ словахъ: она благодарила его за письмо и признавалась, что опо утпишло ее во многомъ. Такъ кончились навсегда личныя сношенія Грановскаго съ дъвушкой, которую онъ любиль въ первой юности. Они никогда не встречались более, но до кончины, постигшей ее за годъ до смерти Грановскаго, онъ сохраниль горячее участіе къ третьей сестр'є своей. Незам'єтно и тайно для нея онъ постоянно следиль за ея судьбой, осведоминися обо всемъ, что имело отношение къ ней и ся семейству, доставляль ей книги руками другихъ лицъ, радовался, когда представился ему случай принять на свое попечение воспитаніе маленькой сестры ея. Съ глубокою грустью и въчнымъ упрекомъ самому себъ вспоминалъ онъ ее въ лучшіе, счастливѣйшіе часы своей жизни. Когда для него настало время новой счастливой любви, онъ воспоминаетъ въ письмахъ сестрамъ свою прежнюю невъсту: «Боже мой, Боже мой! Я жестоко наказанъ за ошибки моей юности. Покуда будетъ живо это воспоминаніе, я не могу быть вполнѣ счастливымъ, а воспоминание это не умреть никогда». Онъ признается въ другомъ письмъ: «Признаться-ли вамь? Это воспоминание преследуеть меня даже когда сижу возлѣ Лизы. Чѣмъ могу я искупить мою

Когда вы читаете всю эту исторію въ біографіи Грановскаго, то вамъ постоянно чудится, что передъ вами одна изъ повъстей Тургенева, изчто въ родъ "Рудина" или "Аси", съ однимъ изъ тъхъ Гамлетовъ сороковыхъ годовъ, которые, по своимъ идеямъ, стояли выше всей окружающей ихъ толпы, а по своимъ отношеніямь къ жизни являлись несостоятельные самыхъ посредственныхъ практиковъ, съ одной стороны выказывали удивительную силу характера, рышаясь въ одиночку и часто безъ всякой поддержки и сочувствія, бороться противъ тымы темъ и освіщать собою эту бездну, и въ то-же время у нихъ на столько не доставало энергіи, воли и здраваго смысла, чтобы рышить какой-нибудь маленькій вопросикъ въ ихъ частной жизни; они рефлектировали, путались въ безплодныхъ сомивніяхъ и сожаленіяхъ тамъ, где дёло было ясно, какъ день, и кончалось тёмъ, что какая-нибудь старая дева могла помыкать ими, какъ тряпкой.

Что касается до своей второй привязанности, то котя она и увѣнчалась законнымъ бракомъ, Гранов~

скій и тутъ успёль разыграть еще более близко и совершенно роль Рудина, и этотъ факть им'яеть для насъ особенную важность, потому что здёсь зам'яшнваются въ дёло уже и принципы, и фактъ этотъ можеть служить для насъ переходомъ къ характеристи-

къ убъжденій и взглядовъ Грановскаго.

Мы уже говорили о томъ, что первымъ и самымъ главнымъ источникомъ всёхъ золъ, всёхъ лишеній, непріятностей и горестей въ жизни Грановскаго быль его отецъ, который своею безпечностью чуть не погубиль всю жизнь его въ детстве, съ расточительностью котораго потомъ всю жизнь свою Грановскій боролся, спасая кое-какъ своихъ сестеръ отъ окончательнаго разоренія, платя за старика долги и проч. Мы уже говорили, что ненадежность этого человъка была главною двигательною силой знергіи Грановскаго: она-то и побудила его стремиться встать на самостоятельную ногу. Но разъ человъкъ выработаль себъ самостоятельность и вступиль на свой собственный путь, казалось бы, какое дёло кому бы то ни было до того, какое решение приму я въ томъ или другомъ своемъ дълъ, касающемся лично меня, особенно, если самому инт лать уже подъ 30-ть. Темъ болье, казалось-бы, что въ такомъ дёлё, какъ женитьба, где идеть вопрось о судьбе не одного человека, а и той особы, съ которою онъ вступаетъ въ бракъ, мыслимое-ли дело, будучи уже въ эрелыхъ летахъ, отказываться отъ иниціативы решенія такого вопроса н возлагать его всецело на решение папеньки? И вдругъ что-же им видимъ: въ 1840 году Грановскій влюбился въ молодую девушку Мюльгаузенъ, полюбила и она его. Въ то время Грановскій успълъ уже занять канедру, и имя его съ каждымъ днемъ пріобрѣтало болбе и болбе знаменитости. Родители невъсты были рады этому браку. Передъ темъ, какъ делать имъ предложение, Грановский, по обыкновению, написалъ отцу, прося его родительскаго благословенія на женитьбу. Казалось, что это письмо не имело никакого иного значенія, кром'є обычнаго соблюденія приличій и сыновьяго почтенія къ престаръдому родителю. Но Грановскій сдёлаль изъ него тотчась-же драну и всталъ въ трагикомическую позу роли Кабанова въ "Грозъ". Почтенный профессоръ, герой дня, стоявшій уже во главѣ уиственнаго движенія Россіи въ то время, надежда всёхъ друзей прогреса-какъ молоденькая, только-что выпущенная, институточка, со страхомъ и трепетомъ началъ ожидать, что скажеть паненька и какъ решитъ его участь. "Я не женюсь безъ его согласія—писаль онь къ своей сестрь съ сентиментальностью 17-ти-летней пансіонерки-браки безъ согласія родителей приносять несчастіе... " Къ довершению комизма, родитель и не думалъ спѣшить ответомъ на просьбу сына. По всей вероятности, онъ увлекся какими-нибудь обедами, попойками, картежными турнирами и, забывши о письм'в сына, откладываль день за день ответь, предполагая, что не къ спеху... Прошла неделя, другая, третья, и только черезъ шесть недёль, родитель, наконецъ, собрался и прислалъ сыну свое благословеніе. Грановскій чуть не сходиль съ ума въ это время. "Лень-ли, равнодушіе или-же искренняя забота о поеть будущеть препятствують ему писать мит? Воже мой, какъ до-

рого-бы и дадъ за то, чтобы быть неправымъ противъ него, чтобы последнее изъ трехъ предположеній было справедливо", писаль онъ къ своей сестръ. Въ другомъ письме онъ писалъ, что не женится безъ согласія отца, но уже не прібдеть въ его семью: что онъ не сталъ-бы упрекать отца ни въ чемъ, но ему было-бы трудно быть съ нимъ такимъ, какимъ сынъ долженъ быть для отца. Въ этихъ сдовахъ выразилась вся бездна противоръчій, которая сидела въ Грановскомъ. Казалось-бы, что ужь если стоять на кабановской точк' зрвнія святости отеческаго veto, то проводить этоть взглядь последовательно до конца, такъ-какъ онъ требуеть не одного только п овиновенія скрыпя зубы, но почтительнаго, соединеннаго съ искреннею готовностью безропотно одобрять всякое родительское распоряжение. Между темъ, вы видите здась, съ одной стороны-желаніе подчиниться отеческой власти, соединенное съ мистическимъ страхомъ, какъ-бы въ противномъ случат бракъ не вышель несчастнымь, съ другой-же стороны — протесть и какой еще протесть! сынъ объявляеть отцу: я послушаюсь твоей воли, но за то потомъ ты мив не отецъ и я тебя и знать не хочу! Или иначе: я сначада почту твою власть; а потомъ попру ее ногами. Въ результать отъ такого абсурда вышло-бы, что всъ остались-бы въ наклада: отецъ потеряль-бы на всегда сына, сынъ потерялъ-бы и отца и невъсту, но за какую-же вину пострадала-бы здёсь дёвушка изъ-за того, что въ ней возбудилъ чувство такой безвольный человекъ, который могь решиться бросить ее по приказанію папеньки послі всіхъ ніжныхъ чувствоизліяній? Къ довершенію вськъ противорьчій, сльдуеть еще замѣтить, что Грановскій далеко не во всѣхъ случаяхъ жизни следовалъ тому-же самому принципу, который вдругь вздумалось ему приизнить къ женитьбъ своей на Мюльгаузенъ. Такъ, напринъръ, неодобрение отца нисколько не помѣшало ему поступить въ университетъ, и онъ не думалъ о томъ, что его ждетъ несчастие на новомъ поприщѣ, на которое онъ выступиль вопреки родительской воли. Въ то-же вреия, будучи еще студентомъ, онъ посившилъ изъ Петербурга въ Погорълецъ, узнавши, что отецъ выдаетъ сестру его замужъ насильно за немилаго человъка, и Грановскій разстроиль этоть бракъ, конечно, вопреки воли родителя, нисколько не помышляя, что власть родителя такъ-же священна въ положительныхъ отправленіяхъ, какъ и въ своихъ veto.

Подобныя нравственныя противорічія только иможно объяснить себі тімь, что въ Грановскомъ сиділи дві противоположныя системы міровоззріній: одна—до-петровская, архаическая, вся основанная на средневіковыхъ преданіяхъ, другая—новая, система XIX столітія, основанная на идеяхъ свободы разума, чувства и воли личности отъ всіхъ стісняющихъ оковъ обветшалаго родового быта.

IV.

Таковъ былъ Грановскій и во всёхъ своихъ убёжденіяхъ, во всёхъ своихъ поступкахъ. Едва только уёхалъ онъ за-границу, какъ тотчасъ-же предался горькимъ, мучительнымъ рефлексіямъ и сомнёніямъ касательно того, правильно-ли нэбралъ онъ путь, рёшившись посвятить себя нзученю истории. Съ одной стороны, на него нашли сомивнія въ собственной своей личности, онъ ужаснулся громадности труда при видь той колоссальной литературы, какая существовала въ то время уже въ Германіи по части разработь ки исторической науки, ему показалось, что онъ совсюмъ не подготовлень къ такому труду и взялся не за свое дѣло; съ другой стороны, онъ впалъ въ общій въ то время всёмъ романтикамъ скептицизмъ относительно безсилія науки вообще достигнуть какихъ-нибудь основательныхъ знаній. Изъ этого состоянія его вывель Станкевичъ, указавши ему на гегелевскую философію, какъ на цѣлительный бальзамъ отъ всѣхъ его мукъ сомиѣнія.

«Мужество, твердость, Грановскій! — писаль онъ ему-не бойся атихъ формуль, этихъ костей, которыя облекутся плотію и возродятся духомъ по глаголу Божко, по глаголу души твоей. Твой пред-меть—жизнь человъчества: ищи-же въ этомъ человъчествъ образа Божія; но прежде приготовься трудными испытаніями—займись философіей. Занимайся тымь и другимь; эти переходы изъ отвлеченной къ конкретной жизни и снова углубление въ себянаслажденіе! тысячу разъ бросишь ты книги, тысячу разъ отчаешься и снова исполнишься надежды; но върь, върь — и иди путемъ своимъ... Теперь ты ванимаешься исторіей: люби-же ее, какъ поэзію, прежде нежели ты свяжешь ее съ идеей, какъ картину разнообразной и причудливой жизни человъчества, какъ задачу, которой решение не въ ней, а въ тебѣ, и которое вызовется строгимъ мышленіемъ, приведеннымъ въ науку. Поэзія и философія— вотъ душа сущаго. Это жизнь, любовь; внѣ ихъ все мертво. Ты скорбишь о томъ, что едва знаешь имена тъхъ людей, которыхъ Миллеръ называлъ великими. Не говоря о томъ, что на счетъ величія людей можно имъть разныя понятія съ Миллеромъ, я скажу одно: что за потребность узнать и того, и дру-гаго, и третьяго? Ты узнаешь ихъ тогда, когда въ тебъ будеть вопросъ, котораго ръшенію они могуть способствовать. Всякое чтеніе полезно только тогда, когда къ нему приступаещь съ опредъленною цълью, съ вопросомъ. Работай, усиливай свою дъятельность, но не отчанвайся въ томъ, что ты не узнаешь тысячи фактовъ, которые зналъ другой. Конечно, твое будущее назначение обязываеть тебя имёть понятие обо всемъ, что сдълано для твоей науки до тебя; но это пріобратается легко, когда ты положишь главное основание своему знанию, а это основание скръпишь идеей...»

Плодомъ такихъ совътовъ было то, что Грановскій занялся философіей Гегеля, и въ ней онъ действительно нашелъ успокоение отъ многихъ сомнений, съ какими онъ приступиль къ своимъ трудамъ. Въ это время последователи гегелевской философіи успели уже разделиться на два лагеря. Между темъ, какъ строгіе последователи Гегеля отстанвали въ своемъ журналь "Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik" систему своего учителя противъ критики новыхъ гегеліанцевъ, последніе сгруппировались вокругъ, основаннаго въ 1838 году, изданія . Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst", n главнымъ стремленіемъ ихъ было приложеніе общихъ принциповъ гегелевской философіи къ различнымъ вопросамъ общественной жизни, религи, политики и литературы. Къ числу этихъ новыхъ гегеліанцевъ принадлежаль и философъ Ганцъ, лекціи котораго оказали большое вдіяніе на Грановскаго и, по всей въроятности, имъ онъ былъ обязанъ не надо тому живому, страстному интересу, какой онъ принималь во всехъ общественныхъ вопросахъ своего времени.:

Такъ, бывши еще за-границей, Грановскій, на объдѣ у одного богатаго вѣнскаго банкира, Вальтера, явился горячимъ защитникомъ освобожденія крестьянъ противъ росказней какой-то русской дамы, утверждавшей, что крестьяне не желають изманенія своей участи. Въ то-же время въ историческихъ трудахъ его болъе всего занимали вопросы общественные. Одно время онъ увлекся-было изучениемъ славянскихъ языковъ, но рвеніе его къ филодогическимъ занятіямъ скоро охладело. "Они могутъ быть полезны для фидологическихъ изследованій — писаль онь о славянскихъ языкахъ-а следовательно, и для исторіи, но я совствъ другого ищу въ этой наукт. Меня почти исключительно занимаетъ развитіе политическихъ формъ и учрежденій. Это одностороннее направленіе, но я не могу изъ него вырваться ... Волье всего меня занимаетъ пока исторія Йспаніи-писаль онъ въ тоже время въ Фролову — я много перечиталъ и любо-пытство мое усилилось. У этого народа были въ XIV въкъ конституціонныя формы и понятія о свободъ, до какихъ дай Богъ немцамъ дойти черезъ сто летъ. Предметомъ для моей диссертаціи я выбралъ: объ образованіи и упадкі вольных в городских в общинъ въ среднихъ въкахъ. Надъюсь, что мнъ позволятъ".

Такимъ образомъ, Грановскій явился въ Москву изъ-за границы стоящимъ значительно впереди въ своемъ развитіи сраничтельно съ московскими друзьями кружка Станкевича. Отвлеченно - примирительное направленіе ихъ тяжело поразило Грановскаго, и онъ горько жаловался на понятія Бълинскаго и близкихъ ему людей въ письмѣ къ Станкевичу.

Но тоть-же самый Грановскій, который представляль высшую фазу развитія сравнительно съ кружкомъ Станкевича, остановился на этой фазіз и не пошель даліє, и тів-же самые діятели мысли (Вілинскій, Вакунинь), которые стояли сзади него въ началі сороковыхъ годовъ, въ конці того-же десяталітія оказались значительно впереди его. Все это произошло оттого, что Грановскій остановился на полдорогі, сочувствуя новымъ идеямъ вполовину, и въ то-же время не въ силахъ будучи отділаться отъ тіхъ старыхъ преданій, въ духі которыхъ онъ быль воспитанъ и привыкши къ нимъ до такой степени, что вні ихъ ему было страшно и жутко.

Такъ, напримеръ, съ одной стороны, онъ съ живымъ и страстнымъ интересомъ следилъ за событіями, разыгравшимися во Франціи въ 1848 году. Онъ быль, повидимому, на сторонъ народныхъ массъ, впервые громко заявившихъ свои естественныя, человъческія требованія на улучшеніе своей участи, но, вмість съ темъ, Грановскій впадаль въ раздумье: "торжество массъ не будетъ-ли гибелью дучшихъ плодовъ цивилизацін, доступныхъ покуда меньшинству; поб'єда пролетаріевъ не стубить-ли современную цивилизацію, какъ вторжение варваровъ сгубило древнюю", и хотя при этомъ біографъ Грановскаго замічаєть, что просвъщение было въ глазахъ послъдняго не роскошью, не утонченнымъ наслаждениемъ аристократическаго меньшинства, но необходимою, высокою целью жизни человъчества, тъмъ не менъе вышеупомянутыя раз-

думья и сомнанія именно подтверждають совершенно противное: вы видите, что въ головъ человъка сидитъ удивительный абсурдъ: онъ желаетъ, чтобы плоды цивилизаціи были доступны всему человічеству, а не одному привидлегированному меньшинству, и въ то-же время боится, чтобы отъ этого распространенія плодовъ цивилизаціи въ массахъ не произошло варварство, иначе говоря, онъ боится, чтобы не сгибла такая высокая цивилизація, при которой на одного грамотнаго приходится 1,000 неграмотныхъ, и не настало такого дикаго варварства, при которомъ, наоборотъ, на 1,000 грамотныхъ приходился-бы одинъ неграмотный! Но мей возразять, что Грановскій боядся не того, что вст будуть образованы; онъ этого искренно желаль, онъ боялся только внезапнаго торжества массъ, еще не успъвшихъ цивилизоваться, и отъ этого порядка вещей ожидаль варварства. Но въ этомъ еще болже противоржчій; вы подумайте только о томъ, подвинулась-ли-бы впередъ цивилизація челов вчества, если-бы древняя цивилизація сохранялась-бы до сего дня, и въ то-же время большая часть Европы была наполнена такими-же дикими варварами, какъ это быдо въ какомъ-нибудь III стольтіи? Варвары восторжествовали, Римъ палъ, наступили, правда, въка мрака н невѣжества, но погибла-ли черезъ это цивилизація человъчества? Нътъ, тъ-же варвары воспользовались илодами древней образованности, просвётились ею и повели ее дальше къ такимъ результатамъ, о которыхъ въ древности и не мечтали. Такимъ образомъ, если мы даже согласимся съ Грановскимъ, что торжество необразованныхъ массъ должно повести въ новому варварству, то на какомъ-же основани предполагать, что новые варвары неспособны будуть поступить такъ-же, какъ и прежніе, почему они не воспользуются плодами нынъшней цивилизаціи и не поведуть ее къ такому развитію, о которомъ въ наше время и не снится?.. Въ этомъ отношении плакать о гибели цивилизации можно только въ томъ случат, если-бы вы предположили, что новые варвары неспособны вкушать плоды цивилизаціи. Въ таковъ случат вы стояли-бы на твердой почвѣ, и ваши сѣтованія были-бы основательны. Но какое значеніе им'єть такое предположеніе? Это предположение Собакевича или Ноздрева, воображавшихъ, что только съ чиновниковъ 14-го класса начинаются люди, а ниже следують не люди, а звери, которыхъ ежеминутно нужно держать въ крепкой узде и укрощать, иначе они тотчасъ-же все сожгуть и истребять, а потомъ разленятся и поедять сами себя. Грановскій, конечно, быль далекь оть такого непосредственно-варварскаго взгляда на вещи, онъ былъ гуманистъ, онъ сознавалъ свою человъческую солидарность съ низшимъ братомъ, въ силу чего становился на его сторону, но въ то-же время, незаметно для него самого, логика его продолжала работать въ духѣ Простаковой; этимъ только и можно объяснить себъ, почему человекъ желалъ всеобщаго просвещения и въ то-же время въ массахъ ему такъ и грезились все только одни варвары и варвары безъ конца.

Таковъ-же является передъ нами Грановскій и относительно женскаго вопроса.

«Грановскій всегда віриль-говорить біографь — въ возможность высокаго умственнаго и правствен-

наго развитія женщины, всегда радовался, когда встрачаль его. Онъ не любиль и не желаль того, что многіе разумьють подъ словомъ эмансипація женщины, уравненія во всемъ ея общественнаго положенія съ положеніемъ мужчины, уравненія ел съ послёднимъ въ задачахъ жизни, въ практической дъятельности, но онъ желаль, чтобы женщина равнялась мужчинь въ участін ума и сердца въ обще-человьческимъ интересамъ. Женщина-дьлецъ, женщина-торгашъ, женщина-юристъ, наводила на него смущеніе. «Не люблю женщинь, знающихь законы», говориль онь по поводу дёловых способностей дамы, съ успъхомъ занимавшейся своими пропессами. За то съ уваженіемъ и живымъ участіемъ видыль онъ женщину, воспитывающую и обучающую дътей, женщину, посвящающую себя попеченіямь о больныхъ и страждущихъ. Съ уваженіемъ и благоговѣніемъ смотрёдь онъ и на ту, которая подъ гнетомъ исключительнаго положенія не падала духомъ, и изъ любви къ дорогимъ ей лицамъ принимала на себя даже такие заботы и труды, которые обыкновенно долженъ нести мужчина. Въ такомъ исключительномъ явленіи онъ узнаваль торжество сильной любви, и это глубоко трогало ero».

Здёсь вы видите, опять-таки, порядочный сумбуръ совершенно двухъ противоположныхъ міровоззріній. Съ одной стороны, подъ вліянісиъ новыхъ идей, Грановскій радовался, когда встрічаль женщину развитую и равняющуюся мужчинѣ въ участіи ума и сердца къ общечеловъческимъ интересамъ, но въ то-же время никакъ не могъ отдълаться отъ той старой традиціи, которая требуеть, чтобы кругь занятій женщины не выходиль изъ кухни и дътской, и его коробило, когда онъ видълъ женщину за какииъ-нибудь непривычнымъ занятіемъ, подобно тому, какъ прадѣдушку его коробило, если онъ виделъ женщину за книжкой. Онъ допускаль, чтобы женщина принимала иногда на себя заботы и труды, которые обыкновенно долженъ нести мужчина, но дёлалъ такую уступку только ради любви къ дорогимъ ей лицамъ; при ченъ логика его до такой степени была забита еще старыми предразсудками, что онъ никакъ не могъ сдёлать того простаго и естественнаго вывода, что если разъ будетъ допущено, чтобы женщина принималась за мужскія діла изъ-за высокой любви къ родителямъ, мужу, детямъ, то на какомъ-же основании отвергать, что-бы она сдълада то-же самое изъ-за болбе еще высокой любви къ отечеству и человъчеству?

То-же самое мы видимъ и относительно общихъ міровозврѣній Грановскаго. Когда, въ половинѣ сороковыхъ годовъ, начали все чаще и чаще появляться люди, перешедшіе по своему міросозерцанію въ третій періодъ умственнаго процесса, и особенно такихъ людей было много въ младшемъ поколѣніи въ то время еще университетской молодежи, Грановскій несочувственно встрѣтилъ это новое направленіе мысли.

«Въ 1845 году—говоритъ біографъ Грановскаго—авторъ «Писемъ объ взученія природы» слупаль въ москвъ лекція сравнячесьной анатомія и ему казалось, что онъ повнакомился въ аудиторіи и анатомическомъ театрѣ съ новымъ, сильнымъ поколъніемъ коношей съ направленіемъ реалистическимъ, т.-е. положительно-научнымъ. Эта молодёжь разглядавла, въ чемъ онъ расходился съ Грановскимъ и хотъла, чтобы онъ непремънно склонилъ его на сторону ихъ, будто бы, философскихъ мнѣній. Все это опять приводило къ спорамъ между друзьями. Философскія мнѣній и примъръ коношей не могли не увлекатъ Грановскаго. Положительно научное на-

правленіе понималь онъ не менье и не хуже, чъмъ они. Не положительное научное направленне, не пріемы и способы естествовъдънія осуждаль Грановскій, а легкомысліе, въ началь изученія и труда уже емьло провозглащающее последніе результаты науки, возводніщее въ догматы свои догаджи, свои шатків. соображенія».

Здёсь дёло идеть именно о тёхъ средневёковыхъ преданіяхъ, въ которыя Грановскій глубоко в'єрилъ, по словамъ біографа, и въ скептическомъ отношеніи къ нимъ видёлъ легкомысліе, въ начале изученія и труда провозглашающее последніе результаты науки... Но это показываетъ, что при всемъ своемъ уваженій къ положительному направленію, онъ, съ одной стороны, не понималь его истиннаго духа, съ другой стороны, проникался имъ, какъ и всёмъ, только на половину. Основная формула, опредъляющая все положительное направленіе, заключается въ томъ, чтобы ничего не принимать и не отрицать голословно на въру, не провъренное опытомъ и анализомъ разума. Разъ вы утвердились въ этой формуль, вы можете, пожалуй, какъ большинство позитивистовъ, сказать: далее пределовь опытнаго знанія для меня мракъ и я не имъю основанія ни утверждать, ни отрицать чего-либо за этими предалами. Но разъ вы нерешли за эти предълы и сказали, что хотя тамъ и мракъ, но я върю, что тамъ и то, и другое, и третье, и върю не на какомъ иномъ основани, какъ на томъ, что мнв такъ кажется и, затвиъ, никакихъ доказательствъ не захотите представлять съ своей стороны, никакихъ возраженій слушать отъ другихъ, однинь словомь, кажется, върго-и все туть... то, конечно, при такомъ способъ мышленія нечего будеть и говорить о положительномъ методъ; вы выходите изъ него и изъ контиста делаетесь кантистомъ. Такинь быль Гоановскій: онь следоваль положительному методу только до извёстныхъ предёловъ, а за этими пределами для него начинался міръ заветныхъ преданій и милыхъ призраковъ, которые онъ лелеялъ слено, по привычке, не попуская ни малейшей критики, ни малейшихъ возраженій, съ темъ самымъ легкомысленнымъ догматизмомъ, который онъ подозреваль въ своихъ противникахъ. Нагляднымъ образцомъ слепаго, не териящаго возражений догматизма Грановскаго можетъ служить то знаменитое окончание споровъ его съ друзьями, которое повело за собою прямой разрывъ съ ними. После целаго ряда діалектическихъ преній по поводу различныхъ вопросовъ, касающихся средневъковыхъ преданій, Грановскій, измінившись въ лиць, объявиль, что для него лично необходимы эти преданія на томъ основаніи, что онъ много схорониль, и, затемъ, бледный, придавая себь видъ посторонняго, онъ обратился къ друзьямъ съ просьбой-никогда не говорить съ нимъ объ этихъ предметахъ. После этого споръ былъ, конечно, прекращенъ, витстт съ темъ и отношения Грановскаго къ друзьямъ сделались крайне натянутыми, и эта натянутость дошла до того, что впоследствіи лучшаго друга своей юности Грановскій поставиль на одну доску съ Погодинымъ. Далъе затъмъ должны были следовать открытый разрывь и вражда, и только сперть избавила Грановскаго отъ этихъ печальныхъ последствій...

Враждебное отношеніе къ новому реальному направленію и къ естественнымъ наукамъ выразилось еще рельефите въ запискъ "Объ ослабленіи классическаго преподаванія въ гимназіяхъ", которую Грановскій представилъ въ 1855 году министру народнаго просвъщенія Норову.

Надо замѣтить, что въ то время вопросъ о классическомъ образованіи стоялъ совершенно въ обратномъ отношеніи, чѣмъ въ наше время. Реакціонеры того времени были преисполнены еще преданій временъ первой французской революцій, предполагая, что всѣ онѣ произошли не отъ чего инаго, какъ отъ увлеченія исторіей древняго міра съ его знаменитыми республиками. На этомъ основаніи, во время самаго сильнаго разгара реакціи, со вступленіемъ въ должность министра народнаго просвѣщенія Ширинскаго-Шихматова, обученіе классическимъ языкамъ было почти совсѣмъ прекращено, и былъ даже вопросъ объ исключеніи изъ исторіи всего періода греческой и римской исторіи по Августа.

Въ оппозицію такого направленія реакців, начиная съ двадцатыхъ годовъ, было не мало приверженцевъ классического образованія. Такого приверженца мы видъли уже въ Веневитиновъ. Но Веневитиновъ проповедывалъ классицизмъ, вовсе не думая противопоставлять его какой-нибудь иной систем в образованія: онъ видёль вокругь себя одно голое невёжество при полномъ отсутствін какой бы то ни было системы образованія и пропов'ядываль классицизмъ потому, что онъ одинъ былъ передъ его глазами, отчасти и въ тъхъ-же, можеть быть, видахъ, въ какихъ другіе его такъ боядись. Что касается до реакціи 1849 года, то она, возведя гоненіе на классицизмъ, въ свою очередь, вовсе не думала противопоставлять ему реализма. Хотя насчетъ уменьшенія уроковъ греческаго и латинскаго языковъ и была введена такъ-называемая естественная исторія, но она была вставлена въ такія узенькія рамочки и преподавалась въ такомъ жалкомъ видъ, что здъсь, очевидно, дъло шло вовсе не о реальномъ образовании и не о преобладании естественныхъ наукъ, а просто о томъ, что, съ одной стороны, надо было чемъ-нибудь заштопать пробель, сделанный въ гимназическомъ преподавании уменьшениемъ уроковъ древнихъ языковъ, а съ другой-принизить общій уровень преподаванія всёхъ предметовъ, заглушая одинъ другимъ и не давая ни одному широкаго простора-и то и другое, какъ извъстно, въ скоромъ времени было достигнуто болже практическимъ путемъ — введеніемъ въ рядъ предметовъ гимназическаго преподаванія маршировки...

Въ виду такихъ обстоятельствъ становится просто непонятнымъ, какимъ образомъ Грановскій могъ подозрѣвать въ тѣхъ жалкихъ курсахъ естественной исторіи, какіе существовали въ гимпазіяхъ въ началѣ нятидесятыхъ годовъ, преобладаніе естественныхъ наукъ и реальнаго образованіи и бить тревогу по этому поводу? Или естетвенным науки даже въ такомъ жалкомъ видѣ казались Грановскому ненавистными и опасными? Въ этомъ отношеніи записку Грановскаго недостаточно объяснить одною оппозиціей либеральнаго приверженца классицизма противъ мѣръ

реакцін. Вибств съ темъ, вы видите въ запис кв и крайнее ослешление со стороны Грановскаго враждой противъ новаго, реальнаго направленія, которое начинало господствовать среди молодежи. Реакція, жива старыми традиціями, и не подовр'ввала еще объ этомъ направленіи, но Грановскій оказался подозрительнів самой реакціи: онъ ее самое заподозриль въ стремленіяхъ къ реализму, и нашелъ необходимымъ предварить ее противъ такого опаснаго заблужденія. Съ одной стороны, въ запискъ своей Грановскій выстунаеть въ защиту классицизма противъ обвиненій, къ которымъ подали поводъ революціонныя движенія въ Европъ, и старается доказать, что такія движенія возникають не изъ школь, а изъразличныхъ историческихъ причинъ. Но когда онъ начинаетъ говорить о вредв естественныхъ наукъ, онъ оставляетъ въ сторон'в историческія причины, какъ основные факторы нравственности общественной и частной, и приписываеть недостатки современной эпохи прямо и непосредственно естественнымъ наукамъ и школамъ, въ которыхъ онв преподаются.

«Знакомя юношу только съ внѣшнею природой и съ ея механическими и химическими законами—говорить отть—естествознаніе, отрѣшенное оть ученій, имѣющихъ предметомъ духовныя стороны бытія, неминуемо приводить къ матеріализму... Оно много содъйствовало къ развитію безоградной и безсильной на великіе нравственные подвиги положительности, которая принадлежить къ числу самыхъ печальныхъ ивленій нашей жизни».

Въ сущности, если хотите, и въ этихъ словахъ вы можете отыскать блёдный призракъ истины. Грановскій быль бы вполнё справедливь, еслибы дёло шло дъйствительно объ устройствъ такой системы образованія, при которой только и дёлали бы, что учили однъ естественныя науки. Такое образование было бы, конечно, крайне односторонне; это было бы полуобразованіе, способное притуплять способности дътей, не менъе исключительнаго долбленія греческихъ и латинскихъ вокабулъ. Но, вёдь, никто въ то время и не думалъ о такой нелъпости. Грановскій подаваль свою записку такимь людямь, которые питали страхъ ко всёмъ наукамъ, безъ исключенія. И этимъ людямъ онъ вздумалъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, нашентывать соображенія следующаго рода: "вы, молъ, гоните классициямъ, заподозривая въ немъ зародыши всёхъ революціонныхъ тенденцій: но классицизмъ ни въ чемъ этомъ не виноватъ, онъ готовъ быть вашимъ другомъ и пріятелемъ; но вы и не подозрѣваете, что у васъ есть настоящій врагьэто естествознаніе; въ своемъ нев'єдінім вы, пожалуй, предадитесь ему въ руки, но его-то вамъ и следуеть болже всего бояться, потому что онъ прямо ведетъ къ матеріализму, къ печальной положительности, чуждой нравственныхъ подвиговъ и проч. и проч. ". Мив возразять, что Грановскій подразуміваль здісь подъ матеріализмомъ, конечно, ту узкую, эгоистическую практичность наполненія своего кармана, при полномъ отсутствін всякаго чувства самоотверженія ради общественнаго блага, что въ то время было не въ редкость встрётить въ людяхъ, получившихъ исключительно-техническое спеціальное воспитаніе и чуждыхъ вліянія гупанныхъ наукъ. Но мы не видипъ въ

запискѣ Грановскаго разъясненія употребляемыхъ имъ выраженій въ эту сторону. Онъ въ самомъ общемъ и неопредѣленномъ смыслѣ употребляетъ выраженія "матеріализмъ, печальная положительность, ведущая къ отсутствію нравственныхъ подвиговъ*, давая возможность толковать ихъ, какъ кому угодно. А между тѣмъ, онъ имѣлъ въ виду именно такихъ людей, которые подъ матеріализмомъ готовы были понять опасный и держій вольтеріанизмъ, а подъ отсутствіемъ нравственныхъ подвиговъ—покушеніе на всѣ нравственных основы семейной и общественной жизни.

Что касается до того общаго представленія пути прогреса челов'ячества, которое служило для Грановскаго точкой отправленія для встать его исторических в раземотр'яній, то нигді это представленіе не выражается такъ ясно, какъ въ слідующих всловахь его,

приводимыхъ въ біографіи:

«Разсматривая съ вершины настоящее погребальное шествіе народовь къ великому кладбищу исторін, нельзя не замѣтить на вождяхъ этого шествія двухъ особенно резвихъ типовъ, которие встречаются преимущественно на распутіяхъ народной жизни, въ такъ называемыя переходныя эпохи. Одни отмъчены гордою, самонадъянною силой. Эти люди идуть смёло впередъ, не спотыкансь на развалины прошедшаго. Природа одаряеть ихъ особенно чуткимъ слухомъ и зоркимъ глазомъ, но неръдко отказываетъ имъ въ любви и поэзіи. Сердце ихъ не отзывается на грустные звуки былого. За то ва ними право побъды, право историческаго успъха. Большее право на личное сочувствее историка имъють другіе діятели, въ лиці которыхь воплощается вся красота, все достоинство отходящаго времени. Они его лучшіе представители и доблестные защитники... Но ни темъ, ни другимъ, ни поборникамъ старыхъ, ни водворителямъ новыхъ началъ, не дано совершить ихъ подвига во всей его чистотъ и задуманной опредъленности. Изъ ихъ совокупной деятельности Провидение слагаеть нежданный и невъданный имъ выводъ».

Подобное построение въ основанияхъ своихъ коренится всецвло на гегелевской философіи. Поборники старины являются здёсь тезомъ, поборники новизныантитезомъ, нежданный же и невъдоный выводъ Провидънія — это синтезъ. Но Грановскій не ограничился однимъ подведениет историческаго процесса подъ формулы гегелевской философіи; въ такомъ случав ему следовало бы съ одинаковымъ безпристрастіемъ отнестись, какъ къ тезу, такъ и къ антитезу. Но, между тамъ, вы видите, что представители отжившаго, по его мивнію, почему-то болве заслуживають право на личное сочувствіе историка. Эта точка зрізнія чисто-субъективная, и подъ историковъ нужно разумѣть здѣсь не историка вообще, а лично Грановскаго, который естественно долженъ быль питать болье сочувствія къ представителямь отжившаго, такъкакъ онъ санъ былъ отчасти такимъ представителемъ, выдерживавшимъ напоръ новыхъ идей своего въка.

Этимъ стояніемъ между двумя міровоззрѣніями, отжившимъ и нареждавшимся, можно легко объяснить себѣ и то свойство его характера, на которое современники Грановскаго сиотрѣли, какъ на особенное достоинство его: именно, что въ немъ была та мягка елейность, вслѣдствіе которой онъ вносилъ миръ и гармонію въ среду людей, ни въ чемъ не сходящихся другъ съ другомъ, будучи посредникомъ между са-

мыми противными возэрвніями. Подобное свойство характера Грановскаго зависило прямо изъ его положенія на распуть в міровозэр вній: въ каждомъ онъ находиль симпатичныя стороны, точки соприкосновенія съ своими возгрѣніями и старался всячески примирять противоречія, находя, что каждая спорящая сторона имфетъ свою долю правды. Но, къ довершенію всёхъ противоречій, рядомъ съ этимъ качествомъ мы видимъ въ Грановскомъ совершенно противоположное, исходящее изъ того же самаго источника. То же самое стояніе на распутьть, которое вело его къ посредничеству и примиренію между спорящими сторонами, въ то же время, съ другой стороны, располагало его враждебно ко всёмъ направленіямъ, существовавшимъ въ его время. При этомъ елейность и враждебность постоянно боролись въ Грановскомъ, и изъ этого выходиль порядочный сумбуръ. Такъ, напримъръ, принимая въ соображение вышеприведенную тираду Грановскаго относительно большаго права на сочувствіе отходящаго времени, можно было бы предположить, что Грановскій должень быль питать самое сильное сочувствие изъ всёхъ своихъ современниковъ именно къ славянофиламъ, потому что какихъ же вы найдете въ сороковые годы болье лучшихь и доблестныхь защитниковь отходящаго еремени, по выраженію Грановскаго, какъ не въ людяхъ этого ученія? Но, между тімь, Грановскій вотъ какъ отзывается о славянофилахъ на смертномъ одръ за два дня до смерти: "Эти люди противны мнъ, какъ гробы, отъ нихъ пахнетъ мертвечиной. Ни одной свътлой мысли, ни одного благороднаго взгляда. Оппозиція ихъ безплодна, потому что основана на одномъ отрицаніи того, что сділано у насъ въ полтора стольтія". И можно-ли новърить, что педобные отзывы о славянофилахъ, неоднократно срывавшіеся съ языка Грановскаго, нисколько не мъщади ему брататься и цёловаться съ ними послё застольныхъ рёчей и тостовъ? Столь же неопредёленны быди и отношенія Грановскаго къ своимъ друзьямъ послі вышеописанной размольки изъ-за убѣжденій.

«Полный, безновиратный разрывь съ друзьями быль для Грановскаго невозможенъ—говорить біографъ,—онь плакаль и обвиналь себя въ безсиліи разоревть дружескую связь, которая, повидимому, не могла продолжаться. Об отчалніемь замѣчаль онъ, что друзья прикрѣплены къ душѣ его такими нитами, которыхь нельзя перерѣзать, не захвативъ живаго мяса. До конца своей жизни онъ не отказался отъ тѣхъ вѣрованій, которыя возбуждали его споры съ друзьями, но порой, подъ вліяніемъ тоски по нимъ, готовь быль обвинать себя въ романтвимъ, лишь би уменьшить ту пропасть, которая раздѣла его отъ нихъ. Онъ понималъ опибки и заблужденія Герцена, сожалѣлъ о безплодной тратѣ его таканта, неръдко негодоваль на его миѣнія, хотѣль печатно возражать имъ, но и на одрѣ смерти думаль и болѣлъ душей о своемъ далекомъ, заблулившемся на чужбинѣ другѣ».

Это вѣчное присутствіе двухъ враговъ въ мозгу человѣка, эти противорѣчія, колебанія, желаніе отдаться прогресивному напору и, виѣстѣ съ тѣмъ, устоять на одномъ мѣстѣ, были причиной безъисходнодурного настроенія духа, humeur noire, какъ называлъ его Грановскій, вѣчныхъ рефлексій и того безплоднаго, мучительнаго копапья внутри себя, которое

составляеть извъстную всёмъ характеристическую особенность людей сороковыхъ годовъ.

«Я думаль, что счастіе отучить меня— писаль Грановскій В. П. Б—ну—оть глупой привычки сверацьть себя (по выраженію Станквенча) и подсматривать, что тамь внутри ділается. Но я остался візрень этой привычкі. За то какть я высмотріль себя! Кажется, ність ни одного закоулка віз сердції моемь, віз которомь-бы я не побываль и не посмотріль, какть тамь все обстоить. Разумівется, что эта работа теперь стала пріятніе и види лучше. Но сколько грусти приміншвается къ моему счастію! Въ самыя лучшія міновенія меня охватываеть чувство странной тоски и невольно приходять віз голюзу гихи Гете, не помню изы какой пьескі:

Besser durch Leiden Will ich mich schlagen, Als so viel Freuden Des Lebens ertragen».

Это мрачное настроеніе духа еще болье усилилось въ Грановскомъ въ последние годы жизни, когда обострившаяся реакція тяжелымъ, свинцовымъ гнетомъ налегла на все, когда Грановскій, подозріваемый свыше за либерализиъ и ожидая ежеминутно кары, въ то-же время расходился съ лучшими своими друзьями въ основныхъ убъжденіяхъ. Преследуеный мучительною тоской, онъ маялся, стремясь заглушить ее то усиленнымъ трудомъ, то въ вихре светскихъ развлеченій. Наконець, онъ пристрастился къ игрѣ, ища въ ней забвенія; но игра, разстроивши его состояніе, впутавщи въ неоплатные долги, вивсто забвенія, еще болье увеличила его хандру, прибавивши къ ней мучительнее чувство нравственнаго униженія. Много разъ въ жизни приходила Грановскому мысль о самоубійствъ; въ последніе-же годы мысль эта особенно часто посвіцала его. "Съ каждымъ днемъ чувствую болве и белье необходимость труда --- нисаль онъ Фролову въ августв 1848 года. - Жизнь становится тяжела безъ него. Сердце блёдньеть, верованія и надежды уходять. Подчасъ глубоко завидую Белинскому, во времи ушедшему отсюда. Скучно жить, Фроловъ! Еслибъ не жена... *

T

Говоря о недостаткахъ, слабостяхъ и всёхъ противоречіяхь Грановскаго, я делаль это вовсе не съ темъ, чтобы унизить историческое значение этого, во всякомъ случав, замвчательнаго человвка своего времени. У насъ такъ привыкли въ нало-нальски чтимой исторической знаменитости предполагать непременно воплощение безусловныхъ нравственныхъ идеаловъ, что всякій недостатокъ, замічаемый въ этой дичности, стараются подвести подъ нѣчто идеальное; въ малъйшемъ-же выставлени недостатковъ великаго человека такими, каковы они на самомъ дёле, сейчасъже готовы заподозрить злостное стремление снять съ пьедестала авторитеть, развънчать знаменитость и показать, что она не заслуживаеть никакого вниманія. Но читателей, которые были бы способны заподозрить меня въ подобныхъ ехидныхъ поползновеніяхъ, я спіт предупредить, что выставленіе на видъ всіхъ вышеозначенныхъ недостатковъ Грановскаго нисколько не можетъ пометать принть значение этого чело-

740

въка не меньше, чъмъ его цънятъ истые поклонники Грановскаго, которые никакихъ недостатковъ за нивъ признать не согласны. Я уже говориль, что большинство недостатковъ Грановскаго происходило не отъ какихъ-либо органическихъ пороковъ, принадлежавшихъ лично Грановскому, а отъ характера того момента въ процессв развитія мысли, представителемъ котораго быль Грановскій. Этоть моменть быль столько-же необходимъ, какъ и всъ другіе. Не переживя его, нельзя было идти далве, и чтобы понять значеніе Грановскаго въ свое время, нужно разсматривать его вліяніе на современниковъ, именно въ предъдахъ этого момента, внё котораго онъ быль слабъ и несостоятеленъ, но въ которомъ дичность его выростаетъ во всей колоссальности. Мы не даромъ и не ради одного униженія сравнили Грановскаго съ Рудинымъ. Дійствительно, ни одинъ изъ двятелей сороковыхъ годовъ не подходилъ такъ близко къ типу Рудина, какъ Грановскій, и подходиль не одними своими недостаткани, но и достоинствами. Подобно, какъ у Рудина, у Грановскаго всъ силы души вылились и сосредоточились въ живомъ, изустномъ словъ. Онъ не былъ ни спеціалистовъ-изследователень въ области своей науки, ни философомъ, глубоко и последовательно проводившимъ какую-либо философскую теорію, ни общественнымъ деятелемъ, твердо державшимся какихълибо выработанныхъ принциповъ — онъ былъ ораторомъ-проповъдникомъ; и только тогда, когда начиналъ говорить передъ толпой, онъ делался темъ Грановскимъ, слава которато перешла въ потомство. По этому самому осязательно представить силу и вліяніе Грановскаго на своихъ современниковъ такъ-же трудно, какъ на основаніи однихъ воспоминаній современниковъ составить понятіе о таланть давно сощедшаго со сцены актера. Здёсь мнё можеть быть сдёлано такое возражение, что предполагая въ Грановсковъ отсутствіе последовательныхъ и систематическихъ убъжденій, этимъ самынь уже мы отвергаемъ и всякое вліяніе Грановскаго на современниковъ, какъ оратора, потому что влінніе ораторской річи зависить, конечно, не отъ одного искусства говорить, а прежде всего отъ самаго содержанія річи. Но къ чему-же могъ привести Грановскій своихъ слушателей, когда санъ онъ колебался иежду непримиримыми противоръчіями, не въ силахъ будучи привести свои взгляды въ какую-нибудь стройную систему?

Если мы будемъ брать во внимание только такихъ людей, которые сами находились въ томъ-же період'в развитія, какой переживаль Грановскій, то, конечно, ны должны буденъ признать, что у Грановскаго не было никакихъ данныхъ вести этихъ людей дальше, темъ более, что и самъ онъ не пошелъ дальше этого періода. Но не забудьте, что передъ Грановскимъ стояла целая толпа, которая не доросла еще и до развитія Грановскаго. Своими горячими, вдохновенными импровизаціями Грановскій производиль на эту толиу именно то благотворное вдіяніе, что будиль въ ней уиственные интересы и подымаль ее до себя, предоставляя другииъ, последующимъ деятелямъ мысли вести эту толцу далве. Вы не забудьте, что до появленія Грановскаго на каседрѣ, всѣ умственные интересы этой толпы сосредоточивались въ увкой сферъ

эстетическихъ вопросовъ и двухъ-трехъ романтичеческихъ идеальчиковъ. Грановскій сразу раздвинулъ передъ этою толпой уиственную перспективу, начавши развивать передъ нею картины историческаго развитія челов'вчества и вводя ее въ область вопросовъ общественныхъ и политическихъ. Если онъ въ этой области является не столько проводникомъ какихънибудь гдубокихъ истинъ иди новыхъ идей, сколько художникомъ-созерцателемъ, стремящимся воскресить передъ слушателями историческія событія въ видъ изящныхъ картинъ, исполненныхъ живыхъ красокъ, то для толпы его слушателей это еще увеличивало его популярность и вліяніе. Для людей, привыкшихъ до того времени вращаться почти исключительно въ области поэзін и беллетристики, созерцательно-художественный способъ изложенія исторіи быль какъ нельзя болье последовательным переходом в изъ области эстетики въ область соціологіи. До какой стецени сильно было вліяніе импровизацій Грановскаго, это мы видимъ изъ того, что едва онъ началъ свои лекціивсе общество обратило на него вниманіе; вскор' повсюду въ Москвъ даже салонныя даны заговорили объ исторіи и философіи съ цитатами. Всёмъ, конечно, извъстно, какими шумными овадіями ознаменовались публичныя лекціи Грановскаго въ Москвъ. Послъ заключительныхъ словъ Грановскаго на последней лекцін, вся аудиторія поднялась съ восторженными рукоплесканіями, раздались крики: браво! прекрасно! трескъ, шумъ; дамы махали платками, другія бросились къ каеедръ, жали руки преподавателя, требовали его портрета. Онъ хотълъ уйти изъ аудиторіи, но толиа преграждала ему путь. Онъ стоялъ блёдный, сложа руки и склоня голову, хотёль произнести нісколько словъ и не могъ. Шумъ одобренія поднялся съ новою силой, росъ и длился. Студенты толной заняли лъстницу, по которой, при тъхъ-же выраженіяхъ восторга, Грановскій, изнемогавшій отъ водненія, едва могъ пробраться въ залы университета.

 Лекцін Грановскаго, сказаль Чаадаевъ, выходи съ одной изъ нихъ:
 — имъютъ историческое значеніе.

Дъйствительно, лекціи Грановскаго имъють свое историческое значеніе, независимо даже отъ личности профессора, просто потому уже, что въ нихъ впервые на Руси публично передъ толиой началъ проповъдываться прогресъ, не въ видъ одного только частнаго прецватанія наукъ или искусствъ, но въ связи съ общимъ развитіемъ жизни общественной и политической. Не забудеть исторія и тёхъ овацій со стороны толцы, которыя мы только-что припомнили читателянь. Историческое значеніе этихъ овацій, выдёляющее ихъ изъ ряда тёхъ заурядныхъ апплодисментовъ, которые толпа щедро разсыпаеть ежедневно, заключается въ томъ, что здёсь толна анплодировала не одной виртуозности исполнения, не изъ-за одного удовлетворенія жажды минутнаго наслажденія: впервые она привътствовала здъсь мысль, въ которой смутно чуяла что-то новое, рёзко выдёляющееся изъ мрака, окружающаго ее. Это были апплодисиенты свъту, разуму, прогресу въ оппозицію всему, что только было темнаго, безсиысленнаго, давящаго въ то время... Однимъ словомъ, это были первые апплодисменты на Руси, имъвшіе чисто-демонстративный характеръ. Но несомнанно еще болве сильное и благотворное вліяніе нивлъ Грановскій на толпу своихъ юныхъ слушателей — учащейся молодежи. Въ этомъ отношенін мы должны отдать справедливость Грановскому, что, несмотря на то, что лекціи его оказывали на студентовъ вліяніе, конечно, неизмъримо болье благотворное, чъмъ лекціи многихъ другихъ профессоровъ, читавшихъ въ то время въ московскомъ университетъ, онъ не думаль, что одникь чтеніемъ казенныхъ лекцій всё обязанности его въ отношени къ студентамъ исполнены и всъ счеты покончены. Онъ не принадлежалъ къ числу техъ профессоровъ, которые смотрять на свою профессію съ чисто чиновничьей точки зрвнія, какъ на казенную службу изъ-за куска хлъба, отбылъ ее и съ колокольни долой, которые отдёляють непроницаеною ствной себя отъ студентовъ и до такой степени позволяють себъ забываться въ своей профессорской важности, что начинають смотрать на студентовъ, какъ въ старину важные баре смотрели на своихъ крестьянъ, то-есть, что студентовъ следуеть держать отъ себя въ почтительномъ отдалении и не спускаться до разговоровъ съ ними, иначе они могутъ забыться. Грановскій съ самаго поступленія своего въ университеть поставиль себя совершенно на иную ногу.

«Случалось-говорить біографъ-что утомленный посътителями, онъ спасался бъгствомъ изъ дома, но студентовъ онъ принималь ежедневно. Его совъты, участіе, книги были къ ихъ услугамъ. «Мнъ, по прітадт сюда, совттовали держать себя подалте отъ студентовъ, потому что они легко забываютсяписалъ онъ къ Станкевичу еще вскоръ по прівздъ въ Москву (25-го ноября 1839 года). Я не послушался и хорошо сдъладъ. Въ исполнении монхъ обязанностей и не сдълаю никакой уступки, но виъ этихъ обязанностей мив нельзя запретить быть пріятелемъ со студентами. Примъромъ мив служитъ въ этомъ отношени Р., который давно ординарный, хорошо знаеть нравы студентовь и позволяеть имъ обращаться съ собою, какъ съ товарищемъ: они говорять ему, когда онъ дурно читаль и т. д. Это не мѣшаеть ему на экзаменѣ ставить пріятелямъ своимъ нули и единицы, за что они вовсе не сердятся, потому что привыкли. Каждый знаеть, чего онъ стоить, и не требуеть болье... Разумьется, что иногда случается ошибаться-приходить студенть, показываеть большое участіе въ наукъ, просить совътовъ и книгъ, а оказывается, что это тонкая политика; но, вёдь, безъ этого нигдё нельзя обойтись».

Но Грановскій не ограничивался одними сов'втами и рекомендаціями книгъ. Очень часто собиралъ онъ къ себъ лучшихъ студентовъ и читалъ домашнія лекніи, которыя, будучи свободны отъ всякихъ цензурныхъ стёсненій, по всей вёроятности, еще благотворнъе вліяли на молодыхъ людей, чьмъ чтенія въ стьнахъ университета. Подобныя отношенія въ студентамъ, которыхъ такъ опасались и которые профессора, не только-что не повели Грановскаго къ какимънибудь непріятнымъ столкновеніямъ со своими слушателями, но, напротивъ того, при своемъ вліяніи на молодежь, онъ ималь возможность одною силою убажденія и теплой, дружеской рачи сдерживать въ границахъ молодые, горячіе порывы, которые въ то вреия наказывались иногда на ряду съ самыми тяжкими уголовными преступленіями. Такъ, напримъръ, защищеніе диссертаціи Грановскимъ 21-го февраля 1845 года сопровождалось такими-же шумными оваціями,

какъ и окончаніе чтенія публичныхъ декцій въ 1843 году, при чемъ студенты и слушатели не ограничились уже одними одобреніями любимому диспутанту, но присоединили къ нимъ шиканья и свистки нѣкоторымъ изъ его противниковъ. Друзьи последнихъ не замедлили распустить по Москв'в слухъ, что въ университеть быль бунть. Такая молва въ то время могла привести Богъ-въсть къ какинъ последствіямъ. Желал прекратить на будущее время повторение подобныхъ овацій съ цълію избъжанія излишнихъ непріятностей, которымъ могли-бы подвергнуться юноши, Грановскій, въ одной изъ первыхъ лекцій посл'я диспута, обратился къ своимъ слушателямъ съ замечательною речью. Рачь эта можеть служить образцомъ того, какъ можеть и должень говорить профессорь со студентами. Тутъ вы не видите и тени какого-либо надменнаго начальническаго тона, укоризнъ, распеканья, застращиванья; тутъ профессоръ не становится во враждебный дагерь относительно студента, не видить въ немъ непремънно крамольника, который готовъ низвергнуть всъ существующіе порядки изъ одной любви къ разрушенію, и не считаеть необходимымь объщать какъ можно более строгихъ меръ взысканій, чтобы остановить и обуздать этого крамодьника. Мы нарочно приводимъ всю эту рѣчь цѣликомъ, потому что она представляеть Грановскаго съ самой свътлой его стороны.

«Милостивые государи!

«Благодарю васъ за тоть пріемъ, которымъ вы почтили меня 21-го февраля. Онъ меня еще боліс привязаль къ университету и къ вамъ, мм. гг.. Въ этоть день я получиль самую благородную и самую драгоценную награду, какую только могь ожидать преподаватель. Теперь отношенія наши уяснились; поэтому, я думаю, им. гг., что впередъ вижшина изліянія вашихъ чувствъ будуть излишни, точно такъ, какъ между двумя старинными, испытанными друзьями излишни новыя увтренія въ дружот. Теперь эти рукоплесканія могуть только обратить на насъ вниманіе. Я прошу вась, мм. гг., не перетолковывайте этихъ словъ въ дурную сторону. Я говорю не изъ страха за себя, даже не изъ страха за васъ, им. гг. я знаю, что страхомъ васъ нельзя остановить. Меня заставляють говорить причины болбе разумныя, болъе достойныя меня и васъ. Мы равно, и вы, и л, принадлежимъ къ молодому покольню-тому поколенію, въ рукахъ котораго жизнь и будущность. И вамъ, и мив предстоить благородное и, надвюсь, дол-гое служение нашей великой России, России, преобразованной Петромъ, Россіи, идущей вцередъ и съ равнымъ презръніемъ внимающей и клеветамъ иноземцевъ, которые видять въ насъ только легкомысленныхъ подражателей западнымъ формамъ, безъ всякаго собственнаго содержанія, и историческимъ жалобамъ людей, которые любять не живую Русь, а ветхій призракъ, вызванный ими изъ могилы, и нечестно преклоняются предъ кумиромъ, созданнымъ ихъ празднымъ воображениемъ. Побережемъ-же себя на великое служение. Въ заключение скажу вамъ, мм. гг., что где-бы то ни было и когда-бы то ни было, если вто-нибудь изъ васъ придетъ ко мив во имя 21-го февраля, тоть найдеть во мнв признательнаго и благодарнаго брата».

Замъчательно, что какъ держалъ себя Грановскій по отношению къ студентамъ, такъ-же относился онъ и ко всему обществу. Такъ-же двери его были отврыты для всехъ.

«Онъ никогда не скупился—говорить біографь своимъ временемъ и участіемъ; онъ готовъ быль дълиться со всёми и каждымъ своими талантами, занатівми, способностями, всёмъ и каждому онъ готовъ быль дарить свои совёты, указанія, помощь. Мать, невнающая, что дѣлать со своимть синомъ, какъ его воспитывать, гдё учить, обращалась въ Грановскому. Онъ принималь ее у себя, ѣхаль въ ней, говорить съ ней и синомъ, даваль совёты и наставленіи, и исполняль это будто по обязанности. Учитель, ищущій мѣста, педаготь или гувернеръ-иностранець, литераторъ или молодой ученый, въ нему же обращались за совѣтомъ, рекомендаціей, нужною книгой, часто за однимъ сочувствіемъ или одобреніемъ своимъ намѣреніямъ и предпріятіямъ. Много расточаль Грановскій на все это своихъ силь и способностей; сколько добра было посѣяно такою щедростью—жто это знаетъ, вто скажетъ?».

Какъ относительно студентовъ Грановскій не ограничивался однеми университетскими лекціями, такъ и для публики онъ не ограничивался одними публичными чтеніями. Онъ нерёдко читаль домашнія лекцін своимъ друзьямъ въ Москве и въ провинціи. Такъ, летомъ въ 1849 году, въ Поречье, имени бывшаго министра просвъщенія графа С. С. Уварова, онъ читаль "о переходныхь эпохахь въ исторіи человічества". Все это ясно показываеть, что живое слово нередъ толпой было не одною только профессіей Грановскаго, но его насущною потребностью, его жизнью. Да и по всемъ своимъ привычкамъ-это былъ человъкъ отнюдь не кабинетный, напротивъ того, вполнъ общественный. Его постоянно влекли къ себъ большія собранія, бады, клубы, об'єды; онъ всегда быль тамъ, гдъ много народу, шуму и свъту. Ему-бы следовало жить совсемъ не среди нашего общества, которое въ своей крайней пустотъ и ничтожествъ только и могло предоставить Грановскому, что укаживание за пошлыми свътскими львицами, пикники, танцы да карты. Его могла-бы удовлетворить только жизнь, подная одушевленнаго, разумнаго общественнаго движенія. Только среди общества политически-эрфлаго талантъ его могъ-бы вполне развернуться; конечно, и убежпенія его могли-бы выработаться и сділаться боліве твердыми и систематическими. Но и при данной обстановкъ жизни, какъ человъкъ общественный, Грановскій різко отдичался этимъ отъ весьма многихъ изъ своихъ прузей, которые, напротивъ того, въ презрительномъ взглядѣ на толну, въ удаленіи отъ свѣта и замываніи въ тёсные кружки видёли всю сущность своей оппозиціи и главное условіе осуществленія своихъ идеаловъ.

VI.

На дичность Герцена у насъ привыкли смотръть, какъ на демона отрицанія и сомийнія, который чуть не съ колыбели отвергъ все святое, всю жизнь только и дѣлалъ, что отрицалъ и разрушалъ, заразиль этимъ цѣлое поколѣніе и покончилъ тѣмъ, что оторвался отъ родной почвы, разрушилъ всякін связи съ своею реднюй и былъ, въ свою очередь, забыть ею. Такой стереотипно-мелодраматическій взглядъ дѣлаетъ личность Герцена совершенно какой-то загадкой, случайнымъ, безсвязнымъ явленіемъ, баспословнымъ минотавромъ, который Вогъ-вѣсть изъ какихъ странъ и зачѣмъ приплылъ къ морскому берегу, поѣлъ всёхъ дѣтей въ прибрежномъ городѣ и уплылъ обратно въ море, Не ищите здѣсь какой-либо органической связи

личности Герцена съ эпохой, въ которую онъ жилъ, не ищите обоюднаго вліянія его на эпоху и эпохи на него. Людямъ подобнаго взгляда кажется, что не явись Герценъ—и весь ходъ нашего развитія быль-бы иной. Но почему-же вдругъ, ни съ того, ни съ сего, явился онъ и развился въ такую экстраординародную форму? Да такъ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, пришла человъку такая блажь въ голову, онъ и сдълался русскимъ Мефистофелемъ.

Между темъ, на самомъ деле, оставляя въ сторо-

нь его политическія увлеченія и заграничную дьятельность, такъ-какъ, безъ сомижнія, не настало еще время судить объ этомъ, беря въ разсчетъ только его литературную д'ятельность въ Россіи, періодъ, въ который онь еще развивался вмёсте и рука объруку съ развитіемъ его вѣка, въ который слагалось его міросозерпаніе, устанавливались взгляды на жизнь и дюдей, мы не только не видимъ, чтобы Герценъ стоялъ особнякомъ и былъ исключительно выродкомъ изъ массы своихъ современниковъ; напротивъ того, мы можемъ назвать его вполнъ произведениемъ своего въка, потому что ни на одномъ изъ дъятелей разбираемой нами эпохи не отразился въкъ такъ полно и всесторонне, во всехъ своихъ переходахъ, какъ на личности Герцена. Всв прочіе передовые двятели выражають собою тоть или другой моменть переходнаго пропесса, выражають часто весьма резко и определенно, но, въ то-же время, вполнъ исчернываются этимъ моментомъ. Въ личности-же Герцена вы видите наслоеніе вськъ прогресивныхъ направленій, 'господствовавшихъ въ нашей дитературъ начиная съдвадцатыхъ годовъ и до 60-го. Такимъ образомъ, Полевой, Одоевскій, Чаадаевъ, Веневитиновъ, Баратынскій всеціло принадлежать къ 20-мъ годамъ. Бълинскій, какъ ни видоизмёнялись его взгляды, въ основе своей остался эстетикомъ надеждинской школы. Грановскій является вполив произведениемъ сороковыхъ годовъ. У всёхъ этихъ деятелей преобладающій складъ мысли остался тоть, который они пріобрали подъ вдіяніемъ идей, господствовавшихъ въ наукт и литературт въ цветущее время ихъ жизни, отъ 20-ти до 25-ти лътъ, много до 30-ти. Всё они кончають 30-ми годами, очень смутно понимая дальнейшее движение, или, напротивъ того, начинаютъ ими, вынося изъ прежней эпохи весьма неопределенныя и бледныя традиціи. Между темъ, Герцена вы можете отнести къ каждому изъ моментовъ развитія, пережитаго нашимъ обществомъ съ двадцатыхъ годовъ, и въ то-же время ни къ одному исключительно. Такъ, напримъръ, онъ является передъ нами вполнѣ человѣкомъ двадцатыхъ годовъ, такъ-какъ духъ этой эпохи, действуя на него въ детствъ, опредъдилъ характеръ всей его жизни; въ та-

кой-же степени онъ и шеллингистъ тридцатыхъ го-

довъ, особенно въ своихъ последующихъ сочиненияхъ,

основные взгляды которыхъ напоминають вамъ кн.

Одоевскаго. Не мен'я того онъ и гегеліанецъ-западникъ петербургскаго кружка Б'ялинскаго; зат'ямъ,

фейербахисть интидесятыхъ годовъ. Всё эти направ-

денія съ одинаковою різкостью отразились въ Герцені, и очень можеть быть, въ этомъ характерів развитія

заключается секреть его вліянія на эпоху: почему онъ,

не проповъдуя никакого опредъленнаго ученія фило-

софскаго, политическаго или литературнаго, въ то-же время вліялъ на людей самыхъ разнородныхъ взглядовъ, будучи способенъ въ каждомъ задёть чувствительную струнку.

Этимъ своимъ эклектизмомъ Герценъ былъ обязанъ, какъ особенности своего общественнаго положенія, такъ и всему складу жизни. Онъ очень рано началъ развиваться и могъ, такимъ образомъ, напитаться духомъ эпохи, о которой большинство его современниковъ получило одни блёдныя преданія. А въ юности онъ постоянно вращался среди самыхъ разнообразныхъ сферъ общества, не принадлежа всецъю он и къ одной средъ, и ни одниъ литературный кружокъ не завладътъ имъ вполиъ, хотя въ то-же время ни одинъ не остался ему чуждымъ.

Отецъ его, И. Яковлевъ, былъ одинъ изъ крупныхъ московскихъ богачей, окруженный знатною родней. Если по своему положенію, характеру и складу жизни, Яковлевъ и не стоядъ въ средъ передовой оппозицін двадцатыхъ годовъ, то во всякомъ случав онъ принадлежалъ еще къ числу техъ гордыхъ и независимыхъ баръ, типъ которыхъ исчезъ впоследствии. Воспитанный французскимъ гувернеромъ въ дом'в набожной тетки, онъ 16-ти лътъ поступиль въ Изнайловскій полкъ сержантомъ, послужиль до павловскаго воцаренія и вышель въ отставку гвардіи капитаномъ; въ 1801 году онъ убхалъ за-границу и прожиль, скитаясь изъ страны въ страну, до конца 1811 года. Въ это время онъ сошелся съ матерью Герцена, семнадцатильтнею ньикой, которая, увлекшись русскимъ бариномъ, оставила родительский домъ, была спрятана въ русскомъ посольстве въ Касселе и, затемъ, въ мужскомъ платьт перетхала русскую гра-

ницу. Отъ этой-то романической четы родился въ Москвъ, въ 1812 году, Александръ Ивановичь, прозванный по матери Герценъ. Если-бы изъ Герцена вышелъ знаменитый нолководецъ, то біографы, конечно, не замедлили-бы найти много знаменательнаго какъ въ самомъ годъ рожденія Герцена, такъ и въ первыхъ происшествіяхь его жизни, тотчась-же послѣ рожденія. Отецъ Герцена, по своей барской безпечности, откладываль день за день отъездъ изъ Москвы во время нашествія французовъ и не успъль позавтракать передъ отъездомъ, какъ Москва была уже занята непріятеленъ. Затемъ пожаръ выгналь все семейство изъ дома. Они очутились безъ крова, окруженные горящими домами и французскими войсками. На нихъ напали пьяные солдаты, при чемъ дядя Герцена, Н. И. Голохвастовъ, былъ раненъ по лицу тесановъ, а маленькаго Герцена, еще груднаго младенца, солдатъ вырвалъ у кормилицы, развернулъ пеленки, обыскаль ихъ, надеясь найти въ нихъ завернутыя драгоценности, затемъ, разодралъ ихъ и бросиль. Завернутый въ кусокъ равендука, схваченнаго кормилицей съ билліарда въ одномъ изъ соседнихъ домовъ, въ которыхъ бъглецы тщетно думали пріютиться, младенецъ кричалъ благимъ матомъ, такъ какъ у кормилицы его пропало молоко, и какой-то французскій сондать сжалился надънимъ, давши малюткъ кусокъ хлъбнаго мякиша, размоченнаго водой. Вся эта исторія кончилась темъ, что

всёхъ ихъ забрали въ плънъ и потомъ отца. Герцена выпустили изъ Москвы съ семействомъ подъ тъмъ условіемъ, чтобы онъ отвезъ въ императору Александру письмо отъ Наполеона.

Разсказы о пожарѣ Москвы, о Вородинскомъ сраженін, о Березинъ, о взятін Парижа были колыбельною песнью Герцена. Мать его и прислуга, отецъ и Въра Артамоновна (няня Герцена) безпрестанно возвращались къ грозному времени, поразившему ихъ такъ недавно, такъ близко и круто. Потомъ возвратившіеся генералы и офидеры стали натажать въ Москву. Старые сослуживцы отца Герцена по Изнайловскому полку, теперь участники, покрытые славой, едва окончившейся кровавой борьбы, часто бывали у него. Они отдыхали отъ своихъ трудовъ и дёлъ, разсказывая ихъ. Это было действительно самое блестящее время петербургскаго періода; сознаніе силы давало новую жизнь; дёла и заботы, казалось, были отложены на завтра, теперь хотелось попировать на радостяхъ побъды. Тутъ Герценъ еще больше наслушался о войнь, чымь отъ Выры Артамоновны. Онъ очень любиль разсказы графа Милорадовича, который говорилъ съ чрезвычайною живостью, съ громкимъ сићхомъ, и Герценъ не разъ засыпалъ подъ нихъ на диванъ за его спиной. Разумъется, при такой обстановкъ, Герценъ былъ отчаянный патріотъ и собирался въ полкъ...

Послъ нашествія французовъ, етецъ Герцена снова поселился въ Москвъ и зажилъ тамъ въ затворничествъ, представляя изъ себя одного изъ тъхъ недовольныхъ и презирающихъ всёхъ и все, кроме себя, баръ, которые во множествъ проживали въ Москвъ въ то время, засёдая въ своихъ домахъ, какъ медвёди въ берлогахъ. Считая каждое чувство сентиментальностью, малейшую откровенность фамильярностью, старикъ въчно былъ сдержанъ и сосредоточенъ, не допуская къ себъ ни одного человъка далъе предъловъ колодной, свётской учтивости. Разумьется, онъ не быль счастливь; всегда на сторожь, всемь недовольный, онъ видёль съ стёсненнымъ сердцемъ непріязненныя чувства, вызванныя имъ у всёхъ домашнихъ; онъ видълъ, какъ улыбка пропадала съ лица, какъ останавливалась речь, когда онъ входилъ; онъ говориль объ этомъ съ насмешкой, съ досадой, но не дълалъ ни одной уступки и шелъ съ величайшею настойчивостью своею дорогой. Насмёшка, иронія, колодная, язвительная и полная презрѣнія, было орудіе, которымъ онъ владелъ артистически, онъ его равно употреблялъ противъ всёхъ. Въ первую юность многое можно скоръе вынести, нежели шпынянье, и Герценъ, въ самомъ дѣлѣ, удалялся отъ отца и велъ противъ него маленькую войну, соединяясь съ слугами и служанками.

«Ко всему остальному отецъ увърилъ себя, что онъ опасно боленъ и безпрестанно лечился; сверхъ домоваго лекари, къ нему вздили два или три доктора, и онъ дълалъ, по крайней мъръ, три консиліума въ годъ. Гости, видя постоянно пепріязненный видъ его и слушая однъ жалобы на здоровье, которое далеко не было такъ дурно, ръдъли. Онъ сердился на это, но на одного человъка не упрекнулъ, не пригласилъ. Страшная скука царила въ домъ, особенно въ безконечные

зимніе вечера. Двѣ лампы освѣщали цѣлую анфиладу комнатъ; сгорбивщись и заложивъ руки на спину, въ суконныхъ или поярковыхъ сапотахъ (въ роде валеновъ), въ бархатной шапочке и въ тулуне изъ облыхъ мерлушекъ, ходилъ старикъ взалъ и впередъ, не говоря ни слова, въ сопровождении двухътремъ коричневымъ собакъ... Ствны, мебель, слуги, все смотрело съ неудовольствиемъ, изподлобья: само собою разумается, всехъ недовольные быль самъ хозяинъ. Искусственная тишина, шопотъ, осторожные шаги прислуги выражали не вниманіе, а подавленность и страхъ. Въ комнатахъ все было неподвижно, пять-шесть леть одне и те-же книги лежали на однихъ и техъ-же местахъ и въ нихъ те-же заметки. Въ спальной и кабинетъ годы цълые не передвигалась мебель, не отворялись окна. Убажая въ деревню, онъ бралъ ключъ изъ своей комнаты въ карианъ, чтобъ безъ него не вздумали выныть половъ или почистить стфиъ.

Вотъ подъ гнетомъ какой суровой, давящей, однообразной обстановки проведъ Герценъ свое детство. Не умиротворяющее и разстевающее вліяніе имъда на нравъ ребенка роскошная обстановка богатаго дома, а напротивъ, сосредоточивающее въ себя и ожесточающее. Строптивая и ненужная заботливость о физическомъ здоровью, рядомъ съ полнымъ равнодушіемъ въ нравственному, страшно надожла ему. Предостереженія отъ простуды, отъ вредной пищи, хлопоты при налъйшемъ насморкъ, кашлъ. Зимой нальчикъ по недълямъ сидълъ дома, а когда позволялось профиаться, то въ теплыхъ сапогахъ, шарфахъ и пр. Дома быль постоянно нестерпиный жарь оть печей; все это должно было сдълать изъ Герцена хилаго и изнъженнаго ребенка, еслибъ онъ не наследоваль отъ матери непреодолимаго здоровья. Она, съ своей стороны, вовсе не дълила этихъ предразсудковъ и на своей половинъ позволяла Герцену все то, что запрещалось на половинъ отца. Ученье шло плохо, безъ соревнованія, безъ поощреній и одобреній, безъ системы и надзора; мальчикъ занимался спустя рукава и думалъ памятью и живымъ соображениемъ замёнить трудъ. Разумъется, что и за учителями не было никакого присмотра; однажды условившись въ цфиф-лишь-бы они приходили въ свое время и сидели свой часъони могли продолжать годы, не отдавая никакого отчета въ томъ, что делали.

Десяти лётъ ребенокъ узналъ уже особенность своего положенія, семейнаго и общественнаго, въ качествё незаконнаго сына. Это еще болёе отдалило его отъ отца и внушило ему въ то-же время мысль, что онъ гораздо мен'яе зависить отъ отца, чёмъ другія дети. Эта самобытность очень нравилась ребенку.

Такимъ образомъ, Герценъ, воспитанный въ богатомъ домѣ, не только-что не втянулся въ окружающую его жизнь, но, напротивъ того, съ 10-ти лѣтъ
уже почувствовалъ полное отчужденіе свое отъ нея.
Онъ весь углубился въ себя, сосредоточился, началъ
вести жизнь исключительно воображенія. Вскорѣ онъ
пристрастился къ чтенію. У отца его и дяди была довольно большая библіотека, составленная изъ французскихъ книгъ прошлаго столѣтія. Съ жадностью
качалъ онъ пожирать романы Лафонтена, комедіи Ко-

цебу. Но болѣе всего произвели на мальчика внечатлѣніе Вертеръ, "Свадьба Фугаро". Онъ быль влюблеть въ Херубима и Графиню, и сверхъ того, самъ себи воображалъ Херубимопъ; у него замирало сердне при чтеніи, и не даван себѣ никакого отчёта, онъ чувствовалъ какое-то новое смущеніе. Особенно упомтельна казалась ему сцена, гдѣ Пажа одѣваютъ въ женское платъє; Герцену страшно хотѣлось спритать на груди чью-инбудь ленту и тайкомъ поцѣловать ес. На дѣлѣ мальчикъ былъ далекъ отъ всикаго женскаго общества.

Но одна мечтательность въ карамзинскомъ духѣ не исчернывала всего умственнаго кругозора дѣтскихъ лѣтъ Гернена. На внечатлительнаго и воспріимчиваго юношу не могли не произвести сильнаго внечатлёнія масса слуховъ, которые ежедненю начали доноситься до его ушей въ половинъ двадцатыхъ годовъ. Ему было тогда уже 13 лѣтъ. Какъ всѣ дѣта, воспитанные подъ какимъ-небудь тажелымъ гнетомъ, онъ естественно болѣе симпативировалъ сторонъ лѣвой, чѣмъ правой, и хота и самъ ясно не понималъ, что такое дѣлается вокругъ него, тѣмъ не менѣе, воображалъ себя злотмышлениякомъ.

Свои тринадцатильтнія злоумышленія онъ не замедлилъ сообщить учителю русской словесности И. Е. Протонопову, который быль тиномъ того благороднаго и неопределеннаго либерализма, который часто проходить съ первымъ седымъ волосомъ, съ женитьбой и мастомъ, но, все-таки, облагораживаетъ человъка. Протопоповъ былъ тронутъ и, уходя, обнялъ мальчика со словами: "дай Богъ, чтобы эти чувства соэръли въ васъ и укръпились". Послъ этого онъ носилъ своему ученику мелко переписанныя и очень затертыя тетрадки стиховъ Пушкина, "Оду на свободу", "Кинжалъ", "Думы" Рылъева, и мальчикъ переписываль ихъ тайкомъ. Нодъ вліяніемъ такого настроенія перем'єнился и кругъ чтенія Герцена. Въ подвальной библіотек' отца онъ открыль какую-то исторію французской революціи, написанную роялистомъ, и съ жадностью принялся читать ее.

Здёсь мы опять натыкаемся на вліяніе французскихъ выходцевъ на нашу молодежь стараго времени. Между тъмъ, какъ гувернантка Герцена, т-те Прово, очень часто разсказывала ему эпизоды изъ французской революціи и особенно любила останавливаться на фактахъ эпохи Робеспьера, передъ глазами мальчика, въ лицѣ французскаго учителя Бушо, было живое олицетвореніе этой эпохи: Бушо находился въ Нарижъ во время революціи и былъ неисправимый якобинецъ. Человѣкъ суровый, угрюмый, съ огромнымъ носомъ и очками, онъ долгое время не пускался ни въ какіе разговоры, спрягаль глаголы, диктоваль примъры, бранилъ своего ученика и уходилъ, опираясь на толстую сучковатую палку. Онъ смотрель, съ своей демократической точки зренія, съ презреніемъ на барченка и часто говорилъ: "изъ васъ ничего не выйдетъ ".

Но вотъ, однажды этотъ барченокъ обратился къ нему съ вопросомъ объ одномъ изъ эпизодовъ французской революціи.

Послѣ этого Бушо изивниль свой взглядъ на мальчика, смѣнилъ гнѣвъ на милость, прощалъ ошибки и разсказываль эпизоды 98-го года, и какъ онъ убхаль изъ Франціи, когда, "развратные и плуты" взяли верхъ. Онъ съ тою-же важностью, не ульбаясь, оканчиваль урокъ, но уже снисходительно говорилъ: "я, право, думалъ, что изъ васъ ничего не выйдетъ, но

ваши благородныя чувства спасуть васъ".

Между твиъ учитель русской словесности не ограничился одникъ поощреніемъ либеральныхъ чувствъ въ своемъ ученикъ. Ръяний романтикъ дваддатыхъ годовъ, онъ не замедлилъ, конечно, внушить ученику своему страсть къ современной литературъ, къ Жуковскому, Пушкину, Грибофдову и отрицаніе всей стърой литературы до Жуковскаго. Подъ такимъ вліяніемъ кругъ чтенія мальчика совершенно изибнился: Лафонтенъ, Коцебу и пр. были брошены; онъ началъ

ковымъ удовольствіемъ все, что попадалось: трагедін Сумарокова, сквернѣйшіе переводы восьмидесятыхъ годовъ разныхъ комедій и романовъ; теперь сталъ выбирать, пѣнитъ; бравши книгу, справлядся тотчасъ, въ которомъ году печатана, и бросалъ ее, ежели она была печатана больше пяти лѣтъ тому назадъ, хотя бы ими Державина или Карамзина предохраняло ее

читать съ разборомъ. Прежде онъ читалъ съ одина-

отъ такой дерзости.

Подъ вліяніемъ такого воспитанія, въ 15 л'ять изъ Герцена образовался романтикъ двадцатыхъ годовъ, въ полномъ смыслѣ этого слова. Онъ увлекался порой вольтеріанизмомъ, любиль иронію и насм'вшку-и рядомъ съ этимъ, съ глубокимъ благоговениемъ читаль библію по славянски и въ Лютеровомъ переводъ. Онъ увлекался до энтузіазма Пушкинымъ, два мъсяца носилъ въ карманъ первую главу "Онъгина", нока не вытвердилъ ее наизусть, но выше всего ставиль Шиллера, унеся изъ первой юности въ боле зралыя лата поклонение этому поэту. Чтение Шилдера рядомъ съ Плутархомъ настроили юношу на героическій ладъ и онъ постоянно предугадывалъ въ себъ будущаго "Брута или Фабриція". Въ то-же время онъ питалъ романтическую страсть къ одной своей кузинъ (впослъдствии извъстной русской писательниць Т. В. Пассекъ), которая была старше его годами, разыгрывала изъ себя роль сентиментальной героини въ карамзинскомъ духѣ, требовала, чтобы ее называли Темирой, при каждой встрача съ бладною подругой земнаго шара дълала къ ней лирическое воззваніе и сравнивала свою жизнь съ цвътками, брошенными въ "буйныя волны". Герценъ открывалъ своей возлюбленной всё тайны своего сердца, рисовался передъ нею будущимъ "Брутомъ или Фабриціемъ", а она, какъ свойственно всемъ барышнямъ, въ которыхъ имъютъ несчастие влюбляться несовершеннолътніе юноши, вертъла будущимъ "Брутомъ или Фабриціемъ" по своему произволу. Былъ у Герцена, конечно, и романтическій другъ, нальчикъ почти однихъ съ нимъ летъ (впоследствии известный русский поэтъ и публицисть Огаревъ), который въ глазахъ Герцена разыгрываль роль наркиза Позы; юноши дёлили вифстѣ всѣ свои мечты и думы, проливали горькія слезы, когда находились въ разлукъ другъ съ другомъ, и на Воробьевыхъ горахъ торжественно илялись въ виду всей Москвы пожертвовать жизнью на избранную борьбу.

VII.

Но воспитание Герцена не ограничилось одними романтическими и подитическими вліяніями, о которыхъ мы сообщили на этихъ страницахъ. Судьба какъ будто нарочно хотъла создать изъ Герцена человъка съ самымъ разностороннимъ образованиемъ и подсунула ему родственника, котораго можно назвать по истинъ небывалымъ, чудеснымъ явленіемъ среди общества двадцатыхъ годовъ. Это былъ реалистъ шестидесятыхъ годовъ, типъ вполив въ базаровскомъ духъ, преждевременно развившійся въ двадцатые годы. Въ жизни встръчаются иногда подобнаго рода застрельщики, забежавше слишкомъ впередъ и перешедшіе далеко за черту своего в'яка. Современники смотрять на нихъ обыкновенно, какъ на какихъ-то выродковъ и полуумныхъ чудаковъ, и никто не подозрѣваетъ въ нихъ предтечей грядущаго времени. Таковъ былъ родственникъ Герцена, котораго онъ выставляеть подъ именемъ Химика. Это тотъ самый Химикъ, о которомъ въ комедін Грибойдова сказано:

> — Онъ химикъ, онъ ботаникъ, Князь Федоръ, нашъ племянникъ, Отъ женщинъ бъгаетъ и даже отъ меня.

Мы не можемъ удержаться и не познакомить читателей съ этимъ поразительнымъ типомъ, тѣмъ болѣе, что онъ имѣлъ на Герцена огромное вліяніе.

Отецъ Химика быль старый деспоть и развратникъ, окруженный гаремомъ изъ своихъ крѣпостныхъ. Онъ страпино тѣснилъ сына и даже ревновалъ его къ своей серали. Химикъ хотѣлъ разъ отдѣлаться отъ этой неблагородной жизни опіемъ; его спасъ сдучайно товарищъ, съ которымъ онъ занимался химіей. Отецъ перепутался и передъ смертію сталь смирнѣе съ сыномъ. Но смерти отца Химикъ далъ отпускную несчастнымъ одалискамъ, уменьшилъ на половину тяжелый оброкъ, наложенный отцомъ на крестьянъ, простилъ недоимки и даромъ отдалъ ремутскія квитанція, которыя продаваль имъ старикъ, отдаван дворовыхъ въ солдаты.

Жилъ онъ чрезвычайно своеобычно; въ большонъ дом' своемъ на Тверскомъ бульвар занималъ одну крошечную комнату для себя и одну для лабораторіи. Старуха, мать его, жила черезъ корридоръ въ другой комнаткъ, остальное было запущено и оставалось въ томъ самомъ видъ, въ какомъ было при отъъздъ его отца въ Петербургъ. Почернъвшіе канделябры, необыкновенная мебель, всякія радкости, станные часы, будто-бы купленные Петронъ I въ Амстердамъ, кресла, будто-бы изъ дома Станислава Лещинскаго, рамы безъ картинъ, картины, обороченныя къ стънъвсе это, поставленное кое-какъ, наполняло три большія залы, нетопленныя и неосвіщенныя. Въ передней люди играли обыкновенно на торбанъ и курили (въ той самой, въ которой прежде едва сибли дышать и молиться). Человъкъ зажигалъ свъчку и провожалъ гостя этою оружейною палатой, замычая всякій разы, что плаща снимать не надобно, что въ залахъ очень холодно; густые слои пыли покрывали рогатыя и курьезныя вещи, отражавшіяся и двигавшіяся вибсть со свёчой въ вычурныхъ зеркалахъ; содома, оставщаяся

отъ укладки, спокойно лежада тамъ и сямъ вивств съ стриженной бумагой и бичевками. Рядомъ этихъ комнать достигалась, наконець, дверь, завёшанная ковромъ, которая вела въ страшно натопленный кабинеть. Въ немъ химикъ, въ замаранномъ хадатъ на бёличьемъ мёху, сидёлъ безвыходно, обложенный книгами, обставленный стклянками, ретортами, тигелями, снарядами... Хозайство химика было еще менъе сложно, особенно когда мать его убажала на лето въ подмосковную, а съ нею и поваръ. Камердинеръ его являлся часа въ четыре съ вофейникомъ, распускалъ въ него немного кръпкаго бульону и, пользуясь химическимъ горномъ, ставилъ его къ огню вийсти съ всякими ядами. Потомъ онъ приносидъ изъ трактира полрябчика и клёбъ-въ этомъ состояль весь обёдъ. По окончаніи его кадмердинеръ мыль кофейникъ и онъ входилъ въ свои естественныя права. Вечеромъ снова являлся камердинеръ, снималъ съ дивана тигровую шкуру, доставшуюся по наслёдству отъ отца, п груду книгъ, стлалъ простыню, приносилъ подушки и одъяло, и кабинетъ такъ же легко превращался въ спальню, какъ въ кухню и столовую.

Поверхностный и со страхомъ пополамъ, вольтеріанизмъ нашихъ отцовъ нисколько не былъ похожъ на убъжденія химика. Его взглядъ быль спокойный, последовательный, оконченный. Онъ считаль Жофруа Сентъ-Илера мистикомъ и Окена просто поврежденнымъ. Онъ съ пренебрежениемъ закрылъ сочинения натуръ-философовъ... Сами выдумали первыя причины, духовныя силы, да и удивляются потомъ, что ихъ ни найти, ни понять нельзя. Взглядъ его становился еще безоградите во встхъ жизненныхъ вопросахъ. Онъ находилъ, что на человъкъ такъ же изло лежить ответственности за добро и зло, какъ на звере; что все-дъло организацін, обстоятельствъ и вообще устройства нервной системы, отъ которой больше требують, нежеми она въ состоянии дать. Семейную жизнь онъ не любиль, говориль съ ужасомъ о бракъ и наивно признавался, что онъ прожилъ тридцать лётъ, не любя ни одной женщины.

Впрочемъ, одна теплан струйка въ этомъ охлажденномъ человеке оставалась, она была видна въ его отношенияхъ къ старушке-матери; они много страдали вместе отъ отда, бедствия сильно сплавили ихъ; онъ трогательно окружалъ одинокую и болезненную старость ея, насколько умелъ, покоемъ и вниманіемъ.

Совершенно въ pendant Базарову, Химикъ относился къ изящнымъ искусствамъ совершенно въ разръвъ со своимъ эстетическимъ въкомъ. Въ 1846 гогу, когда Герценъ началъ входить въ моду послъ первой части "Кто виновать?", Химикъ написалъ ему письмо, въ которомъ выразилъ, что онъ съ грустью видитъ, что Герценъ употребляетъ на пустым занятін свой талантъ. "Я съ вами помирился за ваши письма объ взученіи природы; въ нихъ я понялъ (на сколько человъческому уму можно понимать) нъмещкую философію—зачъмъ-же, вмъсто продолженія серьезнаго труда, вы пишете сказки?"

Впрочемъ, теорій своихъ, кромѣ химическихъ, Химикъ никогда не проповѣдывалъ: онѣ высказывались случайно, вызывались споромъ. Онъ даже пехоти отъъчалъ на романтическія и философскія возраженія Гер-

цена. Но за то на своей почвѣ отъ камней до орангутанга его все занимало, здесь онъ быль заниматеденъ, чрезвычайно ученъ, остеръ и даже любезенъ... Съ самаго начала знакомства съ Герценомъ, онъ началъ убеждать его бросить "пустыя" занятія литературой и "опасныя безъ всякой пользы" политикойи приняться за естественныя науки. Онъ далъ мальчику рачь Кювье о геологическихъ переворотахъ и Декандолеву растительную органографію. Видя, что чтеніе идеть на пользу, онъ предложиль свои превосходные собранія, снаряды, гербаріи и даже свое руководство. И котя Герценъ, по своему развитию, не могъ согласиться съвыводами Химика и горячо отстанвалъ свои романтическія мечтанія, но это не помішало ему пристраститься къ естественнымъ наукамъ и поступить въ университеть на математическій факультеть, чему онъ пряно быль, по собственному сознанію, обязанъ Химику. Такая реальная струя, которая пахнула на Герцена въ первыхъ юношескихъ лътахъ, безъ сомивнія, не мало содійствовала, какъ ускоренію переходнаго умственнаго состоянія, которое переживалъ Герценъ виъстъ со своими современниками, такъ и тому, что онъ гораздо ближе стоялъ къ поколенію пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ, чёмъ всё его современники, воспитанные исключительно на гегелевской философіи и въ духѣ художественной созерцательности.

Въ университет вразвитие Герцена прододжалось въ духѣ все тѣхъ-же элементовъ: тотъ-же сентиментальный романтизмъ въ шиллеровскомъ духв, рядомъ съ нимъ дътское либеральничанье, состоящее въ чтеніи запрещенныхъ стишковъ и распъваніи недозволенныхъ ивсенокъ, и въ то-же время занятія естественными науками (Герценъ по окончаніи курса получиль даже серебряную медаль за астрономическую диссертацію). Домашній гнеть тоже мало измінился въ годы университетской жизни Герцена: молодого либерала, воображавшаго себя шиллеровскимъ героемъ, продолжали держать на помочахъ: за нимъ посылали въ университеть слугу, который должень быль провожать его домой, какъ 17-ти-лътнюю барышню, и до 21 года ему не позволялось возвращаться домой послъ половины одиннадцатаго. Разница заключалась только въ томъ, что прежде Герценъ развивался одиноко, теперь-же вокругъ него составился кружокъ. Это былъ одинъ изъ очень немногочисленныхъ въ то время кружковъ, который среди молодежи, усиленно долбящей ради полученія чина коллежскаго регистратора или изнывающей въ томномъ сентиментализмѣ, интересовался, котя и по-дётски, вопросами общественной жизни.

Послѣ 1830 года началась, какъ извѣстно, всеобщая реакція въ Европѣ, которая отразилась, какъ
мы уже видѣли, и у насъ. Реакція, какъ чума, не
равбираетъ никого, ни старыхъ, ни молодыхъ; но иначе дѣйствуетъ она на послѣднихъ, чѣмъ на первыхъ:
въ то время, какъ людей зрѣлыхъ и пожилыхъ она
обезкураживаетъ, разочаровываетъ или окончательно
растлѣваетъ, молодежь она углубляетъ въ книги, сосредоточиваетъ въ заботы о собственномъ развитіи и
побуждаетъ искать новыхъ путей мысли и жезни.

Такъ случилось и съ нашимъ университетскимъ кружкомъ после 1830 года, после французской революціи, польскаго погрома и холеры. Застольный беранжеровскій либерализмъ пересталь удовлетворять молодыхъ людей, потеряль для нихъ всю свою чарующую силу. Тогда одни изъ нихъ бросились на изучение русской исторіи; другіе углубились въ німецкую философію; третьи, успавшие слишкомъ уже глубоко проникнуться общественными интересами, въ томъ числѣ Герценъ и Огаревъ, увлеклись сенъ-симонизмомъ. Подобное увлечение было совершенно въ духв того времени, не только потому, что сенъ-симонизмъ подвизался въ то вреия на сценъ европейской жизни, и о немъ кричали во всёхъ газетахъ, но и потому, что онъ вполит соотвътствовалъ степени развитія молодыхъ людей. На половину соціальное ученіе, на половину религіозная секта, сенъ-симонизмъ одною ногой стоялъ на средневѣковой почвѣ, а другою на почвѣ XIX столѣтія; проновъдуя равенство и братство, общность труда и достоянія, въ то-же время онъ увлекался ісрархісй и централизаціей философовъ-правителей вполить въ дух в среднев вковаго католичества. Такое учение совершенно соотвътствовало настроенію нашихъ юныхъ романтиковъ, которые поклонялись всякому генію, всякой силь, выдающейся впередъ надъ пошлою рутиной жизни. Къ этому чисто-романтическому настроенію присоединялись и представленія религіозныя. Въ это время мысли о томъ, что Западъ не въ силахъ переварить прогресивное движение, что старыя условія жизни слишкомъ вкоренились въ его быть и онъ не можеть избавиться отъ нихъ и перестроить жизнь на новыхъ началахъ, что въ немъ началось разложеніе, подобное послёднимъ вёкамъ древней цивилизаціи, уже развивались въ кружкахъ носковскихъ шеллингистовъ и отражались въ литературь въ сочиненіяхъ кн. Одоевскаго, которыми молодежь зачитывалась именно въ это самое время. Подъ вліяніемъ этихъ идей, сенъ-симонизмъ представлялся молодымъ людямъ не простою соціальною мечтой въ родѣ республики Платона или утопіи Томаса-Мура, а новою религіей, которая явилась среди разлагающагося міра для того, чтобы обновить его, подобно тому, какъ нѣкогда христіанство явилось среди разлагавшихся древнихъ обществъ. Отъ подобной исторической аналогіи для полодыхъ уповъ, находившихся всепьло на почвы дытскихы преданий, достаточно было одного незначительнаго шага, чтобы перейти къ полному сближенію христіанства и сенъ-симонизма, и они начали смотреть на христіанство и сенъ-симонизмъ, какъ на первое и последнее слово одного и того-же ученія. Такимъ образомъ, сенъ-симонизмъ сдівлался для нихъ откровеніемъ, религіей, которая была для нихъ безраздёльна съ ихъ дётскими вёрованіями.

Какъ всё неофиты, молодые люди съ восторгомъ и жаромъ начали проповедывать свое учене направо и налёво, не разбирая долго, какое действе можетъ произвести ихъ проповедь на того или другато, и вскоре они вооружили противъ себя, какъ реакціонеровъ, такъ и либераловъ. Такъ, къ этому времени относится разрывъ Герцена съ Полевымъ, съ которымъ онъ познакомился въ конце университетскаго курса и бывалъ иногда у него и у брата его Ксено-

фонта. Это было время пущей славы Полеваго, предшествовавшее запрещенію "Телеграфа".

Въ сущности, полодые люди, какими-бы они себя ни воображали прогресистами по отношенію къ прежнимъ дъятелямъ литературы, стояли еще на весьма неопределенной и сомнительной почеть. Они находились еще всецёло въ томъ первомъ періодё умственнаго движенія, въ которомъ старыя міровозэртнія остаются еще нетронутыми и только пріурочиваются къ двумъ-тремъ новымъ идейкамъ. Сенъ-симонистическая религія ихъ, безраздільно связанная съ дітскими в рованіями, была еще не Богъ-в всть какимъ шагомъ впередъ: она заключала въ себъ обильные задатки мистицизма и молодые люди, оставленные на свободѣ въ Москвѣ, предоставленные саминъ себѣ, могли въ дальнемъ развитіи своемъ свернуть на путь Киръевскаго и Хомякова. Но реакція, изгнавши нашихъ сенъ-симонистовъ изъ Москвы, разославши ихъ по городамъ и весямъ (1834 г.), изъ безвредныхъ мечтателей сдёдала мучениковъ идеи. Вслёдствіе этого толчка сенъ-симонистическая религія ихъ перестала ограничиваться однёми историческими гипотезами объ обновленім міра; изъ фантазім она перешла въ кровь и нервы, приняла характеръ ожесточенія и въ то-же время развилась въ пламенный мистицизиъ. У насъ такъ привыкли съ именемъ мистика соединять непременно представление о человека, въ высшей степени преданномъ ченоначалію, и съ другой стороны, представлять себъ либерала, и особенно пострадавшаго, непременно отчаннымъ атенстомъ, матеріалистомъ, для которато ничего нётъ святого, что многимъ покажется просто чёмъ-то баснословнымъ, что Герценъ, находясь въ Вяткъ, былъ набожнымъ и горячимъ мистикомъ. Но это было действительно такъ, и мы имъемъ на это нъсколько фактическихъ доказательствъ. Здёсь ны видимъ еще одно ясное подтвержденіе того закона развитія, что политическія убъжденія и увлеченія нисколько не зависять отъ степени уиственнаго развитія, и каковы-бы они ни были, развитие это, во всякомъ случав, идетъ своимъ путемъ, переходя черезъ свои неизбъжныя фазы.

Къ этому времени относится знакомство Герцена съ извъстнымъ архитекторомъ Витоергомъ. Влагочестный художникъ, преисполненный религіознаго энтузіазма, Витоергъ былъ глубокимъ мистикомъ. Послё того, какъ поетройка его внаменитато храма на Воробъевихъ горахъ не удалась, онъ былъ запутанъ строительною коммиссіей и сосланъ въ Ватку. Дѣля одну общую участь, Герценъ сошелся съ Витоергомъ, и послёдній содъйствоваль окончательному развитію тѣхъ задатковъ мистицизма, которые, какъ мы сказами, находились уже въ Герценъ.

Влизость съ Витбергомъ была большимъ облегченіемъ въ Вяткъ для Герцена. Серьезная ясность и нъкоторая торжественность въ манерахъ придавали ему что-то духовное. Онъ былъ очень чистихъ нравовъ и вообще скорѣе склонялся къ аскетизму, чъмъ къ наслажденіямъ; но его строгость ничего не отнимала отъ роскоши и богатства его артистической натуры. Онъ умълъ своему мистицизму придавать такую пластичность и такой изищный колоритъ, что возраженіе замирало на губахъ, жаль было анализировать, разлагать мерцающіе образы и туманным картины его фантазін. Мистицизъ Витберга лежаль долей въ его скандинавской крови; это та самая колодко обдуманная мечтательность, которую мы видимъ въ Сведенеоргъ, похожая, въ свою очередь, на огненное отраженіе солнечныхъ лучей, падающихъ на ледяныя го-

ры и сивга Норвегіи.

Вліяніе Витберга поколебало Герцена. Именно въ эту эпоху, когда Герценъ жилъ съ Витбергомъ, онъ болье чыть когда-нибудь быль расположень къ мистицизму. Разлука, ссылка, религіозная экзальтація писемъ, получаемыхъ имъ, любовь-все это помогало Витбергу. И еще года два послъ Герценъ былъ подъ вліяніемъ идей мистически-соціяльныхъ, взятыхъ изъ евангелія и Жанъ-Жака, на манеръ французскихъ ныслителей въ роде Пьера Леру. Въ этомъ духе, въ 1838 году, Герценъ написалъ историческія сцены, которыя тогда принималь за драмы. Въ однъхъ онъ представиль борьбу древняго міра съ христіанскимъ; тутъ Павелъ, входя въ Римъ, воскрешалъ мертваго юношу къ новой жизни. Въ другихъ, -- борьбу оффиціальной церкви съ квакерами и отъёздъ Уильяма Пенна въ Америку, въ новый свътъ. Между прочимъ, отъ этого періода сохранился рядъ писеиъ Герцена къ Витбергу, драгопанныхъ въ томъ отношении, что представляють самое наглядное и непосредственное свидътельство о томъ настроеніи, въ которомъ находился Герценъ во время своей ссылки. Всё они преисполнены набожнаго благочестія: Герценъ синренно предается въ нихъ волъ Всеблагого Провидънія и описываеть свои религіозныя чувства и думы, которыя онъ ощущаль въ себв при слушаніи божественныхъ, службъ во время страстной недели и пасхи. Замвчательно, что въ то-же самое время Огаревъ, будучи брошенъ на Кавказъ и отдаленъ отъ своего друга нёсколькими тысячами версть, переживаль самостоятельно періодъ такого-же мистицизма. Онъ писаль тексть для Гебедевой ораторіи "Потерянный рай", предполагая, что въ идей потеряннаго рая заключается вся исторія челов'вчества.

νш.

Въ 1838 году, Герценъ былъ переведенъ изъ Вятки во Владиміръ и въ этомъ-же году онъ женилсн. Хоти, конечно, любовь и женитьба каждаго человъка обусловливаются многими частными и случайными обстоятельствами, темъ не менее, въ нихъ выражается часто весьма рельефно личность человъка, весь складъ его характера. Такимъ образомъ, сравнивая между собою любовныя интриги некоторыхъ передовыхъ личностей сороковыхъ годовъ, мы такъ и видинъ въ нихъ характеръ такъ слоевъ нашей интеллигенцін, которые выработывала жизнь въ разбираемую нами эпоху. Гоголь въ первой своей любви выразилъ вполиъ средневъковаго художника въ роде Торквато-Тасса: подобно какому-нибудь бедному пажу Вальтеръ-Скотовскаго романа, онъ исполнился безмолвнаго и отдаленнаго обожанія къ какойто столь-высокопоставленной особъ, что онъ не ръшился въ своихъ письмахъ даже назвать ее, ограничиваясь одними намеками; такъ и унесъ тайну своей

любви въ могилу, предоставивши біографамъ строить какія-угодно догадки. Станкевичъ, бользненный, сентиментальный мечтатель, зафилософствовавшійся идеалистъ, подводившій все и вся въ жизни подъ свои книжныя формулы, таковъ-же оказался и въ своей любви: полюбивши девушку, которую самъ-же расхваливаль до небесь, онь вдругь предался мучительнымъ рефлексіямъ насчеть того, действительноли эта девушка такова, какою онъ себе ее представлялъ, или, говоря философскимъ языкомъ, соотвътствуеть-ли объекть взгляду на него подъ угленъ зрънія субъективнаго настроенія, гемута созерцателя, и дъйствительно-ли любитъ Станкевичъ ее или только воображаеть, что любить, т.-е. есть-ли это чувство разумное, истинное осуществление идеи любви, или это явление призрачное. Подъ гнетомъ такихъ рефлексій. Станкевичь замучиль и себя, и дівушку, и свелъ ее, наконецъ, въ могилу; а когда она умерла, вивсто всякихъ сожальній объ умершей или угрызеній совъсти, Станкевичъ, какъ истинный Донъ-Кихотъ своего философскаго увлеченія, нашель въ ея смерти утъщение и разръшение своихъ рефлексий, гегелевское прикиреніе противорачій въ лона вачнаго бытія. Мы уже видели, какимъ Рудинымъ проявился Грановскій въ своихъ двухъ дюбовныхъ исторіяхъ. Что касается женитьбы Герцена, то въ ней такъ и видится передъ вами протестантъ, объявившій ръшительную борьбу противъ узъ, которыя угнетали его съ самаго д'ятства. Вижсто всякихъ эстетическихъ созерцаній, рефлексій и сомніній, вы видите здісь протестъ и борьбу съ перваго шага и до последняго. Самый предметь любви быль избрань Герценомь не столько всябдствіе того, чтобы въ немъ воплощались какіе-либо романтическіе или художественные идеалы, сколько изъ-за общихъ страданій, которыя сблизили молодыхъ людей. Герценъ полюбилъ одну свою дальнюю полственницу, съ которою быль знаковъ съ дътства: вмёстё они терпёли семейный гнетъ ночти отъ однихъ и тъхъ-же родственниковъ. Любовь ихъ проявилась не вдругъ, а медленно развивалась годами, и они дошли до ея сознанія уже тогда, когда Герценъ быль въ Вяткъ. Между тъмъ, какъ Герценъ быль переведенъ во Владиміръ, гнетъ, который терпъла дъвушка, сделался невыносимымъ. Родственники, у которыхъ она жила, знали о ея любви къ Герцену и нарочно въ ея присутствіи старались всячески чернить ен возлюбденнаго. Наконець, ей стали сватать жениховъ, наифреваясь выдать ее замужъ насильно. Тогда Герценъ ръшился на отчаянный поступокъ: онъ тайкомъ убхаль изъ Владиніра, явился внезапно въ Москву, похитилъ свою невъсту и, воротясь во Владиміръ, женился на ней, объявивши, конечно, въ городъ, что къ нему невъста прівхада сана.

Въ 1840 году Герценъ былъ освобожденъ отъ ссылки и, пріёхавши въ Москву, впервые сошелся здёсь съ кружкомъ Станкевича. Это было время сама-го сильнато увлеченія гегелевскою философіей въ этомъ кружкѣ и примирительнаго взгляда на вещи Новые знакомые приняли Герцена такъ, какъ принимаютъ эмигрантовъ и старыхъ бойцовъ, людей, выходящихъ изъ тюремъ, возвращающихся изъ плёна или ссылки, съ почетнымъ снисхожденіемъ,

съ гетовностью принять въ свой союзъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, не уступая ничего, а намекая на то, что они сегодня, а Герценъ съ друзьями уже—вчера, и требуя безусловнаго принятія феноменологіи Гегеля и, притомъ, по ихъ толкованію.

Здівсь ны встрівчаенся съ весьна різжинь и бросающимся въ глаза фактомъ, свидетельствующимъ, до какой степени были перепутаны въ сороковые годы отношенія между передовыми людьми по ихъ развитію, и какъ трудно провести какую-либо черту въ эту эноху нежду отсталостью и прогресивностью. Съ одной стороны; Герценъ стоялъ, конечно, впереди кружка Станкевича, сиотря на иногія вещи гораздо светле и реальнее, чёмъ Велинскій и друвья его съ ихъ схоластическими, книжными примиреніями. Но за то, съ другой стороны, и кружокъ Станкевича опереживалъ Герцена въ томъ отношении, что Герценъ действительно быль еще вчера, т.-е. принадлежаль еще къ эпох'в двадцатыхъ годовъ, въ то время, какъ кружокъ Станкевича — былъ сегодня, исповъдуя философскую систему, бывшую въ то время последнимъ словомъ человъческаго разума. Вслъдствіе такихъ взаниныхъ преинуществъ, объ стороны должны были повліять другь на друга. Такъ и случилось. Несмотря на то, что после спора о статье Велинскаго "Бородинская годовщина", Герценъ и Бълинскій разошлись озлобленными другъ на друга врагами-оба противника почувствовали себя пораженными въ самыхъ существенныхъ сторонахъ своихъ убъжденій. Столкновеніе съ Герценовъ произвело сильный нравственный толчекъ въ Вълинскомъ; съ этого спора начался въ немъ быстрый, но рашительный переломъ. Что касается Герцена, то и для него началась новая эпоха. Среди этой междоусобицы, онъ-увидёль необходимость ex ipsa fonte bibere и серьезно занался Гегелемъ. Въ то же время онъ, очевидно, изъ перваго періода своего развитія перешель во второй: онь потеряль прежнюю цельность детской непосредственности, все его юныя върованія и радужныя мечты начали колебаться въ своихъ основаніяхъ; онъ исполнился такъ внутреннихъ противоръчій, которыя, какъ мы уже говорили, характеризуютъ собою второй періодъ переходнаго умственнаго процесса. Такимъ образомъ, и онъ не избъжаль общей участи своихъ современниковъ: и онъ предался ирачнымъ рефлексіямъ, копаньямъ въ своемъ сердцв и пр. Въ такой внутренней работв прошли два года въ жизни Герпена—1841 и 1842 гона. Это быль одинь изъ самыхъ тяжелыхъ періодовъ его жизни. По крайней ибрв, воспоминанія его о пребываніи въ Новгородії исполнены прачной и давящей грусти. Видно, что нелегко давалась ему борьба и иного мучительныхъ минутъ пережилъ онъ въ ней. Но та реальная подкладка, которая была подложена въ его университетскомъ образованіи, съ другой стороны и тотъ личный опытъ, который съ детскихъ лътъ щупалъ его бока и не давалъ ему ни минуты забыться и потеряться въ книжныхъ, отвлеченныхъ формулахъ-все это помогало процессу, ускоряло его и Герценъ имелъ возможность не закиснуть на немъ, подобно многимъ своимъ современникамъ. Ускоренію выхода Герцена изъ этихъ сумерекъ много содъйствовале, между прочимъ, столкновение его въ Новгородъ

съ одною престарълою генеральшей, Л. Д., повидимому, женщиной недюжиннаго ума. Женщина эта схоронила дётей, и такъ какъ жизнь ея посиё этой утраты потеряла всякое содержаніе, въ отчаяные она кинулась въ прачный инстицизиъ. У Л. Д. все было кончено; тутъ не было сомнений, шаткости, тооретической слабости; врядъ-ли језунты или кальвинисты были такъ стройно последовательны своему ученію, какъ она. Вибсто того, чтобы ненавидёть смерть, она, лишившись своихъ малютокъ, возненавидъла жизнь. Это-то и надобно для мистицизма, для этого апоесоза смерти; пренебрежение земли, пренебрежение тела не интеть другого смысла. И такъ, гонение на все жизненное, реалистическое, гоненіе на наслажденіе, на здоровье, на веселость, на привольное чувство существованія. И Л. Д. дошла до того, что не любила ни Гете, ни Пушкина. Нападки ся на философію шли совствиъ съ другой стороны. Она пронически увтряла, что все діалектическія подмостки и тонкости-барабанный бой, шукъ, которымъ трусы заглушаютъ страхъ своей совъсти. Вы никогда не дойдете, говорила она, до основъ міра никакою философіей, а храбрости отвергнуть эти основы у васъ у всёхъ нётъ. Вы слишковъ люди, чтобы не ужаснуться этихъ последствій, внутреннее отвращеніе отталкиваетъ ихъ; вотъ вы и выдумываете ваши логическія чудеса, чтобы отвести гдаза, чтобы дойти до того, что просто и дътски дано религіей. Герценъ возражалъ, спорилъ, но внутри чувствоваль, что полныхъ доказательствъ у него нътъ, и что она тверже стоитъ на своей почвъ. нежели онъ на своей. Надобно было, чтобы, къ тону-же, для довершенія бізды, подвернулся туть инспекторъ врачебной управы, добрый человъкъ, но одинъ изъ саныхъ смёшныхъ нёицевъ, отчанный поклонцикъ Окэна и Каруса; онъ разсуждалъ цитатами, имель на все готовый ответь, никогда ни въ чемъ не сомнъвался и воображалъ, что совершенно согласенъ съ Герценомъ. Докторъ выходилъ изъ себя, бъсился, тъпъ больше, что другими средствами не могь взять, находиль воззренія Л. Д. женскими капризами, ссыдался на шеллинговы чтенія объ акадеинческомъ ученін и читаль самъ отрывки изъ Бухардовой физіологіи для доказательства, что въ человікі есть начало въчное и духовное, а внутри природы спрятана какая-то личность. Л. Д., давно прошедшан этими "задами" пантензма, сбивала его и, улыбаясь, показывала на него глазами. Споры эти занимали Герцена до того, что онъ съ новымъ ожесточениемъ принялся за Гегеля. Мученіе неув'тренности недолго продолжалось, истина вдругь мелькнула передъ глазами и стала становиться яснёе и яснёе; Герценъ склонился на сторону противницы, но не такъ, какъ она хо-

Ес смутило это, но она скоро оправилась и сказала: "Жаль мий васъ, а можетъ, оно и къ лучшему; вы въ этомъ направленіи долго не останетесь, въ немъслишкомъ пусто и тяжело. А вотъ, прибавила она, улибаясь, нашъ докторъ, тотъ неизлѣчимъ; ему не страшно, онъ въ такомъ туманѣ, что не видитъ ни на шагъ впередъ..." Однако, лицо ен было блѣдиѣе обыкновеннато.

Изъ этого всего мы видимъ, что споры и пренія о

началахъ міра, абсолютахъ и философскихъ тонкостяхъ не ограничивались Москвой, Петербургомъ и учено-литературными кружками, но повсемъстно были распространены по всей Россіи, отъ Новгорода до Вятки и отъ Владиміра до Кавказа, по разнымъ захолустьямъ, уфеднымъ городкамъ и помъщичьимъ усадьбайъ; въ нихъ принимали участіе ученые и литераторы, студенты и семинаристы, инспектора врачебной управы и салонныя дамы. Въ наше время трудно себе представить, чтобы люди, даже весьма нолодые, очень долго спорили о такихъ вопросахъ, какъ вопросъ о безсмертін души или отношеніи безотносительнаго къ относительному. Но въ то время люди пожилые и много пережившіе до того увлекались подобными спорами, что забывали о пить в и вда и цалые дни и ночи проводили въ жаркихъ преніяхъ. Закадычные друзья делались заклятыми врагами, не согласись въ какомъ-нибудь пунктё гегелевской философіи; мужья расходились съ женами и считали свой бракъ несчастивишимъ, если жены, сами по себв прекрасивишія женщины и во всемъ другомъ гармонирующія съ мужьяни, не соглашались мыслить по Гегелю и Фейербаху. Наконецъ, молодые люди съ того начинали свои ухаживанья за предметами любви, что посвящали ихъ въ таинства германской философіи, и Рудинъ, ораторствовавшій гдё-нибудь въ захолустьи на непонятномъ никому языкъ, среди Ноздревыхъ и Коробочекъ, сделался героемъ дня, новымъ светиломъ, кумиромъ скучающихъ дамъ, барышенъ, ожинающихъ чего-то необыкновеннаго, и вытесниль собою прежнихъ героевъ въ печоринскомъ духъ. Такъ было сильно философское броженіе, овладівшее положительно всемъ образованнымъ обществомъ. Къ концу сороковыхъ годовъ оно шло все crescendo, захватывая собою новые и новые круги общества, спускаясь все ниже и ниже, и вибств съ твиъ становясь съ каждымъ годомъ реальнее, переходя отъ отвлеченныхъ вопросовъ къ вопросамъ семейнымъ и общественнымъ. Но возвратимся къ Герцену.

Рядомъ съ этимъ внутреннимъ переворотомъ началось и его знакомство съ Фейербахомъ, который соотвътствоваль этой новой фазъ его развития. Но мы говорили уже, что всякое новое направление не смывало безследно все старое въ Герцене и не овладевало имъ безусловно. Такъ, напримеръ, сделавшись мистикомъ, онъ не закрылъ уши для всего инаго, не прервалъ всякой связи со всёмъ прошлымъ и не сделался фанатиковъ вистицизма, подобно Гоголю; увлекшись Гегелемъ, онъ не закопался, подобно друзьямъ Станкевича, въ отвлеченныя уиствованія и, наконецъ, сдёлавшись послёдователемъ Фейербаха, онъ не увлекся исключительною пропагандой ученія этой школы. Романтизмъ двадцатыхъ годовъ оставиль въ немъ свой глубокій слёдь въ томъ отношенік, что онъ на всю жизнь остался ненавистникомъ всего пошлаго, посредственно-рутиннаго, пресмыкающагося, въ то время, какъ все выдающееся изъ общаго уровня обыденности, все дерзающее идти не по торнымъ тропинкамъ, постоянне возбуждало въ немъ симпатію. Въ свою очередь, и мистицизмъ въ той соціальной форм'в, въ какой развился онъ у Герцена, навсегда избавилъ его отъ того поверхностнаго и формальнаго либерализма, на которомъ остановились многіе изъ его современниковъ, и заставиль его глубоко вникать въ основы общественныхъ отношеній. Точно также и гегелизмъ прошелъ не безследно, развивши въ Герценъ діалектическія способности. Въ тоже время, начиная съ первой фазы своего развитія и до последней, мы видимъ постоянное преобладание въ Герценъ одного — именно, глубокаго интереса къ вопросамъ общественной жизни: каждое направленіе, которое только онъ по очереди переживаль, онъ постоянно пріурочиваль къ этинь вопросань. Наконець, подъ всеми періодами его жизни и литературной деятельности вы видите подкладку того реальнаго образованія, которое онъ пріобръль на физико-математическомъ факультетъ и впоследстви опытами самой жизни. Романтикъ, мистикъ, гегеліанецъ, фейербахисть въ общихъ идеяхъ, онъ становился на строгореальную, положительную почву, едва только переходиль къ анализу частныхъ фактовъ.

Но этими философскими элементами не ограничидось литературное воспитание Герпена. Обладая сильнымъ художественнымъ талантомъ и природнымъ остроумісмъ, онъ воспринядъ вийстй со своими современниками то эстетическое развитіе, которое въ сороковые годы стояло, какъ извёстно, на первомъ плане и часто доходило даже до крайней односторонности. Не заглушивъ, однако, всёхъ другихъ интересовъ, эстетическое развитіе даровало Герцену могущественное орудіе художественности, недишнее для всякаго писателя. Впродолженіи всей своей жизни не покидалъ онъ великихъ европейскихъ поэтовъ---Шексиира, Байрона, Гете, Шиллера, Гейне, а изъ русскихъ-Пушкинъ и Гоголь были постоянными его любимцами. Но, повидиному, изъ всёхъ европейскихъ писателей болъе всего вліянія оказали на него два писателя: Жанъ-Поль-Рихтеръ и Берне, очень, можетъ быть, потому, что оба эти писателя всего ближе подходили по своему положению среди своихъ современниковъ и вліянію къ тому, что быль Герценъ среди нашего обшества. Вліяніе Жанъ-Поль-Рихтера зам'ятно не на одномъ Герценъ, а на многихъ писателяхъ тридцатыхъ годовъ, въ особенности на Одоевскомъ. Разница только въ тойъ, что жанъ полевская философская пронія, витающая между мистицизмомъ и скептицизмомъ, у Одоевскаго склонялась болбе къ мистицизму, у Герцена, напротивъ того, къ скептицизму. Берне напоминаетъ Герценъ во многихъ своихъ политическихъ фельетонахъ, блещущихъ столь-же убійственнымъ остроуміємъ и такою-же ёдкою проніей.

Со всёми этими элементами литературнаго таланта Герцена мы наглядно познакомимся при разбор'в его сочиненій.

IX.

Мы не имбемъ никакихъ свёденій о томъ, когда и где началь Герценъ печататься. Знаємъ только, что первая статья Герцена, появившаяся подъ псевдонимомъ Искандера, была напечатана въ последнемъ, 33-мъ томе "Телескопа" въ 1836 году, когда Герценъ былъ уже въ Вятке. Статья эта, подъ заглавіемъ "Гофманъ", напечатана въ особенномъ отделе "Те-

лескопа", носившемъ название "Знаменитые современники". Статья была отдана Полевому, а попала по ошибкъ въ "Телескопъ", при чемъ пріятель Герцена К., считая неосторожнымъ оставить подъ нею настоящую фамилію Герцена, впервые поставиль Искандеръ, — подпись, которую Герценъ шутя употребилъ въ одной статьъ, назначенной не для печати. Мы не знаемъ, когда Герценъ написалъ статью о Гофманъ, но, по содержанию и характеру, она, повидимому, всецило принадлежить еще къ первому періоду его развитія — къ эпохѣ юнаго сентиментальнаго романтизма. Онъ вполит заплатиль въ этой статьт дань своему времени, явившись такимъ-же горячимъ поклонникомъ Гофиана, какими были все юноши тридцатыхъ годовъ. Въ статъв вы встрвчаете целый рядъ восторженныхъ восклицаній.

Въ нъкоторыхъ мъстахъ Герценъ является крайне субъективенъ, какъ всъ слишкомъ юные инсатели. Онъ иногда совершенно сливаетъ личность Гофмана со своею, и вамъ кажется, что, говоря о Гофманъ, подъ иниъ онъ разумъетъ самого себя. Таково, напримъръ, описание воспитания Гофмана.

Но и въ этой юной стать в Герценъ не ограничивается одними романтическими пареніями и восклицаніями. Среди разныхъ превыспреннихъ сентиментальностей, вы натыкаетесь на мысли совершенно иного склада и видите въ нихъ задатки будущаго Герцена. Такъ, напримъръ, на одной страницъ онъ объясняетъ фантастичность Гофмана совершенно въ романтическомъ духъ темъ, что Гофианъ становится мраченъ, ибо начинаеть разглядывать действительный міръ во всей его прозъ, во всехъ его мелочахъ, что это простуда отъ міра реальнаго, холодъ и ужасъ, навъваемый дыханіемъ людей на грудь чистаго юноши, что всявдствіе этого-то рождается въ Гофианъ потребность сорваться съ пути битаго, обыкновеннаго, пыльнаго, которую мы равно видимъ во всёхъ истинныхъ художникахъ и пр. Но переверните страницу, и вы увидите совершенно иное объяснение той-же фантастичности и отрешенности отъ действительности Гофмана. Оказывается, что Гофманъ не потому отвернулся отъ дъйствительнаго міра, что разглядълъ его во всѣхъ мелочахъ, во всей его прозѣ, а потому, что онъ вовсе его не зналъ; онъ быль занять до того концертами, что не зам'втилъ приближенія Наполеона. Герценъ видитъ въ этомъ тень прошедшаго, сверхземного направленія литературы германской, въ противоположность вемному, общественному направленію французской литературы. По мненію его, сочинители, жившіе до 1813 года, воображали, что все вемное слишковъ низко для нихъ, и жили въ облакахъ; но это имъ не прошло даромъ. Когда-же Германія проспулась при гром'в лейпцигской битвы, явилось новое нокольніе, болье земное, болье національное. Гейне бичевалъ своимъ ядовитымъ перомъ направо и налъво старое покольніе, которое разобщило себя съ родиной, прошлую эноху, которая такъ колоссально, такъ величественно окончилась въ Веймаръ 22-го марта 1832 года.

Подобныя мысли, сказанныя въ 1836 году, когда ничего не признавали выше германской философія и романтической поэзіп, когда во Франціи видёли толь-

ко законодательницу модъ и свътскихъ приличій, когда литературу ея ставили ниже всехъ другихъ литературъ, могли казаться безумною ересью. Особенно, если взять во вниманіе, что Герценъ еще болье превознесъ французскую литературу въ другомъ мъстъ статьи, сказавши, что Франція столь-же мало могла симпатизировать съ Вальтеръ-Скоттомъ, сколько съ Веллингтономъ и со всемъ торизмомъ, что французы заменили это направление другимъ, более глубокимъ, принялись за анатомическія разъятія души человъческой, стали раскрывать всё раны тела общественнаго и пр. Рядомъ съ этимъ, васъ поражаетъ и самая постройка статьи: историческій истодъ преобладаеть въ ней надъ философскимъ, который начиналь въ то время входить въ особенную моду. Тогда статьи начинались обыкновенно съ изложенія общихъ философскихъ основаній, посл'я чего писатель приступаль уже къ частнымъ фактамъ, которые онъ и подводиль подъ изложенныя основанія. Такой методъ господствуеть во всехъ статьяхъ Белинскаго. Между темъ, Герценъ построилъ свою статью совершенно иначе: онъ началъ съ частныхъ фактовъ, съ біографін Гофмана, желая объяснить направленіе Гофмана его жизнію. Затънъ, онъ приступиль къ общинъ историческимъ даннымъ эпохи Гофиана, причемъ онъ постоянно указываль на тесную зависимость того или другого литературнаго направленія отъ обстоятельствъ жизни и исторіи того или другаго народа. Наконецъ, приступаетъ къ разбору сочиненій Гофмана, какъ общему выводу изъ всехъ данныхъ.

Періодъ мистицизма Герцена опредъленно выражается только въ техъ сценаріяхъ, о которыхъ мы выше упоминали. Къ этому-же времени (1838 г.) относятся "Записки одного молодаго человека" и "Еще изъ записокъ молодаго человѣка". Обѣ статьи написаны во Владимір'в и напечатаны въ № 12-мъ 1840 г. и № 1-мъ 1841 г. "Отеч. Записокъ". Посвященныя личнымъ воспоминаніямъ, статьи эти не отражають въ себь и тени того мистическаго настроенія, которое переживаль Герцень. Мы уже говорили, что мистицизмъ, какъ необходимая фаза развитія, прощелъ черезъ Герцена, не завладъвши имъ всецело, и вопросы общественной жизни, все таки, стояли на первомъ планъ. Это мы видемъ въ объихъ вышеупомянутыхъ статьяхъ. При этомъ весьма замѣчательно то, что котя объ статьи относятся къ одному году, но между ними находится такая разница въ тонь, духь и содержаніи, словно какъ будто между ними годы разстоянія и первую статью писаль все тотъ-же юноша, который намъ знакомъ въ стать в о Гофман'в, между тёмъ вторая написана челов'вкомъ зрълымъ, много испытавшимъ и на многое оздобленнымъ. Очень можетъ быть, что это резко бросающееся въ глаза различіе зависить оть различія предметовъ въ объяхъ статьяхъ. Первая статья посвящена воспоминаніямъ дітства и юности. Сентиментально-романтическій періодъ этого времени хотя и миноваль для Герцена, но быль такъ еще близокъ и свъжъ въ его цамяти, что, увлекшись воспоминаніями о немъ, онъ весь ушелъ въ него, снова, такъ-сказать, пережилъ его и заговориль даже его языкомъ. По крайней ифръ, вся статья исполнена свътлаго, радужнаго настроенія; это гимнъ юности, дружбъ, любви, написанный столь-же высокопарнымъ слогомъ, съ обильныин восклицательными знаками и многоточіями, какой мы видели въ статье о Гофиане. Другая статья ("Еще изъ зан. молод. чел.") посвящена восноминаніямъ о Вяткъ, т.-е. именно самому тяжелому времени въ жизни Герцена - времени, которое быстро и радикально восторженнаго мечтатедя превратило въ человъка холоднаго и горькаго опыта, чуть не доведя его до запоя подъ тяжелымъ, давящимъ гнетомъ тюфяевской канцеляріи. Понятно, что тонъ восноминаній объ этомъ періодѣ совершенно иной. Здѣсь и тѣни вы не увидите прежней восторженности. Напротивъ того, здёсь впервые встрёчаетесь вы съ тою безпощадною, *Вдкою ироніей; которая составляда отличительную черту многихъ произведеній Герцена.

Вся первая половина статьи, представляющая описаніе нравовъ и жизни жителей Малинова, исполнена этой Едкой, чисто-берневской ироніи. Во второй половинь статьи Герцень какъ будто хочеть отвести душу, остановившись, после целаго ряда свинообразныхъ личностей, на необыкновенномъ типъ, ръзко оттеняющемъ собою всю окружающую его пошлость. Онъ изображаетъ передъ нами глубокомыслящаго, развитаго и много испытавшаго на своемъ въку Трензинскаго, случайно попавшаго въ окрестности Малинова устраивать имение и улучшать быть крестьянъ, которыхъ онъ выигралъ у одного русскаго князя во время своего скитанія за границей. Да не подумаеть читатель, чтобы личность эта была, действительно, встръчена Герценомъ въ окрестностяхъ Вятки. Типъ этотъ быль внушенъ Герцену воспоминаніемъ о Чадааевъ, какъ онъ самъ говорить объ этомъ въ одномъ изъ своихъ воспоминаній; онъ наклепаль на Малиновъ Трензинскаго, и, не думая, не гадая, сдёлаль портреть Чаадаева, даже наружность взята съ него: "нёжное, бёлое, какъ мраморъ, лицо, сфроголубоватые глаза, холодная улыбка, чело, какъ черепъ годый". Личность Трензинскаго, действительно, вышла въ статъв Герцена полусочиненною, полуисторическою. Все присочиненное въ ней авторомъ крайне неестественно и ходульно. Вы видите передъ собою небывалаго героя, который, выигравши огромное имъніе въ окрестностяхъ Вятки, сдълался однимъ изъ техъ добродетельныхъ помещиковъ, въ род'в Костанжогло, типъ которыхъ нер'вдко впосл'вдствін появлядся въ нашей дитературів съ легкой руки Гоголя. Но изъ-подъ этого Костанжогло передъ вами мелькаетъ иная личность, более напоминающая вамъ что-то живое, хотя и прошлое, вы видите передъ собою типъ мыслящаго человека тридцатыхъ годовъ, и этотъ типъ действительно, можетъ быть, напоминаетъ собою Чаадаева, хотя речи, которыя говорить Трензинскій, очевидно, принадлежать не Чаадаеву, а. самому Герцену. Въ этихъ ръчахъ вы опять встръчаетесь съ теми мыслями объ отвлеченности и отсутствии живыхъ интересовъ у германскихъ писателей, которыя мы видели въ стать во Гофиант. Разница только въ томъ, что въ стать во Гофман в мысли эти высказаны вскользь и мимоходомъ, здёсь-же, напротивъ того, оне стоять на первомъ плане, выражаются въ живыхъ образахъ, съ дагеротипною ръзкостью и обрушиваются безъ церемоніи на главнаго представителя германскаго парпаса — Гете.

Надо полагать, что недаромъ Герценъ такъ неожиданно обрушился въ конце статьи о Малинове на германскихъ поэтовъ и на Гете въ особенности. Въ это время кружокъ Станкевича развилъ до последней крайности свои идеи въ духѣ гармоническаго примиренія и объективнаго созерцанія. "Московскій Наблюдатель" именно съ 1838 года поступилъ въ руки кружка, и Бълинскій въ томъ-же году, въ целомъ рядь статей, разразился громами противъ французовъ, противъ Шиллера и возвеличеніями гетевской объективности и олимпійскаго безстрастія. Безъ сомнівнія, нумера "Наблюдателя" попадали въ руки Герцена и, подъ внечатавніями статей Белинскаго, онъ написаль окончаніе своего разсказа. По крайней нерв, въ разговорахъ автора съ Трензинскимъ вы такъ и видите вліяніе духа, господствующаго въ статьяхъ Велинскаго въ это время. Причемъ Герценъ сдёлалъ здёсь перемъщение, самъ перескочивши въ Трензинскаго, а въ своемъ лицъ, отъ котораго ведется весь разсказъ, изобразивши последователя идей Белинскаго.

Такимъ образомъ, когда авторъ замѣчаетъ Трензинскому, что вся задача жизни заключается въ томъ, чтобы стоять выше всёхъ обстоятельствъ и ихъ покорить, чтобы внутренній міръ сдёдать независимымъ отъ наружнаго, Трензинскій отвёчаетъ ему на это, что это хорошо въ стихахъ и въ трактатахъ, а не на самомъ дёлё и не для всёхъ, что внутренняя полнота, особенно при экзальтаціи воображенія, можетъ сдёлать человёка совершенно независимымъ отъ всего внёшняго, но это не для всёхъ: для этого надобно имёть, можетъ быть, слабонервных родителей, вообще склонность къ сумасшествію, такъ-какъ и сумасшествіе есть независимоть отъ внёшпяго міра.

Но Герцену мало показадось сравнить доктрину кружка Станкевича съ сумасшествіемъ. Онъ захотвлъ поразить московскихъ философовъ въ самое сердце, показавши все безобразіе одимпійской объективности въ лицъ кумира ихъ, Гете. Далъе Трензинскій разсказываеть свою встречу съ Гете. Ему было 18 леть, когда онъ съ отцомъ путеществовалъ за-границей и имъ пришлось выбхать изъ Парижа въ самый разгаръ первой революціи. Съ трудомъ добрались они до границы и здёсь, среди войскъ коалиціи, гибнущихъ отъ голода и грязи, на вечеръ у владътельнаго князя, они встрътили Гете. Довольно поздно онъ явился во фракъ, съ гордымъ, важнымъ видомъ. Всъ привътствовали его съ величайшимъ почтеніемъ, но его взоръ не быль приветливъ, не вызываль дружбы, а благосклонно принималь привычную дань вассальства. Каждый могъ чувствовать, что онъ не товарищъ ему. Князь предложиль кресло возда себя; онъ сълъ, сохраняя ту особенную Steifheit, которая въ крови у нѣмецкихъ аристократовъ. Посяв важнаго разсказа Гете о случайной встрача съ королемъ, который приняль его за герцога, потому что Гете быль въ герцогской кареть, како всегда-прибавиль къ тому Гетезаговорили о политикѣ, и изъ устъ поэта полились высокомфрныя, хвастливыя рфчи, причемъ Гете сравнивалъ революцію съ ордою гунновъ и высказалъ уверенность, что нашъ Готфридъ образумить скоро

ихъ, да и сами французы ему помогутъ. Но противъ Гете выступиль седой полковникъ, который 10 летъ провелъ на бивуакахъ и въ лагеряхъ и зналъ политическія діла, конечно, ближе и лучше величественнаго олимпійца. Онъ сдёдаль ему цёлый рядь возраженій въ томъ род'я, что неужели поэтъ думаетъ, что французы примутъ австрійцевъ съ распростертыми объятіями, когда всякій день показываетъ, какой свиръпо-народный характеръ принимаетъ эта война, когда поселяне жгуть свой хлёбъ и свои дома для того, чтобы затруднить непріятеля? Возраженія свои полковникъ заключилъ энергически, сказавши, что онъ женъ, матери, сестръ, если-бы онъ у него были, не сказаль-бы ни слова объ этой кампаніи, изъ которой измиы принесуть грязь на ногахъ и раны на спинв.

Гете поняль, что ему не совладать съ такимъ соперникомъ и почетно отступилъ, заявивши, что міръ политики ему совершенно чуждъ, что ему скучно, когда онъ слушаетъ о маршахъ и эволюціяхъ, о преніяхъ и мърахъ государственныхъ, что онъ не могъ никогда безъ скуки читать газетъ; все это что-то такое преходящее, временное, да и вовсе чуждое по самой сущности намъ, что есть другія области, въ которыхъ онъ себя понимаетъ паремъ: зачъмъ-же онъ пойдетъ безъ празыва, дюжиннымъ резонеромъ, вмъщиваться въ дъла, возложенныя Провидъніемъ на избраныхъ имъ нести бремя управленія? И что ему за дѣло до того, что дълается въ этой сферѣ?

Слово "дожинный резонеръ" попало въ цель: полковникъ сжалъ сигару такъ, что дымъ у нея пошелъ изъ двадцати местъ, а впрочемъ, довольно спокойно, но съ огненными глазами, сказалъ, что онъ простой человъкъ, нигдъ себя не чувствуетъ ни царемъ, ни геніемъ, а вездъ остается человъкомъ, съ дътства затвердя пословицу: "homo sum et nihi humanum a me alienum puto", что, наконецъ, двъ пули, пролетъвния сквозь его тъло, подтверждаютъ его право вмъщиваться въ тъ дъла, за которыя онъ платитъ своею кровію.

Гете сделаль видь, что не слышить словь полковника, и, обращаясь къ соседямь, заявиль, что и среди военнаг о стана онъ такъ-же далекъ отъ политики, какъ въ веймарскомъ кабинетъ, и что онъ занимается

теоріей цвітовъ. Но прошло нісколько літь. Трензинскій вийсті съ полковникомъ встрітили въ веймарскомъ театрі Гете, который присутствоваль на дебюті своей пьесы, какого-то политическаго фарса, и выслушаль недовольство публики своей пьесой. Оказалось, что Гете, толковавшій, что политика ниже его, самъ пустился въ памфлеты.

Этотъ разсказъ показываетъ намъ огромную начитанность Герцена и силу фантазіи, дававшую ему возможность, не бывши за-границей, не видавши жизни и правовъ Европы своими собственными глазами, изображать съ такою живостью и дагеротипною полното сцены, подобным вышеприведенной. Читая анекдотъ о Гете, вы точно будто слушаете разсказъ очевидца этой сцены.

Тирады Трензинскаго замъчательны еще тъмъ, что онъ могутъ дать котя блёдное представление о харак-

терѣ споровъ, которые велъ Герценъ съ Вълинскимъ въ 1840 году. И въ томъ видѣ, въ какомъ являются передъ читатедями возраженія Герцена въ устахъ Трензинскаго, въ нихъ достаточно соля. Но если взять во вниманіе, что въ живой, устной бесъдѣ, не стъсняемой никакими условіями печати, возраженія Герцена были вдесятеро прямѣе, рѣзче и безпощаднѣе, то понятно становится, что Бълинскій могъ быть доведенъ до такого крайнято нервнаго потрясенія, ярости и изнеможенія, которыя онъ обнаружилъ въ своемъ разговорѣ съ Панаевымъ.

Статья "Еще изъ записокъ молодаго человека" была какъ-бы перчаткой, которую Герценъ намъревался бросить друзьямъ Станкевича изъ своего далека. Напечатана эта статъя была въ "Отечественных запискахъ", правда, тогда, когда Вълинскій самъ началь уже колебаться въ своихъ московскихъ инънихъ, и, такнить образомъ, она немного опоздала свонихъ понвленіемъ, явившись бомбою, упавшей на поле, очищенное непріятелемъ. Но, темъ не менфе, но всякомъ случать, она замъчательна, какъ противоположный полюсъ, противовъсъ относительно статей Бълинскаго въ "Московскомъ Наблюдателъ", какъ первое заявленіе въ печати о выході изъ мрака среднихъ въковъ, отвлеченной схоластики и примирительнаго квізтизма—на свежій воздухъ и свётъ.

х.

И такъ, мы видимъ, что 1841 и 42 годы были въ жизни Герцена періодомъ умственнаго переворота, въ который поколебались всё его философскія и моральныя убъжденія. Можно себъ представить, какая страшная домка должна была произойти въ мозгу чедовека, который въ течении двухъ леть изъ мистика преобразовался въ фейербахиста, пройдя черезъ всъ лабиринты гегелевской философіи. Понятно, что этотъ быстрый внутренній перевороть, потрясши всё умственныя силы Герцена, послужиль для нихъ освъжительною прозой и произведь въ нихътакое сильное возбуждение, какого онъ до того времени не имъли. Это и было причиной, что после 1842 года началось дъятельное участие Герцена въ литературъ. Прежде онъ писалъ мало и появление его статей въ журналахъ было ръдкою случайностью. Мы не знаемъ даже, писаль-ли что-либо Герценъ съ 1839 года по 42-й. Если что-либо и писаль, то, во всякомъ случать, не нашелъ годнымъ къ печати. Между темъ, после 1842 года, Герценъ разражается цёлымъ рядомъ статей, непрерывно печатавшихся въ "Отечественныхъ Запискахъ", а потомъ въ "Современникъ" до 1847 года включительно. Крок'в возбужденія, бывшаго сл'ядствіемъ вышеписаннаго переворота, плодовитости литературной деятельности Герцена въ эти 5 летъ много способствовали и вижинія обстоятельства. Это было самое безоблачное время въ жизни Герцена. Онъ былъ свободенъ и спокоенъ. Жизнь его, устроившаяся въ Москвъ, въ концъ 1842 года, и продолжавшаяся пять деть, быда очень изящна и носила особый характеръ новаго, дъятельнаго совершеннольтія, характеръ возмужалости и силы. Судорожно натянутые нервы въ Петербурга и Новгорода отдали, и Герценъ снова быль на болье русской почвы и въ кругу совер-

шенно сочувствующемъ. Между тыпь, кружокъ Герцена вполнъ слидся съ кружкомъ Велинскаго, который, какъ мы увидимъ ниже, успыть уже избавиться отъ своихъ теоретическихъ увлеченій и вступиль въ самый цвътущій и благотворный періодъ своей діятельности. Къ соединившимся кружкамъ примкнулъ Грановскій и многіе другіе, болъе юные, тогда только-что начинавшіе литературные даятели. Такимъ образомъ, составился умственно-правственный союзъ, который всталь во главъ нашей образованности того времени. Въ этомъ союзъ вы не найдете особенно глубокой и строгой солидарности въ убъжденіяхъ; одни опереживали другихъ въ этомъ отношении; у него не было никакой опредъленной, реальной цъли, которая связывала бы членовъ въ стремленіи къ осуществленію какого-нибудь задуманнаго предпріятія. Всёхъ ихъ связывало одно: общая дюбовь къ наукт, въ эстетическимъ наслажденіямъ, общее стремленіе къ прогресу и гуманности. Но болже всего смыкала ихъ въ тесный кружовъ та противоположность, какую представляль каждый изъ нихъ сравнительно съ глубокимъ мракомъ невъжества, пошлости и рабства, какой царствоваль повсюду вокругь ихъ.

Въ этомъ-то вружке и въ эти пять деть было сосредоточіе той завидной жизни, подной эстетическихъ наслажденій, философскихъ преній и утонченнаго, изящнаго эпикурензма, жизни, которую можно смёло сравнить съ возлежаніями древнихъ эпикурейскихъ философовъ въ прохладъ твнистыхъ садовъ и съ пиромъ во время чумы. Какъ Герценъ, такъ и Панаевъ, съ особенною любовью останавливаются на этомъ времени въ своихъ воспоминаніяхъ, подробно описывая разныя встречи, проводы, дачные farniente въ роскошныхъ, живописныхъ подмосковныхъ, какъ, напримъръ, въ Соколовъ, гдъ и произошелъ разрывъ Герцена съ Грановскимъ, во время лътняго объда въ саду; совершенно въ духѣ аттическихъ философовъ. Нъть ничего мудренаго, что этотъ постоянный обивнъ мыслей, чувствъ и наслажденій не мало способствоваль плодовитости литературной деятельности Герцена въ этотъ періодъ.

Всв сочиненія, написанныя Герценомъ съ 1842 до 1847 г., то-есть, до времени отъезда его за границу, можно раздълить на три разряда по своему содержанію. Одни посвящены разсмотренію умственной деятельности человека, области знанія; таковы "Диллетантизмъ въ наукъ", "Диллетанты-романтики", "Цехъ ученыхъ", "Буддизиъ въ наукъ", "Письма объ изучении природы". Другія имфють своимъ предметомъ область практической жизни, касаются вопросовъ морали, таковы: "По поводу одной драмы", "По разнымъ поводамъ", "Новыя варіаціи на старыя тэмы" (всь три статьи извъстны подъ общимъ названіемъ "Капривы и раздумье"), "Нъсколько замечаній объ историческомъ развитіи чести", "Изъ сочиненій доктора Крупова". Наконець, въ третьихъ преобладаетъ элементъ нравоописательный, анализъ общественныхъ отношеній, таковы: "Кто виновать", "Сорока-воровка" "Москва и Петербургъ", "Новгородъ и Владиміръ", "Станція Едрово", "Прерванные разсказы". Обо всёхъ трехъ разрядахъ мы скажемъ по нёскольку словъ о каждомъ въ отдёдьности.

Сочиненія первыхъ двухъ категорій въ особенности отражають въ себв переходный процессъ развитія, который Герценъ переживалъ со всеми своими современниками. Они вполив вызваны теми двумя годами, въ которые пережилъ Герценъ философскій переворотъ. Въ самомъ началѣ первой своей статьи, посвященной вопросу о знаніи, "Диллетантизмъ въ наукъ", Герценъ дълаетъ характеристику своей эпохи; характеристика эта темъ более имееть цены, что въ ней въ каждой строке слышится ванъ вопль человека, который самъ лично пережилъ то, о чемъ онъ говоритъ. По мивнію Герцена, эпоха его есть рубежъ двухъ міровъ, оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящихъ людей. Старыя убъжденія, все прошедшее міросозерцаніе потрясены, но они дороги сердцу. Новыя убъжденія, многообъемлющія и великія, не усп'али еще принести илоды; первые листы, почки пророчать могучіе цветы, но этихъ цветовъ нетъ, и они чужды сердцу. Множество дюдей осталось безъ прошедшихъ убъжденій и безъ настоящихъ. Другіе механически спутали дело того и другого и погрузились въ печальные сумерки. Люди виѣшніе предаются, въ такомъ случав, ежедневной суеть: люди созерцательные-страдають и во что бы ни стало ищуть примиренія, потому что съ внутреннимъ раздоромъ, безъ красугольнаго камия правственному бытію, человекъ не можетъ жить.

Сдёлавши такое вступленіе, Герценъ приступаеть къ своему философскому анализу, причемъ всё статьи первой категоріи представляются однимъ общимъ трактатомъ, въ которомъ оне играютъ родь отдельныхъ главъ, и хотя въ каждой говорится о какомълибо отдёльномъ предметь, но все оне имеють тесную связь между собою и для лучшаго уразуменія, ихъ следуетъ читать виёсте, одна за другою, въ томъ порядкъ, въ какомъ онъ появлялись въ печати. Общій вопросъ, который Герценъ разработываеть въ этомъ философскомъ трактатъ, заключается въ анализъ отношеній современниковъ Герцена къ наукъ. Герценъ держится въ своемъ анализъ гегелевской діалектики, но въ то-же время онъ гегедіанецъ-фейербахисть, то-есть, принадлежить къ тому моменту гегелевской философіи, когда она, почти отрішившись отъ дуализма, пришла ко многимъ выводамъ, хотя и гадательнымъ, гипотетическимъ, но, все-таки, стоящимъ почти на реальной уже почвъ.

Гегеліанцы-дуалисты и мистики, миривпіе философію съ преданіями, представляли себі возможность существованія безусловной иден въ себі, прежде обнаруженія ея во внішній мірь; затімь—учили они—явился внішній мірь, вслідствіе стремленія безусловной идеи опреділиться вні себя. Такимь образомъ, внішній мірь явился—антитезомь безусловной иден; онь во всемь противоположень ві безусловная идея, обезотносительна, безгранична, разумна; во внішнемъ мірі, наобороть, все случайно, относительно, ограничено, перазумно.

Слёдуя философіи Фейербаха, Герценъ рёшительно отверть возможность существованія идеи, виё ея проявленія, предположивши, что такое раздёденіе, невозможное въ дъйствительности, имъетъ мъсто только въ человическомъ мышленіи. Диллетанты часто, предлагають въ различныхъ видахъ вопросъ: "какъ безвидное внутреннее превратилось въ видимое внъшнее, а что оно было прежде существованія вижшняго? " Но, по мижнію Герцена, наука потому не обязана на это отвъчать, что она и не говорила, что два момента, существующіе, какъ внутреннее и внішнее, можно разъять такъ, чтобы одинъ моментъ имълъ дъйствительность безъ другого. Въ абстранціи, разумвется, мы ножемъ отделить причину отъ действія, силу отъ проявленія, субстанцію отъ наружнаго. Но диллетантамъ не того хочется: имъ хочется освободить сущность, внутреннее такъ, чтобы можно было посмотръть на него; они хотять какого-то предметнаго существованія его, забывая, что предметное существованіе внутренняго есть именно внёшнее; внутреннее, не инфющее внъшняго, просто-безразличное ничто. Жизнь жива, какъ все органическое живое, только какъ пълостность. При разъяти на части, душа ея отлетаетъ и остаются мертвыя абстракціи съ запахомъ трупа. Если хотите, и здѣсь есть еще следы дуализма въ томъ отношении, что, все-таки, допускается вижинее и внутрениее не по отношению только къ субъекту, наблюдающему міръ, не какъ нъчто дъйствительно существующее въ вещахъ, тоесть, какъ будто вещи сами по себъ имъютъ наружную форму и внутреннее содержаніе, которое выражается въ этой вившней формв, но, во всякомъ случать, и въ томъ быль большой уже шагь впередъ, что внутреннее и вижшиее представляются здёсь связанными въ одно безраздъльное цълое. Такое представленіе возвышаеть внішній мірь въ глазахъ мыслителя, вопреки всемъ ученіямъ, основаннымъ на преданіи; вившній міръ съ этой точки зрівнія представляется уже не рядомъ относительныхъ, преходящихъ, неразумныхъ случайностей, служащихъ только для противопоставленія безусловной идев, въ которой будто кроется вся сущность бытія. Напротивъ того, связанный безраздёльно съ своимъ внутреннимъ содержаніемъ, онъ самъ въ себъ представляется исполненнымъ творческихъ силъ, обусловливающихъ бытіе, жизнь, прогресъ. Прямой выводъ изъ такого представленія --- апосеозъ природы и вънца ся творчества-человъка.

По мивнію Герцена, челов'явь не вив природы и только относительно противоположенъ ей, а не въ самомъ деле; еслибы природа действительно противоречила разуму, все матеріальное было-бы нел'єпо, не целесообразно. Мы привыкли человеческий мірь отделять каменною стеной отъ міра природы-это несправедливо; въ дъйствительности вообще нътъ никакихъ строго-проведенныхъ межей и граней, къ великой горести всёхъ систематиковъ; но въ этомъ случав, сверхъ того, упускають изъ виду, что человъкъ имъетъ свое міровое призваніе въ той-же самой природъ, доканчиваетъ ее возведеніемъ въ мысль; они противоположны такъ, какъ полюсы магнита, или, лучше, какъ цветокъ противоположенъ стеблю, какъ солома колосу. Все то, что неразвито, чего недостаетъ природь, то есть, то развивается въ человъкъ: на чемъ-же можетъ основаться действительная проти-

воположность ихъ? Это быль-бы бой неравный и невозможный. Природа не имъетъ силы надъ мыслію, а мысль есть сила человака; природа-какъ греческая статуя: вся внутренняя мощь ея, вся мысль ея-ея наружность; все, что она могла собою выразить, выразила, предоставляя человъку обнаружить то, чего она не могла; она относится къ нему, какъ необходимое предшествующее, какъ предположение (Voraussetzung); человъкъ относится къ ней, какъ необходимое, последующее, какъ заключение (Schluss). Жизнь природы-безпрерывное развитіе, развитіе отвлеченнаго простого, неполнаго, стихійнаго-въ конкретное, полное, сложное, развитие зародыша разчленениемъ всего заключающагося въ его понятін; и всегдашнее домогательство вести это развитіе до возможно-полнаго соотвътствія формы содержанію---это діалектика физическато міра. Всѣ стремленія и усилія природы завершаются челов'екомъ; къ нему они стремятся, въ него впадають они, какъ въ океанъ,

Съ этой точки эрвнія, гегелевская діалектика служила Герцену вовсе не для того, чтобы мирить филопософію съ преданіемъ и не для того, чтобы, созерцая дисгармонію различныхъ противорфчій въ жизни, находить ихъ принирение въ абстрактномъ мышлении. Для него недостаточно было снятія этихъ противоръчій въ ум'є философа; онъ в'єриль, что сама жизнь, независимо отъ мышленія, мирить противоречія и снимаеть ихъ въ своемъ прогресивномъ процессъ; въ этомъ онъ видълъ всю ея сущность, все то, что онъ называль целесообразностью природы. Это была его вера, тоть рай, въ который онъ уповаль, въ которомъ видёль выходъ изъ того мрака безъисходныхъ противорѣчій и рефлексій, въ которыхъ путались всѣ его современники, и который именно онъ и называлъ сумерками. Grübeln.

На этой въръ въ снятіе противоръчій процессомъ самой жизни и основывается весь философскій анализъ Герцена. Люди не понимаютъ науки, относятся къ ней ложно, не находять въ ней примиренія, какое она можеть дать, потому что они раздвоились, по мижнію Герцена: съ одной стороны, ему представляется масса диллетантовъ и романтиковъ, съ другойщехъ записныхъ спеціалистовъ и буддистовъ въ наукъ. По этимъ четыремъ категоріямъ расположены и статьи Герцена, причемъ каждой категоріи посвящается особенная статьи. Диллетанты и романтики не находятъ примиренія въ наукъ, проклинають ее; спеціалисты и буддисты, напротивъ того, находятъ ложное примиреніе въ ея буквъ, не проникая въ ея сущность, не внося ел въ жизнь.

Диллетанты смотрять въ телесконъ: отъ того видять только тё предметы, которые, по меньшей мёрё, далеки, какъ луна отъ земли, а земнаго и близкаго ничего не видять. Ученые смотрять въ микроскопъ и потому не могутъ видёть ничего большого; для того, чтобы быть ими замёченнымъ, надобно быть незамётнымъ человёческому глазу; для нихъ существуеть не кристальный ручей, а капля, наполненная гомециатическими гадами. Диллетантъ занимается всёмъ scibala, да еще, сверхъ того, тёмъ, чего знать нельзя, т.-е. мистициямомъ, магнитиямомъ, физіогномикой, гомеопатіей, гидропатіей и пр. Ученый, наоборотъ, посвящаеть себя одной главь, отдёльной вытви какой-пибудь спеціальной науки и, кромі ея, ничего не знаеть и знать не хочеть. Расплываясь въ моры частностей и детальныхъ крупицъ знанія, цеховые ученые въ то-же время валомъ отділены отъ жизни. Между тімъ, какъ массы дійствуютъ, проливаютъ кровь и потъ—ученые являются послі разсуждать о происшествій.

Изливши цълый потокъ ироніи на диллетантовъ и цеховыхъ спеціалистовъ, Герценъ, върный гегелевской методь, въ заключении приступаетъ къ вопросу о томъ, когда-же будеть конецъ этому раздвоенію н въ чемъ онъ будетъ заключаться. Главное, что дёлаетъ науку ученых трудною и запутанною, это метафизическія бредни и тьма-тьмущая спеціальностей, на изучение которыхъ посвящается цълая жизнь и сколастическій видъ которыхъ отталкиваетъ многихъ. Но въ истинной наукъ необходимо удетучивается то и другое, и остается стройный организмъ, разумный и оттого просто понятный. Всегда и вѣчно будетъ техническая часть отдельныхъ отраслей науки, которая очень справедливо останется въ рукахъ спеціалистовъ, но не въ ней дело. Наука въ высшемъ сиысле своемъ сделается доступна людямъ, и тогда только она можетъ потребовать голоса во всехъ делахъ жизни. Нътъ мысли, которую нельзя было-бы высказать просто и ясно, особенно въ ея діалектическомъ развити.

Въ статъв "Буддизиъ въ наукв" Герценъ изливаетъ свою иронію на ученыхъ формалистовъ, въ родѣ того доктора, вивств съ которымъ онъ вель философскія пренія въ Новгородів съ мистическою генеральшею, какъ мы видёли выше, съ другой стороны, на отвлеченныхъ философовъ примирителей въ родъ московскаго кружка Бълинскаго. Буддисты науки, по мивнію Герцена-это люди, которые, такъ или сякъ поднявшись въ сферу всеобщаго, изъ нея не выходять. Ихъ калачомъ не заманишь въ міръ дъйствительности и жизни. Кто имъ велить промёнять обширную храмину, въ которой делать нечего, а почетно, на нашу жизнь съ ея бушующими страстями, гдв надобно работать, а иногда погибнуть. Вина будлистовъ состоитъ въ томъ, что они не чувствують потребности этого выхода въ жизнь-дъйствительнаго осуществленія идеи. Они примиреніе науки принимаютъ за всяческое приниреніе; не за новодь къ действованію, а за совершенное, замкнутое удовлетвореніе. А тамъ хоть трава не рости за переплетомъ жниги. Они все снесутъ за пустоту всеобщности... Имъ удивительно, о чемъ люди хлопочутъ, когда все объяснено, сознано и человъчество достигло абсомотной формы бытія, что доказано ясно темъ, что современная философія есть абсолютная философія, а наука всегда является тождественною эпохъ. но какъ ен результатъ, то-есть, по совершени бытия. Для нихъ такое доказательство неопровержимо. Фактами ихъ не смутишь, они пренебрегаютъ ими. Спросите ихъ, отчего при этой абсолютной форм'в бытія въ Манчестерв и Бирмингамв работники мрутъ съ голоду и прокариливаются настолько, насколько нужно, чтобы они не потеряли силь? Они скажуть, это --- случайность.

Такимъ образомъ, по мивнію Герцена, вся односторонность подобнаго рода буддистовъ науки заключается въ томъ, что они ограничиваются примиреніемъ въ отвлеченной сферф мышленія, не внося его въ жизнь, тогда какъ истинный процесъ идеи есть въ то-же время процесъ жизни, а не одной мысли. Изъ такого положенія самъ собою слѣдуетъ выходъ изъ односторонности буддистовъ—это выходъ въ жизнь, въ дѣятельность.

Въ то время, какъ всё разобранныя нами статьи разсматриваютъ различныя отношенія людей къ наукъ, "Письма объ изучени природы" имъютъ дъло съ сацою наукой; здёсь Герценъ предаетъ такому-же фидософскому анализу различные методы знанія. Онъ видить здёсь такое-же раздвоеніе, ведущее къ односторонности и сбивающее ученыхъ и философовъ съ пути истиннаго знанія. Раздвоеніе это заключается, по мнѣнію Герцена, въ томъ непримиримомъ антагонизм'в, который нівсколько столівтій уже продолжается между естествовъдъніемъ и философіей, эмпириками и идеалистами. Философія съ своей стороны и естествознаніе съ своей, об'є заявляють странное притязаніе на обладаніе, если не всею истиной, то единственно истиннымъ путемъ къ ней. Одна прорицала тайны съ какой-то недосягаемой высоты, другое смиренно покорядось опыту и не шло далёе; другь къ другу онё питали ненависть, онъ выросли на взаимномъ недовъріи; иного предразсудковъ укоренилось съ той и съ другой стороны; столько горькихъ словъ нало, что, при всемъ желаніи, он'й не могуть примириться до сихъ поръ. Философія и естествовъдъніе отстращивають другь друга тёнями и привидёніями, наводяшими въ самомъ дълъ страхъ и уныніе. Давно-ли философія перестала ув'єрять, что она какими-то заклинаніями можеть вызвать сущность, отрёшенную отъ бытія? всеобщее, существующее безъ частнаго? безконечное, предшествующее конечному? и проч. Положительныя науки имъютъ свои маленькія привиденьица: это силы, отвлеченныя отъ действія, свойства, принятыя за самый предметь, и вообще разные кумиры, сотворенные изъ всякаго понятія, которое еще не понято: exempli gratia—жизненная сила, эфиръ, теплотворъ, электрическая матерія и проч. Все было сдълано, чтобы не понять другъ друга, и они вполит достигли этого. Выходъ изъ этой раздвоенности, по мненію Герцена, представляется естественно самъ собою: такъ какъ эмпирія и спекуляція несостоятельны именно вследствие своей разъединенности, то въ соединеніи ихъ и заключается истинный методъ знанія. Безъ эмпиріи ність науки, такъ какъ ність ея н въ одностороннемъ эмпиризмѣ. Опыть и умозрѣніедвъ необходиныя, истинныя, дъйствительныя степени одного и того-же знанія; спекуляція-больше ничего, какъ высшее развитие эмпирии; взятыя въ противоположности исключительно и отвлеченно, онъ также не приведуть къ дёлу, какъ анализъ безъ синтеза, или синтевъ бевъ анализа. Правильно развиваясь, экпирія непременно должна перейти въ спекуляцію, и только то умозрѣніе не будеть пустымъ идеализиомъ, которое основано на опыть. Опыть есть хронологически первое въ дёлё знанія, но онъ имбетъ свои предёлы, далже которыхъ онъ или сбивается съ дероги, или

переходить въ умозрѣніе. Это два магдебургскія полушарія, которыя ищуть другь друга и которыхъ, послѣ встрѣчи, лошадьми не разорвешь.

Вотъ иден, которыя Герценъ положиль въ основаніе своихъ "Писемъ", и для подтвержденія этихъ идей, онъ изложиль цёлую исторію философіи, начиная съ древней и кончая новъйшей. Всё эти идеи, равно какъ и тъ, которыя ны привели въ нашихъ извлеченіяхъ изъ другихъ философскихъ статей Герцена, конечно, покажутся читателямъ не новыми, давно уже вошедшими во всеобщее употребление и неподлежащими никакому спору. Но пусть вспомнять только читатели, какія душевныя муки испытываль Грановскій, приступая къ изучению исторіи и не зная, по какому пути ему идти: сделаться-ли цеховымъ спеціалистомъ, потонуть въ море мелочныхъ фактовъ, при страшномъ обиліи матеріаловъ, разработанныхъ нёмецкою наукой, или, наоборотъ, расплыться въ облакахъ общихъ отвлеченныхъ умозрѣній и сдѣлаться диллетантомъ науки. Вспомните, съ другой стороны, въ какой печальный буддизмъ ударился Бълинскій, вспомните, наконецъ, о томъ, что уже въ пятидесятыхъ годахъ Грановскій продолжаль пельять милые призраки и сътоваль о печальной положительности XIX въка, въ которой ему мерещилось паденіе нравственности, прекращение великихъ подвиговъ самоотвержения и пр. Читатели поймуть, что всё эти статьи Герцена въ свое время были откровеніями, которыя переворачивали все въ головъ кажнаго мало-мальски свъжаго человъка и освъщали ему новый путь-путь положительнаго знанія. Для отвлеченных в философовъ-примирителей, формалистовъ и диллетантовъ, останавливавшихся на поддорогъ со своими вопросами о началъ началь и сътованіями на науку, что она не можеть отвечать на подобные вопросы, каждая статья Герцена была тёмъ чувствительнейщимъ ударомъ, что онъ биль ихъ на основании того же самаго Гегеля, изъ котораго всё эти люди выводили свои одностороннія доктрины. Можно даже сказать, что гегелевскую діалектику Герценъ нарочно примѣнилъ съ возможною строгостью въ видѣ оружія, чтобы бить отвлеченныхъ мыслителей, романтиковъ и диллетантовъ ихъ же дюбимою системой. Особенное же значение въ развитіи русской мысли, безспорно, занимають "Письма объ изучении природы". Съ появлениемъ этихъ писемъ и начало развиваться въ нашемъ обществъ то стремление къ изучению естественныхъ наукъ, которое съ шестидесятыхъ годовъ сделалось, какъ извъстно, такою же всеобщею модой, какою было увлеченіе философіей въ сороковые годы.

XI.

Ко второй категоріи относятся сочиненія, им'єющія предметомъ область практической дізтельности человъка-мораль. Въ этихъ сочиненіяхъ еще болъе отражаются тъ муки сомнъній и рефлексій, которыя пережилъ Герценъ во время своего переходнаго состоянія. Въ началь перваго сочиненія этой категоріи, Герценъ делаетъ характеристику своей эпохи, подобную той, какую онъ сделаль въ начале своихъ сочиненій первой категоріи; только тамъ онъ говорить объ отношеніяхъ своихъ современниковъ къ наукъ, здёсь онъ имбетъ дёло съ отношениемъ ихъ къ нравственности, практической деятельности. Отличительная черта эпохи, по мижнію Герцена, есть Grübeln. Мы не хотимъ шага сдёлать, не выразумъвъ его, мы безпрестанно останавливаемся, какъ Гамлетъ, и думаемъ, думаемъ. Некогда дъйствовать; мы пережевываемъ безпрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся съ нами и съ другими--ищемъ оправданій, объясненій, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее насъ подверглось пытующему взгляду критики. Это бользнь промежуточных эпохъ. Встарь было не такъ: все отношенія, близкія и дальнія, семейныя и общественныя-были определены. Оттого много думать было нечего: стоидо сообразоваться съ положительнымъ закономъ, и совъсть удовлетворялась... На всёхъ перепутьяхъ жизни стояли тогда разныя неподвижныя, грозныя привиденія для указанія дороги, и дюди покорно шли по ихъ указанію... Ко всему привязывающійся, сварливый въкъ нашъ, шатая и раскачивая все, что попадалось подъ руку, добрадся, наконецъ, и до этихъ призраковъ, подточиль ихъ основаніе, сжегь огнемъ критики, и они удетучились, исчезли. Стало просторно; но просторъ наромъ не достается: люди увидъли, что вся отвътственность, надавшая выв ихъ, надаеть на нихъ; имъ самимъ пришлось смотреть за всемъ и занять мъста привиденій; упреки стали злее грызть совесть. Саблалось тоскливо и страшно, пришлось проводить сквозь горнило сознанія статью за статьей прежняго кодекса; а пока этого не сдълано-начались Grübeln. Ясное, какъ дважды два-четыре дътямъ, исполнилось мучительной трудности для современниковъ нашихъ. Въ событіяхъ жизни, въ наукъ, въ искусствъ насъ преследують неразрешимые вопросы, и, виесто того, чтобъ наслаждаться жизнію — иы мучаемся.

Подобныя идеи показывають ясно предметь анадиза сочиненій этой категоріи. Здёсь Герценъ им'єсть дёло съ несостоятельностью рутинной морали, основанной на преданіяхъ, предразсудкахъ, привычкахъ, укоренившихся въками, стоящей въ совершенномъ противоръчіи съ практической жизнью. Въ практической деятельности людей Герценъ видить тотъ же неизмънный процессъ діалектическаго развитія идей, какой онъ замъчаетъ повсюду. Люди дълають ошибки, промахи, впадають въ пороки и преступленія, или, напротивъ, совершаютъ подвиги добродътели и геройства, не вследствие какихъ-либо постороннихъ предписаній, которымъ они следують или не следують по своей воль, а по независящимъ отъ нихъ законамъ діалектическаго развитія жизни. Поэтому, виссто того, чтобы приступать къ анализу деятельности людей съ судейскою меркой, т.-е. съ целію обвинять или оправдывать, гораздо благоразунные изследовать причины паденій и несчастій людей, лежащія въ общихъ законахъ жизни.

Такъ Герценъ и делаетъ въ своей статъе "По поводу одной драмы". Статья эта замъчательна тъмъ, что она служить основой, такъ сказать, тэмой извъстнаго романа Герцена "Кто виноватъ?". Романъ

представляетъ болъе полное развитіе и художественное воспроизведение тъхъ самыхъ идей, которыя иы встрѣчаемъ въ этой статьё. Разница между статьей и романомъ заключается въ томъ, что въ романе на первомъ плане стоитъ женщина, Круциферская, которой пришлось выйти замужъ за одного, а потомъ полюбить другого, въ статье такую роль играетъ муж-

чина, Эмиль.

Послъ романа "Кто виноватъ?" наша литература неодновратно прибъгала къ подобному сюжету. Не говоря уже о романахъ Авдеева, которые всё построены на немъ, о Полинькъ Саксъ Дружинина, во многихъ романахъ Тургенева, Гончарова, Писемскаго этотъ сюжетъ повторяется въ томъ или другомъ видъ. При всемъ этомъ надо различать два рода отношеній къ подобному сюжету, не имъющія между собою ничего общаго. Такъ, напримъръ, въ одномъ изъ новъйшихъ и наиболъе выдающихся романовъ съ подобнымъ сюжетомъ, авторъ на первый планъ ставить эмансипацію женщины по отношенію къ свободѣ чувства; онъ заранъе предполагаетъ, что брачныя оковы, если только это не оковы взаимнаго чувства, безсмыслены, что женщина имбеть такія же права на свободу чувства, какъ и мужчина, что, поэтому, заставлять женщину насильно исполнять супружескія обязанности, подавлять свои чувства, быть верною изъподъ палки, ревновать ее, дико, негуманно и ни къ чему не ведетъ, а что лучше всего полюбовно разойтись и предоставить дёло развитію обстоятельствъ и свободному проявленію чувствъ. Совершенно иного рода представляется отношение къ тому же вопросу въ романъ "Кто виноватъ?", и смъщивать его съ вышеприведеннымъ современнымъ романомъ съ такимъ же сюжетомъ отнюдь не следуетъ. Самое заглавіе романа показываеть, что это вовсе не пропаганда сознанныхъ убъжденій, а вопросъ, рефлексія. Романъ вовсе не имъетъ целію показать вамъ, какъ нужно поступать въ случать, если ваша жена полюбитъ другого или сами вы ей измѣните: цѣль егоизследовать причины, вследствие которыхъ происходять подобныя явленія, и показать вамь, что какъ бы мораль ни относилась къ этипъ изивнамъ-и сколько бы мученій они ни причиняли людямъ, они неизбъжны въ томъ случат, если нарушается правильный ходъ діалектическаго развитія жизни. Такая постановка вопроса прямо зависить отъ того рефлективнаго переходнаго періода, въкоторый написанъ романъ. Въэтотъ неріодъ людей заниналь не столько вопросъ о томъ, какъ устроивать жизнь на какихъ-нибудь новыхъ основаніяхъ, сколько разочарованіе во всёхъ старыхъ основахъ, убійственная, раздагающая критика всёхъ противоречій, которыя впервые представлялись дюдямъ въ ихъ жизненныхъ отношеніяхъ.

Оъ йъли этой критики, какъ въ статъв, такъ и въ романъ Герценъ выставляетъ на сцену людей, изъ которыхъ ни къ одному вы не придеретесь: всё они одинаково добрые, гуманные, всё они любятъ другъ друга и искренно желаютъ осчастливить одинъ другато. А между тъмъ, въ концѣ-концовъ, всё они дълаютъ другъ друга несчастними. Кто-же изъ нихъ виновать въ этомъ? Пошлая мораль, конечно, не замедлить обвинить ихъ: зачѣмъ они отдались своимъ страстямъ, зачѣмъ они не вооружились сентенціей, что долгъ прежде всего и не подавили своихъ чувствъ!

Но развѣ они не дѣлали этого? развѣ они напрашивались на чувства? Мы видимъ, что въ обоихъ случаяхъ они только тогда сознали свои взаимныя отношенія, когда зло совершилось и воротить прежняго уже было нельзя, чувства не вычеркнешь изъ сердца однимъ взмахомъ пера, а подавление его, когда оно уже развилось, не могло загладить несчастія: для Круциферскаго и для Генріэты счастіє жизни заключалось въ безраздельной любви къ нимъ дорогихъ существъ; но разъ они сознали возможность со стороны этихъ существъ посторонней дюбви, жизнь ихъ отравлена во всякомъ случат, какъ бы дорогія имъ существа ни поступили. Такимъ образомъ, ни пошлая ходичая мораль, ни схоластическій формализмъ, видящій въ брак'в мертвую форму, осуществленіе идеи брака ради самого брака, чтобы ни скрывалось подъ этою формой, не въ состояни ничего подълать въ подобнаго реда преисшествіяхъ и оказываются одинаково несостоятельны въ своихъ приговорахъ. А нежду тыть, вина, произведшая катастрофу, существуеть, только искать ее следуеть не въ личностяхъ, не въ ихъ произволь, а въ тъхъ діалектическихъ противоръчіяхъ жизни, въ снятіи и примиреніи которыхъ только и заключается разумное и прочное счастіе людей. Дело въ томъ, что человеческая жизнь слагается изъ двухъ противоположныхъ элементовъ-частнаго и общественнаго. Общество и семья, по мижнію Герцена, это-тезъ и антитезъ и только при соединеніи этихъ элементовъ въ разумный синтезъ возможно счастіе, независимое ни отъ какихъ случайностей. Не отвергнуться влеченій сердца, не отречься отъ своей индивидуальности и всего частнаго, не предать семейство всеобщему, но раскрыть свою душу всему человъческому, страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности, работать столько-же для рода, сколько для себя-словомъ, развить эгоистическое сердце во всехскорбящее, обобщить его разумомъ и, въ свою очередь, оживить имъ разумъ... Человъкъ безъ сердца-какая-то безстрастная машина мышленія, не имфющая ни семьи, ни друга, ни родства; сердце составляетъ прекрасную и неотъемлемую основу духовнаго развитія, изъ него пробъгаетъ по жиламъ струя огня всесогревающаго и живительнаго; имъ живое сотрясается въ наслаждении, радо себъ. Поднимаясь въ сферу всеобщаго, страстность не утрачивается, но преображается, теряя свою дикую, судорожную сторону; предметь ея выше, святье; по мъръ расширенія интересовъ, ўменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею и ядовитая жгучесть страстей. Въ самомъ колебаніи между двумя мірами — личности и всеобщаго, есть непреодолимая предесть; человекъ чувствуетъ себя живою, сознательною связью этихъ міровъ, и теряясь, такъ сказать, въ светломъ эсире одного, онъ хранить себя и слезами, и восторгами, и всею страстностью другого. Человъческая жизнь-трудная статистическая задача: безчисленныя противоположности, иножество борющихся элементовъ ринуты въ одну точку и сняты ею. Природа, развиваясь, безпрестанно усложняется; проще всего камень, за то и жизнь его состоить въ одномъ мертвомъ, косномъ поков. Человекъ не можетъ отказаться безнаказанно оть участія во всёхъ обителяхъ, въ которыя онъ призванъ своимъ временемъ. Человъкъ развившися равно не можетъ ни исключительно жить семейною жизнію, ни отказаться отъ нея въ пользу всеобщихъ интересовъ...

Если при подобноть синтез'в семейной и общественной живни только и возможно истинное, разумное счастіе челов'яка, то, съ другой строны, отсутствіе этого совпаденія, исключительный перев'ясь одного элемента, д'ялаетъ жизнь одностороннею, исполненною всевозможных вколебаній, случайностей, построенною на отнедышащей гор'я. Въ этомъ и надо искать главную причину катастрофы, случившейся съ героя-

Закулисная вина несчастія этихъ людей, по мньнію Герцена-тёснота и неестественная для человёка жизнь праздности; преступное отчуждение отъ интересовъ всеобщихъ, преступный холодъ ко всему человъческому вив ихъ тъснаго круга, исключительное занятіе собою, взаимное обоготвореніе. Другихъ винъ не ищите, вотъ больное мъсто! Если-бы въ нихъ было развито живое религіозное чувство, если-бы человниность ихъ не ограничивалась первою ступенью, т.-е. семейною жизнью — катастрофы этой, конечно, не было-бы. Если-бы Эмиль, сверхъ своихъ дичныхъ привязанностей, имъль симпатию къ современности, любовь къ родине, къ искусству, къ науке, осталсяли бы онъ сложа руки, въ ничтожной праздности, истощая силы души на противодействие несчастной любви? Можетъ быть, эта любовь и посттила-бы его сердце, какъ мимолетная гостья, но она не стащилабы его въ преисподнюю, не нарушила-бы мира съ женой, потому что онъ быль-бы сильнее ея тою стороной бытія, которой онъ не развиль. Еще разъ, ихъ жизнь была бъдная жизнь въ сферъ частной любви, выхода не имъла и при неудачъ лопнула.

Подобное поставление необходимости совпадения семейнаго и общественнаго элемента для прочности счастія логически приводить Герцена къ женскому вопросу, только здесь вопросъ этоть является вовсе не по отношению въ свободъ чувства отъ брачныхъ узъ, а въ болъе общей, философской сферъ. Герцену представляется здесь то противоречие, что въ действительности иіръ всеобщихъ интересовъ, жизнь общественная, художественная, сціентифическая существуетъ только для мужчины; а у бъдной женщины ничего нътъ, кромъ ся семейной жизни. Она должна жить исключительно сердцемъ; ея міръ ограниченъ спальней и кухней... Но, по мижнію Герцена, на женщинъ лежатъ великія семейныя обязанности относительно мужа — тв-же самыя, которыя мужъ имветь къ ней, а званіе матери поднимаеть ее надъмужемъ, и тутъ-то женщина во всемъ ел торжествъ: женщина больше пать, чемъ нужчина отецъ; дело начальнаго воспитанія есть дёло общественное, дёло величайшей важности, а оно принадлежить матери. Можеть-ли это воспитание быть полезно, если жизнь женщины ограничить спальней и кухней? Почему римляне такъ уважали Корнелю, мать Гракховъ?.. Вовторыхъ, ея семейное призвание никоимъ образомъ не ившаеть ея общественному призванію. Міръ редигій, нскусства, всеобщаго — точно также раскрытъ женщинъ, какъ намъ, съ тою разницей, что она во все

вносить свою грацію, непреодолимую прелесть кротости и любви. Вся исторія Италіи не совершилась-ли подъ безпрерывнымъ вліяніємъ женщинъ? Не доказали-ли онѣ мощь геніальности своей на престолѣ, какъ Екатерина II, и на плахѣ, какъ Роланъ? Нужны-ли доказательства людямъ, которые своими глазами видѣли Сталь, Рашель, Беттину и теперь еще видятъ исполинскій талантъ геніальной женщины?

Такая постановка женскаго вопроса значительно отличается отъ постановки того-же вопроса въ наше время. Здѣсь вы не найдете того анализа экономическаго, гражданскаго и политическаго положенія женщины, который стоитъ въ настоящее время на первомъ планѣ. Вопросъ ставится здѣсь на философскую почву и не идетъдалѣетеоретическихъ доказательствъ равенства женщины съ мужчиной. Это, такъ сказать, азбука женскаго вопроса. Но и подобиая азбука была новизной для современниковъ Герцена, особенно если мы вспомнимъ, что говорили по поводу этого вопроса такіе передовые дѣятели, какъ Бѣлинскій и Грановскій.

Въ романъ Герцена "Кто виноватъ" основная идея, какъ я сказаль уже выше, та-же, что и въ статът "По поводу одной драмы", но въ романъ эта идея выражена гораздо поливе и всесторониве. Въ статъв всв дъйствующія лица драмы развиты въ одну сторонуисключительно семейнаго эдемента; въ романт Герценъ сдёлалъ попытку представить рядомъ две противоположности: Бельтовъ и Круциферскій-это тезъ и антитезъ. Въ то время, какъ Круциферскій весь ушелъ въ семейную жизнь, въ Бельтовъ вы видите, напротивъ того, полнейший выходъ изъ этой жизни въ сферу общественную, всеобщую. На типъ Бельтова многіе смотрѣли прежде, смотрятъ и теперь, какъ на типъ неудавшійся, невыдержанный. Вѣлинскій ставитъ на первый планъ эту невыдержанность. Въ первой части онъ видитъ въ Бельтовъ лишеннаго всякой практичности, испорченнаго богатствомъ барича, богатая, иногосторонняя натура котораго не имъла никакого корня, который скользиль по всему, не имъя ни нъ чему особеннаго призванія, не въ силахъ будучи ни въ чемъ сосредоточить своихъ силъ. "Но въ последней части романа -- говоритъ Велинскій -- Вельтовъ вдругъ является передъ нами какою-то высшею, геніальною натурой, для діятельности которой дійствительность не представляеть достойнаго поприща. Это уже совсемь не тоть человекь, съ которымъ мы такъ хорощо познакомились прежде; это уже совсѣмъ не Бельтовъ, а что-то въ роде Печорина. Разумется, прежній Бельтовъ быль гораздо лучше, какъ всякій челов'якъ, играющій свою собственную роль. Сходство съ Печоринымъ для него крайне невыгодно. Не понимаемъ, зачёмъ автору нужно было съ своей дороги сойти на чужую!.. "

Если сиотръть на романъ съ исключительно художественной стороны, то, дъйствительно, типъ Вельтова является невыдержаннымъ: инымъ во второй части, чъмъ въ первой, и въ первой сетественнъе, чъмъ въ послъдней. Но это зависить оттого, что самъ Герценъ во второй части является совсъщъ инымъ, чъмъ въ первой. Въ первой части онъ художникъ-правоописатель, онъ рисуетъ вамъ жизнь, окружающую

его, въ такомъ видъ, какъ она представлялась его глазамъ, и Бельтовъ является передъ вами однимъ изъ типовъ этой жизни, однимъ изъ техъ Бельтовыхъ, которымъ не было числа въ сороковые года. Во второй-же части изъ простого разсказчика Герценъ дѣлается философомъ. Ко всёмъ своимъ тицамъ онъ подходить съ отвлеченной точки зрвнія; изъ живыхъ людей онъ преображаеть ихъ въ философскія категоріи. Поэтому, и Круциферскій, и Бельтовъ являются совершенно иными. Подобное превращение является искусственнымъ и условнымъ въ той-же степени, какъ условны выраженія различныхъ реальныхъ величинъ алгебраическими буквами Х или Ү. Реальный Круциферскій самъ по себ'я представляется вовсе не исключительнымъ самцомъ, для котораго ничего не существуетъ, кромъ семьи: учительство вовсе не семейное, а чисто общественное дёло; Круциферскій-же является передъ нами хорошимъ учителемъ, увлеченнымъ своимъ призваніемъ. Бельтовъ, въ свою очередь, вовсе не человъкъ исключительно ушедшій въ сферу всеобщаго; онъ просто праздношатающійся хлышъ, н ужь если сравнивать, кто живъе, положительнъе и съ болже полезными результатами увлекается общественнымъ деломъ, то преимущество вы отдадите скоре Круциферскому, чёмъ Бельтову. Это была ошибка Герцена, что онъ для своихъ философскихъ категорій взяль изъ дъйствительности не вполнъ соотвътствуюшіе типы. Но если вы оставите въ сторон'в анализъ этихъ типовъ со стороны реальнаго соответствія ихъ выражаемымъ категоріямъ; если вы скажете: каковы бы ни были Бельтовъ и Круциферскій передъ нами, но, положимъ, что Бельтовъ служитъ намъ выраженіемъ человіка безъ семейнаго элемента, а Круциферскій — одицетвореніемъ самца (вёдь вы-же дёлаете иногда подобныя превращенія, говоря, наприм'єръ, что, положинъ, книга эта будетъ означать французскую ариію, другая книга — намецкую, вотъ эта песочница будетъ Седаномъ, чернильница-Парижемъ и пр.), въ такомъ случай, останется передъ вами философское развитие сюжета, которое и составляетъ сущность романа, его силу, его главное достоинство. Инъя въ виду эту философскую сторону романа, мы и заметили, что, совпадая со статьей "По поводу одной драмы", романъ гораздо шире развилъ ту-же философскую идею. Это философское развитие идеи, такъ сказать, спасло романъ, выручило всв его художественные недостатки, заставило забыть о нихъ. Читающая публика была глубоко потрясена новою постановкой семейной моради въ этомъ романъ. Можно сказать, что съ него начался тоть анализъ семейныхъ отношеній, который ны видинь во всёхь романахь и повёстяхъ, которые печатались въ пятидесятыхъ годахъ въ нашихъ журналахъ. Безъ сомнения, не малое вліяніе оказывала здёсь Жоржь-Зандъ, которая была любимъйшею писательницей людей 40-хъ годовъ.

Ва статьей "По поводу одной драмы", следуеть во второй категоріи цельій рядь мелкихь статей, связанныхь двумя общими заглавіями: "По разнымь поводамь" и "Новыя варіаців на старыя тэмы". Статьи эти не имёють такого систематическаго философскаго развитія, какть всё выше разобранныя; это рядь отдельныхъ мыслей, замёчаній, рефлексій, совершенно

справедливо названныхъ: "Капризы и раздумье". Вся общепринятая, рутинная мораль представляется вамъ въ этихъ "Капризахъ" наизнанку, и Герценъ разбиваетъ положение за положениемъ этой морали, показывая всю пропасть противорёчій, которыми полна жизнь и понятія людей. Люди, наприм'єрь, съ троянской войны толкують о нравственной независимости, о стремленіи къ ней, о ея достоинствахъ и прелестяхъ, между темъ, на деле оказываются несравненно более привязанными къ авторитетамъ, вебшнимъ веленіямъ, къ указаніямъ, нежели къ нравственной свободъ. И очень понятно, ночему это происходить: вижший авторитеть несравненно удобиве: человвкъ сдвлаль скверный поступокъ-его ножурили, наказали, и онъ какъ булто и не дълалъ своего поступка; онъ бросился на кольни, попросиль прощенія, его, можеть, и простять. Совсемъ другое дело, когда человекъ оставленъ на самого себя: его мучить унижение, что онъ отрекся отъ разума, что онъ сталъ ниже своего сознанія, ему предстоить трудъ примириться съ собою не слезливымъ раскаяніемъ, а мужественною победой надъ слабостью... Моралисты часто умилительно говорять о гибедьномъ порокъ властолюбія; властолюбіе, какъ н всв прочія страсти, доведенное до крайности, можеть быть сившнымъ, печальнымъ, вреднымъ, сиотря по кругу дъйствія; но властолюбіе само по себъ вытекаетъ изъ хорошаго источника-изъ сознанія своего дичнаго достоинства; основываясь на немъ, человъкъ такъ бодро, такъ смёло вступалъ вездё въ борьбу съ природой и развиль въ себе ту гордую нестнетаемость, которая насъ поражаетъ въ англичанахъ. Къ томуже, въ насколько устроенномъ общества властолюбіе, какъ дикая страсть, является такъ редко, что едвали стоить о немъ говорить. Совсемъ иное дело умалчиваемая поралистами любовь въ подвластности, къ авторитетамъ, основанная на самопрезрѣніи, на уничтоженій своего достоинства — она такъ обща, такъ эпидемически поражаеть цёлыя поколенія и целые народы, что о ней стоило-бы поговорить; но они молчатъ!

Что такое эгоизмъ? сознаніе личности, ея замкиутости, ея права? Или что-нибудь другое? Гдъ оканчивается эгонамъ и начинается любовь? Да и дъйствительно-ли этоизмъ и любовь противоположны; могутъли они быть другъ безъ друга? Могу-ли я любить кого-нибудь не для себя; могу-ли я любить, если это не поставляеть мить, именно мить удовольствія? Не естьли эгоизмъ одно и то-же съ индивидуализаціей, съ этимъ сосредоточиваниемъ и обособлениемъ, къ которому стремится все сущее, какъ къ последней цели? Всего меньше эгоняма въ камив, у зввря эгонямъ сверкаетъ въ глазахъ; онъ дикъ и исключителенъ у дикаго человъка; не сливается-ли онъ съ высшею гуманностью у образованнаго? Вы думаете, что морадисты разрѣшали эти вопросы, —нѣтъ! они отдѣлываются доблестнымъ негодованіемъ противъ всего эгоистическаго; они знають, что эгоизмъ значительный порокъ; имъ этого доводьно; ихъ безпорочная натура мечетъ громы на него и не унижается до его пониманія. Странные люди! вифсто того, чтобы именно на эгонэмѣ, на этомъ въ глаза бросающемся грунтъ всего человъчества, создать житейскую мудрость и разумныя отношенія людей, они стараются всіми силами уничтожить, замарать эгоизмъ, т.-е. срыть die feste Burg человъческаго достоинства и сделать изъ человъка-слезливаго, сентиментальнаго, пръснаго добряка, напрашивающагося на добровольное рабство... Что мы сказали объ эгонзмъ, то-же должно сказать о своеволіи. Мининъ началь своевольно великое дело возстанія противъ чужеземнаго порабощенія. Неужели его своеволіе похоже на своеволіе пьяницы, придирающагося къ прохожимъ? Я полагаю, что разумное признаніе своеволія есть высшее нравственное признание человъческаго достоинства, что до него и домогаются всв... Точно въ такомъ-же отношени находится и пристрастіе къ справедливости. Здівсь опять не можеть быть и речи о томъ, что всякое пристрастіе выше всякой справедливости-главное дёло въ томъ, во имя чего человекъ пристрастенъ... Справедливость въ человъкъ, увлеченномъ страстью, ничего не значить, довольно безразличное свойство лица, подтверждающаго, что днемъ-день, а ночьюночь. Въ основъ всехъ отвлеченныхъ, безличныхъ сужденій нашихъ (математическихъ, химическихъ, физическихъ) лежитъ справедливость, но въ основъ всего дичнаго, любви, дружбы лежить пристрастіе. Бракъ основанъ на пристрастномъ предпочтеніи одной женщины всемъ остальнымъ, одного мужчины всемъ прочимъ. Предпочтение, которое мать оказываетъ своему ребенку, вопіющее пристрастіе; мать, которая была-бы справедлива къ детямъ, могла-бы служить образцемъ сухаго и бездушнаго существа. Семейная любовь - такое-же пристрастіе, невыдерживающее критики, какъ любовь къ отечеству. Строго справедливъ космополитъ. Справедливъ человъкъ, ничего не любящій особенно. Такимъ образомъ, въ конце-концовъ и выходить, что добродетели иоралистовъ оказываются часто въ жизни гнусными пороками, а пороки, казнимые ими - высокими добродътелями.

Анализъ всёхъ подобныхъ противоречій, которыми преисполнена жизнь и умы людей, изъ-за которыхъ льются ежедневно, совершенно напрасно, горячая кровь и горькія слезы, привелъ Герцена последовательно къ злому, ироническому парадоксу: да, полно, въ здравомъ-ли умъ находится человъческій родъ? Если возможны частные случан умоном вшательства, то почему-же невозможно гуртовое сумасшествіе? Не справедливъе-ли поэтому, виъсто всякихъ моральныхъ, судейскихъ, оправдывающихъ, карающихъ взглядовъ, глядъть на жизнь людей и на ихъ дъла съ чисто-медицинской, патологической точки эркнія? Не есть-ди вся исторія человічества болізненный процессъ сумасшествія и медленное выздоровленіе отъ этой бользии? Такимъ образомъ, вынцомъ всехъ этихъ рефлективныхъ статей, явились "Записки доктора Крупова". Здъсь философская иронія Герцена разыгрывается до полнаго crescendo, встаеть во всей своей высотъ. Всеобъемлемость, смълость и глубина этой ироніи по истин'я поразительна. "Записки доктора Крупова", по всей справедливости, можно поставить рядомъ съ похвалой глупости Эразма Роттердамскаго и съ сатирами Свифта. Здъсь подъ одинъ ироническій парадоксъ подведены безсмысленная, пошлая, сонная жизнь утвенато русскаго городка и вся исторія

человичества. Замичательно при этомъ то, что при всей кажущейся безотрадности подобной ироніи, въ ней вы вовсе не слышите того мрачнаго, потерявшаго всякую надежду отчаннія, которое вы видите, напримъръ, въ сатиръ Ювенала; напротивъ того, отъ нея отзывается чёмъ-то свежимъ, полнымъ силъ и жизни, вызывающимъ и возбуждающимъ. Это не стоны разочарованной старости, а етчаянный прыжокъ молодости, удалой размахъ смѣлаго ума. Таково и дѣйствіе ея: она нисколько не наводить на васъ того разлагающаго унынія, какое, казалось-бы было свойственно подобной сатира: напротивъ того, она только рушить въ васъ всё тё общепринятые, рутинные предразсудки, узенькія понятьица, рубрики, параграфы, построенные наукой, и глубокомысленныя подведенія историками подъ высшія цёли прогреса различныхъ историческихъ глупостей. Она подчеркиваетъ, такъ сказать, всъ рефлективныя статьи Герцена, составляеть ихъ заключительный залиъ. И дъйствительно, усомнившись въ границахъ ума и безумія, предположивши, что оффиціальные, патентованные супасшедше, въ сущности, и не глупъе, и не поврежденные всыхы остальныхы, но только самобытнъе, сосредоточениъе, независимъе, оригинальнъе, даже, можно сказать, геніальнье, далье этого въ рефлексін пойти трудно, котя, впрочемъ, впосл'єдствін Герценъ сдълалъ еще одинъ шагъ впередъ. Въ "Запискахъ доктора Крупова" проведена та мысль, что исторія есть процессъ выздоровленія челов'вчества отъ его болъзни; такимъ образомъ, вамъ остается надежда, что когда-нибудь человъчество выйдетъ изъ своего сумасшествія. Впоследствін, подъ гнетомъ иныхъ обстоятельствъ, иныхъ думъ, во иногомъ разочарованный и обезкураженный, Герценъ написаль дополненіе въ "Записнамъ доктора Крупова", или, лучше сказать, возражение противъ нихъ. Здъсь онъ опровергаетъ надежду на выздоровленіе, какъ иллюзію, не имъющую никакихъ реальныхъ основаній. Онъ сивется здесь надъ саминъ докторонъ Круповынъ, подобно тому, какъ докторъ Круповъ прежде смѣялся надъ историками, видящими въ каждомъ историческомь факт'я разумную ціздесообразность. Но это уже не прежняя пронія, полная молодыхъ силъ, жизни, надеждъ. Въ ней слышится уже вамъ горечь обманутыхъ упованій, безотрадное отчаянье. (См. П. Зв. Aphorismata, но поводу исихической теоріи д-ра Крупова. Сочиненіе Тита Ливіафанскаго. Изд. 1858 г.).

Къ третьей категоріи относятся правоописательныя сочиненія Герцена, въ которыхъ анализъ общественной жизни, общественныхъ отношеній стоить на первомъ планъ.

первомъ планъ.

Преобладающій характеръ этого рода сочиненій—
простой, безъискусственный разсказъ, исполненный
мъстами злой ироніи, мъстами неподражаемаго остроумія и художественной пластичности. Это цёлый рядь
карактеристикъ пом'єщичьихъ гнтівдъ, типовъ, зам'ячательныхъ современниковъ, отдільныхъ эпизодовъ
современной и прошлой жизни, написанныхъ частію
по личнымъ воспоминаніямъ, частію по разсказамъ
очевидцевъ. Даже первая часть "Кто виноватъ",
этого художественно – философскаго произведенія,
представляетъ собою рядь характеристикъ и біогра-

фій изъ пом'вщичьей жизни, очевидно, не придуманныхъ, а взятыхъ ціликомъ изъ жизни. Въ прерванномъ разсказв "Долгъ прежде всего", Герценъ, безъ сомнівнія, представляетъ въ лиців Анатоля своего современника Печерина, кончившаго, какъ изв'єстно, переходомъ въ католичество и поступленіемъ въ пезунтскій орденъ. Пов'єсть "Сорока-воровка" написана по разсказу изв'єстнаго московскаго актера М. С. Щепкина. Дальвишимъ продолженіемъ подобнато рода очерковъ современной жизни представляются "Былое и думы", это въ одно и то-же время автобіо-

графія и мемуары. Главное содержание всёхъ этихъ характеристикъанализъ семейной жизни пом'ящиковъ въ связи съ отношеніями ихъ къ крестьянамъ. Здёсь вы находите мрачную картину того нравственнаго разложенія, какое крипостное право оказывало на господъ и крипостныхъ. "Сорока воровка" и "Поврежденный" въ особенности посвящены этому анализу крипостнаго права. Всв эти характеристики, вивств съ "Записками охотника" Тургенева, положили начало новой школь литературы. Это быль дальныйшій шагь впередъ послѣ гоголевской натуральной школы. Послѣдняя процестала всецело на почее чистаго искусства. Она изображала обыденную жизнь съ чисто-художественными целями, чтобы изобразить ее такъ, какъ она представляется въ дъйствительности, безъ всякихъ покушеній къ анализу печальныхъ явленій русской жизни, предоставляя читателямъ выводить самимъ какія угодно соображенія. Совершенно иное отношеніе къ изображаемой пошлости ны видинъ въ очеркахъ Герцена и Тургенева. Здёсь представляется намъ на первомъ планъ анализъ общественныхъ отношеній. Мрачныя стороны жизни являются не одними произвольными отклоненіями отдёльных личностей отъ личныхъ моральныхъ идеаловъ, существующихъ съ исноконъ въковъ, а следствиемъ ненормальныхъ общественныхъ отношеній. При этомъ у Тургенева, Григоровича, Писемскаго, Гончарова — подобный анализъ ограничивается крепостнымъ правомъ. У Герцена-же, кром'т анализа крипостного права, мы повсюду встречаемъ намеки на отсутствие общественной діятельности, иниціативы, всеобщее безправіе, дикость произвола, тупость бюрократіи, въ особенности провинціальной... Такимъ образомъ, въ то время, какъ философскія и моральныя сочиненія Герпена содъйствовали ускоренію уиственнаго переходнаго процесса своей эпохи, разрушая старые предразсудки, установившіеся по преданію кумиры и призраки, заслонявшіе людямъ світь истины, —въ это время художественные характеристики и очерки Герцена будили общественное сознаніе, направляя его отъ различныхъ романтическихъ идеаловъ, заоблачныхъ нареній, къ анализу окружающей общественной жизни.

XII.

Въ 1846 году умеръ отецъ Герцена. Сдёлавшись наслёдникомъ богатаго имущества и человёкомъ вполнё самостоятельнымъ, Герценъ тотчасъ-же началъ клопотать о заграничномъ паспортё и въ 1847 году вмёлъ уже возможность уёхать за границу. Онъ по-

сколько пробудеть за границей и что тамъ будеть дълать. По всей въроятности, когда онъ переъзжаль русскую границу, ему и въ голову не приходило, что онъ перевзжаеть ее не только въ первый, но и въ последній разъ, и что ему не придется воротиться болъе на родину. Мы отчасти познакомились съ міросозерданіемъ Гердена, и можемъ себъ представить, съ какими идеями оставиль онъ Россію. Это быль рьяный западникъ, для котораго въ европейской образованности представлялся не одинъ только рядъ роковыхъ, мучительныхъ вопросовъ, волновавшихъ его: онъ не сомнъвался, что эта-же образованность и разръщить эти вопросы, и, быть можеть, въ скоромъ будущемъ. Какъ гегеліанецъ, онъ върилъ, что какъ-бы ни казались непримиримы противортчім, встртчаемыя повсюду, жизнь, и не что другое, какъ сама жизнь, въ своемъ неизбъжномъ процессъ, не замедлитъ помирить и снять ихъ. Масса впечатленій европейской жизни не замедлила подъйствовать на живой, воспріничивый умъ, а солидная подкладка образованности и развитія мысли помогли осилить эту массу впечатлёній, уложить ее въ порядокъ, взвёсить и предать надлежащему анализу. По крайней мёрё, ны видимъ, что, по отъёздё за границу, горизонтъ зрёнія Герцена сразу расширился. Изъ философа-норалиста, рефлектировавшаго по Гегелю, изъ нравоописателя поивщичьяго и чиновнаго быта своей родины, онъ сразу становится на высоту европейскаго публициста и пишетъ въ "Современникъ" письма изъ Парижа (Письма изъ Avenue Marigny), подъ которыми, не задумавшись, подписался-бы любой изъ лучшихъ европейскихъ публицистовъ того времени.

Письма изъ Ávenue Marigny, нанечатанныя въ "Современникъ" 1847 года, составляютъ первыя четыре изъ четърнадцати политическихъ писемъ, изданныхъ впослъдствіе (въ 1855 году), подъ общимъ заглавіемъ: "Письма изъ Францій и Италіи". Письма эти составляютъ какъ-бы дневникъ всего видъннаго, слышаннаго, перечувствованнаго и пережитато въ теченіи бурнаго періода европейской жизни отъ 1847 г. по 1852 годъ. Здъсь вы найдете анализъ всего, что волновало въ то время Италію и Францію, разъясненіе иногихъ внутреннихъ пружинъ событій, духа партій, ихъ недостатковъ и промаховъ.

Но, что для насъ всего дороже въ этих письнахъ, такъ это то, что они могутъ служить для насъ отличнымъ матеріаломъ для анализа самого ихъ автора. Они показываютъ почти день за день, какъ измѣнялись взгляды Герцена подъ вліяніемъ хода событій и какъ онъ пережиль новый переломъ въ своей жизни, сдѣлавшій изъ юнаго мечтателя, полнаго надеждъ, мечтаній и энтузіазма, мрачнаго пессимиста, разочаровавщагося окончательно въ томъ самомъ свропейскомъ прогресѣ, который цри отъѣздѣ его за границу представлялся ему въ самомъ розовомъ цвѣтѣ.

Въ первыхъ письмахъ Герценъ налагаетъ свои впечатлънія и наблюденія, вынесенныя имъ изъ парижской жизни. Онъ раздъляетъ Парижъ на два разряда: на Парижъ въ предълахъ ценза и Парижъ, стоящій за цензомъ. Къ послъднему онъ относится съ глубокемъ сочувствіемъ. На балахъ блузинковъ онъ видить полное отсутствіе канкана; онь удивляется уваженію къ женщинь, трогательному вниманію къ дътинъ въ низшихъ классахъ населенія. Въ то-же время онъ поражентъ развратомъ буржуазін, господствовавшей во Франціи, и разложеніе нравовъ въ этомъ сословіи кажется ему тъмъ болье безнадежнымъ, чъмъ мельче, бездушиве и скаредные этотъ развратъ.

Герценъ является въ первыхъ писькахъ все еще во многомъ очарованнымъ Европой. Онъ не прочь иногда и поучить соотечественниковъ парижскими нравами: такъ, онъ подробно описываетъ, какъ парижане могутъ обходиться совейъ почти безъ прислуги, въ противоположность нашкиъ барамъ того времени, которые имъли по слугъ при каждомъ чубукъ. Онъ все еще надъется, что новыя экономическія начала побъдатъ буркуазію въ пользу народныхъ массъ, и что для буркуазію въ пользу народныхъ массъ, и что для буркуазію сморо наступитъ свой 1789 годъ, въ который парство еп падетъ, какъ нѣкогда пало во Франціи царство дворянства.

Но при всёхъ этихъ надеждахъ, послё перваго-же обаянія парижской жизни, когда Герценъ приглядёлся собственными глазами и близко къ положенію Франціи передъ 1848 годомъ, въ него тогда уже закрались первые зародыни разочарованія. Къ осени сдёлалось ему невыносямо тяжело въ Парижі, онъ не могъ сладить съ безобразнымъ нравственнымъ паденіемъ, которое его окружало; онъ чувствоваль, что въ душу его забирается то самоотверженіе, тотъ холодъ и то "все равно", которое вносятся утраченными надеждами, разрывомъ съ дійствительностью, преврізніемъ къ настоящему, и только иногда по негодованію чувствоваль онъ молодость силь и прежнее одушевленіе.

Онъ все еще върилъ, что Франція выздоровъетъ безъ радикальныхъ средствъ, небеснаго огня и морской воды; но ему не котълсь быть сидълкой у ем изголовья, пока она ломается въ припадкъ безумія, сдерживаемая гразными и циническими руками цирюльниковъ и больничныхъ сидълокъ. Ему захотълось вхать въ Италю, отдохнуть, захотълось моря, тепласи воздуха, пышной зелени и людей— не такъ истасканныхъ, не такъ выжившихъ изъ сердца. И онършился вхать въ половинъ октября.

Кром'в моря, теплаго воздуха и пышной зелени, танули Герцена въ Италію и тѣ политическія движенія, которыя начались тамъ, какъ предв'єстіє наступавшей всеевропейской революціи. Воть онъ и въ Италін, онъ ходитъ по римскимъ площадамъ, слѣдя за народными движеніями по поводу реформъ Пія ІХ и восхищается всѣмъ итальянскимъ, но болѣе всего самими итальянцами. Между тъмъ, событія разыгрываются съ страшною быстротой; изъ Франціи долетають вѣсть за вѣстью, одна другой поразительнѣе. Вихры поднимающейся бури увлекаеть нашего путника, и онъ не слышить земли поль собою.

Герцент, безъ сомивнія, въ развивающейся революціи видълъ начало воплощенія идеи въ жизнь, діалектическаго снятія противорфчій, конецъ царства буржузвів и начало новой эры исторіи человъчества. Но съ какою скоростью очаровали его событія, съ такоюже не замедлили они его и разочаровать. Онъ посиъшилъ изъ Италіи въ Париять, но не для того, чтобы

ликовать на праздникѣ возрожденія чоловѣчества, а для того, чтобы съ каждымъ днемъ хоронить надежпу за надеждой и мечту за мечтой. Какъ утонающій за соломенку, онъ все еще схватывался за надежду, что сколько-бы ни пришлось ждать парижскому народу, рано или поздно онъ отомстить за іюльскіе дни, за априльскую измину, за обмань въ ратуши, за ложное воззваніе Кавеньяка, что войну, начатую іюльскими днями, остановить невозможно, что вся Европа вовлечена въ нее. Но рядомъ съ этими надеждами на французскій народъ, вы читаете горькія свтованія на него. Герцена поражала странная судьба Франціи быть великой въ болезни и пошлой въ здоровье, быть великой одинъ день и ничтожной на другой день. Конечно, важно и то, что она обладаеть этою силой стряхивать время отъ времени съ себя грязь, что она не можеть долго оставаться въ поков, что ей необходимо новое, перемѣна, движеніе; но, тѣмъ не меньше, ея невыдержка поразительна. Французскій народъ внезапно возстаетъ; неотразимый и грозный, вступаетъ въ отчаяный бой съ общественнымъ зломъ; противостоять ему въ эти минуты невозможно, онъ беретъ Вастилью, онъ береть Тюльери, онъ отражаетъ целую арию-это надо переждать. По мъръ того, какъ онъ одолъваетъ врага, силы его слабъютъ, умъ тускиветъ, энергія исчезаетъ, онъ делается равнодушнымъ къ тому, за что продивалъ кровь... Народы, по интиню Герцена, поднявшие голову послё революцін 1830 года, уже громко негодовали на французскую реакцію; они отпрянули съ досадой отъ Франціи послі 24-го февраля, которое такъ много объщало и такъ ничего не сдълало. Еще подобный варывъ и такое паденіе, и вы увидите, европейскіе народы отвернутся отъ Франціи и позволять ей безилодно резаться сколько угодно, не удостоивая ен ни симпатіей, ни участіємъ. Это старая басня волка и мальчика, дёлавшаго напрасную тревогу; возмужалое человъчество не позволить себя безпрерывно надувать и станетъ равнодушно спотръть на страну, которая, какъ русскіе крестьяне до Годунова, инфетъ одинъ день свободы въ году, а триста шестьдесятъ четыре дня рабства.

Но подобныя сомненія были цвёточками сравнительно съ теми мрачными, какть ночь, мыслями, полными разочарованія и отчаянья, которыя проскальзывають въ послёднихь письмахъ и систематически развиваются въ трактате, извёстномъ подъ заглавіемъ "Съ того берега".

Сочиненіе это представляєть результать послѣдняго умственняго переворота, пережитаго Герценомъ въ эпоху отъ 1848 по 1851 годъ. Это зажлючительный выводъ изъ цѣлой жизни человѣка. До появленія этого сочиненія, Герценъ, въ различныя эпохи, представлядся намъ различно мыслящимъ человѣкомъ, но, съ появленіемъ "Съ того берега", міровоззрѣніе его установилось окончательно и всѣ дальнѣйшія его сочиненія суть только различныя варіація на одну тему, развитіе идей, которыя высказаны въ этой брошурѣ. Этотъ послѣдній переворотъ, опредѣлившій все дальнѣйшее міровоззрѣніе Герцена, не коснулся основныхъ философскихъ и моральныхъ вяглядовъ его. Въ 35 лѣть такіе вягляды рѣдко мѣняются; развитіе, по-

лученное въ молодости, начинаетъ уже тяготъть надъ человекомъ, и мозгъ не съ такою уже легкостью отделывается отъ привычныхъ идей, какъ въ 20, въ 25 лътъ. Такъ было и съ Герценовъ. Онъ представляется намъ въ своемъ сочинении "Съ того берега" съ философской точки зрѣнія тѣмъ-же полуметафизикомъ, полуреалистомъ, какимъ онъ былъ и прежде. Онъ не держится, правда, съ такою последовательностью гегелевской методы, какъ въ своихъ прежнихъ статьяхъ, и старается свои доказательства основывать на реальной почве, на фактахъ, наблюденіяхъ, аналогіяхъ жизни человъка съ жизнью растеній или животныхъ и пр.; но всё эти доказательства онъ употребляеть для подтвержденія идей, въ сущности вполнъ гипотетическихъ и не имъющихъ никакихъ точныхъ, не подлежащихъ критикъ основаній. Разнина между Герценомъ 1847 и 1851 года заключается только въ томъ, что, оставаясь на той-же метафизической почев, онъ перешель изъ одной крайности въ другую: подобно тому, какъ прежде онъ былъ метафизически и страстно очарованъ Европой, такъ теперь онъ впалъ въ столь-же метафизическое и страстное разочарование въ ней. Прежде онъ ожидалъ, что Европа не замедлить блистательно осуществить его любимыя идеи; теперь-же онъ началь отвергать всякую возможность дальнъйшаго прогреса въ Европъ. Словомъ, онъ возвратился къ тридцатымъ годамъ, къ своей первой юности, когда онъ знакомился съ различными московскими шеллингистами, читалъ Одоевскаго, по всей въроятности, и лично съ нимъ бесъдовалъ, увлекался сенсипонизмомъ, и въ головъ его носились иден о близкой кончина западной цивилизаціи. Эти иден всплыли теперь въ голов'в его съ новою силой, страстностью и аргументаціей.

Эта новая аргументація невольно подкупаеть васъ. Формы европейской гражданственности, по инвнію Герпена, ся цивилизація, ся добро и зло разочтены по другой сущности, развились изъ иныхъ понятій, сложились по инымъ потребностямъ. До некоторой степени формы эти, какъ все живое, были измѣняемы, но какъ все живое, изивняемы до некоторой степени; организмъ можетъ воспитываться, отклоняться отъ назначенія, прилаживаться къ вліяніямъ до тъхъ поръ, пока отклоненія не отрицають его особности, его индивидуальности, то, что составляеть его личность; какъ скоро организмъ встречаетъ такого рода вліянія, делается борьба, и организмъ побеждаеть или гибнетъ. Явленіе смерти въ томъ и состоитъ, что составныя части организма получають иную цёль; онъ не пропадають; пропадаеть личность, а онъ вступають въ рядъ совсемъ другихъ отношеній, явленій.

Подобнаго рода сравненія, на первый взглядъ, представляются остроумны и заманчивы. Но начните вдумываться въ нихъ, и вы увидите, что, съ одной стороны, здѣсь смѣшиваются понятія народнаго организма, формъ общественныхъ отношеній и цивилизаціи; съ другой стороны, въ основѣ лежитъ гипотеза весьма шаткан и до сихъ поръ недоказанная, именно та, что будто общественные организмы совершенно аналогичны съ животными и подчинены тѣмъ-же законамъ живни и смерти. Еслибы даже подобная гипоте-

за и была доказана, то и въ такопъ случав вы не имъли-бы права судить о томъ, разлагается европейская цивилизація, или ність, имін въ рукахъ такое неопределенное мерило, какъ отношение сложившихся исторически формъ жизни къ пережитымъ идеямъ. Какъ ни худы эти формы, но люди къ нимъ привыкли, обжились въ нихъ; новыя-же иден такъ недавно цоявились, что большинство даже и не знаетъ о ихъ существованіи: другіе такъ мало еще вникли въ нихъ, что скользять по нимъ поверхностно, весьма смутно сознавая ихъ. Мы не знасиъ поэтому, что будетъ, когда люди такъ-же глубоко сознають новыя иден и такъ-же привыкнутъ къ нимъ, какъ они знають и привыкли къ своимъ старымъ идеямъ. Если и тогда отжившія формы окажутся непоколебины, діло другое; тогда, дійствительно, можно будеть предвидьть, что европейская цивилизація дальше не пойдеть. Но до техъ поръ всякое суждение объ этомъ будетъ крайне опрометчиво и фантастично. Съ другой стороны, тутъ надо взять и то во вниманіе, что новыя иден, можетъ быть, не потому не находять немедленнаго осуществленія, что общественные организмы Европы дряхлы, а потому, что сами онъ, эти идеи, находятся еще въ каотическомъ броженін, въ снутныхъ, гипотетическихъ гаданіяхъ и требуютъ огронной выработки, развитости, зрёлости для того, чтобы инть возможность хоть какого-нибудь практическаго примъненія къ жизни. Истинный скептикъ, стоящій вполн'в на реальной почвів, непремънно долженъ принять все это въ соображение и воздержаться отъ преждевременныхъ гадательныхъ силлогизмовъ. Но идеалисты сороковыхъ годовъ поступали не такъ: хотя многіе изъ нихъ, въ томъ числѣ и Герденъ, возвысились до такой уже степени реализма, что отвергали целесообразность, смотреди на жизнь, какъ на процессъ развитія, опредъляющагося нецівлью, къ которой это развитие идетъ, а даннымъ моментомъ его въ совокупности со всёми предшествовавшими причинами, вызвавшими этотъ моментъ; но рядомъ съ этимъ они требовали немедленнаго осуществленія своихъ высокихъ идеаловъ: природа должна была сойти, въ угоду имъ, со своего историческаго пути причинъ и следствій и сейчась-же сделаться храномь для ихъ возвышенныхъ идеаловъ; если она этого не дълала, идеалисть тотчась-же выходиль изъ терифиія и разражался проклятіями или противъ природы, или противъ самихъ идеаловъ. Если въ головъ идеалиста разыгрывались великолепныя симфоніи, а на скрипке онъ могъ производить одни только нестройные звуки, ему и въ голову не приходило, что ему надо было научиться играть: виновата оказывалась скрипка и онъ разбивалъ ее въ дребезги.

Естественно, что вполив на почву фантазіи становится Герценъ, когда онъ переходить къ предсказаніямъ будущаго. По его мивнію, одно утвшеніе и остается, что будущія поколвнія выродятся еще больше, еще больше обмельють, обнищають умомъ и сердцемъ, имъ уже и нащи двла будуть недоступны и на писли будуть непонятны. Народы передъ паденёмъ тупвють, ихъ пониманіе помрачается, они выживають изъ ума, какъ эти Меровинги, зачинавшіеся въ развратв и кровосмъщеніяхъ и умиравшіе въ ка-

комъ-то чаду, ни разу не пришедшіе въ себя; какъ аристократія, выродившаяся до бользненныхъ кретиновъ, измедьчавшая въ росте, исказившаяся въ чертахъ... и мъщанская Европа изживетъ свою бъдную жизнь въ сумеркахъ тупоумія, въ вядыхъ чувствахъ, безъ убъжденій, безъ изящныхъ искусствъ, безъ нощной поэзіи. Слабыя, хилыя, глупыя покольнія протянутся какъ-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая ихъ покроетъ каменнымъ покрываломъ и предасть забвенію літописей. А тамъ? А тамъ настанетъ весна, молодая жизнь закипить на ихъ гробовой доскъ; варварство иладенчества, полное неустроенныхъ, но здоровыхъ силъ, заменитъ старческое варварство; дикая, свёжая мощь распахнется въ молодой груди новыхъ народовъ и начнется новый кругъ событій и третій томъ всеобщей исторіи. Основной тонъ его мы можемъ понять теперь. Онъ будетъ принадлежать соціальнымъ идеямъ. Соціализмъ разовьется во всехъ фазахъ своихъ до крайнихъ последствій, до нелепостей. Тогда снова вырвется изъ титанической груди революціоннаго меньшинства крикъ отрицанія, и снова начнется смертная борьба, въ которой соціализмъ займетъ мъсто нынъшняго консерватизма и будеть побъждень грядущею, неизвъстною намъ революціей... Въчная игра жизни, безжалостная смерть, неотразимая, какъ рожденіе, corsi e ricorsi исторіи, perpetuum mobile жизни.

Подобнаго рода гипотезы тамъ обольстительнее, что опровергнуть ихъ такъ-же невозможно, какъ и доказать. Происхождение ихъ совершенно аналогично съ образованіемъ всякаго рода суевірій. Случится, напримъръ, съ вами неудача въ пятницу; приходитъ опять пятница и, вследствіе ассоціаціи идей, вы ждете опять неудачи. Какъ докажу я вамъ, что предположение ваше вздоръ, что никакой неудачи не случится: въдь, положа руку на сердце, я и самъ не знаю, удачно-ли выйдеть ваше предпріятіе; я могу только сказать, что если оно не удастся, то, конечно, не интница будеть въ этомъ виновата, но отъ техъ или другихъ причинъ неудача все-таки возможна. Такъ и въ этомъ случай: пришлось человичеству испытать однажды колосальную неудачу: паль Римъ, погибла пелая пивилизація и сменилась варварствомъ. Подходить новая пятнеца, въ виде возникновенія новой пивилизаціи: люди и начинають думать, по чистой ассоціаціи идей, что и съ новою цивилизаціей случится то-же: и она должна пасть и сифинться новымъ варварствомъ. Вставши на почву реальнаго скептицизиа, вы можете только пожать плечами на такое предположение: законы соціальной жизни такъ мало еще изследованы, что не только-что гадать о томъ, какой путь избереть жизнь въ будущемъ, невозможно, трудно предсказать, что будеть завтра. Очень можеть быть, что и новая цивилизація погибнеть; погибнеть не потому, чтобы таковъ быль удёль всякой цивилизаціи, а по какимъ-нибудь своимъ, непредвидимымъ причинамъ, совершенно инымъ, не имъющимъ ничего общаго съ причинами паденія древней цивилизаціи, а ножеть быть, и не погибнеть; ножеть быть, самое понятіе о цивилизаціи сдёлается совершенно иныиъ, и та цивилизація, о наденін которой ны трепещенъ, нокажется нашимъ предкамъ дикимъ варварствомъ; будеть, можеть быть, и такое время, когда не только древняя, наша, но и цивилизація иногихъ будущихъ вековъ сольется въ глазахъ будущихъ потонковъ въ одно темное пятно доисторическихъ временъ. Все это одни пустыя гаданья, не инфющія тени положительности и совершенно равносильныя вопросу о томъ, можетъ-ли стукнуться о землю комета или не можетъ и что произойдеть въ такомъ случав. И въ наше время подобныя гаданія возможны, но мы не придаемъ имъ никакого значенія и допускаемъ ихъ, какъ игру ума послъ сытнаго объда для легкаго пищеваренія. Но люди сороковыхъ годовъ ставили подобные вопросы на первый планъ; они мучили ихъ и отравляли имъ жизнь. Герценъ серьезно спорилъ съ Грановскинъ о томъ, можеть-ли идея, въ своенъ развити въ общечеловъческой цивилизаціи, вдругь быть отодвинута назадъ геологическимъ переворотомъ, хвостомъ кометы, и начать развитіе съ начала, съ пласени на камняхъ. Герценъ доказывалъ, что это возможно; Грановскій и сдышать не хотель о такой возможности; по его мижню, еслибы и случилось конет' смести родъ челов' ческій съ лица зеили или раздробить землю на кусочки, идея продолжала-бы развиваться на другихъ планетахъ. Подобныя гаданія, въ свое время, были, если хотите, не безъ пользы, инфли свое значение: они составляли противовъсъ инымъ гипотезамъ, еще болъе нелъпымъ. Мысль наша пріучалась, посредствомъ нихъ, къ самостоятельности, независимости отъ косинческихъ представленій отцовъ и дідовъ. Но эта польза простиралась только до тёхъ предёловъ, до какихъ предположенія оставались предположеніями; но разъ они принимали догнатическій характеръ утвержденія, они становились столь-же вредны, какъ и тѣ преданія, въ противовъсъ которыхъ они шли. Герценъ могъ сколько угодно гадать о паденін европейской цивилизаціи, оставаясь на степени парадоксальной ироніи, подобной той, какую мы видёли въ "Запискахъ доктора Крупова". Но онъ серьезно проникся этою гипотезой, увтроваль въ нее, какъ въ нтчто положительное, началъ пріурочивать къ ней каждый фактъ европейской жизни — изъ публициста сдълался пророкомъфаталистомъ. Такое превращение, которое только и можно себъ объяснить вліянісиъ реакціи, не только отодвинуло Герцена назадъ отъ автора "Иисенъ о природъ" къ автору писемъ къ Витбергу и сценаріямъ, но еще дальше — къ квіэтизму кружка Станкевича. Въ самомъ деле, последовательный выводъ изъ гипотезы паденія цивилизаціи есть отрішеніе отъ всякихъ интересовъ жизни. Если вы разъ убъждены, что міръ, окружающій васъ, гність, рушится, пельчають интересы, люди, а высокія стремленія, сохранившіяся отъ прежнихъ лътъ, остаются безплодными среди всеобщаго разложенія, то, конечно, вамъ только и остается, что или бъжать изъ этого чада, или, сложивши руки, безстрастно наблюдать процесъ гніенія. Герценъ, по крайней иврѣ теоретически, къ такому результату и приходить. По его мнанію, сладуеть выйти вонь изъ душной комнаты, гдё оканчивается длинная, бурная жизнь, выйти на чистый воздухъ изъ тяжелой, заразительной атмосферы, на поле изъ больничной палаты. Много найдется мастеровъ бальзамировать покойника; еще больше червей, которые поживуть на счеть гнили. Слъдуеть оставить имъ трупъ не потому, что они хуже или лучше насъ, а нотому, что они этого хотять; а Герценъ не хочеть, потому что они въ этомъ живуть, а онъ страдаеть.

Такъ и мудрѣйшіе изъ римлянъ сошли совсѣмъ со сцены, и превосходно сдѣлали. Они разсѣялись по берегамъ Средиземнаго моря, пропали для другихъ въ безмолвномъ величіи скорби, но не пропали для себя, и черезъ пятнадцать столѣтій мы должны сознаться, что собственно они были побѣдители—они, единственные, свободные и мощные представители независимой личности человѣка, его достоинства. Они были люди, ихъ нельзя было считать поголовно, они не принадлежали къ стаду и не хотѣли лгать, а не имѣя съ симъ ничего общаго, отошли и пр.

Подобнаго рода квіэтнямъ, въ сущности, ничѣмъ не отличается отъ квіэтняма тёхъ московскихъ фелософовъ, противъ которыхъ Герценъ нёкогда возсталъ съ такою энергіей. Въ самомъ дёлѣ, не все-ли равно, во имя чего складывать на груди руки: во имя-ли примиренія противорѣчій жизни въ отвлеченномъ мышленіи, или во имя сознанія непримиримости ихъ вслёдствіе гнилости окружающаго насъ міра?

XIII.

Впрочемъ, следуетъ заметить, что подобнаго рода квіэтизмъ оставался у Герцена всегда только въ теорін; это быль слишкомь живой, увлекающійся и энергическій человекъ, чтобы оставаться, сложа руки, въ безстрастномъ созерцании и холодныхъ резонерствахъ тамъ, где жизнь слишкомъ громко заявляла себя: онъ откладываль, въ такомъ случав, въ сторону свои теоріи о мудрайшихъ римлянахъ съ ихъ безмоленымъ величіемъ скорби и вижшивался въ толиу, проникаясь ея реальными, насущными интересами, хотя самъ онъ, высоко ценя свои рефлексіи, смотрелъ, какъ на слабость характера, на такія жизненныя отступленія отъ своихъ теорій. Впрочемъ, и въ теоріи онъ не могъ долго оставаться въ торричеліевой пустоть мудрышихъ римлянъ. Это быль только первый ударъ реакціи, отъ котораго въ глазахъ его все потемнило. Но вскори потомы оны очнулся оты этого удара, горизонть его мысли осветился новыми верованіями и упованіями. Не найдя осуществленія своихъ идеаловъ въ Европъ, онъ началъ ожидать этого отъ Россіи. Въ Россіи онъ началь видеть техъ варваровъ, которые идуть на смену падающей цивилизаціи. Здесь онять, по всей в'вроятности, вспомнились ему тридцатые годы, Одоевскій, споры съ славянофилами... Но было-бы совершенно неосновательно въ подобныхъ теоріяхъ Герцена видіть его полную солидарность съ сдавянофилами и думать, что Герценъ после 1848 г. сдёлался вполн'в приверженцемъ этого ученія. Герценъ сходился съ славянофилами только въ томъ, что Европа гність и будущее принадлежить Россіи, но за этими общими основаніями Герценъ и славянофилы расходились совершенно въдвѣ противоположныя стороны: славянофилы опирались, въ доказательствахъ своей теоріи, на сравненіи исторически выработанныхъ формъ общественнаго быта на Западъ и у насъ. Они находили, что формы до-петровской Россіи гораздо лучше формъ западной жизни. Поэтому, они и убъждали перестать пересаживать съ Запада на нашу почву вредныя формы, а обратиться къ началамъ до-петровской жизни. При этомъ они не ограничились отрицаніемъ формъ западной жизни; они шли далфе: въ саныхъ философскихъ и соціальныхъ ученіяхъ Запада, во всёхъ послёднихъ выводахъ европейской мысли они не находили ничего творческаго, благотворнаго, ничего не видели, какъ только старческое отрицаніе всёхъ старыхъ формъ и върованій западной жизни, ведущее къ разочарованію, душевной пустоть и отсутствію всякой энергіи въ жизни. На этомъ основаніи они отвергали и всѣ результаты западной мысли; по ихъ мненію, всякое увлечение какимъ-нибудь западнымъ учениемъ есть уже зараза, такое-же растленіе, какъ принятіе въ зпоровый организмъ матерін гніющаго трупа. Такимъ образомъ, не только формы общественной жизни, но и самал мысль Россіи должна быть совершенно самостоятельна и, опять - таки, основана на началахъ чисто-народной стихін до-петровской Руси. Такимъ образомъ, славянофилы проповъдывали вовсе не преемственность цивилизаціи, а созданіе для Россіи новой цивилизаціи, нисколько не похожей на европейскую: та не удалась, растивнается, зачёмъ что-нибудь перенимать - давайте строить снова, по своему, пользуясь европейскимъ опытомъ только отрицательно, т.-е. избъгая ошибокъ, которыя приведи Европу къ гибели. Герценъ-же стоялъ на точкъ зрънія, именно, преемственности; славянофилы смотрели назадъ, а онъ впередъ; они требовали возвращения къ старынъ формамъ русской жизни, Герценъ-же отрицалъ ихъ, и не только-что за ихъ негодностью, отрицалъ самое ихъ существованіе, такъ что, по его мижнію, возвращаться-то совершенно не къ чему. Россія, но его мивнію, является совсёмъ особеннымъ міромъ, съ своимъ естественнымъ бытомъ, съ своимъ физіологическимъ характеромъ-жне европейскимъ, не азіатскимъ, а славянскимъ. Она участвуетъ въ судьбахъ Европы, не имън ен историческихъ преданій, свободная отъ ен обязательствъ прошедшему. Какое счастіе, сказалъ Бентамъ Александру І-му, когда онъ былъ въ Лондонъ послъ наполеоновскихъ войнъ, что русскому законодателю не приходится бороться на каждомъ шагу съ римскимъ правомъ; къ этому следуетъ прибавить: ни съ феодализмомъ, ни съ католицизмомъ, ни съ протестантизиомъ. Коричая книга и уложение не захватывають всёхъ проявленій жизни, не заправляють всякимъ действіемъ, остальныя учрежденія введены насиліемъ и держатся насиліемъ. У насъ нигдѣ нѣтъ этихъ наглухо заколоченныхъ предразсудковъ, которые у западнаго человека какъ параличемъ отбивають подовину органовь. Въ основъ народной жизни лежить сельская община — съ разделеніемъ полей, съ коммунистическимъ владениемъ землей, съ выборнымъ управленіемъ, съ правомърностью каждаго работника (тягла). Все это находится въ состояни подавленномъ, искаженномъ, но все это живо и пережило худшую эпоху. Въ то время, какъ славянофилы ничего не видъли въ результатахъ европейской мысли, кром'в признака раставнія западной цивилизаціи, Герценъ, наоборотъ, въ нихъ-то, именно, и виделъ все

будущее. По его мибнію, Европа не оттого гність, что пришла къ подобнымъ результатамъ, а потому, что безсильна воплотить ихъ въ жизнь, что Россіи очень легко исполнить, несвизанной ничёмъ съ прошедшимъ. Такикъ образомъ, съ точки зрѣнія Герцена, все не счастіе Европы заключается, именно, въ томъ самомъ упорномъ консерватизив всѣхъ европейскихъ партій относительно сохраненія во что-бы то ни стало старыхъ формъ жизни, за который стоять славянофилы, который они желали-бы утвердить и въ Россіи.

Герценъ, впрочемъ, самъ неръдко входилъ въ опроверженія славянофильскихъ теорій. По его митию, ошибка славянъ состоить въ томъ, что имъ кажется, что Россія имъла когда-то свойственное ей развитіе, затемненное разными событіями и, наконецъ, петербургскимъ періодомъ. Россія никогда не имъла этого развитія и не могла имъть. То, что приходить теперь къ сознанію у насъ, то, что начинаетъ мерцать въ мысли, въ предчувствии, то, что существовало безсознательно въ крестьянской избъ и на полъ-то теперь только всходить на нажитяхъ исторіи, утучненныхъ кровью, слевами и потомъ двадцати поколеній. Эти основы нашего народнаго быта — не воспоминанія, а живыя стихін, существующія не въ летописяхъ, а въ настоящемъ; но онъ только уцълъли подъ труднымъ историческимъ выработываниемъ государственнаго существа и подъ государственнымъ гнетомъ потомъ сохранились, но не развились. Сомнительно, нашлись-ли бы внутреннія силы для ихъ развитія безъ петровскаго періода, европейскаго образованія. Непосредственныхъ основъ было недостаточно. Въ Индіи до сихъ поръ и споконъ въка существуетъ сельская община, очень сходная съ нашею и основанная на раздълъ полей; однако, индусы съ нею недалеко ушли. Одна мощная мысль Запада, къ которой примыкаетъ вся длинная исторія его, въ состояній оплодотворить зародыши, дремлющіе въпатріархальномъбыту славянскомъ. Артель и сельская община, разделъ прибытка и раздёлъ полей, мірская сходка и соединеніе сель въ волости, управляющіяся сами собой — все это краеугольные камни, но все-же камни... и безъ западной иысли нашъ будущій соборъ остался-бы при одномъ фундаментъ.

Большая часть сочиненій Герцена, следующих за брошурой "Съ того берега", представляетъ развитіе этихъ основныхъ идей, на которыхъ Герценъ остановился, какъ мы сказали выше, послѣ 1848 года. Таковы "Старый міръ и Россія", "Le developpement des idées révolutionnaires en Russie", "Peuple Russe et le socialilsme", "Концы и начала" и пр. При этомъ надо отдать справедливость всёмъ этимъ сочиненіямъ, что хотя-бы вы и были несогласны съ основными идеями ихъ, хотя-бы вы ихъ считали вполит гадательными и метафизическими, тёмъ не менёе, сочиненія эти имъютъ и свои неотъемлемыя достоинства. Анализъ европейской жизни который Герценъ дёлаетъ для подтвержденія своихъ гадательныхъ выводовъ, самъ по себъ, во всякомъ случат, поражаетъ васъ своею мъткостью, проницательностью и глубиной, котя-бы вы и не соглашались съ выводами этого анализа. Это чисто прудоновскій анализъ, основанный на томъ-же самонъ методъ раскрытія противорьчій. Онъ имъетъ

изначение, совершение аналогичное съ анализомъ Прудона: сила того и другого чисто отрицательная. Какъ Прудонъ, такъ и Герценъ до техъ поръ только на своей почвъ, пока они, раскрывая противоръчія во всёхъ существующихъ формахъ жизни, убёждаютъ васъ въ ихъ несостоятельности. Положительная - же сторона анализа, выводы изъ него, у обоихъ одинаково слабы, метафизичны, гадательны. Вставши на такую точку эрвнія на сочиненія Герцена, вы можете согласиться во многомъ съ Герценомъ, но, виъсто того, чтобы выводить изъ его анализа заключение о паденіи всей цивилизаціи, полномъ разложеніи европейскаго міра, вамъ слёдуеть остановиться на томъ предположенін, что современная исторія Европы представляетъ такое-же разложение формъ старой жизни, какое было въ XV въкъ въ той-же Европъ, не предрекая преждевременно, что выйдеть изъ этого разложенія. Впрочемъ, и въ этомъ отношении Герценъ предупреждаетъ васъ. Онъ не всегда въ своихъ гаданіяхъ о кончинъ европейскаго міра держится того историческаго тона, какой преобладаеть въ брошуръ "Съ того берега". Иногда на него находили минуты просветленія и изъ утвердительнаго тона онъ переходилъ въ предположительный, допускаль частицу если. Въ одномъ изъ своихъ писемъ, онъ самъ называетъ взглядъ брошуры "Съ того берега" болъзненнымъ, страстнымъ,

Подобная болвзненность объясняется вполив нечальнымъ положеніемъ, въ которомъ находился Герценъ, начиная съ 1848 года и до 1856 г. Это положеніе сдълалось еще печальнъе, когда онъ, потерявши въ одинъ годъ мать, сына, наконецъ, жену—поселился, въ 1852 году, въ Лондонъ на долгое житье.

Онъ былъ униженъ, по его собственнымъ словамъ. Самолюбіе его было оскорблено, онъ сердился на самого себя. Совъсть угрывала за святотатственную порчу горести, за годъ суеты, и онъ чувствовалъ страшную, невыносимую усталь... Ему была нужна тогда грудь друга, которая приняла-бы безъ суда и осуждены его исповъдъ, была-бы несчастна его несчастиетъ; но кругомъ стлалась больше и больше пустыня, никого близкато... ни одного человъка... Онъ не думалъ прожить въ Лондонъ дольше мъсяца, но, мало-по-малу сталъ разглядывать, что ему ръшительно некуда ъхать и незачъмъ. Такого отпиельнуества онъ нигдъ не могъ найти, какъ въ Лондонъ...

Вотъ онъ и зажилъ въ Лондонъ, въ печальномъ уединеніи, чужой и ненужный никому среди лондонской суеты, отрезанный непроходимою стеной отъ родины. Съ ужасовъ гляделъ онъ на усиливавшуюся реакцію въ Европъ, на дошедшую до геркулесовыхъ столбовъ реакцію въ Россіи. Началась крымская война. Повсюду кругомъ начали раздаваться воинственные крики. И между тъмъ, какъ европейские публицисты наперерывъ другъ передъ другомъ проповедывали крестовый походъ противъ новыхъ варваровъ, грозящихъ завоевать Европу, Герценъ какъ будто нарочно, въ разревъ господствующему настроенію европейской публицистики, въ это-то самое время началь печатать въ "The English Republic" свои письма къ редактору этого обозрѣнія В. Линтону о преимуществахъ Россіи передъ Европой, о ея призваніи смънить на пути цивилизаціи дряживющій міръ ("Старый міръ и Россія"). Брань и насмешки посыпались тогда со всёхъ сторонъ на Герцена отъ немецкихъ и англійскихъ публицистовъ. Одни говорили, что въ этихъ письмахъ Герценъ ставить въ образецъ и идеалъ—крепостное состояніе; другіе обвиняли Герцена въ предположеніи завоевать не только Константинополь, но и Вену; третьи считали ложью и выдумкой все сказанное Герценомъ о сельской общинъ. "Онъ дошелъ до того—восклицаетъ одинъ изъ публицистовъ—что даже въ устройстве украинскихъ казаковъ старается показать начала демократическіи, почти республиканскія".

Такъ танулась жизнь Герцена до 1855 года, когда рядъ въстей, внезапно нахлынувшихъ изъ Россіи, одна другой свътите и радостите, возбудили въ Герценъ новый энтузіазиъ, удесятерили, какъ онъ виражается, надежды и силы. Здъсь начинается новый и послъдній періодъ дъятельности Герцена. Подробное разсмотръніе этого періода не входитъ въ наше обозрѣніе, имъющее цѣлью лишь очертить предълы развитія мысли въ передовыхъ кружкахъ нашего общества 40-хъ годовъ и обозначить три грани этого развитія. Мы ограничинся только нѣсколькими замѣчаніями касательно общаго характера убѣжденій Герцена въ этотъ послѣдній періодъ его жизни.

Этотъ періодъ ознаменовался, какъ извѣстно, изданіемъ "Колокола". Изданіе "Колокола" навлекло на Герцена всего бодѣе обвиненій въ безплодномъ агвтаторствѣ, въ растлѣнія цѣлаго поколѣнія. О немъ составилось понятіе, какъ о революціонерѣ, который ин о чемъ болѣе не мечтаетъ, какъ о разрушеніи всякаго порядка, семьи, собственности, о пролитіи морей крови и пр...

Я не буду входить въ разбирательство причинъ составленія о Герценѣ подобнаго мнѣнія, предоставляя это дѣдо исторіи. Я ограничиваюсь только указаніемъ читателямъ на то бьющее въ глаза противорѣчіе, что именю въ то время, когда о Герценѣ составлялось подобное мнѣніе, онъ высказываль самым умѣреныя убъжденія. Для примѣра достаточно представить отношеніе Герцена къ тремъ слѣдующимъ другъ за другомъ фазамъ броженія 60-хъ годовъ.

Въ первый періодъ броженія на главномъ планъ стояль крестьянскій вопрось. Общество было исполнено смутныхъ тревогъ. Люди самыхъ противополжныхъ партій ждали, что этотъ вопросъ разрёшится потрясеніемъ всего общественнаго строя. Между тімь, Герценъ въ это время съ свътлымъ энтузіазмомъ привътствовалъ въ своемъ "Колоколъ" начинанія правительства. Онъ доказываль, что разрешение этого вопроса правильно, т.-е. съ надёломъ землей, не только не можеть повести къ революціи, а еще болье привяжеть народь къ правительству. Со всёхъ сторонъ сыпались къ нему письма, обвинявшія его въ умъренности. Отъ него ждали какой-нибудь революціонной программы. Но Герценъ отв'вчалъ на вс'в эти обвиненія и ожиданія, что увид'явши, что на знамени новаго движенія въ Россіи стоить не конституція, не республика, не парламентъ, не муниципальная свобода, не война съ Австріей, не завоеваніе Турціи, а освобождение крестьянъ съ землей-онъ бросилъ все

и придѣпился къ этому жизненному вопросу для Россій, что въ этомъ причина всего успѣха "Колокола". Если же среди распрей, споровъ и общественной борьбы изъ-за крестьянскаго вопроса, "Колоколъ" сталъ бы явонить всемірной республикѣ о солидарности народовъ, то читатели "Колокола" не замедлили бы сказать: что вы намъ толкуете о всемірной республикѣ, которой нигдѣ нѣтъ, о братствѣ народовъ, которые вездѣ рѣжутся; мы все это читали въ Руссо и Вольтерѣ, въ исторіи первой революціи и газетахъ 1848 года. У насъ теперь забота растолковать, что такое усадебиая земля и сколько десятинъ пашни дать крестьянину—ну, гдѣ же читать ваши декламаціи?

Послѣ того началась эпоха прокламацій и красныхъ призраковъ. Герценъ не замедлиль осибять составитей прокламацій. Онъ сравниль ихъ съ дътьми. которыхъ восхищаетъ терроръ революцій, какъ дітей-терроръ сказокъ съ своими чародении и чудовищами. При этомъ онъ категорически объявиль, что онъ давно разлюбилъ объ чаши, полныя крови, статскую и военную, и равно не хочетъ пить изъ черепа боевыхъ враговъ, ни видъть голову герцогини Ламбаль на пикт, что какая бы кровь ни текла, гдт-нибудь текутъ слевы, что французскій терроръ всего менъе возноженъ у насъ, такъ-какъ у насъ нътъ ни новыхъ догиатовъ, ни кровавыхъ катехизисовъ для оглашенія; нашъ перевороть должень начаться съ сознательнаго возвращения къ народному благу, къ началамъ, признаннымъ народнымъ смысломъ и вѣковынь обычаемь. Закрвиляя право каждаго на землю, т.-е. объявляя землю тёмъ, чёмъ она есть-неотъемлемою стихией, ны только подтверждаемъ и обобщаемъ народное понятіе объ отношеніи человѣка къ земль. Отрекаясь отъ формъ, чуждыхъ народу, втьсненныхъ ему полтора въка назадъ, им прододжаемъ прерванное и отклоненное развитіе, вводя въ него новую силу мысли, науки. Наконецъ, пока фактически земля подъ нимъ, народъ не подымется. Для народа подняться трудно; это не рискъ своимъ лицомъ, не каторга, не палачи, а полное разореніе семьи, невспаханное поле, голодныя дети, саранча постоя...

Совершенно на такихъ же основанияхъ возсталъ впоследстви Герценъ и противъ крайнихъ западныхъ коммунистовъ въ своихъ "Письмахъ къ старому товарищу", напечатанныхъ въ сборник посмертныхъ статей А. И. Герцена. По митнію Герцена, если понятія государства, суда, сильны и крѣпки, то еще кржиче укоренены понятія о семьж, о собственности, о наслъдствъ. Отрицание собственности само по себъ безсиыслица; видоизивнение ея, въ родв перехода изъ личной въ коллективную, неясно и неопределенно. Крестьянину на Западъ такъ же необходимо привилась его любовь къ своей земль, какъ въ Россіи легко понимается крестьянствомъ общинное владение. Собственность, и особенно поземельная, для западнаго человёка представлялась освобожденіемъ, его самобытностью, его достоинствомъ и величайшимъ гражданскимъ значеніемъ. Можеть быть, онъ убъдится въ невыгодъ безпрестанно, крошащихся и дробныхъ участновъ и въ выгодъ свободнаго хозяйства, общинныхъ запашекъ полей; но какъ же его "безъ пристрастія" уломать, чтобъ онъ спервоначала отказался

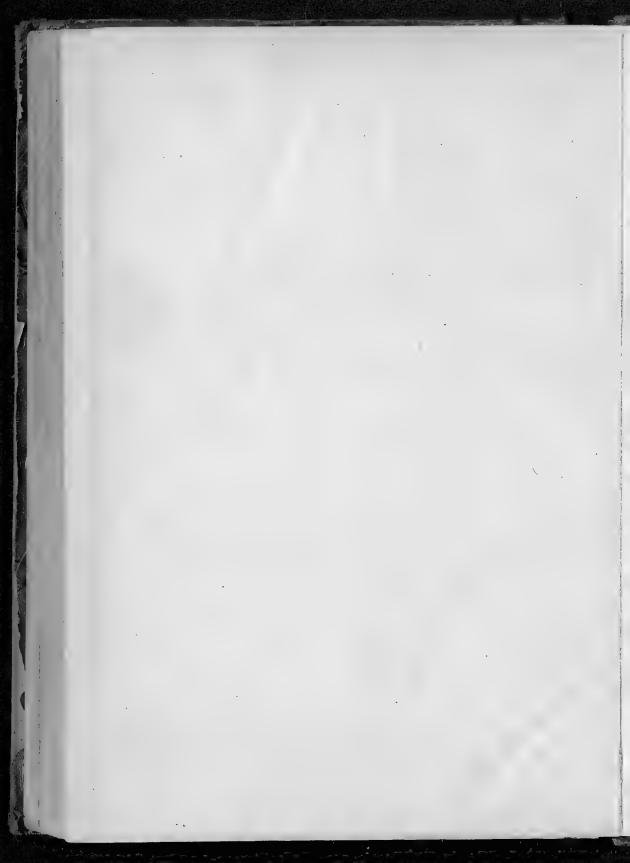
отъ въками взлелъянной мечты, которою онъ жилъ и тешился и которая пействительно поставила его на ноги, прикрѣпила къ нему землю, къ которой онъ быль прежде крѣпокъ. Вопросъ о наследствъ, по инвнію Герцена, еще трудиве. Кромв холостыхь фанатиковъ, въ родъ монаховъ, раскольниковъ, икаріанъ и пр., никакая масса не согласится на безусловное отречение отъ права завъщать какую-нибудь часть постоянія своимъ наследникамъ. Въ худшемъ человеческомъ положения, у дворовыхъ крепостныхъ людей, были кое-какія тряпки, которыя они оставляли своимъ и которыя почти никогда не отбирались помъщиками. Отымите у самаго бъднаго мужика право завъщать-и онъ возьметь колъ въ руки и пойдетъ защищать своихъ, свою семью и свою волю... Въ заключение Герценъ выражаетъ то мнание, что дикие призывы къ тому, чтобы закрыть книги, оставить науку и идти на какой-то безсиысленный бой разрушенія принадлежить къ самой неистовой демагогіи и къ самой вредной, что за ними прямо следуетъ разнузданіе дикихъ страстей, le dechainement des mauvaises passions, что этими словами мы шутимъ, нисколько не считая, насколько они вредны для дела, для слушающихъ.

Всѣ подобныя мнѣнія какъ-то весьма трудно вяжутся съ понятіемъ о Герценѣ, какъ объ агитаторѣреволюціонерѣ, жаждущемъ взрывовъ и насильственныхъ переворотовъ. Намъ кажется, что Герценъ былъ чистъйшій идеалистъ сороковыхъ годовъ, который половину жизни провелъ въ рефлексіяхъ, главиая сила котораго заключалась въ разлагающей критикъ, которою онъ перемалывалъ все, подвергавшееся его наблюденіямъ, не щадя ни друзей, ни враговъ, ни старыя, ни новыя явленія жизни.

Въ то же время и мысль, что онъ сделался такимъ только подъ конецъ жизни, при чемъ, по мненію однихъ, онъ отрезвълъ и исправился, а по мижние другихъ, отсталъ подъ гнетомъ старости-такая мысль, въ свою очередь, лишена основанія. Онъ быль почти однимъ и темъ же, начиная съ 1848 года. Для примера, достаточно сравнить его характеристику русскихъ эмигрантовъ, писанную подъ конецъ жизни, съ темъ, что онъ писалъ въ пятидесятыхъ еще годахъ объ эмигрантахъ сороковыхъ годовъ-французскихъ, нъмецкихъ и русскихъ (Сазоновъ, Энгельгардтв). Не мъщаетъ также сравнить его полунасмъщливую характеристику современныхъ развитыхъ женщинъ, помъщенную имъ въ "Полярной Звъздъ" за 1869 г., съ темъ, что писалъ онъ о разныхъ женщинахъ сороковыхъ годовъ во 2-й части "Былое и Думы". Герценъ самъ о себъ сказалъ совершенно справедливо, что съ іюньскихъ дней (1848) началась последняя часть его жизни.

конецъ перваго тома.





ABLE SOPOROBE,

A.H. H. BOPOHOB'L.

